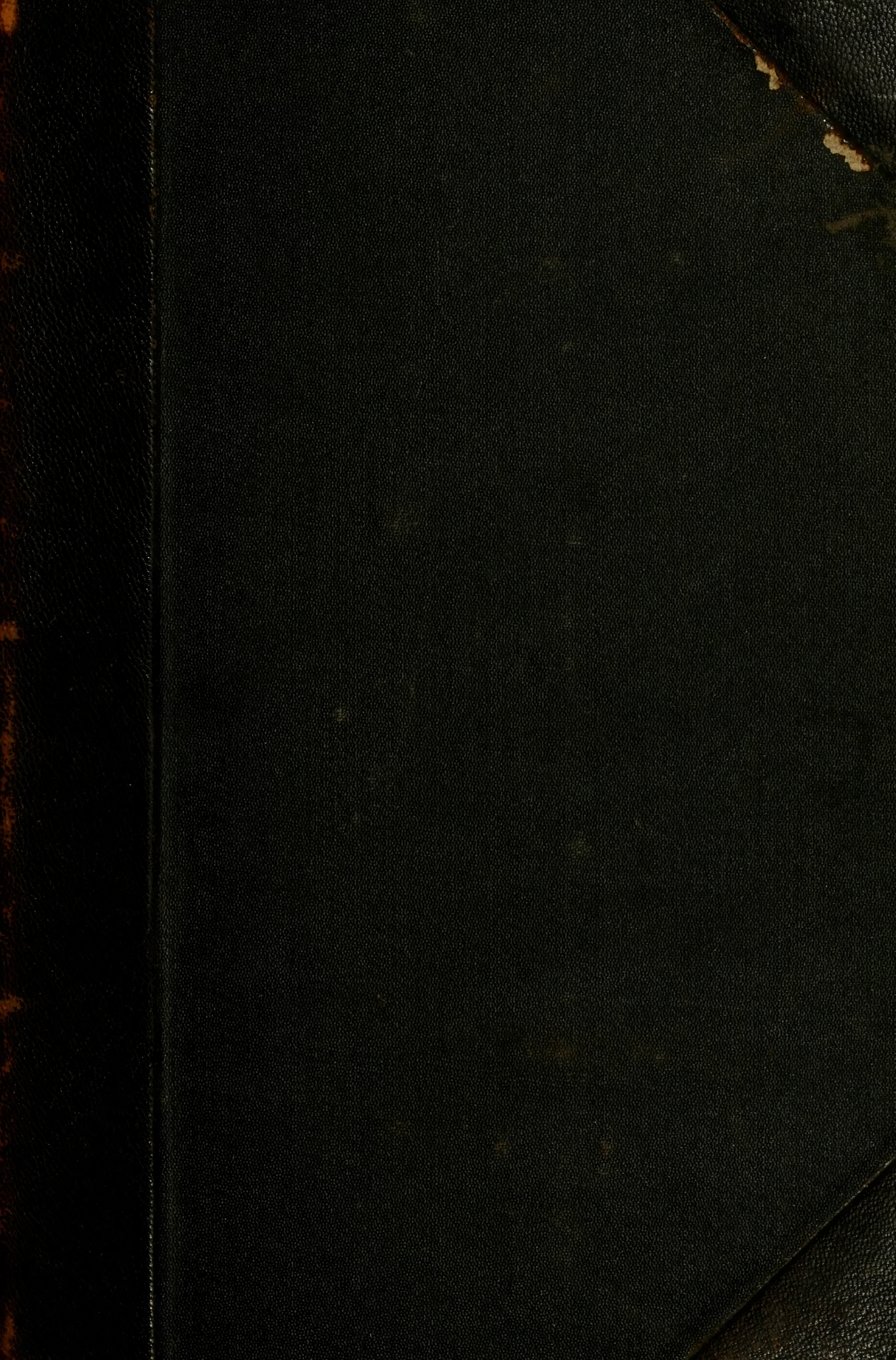


WILBUR L. CROSS LIBRARY
UNIVERSITY OF CONNECTICUT

Mikhailovskii

Nijhoff

Книгоиздательство „РУССКОЕ БОГАТСТВО“.

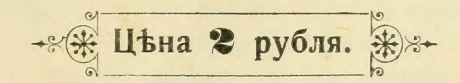
СОЧИНЕНІЯ

Н. К. МИХАЙЛОВСКАГО

ТОМЪ ПЕРВЫЙ.

СОДЕРЖАНІЕ: 1) Предисловіе. 2) Что такое прогрессъ? 3) Теорія Дарвина и общественная наука. 4) Аналогическій методъ въ общественной наукѣ. 5) Дарвинизмъ и оперетки Оффенбаха. 6) Борьба за индивидуальность. 7) Вольница и подвижники. 8) Изъ литературныхъ и журнальныхъ замѣтокъ 1872 и 1873 гг.

ИЗДАНІЕ ЧЕТВЕРТОЕ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
Типографія Н. Н. Клобукова. Лиговская ул., д. № 34.
1906.

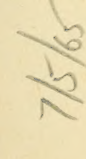
Предисловіе къ 2-му изданію.

Когда я задумалъ изданіе своихъ сочиненій, я упустилъ изъ виду одинъ анекдотъ и одну пословицу.

Анекдотъ состоитъ въ слѣдующемъ. Нѣкто просилъ Дидро разъяснить ему одно мѣсто въ старомъ его, Дидро, сочиненіи. Дидро подумалъ и отвѣчалъ: я, конечно, понималъ это мѣсто, когда писалъ его, но теперь не понимаю, потерялъ ключъ.

Таковъ анекдотъ. А упущенная изъ виду пословица гласитъ: что́ написано перомъ, того не вырубишь топоромъ.

Я не такъ много и давно пишу, чтобы потерять ключъ къ написанному нѣсколько лѣтъ тому назадъ. Но, каюсь, я совершенно забылъ размѣры написаннаго. Первоначальная мысль состояла въ томъ чтобы сдѣлать нѣчто цѣльное и единое изъ чисто теоретическихъ статей по предмету соціологіи, печатавшихся въ разное время и по разнымъ поводамъ, но настолько связанныхъ внутреннимъ единствомъ, что, казалось, не будетъ большого труда придать имъ и внѣшнее единство: исключить нѣкоторыя повторенія, неизбѣжныя при многолѣтней журнальной работѣ, устранить вкрапленныя кое-гдѣ мелочи по части мимолетной текущей литературы и жизни, остальное перетасовать въ видахъ систематическаго порядка,—вотъ и все. Однако, это только казалось. Не говоря объ огромномъ количествѣ времени и труда, поглощаемыхъ черною, публикѣ не видною стороною журнальной работы, моя мысль оказалась неудобоисполнимою и въ силу вышеуказанной пословицы. Я пробовалъ исключать, устранять, тасовать, и, въ концѣ концовъ, отступился: что́ написано перомъ, того не вырубишь топоромъ. Можно измѣнить и устранить нѣкоторыя мелочи, но исполнить такую большую хирургическую операцію оказалось невозможно.



Еще прежде, чѣмъ окончательно въ этомъ убѣдиться, я рѣшилъ, независимо отъ первоначально предположенныхъ статей, выбрать для отдѣльнаго изданія еще нѣсколько статей и ежемѣсячныхъ обозрѣній, печатавшихся въ «Отечественныхъ Запискахъ» подъ разными заглавіями. Этотъ матеріалъ казался мнѣ достойнымъ изданія вотъ почему. Изъ года въ годъ, изъ мѣсяца въ мѣсяцъ я бесѣдую съ читателями о самыхъ разнообразныхъ предметахъ міра видимаго и невидимаго, литературы и жизни, теоріи и практики, постоянно освѣщая явленія съ одной и той же точки зрѣнія. Правильна эта точка зрѣнія или нѣтъ, симпатична читателю или нѣтъ, умѣю ли я отзываться на злобу дня, или не умѣю, но во всякомъ случаѣ въ этихъ ежемѣсячныхъ обозрѣніяхъ отразились извѣстная точка зрѣнія, перепробованная на

множествѣ самыхъ разнообразныхъ явленій, и самыя эти явленія, самая жизнь. Мнѣ казалось, что подобные итоги не лишены поучительности, въ особенности, если ими воспользуется критика, какъ предлогомъ для предъявленія своихъ собственныхъ взглядовъ. Но ни во времена «новыхъ вѣяній», ни во времена «народной политики», ни дружественная, ни враждебная критика не пожелала занять эту выгодную позицію. Нѣсколько лестныхъ и нелестныхъ отзывовъ лично обо мнѣ, какъ о писателѣ,—вотъ все, что я видѣлъ со стороны критики. Тѣмъ хуже для нея, я думаю. Но и для меня, разумѣется, не лучше. Съ теченіемъ времени я охладѣлъ къ своему плану изданія, тѣмъ болѣе, что практически позналъ значеніе анекдота о Дидро. Я предполагалъ, напримѣръ, что «Записки профана» не наполнятъ и одного тома, а между тѣмъ, только часть ихъ (правда, бо́льшая) заняла всѣ тридцать листовъ третьяго тома настоящаго изданія.

Результатомъ всего этого и является четвертый томъ въ томъ видѣ, какъ онъ предлагается читателю: философская статья рядомъ съ полу-беллетристическимъ фельетономъ. Несмотря на то, что обѣ эти вещи писаны въ разное время, несмотря, далѣе, на разницу формы, читатель, надѣюсь, усмотритъ ихъ внутреннее единство и, слѣдовательно, оправдаетъ такое, на первый взглядъ странное, сосѣдство. Мнѣ хочется только сказать нѣсколько словъ объ обѣихъ составныхъ частяхъ четвертаго тома въ отдѣльности.

«Что такое прогрессъ?»—одна изъ самыхъ моихъ раннихъ статей. Но міросозерцаніе, изложенное въ этой юношеской работѣ, осталось моимъ и доселѣ, не только въ общемъ, а и въ подробностяхъ. Въ дальнѣйшихъ моихъ статьяхъ по тѣмъ же вопросамъ мнѣ пришлось, однако, рѣзче и опредѣленнѣе мотивировать требованія субъективизма «борьбою за индивидуальность», а, въ поясненіе двойственнаго характера прогресса, добавить ученіе о типахъ и степеняхъ развитія. Прошу благосклоннаго читателя имѣть это въ виду...

Предисловіе къ 3-му изданію.

Въ одной полемической статьѣ 1889 г. я писалъ:

«Всякій разъ, какъ мнѣ приходитъ въ голову слово «правда», я не могу не восхищаться его поразительною внутреннею красотой. Такого слова нѣтъ, кажется, ни въ одномъ европейскомъ языкѣ. Кажется, только по-русски истина и справедливость называются однимъ и тѣмъ же словомъ и какъ бы сливаются въ одно великое цѣлое. Правда въ этомъ огромномъ смыслѣ слова всегда составляла цѣль моихъ исканій. Правда-истина, разлученная съ правдой-справедливостью, правда теоретическаго неба, отрѣзанная отъ правды практической земли, всегда оскорбляла меня, а не только не удовлетворяла. И наоборотъ, благородная житейская практика, самые высокіе нравственные и общественные идеалы представлялись мнѣ всегда обидно-безсильными, если они отворачивались отъ истины, отъ науки. Я никогда не могъ повѣрить и теперь не вѣрю, чтобы нельзя было найти такую точку зрѣнія, съ которой правда-истина и правда-справедливость являлись бы рука объ руку, одна другую пополняя. Во всякомъ случаѣ, выработка такой точки зрѣнія есть высшая изъ задачъ, какія могутъ представиться человѣческому уму, и нѣтъ усилій, которыхъ жалко было бы потратить на нее. Безбоязненно смотрѣть въ глаза дѣйствительности и ея отраженію—правдѣ-истинѣ, правдѣ объективной, и, въ то же время, охранять и правду-справедливость, правду субъективную,—такова задача всей моей жизни. Не легкая эта задача. Слишкомъ часто мудрымъ зміямъ не хватаетъ голубиной чистоты, а чистымъ голубямъ—зміиной мудрости. Слишкомъ часто люди, полагая спасти нравственный или общественный идеалъ, отворачиваются отъ непріятной истины, и, наоборотъ, другіе люди, люди объективнаго знанія, слишкомъ часто норовятъ поднять голый фактъ на степень незыблемаго принципа. Вопросы о свободѣ воли и необходимости, о предѣлахъ нашего знанія, органическая теорія общества, приложенія теоріи Дарвина къ общественнымъ вопросамъ, вопросъ объ интересахъ и мнѣніяхъ народа, вопросы философіи исторіи, этики, эстетики, экономики, политики, литературы въ разное время занимали меня исключительно съ точки зрѣнія великой двуединой правды. Я выдержалъ безчисленные полемическіе турниры, откликался на самые разнообразные запросы дня, опять-таки ради водворенія все той же правды, которая, какъ солнце, должна отражаться и въ безбрежномъ океанѣ отвлеченной мысли, и въ малѣйшихъ капляхъ крови, пота и слезъ, проливаемыхъ сію минуту. Моего критика, кажется, очень обижаетъ то обстоятельство, что меня называютъ иногда «со-

ціологомъ». Какъ, молъ, такъ,—называется соціологомъ, а мундира, присвоеннаго этому вѣдомству, не носитъ и даже всѣ вѣдомства перепуталъ! Разно меня называютъ, но меня самого никогда не интересовало, къ какому вѣдомству я причисленъ. Тѣ небольшія достоинства, которыя признаетъ за мной критикъ, конечно, позволили бы мнѣ,—ну, «не краткій курсъ соціологіи въ ея современномъ видѣ» написать (этого мы отъ моего критика будемъ ждать), а успокоиться на области теоретической мысли. Къ этому, признаться, и тянуло меня часто; потребность теоретическаго творчества требовала себѣ удовлетворенія, и въ результатѣ являлось философское обобщеніе или соціологическая теорема. Но тутъ же, иногда среди самаго процесса этой теоретической работы, привлекала меня къ себѣ своею яркою и шумной пестротой, всею своею плотью и кровью житейская практика сегодняшняго дня, и я бросалъ высоты теоріи, чтобы черезъ нѣсколько времени опять къ нимъ вернуться и опять бросить. Но все это росло изъ одного и того же корня, все это связалось такъ жизненно-тѣсно въ одно, можетъ быть, странное и неуклюжее цѣлое, что вотъ я не могу исполнить желаніе критика: «распредѣлить матеріалъ по предметамъ и исключить все лишнее». Заново написать книгу, можетъ быть, можно, а рекомендуемую хирургическую операцію произвести, при всемъ желаніи, не могу. Отсюда же и вся моя неумѣренность и неаккуратность. При такой тревожной работѣ возможны, конечно, разнаго рода увлеченія и частныя ошибки (въ общемъ, я полагаю, разумѣется, что правда на моей сторонѣ), а тѣмъ болѣе неловкія, неотшлифованныя выраженія. Дѣло критики—отдѣлить пшеницу отъ плевелъ, указать увлеченія и ошибки. Но только тотъ можетъ исполнить эту работу, кто не сорветъ увлеченій и ошибокъ съ ихъ живого корня и кто, конечно, будетъ знать предметъ, о которомъ взялся говорить.

Настоящее изданіе, значительно дополненное и удешевленное отличается отъ предыдущихъ еще и нѣкоторою систематичностью. Первая половина каждаго тома (ихъ предполагается шесть) будетъ состоять изъ теоретическихъ статей болѣе или менѣе однороднаго содержанія; вторая—изъ статей по текущимъ вопросамъ литературы и жизни, подъ разными заглавіями печатавшихся въ теченіе многихъ лѣтъ ежемѣсячно, а одно время и еженедѣльно. Эти обозрѣнія будутъ слѣдовать одно за другимъ въ хронологическомъ порядкѣ, не обязательномъ для перваго отдѣла или первой половины. Тѣмъ не менѣе и относительно перваго отдѣла каждаго тома я прошу читателей и критиковъ, если таковые окажутся, обращать вниманіе на годы первоначальнаго появленія статей въ печати, обозначенные при каждой статьѣ какъ въ текстѣ, такъ и въ оглавленіи.

Когда-то я мечталъ не только «распредѣлить матеріалъ по предметамъ и исключить все лишнее», но и переработать свои писанія въ одно цѣлое сочиненіе. Отъ этой мечты пришлось отказаться какъ по вышеизложеннымъ причинамъ, такъ и потому, что мой литературный багажъ изъ года въ годъ возросталъ, а свободнаго времени у меня становилось все меньше. И, за невозможностью радикальной переработки, я рѣшилъ не дѣлать никакихъ сколько нибудь существенныхъ измѣненій. Въ настоящемъ изданіи кое гдѣ измѣнены неудачныя выраженія; устранены полемическіе эпизоды личнаго характера, утратившіе, за давностью, всякій интересъ, нѣкоторыя отдѣльныя гла-

вы нѣкоторыхъ ежемѣсячныхъ и еженедѣльныхъ замѣтокъ, имѣющія достаточно однородный и теоретическій характеръ, выдѣлены и печатаются подъ особыми новыми заглавіями. Вотъ и все. Въ виду этого для меня, и для добросовѣстной критики, очень важно указаніе на время первоначальнаго появленія статей въ печати.

Остановлюсь, въ поясненіе, на двухъ-трехъ примѣрахъ.

Въ статьѣ «Что такое прогрессъ?», написанный въ *1869* г., упоминается книга Спенсера «Соціальная статика», какъ неизвѣстная мнѣ. Это дало поводъ къ нѣкоторымъ страннымъ выходкамъ одного критика въ *1889* г. Но въ *1872* г. я съ этимъ сочиненіемъ Спенсера познакомился и напечаталъ объ немъ въ «Отечественныхъ Запискахъ» статью подъ заглавіемъ «Что такое счастіе?». Перепечатывая статью «Что такое прогрессъ?» какъ въ предыдущихъ, такъ и въ настоящемъ изданіи своихъ сочиненій, я могъ бы, конечно, если не ввести въ нее содержаніе статьи «Что такое счастье?», то, по крайней мѣрѣ, устранить указаніе на мое незнакомство съ «Соціальной статистикой». Я предпочелъ, однако, оставить это мѣсто неизмѣненнымъ, ибо въ 1869 г. дѣйствительно не зналъ упомянутаго сочиненія Спенсера.

Еще одинъ критикъ утверждалъ, что идеи, изложенныя въ статьѣ «Герои и толпа», я заимствовалъ у Тарда. Въ дѣйствительности же, статья «Герои и толпа» напечатана (въ *1882* г.) за *восемь* лѣтъ до появленія книги Тарда «Les lois de l'imitation» (*1899* г.) и, по крайней мѣрѣ, за *два* года до первыхъ набросковъ теоріи Тарда въ «Revue philosophique (*1884* г.). Въ свое время я писалъ и о Тардѣ и могъ бы, опять-таки, вставить свои критическія замѣчанія о немъ, а также и о Сигеле («Преступная толпа»), въ статью «Герои и толпа», но предпочитаю оставить послѣднюю безъ измѣненій, замѣтки же о Тардѣ и Сигеле выдѣлить изъ ежемѣсячныхъ очерковъ «Литература и жизнь» и напечатать подъ особыми новыми заглавіями: «Еще о герояхъ», «Еще о толпѣ».

Вообще, обращая вниманіе на даты, означенныя при каждой статьѣ, читатель избавитъ себя отъ ошибки требовать отъ автора того, что онъ физически не могъ принять въ соображеніе. Нѣкоторымъ изъ статей, вошедшихъ въ настоящее изданіе, больше четверти вѣка.

Ник. Михайловскій.

ЧТО ТАКОЕ ПРОГРЕССЪ? *)

Гербертъ Спенсеръ. Собраніе сочиненій въ 7-ми томахъ. Изданіе Н. Л. Тиблена.

I.

Одна изъ статей Спенсера, напечатанныхъ въ первомъ томѣ русскаго изданія, «Польза и красота», начинается такимъ замѣчаніемъ Эмерсона: «то, что природа въ одно время производитъ для пользы, она обращаетъ впослѣдствіи въ предметъ украшенія». Въ доказательство этого положенія Эмерсонъ приводитъ устройство морской раковины, у которой «части, служащія одно время вмѣсто рта, въ дальнѣйшемъ періодѣ ея развитія остаются позади и принимаютъ форму красивыхъ бугорковъ». Пользуясь случаемъ, чтобы указать на заключающійся въ положеніи и примѣрѣ Эмерсона объективно-антропоцентрическій пошибъ: природа нѣчто полезное для животнаго, особенность, обезпечившую ему счастливый исходъ изъ борьбы за существованіе, эту особенность природа обращаетъ впослѣдствіи въ нѣчто пріятное для человѣка, красивое съ человѣческой точки зрѣнія; ибо трудно предположить, чтобы Эмерсонъ говорилъ отъ лица «морской раковины», любующейся на свои «красивые бугорки и рубчики». Такимъ образомъ любезность и предупрепредупредительность природы къ человѣку доходитъ до того, что она коверкаетъ единственно pour ses beaux yeux животное, имѣющее, разумѣется, свои собственные, хотя и неуловимые для насъ интересы. Спенсеръ не замѣчаетъ этой странной телеологіи, или пропускаетъ ее мимо ушей, можетъ быть потому, что у Эмерсона, съ которымъ мы не знакомы, она составляетъ не болѣе, какъ случайную черновую мысль, которой онъ самъ не придаетъ особеннаго значенія. Но Спенсеръ находитъ, что это замѣчаніе Эмерсона имѣетъ право на гораздо болѣе широкое приложеніе и можетъ быть распространено и на развитіе человѣчества. Онъ утверждаетъ, что и въ области явленій общественной жизни происходитъ та же смѣна полезнаго и прекраснаго; что предметъ пользы для одного историческаго періода оказывается предметомъ украшенія для послѣдующихъ. Въ маленькой статейкѣ, развивающей эту мысль, Спенсеръ развертываетъ въ миніатюрѣ всѣ свойства своего соціологическаго мышленія и изложенія, съ которыми мы еще встрѣтимся ниже въ большомъ видѣ. Поставивъ положеніе, Спенсеръ начинаетъ сыпать самыми разнообразными примѣрами, подтверждающими положеніе, и затѣмъ ищетъ раціональнаго основанія для своего эмпирическаго вывода. Надо, впрочемъ, замѣтить, что примѣры, приводимые имъ въ статьѣ «Польза и красота», выбраны гораздо менѣе удачно и расположены гораздо менѣе искусно, чѣмъ это имъ дѣлается обыкновенно. Желаніе втиснуть факты въ заранѣе поставленную рамку ужъ слишкомъ очевидно, въ чемъ автору значительно помогаетъ неопредѣленность его терминологіи: рѣзко разграничивая прекрасное и полезное, онъ не проводитъ, однако, между ними опредѣленной демаркаціонной линіи, и читатель не знаетъ, что собственно Спенсеръ разумѣетъ подъ общимъ именемъ прекраснаго и что—подъ именемъ полезнаго. Это было бы, разумѣется, не бѣда, если бы дѣло шло о вещахъ общепризнанныхъ, не подлежащихъ спору. Но категоріи прекраснаго и полезнаго слишкомъ часто произвольно суживались и расширялись, и точныя взаимныя отношенія ихъ установились въ сознаніи очень немногихъ. Спенсеръ, къ сожалѣнію, не принадлежитъ къ числу этихъ немногихъ, по крайней мѣрѣ въ статьѣ, о которой идетъ рѣчь. Какъ образецъ, я приведу только одинъ изъ его примѣровъ или, лучше сказать, одну группу примѣровъ. «Глыбы камня,—говоритъ онъ,—которыя, какъ храмъ, въ рукахъ жрецовъ имѣли нѣкогда правительственное значеніе, стали въ настоящее время служить предметомъ антикварскихъ поисковъ, а сами жрецы сдѣла-

*) 1869 г.

лись героями оперъ. Изваянія грековъ, которыя за красоту свою сохраняются въ нашихъ художественныхъ музеяхъ и снимки съ которыхъ служатъ украшеніемъ общественныхъ мѣстъ и входовъ въ наши залы, нѣкогда считались за божества, требовавшія повиновенія; подобную же роль играли нѣкогда и тѣ чудовищные идолы, которые теперь забавляютъ посѣтителей нашихъ музеевъ». Вотъ одинъ изъ камней, положенныхъ Спенсеромъ въ основаніе его обобщенія: предметъ пользы для предковъ дѣлается предметомъ украшенія для потомковъ. Нетрудно видѣть, что камень этотъ находится въ положеніи неустойчиваго равновѣсія и легко можетъ способствовать провалу всего зданія. Васъ поражаетъ необыкновенная поверхностность выраженій и неизбѣжно возникаетъ рядъ вопросовъ: 1) Почему Спенсеръ полагаетъ, что храмы древнихъ имѣли исключительно практическое значеніе? и не были ли они въ то же время, какъ и въ наше, украшеніемъ далекой мѣстности, и не украшались ли они и сами, сообразно эстетическимъ взглядамъ древнихъ, во славу божества и въ поученіе молящихся? 2) Почему «антикварскіе поиски» отнесены къ категоріи красоты, и не предпринимаются ли они большею частью съ полезною цѣлью изученія жизни нашихъ предковъ? 3) Не входила ли идея красоты, какъ одинъ изъ существенныхъ элементовъ, въ древнія, какъ и въ новыя религіи, а слѣдовательно и въ формы богослуженій, совершаемыхъ жрецами? и не играетъ ли нѣкоторой роли элементъ пользы въ томъ обстоятельствѣ, что жрецы являются героями оперъ? 4) Всѣ ли греческія статуи создавались на религіозныя темы, и не цѣнили ли греки въ своихъ статуяхъ, даже изображавшихъ божества, не только ихъ религіозное значеніе, а и эстетическое? и не уясняемъ ли мы себѣ иногда по произведеніямъ греческаго искусства греческую жизнь и міросозерцаніе? 5) Равнымъ образомъ, не изучаемъ ли мы индусовъ и египтянъ по тѣмъ чудовищнымъ идоламъ, которые стоятъ въ нашихъ музеяхъ? и не потому ли Спенсеръ употребилъ относительно ихъ выраженіе «забавляютъ», что съ областью прекраснаго, съ нашей современной точки зрѣнія, они не имѣютъ никакой связи, хотя для своего времени и мѣста необходимо представляли нѣкоторый художественно-религіозный идеалъ? — Ясно, что примѣръ Спенсера можетъ быть перевернутъ вверхъ дномъ и послужитъ весьма полновѣснымъ подтвержденіемъ обратнаго положенія, именно, что прекрасное для одной эпохи, дѣлается полезнымъ для послѣдующихъ. И эта послѣдняя формула, прямо противоположная формулѣ Спенсера, якобы подтверждаемой приведеннымъ примѣромъ, будучи поставлена въ надлежащія границы, представляетъ не гипотезу, но несомнѣнно достовѣрную истину. Мы не можемъ такъ полно наслаждаться греческимъ искусствомъ, какъ наслаждались имъ сами греки, у насъ есть еще искусство, которое намъ дороже и понятнѣе. Но если наше эстетическое пониманіе греческаго искусства необходимо слабѣе таковового же пониманія грековъ, то для насъ существуетъ историческое, научное значеніе греческаго искусства, какого для грековъ не существовало. Во всякомъ случаѣ примѣръ Спенсера не только не подтверждаетъ это положеніе, но показываетъ, что порядокъ, въ которомъ чередуются въ исторіи полезное и прекрасное, подлежитъ закону, по крайней мѣрѣ гораздо болѣе сложному, нежели тотъ, который предлагаетъ англійскій мыслитель. Найдутся скептики, которые будутъ отрицать даже возможность формулированія такого закона, потому что полезное и прекрасное имѣютъ тысячу точекъ соприкосновенія и рѣзкое противопоставленіе ихъ другъ другу возможно только при поверхностномъ взглядѣ. Говорить о вещахъ, составляющихъ «исключительно предметъ пользы», или исключительную область прекраснаго, какъ говоритъ это Спенсеръ, — дѣло слишкомъ рискованное.

Какъ бы то ни было, но въ рядѣ примѣровъ, въ родѣ выше приведенныхъ, Спенсеръ находитъ индуктивное доказательство своей формулы. Затѣмъ онъ обращается къ дедуктивному подтвержденію и находитъ его въ слѣдующемъ: «существенное, предварительное условіе всякой красоты есть контрастъ. Для того, чтобы получить художественный эффектъ, свѣтъ долженъ быть располагаемъ рядомъ съ тѣнью, яркіе цвѣта съ мрачными» и т. д. Спенсеръ опять приводитъ рядъ примѣровъ изъ различныхъ сферъ искусства. Этотъ общій принципъ контраста, какъ условія красоты, объясняетъ, по мнѣнію Спенсера, и то, почему полезное прошлаго превращается въ настоящее прекрасное. Мы видѣли, что положеніе о такомъ превращеніи, по крайней мѣрѣ, одностороннее, и потому, стремясь доказать его, Спенсеръ, очевидно, долженъ былъ еще болѣе запутаться. Мы не намѣрены трактовать объ искусствѣ, о взаимномъ отношеніи полезнаго и прекраснаго; мы слѣдимъ только за логическою нитью аргументаціи Спенсера, и потому, помимо нашихъ личныхъ взглядовъ, примемъ законъ контраста, какъ основной законъ прекраснаго и искусства. Становясь такимъ образомъ на его собственную точку зрѣнія, мы, надѣемся, оказываемся достаточно безпристрастными. Куда же онъ насъ поведетъ? Онъ утверждаетъ, что задача искусства состоитъ исключительно въ воспроизведеніи жизни прошлаго. «По ширинѣ своего контраста съ нашимъ настоящимъ образомъ жизни, образъ жизни прошедшаго кажется намъ интереснымъ и романическимъ», а

«вещи и происшествія, влекущія за собой сцѣпленіе идей, которыя не представляютъ значительнаго контраста съ нашими ежедневными представленіями, являются относительно невыгоднымъ сюжетомъ для искусства». Спенсеръ доказываетъ далѣе, исходя все изъ того же принципа, что живопись не должна передавать «жизнь, дѣла и стремленія своего времени», а обязана обратиться въ историческую. «То, что имѣетъ какое-нибудь практическое назначеніе въ настоящее время,—говоритъ онъ,—или имѣло такое значеніе въ очень недавнее время, не можетъ получить характера украшенія и, слѣдовательно, не будетъ приложимо къ цѣлямъ искусства». Мы уже не говоримъ о томъ странномъ взглядѣ, который обнаруживаетъ Спенсеръ, говоря объ «украшеніи», какъ о назначеніи искусства. Но положимъ, что это можетъ показаться иному дѣломъ спорнымъ; далѣе Спенсеръ грѣшитъ уже прямо противъ логики. Онъ выказываетъ самую странную поверхностность, утверждая, что искусство *должно* искать контрастовъ въ прошедшемъ: какъ будто ихъ мало въ настоящемъ; какъ-будто на чердакѣ того самаго дома, гдѣ живетъ Спенсеръ, ученый и спокойный Спенсеръ, не гнѣздится невѣжество, нищета и назойливая дума о кускѣ хлѣба въ pendant думѣ философа о судьбахъ человѣчества; какъ будто у всѣхъ сердце бьется также ровно, какъ у ученаго и невозмутимаго Спенсера; какъ будто нѣтъ въ настоящемъ умныхъ людей и дураковъ, негодяевъ и честныхъ людей, людей цивилизованныхъ и коснѣющихъ въ грубости, нѣтъ стона и улыбки, брачнаго ложа и гробовыхъ мастеровъ, свѣта и тѣни, поцѣлуя и оплеухи, звона цѣпей и колокольнаго звона, полиціи и мазуриковъ?.. Съ чего же искусству гоняться за контрастами во времени, когда подъ руками у него неисчерпаемый рудникъ контрастовъ въ пространствѣ? По крайней мѣрѣ, гдѣ основанія въ самомъ спенсеровскомъ законѣ контраста для воспрещенія искусству передавать «жизнь, дѣла и стремленія своего времени»?

Читатель видитъ, что вся аргументація Спенсера не выдерживаетъ ни малѣйшей критики, и что здѣсь не можетъ быть даже и рѣчи объ оцѣнкѣ его теоретическихъ началъ, потому что ихъ логическія подпорки подкашиваются сами собой. И если бы въ вышедшихъ до сихъ поръ по-русски десяти выпускахъ собранія его сочиненій, кромѣ подобныхъ доказательствъ и положеній, не было ничего, то я, разумѣется, не счелъ бы нужнымъ говорить объ немъ. Но я собираюсь говорить, и говорить много.

Спенсеръ—имя, не пользующееся особенно громкою извѣстностью, но весьма почтенное. Сочиненія его не переведены ни на одинъ языкъ, кромѣ русскаго; не пользуется онъ, кажется, большою популярностью и на своей родинѣ. Но вотъ мнѣнія объ немъ людей, достаточно компетентныхъ:

«Г. Гербертъ Спенсеръ (въ статьѣ, сперва напечатанной въ Leade марта 1852 г. и перепечатанной въ его Essays 1858) съ большою силою и ловкостью провелъ параллель между теоріей развитія органическихъ формъ и теоріей отдѣльныхъ твореній. Онъ выводитъ изъ аналогіи съ домашними организмами, изъ измѣненій, которымъ подвергаются зародыши многихъ видовъ, изъ трудности отличить разновидности отъ видовъ, изъ общаго начала постепенности, что виды измѣнились, и онъ приписываетъ измѣненіе измѣненнымъ жизненнымъ условіямъ. Тотъ же авторъ (1855) разработалъ психологію на основаніи необходимой постепенности въ пріобрѣтеніи каждой умственной силы и способности» (Ч. Дарвинъ: «О происхожденіи видовъ»).

«Нѣтъ надобности говорить о людяхъ, еще въ наше время придерживающихся старыхъ мнѣній. Но если одинъ изъ самыхъ мощныхъ и отважныхъ дѣятелей, какихъ только производила до сихъ поръ англійская мысль, человѣкъ, исполненный научнаго духа—мистеръ Гербертъ Спенсеръ, и тотъ, во главѣ своей философіи, выставляетъ ученіе, что высшій критерій истинности извѣстнаго положенія заключается въ непостижимости его отрицанія»... и т. д. (Дж.-Ст. Милль: «Огюстъ Контъ и позитивизмъ»).

Выписавъ эти отзывы, мы начинаемъ трусить. До сихъ поръ читатель, слѣдуя за нами, видѣлъ, что Спенсеръ ошибается, ошибается грубо, непростительно; но блескъ мнѣній Дарвина и Милля можетъ ослѣпить его, и на насъ обрушится старый укоръ въ неуваженіи къ авторитетамъ. Но изъ дальнѣйшаго читатель, надѣемся, убѣдится, что мы воздаемъ Кесарево Кесари и Божіе Богови. Прибавимъ еще, что русскій издатель сочиненій Спенсера, г. Тибленъ, считаетъ его «величайшимъ изъ современныхъ мыслителей» и отводитъ ему такое же мѣсто въ раціональной философіи, «какое заняли Дарвинъ въ философіи естествознанія и Бокль въ философіи исторіи». И сомнѣнія не можетъ быть въ томъ, что это не издательская реклама. Оставляя въ сторонѣ вопросъ о томъ, насколько мнѣніе русскаго издателя преувеличено и насколько отзывъ Милля объясняется установившимися въ англійской печати обычаями этикета *), мы должны во всякомъ случаѣ сказать, что Спенсеръ—умъ очень крупнаго калибра: одинъ изъ тѣхъ всеобъемлющихъ синтетическихъ умовъ, которые отъ времени до времени вносятъ духъ

*) Надо, впрочемъ, замѣтить, что слова Милля заимствованы нами изъ той части книги «Огюстъ Контъ и положительная философія» (Спб. 1867), которая редактировалась издателемъ сочиненій Спенсера. Субъективный элементъ сказывается и въ переводѣ, переводчикъ своей личности стереть не можетъ, а потому глубокое уваженіе къ Спенсеру могло подсказать г. Тиблену немного слишкомъ сильные эпитеты для передачи на русскій языкъ словъ Милля.

единства и жизни въ разрозненные факты, добытые нѣсколькими поколѣніями менѣе даровитыхъ и даже совершенно бездарныхъ тружениковъ науки. О широкомъ захватѣ Спенсеровской мысли можно судить уже по однимъ оглавленіямъ двухъ первыхъ томовъ русскаго изданія. Первый томъ заключаетъ въ себѣ статьи: «Прогрессъ, его законъ и причина»; «Философія слога»; «Трансцендентальная физіологія»; «Происхожденіе и дѣятельность музыки»; «Польза и красота»; «Гипотеза развитія»; «Источники архитектурныхъ типовъ»; «Теорія слезъ и смѣха»; «Граціозность»; «Значеніе очевидности»; «Личная красота»; «Польза антропоморфизма»; «Нравственность и политика желѣзныхъ дорогъ»; «Генезисъ науки»; «Обычаи и приличія»; «Соціальный организмъ». Второй томъ: «Физіологія смѣха»; «Возбужденіе и воля»; «Торговая нравственность»; «Деньги и банки»; «Этика тюремъ» и т. д. (Второй томъ русскаго изданія еще не приведенъ къ концу). Эти большею частью мелкія статьи, въ родѣ нашихъ журнальныхъ, или «научные, политическіе и философскіе опыты» представляютъ болѣе или менѣе законченные отрывки большихъ работъ. Изъ остальныхъ вышедшихъ до сихъ поръ по-русски томовъ одинъ («Основныя начала») посвященъ разработкѣ. въ позитивномъ смыслѣ, нѣкоторыхъ собственно такъ-называемыхъ метафизическихъ вопросовъ и изложенію закона развитія; другой излагаетъ «Основанія біологіи»; третій занятъ «Нравственнымъ, умственнымъ и физическимъ воспитаніемъ» (сюда же вошли статьи «Гипотеза туманныхъ массъ» и «Нелогическая геологія»). Въ отдѣльной брошюрѣ излагается планъ «Классификаціи наукъ» и «Причины разногласія съ Контомъ». Кромѣ того, наконецъ, мы ждемъ «Соціальной статики» и «Основаній психологіи». Послѣднее сочиненіе есть, кажется, лучшій трудъ Спенсера.

Изъ этого длиннаго списка видно, что едва ли найдется какая нибудь область знанія, которую бы Спенсеръ обѣжалъ и не затронулъ хоть мимоходомъ. Вопросы о границахъ религіи и науки, о конечныхъ научныхъ и религіозныхъ идеяхъ, вопросы физіологическіе, педагогическіе, психологическіе, экономическіе, политическіе, геологическіе такъ или иначе вызываютъ его отвѣты, хотя, само собою разумѣется, отвѣты эти далеко не всегда одинаково удачны. Но вездѣ и во всемъ они имѣютъ синтетическій, обобщающій характеръ. Мы не имѣемъ ни времени, ни мѣста и не чувствуемъ себя достаточно сильными для того, чтобы представить читателю оцѣнку всѣхъ или даже только главнѣйшихъ выводовъ Спенсера. Мы можемъ только рекомендовать чтеніе Спенсера, какъ особенно пригодное и полезное для нашей публики, весьма мало знакомой съ современною западною философскою мыслью. Спенсеръ позитивистъ, хотя и не принадлежитъ къ школѣ Конта и весьма тщательно и ревниво заявляетъ о своей самостоятельности, до такой степени тщательно и ревниво, что это производитъ даже непріятное впечатлѣніе. Основныя начала положительной философіи— исключительно опытное происхожденіе всѣхъ нашихъ знаній, ихъ относительность, невозможность проникнуть въ сокровенныя сущности вещей, строжайшая законосообразность явленій природы,—эти положенія еще слишкомъ мало переварены даже мыслящею частью нашего общества. И если бы мы могли и хотѣли представить читателю все плодотворное для него значеніе чтенія сочиненій Спенсера, мы, какъ выражаются на ученыхъ диспутахъ оффиціальные оппоненты, сказали бы гораздо больше, чѣмъ собираемся сказать теперь. Уясненіе основныхъ началъ положительной философіи есть, быть можетъ, въ настоящую минуту одно изъ настоятельнѣйшихъ дѣлъ для русскаго читающаго люда. Но мы предоставляемъ ему знакомиться съ этими началами изъ первыхъ рукъ, такъ-какъ теперь есть для этого коекакая возможность, благодаря предпріятію г. Тиблена. Начиная съ широкихъ и смѣлыхъ обобщеній въ «Основныхъ началахъ», которыя не мѣшаютъ автору твердо помнить границу между областями «Познаваемаго» и «Непознаваемаго», до крошечной, но прелестной, какъ картинка, статейки «Граціозность» (т. I, Опыты), читатель почти въ каждой статьѣ Спенсера найдетъ что-нибудь новое и оригинальное, что-нибудь такое, надъ чѣмъ стоитъ призадуматься. Словомъ, мы совѣтуемъ всѣмъ и каждому читать и читать Спенсера, не пугаясь его сжатаго и своеобразнаго языка, къ которому привыкнуть нетрудно.

А теперь обратимся опять пока все къ той же «Пользѣ и красотѣ». Если бы какой-либо всероссійскій публицистъ торжественно провозгласилъ, что дважды-два стеариновая свѣчка, и въ доказательство привелъ бы таблицу умноженія, въ которой весьма явственно изображено, что дважды-два отнюдь не стеариновая свѣчка, а четыре; если бы онъ далѣе заявилъ, что чай есть напитокъ пріятный и полезный, а *потому* его слѣдуетъ пить только по утрамъ, или что политическая свобода есть благо, а *потому* только высшіе классы должны ею пользоваться; если бы всероссійскій публицистъ написалъ или произнесъ что-нибудь въ этомъ родѣ,—то такія странныя умозаключенія допустили бы три различныя объясненія. Во-первыхъ, публицистъ могъ сболтнуть рядъ фразъ, не замѣчая, что онѣ не клеятся между собой; во-вторыхъ, публицистъ могъ нагло и злонамѣренно свернуть съ логической дороги по направленію къ какому либо изъ вѣсомыхъ или невѣсомыхъ земныхъ благъ; въ-третьихъ,

публицистъ могъ быть непроходимо тупъ. Ни одно изъ этихъ объясненій не можетъ быть приложено къ ошибкамъ Спенсера: ни въ неряшливости, ни въ тенденціозной наглости и ни въ тупости его заподозрить нельзя. Онъ мыслитель несомнѣнно сильный, осторожный и безпристрастный. А между тѣмъ приведенные промахи столь же несомнѣнно грубы до послѣдней степени, такъ что ихъ замѣтилъ бы самый дюжинный умъ. Можетъ быть, не всякій жалкій писака, взгляды котораго опредѣляются однѣми случайностями и не имѣютъ какого бы то ни было общаго источника и устья, рѣшился бы подписаться подъ такой статьей, какъ «Польза и красота». Потому что это не защита ложнаго принципа, не случайная ошибка въ вычисленіи, не злонамѣренное извращеніе, не небрежное отношеніе къ предмету изслѣдованія, - это просто чисто логическія ошибки, непростительно плохое наведеніе и непростительно плохой силлогизмъ. «Одинъ изъ самыхъ мощныхъ дѣятелей, какихъ до сихъ поръ производила англійская мысль, человѣкъ, исполненный научнаго духа», въ доказательство своего положенія, приводитъ примѣры, опровергающіе его; затѣмъ ставитъ другое положеніе и изъ него дѣлаетъ логически невозможный выводъ. Надъ такимъ фактомъ стоитъ призадуматься и поискать причинъ, которыя отвели мыслителю его обыкновенно зоркіе глаза. Помимо простого, такъ сказать, психологическаго интереса подобнаго изслѣдованія, надо еще имѣть въ виду поучительность и даже плодотворность грубыхъ ошибокъ сильнаго ума. Намъ приходитъ на память афоризмъ, кажется, Бэкона: если прыткій человѣкъ хоть немного уклонится отъ настоящей дороги, то въ дальнѣйшемъ слѣдованіи отойдетъ отъ цѣли своего пути гораздо дальше и заблудится гораздо скорѣе, чѣмъ человѣкъ съ черепашьимъ ходомъ. Дѣло, значитъ, возможное, что сильный умъ впадаетъ въ ошибки болѣе грубыя, чѣмъ ошибки какой-нибудь тупицы. И если намъ удастся открыть причины логическаго промаха человѣка недюжиннаго,—въ нравственномъ ли его складѣ, или въ какомъ-либо изъ основныхъ его теоретическихъ положеній, то, помимо тѣхъ истинъ, которыя будутъ добыты нами попутно, мы убѣдимся еще, что исходная точка мыслителя или его пріемъ, вообще найденная фальшивая складка, должна завести въ непроходимыя дебри всякаго, хоть будь онъ семи пядей во лбу. И чѣмъ болѣе рѣзкій диссонансъ представляетъ ошибка въ общей гармоніи міросозерцанія мыслителя, то-есть, чѣмъ она грубѣе, тѣмъ, значитъ, глубже лежатъ ея основанія и тѣмъ поучительнѣе будетъ наше изслѣдованіе.

Нѣкоторый намекъ на искомое въ настоящемъ случаѣ объясненіе мы можемъ найти у самого Спенсера, въ его любопытной статьѣ «Значеніе очевидности». Спенсеръ доказываетъ въ ней, что точное наблюденіе есть дѣло вовсе не такое легкое и простое, какъ обыкновенно думаютъ; что наблюдателя одинаково сбиваютъ съ толку и присутствіе, и отсутствіе предвзятой мысли или, какъ онъ, а можетъ быть переводчикъ, не совсѣмъ вѣрно выражается,—гипотезы. Эту съ перваго взгляда парадоксальную и безъ должныхъ ограниченій дѣйствительно пародоксальную мысль онъ доказываетъ по обыкновенію примѣрами.—Лѣтъ полтораста тому назадъ въ Англіи существовало такое повѣрье: плодъ деревьевъ, растущихъ на морскомъ берегу, свѣшивается въ море и черезъ нѣсколько времени превращается въ существа, заключенныя въ раковинахъ и извѣстныя подъ именемъ «уточекъ»; эти уточки усаживаются на погруженныхъ въ морѣ вѣтвяхъ. Но на этомъ не оканчивается метаморфоза, и изъ уточекъ съ теченіемъ времени образуются морскія птицы, такъ-называемыя «уточки-гуси» (Barnacle-goose). Эта исторія уточекъ-гусей признавалась не только простонародьемъ, а и натуралистами того времени и при томъ у послѣднихъ вѣрованіе это «было основано на наблюденіяхъ, которыя были переданы и одобрены величайшими учеными авторитетами и публикованы съ ихъ распоряженія. Въ статьѣ, помѣщенной въ «Philosophical Transactions» сэръ Робертъ Морей, описывая этихъ уточекъ, говоритъ: «Въ каждой раковинѣ, которую я вскрывалъ, я находилъ совершенно морскую птицу: маленькій носъ, подобный носу гуся, обозначенные глаза, голову, шею, грудь, крылья, хвостъ и сформировавшіяся ноги, перья, вездѣ совершенно образовавшіяся и темноватаго цвѣта, и ноги, подобныя ногамъ морскихъ птицъ». Теперь эти уточки смирно сидятъ на одной изъ низшихъ ступеней зоологической лѣстницы, и Спенсеръ находитъ, что и представить себѣ нельзя, что такое Морей могъ принять въ ихъ организаціи за голову, крылья и т. д. морской птицы; нѣтъ даже намека на самое отдаленное сходство. А между тѣмъ Морей наблюдалъ и видѣлъ все это своими собственными глазами. Въ 1862 г., въ Мельбургѣ была издана книга «Metamorphosis naturalis», особенно любопытная потому, что въ ней впервые была сдѣлана попытка подробно описать метаморфозы насѣкомыхъ. Къ книгѣ приложены таблицы съ изображеніемъ послѣдовательныхъ ступеней развитія насѣкомыхъ, то-есть личинокъ, куколокъ и окончательно развитыхъ насѣкомыхъ. Куколки нашихъ бабочекъ имѣютъ обыкновенно на переднемъ концѣ нѣсколько острыхъ возвышеній, расположенныхъ совершенно неправильно. «Несмотря на то,—говоритъ Спенсеръ,—въ таблицахъ этого «Metamorphosis naturalis» каждая куколка имѣетъ столь измѣненныя возвышенія, что представляется

смѣшная человѣческая голова, и каждому виду приданы различные профили. Вѣрилъ-ли художникъ въ метемпсихозу и думалъ найти въ куколкахъ преобразившееся человѣчество, или былъ увлеченъ ложной аналогіей, которую такъ усиленно проводилъ Ботлеръ между переходомъ отъ куколки къ бабочкѣ и отъ смертности къ безсмертію, и поэтому замѣчалъ въ куколкѣ типъ человѣка,—неизвѣстно. Но мы видимъ здѣсь фактъ, что подъ вліяніемъ того или другого предвзятаго мнѣнія онъ сдѣлалъ свои рисунки совершенно отличными отъ дѣйствительныхъ формъ. Онъ не только думаетъ, что это сходство существуетъ, не только говоритъ, что можетъ видѣть его: предвзятое мнѣніе такъ овладѣваетъ имъ, что руководитъ его кистью и заставляетъ воспроизводить изображенія, до крайней степени непохожія на дѣйствительныя». Далѣе Спенсеръ приводитъ тотъ фактъ, что два наблюдателя, исповѣдующіе различныя теоріи, смотря на одинъ и тотъ же предметъ, въ одинъ и тотъ же микроскопъ, описываютъ обыкновенно предметъ не одинаково.

Во всѣхъ этихъ случаяхъ поразительно ложная передача фактовъ самыми изощренными органами чувствъ обусловливается присутствіемъ ложнаго предвзятаго мнѣнія. Но и отсутствіе всякаго предвзятаго мнѣнія столь же невыгодно отзывается на результатахъ наблюденія. Изъ примѣровъ заблужденій этого рода, приводимыхъ Спенсеромъ, мы остановимся только на одномъ, изъ его собственнаго опыта. На дѣтскихъ рисункахъ Спенсера тѣнь какого-нибудь предмета изображалась всегда черною. Молодой рисовальщикъ видалъ на своемъ небольшомъ вѣку, разумѣется, множество тѣней, и такъ какъ онъ не имѣлъ на этотъ счетъ никакихъ заранѣе установленныхъ мнѣній, а въ большинствѣ видѣнныхъ имъ случаевъ тѣнь приближалась къ черному цвѣту, то глазъ его неспособенъ былъ различить противоположные случаи. Такъ дѣло шло до восемнадцати лѣтъ. Тутъ Спенсеръ встрѣтился съ однимъ артистомъ-диллетантомъ, который сталъ ему доказывать, что тѣнь бываетъ не чернаго, а нейтральнаго цвѣта. Молодой человѣкъ спорилъ, приводилъ въ доказательство свое собственное наблюденіе, но, наконецъ, долженъ былъ сдаться. Тутъ только глаза его прочистились, и онъ убѣдился, что до сихъ поръ органъ зрѣнія обманывалъ его, докладывая, что тѣнь всегда черная; онъ увидѣлъ, что она бываетъ весьма часто цвѣтная. Прошло нѣсколько времени, и чтеніе популярнаго сочиненія по оптикѣ навело его на раздумье о причинахъ цвѣтныхъ тѣней. И, когда, вслѣдствіе этого, у него составилось опредѣленное понятіе о тѣняхъ, глаза его стали очень явственно различать оттѣнки ихъ. Понявъ, что цвѣтъ тѣни зависитъ отъ цвѣта всѣхъ окружающихъ предметовъ, способныхъ испускать лучи и отражать свѣтъ, онъ увидѣлъ очень ясно, что, напримѣръ, въ лунную ночь, возлѣ газоваго фонаря, карандашъ, помѣщенный перпендикулярно къ листу бумаги, дастъ двѣ тѣни: пурпурно-голубую и желто-сѣрую, производимыя отдѣльно горящимъ газомъ и луной. До тѣхъ поръ, пока онъ не узналъ изъ теоріи, что такъ должно быть, и приступалъ къ наблюденію безъ всякаго предвзятаго мнѣнія, онъ не замѣчалъ подобныхъ явленій. Такимъ образомъ, относительно самаго обыденнаго явленія онъ имѣлъ послѣдовательно три убѣжденія, изъ которыхъ каждое основывалось на наблюденіи. «Безъ помощи первой гипотезы,—говоритъ онъ—я, вѣроятно, остался бы при общемъ убѣжденіи, что тѣни черны. Безъ помощи другой я оставался бы, вѣроятно, при убѣжденій, на половину истинномъ, что онѣ нейтральнаго цвѣта». Изъ этого Спенсеръ и заключаетъ, что и присутствіе, и отсутствіе предвзятаго мнѣнія невыгодно вліяютъ на точность наблюденія: въ первомъ случаѣ наблюдатель невольно поддается своей затаенной мысли и видитъ вещи не такими, каковы онѣ дѣйствительно, а во второмъ—упускаетъ изъ виду многое, существенно важное въ наблюдаемомъ явленіи. Гдѣ же исходъ изъ этой дилеммы? «Всѣ наблюденія, исключая тѣхъ, которыя производятся подъ вліяніемъ уже установленныхъ истинныхъ теорій, рискуютъ оказаться извращенными или неполными». Въ концѣ концовъ, мы, значитъ, всетаки отброшены къ предвзятому мнѣнію, съ тѣмъ, однако, важнымъ условіемъ, чтобы мнѣніе это имѣло за себя извѣстныя, полновѣсныя гарантіи. Оно должно вытекать изъ нѣкоторой прежней, провѣренной и вполнѣ истинной оцѣнки извѣстной группы явленій. Всматриваясь въ послѣдній изъ приведенныхъ нами примѣровъ Спенсера, не трудно видѣть, что онъ весьма мало годится въ примѣры заблужденія отъ отсутствія предвзятаго мнѣнія. Молодой Спенсеръ не замѣчалъ цвѣтныхъ тѣней, очевидно, не потому, чтобы онъ не имѣлъ относительно этого какихъ бы то ни было убѣжденій, а напротивъ—въ силу ложнаго убѣжденія, что всѣ тѣни черны; онъ слѣдовательно всетаки приступалъ къ наблюденію съ предвзятымъ мнѣніемъ, а не безъ него. То же самое относится и ко всѣмъ приводимымъ имъ примѣрамъ этого рода. Да и едва-ли можно поцыскать примѣръ заблужденія отъ отсутствія предвзятаго мнѣнія, потому что самое отсутствіе это не мыслимо. Человѣкъ всегда приступаетъ къ изслѣдованію съ предвзятымъ мнѣніемъ и, смотря по качеству послѣдняго, доходитъ то до геніальнаго открытія, то до невообразимой нелѣпости. Если читатель не согласится съ этимъ, то только потому, что въ умѣ его съ выраженіемъ «предвзятое мнѣніе» ассоціиро-

валось представленіе о чемъ-то несостоятельномъ и неизбѣжно ложномъ, что, разумѣется, невѣрно. Предвзятое мнѣніе обусловливается двумя элементами: во-первыхъ, запасомъ предыдущаго, безсознательно или сознательно пріобрѣтеннаго опыта и, во-вторыхъ, высотой нравственнаго уровня изслѣдователя. И если этотъ нравственный уровень достаточно высокъ, а предварительная умственная работа была достаточно сильна, то нѣтъ причины опасаться за состоятельность предвзятаго мнѣнія. Бэконъ наивно-грубо и, принимая въ соображеніе его личныя качества, даже нѣсколько безсовѣстно говоритъ: «если мужъ зрѣлаго возраста, *неподкупныхъ чувствъ*, просвѣщенной души, обратитъ свой умъ на опытъ и частности, то отъ него можно будетъ ожидать многаго» (Либихъ: «Фр. Бэконъ Веруламскій и методъ естествознанія»). Вы натуралистъ. Передъ вами развертывается безконечная цѣпь явленій природы, но вы останавливаетесь на одномъ изъ звеньевъ этой цѣпи и тѣмъ самымъ задаете себѣ извѣтный частный вопросъ. Почему вы остановились именно передъ такимъ фактомъ, а не передъ другимъ и задали себѣ именно этотъ вопросъ, а не тотъ? Потому что накопленный вами до этого момента опытъ позволяетъ вамъ предугадать отвѣтъ, и существованіе предвзятаго мнѣнія сказывается уже въ томъ простомъ обстоятельствѣ, что вы обратили вниманіе на явленіе. «Даже въ наукѣ чисто опытной, —говоритъ Милль (Система логики),—необходимъ поводъ произвести одинъ опытъ предпочтительно передъ другимъ. Отвлеченно, пожалуй, всѣ произведенные опыты *могли бы* быть сдѣланы по одному побужденію узнать, что именно случится въ извѣстныхъ обстоятельствахъ, безъ всякаго предварительнаго предположенія относительно результата. Но на дѣлѣ эти неочевидные, тонкіе и часто затруднительные и скучные процессы опыта, бросившіе наибольшій свѣтъ на общій складъ природы, едва-ли были бы предприняты тѣми лицами, которыя ихъ исполнили, или въ то время, когда они ихъ исполнили, если бы не казалось, что отъ этихъ опытовъ зависитъ то, будетъ-ли принята или нѣтъ какая-либо общая теорія, предложенная, но еще не доказанная». Человѣкъ находитъ только то, что ищетъ, и если бы можно было предположить, что люди ничего не ищутъ, то они ничего и не нашли бы. Если человѣкъ аккуратно ведетъ свою умственную приходо-расходную книгу, если онъ угадалъ, что запасъ его знаній достаточенъ для отвѣта на заданный имъ себѣ вопросъ, – онъ побѣдилъ; если его прежнія знанія ошибочны, или ихъ недостаточно,—онъ побѣжденъ. Такъ побѣждены были метафизическія теоріи, гонявшіяся за невозможнымъ, задавшія себѣ такіе вопросы, на которые для человѣка нѣтъ отвѣта. Такъ побѣждены были Морей и авторъ «Metamerphosis naturalis», приступавшіе къ наблюденію съ предвзятымъ мнѣніемъ, основаннымъ на недостаточномъ знаніи. Такъ изъ двухъ микроскопистовъ, наблюдающихъ одно и то же явленіе, но придерживающихся различныхъ теорій, побѣжденъ, по крайней мѣрѣ, одинъ, а можетъ быть и оба. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ побѣда зависитъ не столько отъ обширности знаній, сколько отъ особенныхъ качествъ ума изслѣдователя. Что же касается до второго элемента предвзятаго мнѣнія, т.-е. до нравственнаго уровня, то не столь очевидный въ естествознаніи, онъ даетъ себя особенно чувствовать въ соціологіи. Такъ какъ здѣсь мы имѣемъ дѣло не только съ необходимымъ, но и съ желательнымъ, то въ поставляемыхъ нами себѣ цѣляхъ предвзятое мнѣніе необходимо осложняется нравственнымъ элементомъ. Кромѣ истинности, достаточной для естествоиспытателя, предвзятое мнѣніе соціолога должно отразить въ себѣ его идеалъ справедливости и нравственности, и, смотря по высотѣ этого идеала, онъ болѣе или менѣе приблизится къ пониманію смысла явленій общественной жизни. Едва только естествоиспытатель намѣтилъ явленіе, желая подвергнуть его наблюденію, воображеніе его уже комбинируетъ усвоеныя имъ предварительно данныя съ подлежащимъ изслѣдованію фактомъ, и онъ приступаетъ къ наблюденію съ готовымъ уже въ общихъ чертахъ рѣшеніемъ. Если предварительно усвоенныя данныя, стоятъ прочно, то и рѣшеніе его вѣрно; если нѣтъ – онъ находитъ птицу въ раковинѣ и человѣческое лицо на куколкѣ бабочки. Но для соціолога этого мало. Морей, добросовѣстно наблюдая «уточекъ», вслѣдствіе ложнаго предвзятаго мнѣнія, видѣлъ въ нихъ птицъ. Славянофилъ, положимъ, тоже добросовѣстно изучая до-петровскую Россію, вслѣдствіе не менѣе ложнаго предвзятаго мнѣнія, не видитъ въ ней тѣневыхъ сторонъ. Морею могли бы помочь только здравыя понятія о взаимной зависимости естестественыхъ фактовъ. Славянофила могли бы спасти отъ заблужденія не только трезвые взгляды на взаимную связь историческихъ явленій, но и общественный идеалъ болѣе высокій, нежели состояніе допетровской Руси, а для выработки такого идеала требуется извѣстный нравственный уровень. Объ этомъ, впрочемъ, еще рѣчь впереди, а здѣсь съ насъ довольно того факта, что предвзятое мнѣніе неизбѣжно играетъ весьма значительную роль въ нашихъ изслѣдованіяхъ, какъ бы мы безпристрастны ни были. Сѣтовать на это нечего, во-первыхъ, уже потому, что это неизбѣжно, а во-вторыхъ, потому, что если предвзятое мнѣніе ведетъ, весьма часто, къ неполнымъ и ошибочнымъ наблюденіямъ и умозаключеніямъ, то имъ же обуслов-

ливается и дальнѣйшее движеніе науки впередъ. Отказаться отъ предвзятаго мнѣнія, значитъ, отказаться отъ всего своего умственнаго и нравственнаго капитала, что и невозможно, и было бы не выгодно, если даже допустить возможность такого самоотреченія. Нужно только имѣть въ виду, что предвзятое мнѣніе должно, какъ говоритъ Спенсеръ, вытекать изъ установившихся и истинныхъ теорій.

Возращаясь опять къ вышеприведеннымъ ошибкамъ Спенсера, мы видимъ, что онѣ не менѣе грубы, чѣмъ ошибки Морея и автора «Metamorphosis naturalis», хотя первыя касаются не непосредственныхъ наблюденій. Морей наблюдалъ усоногихъ подъ вліяніемъ народнаго повѣрья, и нашелъ нѣчто невозможное. Но народное повѣрье составляло только ближайшую причину его заблужденія, и онъ не поддался бы ему, если бы не думалъ, что странная метаморфоза усоногаго въ птицу возможна; доступный ему кругъ фактовъ не опровергалъ этой возможности, и онъ поддался вліянію народнаго предразсудка. Точно также и Спенсеръ. Онъ разсуждаетъ о полезномъ и прекрасномъ и о задачахъ искусства съ заранѣе готовымъ рѣшеніемъ, что въ историческомъ порядкѣ прекрасное слѣдуетъ за полезнымъ, и что искусство не должно изображать жизнь и стремленія настоящаго времени. Если онъ при этомъ видитъ въ усоногомъ птицу, то, принимая въ соображеніе обычную силу его мысли, мы должны придти къ заключенію, что два указанныя предвзятыя мнѣнія примыкаютъ къ нѣкоторому болѣе основному заблужденію, лежащему въ самомъ корнѣ его міросозерцанія. Обстричь вѣтви дерева—штука нехитрая, и ужъ во всякомъ случаѣ отъ Спенсера мы могли бы этого ожидать. Другое дѣло срубить самое дерево. Поэтому, какъ въ заблужденіи Морея насъ въ особенности долженъ интересовать вопросъ: какимъ образомъ ученый могъ поддаться вліянію народнаго предразсудка?—такъ и относительно ошибокъ Спенсера главнымъ образомъ любопытно знать, почему въ умѣ его установилось мнѣніе о томъ, что искусство должно передавать только жизнь прошлаго, и установилось до такой степени прочно, что мѣшаетъ ему отличить птицу отъ усоногаго. Словомъ, мы должны предположить, что карточный домикъ «Пользы и красоты» есть только пристройка къ нѣкоторому не менѣе карточному, но болѣе обширному домику.

Этотъ обширный и карточный домикъ есть соціологическая теорія Спенсера, и на ней-то мы и остановимся. Мы займемся собственно только однимъ обобщеніемъ Спенсера, но обобщеніемъ весьма широкимъ, захватывающимъ наиболѣе дорогія для человѣка вѣрованія и убѣжденія,— подведеніемъ подъ одинъ и тотъ же масштабъ законовъ явленій природы и общественной жизни. Надо, впрочемъ, замѣтить, что аналогія между организмомъ естественнымъ и соціальнымъ, между развитіемъ органическимъ и общественнымъ прогрессомъ составляетъ одинъ изъ пунктовъ, наиболѣе интересующихъ Спенсера. Онъ возвращается къ ней при всякомъ удобномъ случаѣ не только почти во всѣхъ своихъ мелкихъ статьяхъ, но и въ «Основныхъ началахъ», и въ «Основаніяхъ біологіи» и въ опытѣ о воспитаніи, и на этой же идеѣ построена, безъ всякого сомнѣнія, его «Соціальная статика», въ русскомъ переводѣ еще не существующая. Законы соціальнаго прогресса составляютъ для него не болѣе, какъ частный случай общихъ, трансцендентныхъ законовъ развитія вообще, а потому читатель можетъ получить изъ нашей статьи понятіе не только о воззрѣніяхъ Спенсера на частный вопросъ первостепенной важности, но и объ одной изъ самыхъ любимыхъ общихъ идей его. Считаемъ, однако, нужнымъ замѣтить, что соціологическая теорія Спенсера есть Ахиллесова пятка его философіи, и каковъ бы ни былъ результатъ, къ которому мы придемъ, онъ отнюдь не долженъ быть распространенъ на всѣ выводы Спенсера. Ахиллесова же пятка эта требуетъ въ настоящемъ случаѣ весьма тщательнаго обслѣдованія, потому что нѣкоторыя особенности мышленія и изложенія Спенсера могутъ скрыть отъ читателя несостоятельность его воззрѣній на задачи соціологіи и его способовъ рѣшенія ихъ.

Спенсеръ излагаетъ свои мысли въ высшей степени спокойно и безстрастно, обставляетъ ихъ множествомъ примѣровъ изъ самыхъ разнообразныхъ отраслей и науки, и жизни, при чемъ обнаруживаетъ огромныя свѣдѣнія и располагаетъ свои примѣры чрезвычайно искусно. Эти-то свойства его аргументаціи дѣлаютъ ее чрезвычайно опасною, и въ особенности для насъ, русскихъ. Спенсеръ трактуетъ объ общественныхъ вопросахъ совершенно такъ же безстрастно, какъ о гипотезѣ туманныхъ массъ или о фазахъ развитія гидры. Мы къ этому не привыкли. Мы, къ счастію или къ несчастію, не доросли до объективнаго отношенія къ фактамъ общественной жизни, и субъективная точка зрѣнія сквозитъ въ каждой строкѣ какъ нашихъ собственныхъ политическихъ писателей, такъ и большей части тѣхъ иностранныхъ авторовъ, съ которыми мы до сихъ поръ знакомились. Поэтому, встрѣчаясь съ покойнымъ мыслителемъ, ищущимъ одной только голой и объективной истины, очевидно не подкапывающимся подъ чьи бы то ни было интересы, мы можемъ либо просто отвернуться отъ добытыхъ имъ, непріятныхъ для насъ истинъ, или же слѣпо увлечься ихъ истинностью. И то, и другое, разумѣется, прискорбно. Мы и безъ

того играемъ относительно Западной Европы роль кухарки, получающей отъ барыни по наслѣдству старомодныя шляпки. Въ то время, какъ мы еще дѣлимся на матеріалистовъ и спиритуалистовъ, передовая западная мысль, въ лицѣ Конта, Спенсера и проч., отрицаетъ и ту, и другую систему. Въ то время, какъ въ нашемъ обществѣ то и дѣло раздаются упреки передовымъ людямъ въ атеизмѣ, позитивизмъ называетъ атеистовъ «самыми нелогическими теологами» (выраженіе Конта и—совершенно независимо отъ него—одного изъ крайнихъ лѣвыхъ гегеліанцевъ). Легко можетъ быть, что нѣкоторые принципы позитивной соціологіи перейдутъ къ намъ тогда, когда они уже падутъ въ Западной Европѣ. Это тѣмъ болѣе вѣроятно, что, напримѣръ, въ соціологическихъ выводахъ Спенсера одна часть нашего мыслящаго общества можетъ увлечься грандіознымъ захватомъ явленій природы и общественной жизни въ руки одного великаго принципа; а другая—той научной санкціей, которую, повидимому, даетъ Спенсеръ существующему порядку. При томъ же онъ обладаетъ такими знаніями и такъ ловко пускаетъ ихъ въ ходъ, что читатель невольно поддается ему и видитъ въ его выводахъ только непреоборимую истину. Аргументація Спенсера обыкновенно располагается по тому же плану, какой мы видѣли въ статьѣ «Польза и красота». Онъ ставитъ положеніе, затѣмъ приводитъ возможно большее количество примѣровъ, подтверждающихъ его, и, наконецъ, выдвигаетъ раціональное основаніе своему выводу. Слѣдуя этому плану изложенія, Спенсеръ подавляетъ читателя массою пояснительныхъ примѣровъ, взятыхъ изъ самыхъ разнообразныхъ сферъ. Мысль его оказывается чрезвычайно широкою, и читатель, поддавшись обаянію этой ширины, не замѣчаетъ проскальзывающаго кое-гдѣ недостатка глубины. Онъ едва успѣваетъ слѣдить за авторомъ, легко и свободно переносящимся изъ одной области въ другую, и вездѣ оказывающимся у себя дома. А между тѣмъ, авторъ только самымъ поверхностнымъ образомъ захватываетъ эти области и, самъ увлеченный стройностью своей формулы, стремится главнымъ образомъ доказать ея всеобъемлемость. Поэтому, когда онъ, въ концѣ концовъ, обращается къ дедукціи для подтвержденія индуктивнымъ путемъ добытой формулы, старается связать ее причинно съ нѣкоторымъ болѣе общимъ фактомъ, ему приходится только перефразировать свой первоначальный выводъ, еще требующій по крайней мѣрѣ подтвержденія, если не доказательства, или же установить его на крайне шаткихъ основаніяхъ. Получается карточный домикъ, непрочности котораго читатель, находясь уже во власти мыслителя, легко можетъ не замѣтить.

II.

Что такое прогрессъ?

Выставивъ этотъ вопросъ, Спенсеръ замѣчаетъ, что слово «прогресъ» крайне неопредѣленно, потому что имъ обозначаются предметы чрезвычайно различные. Главное же неудобство этого слова состоитъ, по его мнѣнію, въ томъ, что съ нимъ связано телеологическое понятіе: «всѣ явленія разсматриваются съ точки зрѣнія человѣческаго счастія; только тѣ измѣненія считаются прогрессомъ, которыя прямо или косвенно стремятся упрочить счастіе человѣка, и считаются они прогрессомъ только *потому*, что способствуютъ этому счастію». Телеологическій смыслъ слова «прогрессъ» суживаетъ его значеніе, а потому «наша задача,—говоритъ, Спенсеръ,—состоитъ въ томъ, чтобы проанализировать различные классы измѣненій, обыкновенно называемыхъ прогрессомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и другіе классы, которые сходны съ ними, но прогрессомъ не считаются; при этомъ, мы хотимъ разсмотрѣть, въ чемъ состоитъ ихъ существенная природа, независимо отъ отношеній къ нашему благоденствію». (Основныя начала, 159). Такъ Спенсеръ и дѣлаетъ въ своемъ опытѣ «Прогрессъ, его законъ и причина», а, перенеся послѣдній почти цѣликомъ въ «Основныя начала», во избѣжаніе сбивчивости, даже замѣняетъ слово «прогрессъ» словомъ «развитіе» (evolution).

Итакъ, что такое развитіе? не развитіе человѣка или общества, животнаго или солнечной системы, дерева или человѣческаго языка, а развитіе вообще; каковы его трансцендентные законы? Для отвѣта на этотъ вопросъ Спенсеръ обращается прежде всего къ частному случаю,—къ развитію органическому. Открытія и изслѣдованія физіологовъ показали, что процессъ, которому подвергается яйцо при преобразованіи его въ животное, и сѣмя при переходѣ въ взрослое растеніе, состоитъ въ постепенномъ усложненіи. Бэръ формулировалъ законъ органическаго прогресса, какъ переходъ отъ простого къ сложному, отъ однороднаго къ разнородному, путемъ послѣдовательныхъ расчлененій или дифференцированій. Въ первую пору своего существованія зародышъ представляется относительно однороднымъ какъ по ткани, такъ и по химическому составу. Но съ теченіемъ времени въ немъ явственно обособляются сначала двѣ части, изъ которыхъ каждая дифференцируется въ свою очередь и т. д. Этотъ процессъ продолжается до тѣхъ поръ, пока организмъ достигнетъ, наконецъ, кульминаціонной точки своего развитія, т.-е. усложненія. Это широкое и вполнѣ научное обобщеніе Спенсеръ кладетъ въ основаніе обобщенія еще болѣе широкаго, хо-

тя какъ увидимъ, и не столь научнаго, какъ обобщеніе Бэра. «Законъ органическаго развитія,—говоритъ онъ,—есть законъ всякаго развитія. Касается ли дѣло развитія земли, или развитія жизни на ея поверхности, развитія общества, государственнаго управленія, промышленности, торговли, языка, литературы, науки, искусства,—всюду происходитъ то же самое развитіе отъ простого къ сложному путемъ послѣдовательныхъ дифференцированій. Начиная отъ первыхъ сколько-нибудь замѣтныхъ космическихъ измѣненій до позднѣйшихъ результатовъ цивилизаціи, мы находимъ, что превращеніе однороднаго въ разнородное есть именно то явленіе, въ которомъ заключается сущность прогресса».

Положеніе поставлено, и Спенсеръ начинаетъ, по обыкновенію, приводить многочисленные примѣры. Отъ развитія солнечной системы, очеркъ которой строится имъ на гипотезѣ туманныхъ массъ, онъ переходитъ къ геологическому развитію земли, къ развитію земной фауны и флоры, и затѣмъ, наконецъ, къ развитію рода человѣческаго, въ его индивидуальныхъ формахъ, расовыхъ и національныхъ группахъ и въ «соціальной организаціи».

Нынѣ существующіе дикіе народы и нѣкоторыя отрывочныя свидѣтельства исторіи рисуютъ намъ первобытную культуру достаточно удовлетворительно. Въ первобытномъ обществѣ раздѣленія труда почти не существуетъ. Оно можетъ быть не идетъ дальше спеціализаціи мужского и женскаго труда. Но затѣмъ каждый членъ общества является единовременно охотникомъ, рыбакомъ, оружейникомъ, воиномъ—словомъ, энциклопедистомъ по всѣмъ доступнымъ первобытному человѣку отраслямъ труда и знанія. Каждое семейство само удовлетворяетъ своими собственными силами всѣмъ своимъ потребностямъ. И потому, принимая въ соображеніе однородность физическихъ условій мѣстности, занятой кучкой первобытныхъ людей, мы видимъ, что вся эта кучка въ цѣломъ представляетъ почти идеальную однородность. Между членами ея нѣтъ большого различія въ занятіяхъ, въ уровнѣ интеллектуальнаго развитія, въ физической силѣ, въ организаціи. Но съ теченіемъ времени общество дифференцируется на управляющихъ и управляемыхъ. Сначала это различіе не имѣетъ слишкомъ рѣзкаго характера. Вожди, предводители, какъ и предводимые, сами рубятъ дрова и ходятъ на охоту, сами строятъ свое жалкое жилище и приготовляютъ луки и стрѣлы. Но зерно разнородности уже залегло въ дѣвственной почвѣ первобытнаго общества и скоро власть вождей обращается въ наслѣдственную. За вождями окончательно удерживается ихъ роль правителей, они перестаютъ работать сами, употребляя для этого рабовъ, пріобрѣтенныхъ войною или инымъ путемъ, а остающійся у нихъ такимъ образомъ досугъ идетъ на интеллектуальное развитіе. Своимъ чередомъ образуется власть духовная. Наше однородное общество распалось на управляющихъ и управляемыхъ, а управители—на управителей свѣтскихъ и духовныхъ. Общество стало разнороднѣе. На этой ступени дифференцированіе не останавливается, и, въ концѣ-концовъ, образуется въ высшей степени сложная организація управленія. Мы доходимъ до нынѣшняго конституціоннаго типа, въ которомъ болѣе или менѣе строго разграничиваются власти законодательная, исполнительная, судебная со всѣми ихъ развѣтвленіями: монархъ, министры, палаты, суды, казначейства, полиція, администрація губернская и уѣздная, департаменты, отдѣленія и т. д. Духовная власть, находившаяся первоначально въ рукахъ равныхъ между собою лицъ, распредѣляется съ теченіемъ времени между патріархами, митрополитами, архіепископами, епископами и т. д. Нравы и обычаи, подъ вліяніемъ различія общественныхъ положеній, также утрачиваютъ свою однородность. Наука, уже дифференцировавшаяся отъ религіи и философіи, сама дробится на множество вѣтвей. Въ то же время происходитъ быстрое дифференцированіе и въ средѣ управляемыхъ. Подъ вліяніемъ экономическаго раздѣленія труда въ тѣсномъ смыслѣ, они распадаются постепенно на множество классовъ, занятыхъ какимъ-нибудь однимъ спеціальнымъ дѣломъ; такъ что мы доходимъ, наконецъ, до того, что рабочій дѣлаетъ только булавочныя головки или одно изъ колесъ часового механизма. Въ концѣ-концовъ, трудно узнать первобытное однородное общество.

Далѣе Спенсеръ слѣдитъ за этимъ же переходомъ отъ однороднаго къ разнородному въ развитіи языка, письменности, искусствъ. Напримѣръ, поэзія, музыка и танцы составляли нѣкогда одно цѣлое. Израильтяне плясали и пѣли при сооруженіи золотого тельца. Пляска и игра на цимбалахъ сопровождали пѣніе торжественнаго Моисеева гимна на побѣду надъ египтянами. Въ Греціи, въ Римѣ и даже въ позднѣйшее время въ христіанскихъ странахъ хоръ плясалъ подъ музыку. Но теперь мы видимъ, что эти три отрасли искусства совершенно дифференцировались. Мы имѣемъ молчаливый балетъ, въ которомъ музыка не имѣетъ почти никакого значенія; у насъ есть опера, въ которой мы слушаемъ только музыку и пѣніе, или даже одно только пѣніе, и гдѣ поэзія, въ собственномъ смыслѣ, играетъ роль болѣе чѣмъ сомнительную. И это еще такія сферы, гдѣ связь между тремя первичными элементами наиболѣе сохранилась. Кромѣ того, переходъ отъ однороднаго къ разнородному сказывается не только въ отдѣленіи этихъ трехъ искусствъ другъ отъ друга, но и въ послѣдовательныхъ дифференцированіяхъ, черезъ кото-

рыя прошло каждое изъ нихъ. Древняя поэма дифференцировалась въ эпическую и лирическую. Первобытные ударные музыкальные инструменты въ родѣ барабана послѣдовательно замѣнились множествомъ струнныхъ и духовыхъ инструментовъ. Первобытный хороводъ, развиваясь, распался на безчисленное количество различныхъ танцевъ.

Подводя всему этому итогъ, Спенсеръ видитъ полное торжество своей формулы органическаго развитія, какъ прототипа всякаго развитія, какое мы себѣ только можемъ представить. Надо удивляться терпѣнію и искусству, съ которыми Спенсеръ, во всѣхъ возможныхъ явленіяхъ природы и общественной жизни, слѣдитъ за элементами своей индукціи. Это очень поучительныя страницы, которыя мы съ удовольствіемъ выписали бы цѣликомъ, если бы у насъ не было впереди дѣла поважнѣе.

Какъ бы ни была исполнена эта часть труда Спенсера, читатель уже изъ немногихъ приведенныхъ нами примѣровъ долженъ убѣдиться, что его обобщеніе есть обобщеніе чисто эмпирическое. Спенсеръ на этомъ не останавливается и установивъ индуктивнымъ путемъ законъ развитія, ищетъ затѣмъ его причину.

Какъ истый позитивистъ, онъ прямо отказывается уловить эту причину, какъ нуменъ, какъ «вещь въ себѣ» метафизиковъ. Онъ и здѣсь не идетъ дальше феноменальной стороны и только хочетъ свое эмпирическое обобщеніе поднять до уровня обобщенія раціональнаго. Если, разсуждаетъ онъ, переходъ однороднаго къ разнородному представляетъ до такой степени общее явленіе, то онъ долженъ быть связанъ съ какимъ-нибудь рядомъ извѣстныхъ намъ фактовъ, которые вслѣдствіе безконечнаго повторенія и ежедневнаго опыта, сами уже не требуютъ для себя доказательства, но могутъ быть признаны причиною развитія, т. е. перехода отъ однороднаго къ разнородному. Гдѣ же искать этой причины? Самое общее свойство всѣхъ видовъ развитія состоитъ въ томъ, что всѣ они представляютъ нѣкоторыя измѣненія, а слѣдовательно причина развитія должна корениться въ нѣкоторыхъ характеристическихъ чертахъ измѣненій вообще. Эти характеристическія особенности всякихъ измѣненій, общія всѣмъ имъ сводятся для Спенсера къ двумъ трансцендентнымъ законамъ. Первый изъ нихъ формулируется такъ: «Каждая дѣйствующая сила производитъ болѣе одного измѣненія, каждая причина производитъ болѣе одного дѣйствія», или въ болѣе отвлеченномъ видѣ: «всякое измѣненіе сопровождается болѣе нежели однимъ измѣненіемъ». Спенсеръ полагаетъ, что этотъ основной законъ измѣненій находится къ закону развитія въ такомъ же отношеніи, какъ законъ тяготѣнія къ законамъ Кеплера. Аргументація Спенсера на этомъ пунктѣ понятна и безъ тѣхъ многочисленныхъ примѣровъ, которыми онъ добросовѣстно обременяетъ свое изложеніе. Дѣло-то все въ томъ, что если каждое измѣненіе сопровождается болѣе нежели однимъ измѣненіемъ, то это должно вести все къ большему и большему усложненію результатовъ. Второй законъ, заключающій въ себѣ причину развитія, есть слѣдующій: «условія однородности суть условія неустойчиваго равновѣсія». Этотъ второй законъ Спенсеръ опять подтверждаетъ примѣрами изъ міра физическаго и соціальнаго. И тѣмъ завершается все зданіе, построенное такъ тщательно и съ такимъ искусствомъ, что подъ него, кажется, иголки не подточишь. Въ исходной точкѣ отброшены элементы, могущіе оказать вредное вліяніе на ходъ изслѣдованія; фактовъ собрано множество и методы индуктивный и дедуктивный взаимно пополняютъ и повѣряютъ другъ друга. Въ цѣломъ получается работа, повидимому, мастерская по тщательности отдѣлки деталей и по ширинѣ обобщенія, охватывающаго весь міръ отъ явленій астрономическихъ и геологическихъ до жизни и твореній человѣка.

Но если вы поближе вглядитесь въ это величественное, совершенно симметрическое и украшенное всевозможными орнаментами зданіе, то увидите, что, по отношенію къ занимающимъ насъ соціологическимъ вопросамъ, въ этомъ зданіи требуется сдѣлать весьма существенныя поправки, до такой степени существенныя, что послѣ нихъ дедуктивная сторона изслѣдованія окажется, по крайней мѣрѣ, безсодержательною, индуктивный процессъ неполнымъ и потому результаты его ошибочными, а исходная точка, тщательно охраняемая отъ вторженія телеологическаго элемента—ложною. Мы знаемъ, съ кѣмъ имѣемъ дѣло, мы не забыли, что Спенсеръ есть «одинъ изъ самыхъ мощныхъ дѣятелей, какихъ до сихъ поръ производила англійская мысль», и потому желали бы быть какъ можно сдержаннѣе и осторожнѣе. Да пошлетъ намъ судьба столько же терпѣнія и искусства, сколько она даровала Спенсеру для постройки его грандіознаго обобщенія, которому самъ онъ придаетъ весьма важное значеніе. Мы боимся главнымъ образомъ запутаться въ embarrass de richesses слабыхъ пунктовъ аргументаціи Спенсера.

Начнемъ съ конца, т. е. съ двухъ основныхъ законовъ причинно обусловливающихъ развитіе. Для уясненія ихъ значенія возьмемъ на удачу одинъ изъ многочисленныхъ примѣровъ, приводимыхъ Спенсеромъ для утвержденія ихъ индуктивнымъ путемъ. Вы зажигаете свѣчку, т. е. прилагаете къ фитилю ея силу нѣкоторой посторонней теплоты. Начинается рядъ разнообразныхъ химическихъ и физическихъ явленій: образуется углекислота, вода, появляется

свѣтъ, химическій процессъ развиваетъ теплоту, образуется струя разгоряченныхъ газовъ, новые токи воздуха; каждый изъ этихъ результатовъ даетъ новые, все болѣе сложные: углекислота, отдѣлившаяся при горѣніи, соединяется съ какимъ-нибудь новымъ основаніемъ или вновь разлагается, чтобы выдѣлить свой углеродъ листьямъ растеній и т. д. Такимъ образомъ,— разсуждаетъ Спенсеръ,—одна сила приложенной первоначально къ свѣчкѣ теплоты производитъ множество измѣненій, множество дѣйствій. Но она производитъ ихъ, очевидно,только благодаря разнородности среды и состава свѣчки и фитиля; не будь этой разнородности, и сила не произвела бы даже и одного дѣйствія. Эту послѣднюю комбинацію намъ, живущимъ уже въ готовой разнородной средѣ, которая и милліоны лѣтъ тому назадъ была уже разнородною, трудно себѣ представить. Но во всякомъ случаѣ очевидно, что количество измѣненій, производимыхъ нѣкоторою силою въ нѣкоторомъ тѣлѣ, обусловливается степенью разнородности какъ этого тѣла, такъ и окружающей среды. Уменьшая постепенно, съ одной стороны, разнородность тѣла, на которое непосредственно обращено дѣйствіе силы, и разнородность среды, въ которой происходитъ это дѣйствіе, мы будемъ получать все менѣе и менѣе сложные результаты; такъ что, дойдя до полной однородности, т. е. слитія среды съ тѣломъ, мы, пуская въ ходъ все ту же силу, не получимъ ни одного измѣненія. Эту комбинацію, повторяемъ, намъ трудно себѣ представить. Но возьмемъ простое химическое тѣло, не окисляющееся ни при какихъ извѣстныхъ намъ условіяхъ и, слѣдовательно, нѣкоторымъ образомъ уединенное до извѣстной степени отъ вліянія разнородности среды,—золото и подвергнемъ его дѣйствію одной силы высокой температуры. Мы получимъ только одно измѣненіе, или, по крайней мѣрѣ, только одинъ видъ измѣненій,—золото придетъ въ жидкое состояніе, т. е. въ немъ произойдетъ нѣкоторое перемѣщеніе частицъ. Возьмите, наоборотъ, тѣло разнородное, сложное химическое соединеніе—и сила высокой температуры въ обыкновенной воздушной средѣ произведетъ нѣсколько дѣйствій: тѣло, можетъ быть, расплавится, разложится, затѣмъ элементы его могутъ соединиться съ кислородомъ воздуха, и полученные такимъ образомъ окислы опять произведутъ какія-нибудь дѣйствія на окружающіе предметы. Но здѣсь мы имѣемъ, во-первыхъ, разнородное вещество, а во-вторыхъ, не одну силу теплоты, а кромѣ того, силу химическаго сродства. Такимъ образомъ, законъ — одна причина производитъ нѣсколько дѣйствій—долженъ быть въ сущности сведенъ къ истинѣ, гораздо менѣе широкой и гораздо менѣе цѣнной: нѣсколько причинъ производятъ нѣсколько дѣйствій. Съ извѣстной точки зрѣнія, вѣрна и первая формула; но такъ какъ законъ наростанія дѣйствій обусловливается присутствіемъ уже готовой разнородности среды, то вывести изъ него законъ развитія, какъ перехода отъ однороднаго къ разнородному нѣтъ никакой возможности. Причина производитъ болѣе одного дѣйствія только въ разнородной средѣ, а такъ какъ среда, въ которой мы живемъ и наблюдаемъ всевозможныя явленія, разнородна, то въ ней обыкновенно дѣйствительно имѣетъ мѣсто означенный законъ. Мы говоримъ «обыкновенно», потому что самая разнородность среды можетъ быть такъ подогнана, что сила произведетъ только одно дѣйствіе, или ни одного дѣйствія, или, наконецъ, нѣсколько силъ не произведутъ ни одного или только одно измѣненіе. Но за всѣмъ тѣмъ законъ развитія, какъ переходъ однороднаго въ разнородное, остается такимъ же эмпирическимъ закономъ, какимъ онъ былъ и до установленія перваго основного закона измѣненій Спенсеръ говоритъ: «если гипотеза туманныхъ массъ будетъ когда - нибудь подтверждена, намъ станетъ яснымъ, что вся вселенная вообще, такъ же, какъ и всякій организмъ, была нѣкогда однородна» (Опыты, I, 57). Если это когда-нибудь случится, то намъ станетъ вмѣстѣ съ тѣмъ совершенно неяснымъ, какимъ образомъ эта однородная вселенная распалась на существующій разнородный міръ. По крайней мѣрѣ, Спенсеровъ законъ измѣненій не поможетъ намъ здѣсь ни на волосъ. Въ этой однородной вселенной не было, конечно, разнородной среды, иначе она не была бы однородной вселенной, а Спенсеровъ основной законъ измѣненій справедливъ только для разнородной среды. Пусть въ разнородной средѣ однородное (собственно, болѣе или менѣе разнородное) переходитъ въ разнородное. Но, отправляясь отъ какого бы то ни было частнаго факта и постепенно восходя все выше и выше, мы всетаки натолкнемся на вопросъ: откуда же взялась разнородная среда? Задавая этотъ вопросъ, мы не приглашаемъ Спенсера стать на онтологическую точку зрѣнія и не становимся на нее сами. Мы не требуемъ отъ него объясненія генезиса вещей, не просимъ разсказать намъ, какъ и почему явилась однородная вселенная. Но какимъ образомъ однородная вселенная превратилась въ разнородную—это именно постановленная имъ себѣ задача. И, однако, его законъ измѣненій, при помощи котораго онъ рѣшаетъ эту задачу, имѣетъ мѣсто только уже при существованіи разнороднаго міра. Мы видимъ поэтому, что законъ, по которому всякое измѣненіе сопровождается болѣе нежели однимъ измѣненіемъ, будучи условно вѣренъ, отнюдь не можетъ служить доказательствомъ эмпирически найденной формулы развитія, какъ перехода отъ од-

нороднаго къ разнородному. Можетъ-ли быть найдено раціональное основаніе этой формулы, или она составляетъ для нашего ума предѣлъ, его же не прейдеши,—это другой вопросъ. Но Спенсеръ такого основанія не даетъ, и та доля истины, которая заключается въ его основномъ законѣ измѣненій, ничего по этому пункту не объясняетъ и не доказываетъ.

Къ тому-же результату приводитъ анализъ и другого закона Спенсера—неустойчивости однороднаго. Свой первый основной законъ Спенсеръ доказываетъ только индуктивнымъ путемъ, признавая его такимъ образомъ выраженіемъ конечнаго факта, который не можетъ быть сведенъ къ факту болѣе общаго характера; тогда какъ законъ неустойчивости однороднаго доказывается имъ и путемъ вывода, и путемъ наведенія. Вслѣдствіе этого безсодержательность этого второго закона выступаетъ ярче.—Какъ-бы хорошо ни были устроены вѣсы и какъ-бы ихъ ни старались предохранять отъ грязи, пыли и ржавчины, обѣ чашки невозможно удержать въ состояніи полнаго равновѣсія: онѣ будутъ постоянно колебаться и, слѣдовательно, усвоивать разнородныя отношенія; такимъ образомъ въ этомъ случаѣ однородное оказывается механически неустойчивымъ и стремится къ разнородности. Другой примѣръ. Нагрѣйте кусокъ металла такъ, чтобы онъ былъ раскаленъ равномѣрно по всѣмъ своимъ частямъ; когда этотъ раскаленный кусокъ металла начнетъ охлаждаться, то его первоначальная термическая однородность окажется неустойчивою, потому что наружные слои, охлаждаясь быстрѣе внутреннихъ, будутъ отъ нихъ отличаться, и т. д. Такъ или иначе, химическимъ путемъ или электрическимъ, механическимъ или термическимъ, но равновѣсіе однороднаго нарушается. Читатель, основываясь на этихъ примѣрахъ, подобранныхъ вообще очень ловко, можетъ придать закону Спенсера слишкомъ большое значеніе, можетъ даже забѣжать впередъ и, противополагая однородное разнородному, можетъ признать условія разнородности условіями устойчиваго равновѣсія. Дѣйствительно, если мы на одну изъ чашекъ вѣсовъ положимъ гирю, вслѣдствіе чего отношенія чашекъ будутъ разнородны, то коромысло приметъ нѣкоторое наклонное положеніе и вмѣстѣ съ тѣмъ чашки перестанутъ колебаться, т. е. равновѣсіе получится устойчивое. Но не трудно подобрать примѣры противоположнаго свойства, сравнивая, напримѣръ, устойчивость стола съ четырьмя ножками съ устойчивостью того же стола, когда одна изъ его ножекъ короче или совсѣмъ выдернута. Но не въ томъ дѣло. Спенсеръ, разумѣется, очень хорошо понимаетъ, что если однородное неустойчиво, то тѣмъ неустойчивѣе въ большинствѣ случаевъ должно быть разнородное, и разъясненіе этого обстоятельства необходимо для его собственной аргументаціи. За нѣсколько страницъ передъ установленіемъ закона устойчивости однороднаго, Спенсеръ трактуетъ о зависимости, существующей между степенью сложности химическихъ соединеній и ихъ устойчивостью предъ дѣйствіемъ высокой температуры. Простыя тѣла, неразложимыя наличными средствами химіи, обладаютъ *наибольшею устойчивостью*, они-же представляютъ и полную химическую *однородность*. Закиси, щелочи и земли, составъ которыхъ уже болѣе разнороденъ, менѣе устойчивы, нежели элементы, но представляютъ собой самыя устойчивыя изъ сложныхъ тѣлъ. Еще болѣе разнородныя окиси, перекиси и кислоты, затѣмъ соли, двойныя соли и т. д. представляютъ и большую неустойчивость. Эта пропорціональность между степенями неустойчивости и разнородности идетъ все crescendo, выражается все рѣзче и оканчивается на органическихъ соединеніяхъ, наиболѣе сложныхъ и наименѣе устойчивыхъ. «При равенствѣ другихъ условій,—заключаетъ Спенсеръ,—постоянство соединеній уменьшается по мѣрѣ возрастанія ихъ сложности», или, наоборотъ постоянство соединеній увеличивается по мѣрѣ ихъ упрощенія. Подобные факты, число которыхъ можетъ быть значительно увеличено (напримѣръ, видъ тѣмъ устойчивѣе, чѣмъ проще и однороднѣе организація составляющихъ его недѣлимыхъ), говорятъ скорѣе въ пользу существованія закона устойчивости однороднаго. Какъ только мы достигнемъ однородности вещества въ какомъ-нибудь отношеніи, напримѣръ въ химическомъ, такъ оно оказывается наиболѣе устойчивымъ, а слѣдовательно законъ неустойчивости однороднаго долженъ быть значительно суженъ. Но посмотримъ на доказательства Спенсера. Почему однородныя чашки вѣсовъ механически неустойчивы? Почему термически неустойчивъ кусокъ раскаленнаго металла? Потому, отвѣчаетъ Спенсеръ, что «разныя части какой-нибудь однородной агрегаціи подвергаются дѣйствію различныхъ силъ,—силъ, которыя отличаются или по роду своему, или по своимъ размѣрамъ. Будучи же подвергнуты дѣйствію разныхъ силъ, онѣ по необходимости будутъ и измѣняться различнымъ образомъ». Итакъ, для того, чтобы однородное оказалось неустойчивымъ, разныя части его должны быть подвергнуты дѣйствію разныхъ силъ, чего, разумѣется, можетъ и не быть. Но, собственно говоря, и этого мало: возможны такіе случаи, когда, и при дѣйствіи разныхъ силъ на разныя части однородной агрегаціи, она обнаруживаетъ замѣчательную устойчивость. Спенсеръ самъ приводитъ одинъ такой примѣръ, при чемъ даже очень наивно сознается въ безсодержательности

своего закона. Дѣло идетъ о нѣкоторыхъ простѣйшихъ животныхъ, именно о такъ называемыхъ Amoeba. Студенистое тѣло амебъ, за все время ихъ существованія, не обнаруживаетъ никакихъ дифференцированій, никакихъ признаковъ развитія или усложненія, слѣдовательно, тѣло амебы представляетъ однородную агрегацію, совершенно устойчивую и неимѣющую тенденціи къ разнородности. Это, говоритъ Спенсеръ, зависитъ отъ того, что форма амебъ безпрестанно и неправильно измѣняется: «то, что впослѣдствіи составитъ внутреннюю часть, выходитъ теперь наружу и, какъ временный членъ, прилипаетъ къ какому-нибудь предмету, котораго случайно коснулось; то, что теперь составляетъ часть поверхности, скоро будетъ втянуто, вмѣстѣ съ прилипшимъ къ ней атомомъ пищи, внутрь массы». «*Нечего ждать*,—заключаетъ Спенсеръ,—*какого-нибудь опредѣленнаго дифференцированія частей въ существахъ, не обнаруживающихъ никакой опредѣленной разницы въ положеніи своихъ частей*» (Опыты, I, 116). Но что такое само дифференцированіе?—«появленіе различія между двумя частями вещества» (Основныя начала, 159). Подставивъ это опредѣленіе въ подчеркнутую нами фразу, мы получимъ слѣдующее: «нечего ждать появленія опредѣленнаго различія частей въ существахъ, не обнаруживающихъ никакого опредѣленнаго различія въ положеніи своихъ частей». Неужели это доводъ въ пользу общности перехода отъ однородности къ разнородности? Неужели законъ неустойчивости однороднаго дѣйствительно относится къ закону развитія такъ, какъ законъ тяготѣнія относится къ законамъ Кеплера? Во всякомъ случаѣ многочисленныя и широкія исключенія изъ закона неустойчивости однороднаго даютъ намъ право скептически отнестись ко всѣмъ выводамъ Спенсера, вытекающимъ изъ этого принципа. Онъ говоритъ, напримѣръ: «Сообщите членамъ какого-нибудь общества одинаковыя свойства, положенія и силы, и они тотчасъ-же станутъ стремиться къ неравенству. Однородность, хотя-бы она и продолжалась съ виду, въ дѣйствительности неминуемо исчезнетъ» (Опыты I, 115). Можетъ быть, но Спенсеръ не доказалъ этого. Мало того, у него самого можно найти нѣкоторыя общія положенія, прямой выводъ изъ которыхъ наводитъ на діаметрально противоположныя соображенія. «Основныя начала» въ русскомъ изданіи еще не окончены, но вотъ ссылка на нихъ въ «Основаніяхъ біологіи»: «Въ Основныхъ началахъ было указано (§123), что при равенствѣ прочихъ условій несходныя единицы легче отдѣляются другъ отъ друга дѣйствующею на нихъ силою, нежели сходныя; что, дѣйствуя на единицы, представляющія мало различія, сила не легко разъединяетъ ихъ; но что разъединеніе совершается легко, если различіе между единицами значительно» (Основанія біологіи, 3). Это значитъ, что нѣкоторое цѣлое, состоящее изъ сходныхъ единицъ, т. е. цѣлое однородное, устойчивѣе другихъ цѣлыхъ, состоящихъ изъ единицъ несходныхъ. Исходя изъ этого принципа, слѣдуетъ заключить, что если бы намъ дѣйствительно удалось сообщить членамъ какого-нибудь общества одинаковыя силы, свойства и положенія, то это общество отличалось-бы замѣчательною устойчивостью; входящія въ составъ его совершенно сходныя единицы могли-бы разъединиться съ гораздо большимъ трудомъ, чѣмъ если-бы въ силахъ, положеніяхъ и свойствахъ ихъ была значительная разница. И если замѣчаніе Спенсера о стремленіи къ неравенству членовъ какого-бы то ни было общества согласно съ существующими фактами и можетъ быть подтверждено многочисленными примѣрами изъ исторіи человѣчества, то только потому, что въ дѣйствительности мы еще не видали такого соціальнаго строя, въ которомъ индивидуальные элементы находились-бы въ состояніи полнаго равновѣсія. О принципахъ такого идеальнаго строя намъ говорить не приходится, хотя далѣе и понадобится, вѣроятно, ихъ отчасти коснуться. Но для всякаго очевидно, что они должны тяготѣть къ однородности. И что-бы ни говорилъ Спенсеръ о неустойчивости однороднаго, онъ именно въ однородности долженъ искать основаній для устойчиваго общественнаго равновѣсія. Это видно уже изъ того, что въ числѣ признаковъ научнаго развитія древней Греціи онъ считаетъ «не только возрастающую ясность въ понятіи равенства, на которомъ основана соціальная наука, но и нѣкоторое признаніе того факта, что соціальная устойчивость зависитъ отъ поддержанія справедливыхъ учрежденій (I, 341). Положимъ, что справедливость есть терминъ, въ обиходномъ употребленіи довольно двусмысленный и даже многосмысленный, получающій значеніе только по той реальной подкладкѣ, которая подъ него кладется каждымъ вѣкомъ, каждымъ народомъ и каждымъ сословіемъ; и для ближайшаго опредѣленія смысла выраженія Спенсера слѣдуетъ подождать его «Соціальной Статики». Но если мы и теперь просто подставимъ конкретные факты въ цитированную выше отвлеченную формулу (изъ «Основныхъ Началъ»), то получимъ слѣдующее: если сила стремленія къ личному благосостоянію дѣйствуетъ на вполнѣ сходныя единицы, то антагонизма между ними быть не можетъ, тогда какъ та же сила, будучи приложена къ разнородному обществу, состоящему изъ единицъ несходныхъ, необходимо произведетъ въ нихъ борьбу и дальнѣйшее стремленіе къ неравенству. Спенсеру, при-

дающему такое значеніе аналогіи между организмомъ естественнымъ и общественнымъ, стоило бы, для пріисканія условій устойчиваго соціальнаго равновѣсія, только обратиться къ организаціи тѣхъ самыхъ амебъ, тѣло которыхъ не обнаруживаетъ никакого опредѣленнаго различія въ положеніи своихъ частей.

Въ концѣ-концовъ, къ закону неустойчивости однороднаго, какъ къ причинѣ развитія, приложимы тѣ же возраженія, какія имѣютъ мѣсто относительно перваго основного закона измѣненій. Положимъ, что въ существующемъ разнородномъ мірѣ однородное неустойчиво. Но оно неустойчиво только потому, что, во-первыхъ, имѣетъ различнымъ образомъ опредѣленныя части (что собственно исключаетъ понятіе однородности), а во-вторыхъ, на него дѣйствуютъ различныя силы, т. е. разнородность среды. Чѣмъ сходнѣе положеніе частей и чѣмъ менѣе среда разнородна, тѣмъ однородное устойчивѣе. И если мы представимъ себѣ, наконецъ, совершенно однородную вселенную, т. е. отсутствіе какъ различія въ положеніи ея частей, такъ и разнородной среды, то найдемъ ее непреодолимо устойчивой. Но даже, не поднимаясь до однородной вселенной, трудно признать философское значеніе за положеніемъ: разнородность есть причина перехода отъ однородности къ разнородности. Законъ неустойчивости однороднаго, объясненный такимъ образомъ, имѣетъ свою условную цѣну, но причинно связать съ нимъ законъ развитія нельзя подъ страхомъ впасть въ petitio principii. Можетъ быть, повторяемъ, законъ развитія есть фактъ конечный, выше котораго мы не въ состояніи подняться; можетъ быть, для объясненія міровыхъ явленій слѣдуетъ подступить къ нимъ съ какой-либо другой стороны, допускающей болѣе общій и удовлетворительный принципъ. Но во всякомъ случаѣ, два основные закона Спенсера недостаточны для объясненія развитія, какъ перехода отъ однороднаго къ разнородному. И слѣдовательно, первоначальное обобщеніе Спенсера не поднимается выше уровня эмпиріи, не связывается съ какимъ бы то ни было болѣе общимъ и очевиднымъ фактомъ, который можно бы было принять за причину развитія. Но если такъ, если законъ развитія, какъ перехода отъ однороднаго къ разнородному, есть законъ эмпирическій, справедливый только при существованіи извѣстныхъ условій, которыхъ можетъ и не быть, то можно представить себѣ цѣлый рядъ измѣненій, происходящихъ въ обратномъ порядкѣ, т. е. переходя отъ разнороднаго къ однородному. Этого и самъ Спенсеръ отрицать не можетъ, потому что въ числѣ обширныхъ поправокъ и дополненій, которыя онъ дѣлаетъ къ своему первоначальному изложенію хода всякаго развитія и о которыхъ рѣчь будетъ ниже,—онъ отводитъ значительное мѣсто процессу «интеграціи», т. е. процессу слитія, въ противоположность разъединительному процессу дифференцированія.

Если такъ неудачны попытки Спенсера доказать свой законъ развитія путемъ дедукціи, то нельзя того же сказать о его индуктивныхъ доказательствахъ. Здѣсь онъ развертываетъ всю свою громадную эрудицію, и даже монотонность и однообразіе его аргументаціи не утомляютъ читателя. Въ маленькомъ опытѣ «Граціозность» Спенсеръ чрезвычайно остроумно (впрочемъ, не ново, потому что объясненіе это дано еще Адамомъ Смитомъ въ «Теоріи нравственныхъ чувствъ») объясняетъ то пріятное чувство, которое въ насъ возбуждается зрѣлищемъ граціозныхъ движеній, граціозныхъ позъ, граціозныхъ формъ. Мы невольно раздѣляемъ всѣ мышечныя ощущенія, испытываемыя окружающими насъ людьми, а такъ какъ граціозныя движенія суть тѣ, которыя совершаются съ наибольшею экономіей силъ, наиболѣе легко и свободно, то и въ насъ видъ легкихъ и свободныхъ движеній возбуждаетъ пріятное чувство. Совершенно такое же пріятное состояніе духа овладѣваетъ читателемъ сочиненій Спенсера: онъ вполнѣ обладаетъ тѣмъ, что можно бы было назвать умственной граціозностью, что свидѣтельствуетъ какъ о силѣ его ума, такъ и объ обширности его познаній. Онъ не пріискиваетъ фактовъ для подтвержденія своихъ положеній и выводовъ: они точно сами одинъ за другимъ, въ стройномъ порядкѣ, длинной вереницей ложатся подъ его перо: вы не найдете тутъ и слѣдовъ какихъ нибудь усилій, какой нибудь нравственной или умственной муки, все ясно, свѣтло, все на своемъ мѣстѣ. Тѣмъ не менѣе и въ индуктивной части изслѣдованій прогресса есть одинъ слабый пунктъ, представляющій нѣчто въ высшій степени странное и вмѣстѣ съ тѣмъ въ столь же высокой степени поучительное. Этотъ пунктъ есть очеркъ соціальнаго развитія, который именно и составляетъ предметъ нашей статьи. То, что мы говорили до сихъ поръ, имѣетъ для насъ значеніе только по отношенію къ послѣдующему. Намъ нужно было расшатать нѣкоторыя основныя положенія Спенсера, служащія ему орудіемъ дедуктивнаго подтвержденія его формулы прогресса, для того, чтобы облегчить свою задачу: обнаружить основное соціологическое заблужденіе Спенсера и затѣмъ добраться до той исходной точки, которая его ввела въ заблужденіе.

Теперь мы можемъ обратиться къ самой формулѣ органическаго прогресса, какъ прототипа всякаго развитія, лишенной уже своего характера необходимости. Но прежде отмѣтимъ одно мелкое, но любопытное обстоятельство. Нѣсколько разъ обращаясь къ исторіи развитія общества, Спенсеръ вездѣ говоритъ

просто, что первая стадія этого развитія есть дифференцированіе на управляющихъ и управляемыхъ, но не упоминаетъ о томъ, какъ и вслѣдствіе какихъ причинъ произошло это распаденіе. Это обстоятельство можетъ ввести не совсѣмъ внимательнаго читателя въ заблужденіе и послужить для него подтвержденіемъ закона неустойчивости однороднаго. Воззрѣнія Спенсера на этотъ законъ крайне смутны и трудно формулируются. Въ одномъ случаѣ онъ объясняетъ его воздѣйствіемъ различныхъ силъ на различныя части вещества и слѣдовательно разнородностью среды. Въ другомъ, напротивъ, говоря о томъ, что первоначально совершенно однородная вселенная перешла къ разнородности, онъ устраняетъ присутствіе разнородной среды; и выходитъ такимъ образомъ, какъ будто бы однородное само по себѣ, независимо отъ окружающей среды, неустойчиво. Точно также и первобытное однородное общество вдругъ, безъ всякаго внѣшняго толчка, распадается на двѣ касты. Въ сущности дѣло такъ, разумѣется, произойти не могло, и категорія однороднаго, собственно говоря, при опредѣленіи первыхъ общественныхъ дифференцированій, должна быть оставлена совершенно въ сторонѣ. Говорить о первыхъ ступеняхъ общественнаго развитія мы можемъ только гипотетически, и какую бы гипотезу мы ни приняли, она необходимо устраняетъ понятіе однородности. Если мы остановимся на гипотезѣ завоеванія, то это будетъ столкновеніе двухъ разнородныхъ національныхъ элементовъ, изъ которыхъ одинъ обратится въ правящій классъ, а другой—въ управляемый. Если мы предположимъ, что дифференцированіе управляющихъ и управляемыхъ разрослось изъ отеческой власти,—то тѣмъ самымъ уже дана разнородность въ лицѣ болѣе опытнаго, физически сильнѣйшаго отца и менѣе опытныхъ и сильныхъ дѣтей и т. д. Это опять-таки ведетъ къ тому, что формула прогресса должна быть точнымъ образомъ выражена, какъ переходъ отъ менѣе разнороднаго къ болѣе разнородному. Для краткости и мы, впрочемъ, будемъ употреблять выраженіе: переходъ отъ однороднато къ разнородному, подразумѣвая указанныя выше ограниченія.

III.

Спенсеръ неоднократно цитируетъ «Исторію цивилизаціи» Гизо, почерпая изъ нея аргументы для своихъ выводовъ и сравненій. Но онъ, повидимому, просмотрѣлъ въ ней одно, не лишенное интереса указаніе, именно указаніе на то, что есть два вида прогресса: прогрессъ общества и личное развитіе человѣка; что эти два вида прогресса не всегда безусловно совпадаютъ и въ сумму цивилизаціи входятъ иногда неравномѣрно. Слово «прогрессъ» употребляется здѣсь въ общепринятомъ смыслѣ усовершенствованія на пути къ благу, въ смыслѣ, отъ котораго Спенсеръ отказывается, какъ отъ затрудняющаго изслѣдованіе. Каковы бы ни были заключенія и выводы Гизо, но въ его положеніи о двойственности прогресса есть своя доля правды. И какъ бы ни избѣгалъ Спенсеръ телеологическаго смысла слова «прогрессъ», въ его обзоръ всевозможныхъ видовъ развитія должна бы была войти либо оцѣнка и личнаго развитія, и развитія общественнаго, либо указаніе на совпаденіе этихъ двухъ видовъ прогресса. Общество, личность идеальная, какъ прекрасно и достаточно подробно показалъ Спенсеръ, развивается подобно организму: переходитъ отъ однороднаго къ разнородному, отъ простого къ сложному, постепенно расчленяясь и дифференцируясь. Прекрасно. Но что въ это время дѣлается съ личностью реальною,—съ членомъ общества? Испытываетъ ли онъ на себѣ тотъ же процессъ развитія по типу органическаго прогресса? Спенсеръ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ мимоходомъ, но утвердительно. Мы постараемся отвѣтить подробнѣе, но отвѣтимъ отрицательно.

Первобытное общество представляетъ въ цѣломъ массу почти совершенно однородную. Всѣ члены его занимаются одними и тѣми же дѣлами, обладаютъ одними и тѣми же свѣдѣніями, имѣютъ одни и тѣ же нравы и обычаи. Но каждый изъ нихъ, отдѣльно взятый, вполнѣ разнороденъ: онъ и рыбакъ, онъ и охотникъ, и пастухъ, онъ и лодки умѣетъ дѣлать, и оружіе, и жилище себѣ самъ строитъ и т. д. Словомъ, каждый членъ первобытнаго однороднаго общества совмѣщаетъ въ себѣ всѣ силы и способности, какія только могутъ родиться при тогдашнемъ уровнѣ культуры и мѣстныхъ физическихъ условіяхъ. Но вотъ происходитъ первое дифференцированіе общества на управляющихъ и управляемыхъ. Нѣсколько личностей являются извнѣ или обособляются изъ самой однородной массы и съ теченіемъ времени усваиваютъ образъ жизни,—отличный отъ образа жизни остальныхъ членовъ общества; предоставляютъ мускульный трудъ другимъ, а сами постепенно обращаются въ спеціалистовъ нервной дѣятельности. Общество сдѣлало шагъ отъ однородности къ разнородности, но входящія въ составъ его недѣлимыя перешли, напротивъ, отъ разнородности къ однородности. Мускульная система у однихъ стала развиваться въ ущербъ нервной системѣ, а у другихъ—наоборотъ. Прежде каждый членъ общества умѣлъ строить жилища и ловить звѣрей, а теперь одна половина ихъ отвыкла отъ этихъ занятій, но за то научилась управлять, лѣчить, гадать и т. д. Слѣдующій шагъ къ соціальной разнородности есть вмѣстѣ съ тѣмъ шагъ къ дальнѣйшей индиви-

дуальной спеціализаціи, т. е. однородности. Правящій классъ распадается на свѣтскихъ и духовныхъ правителей. Одни сосредоточиваютъ свои силы и способности главнымъ образомъ на войнѣ, а другіе на собственно интеллектуальной дѣятельности, въ предѣлахъ, допускаемыхъ уровнемъ культуры, и затѣмъ каждый изъ представителей того и другого подкласса избираетъ себѣ все болѣе и болѣе узкія спеціальности. Это есть усложненіе, увеличеніе разнородности общества въ цѣломъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ спеціализація, уменьшеніе разнородности въ каждомъ недѣлимомъ. Нѣкоторыя силы и способности отъ долгаго неупотребленія въ цѣломъ ряду поколѣній какъ бы атрофируются, перестаютъ дѣйствовать, и это отзывается, разумѣется, и на физической организаціи. Спенсеръ и самъ въ «Опытѣ о воспитаніи» (въ главѣ «Вырожденіе современныхъ поколѣній») указываетъ на это обстоятельство. Но тамъ онъ ошибается, какъ бы утверждая, что исторія сдѣлала скачекъ отъ исключительно физической дѣятельности первобытныхъ людей къ исключительно нервной дѣятельности современныхъ высшихъ классовъ. Эти двѣ фазы развитія смѣнили другъ друга постепенно, путемъ длиннаго ряда дифференцированій, совокупность которыхъ представляетъ, по мнѣнію Спенсера, соціальное развитіе или соціальный прогрессъ. Нельзя сказать, чтобы дѣятельность первобытныхъ людей исключительно состояла изъ физическаго труда. Это мнѣніе, весьма распространенное, въ сущности совершенно ложно. Если мы примемъ въ соображеніе неудовлетворительность первобытныхъ орудій для добыванія пищи, устройства жилища и т. д., тѣ опасности, среди которыхъ жилъ первобытный человѣкъ, то для насъ станетъ совершенно ясно, что мозгъ его долженъ былъ быть въ постоянномъ напряженіи, быть постоянно настороже, постоянно придумывать весьма трудныя для него комбинаціи, которыя въ настоящее время давно уже готовы и рѣшаются простымъ приложеніемъ механической силы. Умъ и тѣло человѣка первобытнаго работали единовременно и съ одинаковымъ напряженіемъ, и если мы, современные цивилизованные люди, не признаемъ этого, то только потому, что смотримъ на первобытное общество изъ прекраснаго далека, слишкомъ отъ него отличнаго. Современный цивилизованный человѣкъ, вообще говоря, физическаго труда не знаетъ, и потому ему кажется громаднымъ и всепоглощающимъ физическій трудъ первобытнаго человѣка; съ другой стороны, современный цивилизованный человѣкъ обладаетъ такимъ количествомъ знаній, что умственная работа дикаря представляется ему ничтожною. Придумать топоръ штука не хитрая, а вотъ дровъ нарубить такъ тяжело,—такъ разсуждаетъ современный цивилизованный человѣкъ, постоянно видящій топоры и никогда не рубящій дровъ. Естественно поэтому, что ему кажется, что мысль первобытнаго человѣка не работала вовсе, и что вся жизнь его сводилась на трудъ физическій. Первобытный человѣкъ, какъ членъ однороднаго общества, до того поворотнаго пункта, на которомъ рѣзко обозначилось раздѣленіе труда, былъ личностью цѣлостною, личностью, въ которой умственная и физическая стороны находились во взаимной гармоніи. Другое дѣло кругъ его умственной дѣятельности: онъ не былъ и не могъ быть обширенъ. Каждый изъ членовъ первобытнаго общества обладалъ такими же свѣдѣніями и понятіями, какъ и всѣ остальные, но всѣ они имѣли свѣдѣнія весьма ограниченныя. Поэтому въ однородной массѣ первобытнаго общества недѣлимыя были вполнѣ разнородны, насколько это допускалось условіями мѣста и времени. Горизонтъ дѣятельности ихъ былъ небольшой, но представлялъ полный кругъ, замкнутую линію. Они были полными носителями современной имъ культуры. Съ дифференцированіемъ общества на управляющихъ и управляемыхъ, съ дифференцированіемъ, обусловившимъ развитіе общества, т. е. переходъ общества отъ однороднаго и простого къ разнородному и сложному, началось нарушеніе цѣлостности отдѣльныхъ личностей и переходъ ихъ отъ разнороднаго къ однородному. Дальнѣйшія распаденія правящаго класса имѣютъ тотъ же двойственный характеръ: вызываютъ разнородность въ общественномъ строѣ и, напротивъ, однородность и односторонность въ отдѣльныхъ личностяхъ.

Сравнивая затѣмъ первобытное состояніе общества съ современнымъ состояніемъ низшихъ классовъ, мы придемъ къ тому же результату. Возьмите работу дикаря, съ одной стороны, и трудъ современнаго фабричнаго — съ другой. Дикарь собирается построить себѣ жилище. Онъ самъ выбираетъ годныя для его цѣли деревья, самъ валитъ ихъ, самъ свозитъ на мѣсто, самъ дѣлаетъ срубъ и доканчиваетъ хижину. Хижину онъ, положимъ, навѣрное слѣпилъ очень плохую, но не въ томъ дѣло. Во все время работы онъ жилъ полною жизнью. Въ то время, какъ онъ потѣлъ и надрывался въ лѣсу, онъ работалъ не только физически; выборъ деревьевъ, мѣста для провоза ихъ, мѣста для постройки,—все это требуетъ извѣстной умственной напряженности. Кромѣ того, во все время работы дикарь думаетъ о своей будущей жизни въ той хижинѣ, надъ постройкой которой онъ бьется, о тѣхъ удобствахъ, которыми украсится его жизнь и жизнь его семьи; на эти мысли его наводитъ каждый уголъ, каждая щель. Въ то же время онъ вноситъ въ планъ хижины свою убогую идею красоты и пускаетъ въ ходъ всѣ свои

скудныя физико-математическія знанія. Словомъ, дикарь живетъ во время работы всѣмъ существомъ своимъ. Совершенно противоположную картину представляетъ работа современнаго фабричнаго въ тѣхъ областяхъ труда, которыя подверглись наибольшому числу дифференцированій. Напримѣръ, производство карманныхъ часовъ, по Беббеджу, состоитъ изъ ста двухъ отдѣльныхъ операцій, по числу отдѣльныхъ частей часового механизма; такъ что изъ сотни людей, занятыхъ этимъ дѣломъ, каждый всю жизнь сидитъ надъ одними и тѣми же колесами или винтиками или зубчиками, и только мастеръ, складывающій разрозненныя части механизма, умѣетъ дѣлать что-нибудь, кромѣ своего спеціальнаго дѣла. Понятное дѣло, что это однообразіе занятія исключаетъ какую бы то ни было умственную дѣятельность, или, по крайней мѣрѣ, низводитъ ее до возможнаго minimum'а. Какъ говоритъ Шиллеръ: вѣчно возясь съ какимъ нибудь обрывкомъ цѣлаго, человѣкъ и самъ превращается изъ цѣлаго въ обрывокъ. Въ тульскомъ оружейномъ заводѣ раздѣленіе труда доведено до такой степени, что мастеръ не только всю жизнь свою дѣлаетъ собачки, или курки, или сверлитъ стволы, но передаетъ свое мастерство дѣтямъ по наслѣдству. Постоянное и однообразное занятіе естественно должно выразиться не усложненіемъ, а упрощеніемъ организаціи, должно провести въ организмѣ болѣе или менѣе глубокую, такъ сказать, борозду однородности, которая и безъ того, въ силу наслѣдственной передачи особенностей организма, можетъ усвоиться потомствомъ, а въ этомъ случаѣ естественный факторъ — наслѣдственность усиливается содѣйствіемъ соціальнаго фактора. Понятно поэтому, что въ ряду поколѣній тульскихъ оружейниковъ мы должны встрѣчать все большій и большій переходъ отъ разнородности къ однородности. Предки ихъ дѣлали все ружье, и потому должны были принимать въ соображеніе такія данныя, которыя совершенно ненужны и непригодны потомкамъ, только сверлящимъ стволы или дѣлающимъ курки. Поэтому предки были разнороднѣе потомковъ, и въ то же время появленіе этихъ спеціалистовъ-потомковъ способствовало увеличенію разнородности общества, т. е. его развитію.

Дѣлая свой очеркъ соціальнаго развитія, Спенсеръ ссылается на труды экономистовъ, въ которыхъ съ достаточною подробностью описывается переходъ промышленной организаціи отъ однородности къ разнородности при помощи раздѣленія труда. Но Спенсеръ какъ будто забываетъ при этомъ, что если не цеховые экономисты, то нѣкоторые изъ ихъ противниковъ не менѣе подробно разсматривали двойственное значеніе раздѣленія труда, именно свойство его, придерживаясь терминологіи Спенсера, увеличивать разнородность общества и вмѣстѣ съ тѣмъ уменьшать разнородность рабочаго. Это двойственное значеніе раздѣленія труда было замѣчено довольно давно. Уже Ксенофонтъ утверждалъ, что нѣкоторые промыслы развиваютъ односторонность въ трудѣ, отчего притупляется умъ, теряющій способность охватывать явленіе болѣе или менѣе широко. Отрывочныя указанія этого рода можно найти и у Платона, и у другихъ мыслителей древности. Въ новѣйшее же время заключающаяся въ раздѣленіи труда антиномія обращала на себя вниманіе весьма часто. Что касается до двойственнаго значенія раздѣленія труда въ области мысли, умственной дѣятельности, то въ числѣ указывающихъ на него мы можемъ напомнить такія имена, какъ Бокля, Конта, а пожалуй, отчасти даже и самого Спенсера. Въ сферѣ труда физическаго та сторона раздѣленія труда, которая упускается изъ виду экономистами, съ особеннымъ тщаніемъ разбиралась соціалистами. Наконецъ, не было недостатка и въ болѣе широкой точкѣ зрѣнія. «Въ Системѣ экономическихъ противорѣчій» Прудона антиномичность раздѣленія труда разработана съ обычною силою этого великаго мыслителя. Шиллеръ посвятилъ этому вопросу нѣсколько блестящихъ страницъ въ своихъ письмахъ «объ эстетическомъ развитіи человѣка». Токвиль прямо говоритъ, что «ничто болѣе раздѣленія труда не способствуетъ приниженію духовной дѣятельности человѣка» (La Democratie etc., I, 493). Въ прославившейся на святой Руси книгѣ добродушнаго и туповатаго буржуа Смайльса (ст. 290 перваго изданія) читатель найдетъ превосходную характеристику значенія раздѣленія труда, принадлежащую, впрочемъ, не самому Смайльсу. Словомъ, вопросъ этотъ не только давнымъ-давно поставленъ, но съ фактической стороны уже и рѣшенъ людьми всѣхъ возможныхъ партій. Спенсеръ могъ уклониться отъ выраженія сочувствія или несочувствія къ субъективной и телеологической сторонѣ выводовъ вышеприведенныхъ изслѣдователей, но заявленный ими фактъ стоитъ твердо и непоколебимо и не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію: раздѣленіе труда ведетъ общество, агрегатъ недѣлимыхъ, отъ однородности къ разнородности, а отдѣльныхъ индивидуумовъ, наоборотъ, отъ разнородности къ однородности. Экономисты, на которыхъ ссылается въ этомъ случаѣ Спенсеръ, игнорируютъ этотъ фактъ, но съ ихъ спеціальной точки зрѣнія (а эта точка зрѣнія сама представляетъ результатъ раздѣленія труда въ области мысли) фактъ этотъ дѣйствительно незамѣтенъ. Спенсеръ же ставитъ вопросы такъ широко, даже такъ слишкомъ широко, что необходимо долженъ былъ пополнить этотъ недосмотръ. Добросовѣстнѣйшіе политико-экономы сами

сознаются (хотя на дѣлѣ часто забываютъ это), что ихъ точка зрѣнія чисто условная, что истины, добываемыя ими, только приблизительны, что «потомъ приближеніе должно быть исправлено принятіемъ въ разсчетъ дѣйствій тѣхъ побужденій другого рода (т. е. побужденій, не могущихъ быть сведенными къ желанію богатства, на которомъ политическая экономія строитъ свои выводы), о которыхъ можетъ быть показано, что они вліяютъ на результатъ въ отдѣльномъ данномъ случаѣ» (Милль). А такъ какъ нельзя быть въ одно и то же время судьей, отвѣтчикомъ, прокуроромъ и адвокатомъ, то политической экономіи, усвоившей извѣстную спеціальную точку зрѣнія на явленія общественной жизни, весьма трудно дать требуемыя въ этомъ случаѣ поправки. Но если великъ недосмотръ экономистовъ, безданно и безпошлинно пропускающихъ принципъ раздѣленія труда въ томъ видѣ, какъ его поставилъ Адамъ Смитъ, то тѣмъ поразительнѣе недосмотръ Спенсера. Онъ смотритъ на весь міръ съ высоты философскаго паренія, и тѣмъ не менѣе кладетъ во главу угла не только промышленной организаціи, какъ это дѣлаютъ экономисты, а всего общественнаго и даже мірового строя принципъ раздѣленія труда въ его сыромъ и непереваренномъ видѣ. Къ ученію экономистовъ Спенсеръ находитъ нужнымъ сдѣлать только одно дополненіе, въ сущности уже отмѣченное самими экономистами. «Долго спустя послѣ того, какъ произошелъ уже значительный прогрессъ въ раздѣленіи труда между различными классами рабочихъ, — говоритъ онъ, — незамѣтно еще было почти никакого раздѣленія труда между отдѣльными частями общины: народъ продолжалъ быть сравнительно однороднымъ въ томъ отношеніи, что въ каждой мѣстности отправляются одни и тѣ же занятія. Но по мѣрѣ того, какъ дороги и другія средства перемѣщенія становятся многочисленнѣе и лучше, различныя мѣстности начинаютъ усваивать себѣ различныя отправленія и становятся во взаимную зависимость. Бумагопрядильная мануфактура помѣщается въ одномъ графствѣ, суконная — въ другомъ; шелковыя матеріи производятся здѣсь, кружева — тамъ; чулки въ одномъ мѣстѣ, башмаки — въ другомъ; горшечное, желѣзное, ножовое производства избираютъ себѣ, наконецъ, отдѣльные города, и въ заключеніе каждая мѣстность становится болѣе или менѣе отличною отъ другихъ, по главному роду своего занятія». Конечно, всѣ эти дифференцированія способствуютъ переходу общества отъ однородности къ разнородности, но роковая двойственность раздѣленія труда сказывается и здѣсь: часть мѣстности, занимаемой обществомъ, положимъ, городъ совмѣщалъ въ себѣ прежде весьма разнообразные промыслы, но въ силу соціальныхъ дифференцированій изъ него выдѣляются мало-по-малу различныя вѣтви промышленности, и къ тому времени, когда въ немъ остается только разросшееся горшечное или ножовое производство, — городъ сталъ однообразенъ, перешелъ отъ разнородности къ однородности. Возьмемъ еще одинъ примѣръ — изъ области искуства. Первобытный человѣкъ, чувствуя радость при какомъ-нибудь пріятномъ для него случаѣ, совершенно такъ же, какъ современый ребенокъ, прыгаетъ, возвышаетъ голосъ и бьетъ рукой по какой-нибудь попавшейся ему вещи, способной издавать болѣе или менѣе гармоническіе звуки. Если волненіе, испытываемое при этомъ человѣкомъ, очень сильно, то тройное сочетаніе ритма въ рѣчи, въ звукѣ и въ движеніи получаетъ значительное развитіе, и человѣкъ пляшетъ, поетъ и играетъ. Умеръ у первобытнаго человѣка ребенокъ, — онъ точно также выражаетъ свое горе, единовременно пуская въ ходъ свой голосъ и мѣрно раскачивая туловище или голову. Собирается онъ на войну — и его возбужденное состояніе выразится также единовременно въ воинственной музыкѣ, въ воинственномъ пѣніи и въ воинственныхъ тѣлодвиженіяхъ. Такимъ образомъ, въ этомъ отношеніи первобытное общество значительно приближается къ полной однородности: всѣ члены его одинаково выражаютъ свои страсти. Но каждый изъ нихъ выражаетъ свои чувства вполнѣ разнородно, всѣми доступными ему средствами. Съ теченіемъ времени нарушаются какъ первобытная однородность общества, такъ и первобытная разнородность недѣлимаго, и факты эти идутъ совершенно параллельно, потому что они представляютъ только двѣ различныя стороны одного и того же явленія. На какомъ нибудь современномъ музыкально-танцовальномъ вечерѣ вы встрѣчаете весьма разнообразно составленный оркестръ музыкантовъ, неподвижно играющихъ какую-нибудь задорно веселую пьесу, множество молчаливо кружащихся паръ, а въ сосѣдней комнатѣ пѣвца, поющаго на языкѣ, непонятномъ для присутствующихъ. Общество стало, безъ всякаго сомнѣнія, разнороднѣе вслѣдствіе того, что въ немъ явились спеціалисты-музыканты, пѣвцы, танцоры и поэты, тогда какъ прежде были просто люди, въ извѣстные моменты жизни единовременно пляшущіе, поющіе и играющіе. Сталъ разнороднѣе и языкъ страстей и душевныхъ движеній вообще, но отдѣльно взятые молчаливые танцоры и неподвижные музыканты, очевидно, перешли отъ разнородности къ однородности. Они стали однороднѣе уже потому, что выражаютъ свое возбужденное состояніе однимъ какимъ-нибудь способомъ. Далѣе, если они посвятили себя спеціальной разработкѣ этого способа и находятъ въ немъ средство существованія,

то по мѣрѣ того, какъ они все глубже и глубже уходятъ въ музыку или пѣніе, въ нихъ все больше и больше глохнутъ способности и силы, для ихъ цѣли ненужныя и потому неразвиваемыя. Наконецъ, они стали однороднѣе еще въ одномъ отношеніи, обусловливающемся дифференцированіемъ труда и наслажденія, которымъ необходимо сопровождаются соціальныя дифференцированія. Но эту послѣднюю сторону вопроса мы пока оставимъ подъ спудомъ, такъ какъ она слишкомъ близко связана съ телеологическимъ смысломъ слова «прогрессъ», а этотъ элементъ заранѣе устраненъ Спенсеромъ. Какъ мы видѣли, онъ понимаетъ подъ прогрессомъ или развитіемъ не усовершенствованіе или улучшеніе, а просто послѣдовательный рядъ измѣненій, каковы бы ни были ихъ результаты по отношенію къ человѣческому счастію. Становясь опять-таки на эту его точку зрѣнія, мы всетаки встрѣчаемъ странный пробѣлъ въ его выводахъ и разсужденіяхъ, не менѣе странный, чѣмъ тотъ, который мы отмѣтили въ статьѣ «Польза и красота». Сравнивая тѣ и другіе промахи, мы найдемъ между ними значительное сходство. Мы видѣли, что Спенсеръ, указывая искусству области, откуда оно должно брать для себя темы, видѣлъ только, такъ сказать, динамическіе соціальные контрасты, контрасты во времени, и какъ будто закрывалъ глаза передъ соціальными контрастами въ пространствѣ; мы видѣли также, что логически онъ не имѣлъ на это никакого права, и удивлялись его странной слѣпотѣ. Въ его теоріи соціальнаго развитія забыты и недостаточно оцѣнены тѣ же контрасты въ пространствѣ, и опять-таки онъ дѣлаетъ при этомъ логическую ошибку. Дѣло идетъ о томъ, чтобы доказать, что всякое развитіе происходитъ по типу развитія органическаго, т. е. переходитъ изъ простого и однороднаго къ сложному и разнородному путемъ послѣдовательныхъ дифференцированій. Все идетъ какъ по маслу вплоть до очерка развитія соціальнаго. Здѣсь оказывается, что если общество и испытываетъ рядъ измѣненій, подобныхъ измѣненіямъ развивающагося организма, то входящія въ составъ его недѣлимыя измѣняются по направленію, какъ разъ противоположному. Спенсеръ этого не замѣчаетъ. Онъ какъ будто не видитъ, что дифференцированіе труда физическаго, умственнаго, дифференцированіе общества на рѣзко отличные классы, дифференцированіе вознагражденія за трудъ на прибыль и заработную плату, дифференцированіе жизни на трудъ безъ наслажденія и наслажденіе безъ труда и т. д.— что всѣ эти дифференцированія, способствуя переходу общества отъ однородности къ разнородности, въ то же время способствуютъ переходу недѣлимыхъ отъ разнородности къ однородности. Невозможно предположить, чтобы Спенсеръ, такъ широко захватывающій явленія, ни разу не наткнулся во все время своего изслѣдованія на эту сторону вопроса. Она пахнетъ трудовымъ потомъ, кровью, горемъ и страданіемъ, и потому соціологическое чутье легко можетъ открыть ее. Но, даже совершенно отстраняясь отъ оцѣнки гнета, которымъ ложится фактъ на человѣчество, можно всетаки увидѣть самый фактъ, и Спенсеръ, дѣйствительно, видѣлъ его, подошелъ къ нему вплотную, но придалъ ему весьма второстепенное значеніе.

Рядомъ съ процессомъ дифференцированія въ актѣ развитія, по Спенсеру, имѣетъ мѣсто процессъ интеграціи, въ сущности представляющій только другую сторону перваго процесса. Напримѣръ, Спенсеръ указываетъ на то, что слой желчныхъ клѣточекъ, составляющій зачатокъ печени, «не только становится отличнымъ отъ кишечной стѣнки, на которой онъ лежитъ вначалѣ, но въ то же самое время отдѣляется отъ нея и слагается въ органъ». Въ цѣломъ это явленіе представляетъ обособленіе органа, но въ немъ можно различать двѣ части: процессъ, которымъ желчныя клѣточки получаютъ характеръ, отличный отъ нѣкоторыхъ свойствъ кишечной стѣнки, есть процессъ дифференцированія, перехода отъ однороднаго къ разнородному; другой процессъ состоитъ въ томъ, что желчныя клѣточки сливаются въ одинъ органъ,— это процессъ интеграціи, перехода отъ разнородности къ однородности. Очевидно, что эти два процесса неотдѣлимы одинъ отъ другого, что они взаимно пополняются, и что тамъ, гдѣ есть одинъ, долженъ быть непремѣнно и другой. Словомъ, если развитіе есть переходъ отъ однороднаго къ разнородному, то развитіе цѣлой агрегаціи можетъ совершаться только на счетъ ея составныхъ частей, которыя при этомъ переходятъ отъ разнородности къ однородности. Какія же соціологическія приложенія этого въ высшей степени важнаго принципа мы найдемъ у Спенсера? А вотъ какія: «Соединеніе младшихъ и ихъ дѣтей подъ начальствомъ старшихъ и ихъ дѣтей; установленіе различныхъ группъ вассаловъ, изъ которыхъ каждая подчинялась особому барону; подчиненіе группъ низшихъ дворянъ герцогамъ и графамъ; наконецъ, еще болѣе позднее установленіе королевской власти надъ герцогами и графами» - вотъ нѣкоторые примѣры соціальной интеграціи. Мы опять-таки видимъ, что въ цѣломъ каждое изъ этихъ явленій представляетъ обособленіе функцій, но при этомъ возникновеніе, напримѣръ, королевской власти можетъ быть разсматриваемо, съ одной стороны, какъ результатъ дифференцированія общества а съ другой — какъ продуктъ интеграціи, такъ какъ герцоги и графы уже тѣмъ самымъ, что

повинуются одному владыкѣ и отказались отъ части своихъ правъ,—перешли отъ разнородности къ однородности. Но всѣ эти неважныя, мелкія частности совершенно блѣднѣютъ передъ роковымъ вопросомъ, на который нѣтъ отвѣта у Спенсера. Если всякое развитіе цѣлаго можетъ совершаться только на счетъ развитія частей, если во всякомъ частномъ актѣ развитія существуютъ два элемента: одинъ активный, прогрессирующій, переходящій отъ однородности къ разнородности, и другой пассивный, такъ сказать, жертва развитія, переходящій отъ разнородности къ однородности,—то какъ отзывается развитіе общества на судьбѣ его членовъ? Отвѣтъ ясенъ: если общество переходитъ отъ однородности къ разнородности, то соотвѣтствующимъ этому переходу процессомъ интеграціи граждане общества должны переходить отъ разнородности къ однородности. Словомъ, прогрессъ индивидуальный и развитіе общества (по типу органическаго развитія) взаимно исключаются, какъ взаимно исключаются развитіе органовъ и развитіе недѣлимаго. Чѣмъ проще, спеціальнѣе органы, тѣмъ вся организація недѣлимаго разнороднѣе и, такъ сказать, энциклопедичнѣе, и наоборотъ. Точно такъ, чѣмъ разнороднѣе общество, тѣмъ уже поле развитія его членовъ и тѣмъ они однороднѣе. Въ нѣкоторыхъ частныхъ областяхъ, именно въ области экономическихъ явленій, эта двойственность замѣчена давно. Но Спенсеръ воспользовался только одной стороной экономическаго анализа и вовсе не воспользовался своимъ собственнымъ, чрезвычайно яркимъ, сопоставленіемъ процессовъ дифференцированія и интеграціи. А между тѣмъ, анализируя процессъ соціальнаго развитія, онъ необходимо долженъ былъ обратить вниманіе на это обстоятельство и придать ему такое значеніе, какого оно не имѣетъ ни въ какомъ другомъ порядкѣ фактовъ. Дѣйствительно, если органъ и представляетъ жертву развитія недѣлимаго, если онъ и интегрируется въ то время, какъ недѣлимое дифференцируется, то это дѣло вполнѣ законное, потому что органъ, строго говоря, есть всегда часть и только путемъ отвлеченія можетъ разсматриваться какъ цѣлое. Но недѣлимое есть, наоборотъ, всегда цѣлое и можетъ разсматриваться какъ часть въ виду только нѣкоторыхъ спеціальныхъ цѣлей. Поэтому оно не можетъ приноситься въ жертву развитію идеальнаго цѣлаго, каково общество. И, если это общество развивается по типу органическаго прогресса, т. е., переходя отъ однородности къ разнородности, т. е., дробясь на классы, подклассы и т. д., то, непосредственно исходя изъ закона Бэра, мы должны признать такое явленіе патологическимъ, а не нормальнымъ развитіемъ, потому что недѣлимое при этомъ переходитъ отъ разнородности къ однородности, т. е. регрессируетъ. Чего хотятъ сторонники такъ называемаго женскаго (а въ сущности въ такой же мѣрѣ и мужского) вопроса? Они требуютъ для женщинъ расширенія умственнаго горизонта и извѣстнаго участія въ общественныхъ дѣлахъ, т. е. индивидуальной разности, которая должна отозваться на обществѣ уменьшеніемъ его разнородности, ибо до извѣстной степени сглаживаетъ разницу между мужчинами и женщинами. Чего хотятъ ихъ противники? удержать statu quo, т. е. односторонность женщины и разнородность общества. Въ чемъ состоятъ реформы нынѣшняго царствованія? — въ уменьшеніи общественной разнородности и въ усиленіи разнородности индивидуальной. Чего добиваются аболиціонисты?—сглаженія различій между бѣлымъ и цвѣтнымъ населеніемъ, т. е. соціальной однородности, и вмѣстѣ съ тѣмъ расширенія правъ цвѣтного народа и поднятія его нравственнаго и умственнаго уровня, т. е. индивидуальной разнородности. Словомъ, всякій общественственный вопросъ поднимается въ обѣихъ этихъ формахъ сразу, потому что всегда и вездѣ дифференцированіе общества, какъ цѣлаго, сопровождается интеграціей гражданъ, какъ частей. Спенсеръ какъ будто не замѣчаетъ этого. Сопоставляя этотъ промахъ съ запрещеніемъ искусству передавать жизнь и дѣла своего времени, мы должны придти къ заключенію, что источникъ того и другого заблужденія одинъ и тотъ же. И тамъ, и здѣсь Спенсеръ упускаетъ изъ виду одно и то же. И это нѣчто, игнорируемое имъ такого свойства, что читатель можетъ подумать, что онъ имѣетъ дѣло съ заклятымъ поборникомъ тьмы, съ однимъ изъ тѣхъ людей которые, подъ видомъ погони за истиной, защищаютъ сознательно и злонамѣренно все существующее, насколько оно для нихъ оказывается выгоднымъ. Если бы дѣло было только въ этомъ, то наша задача была бы очень проста, до такой степени проста, что совѣстно бы было даже возиться съ ней такъ долго. Но ниже мы приведемъ нѣкоторыя выписки изъ Спенсера, которыя должны совершенно изгладить изъ ума читателя столь невыгодное и позорное мнѣніе объ авторѣ, если оно уже въ немъ зародилось. Если даже предположить, что корень ошибокъ Спенсера лежитъ въ его нравственномъ складѣ, то къ нему нельзя подступать съ грубымъ масштабомъ, на которомъ обозначены только аршинныя мѣрки безчестности, сознательной лжи и пр. Дѣло во всякомъ случаѣ въ болѣе тонкихъ и неуловимыхъ оттѣнкахъ нравственнаго и умственнаго характера.

IV.

Чтобы исчерпать промахъ Спенсера до дна, посмотримъ на устанавливаемую имъ аналогію

между организмомъ и обществомъ. Параллель между организмомъ естественнымъ и соціальнымъ не новость. Кромѣ Платона и Гоббза, о которыхъ говоритъ Спенсеръ, безчисленное множество всякаго рода мыслителей и писателей трактовали объ этомъ предметѣ. Мы напомнимъ только Шеллинга, Гете, затѣмъ цѣлую нѣмецкую юридическую такъ называемую «органическую» школу, наконецъ, множество частныхъ сравненій между обществомъ и недѣлимымъ, напримѣръ, избитое уподобленіе исторіи общества дѣтству, молодости, зрѣлости и смерти недѣлимаго и т. д. Какъ-то недавно намъ попался подъ руку старый нумеръ «Библіотеки для Чтенія», а въ немъ статья «Идея организма», гдѣ покойникъ Эдельсонъ тоже что то въ этомъ родѣ хотѣлъ выразить. Но всѣ эти попытки были или слишкомъ туманны и неопредѣленны, или ужъ слишкомъ нелѣпы, и, наконецъ, проходили совершенно безслѣдно, вслѣдствіе очевидной произвольности построенія. Теперь идея соціальнаго организма начинаетъ поднимать голову въ совершенно иномъ видѣ. Прежде она систематически разрабатывалась главнымъ образомъ натуръ-философами и юристами, и если попадалась гдѣ-нибудь въ другомъ мѣстѣ, то большею частью только какъ болѣе или менѣе удачная метафора. Теперь же систематическое развитіе идеи соціальнаго организма принимаютъ на себя такіе люди какъ Дрэперъ, Спенсеръ, люди, обладающіе значительными знаніями въ сферѣ точныхъ наукъ, привыкшіе къ здравому и трезвому мышленію. Вслѣдствіе этого идея соціальнаго организма получаетъ особенный интересъ; при томъ же, едва ли не впервые она проводится ясно и послѣдовательно, вслѣдствіе чего становится возможнымъ уловить ея суть.

Спенсеръ начинаетъ короткимъ общимъ обзоромъ пунктовъ сходства и различія между обществами и индивидуальными организмами. Пунктовъ сходства онъ указываетъ четыре. Во-первыхъ, какъ общества, такъ и организмы, начинаясь соединеніемъ небольшого числа частей, постепенно такъ увеличиваются въ объемѣ, что нѣкоторые изъ нихъ достигаютъ размѣра, въ десять тысячъ разъ болѣе первоначальнаго. Во-вторыхъ, и тѣ, и другіе развиваются по одному типу, переходя отъ простого къ сложному. Въ-третьихъ, и въ тѣхъ, и въ другихъ постепенно развивается взаимная зависимость частей, такъ что, наконецъ, жизнь и дѣятельность каждой части обусловливаются жизнью и дѣятельностью остальныхъ частей. Въ-четвертыхъ, элементы организма и общества рождаются, развиваются, дѣйствуютъ и умираютъ каждый самъ по себѣ; между тѣмъ какъ цѣлое продолжаетъ жить и переживаетъ одно поколѣніе элементовъ за другимъ. Эти пункты сходства представляются Спенсеру весьма значительными и важными тогда какъ, наоборотъ, пункты различія—гораздо менѣе рѣзкими. Ихъ тоже четыре. Во-первыхъ, организмы имѣютъ специфическія внѣшнія формы, тогда какъ общества ихъ не имѣютъ. Но это различіе сглаживается, по мнѣнія Спенсера, какъ неопредѣленностью формъ нѣкоторыхъ низшихъ животныхъ, такъ и тѣмъ, болѣе общимъ фактомъ, что внѣшняя форма организмовъ и обществъ «зависитъ отъ окружающихъ условій». Надо правду сказать, что это уже слишкомъ общій фактъ, потому что внѣшняя форма неорганическихъ тѣлъ точно также зависитъ отъ окружающихъ условій. Гораздо остроумнѣе соображенія, противополагаемыя Спенсеромъ второму и третьему пунктамъ различія. Живые элементы общества не образуютъ такой сплошной массы, какова живая ткань организма. Но это различіе, разсуждаетъ Спенсеръ, собственно не существуетъ, ибо какъ организмы развиваются изъ неорганизованнаго вещества, въ которомъ разсѣяны организованныя точки, такъ и члены политическаго тѣла физически отдѣлены другъ отъ друга промежутками не мертваго пространства, занимаемаго фауной и флорой, т.е. жизнью низшаго разряда; и эта низшая жизнь, отъ которой зависитъ существованіе человѣка и общества, необходимо должна быть включена въ понятіе соціальнаго организма. Живые элементы организма большею частью неподвижны, а элементы организма соціальнаго способны передвигаться. И это различіе не важно и только поверхностно, говоритъ Спенсеръ. Въ качествѣ общественныхъ дѣятелей, люди въ сущности неподвижны: сельскій хозяинъ, мануфактуристъ и т.д. функціонируютъ на одномъ и томъ же мѣстѣ, и если отлучаются на всегда или на время, то оставляютъ кого-нибудь вмѣсто себя. Четвертый пунктъ различія есть самый важный какъ по мнѣнію Спенсера, такъ и по нашему. «Въ тѣлѣ животнаго только извѣстный родъ ткани одаренъ чувствительностью, въ обществѣ же всѣ члены одарены ею». Этотъ доводъ Спенсеръ старается ослабить, во-первыхъ, тѣмъ, что въ нѣкоторыхъ низшихъ животныхъ, неимѣющихъ нервной системы, обладаемая ими слабая чувствительность распредѣлена одинаково на всѣ части.

«Кромѣ того,—говоритъ Спенсеръ,—мы должны помнить, что и общества не лишены нѣкотораго дифференцированія въ этомъ родѣ. Единицы общины хотя и всѣ чувствительны, но чувствительны не въ равной степени. Сословія, занимающіяся земледѣліемъ и вообще тяжелыми работами, гораздо менѣе впечатлительны какъ въ умственномъ отношеніи, такъ и въ отношеніи душевныхъ волненій, нежели другія сословія: особенно рѣзко отличаются они въ этомъ случаѣ отъ сословій, получившихъ высшее умственное образованіе. Но все-таки этотъ пунктъ представляетъ довольно рѣзкій контрастъ между политическими и индивидуаль-

ными тѣлами, котораго никогда не слѣдуетъ упускать изъ виду, потому что онъ напоминаетъ намъ, что между тѣмъ какъ въ индивидуальныхъ тѣлахъ благосостояніе всѣхъ частей вполнѣ подчинено благосостоянію нервной системы, въ пріятномъ или болѣзненномъ возбужденіи которой заключается все благо или зло въ жизни,—о политическихъ тѣлахъ нельзя сказать того же. Пусть жизнь отдѣльныхъ частей животнаго поглощается жизнью цѣлаго, оно такъ и слѣдуетъ, потому что это цѣлое имѣетъ корпоративную сознательность, способную ощущать наслажденіе или страданіе. Общество же дѣло другое: его живыя единицы не утрачиваютъ и не могутъ утратить индивидуальной сознательности, а община, съ другой стороны, не имѣетъ корпоративной сознательности, какъ цѣлое. Это-то и есть главная неизмѣнная причина, по которой благосостояніе гражданъ никогда не можетъ быть справедливо жертвуемо для какого-то воображаемаго блага государства, а напротивъ того, государство должно существовать единственно только для блага гражданъ. *Корпоративная жизнь въ этомъ случаѣ должна подчиняться жизни отдѣльныхъ частей, а не жизнь отдѣльныхъ частей—корпоративной жизни»* (Т. I, Опыты, «Соціальный организмъ», стр. 426).

Казалось бы, послѣднее различіе до такой степени существенно и важно, что его одного было бы достаточно для уничтоженія параллели между организмомъ и обществомъ. «Не забывать» его, какъ совѣтуетъ Спенсеръ, и въ то же время настаивать на аналогіи—невозможно. Но Спенсеръ настаиваетъ и потому, какъ увидимъ, забываетъ.

Болѣе подробный разборъ фактовъ, оправдывающихъ уподобленіе общества живому тѣлу, Спенсеръ начинаетъ съ низшихъ ступеней органической жизни и съ первыхъ стадій общественнаго развитія, и затѣмъ шагъ за шагомъ слѣдитъ за дальнѣйшимъ усложненіемъ тѣхъ и другихъ. Онъ проводитъ послѣдовательно параллели: между микроскопическими растеніями и животными, обнаруживающими крайне простое строеніе, и агрегатами ихъ, состоящими изъ независимыхъ единицъ, съ одной стороны, и первобытными общинами, состоящими изъ независимыхъ и равныхъ людей, съ другой; между слѣдующими ступенями органической жизни, проявляющими уже относительно значительную степень «физіологическаго раздѣленія труда», т. е. обособленія и спеціализаціи тканей и органовъ—и тѣми фазами развитія общества, въ которыхъ экономическое раздѣленіе труда произвело первыя кастовыя дробленія; между образованіемъ животныхъ колоній изъ нѣсколькихъ нецѣлостныхъ недѣлимыхъ и слитіемъ однородныхъ группъ въ одно племя; между почкованіемъ и раздробленіемъ племени вслѣдствіе недостатка пищи и проч. Во всѣхъ этихъ случаяхъ Спенсеръ уподобляетъ соціальный строй не столько отдѣльнымъ организмамъ, сколько агрегаціямъ организмовъ и, напримѣръ, полипнякъ можетъ разсматриваться и дѣйствительно разсматривается многими какъ ассоціація полиповъ, а сравненіе общества съ обществомъ, для нашей ближайшей цѣли, особеннаго интереса не имѣетъ. Смотрѣть ли на гидру, на полипнякъ и т. д. какъ на организмъ соціальный или естественный,—этотъ вопросъ можетъ быть рѣшенъ только послѣ окончательнаго и подробнаго разсмотрѣнія пунктовъ сходства и различія между обществомъ и недѣлимымъ. Къ этой спеціальной цѣли своего изслѣдованія Спенсеръ и обращается далѣе. Въ зародышѣ, говоритъ онъ, масса клѣточекъ отлагаетъ периферическій слой, который въ дальнѣйшемъ развитіи распадается на два: внутренній—слизистый, и внѣшній—серозный. Изъ слизистаго слоя развивается питательный аппаратъ, изъ серознаго—аппаратъ внѣшней дѣятельности. «Изъ перваго образуются тѣ органы, которыми приготовляется и поглощается пища, втягивается кислородъ и очищается кровь; тогда какъ изъ послѣдняго образуются нервная, мышечная и костная системы, соединеннымъ дѣйствіемъ которыхъ совершаются движенія тѣла какъ цѣлаго». Въ развитіи общества происходятъ совершенно параллельныя явленія. Общество дифференцируется на управляющихъ и управляемыхъ, которые, усвоивая себѣ различныя функціи, становятся позднѣе другъ къ другу въ отношенія «вольныхъ людей и рабовъ, дворянства и крѣпостныхъ». Правящій классъ функціонируетъ какъ серозный слой органическаго зародыша, управляетъ внѣшними дѣйствіями общества, такъ какъ классъ управляемыхъ, подобно слизистому слою, болѣе и болѣе исключительно занимается снабженіемъ общества пищею. «Впослѣдствіи, по мѣрѣ того, какъ рабочій слой удаляется все болѣе и болѣе отъ дѣлъ общества и утрачиваетъ свою силу въ нихъ, онъ ограничивается почти исключительно процессами добыванія продовольствія, между тѣмъ какъ дворянство, переставая участвовать въ этихъ процессахъ, посвящаетъ себя управленію движеніями политическаго тѣла». Далѣе, появленію въ организмѣ естественномъ промежуточнаго сосудистаго слоя, изъ котораго образуются главные кровеносные сосуды,—въ организмѣ соціальномъ соотвѣтствуетъ образованіе средняго, торговаго сословія. Какъ на этой ступени развитія организма пища передается отъ слизистаго слоя къ серозному не непосредственно, а при помощи сосудистаго слоя, такъ и въ обществѣ предметы потребленія передаются не прямо рабами господамъ, а при посредствѣ купцовъ. Кровь живого тѣла соотвѣтствуетъ массѣ продуктовъ, находящихся въ обращеніи въ политическомъ тѣлѣ; нервная система—правительственной организаціи; кровеносные сосуды—путямъ сообщенія; мозгъ—парламенту и т. д., и т. д. Спенсеръ самымъ добросовѣстнымъ образомъ ис-

полняетъ заданную имъ себѣ работу. Нѣкоторыя изъ частныхъ аналогій, на которыя онъ при этомъ наталкивается, чрезвычайно остроумны. Такъ, напримѣръ: «кровеносные сосуды получаютъ опредѣленныя стѣнки, - дороги окапываются и усыпаются щебнемъ». Или сравненіе двойного пути рельсовъ желѣзной дороги, разносящихъ единовременно общественные токи по двумъ противоположнымъ направленіямъ,—съ артеріями и венами. Или, наконецъ, сравненіе мозга съ парламентомъ. Новѣйшая психологія, говоритъ Спенсеръ, принимаетъ, что «головной мозгъ занимается не прямыми впечатлѣніями извнѣ, а представленіями этихъ впечатлѣній: вмѣсто дѣйствительныхъ ощущеній, производимыхъ въ тѣлѣ и непосредственно оцѣняемыхъ чувствительными узлами или первичными нервными центрами, головной мозгъ получаетъ только представленія этихъ ощущеній, и сознательность его называется *представительною* (representative), для отличія отъ первоначальной, непосредственно воспринимающей впечатлѣнія сознательности». «Не знаменательно ли,--восклицаетъ Спенсеръ,--что мы напали на то же самое слово для означенія функціи нашей палаты общинъ? Мы называемъ ее *представительнымъ* собраніемъ, потому что интересы, которыми она завѣдуетъ, страданія и наслажденія, о которыхъ она совѣщается, не прямо ощущаются ею, а *представляются* ей различными членами» (I, 455). Всѣ эти сближенія очень остроумны, но тѣмъ не менѣе неизбѣжно возникаетъ вопросъ: какая ихъ цѣль, зачѣмъ Спенсеръ положилъ на эту эквилибристику столько труда и терпѣнія? Мы не привели и четвертой доли его соображеній по этому поводу; онъ слѣдитъ за частными проявленіями своей аналогіи по всѣмъ тончайшимъ развѣтвленіямъ организмовъ естественнаго и соціальнаго. Къ чему это? Не думаетъ же онъ установить новый видъ—societas? Вообще теоретическое значеніе уподобленія общества организму—вещь очень темная, но Спенсеръ имѣетъ въ виду и его практическую цѣль. Онъ полагаетъ, что аналогія эта, подводя подъ одни и тѣ же законы явленія жизни общественной и органической, можетъ способствовать развитію той и другой отрасли знанія; что физіологія и соціологія могутъ взаимно обмѣниваться своими спеціальными истинами. Въ особенности онъ рекомендуетъ физіологамъ употребленіе особаго метода, который онъ называетъ соціологическимъ. Методъ этотъ состоитъ въ томъ, чтобы изучать организованныя тѣла не только прямо и непосредственно, а и косвенно, изучая тѣла политическія. Отъ приложенія этого метода Спенсеръ ожидаетъ въ будущемъ значительныхъ шаговъ впередъ для физіологіи, но до сихъ поръ можетъ указать только одинъ пунктъ, заимствованный физіологами у соціологіи—именно понятіе физіологическаго раздѣленія труда. Выраженіе это, кажется, впервые употреблено Мильнъ-Эдвардсомъ для тѣхъ процессовъ обособленія тканей и органовъ, сумма, которыхъ составляетъ органическое развитіе, то есть переходъ его отъ однороднаго къ разнородному, отъ простого къ сложному, отъ общаго къ частному. Это въ сущности метафора, весьма удобная и обрисовывающая данное явленіе въ высшей степени рельефно; но построить на ней, какъ это дѣлаетъ Спенсеръ, идею тождественности прогресса органическаго и соціальнаго и идею соціальнаго организма невозможно. Прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что физіологи изобрѣли выраженіе «физіологическое раздѣленіе труда» не вслѣдствіе самостоятельнаго наблюденія явленій общественной жизни а взяли его цѣликомъ у экономистовъ. Экономисты же вплоть до Уэкфильда принимали принципъ раздѣленія труда во всей той эмпирической неполнотѣ, съ какой онъ явился въ знаменитомъ трудѣ Адама Смита «О богатствѣ народовъ» (Беккаріа, впрочемъ, еще раньше указалъ на его значеніе). Уэкфильдъ первый изъ экономистовъ замѣтилъ, что раздѣленіе труда есть только частное проявленіе гораздо болѣе общаго факта, именно коопераціи; что сочетаніе труда или кооперація безусловно способствуетъ усиленію производительности труда; но что она не исчерпывается раздѣленіемъ труда; что есть другой типъ коопераціи, именно простое сотрудничество, и что въ этомъ вопросѣ экономисты принимали часть за цѣлое, что имѣло весьма печальныя для науки послѣдствія. Въ простомъ сотрудничествѣ нѣсколько человѣкъ одинаково помогаютъ другъ другу въ одномъ и томъ же дѣлѣ; при раздѣленіи труда, напротивъ, нѣсколько человѣкъ помогаютъ другъ другу различно, раздробляя всю операцію на части и выбирая себѣ каждый отдѣльную часть. «Различіе между простымъ и сложнымъ сотрудничествомъ очень важно,—говоритъ Уэкфильдъ (С. Милль: «Основанія пол. эк.», I, 166).—Въ простомъ человѣкъ всегда сознаетъ, что сотрудничаетъ съ другими; взаимное содѣйствіе тутъ очевидно самому невѣжественному и тупому взгляду. Въ сложномъ сотрудничествѣ только очень немногіе изъ множества занятыхъ имъ людей хотя нѣсколько сознаютъ, что содѣйствуютъ другъ другу. Причину этого различія нетрудно понять. Когда нѣсколько человѣкъ поднимаютъ одну тяжесть или тащатъ одинъ канатъ въ одно время и въ одномъ мѣстѣ тутъ невозможно сомнѣваться, что они сотрудничаютъ другъ съ другомъ: этотъ фактъ вносится въ мысль простымъ чувствомъ зрѣнія. Но, когда разные люди работаютъ въ разное время, въ разныхъ мѣстахъ, надъ

разными дѣлами, ихъ сотрудничество не такъ прямо замѣчается, хотя они столь же положительнымъ образомъ содѣйствуютъ другъ другу: чтобы замѣтить этотъ фактъ, нужна сложная умственная операція». Къ этому слѣдуетъ только прибавить, что отмѣченная нами выше и незамѣченная Спенсеромъ двойственность раздѣленія труда, требуя сложныхъ умственныхъ операцій, въ то же время отнимаетъ у рабочихъ способность къ нимъ. Въ этомъ послѣднемъ обстоятельствѣ заключается и то коренное различіе раздѣленія труда физіологическаго и экономическаго, которое дѣлаетъ ихъ принципами несоизмѣримыми, взаимно исключающимися, вмѣстѣ съ чѣмъ рушится зданіе соціальнаго организма и тождественности прогресса органическаго и соціальнаго.

Когда яйцо, изъ котораго долженъ вырасти человѣкъ или животное, дифференцируется на слои серозный, слизистый и сосудистый, то этимъ явленіемъ обусловливаются зачатки физіологическаго раздѣленія труда. Съ теченіемъ времени каждый изъ этихъ слоевъ дифференцируется въ ткани и органы, изъ которыхъ каждый исполняетъ какую-нибудь одну спеціальную функцію. Одни берутъ на себя трудъ переваривать пищу, другіе воспринимать впечатлѣнія, третьи передавать организму кислородъ воздуха и выдѣлять углекислоту, четвертые исполнять внѣшнія движенія по повелѣніямъ центральнаго органа нервной системы и т. д. Чѣмъ ярче обозначена здѣсь спеціализація функцій, тѣмъ организмъ стоитъ выше на зоологической лѣстницѣ, тѣмъ онъ развитѣе, тѣмъ онъ сложнѣе. Въ этомъ постепенномъ усложненіи путемъ физіологическаго раздѣленія труда между органами состоитъ великій Бэровъ законъ органическаго развитія. Если мы видимъ, что органы недѣлимаго все болѣе спеціализируютъ свои отправленія и тѣмъ способствуютъ усложненію цѣлаго, мы говоримъ, что организмъ развивается, прогрессируетъ. Если бы случилось, что борьба за существованіе поставила недѣлимое въ такія условія, что нѣкоторые органы его перестали дѣйствовать, вслѣдствіе чего произошло упрощеніе организаціи, мы сказали бы, что недѣлимое регрессируетъ. Глаза пещерныхъ животныхъ, вслѣдствіе долгаго неупотребленія, перестаютъ функціонировать, иногда вѣки ихъ сростаются и покрываются шерстью. Ясно, что недѣлимыя стали однороднѣе своихъ зрячихъ родичей; трудъ передачи впечатлѣній отъ внѣшняго міра, распредѣлявшійся прежде между пятью органами чувствъ, распредѣляется теперь только между четырьмя. Физіологическое раздѣленіе труда стало менѣе полнымъ и потому животное регрессируетъ. Рабочія пчелы и муравьи, какъ извѣстно, безполы. Съ другой стороны, способные къ воспроизведенію самцы и самки неспособны къ работѣ, что, разумѣется, также коренится въ нѣкоторомъ упрощеніи организаціи. Такъ какъ безполые муравьи и пчелы должны были явиться, очевидно, позднѣе плодовитыхъ, то было, значитъ, время, когда пчелы и муравьи были единовременно способны и къ работѣ, и къ произведенію новыхъ особей, и когда, слѣдовательно, физіологическое раздѣленіе труда между органами пчелъ и муравьевъ было полнѣе теперешняго: въ каждомъ изъ нихъ функціонировали и органы работы, и органы воспроизведенія. Подъ вліяніемъ какихъ же условій произошло ослабленіе физіологическаго раздѣленія труда и, слѣдовательно, пониженіе организаціи, упрощеніе, регрессъ? Подъ вліяніемъ раздѣленія труда экономическаго. Когда муравьи и пчелы безсознательно подѣлили между собой свой общественный трудъ, такъ что одни стали только работать, а другіе только воспроизводить новыхъ особей, то, путемъ естественнаго подбора, это экономическое раздѣленіе труда въ ряду поколѣній атрофировало ненужныя для каждаго изъ спеціальныхъ трудовъ способности и силы. Итакъ, экономическое раздѣленіе труда повело къ ослабленію раздѣленія труда физіологическаго, и такимъ образомъ понизило уровень развитія муравьевъ и пчелъ.

Человѣческое общество устроено, разумѣется, не хуже муравейника или улья. Экономическое раздѣленіе труда играетъ въ немъ не менѣе значительную роль. И если мы не дожили еще до безполыхъ рабочихъ, то дожили, по крайней мѣрѣ, до теоріи «моральнаго воздержанія». А это ужъ немало, это ужъ идея безполаго рабочаго, которую уму человѣческому, пожалуй, и удастся обратить въ плоть и кровь. Экономическое раздѣленіе труда, то-есть раздѣленіе труда между отдѣльными недѣлимыми, составляетъ, какъ видно изъ Спенсерова очерка соціальнаго развитія, базисъ всей нашей культуры. И любопытно прослѣдить за связью его съ физіологическимъ раздѣленіемъ труда, то-есть съ раздѣленіемъ труда между органами. Связь эта та же самая, что и въ исторіи муравейниковъ и ульевъ. Когда правящій классъ окончательно дифференцировался изъ однородной массы первобытнаго общества и оставилъ за собой трудъ умственный, а трудъ физическій предоставилъ управляемымъ, то это былъ первый шагъ экономическаго раздѣленія труда. При этомъ нервная система управляемыхъ постепенно должна была упрощаться, вмѣстимость черепа и размѣръ умственныхъ способностей—уменьшаться, такъ какъ въ послѣднихъ предстояла все меньшая и меньшая надобность: за управляемыхъ думали управляющіе. Значитъ, предѣлы физіологическаго раздѣленія труда сузились. То же самое произошло и въ средѣ правящаго класса. По мѣрѣ того, какъ представи-

тели его все больше углублялись въ выпавшую на ихъ долю часть труда, ихъ мускульная система слабѣла, кости становились тоньше и хрупче. Дальнѣйшая спеціализація индивидуальныхъ отправленій сопровождается и дальнѣйшимъ ослабленіемъ физіологическаго раздѣленія труда. Въ сферѣ труда физическаго мы имѣемъ, напримѣръ, сапожника или портного, который, не говоря уже объ его умственной слабости, постоянно сидя на корточкахъ и только дѣлая однообразныя движенія руки—развилъ въ этой рукѣ нѣкоторые мускулы, но за то мускулы ногъ его ослабѣли. Въ предкѣ его, который дѣлалъ столько же сапоговъ, сколько изнашивалъ ихъ, трудъ одинаково распредѣлялся по всѣмъ органамъ, тогда какъ въ потомкѣ функціонируетъ гораздо меньшее число органовъ. Въ сферѣ умственнаго труда мы имѣемъ, напримѣръ, замѣчательно умныхъ людей, лишенныхъ эстетическаго чувства. Число этихъ примѣровъ можетъ быть увеличено до безконечности. Но и этого достаточно, чтобы видѣть, что физіологическое и экономическое раздѣленіе труда взаимно исключаются, что чѣмъ сильнѣе послѣднее, тѣмъ слабѣе первое. Слѣдовательно, взаимно исключаются и прогрессы органическій и соціальный, какъ его понимаетъ Спенсеръ, что мы уже, впрочемъ, видѣли въ предыдущей главѣ. Исчезаетъ или, по крайней мѣрѣ, сводится на простую метафору и параллель между организмомъ и обществомъ, потому что параллель эта имѣетъ смыслъ только при сходствѣ между понятіями объ органахъ и недѣлимыхъ, а такого сходства въ дѣйствительности нѣтъ. Органъ представляетъ собою опредѣленную часть недѣлимаго, извѣстнымъ спеціальнымъ образомъ функціонирующую и немогущую жить своею собственною, отдѣльною, самостоятельною жизнью. Недѣлимое можетъ жить самостоятельно, если всѣ органы, входящіе въ составъ его, исполняютъ свои спеціальныя обязанности. Мы не можемъ себѣ представить руки, языка, ноги внѣ организма, тогда какъ безъ особеннаго напряженія воображенія можемъ думать о человѣкѣ внѣ общества, а тѣмъ болѣе представить себѣ несоціальное низшее животное. Въ «Основаніяхъ біологіи» Спенсеръ, перебравъ нѣсколько существующихъ опредѣленій недѣлимаго и показавъ трудность рѣшенія этого вопроса, останавливается, наконецъ, на слѣдующей формулѣ: «Біологическій индивидъ есть конкретное цѣлое, имѣющее строеніе, позволяющее ему, при извѣстныхъ условіяхъ, постоянно приспособлять свои внутреннія отношенія къ внѣшнимъ такъ, чтобы поддерживалось равновѣсіе его отправленій» (207). Это значитъ, что каждая ступень органическаго развитія, то-есть каждый видъ имѣетъ извѣстную сумму отправленій, распредѣленныхъ между его органами такимъ образомъ, что всѣ они функціонируютъ единовременно. Членъ соціальнаго организма, очевидно, не подходитъ подъ это опредѣленіе, и, слѣдовательно, Спенсеровъ соціальный организмъ состоитъ не изъ индивидовъ. Но это и не органы, потому что они имѣютъ способность страдать и наслаждаться, которой органы лишены. Недѣлимое всегда будетъ искать наслажденія и бѣжать страданія, и эти стремленія какъ положительное, такъ и отрицательное, необходимо отзовутся на всемъ строѣ соціальнаго организма и отзовутся болѣзненно, вслѣдствіе антагонизма между частями его: что выгодно для одной, то невыгодно для другой. И, въ концѣ концовъ, соціальный организмъ долженъ рухнуть, какъ рушится онъ уже въ теоріи отъ собственнаго безсилія.

Для выясненія значенія идеи соціальнаго организма, мнѣ хотѣлось бы представить читателю воззрѣнія Дрэпера на соціальный организмъ, такъ какъ онъ выражается грубѣе и нагляднѣе. Къ несчастію, у меня нѣтъ подъ руками ни «Умственнаго развитія Европы», ни «Гражданскаго развитія Америки», ни «Физіологіи» Дрэпера, который проводитъ свою любимую идею соціальнаго организма во всѣхъ этихъ сочиненіяхъ. Но вотъ отрывокъ изъ одной моей коротенькой старой замѣтки по поводу «Исторіи гражданскаго развитія Америки». Если читатель незнакомъ съ этой книгой, такъ увидитъ, въ чемъ тутъ суть.

«Сущность взглядовъ Дрэпера на соціальный прогрессъ составляютъ слѣдующія двѣ мысли: ходъ развитія общества и ходъ развитія недѣлимаго тождественны, такъ что каждое недѣлимое представляетъ собою образецъ общества въ маломъ видѣ; далѣе—«великая цѣль природы заключается въ достиженіи господства разума». Мы не говоримъ уже о томъ, что странно приписывать какія бы то ни было цѣли природѣ, но мы сейчасъ увидимъ, въ чемъ собственно состоитъ господство разума, о которомъ мечтаетъ Дрэперъ. По отношенію къ интеллектуальной силѣ онъ дѣлитъ всѣ послѣдовательныя ступени проявленія органической жизни на три типа. Низшіе организмы подобны автоматамъ и дѣйствуютъ совершенно безсознательно, нервная система ихъ совсѣмъ не развита. На высшей ступени къ автоматизму присоединяется инстинктъ, не вытѣсняя его, однако; здѣсь мы находимъ усложненіе нервной системы, образованіе нервныхъ узловъ, словомъ, обособленіе, спеціализацію отправленій. Наконецъ, въ высшихъ животныхъ формахъ это обособленіе достигаетъ высшей точки своего развитія, результатомъ чего является образованіе мозговой массы—«интеллектуальнаго аппарата», на ряду съ которымъ продолжаютъ существовать аппараты автоматическій и инстинктивный. Въ человѣкѣ роль автоматическаго аппарата

играетъ спинной мозгъ, дѣйствія котораго чисто механическія; нервные узлы, въ которыхъ находятся нервы обособленныхъ чувствъ, представляютъ собою аппаратъ инстинктивный, а головной мозгъ есть «поприще идей, царство мысли, орудіе, посредствомъ котораго дѣйствуетъ умъ». Геологія и палеонтологія показываютъ, что появленіе организмовъ, послѣдовательно населявшихъ землю, слѣдуетъ тому же плану, т. е. въ болѣе древнихъ пластахъ мы встрѣчаемъ животныя формы съ наиболѣе простой нервной системой, которая въ позднѣйшихъ типахъ все болѣе и болѣе усложняется, пока не достигнетъ, наконецъ, послѣдней фазы своего развитія въ человѣкѣ. Наконецъ, та же послѣдовательность замѣчается и въ развитіи человѣка, начиная съ эмбріоническаго состоянія. Изъ всего этого Дрэперъ и заключаетъ, что цѣль природы есть господство разума. Къ этому стремится каждый человѣкъ, разсматриваемый и какъ недѣлимое, и какъ членъ общества. Для достиженія господства разума въ обществѣ, Дрэперъ хочетъ его построить по тому же плану, по которому слагается организмъ недѣлимаго высшаго типа, т. е. обладающаго всѣми тремя ступенями развитія нервной системы. Въ его обществѣ, такимъ образомъ, должны быть члены, спеціально посвятившіе себя нервной дѣятельности— это головной мозгъ общества. Съ другой стороны, «самая многочисленная часть общества должна посвятить себя работѣ (физической), едва выучиваясь чему нибудь, не относящемуся къ ежедневному труду; всякаго усовершенствованія она достигаетъ простымъ подражаніемъ. Оно повинуется своимъ наслѣдственнымъ инстинктамъ, не имѣя никакой идеи ни о прогрессѣ, ни о развитіи. Управляемая внѣшними явленіями и своими собственными побужденіями, она не способна ни къ комбинаціямъ, ни къ обобщеніямъ. Ея движеніе вполнѣ зависитъ отъ скрытаго вліянія внѣшнихъ дѣятелей. Эта обширная масса, подобно облаку, стремится къ своей участи, по направленію вѣтра» (ст. 269). На стр. 48-й Дрэперъ также высказываетъ мысль, что «въ членахъ каждаго общества должны быть различныя степени ума». Такой порядокъ вещей онъ почему-то называетъ господствомъ разума... Положивъ, такимъ образомъ, рѣзкую границу между трудомъ физическимъ и умственнымъ, Дрэперъ проповѣдуетъ дальнѣйшую спеціализацію труда и новыя его дробленія. Какъ видитъ читатель, это одинъ изъ образцовъ злоупотребленія закономъ Бэра. Бэръ выразилъ сущность органическаго прогресса формулой: «послѣдовательный рядъ измѣненій приводитъ однородное къ разнородному». Это одно изъ плодотворнѣйшихъ обобщеній современной науки; но именно, исходя изъ этого закона, на которомъ Дрэперъ и другіе строятъ идею соціальнаго организма, мы и не признаемъ этой идеи. Общество есть не организмъ, а совокупность недѣлимыхъ организмовъ; оно состоитъ не изъ органовъ, спеціально предназначенныхъ для того или другого отправленія, а изъ недѣлимыхъ, имѣющихъ всѣ органы и потому исполняющихъ всю сумму отправленій. Идея соціальнаго организма находится въ прямомъ противорѣчіи съ закономъ Бэра, и можно только удивляться близорукости ея защитниковъ, которые хотятъ опереться на этотъ законъ. Превращеніе организма (недѣлимаго) въ органъ, сопровождаемое нарушеніемъ его цѣлостности и независимости, есть развитіе разнороднаго въ однородное, общаго въ спеціальное, многосторонняго въ одностороннее, а слѣдовательно, такое превращеніе ни въ какомъ случаѣ не можетъ быть подведено подъ законъ Бэра. Это развитіе патологическое, а не физіологическое, а идея соціальнаго организма— «двойная бухгалтерія». Законъ Бэра есть законъ нормальнаго, физіологическаго развитія. Вступая въ качествѣ соціальнаго органа въ Дрэперовскій соціальный организмъ, суживая свою дѣятельность, разжаловывая себя, если можно такъ выразиться, индивидуумъ тѣмъ самымъ нарушаетъ этотъ законъ, т. е. развивается анормально. Изъ всего его существа упражняется и развивается только ничтожная часть; все остальное глохнетъ, замираетъ. Органическій прогрессъ, по закону Бэра, состоитъ въ усложненіи организаціи; здѣсь мы видимъ совершенно противное. Ясно, что защитники идеи соціальнаго организма, думая сдѣлать общество логическимъ выводомъ изъ природы, дѣлаютъ его антитезой ея. Но идея соціальнаго организма ложна не только въ принципѣ, она не можетъ и фактически осуществиться. Въ результатѣ безконечной спеціализаціи труда получаются не цѣлые индивидуумы, а только, такъ сказать, извѣстныя части ихъ; но это всетаки не органы, они не теряютъ способности страдать и наслаждаться, что составляетъ существенную, характеристическую черту недѣлимаго. Эта способность есть, безъ сомнѣнія, лучшій пробный камень для провѣрки Дрэперовскаго обобщенія, невѣрность котораго доказывается заключающимся въ немъ противорѣчіемъ: въ организмѣ страдаютъ и наслаждаются не части, а цѣлое, а въ обществѣ наоборотъ, и, слѣдовательно, нѣтъ никакого подобія между обществомъ и недѣлимымъ.

Послѣднее обстоятельство напоминаетъ намъ, что Спенсеръ, совѣтуя не забывать, по его собственному мнѣнію, важнѣйшій пунктъ различія между обществомъ и организмомъ, тѣмъ не менѣе забылъ его. И забвеніе это всего ярче проглядываетъ въ наиболѣе остроумной частности его аналогіи—въ параллели между парламентомъ и головнымъ мозгомъ. Если головной мозгъ недѣлимаго полу-

чаетъ не дѣйствительныя ощущенія, непосредственно оцѣняемыя нервными узлами, а представленія этихъ ощущеній, то тѣмъ не менѣе организмъ, обладая корпоративною сознательностью, страдаетъ и наслаждается весь. Вслѣдствіе этого, выражаясь метафорическимъ языкомъ Спенсеровой аналогіи, интересы мозга солидарны съ интересами цѣлаго организма, и въ немъ не найдется торіевъ и виговъ, радикаловъ и чартистовъ. Но англійскимъ рабочимъ ничуть не легче отъ того, что ихъ интересы и страданія не непосредственно ощущаются палатою общинъ, а «представляются» ей. Въ организмѣ всетаки страдаетъ и наслаждается цѣлое, а не части; въ обществѣ всетаки страдаютъ и наслаждаются части, а не цѣлое. И никакое остроуміе, никакая эрудиція не въ силахъ стереть эту коренную разницу, связанную съ коренною разницею между раздѣленіемъ труда физіологическимъ и соціальнымъ, которая, въ свою очередь, связывается съ столь же коренной разницей между развитіемъ органическимъ и соціальнымъ.

Итакъ, въ третій разъ Спенсеръ проходитъ съ закрытыми глазами мимо человѣческихъ радостей и горестей, хотя всѣ три раза крылья его мысли вплотную касаются тѣхъ и другихъ, и проходитъ онъ мимо ихъ на самые разнообразные лады. Предписывая искусству изображать только прошлую жизнь, онъ минуетъ тревоги настоящаго по простому недосмотру, такъ какъ принципъ контраста не исключаетъ изъ задачъ искусства передачи современныхъ явленій. Проводя параллель между прогрессомъ органическимъ и соціальнымъ, онъ отворачивается отъ счастія человѣчества сознательно, потому что прямо заявляетъ о своемъ неуваженіи къ этой точкѣ зрѣнія. Установляя аналогію между организмами естественнымъ и общественнымъ, онъ обходитъ страданіе и наслажденіе человѣка по двойному недосмотру: забываетъ не только это страданіе и наслажденіе, но и свое собственное напоминаніе объ нихъ. Если бы во всѣхъ этихъ трехъ случаяхъ онъ, дѣйствительно, дошелъ до истины — мы бы ни слова не сказали и не могли сказать противъ его объективнаго метода. Успѣхъ въ этомъ случаѣ оправдалъ бы средства, какъ бы мы на нихъ ни смотрѣли безотносительно къ результатамъ. Но мы видимъ, что этого нѣтъ; мы видимъ, напротивъ, что во всѣхъ этихъ трехъ случаяхъ онъ впадаетъ въ грубыя ошибки. И такъ-какъ въ силѣ ума Спенсера сомнѣваться невозможно, то самъ собою представляется вопросъ: законно ли устраненіе телеологическаго элемента изъ соціологическихъ изслѣдованій, можетъ-ли объективный методъ дать въ соціологіи благіе результаты? Можетъ быть, соціологъ не имѣетъ, такъ сказать, логическаго права устранить изъ своихъ работъ человѣка, какъ онъ есть, со всѣми его скорбями и желаніями, можетъ быть, грозный образъ страдающаго человѣчества, соединившись съ логикой вещей, мститъ всякому, кто его забудетъ, кто не проникнется его страданіями; можетъ быть, объективная точка зрѣнія, обязательная для естествоиспытателя, совершенно непригодна для соціологіи, объектъ которой—человѣкъ—тождественъ съ субъектомъ; можетъ быть, вслѣдствіе этой тождественности, мыслящій субъектъ только въ такомъ случаѣ можетъ дойти до истины, когда вполнѣ сольется съ мыслимымъ объектомъ и ни на минуту не разлучится съ нимъ, т. е. войдетъ въ его интересы, переживетъ его жизнь, перемыслитъ его мысль, перечувствуетъ его чувство, перестрадаетъ его страданіе, проплачетъ его слезами. Есть нѣкоторыя основанія думать, что это предположеніе вѣрно, и сочиненія Спенсера представляютъ обильные намеки на то, что объективный методъ, единственно плодотворный въ естествознаніи, безсиленъ въ соціологіи.

Во-первыхъ, мы видѣли, что ошибки Спенсера совпадаютъ съ устраненіемъ изъ соціологическихъ изслѣдованій телеологическаго элемента, что въ такомъ сильномъ мыслителѣ весьма характеристично.

Во-вторыхъ, нѣкоторыя частныя изслѣдованія Спенсера, въ которыхъ онъ становится на субъективную точку зрѣнія, заключаютъ въ себѣ истины безспорныя и притомъ діаметрально противоположныя тѣмъ выводамъ, которые вытекаютъ изъ его изслѣдованія прогресса. Мы разсмотримъ одинъ такой случай. Дѣло идетъ о причинахъ разнообразія и однообразія слога писателей. Такъ статья и называется: «Философія слога». «Отчего Джонсонъ напыщенъ, а Гольдсмитъ простъ? спрашиваетъ Спенсеръ (I, 91). Отчего одинъ авторъ отрывоченъ, другой плавенъ, третій сжатъ? Очевидно, что въ каждомъ частномъ случаѣ обычный способъ выраженія зависитъ отъ обычнаго настроенія. Преобладающія чувства, постояннымъ упражненіемъ, пріучили умъ къ извѣстнымъ представленіямъ. Но, между тѣмъ какъ продолжительнымъ, хотя и безсознательнымъ упражненіемъ, онъ достигъ того, что съ силой передаетъ эти представленія, онъ остается по недостатку упражненія неспособнымъ къ передачѣ другихъ, такъ что когда возбуждаются эти болѣе слабыя чувства, въ обычныхъ словесныхъ формахъ происходятъ только легкія измѣненія. Но пусть сила рѣчи вполнѣ разовьется, пусть способность разсудка выражать душевныя волненія достигнетъ совершенства, тогда неподвижность стиля исчезнетъ. Совершенный писатель будетъ выражаться, какъ Юніусъ, когда онъ будетъ въ такомъ же расположеніи духа, какъ Юніусъ; когда онъ будетъ чувствовать, какъ чувствовалъ Ламбъ, онъ употребитъ столь же

простую рѣчь; онъ впадаетъ въ рѣзкость Карлейля, когда придетъ въ настроеніе Карлейля». Говоря о «совершенномъ» писателѣ, Спенсеръ тѣмъ самымъ выдвигаетъ нѣчто желательное, ставитъ нѣкоторый идеалъ, къ которому приглашаетъ стремиться, т. е. вводитъ въ свое разсужденіе субъективный и телеологическій элементъ. Желательно, разумѣется, не то, чтобы тотъ или другой писатель обладалъ совершеннымъ слогомъ, желательно, чтобы всѣ они достигли этого совершенства. Но когда слогъ каждаго писателя можно будетъ выразить формулою: (Юніусъ + Ламбъ + Карлейль + и т. д.), то очевидно, что вся группа писателей будетъ вполнѣ однородна, именно потому, что каждый изъ нихъ вполнѣ разнороденъ: формула каждаго изъ нихъ состоитъ изъ весьма длиннаго ряда слагаемыхъ, и потому выражаетъ собою фактъ весьма сложный и разнородный; но такъ какъ всѣ писатели выражаются одною и то же формулою, то вся масса ихъ будетъ совершенно однородна, — ни у одного изъ нихъ не будетъ, въ сравненіи съ остальными, ничего лишняго и ничего недостающаго. Слѣдовательно, если мы мысленно изолируемъ всѣхъ писателей отъ остальной массы общества и представимъ себѣ группу ихъ какъ нѣчто цѣлое, то окажется, что Спенсеръ, какъ разъ наоборотъ тому, что онъ говорилъ о всемъ обществѣ, требуетъ для нашей группы писателей полной однородности въ цѣломъ и полной разнородности для каждаго отдѣльно взятаго писателя. Если мы на вопросъ о слогѣ взглянемъ нѣсколько глубже, то противорѣчіе это станетъ еще болѣе яснымъ. Разнообразіе слога обусловливается количествомъ чувствъ, волнующихъ писателя, а количество и напряженность чувствъ зависитъ отъ среды, въ которой обращается писатель. Представимъ себѣ разнородное общество, т. е. общество, дифференцированное на опредѣленное количество слоевъ. Писателей выставятъ, разумѣется, не всѣ эти слои. Такъ въ XVII столѣтіи литература принадлежитъ во Франціи дворянству и духовенству и выражаетъ чувства, обычныя для этихъ классовъ. Сообразно этому, слогъ принимаетъ извѣстный спеціальный характеръ у Корнеля и Расина, съ одной стороны, у Боссюэта и Фенелона — съ другой. Затѣмъ вырѣзывается третье сословіе, въ лицѣ такъ называемый литературы просвѣщенія, — представитель новыхъ чувствъ и, слѣдовательно, новаго слога. Такъ какъ дворянская литература и духовная еще продолжаютъ существовать бокъ-о-бокъ съ этой литературой средняго сословія, то появленіе послѣдняго увеличиваетъ разнородность общества и разнородность массы писателей: къ дворянскому слогу и слогу духовенства прибавляется еще третій. Но этотъ порядокъ вещей тянется недолго, и среднее сословіе весьма быстро превращается въ широкій нивеллирующій потокъ. Чувства, волнующія вновь народившійся общественный слой, охватываютъ все общество, и революція стираетъ аристократію и духовенство. Они еще пробуютъ бороться, пробуютъ отстаивать свои спеціальныя чувства и свой спеціальный слогъ, но безуспѣшно. Ночь 4-го августа имѣетъ въ исторіи слога свой параллельный фактъ, хотя и не столь рѣзко обозначенный. Съ точки зрѣнія ученія Спенсера о прогрессѣ вообще, это явленіе регрессивное, потому что общество перешло отъ разнородности къ однородности. Не говоря уже о томъ, что это прямо вытекаетъ изъ его общей теоріи, онъ говоритъ въ этомъ смыслѣ и объ этомъ частномъ случаѣ. «Политическій взрывъ, — говоритъ онъ, — съ самаго начала стремится изгладить правительственныя и промышленныя спеціализаціи, существовавшія прежде. Недовольство, производящее такой взрывъ, само по себѣ предполагаетъ уже ослабленіе узъ, связывающихъ гражданъ въ отдѣльные классы и подклассы! Агитація, выростающая въ революціонные митинги, обнаруживаетъ рѣшительную склонность къ сліянію слоевъ, обыкновенно отдѣльныхъ другъ отъ друга» («Основныя начала», 291). И всѣ «такія измѣненія не только не составляютъ дальнѣйшей степени развитія, но, напротивъ, представляютъ собою шаги къ разложенію» (Idid., 189). Это совершенно послѣдовательно, что касается до прогресса соціальнаго, т. е. развитія идеальной, юридической личности. Но, введя въ свое разсужденіе судьбу личности реальной, Спенсеръ долженъ придти къ заключенію совершенно противоположному. Дѣйствительно, если среднее сословіе стало выражать, въ придачу къ тѣмъ чувствамъ, которыя прежде волновали только его, также и тѣ, которыя прежде составляли монополію дворянства и духовенства; если оно такимъ образомъ не заговорило общечеловѣческимъ языкомъ только потому, что четвертое сословіе еще ждало своей очереди для внесенія своихъ чувствъ на арену исторіи и литературы, то ясно во всякомъ случаѣ, что слогъ писателей третьяго сословія сталъ разнороднѣе слога писателей дворянства и духовныхъ, т. е. писатели, по крайней мѣрѣ по отношенію къ слогу, стали совершеннѣе. Итакъ, писатель тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ онъ разнороднѣе и чѣмъ общество, въ которомъ онъ дѣйствуетъ, однороднѣе, а между тѣмъ соціальный прогрессъ состоитъ въ переходѣ отъ однороднаго къ разнородному. Это противорѣчіе объясняется, во-первыхъ, тѣмъ, что, трактуя о совершенствѣ слога писателя, Спенсеръ становится на субъективную точку зрѣнія, которая исключается имъ изъ изслѣдованія законовъ соціальнаго прогресса; а во-вторыхъ, тѣмъ, что въ

первомъ случаѣ онъ беретъ во вниманіе тотъ элементъ, который устраняетъ во второмъ, т. е. прогрессъ индивидуальный. Не трудно видѣть, что совпаденіе этихъ двухъ обстоятельствъ не случайное; что всякій разъ, какъ Спенсеръ станетъ на телеологическую точку зрѣнія, онъ необходимо долженъ будетъ принять въ соображеніе судьбу не общества, а недѣлимаго, и что, наоборотъ, слѣдя за судьбой недѣлимаго, онъ необходимо станетъ на телеологическую точку зрѣнія, т. е. выставитъ нѣкоторую цѣль, которой желательно достигнуть.

Не трудно, наконецъ, видѣть и то, что только въ этомъ случаѣ онъ можетъ придти къ результатамъ, безспорно истиннымъ. Если бы Спенсеръ рекомендовалъ не физіологамъ соціологическій методъ, а, наоборотъ, соціологамъ методъ физіологическій, то, исходя изъ того же закона Бэра, который составляетъ основаніе его выводовъ, онъ пришелъ бы къ совершенно инымъ результатамъ. По этому закону организмъ тѣмъ развитѣе, тѣмъ выше, чѣмъ онъ сложнѣе, чѣмъ физіологическое раздѣленіе труда между его органами обозначено рѣзче и яснѣе. Организмъ прогрессируетъ, когда онъ усложняется, т. е. переходитъ отъ однородности къ разнородности, и регрессируетъ, когда упрощается, т. е. переходитъ отъ разнородности къ однородности. Это истина безспорная. Если индивидуальный организмъ нисходитъ до степени спеціальнаго органа въ организмѣ соціальномъ, то тѣмъ самымъ онъ переходитъ отъ разнородности къ однородности, слѣдовательно, регрессируетъ. Въ то же самое время соціальный организмъ становится разнороднѣе, слѣдовательно, прогрессируетъ. Какое изъ этихъ взаимно исключающихся движеній слѣдуетъ принять за дѣйствительно прогрессивное? Объективная точка зрѣнія не даетъ руководства для выбора. Она говоритъ только, что прогрессъ есть переходъ отъ однороднаго къ разнородному. А такъ какъ въ исторіи движеніе общества именно въ этомъ отношеніи обозначено, за весьма, впрочемъ, значительными исключеніями, весьма явственно, то для объективной точки зрѣнія этого и достаточно: общество прогрессируетъ, хотя и давитъ при этомъ личность, заставляя ее переходить отъ разнородности къ однородности. Не то будетъ, когда мы станемъ на противоположную точку зрѣнія: когда мы, признавъ, что общество, какъ личность идеальная, не живетъ и не умираетъ, не страдаетъ и не наслаждается, возьмемъ за центръ своего изслѣдованія мыслящую, чувствующую и желающую личность. Естественнымъ образомъ мы признаемъ при этомъ прогрессивнымъ только такое движеніе, которое увеличиваетъ массу наслажденій этой личности и уменьшаетъ массу ея страданій. Мы знаемъ, далѣе, что нарушеніе равновѣсія органовъ, развитіе одного изъ нихъ въ ущербъ другому или другимъ, болѣзненно отзывается на личности и отнимаетъ у нея самое очевидное благо — здоровье. Кромѣ того, такое нарушеніе равновѣсія ставитъ одну личность или одну группу личностей въ зависимость отъ другой, которой удалось развить въ себѣ болѣе выгодную физіологическую функцію, такъ что первая такъ или иначе становится по отношенію ко второй въ болѣе или менѣе замаскированное положеніе раба. Наконецъ, такъ какъ каждое естественное физіологическое отправленіе составляетъ источникъ наслажденія, то недѣлимое тѣмъ счастливѣе, тѣмъ полнѣе и многостороннѣе идетъ въ немъ физіологическая работа. Съ этой точки зрѣнія прогрессъ выразится усложненіемъ организма, переходомъ его отъ однородности къ разнородности, хотя бы такой переходъ обусловливался обратнымъ движеніемъ для общества; переходъ же общества отъ однородности къ разнородности будетъ признакомъ регресса. Которое изъ этихъ рѣшеній правильнѣе, которое изъ нихъ логически вытекаетъ изъ закона Бэра? Очевидно, второе, потому что индивидуальный прогрессъ есть тотъ же прогрессъ органическій, только въ общественной средѣ. И придти къ этому второму рѣшенію Спенсеру помѣшало тщательное устраненіе вопроса о человѣческомъ счастіи. И натолкнуть его на это рѣшеніе могъ только этотъ вопросъ. Въ этой карѣ человѣческой логики за забвеніе человѣческихъ интересовъ есть знаменательное указаніе, преслѣдующее Спенсера во всѣхъ его ошибкахъ, придающее имъ видъ необыкновенной, странной грубости. Что можетъ быть грубѣе и очевиднѣе его ошибки относительно задачи искусства? И произошла она отъ того, что для него какъ бы не существуютъ соціальные контрасты, порожденные тѣмъ процессомъ дифференцированій общества, который онъ называетъ соціальнымъ развитіемъ. И когда сопоставляешь эти примѣры со множествомъ свѣтлыхъ, блестящихъ мыслей того же автора, то вопросъ о законности объективнаго метода въ соціологіи встаетъ все назойливѣе и назойливѣе.

Для подробной оцѣнки значенія этого метода да позволено намъ будетъ сдѣлать небольшое, а, можетъ быть, и довольно длинное отступленіе. Но намъ не хотѣлось бы разставаться съ читателемъ, не устранивъ одного возможнаго недоразумѣнія. Намъ не хотѣлось бы, чтобы читатель подумалъ, что для насъ золотой вѣкъ человѣчества лежитъ не впереди, а позади, не въ будущемъ, а въ прошедшемъ. Мы не признаемъ доктрины Руссо, которая, однако, несомнѣнно вѣрно указываетъ свойства нѣкоторыхъ сторонъ цивилизаціи. Не становимся мы и въ ряды поклонниковъ древ-

ней Грецiи (весьма многочисленныхъ сравнительно очень недавно), хотя опять-таки и въ ихъ мнѣнiи есть значительная доля правды. Съ одной стороны, общество еще никогда не достигало и не можетъ достигнуть до состоянiя организма. Съ другой стороны, насколько цивилизацiя двигалась путемъ раздѣльнаго труда, она несомнѣнно имѣла указанный выше двойственный характеръ. Но раздѣленiемъ труда не исчерпывается коонерацiя, и на ряду съ нимъ существовало и существуетъ простое сотрудничество, т. е. сочетанiе труда равныхъ людей, преслѣдующихъ одну и ту же цѣль. И все будущее принадлежитъ этой формѣ кооперацiи.

V.

Сравнивая нѣсколько болѣе или менѣе удаленныхъ другъ отъ друга историческихъ перiодовъ, мы замѣчаемъ большую или меньшую разницу въ соотвѣтствующихъ имъ состоянiяхъ общества. Мы видимъ различную группировку силъ политическихъ и экономическихъ, различные способы производства богатствъ, различные типы ихъ распредѣленiя, различныя степени власти надъ природой, различные нравственные уровни, различныя степени интеллектуальнаго развитiя, наклонности къ войнѣ и торговлѣ и т.д. Если, далѣе, мы достаточно подготовлены умственной работой надъ самимъ собой и надъ окружающими насъ фактами, то мы безъ труда замѣтимъ нѣкоторую связь между взятыми нами перiодами въ ихъ послѣдовательности; промежуточныя фазы еще настойчивѣе укажутъ на эту связь. Но отъ этого смутнаго сознанiя существованiя извѣстной правильности въ послѣдовательной смѣнѣ историческихъ фактовъ еще далеко до отчетливаго представленiя и формулированiя самой этой правильности. Мы скорѣе угадываемъ, нежели сознаемъ отчетливо и ясно, что есть нѣкоторый порядокъ въ появленiи на исторической сценѣ и исчезанiи съ нея всѣхъ этихъ великихъ героевъ и пошлыхъ негодяевъ, мирно занявшихъ по три аршина земли для своего послѣдняго жилища: всѣхъ этихъ глубокихъ думъ, сильныхъ чувствъ и страстныхъ желанiй, то сданныхъ нами въ архивъ, то превращенныхъ въ знамя нашей дѣятельности; всѣхъ этихъ потрясающихъ картинъ скорби и радости, въ которыхъ мы можемъ участвовать только мыслью; всѣхъ этихъ разнообразныхъ отжившихъ формъ общежитiя и мiросозерцанiя. Предъ нами развертывается такая необъятная перспектива прошедшаго, въ которой различные общественные элементы, повидимому, самыми причудливымъ образомъ скрещиваются, переплетаются, цѣпляются другъ за друга, сходятся и расходятся на тысячахъ пунктовъ, какъ неровныя звенья множества перепутанныхъ цѣпей. И орiентироваться въ этой сложной сѣти тѣмъ труднѣе, чѣмъ дальше мы подвигаемся въ густую чащу историческихъ фактовъ. Но насъ гонятъ нужды настоящаго, насъ душитъ страхъ за будущее, и мы все тщательнѣе и внимательнѣе ищемъ такого пункта, съ котораго было бы всего удобнѣе осмотрѣть всю разстилающуюся за нами исторiю, чтобы по ней опредѣлить наше будущее. Здѣсь мы встрѣчаемся съ очень крупными затрудненiями. Чтобы уловить законы соцiальной динамики, т. е. общественнаго прогресса, мы должны единовременно слѣдить за движенiемъ всѣхъ общественныхъ элементовъ сразу. Мы ищемъ не исторiи войны, торговли, экономическихъ отношенiй, вѣрованiй, нравственныхъ, эстетическихъ идеаловъ и т. д. Мы ищемъ законовъ, управляющихъ единовременнымъ движенiемъ всѣхъ этихъ элементовъ. Если мы ухватимся за одинъ какой-нибудь соцiальный элементъ, почему-либо бросившiйся намъ въ глаза, и по движенiю этой части будемъ судить о развитiи цѣлаго, то вся исторiя естестественно окрасится для насъ одностороннимъ и ложнымъ свѣтомъ. Такiя попытки прiурочить прогрессъ общества къ движенiю одного изъ соцiальныхъ элементовъ бывали. Такъ Боссюэтъ, напримѣръ, принялъ за точку исхода христiанство, элементъ, безъ всякаго сомнѣнiя, въ новой исторiи весьма важный, но не единый и не всеобъемлющiй. На ряду съ христiанствомъ въ новомъ обществѣ самостоятельно существуютъ болѣе или менѣе крупные обломки римскаго права, существуютъ наука, промышленныя отношенiя и общественыя учрежденiя, отнюдь не захватываемыя исторiей христiанства. Ошибка Боссюэта, не смотря на нѣкоторыя несомнѣнныя достоинства и важное значенiе его знаменитаго Discours, уже слишкомъ груба. Христiанство представляетъ собою факторъ, рѣзко опредѣленный во времени и пространствѣ, имѣющiй свое, извѣстное намъ, относительно близкое историческое начало и извѣстное географическое распространенiе. Мы знаемъ безошибочно, что были времена, когда христiанства не было, и что есть мѣста, гдѣ христiанства нѣтъ. Поэтому принятiе его развитiя за центральный факторъ соцiальной динамики можетъ ввести въ заблужденiе очень немногихъ. Боссюэтъ съ своей точки зрѣнiя весьма послѣдовательно разрубилъ гордiевъ узелъ до-христiанской исторiи на манеръ Александра Македонскаго, вычеркнувъ изъ древней исторiи всѣ народы, за исключенiемъ еврейскаго, въ которомъ онъ видитъ приготовленiе, такъ сказать, задатокъ христiанства. Но многими историками весь прогрессъ человѣчества прiурочивается къ факторамъ, гораздо болѣе общимъ и тѣмъ неменѣе всета-

ки недостаточно общимъ для освѣщенія хода развитія всего общества въ цѣломъ. Таково, напримѣръ, стремленіе къ политической свободѣ, теряющееся во мракѣ доисторическихъ временъ, съ одной стороны, и заявляющее себя въ сегодняшемъ нумерѣ либеральной газеты—съ другой, и имѣющее заявить себя и завтра, и послѣзавтра въ той или другой формѣ, существующее въ различной степени и въ Китаѣ, и въ Англіи, и въ Южной Америкѣ, и Норвегіи. Не смотря, однако, на общность этого элемента и могучесть его, какъ соціальнаго двигателя, мы не можемъ признать его элементомъ первенствующимъ, достаточно широкимъ для поглощенія остальныхъ. Исторія политической свободы и даже стремленія къ ней не есть исторія человѣчества; и, принявъ ее за исходный пунктъ изученія соціальной динамики, мы принуждены будемъ обойти значительную часть фактовъ совсѣмъ, а другую значительную часть представить въ совершенно невѣрномъ свѣтѣ. Мало того, игнорируя элементы равносильные, и быть можетъ, даже болѣе сильные, нежели стремленіе къ политической свободѣ, мы необходимо извратимъ и частную исторію этого самаго стремленія. Общество представляетъ собою арену безчисленныхъ дѣйствій и противодѣйствій, и въ то же время всѣ его элементы находятся въ тѣснѣйшей между собою зависимости, другъ друга обусловливая. Такъ что въ этомъ случаѣ намъ представляется дилемма; или полное и всесторонне уясненіе, или никакого уясненія даже развитія частнаго факта. Немудрено поэтому, что, вслѣдствіе своей сложности, вопросы общественой жизни, остановившіе на себѣ вниманіе человѣка почти единовременно съ первыми, азбучными вопросами природы, съ точки зрѣнія научной разработки остались далеко позади послѣднихъ. Самый предметъ общественой науки—людскія отношенія—всегда и вездѣ сосредоточивалъ на себѣ особое вниманіе. Лучшіе люди, цвѣтъ и красота человѣчества, дрались и умирали за тотъ или другой общественный принципъ, всю душу свою клали въ вопросы общественной жизни. Но рядомъ съ ними работали и работаютъ и тѣ, кто составляетъ позоръ и поношеніе людского рода. И въ этомъ заключается вторая причина отсутствія общественной науки. Истины естествознанія или вовсе не затрогиваютъ чьихъ бы то ни было непосредственныхъ интересовъ, за которые обыкновенно человѣкъ держится крѣпче всего,—и въ такомъ случаѣ большинство относится къ нимъ безразлично, «оставляя астрономамъ доказывать, что земля обращается вокругъ солнца»; или же онѣ могутъ получить немедленное практическое приложеніе, и въ такомъ случаѣ принимаются съ распростертыми объятіями. Если какое нибудь ученіе о природѣ и вызываетъ косые взгляды, то главнымъ образомъ потому, что изъ-за него выглядываетъ грозный образъ какого-либо ученія объ обществѣ. Прошла пора отреченія Галилея предъ лицомъ католицизма, но не скоро Петръ перестанетъ быть вынужденнымъ отрекаться отъ Христа предъ лицомъ римскихъ воиновъ. Истины науки общественной, вводя въ свои формулы такія понятія какъ справедливость, право, нравственность, должны пробиваться на свѣтъ Божій подъ гнетомъ общественнаго разстройства или неустройства, подъ градомъ ругательствъ, доносовъ, клеветъ и насмѣшекъ. Это отражается и на ищущихъ истину. Вотъ двѣ книги: одна трактуетъ о явленіяхъ природы, другая—о являніяхъ общественной жизни. Одна написана спокойно, безстрастно нацѣпляетъ фактъ на фактъ и безпрепятственно доходитъ до обобщенія. Въ другой не то. Вы видите, что человѣкъ захлебывается тѣми ощущеніями, которыя возбуждаются въ немъ процессомъ передачи мыслей; вы можете чуть не по каждой строкѣ судить о біеніи пульса писавшей руки; человѣкъ любитъ, ненавидитъ, смѣется и плачетъ; вы можете разглядѣть слѣды желчи и слезъ на бездушной бумагѣ. Изложеніе сбивчиво, неровно, рядомъ съ чисто научной мыслью стоитъ ѣдкая полемическая выходка, вызовъ врагу, улыбка торжества и презрѣнія; тамъ опять безспорное наблюденіе, безспорный выводъ и опять дрожь и замираніе субъективныхъ взрывовъ. Но запасъ накопленныхъ знаній всетаки растетъ и растетъ. Истина и здѣсь все та же вода, вылитая по каплѣ на камень, только камень крѣпче и въ водѣ есть посторонніе, но неизбѣжныя примѣси. Нѣтъ сомнѣнія, что какъ въ наукѣ о природѣ истинѣ удалось выбить изъ позиціи odium theologicum, такъ одолѣетъ она соотвѣтствующій элементъ и въ наукѣ объ обществѣ. Статистики и психологи, соціалисты и экономисты, политическіе теоретики и историки вносятъ свою долю въ капиталъ будущей общественной науки, и все это толкается впередъ потребностями и нуждами народовъ и обливается безстрастнымъ, холоднымъ и неотразимымъ свѣтомъ науки о природѣ. И наступитъ, наконецъ, пора, когда поблѣднѣетъ извѣстный сарказмъ Гоббза: если бы и геометрическія аксіомы задѣвали человѣческіе интересы, такъ и онѣ вѣчно оспаривались бы. Мы имѣемъ право вѣрить, что наступитъ такая пора, потому что это вѣра въ силу человѣческаго разума и вѣра разумная.

Въ первой половинѣ нынѣшняго вѣка на Западѣ выросла новая философская школа, предложившая обойти оба коренныя затрудненія соціальной науки: сложность явленій общественной жизни и вмѣшательство субъективнаго элемента. Мы говоримъ о позитивизмѣ. Представители его явились то незави-

симо другъ отъ друга, то группируясь около одного какого нибудь крупнаго имени, то признавая себя позитивистами, то отрицая свою солидарность съ тою или другою ихъ отраслью. Исключительно опытное происхожденіе нашихъ знаній, ихъ относительность, невозможность познать сущность вещей и вслѣдствіе этого необходимость довольствоваться только оцѣнкой взаимныхъ отношеній между явленіями и отсюда выводить ихъ законы, подчиненность извѣстнымъ законамъ какъ явленій физическихъ, такъ и соціальныхъ,— таковы основные философскіе принципы, выставленые новыми теоріями въ болѣе или менѣе опредѣленной формѣ и въ болѣе или менѣе широкихъ обобщеніяхъ. Само собою разумѣется, что принципы эти и въ прежнія времена выдвигались отдѣльными мыслителями. Такъ, по вопросу объ относительности знаній Спенсеръ цитируетъ по Гамильтону слѣдующій списокъ предшественниковъ позитивизма: Протагоръ, Аристотель, св. Августинъ, Боэцій, Аверроэсъ, Альбертъ Великій, Жерсонъ, Левъ Еврей, Меланхтонъ, Скалигеръ, Францискъ Пикколомини, Джіордано Бруно, Кампанелла, Бэконъ, Спиноза, Ньютонъ и Кантъ. И списокъ этотъ могъ бы быть значительно увеличенъ. Но какъ историческій центръ тяжести протеста противъ католицизма выпадаетъ на XVI вѣкъ, хотя этому по преимуществу вѣку реформаціи и предшествовали альбигойцы, лолларды, гусситы, такъ и разрозненные непроведенные до конца и растворенные въ болѣе или менѣе чуждой массѣ принципы положительной философіи, проскальзывающіе тамъ и сямъ въ предшествующіе вѣка, не мѣшаютъ считать началомъ позитивизма именно XIX вѣкъ. Это не значитъ, разумѣется, что принципы положительной философіи во всѣхъ сферахъ знанія и жизни получили должное примѣненіе, или что тамъ, гдѣ были попытки приложить ихъ къ дѣлу, они вездѣ были приложены должнымъ образомъ. Положительной философіи несомнѣнно предстоитъ еще большая и тяжелая работа. И не только въ поступательномъ движеніи впередъ должна состоять эта работа, не только въ расчисткѣ новыхъ и новыхъ закоулковъ науки и жизни, но и въ исправленіи и пополненіи многихъ важнѣйшихъ уже существующихъ выводовъ отдѣльныхъ представителей новаго строя мысли.

Школа Огюста Конта, которой преимущественно присвоивается названіе позивитизма положительной философіи, обходитъ первое существенное затрудненіе соціальной науки такимъ образомъ, что принимаетъ за центральный факторъ соціальнаго развитія интеллектуальный элементъ. При этомъ позитивисты очень хорошо понимаютъ, что умственная дѣятельность отнюдь не представляетъ наиболѣе сильнаго соціальнаго двигателя: что стремленіе къ истинѣ, къ объясненію міровыхъ явленій не захватываетъ собою другихъ гораздо болѣе могучихъ дѣятелей; что интеллектуальный элементъ самъ постоянно получаетъ толчки отъ мѣстныхъ физическихъ условій, отъ страстей, потребностей и желаній человѣка. Позитивисты говорятъ только, что умственный элементъ имѣетъ значеніе руководителя въ соціальномъ движеніи, и имъ обусловливается количество и качество средствъ для удовлетворенія человѣческихъ склонностей и желаній. При такихъ оговоркахъ понятно громадное научное значеніе этого принципа. Онъ пробиваетъ широкую просѣку въ дремучемъ лѣсу исторіи и значительно упрощаетъ задачу соціальной динамики. Съ такой точки опоры глаза уже не разбѣгаются по запутаннымъ ходамъ и переходамъ историческаго лабиринта; вниманіе сосредоточивается на движеніи одного элемента, и вмѣстѣ съ тѣмъ элементъ этотъ таковъ, что, принявъ его развитіе за центральную нить, мы можемъ связать каждую ея точку съ любымъ изъ остальныхъ общественныхъ фактовъ. Высота умственнаго уровня, свойства вѣрованій и мнѣній въ данную историческую эпоху, опредѣляя нравственный, политическій и экономическій складъ общества, даютъ изслѣдователю руководящую нить, безъ которой онъ запутался бы въ массѣ фактовъ.

Найдя такую выгодную позицію, Контъ съ высоты ея раздѣлилъ исторію человѣчества на три великіе періода: теологическій, метафизическій и позитивный. Въ первомъ люди не имѣютъ понятія о законосообразности и причинной связи явленій, все совершается непосредственнымъ вмѣшательствомъ высшихъ существъ, одаренныхъ разумомъ и волею. Сначала люди антропоморфизуютъ единичные предметы, считаютъ ихъ одушевленными и принимающими участіе въ судьбѣ человѣка,—это возрастъ фетишизма; за нимъ слѣдуетъ политеистическое міросозерцаніе, уже классифицирующее явленія и отводящее въ завѣдываніе каждаго изъ высшихъ существъ цѣлые ряды фактовъ; наконецъ, является идея монотеизма, стирающая своимъ величіемъ и цѣлостностью всѣ отдѣльныя божества предшествующихъ періодовъ. На метафизической ступени развитія мысль считаетъ причиною явленій и ихъ измѣненій не волю существъ, стоящихъ внѣ самыхъ явленій, а нѣкоторыя свойства, силы и способности естественныхъ конкретныхъ дѣятелей, имъ присущія. Мысль отвлекаетъ отъ предмета одно изъ его свойствъ и реализируетъ свое отвлеченіе, придавая ему такимъ образомъ отдѣльное, самостоятельное существованіе, хотя и связанное съ существованіемъ конкретнаго факта. На-

конецъ, положительная философія, оставляя въ сторонѣ какъ сверхъестественныхъ дѣятелей, такъ и метафизическія сущности, устремляетъ вниманіе человѣка на самыя явленія въ ихъ связи съ сосѣдними по времени и по пространству. Законы послѣдовательности и существованія явленій,—вотъ все, чего ищетъ отрезвившаяся мысль, усталая отъ погони за конечными причинами и абстрактными сущностями. Каждая вѣтвь знанія проходитъ чрезъ эти три фазы развитія и каждая принимаетъ, наконецъ, положителный характеръ. Но новый слой мысли не вдругъ совершенно стираетъ прежніе слои, и есть такія отрасли науки, гдѣ можно различить всѣ три формаціи, существующія единовременно. Таково именно печальное состояніе соціологіи: въ ней бокъ-о-бокъ съ проблесками позитивнаго строя мысли существуютъ осколки теологическаго міросозерцанія, сказывающагося въ преобладаніи воображенія надъ наблюденіемъ, метафизическаго—въ лицѣ тѣхъ ученій,которыя выводятся изъ принциповъ естественнаго права и понятія о врожденныхъ идеяхъ. Наличные политическіе принципы какъ ретоградные, такъ и революціонные, и ходячія правила морали всѣ вытекаютъ либо изъ идеи божественнаго права, либо изъ абстракцій. Поэтому Контъ признаетъ за «революціонной метафизикой» только критическое и отрицательное значеніе, выразившееся въ борьбѣ съ католицизмомъ и феодализмомъ. Затѣмъ дальнѣйшее существованіе ея оказывается крайне вреднымъ,потому что она только «переноситъ божественное право съ королей на народъ» или стремится отодвинуть общество назадъ подъ покровомъ прогрессивныхъ цѣлей. Положительная же соціологія хочетъ только уловить тѣ законы, по которымъ акты общественной жизни группируются въ данное время или слѣдуютъ одинъ за другимъ. Наличныя политическія доктрины имѣютъ въ виду исключительно идею порядка, или столь же исключительно идею прогресса, вслѣдствіе чего ни тѣ, ни другіе не могутъ удовлетворить научнымъ требованіямъ. Въ положительной же соціологіи оба эти принципа получаютъ свое настоящее мѣсто, причемъ идея порядка составляетъ основаніе соціальной статики, а идея прогресса — корень соціальной динамики. Ищите законовъ послѣдовательности и осуществленія явленій—таковъ единственный завѣтъ позитивизма, который, ставя соціолога на объективную точку зрѣнія, тѣмъ самымъ, устраняетъ, повидимому, и второе больное мѣсто соціологіи.

Какъ ни соблазнительна мысль подольше остановиться на исторической и соціологической теоріи Конта, мнѣ приходится удовольствоваться здѣсь этимъ болѣе чѣмъ голымъ остовомъ и нижеслѣдующими отрывочными замѣчаніями. Прежде всего въ Контовскомъ огульномъ отрицаніи «революціонной метафизики» бросается въ глаза слѣдующее обстоятельство. Всѣ существующія политическія теоріи и системы дѣлятся для Конта на остатки феодально - католическаго міросозерцанія, представляемые различными ретроградными партіями; затѣмъ существуетъ промежуточная,лишенная всякой самостоятельности партія консервативная и, наконецъ,«революціонная метафизика», куда входятъ всѣ оттѣнки критической соціальной философіи отъ нѣкоторыхъ сторонъ протестантизма до системъ и ученій, народившихся вовремя и послѣ французской революціи. Всѣ они, говоритъ Контъ, не удовлетворяютъ принципамъ положительной философіи,потому что всѣ ищутъ чего-то, кромѣ законовъ явленій, или даже вовсе не ищутъ послѣднихъ. Здѣсь, очевидно, смѣшаны теоретическія посылки съ практическими заключеніями. Поскольку какое-либо политическое ученіе вытекаетъ изъ принциповъ естественнаго права; поскольку этическая теорія строится на врожденномъ понятіи добра или справедливости, — и это политическое ученіе, и эта этическая теорія представляютъ собою доктрины метафизическія. Но дѣло въ томъ, что это весьма часто бываетъ не болѣе какъ форма, и сквозь эту метафизическую оболочку, расколутую и надтреснутую, замѣтно ядро совершенно иного свойства. Пусть идея souverainité populaire есть понятіе метафизическое, переносящее, какъ говоритъ Контъ, божественное право съ королей на народы. Но, какъ справедливо замѣчаетъ Милль,въ этомъ принципѣ слѣдуетъ оцѣнить и другую сторону: «тутъ есть также и положительное ученіе, которое,безъ всякой претензіи на абсолютность, требуетъ непосредственнаго участія управляемыхъ въ ихъ собственномъ управленіи, не какъ естественаго права,а какъ средства къ достиженію важныхъ цѣлей, подъ условіями и съ ограниченіями, какія опредѣляются этими цѣлями» («О. Контъ и положительная философія»). Эта неразборчивость Конта въ поголовномъ осужденіи всѣхъ основныхъ принциповъ революціонныхъ, демократическихъ, либеральныхъ, радикальныхъ, соціалистическихъ и т. д. соціологическихъ теорій и школъ заводитъ иногда его самого въ матафизическія глубины. Такъ, напримѣръ, онъ считалъ вопросъ объ уничтоженіи смертной казни совершенно нелѣпымъ. Дѣло сводилось для него къ «метафизическому приравниванію самыхъ недостойныхъ негодяевъ къ простымъ больнымъ» (Cours de philosophie positive,t.IV, 95), что казалось ему опаснымъ софизмомъ». Здѣсь, какъ и почти во всѣхъ своихъ нападкахъ на «революціонную метафизику», Контъ на половину правъ, а на остальную половину не

только неправъ, но и прямо грѣшитъ противъ положительной философіи. Дѣйствительно, существуетъ нѣсколько теорій, отрицающихъ смертную казнь во имя чисто-метафизическихъ положеній, но онѣ составляютъ меньшинство; большинство же теолого-метафизическихъ теорій выпадаетъ на долю защитниковъ смертной казни, которые черпаютъ свои доводы изъ метафизическаго вопроса о правѣ государства наказывать, либо изъ идеи абсолютной справедливости, либо изъ принципа talionis и пр. Совершенно не таковы, въ большинствѣ случаевъ, пріемы противниковъ смертной казни. Ненавистное Конту «приравниваніе преступниковъ къ больнымъ» въ незначительной степени опирается на чисто-научныя психіатрическія данныя и затѣмъ на данныя статистическія, добытыя опять-таки не метафизическимъ путемъ, а путемъ опыта и наблюденія. И тѣ, и другія свидѣтельствуютъ, во-первыхъ, что преступленія весьма часто являются результатомъ душевныхъ болѣзней; во-вторыхъ, что смертная казнь производитъ на общество деморализующее вліяніе; въ-третьихъ, наконецъ, что человѣкъ есть продуктъ окружающихъ его физическихъ и соціальныхъ условій, и что поэтому только соотвѣтственное измѣненіе этихъ условій можетъ оказаться въ данномъ случаѣ пригоднымъ средствомъ. Таковы строго позитивныя истины, выдвигаемыя противниками смертной казни и рѣдко распространяемыя ими на всѣ виды наказанія. Всѣ онѣ резюмируются въ одномъ положеніи: смертная казнь не достигаетъ предположенныхъ цѣлей, а иногда даже приводитъ къ совершенно противоположнымъ результатамъ. Контъ же, игнорируя воздѣйствіе среды на образованіе характера, вообще и на направленіе дѣятельности въ томъ или другомъ частномъ случаѣ и говоря о необходимости смертной казни для «недостойныхъ негодяевъ», самъ становится на чисто метафизическую точку зрѣнія отвлеченной справедливости, хотя въ его упрекахъ есть несомнѣнно нѣкоторая доля правды —нѣкоторыя теоретическія посылки нѣкоторыхъ противниковъ смертной казни дѣйствительно проникнуты метафизическимъ характеромъ. Но дѣло именно въ томъ, что Контъ въ своей безпощадной критикѣ извѣстныхъ теорій какъ бы не въ силахъ отличить метафизическую оболочку отъ позитивнаго ядра. По самому складу своего ума и согласно общему смыслу своей философіи исторіи, Контъ превосходно понялъ и оцѣнилъ значеніе исходныхъ теоретическихъ точекъ нѣкоторыхъ наличныхъ политическихъ и этическихъ теорій. Но затѣмъ концы этихъ теорій, поставляемыя ими себѣ цѣли и указываемыя ими для достиженія этихъ цѣлей средства — не такъ легко поддаются его анализу. Здѣсь сказывается слабая сторона ученія Конта, потому что само оно, собственно говоря, не имѣетъ конца. Дѣйствительно, голое положеніе: все совершается по извѣстнымъ законамъ, — не даетъ руководящаго принципа. Принявъ его въ основаніе, можно показать, по какимъ побужденіямъ предки наши поступили въ такомъ-то случаѣ такъ или иначе. Точно также потомки наши, зная, что мы дѣйствуемъ подъ напоромъ тѣхъ или другихъ космическихъ и соціальныхъ условій, сумѣютъ связать эти условія съ свойствами нашей дѣятельности. Словомъ, отойдя на извѣстное историческое разстояніе отъ событій, можно, заручившись только однимъ принципомъ позитивизма и достаточнымъ количествомъ знаній, показать, какъ должны были дѣйствовать участники событій. Но дѣятели настоящаго времени изъ убѣжденія въ законосообразности явленій могутъ почерпнуть правила для самыхъ противоположныхъ практическихъ примѣненій, потому что убѣжденіе это не ставитъ цѣли, а даетъ возможность добиться цѣлей самыхъ разнообразныхъ. Съ перваго раза можетъ показаться, что основной принципъ позитивизма, напротивъ, долженъ устранять надежды добиться цѣлей, несогласныхъ съ извѣстными законами явленій общественной жизни. Но дѣло въ томъ, что явленія эти до такой степени сложны, что управляющіе ими законы могутъ комбинироваться весьма разнообразно, и среди этой запутанной сѣти могутъ быть преслѣдуемы самымъ позитивнымъ образомъ самыя разнообразныя цѣли. Поэтому всякая этико-политическая доктрина имѣетъ свой девизъ, которымъ, какъ цѣлью, суммируются практическіе мотивы; на знамени позитивизма такого девиза нѣтъ. Его принципы чисто научные, а не философскіе. Позитивизмъ гордится тѣмъ, что въ немъ философія и наука сливаются въ одно цѣлое, —и гордится совершенно справедливо. Не признавая за принципами позитизма философскаго значенія, я разумѣю только, что онъ не захватываетъ всѣхъ сторонъ жизни. Принципъ законосообразности явленій чистъ и безупреченъ, какъ дѣва. Но какъ дѣва онъ можетъ остаться безплоднымъ, въ немъ самомъ нѣтъ оплодотворяющаго начала; какъ за дѣву, за него нельзя поручиться—въ чьи руки онъ попадетъ и что дастъ человѣчеству. Контъ и самъ чувствовалъ это. «Надо тщательно стараться,—говоритъ онъ,—чтобы научное убѣжденіе въ подчиненности соціальныхъ явленій неизмѣннымъ естественнымъ законамъ не выродилось въ систематическую наклонность къ фатализму и оптимизму, одинако безнравственнымъ (degradants) и опаснымъ, а потому только тѣ могутъ съ успѣхомъ заниматься соціологіей, чей нравственный уровень достаточно высокъ» (Cours de phil. pos., t. IV. 191). Глубокій смыслъ этихъ словъ я постараюсь разъяснить

ниже. Но почему, съ точки зрѣнія позитивизма, фатализмъ и оптимизмъ безнравственны и опасны? «Не восхищаясь политическими фактами и не осуждая ихъ,—говоритъ Контъ, и слово въ слово повторяетъ за нимъ Льюисъ,—положительная соціологія, какъ и всѣ остальныя науки, видитъ въ нихъ только простые предметы наблюденія и разсматриваетъ каждое явленіе съ двоякой точки зрѣнія—его гармоніи съ существующими фактами и его связи съ предшествующими и послѣдующими состояніями человѣческаго развитія» (Cours, IV, 293, русскій переводъ книги Льюса о Контѣ, стр. 281). Спрашивается, какъ связать это чисто-объективное отношеніе къ политическимъ фактамъ, во-первыхъ, съ неодобрительными отзывами о фатализмѣ и оптимизмѣ? Это просто политическіе факты, неподлежащіе осужденію съ точки зрѣнія позитивизма, они необходимо гармонируютъ съ фактами сосуществующими и находятся въ связи съ фактами послѣдующими и предыдущими. Если скажутъ, что выраженіями «безнравственны и опасны» именно и опредѣляется связь фатализма и оптимизма съ послѣдующими фактами, то это значитъ только, что программа объективнаго отношенія къ политическимъ фактамъ неисполнима; что въ области явленій общественной жизни наблюденіе неизбѣжно до такой степени связано съ нравственной оцѣнкой, что «не восхищаться политическими фактами и не осуждать ихъ» можно, только не понимая ихъ значенія. Но нравственная оцѣнка есть результатъ субъективнаго процесса мысли, а между тѣмъ позитивизмъ поставляетъ себѣ въ особенную заслугу употребленіе въ соціологіи метода объективнаго. Далѣе, если объективный методъ вполнѣ соотвѣтствуетъ соціологическимъ изслѣдованіямъ, то зачѣмъ же при этомъ понадобился высокій нравственный уровень? Значитъ, одного убѣжденія въ законообразности явленій мало. Прекрасно. Но чѣмъ выразится участіе высокаго нравственнаго уровня въ соціологическихъ изслѣдованіяхъ? Очевидно, съ высоты этого уровня человѣкъ можетъ разглядѣть нѣчто, не поддающееся объективному изслѣдованію, которое одно признается законнымъ въ позитивизмѣ. Такимъ образомъ оказывается, что въ системѣ Конта чего-то не достаетъ, и чего-то весьма важнаго. Я радъ, что могу указать, какъ на подтвержденіе своихъ бѣглыхъ замѣчаній, на замѣчательную статью г. П. Л: «Задачи позитивизма и ихъ рѣшеніе» («Современное Обозрѣніе» май). «Объективный элементъ въ области этики, политики и соціологіи,—говоритъ почтенный авторъ,—ограничивается дѣйствіями личности, общественными формами, историческими событіями. Они подлежатъ объективному описанію и классифицированію. Но, чтобы *понять* ихъ, надо разсмотрѣть *цѣли*, для которыхъ дѣйствія личности составляютъ лишь средства, *цѣли*, которыя воплощаются въ общественныхъ формахъ, *цѣли*, которыя вызвали историческое событіе. Но что̀ такое цѣль? Это нѣчто желаемое, пріятное, должное. Всѣ эти категоріи чисто субъективны и въ то же время доступны всѣмъ личностямъ. Слѣдовательно, входя въ изслѣдованіе, эти явленія принуждаютъ употреблять субъективный методъ и въ то же время позволяютъ это сдѣлать вполнѣ научно» (137). Въ другомъ мѣстѣ г. П. Л. совершенно справедливо замѣчаетъ, что, устраняя субъективный методъ въ вопросахъ политики и этики, позитивизмъ не можетъ даже оправдать свое собственное существованіе. Телеологія, въ смыслѣ ученія о цѣляхъ, поставляемыхъ себѣ личностью, въ позитивизмѣ не имѣетъ мѣста, вслѣдствіе отсутствія субъективнаго метода и, слѣдовательно, нравственной оцѣнки. Поэтому, когда Контъ или кто-либо изъ его учениковъ (послѣдователей его курса положительной философіи, разумѣется, а не «позитивной политики», потому что послѣдніе состоятъ на совершенно особомъ положеніи) одобряютъ или порицаютъ какое-нибудь соціальное явленіе, то, какъ бы удачна ни была эта оцѣнка, она чужда системѣ, не связана съ ней органически. Гдѣ нѣтъ телеологіи, тамъ не можетъ быть и правилъ морали и, слѣдовательно, ни порицанія, ни одобренія, что̀, какъ мы видѣли, заявляетъ и самъ Контъ. Этимъ же отсутствіемъ телеологіи и субъективнаго метода въ соціологіи объясняются и недостатки Контовой оцѣнки политическихъ теорій. Тамъ, гдѣ достаточно одного объективнаго метода, гдѣ фактъ не нуждается въ нравственной оцѣнкѣ, Контъ съ необыкновенною проницательностью подмѣчаетъ тончайшіе оттѣнки и особенности явленій. Таковы почти всѣ частности его анализа трехъ способовъ мышленія. Здѣсь онъ чрезвычайно тонко и отчетливо классифицируетъ явленія, подвергая ихъ всестороннему разсмотрѣнію. Онъ очень ясно видитъ, напримѣръ, что переходъ отъ фетишизма къ политеизму (и при томъ еще чрезъ посредство періода звѣздопоклонства—astrolâtrie) есть не только переходъ отъ одной ступени теологическаго міросозерцанія къ другой; что здѣсь же получаетъ начало и метафизическій строй мысли и идетъ своей дорогой, въ то время, какъ теологическое мышленіе, пройдя чрезъ политеизмъ, завершается монотеизмомъ. Подобной ясности и отчетливаго разграниченія различныхъ сторонъ одного и того же факта почти и слѣдовъ нѣтъ въ его критикѣ политическихъ теорій. Здѣсь пункты сходства и различія намѣчены непосредственно грубѣе и, такъ сказать, топорнѣе, именно потому, что объективная классификація оказывается уже въ этой области недоста-

точною. Вслѣдствіе этого позитивизмъ становится сплошь и рядомъ во враждебное отношеніе къ тому, что особенно дорого современному человѣчеству, въ чемъ оно видитъ залогъ своего будущаго счастія и въ то же время обязанъ дружить съ явленіями, крайне непривлекательными въ нравственномъ отношеніи.

Вы давно уже не перечитывали Бальзака, если только перечитывали, и по всей вѣроятности забыли его. Но, вы, можетъ быть, помните одну сцену изъ романа „La recherche de l'Absolu", сцену, въ которой цѣликомъ сказался причудливый, но громадный талантъ Бальзака. Клаэсъ, ученикъ Лавуазье, ищетъ философскаго камня. Онъ съ утра до вечера сидитъ въ лабораторіи и совершенно разорился въ виду надежды разгадать великую загадку. Его несчастная жена, которой не до «абсолюта», страдаетъ, тоскуетъ, но эти страданія и тоска не существуютъ для Клаэса. И когда она плачетъ, онъ объясняетъ ей, что разлагалъ въ своей лабораторіи слезы, и что онѣ, тѣ самыя слезы, которыя текутъ въ эту минуту по блѣдному и исхудалому лицу жены, состоятъ изъ такихъ-то и такихъ-то элементовъ, соединенныхъ въ такой-то пропорціи... Есть что-то отвратительно-жестокое и нечеловѣческое въ этомъ химическомъ анализѣ женинныхъ слезъ. А Клаэсъ человѣкъ добрый, мягкій, а Клаэсъ стремится всѣмъ существомъ своимъ къ истинѣ. И вы сразу видите, что это не фальшь, что различныя стороны характера Клаэса не насильственно и произвольно сшиты бѣлыми нитками; что Бальзакъ воплотилъ въ этомъ образѣ недюжинную мысль. Вы сразу чуете глубокую жизненную правду этого типа. Онъ съ нами, въ переднемъ углу у насъ сидитъ. Бываютъ въ жизни народовъ тревожныя минуты, когда Клаэсы призываются къ разсчету, когда, вслѣдъ за крикомъ: «республикѣ не нужно химиковъ!» (быть можетъ, откликъ знаменитыхъ словъ Руссо: у насъ есть физики, химики и геометры, но нѣтъ больше гражданъ) погибаютъ великіе Лавуазье. Фактъ печальный, печальный въ особенности потому, что гроза разразилась надъ головой Лавуазье, а не мелюзги какой-нибудь. Въ фактѣ этомъ можно различить не только взрывъ народныхъ страстей насильственно и, слѣдовательно, по необходимости неправильно ищущихъ себѣ выхода, а и откликъ «революціонной метафизики». Пусть такъ, пусть даже вся вина падаетъ въ этомъ случаѣ на нее. Но какъ смотритъ на дѣятельность Клаэсовъ позитивизмъ, преслѣдующій «революціонную метафизику» больше, чѣмъ феодально-католическую организацію? и имѣетъ ли онъ право отнестись къ ней критически? Позитивизмъ можетъ только сказать, что феноменъ слезъ подлежитъ извѣстнымъ законамъ; далѣе, что извѣстныя условія въ одномъ случаѣ выдвигаютъ людей, химически анализирующихъ слезы, а въ другомъ—людей, утирающихъ ихъ и, слѣдовательно, анализирующихъ ихъ съ общественной точки зрѣнія. Но, затѣмъ, которая изъ этихъ дѣятельностей въ данномъ случаѣ, въ минуту плача, предпочтительнѣе и обязательнѣе, на это позитивизмъ не даетъ отвѣта. Слезы, какъ продуктъ химико-физіологическаго процесса, и тѣ же слезы, какъ результатъ процесса соціально-психологическаго, и въ томъ, и въ другомъ случаѣ повинуясь извѣстнымъ законамъ, одинаково требуютъ изученія съ точки зрѣнія позитивизма. Читатель не станетъ, разумѣется, придираться къ намъ, напирая на то, что Клаэсъ ищетъ философскаго камня, «абсолюта», а не законовъ явленій, и что поэтому, по классификаціи Конта, его мѣсто въ метафизическомъ періодѣ. Не въ томъ здѣсь дѣло. Если даже Бальзакъ не имѣлъ этого въ виду, то мастерской образъ Клаэса невольно просится на болѣе широкой пьедесталъ. Онъ представитель науки для науки и спеціальности для спеціальности. Онъ глухъ къ скорби человѣческой, онъ ея не слышитъ или относится къ ней объективно, но онъ ищетъ истины, онъ стремится уловить законы, по которымъ группируется извѣстный рядъ явленій; его анализъ слезъ можетъ даже пригодиться на что-нибудь очень важное, хоть онъ этого и не сознаетъ. Клаэсъ, анализирующій человѣческія слезы въ моментъ плача, какъ химикъ,—позитивистъ. Если-бы онъ столь же строго научно изслѣдовалъ ихъ съ соціально-психологической точки зрѣнія, онъ былъ бы также позитивистъ. Но тѣмъ не менѣе, вы чувствуете, что это два совершенно различные типа, двѣ противоположности, которыя не совсѣмъ удобно помѣщать подъ одну и ту же рубрику. И я полагаю, что любая этико-политическая докторина сумѣетъ разглядѣть яркую черту, раздѣляющую эти два міросозерцанія, и только позитивизмъ, какъ онъ существуетъ въ настоящую минуту, т. е. при объективномъ методѣ въ соціологіи, не увидитъ ея. Было бы весьма любопытно прослѣдить, какъ Контъ, въ особенности въ шестомъ томѣ своего курса философіи, искалъ выхода изъ этого положенія. Какъ извѣстно, онъ перешелъ, наконецъ, отъ этого къ субъективному методу, но тогда этотъ могучій, но усталый и близкій къ совершенному помѣшательству умъ могъ создать только «Позитивную политику». Однако только геніальный сумасшедшій могъ выработать этотъ культъ человѣчества. Что же касается до сотрудниковъ журнала «La philosophie positive», признающихъ своею только первую половину дѣятельности Конта и настаивающихъ на необходимости объективнаго метода въ рѣшеніи этико-политическихъ вопросовъ, то мы должны откровенно сказать, что не видимъ ничего, кромѣ общихъ мѣстъ, въ ихъ

попыткахъ создать этику и политику. Наиболѣе низкая ступень позитивной лѣстницы прогресса, на которую можетъ быть поставленъ Клаэсъ, есть âge de spécialité, находящійся у преддверія самаго позитивизма, да и этого часто мало. Правда, можетъ быть, никто больше самого Конта не преслѣдовалъ этого âge de spécialité (при чемъ значительную роль играло личное раздраженіе), къ которому онъ иногда относится даже строже, чѣмъ къ «революціонной метафизикѣ». Но такое отрицательное отношеніе къ дѣятельности Клаэсовъ есть чисто личное дѣло Конта, отнюдь не обязательное для позитивизма, какъ философской системы. Во-первыхъ, позитивизмъ обязанъ не восхищаться фактами и не осуждать ихъ, а во-вторыхъ, если Клаэсы путемъ опыта и наблюденія ищутъ законовъ явленій, то они вполнѣ удовлетворяютъ требованіямъ позитивизма. Точно такъ же, когда Контъ говоритъ: «Эта новая соціальная философія (т. е. позитивная), по природѣ своей, до такой степени способна осуществить въ настоящее время всѣ законныя (legitimes) желанія, какія можетъ предъявить революціонная политика» и т. д. (Cours, IV, 148), когда Контъ говоритъ это, то выраженіе «законныя желанія» совершенно неопредѣленно. Мы знаемъ, какія желанія законны съ точки зрѣнія наличныхъ политическихъ теорій ретроградныхъ, консервативныхъ и революціонныхъ, съ точки зрѣнія индивидуалистовъ, соціалистовъ, клерикаловъ, эклектиковъ и т. д. Какъ бы удачно или неудачно ни были построены эти системы и теоріи въ другихъ отношеніяхъ, но ихъ желанія и идеалы очевидны для всѣхъ. Съ точки зрѣнія объективнаго метода, составляющаго характеристическую черту позитивной соціологіи, выраженіе «законное» желаніе значитъ только «достижимое» желаніе. Но всѣ существующія и когда-либо существовавшія этико-политическія доктрины признаютъ свои желанія достижимыми. Положимъ, что позитивизмъ, такъ тѣсно связанный съ наукой, можетъ лучше другихъ философскихъ системъ и политическихъ теорій опредѣлить, какія желанія достижимы, какія—нѣтъ. Но для этого надо сначала имѣть желаніе, и каждый *позитивистъ* ихъ, разумѣется, имѣетъ, но *позитивизмъ* не ставитъ никакихъ идеаловъ, потому что идеалъ есть результатъ субъективнаго настроенія. Много пронеслось надъ человѣчествомъ недостижимыхъ и въ этомъ смыслѣ незаконныхъ желаній, и много они загубили умовъ и жизней. Можетъ быть, величайшая заслуга позитивизма состоитъ именно въ указаніи человѣку тѣхъ границъ, за которыми лежитъ для него вѣчная, неодолимая тьма. Стараться проникнуть за эти границы—значитъ имѣть недостижимыя и незаконныя желанія. Такъ учитъ позитивизмъ. Мы скажемъ больше. Эти незаконныя желанія составляютъ грѣхъ предъ человѣчествомъ, служенію которому должны быть посвящены всѣ человѣческія силы. Мы говоримъ о чисто-теоретическихъ вопросахъ, о сущности и началѣ вещей, о конечныхъ причинахъ и проч. Но въ области практическихъ вопросовъ дѣло усложняется какъ сложностью самыхъ вопросовъ, такъ и никакими усиліями неустранимымъ—мы надѣемся это доказать—вмѣшательствомъ субъективнаго элемента, т. е. личныхъ чувствъ и желаній. Въ каждую данную минуту по данному практическому вопросу могутъ оказаться достижимыми нѣсколько діаметрально противоположныхъ желаній, и какое рѣшеніе приметъ въ этомъ случаѣ позитивистъ—это опредѣлится личнымъ характеромъ дѣятеля. Это, конечно, всегда такъ бываетъ, и не съ одними позитивистами. Но разница въ томъ, что адептъ всякаго другого ученія получаетъ въ этомъ отношеніи отъ своей доктрины болѣе или менѣе сильный непосредственный толчекъ въ ту или другую сторону. Адептъ же позитивизма не получаетъ отъ него ничего. Оставаясь позитивистомъ, онъ можетъ пойти направо и налѣво, можетъ, подобно Дюма, Нелатону и прочимъ ученымъ свѣтиламъ современной Франціи, оказаться покорнѣйшимъ слугой второй имперіи, а можетъ слѣдовать и совершенно иной программѣ. Контъ не даромъ предостерегалъ своихъ учениковъ, чтобы они не вмѣшивались въ политическое движеніе, «которое должно для нихъ, главнымъ образомъ, служить предметомъ наблюденія» (IV, 165); что не мѣшало ему тутъ-же громить политическій индифферентизмъ современныхъ представителей науки, «поистинѣ чудовищный» (IV, 158). Мы говорили, что недостатки Контовой критики существующихъ политическихъ теорій объясняются стараніемъ удержаться на объективной точкѣ зрѣнія. Съ этой точки зрѣнія ошибочность теоретическихъ посылокъ нѣкоторыхъ ученій видна до такой степени ясно, что отрицательное отношеніе къ нимъ невольно переносится и на другія стороны этихъ ученій. Однако, личныя симпатіи Конта и его учениковъ лежатъ по большей части на сторонѣ преслѣдуемой ими «революціонной метафизики». И безсиліе объективнаго метода въ соціологіи въ особенности сказывается въ тѣхъ случаяхъ, когда выступаютъ эти личныя симпатіи позитивистовъ. Очень знаменательны въ этомъ отношеніи слѣдующія слова Литтре: «Есть два соціализма (вѣрнѣе было бы сказать, что въ соціализмѣ есть двѣ стороны): одинъ метафизическій, другой—практическій, экспериментальный и, въ этихъ предѣлахъ, позитивный». Далѣе идетъ рѣчь о кооперативномъ рабочемъ движеніи. «Соціалисты,—продолжаетъ Литтре,—смѣло предпринимаютъ эти опыты, и наукѣ и философіи остается только

изучать ихъ для общаго блага» (La philosophie positive, revue dirigée par E. Littré et G. Wyrouboff, 1867. № 1. Politique). Во-первыхъ, зачѣмъ сюда попало «общее благо»? Идея блага есть идея субъективная и потому не имѣющая мѣста при объективномъ методѣ въ социологіи. Имѣя ее въ виду, пришлось бы радоваться однимъ политическимъ фактамъ и печалиться о другихъ, а на это позитивизмъ не имѣетъ права; онъ обязанъ только наблюдать. Далѣе, хотя позитивизмъ и имѣетъ право одобрительно отнестись къ экспериментальной сторонѣ соціализма, но онъ совершенно точно также одобрительно долженъ отнестись и ко всякимъ социальнымъ опытамъ, хотя бы они производились съ цѣлью діаметрально противоположною цѣлямъ соціалистовъ.

Читатель пожелаетъ, вѣроятно, имѣть объясненія того, почему въ заглавіи нашей статьи стоитъ имя Спенсера, а мы все говоримъ о Контѣ. Это объясняется такъ. Спенсеровой теоріи общественнаго прогресса, изложенной нами въ прошлой статьѣ, мы хотѣли бы противопоставить иную. А эта иная теорія, нами исповѣдуемая, представляетъ такъ много сходства съ ученіемъ Конта, что мы считали бы недобросовѣстнымъ совершенное умолчаніе о взглядахъ на прогрессъ этого великаго мыслителя. Во всякомъ случаѣ, мы сочли полезнымъ для дальнѣйшаго нашего изложенія вкратцѣ указать тѣ стороны ученія Конта, которыя намъ кажутся несостоятельными и къ которымъ намъ, можетъ быть, еще придется вернуться. Мы не разсчитываемъ представить въ настоящей статьѣ взгляды наши на законы общественной динамики съ такою полнотою, какой заслуживаетъ важность предмета. Отъ журнальной статьи этого и требовать нельзя. Но мы будемъ, вѣроятно, еще не разъ имѣть случай развивать исповѣдуемые нами принципы въ приложеніи къ тѣмъ или другимъ частнымъ вопросамъ. Здѣсь мы должны будемъ ограничиться самымъ общимъ и по необходимости бѣглымъ обзоромъ; при томъ мы должны стараться идти, такъ сказать, въ ногу со Спенсеромъ. Мы постараемся намѣтить главные пункты соціальной динамики, не прибѣгая къ удобному, но недостаточно гарантирующему отъ ошибокъ пріему выдѣленія одного какого-либо общественнаго элемента. Интеллектуальный элементъ, принимаемый за точку исхода позитивизмомъ, представляетъ, правда, въ этомъ отношеніи наиболѣе гарантій, и онъ, дѣйствительно, при извѣстной долѣ сдержанности и осторожности, можетъ быть принятъ, по выраженію Милля, за primus agens соціальнаго движенія. Однако, если есть возможность—а мы думаемъ, что она есть—прослѣдить законы общественнаго прогресса на развитіи всего общества въ цѣломъ, не давая слишкомъ преобладающаго значенія развитію какого бы то ни было изъ его элементовъ, то отъ этого постановка общественныхъ вопросовъ можетъ только выиграть. Поэтому мы постараемся прослѣдить историческую судьбу самой общественности, т. е. коопераціи, и связать ее съ судьбою частныхъ факторовъ.

VI.

При бѣгломъ взглядѣ на массу фактовъ, приводимыхъ въ печатающейся въ «Отечественныхъ Запискахъ» любопытной статьѣ: «Цивилизація и дикія племена», читателя должны поразить главнымъ образомъ различныя частности чуждой намъ первобытной жизни, частности, съ нашей точки зрѣнія, просто чудовищныя. Если мы захотимъ подвести всѣмъ этимъ фактамъ итогъ, найти въ нихъ одну наиболѣе характеристическую черту, къ которой возможно большая часть остальныхъ относилась бы какъ явленія производныя къ явленію коренному, то найдемъ эту характеристическую черту въ почти полномъ отсутствіи коопераціи. Въ человѣкѣ, только-что выбившемся, путемъ кровавой борьбы за существованіе, изъ животнаго міра, количество и качество потребностей такъ гармонируютъ съ количествомъ и качествомъ выработанныхъ имъ въ борьбѣ силъ; самъ онъ такъ индивидуаленъ и цѣленъ, что почти не нуждается въ обществѣ другихъ людей. Скудны его средства, но просты и не далеки и его цѣли. Все нужное ему онъ добываетъ самъ, своими собственными, личными средствами. Вслѣдствіе этого, при полной индивидуальной разнородности, какая допускается мѣстными условіями, люди, занимающіе извѣстную территорію, вполнѣ однородны, зоологически равны между собой. Таковъ первый типъ людского, еще не общественнаго быта. Легко видѣть, что наиболѣе характерная для него черта—отсутствіе коопераціи—находится въ самой тѣсной связи со всѣми остальными сторонами немногосложной первобытной жизни.

Самъ-одинъ выносящій на своихъ плечахъ всю тяжесть борьбы съ природой, дикарь не можетъ смотрѣть на всѣ явленія иначе, какъ съ точки зрѣнія своихъ личныхъ потребностей, чисто животныхъ. Онъ относится къ своему личному *я*, какъ къ центру вселенной. Это жалкое, голое созданіе и думаетъ, и дѣйствуетъ такъ, какъ будто бы міръ былъ для него лично устроенной огромной бойней, скотнымъ дворомъ, дровянымъ дворомъ и т. д.

Souvent alors j'ai cru que ces soleils de flamme
Dans ce monde endormi n'échauffaient que mon âme:
Qu'à les comprendre seul j'étais prédéstiné:
Que j'étais, moi, vaine ombre obscure et taciturne,
Le roi mysterieux de la pompe nocturne:
Que le ciel pour moi seul s'était illuminé!
(V. Hugo, Les feuilles d'automne).

Конечно, не скоро первобытный человѣкъ призадумался надъ явленіями, не близко стоящими къ его непосредственнымъ интересамъ. Разлитымъ въ природѣ свѣтомъ и теплотою онъ долго пользуется безъ благодарности и боязливыхъ сомнѣній. Ему не приходитъ на умъ вопросъ: откуда это все взялось и не можетъ ли это все въ одинъ прекрасный день исчезнуть. Онъ полонъ собою; онъ знаетъ только себя. Себя и остальное. А въ этомъ остальномъ есть для него съѣдобное и несъѣдобное, болѣе сильное, неужели онъ самъ, и менѣе сильное, жесткое и мягкое, теплое и холодное, свѣтлое и темное и т. д. Собственно же говоря,—звѣрь, солнце, дерево, земля, человѣкъ, вода,—во всемъ этомъ для него нѣтъ большой разницы: во всемъ этомъ онъ цѣнитъ только то, что ему нужно и поскольку нужно. А ему нужно немного. Поэтому, если въ двухъ предметахъ совершенно различныхъ есть одно, съ его личной точки зрѣнія, важное общее свойство,— разницы между этими предметами для него не существуетъ: онъ съѣстъ человѣка и барана, поклонится солнцу и дереву. За предѣлами своего личнаго существованія первобытный человѣкъ не видитъ ничего или, лучше сказать, вводитъ въ эти предѣлы весь міръ. Натолкнувшись на кое-какое размышленіе объ окружающихъ его вещахъ, онъ видитъ въ нихъ либо прямо свою личность, либо сколокъ съ нея въ какомъ-нибудь отношеніи. Мысль его не поднимается выше аналогій между какимъ-нибудь явленіемъ природы и его собственнымъ *я*. Онъ живетъ, и вся природа живетъ такою же, какъ и онъ, жизнью. Между его желаніями и ихъ исполненіемъ, цѣлями, средствами, мыслями и дѣлами существуетъ такая тѣсная связь; онъ до такой степени ровно живетъ умственною и физическою жизнью, что ему и въ голову не можетъ придти, что онъ состоитъ изъ двухъ частей, изъ тѣла и души. Духа безъ матеріи и матеріи безъ духа онъ себѣ представить не можетъ, вслѣдствіе чего одухотворяетъ мертвую природу, съ одной стороны, и придаетъ самую грубую тѣлесную оболочку своимъ богамъ—съ другой. Онъ дѣлаетъ все съ опредѣленною цѣлью—и въ природѣ все совершается съ опредѣленною цѣлью, но въ чемъ же состоятъ эти цѣли природы? гдѣ онѣ лежатъ? Все въ немъ же, въ этомъ жалкомъ, одиночномъ дикарѣ. Дождь ли размылъ его убогую пещеру и промочилъ его до костей, змѣя ли его ужалила, охотился ли онъ удачно, охотился ли онъ неудачно, солнце ли его слишкомъ пекетъ, произошло ли солнечное затменіе,—все это совершается именно для него, для того, чтобы именно *его* промочить, *его* ужалить, *его* согрѣть, *его* оставить въ потемкахъ. Такова объективно-антропоцентрическая логика, представляющая прямой результатъ отсутствія кооперація (мы называемъ весь этотъ періодъ исторіи *объективно*-антропоцентрическимъ потому, что человѣкъ считаетъ себя здѣсь объективнымъ, безусловнымъ, дѣйствительнымъ, извнѣ поставленнымъ центромъ природы). Здѣсь же получаютъ начало и антропоцентрическая мораль, и религіозныя представленія. Они представляютъ отвѣты на два вопроса: во-первыхъ, кто послалъ такое-то пріятное или непріятное, полезное или вредное стеченіе обстоятельствъ? во-вторыхъ, за что посланы эти пріятныя или непріятныя, полезныя или вредныя явленія? Отвѣты формулируются подъ тѣмъ же давленіемъ объективнаго антропоцентризма. Дикарь такъ полонъ собой, такъ неспособенъ къ представленію чего-нибудь несходнаго съ его личнымъ существованіемъ, что непосредственно антропоморфизуетъ искомую личность, сочетавшую извѣстныя обстоятельства выгоднымъ или невыгоднымъ для него образомъ, и антропоморфизуетъ на свой собственный, личный солтыкъ, придавая ей тѣ самыя чувства мысли и стремленія, которыя его самого напчаще волнуютъ. Слѣдуетъ при этомъ замѣтить, что первобытные боги суть боги по преимуществу личные; каждый отдѣльный человѣкъ имѣетъ своихъ фетишей, которые существуютъ только для него, посылаютъ награды и наказанія только ему. Чудесъ первобытный человѣкъ не знаетъ. Понятіе чуда является уже гораздо позже, уже при существованіи нѣкоторой коопераціи и нѣкоторыхъ знаній, потому что чудо есть нѣчто удивительное, необыкновенное. Дикарь же ничему не удивляется, хотя и пугается, и радуется; для него все представляется возможнымъ, если только ему лично что-нибудь нужно. Онъ такъ свыкается съ мыслью, что весь окружающій міръ спитъ и видитъ, какъ бы ему лично насолить или ему же лично доставить пользу и наслажденіе; вмѣшательства божествъ во всѣ мельчайшія обстоятельства его жизни съ его точки зрѣнія до такой степени естественно и неизбѣжно, что чудо для него не существуетъ. Только уже при существованіи извѣстной доли коопераціи, когда нѣсколько человѣкъ соединяются для одного и того же дѣла, все еще полный своимъ личнымъ существованіемъ дикарь можетъ признать данное явленіе чудомъ. Направленное къ благополучію или вреду его единичнаго существованія онъ призналъ бы совершенно естественнымъ, какъ бы оно ни было необычайно.

Дикарь замѣчаетъ, что, сдѣлавъ какой-нибудь поступокъ, онъ получаетъ какую-нибудь пріятность или непріятность, и совпаденіе это случайно повторяется два-три раза. Вслѣдствіе его увѣренности въ своемъ центральномъ положеніи, это post hoc непремѣнно обращается въ propter hoc. Положимъ, онъ выку-

пался въ незнакомой рѣкѣ и едва успѣлъ убѣжать отъ аллигатора; въ другой разъ на его глазахъ и въ той же рѣкѣ аллигаторъ пожираетъ какое нибудь животное или человѣка. Ясно, что или рѣка эта не терпитъ, чтобы въ ней купались, или аллигаторы ее охраняютъ, и т. п. Такимъ путемъ можетъ создаться убѣжденіе въ священномъ, высшемъ характерѣ самыхъ обыкновенныхъ явленій природы. Но нѣтъ нужды, чтобы само явленіе заступилось за себя. Человѣкъ убилъ змѣю, и въ ту же минуту раздался страшный громовой ударъ и небо избороздилось молніей. Дикарь не можетъ себѣ представить, чтобы какой-нибудь, обратившій на себя его вниманіе, фактъ не имѣлъ къ нему никакого отношенія. Громъ и молнія составляютъ, очевидно, угрозу, обращенную къ нему лично. За что? Ближайшій фактъ есть убійство змѣи, значитъ, именно за это убійство. Слѣдовательно, убивать змѣю нельзя. Въ сосѣднемъ лѣсу другой дикарь точно такимъ же путемъ добирается до убѣжденія, что эту самую змѣю слѣдуетъ непремѣнно убивать. Всѣ эти убѣжденія, опредѣляя отношенія человѣка къ богамъ и окружающей природѣ, относятся къ области религіи. Иначе не могутъ слагаться и отношенія человѣка къ человѣку. Дикарь замѣчаетъ, что вслѣдъ за убійствомъ человѣка ему не удается охота, въ другой разъ опять, въ третій—онъ проваливается въ трясину и т. д. Этотъ маленькій рядъ опытовъ убѣждаетъ его, что и впредь за убійствомъ человѣка послѣдуетъ для него та или другая непріятность. Если боязнь этой непріятности перевѣшиваетъ его страстные порывы, въ немъ рождается убѣжденіе, что убивать человѣка нельзя. Все это мы говоримъ, конечно, гипотетически, потому что не имѣемъ и не можемъ имѣть прямыхъ историческихъ указаній на то, какъ складывались и какимъ образомъ развивались нравственныя убѣжденія въ первобытныхъ людяхъ. Однако, если отказаться отъ мысли о супранатуральномъ происхожденіи правилъ морали и о врожденныхъ идеяхъ, то остается именно только этотъ путь опытнаго происхожденія понятій о добрѣ и злѣ. Тѣмъ болѣе, что такимъ же путемъ, можно сказать, на нашихъ глазахъ, складываются различныя примѣты и т. п., иногда обращающіяся въ нравственныя правила. Наконецъ, иначе и объяснить нельзя происхожденіе многихъ, съ современной европейской точки зрѣнія совершенно нелѣпыхъ и безнравственныхъ правилъ первобытной морали. Если нравственный кодексъ полученъ человѣкомъ супранатуральнымъ путемъ, то почему же у какихъ нибудь фиджійскихъ людоѣдовъ милосердіе считается преступленіемъ, а жестокость добродѣтелью, что намъ, европейцамъ, даже и переварить невозможно? Правда, для супранатуралистовъ остается то возраженіе, что фиджійскіе людоѣды именно за свою безнравственность и обдѣлены свѣтомъ нравственной истины. Но для сторонниковъ теоріи врожденныхъ идей нѣтъ и этого остроумнаго возраженія. Если идеи нравственности и справедливости врождены, присущи человѣку, то какъ объяснить это поразительное разнообразіе нравственныхъ идеаловъ? Тогда какъ съ точки зрѣнія опытнаго происхожденія фактъ этотъ совершенно ясенъ. Понятное дѣло, что, опредѣляясь самыми разнообразными случайностями, на которыя можетъ натолкнуться объективно-антропоцентрическое настроеніе при совершенномъ отсутствіи кооператіи и знакомства съ законами природы, первобытная мораль можетъ принимать очень разнообразныя и до послѣдняго нельзя причудливыя формы. Убійство и людоѣдство легко могутъ оказаться дѣяніями не только безразличными, а и одобрительными; и въ то же время можетъ считаться безнравственнымъ, богопротивнымъ и преступнымъ произносить свое собственное имя, какъ у абипоновъ, или ѣсть въ обществѣ, какъ у таитянъ. Однако, тѣмъ же путемъ могутъ выработаться частности весьма высокаго нравственнаго кодекса, если дѣйствительный или фиктивный опытъ наведетъ на убѣжденіе въ невыгодѣ вредить сосѣдямъ. Понятное дѣло, что послѣднее можетъ имѣть мѣсто только при болѣе или менѣе частыхъ и продолжительныхъ сближеніяхъ между людьми, т. е уже при нѣкоторой коопераціи. Отсутствію же коопераціи и единства интересовъ въ практической жизни соотвѣтствуетъ совершенное отсутствіе синтетическаго начала въ религіозныхъ представленіяхъ, нравственныхъ правилахъ и знаніяхъ. Личные боги, личная мораль, скудныя свѣдѣнія о природѣ, извращенныя антропоцентрическимъ элементомъ, т. е. опять-таки свѣдѣнія личныя, не провѣренныя чужимъ опытомъ и наблюденіемъ,—таковы результаты отсутствія коопераціи. И такимъ-то человѣкъ вступаетъ въ общество.

Полное отсутствіе коопераціи могло имѣть мѣсто только въ очень раннюю пору доисторической жизни человѣчества. Опасности и бѣды, встрѣчающіяся на каждомъ шагу, инстинктъ самосохраненія въ видѣ половой дѣятельности со всѣми ея послѣдствіями, каково кормленіе дѣтей грудью и т. д.,—все это побуждаетъ людей образовывать небольшія общества, соединяться въ группы. Весьма важно замѣтить, что группы эти складываются различнымъ образомъ, и именно по двумъ типамъ: по типу простого сотрудничества и по типу сложнаго сотрудничества или раздѣленія труда. Мы уже говорили о коренной разницѣ между этими двумя видами коопераціи. Въ случаѣ простого сотрудничества люди входятъ въ группу всею своею разнородностью, вслѣдствіе чего вся

группа совершенно однородна. Въ случаѣ же сотрудничества сложнаго происходитъ обратное явленіе: члены группы утрачиваютъ каждый одинъ ту, другой другую часть своей индивидуальной разнородности, они дѣлаются однороднѣе, а вся группа получаетъ болѣе или менѣе рѣзко обозначенный характеръ разнородности. Въ первомъ случаѣ мы имѣемъ однородное общество съ разнородными, равными, свободными и независимыми членами; во второмъ—разнородное общество съ неравными, несвободными, спеціализированными членами, расположенными въ нѣкоторомъ іерархическомъ порядкѣ. Въ первобытномъ мірѣ общество по типу простого сотрудничества имѣетъ характеръ чисто-временной и случайный: по окончаніи дѣла, для котораго люди соединились, общество распадается. Такимъ образомъ однородное общество оказывается дѣйствительно неустойчивымъ, какъ бы подтверждая своимъ примѣромъ универсальность одного изъ законовъ Спенсера. Однако, неустойчивость эта зависитъ вовсе не отъ какихъ либо общихъ свойствъ, присущихъ всякой однородной агрегаціи. Она, какъ и самая цѣль этихъ первобытныхъ обществъ, обусловливается причинами временными и случайными, которыя могутъ быть и могутъ не быть. Но въ первобытномъ мірѣ причины эти въ большинствѣ случаевъ, дѣйствително, имѣютъ мѣсто.

Двое, трое, пять человѣкъ дикарей рядомъ печальныхъ опытовъ убѣждаются, что охота за какимъ нибудь крупнымъ звѣремъ для каждаго изъ нихъ поодиночкѣ опасна и невозможна, а между тѣмъ звѣрь представляетъ очень лакомый кусочекъ. Они соединяются для охоты, чтобы раздѣлить добычу на равныя части. Каждый изъ нихъ вноситъ въ это общее дѣло всѣ тѣ силы и способности, какія выработались въ немъ предыдущей борьбой за существованіе. А такъ какъ борьба эта въ даннной мѣстности имѣетъ для каждаго одинъ и тотъ же характеръ, вызываетъ приблизительно одну и ту же степень напряженности умственныхъ и физическихъ силъ, то наши пять охотниковъ вступаютъ въ союзъ членами равносильными и равноправными. Но вотъ звѣрь убитъ, раздѣленъ, съѣденъ, и члены временнаго союза, удовлетворивъ свои скудныя потребности расходятся въ разныя стороны, не думая о завтрашнемъ днѣ. Они, можетъ быть, даже передрались при дѣлежѣ. Немногочисленность потребностей, отсутствіе постоянной или, по крайней мѣрѣ, продолжительной солидарности цѣлей и отвращеніе къ труду—результатъ объективно - антропоцентрическаго настроенія—являются первыми причинами, мѣшающими прочному и продолжительному существованію простого сотрудничества. Могло, однако, случиться, что тѣ же пять охотниковъ, наученные опытомъ, соединяются во второй разъ, въ третій и т. д. Тогда между ними устанавливаются нѣкоторыя относительно прочныя связи. Такъ какъ интересы ихъ дѣлаются общими, то каждый изъ нихъ распространяетъ свою телеологію на всѣхъ своихъ товарищей; убѣждается, что центръ міра, ко благу или ко вреду котораго направлены всѣ силы природы, лежитъ не въ немъ, дикарѣ X, а въ цѣлой группѣ охотниковъ. Его личное существованіе, такъ сказать, расширяется: правила морали, вытекающія на этотъ разъ изъ дѣйствительнаго опыта, получаютъ опредѣленный цвѣтъ,— вредить кому нибудь изъ своихъ товарищей оказывается невыгоднымъ, потомъ безнравственнымъ, что санкціонируется немедленно и религіозными представленіями. Фетиши перестаютъ быть личными. Однако, для каждаго изъ членовъ группы за предѣлами ея все еще нѣтъ большой разницы между человѣкомъ и нечеловѣкомъ. Тамъ, за этими предѣлами, свои боги, свои обычаи, свои правила, и ничто не мѣшаетъ нашимъ вольнымъ охотникамъ охотиться и за людьми. Въ то же время, въ той же мѣстности является кооперація съ характеромъ сложнаго сотрудничества, т. е. раздѣленія труда. Ея элементарная форма есть семья. Половое стремленіе должно было въ самыя отдаленнѣйшія времена существованія человѣческаго рода выдѣлять для первобытнаго человѣка женщину изъ остальной природы. Однако, полная однородность всѣхъ мужчинъ, взятыхъ вмѣстѣ, и всѣхъ женщинъ, взятыхъ вмѣстѣ, и полная разнородность каждаго и каждой изъ нихъ, т. е. полное сходство между ними, должно было на долго отсрочить организацію семьи. Мужчина и женщина сходились временно и затѣмъ расходились, потому что оба пола относились ко всѣмъ единичнымъ представителямъ того и другого безразлично, за исключеніемъ момента полового возбужденія. Это было единственное связующее ихъ звено. Никакихъ другихъ требованій ни мужчина, ни женщина не предъявляли и никакой разницы между тѣмъ или другимъ мужчиной, той или другой женщиной видѣть не могли, потому что большой разницы и быть не могло (въ данной мѣстности, разумѣется). Но уже одного открытія огня было достаточно для того, чтобы связать мужчину и женщину въ нѣчто подобное брачному сожительству. Огонь былъ, разумѣется, открытъ, благодаря какой-нибудь счастливой случайности, — лѣсному пожару отъ удара молніи, такому же случайному воспламененію ископаемыхъ горючихъ веществъ, напримѣръ, нефти и т. п. Произвольно добывать огонь дикарь не умѣлъ, а между тѣмъ видѣлъ, какое важное для него значеніе можетъ имѣть эта новая сила. Явилась надобность сохранять, поддерживать огонь, облеченный даже въ нѣкоторыхъ случаяхъ ореоломъ божественности. Сохранять огонь будетъ жен-

щина, которая по относительной слабости для охоты мало годится. Около огня группируется семья, хозяйство; дикарь начинаетъ вести жизнь менѣе бродячую, хотя хозяйство такъ незатѣйливо, что можетъ быть въ случаѣ надобности перенесено на новое мѣсто безъ всякихъ затрудненій. Мужчина охотится, женщина обращается въ хранительницу домашняго очага, откликъ чего мы видимъ не только въ римскомъ религіозномъ институтѣ весталокъ, а и въ оставшейся за женщиной по преданію роли хозяйки. Само собою разумѣется, что прежде чѣмъ семья, наконецъ, прочно обособилась, тысячи разъ она распадалась; огонь могъ потухнуть, и всю свою жизнь первобытный человѣкъ могъ уже не найти его во второй разъ; мужчина могъ бросить беременную женщину, женщина—попасть къ другому мужчинѣ, и т. д. Но, наконецъ, семья образовалась. Въ этой первобытной семьѣ, представляющей зародышъ или одинъ изъ зародышей будущаго рода, общины, племени, государства, отношенія между совмѣстно живущими членами устанавливаются совершенно не такъ, какъ въ обществѣ свободныхъ охотниковъ. Тамъ мы имѣемъ равныхъ людей, съ одинаковыми усиліями преслѣдующихъ одну и ту же цѣль, а здѣсь представителями коопераціи являются сильный мужчина, по крайней мѣрѣ, періодически болѣе слабая женщина или нѣсколько женщинъ и совершенно слабыя дѣти. Сообразно этому различны и ихъ роли и значеніе въ семьѣ. Правда, фетиши и здѣсь перестаютъ быть личными; правда, и здѣсь первобытный человѣкъ распространяетъ свою телеологію на всю семью и видитъ въ ней центръ вселенной. Но самое это расширеніе антропоцентрическаго взгляда имѣетъ уже совершенно не тотъ характеръ. При простомъ сотрудничествѣ пятерыхъ охотниковъ, каждый изъ нихъ, зная цѣль, для которой они образовали союзъ, не можетъ не видѣть, что цѣль эта общая для всѣхъ нихъ, что интересы ихъ совершенно солидарны. Въ первобытной же семьѣ, при предоставленіи мужчинѣ внѣшней дѣятельности, а женщинѣ – внутренней, домашней, сознаніе общей цѣли становится гораздо болѣе смутнымъ; при этомъ ихъ физіологическое неравенство все болѣе и болѣе укрѣпляется. Дикарь не можетъ видѣть и помнить, что женщина ему помогаетъ. Цѣль у нихъ, положимъ, общая, но средства для достиженія этой цѣли, благодаря раздѣленію труда, различны. По близорукости первобытный человѣкъ принимаетъ эти средства за цѣли, вслѣдствіе чего не оказывается ничего общаго между жизнью мужчины и женщины. Поэтому сочувствовать женщинѣ, переживать ея жизнь, мысли и чувства первобытный человѣкъ не можетъ,—они слишкомъ отличны отъ его собственной жизни, мысли и чувствъ. За отсутствіемъ или невѣдѣніемъ общей жизни, въ первобытной семьѣ мужъ и жена гораздо болѣе чужды другъ другу, чѣмъ тѣ пять мужчинъ, которые соединились для охоты. Такъ что, если въ союзъ простого сотрудничества вступаетъ нѣсколько семейныхъ дикарей, участвующихъ, такимъ образомъ, и въ системѣ простого, и въ системѣ сложнаго сотрудничества, то для нихъ слагаются два совершенно различные нравственные кодекса: одинъ—для отношеній между мужчинами, другой—для отношеній между мужчинами и женщинами. И первый будетъ необходимо выше, чище, гуманнѣе второго. Поэтому мы и видимъ такъ часто, что первобытный человѣкъ ни въ грошъ не ставитъ даже жизни жены, между тѣмъ какъ признаетъ преступленіемъ убійство такого же, какъ и онъ, мужчины. Эти отношенія устанавливаются надолго и не утратили своего значенія и нынѣ. Исторія представляетъ въ этомъ отношеніи многіе чрезвычайно любопытные факты. Мы остановимся только на одномъ. У всѣхъ пастушескихъ народовъ существовалъ обычай предлагать путнику, забредшему въ какой-нибудь семейный домъ, не только убѣжище и пищу, а и женщинъ. Это именно то, что называется гостепріимной проституціей. Въ этомъ случаѣ между мужчинами какъ бы заключается договоръ, не писанный, не формальный, а безмолвный и непосредственный, вполнѣ взаимностный и потому гораздо болѣе прочный. Каждому мужчинѣ изъ пастушескаго народа приходится быть вдали отъ своего собственнаго жилища и отъ своей собственной жены, а между тѣмъ имѣть въ ней надобность. Каждый испыталъ неудобство этого положенія на себѣ и потому такъ проникается знакомымъ ему положеніемъ путника, что принимаетъ его интересы гораздо ближе къ сердцу, чѣмъ желаніе или нежеланіе своихъ женъ и дочерей. Еще меньше, разумѣется, можетъ проникнуться первобытный человѣкъ жизнью ребенка. Этого онъ ужъ всегда можетъ изувѣчить, продать, убить. Такимъ образомъ, центромъ вселенной оказывается въ этомъ случаѣ всетаки одна мужская личность, а женщина и дѣти—это спутники солнца. Само собою разумѣется, что и женщина, и ребенокъ, съ своей стороны, смотрятъ на окружающій ихъ міръ или снизу вверхъ, или сверху внизъ, но во всякомъ случаѣ видятъ въ своей личности центръ, ко благу или ко вреду котораго направлено все, что они могутъ охватить мыслью. Это безотчетное выдѣленіе своей личности, какъ обусловливающееся отсутствіемъ коопераціи, существуетъ, безъ сомнѣнія, и у животныхъ. Но дѣло въ томъ, что міросозерцаніе женщинъ, а тѣмъ болѣе дѣтей, могло только въ нѣкоторыхъ частностяхъ опредѣлять складъ первобытной жизни, и потому

можетъ быть и не принимаемо въ разсчетъ.

Семья разростается, все болѣе и болѣе дифференцируясь, т. е. переходя отъ простого къ сложному. Поколѣнія сыновей, внуковъ, если не отходятъ отъ первичнаго корня, образуютъ нѣкоторую іерархію, во главѣ которой стоитъ старѣйшина, патріархъ. Рядомъ съ этой семьей развивается тѣмъ же путемъ другая. Тамъ дальше бродятъ нѣсколько шаекъ вольныхъ и независимыхъ охотниковъ, не знающихъ никакой іерархіи, кромѣ развѣ выборной, работающихъ одинаково и для одной и той же цѣли, вслѣдствіе чего ихъ шайки попрежнему представляютъ однородную группу возможно разнородныхъ членовъ. Прекрасный образчикъ такого совмѣстнаго существованія двухъ различныхъ типовъ кооперации можно найти въ сравнительно очень недавнее время, въ исторіи южной и юго-западной Россіи. Вольная Запорожская сѣчь, организованная демократически-республиканскимъ образомъ съ сильнымъ оттѣнкомъ коммунизма, представляетъ примѣръ простого сотрудничества, а казаки-горожане, земледѣльцы и пастухи составляютъ общества по типу сложнаго сотрудничества, т. е. при раздѣленіи труда. Само собою разумѣется, что эта организація казачества можетъ дать только слабое понятіе какъ о первобытной жизни, съ одной стороны, такъ и о дальнѣйшихъ, болѣе развитыхъ формахъ простого и сложнаго сотрудничества. Итакъ, мы имѣемъ въ доисторическій періодъ два вида соціальныхъ группъ, развивающихся рядомъ. Независимо отъ тѣхъ измѣненій, которымъ, вслѣдствіе различныхъ обстоятельствъ и главнымъ образомъ вслѣдствіе естественнаго подбора родичей, всѣ эти группы могутъ подвергнуться сами по себѣ, онѣ неизбѣжно приходятъ въ столкновеніе между собой. И въ результатѣ этого столкновенія элементъ раздѣленія труда необходимо перевѣшиваетъ элементъ простого сотрудничества. Объективно-антропоцентрическое міросозерцаніе пріучаетъ человѣка къ мысли, что надъ нимъ есть опека, не упускающая его ни на минуту изъ виду и всегда готовая, если онъ исполняетъ предписанныя ему правила, придти къ нему на помощь. Это какъ нельзя болѣе вяжется съ малымъ количествомъ и скромнымъ качествомъ потребностей первобытнаго человѣка и съ его отвращеніемъ къ труду. Для него создано все, а слѣдовательно, и люди. Священныя книги и преданія древнихъ народовъ, даже стоящихъ на относительно очень высокой ступени развитія и уже вступившихъ въ періодъ монотеизма, наполнены разсказами о томъ, что божества повелѣли перебить или обратить въ рабство сосѣдній народъ или отнять у него женщинъ. Набѣгаютъ ли вольные охотники на разросшуюся уже до родового быта семью и производятъ всеобщій погромъ, одолѣваютъ ли представители семейнаго и родового быта въ этой свалкѣ,—побѣжденные или съѣдаются, или, на слѣдующей ступени развитія, когда вслѣдствіе сознанія важности кооперации антропоцентрическая идея нѣсколько расширилась,—обращаются въ рабство. Такимъ образомъ, двѣ, три группы сливаются воедино и образуютъ уже довольно сложное цѣлое съ четко обозначеннымъ раздѣленіемъ труда. Однако, общественныя дифференцированія и соотвѣтственныя индивидуальныя интеграціи здѣсь еще очень слабы. Хотя общественная однородность уже далеко не та, что въ группѣ вольныхъ охотниковъ, но, за исключеніемъ основного распаденія труда на трудъ мужской и трудъ женскій, и то сравнительно слабаго, всѣ члены общества приблизительно одинаково трудятся и наслаждаются, ведутъ одинъ и тотъ же образъ жизни, молятся однимъ и тѣмъ же богамъ. Кооперація постепенно расширяетъ личныхъ фетишей въ семейные, родовые, племенные, которые, наконецъ, получаютъ въ политеизмѣ значительно отвлеченный характеръ. Постоянныя войны, выставляя всѣмъ членамъ общества одну и ту же цѣль—защиту отъ внѣшнихъ, общихъ враговъ—время отъ времени, такъ сказать, встряхиваютъ, перетасовываютъ, сглаживаютъ установившіяся общественныя дифференцированія. Наконецъ, наступаетъ пора, когда дифференцированія эти устанавливаются окончательно, вмѣстѣ съ чѣмъ происходятъ глубокія измѣненія въ жизни первобытнаго общества. Объективно-антропоцентрическій періодъ смѣняется эксцентрическимъ.

Прежде, чѣмъ указать характеристическія черты эксцентрическаго періода соціальнаго развитія, намъ нужно сказать нѣсколько словъ о томъ, что такое недѣлимое. Понятіе недѣлимаго, индивидуума, повидимому, такъ просто, что не требуетъ никакихъ разъясненій. Однако, это не такъ. Мы не говоримъ уже о тѣхъ трудностяхъ, какія встрѣчаются при опредѣленіи индивидуальности нѣкоторыхъ низшихъ представителей органическаго міра, гдѣ органы, недѣлимыя и цѣлыя скопленія недѣлимыхъ различаются иногда нелегко. До этого намъ здѣсь нѣтъ дѣла. Рѣчь у насъ идетъ только о человѣкѣ, относительно котораго, кажется, не можетъ быть сомнѣній, недѣлимое онъ или нѣтъ. Однако, слова, производныя отъ слова «индивидуумъ», и въ приложеніи къ человѣку употребляются часто въ совершенно различныхъ смыслахъ. Чаще всего подъ индивидуальностью разумѣютъ совокупность чертъ, рѣзко выдвигающихъ извѣстную личность изъ среды окружающихъ ее людей. Индивидуальный значитъ здѣсь личный, особенный. Мы будемъ употреблять это

выраженіе совершенно иначе, именно будемъ разумѣть подъ индивидуальностью человѣка совокупность *всѣхъ* чертъ, свойственныхъ человѣческому организму *вообще*. Мы видѣли, что Спенсеръ опредѣляетъ недѣлимое, какъ «конкретное цѣлое, имѣющее строеніе, позволяющее ему, при извѣстныхъ условіяхъ, постоянно приспособлять свои внутреннія отношенія къ внѣшнимъ такъ, чтобы поддерживалось равновѣсіе его отправленій» («Основанія біологіи», 207). Это опредѣленіе, не имѣющее, къ сожалѣнію, достоинствъ краткости и ясности, можетъ, однако, считаться удовлетворительнымъ, если въ него включить идею способности страдать и наслаждаться, которою недѣлимое рѣзко отличается отъ органа, съ одной стороны, и отъ общества—съ другой. По крайней мѣрѣ, для опредѣленія недѣлимаго животнаго, а слѣдовательно и человѣка, понятіе страданія и наслажденія необходимо должно быть введено въ формулу; способность страдать и наслаждаться составляетъ въ этомъ случаѣ такую очевидную и характеристическую для недѣлимаго особенность, что выключить ее было бы крайне неосновательно. А въ такомъ случаѣ необходимо опредѣлить случаи нормальнаго, физіологическаго состоянія и развитія, и состоянія и развитія болѣзненнаго, патологическаго. Типъ нормальнаго органическаго развитія есть, какъ мы видѣли, постепенное усложненіе путемъ дифференцированія, т.-е. спеціализаціи частей недѣлимаго — органовъ и тканей. Слѣдовательно, патологическимъ развитіемъ будетъ обратное движеніе, то есть упрощеніе организма, его интеграція. Таковъ динамическій законъ индивидуальности. Законъ статическій также не представляетъ затрудненій. Такъ какъ недѣлимое представляетъ собою извѣстную ступень органическаго развитія, имѣющую опредѣленное число опредѣленныхъ частей, то физіологическимъ, нормальнымъ состояніемъ недѣлимаго мы называемъ такое, при которомъ всѣ части организма безпрепятственно функціонируютъ, т. е. каждый органъ исполняетъ свою обязанность. При такомъ нормальномъ состояніи равновѣсія каждое органическое отправленіе доставляетъ человѣку наслажденіе. Если же одинъ или нѣсколько органовъ перестаютъ, вслѣдствіе какихъ-нибудь обстоятельствъ, совершать соотвѣтствующія отправленія, то равновѣсіе нарушается, и мы имѣемъ состояніе патологическое, ненормальное, болѣзненное, сопровождающееся страданіемъ. Недѣлимое въ этомъ случаѣ, если и не перестаетъ быть недѣлимымъ, потому что не теряетъ способности страдать и наслаждаться, то тѣмъ не менѣе какъ бы сокращается, упрощается. Это не мѣшаетъ ему усложняться въ другихъ отношеніяхъ. Задержка однихъ отправленій или развитіе однихъ органовъ въ большей части случаевъ вызываетъ усиленное дѣйствіе и усиленное развитіе другихъ. При этомъ могутъ произойти усложненія, которыя мы ни въ какомъ случаѣ не можемъ признать нормальнымъ явленіемъ, потому что они вытекаютъ изъ болѣзненнаго начала, изъ нарушенія равновѣсія и цѣлостности недѣлимаго. Здѣсь я считаю своею обязанностью еще разъ указать на сходство излагаемой доктрины съ ученіемъ Конта и на этотъ разъ именно съ нѣкоторыми взглядами, относящимися ко второму періоду его философской жизни. Разсыпанныя въ «Позитивной политикѣ» и вообще въ позднѣйшихъ сочиненіяхъ Конта странности и нелѣпости отводятъ многимъ глаза отъ нѣкоторыхъ общихъ взглядовъ, заслуживающихъ величайшаго вниманія. Съ другой стороны, портятъ дѣло безусловные поклонники Конта. Собственно вторая половина философской дѣятельности Конта еще ждетъ правильной оцѣнки, которая тѣмъ затруднительнѣе, что здѣсь приходится отдѣлять великое отъ смѣшного; на это люди вообще не мастера. Субъективный синтезъ, требованіе систематизаціи знаній съ человѣческой точки зрѣнія не только въ теоретическомъ, а и въ практическомъ отношеніи, идея единства и гармоніи человѣческаго существа, какъ основъ блага—ко всѣмъ этимъ вещамъ нельзя такъ относиться, какъ относится къ нимъ даже сдержанный и осторожный Милль. Требованіе единства въ интересахъ и цѣляхъ личностей, какъ членовъ общества, и единства или гармоніи всѣхъ элементовъ индивидуальной жизни, нравственныхъ, физическихъ и умственныхъ, это требованіе, говоритъ Милль, есть fons errorum позднѣйшихъ умозрѣній Конта. Что, исходя изъ этихъ началъ, Контъ пришелъ ко множеству ошибокъ — это не подлежитъ никакому сомнѣнію. Но мы готовы скорѣе сказать, вмѣстѣ съ однимъ изъ безусловныхъ поклонниковъ Конта, Бриджемъ (De l'unité de la vie et de la doctrine d'Auguste Comte etc.. par J. H. Bridges. Traduit de l'anglais par M. Debergue. Paris, 1867), что вообще это fons не *errorum*, а *veritatis*. Между прочимъ, Милль говоритъ: «Въ послѣдніе годы (какъ мы узнаемъ изъ книги д-ра Робине) Контъ вдавался въ самыя дикія разсужденія о медицинѣ, считая всѣ болѣзни за одно и то же—за возмущеніе или разстройство de l'unité cérébrale» (русскій переводъ, стр. 145). Здѣсь Милль говоритъ о письмѣ Конта къ французскому медику Audiffrent, напечатанномъ въ книгѣ Робине (Notice sur l'oeuvre et sur la vie d'Auguste Comte. Par le docteur Robinet, son médécin etc. Paris, 1860, p. 528). Вотъ что говоритъ Контъ: «Всѣ виды болѣзней, признаваемые самостоятельными, суть не болѣе, какъ простые симптомы. Собственно говоря, существуетъ одна болѣзнь — нездоровье. Но такъ какъ состояніе здоровья есть

состояніе единства (цѣлостности?), то болѣзнь есть всегда нарушеніе единства, вслѣдствіе усиленнаго развитія или задержки одного изъ отправленій». Далѣе идетъ рѣчь о нарушеніи «de l'unité cérébrale», какъ о частномъ только случаѣ болѣзни. Такимъ образомъ, Милль не только не оцѣнилъ по достоинству глубокаго воззрѣнія Конта, но, какъ справедливо замѣчаетъ Бриджъ (р. 107), извратилъ самый смыслъ словъ французскаго мыслителя. Мы, съ своей стороны, далеки отъ того, чтобы считать положеніе Конта дикимъ. Разстройство моральнаго единства, т.е. усиленное развитіе нѣкоторыхъ моральныхъ силъ и способностей въ ущербъ другимъ, есть, безъ сомнѣнія, обильный источникъ болѣзненныхъ явленій.

Мы видѣли отношеніе физіологическаго и патологическаго развитія и состоянія къ обоимъ типамъ коопераціи. Мы видѣли, что физіологическое развитіе возможно только при простомъ сотрудничествѣ, и что неизбѣжный результатъ сотрудничества сложнаго, раздѣленія труда, есть патологическое развитіе и состояніе недѣлимыхъ. Намъ остается только прибавить два-три пояснительныя замѣчанія. Въ простомъ сотрудничествѣ общая цѣль вызываетъ солидарность интересовъ и взаимное пониманіе членовъ общества. Какъ люди равные, находящіеся въ одномъ и томъ же положеніи, имѣющіе однѣ и тѣ же цѣли, стремленія, мысли и чувства, они не только успѣшно работаютъ, не только не впадаютъ въ патологическое состояніе, но, кромѣ того, имѣютъ полную возможность въ каждую данную минуту проникнуться жизнью своего товарища, пережить эту жизнь въ самомъ себѣ и относиться къ нему постоянно, какъ къ самому себѣ. Высокій нравственный уровень составляетъ естественный результатъ такого порядка вещей. Только при немъ осуществимъ знаменитый девизъ: братство, равенство и свобода. Не таковы междуличныя отношенія въ обществѣ, построенномъ на принципѣ сложнаго сотрудничества. Не говоря уже о томъ, что члены его находятся въ патологическомъ состояніи, вслѣдствіе усиленнаго развитія нѣкоторыхъ органовъ въ ущербъ другимъ, для нихъ общая цѣль постепенно и постоянно отодвигается все дальше и дальше и, наконецъ, совершенно размѣнивается на рядъ частныхъ цѣлей, одна отъ другой совершенно обособленныхъ. Они не понимаютъ другъ друга, хотя связаны между собою самымъ тѣснымъ образомъ. Взаимное непониманіе ведетъ къ безнравственности отношеній. Одни вязнутъ въ безысходномъ трудѣ, до-нельзя развивая ту или другую часть своей мускульной системы. Другіе, обращаясь въ спеціалистовъ нервной дѣятельности, живутъ на счетъ труда первыхъ и не только не отплачиваютъ имъ за это чѣмъ бы то ни было, но даже утрачиваютъ всякое представленіе о своей солидарности съ ними, о томъ, что безъ нихъ они не могли бы имѣть ни одного изъ тѣхъ наслажденій, какія даются утонченно-развитой нервной системой. Однако, простое сотрудничество при этомъ не совершенно исчезаетъ. Труды и наслажденія, цѣли и средства дѣлятся между различными группами, на которыя дифференцировалось общество, но каждая такая группа состоитъ изъ людей сходныхъ, равныхъ и потому способныхъ ко взаимному пониманію, работающихъ вмѣстѣ для одной и той же цѣли. Но здѣсь простое сотрудничество составляетъ фактъ второстепенный, смыслъ и значеніе котораго опредѣляются господствующимъ принципомъ раздѣленія труда. Здѣсь въ союзъ простого сотрудничества вступаютъ не цѣлостные индивидуумы, какъ въ общинѣ вольныхъ охотниковъ, а индивидуумы спеціализированные: головы вступаютъ въ союзъ съ головами, руки съ руками, умственныя способности съ умственными, капиталъ съ капиталомъ, трудъ съ трудомъ и т. д. Такъ какъ въ такомъ обществѣ нѣтъ физіологически развитыхъ недѣлимыхъ, то есть недѣлимыхъ, имѣющихъ всю сумму отправленій, какая допускается и требуется типомъ ихъ организаціи, то антропоцентрическое міросозерцаніе здѣсь немыслимо. Человѣкъ, выработавшій себѣ особенную напряженность того или другого спеціальнаго отправленія и болѣе или менѣе заглушавшій въ себѣ всѣ остальныя, естественнымъ образомъ понимаетъ и цѣнитъ только то, что тѣсно соприкасается съ его спеціальнымъ отправленіемъ. Понятіе о единствѣ, индивидуальности человѣка здѣсь не имѣетъ мѣста. Центромъ помысловъ и стремленій становится не человѣкъ, какъ недѣлимое, не вся совокупность человѣческаго организма, а нѣкоторая отвлеченная категорія. Членъ общества, въ которомъ раздѣленіе труда провело достаточно глубокія борозды, не въ состояніи охватить понятіе человѣка во всей его цѣлости и недѣлимости; онъ можетъ понять и оцѣнить только ту долю человѣка, которая развита въ немъ самомъ. Вслѣдствіе этого, въ то время, какъ въ области теоретическихъ вопросовъ еще долго держится объективно - антропоцентрическое міросозерцаніе, за силою преданій и недостаткомъ знаній, еще долго человѣкъ вѣритъ, что онъ составляетъ объективный центръ вселенной—въ сферѣ практической, въ сферѣ дѣйствія убѣжденіе это постепенно стушевывается и даетъ мѣсто эксцентрическому укладу.

Началомъ эксцентрическаго періода соціальнаго развитія мы признаемъ тѣ моменты въ развитіи различныхъ сферъ общественной жизни, когда кооперація по типу раздѣльнаго труда выставляетъ нѣкоторыя спеціальныя цѣли, доступныя только для извѣстной соціальной группы, спеціальныя цѣли, бывшія до этого

момента только средствами. Не слѣдуетъ думать, чтобъ переходъ этотъ произошелъ единовременно во всѣхъ областяхъ жизни. Въ высшей степени сложная сѣть причинъ и слѣдствій общественныхъ явленій не могла допустить такой правильности и такого однообразія. Если бы обществомъ управлялъ только одинъ принципъ раздѣленія труда, тогда, конечно, развитіе его совершалось бы такъ же ровно и однообразно, какъ и ростъ организма. Но простое сотрудничество никогда не исчезало, и такъ какъ оно было возможно въ одной сферѣ жизни въ бóльшей, въ другой—въ меньшей степени (что относится и къ самому раздѣленію труда), то жизнь не могла идти ровно. При томъ же на ходъ развитія вліяли и другія причины, каковы мѣстныя физическія условія, сила традиціи и привычки, наблюденіе и т. д. Всѣ эти побочныя причины не могли имѣть одинаковаго вліянія на различныя стороны жизни. Можно только сказать, что, разъ начавшись, эксцентризмъ съ возрастающею скоростью стремится охватить всѣ тончайшіе изгибы общественныхъ отношеній, отнюдь, однако, не равномѣрно по всѣмъ направленіямъ. Мы видимъ, напримѣръ, что не смотря на значительное развитіе въ древнемъ мірѣ раздѣленія труда и, слѣдовательно, эксцентрическаго періода, въ области политики господствуетъ простое сотрудничество. Древняя исторія есть послѣдовательная исторія ассиріянъ, вавилонянъ, персовъ, египтянъ, евреевъ, грековъ (и въ ней аѳинянъ, спартанцевъ), македонянъ, римлянъ. Словомъ, древняя исторія есть исторія государствъ и народовъ. Государство же представляетъ собою такую соціальную единицу, въ которой хотя отдѣльныя недѣлимыя и утратили въ большей или меньшей степени свою цѣлостность, но вся совокупность ихъ можетъ выставить всю сумму силъ и способностей, свойсвенныхъ человѣку. Не то мы видимъ въ средніе вѣка, которые вообще представляютъ моментъ наибольшаго развитія, кульминаціонную точку эксцентрическаго періода. Здѣсь на арену исторіи выступаютъ уже интересы и цѣли не государствъ и народовъ, а сословій, корпорацій, цеховъ, т. е. такихъ соціальныхъ единицъ, изъ которыхъ каждая усвоила себѣ окончательно только одну какую нибудь силу, одну какую нибудь способность.

Размѣры нашей статьи до такой степени непропорціональны размѣрамъ заданной нами себѣ задачи, что на систематичность изложенія намъ претендовать никакъ не приходится. Мы сильно разсчитываемъ на помощь логики читателя. Поэтому мы забѣгаемъ нѣсколько впередъ, чтобы привести изъ Шиллеровскихъ писемъ объ эстетическомъ образованіи человѣка мастерскую характеристику того, что мы называемъ эксцентрическимъ періодомъ соціальнаго развитія.

«Безъ сомнѣнія, нельзя было и ожидать, чтобы простая организація первыхъ республикъ пережила простоту первыхъ нравовъ и отношеній; но вмѣсто того, чтобы стать послѣ нихъ на высшую ступень живой жизни, она ниспала до пошлой и грубой механики; натура греческихъ республикъ, организовавшихся на подобіе полипняковъ, въ которыхъ каждый индивидуумъ пользовался независимою жизнью, а въ случаѣ нужды могъ своимъ трудомъ служить и общему, уступила мѣсто искусственно-машинно-часовому устройству, гдѣ изъ сплоченія между собою безконечно многихъ, но безжизненныхъ частичекъ образуется механическая жизнь цѣлаго. Разорваны другъ отъ друга церковь и государство, нравы и законы: наслажденіе отдѣлилось отъ труда, средства отъ цѣли, напряженіе отъ удовольствія достиженія. Вѣчно работая надъ какимъ нибудь ничтожнымъ отрывкомъ изъ цѣлаго, человѣкъ и самъ дѣлается чѣмъ-то въ родѣ отрывка; вѣчно слыша однозвучный шумъ только того колеса, которое вертитъ онъ самъ, человѣкъ никогда не въ состояніи развить гармонію въ своемъ существѣ, и вмѣсто того, чтобы напечатлѣвать человѣчество въ своей натурѣ, онъ дѣлается только отпечаткомъ своего занятія, своей науки. Но даже это скудное, обрывочное участіе, которое привязываетъ частныхъ членовъ къ цѣлому, состоитъ не въ томъ, чтобы они самодѣятельно выработали формы данныхъ имъ обрывковъ (и въ самомъ дѣлѣ, можно ли было довѣрить ихъ свободѣ столь искусную и свѣтобоящуюся часовую машину?); нѣтъ, имъ съ самою скрупулезною точностью начертаны образцы, которыхъ и должно неуклонно держаться ихъ свободное знаніе. Мертвая буква замѣняетъ живой разумъ; механическая память руководитъ вѣрнѣе, чѣмъ геній и чувство. Если, по общепринятому мнѣнію, должность служитъ масштабомъ достоинства человѣка, если люди въ одномъ изъ своихъ согражданъ уважаютъ только память, въ другомъ формальный разумъ, въ третьемъ механическую ловкость; если въ одномъ мѣстѣ, не обращая никакого вниманія на характеръ, требуютъ только знаній, въ другомъ, напротивъ того, ради духа порядка и законной исполнительности, самое глубокое помраченіе разума почитаютъ достоинствомъ, если хотятъ при этомъ, чтобы каждая изъ этихъ частныхъ способностей была доведена до такой интенсивности, какая только возможна по интенсивности субъекта, то можно ли удивляться, что остальныя свойства души остаются въ пренебреженіи и съ особенною тщательностью воздѣлывается единственно то свойство, которое почитаютъ и за которое даютъ награды?»

Въ этихъ прекрасныхъ словахъ значеніе греческихъ республикъ едва ли не преувеличено (любопытно, что знаменитый другъ-соперникъ и совершенная антитеза Шиллера—Гете также съ восторгомъ смотрѣлъ на классическую древность, а между тѣмъ Гете утверждалъ, что всякое цѣлое, а въ томъ числѣ и общество, тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ менѣе сходны его части; онъ проводилъ также параллели между организмомъ и обществомъ). Раздѣленіе труда со всѣми его послѣдствіями,—отсутствіемъ единства цѣли, безнравственностью междуличныхъ отношеній, патологическимъ состояніемъ недѣлимыхъ, взаимнымъ непониманіемъ, —достигло уже значительнаго

развитія въ древней Греціи. Съ другой стороны, силенъ еще былъ объективный антропоцентризмъ. Величайшіе мыслители Греціи не могли оторваться отъ мысли о законности и необходимости рабства и съ презрѣніемъ смотрѣли на физическій трудъ и варваровъ. Та цѣлостность (Totalität), которою восхищаются поклонники древней Греціи, въ значительной степени должна была поддерживаться искусственными средствами, какова гимнастика. Поддерживалась она и безпрестанными войнами, въ моментъ которыхъ простое сотрудничество временно одерживало верхъ надъ раздѣленіемъ труда и ставило всѣмъ гражданамъ одну цѣль.

VII.

Въ первомъ томѣ русскаго изданія сочиненій Спенсера напечатана, между прочимъ, статья «Обычаи и приличія», весьма важная для характеристики мыслителя, какъ человѣка. Къ этой, наиболѣе для насъ интересной, сторонѣ статьи мы обратимся ниже. Теперь замѣтимъ только, что въ ней Спенсеръ старается доказать, что обычаи, приличія, религіозныя представленія и юридическія нормы имѣютъ одинъ и тотъ же корень, и что распаденіе ихъ на самостоятельныя категоріи произошло тѣмъ же общимъ путемъ послѣдовательныхъ дифференцированій. Онъ исходитъ изъ того положенія, что личности «бога, государя и церемоніймейстера» въ наиболѣе отдаленную пору исторіи совпадали въ одной личности. Едва ли можно принять это положеніе безусловно въ такомъ видѣ. Но во всякомъ случаѣ общій взглядъ Спенсера имѣетъ глубокое основаніе. Намъ, современнымъ людямъ, трудно представить себѣ единство различныхъ сторонъ человѣческой жизни, которое царило въ доисторическую пору. Религія, философія, наука, искусство,—всѣ эти для насъ совершенно различныя и часто другъ другу противорѣчащія вещи, вещи, существующія рядомъ, не смотря на трудность и даже невозможность примиренія по многимъ пунктамъ,—все это сливалось для первобытнаго человѣка въ одно цѣлое, въ непосредственныя отношенія къ природѣ. Ощущеніе вызываетъ рядъ волненій и въ нихъ заключается вся психическая дѣятельность первобытнаго человѣка, ложащаяся въ основу его узкаго, но цѣльнаго, не раздробленнаго міросозерцанія. Ощущенія его, какъ справедливо замѣчаетъ Спенсеръ, выражаются единовременно звуками, образами и движеніями. То, что для насъ распадается на духъ и матерію, связано въ немъ неразрывно. И оттого онъ монистъ въ теоріи и монистъ на практикѣ. Пріятное и непріятное ощущеніе немедленно приводятъ въ движеніе весь его организмъ, всѣ стороны индивидуальности,—мускулы ногъ, рукъ, груди, горла сокращаются единовременно, и человѣкъ поетъ, пляшетъ, играетъ. Точно также цѣлостна его практическая философія. Различные элементы оцѣнки человѣческихъ поступковъ разсыпаны для цивилизованнаго человѣка по разнымъ угламъ; онъ можетъ признать данное явленіе пріятнымъ, но безполезнымъ; полезнымъ, но безнравственнымъ; нравственнымъ, но незаконнымъ и несправедливымъ; законнымъ, но не богоугоднымъ. Первобытный человѣкъ не знаетъ этихъ противорѣчій; для него фактъ тождественъ съ принципомъ; велѣнія боговъ, юридическая норма, нравственный кодексъ, нравы и обычаи совпадаютъ или, съ нашей современной точки зрѣнія, не отдѣлились другъ отъ друга, не выяснились, не дифференцировались. Дикарь убиваетъ дикаря изъ мести, это—фактъ. Но фактъ этотъ въ нравахъ общества, въ то же время онъ правомѣренъ, подтверждается религіозными представленіями и санкціонируется первобытною личною моралью. Съ теченіемъ времени, со смѣною многихъ и многихъ поколѣній, по мѣрѣ развитія коопераціи, фактъ невыгоды вредить ближнему обращается точно также въ религіозный догматъ, нравственное правило, юридическую норму и обычай, опять-таки безъ всякаго яснаго обозначенія раздѣльности этихъ элементовъ. Во временныхъ и случайныхъ союзахъ простого сотрудничества эта цѣльность и непосредственность взаимныхъ отношеній остаются во всей своей силѣ. Если бы принципъ простого сотрудничества восторжествовалъ, если бы цивилизація постепенно раздвигала именно этимъ видомъ коопераціи личное существованіе равномѣрно во всѣ стороны, не раздробляя индивидуальности, а пріобщая къ ней все новыя и новыя индивидуальности столь же цѣльныя, если бы при этомъ воззрѣнія на природу путемъ коллективнаго опыта очищались отъ объективнаго антропоцентризма... я не знаю, что было бы въ такомъ случаѣ. Но этого не было и, насколько мы можемъ продумать первобытную жизнь, и не могло быть. Раздѣленіе труда одолѣло. Запутанный порядокъ сложнаго сотрудничества постепенно стиралъ непосредственность взаимныхъ отношеній и дробилъ индивидуальную цѣлостность.

Родовой бытъ смѣнился общественнымъ, что предполагаетъ уже глубокія дифференцированія. На одномъ концѣ общественной іерархіи образовалось рабство, на другомъ вырѣзалась болѣе или менѣе сильная верховная власть, которой уступили, добровольно или по принужденію, часть своего главенства старѣйшины отдѣльныхъ родовъ. Религіозныя представленія получаютъ столь отвлеченный характеръ, непосредственныя отношенія къ природѣ нарушаются столь сильно, что стано-

вятся уже нужными посредники между людьми и богами. Обособляется классъ жрецовъ. Рабство однихъ даетъ досугъ другимъ. Досугъ идетъ на умственное развитіе. Трудъ перестаетъ вознаграждаться всѣмъ результатомъ труда; результатъ этотъ дѣлится между господиномъ и рабомъ, который получаетъ свою долю въ видѣ скудной пищи. Но почти столь же скуднымъ вознагражденіемъ довольствуется и господинъ. Производители и потребители находятся въ непосредственныхъ сношеніяхъ, взаимная связь ихъ проста и очевидна; продукты труда идутъ довольно равномѣрно на поддержаніе однѣхъ и тѣхъ же потребностей въ различныхъ недѣлимыхъ. Каждый потребитель есть вмѣстѣ съ тѣмъ и производитель, и наоборотъ. Съ дальнѣйшимъ развитіемъ кооперацiи и досуга, развиваются и потребности. Является надобность въ такихъ предметахъ, которые не могутъ быть произведены тѣми или другими лицами, а между тѣмъ производятся въ сосѣдствѣ. Начинается обмѣнъ продуктовъ. Въ болѣе или менѣе широкомъ обмѣнѣ могутъ участвовать только нецѣлостныя недѣлимыя, т. е. недѣлимыя, усвоившія себѣ извѣстную спеціальную сферу дѣятельности. Далѣе, какъ въ области религіозной понадобились посредники между людьми и богами, такъ и въ экономической области оказываются нужными посредники между производителями и потребителями. Обособляется торговый классъ, задерживающій, въ видѣ торговаго процента, часть результата труда въ своихъ рукахъ; поземельная рента и прибыль капиталиста еще ждутъ своей очереди. Торговля оказывается занятіемъ столь выгоднымъ, что отвлекаетъ значительную часть силъ отъ войны, до тѣхъ поръ главнаго занятія. Однако они еще долго должны идти рука объ руку, потому что торговецъ можетъ каждую минуту ждать нападенія и долженъ противопоставлять силу силѣ. Въ рукахъ торговаго класса сосредоточиваются значительныя богатства, превышающія его потребности. Является новое наслажденіе—наслажденіе пріобрѣтенія, и новая цѣль—богатство, доступныя только для нѣкоторыхъ членовъ общества. Въ далекомъ будущемъ это спеціальное наслажденіе и эта спеціальная цѣль, обособленныя отъ всѣхъ другихъ сторонъ человѣческой индивидуальности, ложатся въ основу науки, по поводу которой Сисмонди задумался: «Неужели богатство—все, а человѣкъ—абсолютно ничто?»; по поводу которой Дрозъ замѣчаетъ, что представители ея думаютъ, что «человѣкъ созданъ для продуктовъ, а не продукты для человѣка».

Общественныя дифференцированія, опредѣляя для каждой обособившейся соціальной группы образъ жизни и занятія, отличные отъ образа жизни и занятій остальныхъ группъ, вызываютъ разнородность нравовъ и обычаевъ. Эта разнородность вызываетъ такія столкновенія, что становится, наконецъ, необходимымъ формальное опредѣленіе правъ и обязанностей членовъ общества. Является писаный законъ, сначала, разумѣется не очень далекій отъ обычнаго права, но тѣмъ не менѣе во всякомъ случаѣ отличный отъ него; въ него вносятся главнымъ образомъ воззрѣнія правящаго класса. Нравы, нравственность и справедливость раздробляются на самостоятельныя категоріи. Законодатель смѣло пишетъ: Servitus est constitutio *juris gentium*, quo quis dominio alterius *contra naturam* subiicitur, т. е. рабство есть учрежденіе *народнаго права*, по которому человѣкъ *противоестественно* владычествуетъ надъ другимъ. Въ далекомъ будущемъ нравы и обычаи обособляются въ деспотизмъ общественнаго мнѣнія; нравственность—въ аскетическую мораль; право и справедливость даютъ начало наукѣ, провозглашающей своимъ принципомъ: fiat justicia pereat mundus, т. е. не справедливость существуетъ для человѣка, а человѣкъ для справедливости.

Рядомъ съ безусловною справедливостью и безусловною нравственностью выступаютъ чистая наука, чистое искусство. И такъ, въ теченіе вѣковъ, раздѣленіе труда постепенно, но съ неудержимой силой подтачиваетъ первобытный антропоцентризмъ. Мы не имѣемъ никакой возможности прослѣдить здѣсь всѣ стороны эксцентрическаго періода. Читатель найдетъ кое-что въ этомъ отношеніи у Спенсера, въ статьяхъ: «Происхожденіе и дѣятельность музыки», «Обычаи и приличія», «Прогрессъ, его законъ и причины» и т. д. Но Спенсеръ выбираетъ примѣры сравнительно неважные, и при томъ смотритъ на нихъ исключительно съ точки зрѣнія увеличенія общественной разнородности, не касаясь параллельнаго факта усиленія индивидуальной однородности. Спенсеръ, не смотря на многочисленность примѣровъ, приводимыхъ имъ въ подтвержденіе закона прогресса, какъ перехода отъ однороднаго къ разнородному, ни разу не останавливается надъ значеніемъ этого перехода для выработки понятій полезнаго, пріятнаго, добраго, нравственнаго, справедливаго. А между тѣмъ обособленіе ихъ другъ отъ друга несомнѣнно потверждаетъ его законъ прогресса: оно могло явиться только въ обществѣ очень разнородномъ. Бѣдняга первобытный человѣкъ думалъ, что все создано для него. Оказывается, что онъ самъ созданъ для всего, кромѣ самого себя. Онъ созданъ для справедливости, для нравственности, для богатства, для знаній, для искусства. И все это требуетъ безусловнаго, исключительнаго поклоненія себѣ; все это въ открытой враждѣ другъ съ другомъ: искусству не надо справедливости, наука

отрицается нравственностью, богатство не видитъ справедливости, формальная справедливость незнакома съ нравственностью. Но — замѣчательный фактъ, который мы объяснимъ ниже — всѣ эти отвлеченныя категоріи, порожденныя процессомъ общественныхъ дифференцированій и соотвѣтственныхъ индивидуальныхъ интеграцій, находясь въ открытой междоусобной войнѣ, въ то же самое время единодушно поддерживаютъ вызвавшій ихъ на свѣтъ Божій порядокъ. Въ другомъ мѣстѣ *) мы имѣли случай показать, что безусловная справедливость есть не что иное, какъ идеализація существующихъ общественныхъ отношеній, возведеніе въ принципъ голаго эмпирическаго факта. А между тѣмъ, какъ она величава и широка, эта безусловная справедливость! Теоретическія формулы объективно-антропоцентрическаго періода (все создано для человѣка) и періода эксцентрическаго (человѣкъ для богатства, для справедливости, для истины, или, что то же, справедливость для справедливости, истина для истины, богатство для богатства) до такой степени діаметрально-противоположны, что можно было бы подумать, что самая природа человѣка потерпѣла какое нибудь коренное преобразованіе. Можетъ быть и въ самомъ дѣлѣ люди живутъ здѣсь для знанія, для искусства, для справедливости? Не совсѣмъ такъ. Произошло собственно вотъ что. Были люди дикіе, ограниченные, неразвитые, но цѣлостные. Ихъ цѣлостная индивидуальность, благодаря кооперации раздѣльнаго труда, развивалась въ раздробь. Жизнь недѣлимаго есть сумма отправленій, допускаемыхъ его организаціей. Въ первобытномъ человѣкѣ мы имѣемъ эту сумму отправленій. Исторія, не давъ силамъ и способностямъ человѣка, такъ сказать, выйти изъ скрытаго состоянія, достигнуть гармонической и всесторонней напряженности въ предѣлахъ одной индивидуальности, размѣстила эти силы и способности по множеству разныхъ индивидуальностей. Сила мысли оказалась въ одномъ углу и больше въ немъ ничего не оказалось, въ другомъ — сила мышцъ, въ третьемъ — эстетическая способность и т. д. Эти изолированныя силы, развиваясь въ нецѣлостныхъ недѣлимыхъ на счетъ другихъ силъ, получаютъ колоссальную интенсивность и при этомъ окончательно заглушаютъ остальныя отправленія. Такимъ путемъ происходитъ общественная разнородность рядомъ съ индивидуальной однородностью. Казалось бы, что здѣсь, какъ и вездѣ при осуществленіи принципа раздѣленія труда, происходитъ значительная экономія силъ; что общество получаетъ огромный барышъ, доводя различныя силы и способности до такого развитія, какое недостижимо при совмѣщеніи ихъ всѣхъ въ предѣлахъ одной и той же личности. «Раздѣленіе занятій, — говоритъ Милль, — совершеніе одновременнымъ трудомъ нѣсколькихъ работы, которая не могла бы быть окончена какимъ бы то ни было числомъ лицъ порознь, — вотъ великая школа кооперации». (Статья «Цивилизація» въ «Разсужденіяхъ и изслѣдованіяхъ»). Великая ли эта школа, это вопросъ, подлежащій обсужденію. Но это не единственная школа кооперации, потому что есть еще школа простого сотрудничества. Какъ мы неоднократно доказывали, раздѣленіе труда, способствуя выработкѣ нецѣлостныхъ недѣлимыхъ, есть источникъ безчисленныхъ патологическихъ явленій въ области индивидуальной и социальной жизни. Но этого мало; есть предѣлы, за которыми всякая сила и способность, развиваясь на счетъ другихъ силъ и способностей, перестаетъ быть силой и способностью, о чемъ съ неумолимою ясностью свидѣтельствуютъ добытые ею результаты.

Грубый фетишизмъ смѣнился болѣе утонченнымъ политеизмомъ. Для первобытнаго человѣка исчезла возможность быть съ своими богами за панибрата, бесѣдовать съ ними запросто, сидѣть въ одной комнатѣ. Въ сношенія съ ними онъ долженъ вступать чрезъ посредство жрецовъ. Обезпеченные трудомъ производительныхъ классовъ, жрецы и высшіе слои общества вообще начинаютъ мало-помалу отвыкать отъ физическаго труда. Когда распаденіе труда на трудъ физическій и умственный доходитъ до извѣстныхъ предѣловъ, антропоцентрическій монизмъ смѣняется эксцентрическимъ дуализмомъ. Когда вы здоровы, вы не замѣчаете присутствія того или другого органа, сознаете только себя, какъ совокупность органовъ, находящихся въ физіологической гармоніи. Когда вы больны, то есть когда гармонія отправленій такъ или иначе нарушена, вы невольно обращаете вниманіе на пораженный органъ. Въ здоровомъ состояніи трудно мыслить о головѣ, о рукѣ, о ногахъ, о сердцѣ и т. д. безотносительно ко всему организму. Больная голова, больная рука вызываютъ ваше спеціальное вниманіе, и вы мысленно отдѣляете ихъ отъ остальной части организма. Совершенно точно также нарушенная дифференцированіемъ труда гармонія выдѣлила для человѣка духъ, какъ нѣчто отдѣльное отъ тѣла. Борозда, пролегшая между духомъ и матеріей въ практической жизни, отразилась и на теоретическихъ воззрѣніяхъ, и со смѣною поколѣній обозначалась все рѣзче и рѣзче. Единоличнымъ богамъ и единоличной морали первобытнаго человѣка, работающаго единовременно и руками, и головой, соотвѣтствуетъ понятіе о единствѣ его собственнаго существа. Вступая свободнымъ и независимымъ членомъ въ

*) Статья «Преступленіе и наказаніе» (По поводу «Русскихъ уголовныхъ процессовъ») войдетъ въ одинъ изъ слѣдующихъ томовъ.

союзъ простого сотрудничества, первобытный человѣкъ всетаки держится своего монизма, потому что и здѣсь ему приходится трудиться равномѣрно и физически, и умственно. Въ коопераціи раздѣльнаго труда душа и тѣло расходятся въ разныя стороны. Вслѣдствіе различія побочныхъ обстоятельствъ, расхожденіе это проявляется различнымъ образомъ. Такъ полинезійцы вѣруютъ, что только предводители ихъ имѣютъ душу. Такъ древніе перувіанцы вѣровали, что ихъ знать была божественнаго происхожденія. Оба эти факта приводятся Спенсеромъ въ подтвержденіе той мысли, что въ первобытномъ обществѣ личности бога и государя совпадаютъ. Въ этомъ отношеніи особенно неудаченъ примѣръ перувіанцевъ. Перу извѣстно намъ уже на относительно очень высокой ступени цивилизаціи, и потому вѣрованіе перувіанцевъ ничего не доказываетъ: установленію его предшествовали цѣлые вѣка общественныхъ дифференцированій. Какъ бы то ни было, но мы видимъ, что такъ или иначе практическое распаденіе труда на физическій и умственный вездѣ и всегда сопровождается и теоретическимъ распаденіемъ души и тѣла, т. е. дуализмомъ. Однако, кое-какія эмпирическія свѣдѣнія, пріобрѣтаемыя высшими классами и особенно жрецами, еще долго имѣютъ въ виду исключительно человѣка какъ съ теоретической, такъ и съ практической точки зрѣнія. Природа изучается объективно-антропоцентрически, и при томъ настолько, насколько это изученіе можетъ быть непосредственно приложено къ пользамъ и нуждамъ человѣка. Практическое приложеніе добытыхъ знаній находится въ вѣдѣніи самихъ изучающихъ природу; теорія еще не отдѣлилась отъ практики, наука— отъ искусства, знаніе теоретическое —отъ прикладного. Но глубже и глубже ложатся демаркаціонныя черты между интересами различныхъ слоевъ общества. Процессъ дифференцированія, разъ начавшись, идетъ все быстрѣе и быстрѣе. Увеличивающійся досугъ, гарантированный трудомъ нижняго этажа общественнаго зданія, и привычка къ умственнымъ занятіямъ побуждаютъ, наконецъ, нѣкоторыхъ членовъ высшихъ слоевъ заняться изученіемъ явленій природы не ради тѣхъ или другихъ практическихъ цѣлей, а изъ любопытства, ради самой истины. Является новое спеціальное наслажденіе—наслажденіе знанія, разъ отвѣдавъ котораго, мысль неудержимо стремится къ дальнѣйшему знанію. Знаніе перестаетъ быть средствомъ и становится цѣлью. Эта новая цѣль все болѣе и болѣе заслоняетъ собою для преслѣдующихъ ее всѣ другія цѣли и, вызванная процессомъ общественныхъ дифференцированій, закрѣпляетъ ихъ собою. Религіозныя представленія становятся утонченнѣе. Является философія. Мысль человѣческая, увѣрившись въ своей независимости отъ бренной тѣлесной оболочки, оказываетъ крайнюю самонадѣянность. Презирая опытъ и наблюденіе, какъ орудія бренной оболочки, мысль стремится въ надзвѣздныя пространства и желаетъ получить понятіе о мірѣ чисто діалектическимъ путемъ, изъ самой себя. Презирая оковы, налагаемыя на нее внѣшними чувствами, мысль презираетъ и добываемое внѣшними чувствами. Ей мало феноменальнаго знанія, которое можетъ получить и приложить къ дѣлу всякій ремесленникъ. Она ищетъ нумена, вещи въ себѣ, сущности вещей, и сама эта сущность оказывается, наконецъ, ни чѣмъ инымъ, какъ тѣмъ же самымъ духомъ, который такъ тщательно и любовно воспитывается на счетъ матеріи въ прямомъ и переносномъ смыслѣ. Объ утилитарной сторонѣ знанія нѣтъ и помину. Архимедъ извиняется передъ современниками и потомствомъ въ томъ, что иногда работаетъ для практическихъ цѣлей. Въ наши времена Шопенгауеръ заявляетъ, что только безполезное можетъ имѣть значеніе. Платонъ говоритъ, что значеніе ариѳметики состоитъ отнюдь не въ ея практической пользѣ, а въ томъ, что она «облегчаетъ душѣ путь изъ области преходящихъ вещей къ созерцанію истины и бытія»; что она обязана «заниматься числами въ себѣ, въ ихъ сущности, и не терпѣть вмѣшательства чего бы то ни было видимаго и осязаемаго»; что геометры заблуждаются, если удаляются отъ изученія того, что составляетъ сущность вещей, истину вѣчную и безусловную; что цѣль астрономіи совсѣмъ не практическая, она не есть даже изученіе видимаго, она должна вести къ той же вѣчной истинѣ, постижимой одною чистою мыслью (Республика, кн. VII). Русскій педагогъ, г. Модзалевскій, полагаетъ, что, «благодаря незначительной населенности страны и существованію рабства, бывшаго удѣломъ иноплеменниковъ, жизнь свободныхъ людей была легка и чужда мелочныхъ заботъ. Большая часть націи была совершенно незнакома съ низкими и тяжелыми работами, и потому грекъ чрезъ воспитаніе свое могъ становиться выше всего пошлаго и мелочнаго въ жизни» (Очеркъ исторіи воспитанія и обученія и проч., ст. 47). Считаю долгомъ замѣтить, что это античное воззрѣніе приведено рядомъ съ мыслями Платона не почему иному, какъ потому, что мы случайно развернули случайно лежащую передъ нами книгу г. Модзалевскаго.

Освобожденная отъ мелочныхъ и пошлыхъ заботъ мысль, стремясь уразумѣть сокровенныя сущности вещей, получаетъ о себѣ все болѣе и болѣе высокое понятіе. Чистая мысль оказывается единственнымъ источникомъ познанія, въ ней одной слѣдуетъ искать законовъ міровыхъ явленій. Метафизическія системы

громоздятся одна на другую; въ нихъ погибаютъ величайшіе умы. Таковъ въ области мысли и знанія одинъ результатъ общественныхъ дифференцированій и осуществленія принципа раздѣленія труда, то есть по Спенсеру—общественнаго прогресса.

Тѣмъ временемъ мало по малу копятся положительныя знанія. Практическія надобности и счастливыя случайности порождаютъ технику, искусства, а техника влечетъ за собой нѣкоторыя обобщенія. Сначала эти обобщенія кладутся гордыми и нетерпѣливыми умами въ основаніе метафизическихъ объясненій міра. Затѣмъ, подъ вліяніемъ общаго процесса соціальныхъ дифференцированій, наука отдѣляется отъ философіи. Далѣе тотъ же процессъ повелъ къ тому, что «каждый отдѣльный классъ изслѣдователей какъ бы выдѣлилъ свой частный порядокъ истинъ изъ общей массы матеріала, накопленнаго наблюденіемъ» (Спенсеръ, I, 307). Знаніе, какъ цѣль, распадается постепенно на множество частныхъ цѣлей. Одинъ избираетъ одну отрасль, другой—другую и т. д. Какъ и во всѣхъ своихъ проявленіяхъ, это раздѣленіе труда имѣетъ двойственный характеръ. Наука обогащается, но міросозерцаніе спеціалистовъ все болѣе и болѣе суживается. Однако скоро и наука перестаетъ обогащаться. Съ дальнѣйшимъ спеціализированіемъ утрачивается взаимное пониманіе между представителями различныхъ отраслей знанія. Они не понимаютъ даже языка другъ друга. Погруженный въ свой клочокъ знанія, спеціалистъ взрываетъ его вдоль и поперекъ, но не имѣетъ понятія о сосѣднемъ клочкѣ. Онъ уже давно пересталъ быть гражданиномъ, давно пересталъ сознавать свою солидарность съ остальными членами кормящаго его общества. Но, наконецъ, онъ перестаетъ быть и ученымъ; добываемое имъ знаніе дѣлается не только неважнымъ, второстепеннымъ, третьестепеннымъ и т. д., но даже перестаетъ быть знаніемъ. Это требуетъ нѣкотораго объясненія. Для изслѣдованія самаго простого явленія, напримѣръ, для опредѣленія какого нибудь минерала требуется, собственно говоря, цѣлый рядъ опытовъ и наблюденій. Минералъ можетъ имѣть строеніе аморфное или кристаллическое. Въ послѣднемъ случаѣ нужно опредѣлить геометрическія свойства кристалла, отношенія угловъ и плоскостей. Но этого недостаточно, потому что много есть минераловъ, совершенно различныхъ и тѣмъ не менѣе кристализующихся въ одной и той же формѣ. Отъ гоніометра приходится перейти къ паяльной трубкѣ, изслѣдовать отношеніе даннаго минерала къ тѣмъ или другимъ реактивамъ, къ поляризаціи, его спайность, твердость и т. д. Послѣ этого ряда опытовъ и наблюденій явленіе понято, потому что, кромѣ математическихъ, физическихъ и химическихъ, никакихъ другихъ свойствъ минералъ не имѣетъ. Понятное дѣло, что если бы какой нибудь спеціалистъ-кристалографъ не имѣлъ свѣдѣній химическихъ и физическихъ и былъ бы склоненъ подобно всякому спеціалисту, придавать своей точкѣ зрѣнія первенствующее значеніе, понятно, что его минералогическія знанія не были бы знаніями. Что касается до его собственно кристалографическихъ наблюденій, то они представляли бы не болѣе, какъ сырой матеріалъ. Мы взяли примѣръ почти невозможный, потому что минералогія завѣдуетъ явленіями столь простыми, что связь и необходимость различныхъ точекъ зрѣнія тутъ совершенно очевидны. Но въ наукахъ, имѣющихъ дѣло съ сложнѣйшими явленіями, подобные случаи не только возможны, а и весьма обыкновенны, потому что для пониманія этихъ болѣе сложныхъ явленій требуется и большая разносторонность свѣдѣній. Ясно, что въ этомъ случаѣ узкій спеціалистъ можетъ накопить множество знаній, которыя, при всестороннемъ ихъ разсмотрѣніи, окажутся совершенно ложными. Время отъ времени въ эту массу ложно понятыхъ или вѣрныхъ, но мелочныхъ фактовъ врываются могучіе умы, внося синтетическое начало въ это неограниченное правленіе анализа. И это синтетическое начало представляетъ собою отраженіе простого сотрудничества между науками и индивидуальной цѣлостности дѣятеля науки; истины различныхъ наукъ группируются при этомъ не какъ однородные члены разнороднаго цѣлаго, а наоборотъ. Наука дѣлаетъ гигантскій шагъ, подобравъ сразу весь пригодный сырой матеріалъ, а остальную часть его выбрасываетъ, какъ совершенно негодную. Однако, иногда и на самихъ представителяхъ синтетическаго начала отражаются послѣдствія коренныхъ общественныхъ дифференцированій. Вырвавшись изъ эксцентрическаго періода, съ одной стороны, они глубоко сидятъ въ немъ,—съ другой. Опытъ и наблюденіе еще не вытѣснили изъ нихъ вѣры въ безконтрольную силу чистой мысли. Отсюда опять метафизическія стремленія уловить сущность вещей, ихъ конечныя причины, отсюда метафизическія понятія природы, боящейся пустоты, зоогена, жизненной силы, жизненныхъ духовъ и т. п.

Наконецъ, въ области теоретическихъ вопросовъ, исторія снова выдвигаетъ человѣка центромъ вселенной. Позитивизму принадлежитъ честь объединенія и обобщенія этого стремленія. Опять человѣкъ становится мѣриломъ вещей, но на этотъ разъ уже сознательно. Дуализмъ опять смѣняется монизмомъ. Границы науки совпадаютъ съ границами человѣка, какъ существа цѣльнаго и единаго. Мысль вводится въ свои законныя границы. Человѣкъ можетъ познавать только явленія и

тѣ постоянныя отношенія, въ которыя они становятся другъ къ другу. Сущность вещей—вѣчная тьма. Нѣтъ абсолютной истины, есть только истина *для человѣка*, и, за предѣлами человѣческой природы, нѣтъ истины для человѣка. Положенія эти выработывались вѣками. Но въ курсѣ философія Конта имъ подведенъ полный итогъ, къ которому мы отсылаемъ читателя. Послѣ борьбы съ метафизикой читатель найдетъ тамъ и борьбу съ излишней спеціализацией знаній, но эта часть трактата едва-ли удовлетворитъ его въ такой же мѣрѣ. Здѣсь разсыпаны, однако, зачатки золотыхъ мыслей, цѣнность которыхъ уменьшается только кореннымъ недостаткомъ Контовой системы — устраненіемъ субъективнаго метода изъ области вопросовъ соціологіи, этики и политики. Позитивизмъ сдѣлалъ до сихъ поръ полдѣла,—установилъ законность человѣческой точки зрѣнія на явленія природы, а человѣческая точка зрѣнія есть здѣсь точка зрѣнія человѣка мыслящаго и ощущающаго, т. е. цѣлостнаго недѣлимаго, обладающаго всею суммою органовъ и всею суммою отправленій, свойственныхъ организму человѣка. Такимъ совмѣстнымъ участіемъ всѣхъ сторонъ индивидуальности получается истина, не абсолютная, а истина для человѣка. Та же точка зрѣнія должна быть приложена и къ рѣшенію практическихъ вопросовъ, но этой половины великаго дѣла позитивизмъ совершить не можетъ, потому что тутъ ему пришлось бы ввести субъективный методъ даже въ постановку чисто теоретическихъ вопросовъ. Въ самомъ дѣлѣ, съ объективной точки зрѣнія всѣ истины равны. Выборъ между истинами, т. е. отдѣленіе истинъ полезныхъ отъ безполезныхъ, нужныхъ отъ ненужныхъ, обязательныхъ отъ необязательныхъ—это дѣло, очевидно, субъективнаго метода. Тѣмъ справедливѣе это для практическихъ приложеній добытыхъ истинъ. Относительно этихъ пунктовъ могутъ выйдти разногласія, объективнымъ методомъ неустранимыя, вслѣдствіе чего позитивизму приходится быть пассивнымъ зрителемъ этихъ столкновеній, не принимая въ нихъ никакого участія. Въ Позитивной Политикѣ Контъ открыто отказался отъ этой пассивной роли и, при помощи субъективнаго метода, попытался перекинуть мостъ отъ науки къ жизни. Мостъ вышелъ непрочный, но это отнюдь не значитъ, что можно обойтись совсѣмъ безъ моста. До какой степени Контъ и въ своемъ курсѣ философіи былъ близокъ къ тому, чтобы ввести въ свою систему человѣка, *какъ цѣлостное недѣлимое*, центромъ не только теоретическихъ, а и практическихъ вопросовъ, т. е. связать научнымъ образомъ вопросы о теоретической истинѣ съ вопросами о практическомъ благѣ, и до какой степени ему тѣсно было въ путахъ объективнаго метода въ соціологіи,—это видно изъ слѣдующихъ его словъ, которыя я боюсь испортить переводомъ:

«Chez la classe speculative l'élévation de l'âme et la générosité des sentiments peuvent difficilement se développer sans la géncralité des pensées, d'apres l'affinité naturelle qui *doit* y exister entre les vues étroites ou dispersives et les penchants égoïstes» (t. VI, 387).

«L'intime dégénération, indiquée par de tels symptômes confirmel'état purement provisoire d'une classe spéculative où l'actif sentiment de devoir a dû s'affaiblir au même degré que le viritable esprit d'ensemble, et chez laquelle on remarque, en effet, aujourd'hui, encore plus que partout ailleurs, une systematique préponderance de la morale métaphysique fondée surl'interêt personnel. Bientôt, peut être, la science elle même en sera profondément atteinte, soit par ce qu'une trop avide concurrence menace d'y déterminer, chez des natures trop inférieurs, une altération volontaire de la véracité des observations, soit á cause de la surexcitation qu'une cupidité croissante est exposée á y recevoir des relations plus directes et plus actives entre les spéculations scientifiques et les operations industrielles» (VI, 393).

Эта невозможность высокаго нравственнаго уровня при отсутствіи общихъ взглядовъ на явленія природы; это «естественное средство, которое *должно* существовать между узкими и односторонними научными воззрѣніями, съ одной стороны, и эгоистическими наклонностями,—съ другой», это «ослабленіе чувства долга параллельно ослабленію цѣлостности міросозерцанія»—угаданы великимъ мыслителемъ совершенно независимо отъ его философской системы. Система эта не даетъ отвѣта на вопросъ: почему же между научною односторонностью и узкимъ эгоизмомъ должно существовать сродство? Что между ними общаго? Далѣе, не суть ли всѣ эти Клаэсы—позитивисты, такъ какъ они могутъ самымъ позитивнымъ образомъ изучать законы послѣдовательности и сосуществованія явленій? Гдѣ же въ системѣ позитивизма тотъ пунктъ, съ котораго дѣятельность Клаэсовъ достойна порицанія? Правда, позитивизмъ и съ объективной точки зрѣнія можетъ требовать нѣкоторой научной цѣлостности, такъ какъ классификація наукъ Конта указываетъ, что каждая наука можетъ быть только тогда раціонально разработываема, когда усвоены истины всѣхъ предыдущихъ наукъ ряда. Но, во-первыхъ, если спеціалистъ нарушаетъ это условіе и приходитъ къ ложнымъ заключеніямъ, то позитивизмъ только и можетъ сказать, что это заключенія ложныя, но отнюдь не можетъ связать это обвиненіе съ нравственной оцѣнкой. Во-вторыхъ, если мы возьмемъ одну изъ низшихъ наукъ, то, по классификаціи Конта, для

механика достаточно математическихъ познаній, для физика математическихъ и механическихъ, для химика—математическихъ, механическихъ и физическихъ. Каждый изъ нихъ можетъ такимъ образомъ удовлетворять раціональнымъ требованіямъ позитивизма, но оставаться въ то же время Клаэсомъ, узкимъ спеціалистомъ и эгоистомъ. И какъ ни клеймитъ ихъ Контъ за этотъ эгоизмъ, ему приходится включать ихъ въ число позитивистовъ.

Мы вполнѣ сознаемъ всю неудовлетворительность, неполноту и, быть можетъ, неясность нашего предыдущаго изложенія. Сознаніе это не доставляетъ намъ, разумѣется, никакого удовольствія. Мы хотѣли сказать нѣсколько словъ объ истинномъ значеніи объективнаго метода въ соціологіи и для этого намѣрены были сдѣлать «небольшое, а, можетъ быть, и довольно длинное отступленіе» отъ Спенсера. Отступленіе вышло и слишкомъ длинно, и слишкомъ коротко, такъ какъ намъ приходилось чуть не бѣгомъ бѣжать, а объ объективномъ методѣ въ соціологіи мы всетаки сказали мало. Ниже мы надѣемся поправить дѣло. Однако, и здѣсь мы не совершенно удалились отъ Спенсера, потому что имѣли случай прослѣдить нѣкоторыя послѣдствія осуществленія принципа раздѣленія труда и общественныхъ дифференцированій; далѣе, говоря о Контѣ, мы всетаки были вблизи отъ Спенсера, потому что оба они настаиваютъ на законности объективнаго метода въ соціологіи и оба могутъ считаться представителями позитивизма, хотя Спенсеръ не ставитъ себя, да и не можетъ быть поставленъ въ число учениковъ Конта, и хотя послѣдній двумя головами выше перваго. Во всякомъ случаѣ, мы были бы вполнѣ счастливы, если бы читатель убѣдился пока въ слѣдующемъ: метафизика, т. е. стремленіе къ уразумѣнію сущности вещей и абсолютному знанію, и крайняя спеціализація, которая, какъ говоритъ Фаустъ о Вагнерѣ, froh ist, wenn sie Regenwürmer findet,—имѣютъ одну общую причину, которая не видна съ точки зрѣнія, принятой Контомъ, и потому ему, скрѣпя сердце, приходится ставить ихъ въ различные отдѣлы своей объективной классификаціи. Общая причина этихъ двухъ, повидимому, крайнихъ противоположностей заключается въ томъ самомъ, что Спенсеръ съ объективной точки зрѣнія признаетъ соціальнымъ прогрессомъ—въ дифференцированіяхъ общества, и въ томъ разладѣ, который вносится въ индивидуальную и соціальную жизнь направленіемъ коопераціи по типу раздѣльнаго труда. И метафизика, и спеціализація знаній суть результаты нарушенія цѣлостности недѣлимыхъ и безконечнаго раздробленія человѣческихъ цѣлей и интересовъ. И та, и другая возможны только въ эксцентрическомъ періодѣ соціальнаго развитія.

Третій великій результатъ нарушенія индивидуальной цѣлостности и гармоніи отправленій есть объективный методъ въ соціологіи; имъ мы окончательно займемся ниже.

Бѣглость и неполнота нашего очерка могутъ поселить между нами и читателемъ нѣкоторыя взаимныя непониманія по многимъ пунктамъ. Современемъ мы надѣемся совершенно устранить это обстоятельство, но и теперь намъ хочется остановиться на одномъ изъ такихъ пунктовъ. Читатель замѣтилъ, разумѣется, что мы не особенно расположены къ эксцентрическому періоду общественнаго развитія. На пути къ счастію человѣчеству остается пройти еще однѣ великія историческія ворота, надъ которыми стоитъ надпись: человѣкъ для человѣка, все для человѣчества. За объективно-антропоцентрическимъ періодомъ отсутствія коопераціи и слабыхъ зачатковъ простого сотрудничества, за эксцентрическимъ періодомъ преобладанія раздѣленія труда, слѣдуетъ субъективно-атропоцентрическій періодъ господства простого сотрудничества. Нѣкоторыя стороны человѣческой жизни уже вступаютъ въ этотъ періодъ; такъ позитивизмъ ввелъ въ него теоретическія отношенія человѣка къ природѣ. Поэтому, не маскируясь объективностью, мы откровенно сознаемся, что желаемъ скорѣйшаго окончанія эксцентрическаго періода, который не заслуживаетъ, по нашему мнѣнію, той розовой окраски, какую налагаетъ на него Спенсеръ. Но не значитъ ли это обругать вѣковую исторію? Не далъ ли намъ именно этотъ процессъ исторіи науку, искусства, промышленность? Конечно, далъ. Но нѣкоторая часть всего этого добыта простымъ сотрудничествомъ, а остальное куплено и покупается, можетъ быть, слишкомъ дорогою цѣною. Будущій историкъ напишетъ приходо-расходную книгу цивилизаціи и сведетъ эти счеты.

Итакъ, мы не принадлежимъ къ числу хвалителей эксцентрическаго періода, а выше мы говорили, что, между прочимъ, въ этотъ періодъ произошло распаденіе знанія теоретическаго и прикладного, что наука перестала здѣсь служить практическимъ цѣлямъ. Изъ этого читатель, пожалуй, можетъ вывести, что мы считаемъ наиболѣе важнымъ въ настоящее время собственно техническія знанія. Есть узколобые утилитаристы, проповѣдующіе подобныя вещи, но мы не имѣемъ съ этими Бекончиками ничего общаго. Ружья Шаспо, пушки Армстронга, мониторы—тоже вѣдь результаты практическаго примѣненія знаній. Инженеры, механики, техники, практическіе химики, металлурги—все это народъ несомнѣнно полезный. Но для опредѣленія ихъ истиннаго общественнаго значенія въ каж-

домъ частномъ случаѣ слѣдуетъ помнить, что трудами ихъ могутъ воспользоваться тѣ, кто можетъ оплатить ихъ. Это значительно усложняетъ вопросъ. Имѣйте только въ виду, что благо человѣка есть его цѣлостность, гармонія оправленій, то-есть разнородность недѣлимыхъ и общественная однородность, что истина для человѣка лежитъ въ тѣхъ же предѣлахъ индивидуальной цѣлостности; имѣйте это въ виду и беритесь за какую угодно работу: вы не возрадуетесь, когда найдете Regenwürmer, не будете скорбѣть о невозможности созерцать чистую истину и сущность вещей, и не изобрѣтете какого нибудь новаго игольчатаго ружья.

VII.

Какъ мы уже говорили, Спенсеръ, опредѣливъ прогрессъ, какъ переходъ отъ однороднаго къ разнородному, отъ простого къ сложному, отъ общаго къ частному, длиннымъ рядомъ дифференцированій или расчлененій, находитъ далѣе нужнымъ сдѣлать къ этому опредѣленію нѣкоторыя поправки и дополненія. Къ нимъ мы теперь и обратимся.

«Что существуютъ переходы отъ менѣе разнороднаго къ болѣе разнородному, не подходящіе подъ то, что мы называемъ развитіемъ,—говоритъ Спенсеръ,— это доказывается каждымъ случаемъ мѣстной болѣзни. Часть тѣла, въ которой возникаетъ тотъ или другой болѣзненный наростъ, безспорно представляетъ новое дифференцированіе. Будетъ или нѣтъ этотъ болѣзненный наростъ болѣе разнороденъ, нежели ткани, въ которыхъ онъ является—не въ этомъ дѣло. Вопросъ въ томъ—становится ли строеніе организма, взятое въ цѣломъ, болѣе разнороднымъ вслѣдствіе присоединенія къ нему части, непохожей ни по формѣ, ни по составу своему ни на одну изъ прежнихъ? И на этотъ вопросъ возможенъ только утвердительный отвѣтъ» (Основныя начала, вып. VII, 188). Однако, этотъ переходъ отъ однороднаго къ разнородному Спенсеръ не считаетъ возможнымъ признать развитіемъ. Далѣе онъ находитъ, что и первые моменты разложенія мертваго тѣла представляютъ усложненіе, увеличеніе разнородности. «Хотя конечнымъ результатомъ будетъ большая однородность, но непосредственный результатъ противоположенъ. Однако, этотъ непосредственный результатъ отнюдь не представляетъ развитія». «Но изъ всѣхъ подобныхъ примѣровъ,—продолжаетъ Спенсеръ,—самые неоспоримые представляются общественными безпорядками и переворотами. Если въ какой нибудь націи возникаетъ возмущеніе, которое, оставляя извѣстныя области не потревоженными, развивается здѣсь въ тайныя общества, тамъ въ публичныя демонстраціи, а въ иныхъ мѣстахъ въ призывъ къ оружію, приводящій къ столкновенію и кровопролитію, то нельзя не согласиться, что это общество, разсматриваемое въ цѣломъ, стало болѣе разнороднымъ. *Ясно*, однако, что такія измѣненія не только не составляютъ дальнѣйшей ступени развитія, но, напротивъ, представляютъ собою шаги къ разложенію».

Однако, почему же это *ясно*? Есть, конечно, точки зрѣнія, съ которыхъ вся совокупность описанныхъ Спенсеромъ явленій признается шагомъ къ разложенію; есть другія точки зрѣнія, съ которыхъ на рядъ подобныхъ явленій смотрятъ, какъ на шаги къ развитію или къ разложенію, смотря по тому, во имя чего происходятъ столкновенія и кровопролитіе; наконецъ, какова бы ни была цѣль всего движенія, кровопролитіе со всѣхъ возможныхъ точекъ зрѣнія признается явленіемъ печальнымъ. Но всѣ эти точки зрѣнія субъективны. Всѣ онѣ разсматриваютъ и оцѣниваютъ явленія въ связи съ нѣкоторымъ опредѣленнымъ понятіемъ о человѣческомъ счастіи. Описанныя Спенсеромъ явленія онѣ признаютъ шагами къ развитію или къ разложенію, явленіями прогрессивными или регрессивными только по тому понятію, которое онѣ составили себѣ о человѣческомъ благоденствіи и о путяхъ къ достиженію его. Если бы, напримѣръ, намъ пришлось отвѣчать на заданный себѣ Спенсеромъ вопросъ: находится ли нація, въ которой существуютъ въ данную минуту тайныя общества, публичныя демонстраціи, вооруженныя столкновенія и проч., на пути къ разложенію, или, наоборотъ, на пути къ дальнѣйшему развитію?—если бы намъ пришлось отвѣчать на этотъ вопросъ, то мы очутились бы въ большомъ затрудненіи. Мы нашли бы вопросъ по малой мѣрѣ очень страннымъ. Мы пожелали бы узнать, о какихъ именно событіяхъ идетъ рѣчь, во имя чего собираются тайныя общества, устраиваются публичныя демонстраціи и т. д. и какую вѣроятность успѣха имѣетъ все это движеніе. Агитація, подготовившая Итальянское королевство, позднѣйшая агитація оставшихся за штатомъ итальянскихъ Бурбоновъ; агитація, низвергшая Изабеллу испанскую, агитація изабеллистовъ и карлистовъ, агитація испанскихъ республиканцевъ-федералистовъ,—всѣ онѣ могутъ выражаться въ однѣхъ и тѣхъ же общихъ формахъ тайныхъ обществъ, публичныхъ демонстрацій, вооруженныхъ столкновеній и тѣмъ не менѣе представлять явленія, радикально различныя по своему смыслу и результатамъ. Получивъ на счетъ этого смысла движенія и ожидаемыхъ его результатовъ нужныя свѣдѣнія, мы можемъ признать его явленіемъ прогрессивнымъ или регрессивнымъ, смотря по тому, способствуетъ ли оно приближенію общества къ нашему идеалу счастія

и совершенства, или же загораживаетъ ему эту дорогу. Мы, напримѣръ, полагаемъ, что счастіе заключается въ индивидуальной цѣлостности, т. е. въ индивидуальной разнородности и общественной однородности. Къ этому критерію мы и обращаемся для оцѣнки даннаго политическаго движенія. И такъ поступаетъ всякій. Разница только въ качествахъ критерія. Но Спенсеръ совершенно устраняетъ вопросъ о человѣческомъ счастіи. Онъ обѣщался «проанализировать различные классы измѣненій, обыкновенно признаваемыхъ прогрессомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и другіе классы, которые сходны съ ними, но прогрессомъ не считаются»; при этомъ онъ хотѣлъ разсмотрѣть, «въ чемъ состоитъ ихъ существенная особенность, т. е. какова ихъ существенная природа, независимо отъ отношеній къ нашему благоденствію». Эта объективная точка зрѣнія привела его къ убѣжденію, что прогрессъ есть переходъ отъ однороднаго къ разнородному. И тѣмъ не менѣе, дойдя до извѣстнаго явленія, представляющаго именно такой переходъ, онъ отказывается признать его явленіемъ прогрессивнымъ и не объясняетъ даже причинъ, побуждающихъ его къ такому уклоненію отъ имъ самимъ найденной объективной нормы прогресса. Собственныя его слова могутъ быть сгруппированы такимъ образомъ: «разсматривая тѣ классы измѣненій, которые *считаются* прогрессомъ, а равно и другіе, которые сходны съ ними, но прогрессомъ *не считаются*, мы находимъ, что прогрессъ есть переходъ отъ однороднаго къ разнородному. Данное явленіе представляетъ переходъ отъ однороднаго къ разнородному, но мы его *не считаемъ* прогрессивнымъ». Но съ какой же это стати? почему? И откуда этотъ аксіоматическій тонъ? Если Спенсеръ обращается здѣсь къ простому здравому смыслу, то, во-первыхъ, здравый смыслъ несомнѣнно откажется подтвердить его положеніе, а во-вторыхъ, дѣло было именно въ томъ, чтобы оставить простой здравый смыслъ въ сторонѣ. Ясно, что Спенсеръ не могъ удержаться на высотѣ объективнаго метода и, въ противность своему обѣщанію, придерживается извѣстныхъ субъективныхъ воззрѣній на прогрессъ, вноситъ въ свои разсужденія нѣкоторую телеологію, имѣетъ свой идеалъ общественныхъ отношеній, по мѣркѣ котораго выкроены и общіе взгляды его на соціальный прогрессъ. Онъ, однимъ словомъ, приступаетъ къ изслѣдованію прогресса съ предвзятымъ мнѣніемъ. То же самое относится и къ двумъ другимъ его примѣрамъ непрогрессивнаго перехода отъ однороднаго къ разнородному. Болѣзненный наростъ, безспорно способствующій усложненію организма, едва-ли кто-нибудь рѣшится назвать явленіемъ прогрессивнымъ. Но къ этому инстинктивному голосу простого здраваго смысла Спенсеръ не имѣетъ никакого права прислушиваться, такъ какъ онъ заранѣе поставилъ себя въ независимость отъ подобныхъ рѣшеній. Онъ объявилъ, что будетъ разсматривать всякія измѣненія, независимо отъ того, признаются они большинствомъ за измѣненія прогресивныя или не признаются. Основанія, по которымъ никто не рѣшится назвать болѣзненный наростъ шагомъ къ дальнѣйшему развитію, очень просты, но они, очевидно, вяжутся съ нѣкоторою телеологіей, они лежатъ въ понятіи о благоденствіи человѣка, а Спенсеръ считаетъ такую постановку вопроса нераціональною и недостаточно свободною. Если онъ такимъ образомъ становится въ противорѣчіе какъ со своимъ объективнымъ методомъ, такъ и съ добытою имъ формулою прогресса, то это опять-таки значитъ, что и въ этомъ случаѣ имъ руководитъ нѣкоторое предвзятое мнѣніе. Мы уже говорили, что присутствіе предвзятаго мнѣнія, понимая это выраженіе въ широкомъ смыслѣ, при всякомъ наблюденіи и изслѣдованіи вообще неизбѣжно, и что все дѣло состоитъ только въ достоинствѣ этого предвзятаго мнѣнія. Въ случаѣ его истинности можно ожидать и вѣрнаго изслѣдованія, и наоборотъ. Къ тому, что мы сказали объ этомъ въ началѣ статьи, мы прибавимъ здѣсь взглядъ Конта на значеніе предвзятаго мнѣнія. Фактовъ, говоритъ Контъ, нельзя изучать безъ помощи теоріи, хотя бы въ видѣ временной гипотезы. Это не только неудобно, но просто немыслимо, невозможно, хотя ранняя, скороспѣлая, еще недостаточно провѣренная теорія, пока она не провѣрена, представляетъ многіе опасности и поводы къ ошибкамъ. Съ этимъ, однако, поневолѣ приходится примириться. «Если видѣть въ этой опасности достаточный мотивъ для возстановленія преобладанія такъ называемаго эмпиризма, то на дѣлѣ устраненіе этой опасности повело бы только къ замѣнѣ руководства болѣе или менѣе раціональныхъ, но всегда поправимыхъ теорій вліяніемъ чисто метафизическихъ доктринъ, потому что *совершенное устраненіе какого бы то ни было руководящаго взгляда есть химера*» (Cours de phil. positive, VI, 304). Здѣсь рѣчь идетъ собственно о законности гипотезъ, которыя суть предвзятыя мнѣнія, сознательно, условно и временно выдвигаемыя для какихъ-нибудь опредѣленныхъ цѣлей. Но подчеркнутыя нами слова выражаютъ именно то, что мы говоримъ о неизбѣжности предвзятыхъ мнѣній.

Есть, какъ извѣстно, нѣсколько группъ мыслителей, которые расходятся между собою во многихъ отношеніяхъ, но согласны, по крайней мѣрѣ, въ одномъ общемъ положеніи,—въ томъ, что человѣкъ родится съ нѣкоторыми готовыми истинами. Къ числу такихъ, безъ

труда пріобрѣтенныхъ и даже не пріобрѣтенныхъ, а присущихъ духу человѣка. врожденныхъ истинъ принадлежатъ общія нравственныя идеи и нѣкоторыя воззрѣнія на окружающій вещественный міръ. Изо всѣхъ этихъ истинъ упорнѣе всего держались и удачнѣе всего защищались математическія аксіомы. Это поистинѣ философская крѣпость идеализма, какъ называетъ аксіомы Тэнъ. Однако. крѣпость эту можно теперь считать взятою приступомъ. Самыя аксіомы оказываются результатами опыта и наблюденія, и если онѣ и могутъ казаться прирожденными человѣческому духу, то только по своей крайней простотѣ и общности. Явленія и ихъ взаимныя отношенія, выражаемыя аксіомами, до такой степени несложны и до такой степени часто повторяются въ природѣ, что человѣкъ и не замѣчаетъ тѣхъ ежедневныхъ, ежечасныхъ, ежеминутныхъ опытовъ и наблюденій, которые постепенно убѣждаютъ его, что цѣлое больше части, что если къ двумъ равнымъ величинамъ прибавить по равной величинѣ, то суммы будутъ равны, и т. д. Такъ что впослѣдствіи, будучи представлена человѣку въ своемъ отвлеченномъ отъ конкретной обстановки видѣ, аксіома кажется ему нетребующею опытно-наблюдательнаго подтвержденія. Въ сущности же она есть не болѣе, какъ обобщеніе единичныхъ, разбросанныхъ представленій и ощущеній, съ самаго дня рожденія залегавшихъ въ его памяти. Такимъ-же путемъ сознательнаго или безсознательнаго опыта получаются наши знанія и о предметахъ болѣе сложныхъ. Ни внѣ насъ, ни внутри насъ мы не можемъ признать существованіе какихъ либо особыхъ дѣятелей, дающихъ намъ, помимо опыта, готовыя рѣшенія насчетъ нашихъ отношеній къ природѣ и къ другимъ людямъ. Человѣкъ родится, имѣя только орудія для пріобрѣтенія знаній и оцѣнки явленій вообще и не принося съ собою на свѣтъ никакихъ готовыхъ истинъ. Все наше психическое содержаніе безъ остатка, т. е. всѣ наши мысли, знанія, будутъ-ли они истинны или ложны, всѣ наши желанія и чувства, будутъ-ли они хороши или дурны,—обязаны своимъ происхожденіемъ опыту. Было бы, однако, ошибочно думать, что вся сумма знаній, чувствъ и желаній каждаго человѣка дана его личнымъ опытомъ. Опытъ предковъ, безъ сомнѣнія, производитъ въ цѣломъ ряду поколѣній болѣе или менѣе глубокія измѣненія въ нервной системѣ, такъ что мозгъ новорожденнаго ребенка не есть tabula rasa. Однако, поскольку человѣкъ можетъ прослѣдить генезисъ своихъ инстинктовъ и всего своего психическаго содержанія, оно вначалѣ всетаки опредѣляется опытомъ. Иначе говоря, содержаніе нашего *я* есть всегда исключительно эмпирическое. Содержаніе это можетъ постоянно измѣняться, но въ каждую данную минуту человѣкъ отрѣшиться отъ него не можетъ. Поэтому представленія и ощущенія, получаемыя нами въ данную минуту отъ даннаго явленія, самымъ существеннымъ образомъ опредѣляются тѣмъ порядкомъ, въ которомъ расположились въ нашемъ психическомъ строѣ прежде накопленные опыты и наблюденія. Совокупность этихъ предыдущихъ данныхъ опыта, сгрупированныхъ тѣмъ или другимъ образомъ, составляетъ предвзятое мнѣніе. Ребенокъ, привлеченный блестящимъ видомъ нагрѣтаго самовара, дотрагивается до него рукой и обжигается. Онъ узнаетъ, что самоваръ жжется, что, въ переводѣ на болѣе точный языкъ, значитъ: нагрѣтый самоваръ, придя въ соприкосновеніе съ человѣческимъ тѣломъ, производитъ въ немъ ощущеніе жара, которое, будучи усилено, становится болѣзненнымъ. Но такое отчетливое представленіе своихъ отношеній къ самовару возможно для ребенка только гораздо позже. Сначала у него остается въ памяти только тотъ фактъ, что блестящее тѣло извѣстной формы (которую онъ запомнилъ, вѣроятно, только приблизительно) жжется. Это сырое, неотдѣланное, изолированное представленіе служитъ ему уже нѣкоторымъ руководителемъ въ его несложной жизни. Увидя на другой, на третій день блестящую поверхность, сходную съ поверхностью самовара, или тотъ-же самоваръ, ребенокъ смотритъ на него уже съ тѣмъ предвзятымъ мнѣніемъ, что онъ жжется. Воображеніе и память комбинируютъ для него опытъ прошедшаго съ новымъ или только повторяющимся явленіемъ. Но группировка ощущеній, составляющая его предвзятое мнѣніе, оказывается неудовлетворительною и потому приводитъ его къ ряду ошибокъ. Рядъ дальнѣйшихъ вольныхъ или невольныхъ опытовъ и наблюденій убѣждаетъ его, наконецъ, задолго до раціональной теоретической группировки соотносящихся фактовъ, что не всякая блестящая поверхность жжется, что и самый самоваръ жжется, только когда онъ нагрѣтъ, что для полученія ощущенія боли надо держать палецъ у самовара извѣстное время и т. д. Здѣсь мы имѣемъ явленіе опять-таки очень простое и потому ступени ложныхъ предвзятыхъ мнѣній пробѣгаются тутъ весьма быстро. Однако, не слѣдуетъ думать, чтобы даже въ такихъ несложныхъ вещахъ предвзятое мнѣніе не могло существеннымъ образомъ измѣнить значеніе непосредственнаго свидѣтельства чувствъ. Мнѣ самому случилось видѣть—и, вѣроятно, всякій припомнитъ аналогичные факты—какъ ребенокъ, дотронувшись до холоднаго металлическаго кофейника, заплакалъ и показывалъ на свой палецъ, какъ на обожженный. Во всѣхъ подобныхъ случаяхъ, которыхъ въ особенности много можетъ привести исто-

рія предразсудковъ и суевѣрій, ложное предвзятое мнѣніе, построенное на ошибочно или односторонне обобщенныхъ представленіяхъ и ощущеніяхъ, совершенно парализуетъ и извращаетъ непосредственное воспріятіе; говоря психологическимъ языкомъ,—апперцепція перевѣшиваетъ перцепцію. Для уясненія значенія апперцепціоннаго процесса каждый можетъ сдѣлать слѣдующій простой опытъ. Посмотрите съ извѣстнаго разстоянія, напримѣръ, на вывѣску хоть мелочной лавочки. Вы увидите болѣе или менѣе ясныя очертанія плодовъ, сахарныхъ головъ, печеныхъ хлѣбовъ и т. д. Положимъ, что, при силѣ вашего зрѣнія и съ того мѣста, гдѣ вы находитесь, вы можете разглядѣть на вывѣскѣ яблоко, пару грушъ и еще что-то круглое, но для васъ не совсѣмъ ясное. Вы берете зрительную трубку, и при помощи ея усматриваете, что это нѣчто неясное изображаетъ виноградную кисть. Вы оставляете трубку, смотрите на вывѣску опять простыми глазами и на этотъ разъ можете уже разсмотрѣть очертанія той самой виноградной кисти, которая за нѣсколько минутъ передъ тѣмъ представлялась вамъ просто круглымъ пятномъ. Предшествующее впечатлѣніе, въ этомъ случаѣ полученное при помощи зрительной трубки, что, разумѣется, не обязательно, называется апперципирующимъ. Перцепція или непосредственное воспріятіе, полученное въ данную минуту, осложняется апперцепціей или тѣми впечатлѣніями, которыя получены наблюдателемъ раньше. Вы разсмотрѣли во второй разъ простыми глазами виноградную кисть только потому, что предварительный опытъ приготовилъ васъ къ ея усмотрѣнію, надѣлилъ васъ предвзятымъ мнѣніемъ, безъ котораго вы и во второй, и въ третій разъ виноградной кисти не разглядѣли бы. Въ этомъ опытѣ съ вывѣской мы, такъ сказать, уединяемъ апперцепцію и потому вліяніе ея становится очевиднымъ. Но собственно говоря, всякое наблюденіе и всякій психическій процессъ состоитъ въ неизбѣжно совокупномъ дѣйствіи перцепціи и апперцепціи, и вторженіе послѣдней можетъ совершенно извратить свидѣтельство чувствъ. По непривычкѣ къ самонаблюденію, мы обыкновенно не замѣчаемъ подобныхъ фактовъ, потому что либо апперцепція, дѣйствительно, совпадаетъ съ перцепціей, либо первая совершенно заслоняетъ для нашего сознанія вторую, и въ такомъ случаѣ онѣ субъективно тождественны. Вторженіе апперцепціи можетъ происходить на очень разнообразные лады и давать очень разнообразные результаты. Въ вышеприведенномъ примѣрѣ она только дополнила перцепцію и помогла увидѣть то, что дѣйствительно было. Но она можетъ и помѣшать увидѣть существующій фактъ, и освѣтить его невѣрнымъ свѣтомъ. Вы часто можете разсмотрѣть ту же виноградную кисть на вывѣскѣ мелочной лавочки съ такого разстоянія, съ какого не увидите предмета такихъ же размѣровъ, но вамъ менѣе знакомаго. Всѣ эти вывѣски рисуются на одинъ и тотъ же манеръ, впечатлѣнія вы отъ нихъ сотни разъ получали одни и тѣ же, и сумма ихъ составляетъ для васъ то предвзятое мнѣніе, въ силу котораго вы можете увидѣть виноградную кисть на очень отдаленномъ разстояніи. Но предположимъ, что на какой-нибудь вывѣскѣ живописецъ измѣнилъ рутинѣ и нарисовалъ вмѣсто обычной виноградной кисти ананасъ. Легко можетъ быть, что вы, даже на относительно близкомъ разстояніи, увидите не ананасъ, какъ должна-бы была засвидѣтельствовать перцепція, а виноградную кисть, какъ вамъ подсказываетъ апперцепція. И вы будете утверждать, что вы видѣли виноградную кисть собственными глазами, и вы будете не совсѣмъ неправы. Въ началѣ статьи мы привели нѣсколько заимствованныхъ у Спенсера характерныхъ примѣровъ извращенія наблюденій ложными апперципирующими представленіями. Происхожденіе этихъ представленій необходимо опытное, но лежащій въ основѣ ихъ опытъ можетъ быть не полонъ, одностороненъ, совсѣмъ невѣренъ, наконецъ, можетъ быть извращенъ болѣе ранними ложными апперцепціями. Но точно также апперцепція можетъ быть и совершенно безупречна. Во всякомъ случаѣ, такъ или иначе, апперцепціонный процессъ неизбѣженъ. Онъ состоитъ, какъ видитъ читатель, въ томъ, что при всякомъ чувственномъ воспріятіи въ нашемъ сознаніи особенно отчетливо поднимаются тѣ предыдущія впечатлѣнія, которыя имѣютъ съ даннымъ воспріятіемъ какое-нибудь сходство. Воображеніе и память комбинируютъ воспріятіе съ соотвѣтственными сторонами нашего уже установившагося эмпирическаго содержанія, и эта новая комбинація немедленно входитъ, какъ одинъ изъ элементовъ, въ психическое содержаніе. Все это располагается въ нашемъ психическомъ строѣ въ извѣстномъ порядкѣ, который, однако, въ большинствѣ случаевъ представляетъ большой безпорядокъ, благодаря условіямъ современной жизни: собственный опытъ ранняго дѣтства, комбинируясь съ бабушкиными сказками, можетъ породить въ насъ такія чувства, слѣды которыхъ остаются и во взросломъ человѣкѣ: сочетаніе болѣе поздняго опыта съ впечатлѣніями, полученными отъ чтенія какого-нибудь опредѣленнаго рода книгъ, можетъ дать начало новому слою заблужденій и т. д. Поэтому въ этой сложной сѣти часто бываетъ весьма трудно добраться до первыхъ источниковъ какого-нибудь ошибочнаго воззрѣнія. «Спросите, —говоритъ Спенсеръ,—любого изъ пере-

довыхъ нашихъ геологовъ и физіологовъ (это писано еще до появленія книги Дарвина), вѣритъ ли онъ въ легендарное объясненіе сотворенія міра,—онъ сочтетъ вашъ вопросъ за обиду. Онъ или вовсе отвергаетъ это повѣствованіе, или принимаетъ его въ какомъ-то неопредѣленномъ, неестественномъ смыслѣ. Между тѣмъ, одну часть этого повѣствованія онъ безсознательно принимаетъ, и принимаетъ даже слишкомъ буквально. Откуда онъ заимствовалъ понятіе объ «отдѣльности твореній», которое считаетъ столь основательнымъ и за которое такъ мужественно сражается? Очевидно, онъ не можетъ указать никакого другого источника, кромѣ того миѳа, который отвергаетъ. Онъ не имѣетъ ни одного факта въ природѣ, который могъ бы привести въ подтвержденіе своей теоріи; у него не сложилось также и цѣпи отвлеченныхъ доктринъ, которая могла бы придать значеніе этой теоріи. Заставьте его откровенно высказаться, и онъ долженъ будетъ сознаться, что это понятіе было вложено въ его голову еще съ дѣтства, какъ часть тѣхъ разсказовъ, которые онъ считаетъ теперь нелѣпыми. Но почему, отвергая все остальное въ этихъ разсказахъ, онъ такъ ревностно защищаетъ послѣдній ихъ остатокъ, какъ будто почерпнутый имъ изъ какого нибудь достовѣрнаго источника,—это онъ затруднится сказать» (Т. I, Опыты. «Гипотеза развитія», 178). Въ этихъ случаяхъ въ области психическихъ явленій происходитъ своего рода атавизмъ: заглохнувшее относительно нѣкоторыхъ частностей представленіе вдругъ встаетъ во всей силѣ и втайнѣ руководитъ наблюдателя, безъ вѣдома его сознанія. Наблюдатель вслѣдствіе этого видитъ то, чего на самомъ дѣлѣ нѣтъ, не видитъ того, что встрѣчается на каждомъ шагу, придаетъ важное значеніе самымъ бѣднымъ доводамъ и не убѣждается таблицею умноженія. Противъ этого рода опасностей есть только одно средство: по возможности тщательно провѣрять свое эмпирическое содержаніе и отыскивать его источники. Если комбинація воспріятій, ложащихся въ основу предвзятаго мнѣнія, сознана и можетъ быть формулирована, она обращается въ теорію, допускающую критическое отношеніе къ себѣ. Теорія эта можетъ, безъ сомнѣнія, также служить источникомъ ложныхъ апперцепирующихъ представленій, какъ, напримѣръ, въ случаѣ двухъ микроскопистовъ, придерживающихся различныхъ теорій и вслѣдствіе этого видящихъ подъ однимъ и тѣмъ же микроскопомъ, въ одномъ и томъ же явленіи, различныя вещи. Въ этомъ случаѣ каждый изъ наблюдателей видитъ только то, что желаетъ видѣть, чего онъ ищетъ, и не видитъ того, чего не ищетъ. Оба ссылаются на свои непосредственныя впечатлѣнія и потому взаимная повѣрка обѣихъ теорій прямымъ наблюденіемъ весьма затруднительна. Но за то здѣсь остается другой путь къ повѣркѣ. Такъ какъ теорія составляетъ рядъ сознательныхъ обобщеній отдѣльныхъ фактовъ, и вся эта цѣпь наблюденій и обобщеній, расположенныхъ въ извѣстномъ порядкѣ, находится у всѣхъ на виду, то всякій можетъ вернуться къ самымъ источникамъ теоріи. Такимъ образомъ, кромѣ вопроса: что видитъ микроскопистъ въ данномъ явленіи? чего онъ въ немъ ищетъ?—кромѣ этого вопроса, можетъ быть заданъ иной, а именно: имѣетъ ли микроскопистъ логическое и научное право искать именно этого, а не чего либо другого? Другими словами, оправдывается ли его теорія фактами, уже прочно стоящими въ наукѣ? Если такое оправданіе существуетъ, то можно думать, что наблюденіе, сдѣланное подъ вліяніемъ соотвѣтствующей теоріи, вѣрно. Если же нѣтъ, то теорія получаетъ права и обязанности гипотезы въ ожиданіи полученія инымъ путемъ такихъ научныхъ данныхъ, которыя либо подтвердятъ, либо уничтожатъ гипотезу. Совсѣмъ иное дѣло бываетъ съ предвзятымъ мнѣніемъ, несознаннымъ, состоящимъ изъ невѣдомаго самому изслѣдователю сочетанія воспріятій, невылившимся въ ясную для него самого формулу. Обыкновенно въ подобныхъ случаяхъ человѣкъ говоритъ, что онъ приступаетъ къ изслѣдованію безъ всякаго предвзятаго мнѣнія. Но, хотя въ обыкновенномъ разговорномъ языкѣ такое выраженіе имѣетъ нѣкоторый достаточно опредѣленный смыслъ, однако, строго говоря, этотъ человѣкъ, заявляющій о своемъ безусловномъ безпристрастіи, говоритъ неправду. Утвержденіе его отнюдь не значитъ, чтобы онъ могъ, дѣйствительно, отрѣшиться отъ готовыхъ уже въ его головѣ обобщеній. Оно въ лучшемъ случаѣ означаетъ только, что обобщенія эти образуютъ цѣпь, для него самаго неясную (въ худшемъ—оно показываетъ, что человѣкъ собирается просто намѣренно извратить истину). И потому здѣсь несравненно труднѣе убѣдиться въ ошибочности своего воззрѣнія и отнестись къ нему критически; здѣсь приходится имѣть дѣло съ невидимыми и неизвѣстными врагами, которые, однако, неуклонно слѣдятъ за каждымъ вашимъ шагомъ и даютъ себя чувствовать тамъ, гдѣ вы ихъ всего менѣе можете ожидать. Отрѣшиться отъ своего эмпирическаго содержанія столь же трудно, какъ напримѣръ, вывернуться на изнанку. Можно только замѣнить одно содержаніе другимъ, для чего первое должно быть приведено въ совершенную ясность, и должны быть тщательно выслѣжены тѣ пути, которыми человѣкъ дошелъ до такихъ-то именно воззрѣній. А это невозможно, если человѣкъ придаетъ строгое значеніе своему обѣщанію приступить къ изслѣдованію безъ всякаго предвзятаго мнѣнія,

ибо это значитъ, что человѣкъ не знаетъ, что дѣлается въ его головѣ.

Современный филологъ можетъ съ изумленіемъ остановиться на томъ фактѣ, что древніе римляне называли германскія племена варварами и считали ихъ совершенно особою, низшею породою людей, «тогда какъ между языкомъ Цезаря и языкомъ варваровъ, противъ которыхъ онъ воевалъ въ Галліи и Германіи, было столько же сходства, какъ между его языкомъ и языкомъ Гомера» (Максъ Мюллеръ. Лекціи по наукѣ о языкѣ и проч. Спб. 1865, стр. 91). «Мужъ съ остроуміемъ Цезаря,—прибавляетъ Максъ Мюллеръ, — непремѣнно замѣтилъ бы это, если бы не былъ ослѣпленъ традиціонною фразеологіей». Далѣе, приведя въ примѣръ спряженіе глагола *имѣть* въ латинскомъ и готскомъ языкахъ, знаменитый лингвистъ говоритъ: «Для того, чтобы не замѣтить такого сходства, требуется въ самомъ дѣлѣ порядочная доля слѣпоты, или лучше глухоты и причиною такой слѣпоты или глухоты было, я думаю, единственно слово *варваръ*» (92). Дѣло въ томъ, что римляне, бывшіе въ глазахъ грековъ въ свое время сами варварами, получивъ отъ нихъ это готовое выраженіе, приложили его ко всѣмъ народамъ, за исключеніемъ себя и своихъ цивилизаторовъ—грековъ. Ни съ какимъ опредѣленнымъ смысломъ выраженіе это не связывалось, никакого опредѣленнаго яснаго содержанія не имѣло, кромѣ чисто отрицательнаго: не римляне, не греки. Въ пору малаго знакомства грековъ съ другими народами, слово «варваръ» имѣло нѣкоторый историческій смыслъ. Греческое ухо, недостаточно развитое опытомъ въ этомъ направленіи, не умѣло различать звуки чуждыхъ языковъ, хотя, надо замѣтить, что греки различали варварогласныхъ, т. е. худо говорящихъ по гречески, и собственно варваровъ. Такимъ образомъ, противопоставленіе варваровъ грекамъ было слѣдствіемъ недостаточности опыта, а не причиною его. Но разъ установившись традиціоннымъ путемъ, слово «варваръ» легло въ основаніе предвзятаго мнѣнія, въ силу котораго греки и позднѣе римляне не могли замѣтить сходства между своими языками и языками варваровъ, не смотря на постоянныя столкновенія. Максъ Мюллеръ полагаетъ, что это предвзятое мнѣніе было разрушено и могло быть разрушено только христіанствомъ. «Идея всего человѣчества, какъ одного семейства, какъ дѣтей одного Бога, родилась изъ христіанства, и наука человѣчества и языковъ человѣчества есть наука, которая безъ христіанства никогда не вступила бы въ жизнь. Когда людей стали учить смотрѣть на всѣхъ ближнихъ, какъ на братьевъ, тогда только разнообразіе человѣческой рѣчи представилось вопросомъ, призывающимъ къ своему рѣшенію глубокомысленныхъ наблюдателей, и поэтому я считаю настоящее начало науки о языкѣ съ перваго дня Пятидесятницы. Послѣ этого дня освобожденныхъ языковъ изливается новый свѣтъ надъ міромъ, и нашимъ взорамъ являются предметы, скрывавшіеся отъ глазъ народовъ древности. Старыя слова принимаютъ новое значеніе, старые вопросы получаютъ новый интересъ, старыя науки новую цѣль» (Ibid.). Хотя значеніе христіанства здѣсь преувеличено, но въ мнѣніи Макса Мюллера есть значительная доля правды. Во всякомъ случаѣ, судьба слова «варваръ» представляетъ прекрасный примѣръ ликвидаціи психическаго содержанія человѣческаго *я*. Воспріятія, полученныя греками при первыхъ ихъ столкновеніяхъ съ другими народами, убѣдили ихъ, что существуютъ на свѣтѣ не-греки, люди отличные отъ грековъ. Дальнѣйшая классификація этихъ не-грековъ была на первыхъ порахъ невозможна. Зная только себя, греки не могли оріентироваться въ массѣ чуждыхъ нравовъ, языковъ, понятій. Ихъ психическій аппаратъ былъ приготовленъ предыдущимъ опытомъ только къ отличенію своихъ порядковъ отъ не своихъ. Уразумѣть жизнь, нѣсколько отличную отъ ихъ жизни, они не могли, и потому естественно преувеличивали черты различія между ними и варварами и уменьшали значеніе различій въ средѣ самыхъ варваровъ. Съ теченіемъ времени, по мѣрѣ ближайшаго знакомства съ другими народами, такая грубая классификація должна была необходимо пасть и, повидимому, римлянамъ было особенно легко съ ней разстаться, такъ какъ они и сами считались нѣкогда варварами и имѣли столкновенія въ Европѣ, Азіи и Африкѣ съ очень разнообразными народностями. Но здѣсь стало поперекъ дороги слово «варваръ». Порожденное сходствомъ впечатлѣній, полученныхъ во время знакомства съ разными народами, и усвоенное путемъ безсознательной традиціи, слово это обратилось въ какую-то перегородку, изъ-за которой римляне не могли разсмотрѣть нѣкоторыхъ чертъ въ характерѣ варваровъ. Маленькое и совершенно безмысленное словечко давало пищу національному самолюбію, презрѣнію къ другимъ народамъ, но ни одинъ римлянинъ не соединялъ со словомъ *варваръ* какого нибудь опредѣленнаго представленія. Фактъ смутныхъ и одностороннихъ воспріятій былъ безсознательно возведенъ въ принципъ. Непосредственное свидѣтельство чувствъ, руководимое несознательнымъ предвзятымъ мнѣніемъ, говорило въ пользу глубокаго различія между варварскимъ міромъ и міромъ греко-римскимъ. Факты сходства не замѣчались, факты различія преувеличивались, такъ что вытолкать понятіе о варварствѣ прямое наблюденіе не могло —оно, напротивъ, закрѣпощало его. Нуж-

но было какое нибудь коренное измѣненіе со стороны, новая точка зрѣнія на самыя общія и элементарныя основанія международныхъ отношеній, чтобы перегородка между греко-римлянами и варварами развалилась. Нужно было ликвидировать всю эту сторону психическаго содержанія римлянъ, т.-е. дать новую руководящую нить, настолько сильную и основную, чтобы она могла захватить корни предвзятаго мнѣнія о варварствѣ, и тогда вѣтви отвалились бы сами собой: сознательное отношеніе къ вѣковому предразсудку, основанному на одностороннемъ сочетаніи воспріятій, должно было совершенно и благотворно измѣнить значеніе прямого опыта. И, конечно, космополитическая христіанская идея была въ этомъ случаѣ однимъ изъ важнѣйшихъ стимуловъ. Такъ или иначе, она разбила перегородку, или, по крайней мѣрѣ, весьма сильно помогла разбить ее. Такимъ образомъ ликвидація психическаго содержанія, смѣна одного содержанія другимъ можетъ произойти не иначе, какъ путемъ его уясненія. До тѣхъ же поръ, пока наше психическое содержаніе не приведено въ ясность, пока не изучены его корни, объ отрѣшеніи отъ даннаго эмпирическаго содержанія нечего и думать, и всякая подобная попытка должна потерпѣть полное фіаско.

Отвлеченныя категоріи, представляющія въ эксцентрическомъ періодѣ развитія руководящіе принципы въ области мысли и практической жизни, составляютъ именно такія попытки отрѣшиться отъ даннаго эмпирическаго содержанія. Такова, напримѣръ, пресловутая формула «искусство для искусства» или «чистое искусство». Собственно говоря, эта ходячая условная формула отнюдь не соотвѣтствуетъ дѣйствительнымъ качествамъ тѣхъ явленій, которыя ею обозначаются; собственно говоря, чистое искусство есть миражъ, одна изъ тѣхъ многочисленныхъ вещей, которыми человѣкъ самъ себя обманываетъ. Пренія о цѣли и значеніи искусства составляли у насъ недавно столь любимую тему, что безъ сомнѣнія успѣли порядочно надоѣсть обществу. Но читатель можетъ успокоиться, — мы будемъ кратки. Для оцѣнки истиннаго значенія принципа искусство для искусства слѣдуетъ условиться насчетъ пониманія словъ «прекрасное», «красота». Люди, исповѣдующіе культъ чистой, идеальной красоты, или прямо говорятъ о себѣ:

Воспѣваетъ, простодушный,
Онъ любовь и красоту
И науки имъ ослушной
Суету и пустоту (Баратынскій)

Или же заявляютъ, что, вполнѣ уважая науку и великіе нравственные принципы, они тѣмъ не менѣе отмежевываютъ себѣ совершенно особый уголокъ дѣятельности, куда не допускаются ни теоретическое знаніе, ни тревоги практической жизни, гдѣ все прекрасно, гдѣ поколѣніе за поколѣніемъ служитъ одной чистой идеѣ красоты, принося ей художественныя жертвы. Мы чистые художники, говорятъ жрецы идеи прекраснаго, мы не знаемъ и знать не хотимъ никакихъ тенденцій, т.-е. никакихъ субъективныхъ отношеній къ создаваемымъ нами образамъ, устраняемъ всякія свои личныя симпатіи и антипатіи, кромѣ тѣхъ, которыя опредѣляются идеею прекраснаго. Но въ чемъ же состоитъ это «прекрасное», эта «красота»? Мы видимъ, что понятія о красотѣ древняго грека, индуса, средневѣковаго монаха, современнаго итальянца, голландца, китайца, француза, представителя высшихъ слоевъ общества, русскаго крестьянина, наконецъ, понятія Петра, Ивана, хотя и имѣютъ нѣкоторые общіе пункты, но въ общемъ совершенно различны. Съ точки зрѣнія врожденныхъ идей фактъ этого разнообразія совершенно теменъ и непонятенъ. Но мы легко поймемъ значеніе всѣхъ развѣтвленій и метаморфозъ понятій о прекрасномъ, если признаемъ, что понятіе это слагается эмпирическимъ путемъ, путемъ комбинированія тѣхъ пріятныхъ ощущеній, которыя получаетъ на своемъ вѣку и на своемъ мѣстѣ каждая индивидуальная и соціальная единица. Оставляя въ сторонѣ индивидуальныя особенности, какъ второстепенныя, посмотримъ, какъ складываются коллективныя понятія о красотѣ, напримѣръ, человѣческаго тѣла. Если данная соціальная группа въ теченіе нѣсколькихъ поколѣній испытывала наслажденіе власти, она необходимо внесетъ соотвѣтственный элементъ въ свой идеалъ красоты: величественную поступь, повелительные жесты и взгляды, гордый поворотъ головы. И такимъ же образомъ отражаются въ понятіи о красотѣ всѣ остальныя эмпирическія условія, которыя выработаны для данной группы историческимъ путемъ общественныхъ дифференцированій. Рутинный типъ идеальной красоты высшихъ слоевъ европейскаго общества извѣстенъ: блѣдное или со слабымъ румянцемъ лицо, прямой лобъ, мало развитыя скулы, тонкія кости, маленькія руки и ноги, томные или страстные, вообще, выразительные глаза и т. д. Всѣ эти элементы такъ называемой идеальной красоты даны не идеальнымъ, а эмпирическимъ порядкомъ вещей. Все это существенные признаки такой общественной единицы, которая въ теченіе нѣсколькихъ вѣковъ воспитывала въ себѣ интеллектуальную сторону на счетъ физической, или — что то же — жила на счетъ труда другихъ общественныхъ единицъ. Ни одинъ изъ этихъ элементовъ не могъ войти въ идеалъ красоты, напримѣръ, русскаго мужика. За неимѣніемъ досуга, онъ не могъ испытать пріятныхъ ощущеній, да-

ваемыхъ умственнымъ развитіемъ, не могъ выработать себѣ высокаго, прямого лба и задержать развитіе скуловыхъ костей и нижней челюсти, и потому ни въ грошъ не ставитъ личной уголъ; не испыталъ онъ и удовольствія мечты и потому не оцѣнитъ томныхъ глазъ; не входятъ въ составъ его идеалъ красоты и тонкія кости и блѣдный цвѣтъ лица. Десять идеальныхъ красавицъ высшаго круга онъ отдастъ за одну умѣренно полную бабу съ здоровыми руками и румянцемъ во всю щеку. Точно также ожирѣвшій идеалъ, напримѣръ, купеческаго сословія совершенно соотвѣтствуетъ существующимъ условіямъ этой соціальной группы, удаленной и отъ тяжкаго труда, и отъ утонченнаго развитія страстей, и отъ умственнаго развитія. Изъ этого слѣдуетъ, что идеально прекрасное, будучи понятіемъ относительнымъ, находится въ тѣсной связи съ идеалами нравственности, добра, умственной мощи, и эстетическая способность, т.-е. способность чуять красоту, переплетается множествомъ нитей съ остальными психическими силами, такъ какъ силы эти питаются, какъ корнями, тѣми же ощущеніями, сочтаніе которыхъ ложится въ основу идеально-прекраснаго. Въ нашемъ понятіи о красотѣ отражаются въ большей или меньшей степени всѣ наши обычныя мысли, чувства и желанія; оно опредѣляется эмпирическимъ содержаніемъ нашего *я*, и именно количествомъ и качествомъ нашихъ знаній о природѣ и человѣкѣ и качествомъ и напряженностью чувствъ и желаній, вызванныхъ знаніемъ. Элементы эти, тѣмъ или другимъ образомъ сгруппированные, ложатся, съ одной стороны, въ основаніе идеально-прекраснаго, а съ другой—составляютъ то предвзятое мнѣніе, съ которымъ художникъ смотритъ на Божій міръ для извлеченія изъ него своихъ образовъ. Вопросъ только въ томъ,—можетъ ли дать себѣ художникъ отчетъ въ своихъ симпатіяхъ и антипатіяхъ, желаніяхъ и стремленіяхъ, сознаетъ ли онъ свою собственную личность, или же онъ усвоилъ свои понятія о красотѣ инстинктивно, всасывая извѣстную атмосферу всѣми порами своего существованія съ ранняго дѣтства или даже унаслѣдовавъ свои воззрѣнія отъ предковъ, и не имѣлъ въ теченіе жизни случая и возможности вернуться къ ихъ источникамъ. Въ первомъ случаѣ художникъ можетъ силою сознанія ликвидировать свое эмпирическое содержаніе и замѣнить одинъ идеалъ другимъ. Во второмъ—это невозможно, и художникъ будетъ утверждать, что онъ жрецъ чистаго искусства. Поклоняясь красотѣ, онъ думаетъ, что онъ ратуетъ за чистую, идеальную красоту, тогда какъ на самомъ дѣлѣ онъ только возводитъ въ принципъ тѣ черты эмпирической, такъ-сказать, красоты, которыя ему доступны; онъ ратуетъ только за тѣ условія, которыя дали возможность выработаться этой эмпирической красотѣ. Провозглашая принципъ искусства для искусства, онъ думаетъ, что его произведенія относятся къ изображаемому имъ предмету совершенно объективно, но на самомъ дѣлѣ этого нѣтъ. Въ сущности претендовать на объективное изображеніе можетъ только безличная фотографія. Но эта объективность покупается цѣною смысла: фотографія передаетъ, напримѣръ, человѣческое лицо въ такомъ видѣ, въ какомъ застала его въ данное мгновеніе. Она передаетъ съ одинаково безучастною отчетливостью всѣ подробности отъ формы и положенія пуговицъ до формы и выраженія глазъ, и въ силу самой этой своей отчетливости не можетъ передать жизни лица, выбрать изъ ряда безпрерывно измѣняющихся чертъ наиболѣе для даннаго предмета характерныя. Человѣкъ же неизбѣжно даетъ свое субъективное содержаніе всякому создаваемому или передаваемому имъ образу. Донъ-Кихотъ, Гамлетъ, Отелло, Манфредъ, типы Диккенса и Теккерея, Чичиковъ, Плюшкинъ, Маниловъ,—все это не только живыя лица, но лица, понятыя художникомъ. Всякое художественное произведеніе есть не только изображеніе предмета, но и сужденіе о немъ. Первоклассный художникъ имѣетъ въ рукахъ своего сознанія всѣ нити своихъ сужденій, тогда какъ художникъ мелкотравчатый до такой степени руководствуется инстинктомъ, что даже и не подозрѣваетъ, что придерживается тѣхъ или другихъ, но непремѣнно придерживается тенденцій, произноситъ надъ явленіемъ тотъ или другой нравственный судъ. Разница только въ томъ, что одинъ художникъ вноситъ въ свои произведенія содержаніе крупное, другой—мелкое; у одного идеалъ не совпадаетъ съ дѣйствительностью, и въ такомъ случаѣ тенденція выступаетъ ярко; у другого — критерій для оцѣнки явленій есть спеціально эстетическій, рутинно и безсознательно усвоенный художникомъ. Но этотъ спеціально эстетическій критерій выкроенъ изъ чисто эмпирическихъ условій, онъ представляетъ возведенный въ принципъ голый фактъ, и потому скрытая, неясная для самого художника тенденція состоитъ въ этомъ случаѣ въ санкціи факта. Дѣло значитъ только въ томъ, что идеалъ жреца искусства для искусства не возвышается надъ уровнемъ дѣйствительности. И такое возведеніе факта въ принципъ необходимо всегда имѣетъ мѣсто, когда фактъ оцѣнивается съ точки зрѣнія нѣкоторой отвлеченной категоріи, представляющей результатъ обособленія и спеціализаціи одной какой нибудь психической силы. Высшая объективность, какой можетъ достичь художникъ, состоитъ въ полномъ и всестороннемъ про-

никновеніи жизнью своихъ образовъ, а это не можетъ быть достигнуто фотографическимъ, безтенденціознымъ путемъ. Чистое искусство,—это нѣчто невозможное, несуществующее, немыслимое. Закажите художнику нарисовать, напримѣръ, убійство Юлія Цезаря. Положимъ, что онъ пожелаетъ устранить всякія тенденціи и сохранить безусловное безпристрастіе. Изобразитъ онъ кучу римскихъ носовъ, плѣшивую голову Цезаря, рядъ римскихъ тогъ, худощавую фигуру Кассія, поднятые кинжалы и проч. Но какую нибудь мыслишку, хоть самую жалкую, да вставитъ онъ въ эту кучу. И если онъ будетъ настаивать на своемъ безпристрастіи, то это покажетъ только что данное событіе не останавливало на себѣ его особеннаго вниманія, а извѣстная мысль о немъ всетаки въ немъ спитъ. Только онъ не знаетъ, какъ и откуда получена имъ мысль,—можетъ быть изъ учебника исторіи, изъ отрывочныхъ разговоровъ и проч. Во всякомъ случаѣ, картина его будетъ, по всей вѣроятности, санкціей какого нибудь ходячаго воззрѣнія и возведеніемъ факта этого воззрѣнія въ принципъ.

Таковы основанія и результаты попытокъ вылѣзти изъ своей собственной кожи, отрѣшиться отъ своего эмпирическаго содержанія. Таковы же они и во всѣхъ подобныхъ случаяхъ. „Наши общія идеи,—говоритъ Милль, —содержатъ лишь то, что было вложено въ нихъ либо нашимъ невольнымъ опытомъ, либо нашими дѣятельными привычками мысли. И метафизики всѣхъ вѣковъ, пытавшіеся построить законы вселенной умозаключеніемъ отъ предполагаемыхъ необходимостей нашей мысли, всегда дѣйствовали и могли дѣйствовать, лишь ревностно открывая въ своемъ умѣ то, что сами предварительно въ него вложили, и выпутывая изъ своихъ идей о вещахъ то, что они сами спачала впутали. Этимъ путемъ всѣ глубоко коренящіяся мнѣнія и чувства способны создать мнимыя доказательства ихъ истинности и разумности, повидимому вытекающія изъ ихъ сущности» (Система логики. II, 308). Въ наукѣ общественной и вообще въ вопросахъ, непосредственно затрогивающихъ интересы человѣка, особенно было сильное вѣрованіе, что чистый разумъ есть преобладающій источникъ знаній. Съ этого основанія и до сихъ поръ не сдвинулась наука права. Царящая въ ней идея справедливости есть отвлеченная категорія, совершенно аналогичная съ идеею чистаго искусства и идеальной красоты. Принципы международныхъ и междуличныхъ отношеній, добытые эксцентрическимъ путемъ, представляютъ точно также закрѣпощеніе эмпирическихъ фактовъ, ихъ санкцію, возведеніе въ принципъ. Цивилистъ, полагая, что онъ изучаетъ природу чистаго разума, въ сущности только «открываетъ въ немъ то, что предварительно въ него вложилъ», и если онъ настаиваетъ на законности своихъ пріемовъ, то только потому, что не можетъ подвести итоги своего собственнаго эмпирическаго содержанія. Еще очевиднѣе это относительно криминалиста и особенно криминалиста-объективиста. Утверждая, что онъ относится къ факту преступленія совершенно объективно, съ высоты безусловной справедливости, незнающей пристрастія, криминалистъ не подозрѣваетъ, что вся его система сплошь окрашена густою краскою пристрастія къ эмпирическому, исторически-сложившемуся порядку вещей. Не смотря на идеалистическую подкладку его теоріи, его идеалъ общественныхъ отношеній не возвышается надъ дѣйствительностію: онъ считаетъ справедливымъ именно данный порядокъ вещей и достойнымъ возмездія только нарушеніе этого порядка. Не смотря на свою объективность и свое устраненіе отъ предвзятыхъ мнѣній, отъ всего своего эмпирическаго содержанія, онъ втайнѣ, безсознательно руководится предвзятымъ мнѣніемъ о разумности и справедливости выработанныхъ исторіею отношеній. И здѣсь, какъ въ дѣлѣ искусства, единственная доступная человѣку объективность состоитъ во всесторонней оцѣнкѣ фактовъ и въ цѣлостной постановкѣ вопросовъ, въ проникновеніи жизнью преступника. Полное олицетвореніе безусловной справедливости есть палачъ. Не даромъ мрачный католикъ и абсолютистъ де-Местръ видитъ въ палачѣ нѣчто высшее, сверхчеловѣческое. Я не знаю, можетъ быть, и сверхчеловѣческое, но во всякомъ случаѣ нечеловѣческое, какъ нечеловѣчна объективность фотографіи. Палачъ—этотъ бездушный спеціалистъ, непонимающій, кого и за что онъ готовится поразить, и полагающій все свое самолюбіе въ томъ, чтобы артистически вздернуть веревку или ловко вытянуть плетью, машина, неволнующаяся, нескорбящая и негодующая—вотъ идеалъ безусловной справедливости. И того мало. Палачъ —человѣкъ, онъ можетъ изъ состраданія ослабить ударъ плети, быстрѣе затянуть роковую петлю. Чтобы пріискать въ области справедливости параллель фотофическому аппарату въ области чистаго искусства, надо и здѣсь спуститься до настоящей машины—до висѣлицы. Де-Мэстръ ошибся: палачъ всетаки человѣкъ. Висѣлица не человѣкъ, и, пожалуй, на нее можно посмотрѣть, какъ на нѣчто сверхчеловѣческое...

IX.

Обратимся къ Спенсеру. Изъ вышеприведенныхъ противорѣчій онъ выпутывается довольно безцеремоннымъ образомъ. Натолкнувшись на тотъ фактъ, что есть такіе переходы однороднаго къ разнородному, которые онъ не рѣшается признать измѣненіями прогрессивными, онъ безъ всякихъ дальнѣйшихъ соображеній и предварительныхъ объясненій говоритъ: «Всякое развитіе представляетъ одновременно измѣненіе отъ однороднаго къ разнородному и, вмѣстѣ съ тѣмъ, измѣненіе отъ неопредѣленнаго къ опредѣленному. Какъ съ одной стороны, имѣется переходъ отъ простого къ сложному, такъ съ другой — представляется переходъ отъ безпорядка къ порядку, отъ неопредѣленнаго строя къ опредѣленному. Въ процессѣ развитія, какова бы ни была сфера, въ которой онъ обнаруживается, бываетъ не только постепенное умноженіе неодинаковыхъ частей, но и постепенное возрастаніе отчетливости, съ какою эти части разграничиваются между собою. *Такимъ образомъ*, увеличеніе разнородности, характеризующее развитіе, отличается отъ того увеличенія разнородности, которое не составляетъ признака развитія» (Вып. VII, 190). Здѣсь особенно бросается въ глаза обычная у Спенсера манера изложенія. Всегда и вездѣ онъ ставитъ сперва положеніе, подтверждая его затѣмъ примѣрами. Но здѣсь, кромѣ пріема собственно писателя, характерно выдается пріемъ мыслителя. Въ какомъ порядкѣ вы будете излагать свои мысли на бумагѣ, — начнете ли вы съ анализа частныхъ фактовъ и доведете читателя постепенно до обобщенія, или наоборотъ — выставите сначала свою формулу и отъ нея спуститесь къ фактамъ — это дѣло второстепенной важности. Но весьма важно прослѣдить, хотя бы и на способѣ изложенія, тотъ процессъ мышленія, который навелъ мыслителя на извѣстные факты съ извѣстной стороны. Нетвердость пріемовъ изслѣдованія, обнаруживаемая Спенсеромъ въ вопросѣ о прогрессѣ, свидѣтельствуетъ, что въ его воззрѣніяхъ на этотъ предметъ играетъ значительную роль нѣкоторый, для него самого неясный элементъ. И не трудно, кажется, открыть, въ чемъ тутъ дѣло.

Въ опытѣ «Прогрессъ, его законъ и причина» Спенсеръ говоритъ: «Напримѣръ, переставъ смотрѣть на послѣдовательныя геологическія измѣненія земли, какъ на такія, которыя сдѣлали ее годною для человѣческаго обитанія, и *поэтому* видѣть въ нихъ геологическій прогрессъ, мы должны стараться опредѣлить характеръ, общій этимъ измѣненіямъ, законъ, которому всѣ они подчинены». (Т. I, стр. 2). Приводимый здѣсь Спенсеромъ примѣръ неправильнаго воззрѣнія на геологическій прогрессъ очень характеренъ для объективно-антропоцентрическаго міросозерцанія, предполагающаго, что человѣкъ есть, въ качествѣ вѣнца творенія, объективный центръ вселенной. Нечего и говорить, что подобное воззрѣніе имѣетъ за себя только историческія оправданія. Нечего и говорить, что Спенсеръ не только имѣлъ полное право, но былъ обязанъ выкинуть изъ своихъ соображеній такую телеологію. Но реакція завела мыслителя слишкомъ далеко. Кромѣ телеологіи, какъ ученія о цѣляхъ природы, возможна телеологія, какъ ученіе о цѣляхъ, поставляемыхъ себѣ человѣкомъ. Эти двѣ телеологіи не только не имѣютъ между собою ничего общаго, но находятся въ постоянномъ, и не случайномъ, а необходимомъ антагонизмѣ. Если признать, что природа управляется цѣлесообразно, что сами вещи тяготѣютъ, вслѣдствіе внутренней необходимости, къ той или другой, заранѣе опредѣленной цѣли, то естественно, что такимъ вѣрованіемъ преграждается путь стремленію человѣка къ цѣлямъ, имъ самимъ для себя сознательно поставляемымъ. Понятное дѣло, что если природа до такой степени обязательна, что и землю приготовила для человѣческаго обитанія и населила эту землю для человѣка же и проч., понятное дѣло, что въ такомъ случаѣ человѣку не приходится добиваться самому до какихъ-нибудь своихъ цѣлей. И ложное предвзятое мнѣніе, лежащее въ основаніи объективно-антропоцентрическаго міросозерцанія, до такой степени охватываетъ человѣка, что онъ не разубѣждается даже ежеминутными опытами. Добывая въ потѣ лица хлѣбъ свой, онъ всетаки благодаритъ природу за ея благодѣянія. Наконецъ, по крайней мѣрѣ, для нѣкоторой части человѣчества, объективно-антропоцентрическое міросозерцаніе теряетъ свое обаяніе. Но его смѣняетъ эксцентрическій періодъ, только видоизмѣняющій первобытную телеологію. Окончательное паденіе ея возможно только при выступленіи на первый планъ личнаго труда и установившейся въ своихъ законныхъ предѣлахъ мысли. Поэтому борьба противъ телеологіи объективно-антропоцентрической не только не обязываетъ бороться и съ субъективно-антропоцентрическою телеологіею, но обязываетъ, напротивъ, предоставить послѣдней въ области явленій человѣческой жизни, индивидуальной и соціальной, самую широкую долю работы. Смѣшно и странно говорить, что послѣдовательныя геологическія фазы представляютъ прогрессъ, потому что онѣ подготовили землю для человѣческаго обитанія; но нисколько не смѣшно и нисколько не странно утверждать, что въ области человѣ-

ческой мысли прогрессъ состоитъ въ послѣдовательномъ уразумѣніи законовъ природы и общественныхъ отношеній, что въ области явленій общественной жизни прогрессъ состоитъ точно также въ рядѣ измѣненій по направленію къ опредѣленной цѣли, ставимой самимъ человѣкомъ. Не только не смѣшно и не странно, но человѣкъ и не можетъ ставить вопросъ иначе, не можетъ органически, не можетъ потому, что онъ человѣкъ. Самое слово «прогрессъ» имѣетъ смыслъ только по отношенію къ человѣку, и явленіями прогрессивными въ области человѣческой мысли и человѣческихъ дѣяній мы можемъ признать только тѣ, которыя подвигаютъ человѣка къ данной цѣли; явленія, задерживающія это движеніе или отклоняющія его въ стороны, мы должны признать съ человѣческой, то-есть единственно возможной для человѣка точки зрѣнія — явленіями регрессивными. Ниже, на ближайшихъ къ человѣку ступеняхъ органической жизни, мы можемъ еще примѣнять понятіе прогресса по аналогіи; еще ниже мы можемъ различать только явленія физіологическія и патологическія, и, наконецъ, въ мірѣ неорганическомъ для человѣка нѣтъ ничего, кромѣ измѣненій.

Коренная и ничѣмъ неизгладимая разница между отношеніями человѣка къ человѣку и отношеніями человѣка къ остальной природѣ состоитъ прежде всего въ томъ, что въ первомъ случаѣ мы имѣемъ дѣло не просто съ явленіями, а съ явленіями, тяготѣющими къ извѣстной цѣли, тогда какъ во второмъ — цѣль эта для человѣка не существуетъ. Различіе это до такой степени важно и существенно, что само по себѣ уже намекаетъ на необходимость примѣненія различныхъ методовъ въ двухъ великихъ областяхъ человѣческаго вѣдѣнія. И дѣйствительно. Ошибка людей эксцентрическаго періода развитія состоитъ либо въ томъ, что они стремятся уразумѣть цѣли природы, и въ такомъ случаѣ употребляютъ субъективный методъ въ естествознаніи, либо въ томъ, что они игнорируютъ цѣли человѣка, и въ такомъ случаѣ употребляютъ объективный методъ въ общественной наукѣ. Тогда какъ нормальное распредѣленіе методовъ обратное. У Спенсера въ этомъ отношеніи господствуетъ поразительная сбивчивость, и едва ли онъ такъ свободенъ отъ всякой телеологіи, какъ ему кажется. Онъ, повидимому, совершенно не уяснилъ себѣ своей задачи. Среди массы его оговорокъ, недомолвокъ, возвращеній къ пройденному, очень трудно оріентироваться и узнать, чего онъ ищетъ. Повидимому, онъ желаетъ найти такой законъ, который обнималъ бы всѣ измѣненія, безъ различія, имѣвшія мѣсто отъ начала вселенной. Это можно заключить, во-первыхъ, изъ того, что онъ ни однимъ словомъ не упоминаетъ объ измѣненіяхъ физіологическихъ и патологическихъ; во-вторыхъ, изъ того, что всѣ явленія со включеніемъ явленій общественной жизни онъ пытается оцѣнить безотносительно къ благосостоянію человѣка; въ-третьихъ, наконецъ, изъ того, что онъ придаетъ своимъ основнымъ законамъ — «всякое измѣненіе производитъ нѣсколько измѣненій» и «однородное неустойчиво» — характеръ универсальности, не допускающій исключеній. Затѣмъ онъ встрѣчается съ такими измѣненіями, которыя не рѣшается признать прогрессивными, не смотря на то, что они удовлетворяютъ всѣмъ поставленнымъ имъ условіямъ, и считаетъ ихъ даже шагами къ разложенію. Значитъ, возможны въ природѣ и шаги къ разложенію. Въ чемъ же они состоятъ и каково ихъ отношеніе къ универсальности основныхъ законовъ? Надъ этимъ Спенсеръ не задумывается, а просто отбрасываетъ непонравившіяся ему (иначе нельзя выразиться) измѣненія въ сторону и идетъ дальше. Дѣлаетъ въ своей формулѣ поправку, состоящую въ опредѣленіи прогресса или развитія, какъ перехода не только отъ однороднаго къ разнородному, а вмѣстѣ съ тѣмъ отъ неопредѣленнаго къ опредѣленному, и затѣмъ говоритъ: «Если переходъ отъ неопредѣленнаго къ опредѣленному составляетъ существенную отличительную черту развитія, то мы естественно должны *повсюду* встрѣчать этотъ переходъ, точно такъ же, какъ въ послѣдней главѣ мы *повсюду* видѣли переходъ отъ однороднаго къ разнородному. Съ цѣлью доказать, что дѣйствительно это такъ бываетъ и на дѣлѣ, посмотримъ вкратцѣ тѣ же самые классы различныхъ фактовъ». Изъ этого слѣдуетъ, что онъ опять возвращается къ надеждѣ уловить законъ всѣхъ безъ различія измѣненій и найти такую точку зрѣнія, съ которой всѣ оттѣнки и особенности измѣненій должны сгладиться, и весь міръ долженъ представиться безустанно и безостановочно прогрессирующимъ. Но куда же дѣвать тѣ измѣненія, которыя Спенсеръ не признаетъ прогрессивными? А вотъ куда: «Если возразятъ, что у цивилизованныхъ народовъ встрѣчаются также и примѣры уменьшенія опредѣленности (какъ, напримѣръ, въ случаяхъ нарушенія сословныхъ разграниченій), то на это слѣдуетъ отвѣчать, что такія *кажущіяся* исключенія суть спутники соціальныхъ метаморфозъ, перехода отъ военнаго или хищническаго типа общественнаго строенія къ типу промышленному или торговому — перехода, въ теченіе котораго исчезаютъ старыя черты организаціи и являются новыя». Прекрасно, но если это только *кажущіяся* исключенія изъ общаго закона прогресса, то зачѣмъ они были названы въ предыдущей главѣ шагами къ разложенію?

зачѣмъ Спенсеръ такъ категорически отказался включить ихъ въ число явленій прогрессивныхъ, и даже на ихъ непрогрессивности основалъ необходимость исправить свою формулу?

Затѣмъ дѣлаются новыя поправки, и универсальный законъ прогресса, наконецъ, полученъ. Но, говоря о теоріи Дарвина, Спенсеръ заявляетъ полный скептицизмъ относительно прогресса. Онъ говоритъ: «Громадный контрастъ между немногочисленными и низкими формами самой ранней изъ извѣстныхъ фаунъ и многочисленными и высокими формами теперь существующей фауны обыкновенно принимается за свидѣтельство не только великаго измѣненія, но и великаго прогресса. Но этотъ кажущійся прогрессъ, можетъ быть, и, вѣроятно, есть, по преимуществу, только иллюзія... Между тѣмъ какъ свидѣтельства, обыкновенно принимаемыя за доказательства прогрессивности, оказываются недостовѣрными, мы находимъ достовѣрныя свидѣтельства, что во многихъ случаяхъ прогрессивность незначительна или вовсе не существуетъ» (Вып. X. «Основанія біологіи». 327, 328). И далѣе: «Къ этимъ случаямъ близки случаи такъ называемаго ретроградного развитія. Многія паразитныя существа, а также существа, живущія одно время самостоятельною дѣятельною жизнію и впослѣдствіи становящіяся неподвижными, теряютъ въ зрѣлости члены и чувства, которые имѣли въ молодости» (Idid., 378). Изъ послѣдней цитаты можно бы было непосредственно вывести весьма важныя заключенія, подрывающія Спенсерову теорію прогресса въ корень. Въ примѣненіи къ общественнымъ вопросамъ можно показать, что рядъ дифференцированій, составляющихъ по Спенсеру прогрессъ, порождаетъ въ обществѣ такихъ же паразитовъ, точно также заглушающихъ въ себѣ тѣ или другія отправленія. Во всякомъ случаѣ, въ приведенныхъ словахъ Спенсера видно полное отрицаніе универсальности закона прогресса, прогресса именно въ томъ неопредѣленномъ смыслѣ, въ какомъ понимаетъ его самъ Спенсеръ. Онъ говорилъ, что прогрессъ, между прочимъ, обнаруживается послѣдовательнымъ усложненіемъ фаунъ и флоръ, что, однако, теперь считаетъ не болѣе какъ иллюзіей. Надо, впрочемъ, замѣтить, что противорѣчіе это не должно быть вмѣняемо мыслителю въ большую вину, такъ какъ теорія Дарвина естественно могла сильно измѣнить воззрѣнія Спенсера. «Основныя начала», въ которыхъ подробно изслѣдуется законъ развитія, претерпѣваютъ теперь, какъ говорятъ издатели русскаго перевода, большія измѣненія. И въ новомъ своемъ видѣ сочиненіе это будетъ, можетъ быть, приведено въ большій порядокъ. Трудно, однако, надѣяться, чтобы Спенсеръ обратилъ вниманіе, во-первыхъ, на различіе между нашими отношеніями къ природѣ и нашими отношеніями къ другимъ людямъ, а во-вторыхъ, на столь же коренное отличіе раздѣленія труда между органами отъ раздѣленія труда между цѣлыми организмами. Трудно ожидать, чтобы теорія Дарвина произвела въ его воззрѣніяхъ столь коренной переворотъ, такъ какъ она для него не новость. Нѣкоторыя частности этой теоріи были имъ самимъ съ замѣчательною силою развиваемы до появленія книги Дарвина.

Вся приведенная путаница въ изложеніи и въ мысляхъ Спенсера зависитъ отъ ненадлежащаго примѣненія объективнаго метода. Разъ мы вычеркнули изъ своего психическаго содержанія убѣжденіе въ цѣлесообразности устройства вселенной, мы должны вмѣстѣ съ тѣмъ отказаться отъ приложенія слова и понятія «прогрессъ» къ послѣдовательной смѣнѣ явленій природы, или же не дѣлать различія между развитіемъ и разложеніемъ. Почему бы не считать разложенія мертваго тѣла явленіемъ прогрессивнымъ, ступенью дальнѣйшаго развитія? Можетъ быть, «интересы природы», «экономія природы», «цѣли природы», «стремленія природы» требуютъ кругового развитія, при чемъ моментъ разложенія окажется только одною изъ фазъ развитія. Но мы знаемъ, что у несмѣющейся и неплачущей природы нѣтъ цѣлей, нѣтъ стремленій, нѣтъ интересовъ, и потому смотримъ на разложеніе трупа, какъ на фактъ, подлежащій объективной оцѣнкѣ. Но у человѣка есть цѣли; цѣли эти представляютъ столь же реальные факты нашего сознанія, какъ реаленъ фактъ разложенія мертваго тѣла. Фактъ этотъ точно также требуетъ оцѣнки, но оцѣнки субъективной. И не потому только, что исключительно объективная оцѣнка не можетъ дать полное понятіе о фактахъ общественной жизни, такъ какъ въ этихъ фактахъ есть элементъ, встрѣчающійся только въ нихъ и не поддающійся объективной оцѣнкѣ,—а потому, что исключительно объективная оцѣнка здѣсь немыслима и невозможна.

Наше психическое содержаніе дано опытомъ унаслѣдованнымъ, личнымъ и сочувственнымъ (прекрасный терминъ, употребляемый и Спенсеромъ). Сочувственный опытъ основанъ на нашей способности переживать чужую жизнь, ставить себя въ чужое положеніе. Какъ примѣръ сочувственнаго опыта, заимствуемъ у Спенсера такой фактъ. Когда люди появляются въ какой нибудь вновь открытой, до тѣхъ поръ необитаемой землѣ, они находятъ тамъ до такой степени небоязливыхъ птицъ, что ихъ можно безъ труда бить палками. Проходитъ нѣсколько поколѣній, и птицы при одномъ приближеніи человѣка торопливо улетаютъ. И пугливость эта

замѣчается не только въ старыхъ особяхъ, но и въ молодыхъ, которыя еще не могли на себѣ испытать послѣдствія встрѣчи съ человѣкомъ. Какъ это объяснить? Спенсеръ говоритъ, что истребленіемъ небоязливыхъ недѣлимыхъ этого объяснить нельзя, потому что убиваютъ сравнительно ничтожное число птицъ, и объясняетъ фактъ послѣдовательнымъ накопленіемъ данныхъ опыта. Въ каждой птицѣ, раненой человѣкомъ или встревоженной крикомъ стаи («стадныя животныя,— замѣчаетъ Спенсеръ въ скобкахъ,—обладающія малѣйшею степенью разумности, по необходимости обнаруживаютъ болѣе или менѣе сочувствіе другъ къ другу»), устанавливается ассоціація идей между фигурой человѣка и нѣкоторыми страданіями, при чемъ понятіе страданія дается не только личнымъ опытомъ, а и сочувственнымъ, т. е. видомъ чужихъ страданій. Затѣмъ опытъ этотъ передается наслѣдственно въ видѣ извѣстныхъ измѣненій нервной системы, и при видѣ человѣка птица мысленно воспроизводитъ тѣ болѣзненныя ощущенія, которыхъ она лично, на самой себѣ, можетъ быть, никогда не испытала. Въ другомъ мѣстѣ Спенсеръ говоритъ: «Я отважусь высказать здѣсь, въ нѣсколькихъ строкахъ, гипотезу, что понятіе о граціи имѣетъ свое субъективное основаніе въ сочувствіи (симпатіи). Та же самая способность, которая заставляетъ насъ содрогаться при видѣ человѣка, находящагося въ опасности, и которая производитъ иногда движеніе въ нашихъ собственныхъ членахъ, при видѣ другого человѣка, борющагося или падающаго,—заставляетъ насъ раздѣлять и всѣ мышечныя ощущенія, которыя испытываются вокругъ насъ другими. Когда ихъ движенія бываютъ насильственны или неловки, тогда и мы отчасти испытываемъ тѣ непріятныя ощущенія, которыя должны были бы испытать, если-бы эти движенія были въ насъ самихъ. Когда же движенія людей, на которыхъ мы смотримъ, свободны, тогда и мы раздѣляемъ пріятныя ощущенія, какія испытываются личностями, совершающими эти движенія». Изложенный здѣсь принципъ, не смотря на то, что на немъ одномъ Адамъ Смитъ построилъ свою теорію нравственныхъ чувствъ, разработанъ весьма мало. А между тѣмъ надлежащее его развитіе могло бы пролить много свѣта и на законы души человѣческой, и на задачи общественной науки. Прежде всего слѣдуетъ замѣтить, что сочувственный опытъ не безпредѣленъ, что сочувствовать мы можемъ только подобнымъ себѣ, и что существуетъ въ этомъ отношеніи извѣстная градація. Какъ представитель органической жизни, человѣкъ можетъ понять міръ неорганическій только объективно, и безусловно не можетъ пережить его жизнь, поставить себя на его мѣсто. Какъ недѣлимое, онъ можетъ переживать жизнь только недѣлимаго, и при томъ тѣмъ полнѣе, чѣмъ данное недѣлимое человѣкообразнѣе. Поэтому онъ можетъ различать въ этой области явленія физіологическія и патологическія. Наконецъ, полный просторъ сочувственному опыту предоставляется въ области отношеній человѣческихъ. Но и здѣсь есть ступени. Одинъ человѣкъ можетъ пережить жизнь каждаго человѣка, другой—только жизнь представителя своей общественной единицы, то есть жизнь своихъ соотечественниковъ, своихъ собратовъ по профессіи, по образу жизни и проч. Сочувственный опытъ, вмѣстѣ съ опытомъ личнымъ, комбинируясь извѣстнымъ образомъ, входитъ въ наше психическое содержаніе и, на ряду съ категоріями истиннаго и ложнаго, установляетъ категоріи пріятнаго и непріятнаго, желательнаго и нежелательнаго, нравственнаго и безнравственнаго, справедливаго и несправедливаго. Отрѣшиться отъ этой стороны эмпирическаго содержанія нашего *Я* столь же невозможно, какъ произвольно вычеркнуть изъ своей памяти какія нибудь знанія. Поэтому комбинація ощущеній и впечатлѣній, составляющая предвзятое мнѣніе, съ которымъ человѣкъ приступаетъ къ какому бы то ни было изслѣдованію, въ области общественныхъ отношеній осложняется нѣкоторымъ новымъ элементомъ, элементомъ нравственнымъ. Вотъ почему Контъ былъ правъ, утверждая, въ своемъ курсѣ философіи, что «только тѣ могутъ съ успѣхомъ заниматься соціологіей, чей нравственный уровень достаточно высокъ», хотя съ общей тогдашней точки зрѣнія Конта условіе это отнюдь не могло считаться необходимымъ. Но случайно прорвавшееся у Конта положеніе не подлежитъ никакому сомнѣнію. Дѣйствительно, Бэконъ—предатель, взяточникъ, клеветникъ и вмѣстѣ великій мыслитель о природѣ возможенъ,—фактъ на лицо. Но Бэконъ—великій соціологъ немыслимъ. Я не говорю о грубой сознательной подтасовкѣ фактовъ для какихъ нибудь своекорыстныхъ цѣлей, да объ этомъ и нечего говорить. «Наука, учащая подданныхъ сомнѣнію въ божественности происхожденія власти коронованныхъ лицъ, не можетъ пользоваться большимъ уваженіемъ со стороны послѣднихъ. Воинъ, въ свою очередь, отказываетъ въ довѣріи наукѣ, которая проповѣдуетъ уничтоженіе его ремесла; а монополистъ неохотно вѣритъ въ преимущества конкурренціи. Государственный человѣкъ, получающій средства къ жизни за завѣдываніе общественными дѣлами, отнюдь не желаетъ, чтобы народъ выучился самъ вести свои дѣла, безъ посторонняго участія. Пред-

ставитель крупной поземельной собственности вѣритъ въ одно ученіе, а его арендаторъ признаетъ другое; человѣкъ, платящій за трудъ, смотритъ на всѣ вопросы съ точки зрѣнія, прямо противоположной той, съ которой смотритъ на нихъ тотъ, кому онъ платитъ... Школьное ученіе во Франціи измѣняется отъ времени до времени, смотря по тому, деспотизмъ ли уступаетъ народу, или народъ деспотизму. Поземельная аристократія въ Англіи была крайне довольна, когда Мальтусъ убѣдилъ ее, что бѣдность и нищета народа суть необходимое слѣдствіе великаго закона, исходящаго отъ всевѣдущаго и всеблагого Провидѣнія; а промышленная аристократія, въ свою очередь, точно также довольна, считая доказаннымъ, что для общихъ интересовъ страны полезны мѣры, создающія обширные запасы дешеваго и дурно оплачиваемаго труда» (Кэри. Руководство къ соціальной наукѣ, стр. 33—34). Здѣсь свалены въ одну кучу вещи очень различныя. Есть люди, намѣренно извращающіе факты, но есть и такіе, которые извращаютъ ихъ совершенно добросовѣстно, только потому, что ими руководитъ безъ ихъ вѣдома ложное предвзятое мнѣніе, т. е. неудачное и одностороннее сочетаніе личныхъ и сочувственныхъ опытовъ, еще, быть можетъ, закрѣпощенное путемъ наслѣдственной передачи. Въ числѣ подготовительныхъ работъ къ соціологіи важное мѣсто занимаетъ статистика, пользующаяся весьма точными пріемами. И, однако, статистики, чаще чѣмъ кто-нибудь, впадаютъ въ грубо фаталистическія заблужденія. Мы приводимъ подобные примѣры въ статьѣ «Аналогическій методъ». Если какой нибудь Дюфо старается меня увѣрить, что людскія страданія составляютъ результатъ открытаго имъ закона «нравственнаго равновѣсія судебъ человѣчества», то это не даетъ еще мнѣ никакого права считать почтеннаго статистика отъявленнымъ негодяемъ и шулеромъ, дѣлающимъ вольтъ. Но это во всякомъ случаѣ показываетъ, что его нравственный уровень не особенно высокъ; что хотя и онъ толкуетъ о негодности субъективнаго метода и вмѣшательства чувствъ въ рѣшеніе общественныхъ вопросовъ, имъ управляетъ очень опредѣленное чувство,—чувство совершеннаго удовлетворенія эмпирическою дѣйствительностью. Не будь этого, онъ не сочинилъ бы своего закона нравственнаго равновѣсія судебъ человѣчества и, слѣдуя евангельскому слову: толцыте и отверзется,—нашелъ бы иной выходъ для дѣйствительности.

Какъ невозможна для человѣка безусловная справедливость, какъ невозможно чистое отъ всякихъ тенденцій искусство, такъ невозможенъ и исключительно объективный методъ въ соціологіи. Не смотря на, повидимому, коренное различіе между двумя первыми и послѣднимъ видомъ эксцентризма, всѣ они суть порожденія одной и той же причины, одного и того же историческаго явленія, и именно экономическаго раздѣленія труда (не спеціально экономическаго, но я употребляю это выраженіе въ отличіе отъ раздѣленія труда физіологическаго) и общественныхъ дифференцированій. И, какъ таковыя, всѣ они имѣютъ одинаковыя свойства и одинаковые результаты. Всѣ они, во-первыхъ, представляютъ попытки отрѣшенія отъ даннаго психическаго содержанія; всѣ они хотятъ быть безпристрастными и всѣ одинаково пристрастны, всѣ одинаково санктируютъ факты всѣмъ имъ случайности дѣйствительности зажимаютъ ротъ. Всѣ они ошибаются въ томъ, что думаютъ достигнуть объективности, разсматривая явленія общественной жизни съ точки зрѣнія отвлеченной категоріи,—чистой красоты, чистой справедливости, чистой истины, тогда какъ всѣ эти точки зрѣнія слишкомъ узки для такого сложнаго явленія, какъ человѣкъ въ обществѣ. До такой степени узки, что изъ чистой справедливости, изъ чистаго искусства, изъ чистой истины на каждомъ шагу вылѣзаетъ человѣкъ въ обществѣ, т. е. человѣкъ съ извѣстными чувствами, извѣстными стремленіями, съ извѣстнымъ, наконецъ, предвзятымъ мнѣніемъ. Въ большинствѣ случаевъ изъ этихъ оболочекъ человѣкъ выходитъ некрасивымъ, иллюзія чистоты распадается прахомъ. Но едва ли можно сожалѣть объ этомъ: для человѣка нѣтъ ничего прекраснѣе человѣка, и самый нехорошій человѣкъ всетаки лучше самаго лучшаго фотографическаго аппарата, самой лучшей висѣлицы и самой лучшей числительной машинки. И потомъ—безъ обмана всетаки лучше.

Если бы я былъ художникомъ, я бы написалъ три картины, только три во всю жизнь. Но я бы всю душу свою положилъ въ нихъ, и картины вышли бы хорошія. Сюжеты я бы взялъ готовые изъ исторіи человѣческой мысли.

. . . .

. . . .

Темой для второй картины я бы взялъ положеніе величайшаго изъ идеалистовъ—Канта: если общество даже завтра должно распасться, если даже завтра всѣ члены его должны порвать всякія связи между собой и разойтись въ разныя стороны, то сегодня послѣдній преступникъ всетаки долженъ быть казненъ во имя и во славу абсолютной справедливости.—Площадь, полузаросшая бурьяномъ, кругомъ покачнув-

шіяся и осѣвшія опустѣлыя зданія съ разбитыми стеклами, съ разсохшимися дверями. Посреди площади полусгнившая плаха, и на ней распростертый скелетъ послѣдняго преступника. Кругомъ тишь, ни души человѣческой. Только воронъ долбитъ отскочившій въ сторону черепъ послѣдней и никому уже ненужной жертвы абсолютной справедливости. Если-бы воронъ могъ каркать на картинѣ, онъ прокаркалъ бы: fiat justicia, pereat mundis!..

Это эксцентрическій періодъ, въ которомъ человѣкъ съ его плотью и кровью, съ его помыслами и чувствами, съ его любовью и ненавистью забытъ для отвлеченной категоріи.

На третьей картинѣ я изобразилъ бы «Тьму» Байрона. Вы, можетъ быть, помните эту потрясающую, безпорядочную кучу образовъ. Поэтъ видитъ слѣдующій сонъ, который, однако, «былъ не совсѣмъ сонъ». Солнце погасло, звѣзды, земля безъ лучей носились въ мрачномъ пространствѣ. Чтобы добыть свѣтъ, люди зажгли лѣса. Дерево за деревомъ, пень за пнемъ вспыхивали, трещали и сгорали. Опять тьма... Зажгли дома, дворцы, храмы. У этихъ страшныхъ костровъ толпились люди. Одни плакали, другіе безумно смѣялись. А пышные города все горѣли. Наступилъ голодъ. Хищные птицы, дикіе звѣри, растерянные и присмирѣвшіе, терялись среди людей.

И змѣи ползали въ толпѣ съ шипѣньемъ,
Не смѣя жалить—ихъ душили люди
И пожирали. Стихшая на время
Рѣзня опять зажглась: цѣною крови
Обѣдъ голоднымъ покупался; дико
Другъ друга каждый бѣгалъ, чтобъ трапезу
Свершить кровавую. Любви не стало
Въ сердцахъ людей; лишь смерти страхъ и голодъ
Мучительный, палящій всѣхъ томили
И рвали внутренность. Неумолимо
Вставала смерть—и умирали люди,
И трупы ихъ лежали безъ могилы.
Полуживой глодалъ скелетъ собрата,
Какъ дикій звѣрь, хрипя; голодной стаей псы
Въ куски рвали тѣла своихъ хозяевъ...

Только одна собака осталась вѣрна своему хозяину и, охраняя его трупъ отъ птицъ, звѣрей и людей, съ жалобнымъ воемъ лизала его окостенѣвшую руку. Наконецъ, свалилась и она. Постепенно прекращалась жизнь. Въ огромномъ городѣ уцѣлѣло только два человѣка, и это были два врага. Они столкнулись у погасающихъ свѣтильниковъ алтаря, постарались своимъ дыханіемъ хоть немного раздуть пламя и, когда увидѣли другъ друга,—вскрикнули и умерли, пораженные своимъ безобразіемъ...

Вотъ три страшныя картины разрушенія общества. Сравните только двѣ послѣднія. Вся, сдавленная въ идеалѣ великаго метафизика, человѣческая природа, преданная на жертву абстрактной справедливости, прорывается въ фанстастической картинѣ великаго поэта въ самыхъ страшныхъ и отталкивающихъ образахъ. Въ цѣломъ громадномъ городѣ уцѣлѣли только два человѣка, и именно два врага. Почему именно два врага? Потому, что они передушили передъ тѣмъ всѣхъ друзей, потому, что въ моментъ разрушенія общества разбирать не приходится. Контъ захотѣлъ въ этотъ самый моментъ ярлыки навѣшивать: этотъ—преступникъ, тотъ—добродѣтель воплощенная... По Байрону же, самому Конту было бы тутъ не до абсолютной справедливости; онъ бы съ этого абсолюта кувыркомъ слетѣлъ, онъ бы думалъ только о томъ, какъ бы ему прожить лишній часъ, лишнюю минуту, или же просто пустилъ бы себѣ пулю въ лобъ. Онъ бы не пошелъ искать преступника, а если бы и наткнулся на него, такъ, можетъ быть, просто-на-просто съѣлъ бы его. А попадись добродѣтель, которая вчера монтіоновскую премію получила, онъ бы, можетъ быть, и въ нее зубами впился...

Но въ этой потрясающей картинѣ, въ которой фантастическій фонъ сплошь затканъ голою правдою образовъ—васъ поражаетъ одинъ диссонансъ, именно собака, вѣрная трупу хозяина. Если хотите, сама по себѣ эта свѣтлая точка не диссонансъ, а явленіе высоко-гармоническое, но эта-то гармонія и составляетъ диссонансъ въ массѣ диссонансовъ. Зачѣмъ Байронъ среди исчезнувшей любви къ человѣчеству, къ отечеству, къ ближнему, сохранилъ любовь одной собаки къ хозяину? Ясно, что это не болѣе какъ эстетическая уловка, пущенная съ той цѣлью, чтобы оттѣнить картину. Это упрекъ человѣку. Поэтъ хочетъ сказать: смотрите, какъ гадокъ и низокъ человѣкъ,—собака лучше его. Очевидно, что Байронъ сумѣлъ заглянуть въ душу человѣческую, но, находясь одной ногой еще за рубежомъ эксцентрическаго періода, онъ не выдержалъ зрѣлища. Онъ съ ужасомъ отскочилъ. Какъ! человѣку не врождены, не присущи идеи любви, справедливости, красоты. Можно вообразить такое сцѣпленіе обстоятельствъ, изъ-за котораго человѣкъ не увидитъ разницы между мозгомъ Прометея и кулакомъ Геркулеса, между горбомъ Езопа и пышною грудью Елены прекрасной, между сердцемъ дѣвственницы и сердцемъ каторжника... Можетъ наступить такая пора, хотя бы въ воображеніи. И воображеніе не откажется нарисовать эту картину торжества животнаго человѣка надъ человѣкомъ нравственнымъ!.. Да, воображеніе не отказывается...

И вотъ явилась вѣрная собака. Но эта собака составляетъ ошибку, диссонансъ, хотя и драгоцѣнный, какъ одинъ изъ ключей къ жизни и поэзіи Байрона. По общему тону картины, собака должна впиться зубами въ холодный и посинѣлый трупъ хозяина. Презрѣн-

ный червь, великій Кантъ и какой-нибудь вѣрный Трезоръ не нарушили бы отвратительной мощи Байроновской картины, если бы они оказались за однимъ табль-д'отомъ, если-бы абсолютная преданность почувствовала такой же голодъ, какъ и абсолютная справедливость... Не будь въ картинѣ этой фальши, она могла бы служить полнымъ выраженіемъ одной части субъективно-антропоцентрическаго міросозерцанія. Но такъ какъ міросозерцаніе это не допускаетъ абсолютныхъ рѣшеній, то оно не можетъ умѣститься въ одной картинѣ. Возьмемъ же человѣка такимъ, какимъ его дѣлаютъ природа и общество и вообще обстановка. Возьмемъ его голоднаго, холоднаго, темнаго, нечистаго, потому что не только въ моментъ фиктивнаго разрушенія общества, а и теперь человѣкъ голоденъ, холоденъ, теменъ и нечистъ.

«Это психологическій законъ,—говоритъ Милль,—который можетъ быть выведенъ изъ наиболѣе общихъ законовъ духовнаго склада людей, что всякая сильная страсть дѣлаетъ насъ легковѣрными къ существованію предметовъ, способныхъ возбудить ее... Склонность дѣйствуетъ, заставляя человѣка ревностно искать доводовъ или мнимыхъ доводовъ въ подтвержденіе мнѣній, сообразныхъ его выгодамъ или чувствамъ, и противиться неблагопріятнымъ. А когда выгоды или чувства общи множеству лицъ, то принимаются и становятся общеупотребительными доводы, на которые въ качествѣ доводовъ никто не обратилъ бы вниманія, если бы ничто не говорило могущественнѣе ихъ въ пользу заключеній» (Система логики, т. II, 290). Если таковъ законъ нашей психической жизни, то нечего думать о томъ, чтобы совершенно избѣжать его вліянія. Будемъ повиноваться закону природы, но постараемся регулировать его. Выяснивъ наши истинныя чувства, выведя ихъ изъ-подъ спуда нечеловѣческой чистоты, постараемся найти для нихъ возможно лучшій критерій. Искать этотъ критерій однимъ объективнымъ путемъ,—значитъ складывать аршины съ пудами.

Посмотримъ вкратцѣ, какъ складывается и какимъ образомъ вліяетъ на наши изслѣдованія нравственная сторона предвзятаго мнѣнія; какимъ образомъ могло, напримѣръ, выработаться приводимое Кэри мнѣніе англійской поземельной аристократіи о нищетѣ народа, какъ о результатѣ непреложной воли всеблагого Провидѣнія. И опять-таки намъ здѣсь нѣтъ дѣла до людей, сознательно провозглашающихъ ложь.

Первыя правила морали, тѣснѣйшимъ образомъ связанныя съ религіозными представленіями, имѣютъ мѣсто, безъ сомнѣнія, еще въ пору полнаго отсутствія коопераціи. Они даны исключительно личнымъ опытомъ, и притомъ опытомъ болѣе или менѣе одностороннимъ. Сочувственный опытъ начинаетъ давать свою долю въ хранилище нравственныхъ правилъ только съ появленіемъ коопераціи, будь она коопераціей по типу простого или сложнаго сотрудничества. Только тутъ человѣкъ получаетъ возможность пережить другую жизнь, перестрадать чужое страданіе, насладиться чужимъ наслажденіемъ. Пока въ средѣ данной группы не выработались еще путемъ раздѣльнаго труда слишкомъ рѣзкіе контрасты, пока вся группа представляетъ нѣчто болѣе или менѣе однородное, и контрасты существуютъ только между нею и другими группами, до тѣхъ поръ сочувственный опытъ играетъ нѣкоторую роль только въ средѣ группы. Пережить жизнь представителя чужого племени первобытный человѣкъ не можетъ. И сообразно этому истолковываетъ всякій фактъ въ пользу своего племени и во вредъ чужому. Предвзятое мнѣніе, сложившееся изъ впечатлѣній и ощущеній, данныхъ личнымъ опытомъ и опытомъ сочувственнымъ въ средѣ его племени, заставляетъ его искренно вѣрить, что божества исключительно покровительствуютъ ему и его сотрудникамъ. Когда принципъ раздѣленія труда получаетъ въ средѣ общества полное осуществленіе, когда процессъ общественныхъ дифференцированій дробитъ группу на рѣзко обособленныя единицы, имѣющія свои собственные цѣли и интересы, когда, однимъ словомъ, развертывается эксцентрическій общественный строй,—сочувственный опытъ получаетъ совершенно иные предѣлы и иную интенсивность. Съ одной стороны, сочувственный опытъ имѣетъ болѣе широкое и полное примѣненіе въ средѣ каждаго изъ обособившихся слоевъ общества, а съ другой—для каждаго изъ представителей извѣстнаго слоя утрачивается возможность поставить себя въ положеніе представителя другого слоя. Есть мнѣніе, что сочувствовать можно только тому, что мы испытали лично, что сочувствіе сводится къ воспроизведенію опыта того или другого состоянія нашего сознанія, испытаннаго нами самими. Едва-ли можно принять это положеніе въ такомъ абсолютномъ видѣ, и въ этомъ отношеніи справедливо указываютъ, напримѣръ, на сочувствіе мужчины къ мукамъ беременной женщины, хотя мужчина и не могъ лично испытать эти муки. Но во всякомъ случаѣ въ приведенномъ мнѣніи (Бэна) есть значительная доля правды. Безъ всякаго сомнѣнія, личный опытъ увеличиваетъ силу опыта сочувственнаго, и намъ легче поставить себя мысленно въ такое положеніе, въ которомъ мы были сами. Эта поддержка личнаго опыта, очевидно, должна слабѣть по мѣрѣ углубленія уединительныхъ бороздъ, проводимыхъ эксцентрическимъ порядкомъ. Рабовладѣльцу легко проникнуться жизнью такого же, какъ и онъ, рабовладѣльца.

ведущаго одинаковый съ нимъ образъ жизни, имѣющаго тѣ же привычки, потому что личный ихъ опытъ почти тождественъ. Но понять страданія и горести раба, поставить себя въ его положеніе, для рабовладѣльца несравненно труднѣе. Онъ никогда не испытывалъ того, что испытываетъ рабъ. Поэтому онъ естественно высоко ставитъ радости и горести своей группы и ни въ грошъ не ставитъ радостей и горестей другихъ группъ; онъ ихъ не замѣчаетъ, онѣ для него не существуютъ. Онъ видитъ раны и не видитъ, слышитъ стоны и не слышитъ. Въ его сознаніи они отдаются глухо, хотя онъ въ то же время способенъ съ полною отчетливостью оцѣнить горести и радости своихъ сотрудниковъ. Эта естественная неравномѣрность оцѣнки существеннымъ образомъ отражается на всемъ его психическомъ складѣ, состояніе котораго, такъ сказать, замораживается въ цѣломъ ряду поколѣній наслѣдственною передачею. Чтобы въ эксцентрическомъ періодѣ общественнаго развитія могли явиться люди, органически способные къ многостороннему сочувственному опыту, способные воспроизвести въ своемъ сознаніи всѣ оттѣнки жизни, раскиданные процессомъ общественныхъ дифференцированій въ разныя стороны,—для этого нужны особенно счастливыя и чисто случайныя сочетанія обстоятельствъ, удачное смѣшеніе крови, особенности воспитанія и проч. И это будутъ люди съ высокимъ нравственнымъ уровнемъ, способные къ успѣшной разработкѣ соціологіи (можетъ быть, не лишнее замѣтить, что одинъ высокій нравственный уровень самъ по себѣ не можетъ гарантировать ничего). Но такіе люди, конечно, рѣдки. И развитіе общественной науки необходимо задерживается и этою рѣдкостью, а не только недостаточнымъ развитіемъ низшихъ наукъ, и преимущественно біологіи. И вотъ еще одно изъ различій между наукою о природѣ и наукою объ обществѣ. Для безпрепятственнаго развитія первой совершенно достаточно послѣдовательнаго усвоенія истинъ въ порядкѣ возрастанія сложности явленій. Соціологіи же мы никогда не будемъ имѣть, если борьба интересовъ не расчиститъ для нея почвы, сгладивъ общественныя дифференцированія. За вычетомъ нѣкоторыхъ блистательныхъ исключеній, въ общемъ нравственныя и политическія науки необходимо отражаютъ въ себѣ практическую жизнь съ ея шероховатостями. Поэтому первая общая задача современной общественной науки состоитъ въ опредѣленіи значенія общественныхъ дифференцированій,—задача, къ которой инстинктивно и потому неопредѣленно стремились всѣ лучшіе люди всѣхъ временъ.

Итакъ, количествомъ личныхъ и сочувственныхъ опытовъ и качествомъ ихъ комбинацій опредѣляется нравственный складъ людей, не открыто исповѣдуемый ими культъ, напримѣръ, христіанской морали,—эта часть психическаго содержанія слишкомъ высока и обща,—а тѣ порожденныя процессомъ историческаго развитія особенности, лежащія гораздо глубже, которыя заставляютъ людей смотрѣть на общественные факты подъ извѣстнымъ угломъ зрѣнія, съ извѣстнымъ, неяснымъ для нихъ самихъ, предвзятымъ мнѣніемъ. И это предвзятое мнѣніе отличается отъ предвзятаго мнѣнія естествоиспытателя только тѣмъ, что въ немъ играетъ важную роль нравственный элементъ. Какъ два микроскописта, исповѣдующіе различныя теоріи, видятъ то, чего ищутъ, такъ видятъ то, чего ищутъ, и два соціолога, придерживающіеся различныхъ воззрѣній. Какъ тамъ, въ случаѣ невозможности соглашенія путемъ непосредственнаго наблюденія, слѣдуетъ отыскать какую-нибудь иную опору для сознанія, обратиться къ самымъ источникамъ теорій, для чего онѣ должны быть приведены въ совершенную ясность, такъ и здѣсь ликвидація даннаго психическаго содержанія, смѣна одного содержанія другимъ возможна не иначе, какъ путемъ уясненія всѣхъ его составныхъ частей, а слѣдовательно, и чувствъ и желаній. Какъ тамъ не должно быть рѣчи объ изслѣдованіи безъ предвзятаго мнѣнія, а должно только заботиться о томъ, чтобы предвзятое мнѣніе получило характеръ раціональной теоріи, такъ и здѣсь незачѣмъ маскироваться объективностью, а должно выяснить безъ остатка свою личность, дать себѣ полный отчетъ въ своихъ желаніяхъ, побужденіяхъ и цѣляхъ. Претензія на объективность можетъ здѣсь только повести къ сбивчивости, именно потому, что полная объективность недостижима. Малѣйшее разногласіе между истинными, въ глубинѣ души лежащими чувствами соціолога, его истиннымъ нравственнымъ идеаломъ и обсуждаемыми имъ фактами дѣйствительности, — поведетъ всетаки къ открытому примѣненію субъективнаго метода, но примѣненію неудовлетворительному, кастрированному.

X.

Такъ именно случается со Спенсеромъ, когда онъ вдругъ, ни съ того, ни съ сего, единственно по внушенію безотчетнаго чувства, отступаетъ отъ своихъ пріемовъ и отъ добытой ими истины.

Послѣдуемъ за нимъ въ его поправкахъ и дополненіяхъ къ формулѣ прогресса. Мы видѣли, что первая поправка состоитъ въ прибавленіи къ процессу перехода отъ однороднаго къ разнородному — процесса перехода отъ неопредѣленнаго къ опредѣленному. Съ этой новой точки зрѣнія пріостановившій было Спенсера фактъ революціоннаго движенія, представляющій переходъ отъ однороднаго къ разнородному, получаетъ новое освѣ-

щеніе: «Политическій взрывъ, доходящій, наконецъ, до возмущенія, съ самаго начала стремится изгладить правительственныя и промышленныя спеціализаціи, существовавшія прежде. Недовольство, производящее такой взрывъ, само по себѣ предполагаетъ уже ослабленіе узъ, связывающихъ гражданъ въ отдѣльные классы и подклассы. Агитація, выростающая въ революціонные митинги, обнаруживаетъ рѣшительную склонность къ сліянію слоевъ, обыкновенно отдѣльныхъ другъ отъ друга» (Вып. VII, Основныя начала, 191). Такимъ-то образомъ, явленіе это представляетъ шаги не къ дальнѣйшему развитію, а къ разложенію, такъ какъ оно составляетъ переходъ отъ опредѣленнаго къ неопредѣленному. Вглядитесь, однако, въ это новое описаніе революціоннаго движенія, и вы замѣтите, что для него, по крайней мѣрѣ, не было никакой надобности усложнять формулу прогресса. «Сліяніе слоевъ», «уничтоженіе правительственныхъ и промышленныхъ спеціализацій»,—что это такое, какъ не переходъ отъ разнороднаго къ однородному, а такъ какъ первоначальная формула прогресса есть переходъ отъ однороднаго къ разнородному, то и безъ всякихъ поправокъ революціонное движеніе можетъ быть разсматриваемо, какъ шагъ къ разложенію. Но почему Спенсеръ пожелалъ сдѣлать поправку? Потому, что нашелъ, что революціонное движеніе есть переходъ отъ однороднаго къ разнородному и потому, повидимому, подходитъ къ формулѣ прогресса. Такимъ образомъ объективный методъ не только не устраняетъ неудобствъ субъективнаго метода, но еще увеличиваетъ ихъ. Конечно, данное революціонное движеніе можетъ быть признано, съ одной субъективной точки зрѣнія, шагомъ къ развитію, съ другой,—шагомъ къ разложенію, и этимъ разногласіемъ вопросъ затемняется. Но я могу взвѣсить доводы одного человѣка и доводы другого, потому что и тотъ и другой говорятъ мнѣ, что такое-то явленіе хорошо или нехорошо, такъ какъ ведетъ къ такимъ-то хорошимъ или нехорошимъ результатамъ. Что же дѣлаетъ объективный методъ? Онъ самымъ грубымъ и топорнымъ образомъ уклоняется отъ оцѣнки внутренняго смысла явленій и скользитъ по ихъ внѣшности. Да и по внѣшности именно только скользитъ, потому что посмотрѣлъ Спенсеръ одинъ разъ на картину революціоннаго движенія и нашелъ въ ней переходъ отъ однороднаго къ разнородному, посмотрѣлъ въ другой разъ и нашелъ переходъ отъ разнороднаго къ однородному. И, однако, и въ томъ и въ другомъ случаѣ видитъ въ ней шаги къ разложенію. Не ясно ли, что, какъ ни выворачивай Спенсеръ подлежащій обсужденію фактъ, онъ всегда найдетъ его регрессивнымъ явленіемъ, ни по чему другому, какъ потому, что ему революціонныя движенія не нравятся. При чемъ же тутъ хваленая объективность?

«Послѣдовательные фазисы, чрезъ которые проходитъ общество,—говоритъ Спенсеръ (Вып. VII, 204),—обнаруживаютъ еще яснѣе (чѣмъ явленія неорганическаго и органическаго міра), прогрессъ отъ неопредѣленнаго строя къ опредѣленному. Бродячее племя дикарей, не будучи постоянно ни въ своей мѣстности, ни въ относительномъ положеніи своихъ частей, далеко не такъ опредѣленно, какъ народъ, покрывающій территорію, ясно обозначенную, и состоящій изъ недѣлимыхъ, сгруппированныхъ въ городахъ и деревняхъ... Разница между царскимъ родомъ и остальнымъ племенемъ увеличивается до такой степени, что порождаетъ въ умѣ народа мысль о различіи природы въ томъ и другомъ. Классъ воиновъ достигаетъ совершеннаго отдѣленія отъ классовъ, посвятившихъ себя обработыванію земли и другимъ занятіямъ, считающимся удѣломъ рабовъ. Является жречество, опредѣленное по своему достоинству, функціямъ и привилегіямъ. Эта рѣзкость опредѣленія, увеличиваясь все болѣе и болѣе и проявляясь разнообразнѣе и разнообразнѣе по мѣрѣ того какъ общество идетъ къ зрѣлости, обнаруживается въ высшей степени въ тѣхъ обществахъ, которыя достигли полнаго развитія или склоняются уже къ упадку. Относительно древняго Египта намъ извѣстно, что въ немъ соціальныя дѣленія были рѣзко обозначены, а обычаи крайне строги. Въ Индіи неизмѣнныя отличія кастъ, существующихъ и въ настоящее время, точно такъ же, какъ и постоянство въ образѣ одежды, въ промышленныхъ процессахъ и религіозныхъ обрядахъ—показываютъ, до какой степени прочны порядки въ странахъ, имѣющихъ за собою громадное прошедшее".

Вотъ что, съ объективной точки зрѣнія, имѣетъ право на званіе прогресса. И эта точка зрѣнія до такой степени объективна, что съ нея нельзя даже отличить эпохи развитія отъ эпохъ упадка. Я не затѣмъ сдѣлалъ эту выписку, чтобы опровергать ее. Она намъ пригодится ниже. Здѣсь же замѣчу только, что Спенсеръ нигдѣ не доводитъ до конца своей любимой параллели между обществомъ и организмомъ. Онъ входитъ въ мельчайшія подробности этой параллели и, однако, не касается одного весьма существеннаго пункта—смерти. Обязательна ли смерть для общества, какъ обязательна она для недѣлимаго? Спенсеръ вездѣ обходитъ этотъ вопросъ. Мы дадимъ за него отвѣтъ. Всякое общество, если оно дѣйствительно приближается къ состоянію организма, если члены его дѣйствительно начинаютъ функціонировать какъ простые органы, безъ мысли и воли, если общество дѣйствительно начинаетъ уподобляться гигантскому туловищу, на которомъ сидитъ думающая за всѣхъ голова, а съ боковъ торчатъ работающія за всѣхъ руки, всякое общество, дошедшее до такого состоянія, находится при смерти.

Послѣ перваго дополненія къ формулѣ прогресса Спенсеръ замѣчаетъ, что переходъ отъ неопредѣленнаго къ опредѣленному есть не первичное, а вторичное явленіе, что это толь-

ко «результатъ, сопровождающій окончаніе извѣстныхъ измѣненій». Именно для того, чтобы нѣкоторое однообразное цѣлое преобразовалось въ комбинацію разнообразныхъ частей, необходимо разъединеніе частей. Но пока этотъ разъединительный процессъ имѣетъ мѣсто, опредѣленность невозможна. Она получится только тогда, когда внутри каждой обособившейся части окончится интеграціонная работа, т. е. когда объединятся элементы, образующіе каждую изъ составныхъ частей. Мы уже видѣли, въ чемъ ближайшимъ образомъ состоитъ процессъ интеграціи. Мы видѣли, что это только другая сторона процесса дифференцированія. Ограничимся здѣсь замѣчаніемъ, что Спенсеръ совершенно не вникаетъ во взаимное отношеніе интеграціоннаго и дифференціаціоннаго процессовъ, понятія о которыхъ, будучи приложены къ различнымъ вещамъ, дадутъ очень различные результаты. Спенсеръ говоритъ: «Надо замѣтить далѣе относительно европейскихъ народовъ, взятыхъ въ цѣломъ, что въ ихъ склонности заключать болѣе или менѣе продолжительные союзы,—въ ограничивающихъ вліяніяхъ, какія оказываютъ другъ на друга отдѣльныя правительства, въ постепенно устанавливающейся системѣ прекращенія международныхъ споровъ путемъ конгрессовъ, равно какъ и въ уничтоженіи препятствій торговлѣ и въ увеличивающихся удобствахъ сообщенія—мы можемъ признать начальную ступень европейской конфедераціи, т.-е. интеграцію еще болѣе широкую, нежели какая бы то ни была изъ установившихся понынѣ». Во-первыхъ, явленіе это представляетъ переходъ отъ разнороднаго къ однородному, слѣдовательно, по первоначальной формулѣ развитія, это явленіе не прогрессивное, а регрессивное. Во-вторыхъ, такъ какъ при этомъ уменьшается рѣзкая опредѣленность отдѣльныхъ территорій, національностей и проч., то европейская конфедерація представляетъ регрессивное явленіе и по второй формулѣ Спенсера. Въ-третьихъ, наконецъ, принимая за центръ изслѣдованія послѣдовательно различныя общественныя единицы, мы, слѣдя за ихъ измѣненіями, послѣдовательно придемъ къ ряду взаимно исключающихся результатовъ. Если мы, вооружившись законами Спенсера, будемъ слѣдить за развитіемъ государства, то дифференціаціонный процессъ выразится при этомъ распаденіемъ общества на обособленныя сословныя и профессіональныя единицы, а интеграціонный—объединеніемъ ихъ отдѣльныхъ представителей, т. е. нѣкоторымъ упрощеніемъ ихъ организаціи. Взявъ за центръ изслѣдованія цѣлую систему государствъ, мы, напротивъ, должны будемъ признать, по Спенсеру же, прогрессомъ интеграцію отдѣльныхъ государствъ, т. е. ихъ упрощеніе и уничтоженіе нѣкоторыхъ «правительственныхъ и промышленныхъ спеціализацій», установленныхъ путемъ дифференцированія государства.

Наконецъ, Спенсеръ дѣлаетъ еще одну поправку, которую мы ужъ не будемъ разсматривать, и приходитъ къ тому заключенію, что «развитіе есть переходъ отъ неопредѣленной, безсвязной разнородности, путемъ безпрерывныхъ дифференцированій и интеграцій».

Послѣ всей этой путаницы и замѣчательно нетвердыхъ шаговъ мысли, пріятно остановиться на такой ясной и свѣтлой статьѣ, какъ «Обычаи и приличія». Въ началѣ нашей статьи мы привели изъ статьи Спенсера «Философія слога», образчикъ того, какъ онъ, переставъ трусить передъ телеологіей и субъективнымъ методомъ въ соціологіи, рѣшаетъ вопросъ о прогрессѣ, для частной области, въ смыслѣ совершенно противномъ всему вышеизложенному. Въ «Обычаяхъ и приличіяхъ» дѣло еще яснѣе. Статья имѣетъ цѣлію доказать, что обычаи и приличія, религіозныя представленія и политическая подчиненность совпадали нѣкогда въ одномъ понятіи, что, какъ выражается Спенсеръ, личности «Бога, государя и церемоніймейстера» представляли въ самую раннюю историческую пору одну личность, и что затѣмъ онѣ отдѣлились другъ отъ друга, слѣдуя общему процессу дифференцированій. Но здѣсь понятіе прогресса примѣняется Спенсеромъ уже несравненно осторожнѣе. Человѣкъ, отважившійся признать съ объективной точки зрѣнія индійскія касты и китайскую неподвижность явленіями прогрессивными, теперь говоритъ: «При китайскомъ деспотизмѣ, стѣснительномъ и безконечномъ въ своихъ постановленіяхъ и жестокомъ въ требованіи ихъ исполненія, деспотизмѣ, съ которымъ соединяется равно суровый семейный деспотизмъ старшаго въ родѣ,—существуетъ система приличій, столь же сложныхъ, сколько и строгихъ. У нихъ есть трибуналъ церемоній. Общественное обращеніе обременено безконечными комплиментами и поклонами. Сословныя отличія строго опредѣлены внѣшними знаками» и т. д. На этотъ разъ Спенсеръ уже не смотритъ на подобныя явленія, какъ на одну изъ высшихъ ступеней общественнаго развитія. Отмѣтивъ нѣкоторые соотвѣтственные факты въ исторіи Европы, Спенсеръ продолжаетъ: «Одновременно съ упадкомъ вліянія духовенства и съ уменьшеніемъ страха вѣчныхъ мукъ, одновременно съ ослабленіемъ политической тираніи, возростаніемъ народной власти и улучшеніемъ уголовныхъ кодексовъ,—шло и то уменьшеніе формальностей, то исчезновеніе внѣшнихъ отличій, которое становится нынѣ столь явно». Человѣкъ, такъ наивно, упорно старавшійся набросить тѣнь регресса на картину революціоннаго движенія, оказывается самымъ ярымъ

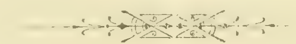
и крайнимъ революціонеромъ, когда дѣло идетъ о приличіяхъ и обычаяхъ.

«Для истиннаго реформатора, говоритъ онъ,— нѣтъ ни учрежденій, ни вѣрованій, которыя стояли бы выше критики. Все должно сообразоваться съ справедливостью и разумомъ: ничто не должно спасаться силою своего обаянія. Предоставляя каждому человѣку свободу достиженія своихъ цѣлей и удовлетворенія своихъ вкусовъ, онъ требуетъ для себя подобной же свободы. Ему все равно, исходитъ ли постановленіе отъ одного человѣка, или отъ всѣхъ людей, но если оно нарушаетъ законную сферу его дѣятельности, онъ отвергаетъ дѣйствительность такого постановленія. Тираніи, которая захотѣла бы принудить его къ извѣстному покрою одежды или къ извѣстному образу поведенія, онъ сопротивляется такъ же, какъ и тираніи, которая захотѣла бы ограничить его продажу и куплю, или предписать ему его вѣрованія. Будетъ ли это предписываться формальнымъ постановленіемъ законодательства или неформальнымъ требованіемъ общества,—будетъ ли неповиновеніе наказываться тюремнымъ заключеніемъ или косыми взглядами общества и остракизмомъ -для реформатора это не имѣетъ важности. Онъ выскажетъ свое мнѣніе, не смотря на угрожающее наказаніе; онъ нарушитъ приличія, не смотря на мелкія преслѣдованія, которымъ его подвергнутъ. Докажите ему, что дѣйствія его вредны ближнимъ—онъ остановится... Онъ обвиняетъ ихъ («партію порядка» въ дѣлѣ приличій и обычаевъ) въ деспотизмѣ, который не довольствуется тѣмъ, что предоставляетъ имъ власть надъ ихъ собственными поступками и привычками, но требуетъ еще признанія ихъ власти надъ дѣйствіями и привычками другихъ и сѣтуетъ, что такая власть не признается. Реформаторъ требуетъ такой же свободы, какой они пользуются; а они хотятъ предписать ему его поведеніе, обрѣзать и выкроить его жизнь по утвержденной ими выкройкѣ, и потомъ обвиняютъ его въ своеволіи и своекорыстіи, за то, что онъ не хочетъ спокойно покориться! Онъ предупреждаетъ ихъ, что будетъ непремѣнно сопротивляться и что онъ сдѣлаетъ это не только для сохраненія своей собственной независимости, но для ихъ же блага. Онъ доказываетъ имъ, что они рабы и не сознаютъ этого; что они скованы и цѣлуютъ свои цѣпи; что они всю жизнь прожили въ тюрьмѣ и жалуются, что стѣны ея рухнули. Онъ говоритъ, что считаетъ своею обязанностью упорствовать для того, чтобы освободиться, и, не смотря на настоящія ихъ порицанія, предсказываетъ, что когда они успокоятся отъ страха, причиненнаго имъ перспективой свободы, они сами будутъ благодарить его за то, что онъ помогъ имъ освободиться».

Я счелъ своею обязанностью выписать эту страстную тираду для уясненія еще одной черты нравственнаго склада Спенсера. Конечно, я не рѣшусь произнести какое-нибудь общее рѣшеніе на этотъ счетъ, пока въ русскомъ переводѣ не появилось главное сочиненіе Спенсера по соціологіи—«Соціальная статика». Но во всякомъ случаѣ, небезынтересно замѣтить, что мыслитель, предписывавшій искусству отворачиваться отъ современной ему дѣйствительности; мыслитель, находившій возможнымъ въ изслѣдованіи о прогрессѣ обойти вопросъ о человѣческомъ счастіи; мыслитель, заявившій, что всякое общественное броженіе, стирающее осажденныя исторіею перегородки, каковы бы ни были его цѣли, есть шагъ къ разложенію; что этотъ мыслитель съ такимъ паѳосомъ обрушивается на свѣтскія приличія и обычаи. Не безынтересно также замѣтить, что изъ трехъ вѣтвей одного и того же корня—религіозныхъ представленій, политической подчиненности, приличій и обычаевъ — онъ сосредоточиваетъ главное свое вниманіе на послѣднихъ. Онъ прямо утверждаетъ, что приличія-то именно и составляютъ самое крупное зло въ современномъ обществѣ. «Мы не сомнѣваемся (говоритъ онъ), что, будучи подведены подъ одинъ итогъ, они суммою превзошли бы сумму всѣхъ остальныхъ золъ. Если бы мы могли сложить съ ними еще безпокойства, издержки, зависть, досаду, недоразумѣнія, потерю времени и потерю удовольствія—все, что эти условія влекутъ за собой,—если бы мы могли ясно понять, въ какой мѣрѣ они ежедневно связываютъ насъ и дѣлаютъ насъ своими рабами, мы, можетъ быть, и пришли бы къ заключенію, что ихъ тиранія хуже всякой другой тираніи, которой мы бываемъ подвержены» (Т. I, 396). Счастливая страна Англія...

Выше мы сказали, что исключительное употребленіе въ соціологіи метода объективнаго равнялось бы, если бы оно было возможно, складыванію аршинъ съ пудами, изъ чего, между прочимъ, слѣдуетъ не то, что объективный методъ долженъ быть совершенно удаленъ изъ этой области изслѣдованій, а только то, что высшій контроль долженъ здѣсь принадлежать субъективному методу. Но здѣсь рождается вопросъ: если объективный методъ не можетъ удовлетворить всѣмъ требованіямъ общественной науки, дать ей верховный принципъ, то какой изъ субъективныхъ принциповъ можетъ быть выбранъ, какъ наилучшій, такъ какъ ихъ можетъ быть представлено нѣсколько? На этотъ вопросъ мы отвѣчаемъ всей своей статьей. Возможно полное и многостороннее раздѣленіе труда между органами человѣка и возможно меньшее раздѣленіе труда между людьми, таковъ предлагаемый нами принципъ, такова цѣль, которую мы указываемъ какъ наилучшую. Принципъ этотъ, какъ намъ кажется, не имѣетъ ни одного изъ недостатковъ, присущихъ всѣмъ до сихъ поръ принимавшимся принципамъ политики, этики, экономіи. Всѣ они либо предназначаются только для какой-нибудь частной области, вслѣдствіе чего примиреніе между отдѣлами общественной науки не можетъ состояться; либо добыты метафизическимъ путемъ, либо страдаютъ эмпиризмомъ, либо незаконно минуютъ науку о природѣ, вслѣдствіе чего невозможно примиреніе между наукою и жизнью. Съ другой сто-

роны. нашъ принципъ обнимаетъ всѣ области человѣческой дѣятельности, всѣ стороны жизни. Онъ выведенъ нами не изъ глубины собственнаго духа и не рекомендуется, какъ полученный супранатуральнымъ путемъ. Онъ прочно коренится въ объективной наукѣ, потому что вытекаетъ изъ точныхъ изслѣдованій законовъ органическаго развитія. Правда, отправляясь отъ этихъ самыхъ законовъ, Спенсеръ, Дреперъ и многіе другіе люди съ полновѣснымъ авторитетомъ пришли къ діаметрально-противоположнымъ результатамъ. Но обстоятельство это нисколько не колеблетъ нашего принципа, потому что, руководствуясь имъ однимъ, мы показали всю несостоятельность воззрѣній Спенсера и имѣли даже возможность намекнуть на историческія причины этихъ воззрѣній. Отбросивъ въ нашихъ статьяхъ все недоговоренное и недодѣланное, читатель имѣетъ передъ собою ясно и просто поставленный вопросъ: могутъ ли быть подведены къ одному знаменателю раздѣленіе труда между недѣлимыми и раздѣленіе труда между органами, какъ полагаетъ Спенсеръ и другіе, или это два явленія, взаимно исключающіяся, находящіяся въ вѣчномъ и необходимомъ антагонизмѣ, какъ утверждаемъ мы? Вопросъ этотъ рѣшается данными объективной науки, и при томъ данными уже установленными, не подлежащими сомнѣніямъ. Если эти данныя дѣйствительно говорятъ въ пользу Спенсерова рѣшенія вопроса о раздѣленіи труда, который мы считаемъ фундаментальнымъ вопросомъ общественной науки, всѣ наши соображенія должны рухнуть. Если же нѣтъ, если правда на нашей сторонѣ, — остается только приложить предложенный нами принципъ, въ качествѣ соціологической аксіомы, къ рѣшенію частныхъ вопросовъ. На поставленный нами вопросъ: что такое прогрессъ? — отвѣчаемъ: Прогрессъ есть постепенное приближеніе къ цѣлостности недѣлимыхъ, къ возможно полному и всестороннему раздѣленію труда между органами и возможно меньшему раздѣленію труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, неразумно все, что задерживаетъ это движеніе. Нравственно, справедливо, разумно и полезно только то, что уменьшаетъ разнородность общества, усиливая тѣмъ самымъ разнородность его отдѣльныхъ членовъ.



ТЕОРІЯ ДАРВИНА И ОБЩЕСТВЕННАЯ НАУКА.

1. *Теорія Дарвина и соціологическіе выводы изъ нея Густава Іегера* *).

Всѣ дарвинисты принуждены болѣе или менѣе долго и внимательно останавливаться надъ понятіемъ раздѣленія труда и приводить его въ связь съ теоріей Дарвина. Опредѣленіе этой связи становится въ особенности необходимымъ при изученіи жизни и формъ нѣкоторыхъ низшихъ организмовъ, живущихъ колоніями. Естественное дѣло, что принципъ раздѣленія труда, доселѣ большинствомъ мыслящихъ людей признаваемый за единственное организующее начало общественной жизни, получаетъ особенно глубокій интересъ при освѣщеніи его такимъ широкимъ и свѣтлымъ воззрѣніемъ, какова теорія Дарвина. Поэтому мы имѣли сначала въ виду сдѣлать сводъ наиболѣе замѣчательныхъ современныхъ изслѣдованій спеціально по этому предмету. Но при ближайшемъ разсмотрѣніи такое строгое опредѣленіе границъ нашего труда оказалось крайне неудобнымъ, если не просто невозможнымъ. Въ настоящее время одинъ изъ самыхъ блестящихъ и послѣдовательныхъ дарвинистовъ есть іенскій профессоръ Эрнстъ Геккель, о которомъ можно безъ преувеличенія сказать, что онъ plus darwiniste que Darwin, и естественно, что воззрѣнія его по этому самому имѣютъ для насъ первенствующее значеніе. Но Геккель вводитъ въ науку, не говоря уже о совершенно новой терминологіи, такъ много своеобразныхъ взглядовъ, и взгляды эти у насъ такъ мало извѣстны, что весьма трудно говорить о какомъ-нибудь его частномъ взглядѣ, не касаясь всей цѣпи его положеній. И это не единственная причина, почему мы рѣшились нѣсколько раздвинуть границы нашей статьи, быть можетъ, въ ущербъ ихъ опредѣленности. Расширеніе это находитъ себѣ оправданіе уже и въ томъ важномъ значеніи, которое мы, какъ извѣстно читателю, придаемъ принципу раздѣленія труда. Подъ общимъ заглавіемъ «Теорія Дарвина и общественная наука» мы будемъ говорить о различныхъ вопросахъ, затрогиваемыхъ, рѣшаемыхъ и перерѣшаемыхъ теоріей Дарвина и тѣмъ или другимъ изъ ея со дня на день при-

---

*) Январь, 1870 г.

бывающихъ сторонниковъ. Основная наша задача состоитъ всетаки въ опредѣленіи, съ точки зрѣнія Дарвиновой теоріи, взаимнаго отношенія между физіологическимъ раздѣленіемъ труда, то есть раздѣленіемъ труда между органами въ предѣлахъ одного недѣлимаго, и раздѣленіемъ труда экономическимъ, то есть раздѣленіемъ труда между цѣлыми недѣлимыми въ предѣлахъ вида, расы, народа, общества. Съ нашей точки зрѣнія задача эта сводится къ изысканію основныхъ законовъ коопераціи, то есть фундамента общественной науки. Поэтому мы постараемся представить въ настоящей статьѣ возможно большій рядъ соціологическихъ выводовъ изъ теоріи Дарвина и дать имъ посильную критическую оцѣнку. При этомъ намъ, можетъ быть, не разъ придется по чисто внѣшнимъ причинамъ, въ родѣ тѣхъ, какія мы привели относительно Геккеля, нѣсколько удаляться отъ своей главной темы, не выбиваясь, однако, изъ предѣловъ теоріи Дарвина и ея позднѣйшихъ представителей. Вѣруя и исповѣдуя, что судьба соціологіи существеннымъ образомъ опредѣляется ея связью съ біологіей, мы думаемъ, что попытки приложенія такого широкаго біологическаго обобщенія, какъ теорія Дарвина, къ вопросамъ общественной жизни заслуживаютъ полнаго вниманія. Удачны эти попытки или неудачны—это другой вопросъ. Нѣмецкій переводчикъ книги Дарвина, Броннъ, самъ замѣчательный ученый, спрашиваетъ въ концѣ своего перевода: «какъ ты себя чувствуешь, читатель? Ты обдумываешь, чего эта книга не затронула изъ твоихъ прежнихъ воззрѣній на важнѣйшія явленія природы? что уцѣлѣло изъ твоихъ, доселѣ непоколебимыхъ убѣжденій?» Изъ числа этихъ «прежнихъ воззрѣній» и «доселѣ непоколебимыхъ убѣжденій» мудрено вычеркнуть задачи соціологіи.

Іегеръ извѣстенъ русской публикѣ по «Микроскопическому міру» и, кажется, «Зоологическимъ письмамъ (Zoologische Briefe, Wien, 1860). О Зоологическихъ письмахъ мы еще будемъ имѣть случай говорить, а теперь остановимся надъ небольшой книжкой того же автора, вышедшей въ прошломъ году: «Теорія Дарвина и ея отношеніе къ морали и религіи» (Die Darwin'sche Theorie und ihre Stellung zu Moral und Religion, von Dr. G. Jäger. Stuttgart, 1869). Это рядъ публичныхъ чтеній, изъ которыхъ большая часть посвящена популярному изложенію теоріи Дарвина; ихъ мы не будемъ касаться, для насъ интересны только двѣ послѣднія главы. Имѣющіеся здѣсь выводы и положенія составляютъ, какъ говоритъ въ предисловіи авторъ, извлеченіе изъ его болѣе обширной и еще неоконченной работы по предмету религіи. Іегеръ желаетъ разъяснить два пункта, на которые многіе напираютъ, чтобы уронить въ общественномъ мнѣніи теорію Дарвина, именно: происхожденіе человѣка отъ обезьяны и якобы ниспроверженіе этою теоріею основъ нравственности и общественности.

Первый пунктъ занимаетъ его недолго. Онъ рѣшаетъ его такимъ образомъ: если бы какой нибудь историкъ все свое знаніе убилъ на то, чтобы доказывать, что древніе германцы были варвары, лѣнтяи и пьяницы и что нѣмцы и теперь ни на волосъ не лучше, то, конечно, такой историкъ заслуживалъ бы упрека. Но если онъ, изслѣдуя тѣ способы и пути, которыми кочевые дикари поднялись постепенно на высоту современной культуры, употребляетъ свои изслѣдованія на то, чтобы освѣтить средства и пути дальнѣйшаго прогресса, то онъ заслуживаетъ не упрека, а благодарности. Точно такъ же, если бы дарвинистъ вздумалъ только ругать людей потомками обезьянъ, то онъ былъ бы не правъ и не уменъ. Но за что же его бранить, если онъ, изучая условія, выдвинувшія человѣка изъ животной среды на высоту человѣческаго достоинства и человѣческой разумности, указываетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, какимъ образомъ должны быть комбинированы условія жизни, чтобы и общество, и его члены въ отдѣльности возможно скоро достигли возможной для человѣка высоты развитія?

Разсужденіе это совершенно логично. Дарвинисты, разумѣется, не мальчишки, чтобы «ругаться» обезьянами. Но должно съ сожалѣніемъ сказать, что весьма немногіе изъ послѣдователей теоріи Дарвина указываютъ, какимъ образомъ должны быть комбинированы условія жизни, чтобы люди возможно скоро могли достичь возможно высокой ступени развитія, тогда какъ теорія Дарвина представляетъ обильный источникъ для подобныхъ указаній. Этого рода вопросы какъ бы не существуютъ для большинства біологовъ. Мало того. Рѣшая ихъ только вскользь и мимоходомъ, недостаточно вдумываясь въ ихъ смыслъ и значеніе, біологи (а въ томъ числѣ и большинство дарвинистовъ) не разъясняютъ дѣла, а только запутываютъ его. Такое забвеніе человѣка среди ликованій знанія, среди роскошнаго пира науки, получившей въ лицѣ теоріи Дарвина новыя, широкія и свѣтлыя перспективы, если не извиняется, то объясняется прошедшимъ ученаго сословія. Вотъ какъ жалуется Геккель на современное состояніе науки: «Необыкновенное усиленіе за послѣднее время раздѣленія труда до такой степени децентрализировало всѣ области біологической науки, что зоологовъ и ботаниковъ, въ настоящемъ смыслѣ слова, у насъ весьма мало; вмѣсто нихъ мы имѣемъ, съ одной стороны, мастозоологовъ, орнитологовъ, малакозоологовъ, эн-

томологовъ, мицетологовъ, фикологовъ и пр., а съ другой—гистологовъ, органологовъ, эмбріологовъ, палеонтологовъ и проч.» (Generelle Morphologie, Vorwort XX). Вслѣдствіе всеобщаго пренебреженія къ неизбѣжнымъ философскимъ основаніямъ, въ зоологіи и ботаникѣ господствуетъ такая темнота и такое вавилонское смѣшеніе языковъ, что нелегко условиться въ значеніи самыхъ общихъ и основныхъ понятій. Въ анатоміи и эмбріологіи накоплено множество совершенно лишняго и нѣтъ существенно важнаго» (XXIII). «Большинство естествоиспытателей, занимающихся органическими формами, довольствуются голымъ знаніемъ этихъ формъ; они видятъ ряды безконечно разнообразныхъ формъ, знаютъ внутреннія и внѣшнія морфологическія отношенія животныхъ и растительныхъ организмовъ, восторгаются ихъ красотою, радуются ихъ разнообразію и изумляются ихъ цѣлесообразности; они описываютъ и различаютъ всѣ отдѣльныя формы, надѣляютъ каждую изъ нихъ особымъ именемъ и видятъ въ ихъ систематическомъ расположеніи свою высшую цѣль... Мы слышимъ, правда, пышныя фразы объ исполинскихъ успѣхахъ біологіи и особенно морфологіи; мы знаемъ, съ какимъ самоуслажденіемъ ученые любуются ежегоднымъ количественнымъ приращеніемъ нашихъ зоологическихъ и ботаническихъ знаній... Мы должны открыто заявить, что видимъ въ этомъ исключительно количественномъ приращеніи больше балласта, чѣмъ дѣйствительной пользы. Куча камней не превратится въ зданіе, если вы будете ежегодно увеличивать ее. Напротивъ, тѣмъ труднѣе оріентироваться въ ней, и возведеніе зданія поневолѣ откладывается въ долгій ящикъ» (3—5). Далѣе, Геккель указываетъ на Сциллу и Харибду эксцентрической мысли: метафизическіе туманы, съ одной стороны, и безконечную спеціализацію—съ другой. «Чисто эмпирическіе естествоиспытатели,—говоритъ онъ,—думающіе обогатить науку голымъ открытіемъ новыхъ фактовъ, вносятъ въ нее не болѣе, чѣмъ спекулятивные философы, полагающіе возможнымъ обойти факты и построить природу изъ собственной чистой мысли. Одни—фантазеры-мечтатели, другіе въ лучшемъ случаѣ—простые копировщики природы (Copirmaschinen der Natur). Въ сущности дѣло получаетъ такой видъ, что чистые эмпирики довольствуются неполною и неясною, имъ самимъ невѣдомою философіей, а чистые философы—столь-же неудовлетворительною эмпиріей. Чистый эмпирикъ наваливаетъ безпорядочную груду камней; съ другой стороны, чистый философъ строитъ воздушные замки, невыдерживающіе малѣйшаго дуновенія эмпиріи. Одинъ довольствуется сырымъ матеріаломъ, другой—планомъ зданія» (73). Это говоритъ не дилетантъ, а безспорно одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ современныхъ ученыхъ, котораго, кажется, Бюхнеръ даже приравниваетъ Копернику, на томъ основаніи, что одинъ столь-же сильно расшаталъ антропоцентрическую біологію, какъ другой геоцентрическую астрономію. (Самъ Геккель проводитъ гораздо болѣе удачную параллель между развитіемъ астрономіи и біологіи, именно онъ признаетъ Коперникомъ біологіи Ламарка, а ея Ньютономъ—Дарвина). И, однако, этотъ-же замѣчательный ученый, на себѣ испытавшій выгоды и невыгоды раздѣленія труда въ области мысли и такъ сильно возстающій противъ него, тотъ-же замѣчательный ученый находитъ возможнымъ говорить, напримѣръ, слѣдующее: «Одинъ изъ наиболѣе общихъ сравнительно анатомическихъ законовъ есть великій законъ раздѣленія труда или обособленія (полиморфизмъ или дифференцированіе), законъ, представляющій, какъ *въ человѣческомъ обществѣ*, такъ и въ организаціи отдѣльныхъ животныхъ и растительныхъ недѣлимыхъ, важнѣйшее творческое начало, начало, которымъ обусловливается и увеличивающееся разнообразіе, и дальнѣйшее развитіе органическихъ формъ» (Natürliche Schöpfungsgeschichte, 22). Будемъ надѣяться, что подобныя противорѣчія будутъ встрѣчаться все рѣже и рѣже. Будемъ надѣяться, что не только люди, интересующіеся вопросами общественной жизни, сознаютъ важное для нихъ значеніе низшихъ наукъ и преимущественно біологіи; но, что и господа біологи, покончивъ съ послѣдними результатами раздѣленія труда въ области своей спеціальной науки, покончивъ эти, такъ сказать, свои домашнія дѣла, направятъ свои знанія къ построенію вѣнца наукъ—науки общественной. Будемъ надѣяться, что, какъ говоритъ Вольтеръ, la raison finira par avoir raison и что мостъ отъ науки къ жизни будетъ, наконецъ, перекинутъ.

А пока возьмемъ то, что есть, возьмемъ Густава Іегера. Но прежде вернемся на минуту къ обезьянамъ. Іегеръ говоритъ: «По ученію Дарвина человѣкъ происходитъ отъ обезьяны» (97). Надо замѣтить, что самъ Дарвинъ ни единымъ словомъ не касается этого вопроса; приведенный Іегеромъ выводъ дѣлается другими и дѣлается часто и многими совершенно неосновательно. «Нѣкоторые soi disant послѣдователи Дарвина,—говоритъ іенскій профессоръ Галліеръ (Darwin's Lehre und die Specification. Hamburg. 1885 г., S. 20)—совсѣмъ безсмысленно производятъ человѣка отъ обезьяны и даже отъ какого-либо изъ нынѣ существующихъ видовъ обезьянъ; можно только сказать, что человѣкъ и обезьяна имѣютъ общаго предка, весьма отличнаго отъ нихъ обоихъ, и изъ котораго они развились, какъ двѣ различныя вѣтви родословнаго дерева рядомъ безчисленныхъ промежуточныхъ ступеней».

Единовременное существованіе двухъ данныхъ организмовъ показываетъ только, что они развивались рядомъ, а отнюдь не то, что одинъ изъ нихъ развивался изъ другого. Они могутъ имѣть общаго предка, и тѣмъ не менѣе быть совершенно отличными другъ отъ друга. Галліеръ высказываетъ далѣе мнѣніе, что люди, видящіе въ теоріи Дарвина только теорію непосредственнаго перехода одной формы въ другую, «никогда книги Дарвина не читали».

Переходя къ вопросу объ отношеніи теоріи Дарвина къ религіи и нравственности Іегеръ говоритъ, что вопросъ этотъ сводится къ двумъ: 1) къ вопросу объ отношеніи человѣка къ природѣ. и 2) объ отношеніи человѣка къ человѣку.

Что касается перваго пункта, то каждый видъ вступаетъ въ борьбу за существованіе съ единственной цѣлью самосохраненія и самозащиты. Онъ только тогда достигаетъ возможно высокой ступени развитія и надолго удерживаетъ за собою мѣсто въ природѣ, когда доводитъ до возможной степени напряженности свое враждебное отношеніе къ остальнымъ дѣятелямъ природы. Верховный законъ жизни каждаго даннаго вида есть самосохраненіе и самозащита и, слѣдовательно, практически существуетъ только одна точка зрѣнія для опредѣленія отношеній каждаго вида къ окружающей природѣ, и именно точка зрѣнія «эгоцентрическая», то есть такая, съ которой каждый видъ признаетъ себя средоточіемъ всего хозяйства природы и повинуется только одному завѣту: плодитесь и множитесь, населяйте землю и покоряйте ее. Тому же верховному закону самосохраненія повинуется и человѣкъ, и, слѣдовательно, практическое отношеніе его къ природѣ опредѣляется «антропоцентрическою» точкою зрѣнія, то есть такою, которая выдѣляетъ человѣка изо всей природы, противопоставляетъ его ей. Съ образованіемъ новаго вида, ему, самосохраненія ради, приходится выдерживать сильнѣйшую борьбу съ своими ближайшими родичами, съ тѣми именно, съ которыми онъ, по сходству образа жизни, можетъ конкурирровать. Для одержанія въ этой борьбѣ побѣды, онъ долженъ не только стремиться къ уничтоженію своихъ конкуррентовъ, но и стараться усилить тѣ физическія и духовныя особенности, которыми обусловливается побѣда. Это естественно ведетъ къ углубленію пропасти, отдѣляющей данный видъ отъ ближайшихъ къ нему представителей жизни, чѣмъ постепенно устраняется возможность пониженія уровня развитія, движенія регрессивнаго. Въ приложеніи къ человѣку этотъ Дарвиномъ открытый законъ гласитъ такъ: становись по возможности въ противоположность съ животнымъ міромъ, и преимущественно съ тѣми его формами, которыя наиболѣе къ тебѣ близки; приводи ихъ каждому своему ближнему, какъ страшный примѣръ, какъ нѣчто такое, отъ чего для него обязательно удаляться; развивай тѣ свои физическія и нравственныя особенности, которыми ты отличаешься отъ звѣрей; совершенствуйся постоянно, противополагай себя по возможности остальной природѣ. Словомъ, опять-таки плодитесь и множитесь, населяйте землю и покоряйте ее. Дарвинисты не только признаютъ этотъ библейскій завѣтъ формулою высшаго для органической жизни закона, но съ почтеніемъ преклоняются передъ самою формулою: лучше и выразительнѣе практическія требованія теоріи Дарвина и не могутъ быть формулированы. Только очень глупые и очень недобросовѣстные люди могутъ утверждать, что ученіе Дарвина низводитъ человѣка до звѣринаго образа и стремится практически стереть пограничную черту, проведенную исторіей развитія человѣка между нимъ и низшими формами жизни. Совершенно наоборотъ: Дарвинъ открылъ законъ, побуждающій человѣка къ постоянному усовершенствованію и къ постепенному удаленію отъ чисто животной жизни. И такъ какъ ни одинъ дарвинистъ не пожелаетъ отказаться отъ своихъ человѣческихъ правъ, то онъ и принимаетъ законъ, который, собственно говоря, есть не что иное, какъ формула самыхъ этихъ правъ.

Таковы по Іегеру отношенія человѣка къ природѣ. «Что касается до отношеній человѣка къ человѣку,—разсуждаетъ далѣе Іегеръ,—то дарвинисту предстоитъ здѣсь рѣшить два вопроса. Во-первыхъ, что выгоднѣе съ точки зрѣнія самосохраненія: жизнь въ одиночку или жизнь общественная? И во-вторыхъ, какая изъ формъ общественной жизни съ той-же точки зрѣнія предпочтительнѣе?

Относительно преимуществъ жизни обществомъ дѣло ясно и не требуетъ особенныхъ доказательствъ. Каждый охотникъ знаетъ, какъ трудно приступиться къ животнымъ общественнымъ, такъ какъ здѣсь сотни глазъ устремлены во всѣ стороны. Каждый сельскій хозяинъ знаетъ, какъ безпомощенъ человѣкъ передъ такими врагами, которые, какъ напримѣръ, саранча, набѣгаютъ цѣлыми стаями. Образованіе обществъ было всегда лучшимъ средствомъ и нападенія, и защиты. Корень общества есть семья. Животныя, живущія семьями, отличаются отъ несемейныхъ, во первыхъ, болѣе высокимъ развитіемъ средствъ передачи впечатлѣній, болѣе развитымъ языкомъ жестовъ и звуковъ, и во-вторыхъ, болѣе высокимъ умственнымъ развитіемъ. Забота о подростающемъ поколѣніи вызываетъ массу изумительныхъ хитростей, уловокъ, наклонностей, совершенно ненужныхъ для животныхъ одинокихъ. Подростающее поколѣніе получаетъ, кромѣ своихъ личныхъ опытовъ, еще всю сумму родительскихъ опытовъ педагогиче-

скимъ путемъ. И такимъ образомъ къ борьбѣ за существованіе животныя семейныя оказываются гораздо болѣе подготовленными и изощренными, чѣмъ животныя, такъ сказать, холостыя. А слѣдовательно теорія Дарвина санкціонируетъ семью.

Если молодыя особи, по окончаніи воспитанія, не удаляются отъ родительской пары, семья разростается въ общество. Общество можетъ быть двухъ родовъ и различеніе ихъ чрезвычайно важно, такъ какъ одинъ видъ общественной жизни, который Іегеръ называетъ органическимъ, способствуетъ, по его мнѣнію, возвышенію умственнаго развитія, этого важнѣйшаго орудія человѣка въ борьбѣ за существованіе, а другой, который онъ называетъ коммунистическимъ, этимъ свойствомъ не обладаетъ. Во избѣжаніе неточности, мы приведемъ его очеркъ «коммунистическаго» общества прямо въ переводѣ:

«Въ коммунистической формѣ выступаютъ только тѣ выгоды общежитія, которыя обусловливаются количествомъ членовъ и сосредоточеніемъ многихъ силъ по направленію къ одной общей цѣли: защиты или нападенія. Однако, самое это обстоятельство снимаетъ съ отдѣльныхъ членовъ общества часть труда, который имъ пришлось бы затратить для самозащиты, *неизбѣжнымъ слѣдствіемъ чего является приниженіе нѣкоторыхъ способностей и упадокъ энергіи чувства самосохраненія* (курсивъ въ подлинникѣ) Я приведу только одинъ примѣръ, именно судьбу чувства зрѣнія. Тамъ, гдѣ сотни глазъ единовременно направлены во всѣ стороны, каждой отдѣльной особи нѣтъ никакой надобности сосредоточивать свое вниманіе на приближеніи врага: стадо можетъ предоставлять это дѣло случаю, какъ это и бываетъ въ дѣйствительности, хотя, конечно, иногда и ставятся особые сторожа. И результатомъ такого недостатка изощренія бываетъ извѣстное отупѣніе, ослабленіе умственныхъ силъ. Я не могу удержаться, чтобы не осудить здѣсь съ точки зрѣнія сравнительной зоологіи нынѣ вновь поднимающіяся коммунистическія идеи. Кто желаетъ низвести людей до коммунистической формы общежитія, то есть низвести до положенія стада барановъ, тотъ желаетъ довести и отдѣльныхъ членовъ общества до характера организаціи барановъ. При этомъ нужно имѣть въ виду не только ослабляющее вліяніе неупотребленія органовъ защиты, но и обстоятельства, о которыхъ мы упоминали выше, говоря о воспитаніи дѣтенышей. Въ вопросѣ о коммунизмѣ собственность играетъ такую же роль, какъ въ жизни животныхъ дѣтеныши, для защиты которыхъ они должны развивать и совершенствовать всѣ свои физическія и духовныя силы. Здѣсь можно провести еще одну зоологическую параллель. Изъ млекопитающихъ наиболѣе тупы, наименѣе развиты тѣ, которыя таскаютъ своихъ дѣтенышей при себѣ, въ сумкахъ, и довольствуются самыми нехитрыми заботами о нихъ. Они во всѣхъ отношеніяхъ ниже тѣхъ, которымъ приходится испытывать при кормленіи и воспитаніи молодого поколѣнія, болѣе сложныя затрудненія. Такимъ образомъ, если отнять у людей заботу о собственности, они, въ сравненіи съ тѣми, кто на такую глупость не согласится, немедленно спустятся до той степени, на которой въ ряду млекопитающихъ стоятъ сумчатыя» (914).

Коммунистической формѣ общежитія противополагается органическая. Творческимъ началомъ въ этой послѣдней является «единственный естественный, то есть во всѣхъ животныхъ и растительныхъ организмахъ дѣйствующій, принципъ раздѣленія труда». Преимущества этого вида коопераціи многочисленны. Мы опять приведемъ собственныя слова Іегера: «Какъ я уже сказалъ въ первомъ чтеніи, организація животнаго или растительнаго недѣлимаго основывается на томъ, что извѣстныя группы клѣточекъ соединяются для образованіе орудій въ борьбѣ за существованіе всей совокупности клѣточекъ; однѣ берутъ на себя трудъ питанія, другія—воспріятія впечатлѣній, третьи—передвиженія и т. д. Очевидно, что чѣмъ больше число этихъ орудій, чѣмъ богаче арсеналъ, предназначенный для нападенія и защиты, тѣмъ организмъ способнѣе къ одержанію побѣды. Что̀ справедливо для организма, который мы называемъ животнымъ или растительнымъ недѣлимымъ, то справедливо и для общественной совокупности отдѣльныхъ животныхъ» (105). Какъ примѣръ этого особенно благопріятнаго положенія общества, построеннаго на принципѣ раздѣленія труда, Іегеръ приводитъ государство муравьевъ. Кромѣ этого умноженія орудій, необходимыхъ въ борьбѣ за существованіе, раздѣленіе труда представляетъ и другія преимущества. Только оно можетъ дать удовлетвореніе индивидуальнымъ особенностямъ, тогда какъ въ обществѣ, построенномъ на противоположномъ началѣ, можетъ оказаться пригоднымъ только одинъ какой-нибудь видъ индивидуальныхъ особенностей; всѣ остальныя должны погибнуть. Поэтому населеніе общества по типу раздѣльнаго труда можетъ возрастать гораздо скорѣе, а слѣдовательно, окажется въ борьбѣ за существованіе сильнѣе.

Но,—продолжаетъ свой обзоръ Іегеръ,—раздѣленіе труда выгодно не только для цѣлаго общества, а и для каждаго изъ его членовъ въ отдѣльности. Чѣмъ уже и спеціальнѣе область труда, избранная человѣкомъ, тѣмъ легче онъ можетъ въ ней освоиться и тѣмъ сильнѣе разовьетъ соотвѣтствующую способность. Правда,—замѣчаетъ авторъ,—«an und für

sich» такая односторонность развитія можетъ повлечь за собою нѣкоторые неблагопріятные результаты, и именно парализовать въ извѣстной степени независимость. Но это не бѣда, потому что такимъ образомъ прочнѣе устанавливаются общественныя связи, ибо человѣкъ не можетъ удалиться изъ общества. При томъ же принципъ раздѣленія труда имѣетъ тенденцію открывать, рядомъ съ переполненными уже и занятыми сферами труда, все новыя и новыя его области. Такимъ образомъ, чѣмъ общество богаче разнообразіемъ, чѣмъ оно болѣе расчленено, тѣмъ богаче для каждаго его члена выборъ занятій. Онъ можетъ свободно выбрать тотъ именно родъ занятій, который наиболѣе соотвѣтствуетъ личнымъ его особенностямъ, и вотъ новое благодѣяніе раздѣленія труда— свобода. Далѣе каждый членъ общества по типу раздѣльнаго труда избавленъ отъ необходимости нести на себѣ другія отрасли труда, ибо при раздѣленіи труда каждый работаетъ не только для себя, а и для другихъ. Каждый можетъ на извѣстное время отдохнуть отъ борьбы за существованіе, слѣдствіемъ чего являются искусство, поэзія и другія тонкія наслажденія жизнью.

Іегеръ резюмируетъ свои выводы такъ: «По воззрѣніямъ дарвинистовъ, высшій законъ и основное условіе общественной жизни есть любовь къ ближнему, и внутри общества не должно быть иной борьбы за существованіе, кромѣ той, которая ведетъ къ раздѣленію труда. Дарвиновскій терминъ «борьба за существованіе» не есть призывъ къ возстановленію кулачнаго права. Борьба за существованіе неограниченна по отношенію къ остальной природѣ, и здѣсь кулачное право на своемъ мѣстѣ; но борьба между человѣкомъ и человѣкомъ ограничена общественною жизнью, принципомъ любви къ ближнему. Дарвинизмъ стоитъ за укрѣпленіе брачныхъ и семейныхъ узъ, какъ корней общественной жизни; онъ стоитъ за общество противъ эгоизма; онъ ставитъ общее благо выше правъ отдѣльныхъ личностей и требуетъ отъ отдѣльныхъ лицъ такой дѣятельности, которая соотвѣтствовала бы общему благу, требуетъ отъ нихъ даже отреченія отъ пріобрѣтенныхъ ими правъ, если они оказываются несовмѣстными съ общимъ благомъ. Дарвинизмъ становится на сторону собственности и противъ коммунистическихъ мечтаній. Онъ требуетъ возможно болѣе рѣзкаго раздѣленія труда, въ томъ убѣжденіи, что отъ этого выигрываютъ и общество, и его отдѣльные члены, ибо общество только тогда благоденствуетъ, когда члены его находятся на высшей ступени развитія. Я думаю, что послѣ сказаннаго никто не вздумаетъ повторять безсмысленную фразу, что теорія Дарвина есть ученіе противогосударственное и противообщественное» (109).

Затѣмъ слѣдуютъ выводы религіозные, которые мы пока оставимъ, чтобы оглянуться назадъ. Мы привели весь рядъ разсужденій Іегера въ видѣ, весьма близкомъ къ подлиннику, стараясь не проронить ничего; читатель найдетъ, быть можетъ, что приведенные выводы и доводы не заслуживаютъ никакого вниманія, но это будетъ не совсѣмъ справедливо. Конечно, an und für sich эти выводы и доводы особенной драгоцѣнности не составляютъ, но они любопытны, какъ одна изъ первыхъ и немногихъ попытокъ приложенія теоріи Дарвина къ рѣшенію вопросовъ экономическихъ и этическихъ. Очевидная крайняя бѣглость и поверхностность всего построенія Іегера избавляетъ насъ отъ обязанности тщательнаго и подробнаго разсмотрѣнія его, но представить его читателю мы тѣмъ не менѣе считали дѣломъ не лишнимъ. При томъ же въ основаніи взглядовъ Іегера лежитъ несомнѣнная истина, не говоря уже о благомъ намѣреніи автора защитить теорію Дарвина отъ безсмысленныхъ инсинуацій. Іегеру мы должны быть благодарны за то, что онъ возымѣлъ это намѣреніе, хотя бы приведеніе его въ исполненіе оказалось еще болѣе неудачнымъ. Когда является какое-нибудь широкое ученіе, подрывающее ходячія воззрѣнія на данный предметъ и ошеломляющее толпу не столько своей новизной (ничто не ново подъ луною, не нова и теорія Дарвина), сколько своею законченностью и готовностью отразить всѣ противорѣчащіе научные доводы, тогда поднимаются инсинуаціи. Все принятое на вѣру держится въ умахъ очень крѣпко именно потому, что оно принято на вѣру, чѣмъ затрудняется повѣрка воззрѣній. Если я дошелъ до извѣстнаго убѣжденія строго-научнымъ путемъ, т. е. путемъ обобщенія единичныхъ, опытомъ и наблюденіемъ уясненныхъ фактовъ, или путемъ вывода изъ такого обобщенія, то для меня не представляется никакихъ затрудненій (кромѣ развѣ чисто техническихъ) во второй, въ третій разъ пересмотрѣть каждый винтъ и каждое колесо этого логическаго механизма. Я могу повторить опыты и наблюденія, провѣрить обобщеніе, пересмотрѣть выводъ. Я знаю, откуда я вышелъ и какъ, какими путями и станціями дошелъ. Получить убѣжденіе на вѣру, съ другой стороны, значитъ именно не знать этихъ путей и станцій, а между тѣмъ убѣжденіе существуетъ и вычеркнуть его такъ же трудно, какъ трудно лѣчить болѣзнь, ходъ развитія которой неизвѣстенъ. Какая-нибудь счастливая и совершенно неожиданная случайность можетъ, правда, явиться на выручку, но это исключеніе, на которое нельзя разсчитывать. Вообще же говоря, убѣжденіе, корни котораго обладателю убѣжденія неизвѣстны, будетъ непремѣн-

но бороться за свое существованіе всѣми средствами и оружіями, какія попадутся подъ руку. Если научныя средства иссякнутъ — вопросъ переносится на иную почву, на почву неблагонадежности въ религіозномъ, гражданскомъ или нравственномъ отношеніи. Такъ было всегда, и безъ сомнѣнія такой порядокъ вещей продолжится до тѣхъ поръ, пока будутъ существовать убѣжденія, полученныя на вѣру. Такъ и теорія Дарвина встрѣтила цѣлую массу упрековъ не только въ научной несостоятельности, — этого рода упреки дарвинизму разлетаются съ замѣчательною быстротою,—а и въ томъ, что ею подрываются основы общества и нравственности. Игнорировать эти упреки и инсинуаціи, смотрѣть на нихъ, какъ на нѣчто совершенно ничтожное и имѣющее своевременно исчезнуть, дѣйствовать или, лучше сказать, бездѣйствовать такимъ образомъ крайне неблагоразумно. Инсинуаціи всегда и вездѣ встрѣчали и встрѣчаютъ сочувствіе, потому что большинство людей не легко разстается съ привычнымъ знаменемъ, хотя бы знамя это давно уже превратилось въ грязную и оборванную ветошку. Поэтому оставлять инсинуаціи въ покоѣ—значитъ тормозить движеніе мысли, суживать сферу вліянія новаго ученія. Геккель замѣчаетъ, что Дарвинъ не сдѣлалъ многихъ невольно напрашивающихся выводовъ изъ его теоріи, логически изъ нея вытекающихъ, только для того, чтобы ученіе его могло свободнѣе пройти и встрѣтило бы какъ можно менѣе препятствій. Такой образъ дѣйствія, если Дарвинъ дѣйствительно имѣлъ это обстоятельство въ виду, едва-ли можетъ быть оправданъ теоретически, а практика его уже осудила: упреки и инсинуаціи, что могли, то взяли. Во-первыхъ, всегда найдутся запальчивые и увлекающіеся послѣдователи, которые выжмутъ изъ ученія весь сокъ и сдѣлаютъ это, по всей вѣроятности, гораздо менѣе удачно, чѣмъ могъ бы сдѣлать самъ основатель ученія. Во-вторыхъ, въ обширномъ лагерѣ инсинуаторовъ всегда найдется хоть одинъ человѣкъ съ нюхомъ, достаточно сильнымъ для того, чтобы дочитать недописанное. А одинъ такой человѣкъ есть уже цѣлый легіонъ: извѣстно, что стоитъ только одному соловью запѣть, и вся роща огласится восхитительными звуками. Давно уже сказано, что хотя голосовъ на божьемъ свѣтѣ и немного, но за то эхо дѣвать некуда. Конечно, Галилеямъ сплошь и рядомъ приходится говорить свое «e pur si muove!» про себя, «въ сторону». Но если научная теорія уличается въ безнравственности и противообщественности, то во избѣжаніе невѣрныхъ толкованій самое лучшее—представить тѣ соціологическіе выводы, которые изъ нея дѣйствительно вытекаютъ, а не навязываются ей ея противниками. Такъ и дѣлаетъ Іегеръ.

Вѣрность исходной точки Іегера не подлежитъ для насъ ни малѣйшему сомнѣнію, и мы и сами ее высказывали. Она непосредственно примыкаетъ къ теоріи Дарвина. Въ природѣ идетъ вѣчная, безустанная и повсемѣстная борьба за существованіе. Слабые организмы или, вѣрнѣе, организмы, сравнительно мало приспособленные къ средѣ, гибнутъ, сильные губятъ. Природа—безконтрольное царство тупой силы. Природа —bellum omnium contra omnes. Ежеминутно совершаются въ ней милліоны насильственныхъ смертей, милліоны, съ человѣческой точки зрѣнія, страшныхъ и позорныхъ преступленій. Говоря о томъ изумительномъ, хотя и общеизвѣстномъ фактѣ, что муравьи имѣютъ въ лицѣ тли свой дойный скотъ и что операція доенія совершается какъ бы по взаимному соглашенію между тлею и муравьями, Дарвинъ замѣчаетъ, что подобныя явленія не доказываютъ, «чтобы какое-либо животное въ мірѣ совершало какое либо дѣйствіе исключительно на благо животнаго иного вида»; они показываютъ только, что «каждый видъ пытается воспользоваться инстинктами другихъ видовъ, какъ каждый пользуется тѣлесною слабостью прочихъ» (О происхожденіи видовъ. Спб. 1864, стр. 171). Поэтому практически взаимныя отношенія между всѣми индивидуализированными дѣятелями природы дѣйствительно опредѣляются «эгоцентрическою» точкою зрѣнія. Законъ борьбы за существованіе есть распространеніе на всю природу не столько теоріи Мальтуса, сколько теорій Гоббза, Пуффендорфа, Мандевиля и проч. Это, говоря языкомъ Канта, велѣніе практическаго разума, категорическій императивъ для каждаго недѣлимаго. И человѣкъ не изъятъ изъ дѣйствія этого всемогущаго закона. И онъ борется на жизнь и смерть, и либо падаетъ въ этой борьбѣ, либо побѣждаетъ. Эксцентрики-идеалисты, высылающіе человѣка за границу природы, не могутъ съ этимъ согласиться. Имъ жалко разстаться съ нагроможденными ими теоріями врожденныхъ хорошихъ чувствъ и идей. Они думаютъ или, по крайней мѣрѣ, говорятъ, что, введя человѣка въ границы природы, придется отказаться отъ всего, что составляетъ красу человѣчества. Но за этимъ несогласіемъ якобы унизить человѣка скрывается цѣлая бездна либо лицемѣрія, либо трусости и какой-то пришибленности мысли. Вотъ что говоритъ Кузенъ, человѣкъ немало потрудившійся на поприщѣ изгнанія человѣка за границу природы *). «Война коренится въ природѣ идей различныхъ народовъ, которыя будучи по необходимости идеями частными, ограниченными, исключительными, по необходимости враждебны, хищ-

*) Я не помню, откуда именно я сдѣлалъ эту выписку, но знаю, что это слова Кузена.

ны, завоевательны». Война неизбѣжна, а потому побѣда не только «необходима и полезна», а и справедлива «въ самомъ тѣсномъ смыслѣ слова». «Вооружаться противъ побѣдителя—значитъ вооружаться противъ человѣчества, противъ прогресса цивилизаціи». Побѣжденный «заслуживаетъ своей участи, ибо побѣдитель лучше, нравственнѣе побѣжденнаго и только поэтому онъ и побѣдитель». Что же касается до всей массы жертвъ, которыми сопровождается всякая побѣда, то «знайте, что не побѣдителя надо въ этомъ винить, а Провидѣніе, даровавшее ему побѣду. Пора философіи исторіи перешагнуть черезъ филантропическое декламаторство». Признакъ великаго человѣка—«успѣхъ», великимъ воиномъ можно быть «только подъ условіемъ полученія великихъ успѣховъ, то-есть опять-таки, надо говорить прямо, онъ долженъ произвести страшныя опустошенія на землѣ» (faire d'épouvantables ravages sur la terre). Стоило ли выгонять человѣка за границу природы, чтобы привести его тамъ къ столь нехитрымъ рѣшеніямъ! Теорія Дарвина показываетъ, что эта сторона кузеновскаго идеала прекрасно вмѣщается въ границахъ природы; хотя дарвинизмъ и не помышляетъ ввести ее въ границы человѣческаго общества.

Er nennt's Vernunft und braucht's allein
Um thierischer als jedes Thier zu sein!

Найдутся, можетъ быть, и между послѣдователями Дарвина такіе, которые добѣгутъ до подобныхъ словоизверженій. Но они будутъ, по крайней мѣрѣ, ссылаться не на «всеблагое» Провидѣніе, а на слѣпую силу природы, силу неразумную и нецѣлесообразную. Найдется далѣе еще бóльшее число такихъ дарвинистовъ, которые, исходя изъ своей теоріи, придутъ совершенно послѣдовательно къ діаметрально-противоположнымъ рѣшеніямъ. А доживи Кузенъ до нашихъ дней, онъ былъ бы, вѣроятно, однимъ изъ яростнѣйшихъ противниковъ теоріи Дарвина: онъ увидалъ бы въ ней, вѣроятно, окончательное погребеніе «du Vrai, du Bien et du Beau». Такимъ образомъ отсылка человѣка за границу природы въ качествѣ «вѣнца творенія» не мѣшаетъ требованію d'épouvantables ravages sur la terre во имя прогресса и цивилизаціи, и не только не мѣшаетъ, а помогаетъ. Съ другой стороны, убѣжденіе, что человѣкъ есть такой же дѣятель природы, какъ и майскій хрущъ (Іегеръ), хотя и стоящій на неизмѣримо болѣе высокой ступени развитія, это убѣжденіе не мѣшаетъ требованію «любви къ ближнему»; и опять-таки вѣра въ обязательность для человѣка закона борьбы за существованіе не только не мѣшаетъ этому, а еще помогаетъ. Болѣе подробное развитіе этой любопытной параллели мы откладываемъ до другого раза, когда намъ придется говорить о соображеніяхъ болѣе обстоятельныхъ и замѣчательныхъ, чѣмъ соображенія Іегера. Параллель эта можетъ быть проведена черезъ всю исторію человѣческой мысли. Не только отдѣльныя личности, ставящія человѣка теоретически на недосягаемую высоту надъ природой, практически низводятъ его даже ниже уровня этой природы, тогда какъ противники ихъ, будучи теоретически реалистами,—практически оказываются идеалистами; но и цѣлые историческіе періоды окрашены одною изъ этихъ двуличневыхъ красокъ. Конечно, сложность отношеній можетъ иногда временно сбивать это нормальное теченіе, но это не мѣшаетъ ему оставаться нормальнымъ.

Теоретическое біологическое сближеніе человѣка съ природою предписываетъ практическое, соціологическое удаленіе отъ нея. Такова исходная точка Іегера. Въ главѣ о религіи онъ редижируетъ эту формулу такимъ образомъ: въ наукѣ о природѣ слѣдуетъ употреблять методъ объективный, въ вопросахъ общественныхъ—субъективный. Мы обѣими руками подписываемъ эти положенія. Надо, однако, сказать, что не только аргументація Іегера крайне плоха, но залетѣвшія къ нему случайно вѣрныя мысли получаютъ даже до невѣроятности дикую обработку. Глава о религіи особенно дика, но читатель можетъ это видѣть уже и изъ приведенной нами части его разсужденій. Слѣдуетъ, во-первыхъ, замѣтить, что видъ, какъ единица абстрактная, своего ego не имѣетъ; претендовать на него можетъ только конкретная единица—недѣлимое, а потому объ «эгоцентрической» точкѣ зрѣнія какого бы то ни было вида не можетъ быть и рѣчи. Дѣйствія любого организма управляются интересами не вида, а его собственными, личными, индивидуальными. Только при извѣстныхъ условіяхъ интересы недѣлимаго могутъ совпасть съ интересами вида и расширить личное *я* недѣлимаго, сдѣлать его видовымъ *я*. Но общее правило таково, что между представителями одного и того же вида идетъ сильнѣйшая борьба за существованіе; такъ какъ они требуютъ для поддержанія своего существованія однихъ и тѣхъ же условій, то естественно, что недостатокъ наличнаго запаса этихъ условій непремѣнно разжигаетъ между ними борьбу. Борьба эта парализуется только коопераціей. Только она можетъ раздвинуть предѣлы индивидуальнаго *я*, направивъ совокупныя усилія кооперирующихъ на борьбу съ внѣшнимъ міромъ, при чемъ борьба между кооперирующими, борьба внутри общества становится дѣломъ не только неполезнымъ, а и прямо невыгоднымъ, вреднымъ. Придавъ эгоцентрическую точку зрѣнія цѣлому виду, единицѣ абстрактной и постоянно колеблющейся, Іегеръ въ своихъ дальнѣйшихъ соображеніяхъ уже совершенно запутывается и приходитъ къ

самымъ дикимъ и нелѣпымъ заключеніямъ. Нечего, кажется, и говорить, что его очеркъ «коммунистическаго общежитія» не имѣетъ никакого смысла. Не совсѣмъ даже легко догадаться, о чемъ тутъ собственно рѣчь идетъ, не говоря уже о безднѣ противорѣчій на пространствѣ нѣсколькихъ строкъ. Эти нѣсколько строкъ напомнили намъ знаменитый афоризмъ добряка Смайльса, утверждающаго, что «хорошія учрежденія» не только не составляютъ чего-либо въ общественной жизни важнаго, но могли бы имѣть, если бы явились на бѣломъ свѣтѣ, весьма неблагопріятные результаты. Этотъ добрякъ очень негодуетъ на людей, которые хотятъ «выстроить насъ въ параллелограммы и довести до совершенства посредствомъ отреченія отъ всякой надежды, борьбы, препятствій —отъ всего того, что до сихъ поръ способствовало формировкѣ человѣка» («Самодѣятельность»). Іегеръ, повидимому, также полагаетъ, что обстоятельства, до сихъ поръ способствовавшія формировкѣ человѣка, никоимъ образомъ не должны быть сданы на руки исторіи и замѣнены иными. Во всякомъ случаѣ очевидно, что это почтенный нѣмецкій профессоръ, надѣвающій на ночь колпакъ и терпѣть не могущій коммунистовъ, о которыхъ, впрочемъ, имѣетъ представленіе довольно туманное. Это можно видѣть уже изъ того, что онъ противополагаетъ «органической» формѣ общежитія форму «коммунистическую». Не говоря уже о томъ, что онъ выставляетъ достойнымъ подражанія образцомъ органическаго общежитія общину муравьевъ, хоторая хотя и дѣйствительно построена на очень ярко обозначенномъ принципѣ раздѣленія труда, но вмѣстѣ съ тѣмъ представляетъ общество, знающее только государственную собственность; не говоря уже объ этомъ, принципу раздѣленія труда можетъ быть по законамъ логики противопоставленъ только соизмѣримый съ нимъ принципъ простого сотрудничества. Можно разсуждать, что́ удобнѣе—широкое пальто или узкое пальто, но законами здраваго смысла возбраняется сравнивать широкое пальто съ узкими брюками. Итакъ, оставимъ коммунизмъ въ покоѣ и будемъ сравнивать принципы простого и сложнаго сотрудничества.

Подобно большинству біологовъ и экономистовъ (если не всѣмъ біологамъ и экономистамъ), Іегеръ отождествляетъ раздѣленіе труда физіологическое и раздѣленіе труда экономическое. Фактъ этого повальнаго заблужденія безъ сомнѣнія заставитъ сильно призадуматься будущаго историка науки, но за то и объяснитъ ему вѣроятно многое. Дѣйствительно, это фактъ поистинѣ изумительный, и по степени изумительности едва-ли найдется ему много равныхъ въ исторіи человѣческой мысли. Что предки наши вѣрили, что солнце обращается вокругъ земли, а не земля около солнца,—это понятно: предки наши были люди необразованные, а зрѣніе имъ говорило, что солнце, дѣйствительно, вертится около земли. Что люди, даже ученые вѣрили, что «видовъ столько, сколько было ихъ создано въ началѣ» (Линней), — это опять-таки понятно: палеонтологіи не было, фактовъ подъ руками было недостаточно, никто образованія новаго вида своими глазами не видалъ. Взгляды большинства не просто образованныхъ, а ученыхъ людей на законъ раздѣленія труда представляютъ явленіе, гораздо болѣе странное и гораздо труднѣе объяснимое. Мы видимъ цѣлую массу людей, между которыми есть звѣзды наипервѣйшей величины, которыми справедливо гордятся и наука, и философія, которые имѣютъ въ своемъ распоряженіи огромные запасы фактическихъ знаній, которые, далѣе, изощрили свой умъ на самыхъ тонкихъ логическихъ упражненіяхъ; и вся эта масса хоромъ утверждаетъ: дважды два—четыре, а потому и дважды четыре тоже четыре. Что можетъ быть изумительнѣе такого зрѣлища? Мы не преувеличиваемъ. Послушайте, что говоритъ хоть тотъ же Іегеръ, правда, звѣзда не первой величины, но и не послѣдняя спица въ колесницѣ. При томъ же и звѣзды первой величины говорятъ то же и тѣми же словами. «Организація животнаго или растительнаго недѣлимаго основывается на томъ, что извѣстныя группы клѣточекъ соединяются для образованія орудій въ борьбѣ за существованіе всей совокупности клѣточекъ; однѣ берутъ на себя трудъ питанія другія—воспріятія впечатлѣній, третьи—передвиженія и т. д. Очевидно, что чѣмъ больше число этихъ орудій, чѣмъ богаче арсеналъ, предназначенный для нападенія и защиты, тѣмъ организмъ способнѣе къ одержанію побѣды».—Вотъ вамъ дважды два четыре. Дальше: «что справедливо для организма, который мы называемъ животнымъ или растительнымъ недѣлимымъ, то справедливо и для общественной совокупности отдѣльныхъ животныхъ». — Развѣ это не «дважды четыре тоже четыре»? Развѣ не очевидно до послѣдней степени, не ясно, какъ божій день, что если въ обществѣ, подобно тому, какъ въ организмѣ группы клѣточекъ, одно недѣлимое возьметъ на себя трудъ питанія, другое—воспріятія впечатлѣній, третье—передвиженія и т. д., развѣ не ясно, что въ этомъ случаѣ арсеналъ каждаго изъ нихъ станетъ не богаче, а бѣднѣе, чѣмъ если бы каждый изъ нихъ совершалъ всѣ эти отправленія? Гёте говоритъ: «чѣмъ существо несовершеннѣе, тѣмъ болѣе сходны между собою его части и тѣмъ болѣе сходны онѣ съ цѣлымъ. Чѣмъ совершеннѣе существо, тѣмъ болѣе части его разнятся одна отъ другой. Чѣмъ сходнѣе эти части, тѣмъ менѣе онѣ

подчинены другъ другу. Подчиненіе частей есть признакъ совершенства творенія». Слова эти (гдѣ Гёте разумѣетъ и общество) *) съ особенною любовью цитирируются біологами (Геккель—«Generelle Morphologie», Вирховъ—«Atomen und Individuen», Спенсеръ и проч.). А между тѣмъ распространеніе этого воззрѣнія на человѣческое общество есть очевидное «дважды четыре тоже четыре». Человѣкъ тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ разнообразнѣе его составъ, чѣмъ разнообразнѣе его отправленія. Слѣдовательно, общество тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ болѣе широкій просторъ предоставляетъ его укладъ многостороннему, а не одностороннему развитію отдѣльныхъ членовъ. Слѣдовательно, общество тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ сходнѣе между собою его части и чѣмъ менѣе онѣ подчинены другъ другу. Отчего люди ученые, люди мыслящіе, люди, которымъ звѣздная книга ясна, съ которыми говоритъ морская волна, не понимаютъ такой простой истины? Мудрый Эдипъ, разрѣши! Никогда еще, быть можетъ, истина не представлялась въ столь простомъ и обнаженномъ видѣ и никогда, можетъ быть, люди не отворачивались отъ нея столь упорно, какъ бы стыдясь ея наготы. До сихъ поръ это обобщеніе раздѣленія труда физіологическаго и экономическаго есть едва-ли не самая крупная и безспорно самая распространенная попытка связать біологію съ соціологіей; и мы твердо убѣждены, что пока этотъ пунктъ не будетъ надлежащимъ образомъ установленъ, разумная связь соціологіи и біологіи немыслима, а слѣдовательно, немыслима и соціологія. Намъ могутъ замѣтить, что сторонники раздѣленія труда ставятъ вопросъ совсѣмъ не такъ, какъ мы это дѣлаемъ, что они ничего не говорятъ о судьбѣ недѣлимаго въ обществѣ, что они берутъ за центръ изслѣдованія самое общество, юридическую личность, и утверждаютъ, что оно, общество, выигрываетъ отъ раздѣленія труда. На это мы отвѣчаемъ, что въ этой постановкѣ вопроса и заключается корень заблужденія. Кто видѣлъ эту юридическую личность? кто говорилъ съ нею? Кому она разсказывала о своихъ страданіяхъ и наслажденіяхъ, о своихъ желаніяхъ и нежеланіяхъ, надеждахъ и отчаяніи? Кому она пѣла свои пѣсни, кому посылала свои проклятія?—Однако, раздѣленіе труда въ обществѣ фактъ?—Фактъ, такой же фактъ, какъ и физіологическое раздѣленіе труда. Ставьте ихъ рядомъ, но не спиной другъ къ другу, а лицомъ къ лицу. Пусть каждый видитъ, какъ они между собою относятся, въ какой между собою находятся зависимости. Собственно говоря, несправедливо и то, что сторонники раздѣленія труда имѣютъ въ виду только юридическую, идеальную личность общества. Они ничего не имѣютъ въ виду и только путаются въ понятіяхъ и словахъ. «Общество,—говоритъ Спенсеръ,—составляется изъ отдѣльныхъ личностей; все, что сдѣлано въ обществѣ, сдѣлано соединеннымъ дѣйствіемъ отдѣльныхъ личностей и, слѣдовательно, только дѣйствія отдѣльныхъ личностей могутъ дать ключъ къ разрѣшенію соціальныхъ явленій. Но дѣйствія отдѣльныхъ лицъ зависятъ отъ законовъ ихъ натуръ и, слѣдовательно, не могутъ быть поняты, пока не поняты эти законы. Законы же эти, если свести ихъ къ простѣйшему ихъ выраженію, оказываются результатомъ общихъ законовъ ума и тѣла. Изъ этого слѣдуетъ, что біологія и психологія необходимы какъ толкователи соціологіи, или—говоря еще проще: всѣ соціальныя явленія суть явленія жизни, суть самыя сложныя проявленія жизни, должны сообразоваться съ законами жизни и могутъ быть поняты тогда, когда поняты законы жизни» («Умственное, нравственное и физическое воспитаніе», 47 стр.). Физіологическое раздѣленіе труда есть законъ жизни. Понятъ ли онъ былъ Спенсеромъ, если онъ нашелъ возможнымъ признать экономическое раздѣленіе труда продолженіемъ физіологическаго, тогда какъ на самомъ дѣлѣ первое представляетъ похороны послѣдняго, а послѣднее—похороны перваго? «Дарвинизмъ,—говоритъ Іегеръ, требуетъ возможно болѣе рѣзкаго раздѣленія труда, въ томъ убѣжденіи, что отъ этого выигрываютъ и общество, и его отдѣльные члены, ибо общество только тогда благоденствуетъ, когда члены его находятся на высшей ступени развитія. Я думаю, что послѣ сказаннаго никто не вздумаетъ повторять безсмысленную фразу, что теорія Дарвина есть ученіе противогосударственное и противообщественное». Легко можетъ быть, что безсмысленная фраза будетъ повторяться и «послѣ сказаннаго». Но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, что и въ самомъ «сказанномъ» есть безсмысленныя фразы, а такова и вышеприведенная. Очевидно, что тутъ дѣло даже

*) «Die Pflanze geht von Knoten zu Knoten und schliesst zuletzt ab mit der Blüthe und dem Samen. In der Thierwelt ist es nichts anders. Die Raupe, der Bandwurm geht von Knoten zu Knoten und bildet zuletzt einen Kopf; bei den höher stehenden Thieren und Menschen sind es die Wirbelknochen, die sich anfügen und anfügen, und mit dem Kopfe abschliessen, in welchem sich die Kräfte concentrieren. Was so bei einzelnen geschieht, geschieht auch bei ganzen Corporationen. Die Bienen, auch eine Reihe von Einzelheiten, die sich an einander schliessen, bringen als Gesammtheit etwas hervor, das auch den Schluss macht und als Kopf des Ganzen anzusehen ist, die Bienenkönigin. Wie dieses geschieht, ist geheimnissvoll, schwer auszusprechen; aber ich könnte sagen, dass ich darüber meine Gedanken habe. So bringt ein Volk seine Helden hervor, die gleich Halbgöttern zu Schutz und Heil an der Spitze stehen» (Eckermann, Gespräche mit Göthe. 1837. II. 65).

и не въ юридической личности, а просто въ путаницѣ. Іегеръ признаетъ, что недѣлимое тѣмъ выше по развитію, чѣмъ многостороннѣе въ немъ совершается физіологическая работа, чѣмъ, какъ онъ выражается, его арсеналъ разнообразнѣе. Въ обществѣ «органическомъ», т. е. въ коопераціи по типу раздѣльнаго труда, арсеналъ этотъ не оставляется въ распоряженіи одного недѣлимаго, а раздается по частямъ всѣмъ членамъ: одинъ получаетъ одно оружіе, другой—другое и т. д. Ясно-ли, что каждый изъ нихъ обѣднѣлъ относительно разнообразія оружія, т. е. уровень его развитія понизился? И, однако, по Іегеру выходитъ, что тутъ-то именно онъ и находится на высшей ступени развитія. Опять-таки, развѣ это не «дважды два четыре и дважды четыре тоже четыре»? Мы не думаемъ утверждать, чтобы первобытное состояніе людей было выше того, котораго они достигли теперь, хотя въ этомъ движеніи раздѣленіе труда играло значительнѣйшую роль. Мы только сопоставляемъ принципы физіологическаго и экономическаго раздѣленія труда, какъ сопоставляетъ ихъ и Іегеръ, и не можемъ не изумляться той едва вѣроятной слѣпотѣ, съ которою онъ, какъ и всѣ біологи, сшиваетъ бѣлыми нитками два взаимно исключающіеся процесса. У Іегера эти бѣлыя нитки особенно замѣтны, такъ какъ дѣло осложняется его ночнымъ колпакомъ и нерасположеніемъ къ коммунистамъ. Тому смутному образу, который онъ рисуетъ подъ именемъ коммунистическаго общежитія, онъ, между прочимъ, приписываетъ свойство принижать нѣкоторыя способности вслѣдствіе малаго ихъ примѣненія и изощренія. Обвиненіе это онъ даже печатаетъ курсивомъ и, повидимому, ему и въ голову не приходитъ, что такова отличительная черта именно рекомендуемаго имъ «органическаго» общежитія. Это напоминаетъ намъ одно весьма любопытное примѣчаніе Макъ-Куллоха къ французскому переводу «Богатства народовъ» Адама Смита. Вотъ оно: «Умственныя способности крестьянина, обращенныя постоянно на множество разнообразныхъ предметовъ, проходящихъ передъ его глазами, не могутъ сосредоточиться и погружены въ спячку; между тѣмъ какъ однообразныя ремесленныя занятія возбуждаютъ разсудочную дѣятельность городского работника» (русскій переводъ г. Бибикова, 292 стр.). Примѣчаніе это вызвано словами Смита о нравственномъ превосходствѣ сельскаго населенія сравнительно съ городскими рабочими. Мы привели макъ-куллоховское изреченіе не для того, чтобы сравнивать городское и сельское населеніе, а только какъ образецъ логики защитниковъ экономическаго раздѣленія труда: однообразныя занятія возбуждаютъ разсудочную дѣятельность, а разнообразныя погружаютъ человѣка въ спячку! Право, иногда можно серьезно предложить человѣчеству облечься въ черное платье, обшитое плерезами, въ знакъ траура по здравомъ смыслѣ. Большинство экономистовъ и біологовъ разсуждаетъ о принципѣ раздѣленія труда до такой степени оригинально, что трудно даже себѣ представить, какимъ образомъ могли возникнуть такіе вывороченные на изнанку силлогизмы. Никакая Аріадна не позаботилась оставить у входа въ этотъ темный лабиринтъ логической нити, по которой можно было бы прослѣдить ходъ мыслей господъ полиморфистовъ. Можно утвердительно сказать, что истинное значеніе раздѣленія труда понято почти исключительно только соціалистами всѣхъ оттѣнковъ, и только они и представляютъ небольшіе оазисы въ этой безпредѣльной пустынѣ. Намъ хочется привести здѣсь одинъ изъ такихъ оазисовъ, именно нѣсколько чрезвычайно мѣткихъ и удачныхъ замѣчаній Маркса (Das Kapital. Kritik der Politischen Oekonomie. Hamburg. 1867). Хотя замѣчанія эти относятся къ раздѣленію труда въ тѣсномъ смыслѣ, къ раздѣленію труда фабричному, но подъ ними смѣло можетъ быть поставленъ гораздо болѣе широкій пьедесталъ.

«Раздѣленіе труда уродуетъ рабочаго, развивая въ немъ извѣстную спеціальную способность и подавляя при этомъ цѣлый міръ производительныхъ силъ. Такъ, въ Ла-Платѣ убиваютъ цѣлаго быка изъ-за одной шкуры или изъ-за одного жира. Не только различныя спеціальныя отрасли труда дѣлятся между различными недѣлимыми, но дѣлится и самое недѣлимое, превращаясь въ автоматическое орудіе спеціальной работы *), и такимъ образомъ осуществляется старая басня Мененія Агриппы, изображающая человѣка клочкомъ его собственнаго тѣла **). Работникъ, за неимѣніемъ *матеріальныхъ условій производства* товаровъ, продаетъ свою рабочую силу капиталу и, затѣмъ, въ силу раздѣленія труда, его *индивидуальная рабочая сила* существуетъ только тогда и постольку, когда и поскольку она запродана капиталу. Она функціонируетъ только въ извѣстномъ сочетаніи, существуетъ толь-

*) Дугальдъ Стюартъ называетъ фабричныхъ рабочихъ «living automatons... employed in the details of the work» (D. St. Works ed. by sir W. Hamilton. Edinburgh, V. III, 1855, «Lectures on Polit. Econ.». p. 318 (эта и слѣдующія выноски принадлежатъ Марксу).

**) У коралловъ каждое недѣлимое, дѣйствительно, представляетъ желудокъ для всей группы. Но онъ снабжаетъ согражданъ пищею, а не выводитъ ее, какъ римскій патрицій (притча Мененія Агриппы изображаетъ защитительную рѣчь желудка противъ обвиненія его прочими частями тѣла въ тунеядствѣ. *Н. М.*).

ко послѣ ея запродажи въ заведеніи капиталиста. Лишенный возможности самостоятельнаго дѣла, мануфактурный рабочій производителенъ только въ качествѣ *составной части* заведенія предпринимателя *). Какъ на челѣ избраннаго народа было написано, что онъ собственность Іеговы, такъ раздѣленіе труда выжигаетъ на рабочемъ клеймо, на которомъ значится, что онъ собственность капитала.

«Знанія и воля, развиваемыя самостоятельнымъ крестьяниномъ или ремесленникомъ хотя бы въ маломъ масштабѣ, въ томъ родѣ, какъ дикарь сосредоточиваетъ въ своихъ личныхъ качествахъ все военное искусство, здѣсь разбиваются по всѣмъ частямъ мануфактуры. Духовныя производительныя силы напряженно развиваются въ одну сторону, потому что притупляются со многихъ сторонъ. То, что теряютъ рабочіе, ***концентрируется*** въ капиталѣ **). Фабричное раздѣленіе труда имѣетъ тенденцію обособлять духовныя силы процесса производства и противоставлять ихъ рабочимъ въ качествѣ *чужой собственности* и *господствующей надъ ними власти*. Этотъ процессъ, ***процессъ обособленія***, получаетъ начало уже при той простой коопераціи, когда капиталистъ представляетъ въ своемъ лицѣ единство и волю всего общественнаго рабочаго тѣла. Онъ усиливается при мануфактурномъ порядкѣ, превращающемъ цѣлаго рабочаго въ часть. Онъ завершается, наконецъ, когда промышленность отрываетъ *науку* отъ труда, какъ самостоятельную участницу производства, и отдаетъ ее въ услуженіе капиталу ***).

«Мануфактурный порядокъ обогащаетъ всю совокупность раздѣленныхъ рабочихъ силъ, т. е. капиталъ ****), истощая индивидуальныя производительныя силы рабочихъ. «Невѣжество есть мать не только предразсудковъ, а и индустріи. Мысль и воображеніе могутъ, правда, заблуждаться; но привычка извѣстнымъ образомъ двигать руку или ногу не нуждается ни въ той, ни въ другомъ. Можно сказать, что фабричный рабочій тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ ничтожнѣе его духовныя силы такъ что фабрику можно разсматривать какъ *машину, составныя части которой суть люди* *). И, дѣйствительно, въ половинѣ восемнадцатаго вѣка на фабрики съ особеннымъ удовольствіемъ брали полуидіотовъ для исполненія нѣкоторыхъ несложныхъ операцій, составлявшихъ, однако, секретъ **).

«Человѣческій умъ, — говоритъ Адамъ Смитъ, — по необходимости развивается подъ вліяніемъ ежедневныхъ занятій. Человѣкъ, всю жизнь проводящій за немногими простыми операціями... не имѣетъ случая къ упражненію своего ума... Онъ вообще принижается до такой степени, до какой только можетъ приниизиться человѣческая природа». Отмѣтивъ тупость, какъ результатъ раздѣленія труда, Смитъ продолжаетъ: «Однообразіе его стоячей жизни естественно понижаетъ и его духовную энергію... Оно разрушительно дѣйствуетъ и на его тѣло и дѣлаетъ его неспособнымъ къ какому либо постороннему занятію. Повидимому, ловкость его въ его спеціальномъ дѣлѣ изощряется на счетъ высокихъ умственныхъ и нравственныхъ качествъ. Однако, во всякомъ промышленномъ и цивилизованномъ обществѣ въ такое состояніе *необходимо* долженъ впасть трудящійся бѣднякъ (the labouring poor),

---

*) «L'ouvrier qui porte dans ses bras tout un métier, peut aller partout exercer son industrie et trouver des moyens de subsister; l'autre (фабричный рабочій) n'est qu'un *accessoire* qui, séparé de ses confrères n'a plus ni capacité, ni indé endance, et qui se trouve forcé d'accepter la loi qu'on juge à propos de lui imposer». (Storch: «Cours d'écon. polit». St-Pétersbourg 1885. t. I, p. 204).

**) A. Fergusson: «History of Civil Society», франц. перев 1783, t. II, p. 135. 136. «L'un peut avoir gagné ce que l'autre a perdu».

***) Человѣкъ науки и работникъ отдѣлены другъ отъ друга огромнымъ пространствомъ, и наука, вмѣсто того, чтобы въ рукахъ работника способствовать росту его производительныхъ силъ для него самого, почти вездѣ вступила съ борьбу съ нимъ... Знаніе обращается въ орудіе, способное отдѣлиться отъ труда и стать съ нимъ въ противорѣчіе (W. Thompson: «An Inquiry in to the Principles of the Distribution of Wealth». London, 1824, p 274).

****) Въ другомъ мѣстѣ Марксъ говоритъ: «Какъ отдѣльныя личности, рабочіе суть единицы, вступающія въ сношенія не между собою, а съ капиталомъ. Ихъ кооперація начинается только уже въ самомъ процессѣ работы, а между тѣмъ этотъ то процессъ и лишаетъ ихъ самостоятельности. Приступая къ нему, они уже закрѣпощены капиталу. Какъ кооперирующіе, какъ члены мануфактурнаго организма, сами они суть только извѣстный моментъ въ существованіи капитала. Поэтому производительная сила, развиваемая рабочимъ при порядкѣ раздѣльнаго труда, есть производительная сила капитала» (315). «Въ противоположность хозяйству крестьянина или независимаго ремесленника, капиталистическая кооперація не есть особая историческая форма коопераціи, но сама кооперація является здѣсь специфицической формою капиталистическаго производства» (317). (Надо замѣтить, что Марксъ различаетъ раздѣленіе труда «общественное» и фабричное. Въ первомъ случаѣ каждый представитель труда производитъ товаръ. Напримѣръ, скотоводъ производитъ шкуру, кожевникъ превращаетъ шкуру въ лайку, башмачникъ дѣлаетъ изъ лайки башмаки, и шкура, лайка и башмаки суть товары. При фабричномъ раздѣленіи труда ни одинъ спеціалистъ-рабочій товара не производитъ. *Н. М.*)

*) A. Fergusson, l. c. 134. 135.

**) J. D. Tuckett .«A History of the Past and Present State of the Labouring Population». Lond., 1846, v. I, p. 149.

т. е. большинство» *). Чтобы нѣсколько парализировать проистекающее изъ раздѣленія труда обезображеніе массы народа, Смитъ рекомендуетъ правительствамъ, хотя и въ гомеопатическихъ дозахъ, народное образованіе. Но тутъ съ нимъ весьма послѣдовательно полемизируетъ его французскій переводчикъ и комментаторъ, Гарнье, сенаторъ первой французской имперіи. Онъ объявляетъ, что народное образованіе несовмѣстно съ основнымъ закономъ раздѣленія труда и что ввести его значитъ «уничтожить всю нашу общественную систему». Какъ всѣ другіе виды раздѣленія труда, говоритъ онъ, раздѣленіе между трудомъ физическимъ и умственнымъ **) становится рѣзче и опредѣленнѣе по мѣрѣ обогащенія общества. Подобно всякому другому, это раздѣленіе труда есть результатъ прошедшихъ успѣховъ и причина будущихъ... Имѣетъ-ли правительство право противодѣйствовать этому раздѣленію труда и задерживать его дальнѣйшій естественный ходъ?»

«Извѣстная степень духовнаго и физическаго приниженія неразрывно связана уже съ тѣмъ раздѣленіемъ труда, которое установилось въ обществѣ вообще. Мануфактурный порядокъ еще усиливаетъ это распаденіе различныхъ отраслей труда и, раздробляя недѣлимое, захватываетъ самый корень его жизни. «Раздроблять человѣка, значитъ казнить его, если онъ заслуживаетъ смертнаго приговора, и просто убивать, если онъ его не заслуживаетъ. Раздѣленіе труда есть убійство народа» ***). (Марксъ, 345—348).

Итакъ, не всѣ облекаютъ принципъ раздѣленія труда розовой оболочкой счастья и совершенства какъ цѣлаго общества, такъ и его отдѣльныхъ представителей. Существуетъ въ этомъ вопросѣ и оппозиція, ядро которой составляютъ соціалисты, люди, какъ извѣстно, состоящіе въ сильномъ подозрѣніи въ многоразличныхъ проступкахъ и преступленіяхъ. Но, какой бы судъ ни произнесъ надъ ними будущій историкъ науки, онъ съ уваженіемъ отмѣтитъ ихъ критику принципа раздѣленія труда, хотя бы она и не простиралась дальше извѣстной частной области. Что же касается до неудачнаго вмѣшательства біологіи въ этотъ вопросъ, то оно тѣмъ болѣе печально, что можетъ вызвать во многихъ вопросъ: да законно-ли послѣ этого и вообще вмѣшательство біологіи въ общественную науку? И не имѣемъ-ли мы права сказать господамъ біологамъ: ne sutor ultra crepitam? При ближайшемъ разсмотрѣніи дѣла такое сомнѣніе необходимо должно разсѣяться. Дѣло не въ біологіи, а въ біологахъ. Геккель совершенно правъ, утверждая, что «для пониманія въ высшей степени сложныхъ явленій общественной жизни необходимо сравнительное изученіе соотвѣтственныхъ явленій въ мірѣ животныхъ», и что «будущимъ государственнымъ людямъ, экономистамъ и историкамъ придется главнымъ образомъ обратить свое вниманіе на сравнительную зоологію, т. е. на сравнительную морфологію и физіологію животныхъ, если они пожелаютъ получить вѣрное понятіе о своемъ спеціальномъ предметѣ». (Gen. Morph. B. II, S. 437). Правъ и Фогтъ, говоря о «Frevler, welche sich an dem Menschenleben versündige , weil sie das Thierleben nicht kennen, nicht verstehen». (Altes und Neues aus Thier- und Menschenleben». Frankfurt, 1859. B. I. S. 34). И когда эта сравнительно-зоологическая точка зрѣнія приводитъ людей къ самымъ невѣроятнымъ заблужденіямъ, то въ этомъ надо винить не самую точку зрѣнія, а людей, не умѣющихъ съ нею справится. Конечно, уже одинъ *способъ* ссылки на притчу Менения Агриппы (на нее ссылаются и сторонники раздѣленія труда, но съ совершенно противоположной стороны) показываетъ, что Марксъ, не имѣющій спеціальныхъ знаній о законахъ жизни, тѣмъ не менѣе понимаетъ значеніе физіологическаго раздѣленія труда безконечно глубже, чѣмъ кто-либо изъ біологовъ. Но въ основѣ его соображеній всетаки лежатъ эмпирическія данныя біологической науки, и окончательнаго освѣщенія вопроса мы всетаки должны ожидать отъ біологіи. Вернемся, однако, въ глубину Густава Іегера. Мы видѣли, что онъ рекомендуетъ человѣку съ особеннымъ тщаніемъ всмотрѣться въ жизнь общины муравьевъ, удовлетворяющей самымъ высокимъ требованіямъ «органическаго» общежитія. А требованія эти суть благоденствіе общества и совершенство его членовъ, достигаемыя путемъ раздѣленія труда. Мы можемъ уже a priori сказать, что

*) A. Smith. «Wealth of Nations», B. V, ch. I. art. II. Какъ ученикъ Фергюсона, указывавшаго на неблагопріятныя послѣдствія раздѣленія труда, Смитъ здѣсь совершенно ясенъ. Въ началѣ своего сочиненія, гдѣ раздѣленіе труда выхваляется ex professo, онъ отмѣчаетъ его только мимоходомъ, какъ источникъ общественнаго неравенства. Только въ 5-й книгѣ говоря о правительственномъ вмѣшательствѣ, онъ слѣдуетъ за Фергюсономъ. Въ «Misère de la Philosophie» я указалъ на историческое значеніе Фергюсона, А. Смита, Лемонтэ и Сэ въ вопросѣ о раздѣленіи труда. Тамъ же указано въ первый разъ и значеніе раздѣленія труда, какъ специфической формы капиталистическаго процесса производства.

**) Фергюсонъ именно говоритъ: «l'art de penser, dans un période où tout est séparé, peut lui même former un métier à part».

***) «To subdivide a man is to execute him, if he deserves the sentence, to assassinate him if he does not.. The subdivision of labour is the assassination of a people» (D. Urquhart. «Familiar Words». London, 1855, p. 119). Гегель придерживался самыхъ еретическихъ мнѣній о раздѣленіи труда. «Unter gebildeten Menschen kann man zunächst solche verstehn, die Alles machen können, was Andere thun», говоритъ онъ въ своей философіи права.

при томъ значеніи (совершенно вѣрнымъ для органической жизни), которое Іегеръ придаетъ понятію совершенства, община муравьевъ этимъ требованіямъ не удовлетворитъ, какъ не удовлетворитъ имъ никакое общество въ мірѣ; потому что самое сопоставленіе совершеннаго (т. е., по Іегеру, рѣзко расчлененнаго) общества и совершеннаго недѣлимаго содержитъ въ себѣ contradictio in adjecto. Требованія единовременнаго осуществленія этихъ двухъ условій равняется требованію пальмъ и ліанъ въ окрестностяхъ Колы или Мезени. А потому можно быть увѣрену, что іегеровская Аркадія—муравейникъ—либо не представляетъ особенно рѣзкихъ общественныхъ обособленій, либо состоитъ изъ весьма несовершенныхъ (сравнительно съ видовымъ типомъ) недѣлимыхъ.

Относительно весьма значительнаго развитія экономическаго раздѣленія труда въ муравьиной общинѣ не можетъ быть никакого сомнѣнія. Каждый видъ состоитъ изъ плодовитыхъ самцовъ и самокъ и затѣмъ изъ одной, двухъ, а у нѣкоторыхъ видовъ и трехъ кастъ безполыхъ рабочихъ; кромѣ того, нѣкоторые муравьи имѣютъ рабовъ изъ другого вида. Касты рѣзко отличаются одна отъ другой, какъ своимъ внѣшнимъ видомъ и организаціей, такъ и родомъ занятій. Дарвинъ такъ описываетъ разницу между кастами одного африканскаго муравья: «степень различія такъ же велика, какъ если бы мы увидѣли толпу плотниковъ, строющихъ домъ, изъ которыхъ нѣкоторые были бы ростомъ въ два аршина съ половиной, а прочіе ростомъ въ двѣ съ половиной сажени; но мы должны представить себѣ при этомъ, что у крупныхъ плотниковъ головы не втрое, а вчетверо больше, чѣмъ у мелкихъ, а челюсти разъ въ пять. Сверхъ того, челюсти этихъ рабочихъ муравьевъ разнаго роста удивительно разнятся въ очертаніяхъ, а также въ формѣ и количествѣ зубцовъ» (l. c. 123). Этимъ различіямъ въ организаціи соотвѣтствуютъ столь же рѣзкія различія и въ общественныхъ обязанностяхъ. Тутъ есть воины, никогда не работающіе, и рабочіе, никогда не сражающіеся. Есть даже такія должности, которыя совершенно необъяснимы. Такъ Бэтсъ («Натуралистъ на Амазонской рѣкѣ») разсказываетъ, что онъ никакъ не могъ добраться, чѣмъ занимается одна большеголовая каста безполыхъ рабочихъ одного бразильскаго вида: они не работаютъ, не сражаются, не наблюдаютъ за работами, а только расхаживаютъ вокругъ малыхъ работниковъ. Бэтсъ остановился, наконецъ, на предположеніи, что они въ качествѣ pièces de résistance охраняютъ своей огромной и твердой головой всю массу рабочихъ отъ нападеній насѣкомоядныхъ птицъ. Въ такомъ случаѣ это своего рода «пушечное мясо». У одного мексиканскаго вида есть каста безполыхъ рабочихъ, которая никогда не покидаетъ гнѣзда; она отличается необыкновеннымъ развитіемъ брюха, которое выдѣляетъ сладкую жидкость, вслѣдствіе чего эта каста замѣняетъ для своего вида тлю. Тотъ же видъ имѣетъ другую касту, обязанность которой состоитъ въ кормленіи брюхатыхъ сидней. Наконецъ, надъ всѣми этими второстепенными различіями господствуетъ различіе между способными къ дѣторожденію и неспособными. Итакъ, съ точки зрѣнія общественнаго раздѣленія труда мирмекофильство Іегера совершенно оправдывается; раздѣленіе труда у муравьевъ, дѣйствительно, высоко развито. Второй вопросъ состоитъ въ совершенствѣ отдѣльныхъ недѣлимыхъ, т. е. въ физіологическомъ раздѣленіи труда. Извѣстенъ опытъ Губера съ однимъ рабовладѣльческимъ видомъ муравья. Видъ этотъ устроился такимъ образомъ, что самцы и самки заботятся о продолженіи своего рода и больше ничего не дѣлаютъ, не умѣютъ дѣлать, даже питаться сами не могутъ; безполые только охотятся за рабами, т. е. дерутся постоянно съ другимъ видомъ и захватываютъ его въ плѣнъ, и больше опять-таки ничего не дѣлаютъ, потому что и уходъ за личинками и куколками, и постройка муравейника лежатъ на обязанности рабовъ. Когда муравейникъ переселяется, господа не сами идутъ, а ихъ переносятъ рабы. Словомъ, даже Гарнье не нашелся бы ничего противуполиморфнаго замѣтить въ этой Аркадіи Іегера. Губеръ заперъ штукъ тридцать этихъ господъ, давшихъ себѣ, по выраженію Фигаро, трудъ родиться, отдѣльно отъ рабовъ. Несчастные очутились въ положеніи щедринскихъ генераловъ на необитаемомъ островѣ. Губеръ положилъ имъ много пищи, положилъ личинокъ и куколокъ, но безъ помощи «мужика» они никакъ не могли устроиться. Не имѣя даже «Московскихъ Вѣдомостей» для развлеченія, несчастныя жертвы великаго и благодѣтельнаго принципа раздѣленія труда начали скоро дохнуть съ голоду: они потрудились родиться, но не потрудились научиться брать пищу въ ротъ, ибо мудрый законъ раздѣленія труда исковеркалъ ихъ челюсти. Губеръ пустилъ тогда имъ раба. «Мужикъ» отыскался, и все пошло какъ по маслу. Мужикъ сталъ кормить не успѣвшихъ околѣть господъ и личинокъ, сталъ приводить все въ порядокъ, устраивать ячейки и проч. Такова страна, wo die Zitronen blühen! Такова утопія, которую Іегеръ, посовѣтовавшись съ своимъ ночнымъ колпакомъ, противопоставляетъ «съ сравнительно зоологической точки зрѣнія» «коммунистическимъ мечтаніямъ» о «стадѣ барановъ»! И опять-таки сравнительно зоологическая точка зрѣнія тутъ рѣшительно не при чемъ. Она съ безпощадною ясностью свидѣтельствуетъ, что организація отдѣльныхъ

недѣлимыхъ при коопераціи раздѣльнаго труда должна необходимо понизиться и, дѣйствительно, понижается, потому что физіологическое раздѣленіе труда становится при этомъ менѣе напряженнымъ. Это такая азбучная истина, что мы боимся даже, какъ бы читатель не обидѣлся нашими пространными толкованіями. Но, мой добрый и умный читатель, вы видите, что этой азбучной истины не понимаютъ великіе философы, почтенные ученые, что въ средѣ біологовъ *ни одинъ* голосъ не поднимается противъ хора, твердящаго: дважды два четыре и дважды четыре тоже четыре. У муравьевъ есть скотоводство, а у нѣкоторыхъ даже земледѣліе. Быть можетъ, у нихъ есть и наука? Кто ее воздѣлываетъ? Если кто воздѣлываетъ, то, безъ сомнѣнія, плодовитые самцы и самки въ моменты остающагося у нихъ послѣ ихъ спеціальныхъ занятій досуга. Такъ должно думать по аналогіи. Ибо не у однихъ же людей «человѣкъ науки и работникъ отдѣлены другъ отъ друга огромнымъ пространствомъ, и наука, вмѣсто того, чтобы въ рукахъ работника способствовать росту его производительныхъ силъ для него самого, почти вездѣ вступила въ борьбу съ нимъ» (см. выше). Быть можетъ, у муравьевъ существуютъ и біологія, и политическая экономія. Быть можетъ, муравьи-біологи и политико-экономы проповѣдуютъ величіе принципа раздѣленія труда...

Происхожденіе безполыхъ рабочихъ въ муравейникѣ Дарвинъ объясняетъ естественнымъ подборомъ, путемъ постепеннаго накопленія легкихъ измѣненій въ организаціи и въ инстинктѣ, измѣненій, сопряженныхъ съ безплодіемъ нѣкоторыхъ членовъ общины. Предположеніе свое Дарвинъ защищаетъ необыкновенно ловко и остроумно, хотя, какъ онъ самъ говоритъ, пунктъ этотъ представляетъ самый опасный подводный камень для его теоріи. Объ отношеніи, въ которомъ находятся раздѣленіе труда и подборъ родичей, мы будемъ говорить въ своемъ мѣстѣ. Здѣсь же отмѣтимъ слѣдующій любопытный фактъ изъ жизни пчелъ, общественное устройство которыхъ, какъ извѣстно, также основано на глубоко проведенномъ принципѣ раздѣленія труда. Пчелиная матка кладетъ сперва яйца, изъ которыхъ должны выдти безполые рабочіе, затѣмъ яйца трутней и, наконецъ, самое незначительное число яицъ, имѣющихъ развиться въ матокъ. Если маткѣ (царицѣ) случается умереть уже послѣ кладки всѣхъ яицъ, т. е. когда есть въ наличности яйца, личинки или куколки новаго поколѣнія матокъ, то смерть старой царицы проходитъ почти незамѣченною. Населеніе улья ждетъ терпѣливо и, не покидая текущихъ общественныхъ дѣлъ, окончательнаго развитія молодыхъ матокъ, которыя тотчасъ по окончаніи послѣдней метаморфозы рѣшаютъ вопросъ о престолѣ единоборствомъ. Но, если матка умираетъ во время кладки рабочихъ яицъ и, слѣдовательно, не оставляетъ прямыхъ наслѣдниковъ, то весь рой поднимаетъ страшную возню. Немедленно отбирается нѣсколько рабочихъ яицъ или личинокъ, ихъ кладутъ внизъ головой (такъ лежатъ личинки только царицы, личинки рабочихъ лежатъ горизонтально) въ нарочно расширенныя ячейки, кормятъ особою пищею и вообще ухаживаютъ за ними гораздо болѣе, чѣмъ за личинками обыкновенныхъ рабочихъ. Результатомъ этихъ хлопотъ бываетъ то, что изъ личинокъ развиваются не безполые рабочіе, а плодовитыя самки, которыя опять-таки единоборствомъ рѣшаютъ вопросъ о томъ, кому изъ нихъ властвовать. Надо замѣтить, что личинки рабочихъ только въ извѣстномъ раннемъ возрастѣ способны къ такому преобразованію. Этотъ изумительный фактъ показываетъ, что раздѣленіе труда, если не у муравьевъ, то, по крайней мѣрѣ, у пчелъ, производится, повидимому, не однимъ медленнымъ и безсознательнымъ процессомъ естественнаго подбора. Тутъ, очевидно, дѣло не въ томъ только, что для нѣкоторыхъ членовъ общины (Дарвинъ говоритъ «для всей общины») выгодно безплодіе другихъ, вслѣдствіе чего плодовитые самцы и самки передаютъ потомству такія свои особенности, которыя связаны съ возможностью производить безполыхъ особей. Тутъ мы видимъ прямую, непосредственную фабрикацію особей той или другой касты. Можно думать, что общественныя насѣкомыя обладаютъ особеннымъ секретомъ, за который дорого бы дали экономисты и біологи, ибо съ помощью его можно достигнуть любой степени раздѣленія труда. Если такъ, то раздѣленіе труда сдѣлало изъ общественныхъ насѣкомыхъ такихъ художниковъ, передъ которыми компрачикосы, какъ выражается Расплюевъ, «мальчишки и щенки». Уловить, однако, секретъ столь драгоцѣннаго искусства невозможно при наличномъ уровнѣ человѣческихъ знаній. Что та или другая пища въ извѣстной, весьма значительной, степени вліяетъ на будущность ребенка, на весь его духовный и физическій складъ,— это мы знаемъ и безъ муравьевъ. То же самое относится и къ просторности помѣщенія. Но какимъ образомъ связано горизонтальное положеніе личинки съ образованіемъ у вполнѣ развитаго насѣкомаго щеточекъ и придатковъ, служащихъ орудіями работы, и съ анормальнымъ развитіемъ половыхъ органовъ? Какимъ образомъ, съ другой стороны, вертикальное положеніе личинки вліяетъ на отсутствіе рабочихъ инструментовъ и присутствіе способности къ дѣторожденію? Во всякомъ случаѣ, если экономисты и біологи будутъ продолжать работать въ томъ же духѣ и направленіи, въ какомъ работали до сихъ поръ, то можно ожидать, что они догонятъ муравьевъ. Средств

производитъ морфологическіе индивидуумы вмѣсто физіологческихъ будетъ найдено, и жизнь человѣческая потечетъ столь же ровно, какъ и жизнь муравьевъ. Покорно понесетъ каждый выпавшую ему долю. Кому въ утробѣ матери будетъ предписано воздѣлывать науку, тотъ понесетъ этотъ крестъ безъ ропота и будетъ терпѣливо подставлять свои неумѣлыя челюсти для принятія жареныхъ рябчиковъ, разжевываемыхъ спеціально для того изготовленными особями. Кому выпадетъ счастіе безполаго существованія, тотъ будетъ съ веселіемъ строить грады и веси и мостить стогны. Плодовитые будутъ спокойно, по желанію Іегера, плодиться и множиться и покорять землю. Безмятежное существованіе этой Аркадіи не будетъ смущаться возгласами въ родѣ извѣстнаго «nous sommes hommes comme eux!» или ироническими вопросами:

> When Adam delveb anb Eva span,
> Who was then the gentlemen?

Новыя птицы, новыя пѣсни. Но, чтобы услышать новыя пѣсни, надо сначала получить новыхъ птицъ. Если эти птицы дѣйствительно желательны, наука должна торопиться. Когда Христосъ узналъ, что Іуда продаетъ его, онъ сказалъ ему: «что дѣлаешь, дѣлай скорѣе»...

Надо, однако, замѣтить, что пчелы обладаютъ далеко не всѣми секретами органически-общественнаго благоденствія. Ибо, хотя онѣ и могутъ по произволу измѣнять будущность своихъ яицъ и личинокъ, но, во-первыхъ, это искусство имѣетъ свои предѣлы. Такъ, рабочая личинка старше двухъ дней до такой степени пропитана уже духомъ своей касты, что произвести ее въ матки нѣтъ уже возможности. Далѣе, при всѣхъ пчелиныхъ художествахъ въ ульяхъ сплошь и рядомъ происходятъ кровавыя побоища и революціи: рабочіе избиваютъ трутней, матки избиваютъ своихъ плодовитыхъ дочерей и сестеръ. У муравьевъ, впрочемъ, сколько извѣстно, подобныхъ періодическихъ революцій не бываетъ, хотя происходятъ ожесточенныя битвы между населеніями различныхъ муравейниковъ. Два роя пчелъ также не уживаются. Но при этомъ происходятъ чрезвычайно любопытныя событія. Чтобы соединить два роя въ одинъ, пчеловоды бросаютъ ихъ въ воду. Когда пчелы совершенно утомятся, ихъ вынимаютъ и кладутъ на солнце, и обсушенныя насѣкомыя совершенно забываютъ свою вражду, обтираютъ другъ друга, чистятъ, помогаютъ другъ другу очнуться и проч. Общее несча-...е обогащаетъ ихъ нервную систему но-...мъ сочувственнымъ опытомъ. Но такой ...ультатъ имѣетъ мѣсто только въ томъ ...учаѣ, если, по крайней мѣрѣ, одна изъ ...рицъ удалена. Если онѣ обѣ на лицо, то немедленно образуются подъ ихъ предводительствомъ двѣ враждебныя партіи, и начинается отчаянная война *).

Такимъ образомъ органическимъ общежитіемъ не достигается не только совершенство отдѣльныхъ недѣлимыхъ, но и мирное и безпечальное житіе всего общества. Любопытнѣе всего, что Іегеръ и не подозрѣваетъ совершенной несовмѣстности своихъ измышленій объ органическомъ общежитіи съ тою своею исходною точкою, которую мы признали безупречною. А между тѣмъ очная ставка этихъ двухъ сторонъ его разсужденій какъ нельзя болѣе удобна и напрашивается сама собой. Мы уже видѣли, что Іегеръ неосновательно придалъ эгоцентрическую точку зрѣнія цѣлому виду. Неосновательно потому, что видъ есть, во-первыхъ, величина абстрактная, а во-вторыхъ, постоянно колеблющаяся. Борьба за существованіе и подборъ родичей, приспособленіе къ даннымъ условіямъ жизни и наслѣдственная передача этихъ приспособленій могутъ постепенно произвести въ строеніи организмовъ безконечно разнообразныя и почти невѣроятно глубокія видоизмѣненія. Накопленныя въ извѣстномъ, хотя и неопредѣленномъ и неопредѣлимомъ количествѣ, измѣненія эти порождаютъ новый видъ, т. е., по Іегеру, новую эгоцентрическую точку зрѣнія въ природѣ. Прекрасно понятыя Іегеромъ общія практическія требованія дарвинизма указываютъ этому новому виду необходимость углублять все больше и больше пропасть, отдѣляющую его отъ ближайшихъ къ нему родичей. Такимъ образомъ теоретическое сознаніе родства съ низшими формами жизни, вопреки всѣмъ возгласамъ о безнравственности и тому подобнымъ инсинуаціямъ, заключаетъ въ себѣ требованіе практическаго удаленія отъ низшей жизни. Но, признавъ далѣе раздѣленіе труда творческимъ началомъ общественной жизни, Іегеръ совершенно смазываетъ свою исходную точку, и его «любовь къ ближнему» оказывается висящею на воздухѣ. Если раздѣленіе труда и можетъ поддержать эту любовь, то только въ томъ же смыслѣ, въ какомъ веревка поддерживаетъ висѣльника. Въ самомъ дѣлѣ, раздѣленіе труда есть одинъ изъ могучихъ факторовъ происхожденія ви-

---

*) Говоря о взаимной ненависти пчелиныхъ матокъ, Дарвинъ,—котораго одинъ мой покойный другъ-учитель, по моему мнѣнію, весьма удачно, называлъ «геніальнымъ буржуа-натуралистомъ»,—замѣчаетъ: «Хотя это намъ и трудно, но намъ слѣдуетъ восхищаться дикой инстинктивной злобой пчелы-матки, уничтожающей молодыхъ матокъ, своихъ дочерей тотчасъ по ихъ рожденіи, или погибающей въ борьбѣ съ ними, ибо это несомнѣнно полезно обществу; и материнская любовь, и материнская ненависть, хотя послѣдняя, къ счастью, большая рѣдкость—все едино передъ неумолимыми законами естественнаго подбора» (1. с. 164).

довъ. Очевидно, что послѣдовательно и глубоко проведенное, оно можетъ накопить постепенно такое количество на первый взглядъ неважныхъ и незначительныхъ измѣненій въ организаціи каждой изъ обособившихся общественныхъ группъ, что сумма этихъ измѣненій можетъ, наконецъ, дать новый видъ. Конечно, безполыя особи различныхъ кастъ и плодовитые самцы и самки у общественныхъ насѣкомыхъ представляютъ одинъ и тотъ же видъ. Но здѣсь образованіе новыхъ видовъ путемъ раздѣленія труда задерживается именно безплодіемъ нѣкоторыхъ членовъ общества. И это безплодіе является вмѣстѣ съ тѣмъ могучимъ средствомъ для сосредоточенія всѣхъ общественныхъ силъ въ одну сторону, по направленію къ одной цѣли. Что же касается до человѣческаго общества съ его сложными и запутанными интересами, съ его сталкивающимися и отталкивающимися стремленіями, то здѣсь общая цѣль, будучи значительно отдалена отъ большинства членовъ общества, легко можетъ совершенно стушеваться. И обособившіяся путемъ раздѣленія труда группы, когда породившій ихъ принципъ достигаетъ извѣстной ступени развитія, преслѣдуютъ цѣли совершенно различныя. Далѣе, нѣтъ ничего невозможнаго, что раздѣленіе труда въ связи съ различіемъ условій жизни раздробитъ видъ homo sapiens, по крайней мѣрѣ, на два вида. Высшіе и низшіе классы современнаго европейскаго общества уже теперь значительно разнятся между собою по своей организаціи. И при извѣстныхъ условіяхъ эти пока еще даже и не разновидности могутъ пріобрѣсти характеръ строго очерченныхъ видовъ. Стоитъ только послѣдовательно проводить принципъ раздѣленія труда, въ родѣ того, какъ это дѣлаетъ, напримѣръ, Гарнье. Послѣдовательность эта, впрочемъ, дѣло далеко не новое и испытанное уже практически. Такъ, въ древней Индіи каждому судрѣ, осмѣлившемуся читать книги и тѣмъ нарушавшему раздѣленіе между трудомъ физическимъ и умственнымъ и вообще строго органическій укладъ индійской жизни,—вливалось въ уши кипящее масло; а если дерзость его простиралась до того, что онъ выучивалъ содержаніе книги наизустъ, его казнили смертью. Въ рабовладѣльческихъ американскихъ штатахъ негры, подъ страхомъ наказанія, не смѣли учиться читать и проч. Намъ не зачѣмъ распространяться здѣсь о томъ, какъ и почему эти мѣропріятія не повлекли за собою образованія новыхъ видовъ. Но во всякомъ случаѣ очевидно, что раздѣленіе труда можетъ произвести подобный результатъ въ ту или другую сторону, можетъ разбить человѣчествоо на два вида. Спрашивается, какъ, по Іегеру, высшій изъ этихъ видовъ долженъ будетъ относиться къ низшему? Отвѣтъ ясенъ. Высшій видъ долженъ будетъ становиться въ болѣе и болѣе рѣзкую противоположность съ низшимъ, особенно сильно съ нимъ бороться, какъ съ наиболѣе близкою ему формою низшей жизни, приводить эту форму каждому своему ближнему, какъ страшный примѣръ, котораго должно удаляться и т. д. Но намъ не зачѣмъ останавливаться на этой гипотезѣ образованія новаго вида, хотя гипотеза эта есть не болѣе, какъ одна изъ ненаписанныхъ Дарвиномъ страницъ его теоріи. Съ насъ досточно того факта, что раздѣленіе труда, способствуя распаденію общества на нѣсколько группъ, постепенно отодвигаетъ общую цѣль этихъ группъ назадъ и замѣняетъ ее частными цѣлями, все болѣе расходящимися, а иногда и прямо враждебными одна другой. Въ предѣлахъ каждой изъ этихъ группъ личное *я* ея представителей можетъ, а въ извѣстной степени и должно расшириться и совпасть съ групповымъ *я*. Но затѣмъ, въ цѣломъ обществѣ мы всетаки имѣемъ не одну, а нѣсколько эгоцентрическихъ точекъ зрѣнія. И каждая изъ нихъ обязываетъ своихъ представителей все болѣе и болѣе усугублять пограничныя межи, проведенныя раздѣленіемъ труда. Такъ, древніе спартанцы напаивали илотовъ до-пьяна, чтобы указать своему юношеству страшный примѣръ, отъ котораго должно удаляться.

Таковы результаты органическаго общежитія, отнюдь не вяжущіеся съ любовью къ ближнему, если подъ ближнимъ разумѣть не человѣка изъ извѣстнаго слоя общества, а человѣка вообще. Кажется, мы въ правѣ были сказать, что раздѣленіе труда поддерживаетъ эту любовь не больше и не меньше, чѣмъ веревка поддерживаетъ висѣльника. Если бы висѣльника не снимали съ висѣлицы и не хоронили послѣ того, какъ правосудіе насытилось,—веревка все глубже и глубже врѣзывалась бы въ его горло, и, наконецъ, тѣло всетаки рухнуло бы. Если предоставить любовь къ ближнему на долю принципа раздѣленія труда, этотъ принципъ будетъ въѣдаться все глубже и глубже, поддерживая любовь къ ближнему, послѣдовательно уменьшая число ближнихъ. Наука! Біологи и экономисты! Снимите этого висѣльника и похороните его, откройте муравьиный секретъ безплодія. Что дѣлаешь, дѣлай скорѣе...

Мы еще вернемся къ этому предмету и разсмотримъ его подробнѣе, говоря о другихъ попыткахъ опредѣленія практическихъ требованій дарвинизма. Здѣсь мы замѣтимъ только, что 1) борьба за существованіе есть несомнѣнно основаніе того естественнаго права, которое, по опредѣленію древнихъ римлянъ, non humani generis proprium est, sed omnium animalium quae in coelo quae in terra quae in mari nascuntur; что 2) въ силу самаго этого закона борьбы за существованіе борьба не

должна имѣть мѣста въ средѣ общества; что 3) это отсутствіе борьбы за существованіе можетъ быть достигнуто исключительно коопераціи простого сотрудничества, ибо кооперація сложнаго сотрудничества или раздѣленія труда не устраняетъ, а только видоизмѣняетъ борьбу за существованіе. При этомъ не могу отказать себѣ въ удовольствіи еще разъ привести выписку изъ Маркса, для сравненія воззрѣній этого писателя на раздѣленіе труда съ таковыми же большинства біологовъ. «Происхожденіе этихъ кастъ и цеховъ слѣдуетъ тому закону, которымъ управляется распаденіе животныхъ и растеній на виды и подвиды, съ тою разницею, что на извѣстной ступени развитія наслѣдственность кастъ и замкнутость цеховъ санктируется законодательнымъ путемъ» (l. c., 322). Замѣтьте, что Марксъ не говоритъ того, что говорятъ біологи, т. е. не отождествляетъ раздѣленіе труда физіологическое и экономическое, и говоритъ то, чего не говоритъ ни одинъ біологъ, именно, что процессъ общественныхъ дифференцированій параллеленъ процессу дифференцированіи не *недѣлимыхъ*, а *видовъ*. Усмотрѣть это было бы, повидимому, прямымъ дѣломъ біолологовъ, и, однако, они усмотрѣли не это *).

Намъ остается еще взглянуть на теологическіе выводы Іегера изъ исторіи Дарвина. Мы ограничимся простымъ изложеніемъ ихъ опять-таки потому, что они слишкомъ бѣглы и поверхностны, чтобы заслуживать подробной критической оцѣнки.

Дарвинистъ, по мнѣнію Іегера, отнюдь не долженъ вступаться въ рѣшеніе вопросовъ чисто-догматическаго свойства. Его дѣло состоитъ не въ томъ, чтобы подвергать тотъ или другой религіозный догматъ критикѣ объективной науки о природѣ. Онъ долженъ удовольствоваться рѣшеніемъ одного вопроса: какую роль играетъ религія вообще, и та или другая религія въ частности, въ борьбѣ за существованіе? Насколько она способствуетъ совершенствованію человѣка и укрѣпленію въ немъ чувства самосохраненія? Съ этой точки зрѣнія Іегеръ раздѣляетъ всѣ религіи на два класса. Однѣ коренятся въ воззрѣніяхъ человѣка на природу, другія—въ его воззрѣніяхъ на людей. Первыя авторъ называетъ естественными (Naturreligionen), вторыя—этическими. Естественныя религіи вытекаютъ изъ стремленія человѣка уразумѣть причины окружающихъ его явленій природы. По мнѣнію Іегера, историческій процессъ развитія мысли распадается на три періода: въ первомъ человѣкъ только воспринимаетъ впечатлѣнія и удерживаетъ ихъ въ головѣ помощью памяти (cognitio rerum); во второмъ—онъ стремится уловить причины явленій (investigatio causarum); въ третьемъ, наконецъ, когда человѣкъ въ своемъ исканіи причинъ замѣчаетъ, что самыя общія изъ найденныхъ имъ причинъ всетаки имѣютъ свои причины, онъ довольствуется историческимъ методомъ, т. е. разсматриваетъ каждое явленіе, какъ продуктъ извѣстнаго ряда причинъ и слѣдствій. Этотъ историческій методъ есть единственный пригодный не только въ наукѣ, а и на практикѣ, ибо всякое практическое дѣло основывается на знаніи исторіи данныхъ явленій. Когда человѣкъ достигаетъ ступени investigationis causarum, онъ переходитъ отъ одной причины къ другой, за каждой найденной причиной ищетъ другой, еще неизвѣстной, и если не находитъ ея, то замѣняетъ ее какимъ-нибудь отвлеченіемъ, маскируетъ для самого себя свое незнаніе голымъ словомъ, символомъ. Первая ступень естественныхъ религій есть фетишизмъ, обожествляющій множество причинныхъ дѣятелей, не пытаясь опредѣлить ихъ взаимную связь. На второй ступени человѣкъ уже уменьшаетъ число божественныхъ дѣятелей, приводя къ извѣстнымъ, наиболѣе распространеннымъ или наиболѣе бросающимся въ глаза элементамъ, каковы: огонь, вода, земля, воздухъ и т. д. Третья форма возникаетъ вмѣстѣ съ тѣмъ убѣжденіемъ, что за этими дѣятелями скрываются другіе, болѣе общіе и высшіе. Являются личные, антропоморфизированные боги, какъ въ естественыхъ религіяхъ древнихъ германцевъ, грековъ и римлянъ. Но investigatio causarum по самому принципу своему не можетъ остановиться на какой-нибудь формѣ. Люди начинаютъ искать за своими божествами еще высшей силы и доходятъ, наконецъ, до мысли о конечной причинѣ, т. е. отъ политеизма или многобожія переходятъ къ монотеизму, къ ученію о единомъ божествѣ. Такъ, миѳологія древнихъ германцевъ завершалась единымъ Allvater, такъ, надъ греческими богами высилась Мойра, надъ римскими—Фатумъ. Но движеніе и здѣсь не останавливается. Видя, что ultima causa ему не дается, человѣкъ от-

*) Исключеній во всякомъ случаѣ немного, и представителями этихъ исключеній являются тѣ біологи, которые принимаютъ горячо и близко къ сердцу вопросы общественной жизни. Такъ, Фогтъ, говоря о государствахъ животныхъ, замѣчаетъ: „Die Verkümmerung der Organisation hält damit gleichen Schritt; die Individuen selbst gehen nach und nach in solchen allzu wohl regierten Staaten zu Grunde, und oft erstreckt sich die Reduction so weit, dass die einzelnen Individuen nur noch als Organe der Gesammtheit erscheinen, ohne bestimmenden freien Willen, ohne Ortsbewegung, ohne Selbstständigkeit in jeder Beziehung“ (Altes und Neues, 1, 30). Но если тамъ и сямъ и можно встрѣтить подобныя отрывочныя указанія, то, не смотря на самые тщательные поиски, намъ не удалось найти ни одного біолога, которой устоялъ бы передъ соблазнительнымъ параллелизмомъ раздѣленія труда физіологическаго и экомическаго.

брасываетъ ее совсѣмъ, слѣдствіемъ чего является атеизмъ. Въ немъ расплылись естественныя религіи древнихъ грековъ.

Въ чемъ же состоитъ значеніе естественныхъ религій и той точки зрѣнія, на которую, по мнѣнію Іегера, долженъ въ этомъ случаѣ стать дарвинистъ? На этотъ вопросъ авторъ отвѣчаетъ такимъ образомъ. Такъ какъ въ естественныхъ религіяхъ только одна человѣческая способность ищетъ Бога, именно мыслительная, то онѣ ведутъ къ высокому методическому развитію мысли, о чемъ можно судить, напримѣръ, по философскимъ системамъ древнихъ грековъ. Можно было бы думать, что естественныя религіи, имѣя предметомъ изысканіе причинъ явленій природы, которое составляетъ задачу и естествознанія, должны были содѣйствовать развитію послѣдняго. Но природа никогда не открываетъ своихъ тайнъ голой спекулятивной мысли, а требуетъ строгаго эмпирическаго изслѣдованія. Поэтому естествознаніе только тогда могло занять подобающее ему положеніе, «когда *этическія* религіи придали человѣку ту нравственную силу, ту стойкость стремленія, безъ которыхъ невозможна успѣшная работа на этомъ поприщѣ». Что же касается до естественныхъ религій, то, хотя онѣ и способствовали развитію мысли, онѣ не даютъ руководящей нити для опредѣленія отношеній человѣка къ человѣку. Поэтому ихъ вліяніе на ходъ общественнаго развитія незначительно. Онѣ не противодѣйствовали расщепленію общества на политическія партіи, философскія школы, разрозненныя соціальныя группы.

Совсѣмъ иное значеніе имѣютъ этическія религіи, центръ тяжести которыхъ лежитъ не въ изслѣдованіи явленій природы, а въ опредѣленіи взаимныхъ отношеній между людьми. Низшую форму ихъ составляетъ почитаніе предковъ, какое существуетъ, напримѣръ, у нѣкоторыхъ южно-африканскихъ племенъ. Далѣе человѣкъ, сильно поработавшій на благо общества, воздвигнувшій знамя, вокругъ котораго сгруппировался цѣлый народъ, становится основателемъ монотеистической религіозной системы. Тутъ Іегеръ ссылается на Ветхій Завѣтъ, гдѣ Богъ называется Богомъ Авраама, Исаака и Іакова, и, приведя отрывокъ изъ 118 псалма, спрашиваетъ: «Гдѣ вы найдете въ такъ называемой классической литературѣ римлянъ и грековъ подобное выраженіе воинственности и энергіи въ борьбѣ за существованіе? (114). Практическое требованіе, съ которымъ дарвинистъ подходитъ къ каждой теологической системѣ, разсматривая ее какъ орудіе въ борьбѣ за существованіе, требованіе это до такой степени удовлетворяется еврейскимъ представленіемъ о Богѣ, что съ нимъ и въ сравненіе не могутъ идти естественныя религіи, перескакивающія отъ отвлеченія къ отвлеченію и замыкающіяся атеизмомъ. Если іудеи и пали въ политической борьбѣ съ римскимъ колоссомъ, то тѣмъ не менѣе грековъ и римлянъ теперь и въ поминѣ нѣтъ, тогда какъ евреи существуютъ. При томъ же распаденію Рима значительно содѣйствовало христіанство, преемственное съ іудействомъ. Сила соціальной патріархальной идеи Бога (die Kraft der socialen patriarchalischen Gottesidee) еще разъ заявила себя въ лицѣ магометанства, съ помощью котораго сложилось государство, грозившее ниспровергнуть весь цивилизованный міръ. «Магометанство имѣло въ сравненіи съ іудействомъ еще то преимущество, что оно терпимо относилось къ другимъ вѣроисповѣданіямъ, тогда какъ евреи не терпѣли язычниковъ». Но фатализмъ уже съ раннихъ поръ подсѣкъ корни силы магометанства, ибо фатализмъ есть не что иное, какъ отреченіе отъ самосохраненія и самозащиты.

Поставленныя нами въ кавычкахъ слова Іегера составляютъ такую грубую и чисто фактическую ошибку, что мы на минуту остановимся. Что магометанство никогда не отличалось терпимостью, что оно, напротивъ, завѣщаетъ своимъ послѣдователямъ безпощадную войну со всѣми, кто его не исповѣдуетъ, что, наконецъ, религіозный фанатизмъ и въ самой средѣ магометанъ образовалъ двѣ непримиримо враждебныя секты шіитовъ и суннитовъ, — это, кажется, до сихъ поръ никѣмъ не подвергалось сомнѣнію. Равнымъ образомъ извѣстно и то, что, хотя іудеи также не страдали избыткомъ вѣротерпимости, но сливались и сближались даже въ религіозной сферѣ съ язычниками весьма часто. Іегеру, довольно толсто намекающему на то, что онъ глубоко изучилъ еврейскую исторію и литературу, можно было бы это знать и не дѣлать такихъ грубыхъ промаховъ. Мы дѣлаемъ это замѣчаніе въ видѣ исключенія, потому что не имѣемъ намѣренія слѣдить за всѣми весьма многочисленными частными ошибками Іегера. Онѣ большой важности не представляютъ, а между тѣмъ въ большинствѣ случаевъ выступаютъ во всеоружіи очевидности. Мы будемъ останавливаться только на тѣхъ пунктахъ, которые имѣютъ непосредственную связь съ спеціально занимающими насъ вопросами. Вообще же замѣтимъ, что біологи, рѣшающіеся оставить свою спеціальную сферу для кратковременныхъ наѣздовъ въ область соціологіи, обнаруживаютъ въ большинствѣ случаевъ замѣчательную неподготовленность къ этого рода экскурсіямъ. Вы видите, что человѣкъ никогда о вопросахъ общественной жизни серьезно не думалъ, никогда ими не интересовался и довольствуется первымъ встрѣчнымъ

доводомъ или объясненіемъ, которое въ качествѣ перваго встрѣчнаго по теоріи вѣроятностей должно быть неудовлетворительно. Іегеру, конечно, Богъ проститъ, да при томъ же онъ, очевидно, по мѣрѣ своихъ силъ думалъ о вопросахъ историческихъ, экономическихъ, этическихъ и пр. Послѣдуемъ за нимъ.

Христіанство, хотя и родилось на почвѣ юдаизма, имѣетъ передъ нимъ огромныя преимущества. Христосъ завѣщалъ, во-первыхъ, любить Бога, а во-вторыхъ, любить ближняго, какъ самого себя. Юдаизмъ предписывалъ совсѣмъ иное. Онъ требовалъ не любви къ Богу, а страха передъ Богомъ. А всякій страхъ задерживаетъ развитіе; страхъ передъ Богомъ задерживаетъ изученіе природы, точно такъ же, какъ любовь къ Богу способствуетъ этому изученію. «Кто основатели нашихъ теперешнихъ знаній о природѣ? Это люди, которые, какъ Сваммердамъ, публиковали свои изслѣдованія подъ заглавіемъ «Библія природы», которые изучали явленія природы только для того, чтобы изумляться премудрости Бога и искать доказательства его бытія».

Что Іегеръ изъ всѣхъ предковъ современной науки нашелъ нужнымъ и возможнымъ привести исключительно одну Библію природы Сваммердама - это, конечно, довольно характеристично. Но да отпустится ему все это. Слѣдующія его соображенія для насъ гораздо любопытнѣе. Принципъ происхожденія, говоритъ онъ, игралъ въ еврейскомъ обществѣ первенствующую роль. Евреи раздѣлялись на племена, роды, семейства, сліянію которыхъ препятствовала слабо сдерживаемая законодательствомъ кровная месть, составляющая рѣзкій контрастъ съ христіанскою любовью къ ближнему. Каковы же результаты этой организаціи? Для отвѣта на этотъ вопросъ слѣдуетъ опредѣлить ея отношеніе къ закону индивидуальныхъ различій, указанному и развитому Дарвиномъ. Законъ этотъ «учитъ насъ, что общность происхожденія не есть ручательство за сходство организмовъ. Сынъ умнаго отца можетъ быть очень глупъ; сынъ отца, имѣющаго извѣстную способность, можетъ ея не имѣть, а имѣть совсѣмъ другія; то же самое относится и къ братьямъ. Всякая же организація основывается на соединеніи подобныхъ элементовъ и разъединеніи элементовъ несходныхъ. Тамъ, гдѣ этого нѣтъ, теряется, какъ говорятъ, много силы отъ тренія, при чемъ цѣлое, очевидно, становится менѣе способнымъ къ нападенію и защитѣ, чѣмъ цѣлое, состоящее изъ сходныхъ частей. Одно это уже достаточно говоритъ о невыгодности организующаго начала въ еврейскомъ обществѣ. Въ ближайшей связи съ индивидуальными измѣненіями находится раздѣленіе труда, такъ какъ оно составляетъ результатъ этихъ измѣненій. Организація еврейскаго общества не давала индивидуальнымъ измѣненіямъ возможности располагаться по принципу раздѣленія труда и задерживала его свободное развитіе. Къ этому присоединяется еще насильственное навязываніе человѣку какого нибудь дѣла только потому, что его отецъ занимался этимъ дѣломъ» (117). Кромѣ этой задержки развитія раздѣленія труда и этого препятствія свободному примѣненію индивидуальныхъ особенностей, «генеалогическая» организація еврейскаго общества находилась въ самой тѣсной связи съ религіозною замкнутостью. Евреи видѣли въ себѣ народъ, Богомъ избранный. Ихъ религія была религіей государственной, и они держались въ сторонѣ отъ язычниковъ. Это было для нихъ весьма невыгодно, ибо сила общества зависитъ не только отъ степени совершенства его отдѣльныхъ членовъ и не только отъ высоты общественной организаціи, но и отъ численности членовъ.

Христіанство сдѣлало великій шагъ впередъ, провозгласивъ любовь къ ближнему и низвергнувъ ветхозавѣтное правило: око за око, зубъ за зубъ. Перегородки, раздѣлявшія племена, колѣна, роды, семьи пали, и генеалогическій принципъ смѣнился принципомъ раздѣленія труда, предоставившимъ широкій просторъ закону индивидуальныхъ измѣненій. Религія, заключаетъ Іегеръ, перестала быть достояніемъ извѣстнаго народа; она сдѣлалась всемірною религіею, подъ знамя которой можетъ собраться огромное количество борцовъ за существованіе.

Не знаешь, за что ухватиться въ этой путаницѣ. Во-первыхъ, если и существуетъ законъ индивидуальныхъ измѣненій, то существуетъ и законъ наслѣдственной передачи этихъ измѣненій, законъ, указанный и развитый тѣмъ же Дарвиномъ. Причина и размѣръ дѣйствія этихъ, повидимому, встрѣчныхъ теченій намъ точнымъ образомъ неизвѣстны. Однако, если и справедливо, что у умнаго отца можетъ быть глупый сынъ и т. п., то тѣмъ не менѣе, вообще говоря, особенности организаціи предковъ передаются потомкамъ. Это знаетъ каждый коннозаводчикъ, каждый скотоводъ, каждый псарь, каждая птичница; всѣ они увѣрены, что могутъ воспроизвести въ потомствѣ данныхъ особей тѣ изъ ихъ особенностей, которыя почему-либо высоко цѣнятся. И Дарвинъ прямо говоритъ: „Быть можетъ, всего разумнѣе было бы смотрѣть на наслѣдственную передачу всякаго любого признака, какъ на правило, а на непередачу его, какъ на исключеніе» (l. c., 11). Съ этой точки зрѣнія исчезаетъ и кажущаяся рѣзкая противоположность между законами индивидуальныхъ измѣненій и наслѣдственной передачи. Если въ какомъ-нибудь недѣлимомъ

происходитъ какое-нибудь даже легкое измѣненіе, напримѣръ, вслѣдствіе неупотребленія извѣстнаго органа, особенной пищи и т. п., то уклоненіе это передается наслѣдственно; и притомъ передача эта можетъ произойти различными путями, которые при настоящемъ уровнѣ нашихъ знаній совершенно необъяснимы. Напримѣръ, возвращеніе къ давно утраченнымъ признакамъ, сходство дѣтей не съ родителями, а съ дѣдами, прадѣдами или дядями составляютъ для насъ явленія весьма темныя. Переданное наслѣдственно уклоненіе можетъ въ потомкахъ получить новое измѣненіе, вслѣдствіе скрещиванія, или осложниться новымъ воздѣйствіемъ измѣнившихся условій жизни, и если всѣ эти измѣненія выгодны для представителей извѣстнаго вида, то они подхватываются подборомъ родичей. Такимъ образомъ сплетается необыкновенно сложная сѣть, въ которой индивидуальныя измѣненія сами по себѣ играютъ роль совершенно пассивную. Они представляютъ не первичныя явленія, а результатъ приспособленія къ несходнымъ внѣшнимъ условіямъ, тогда какъ законъ наслѣдственности есть законъ коренной, непосредственно связанный только съ фактомъ дѣторожденія. Вся теорія Дарвина исчерпывается взаимными отношеніями двухъ законовъ: приспособленія и наслѣдственности. Законъ наслѣдственности, будучи совершенно изолированъ, предписываетъ каждому организму воспроизводить только подобныхъ себѣ потомковъ. Съ другой стороны, изолированный законъ приспособленія говоритъ, что каждый организмъ отличается отъ своихъ родичей. Сплетеніе этихъ двухъ законовъ породило въ теченіе милліоновъ лѣтъ то изумительное, сколько бы мы гипотетически ни принимали первичныхъ формъ органической жизни, разнообразіе растительной и животной жизни, въ которомъ намъ нынѣ такъ трудно осмотрѣться. Разсматривать процессы приспособленія и наслѣдственной передачи отдѣльно мы можемъ только теоретически и условно, какъ теоретически и условно принимаются въ геометріи математическія точки, линіи, плоскости. И даже такое условное изолированіе возможно только для процесса наслѣдственной передачи, потому что мы можемъ мысленно устранить вліяніе разнородной среды; тогда какъ отвлечь процессъ приспособленія, разсматривать его отдѣльно отъ закона наслѣдственности мы (въ общей картинѣ исторіи природы или исторіи человѣчества) не въ силахъ, ибо для этого пришлось бы устранить самый фактъ дѣторожденія, т. е. самый фактъ исторіи. Далѣе, будучи закономъ болѣе сложнымъ, такъ какъ онъ обнимаетъ взаимодѣйствіе между организмомъ и разнообразной, разнородной средой, законъ приспособленія подлежитъ гораздо болѣе многостороннему измѣняющему и регулирующему вмѣшательству человѣка, чѣмъ простой законъ наслѣдственности. Возможность прямого вліянія человѣка на наслѣдственную передачу ничтожна въ сравненіи съ возможностью вліянія его на обстановку (въ самомъ обширномъ смыслѣ), т. е. на приспособленіе. Въ силу закона консервативной наслѣдственности (lex hereditatis conservativae Геккеля) организмъ цѣликомъ воплощается въ своихъ потомкахъ, и если бы дѣйствовалъ только одинъ этотъ законъ, измѣняемость видовъ оказалась бы немыслимою. Но вліяніе измѣнившихся условій жизни влечетъ за собою и измѣненія организма, которыя вновь передаются потомству на-ряду съ наслѣдственными признаками родителей (lex hereditatis adaptatae). Изъ всего этого слѣдуетъ, что Іегеръ совершенно неосновательно раздуваетъ значеніе закона индивидуальныхъ измѣненій, умалчивая въ то же время о законѣ наслѣдственной передачи. Только благодаря этой односторонности, Іегеръ и можетъ противополагать генеалогическій принципъ еврейскаго общества излюбленному имъ принципу раздѣленія труда, тогда какъ на самомъ дѣлѣ они переплетаются тысячами нитей. Прежде всего они другъ другу нисколько не мѣшаютъ; ибо если природа и исторія раздробятъ населеніе данной мѣстности вертикально, т. е. установятъ обособленныя національныя и племенныя единицы, единицы генеалогическія, то внутри этихъ единицъ могутъ безпрепятственно существовать и горизонтальныя перегородки по принципу раздѣленія труда, т. е. единицы сословныя, профессіональныя и т. д. Іегеръ не различаетъ этихъ горизонтальныхъ и вертикальныхъ дѣленій, что имѣетъ смыслъ только съ извѣстной общей точки зрѣнія, на которую Іегеръ не становится. Онъ ухитряется и противополагать принципъ генеалогическій принципу раздѣленія труда, и въ то же время самымъ грубымъ образомъ ихъ смѣшивать. Такъ на стр. 118 онъ говоритъ о еврейскихъ «erbliche Kasten», а въ выноскѣ замѣчаетъ: «oder Stämmen, wie die deutsche Nation bis vor Kurzem». Kaste — каста, сословіе, и Stamm—племя,—это двѣ вещи различныя. Единство Германіи даже болѣе широкое, чѣмъ теперешнее, еще отнюдь не ручается за уничтоженіе горизонтальныхъ перегородокъ. Далѣе, каждое индивидуальное измѣненіе стремится упрочиться путемъ наслѣдственной передачи въ потомствѣ, вмѣстѣ съ чѣмъ принципъ раздѣленія труда, соотвѣтствующій закону индивидуальныхъ измѣненій, постепенно переходитъ въ принципъ генеалогическій, соотвѣтствующій закону наслѣдственности. Въ обществѣ этотъ переходъ можетъ встрѣтить особенно благопріятствующія условія тогда именно, когда въ обществѣ

раздѣленіе труда сдѣлало значительные успѣхи. При этомъ генеалогическій принципъ можетъ мѣнять свою подкладку, смѣнить гербъ на золото, но это не мѣшаетъ ему оставаться генеалогическимъ. Іегеръ можетъ сколько угодно толковать, что «общность происхожденія не есть ручательство за сходство организмовъ», но закона наслѣдственности онъ не имѣетъ никакого права вычеркивать изъ своихъ разсчетовъ. Сама по себѣ общность происхожденія есть самое вѣрное и единственное ручательство за сходство организмовъ. Ручательство это теряетъ свою силу только практически, въ связи съ измѣненіемъ условій жизни. Приводимые Іегеромъ факты, что у умнаго отца можетъ быть глупый сынъ и проч., ровно ничего не доказываютъ и ровно ни къ чему не обязываютъ. Во-первыхъ, имъ можно противопоставить милліоны противоположныхъ фактовъ; во-вторыхъ, на нихъ слѣдуетъ смотрѣть либо какъ на исключеніе («всего разумнѣе смотрѣть на наслѣдственную передачу всякаго любого признака, какъ на правило, а на непередачу его, какъ на исключеніе»—Дарвинъ), либо какъ на продукты закона скрытой или перемежающейся наслѣдственности, либо какъ на результаты приспособленія. Въ первомъ случаѣ они ничто, во второмъ зависятъ отъ игнорируемаго Іегеромъ закона, въ третьемъ могутъ быть въ извѣстной мѣрѣ регулированы, представляютъ тлѣющій уголь, который можетъ быть залитъ водой, а можетъ быть и раздутъ до того, что при благопріятныхъ условіяхъ произведетъ цѣлый пожаръ. Раздѣленіе труда несомнѣнно играетъ въ этомъ отношеніи роль мѣховъ и путемъ побѣды прогрессивной наслѣдственности надъ наслѣдственностью консервативной можетъ только поднять постепенно, въ теченіе множества поколѣній, признаки индивидуальные до степени признаковъ видовыхъ. Іегеръ полагаетъ, что раздѣленіе труда составляетъ результатъ индивидуальныхъ измѣненій. Такъ думалъ и Платонъ. Адамъ Смитъ полагалъ, напротивъ, что раздѣленіе труда есть источникъ неравенства. Споръ этотъ, поднятый до гипотетическаго момента появленія раздѣленія труда и неравенства, если не теоретически, то практически можетъ быть уподобленъ знаменитымъ пререканіемъ о томъ, что прежде появилось на свѣтъ: курица или яйцо? Онъ можетъ быть даже имѣетъ свою цѣну въ качествѣ умственной гимнастики, но практически совершенно безплоденъ. Отправляясь отъ факта индивидуальныхъ измѣненій, Іегеръ, желая поразить генеалогическій принципъ и возвеличить принципъ раздѣленія труда, приходитъ къ столь трудно постижимой путаницѣ, что мы боимся, какъ бы читатели не заподозрили нашу вышеприведенную цитату въ невѣрности перевода. Вотъ собственныя слова Іегера: «Der Sohn eines intelligenten Vaters kann ein sehr unintelligenter Mensch sein. der Sohn eines Vaters, der eine bestimmte Befähigung hat, kann eine Befähigung nach einer ganz andern Richtung aufweisen und die gleichen Unterschiede finden sich zwischen Geschwistern. Nun besteht in aller Welt die Organisation darin, dass Gleichartiges verbunden und Ungleichartiges gesondert wird, wo nicht—geht eine Menge Kraft, wie man sagt, durch Reibung verloren und ein solches Ganze ist offenbar weniger befähigt zu Angriff und Vertheidigung, als ein aus Gleichartigem Zusammengesetztes» (117). Одно изъ двухъ: или это отрицаніе семьи, какъ цѣлаго, весьма стойкаго въ борьбѣ за существованіе,—что такъ старался доказать Іегеръ выше; или это отрицаніе расчлененнаго по принципу раздѣленія труда общества съ той же точки зрѣнія устойчивости въ борьбѣ—что Іегеръ такъ старается доказать на всемъ протяженіи своихъ размышленій. Можно даже сказать, что это отрицаніе и того, и другого; ибо ни генеалогическій принципъ, ни принципъ раздѣленія труда не даютъ общества равныхъ, сходныхъ членовъ. Но во всякомъ случаѣ первый стоитъ въ этомъ отношеніи гораздо выше. Разбросать семью, родъ, племя, народъ по закоулкамъ индивидуальныхъ измѣненій, подхваченныхъ и раздутыхъ раздѣленіемъ труда,—это не особенно выгодно. А главное, Іегеръ все забываетъ законъ наслѣдственности и связанное съ нимъ превращеніе принципа раздѣленія труда въ принципъ генеалогическій. Древніе римляне очень хорошо понимали, что «servi aut nascebantur, aut fiebant»; нашимъ предкамъ также было извѣстно, что «рабы рождаются или бываютъ; рождаются, иже отъ нашихъ рабынь прибывающе намъ; бываютъ иже отъ языческаго закона рекше отъ плѣна рабынямъ сущимъ». И неизвѣстно это только Густаву Іегеру. Легко, конечно, сказать, что въ обществѣ по типу раздѣльнаго труда, въ противоположность генеалогической общественной организаціи, нѣтъ «насильственнаго навязыванія человѣку какого-нибудь дѣла только потому, что его отецъ занимался этимъ дѣломъ». Конечно, никто не навязываетъ мужику его мужицкаго дѣла только потому, что его отецъ занимался этимъ дѣломъ; никто не навязываетъ сыну нищаго нищенскаго промысла; никто не требуетъ, чтобы рабочій непремѣнно отдавалъ своихъ дѣтей на фабрику. Каждому изъ нихъ предоставляется полная свобода дѣйствія; хочешь воздѣлывать вмѣсто земли науку—вотъ гимназія, университетъ, академія; хочешь—занимайся торговлей, промышленностью; хочешь—отдохни отъ борьбы за существованіе за роялемъ, передъ мольбертомъ—никто не препятствуетъ. И, дѣйстви-

тельно, кто же препятствуетъ? Густавъ Іегеръ, по крайней мѣрѣ, нисколько не препятствуетъ.

Еще два слова, и мы покончимъ съ Іегеромъ. Въ остальной части своей книги онъ подходитъ съ мѣркой пригодности въ борьбѣ за существованіе къ нѣкоторымъ религіознымъ догматамъ и расматриваетъ, какъ оружіе въ борьбѣ, вѣру въ безсмертіе души, въ чудеса, христіанское представленіе о Богѣ и проч. Одинъ нѣмецкій журналъ выразился по поводу этихъ его поразительныхъ размышленій такъ:« Dr. Іегеръ показалъ только, какимъ образомъ дарвинистъ можетъ примириться съ теологіей, но не наоборотъ». На это Іегеръ отвѣчаетъ: «Это дѣло не мое, а теологовъ. Чтобы примириться съ религіей, я серьезно и старательно изучалъ Священное Писаніе. Если они также серьезно и старательно будутъ изучать теорію Дарвина, и они съ нею примирятся». Мы, съ своей стороны, замѣтимъ только, что Dr. Іегеръ ничего не показалъ, кромѣ своего ночного колпака. Чтобы показать читателю характеръ соображеній Іегера, мы приводимъ одинъ примѣръ. Безсмертіе души — говоритъ онъ—съ научной точки зрѣнія не существуетъ, но, какъ орудіе въ борьбѣ за существованіе, вѣра въ безсмертіе души можетъ служить хорошими шпорами для «Gefühlsmenschen», побудить ихъ къ усовершенствованію, и къ самопожертвованію. И въ этомъ ея практическое оправданіе. Что жъ касается до «Verstandsmenschen» въ родѣ самого Густава Іегера, то они должны укрѣплять эту вѣру, сами оставаясь, однако, внѣ ея вліянія. Впрочемъ, ферштандесменшъ Іегеръ утверждаетъ, что онъ какъ-то даже и въ собственной головѣ можетъ единовременно удержать оба эти воззрѣнія. Такое «примиреніе съ религіей» отвратительно со всѣхъ возможныхъ точекъ зрѣнія. Оно представляетъ, однако, вполнѣ удовлетворительный королларій къ возвеличенію принципа раздѣленія труда: вѣра для однихъ и невѣріе для другихъ, для однихъ одно міросозерцаніе, для другихъ—другое, и два взаимно-исключающіяся міросозерцанія въ одной головѣ, два разныхъ человѣка въ одномъ человѣкѣ, —что можетъ быть пригоднѣе для іегеровскаго идеала—муравьиной кучи, гдѣ уже есть плодовитые и безполые, рабы и господа? Омерзительность измышленій Іегера нѣсколько услащается его изумительною наивностью. «Теорія Дарвина и ея отношеніе къ религіи и морали» очень напоминаетъ надѣлавшую въ свое время много шуму книгу извѣстнаго геттингенскаго физіолога Вагнера («Ueber Wissen und Glauben, mit besonderer Beziehung zur Zukunft der Seelen. Fortsetzung der Betrachtungen über Menschenschöpfung und Seelensubstanz, Göttingen», 1854 г.). Сходства много и въ пріемахъ, и въ самыхъ положеніяхъ. И мы закончимъ нашу статью отзывами Лотце и Вирхова о книжкѣ Вагнера. «Трудно, — говоритъ первый,—успокоиться на принципіальномъ противорѣчіи двухъ міросозерцаній и признать научную невозможность религіозною необходимостью. Можно сознавать недостаточность научныхъ доказательствъ въ пользу безсмертія души и всетаки вѣровать въ него; но быть убѣжденнымъ въ невозможности безсмертія или свободы воли и въ то же время требовать, чтобы въ нихъ вѣровали, — это безсмысленная игра. На что же послѣ этого наука, если она можетъ допустить существованіе въ насъ единовременно и въ продолженіе всей жизни двухъ различныхъ направленій мысли въ родѣ того, какъ колеса и зубцы машины дѣйствуютъ каждый по-своему, не имѣя другъ объ другѣ понятія? Такое раздѣленіе мнѣній — безсмыслица. Если бы оказалось, что знанія наши исключаютъ тотъ или другой моральный постулатъ, то можно спасти то или другое, но во всякомъ случаѣ что-нибудь одно». Вирховъ говоритъ: «Немногіе натуралисты будутъ въ состояніи поставить свои религіозныя и научныя убѣжденія въ совершенную независимость другъ отъ друга и вести себя въ различное время различно. Большинство не выдержитъ и постарается привести свои воззрѣнія къ единству». Отзывы эти были высказаны еще по поводу первыхъ упражненій Вагнера въ «двойной бухгалтеріи» въ 1852 г., въ «Аугсбургской Всеобщей Газетѣ». Вагнеръ приводитъ ихъ въ своей книгѣ, откуда мы ихъ и заимствуемъ. Лотце и Вирховъ выражаются очень сдержанно, быть можетъ, въ уваженіе прежнихъ научныхъ заслугъ Вагнера. Не такъ отдѣлалъ его болѣе пылкій Фогтъ («Köhlerglaube und Wissenschaft», 1855 г.).

Любопытно, что Іегеръ совершенно увѣренъ, что онъ водрузилъ какое-то собственное знамя; такъ прямо и говоритъ—«водрузилъ знамя». Читатель видитъ, что онъ водрузилъ свой ночной колпакъ.

II. Теорія Дарвина и телеологія *)

I.

Каждому изъ васъ, читатели, можетъ быть не разъ на своемъ вѣку приходилось испытать то тревожное, непосѣдное состояніе духа, когда человѣку кажется, что всѣ встрѣчные обращаютъ на него особенное вниманіе, что мысли и глаза всѣхъ и каждаго устремлены въ его сторону. Такъ иного, если ему случится явиться въ общество безъ галстуха, неотступно преслѣдуетъ мысль, что безпорядокъ его костюма немедленно замѣтятъ, что все

*) 1879 г., мартъ.

общество только и дѣла дѣлаетъ, что смотритъ на его шею. Такъ свѣже-испеченный прапорщикъ гордо шагаетъ по улицѣ, будучи твердо увѣренъ, что его новенькіе эполеты составляютъ фокусъ, въ которомъ сходятся всѣ взгляды и помышленія. Такъ мелочно-самолюбивый писатель въ глубинѣ души своей непоколебимо убѣжденъ, что каждая его строчка имѣетъ великое значеніе и должна приковать къ себѣ общее вниманіе. Такъ есть мономаны, предполагающіе, что имъ со всѣхъ сторонъ грозитъ опасность, что каждый норовитъ имъ насолить, унизить ихъ, наконецъ даже покуситься на ихъ жизнь. И человѣку кажется обыкновенно въ такихъ случаяхъ, что онъ дѣйствительно составляетъ предметъ общаго вниманія—благосклоннаго или враждебнаго. Онъ не только съ удовольствіемъ или со страхомъ ждетъ случая сдѣлаться средоточіемъ взглядовъ, помышленій, чувствъ, дѣйствій, но истолковываетъ въ этомъ смыслѣ каждый шагъ, каждое движеніе всякаго встрѣчнаго и готовъ приплести къ дѣлу своей личности даже «чиновника совершенно посторонняго вѣдомства». На дѣлѣ такое всеобщее вниманіе выпадаетъ на долю очень немногихъ, а потому указанному психическому состоянію сплошь и рядомъ приходится сталкиваться съ фактами, столь осязательно свидѣтельствующими о его несоотвѣтствіи дѣйствительному ходу вещей, что перетолковать ихъ не представляется никакой возможности. Въ такомъ случаѣ человѣкъ, одержимый вѣрою въ центральность своего положенія, либо чрезмѣрно радуется самымъ естественнымъ и обыденнымъ событіямъ, либо чрезмѣрно печалится о вещахъ не менѣе простыхъ и естественныхъ. Такъ, если отсутствія галстуха, очевидно, никто не замѣтилъ, то владѣлецъ обнаженной шеи готовъ привѣтствовать это происшествіе, какъ изъ ряда вонъ выходящее. Такъ какой-нибудь плохой виршеплетъ, разсчитывающій на всеобщія похвалы, негодуетъ на встрѣчаемое имъ равнодушіе, хоть равнодушіе это есть явленіе совершенно законное и естественное. Въ большинствѣ случаевъ, однако, виршеплетъ этого явленія оцѣнить не можетъ и видитъ въ немъ не просто равнодушіе, а намѣренное преслѣдованіе его личности. Въ нѣкоторыхъ душевныхъ болѣзняхъ эта чисто личная нота достигаетъ совершенно уродливой звучности: человѣкъ слышитъ одобреніе или неодобреніе себѣ въ скрипѣ колесъ, въ завываніяхъ вѣтра, въ шумѣ волнъ и проч. Если мы вздумаемъ анализировать то охватывающее все существо человѣка предвзятое мнѣніе, которое заставляетъ его смотрѣть на весь окружающій міръ подъ такимъ острымъ угломъ, то найдемъ, что элементы его крайне бѣдны содержаніемъ сочувственнаго опыта. Только у людей, психическій аппаратъ которыхъ сложился совершенно въ сторонѣ отъ чужихъ радостей и горестей, или только въ такіе моменты, когда наши личные интересы совершенно заслоняютъ отъ насъ интересы сосѣдскіе, можетъ явиться подобная слѣпая увѣренность въ центральности своего положенія. Если вы явились въ общество не для того только, чтобы себя показать, отсутствіе галстуха отнюдь не смутитъ васъ въ такой мѣрѣ, и вы навѣрное послѣдній замѣтите этотъ небольшой безпорядокъ своего туалета. Если писатель имѣетъ какую нибудь общую хотя бы съ небольшою группою людей цѣль, а не ушелъ весь въ свою собственную личность, то хотя его и можетъ огорчить невниманіе къ его работамъ, но онъ будетъ знать себѣ цѣну: онъ не о себѣ думаетъ, когда пишетъ, не на свою личность желаетъ обратить вниманіе общества, а на тѣ свои мысли, которыя считаетъ хорошими, вѣрными, справедливыми, полезными.

Тревожное состояніе духа человѣка, ушедшаго въ себя и рекомендующаго свою личность особенному покровительству или особенному преслѣдованію со стороны окружающаго міра, принимаетъ иногда явно патологическія формы, сопровождаясь иллюзіями и галлюцинаціями. А не разъ уже было замѣчено многими антропологами, что между нѣкоторыми патологическими явленіями въ средѣ современной цивилизаціи и явленіями первобытной жизни человѣка можетъ быть установленъ весьма плодотворный параллелизмъ. Хотя мы и не совсѣмъ раздѣляемъ мысль объ этомъ параллелизмѣ въ томъ общемъ видѣ, въ какомъ она обыкновенно высказывается, но указанные нами психологическіе факты могутъ, кажется, отчасти способствовать уясненію первыхъ ступеней человѣческой исторіи. Голый, грязный, одинокій первобытный человѣкъ, только что ставшій человѣкомъ, еще не извѣдавшій ничего, кромѣ своихъ личныхъ желаній и потребностей, естественно въ продолженіе всей своей жизни долженъ находиться въ тревожномъ эгоцентрическомъ настроеніи. И безъ сомнѣнія, источникъ того страннаго явленія въ жизни дикарей, которое извѣстно, благодаря многимъ наблюдателямъ, подъ именемъ пантофобіи (всебоязнь), лежитъ въ слабомъ развитіи коопераціи и маломъ количествѣ ощущеній и впечатлѣній сочувственнаго опыта. Представьте только себѣ этого дикаго двуногаго звѣря, въ которомъ уже копошатся, однако, человѣческія мысли; представьте его себѣ среди роскошной тропической природы, полной страшныхъ и восхитительныхъ звуковъ, полной опасностей и въ то же время щедрой до роскоши, или среди холода и мрака сѣвера, гдѣ воетъ леденящій вѣтеръ, гдѣ сте-

лются безконечныя снѣжныя равнины. И среди всего этого величія, среди этихъ ужасовъ и роскоши, среди этого царства холода и голода движется и живетъ человѣкъ. Онъ слышитъ рокотъ грома, шумъ прибоя волнъ, вой вѣтра, шумъ вершинъ деревьевъ въ дремучемъ лѣсу, въ который онъ вступаетъ, боязливо оглядываясь по сторонамъ и прислушиваясь къ каждому шелесту. Что это за звуки? Отвѣтъ у него готовъ. Онъ знаетъ, какіе оттѣнки принимаетъ его собственный голосъ, когда онъ доволенъ или недоволенъ, когда ему хочется ѣсть или когда онъ наѣлся: онъ ловитъ жалкія аналогіи и воздвигаетъ на нихъ цѣлое міросозерцаніе. Человѣкъ создаетъ себѣ боговъ по образу и подобію своему. Но если громовой ударъ означаетъ чей-то гнѣвъ, то на кого онъ обращенъ и кому угрожаетъ? Кому! Развѣ этотъ двуногій звѣрь знаетъ что-нибудь, кромѣ самого себя? развѣ онъ можетъ принять въ соображеніе, что тутъ же, въ двухъ шагахъ отъ него, такой же двуногій звѣрь принялъ тотъ же ударъ грома на свой счетъ, а тамъ дальше третій двуногій звѣрь со страхомъ отскочилъ отъ куста, въ которомъ послышался зловѣщій шумъ колецъ змѣинаго хвоста, и что въ головѣ этого третьяго двуногаго звѣря уже смутно мерцаетъ такое же эгоцентрическое рѣшеніе вопроса о значеніи этого шума? Развѣ этотъ двуногій звѣрь не тотъ же свѣтскій человѣкъ безъ галстуха, не тотъ же свѣже-испеченный прапорщикъ, не тотъ же мелкотравчатый, но самолюбивый писатель, который весь ушелъ въ себя и ничего, кромѣ своей собственной личности, не знаетъ, не видитъ и не понимаетъ?

Въ теченіе множества вѣковъ раздвигается мало-по-малу путемъ кооперацiи личное существованіе первобытнаго человѣка. Онъ сознаетъ солидарность своихъ интересовъ съ интересами своей семьи, рода, племени и т. д., научается переживать чужую жизнь, и его телеологія становится шире. Характеръ ея, однако, еще долго не измѣняется, т. е. долго еще человѣкъ предоставляется исключительному покровительственному или враждебному вниманію окружающаго міра. Если эта объективно-антропоцентрическая телеологія претерпѣваетъ какія-либо измѣненія, то не качественныя, а только количественныя. Смотря по ходу историческихъ событій, средоточіе природы, предметъ особеннаго вниманія всякихъ естественныхъ и неестественныхъ силъ, то расширяется, то суживается, т. е. уменьшается или увеличивается число кооперирующихъ, находящихся подъ покровительствомъ однѣхъ и тѣхъ же силъ. Маркъ-Аврелій воюетъ съ маркоманами; при этомъ ему однажды совершенно неожиданно помогаетъ дождь; находящіеся въ войскѣ Марка-Аврелія христіане приписываютъ эту помощь своимъ молитвамъ, язычники и самъ Маркъ-Аврелій — благости Юпитера. Ѳразивулъ идетъ освобождать Аѳины отъ ига тридцати тирановъ; войско Ѳразивула видитъ передъ собой блестящій метеоръ: то пламя, ниспосланное богами для освѣщенія пути, неизвѣстнаго врагамъ. И т. п. *). Въ своихъ послѣднихъ «Опытахъ» Максъ-Миллеръ различаетъ троякаго рода касты: энтологическія, политическія и профессіональныя (Essays von Max Müller. Leipzig, 1869. B. II. Es. XXVII «Kaste», p. 285). Арійцы и судра въ Индіи, бѣлые и негры въ Америкѣ и т. п. суть представители энтологически обособленныхъ группъ, т. е. касты состоятъ здѣсь изъ различныхъ расъ. Энтологическій элементъ ведетъ къ установленію только двухъ кастъ: побѣдителей и побѣжденныхъ, рабовъ и господъ. Затѣмъ въ обществѣ начинается борьба партій, результатомъ которой являются касты политическія, каковы патриціи и плебеи въ древнемъ Римѣ. Политическій элементъ дробитъ обыкновенно общество на три группы, обособляя изъ массы народа военную аристократію и духовную іерархію. Такъ въ Индіи, наряду съ энтологическими кастами арійцевъ и судровъ, сами арійцы распадаются на браминовъ, кшатріевъ или воиновъ, и вансіевъ или простыхъ гражданъ. Естественнымъ продолженіемъ и дальнѣйшимъ развитіемъ политической касты является каста профессіональная. Каждая этнологическая, политическая и профессіональная группа придаетъ себѣ особенное значеніе и признаетъ своихъ членовъ достойными исключительнаго вниманія боговъ. Максъ Мюллеръ приводитъ нѣкоторые военные гимны арійцевъ, въ которыхъ не знаешь, чему удивляться: безграничной ли ненависти къ судрамъ, или объективному антропоцентризму, насквозь проникающему эти страшныя пѣсни. Тѣ же элементы враждебности и вѣры въ центральность своего положенія сквозятъ въ каждой строкѣ древнихъ разсказовъ о безпощадной войнѣ между браминами и кшатріями. Но ходъ исторіи можетъ то сгладить кастовыя перегородки и дать перевѣсъ принципу простого сотрудничества, то усугубить эти перегородки и установить ярко выраженное раз-

---

*) Pour rattacher à l'intervention divine un événement rare, ou arrivé dans une circonstance opportune, suffira soit de *la passion violente qui veut associer à son délire la nature entière*, soit de la flatterie qui appele le Ciel au secours des princes ses représentants sur la terre, soit enfin du sentiment religieux qui arme contre le crime et le vice une vengeance surnaturelle, et, par une assistance merveilleuse, seconde les desseins de l'homme juste et les efforts de l'innocence opprimée. (Des sciences occultes ou essai etc., par E. Salverte, 3 éd. Paris, 1856, p. 63).

дѣленіе труда. Сообразно этимъ колебаніямъ въ развитіи и историческихъ формахъ кооперацiи измѣняются и направленіе и интенсивность объективно-антропоцентрической телеологіи. Она достигаетъ высшей ступени своего развитія, когда центромъ природы признается не та или другая этнологическая, политическая или профессіональная каста, а все человѣчество, человѣкъ вообще. Таково высокое ученіе Будды. Выше этого объективно-антропоцентрическая телеологія подняться не можетъ. И за этимъ послѣднимъ количественнымъ измѣненіемъ первобытной телеологіи идетъ измѣненіе уже качественное. Рушится послѣдняя соломинка, за которую хватается утопающій антропоцентризмъ, и оказывается, что

...unfühlend
Ist die Natur:
Es leichtet die Sonne
Ueber Bös und Gute... (Гете).

Знаніе, наблюденіе окружающихъ явленій убѣждаютъ человѣка, что природа отнюдь не выражаетъ особенной заботливости къ его судьбѣ. Но сама додумавшаяся до этого отрицательнаго результата мысль человѣческая находится подъ вліяніемъ формы кооперацiи и, охваченная со всѣхъ сторонъ эксцентрическимъ общественнымъ строемъ, т. е. кооперацiей раздѣльнаго труда, воздвигаетъ новую телеологію, — телеологію эксцентрическую. Мы говорили уже о судьбахъ человѣческой мысли подъ вліяніемъ раздѣленія труда. Мы видѣли, что, вмѣстѣ съ окончательнымъ практическимъ распаденіемъ труда на трудъ умственный и физическій, теоретически человѣкъ разрубается на двѣ части; что, далѣе, наука и философія стремятся разбѣжаться въ разныя стороны, т. е. происходитъ практическое распаденіе и въ сферѣ спеціалистовъ умственной дѣятельности. Какъ представители умственнаго труда и труда физическаго вступаютъ между собою въ страшную, хотя и не всегда кровавую борьбу за существованіе, такъ борются между собою и представители науки и философіи. Одни зарываются въ мелочи, не пытаясь связать ихъ въ одно цѣлое, и съ презрительною улыбкою противопоставляютъ эмпирическимъ путемъ добытые грошовые результаты произвольнымъ трансцендентальнымъ обобщеніямъ метафизической философіи. Метафизики, съ другой стороны, не менѣе презрительно смотрятъ на этихъ жалкихъ тружениковъ, на этихъ «рабовъ чувствъ и опыта» и тщатся объяснить и обнять вселенную чистою (отъ примѣси чувственныхъ воспріятій) мыслію. Эксцентризмъ, распаденіе человѣка на самостоятельные и враждебные другъ другу осколки, забиваетъ однихъ и разбиваетъ другихъ. Забитые не смѣютъ поднять глаза къ небу, разбитые не оглядываются на землю. Особенность эксцентрическаго періода развитія мысли состоитъ, какъ мы видѣли, въ попыткахъ половинчатыхъ, разрубленныхъ людей отрѣшиться отъ своего эмпирическаго содержанія. Одни считаютъ возможнымъ обойтись безъ всякой теоріи, другіе, наоборотъ—строить теоріи помимо опыта и наблюденія. На дѣлѣ, однако, и то, и другое оказывается одинаково невозможнымъ, ибо, какъ ни много сдѣлала исторія для того, чтобы раздробить человѣка, но онъ всетаки представляетъ единое цѣлое, и мысль связана съ чувственными воспріятіями неразрывною цѣпью. Данныя опыта необходимо группируются въ извѣстномъ порядкѣ, т. е. обобщаются, теоретизируются, а теоріи необходимо вытекаютъ изъ данныхъ опыта и наблюденія. Все дѣло въ томъ, что, какъ говоритъ Геккель, «чистые эмпирики довольствуются неполною и неясною, ими самими несознаваемою философіею, а чистые философы—столь же неудовлетворительною эмпиріею» *). Такъ строго обозначены границы человѣка и такъ тщетны наши усилія вырваться изъ нихъ въ ту или другую сторону. Поэтому нельзя полагаться на увѣренія спеціалистовъ-эмпириковъ, будто они не придерживаются никакой философіи; хотя философія эта, по всей вѣроятности очень блѣдна и жалка, но она несомнѣнно существуетъ. Точно также нельзя вѣрить и метафизикамъ, утверждающимъ, что

*) «Im Grunde freilich gestaltet sich das thatsächliche Verhältniss überall so, dass die reinen Empiriker sich mit einer unvollständigen und unklaren, ihnen selbst nicht bewussten Philosophie, die reinen Philosophen dagegen mit einer eben solchen, unreinen und mangelhaften Empirie begnügen» (Generelle Morphologie der Organismen, I, 73).

«Zwei Wege sind es, auf denen die Naturwissenschaft gefördert werden kann. Beobachtung und Reflexion. Die Forscher ergreifen meistens für den einen von beiden Partei. Einige verlangen nach Thatsachen, andere nach Resultaten und allgemeinen Gesetzen, jene nach Kentniss, diese nach Erkentniss, jene möchten für besonnen, diese für tiefblickend gelten. Glücklicherweise ist der Geist des Menschen selten so einseitig ausgebildet, dass es im möglich wird nur den einen Weg der Forschung zu gehen, ohne auf den anderen Rücksicht zu nehmen. Unwillkürlich wird der Verächter der Abstraction sich von Gedanken bei seiner Beobachtung beschleichen lassen; und nur in kurzen Perioden der Fieberhitze ist sein Gegner vermögend sich der Speculation im Felde der Naturwissenschaft mit völliger Hintansetzung der Erfahrung hinzugeben» (C. E. v. Bär. Zwei Worte über den jetztigen Zustand der Naturgeschichte. Königsberg, 1821).

«Метафизики всѣхъ вѣковъ, пытавшіеся построить законы вселенной умозаключеніемъ отъ предполагаемыхъ необходимостей нашей мысли, всегда дѣйствовали и могли дѣйствовать, лишь ревностно открывая въ своемъ умѣ то, что сами предварительно въ него вложили, и выпутывая изъ своихъ идей то, что они сами сначала впутали». (Дж.-Ст. Милль, «Система логики», II, 307).

они добыли данныя своей философіи путемъ чистаго, независимаго отъ чувственныхъ восприятій мышленія; хотя обобщенія ихъ покоятся на очень плохо обслѣдованныхъ фактахъ опыта и наблюденія, но несомнѣнно вытекаютъ изъ послѣднихъ. И дѣйствительно. Метафизики, обнимающіе чистою мыслью вселенную, съ гордостью отворачиваются отъ древняго предразсудка, ставившаго средоточіемъ природы человѣческую индивидуальную, реальную или юридическую, идеальную личность. Предразсудокъ этотъ лежитъ у ихъ ногъ, раздавленный успѣхами знанія и кооперации. Но съ презрѣніемъ попирая одну историческую форму телеологіи, метафизики выставляютъ новую. «Нѣтъ,—говоритъ эксцентрикъ,—человѣкъ не есть средоточіе и цѣль природы. Это жалкая, грубая, эгоистическая телеологія. Изучая природу, мы должны забыть, что мы люди, должны забыть свои стремленія, желанія, нужды, и тогда мы увидимъ, что истинная, законная телеологія состоитъ въ изысканіи цѣлесообразности въ природѣ вообще, въ вѣрованіи, что природа осуществляетъ собою нѣкоторый предуставленный планъ, не имѣющій одного опредѣленнаго центра, но заранѣе указывающій мѣсто, направленіе и силу дѣйствія каждаго малѣйшаго атома. Отбросимъ предвзятое мнѣніе, что природа заботится о насъ болѣе, чѣмъ о какой либо другой своей части; она осуществляетъ свои цѣли не въ виду человѣка, а на каждомъ шагу, въ каждой инфузоріи, въ каждомъ кристаллѣ». Такъ говоритъ эксцентрикъ-метафизикъ, рекомендуя свой выводъ, какъ полученный путемъ созерцанія чистой мысли. Нетрудно, однако, открыть тѣ вполнѣ реальныя, опытно-наблюдательныя сваи, на которыхъ построена эта эксцентрическая телеологія. Нетрудно также показать, что, не смотря на коренную разницу между этой телеологіей и телеологіей первобытныхъ людей, обѣ онѣ имѣютъ гораздо болѣе общихъ чертъ, чѣмъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Нетрудно, наконецъ, убѣдиться и въ томъ, что въ случаѣ эксцентрической телеологіи въ дѣйствительности не происходитъ никакого отреченія отъ человѣческихъ нуждъ, стремленій, желаній, предвзятыхъ мнѣній, что самообольщеніе коренится здѣсь только въ недостаткѣ контроля сознанія.

При видѣ обыкновеннаго маятника предо мною поднимаются иногда, какъ бы воплощенныя, нѣкоторыя стороны исторіи человѣческой мысли. Раздумывая о судьбахъ человѣческой мысли, я часто вспоминаю колебанія маятника.

Если вывести маятникъ изъ спокойнаго состоянія, т. е. отвести его на какое нибудь разстояніе, напримѣръ, вправо, то маятникъ опишетъ въ противоположную сторону, т. е. влѣво, дугу, математически-равную (если не принимать въ соображеніе дѣйствія тренія и сопротивленія воздуха) высотѣ, на которую вы его подняли, и опять устремится назадъ. Съ исторіей человѣческихъ мнѣній и взглядовъ происходитъ нѣчто въ томъ же родѣ, особенно, если представить себѣ, что маятникъ, кромѣ колебательнаго, имѣетъ еще поступательное движеніе впередъ всею своею поверхностью.

Было время, когда люди выходили на поединокъ, какъ на «судъ божій», для рѣшенія своихъ личныхъ вопросовъ. Они вѣрили, что «пуля виноватаго найдетъ», что божественные дѣятели непремѣнно снизойдутъ до ихъ домашнихъ дѣлъ и дрязгъ, примутъ въ поединкѣ сторону праваго, дадутъ ему побѣду и поразятъ виноватаго. Прошли года, и эта вѣра въ возможность и необходимость ежеминутнаго вмѣшательства божества въ человѣческія дѣла исчезла: опытъ, наблюденіе и кооперація вырвали изъ-подъ нея почву; объективно-антропоцентрическая телеологія въ этой сферѣ стушевалась. Но исторія вложила новое содержаніе въ старую форму. Поединокъ, какъ судъ божій исчезъ, но мы имѣемъ поединокъ, какъ судъ чести. Убѣдившись, что божество не слѣдитъ за каждымъ ихъ шагомъ, люди создали себѣ новое божество—честь, и соціальный маятникъ поднялся влѣво на высоту, равную высотѣ дуги, на которую онъ былъ поднятъ вправо процессомъ образованія объективно-антропоцентрическихъ понятій. Что розмахи маятника вправо и влѣво равны между собою, хотя и происходятъ въ противоположномъ направленіи, въ этомъ нетрудно убѣдиться. Что такое дуэль, какъ судъ божій? Это, во-первыхъ, испытаніе,—кто правъ и кто виноватъ, и современная дуэль, какъ судъ чести, представляетъ то же самое: и тамъ, и здѣсь виноватъ погибшій и правъ уцѣлѣвшій. Это, во-вторыхъ, очищеніе грѣха передъ божествомъ, какъ современная дуэль есть искупленіе грѣха передъ честью. Но въ первомъ случаѣ дѣло представляется рѣшенію ясно и цѣльно представляемаго сверхъестественнаго, но человѣко-подобнаго существа, тогда какъ во второмъ дѣло рѣшается честью, т. е. спеціализированною, обособленною, отвлеченною категоріею, частицею психическаго механизма, оторванною отъ своего цѣлаго. Какъ чистая истина, чистое искусство, абсолютная справедливость, богатство для богатства, такъ и честь дуэлиста—созданы однимъ и тѣмъ же процессомъ общественныхъ дифференцированій. И какъ всѣ остальныя отвлеченныя категоріи, изъ которыхъ пытаются вывести какое либо практическое правило, честь въ дуэльномъ смыслѣ есть не что иное, какъ возведеніе факта данной минуты въ принципъ, раб-

ское поклоненіе эмпирическимъ формамъ общественности. Человѣкъ воображаетъ, что онъ, идя на дуэль, отрекается отъ своихъ чувствъ, помысловъ, отъ всей своей жизни, и передъ нимъ, какъ одинокій маякъ, блеститъ только одна честь. Но никакого отреченія тутъ, очевидно, нѣтъ: въ его понятіи о чести невѣдомо для него самого сконцентрированы, сдавлены всѣ эмпирическія условія жизни, среди которой онъ выросъ и которую онъ, повидимому, приноситъ въ жертву чести. Его понятіе о чести относится къ его и окружающей его жизни, какъ оттискъ печати на конвертѣ къ самой печати. И здѣсь, какъ и въ другихъ случаяхъ эксцентризма, которые мы указали въ другомъ мѣстѣ, голый фактъ, такъ сказать, принципіализируется, поднимается на высоту и облекается туманомъ отвлеченной категоріи. Затѣмъ въ самомъ ходѣ событій предполагается извѣстная тенденція, стремленіе къ нѣкоторой предопредѣленной цѣли; именно въ случаѣ дуэли предполагается, что самъ исходъ поединка отличитъ праваго отъ виноватаго. Далѣе, логическая необходимость, не столь очевидная въ вопросѣ о поединкѣ, но не оставляющая сомнѣній для самаго поверхностнаго взгляда, въ области теоретической мысли, влечетъ мысль къ созданію сверхъестественной, но чувствующей, желающей и мыслящей по образцу человѣка личности, и этому субъективному образцу придается объективное значеніе*). Можно ли говорить объ отреченіи мыслителя отъ своихъ человѣческихъ чувствъ и желаній, и не должна ли отразиться въ изслѣдованіи личность мыслителя со всѣми ея эмпирическими условіями, опредѣленными психическими движеніями, когда, напримѣръ, Мильнъ-Эдвардсъ прямо говоритъ, что онъ смотритъ на природу, постоянно имѣя въ виду вопросъ: какъ бы сталъ поступать человѣкъ, если-бы ему предстояла задача построить вселенную. (См. его Introduction à la zoologie générale ou considérations sur les *tendances de la nature* dans la constitution du règne animal. Paris, 1853). Естественное дѣло, что такъ какъ каждое дѣйствіе знаменитаго зоолога управляется извѣстными стремленіями, имѣетъ извѣстную цѣль, то, строго придерживаясь своего плана объясненія природы, онъ неминуемо и въ ней долженъ усмотрѣть des tendances и des causes finales. И онъ ихъ дѣйствительно усматриваетъ. Выкладывая передъ читателемъ свою программу объясненія природы, Мильнъ-Эдвардсъ только наивно-откровенно передаетъ тотъ процессъ мысли, который проходитъ красною нитью сквозь весь эксцентрическій періодъ и который у другихъ эксцентриковъ лежитъ подъ спудомъ. Люди суть смертные боги, а боги—безсмертные люди,—это изреченіе Гераклита справедливо не для одной древности и не для одного объективно-антропоцентрическаго строя мысли. Лѣтъ двадцать до появленія «Происхожденія видовъ» Дарвина, вышла на англійскомъ языкѣ книга неизвѣстнаго автора «Слѣды творенія» (Vestiges of Creation), въ которой, такъ сказать, предвосхищены нѣкоторыя стороны теоріи Дарвина (у насъ, кажется, есть переводъ ея съ нѣмецкаго перевода К. Фогта). Отрицая неизмѣняемость видовъ, неизвѣстный авторъ колеблетъ вмѣстѣ съ тѣмъ, повидимому, всѣ основы телеологіи. Онъ утверждаетъ, что законъ причинной связи и необходимости безконтрольно царствуетъ во вселенной. Но вся эта прекрасная аргументація, направленная противъ телеологіи объективно-антропоцентрической, вдругъ обрывается; авторъ объясняетъ, что возникновеніе матеріи было осо-

---

*) «Въ ведахъ, въ сочиненіяхъ и платониковъ, и гегельянцевъ, мистицизмъ есть ни болѣе, ни менѣе какъ приписываніе объективнаго существованія субъективнымъ созданіямъ нашихъ собственныхъ способностей, идеямъ или чувствамъ нашего духа, и убѣжденіе, что, сторожа и созерцая эти идеи собственнаго произведенія, духъ можетъ читать въ нихъ происходящее во внѣшнемъ мірѣ» (Милль, I, с. 313). «Слѣдствіе неспособности отдѣлять ясно внѣшній объектъ отъ мысли или идеи его въ душѣ очень полно и ясно проявляется въ суевѣрныхъ вѣрованіяхъ и обычаяхъ необразованныхъ людей, но ея результаты никакъ этимъ не ограничиваются. Безъ преувеличенія можно сказать, что для того, чтобы прослѣдить ихъ вполнѣ, потребовалось бы полное изученіе исторіи и религіи» (Тайлоръ. Доисторическій бытъ человѣка и начало цивилизаціи. М. 1868, 195). Позволю себѣ привести здѣсь слѣдующій довольно любопытный эпизодъ изъ личной моей психической жизни. Мнѣ было лѣтъ шестнадцать, когда феномены сна и сновидѣній обратили на себя мое особенное вниманіе. И думы объ этихъ явленіяхъ привели меня къ такой космогоніи. Человѣкъ состоитъ изъ тѣла и души; когда мы спимъ, то душа отдѣляется отъ тѣла и создаетъ разныя, хотя иногда и фантастическія фигуры, но по образу и подобію нашему. Эти образы, часть нашей души, живутъ своею собственною, самостоятельной жизнью, они имѣютъ реальное бытіе. Мы ихъ творимъ, и живутъ они, только пока мы не проснемся: тутъ имъ и конецъ. Мы сами такія же творенія, созданы по образу и подобію божію, мы не что иное, какъ божественныя сновидѣнія. Богъ видитъ весь нашъ міръ во снѣ. Начало міра—когда Богъ заснулъ, конецъ—когда Онъ проснется, т. е. воплотится. Наше творчество слабѣе, потому что ужъ изъ вторыхъ рукъ оно. Но можетъ быть еще третья генерація: создаваемые нами образы сами могутъ спать и творить. Замѣчательно, что передъ самымъ созданіемъ этой грандіозно-поэтической космогоніи, я былъ въ болѣзненно-сонливомъ настроеніи и спалъ очень много; слѣдовательно, моя ребяческая фантазія въ буквальномъ смыслѣ копировала Бога съ моего психическаго состоянія. Естественнымъ практическимъ выводомъ изъ этой фантазіи была обязанность какъ можно больше творить, т. е. какъ можно больше спать. Но увы!—моя способность спать по шестнадцати часовъ въ сутки немедленно исчезла, вмѣстѣ съ чѣмъ я сталъ замѣчать крупныя прорѣхи въ своей космогоніи.

біимъ творческимъ актомъ, даровавшимъ вмѣстѣ съ тѣмъ матеріи законы, которыми она уже и управляется сама собой. Фоггъ весьма остроумно и вѣрно замѣчаетъ, что такое представленіе «произволенія Божія», Творца и его отношенія къ твореніямъ есть точный снимокъ съ англійской конституціи: Творецъ даровалъ природѣ великую хартію и затѣмъ уже не вмѣшивается лично въ ходъ дѣлъ. Словомъ, это—перенесеніе на устройство вселенной извѣстной конституціонной формулы Гизо: le roi regne et ne gouverne pas.

Итакъ, мистицизмъ, т. е. возведеніе субъективной идеи на степень объективнаго существованія, и антропоморфизмъ, т. е. копированіе личности Бога съ личности человѣка и окружающихъ его условій—вотъ та почва, которая обща и объективно-антропоцентрическому и эксцентрическому строю мысли. Безъ сомнѣнія, общность этихъ чертъ значительно помогла Геккелю, какъ и многимъ другимъ, смѣшать оба эти міросозерцанія подъ общимъ именемъ «дуалистическаго» или «телеологическаго», въ противоположность «монистическому» или «механическому». Строго дуалистиченъ только эксцентризмъ, и если какъ объективно-антропоцентрическое, какъ и эксцентрическое міросозерцанія оба имѣютъ одинаковое право на названіе телеологическихъ, то тѣмъ не менѣе между тою и другою телеологіею есть съ человѣческой, гуманной, т. е. единственно научной и справедливой точки зрѣнія весьма важная разница: розмахи соціальнаго маятника равны между собою, но направлены въ разныя стороны. Съ тѣхъ поръ, какъ мышленіе перестало быть средствомъ и обратилось въ самостоятельную цѣль, въ Selbstzweck, какъ говорятъ нѣмцы, доступную только одной часть общества, связь между этою частью и остальнымъ обществомъ порывается или, по крайней мѣрѣ, утрачивается сознаніе связи. Мыслящая часть общества значительно расширяетъ въ извѣстную сторону свое психическое содержаніе. Опытъ и наблюденіе постепенно убѣждаютъ этихъ обезпеченныхъ чужимъ трудомъ людей, что вѣрованія ихъ предковъ и бокъ-о-бокъ живущихъ съ ними представителей физическаго труда суть не болѣе, какъ сказки, порожденныя запуганною фантазіею. Съ другой стороны, къ тому же результату приводитъ и видоизмѣненіе, вслѣдствіе раздѣленія труда, направленія и интенсивности сочувственнаго опыта. Если бы возможенъ былъ такой ходъ исторіи, который не допустилъ бы въ обществѣ ничего подобнаго органическому развитію, т. е. обособленію частей для разнородныхъ, спеціальныхъ функцій, то наростаніе знаній привело бы человѣчество отъ объективнаго антропоцентризма прямо къ антропоцентризму субъективному. Человѣкъ прямо, безъ всякихъ эксцентрическихъ зигзаговъ, убѣдился бы, что формула: все сотворено на пользу человѣка—совершенно справедлива, но не въ объективномъ, а только въ субъективномъ смыслѣ; что ничто не создано для человѣка, что до всего ему приходится добиваться своимъ потомъ и кровью, но что въ виду своихъ интересовъ онъ самъ, силою своего сознанія, становится въ центрѣ природы и покоряетъ ее себѣ. Но наростаніе знаній при коопераціи раздѣльнаго труда не доводитъ міросозерцанія до этого пункта. Мышленіе, какъ обособленная функція общественнаго организма, даетъ только отрицательный результатъ: ничто не создано для человѣка. Но такъ какъ эксцентрическая мысль ищетъ опоры въ самой себѣ, въ своей чистотѣ и обособленности отъ физическаго труда и чувственныхъ воспріятій, то, замѣчая въ себѣ извѣстныя стремленія, извѣстныя цѣли, она навязываетъ тѣ и другія и природѣ. Но разъ въ природѣ существуютъ цѣли и стрмленія, они должны исходить отъ нѣкоторой человѣкоподобной личности—божества. Однако, это не то божество первобытнаго антропоцентрика, которое даровало гремучей змѣѣ оригинальный хвостъ для того, чтобы онъ предупреждалъ человѣка своимъ шумомъ объ опасности, и самую змѣю создало для наказанія и устрашенія человѣка...

Человѣкъ эксцентризма настолько уже раздробился, настолько пересталъ быть недѣлимымъ *человѣкомъ*, чтобы приблизиться къ состоянію того или другого обособленнаго *органа*, что цѣли Провидѣнія не могутъ уже лежать для него въ *человѣкѣ*; онѣ разносятся для него по всему пространству и времени, размѣщаясь сообразно той спеціальной физіологической функціи, которую человѣкъ въ качествѣ спеціальнаго органа общественнаго организма развилъ въ себѣ на счетъ остальныхъ. Такова существенная разница между телеологіями объективно-антропоцентрическою и эксцентрическою. О. Контъ, очевидно, недостаточно вдумался въ смыслъ и значеніе того, что онъ называетъ метафизическимъ фазисомъ развитія (и что, какъ мы уже упоминали, относится къ эксцентризму, какъ часть къ цѣлому), когда говоритъ: «Система теологическихъ вѣрованій, очевидно, покоится на идеѣ вселенной, управляемой въ интересахъ человѣка. Нелѣпость этой идеи должна неизбѣжно выясниться даже для самыхъ обыкновенныхъ умовъ, коль скоро доказано, что земля не есть центръ небесныхъ движеній, что она не болѣе, какъ второстепенное свѣтило, обращающееся вокругъ солнца, точно такъ-же, какъ и сосѣдніе Венера и Марсъ, жители которыхъ имѣютъ столько же поводовъ придавать себѣ первенствующее значеніе. Полу-философы, пожелав-

ніе удержать доктрину цѣлесообразности и провиденціальныхъ законовъ, но отринувшіе ходячія воззрѣнія на значеніе цѣлей природы и дѣятельности Провидѣнія, впали, какъ мнѣ кажется, въ весьма важную и существенную непослѣдовательность. Ибо, исключивъ, по крайней мѣрѣ, ясное и осязательное соображеніе интересовъ человѣка, нельзя уже усмотрѣть никакой понятной цѣли въ провиденціальной дѣятельности. Поэтому признаніе движенія земли необходимо подкопало фундаментъ всего теологическаго зданія» (Cours de philosophie positive. T. II, 117). Подъ именемъ «полу-философовъ» Контъ разумѣетъ здѣсь, повидимому, англійскихъ и французскихъ деистовъ прошлаго столѣтія. Но болѣе короткое знакомство съ современною ему нѣмецкою философіею показало бы, безъ сомнѣнія, Конту, что послѣдовательно-ли, или непослѣдовательно эксцентрическое міросозерцаніе, но корень его (а слѣдовательно, и метафизики) заключается именно въ усмотрѣніи цѣлей природы внѣ человѣка; что здѣсь именно лежитъ граница между догматическою теологіею и метафизикой. И идея движенія земли подкопала фундаментъ только первобытный, объективно-антропоцентрической телеологіи. Метафизика вся основана на увѣренности въ томъ, что, наблюдая состоянія нашего духа, мы можемъ получить точное понятіе о явленіяхъ внѣшняго міра. Наши дѣйствія цѣлесообразны, и фактъ этотъ метафизиками переносится и на природу: они видятъ въ ней цѣлесообразность. Другая вѣтвь теоретическаго эксцентризма—спеціализація и эмпиризмъ—ведетъ, съ своей стороны, къ тому же результату. И здѣсь мы отмѣтимъ другую странную ошибку Конта. «Весьма характеристично,—говоритъ онъ,—что когда астрономы предаются нынѣ такого рода восторгу (передъ совершенствомъ и цѣлесообразностью явленій природы), восторгъ этотъ имѣетъ предметомъ преимущественно организацію животныхъ, съ которою астрономы совершенно незнакомы. Біологи напротивъ, знающіе все несовершенство организаціи, восторгаются совершенствомъ расположенія небесныхъ свѣтилъ, объ которомъ они имѣютъ только поверхностное понятіе. Здѣсь-то и слѣдуетъ искать истиннаго источника такого настроенія умовъ» (1. c. 26, въ примѣчаніи). Замѣчаніе это не выдерживаетъ ни малѣйшей критики. Одинъ изъ источниковъ эксцентрической телеологіи дѣйствительно лежитъ въ односторонности представителей науки, но искать его слѣдуетъ совсѣмъ не такъ, какъ это дѣлаетъ Контъ. Замѣчаніе его, во-первыхъ, не оправдывается фактически. Мы могли бы привести длинный списокъ біологовъ, прямо говорящихъ о совершенствѣ и цѣлесообразности организаціи, и при томъ біологовъ не дюжинныхъ, а такихъ какъ, напримѣръ, Іоганнъ Мюллеръ, Агассицъ, Мильнъ-Эдвардсъ и проч. Можно утвердительно сказать, что идея цѣлесообразности организаціи вплоть до появленія теоріи Дарвина царила въ біологіи почти самодержавно. Да иначе и быть не можетъ. Какъ нѣкоторые экономисты, наблюдая экономическую жизнь Англіи, возвели эмпирическій фактъ англійскаго хозяйственнаго порядка въ принципъ, такъ и естествоиспытатель, отведя себѣ извѣстный уголъ знанія и не стараясь привести его въ соотвѣтствіе съ сосѣдними отраслями, неизбѣжно увидитъ въ результатѣ столкновенія слѣпыхъ силъ—цѣль природы. Такимъ образомъ отреченіе отъ обобщеній и отреченіе отъ опыта и наблюденія, не смотря на свою кажущуюся противоположность, представляютъ много общаго. Во-первыхъ, и то, и другое суть не болѣе, какъ самообольщенія, такъ какъ на дѣлѣ спеціалисты-эмпирики имѣютъ свои теоріи, а философы-метафизики—свои данныя опыта и наблюденія. Во-вторыхъ, и то, и другое приводятъ человѣка разными путями, но къ одному и тому же результату; къ телеологіи эксцентрической.

Любопытны телеологическія воззрѣнія Вольтера. Онъ никогда, разумѣется, не былъ проникнутъ фантастически-дѣтскими грезами, которыя стоятъ густымъ туманомъ надъ первыми ступенями развитія человѣчества. По крайней мѣрѣ, онъ не написалъ ни одной строки, въ которой можно было бы найти отголосокъ объективно-антропоцентрическаго настроенія. Напротивъ, чуть не вся его многолѣтняя дѣятельность была страстною и страшною борьбою съ этимъ міросозерцаніемъ и всѣми его послѣдствіями. Не мало найдется въ его сочиненіяхъ и прямыхъ, по обыкновенію, сильныхъ и ядовитыхъ нападковъ на объективный антропоцентризмъ. Такъ въ своей поэмѣ о человѣкѣ Вольтеръ заставляетъ мышей хвалить Бога за прекрасное устройство мышиныхъ норъ, затѣмъ выводятся на сцену утки, индѣйскіе пѣтухи, бараны, поочередно заявляющіе свое убѣжденіе въ томъ, что средоточіе природы лежитъ именно въ уткахъ, индюкахъ, баранахъ. Оселъ прямо утверждаетъ, что и самъ гордый человѣкъ созданъ съ спеціальной цѣлью ухаживанія за нимъ, осломъ, такъ какъ онъ чиститъ ему стойло, приноситъ кормъ, приводитъ ослицу и т. д. Но если Вольтеръ такъ вѣрно понималъ нелѣпость объективно-антропоцентрической телеологіи, то только по временамъ и, видимо, съ большими усиліями вырывался онъ изъ оковъ телеологіи эксцентрической. Causas finales цѣпко держались за этотъ необкновенный умъ. Вотъ что говорится въ статьѣ «Causes finales» въ философскомъ словарѣ: «Если только часы сдѣланы не для того, чтобы показывать время, я соглашусь, что сознатель-

ныя конечныя цѣли—чистый вздоръ. Есть люди, которые смѣются надъ этими цѣлями, такъ какъ онѣ давно уже опровергнуты Эпикуромъ и Лукреціемъ; имъ слѣдовало бы скорѣе смѣяться надъ Эпикуромъ и Лукреціемъ. Глазъ, говорятъ они, сдѣланъ не для того, чтобы видѣть: имъ только воспользовались для этого употребленія, потому что замѣтили, что имъ отлично можно воспользоваться для этой цѣли. По этому мнѣнію, ротъ созданъ вовсе не для принятія пищи, желудокъ не для переваривапія, сердце не для кровообращенія, ноги не для ходьбы, уши не для слушанія; но эти же люди сознаютъ, что портной сдѣлалъ имъ платье для надѣванія, каменщикъ сдѣлалъ домъ для житья. Они осмѣливаются отказывать природѣ, высшему существу, всеобщему разуму—въ томъ, что они охотно признаютъ за самымъ ничтожнымъ работникомъ. Конечно, было бы преувеличеніемъ утверждать, что ноги существуютъ для того, чтобы носить сапоги, носъ—для очковъ. Только то можетъ считаться дѣйствительной конечной цѣлью, гдѣ одно и то же дѣйствіе во всѣ времена и во всѣхъ мѣстахъ связано съ той же причиной. Корабли были не во всѣ времена и не на всѣхъ моряхъ; слѣдовательно, нельзя сказать, что море создано для кораблей. Руки существуютъ не для перчаточниковъ. Но всѣ существа имѣютъ глаза и видятъ, всѣ имѣютъ ротъ и ѣдятъ, всѣ имѣютъ желудокъ и перевариваютъ. Мы извращаемъ свое мышленіе, когда не хотимъ принимать такихъ всеобщихъ истинъ» *).

Изумительно, какъ такой сильный и проницательный умъ могъ довольствоваться столь бѣдными аргументами. Вся приведенная тирада есть не болѣе, какъ цѣлый рядъ болѣе или менѣе грубыхъ логическихъ ошибокъ. Вольтеръ указываетъ, какъ на противорѣчіе, на то обстоятельство, что люди «осмѣливаются отказывать природѣ, высшему существу, всеобщему разуму — въ томъ, что они охотно признаютъ за самымъ ничтожнымъ работникомъ», тогда какъ дѣло именно въ томъ, чтобы признать или опровергнуть присутствіе сознательныхъ цѣлей, «всеобщаго разума» въ природѣ. Мыслители, отвергающіе цѣлесообразность устройства вселенной, отрицаютъ тѣмъ самымъ присутствіе того самаго «всеобщаго разума», который Вольтеръ ставитъ имъ въ счетъ. Слѣдовательно, противники его могутъ быть уличаемы въ невѣрности посылки, но не въ противорѣчіи, а Вольтеръ именно старается уличить ихъ въ послѣднемъ и обходитъ, такъ сказать, сердце вопроса. Далѣе, дистелеологія (терминъ Геккеля) въ своемъ чистомъ видѣ утверждаетъ не то, что ноги созданы не для ходьбы, и т. п.; она учитъ, что существованіе ногъ и ходьба связаны только причинно, а не телеологически, что ноги, во-первыхъ, не созданы, а развились, и что, слѣдовательно, во-вторыхъ, ими удовлетворяется не заранѣе предназначенная имъ цѣль: змѣи, рыбы, черви не имѣютъ ногъ и, однако, движутся. Если кто-нибудь и утверждалъ, что «глазъ сдѣланъ не для того, чтобы видѣть; что имъ только воспользовались для этого употребленія, потому что замѣтили, что имъ отлично можно воспользоваться для этой цѣли»; — если кто-нибудь утверждалъ такую нелѣпость, то опроверженіе ея не стоило бы бумаги. Добросовѣстный сторонникъ цѣлесообразности, и при томъ съ силами Вольтера, долженъ бы былъ направить свои удары не на эту жалкую форму дистелеологіи, а на формы, лучше защищенныя. Но деистъ-Вольтеръ не могъ подойти къ здравой дистелеологіи даже настолько, чтобы увидѣть ее. Онъ не могъ оторваться отъ своей антропоморфической идеи Бога-работника, Бога-мыслителя, Бога-художника. Какъ ни сильна была со стороны Вольтера реакція противъ первобытнаго міровоззрѣнія, онъ сходился съ нимъ на пунктѣ созданія Бога по образу и подобію своему. Какъ мыслящій художникъ, онъ представлялъ себѣ божество такимъ же мыслящимъ художникомъ. И онъ не разъ высказывалъ мысль, что природа есть не природа, а искусство; вселенная—великое художественное произведеніе. Русскій поэтъ, г. Фетъ, выразилъ недавно, что направленіе, цѣлесообразность въ искусствѣ (одинъ изъ видовъ *субъективно*-антропоцентрической телеологіи) есть ни болѣе ни менѣе, какъ «мочальный хвостъ». Я не смѣю утверждать, чтобы г. Фетъ имѣлъ какія-либо опредѣленныя философскія воззрѣнія, такъ какъ онъ ихъ, сколько мнѣ извѣстно, никогда и нигдѣ не высказывалъ. Но нѣкоторые изъ его единомышленниковъ по вопросу о направленіи, какъ о мочальномъ хвостѣ, не разъ заявляли себя въ качествѣ эксцентрическихъ телеологовъ, т. е. людей, принимающихъ causes finales и исповѣдующихъ, что все въ природѣ совершается по извѣстному плану и съ извѣстными цѣлями. Не осмѣливаюсь изумляться этому воспрещенію сознательнаго творчества человѣку рядомъ съ вѣрою въ сознательное творчество природы. Но осмѣливаюсь воспользоваться остроумнымъ выраженіемъ г. Фета и замѣтить, что истолковывать природу такимъ образомъ, чтобы въ каждомъ результатѣ стокновенія естественныхъ силъ видѣть заранѣе указанную цѣль,—что истолковывать такимъ образомъ явленія природы значитъ подвязывать къ нимъ мочальный хвостъ. Я рѣшаюсь даже утверждать, что все это міросозерцаніе состоитъ въ схватываніи чело-

*) Я цитирую по Геттнера «Исторіи литературы», II, 139.

вѣкомъ явленій за предварительно имъ самимъ придѣланный къ нимъ мочальный хвостъ. Надо сознаться, что такой способъ объясненія явленій природы какъ нельзя болѣе простъ и удобенъ, хотя и нѣтъ ничего легче, какъ запутаться въ мочальномъ хвостѣ *).

Послѣдовательный оптимистъ, отрицающій самое существованіе зла въ мірѣ, Вольтеръ запѣваетъ съ 1755 года совершенно иную пѣсню. Въ этомъ году произошло, какъ извѣстно, знаменитое лиссабонское землетрясеніе. Это страшное событіе многихъ заставило призадуматься и во многихъ умахъ произвело глубокій переворотъ: разрушеніе великолѣпнаго города, шестьдесятъ тысячъ смертей въ нѣсколько мгновеній—тяжело и больно отдались въ серцахъ и головахъ людей. Шестилѣтній Гете, какъ онъ самъ разсказываетъ въ своихъ Wahrheit und Dichtung, былъ страшно потрясенъ. Въ его дѣтскомъ психическомъ аппаратѣ раздалась совершенно новая, щемящая нота, въ душу запали ранніе сомнѣнія. «Богъ, творецъ и вседержитель неба и земли,—говоритъ онъ,—о которомъ говорится въ первомъ членѣ символа вѣры, какъ о всемудромъ и всеблагомъ, не показалъ въ этомъ случаѣ отеческой заботливости, подвергнувъ гибели безъ разбора и добрыхъ, и злыхъ. Тщетно мой юный умъ старался осилить эти впечатлѣнія, но рѣшительно былъ не въ состояніи, тѣмъ болѣе, что даже умные и сами религіозные люди не могли согласиться между собою въ объясненіи этого событія» (Д. Г. Льюисъ. Жизнь І.-В. Гете. Спб., 1868 г., стр. 27). Кантъ, которому въ 1755 году перевалило за сорокъ, писалъ: «Зрѣлище такой скорби, какую недавняя катастрофа внесла въ ряды нашихъ ближнихъ, должно возбудить гуманное чувство любви и заставить насъ отчасти пережить несчастіе, такъ тяжко обрушившееся на этихъ людей (soll die Menschenliebe rege machen und uns einen Theil des Unglücks empfinden lassen, welches sie mit solcher Härte betroffen hat). Но мы удалились бы отъ любви, если бы стали смотрѣть на подобные случаи, какъ на божественную кару, а на несчастныхъ страдальцевъ, какъ на цѣль божіей мести за грѣхи. Такое сужденіе, предполагающее возможность проникнуть въ виды и намѣренія Бога, ошибочно. Человѣкъ воображаетъ, что онъ составляетъ единственную цѣль божеской дѣятельности, какъ будто бы его она только и имѣетъ въ виду и только съ нимъ и соображается въ управленіи вселенною. Вся природа есть предметъ, достойный мудрости и промысла божіихъ; мы не болѣе, какъ часть, и хотимъ быть цѣлымъ. Правила совершенства цѣлой природы приносятся въ жертву человѣку. Думаютъ, что все, клонящееся къ нашему удобству или удовольствію, для насъ именно и существуетъ, и что если въ природѣ совершается нѣчто не выгодное для человѣка, то это должно быть объясняемо карою, местью, угрозою. Однако, мы видимъ, что многое множество злодѣевъ благоденствуетъ; что землетрясенія издревле поражаютъ извѣстныя страны безотносительно къ смѣняющимся поколѣніямъ жителей; что явленія эти не исчезли, напримѣръ, въ Перу, съ тѣхъ поръ, какъ страна изъ языческой стала христіанскою; что бѣдствіе это никогда не касалось нѣкоторыхъ городовъ, не могущихъ похвалиться особою безгрѣшностью» (Geschichte und Beschreibung der merkwürdigsten Vorfälle des Erdbebens, welches an dem Ende des 1755 Jahres einen grossen Theil der Erde erschüttert hat. Въ VI т. изданія Розенкранца и Шуберта, ст. 268). Шестидесятилѣтній Вольтеръ совершенно преобразился. У него, утверждавшаго доселѣ, что «знать, что земля, люди, звѣри таковы, каковы они должны быть по порядку провидѣнія,—есть признакъ мудреца» (Геттнеръ, 141),—у него теперь вдругъ одинъ за другимъ вырываются полные скорби, ироніи и сомнѣнія звуки. Въ Poëme sur le Désastre de Lisbonne читаемъ:

Direz vous, en voyant cet amas de victimes,
Dieu s'est vengé, leur mort est le prix de leur crime?
Quel crime, quelle faute ont commis ces enfants
Sur le sein maternel ecrasés et sanglants?
Lisbonne qui n'est plus, eut elle plus de vices
Que Londres, que Paris, plongés dans les délices?
Lisbonne est abimée et l'on danse à Paris.

Недѣли черезъ три послѣ землетрясенія Вольтеръ пишетъ Троншену: «Какъ жестока природа! Трудно будетъ сказать, почему законы движенія должны производить такія

*) «Dieselben Ursachen, welche es haben bewirken können, dass einst in so grosser Ausdehnung über der Erkenntniss des Zweckes die Frage nach der Causalität vergessen wurde, bewirken es nun auch heutigen noch, dass dies gar häufig auf dem Gebiete des organischen Lebens geschieht. Der Complex bewirkender Ursachen, durch welchen das organische Wesen entsteht, ist so höchst verwickelt, dass uns hier noch immer die Analyse nach vielen Punkten vollständig im Stiche lässt. Da ist es nun natürlich, dass die ferneliegende Hoffnung einer solchen Aufklärung gar leicht ganz in den Hintergrund tritt, um so mehr als die Frage nach dem Zwecke *nicht nur mannigfach leicht zu beantworten ist, sondern in ihrem Interesse auch noch durch den Egoismus erhöht wird*» (Bergmann und Leuckart. Anatomisch-physiologisches Uebersicht des Thierreichs, S. 22). Послѣднее, вскользь брошенное замѣчаніе отличается, если я его только вѣрно понимаю, рѣдкой глубиной. Геккель, у котораго я заимствую эту цитату, приводитъ еще слѣдующее замѣчательное признаніе одного изъ величайшихъ сторонниковъ цѣлесообразности, Канта: „Die Zweckmässigkeit ist erst vom reflectirenden Verstande in die Welt gebracht, der demnach ein Wunder anstaunt, dass er selbst erst geschaffen hat».

страшныя опустошенія dans le meilleur des mondes possibles. Что за печальная игра случая—игра человѣческой жизни! Это должно бы научить человѣка—не преслѣдовать человѣка. Когда одинъ собирается сжигать другого, земля поглощаетъ обоихъ». Затѣмъ явился глубоко прочувствованный и глубоко сатирическій «Кандидъ»; Вольтеръ жестоко смѣется надъ своими недавними учителями, Болингброкомъ, Шафтесбери и Попомъ, утверждавшими, что все устроено наилучшимъ образомъ. Такъ передернуло «царя мысли» XVIII вѣка лиссабонское землетрясеніе. Любопытно было бы сравнить результаты этого вліянія съ мѣткими замѣчаніями Бокля о вліяніи землетрясеній на укрѣпленіе суевѣрія и задержку развитія наукъ. Сравненіе это показало бы, какъ одно и то же явленіе при различныхъ условіяхъ оказываетъ діаметрально противоположныя дѣйствія на людей. Бокль полагаетъ, что понятія о землетрясеніяхъ и грозныхъ явленіяхъ природы вообще, какъ о божественной карѣ, есть продуктъ суевѣрія, которое, въ свою очередь, само поддерживается этими грозными явленіями. Это, конечно, до извѣстной степени справедливо, и постепенное, въ цѣломъ ряду поколѣній, усвоеніе закона причинной связи явленій безъ сомнѣнія значительно расчищаетъ почву для смѣны объективно-антропоцентрическихъ представленій болѣе правильными. Но здѣсь не трудно замѣтить и вліяніе сочувственнаго опыта и коопераціи. Вольтеръ и прежде смѣялся надъ вѣрою человѣка въ центральность своего положенія; онъ и до лиссабонскаго землетрясенія очень хорошо понималъ, что силы природы дѣйствуютъ не для наказанія и награжденія человѣка. Ясно, что его внезапное возбужденіе было порождено представленіемъ смерти тысячъ людей, ни въ чемъ неповинныхъ. Онъ пережилъ послѣднія страшныя минуты этихъ несчастныхъ жертвъ слѣпой и глухой природы, и надломилась въ немъ и эксцентрическая телеологія. Но еще міръ не пережилъ великой революціи, окончательно обезпечившей Европѣ смѣну порядка раздѣленія труда порядкомъ простого сотрудничества; еще сочувственный опытъ не получилъ достаточно широкихъ областей примѣненія. И Вольтеръ остановился на полдорогѣ. Жалко видѣть, какъ путается и заикается этотъ дерзкій и сильный умъ, говоря о значеніи зла на землѣ. «Болингброкъ, Шафтесбери и Попъ,—говоритъ онъ,—(статья Tout est bien въ философскомъ словарѣ: Геттнеръ, 142) защищаютъ взглядъ, что все устроено наилучшимъ образомъ. Если это значитъ, что все происходитъ изъ вѣчнаго неизмѣннаго закона, кто этого не знаетъ? Порядокъ есть, конечно, вездѣ. Если въ моемъ мочевомъ пузырѣ образуется камень, то это образованіе происходитъ совершенно согласно съ природой, и также согласно съ природой и съ искусствомъ дѣйствуетъ врачъ при своемъ лѣченіи; но если я умираю подъ этимъ болѣзненнымъ (?) лѣченіемъ, какая мнѣ польза изъ сознанія, что я подчиняюсь неизмѣннымъ естественнымъ законамъ? Зла никакого нѣтъ—говоритъ Попъ: всѣ частные роды зла составляютъ только общее благо. Славное общее благо, составленное изъ каменной болѣзни, ревматизмовъ, преступленій и страданій всякаго рода, изъ смерти и осужденія; и мнѣ кажется плохимъ утѣшеніемъ, когда Попъ говоритъ, что Богъ одинаково смотритъ на гибель героя и воробья, тысячи планетъ или атома, или когда Шафтесбери спрашиваетъ, почему бы долженъ былъ Богъ мѣнять свои вѣчные законы въ пользу такого жалкаго творенія, какъ человѣкъ. Надобно, по крайней мѣрѣ, согласиться, что человѣкъ имѣетъ право жаловаться, что частное благосостояніе не примиряется съ вѣчными законами. Это ученіе представляетъ божество могущественнымъ, но насильственнымъ властителемъ, которому нѣтъ дѣла до тысячъ человѣческихъ жизней, когда ихъ требуютъ его произвольныя цѣли. Это ученіе неутѣшительно, оно тягостно. Вопросъ о происхожденіи зла остается неразрѣшимой путаницей, отъ которой нѣтъ другого спасенія, какъ довѣріе къ провидѣнію». Или: «Есть высшее вѣчное разумное существо, отъ котораго происходитъ все, что живетъ и существуетъ. Но происходитъ-ли отъ этой основной причины всѣхъ вещей и зло, физическое и моральное? Что касается до зла физическаго, то всѣ религіи и всѣ философскія ученія относили его къ Богу; только безвкусіе манихеевъ хотѣло освободить Бога отъ созданія и допущенія зла, но безвкусіе вовсе не есть доказательство. Эта основная причина произвела ядъ и пищу, болѣзнь и наслажденіе: въ этомъ сомнѣваться нельзя. Зло необходимо, потому что оно есть; все, что есть, необходимо,—какую бы иначе оно имѣло причину своего существованія? Но зло нравственное, преступленіе, Неронъ, Александръ VI? Весь свѣтъ говоритъ: какъ можетъ быть Богъ причиной столькихъ страданій? Но если нашъ разумъ есть только часть всеобщаго разума, только истеченіе высшаго существа, какъ мы можемъ думать и желать проникнуть всѣ намѣренія и конечныя дѣла самаго этого высшаго существа? Что три есть половина шести, что діагональ дѣлитъ квадратъ на два равные треугольника, это мы знаемъ такъ же вѣрно, какъ это знаетъ Богъ; но мы остаемся только частью и можемъ понять только часть міра. Высшее существо сильно, мы слабы; мы также необходимо ограничены, какъ высшее существо необходимо безконечно. Зная, что одинъ лучъ ничего не значитъ противъ солнца, я

покорно подчиняюсь высшему свѣту, который долженъ просвѣтить меня во мракѣ міра». (L. c. 143, ст. «Tout en Dieu»).

Какимъ старческимъ безсиліемъ вѣетъ отъ этихъ строкъ, какъ немощна проскальзывающая здѣсь мѣстами иронія! «Царь мысли» жалѣетъ о томъ, что онъ не можетъ вѣрить, что «вѣчные законы измѣняются въ пользу такого жалкаго творенія, какъ человѣкъ». Этотъ безповоротно изгнанный изъ рая царь мысли, повидимому, и не подозрѣваетъ, что, кромѣ объективно-антропоцентрическаго и эксцентрическаго, возможно еще субъективно-антропоцентрическое рѣшеніе занимающаго его вопроса; что человѣкъ можетъ сказать:

Un jour tout sera bien, voilà notre espérance,
Tout est bien aujourd'hui, voilà l'illusion—

и при этомъ возложить свои надежды не на «высшій свѣтъ», какъ это дѣлаетъ Вольтеръ, а на самого себя, на свои руки и на свою голову. Человѣкъ можетъ сказать: да, природа ко мнѣ безжалостна, она не знаетъ различія, въ смыслѣ права, между мною и воробьемъ; но я и самъ буду къ ней безжалостенъ и своимъ кровавымъ трудомъ покорю ее, заставлю ее служить мнѣ, вычеркну зло и создамъ добро. Я не цѣль природы, природа не имѣетъ другихъ цѣлей. Но у меня есть цѣли, я ихъ достигну.

II.

Передъ нами лежатъ двѣ книги. Обѣ онѣ написаны людьми съ громкимъ авторитетомъ, совершенно независимо другъ отъ друга. Обѣ трактуютъ объ одномъ и томъ же предметѣ обѣ появились въ одномъ и томъ же году (1859), обѣ получили обширную, хотя и неравную извѣстность. Но сходство между ними рѣзко завершается на этихъ внѣшнихъ и случайныхъ обстоятельствахъ. Это представители двухъ діаметрально-противоположныхъ міросозерцаній, между которыми невозможно никакое соглашеніе, никакой компромиссъ. Простое сопоставленіе этихъ двухъ складокъ мысли неизбѣжно ведетъ къ рѣшительному отверженію какой-нибудь изъ нихъ. Каждому предоставляется выбрать по крайнему своему разумѣнію Ормузда и Аримана, свѣтъ и тѣнь, бѣлое и черное; но признавъ свѣтомъ одну группу воззрѣній, другую вы уже обязаны признать тьмою. Въ своемъ опытѣ о воспитаніи Спенсеръ полагаетъ, что исторія человѣческой мысли можетъ быть сведено къ тремъ фазисамъ: единогласія невѣждъ, разногласія изслѣдователей и единогласія знающихъ. Эта формула очень удачна главнымъ образомъ по своей наглядности, и представляетъ дѣйствительный и неизбѣжный ходъ вещей, порядокъ нормальный. Однако, вслѣдствіе нѣкоторыхъ частныхъ неправильностей наука часто слишкомъ, невыносимо долго задерживается на второмъ періодѣ развитія, то есть на періодѣ разногласія изслѣдователей, и такая чрезмѣрная задержка представляетъ уже явленіе печальное и ненормальное. По крайней мѣрѣ, то разногласіе изслѣдователей, какое мы встрѣчаемъ въ двухъ занимающихъ насъ книгахъ, наводитъ на очень грустныя мысли. Разногласіе тутъ не въ оцѣнкѣ какихъ-нибудь частныхъ мелочныхъ фактовъ; нѣтъ антагонизмъ лежитъ здѣсь въ самыхъ общихъ и основныхъ чертахъ міросозерцанія, въ чертахъ столь основныхъ, что мы, простые смертные, имѣли бы полное право разсчитывать на совершенное согласіе на этомъ пунктѣ, по крайней мѣрѣ, въ средѣ изъ ряду вонъ выходящихъ тружениковъ науки. Мы, простые люди жизни, съ почтеніемъ слѣдящіе за постройкою величественнаго зданія науки, со страхомъ ожидающіе отъ великихъ людей науки разрѣшенія нашихъ сомнѣній, узаконенія или отверженія нашихъ желаній; мы, наконецъ, знающіе, что тамъ внизу, еще ниже насъ, стоитъ сплошная сѣрая масса людей физическаго труда, ничего пока, правда, отъ науки не требующихъ, но несущихъ до поры, до времени на себѣ всѣ тяготы жизни, — мы замѣчаемъ вдругъ, что два великіе ученые, изучающіе одинъ и тотъ-же предметъ, единовремено издаютъ два сочиненія, изъ которыхъ одно мы должны признать Ормуздомъ, а другое—Ариманомъ... И опять-таки дѣло тутъ не въ мелочахъ какихъ-нибудь. Споръ идетъ ни больше, ни меньше, какъ о томъ, какъ мы должны смотрѣть на природу и на себя, слѣдовательно, о вопросѣ фундаментальномъ, вопросѣ общемъ и элементарномъ, такъ сказать, азбучномъ. Положимъ, что составленію азбуки предшествуютъ цѣлые вѣка формировки языка, но не мало уже прошло вѣковъ. Какъ бы то ни было, а это проявленіе современной философской анархіи должно неизбѣжно произвести самое тяжелое впечатлѣніе на всякаго способнаго вдумываться въ значеніе явленій умственной жизни. Конечно, народная мудрость, или, вѣрнѣе, народное смиренномудріе и терпѣніе учатъ, что нѣтъ худа безъ добра. И хоть цѣлая бездна горькой ироніи заключается въ этой поговоркѣ, но и изъ указаннаго худа можно выжать нѣкоторую долю отрицательнаго добра. Именно, если два противоположныя міросозерцанія прилагаются къ оцѣнкѣ однихъ и тѣхъ же фактовъ двумя высокими учеными авторитетами, то можно надѣяться, что авторитеты эти исчерпаютъ вопросъ до дна, и люди жизни безпрепятственно пройдутъ по этому дну, какъ некогда евреи по дну Чермнаго моря; что авторитеты эти выскажутся съ такою полнотою и обстоятельностью, которыя сдѣлаютъ

невозможными дальнѣйшія пререканія, колебанія и сомнѣнія. Трудно, конечно, ожидать, чтобы который-нибудь изъ авторитетовъ склонился на сторону своего противника, потому что авторитетъ слагается долгими годами труда и мышленія, въ теченіе которыхъ нѣкоторыя основныя, давно уже залегшія въ головѣ мыслителя положенія успѣли уже, такъ сказать, окостенѣть. Поднять здѣсь жизнь, т. е. сомнѣнія, разбудить эту окостенѣвшую часть психическаго механизма,—дѣло трудное, если не просто невозможное: предвзятое мнѣніе будетъ искажать самые очевидные факты *). Но за то зрители, присутствующіе при столкновеніи мнѣній двухъ людей, долго, усердно и съ успѣхомъ послужившихъ на пользу науки, получаютъ возможность выбрать себѣ дорогу направо или налѣво. Что вопросъ стоитъ именно такимъ образомъ въ занимающемъ насъ случаѣ, это можно видѣть изъ слѣдующихъ примѣровъ.

Книги, о которыхъ мы говоримъ, суть: «О происхожденіи видовъ» Дарвина и «О видѣ и классификаціи» Агассица. «Я не вижу ничего невѣроятнаго,—говоритъ Дарвинъ,—въ томъ, чтобы естественный подборъ, *при измѣняющихся условіяхъ жизни накоплялъ легкія измѣненія инстинкта въ любой мѣрѣ* и во всякомъ полезномъ направленіи» (О происхожденіи видовъ. Переводъ г. Рачинскаго, стр. 195). «Кто хотя на одну минуту можетъ повѣрить,—говоритъ Агассицъ,—что *инстинкты животныхъ въ какой бы то ни было мѣрѣ опредѣляются условіями ихъ жизни*, при видѣ, напримѣръ, маленькой черепахи изъ рода Chelydra» и проч. (De l'espèce et de la classification en zoologie par L. Agassiz. Traduction de l'anglais par F. Vogeli. Edition revue et augmentée par l'auteur. Paris, 1869, p. 90). Или: «Но, замѣтятъ, можетъ быть, нѣкоторыя животныя, живущія въ исключительныхъ условіяхъ, отличаются такими особенностями строенія, которыя, повидимому составляютъ результатъ этихъ условій. Такъ, слѣпой ракъ, слѣпая рыба, слѣпыя насѣкомыя Мамонтовой пещеры въ Кентукки представляютъ неопровержимое свидѣтельство непосредственнаго дѣйствія исключительныхъ условій на органъ зрѣнія. Если такъ, скажу я, въ свою очередь, то отчего же извѣстная замѣчательная рыба Amblyopsis spelaeus имѣетъ хотя бы отдаленное сходство съ другими рыбами? Была ли способна сумма явленій, обусловливавшихъ образованіе этой слѣпой рыбы,—придумать (imaginer) эту комбинацію структурныхъ чертъ, общихъ этой и другимъ рыбамъ, и особенностей отличающихъ ее отъ всѣхъ? Не доказываетъ ли скорѣе существованіе зачаточнаго глаза, открытаго у слѣпой рыбы докторомъ Вайманомъ, что животное это, какъ и всѣ другія, было создано со всѣми его характеристическими особенностями, всемогущимъ «да будетъ»; и что этотъ зачатокъ глаза былъ оставленъ ему какъ воспоминаніе (réminiscence) объ общемъ планѣ строенія положенномъ въ основаніе великаго типа, къ которому онъ принадлежитъ?» (Агассицъ, 19). — «Всѣмъ извѣстно, что животныя разныхъ классовъ, обитающія въ пещерахъ Штиріи и Кентукки, совершенно слѣпы. У нѣкоторыхъ изъ раковъ глазная ножка осталась, хотя глазъ исчезъ; стативъ телескопа сохранился, хотя самый телескопъ съ его стеклами утратился. Такъ какъ трудно предположить, чтобы глаза, хотя бы и безполезные, могли быть сколько-нибудь вредны животнымъ, постоянно живущимъ въ темнотѣ, я вполнѣ приписываю ихъ утрату неупотребленію. У одного изъ слѣпыхъ животныхъ, а именно у пещерной крысы, глаза имѣютъ огромные размѣры, и профессоръ Силлиманъ полагаетъ, что, поживши нѣсколько дней на свѣту, она пріобрѣтаетъ слабую способность къ зрѣнію. Точно такъ же, какъ на Мадерѣ крылья нѣкоторыхъ насѣкомыхъ увеличились, крылья же другихъ уменьшились въ размѣрахъ дѣйствіемъ естественнаго подбора, при содѣйствіи изощренія или неупотребленія, такъ и въ случаѣ пещерной крысы естественный подборъ, повидимому, боролся съ отсутствіемъ свѣта и увеличилъ объемъ глазъ, между тѣмъ какъ въ остальныхъ жителяхъ пещеръ одно неупотребленіе произвело весь результатъ. Трудно придумать условія жизни болѣе сходныя, чѣмъ условія, соединенныя въ глубокихъ известковыхъ пещерахъ, въ почти одинаковыхъ климатахъ, такъ что по обыкновенному воззрѣнію отдѣльнаго сотворенія слѣпыхъ животныхъ для американскихъ и европейскихъ пещеръ, можно бы было ожидать близкаго сходства въ ихъ строеніи и систематическаго сродства: но такого сходства нѣтъ, и пещерныя насѣкомыя обоихъ материковъ не ближе сходны между собою, чѣмъ слѣдовало ожидать по общему сходству организмовъ Европы и Сѣверной Америки. По моему воззрѣнію, слѣдуетъ предполагать, что сѣверо-американскія животныя съ обыкновенными зрительными способностями, медленно, въ теченіе многихъ поколѣній, переселялись все глубже и глубже въ кентуккійскія пещеры, и что точно такъ же поступали

*) L'extrême imperfection de notre système d'éducation ne permet même aux plus éminents esprits d'être initiés à ces hautes pensées philosophiques, que lorsque tout l'ensemble de leurs idées à déjà reçu la profonde empreinte habituelle d'une doctrine absolument opposée: en sorte que les connaissances positives qu'ils parviennent à acquérir, au lieu de dominer et de diriger leur intelligence, ne servent ordinairement qu'à en modifier et à contenir la tendance vicieuse qu'on à d'abord développée en elle (A. Comte. Cours de phil. pos., II, 121).

животныя европейскія. Мы имѣемъ указанія на такую постепенность... Животныя, достигши въ теченіе безчисленныхъ поколѣній до отдаленнѣйшихъ закоулковъ пещеры, должны были утратить болѣе или менѣе окончательно свои глаза, вслѣдствіе неупотребленія ихъ; а естественный подборъ долженъ былъ въ то же время обусловить нѣкоторыя другія измѣненія, восполняющія эту утрату, каковы удлиненія усиковъ или щупальцевъ. Не смотря на такія видоизмѣненія, мы имѣемъ право ожидать, что найдемъ въ пещерныхъ животныхъ Европы сродство съ прочими жителями этого материка, а въ американскихъ пещерныхъ животныхъ сродство съ организмами, населяющими материкъ американскій. И это оказывается на дѣлѣ... Предполагая, что эти пещерныя животныя сотворены отдѣльно, было бы чрезвычайно трудно объяснить ихъ сродство съ прочими животными тѣхъ же материковъ» (Дарвинъ, 114—115).

Уже по этимъ четыремъ выпискамъ нетрудно видѣть, что мы имѣемъ передъ собою людей, смотрящихъ на вещи съ діаметрально противоположныхъ точекъ зрѣнія и придающихъ однимъ и тѣмъ же явленіямъ совершенно различное освѣщеніе. Оба смотрятъ на одинъ и тотъ же предметъ, но одинъ говоритъ, что это предметъ черный, а другой утверждаетъ, что онъ бѣлый. Разногласіе полное и коренное, глубокое. Но читатель пожелаетъ, можетъ быть, знать, какое отношеніе къ общественной наукѣ имѣютъ эти объясненія происхожденія инстинктовъ черепахъ и зачаточныхъ глазъ пещерныхъ животныхъ. Если читатель не задастъ намъ этого вопроса, если онъ насъ даже выбранитъ за предположеніе возможности столь азбучнаго вопроса съ его стороны,—мы будемъ очень рады. Но въ печати то и дѣло приходится наталкиваться на самыя дикія понятія на этотъ счетъ. Отсюда слѣдуетъ заключить, что и между читателями такія понятія нѣкоторый ходъ имѣютъ. Вотъ, напримѣръ, что мы прочли въ недавно вышедшемъ сочиненіи г. Щеглова «Исторія соціальныхъ системъ отъ древности до нашихъ дней» (Т. I, Спб., 1870, стр. 337): «Затѣмъ въ головѣ С.-Симона возникаетъ новая мысль внести свѣтъ въ систему наукъ, уничтожить существующую въ ней анархію. Мысль чрезвычайно важная, достойная тѣхъ способностей, которыми былъ одаренъ С.-Симонъ, но для которой, очевидно, было недостаточно его философскаго образованія. Вотъ здѣсь-то и приходится пожалѣть о томъ, что онъ поздно, только передъ смертью созналъ пользу наукъ нравственныхъ, на которыхъ строится само общество, то есть наукъ изъ круга философскаго и политическаго. Если бы С.-Симонъ вмѣсто изученія свойствъ тѣлъ органическихъ и неорганическихъ, равно какъ вмѣсто изученія характера людей ученыхъ, которое къ тому же было соединено съ проживаніемъ состоянія, употребилъ свое время и средства на изученіе наукъ философскихъ, то, можетъ быть, его «Введеніе въ ученые труды XIX вѣка» оказалось бы болѣе состоятельнымъ». Выраженная здѣсь г. Щегловымъ мысль, надо ему отдать справедливость, есть нелѣпость радикальная, нелѣпость 84-й пробы. И нелѣпость эту легче всего доказать на избранномъ г. Щегловымъ предметѣ—на исторіи соціальныхъ ученій. Мы, можетъ быть, займемся этимъ дѣломъ по выходѣ второго тома сочиненія г. Щеглова, который (не г. Щегловъ, а второй томъ) обѣщаетъ быть, судя по оглавленію, весьма поучительнымъ. Г. Щегловъ въ главѣ о С.-Симонѣ неоднократно упоминаетъ имя О. Конта, и всегда съ почтеніемъ. Думаемъ, однако, что въ почтеніи этомъ самъ Контъ нисколько не виноватъ; попросту говоря, мы думаемъ, что г. Щегловъ совершенно не знакомъ съ предметомъ своего почтенія, никогда его въ глаза не видалъ. Неоспоримая заслуга Конта состоитъ въ ясной формулировкѣ послѣдовательной зависимости и связи между науками въ порядкѣ возрастающей сложности и убывающей общности. Если бы г. Щегловъ былъ знакомъ со взглядами на этотъ предметъ Конта, то онъ убѣдился бы, что мнѣніе его, г. Щеглова, о ненадобности изученія для соціолога «свойствъ тѣлъ органическихъ и неорганическихъ, и характера людей ученыхъ» (психологіи?)—есть совершенный вздоръ. Такъ думаемъ мы, имѣя въ виду, съ одной стороны, силу доводовъ Конта, а съ другой - то обстоятельство, что г. Щегловъ всетаки человѣкъ, и слѣдовательно одаренъ извѣстною степенью пониманія. Знакомство съ Контомъ могло бы оказать г. Щеглову еще одну важную услугу. Г. Щегловъ «имѣетъ въ виду исключительно такихъ авторовъ, которые представили новыя или только подновленныя теоріи экономической и вообще соціальной организаціи общества» (IX). Контъ удовлетворяетъ этому условію, ибо представилъ то, что г. Щеглову требуется, но представилъ теорію совершенно несостоятельную. А потому, если бы г. Щегловъ послѣдовалъ примѣру Рейбо, удѣлившаго соціологической теоріи Конта мѣсто въ своихъ Etudes sur les réformateurs, то, сравнивая эту теорію съ исходною точкою философіи Конта — классификаціей наукъ, — г. Щегловъ могъ бы, руководствуясь своей своеобразной логикой, окончательно утвердиться въ вышеприведенной мысли объ отсутствіи связи между естествознаніемъ и общественною наукою. Конечно, эти двѣ услуги, которыя могли бы быть оказаны Контомъ г. Щеглову, взаимно исключаются. Но это не суть важно, ибо г. Щегловъ имѣлъ бы въ

рукахъ обоюдоострый мечь, которымъ могъ бы поражать враговъ гораздо болѣе искусно, чѣмъ это имъ дѣлается теперь. А что обоюдоострые мечи весьма удобны и находятся нынѣ въ большой модѣ, тому мы имѣли въ послѣднее время достаточно примѣровъ. Давно ли, кажется, московская пресса связала самыми, повидимому, прочными узами естествознаніе и революцію. Нынѣ та же московская пресса расторгаетъ эти узы безъ малѣйшей застѣнчивости, ибо московская пресса съ обоюдоострыми мечами обхожденіе имѣть умѣетъ, и всякіе артикулы съ ихъ помощью весьма развязно выдѣлываетъ. Въ октябрьской книжкѣ «Русскаго Вѣстника», г. Безобразовъ, проводя параллель между «нашими охранителями и нашими прогрессистами», заявляетъ, что наши теперешніе прогрессисты, вдавшись въ естествознаніе и отказавшись отъ идеализма и изслѣдованія конечныхъ цѣлей и причинъ, вмѣстѣ съ тѣмъ отвернулись и отъ идеализма, такъ сказать, гражданскаго, примирились съ дѣйствительностію и даже подали руку «нашимъ охранителямъ». Г. Безобразовъ не только рѣшается утверждать, что такой фактъ существуетъ, но еще усматриваетъ, повидимому, органическую связь между естествознаніемъ и отреченіемъ отъ изслѣдованія конечныхъ причинъ, съ одной стороны, и консервативнымъ или даже рестроградным направленіемъ — съ другой. Конечно, какъ артикулъ, выкинутый обоюдоострымъ мечомъ, обвиненіе г. Безобразова имѣетъ свои достоинства, ибо съ помощью его можно сказать: «не довернись — прибью, перевернись — опять-таки прибью», и предоставить противнику единственный безопасный образъ дѣйствія — вертѣться на подобіе флюгера. Но если искать въ словахъ г. Безобразова не артикула, а какой нибудь серьезной мысли, то такіе поиски едва ли увѣнчаются успѣхомъ. Мы не намѣрены трактовать здѣсь о многосторонней связи между естествознаніемъ и общественною наукою, о неизбѣжности этой связи и ея плодотворности, — это завело бы насъ слишкомъ далеко. Да и, наконецъ, мысль объ этой связи едва ли уже не стала общимъ мѣстомъ. Мы отмѣтимъ только слѣдующія два обстоятельства. Во-первыхъ, если современная наука (да, современная наука, а «не наши прогрессисты») отказалась отъ изслѣдованія конечныхъ причинъ и цѣлей, то тѣмъ самымъ она направила на иныя сферы всю ту силу мысли, которая расходовалась до сихъ поръ на это неблагодарное дѣло. Во-вторыхъ значительная доля этой силы направляется современною наукою на болѣе точную разработку вопросовъ общественныхъ и при томъ на разработку въ смыслѣ неизбѣжно прогрессивномъ. Конечно, дѣло это еще столь ново, что здѣсь возможны весьма крупныя недоразумѣнія и ошибки. Такъ, напримѣръ, намъ было очень странно и прискорбно встрѣтить въ сочиненіи одного изъ замѣчательныхъ современныхъ ученыхъ слѣдующаго ублюдка: «Переносить человѣческія понятія вреднаго и полезнаго, красоты и уродливости, экономіи и расточительности на порядокъ природы — нелогично; нелогично мѣрять безконечное конечнымъ масштабомъ. *Насколько велико значеніе міросозерцанія, представляющаго міръ устроеннымъ цѣлесообразно, въ педагогическомъ и эстетическомъ отношеніи, настолько же оно недостойно строгой и точной науки о природѣ*» (Die Individualität in der Natur mit vorzüglicher Berücksichtigung des Pflanzenreiches. Von Carl Nägeli. Zürich, 1855, S. 10). Подобные ублюдки и упражненія въ двойной бухгалтеріи неизбѣжны, пока наука сама по себѣ, а жизнь тоже сама по себѣ. Но не трудно подмѣтить общее, болѣе или менѣе значительное уклоненіе въ сторону единства науки и жизни, науки о природѣ и науки общественной. Чѣмъ же являются въ общественной наукѣ сторонники конечныхъ цѣлей? Школа Мальтуса, напримѣръ, полагаетъ, что извѣстная пропорція между ростомъ населенія и средствъ продовольствія со всѣми своими послѣдствіями отъ вѣка составляла цѣль всеблагого провидѣнія. Г. Безобразовъ можетъ быть какого ему угодно мнѣнія о школѣ Мальтуса и ея противникахъ, отказывающихся проникнуть въ цѣли провидѣнія, но едва ли онъ рѣшится уличить послѣднихъ въ коварномъ примиреніи съ дѣйствительностью. Изъ этого примѣра — а ихъ можно привести множество — слѣдуетъ заключить, что для разработки вопросовъ общественныхъ уясненіе законности или незаконности съ телеологической точки зрѣнія составляетъ дѣло весьма существенное. А во всей исторіи человѣческой мысли не найдется въ этомъ отношеніи ничего столь цѣннаго, какъ теорія Дарвина. Все великое значеніе этой могучей концепціи можетъ быть понято въ настоящее время только отчасти. Но съ теченіемъ времени, съ дальнѣйшей разработкой теоріи, окажется, безъ сомнѣнія, что ни разу еще люди не получали въ свое распоряженіе столь точнаго, широкаго и плодотворнаго обобщенія. Объ этомъ можно судить и по количеству свѣтлыхъ умовъ, немедленно примкнувшихъ къ воззрѣніямъ Дарвина и уже пытающихся освѣтить ими различныя спеціальныя сферы знанія; и по количеству головъ туманныхъ, изображающихъ изъ себя въ виду теоріи Дарвина вопросительный знакъ препинанія; по азартности, наконецъ, съ которою накидываются на эту теорію головы, окончательно скорбныя. Что касается до общественной науки.

то, не говоря о косвенной помощи, которую ей должна оказать теорія Дарвина болѣе правильною постановкою задачъ и вопросовъ біологіи и психологіи; не говоря, далѣе, о непосредственной помощи, которой мы въ правѣ ожидать отъ теоріи Дарвина въ разъясненіи нѣкоторыхъ спеціально-соціологическихъ законовъ,—теорія эта должна расчистить путь соціологіи, окончательно и безапелляціонно низвергая всякую телеологію, за исключеніемъ субъективно-антропоцентрической. Какъ мало, однако, понимается еще эта философская сторона теоріи Дарвина,—можно видѣть изъ слѣдующаго. Лаказъ-Дютье, нѣкоторыя замѣчанія котораго о борьбѣ за существованіе достойны всякаго вниманія—мы ихъ въ свое время разсмотримъ,—говоритъ, между прочимъ: «Итакъ, подборъ родичей, какъ и борьба за существованіе, есть фактъ, котораго никто не станетъ отрицать. Но какъ слѣдуетъ ихъ объяснять съ точки зрѣнія цѣлесообразности (quant à leur cause finale)? Здѣсь я совершенно расхожусь съ ученымъ англійскимъ натуралистомъ. Цѣль подбора, какъ результата борьбы за существованіе, есть сохраненіе видовъ чистыми и неприкосновенными. Безъ всякаго сомнѣнія выборъ недѣлимыхъ одного и того же вида имѣетъ извѣстную цѣль, и эта цѣль состоитъ въ постоянномъ поддержаніи существъ, входящихъ въ составъ группы, на высокой ступени относительнаго совершенства. Слабость есть условіе уничтоженія, исчезновенія видовъ; и потому для избѣжанія этого условія вырожденія типовъ, природа одарила самцовъ могучею, непреодолимою страстью, вслѣдствіе чего въ борьбѣ за самку одолѣваютъ сильные, здоровые и побѣждаются слабые, которые могли бы дать только подобное себѣ потомство, т. е. индивидовъ, наименѣе могущихъ противостоять окружающимъ ихъ неблагопріятнымъ условіямъ» и т. д. (Annales des sciences naturelles. Zoologie et paléontologie, T. II, 1864. «Memoire sur les Antipathères» p. 224). Лаказъ-Дютье судитъ здѣсь теорію Дарвина такими принципами, которымъ она не только неподсудна, но компетентность которыхъ она именно и ниспровергаетъ. Телеологическая точка зрѣнія не можетъ быть для теоріи Дарвина обязательною, ибо теорія эта раздавила телеологію. Она говоритъ не то, что природа одарила самцовъ страстностью для того, чтобы они дрались изъ-за самки и чтобы въ этой дракѣ одерживалъ верхъ сильнѣйшій, который и передаетъ свои качества потомству. Она разсуждаетъ совершенно иначе. Она говоритъ, что вслѣдствіе различныхъ причинъ, которыя всѣ сводятся къ наслѣдственности и приспособленію къ условіямъ среды, существуютъ самцы сильные и слабые. При недостаткѣ самокъ, самцы вступаютъ между собою въ борьбу, которая оканчивается въ пользу сильнѣйшаго, и этотъ сильнѣйшій передаетъ свои особенности потомству. Телеологическая точка зрѣнія требуетъ заранѣе поставленной цѣли и видитъ ее въ результатѣ цѣлой цѣпи естественныхъ причинъ. Теорія же Дарвина совершенно вычеркиваетъ изъ своихъ соображеній вопросъ о подборѣ и борьбѣ, quant à leur cause finale. Она просто слѣдитъ за причинною связью явленій. «Принципъ полезности,—говоритъ Негели,—есть не что иное, какъ послѣдовательно проведенная причинная связь явленій. Полезныя разновидности являются не потому, что онѣ полезны, но вслѣдствіе естественныхъ причинъ образуются вредныя, безразличныя и полезныя разновидности, и вслѣдствіе тѣхъ же причинъ первыя и вторыя погибаютъ, между тѣмъ какъ послѣднія сохраняются. Тогда только можно думать о телеологіи, если бы являлись одни только полезныя индивидуальныя отклоненія. Если что либо оказывается полезнымъ, то это еще не значитъ, чтобы оно было обязано существованіемъ своимъ телеологическому принципу. Изъ всѣхъ солнечныхъ лучей на луну падаетъ самое незначительное количество и безконечно малая часть послѣднихъ отражается отсюда и освѣщаетъ намъ ночью дорогу. Такое устройство вселенной для насъ очень выгодно; но мы не назовемъ его телеологическимъ (преднамѣреннымъ), такъ какъ оно не явилось, конечно, съ тою цѣлью, чтобы освѣщать намъ дорогу. Точно такое же разсужденіе относится и къ образованію разновидностей. Подобно тому, какъ изъ всѣхъ лучей безконечное число ихъ теряется для насъ и только немногіе оказываютъ дѣйствіе, такъ и изъ всѣхъ индивидуальныхъ уклоненій пропадаютъ всѣ, за исключеніемъ немногихъ, образующихъ разновидность, способную къ существованію» (Происхожденіе естество-историческаго вида и понятіе о немъ. М. 1866, 21).

Но этого мало. Однѣ и тѣ же индивидуальныя особенности, при различныхъ условіяхъ, могутъ поочередно оказаться и вредными, и безразличными, и полезными; и въ теоріи Дарвина подъ именемъ полезныхъ уклоненій слѣдуетъ разумѣть уклоненія только практически полезныя, т. е. полезныя только въ данную минуту и при данныхъ условіяхъ, и ничто не мѣшаетъ имъ оказаться вмѣстѣ съ тѣмъ не только не орудіями дальнѣйшаго усовершествованія типа, но и прямыми причинами его вырожденія. Борьба за существованіе и подборъ родичей отнюдь не ручаются за улучшеніе породы. Хотя Дарвинъ самъ и говоритъ, напримѣръ, о «прогрессіи размноженія, столь быстрой, что она ведетъ къ борьбѣ за существованіе, а, слѣдовательно, и къ естественному подбо-

ру, съ коимъ неразрывны расхожденіе признаковъ и вымираніе менѣе усовершенствованныхъ формъ; такъ, —прибавляетъ онъ,— изъ вѣчной борьбы, изъ голода и смерти прямо слѣдуетъ самое высокое явленіе, которое мы можемъ себѣ представить, а именно — возникновеніе высшихъ формъ жизни» (I, с. 387); но неточность столь безусловныхъ выраженій доказывается самою теоріею Дарвина. Положимъ, что въ данной мѣстности существуетъ видъ жесткокрылыхъ сѣраго цвѣта, питающійся листьями деревьевъ и служащій пищею насѣкомояднымъ птицамъ. Положимъ, далѣе, что въ средѣ этого вида жуковъ явилось индивидуальное уклоненіе, — нѣсколько недѣлимыхъ съ зеленоватымъ цвѣтомъ. Эта зеленоватая разновидность, близко подходящая къ цвѣту листьевъ, будетъ, скрываясь въ зелени, подвергаться меньшей опасности истребленія со стороны птицъ, нежели разновидность сѣрая. Поэтому въ теченіе нѣсколькихъ поколѣній, вслѣдствіе подбора родичей, первая можетъ совершенно вытѣснить послѣднюю, передавая своему потомству не только *полезную* зеленую окраску, но вмѣстѣ съ нею и всѣ свои качества, *каковы бы они ни были*, хотя бы они состояли въ какомъ-нибудь органическомъ недостаткѣ, если, разумѣется, этотъ недостатокъ не играетъ самъ большой роли въ борьбѣ за существованіе. Такъ, напримѣръ, если для жука зеленый цвѣтъ окажется полезнѣе, чѣмъ сильныя крылья, то подборъ родичей можетъ подхватить вмѣстѣ съ зеленой окраской надкрыльевъ и слабость мускуловъ. И такая форма будетъ не усовершенствованная, а только лучше приспособленная къ требованіямъ окружающихъ условій. А потому нельзя утверждать, что въ борьбѣ за существованіе непремѣнно одерживаютъ побѣду сильнѣйшіе, совершеннѣйшіе представители типа; нѣтъ, побѣда можетъ остаться и за слабыми, уродливыми, если только они удачнѣе приспособились, благодаря неважнымъ, но въ данную минуту и при данныхъ обстоятельствахъ практически полезнымъ особенностямъ. Самый недостатокъ, самая слабость, самая уродливость могутъ обратиться въ сильное оружіе борьбы за существованіе, и въ такомъ случаѣ подборъ необходимо повлечетъ за собою вымираніе и вырожденіе сильныхъ формъ. На островахъ пропорція между безкрылыми или, по крайней мѣрѣ, слабокрылыми насѣкомыми и крылатыми совершенно иная, чѣмъ на материкахъ: относительное число безкрылыхъ тамъ несравненно больше. Это объясняется тѣмъ, что крылатыя насѣкомыя слишкомъ далеко залетаютъ и погибаютъ въ морѣ, что невозможно для безкрылыхъ, которыя и выживаютъ. Такимъ образомъ, слабость мускуловъ, управляющихъ крыльями, оказывается практически полезною. Какъ справедливо замѣчаютъ многіе нѣмецкіе ученые, Дарвинъ имѣлъ въ виду преимущественно практическую сторону вопроса, вслѣдствіе чего сторона философская у него недостаточно разработана, и встрѣчающіяся здѣсь мѣстами общія замѣчанія, дѣйствительно, могутъ иного ввести въ заблужденіе, хотя факты сгруппированы до послѣдней степени ясно. Что теорія Дарвина требуетъ дополненій, разъясненій и дальнѣйшихъ приложеній, это не подлежитъ сомнѣнію. И важнѣе всего, по нашему мнѣнію, разъясненіе отношеній теоріи Дарвина къ великому закону органическаго развитія, формулированному Бэромъ и развитому Мильнъ-Эдвардсомъ и Бронномъ. Обстоятельство это превосходно понялъ Негели, хотя и недостаточно развилъ свою мысль. Негели полагаетъ, что рядомъ съ принципомъ полезности Дарвина долженъ быть поставленъ принципъ усовершенствованія, по которому «организму присуще стремленіе преобразовываться въ болѣе сложную форму» (I. с., 34), такъ что «самая высшая организація обнаруживается двумя свойствами: совмѣщеніемъ въ себѣ самыхъ разнообразныхъ органовъ и самымъ совершеннымъ раздѣленіемъ между ними труда» (31). Замѣчанія Негели не встрѣтили, однако, сочувствія. Его упрекаютъ въ телеологическомъ построеніи, что отчасти справедливо. Но реакція противъ всякихъ телеологическихъ объясненій, вызванная теоріею Дарвина, заходитъ иногда слишкомъ далеко. Мы видимъ, что дарвинисты такъ боятся телеологіи, что уже слишкомъ тщательно избѣгаютъ словъ и выраженій, напоминающихъ объ ней. Такъ Геккель, Галліеръ находятъ неудачными выраженія Негели «теорія полезности» и «теорія усовершенствованія», ибо видятъ въ нихъ намекъ на телеологическое объясненіе явленій. Такъ, на томъ же основаніи въ русской литературѣ кто-то предлагалъ замѣнить терминъ «подборъ родичей», которымъ г. Рачинскій перевелъ англійское Selection, терминомъ «отборъ». Конечно, точность и чистота языка дѣло очень важное. Но, во-первыхъ, трудно въ настоящее время обойтись безъ метафорическихъ выраженій, большая часть которыхъ по необходимости отзывается телеологіей, и я не вижу, чѣмъ собственно въ этомъ отношеніи «отборъ» лучше «подбора». Во вторыхъ, излишній страхъ передъ словомъ можетъ оттолкнуть отъ скрывающейся подъ нимъ мысли, хотя бы она заслуживала не этого. А мысль Негели, хотя и скрывается подъ метафизической маской Tendenz, заслуживаетъ вниманія. Она важна уже, какъ напоминаніе о законѣ Бэра, которому, повидимому, грозитъ участь, по крайней мѣрѣ на время, затеряться въ «расхожденіи признаковъ» (дивергенціи) Дарвина, тѣсно связанномъ съ борьбою за

существованіе и подборомъ родичей. Законъ индивидуальнаго развитія, какъ онъ выработанъ трудами Гёте, Бэра, Мильнъ-Эдвардса, Бронна, сводится къ постепенному обособленію органовъ и усиленію между ними раздѣленія труда и различія, *различія между органами.* Законъ дивергенціи или расхожденія признаковъ говоритъ, что вслѣдствіе борьбы за существованіе организмы стремятся образовать все бо́льшее и бо́льшее количество разновидностей. т. е. установить возможно бо́льшее *различіе между недѣлимыми*... Мы уже приводили примѣры смѣшенія этихъ двухъ законовъ и приведемъ здѣсь еще одинъ, быть можетъ, еще болѣе поразительный. Даровитѣйшій изъ дарвинистовъ, Геккель, замѣчаетъ, что законъ дивергенціи распространяется Дарвиномъ только на физіологическихъ недѣлимыхъ, входящихъ въ составъ вида. «По нашему же мнѣнію,—продолжаетъ онъ,—эта дивергенція (расхожденіе признаковъ) вида не отличается отъ такъ называемаго дифференцированія органовъ» или раздѣленія труда между ними. Мы думаемъ, что въ основаніи всѣхъ явленій дифференцированія лежитъ одно и то же явленіе, именно раздѣленіе труда, обусловленное естественнымъ подборомъ, гдѣ бы дифференцированіе ни происходило, касается ли оно самостоятельныхъ физіологическихъ недѣлимыхъ, борющихся между собою въ данной мѣстности за существованіе, или подчиненныхъ морфологическихъ недѣлимыхъ (органовъ). Существенная черта процесса во всѣхъ случаяхъ состоитъ въ образованіи разнородныхъ формъ изъ однороднаго начала, и механическая причина его состоитъ въ естественномъ подборѣ, въ борьбѣ за существованіе» (Generelle Morphologie, II, 253). Мы уже достаточно говорили о совершенной несостоятельности такого обобщенія. И потому ограничимся указаніемъ на неудачныя объясненія, которыя Геккель, руководимый приведеннымъ добавленіемъ къ теоріи Дарвина, даетъ нѣкоторымъ фактамъ. Разсуждая о неудовлетворительности телеологическаго міросозерцанія, онъ говоритъ, между прочимъ, что теорія Дарвина окончательно показала, что природа въ своемъ развитіи не слѣдуетъ какому бы то ни было опредѣленному плану; что она не только доказала отсутствіе въ природѣ предуставленной цѣлесообразности и усовершенствованія, но поколебала самое понятіе объ усовершенствованіи. Такъ, говоритъ онъ, Бэръ и другіе считали признакомъ и мѣриломъ совершенства организаціи ея сложность и степень дифференцированія, т. е. раздѣленія труда между органами. Теперь же мы видимъ, что дифференцированіе отнюдь не обусловливаетъ собой усовершенствованія. Ибо, напримѣръ, нѣкоторыя ракообразныя съ переходомъ отъ самостоятельной жизни къ паразитизму, утрачиваютъ ненужные имъ при этомъ новомъ образѣ жизни органы движенія и зрѣнія. Такимъ путемъ группа ракообразныхъ становится болѣе разнородною, болѣе дифференцированною, однако, дифференцированіе это, хотя и практически полезное для самихъ паразитовъ, потому что если бы ненужные имъ органы сохранились, то они задаромъ поглощали бы извѣстную долю пластическаго, питательнаго матеріала,—представляетъ примѣръ не прогрессивнаго развитія, не усовершенствованія, а движенія ретрограднаго. Итакъ, дифференцированіе и усовершенствованіе—двѣ вещи различныя. Читатель видитъ, что софизмъ этотъ построенъ на двусмысленности слова «дифференцированіе». Бэръ и другіе утверждаютъ, что совершенство «*организма* измѣряется степенью его сложности, рѣзкостью дифференцированія его органовъ и тканей—въ морфологическомъ отношеніи и степенью физіологическаго раздѣленія труда, обособленности функцій—въ отношеніи физіологическомъ*). Что же мы имѣемъ въ случаѣ ракообразнаго, перешедшаго отъ свободной жизни къ паразитизму? Его организмъ упростился морфологически, ибо онъ лишился орудій зрѣнія и движенія, упростился и физіологически, ибо количество обособленныхъ функцій стало въ немъ меньше. Регрессъ очевидный, но именно потому, что дифференцированіе, какъ законъ Бэра, какъ законъ *индивидуальнаго* развитія, нарушено. Это—регрессъ именно въ смыслѣ закона Бэра. Случай этотъ не опровергаетъ, а самымъ очевиднымъ образомъ подтверждаетъ его. Геккель же разсуждаетъ такимъ образомъ. Дифференцированіе или дивергенція, расхожденіе *видовыхъ* признаковъ, образованіе новыхъ и новыхъ, все болѣе расходящихся *разновидностей и видовъ*, какъ результатъ борьбы за существованіе и подбора родичей, утверждается теоріею Дарвина. Это фактъ, не подлежащій никакому сомнѣнію. Но, продолжаетъ Геккель, по моему мнѣнію, процессъ органическаго, индивидуальнаго развитія, процессъ дифференцированія органовъ и ихъ функцій тождественъ съ процессомъ дифференцированія вида, такъ какъ и тотъ, и другой

---

*) Геккель вслѣдъ за Брономъ (Morphologische Studien über die Gestaltungsgesetze der Naturkörper überhaupt und der organischen insbesondere. Leipzig und Heidelberg, 1858) принимаетъ нѣсколько законовъ органическаго прогресса или усовершенствованія. Но, по нашему мнѣнію, всѣ они могутъ быть безъ натяжки сведены къ закону обособленія и дифференцированія, который, впрочемъ, и Брономъ, и Геккелемъ признается наиболѣе важнымъ. Во всякомъ случаѣ Бронновы дополненія къ закону Бэра могутъ быть пока нами оставлены въ сторонѣ, безъ ущерба для ясности дѣла.

представляютъ возникновеніе разнородности изъ первоначальной однородности. Увлекшись этимъ чисто формальнымъ сходствомъ и не вглядѣвшись въ суть обоихъ процессовъ, Геккель опровергаетъ или, по крайней мѣрѣ, ограничиваетъ законъ Бэра, подставляя, вмѣсто выражаемаго имъ индивидуальнаго дифференцированія, дифференцированіе видовое. Опровергнуть такимъ образомъ можно все, что угодно. Мнѣ говорятъ, напримѣръ, что деревья растутъ. Я же, отмѣтивъ предварительно, что по моему мнѣнію понятіе дерева должно быть расширено, возражаю: стулъ, на которомъ я сижу, столъ, на которомъ я пишу, ручка пера, которое я держу—не растутъ, а между тѣмъ и стулъ, и столъ, и ручка—все это изъ дерева. Итакъ, законъ: деревья растутъ невѣренъ и односторонненъ. Другой приводимый Геккелемъ примѣръ еще очевиднѣе указываетъ на корень софизма. «Естественно,—говоритъ онъ,—что возрастающее дифференцированіе всѣхъ земныхъ явленій, всѣхъ условій существованія имѣетъ непосредственнымъ результатомъ и соотвѣтственное дифференцированіе организмовъ, и въ большинствѣ случаевъ самое это дифференцированіе есть рѣшительный шагъ впередъ, несомнѣнное усовершенствованіе. Съ другой стороны, однако, не слѣдуетъ забывать, что всякое раздѣленіе труда имѣетъ на ряду съ выгодами и свои невыгоды. Мы видимъ это въ особенности на полиморфизмѣ человѣческаго общества, представляющемъ въ своемъ государственномъ и соціальномъ развитіи наиболѣе сложные изъ феноменовъ дифференцированія» (Generelle Morphologie, II, 261). Какъ спеціальный примѣръ невыгоды полиморфизма (т. е. раздѣленія труда) человѣческаго общества, Геккель приводитъ спеціалиста ученаго, который не только не видитъ ничего дальше своей спеціальности, но и въ ней неспособенъ ни къ какому шагу впередъ. Это, конечно, случай ретроградпаго развитія, хотя, какъ справедливо замѣчаетъ Геккель, самъ спеціалистъ чувствуетъ себя очень хорошо и черпаетъ изъ своего уродства многія практическія выгоды. Но опять-таки при чемъ тутъ законъ Бэра? Съ точки зрѣнія этого именно закона изображенное Геккелемъ уродство и есть шагъ назадъ. И здѣсь Геккель смѣшиваетъ законъ Бэра, какъ законъ дифференцированія, расчлененія, обособленія *органовъ*, составляющихъ *недѣлимое*, съ закономъ обособленія *недѣлимыхъ*, какъ членовъ *вида* или *общества*. Геккель просто увлекся своею борьбою противъ телеологическаго воззрѣнія на природу и съ разбѣгу сталъ утверждать, что не только въ природѣ нѣтъ стремленія къ совершенствованію,—что теоріею Дарвина доказывается окончательно,—но что мы не имѣемъ и никакого критерія относительнаго совершенства организаціи, что и невѣрно, и для аргументаціи дистелеолога вовсе не требуется. Критерій относительно совершенства организаціи есть, данъ онъ Бэромъ. И какъ ни путается Геккель, но онъ именно къ этому критерію прибѣгаетъ безпрестанно, когда говоритъ, напримѣръ: «Хотя различія между человѣкомъ и другими животными суть свойства не качественнаго, а только количественнаго, однако раздѣляющую ихъ пропасть весьма важно замѣтить. По нашему мнѣнію дѣло сводится главнымъ образомъ къ тому, что человѣкъ совмѣщаетъ въ себѣ многія важныя функціи, встрѣчающіяся въ другихъ животныхъ только враздробь» (I, с. 43). Замѣчательно, что тотъ же Геккель считаетъ весьма важнымъ для опредѣленія законовъ развитія различеніе практическихъ, одностороннихъ, монотропныхъ типовъ и типовъ идеальныхъ, многостороннихъ, политропныхъ (термины эти принадлежатъ отчасти К. Снеллю: «Die Schöpfung des Menschen», Leipzig, 1863). Практическими типами онъ называетъ такіе виды, роды, классы организмовъ, которые окончательно приспособились къ извѣстнымъ спеціальнымъ условіямъ жизни и уже не могутъ существовать внѣ ихъ: таковы между позвоночными костистыя рыбы (Teleostei), черепахи, летучія мыши. Типы идеальные, напротивъ, благодаря своему многостороннему развитію, не приспособились ни къ какимъ спеціальнымъ условіямъ и потому способны къ дальнѣйшему развитію; таковы между позвоночными поперечноротыя (Selachia), полуобезьяны и др. «Это въ высшей степени важное различіе,—замѣчаетъ Геккель, возвращаясь къ своему любимому коньку,—можетъ быть усмотрѣно и въ членахъ человѣческаго общества вообще, а, слѣдовательно, и въ средѣ представителей науки. Человѣчество движется впередъ идеальными и разносторонними, философски развитыми головами, не отступающими предъ обобщеніями и синтезомъ. Практическіе и односторонніе ученые, напротивъ, довольствующіеся анализомъ, не будучи въ состояніи приспособиться къ болѣе высокому строю идей, могутъ только доставить первымъ матеріалъ» (I, с. 223). Какъ бы, однако, ни было важно указываемое Геккелемъ различіе между практическими и идеальными типами, они могутъ переходить другъ отъ друга, и особенно легокъ переходъ отъ идеальнаго типа къ типу практическому: стоитъ только первому попасть въ неблагопріятныя условія, которыя въ человѣческомъ обществѣ всѣ сводятся къ раздѣленію труда. Въ другомъ мѣстѣ (262) Геккель замѣчаетъ: «естественный подборъ вездѣ способствуетъ развитію практическихъ типовъ въ ущербъ идеальнымъ». Ja, das ist eine alte Geschichte, doch ist sie immer neu:

Нѣтъ могучаго Патрокла,
Живъ презрительный Терситъ!

Однако, выраженная абсолютно, эта печальная истина столь же мало оправдывается фактами, какъ и противоположный ей выводъ, дѣлаемый нѣкоторыми изъ теоріи Дарвина, а именно, будто бы борьба за существованіе и естественный подборъ необходимо суть орудія прогресса, что въ борьбѣ выживаютъ только лучшие и сильнѣйшіе; точно такъ, какъ невѣрно и снотворное правило буржуазныхъ моралистовъ: добродѣтель торжествуетъ, а порокъ наказывается. Природа, какъ она намъ освѣщается теоріей Дарвина, не знаетъ избранниковъ. Здѣсь она раздавитъ великаго Патрокла и сохранитъ презрительнаго Терсита; тамъ выдавитъ изъ строя жизни цѣлый видъ, здѣсь разобьетъ видъ на два, на три; тамъ низведетъ Патрокла до состоянія Терсита, здѣсь выставитъ Патрокла во всемъ его величіи; тамъ разовьетъ жизнь, сюда пошлетъ смерть; тамъ посѣетъ слезы и страданія, здѣсь разольетъ море наслажденій... Не спрашивайте для чего, зачѣмъ? Съ такимъ вопросомъ нельзя обращаться къ природѣ. Она не дастъ отвѣта. Она скажетъ вамъ, *почему* произошло то-то и то-то, но вы не вырвете отъ нея отвѣта на вопросъ: *зачѣмъ*? Если вы пожелаете отвѣтить за нее, то-есть навязать ей свой отвѣтъ, то вы можете навязать любой. Цѣли и дѣйствія одухотворенной вами природы окажутся разумными и глупыми, великими и мелкими, добродѣтельными и безсовѣстными, высоконравственными и до послѣдней степени преступными, смотря по тому, какъ вы сами посмотрите на дѣло. Всякую цѣль, всякій планъ можно отыскать въ природѣ именно потому, что въ ней нѣтъ никакой цѣли, никакого плана. Но это значитъ, что природою управляетъ слѣпой случай? Въ этомъ упрекали и Дарвина, между тѣмъ, какъ упрекать тутъ собственно не въ чемъ и не за что. Если подъ случаемъ разумѣть совокупность неизвѣстныхъ намъ, не могущихъ быть прослѣженными цѣпей причинъ и слѣдствій, то да, — природой управляетъ слѣпой случай. Если подъ понятіе случая подшивать какую-либо мистическую, таинственную подкладку, то теорія Дарвина свидѣтельствуетъ, что случая въ *этомъ* смыслѣ вовсе нѣтъ, что словомъ этимъ мы только маскируемъ свое незнаніе. Цѣли и планы сказались въ природѣ въ достаточно широкой степени только тогда, когда рядомъ съ естественнымъ подборомъ сталъ подборъ искусственный, а рядомъ съ борьбой за существованіе—смутные проблески ея отрицанія въ сферѣ человѣческихъ отношеній, когда человѣкъ вступилъ въ борьбу съ природой и пожелалъ измѣнить ее сообразно своимъ нуждамъ и потребностямъ. Телеологирующіе противники Дарвина, вѣрующіе въ отдѣльное сотвореніе видовъ по нѣкоторому плану для извѣстныхъ цѣлей, отрицающіе естественный подборъ, должны вмѣстѣ съ тѣмъ отрицать и подборъ искусственный, и всякое воздѣйствіе человѣка на природу. Если «высшій разумъ», «высшій художникъ» создалъ для какой-нибудь цѣли волка, то истребленіе волковъ или прирученіе ихъ есть, во-первыхъ, актъ неразумный, ибо нельзя прати противъ рожна. Во-вторыхъ, это актъ преступный, ибо заключаетъ въ себѣ покушеніе на возстаніе противъ всеблагого провидѣнія и высшаго разума. Итакъ «волкъ тебя заѣшь», вотъ какое утѣшеніе преподносятъ человѣку телеологи, съ ужасомъ отступающіе отъ принципа борьбы за существованіе, который, съ точки зрѣнія теоріи Дарвина, можетъ быть на практикѣ совершенно модифицированъ.

Чтобы судить объ аргументаціи современныхъ телеологовъ, надо видѣть книгу Агассица. Только здѣсь, подпертая фактическими данными, телеологія является въ апогеѣ своего величія и, вмѣстѣ съ тѣмъ только здѣсь обнаруживается вся очевидность ея слабости и несостоятельности. Пока телеологія витала въ сферахъ отвлеченныхъ и спускалась на землю только для того, чтобы произнести свое окончательное рѣшеніе, она, какъ, напримѣръ, въ нѣмецкихъ метафизическихъ системахъ, подкупала, кромѣ лести человѣческимъ предразсудкамъ и поддакиванія лѣности мысли, еще изяществомъ своего діалектическаго построенія. Храмъ телеологіи висѣлъ на воздухѣ, но въ немъ все было симметрично, изящно, были обдуманы мельчайшіе орнаменты этого воздушнаго плана. Только законъ тяжести не принимался въ соображеніе. Нынѣ телеологія хочетъ устроиться солиднѣе, хочетъ спуститься на землю и опереться на фактахъ опыта и наблюденія. Такимъ образомъ она становится на почву эмпирической науки, и по тѣмъ судорожнымъ, неловкимъ, нелѣпымъ движеніямъ, которыя она принуждена выдѣлывать, чтобы удержаться на этомъ скользкомъ для нея пути, всякій можетъ убѣдиться, что ея пѣсня спѣта. Да, книга Агассица—лебединая пѣсня телеологіи. Между современными учеными нѣтъ телеолога, столь хорошо вооруженнаго, какъ Агассицъ. И вотъ какъ разсуждаетъ этотъ первый и, вѣроятно, послѣдній телеологіи боецъ.

Агассицъ полагаетъ, что виды въ своихъ существенныхъ признакахъ неизмѣнны; они могутъ въ извѣстныхъ границахъ измѣняться, но никогда не выступаютъ изъ положенныхъ имъ творческою мыслію предѣловъ и никогда одинъ видъ не можетъ перейти въ другой или произойти изъ другого. Каждый видъ есть воплощенная творческая идея. Натуралисты—не болѣе какъ переводчики мыслей Творца на человѣческій языкъ. «Человѣче-

скій умъ находится въ гармоніи съ природой, и многое изъ того, что намъ кажется результатомъ усилій нашего разума, есть только естественное выраженіе этой предуставленной гармоніи» (1, с. 9). Всѣ растенія и животныя созданы по нѣкоторому плану, строго обдуманному Творцомъ. Создавая животное царство, Творецъ обдумалъ сначала четыре различные общіе плана, которые составили идею четырехъ группъ: позвоночныхъ, суставчатыхъ, мягкотѣлыхъ и лучистыхъ. Затѣмъ Творецъ приступилъ къ обдумыванію тѣхъ, болѣе разнообразныхъ и многочисленныхъ формъ, въ которыя могли бы быть воплощены означенные планы строенія. Онъ пришелъ къ мысли въ общемъ планѣ строенія, напримѣръ, позвоночныхъ, установить болѣе спеціальные планы млекопитающихъ, птицъ, рыбъ, пресмыкающихся. Далѣе онъ допустилъ еще большую спеціализацію признаковъ и разбилъ каждый классъ на порядки, порядки на семейства, семейства на роды, роды на виды, которые, наконецъ, и воплотились. Созданы всѣ различные виды (въ видѣ зародышей или яицъ) вдругъ, въ огромномъ количествѣ и на всемъ земномъ шарѣ. Затѣмъ, по прошествіи нѣсколькихъ тысячелѣтій, Творецъ или Intelligence suprême, Высшій разумъ, какъ его охотнѣе называетъ Агассицъ, по недоступнымъ намъ соображеніямъ, внезапнымъ геологическимъ переворотомъ уничтожаетъ все доселѣ имъ созданное и создаетъ новыя и болѣе совершенныя формы. Но при этомъ онъ придерживается старыхъ своихъ принциповъ строенія и создаетъ, главнымъ образомъ, только новые виды, изрѣдка роды, еще рѣже семейства, порядки, классы. Изъ предѣловъ четырехъ основныхъ группъ эта Intelligence suprême выбиться не можетъ. Проходятъ еще и еще вѣка, и опять Высшій разумъ истребляетъ свою работу и опять принимается за нее. Наконецъ, создаетъ человѣка, по образу и по подобію своему, вмѣстѣ съ чѣмъ божественная работа прекращается. «Анатомія,—говоритъ Агассицъ,—могла бы, по моему мнѣнію, доказать, что не только человѣкъ есть совершеннѣйшее изъ существъ современнаго періода, но что онъ есть послѣднее звено цѣпи, за которымъ уже физически невозможенъ дальнѣйшій прогрессъ въ общемъ планѣ животнаго царства» (35). Въ метафизикѣ своей Агассицъ возвращается почти къ идеямъ мудраго, но уже довольно давно умершаго Платона. Онъ полагаетъ, что недѣлимыя «имѣютъ только (?) матеріальное существованіе и суть не болѣе, какъ субстраты, съ одной стороны, различныхъ категорій строенія, на которыхъ основана естественная зоологическая система, а съ другой,—всѣхъ отношеній животныхъ къ окружающему міру» (7). Вліяніе внѣшней природы на измѣненіе организмовъ Агассицъ отрицаетъ безусловно. Онъ утверждаетъ, что можно бы было написать цѣлые томы на эту тему. Наслѣдственности, какъ связующаго начала между различными видами, онъ также не признаетъ. Какъ нѣкогда Катонъ всѣ свои рѣчи, какого бы онѣ ни были содержанія и къ чему бы ни относились, заканчивалъ восклицаніемъ: а Кареагенъ всетаки надо разрушить! такъ и Агассицъ заключаетъ каждую главу своего сочиненія такими замѣчаніями: «И эту-то логическую связь, эту изумительную гармонію, это безконечное разнообразіе въ единствѣ — намъ хотятъ представить, какъ результатъ силъ, не имѣющихъ ни способности мышленія, ни способности сравненія, ни идей пространства и времени!» (24). «Это возрастающее согласіе между нашими системами (зоологическими) и системою природы доказываетъ, что въ сущности умъ человѣческій и божественный разумъ тождественны. Въ этомъ еще болѣе можно убѣдиться, принимая въ соображеніе ту высокую степень совершенства и соотвѣтствія реальному порядку вещей, которой достигли нѣкоторыя апріорическія философскія построенія, независимо отъ данныхъ эмпирической науки» (31). «Здѣсь мы опять видимъ новое и поразительное доказательство порядка и цѣлесообразности, установленныхъ въ началѣ вещей касательно различныхъ степеней сложности организмовъ» (43). «Кто же станетъ утверждать, что столь разнообразныя выраженія одного и того же чувства, одного и того же инстинкта истекаютъ единственно изъ физической организаціи, изъ особенности строенія, которое вдобавокъ и понять нельзя, если исключить идею методически исполненнаго плана, обдуманнаго заранѣе, и мы должны признать, что намѣреніе вездѣ предшествовало факту» (107). И т. д., и т. д., и т. д. Мало того, всѣ эти варіаціи на одинъ и тотъ же рефренъ Агассицъ собираетъ далѣе въ одно цѣлое и, подъ заглавіемъ «Recapitulation», вновь преподноситъ читателю. Очевидно, что Агассицъ принадлежитъ къ числу людей, подвѣшивающихъ къ явленіямъ природы мочальный хвостъ. Это можно бы было, даже не читая всей его книги, заключить уже изъ того, что онъ, во-первыхъ, принимаетъ явленія органической жизни совершенно оторванными отъ явленій неорганической природы, отрицаетъ вліяніе среды на организацію и, слѣдовательно, зависимость біологіи отъ низшихъ наукъ. Далѣе онъ прямо говоритъ, что человѣкъ долженъ, «проникая въ природу своего духа, стараться понять безконечный разумъ, котораго эманацію представляетъ его собственный разумъ» (9). Естественное дѣло, что при подобномъ методѣ мышленія личность мысли-

теля должна неизбѣжно оставить свой явственный отпечатокъ на мочальномъ хвостѣ. И дѣйствительно, что такое этотъ творецъ, созидающій единственно для созиданія, разрушающій единственно для разрушенія, самъ совершенствующійся съ теченіемъ времени, какъ не самъ Агассицъ съ придачею огромныхъ, неестественныхъ съ человѣческой точки зрѣнія, но всетаки ограниченныхъ силъ. Какъ человѣкъ науки для науки, Агассицъ и не могъ создать иного Творца, который, изъ-за созиданія и разрушенія, видѣлъ бы какую-либо иную цѣль. Какъ мыслитель, необходимо проходящій извѣстныя ступени развитія, Агассицъ проводитъ по подобнымъ же ступенямъ совершенствованія и свою Intelligence suprême. Богъ Агассица вовсе не всемогущъ, не премудръ и проч. Онъ просто очень сильный человѣкъ, въ которомъ любовь къ порядку довольно странно перепутывается съ постоянными капризами. Агассицъ очень хлопочетъ о томъ, чтобы его не заподозрили въ ортодоксальности. Еще бы! Замѣчательно, что въ числѣ великихъ качествъ, приписываемыхъ Агассицомъ сотворенному имъ творцу, нѣтъ ни одного качества нравственнаго. Онъ ни разу не упоминаетъ о томъ, въ какой мѣрѣ его Intelligence suprême обладаетъ благостію, справедливостью и проч. И въ этомъ опять сказался человѣкъ науки для науки, человѣкъ, весь ушедшій въ исключительно умственные и при томъ весьма узкіе интересы. Но если Агассицъ находитъ нужнымъ преклоняться передъ этою Intelligence, то люди жизни, волнуемые любовью и ненавистью, люди жизни, страдающіе и наслаждающіеся, не послѣдуютъ примѣру Агассица. Они обратятся къ его Intelligence со словами гётевскаго Прометея къ Юпитеру:

Ich dich ehren? Wofur?
Hast du die Schmerzen gelindert
Je des Beladenen?
Hast du die Thränen gestillet
Je des Geängsteten?

Если бы мы были ближе знакомы съ особенностями личнаго характера Агассица, то, безъ сомнѣнія, могли бы провести болѣе специфическую параллель между нимъ и созданнымъ имъ Создателемъ. Однако, и теперь мы можемъ отмѣтить одну любопытную частную черту совпаденія. Творецъ Агассица, приступая къ творческому акту, придумываетъ сначала наиболѣе общіе планы четырехъ основныхъ группъ животнаго царства, и затѣмъ уже постоянно специализируетъ свои идеи, придаетъ имъ все болѣе и болѣе частный характеръ. Это точный снимокъ съ пріемовъ мысли самого Агассица, который въ своемъ объясненіи природы не отъ фактовъ поднимается къ теоріи, а исходитъ, напротивъ, изъ теоріи, подгоняя къ ней факты. Въ этомъ нелогическомъ пріемѣ Агассицъ упрекаетъ теорію Дарвина. Но дѣло говоритъ само за себя, да и, наконецъ, Агассицъ открыто заявляетъ свое уваженіе къ апріорическимъ метафизическимъ системамъ, построеннымъ внѣ опыта и наблюденія. Не слѣдуетъ, однако, забывать, что это пріемъ невозможный, и что все дѣло только въ качествѣ и количествѣ данныхъ опыта и наблюденія, легшихъ помимо сознанія мыслителя въ основаніе его якобы апріорической системы. Проникая въ природу своего собственнаго духа, Агассицъ нашелъ, что реализаціи его намѣреній необходимо предшествуетъ самый психическій фактъ намѣренія; что, кромѣ этого общечеловѣческаго факта, личныя намѣренія Агассица всѣ направлены въ одну сторону, въ сторону довлѣющаго самому себѣ познанія. И вотъ всѣ эти факты своего познанія Агассицъ перенесъ на личность Божества, то есть списалъ ее съ самого себя. Когда я читалъ книгу Агассица, мнѣ живо вспомнилась моя вышеприведенная ребяческая космогонія. Не уступая міросозерцанію Агассица въ состоятельности, она положительно превосходитъ его по поэтическому колориту и силѣ концепціи. Мое вѣчно спящее божество было гораздо многостороннѣе, ибо если и ему приходилось испытывать затрудненіе, думать о небывалыхъ еще формахъ, прежде чѣмъ увидѣть ихъ во снѣ, то есть даровать имъ реальное бытіе, то оно не только созидало и разрушало, оно любило. Какъ любящая женщина думаетъ на ночь о суженомъ, чтобы увидѣть его во снѣ, такъ дѣйствовалъ и мой сонный богъ. И потому онъ заслуживалъ уваженія, любви и подражанія съ гораздо большаго числа сторонъ, чѣмъ сомнительная Intelligence suprême Агассица.

Мы желаемъ книгѣ Агассица полнаго успѣха, ибо ея успѣхъ (въ смыслѣ распространенія) есть успѣхъ теоріи Дарвина. Не имѣя ни времени, ни мѣста сравнивать въ подробностяхъ эти два міросозерцанія, мы должны предоставить самому читателю окончательно выбрать себѣ Ормузда и Аримана. Мы остановимся, однако, на одномъ любопытномъ рядѣ фактовъ, получающихъ съ точекъ зрѣнія Дарвина и Агассица совершенно различный смыслъ. Мы говоримъ о такъ называемыхъ рудиментарныхъ или зачаточныхъ органахъ. Геккель, который слишкомъ часто забываетъ мудрое изреченіе Кювье, что la science des noms va bientôt devenir plus difficile que la science des choses, установилъ для ученія о зачаточныхъ или недоразвитыхъ органахъ особый терминъ—«дистелеологія». Терминъ этотъ, впрочемъ, и удаченъ, и далеко не лишній, но нѣтъ никакой надобности ограничивать дистелеологію ученіемъ о рудиментарныхъ органахъ; ибо этимъ именемъ можно

назвать всю доктрину подбора и борьбы за существованіе, если, разумѣется, не держаться того совершенно неосновательнаго убѣжденія, будто бы побѣдителями изъ борьбы непремѣнно выходятъ лучшія, совершеннѣйшія формы. Какъ бы то ни было, но существованіе зачаточныхъ органовъ дѣйствительно должно ставить въ тупикъ телеологовъ и по своей наглядности дѣйствительно представляетъ одну изъ сильнѣйшихъ оперъ дистелеологіи. Изъ строгой зависимости, какая, вообще говоря, существуетъ между органами и ихъ отправленіями, выводили прежде свидѣтельство въ пользу предуставленной гармоніи и цѣлесообразности организаціи. При этомъ оставались безъ всякаго объясненія тѣ случаи, когда въ организмахъ оказывались аппараты совершенно лишніе въ экономіи организаціи, органы безъ отправленій, органы, часто не только безразличные по отношенію къ нуждамъ даннаго организма, не только пассивно-вредные для него, какъ поглощающіе извѣстную долю пищи, не оплачивая за нее ничѣмъ, но иногда завѣдомо вредные. Это тѣ именно заглохшіе, зачаточные, рудиментарные органы, которые Дарвинъ остроумно сравниваетъ «съ буквами, еще сохранившимися въ правописаніи слова, но уже непроизносящимися, которыя служатъ намъ указаніемъ на происхожденіе слова.» (I. c., 360). Но, какъ путеводная нить по ступенямъ развитія органическихъ формъ, какъ указаніе на происхожденіе организма, существованіе зачаточныхъ органовъ могло получить значеніе только по твердомъ установленіи принципа измѣняемости видовъ. Намеки на такое объясненіе встрѣчаются у Ламарка, но наиболѣе полно вопросъ этотъ былъ поставленъ только Дарвиномъ. Какой смыслъ съ телеологической точки зрѣнія имѣютъ, напримѣръ, зубы зародышей китовъ, исчезающіе у взрослаго животнаго? Никакой пользы они организму не приносятъ, никакого дѣла не дѣлаютъ; зачѣмъ же они вошли въ «планъ творенія» и какова ихъ «цѣль»? Или зачѣмъ у нѣкоторыхъ насѣкомыхъ существуютъ крылья, когда они совершенно скрыты подъ плотно спаянными твердыми надкрыліями и, слѣдовательно, служить для летанія, исполнять предписанную имъ функцію —не могутъ? Какой предуставленной цѣли удовлетворяютъ сосцы самцовъ, никогда не функціонирующіе? Множество подобныхъ вопросовъ должны были сильно смущать телеологію и нѣкоторые изъ нихъ не поддаются самымъ тонкимъ ея ухищреніямъ *). Съ дистелеологической же точки зрѣнія теоріи Дарвина факты рудиментарныхъ органовъ получаютъ очень простое и естественное объясненіе. Какъ скоро организмъ переходитъ отъ сравнительно сложныхъ условій жизни къ условіямъ сравнительно простымъ, какъ, напримѣръ, въ случаяхъ паразитизма, нѣкоторыя отправленія становятся для него совершенно лишними, ему не приходится пускать ихъ въ ходъ, напримѣръ, ему не приходится двигаться. Органы движенія, вслѣдствіе неупотребленія, уменьшаются въ объемѣ, а такъ какъ они всетаки потребляютъ извѣстную долю питательнаго матеріала, то борьба за существованіе и подборъ родичей выдвигаютъ постепенно впередъ паразитовъ, лишенныхъ органовъ движенія, ибо они болѣе приспособлены къ средѣ, имѣютъ все, что имѣютъ и ихъ способные къ движенію родичи, но освобождены отъ лишняго для нихъ бремени. Когда животное, вслѣдствіе какихъ-нибудь причинъ, начинаетъ вести подземную жизнь, если, напримѣръ, борьба за существованіе загоняетъ его въ пещеру, то органы зрѣнія атрофируются или, какъ выражается Дарвинъ, телескопъ исчезаетъ, хотя штативъ его еще цѣлъ. Такимъ-то образомъ, главнымъ образомъ вслѣдствіе неупотребленія и вліянія внѣшнихъ условій, подхватываемаго естественнымъ подборомъ, атрофируются и переходятъ въ рудиментарное состояніе органы движенія, чувствъ, дыханія, дѣтородные, нѣкоторые мускулы (у человѣка, напримѣръ, мускулы, движущіе уши, и хвостовые позвонки). И эти зачаточные органы дѣйствительно оказываются буквами, сохранившимися въ правописаніи слова, но уже не произносящимися; и по нимъ дѣйствительно можно судить объ общности происхожденія и близости родства органическихъ формъ. Если мы, напримѣръ, видимъ, что всѣ позвоночныя, обладающія легкими, имѣютъ ихъ два, за исключеніемъ змѣй и нѣкоторыхъ змѣевидныхъ ящерицъ, у которыхъ одно изъ легкихъ непремѣнно недоразвито; если, далѣе, у тѣхъ же змѣй подъ кожей скрыты зачаточныя конечности,—то уже одинъ этотъ рядъ необъяснимыхъ съ телеологической точки зрѣнія явленій долженъ убѣдить насъ въ несостоятельности гипотезы отдѣльнаго сотворенія видовъ по нѣкоторому плану. Слѣдуетъ замѣтить, что Дарвинъ пред-

---

*) Фрицъ Мюллеръ замѣчаетъ: «Nirgends ist die Versuchung dringender den Ausdrücken: Verwandschaft, Hervorgehen aus gemeinsamer Grundform und ähnlichen, eine mehr als bloss bildliche Bedeutung beizulegen, als bei den niedern Krustern. Namentlich bei den Schmarotzerkrebsen pflegt ja längst alle Welt, als wäre die Umwandlung der Arten eine selbstverständliche Sache, in kaum bildlich zu deutender Weise von ihrer Verkümmerung durchs Schmarotzerleben zu reden. Es möchte wohl Niemandem als eines Gottes würdiger Zeitvertrieb erscheinen, sich mit dem Ausdenken dieser wunderlichen Verkrüppelungen zu belustigen, und so liess man sie durch eigene Schuld, wie Adam beim Sündenfall, von der früheren Vollkommenheit herabsinken» (Für Darwin. Leipzig, 1864, 2).

лагаетъ раздѣлить рудиментарные органы на атрофированные, заглохшіе (по терминологіи Геккеля, катапластическіе) и неразвившіеся, начинающіеся (анапластическіе). Напримѣръ, крылья бѣгающихъ птицъ (страусъ, пингвинъ) представляютъ, по Геккелю, органы катапластическіе, а крылья летучихъ рыбъ—анапластическіе.

Что же противопоставляетъ такому естественному объясненію Агассицъ? Онъ очень хорошо понимаетъ, что телеологическій аргументъ, основанный на предполагаемой гармоніи между органомъ и его функціею, не оправдывается фактами, ибо въ наукѣ извѣстно множество органовъ, никогда не функціонирующихъ. Но «эти органы сохранены для поддержанія нѣкотораго единства въ основаніи строенія; они не играютъ важной роли въ существованіи организма, они имѣютъ значеніе только по отношенію къ первичной формулѣ группы, къ которой организмъ принадлежитъ. Присутствіе ихъ имѣетъ цѣлью не исполненіе функціи, но сохраненіе единства и опредѣленности плана. Они подобны тѣмъ украшеніямъ, которыя архитекторъ располагаетъ на внѣшней сторонѣ стѣнъ дома ради симметріи и гармоніи, но безъ всякой практической цѣли» (l. c., 12). «Не доказываетъ-ли открытое докторомъ Вайманомъ существованіе зачаточныхъ глазъ у слѣпой рыбы, что животное это, подобно другимъ, было создано всемогущимъ *fiat* со всѣми своими особенностями, и что этотъ *зачатокъ глаза былъ оставленъ ему, какъ воспоминаніе объ общемъ планѣ строенія группы, къ которой эта рыба принадлежитъ?»* Было время, когда окаменѣлости считались то неудачными пробами творенія, то моделями, которыя Творецъ приготовлялъ изъ гипса и глины, чтобы построить потомъ по нимъ представителей органическаго міра. Агассицъ, оказавшій столь много и столь важныхъ услугъ палеонтологіи, конечно, только посмѣялся бы надъ подобными толкованіями. Но его философія недалеко отъ нихъ ушла. Говоря о рудиментарныхъ органахъ, Дарвинъ замѣчаетъ: «Въ естественноисторическихъ сочиненіяхъ обыкновенно говорится, что эти органы созданы «для симметріи», или «для пополненія природнаго плана»; но это, мнѣ кажется, не объясненіе, а лишь иное выраженіе того же факта. Удовольствовались-ли бы мы положеніемъ, что такъ какъ планеты описываютъ эллипсисы вокругъ солнца, ихъ спутники описываютъ вокругъ нихъ такую же кривую, ради симметріи и для пополненія плана природы?» (l c., 358). И въ другомъ мѣстѣ: «хотя я вполнѣ убѣжденъ въ справедливости воззрѣній, изложенныхъ въ этой книгѣ въ видѣ извлеченія, я нисколько не надѣюсь убѣдить опытныхъ естествоиспытателей, которыхъ память наполнена множествомъ фактовъ, разсматриваемыхъ ими въ теченіе долгихъ лѣтъ съ точки зрѣнія, прямо противоположной моей. Такъ легко прикрывать наше незнаніе такими выраженіями, какъ «планъ творенія», «единство плана» и т. п., и воображать, что мы даемъ объясненіе, когда только выражаемъ самый фактъ» (380).

Да не посѣтуетъ на насъ читатель за то, что мы въ настоящей статьѣ не касались спеціально соціологическихъ вопросовъ. Мы выговорили себѣ право дѣлать отступленія, которыя намъ пригодятся впослѣдствіи.

III.

Теорія Дарвина и либерализмъ *).

M-me Clémance Royer. Origine de l'homme et des sociétés. Paris, 1870.

«Можно-ли ликовать при видѣ того, что мы, наконецъ, открыли, что наши способности созданы только для земли и для земныхъ явленій? Можно-ли радоваться нашей собственной ограниченности и услаждаться тѣмъ, что достодолжными доказательствами можетъ быть доказано, что мы рабы чувствъ и чувственныхъ фактовъ?» Такъ скорбитъ одинъ цитируемый Льюисомъ въ исторіи философіи англійскій профессоръ. Это тирада типическая. Иллюзіи и фикціи, которыми человѣческая мысль жила цѣлые вѣка, до такой степени прочно сидятъ на своемъ мѣстѣ, что, будучи даже окончательно развѣяны наукой, заставляютъ вздыхать по оставленному храму и низверженному кумиру:

Тьмы низкихъ истинъ намъ дороже
Насъ возвышающій обманъ.

Но «низкія истины», въ концѣ концовъ, грубо вытѣсняютъ «насъ возвышающій обманъ». Такъ случилось и въ психологіи, а разъ мѣсто человѣка въ цѣпи другихъ существъ установилось окончательно, стало весьма естественнымъ стремленіе построить и общественную науку на біологическихъ основаніяхъ. Тѣмъ не менѣе, однако, пересадка тѣхъ или другихъ этическихъ, экономическихъ, политическихъ принциповъ на біологическую почву требуетъ пока извѣстной смѣлости, какую трудно встрѣтить у авторитетовъ различныхъ отраслей обществознанія и вообще у людей, вспоенныхъ старыми понятіями о мѣстѣ человѣка въ природѣ. При такой пересадкѣ сама собой отлетаетъ розовая оболочка иллюзій и фикцій, которыми люди тѣшатъ и обманываютъ и себя, и другихъ. Фактъ выступаетъ во всеоружіи своей жесткости и шероховатости. Не у всѣхъ хватаетъ духу выдержать это зрѣлище, у еще большаго числа людей не хватаетъ духу допустить на него публику. Греческая гетера,

*) 1871, январь.

будучи призвана въ судъ, раздѣлась до-нага, и греческіе судьи, какъ тонкіе цѣнители красоты, оправдали ее, единственно ради ея обнаженной красоты. Добросовѣстный судья, чувствуя свою слабость, долженъ бы былъ сказать Фринѣ: одѣнься! Добросовѣстный судья судебъ человѣка и общества долженъ, наоборотъ, сказать подсудимымъ: раздѣнься! Но язвы и струпья на обнаженномъ тѣлѣ подсудимыхъ такъ больно рѣжутъ глаза, а галуны на скинутыхъ одеждахъ такъ блестятъ, мы къ нимъ такъ привыкли... Теорія Мальтуса была вторженіемъ біологіи въ область общественной науки, и надо было много смѣлости, чтобы такъ раздѣть дѣйствительность и свои принципы. Страшное homo homini lupus Гоббса отталкиваетъ отъ себя тѣхъ самыхъ людей, которые радуются галунамъ гармоніи экономическихъ интересовъ, а между тѣмъ подъ этой гармоніей сидитъ и дѣйствуетъ все то же homo homini lupus. Кто это понимаетъ, тотъ или себѣ закрываетъ глаза, или отгоняетъ любопытствующую публику. Помните, какъ г. Страховъ отнесся къ нѣкоторымъ выводамъ г-жи Ройе. Да, говорилъ онъ съ свойственною ему наивностью, да это истина, но уберите ее прочь, ибо возвышающій насъ обманъ дороже тьмы низкихъ истинъ.

Г-жа Ройе не страдаетъ этой слабостью и очень хорошо понимаетъ, что это слабость. «Логики и умственной независимости,—говоритъ она,—не всегда достаточно, чтобы человѣкъ осмѣлился рѣшить спорную научную задачу. Тутъ требуется еще энергія темперамента, столь же необходимая для утвержденія идеи, какъ и для исполненія дѣла. Нерѣшительность имѣетъ свои удобства и во всякомъ случаѣ неопасна» (Préface, XIII).

Г-жа Ройе женщина очень разносторонне образованная и талантливая. Она, говорятъ, прекрасно перевела книгу Дарвина о происхожденіи видовъ, снабдивъ переводъ предисловіемъ, болѣе полное изложеніе идей котораго представляетъ книга, выписанная у насъ въ заголовкѣ. Она написала сочиненіе о налогахъ, за которое получила въ 1861 году премію (если не ошибаюсь, премія была присуждена ей и Прудону). Она читала лекціи философіи въ Лозаннѣ, написала какой-то «философскій романъ» и проч. Ничего этого мы не читали и говоримъ о прошломъ г-жи Ройе единственно для рекомендаціи ея личности читателямъ.

Теперь г-жа Ройе является съ книгою, замѣчательною, по крайней мѣрѣ, по смѣлости и, такъ сказать, голости выводовъ, бѣгло, но довольно отчетливо захватывающихъ многія стороны общественной жизни. Г-жа Ройе не полагаетъ, чтобы истина могла оказаться низкою, а обманъ возвышающимъ. Однако, отдавая полную справедливость «энергіи темперамента», съ которою г-жа Ройе исполняетъ принятую на себя роль enfant terrible нѣкоторыхъ доктринъ, надо замѣтить, что она не совсѣмъ разумно распоряжается своими силами. Книга ея (очень объемистая) имѣетъ цѣлью опровергнуть Руссо, съ которымъ она полемизируетъ на каждой страницѣ. Поднять такую ожесточенную войну противъ человѣка, писавшаго сто лѣтъ тому назадъ,—это дѣло, конечно, не трудное, но и не почетное и едва-ли нужное. Вооружившись всѣмъ, что люди добыли въ теченіе цѣлаго вѣка, не трудно разгромить Руссо, хоть при этомъ можно проглядѣть дѣйствительныя достоинства его воззрѣній. Правда, г-жа Ройе утверждаетъ, что трактаты Руссо о значеніи наукъ и о причинахъ неравенства были ниже даже современнаго ему уровня знаній. Но, во-первыхъ, это можетъ быть оспариваемо; во-вторыхъ, тѣмъ менѣе резону обрушиваться на Руссо; въ-третьихъ, наконецъ, г-жа Ройе подавляетъ бѣднаго Руссо не современнымъ ему уровнемъ знаній, а взобравшись, какъ карликъ на плечи великана, на Дарвина, Гексли, Макса Мюллера и пр., мещетъ съ этой высоты свои гранаты.

Есть двѣ причины, почему г-жа Ройе такъ цѣпко ухватилась за Руссо. Она говоритъ, что идеи Руссо, опровергаемыя защитниками еще болѣе ложныхъ доктринъ и слѣпо принимаемыя нѣкоторыми энтузіастами, постепенно укоренились въ общественномъ сознаніи, отчасти даже реализировались и по сіе время тормозятъ дѣло прогресса. Отъ Руссо произошли, говоритъ она, въ первомъ поколѣніи Робеспьеръ, Бабефъ, Геберъ и Шометъ, а во второмъ Фурье, Сенъ-Симонъ, Пьеръ Леру, Кабе, Прудонъ. Ройе полагаетъ, что это теченіе мысли окончательно погубило бы человѣчество, если бы его не сдерживало встрѣчное теченіе, произведшее въ древности Аристотеля и Эпикура и давшее затѣмъ Монтеня и Декарта, Вольтера и Дидро, энциклопедистовъ XVIII вѣка и современныхъ ученыхъ. Считая нужнымъ въ корень подрѣзать антипатичныя ей доктрины, Ройе поражаетъ человѣка, считаемаго ею основателемъ этихъ доктринъ. Несостоятельность такого разсужденія очевидна. Это все равно, какъ если бы я, желая опровергнуть теорію измѣняемости видовъ, напалъ бы не на Дарвина, а на наименѣе выработанныя формы этой теоріи, на Ламарка или, еще лучше, на Демалье. Это опять-таки было бы легко, но не почетно и безполезно, такъ какъ Дарвинъ остался бы внѣ моихъ выстрѣловъ. Такъ и Ройе стрѣляетъ исключительно по Руссо, да и то неудачно. Вотъ перечень положеній Руссо, которыя г-жа Ройе желаетъ поразить, освѣщая

соотвѣтственные факты новымъ свѣтомъ. Перечень этотъ дѣлаетъ сама Ройе въ предисловіи. Все хорошо въ рукахъ природы, но все извращается въ рукахъ человѣка; самъ человѣкъ вышелъ изъ рукъ природы совершеннымъ, родится онъ добрымъ, но его портитъ воспитаніе, цивилизація, наука, общество, словомъ, все, въ чемъ мы видимъ наши побѣды; существуетъ для человѣка извѣстное опредѣленное естественное состояніе, отъ котораго онъ, къ прискорбію, удалился и къ которому онъ долженъ вернуться для достиженія первобытнаго счастія. Словомъ, весь нашъ прогрессъ есть собственно разложеніе; всѣ наши попытки освободиться отъ враждебныхъ силъ природы и подчинить ихъ себѣ—безумны. Напротивъ, пусть дѣйствуетъ природа, а мы сложимъ руки и будемъ ждать, чтобы она насъ снабжала своими дарами. Уничтожимъ наши города, сожжемъ библіотеки, казнимъ нашихъ ученыхъ; идеалъ общества есть равенство, а свобода есть злой врагъ, если она покушается на равенство. Такъ излагаетъ г-жа Ройе программу Руссо и своихъ опроверженій. Въ полемическомъ отношеніи это изложеніе довольно искусно, но въ существѣ дѣла никуда не годится. Во-первыхъ, оно невѣрно и поверхностно. Руссо очень опредѣленно говоритъ въ письмѣ къ польскому королю Станиславу, что уничтоженіе образованія, если бы оно было возможно, не исправивъ ни на волосъ нравовъ, повергло бы Европу въ варварство. Онъ очень опредѣленно говоритъ, что наука сама по себѣ есть вещь хорошая, и что надо быть глупцомъ, чтобы отрицать это. Не можетъ быть сомнѣнія въ томъ, что Руссо впалъ въ многочисленныя натяжки и преувеличенія. Но эти натяжки и преувеличенія до такой степени грубы, что они ни въ какомъ случаѣ не могли дать потомства и дѣйствительно его не дали. Потомство дано основною, правда, не ясною. но различимою мыслью Руссо, которой г-жа Ройе не видитъ и не понимаетъ. Идти съ такими огромными запасами вооруженія на Руссо (одинъ списокъ источниковъ, которыми пользовалась Ройе, занимаетъ пять страницъ мелкаго шрифта), значитъ стрѣлять изъ пушки въ муху. Но любопытно, что муха все-таки жива. Далѣе, уже самый фактъ похода противъ Руссо показываетъ, что Ройе неспособна къ историческому пониманію. Но къ этому прибавляется еще историческая небрежность. Извѣстно, что ученіе о естественномъ состояніи раздѣлялось Локкомъ, духовнымъ отцомъ Вольтера и энциклопедистовъ, отцомъ, дальше котораго ушли очень немногія изъ дѣтей. Напримѣръ, въ его трактатѣ о правительствѣ читаемъ (мы цитируемъ по французскому переводу 1754 года: Du gouvernement civil où l'on traite de l'origine, des fondements de la nature du pouvoir etc. Bruxelles): «Адамъ былъ созданъ совершеннымъ человѣкомъ» (74). «Такъ какъ люди въ естественномъ состояніи свободны, равны и независимы, то не могутъ быть подчинены политической власти безъ своего согласія» (136). «Первобытныя времена были золотымъ вѣкомъ. Гордость, жадность, amor sceleratus habendi, всѣ господствующіе нынѣ пороки еще не коснулись въ этомъ прекрасномъ вѣкѣ ума людей и не дали еще имъ ложныхъ взглядовъ на власть государей» (161) и т. п. Эта идея была общимъ достояніемъ вѣка, котораго не чуждъ былъ и Вольтеръ. Въ самомъ дѣлѣ, что такое, напримѣръ, L'Ingenu, какъ не остроумный комментарій къ теоріямъ Руссо! Существуетъ мнѣніе, будто трактатъ о вредѣ наукъ написанъ чуть не подъ диктовку Дидро. И хоть не подлежитъ сомнѣнію невѣрность такого предположенія, но знаменательно уже самое существованіе его. Идея золотого вѣка, находящагося позади насъ, уже отжила свое время въ XVIII вѣкѣ, но держалась кое-какъ по преданію, и Руссо, какъ и Локкъ, чисто внѣшнимъ образомъ пришилъ ее къ своей критикѣ существующихъ отношеній. Можно, конечно, громить Руссо и за это, громить сильно и основательно. Но если-бы Ройе пожелала направить свою эрудицію не столь безплоднымъ образомъ, то она замѣтила бы, что среди массы противорѣчій, парадоксовъ, преувеличеній Руссо, идея золотого вѣка можетъ быть совершенно отдѣлена отъ критики существующихъ порядковъ. Это-то отдѣленіе и происходило постепенно въ ряду послѣдующихъ мыслителей, на которыхъ такъ негодуетъ г-жа Ройе. И здѣсь лежитъ истинная причина похода г-жи Ройе именно противъ Руссо. Преемники его критики не впадали въ столь грубые промахи. Центръ тяжести ихъ грѣховъ слѣдуетъ искать въ положительной части ихъ ученій. Но смѣшно было бы говорить, что Сенъ-Симонъ ненавидѣлъ науку, или что идеаломъ Фурье было равенство животныхъ, или что Прудонъ совѣтовалъ сидѣть сложа руки и считалъ безумною борьбу съ природой. Если такого рода обвиненія и относительно Руссо не свидѣтельствуютъ объ особенной критической проницательности, то тѣмъ паче неумѣстно было бы защищать науку и цивилизацію, говоря о преемникахъ Руссо. А между тѣмъ такихъ кліентовъ имѣть легко и пріятно.

Полемизируя съ Руссо, г-жа Ройе исходитъ изъ факта естественнаго неравенства людей, побѣдоносно разбиваетъ дѣтскія понятія великаго женевскаго гражданина о золотомъ вѣкѣ и естественномъ состояніи и доказываетъ, что неравенство не только не имѣло тѣхъ печальныхъ послѣдствій, какія видѣлъ Руссо, но, напротивъ, всегда служило, слу-

житъ и будетъ служить залогомъ прогресса, развитія. Она утверждаетъ, что въ борьбѣ между неравными всегда одерживаетъ побѣду лучшій, способнѣйшій, сильнѣйшій и что поэтому истребленіемъ слабѣйшихъ представителей вида прогрессъ расы постоянно обезпечивается. Никогда, говоритъ она, народъ каменнаго вѣка не смѣнялъ собою и не побѣждалъ народа, достигшаго до употребленія бронзы; никогда относительно дикіе народы не смѣняли собою народовъ относительно цивилизованныхъ. Мы видимъ постоянный прогрессъ, развитіе, «чего не усмотрѣлъ Руссо и вся школа философовъ и моралистовъ, главою которой онъ можетъ быть признанъ» (199). Въ другомъ мѣстѣ г-жа Ройе говоритъ: «Изученіе законовъ, управляющихъ человѣческими дѣйствіями, показываетъ, что наименьшимъ неравенствомъ достигается для каждаго члена общества наименьшая сумма наслажденій; что, напротивъ, по мѣрѣ возвышенія соціальной пирамиды, по мѣрѣ увеличенія числа ступеней іерархіи, общая сумма наслажденій прогрессивно растетъ; что раздѣленіе труда и порождаемыя имъ неравенства, уменьшая трудъ каждаго, даютъ болѣе наслажденій всѣмъ; что неравенство богатства, создавая досугъ, различнымъ образомъ употребляемый, ведетъ къ общей выгодѣ и преимущественно выгодѣ бѣдныхъ; что нѣтъ такой нелѣпой страсти, такого страннаго каприза, который не открывалъ бы человѣческой дѣятельности новаго поля и который не давалъ бы пропитанія извѣстному числу людей, коимъ безъ этой помощи пришлось бы погибнуть; ибо на данномъ пространствѣ земли количество возможной жизни опредѣляется размѣрами капитала, находящагося въ распоряженіи населенія; благодаря усиленному обмѣну услугъ, золото, которымъ капризъ празднаго богача вознаграждаетъ удовлетворяющій его трудъ, можетъ оплатить провозъ и цѣну хлѣба, привезеннаго съ другого конца свѣта. Уничтожьте праздность, и вы уничтожите вмѣстѣ съ тѣмъ и капризъ, а, слѣдовательно, люди, удовлетворявшіе его, останутся безъ работы» и пр. (584). Нѣкоторыя изъ приведенныхъ положеній до такой степени уморительно-наивны, что поистинѣ удивительно, какъ можетъ ихъ высказывать, не моргнувъ глазомъ, дама, получившая премію за сочиненіе по политической экономіи. Конечно, ни одинъ либеральный экономистъ никогда не скажетъ о значеніи «капризовъ праздныхъ богачей» и «нелѣпыхъ страстей» того, что говоритъ г-жа Ройе. Однако, эта санкція каприза и праздности, санкція во имя свободы, конечно, не противорѣчитъ спеціальному принципу либерализма. Во всякомъ случаѣ, очевидно, что, по мнѣнію г-жи Ройе, все идетъ къ лучшему въ семъ наилучшемъ изъ міровъ. Но читатель составилъ бы себѣ совершенно невѣрное понятіе о книгѣ Ройе, если бы предположилъ, что въ ней нѣтъ ничего, кромѣ столь дешевыхъ гимновъ въ честь побѣды и праздности или даже кромѣ защиты науки и цивилизаціи. Защита эта есть, и при томъ мѣстами неосновательная и фактически невѣрная, а мѣстами совершенно лишняя. Этого слѣдовало ожидать уже по самому выбору задачи — опровергнуть Руссо. Но голова г-жи Ройе устройствомъ своимъ напоминаетъ голову Януса, хотя Ройе и не подозрѣваетъ, что весьма часто опровергаетъ свои собственные аргументы и положенія.

Если Ройе твердо вѣритъ, что побѣда всегда остается за высшими представителями расы, что на исторической сценѣ народы всегда смѣняются сообразно ихъ дѣйствительнымъ достоинствамъ и выгодамъ всего человѣчества, то она же полагаетъ, что побѣда солдатскаго Рима надъ цѣлымъ міромъ, уже цивилизованнымъ Греціей, рѣшительно задержала прогрессъ. Еще болѣе пагубнымъ для человѣчества считаетъ Ройе разгромъ Рима германцами.

Если Ройе противопоставляетъ теоріямъ Руссо вѣру въ постоянное торжественное движеніе впередъ колесницы цивилизаціи, то она же утверждаетъ, что «жизнь нашего бѣднѣйшаго сельскаго населенія ни слаще, ни мягче жизни дикарей» (187).

Если Ройе громитъ Руссо за исканіе и нахожденіе добродѣтелей у дикарей, то въ ея же книгѣ можно прочитать, напримѣръ, слѣдующее. «Узы, связывающія самца и самку у обезьянъ, продолжительны, постоянны, хоть и не нерасторжимы и не предшествуются, какъ у насъ, распущенностью самцовъ. Тамъ нѣтъ самокъ, спеціально преданныхъ проституціи. И если допустить, что высшія четырерукія суть наши предки или отдаленные боковые родственники, то скорѣе имъ надо стыдиться этого родства, чѣмъ намъ, если смотрѣть на вещи съ точки зрѣнія нашихъ собственныхъ нравственныхъ правилъ, которыя, впрочемъ, установлены, кажется, только для того, чтобы имъ не слѣдовать. Обезьяны, правда, не сочиняютъ книгъ и не ораторствуютъ о семействѣ, но отцовскій и материнскій инстинктъ столь же силенъ у приматовъ, какъ и у человѣка, быть можетъ даже сильнѣе, хотя и не подстрекается закономъ и общественнымъ мнѣніемъ. Никто не слыхалъ жалобныхъ криковъ покинутаго родителями молодого сіаманга или шимпанзе, и ни одна порода обезьянъ не почувствовала, подобно намъ, надобности въ пристанищахъ для найденышей и подкидышей. У нихъ нѣтъ закона, освобождающаго отца отъ отвѣтственности или запрещающаго отыскивать отца. Никогда самка-обезьяна не убиваетъ своей третьей дочери, какъ это дѣлаютъ австралійскія женщины, и не отдаетъ

ее на съѣденіе свиньямъ, какъ китайскія матери. Многія женщины могли бы научиться у самокъ-сіаманговъ и шимпанзе заботливости о дѣтяхъ, а относительно чистоплотности эти обезьяны стоятъ выше многихъ цивилизованныхъ націй» (351). Или: «Говорятъ о распущенности половыхъ сношеній у животныхъ. Но развратъ нигдѣ такъ не силенъ, какъ у человѣка. Мало того, онъ развивается, повидимому, вмѣстѣ съ цивилизаціей» (369). Развѣ это не тирады въ духѣ Руссо, конечно, менѣе краснорѣчивыя и ѣдкія? Развѣ нельзя по этому поводу наговорить г-жѣ Ройе съ три короба упрековъ въ родѣ тѣхъ, какіе она сама дѣлаетъ Руссо: какъ! вы ненавидите цивилизацію, вы ищете своего идеала у обезьянъ, вы руководитесь только своей пылкой фантазіей! и проч. Разница только въ томъ, что Руссо, имѣя въ виду исключительно человѣческій родъ, находилъ добродѣтели у дикарей и пороки у цивилизованныхъ людей, а Ройе, имѣющая возможность, благодаря теоріи измѣняемости видовъ, поставить вопросъ шире, находитъ добродѣтели у обезьянъ и пороки у человѣка.

Но это все частности. Для насъ гораздо важнѣе сопоставить окончательные выводы и общій духъ книги г-жи Ройе съ однимъ любопытнымъ обобщеніемъ, которое она дѣлаетъ сама.

Г-жа Ройе—утилитаристка, какъ и слѣдуетъ ожидать отъ всякаго дарвиниста. «Надо, наконецъ, признать,—говоритъ она,—что нѣтъ дѣйствій безусловно (en soi) хорошихъ и дурныхъ, а есть дѣйствія полезныя и вредныя виду, въ составъ котораго дѣятель входитъ, какъ единица, солидарная съ существующими и будущими единицами того же типа, или же полезныя и вредныя другимъ видамъ, съ которыми дѣятель вступаетъ въ сношенія и участь которыхъ связана съ участью его собственнаго вида болѣе или менѣе тѣсными узами солидарности. Поэтому инстинктивныя стремленія каждаго живого существа хороши или дурны постольку, поскольку они прямо или косвенно полезны или вредны не самому недѣлимому, а его виду. Другого объективнаго критерія нравственности нѣтъ, и понятно, что онъ относителенъ» (225), такъ какъ специфическая польза, польза вида измѣняется сообразно измѣненію условій его жизни. Намъ не удастся, вѣроятно, разсмотрѣть въ этой статьѣ отношенія теоріи Дарвина къ утилитаризму. А потому, откладывая до другого раза разборъ принимаемаго г-жею Ройе критерія нравственности, мы ограничимся теперь нѣсколькими замѣчаніями. Чтобы показать, какъ рѣзко и откровенно г-жа Ройе ставитъ и разрѣшаетъ вопросы этики съ точки зрѣнія специфической пользы, мы приведемъ одинъ примѣръ. Она утверждаетъ, что браки между представителями двухъ различныхъ ступеней одного и того же вида (напримѣръ, между европейцемъ и негритянкой) гораздо безнравственнѣе «такъ называемыхъ противоестественныхъ сношеній между представителями различныхъ видовъ» (532), потому что послѣдніе не даютъ никакого плода, тогда какъ первые имѣютъ результатомъ пониженіе уровня индо-германской расы. Кажется, нѣтъ надобности говорить, до какой степени это соображеніе плоско, грубо, односторонне и именно потому возмутительно. Г-жа Ройе не видитъ тѣхъ боковыхъ, сопутствующихъ сравнимаемымъ ею явленіямъ, фактовъ, которые совершенно измѣняютъ дѣло съ точки зрѣнія самаго утилитаризма; не говоря уже о томъ, что вопросъ о пониженіи уровня расы путемъ смѣшенія крови рѣшается г-жею Ройе далеко неудовлетворительно. Вообще надо замѣтить, что если сторонники интуитивной нравственности склонны къ расплывчатой неопредѣленности, то утилитаристы грѣшатъ большею частью другою крайностью, именно узкостью, какою-то прямолинейностью воззрѣній. И теорія Дарвина не всегда тутъ помогаетъ. Теорія эта необходимо должна была дать обновляющій толчокъ утилитаризму и ее самое не безъ основанія называютъ теоріею полезности. Замѣтимъ кстати, что основателемъ новѣйшаго утилитаризма слѣдуетъ считать вовсе не Бентама, какъ это обыкновенно дѣлается, а Гоббса, въ извѣстной мѣрѣ предвосхитившаго и развившаго въ приложеніи къ человѣку идею борьбы за существованіе. Если утилитаристы и признаютъ своимъ родоначальникомъ именно умѣреннаго Бентама, то едва-ли не изъ боязни родства съ неумѣреннымъ и гораздо болѣе глубокимъ Гоббсомъ. Теорія Дарвина, давая новую опору утилитаризму, не можетъ, разумѣется, сама по себѣ гарантировать насъ отъ извращенія утилитарныхъ принциповъ. Припомнимъ, что сдѣлалъ на этой почвѣ Густавъ Іегеръ*). Мы уже видѣли («Теорія Дарвина и телеологія»), что борьба за существованіе и естественный подборъ отнюдь не имѣютъ своимъ результатомъ непремѣнно усовершенствованіе: что нѣчто, практически полезное въ данную минуту въ борьбѣ за существованіе и поэтому подхватываемое подборомъ и передаваемое

*) Кстати. Тѣмъ, кто заинтересовался выводами Іегера, указываемъ на брошюру лютеранскаго священника Шмита. «Darvin's Hypothese und ihr Verhältniss zu Religion und Moral». Stutgart 1869. Тамъ побѣдоносно уничтожаются, съ теологической точки зрѣнія, разсужденія Іегера о религіи, но попутно задѣваются и другіе вопросы, и нельзя не признать, что священникъ оказывается сильнѣе натуралиста не только въ богословіи, а и въ логикѣ.

наслѣдственно, можетъ не только быть спутникомъ регресса, но носить зародышъ его въ самомъ себѣ. Объ этотъ-то подводный камень и спотыкаются обыкновенно утилитаристы. Отношенія самого Дарвина къ принципу пользы далеко не ясны. Онъ нерѣдко грѣшитъ безусловностью своихъ выраженій о возникновеніи, путемъ борьбы за существованіе и естественнаго подбора, непремѣнно высшихъ формъ жизни, а также неясностью и двусмысленностью, съ которыми онъ говоритъ о пользѣ нѣкоторыхъ инстинктовъ, о пользѣ существованія безполыхъ насѣкомыхъ и т. п. Онъ говоритъ, напримѣръ, очень рѣшительно, что рабовладѣльческій инстинктъ у муравьевъ есть одно изъ слѣдствій «общаго закона, ведущаго къ преуспѣянію всѣхъ организмовъ, а именно къ размноженію, къ разнообразію, къ жизни сильныхъ, къ смерти слабыхъ» (О происхожденіи видовъ, 196). Но какъ согласить съ этимъ категорическимъ заявленіемъ такое разсужденіе о вѣроятномъ происхожденіи рабовладѣльческаго инстинкта у муравьевъ: «Такъ какъ муравьи, даже не держащіе рабовъ, подбираютъ куколки другихъ видовъ, если разсыпать ихъ около гнѣзда, то очень возможно, что куколки, принесенныя первоначально въ пищу, развились, а муравьи, воспитанные такимъ образомъ случайно, должны были, слѣдуя собственному инстинкту, работать по мѣрѣ своихъ силъ. Если ихъ присутствіе въ муравейникѣ оказывалось полезнымъ виду, захватившему ихъ, — если бы этому виду было выгоднѣе брать въ плѣнъ работниковъ, чѣмъ нарождать ихъ,—то привычка собирать куколокъ на съѣденіе могла быть усилена естественнымъ подборомъ, пріобрѣсти постоянство и приспособиться къ совершенно иной цѣли—къ воспитанію рабовъ. Если этотъ инстинктъ былъ разъ пріобрѣтенъ, я не вижу невѣроятности въ томъ, чтобы *естественный подборъ усиливалъ и видоизмѣнялъ его — предполагая, конечно, что всякое видоизмѣненіе было полезно виду—пока не сложился муравей, столь постыдно зависящій отъ своихъ рабовъ, какъ Formica rufescens*» (l. c., 181). Formica rufescens есть тотъ именно удивительный муравей, который, какъ мы разсказывали («Теорія Дарвина и соціологическіе выводы изъ нея Іегера»), при огромныхъ запасахъ пищи умираетъ съ голода, если возлѣ него нѣтъ раба,—самъ онъ даже ѣсть не можетъ. Спрашивается, какимъ образомъ рядъ полезныхъ виду измѣненій инстинкта, въ концѣ концовъ, даетъ такое слабое, несчастное существо? Очевидно, что Formica rufescens есть дѣйствительно слабое, несчастное существо, отнюдь не могущее служить примѣромъ возникновенія высшихъ формъ жизни. А между тѣмъ Дарвинъ прямо указываетъ на рабовладѣльческій инстинктъ, какъ на одинъ изъ путей, ведущихъ ко всеобщему преуспѣянію, къ жизни сильныхъ; онъ прямо говоритъ, что поразительная слабость муравья сложилась рядомъ видоизмѣненій инстинкта, необходимо полезныхъ виду. Очевидно, что здѣсь есть нѣкоторое недоразумѣніе и что это недоразумѣніе коренится въ понятіи пользы.

Г-жа Ройе, разумѣется, не чужда заблужденій относительно провозглашаемаго ею критерія нравственности—специфической пользы. Къ старымъ ошибкамъ утилитаристовъ она прибавила не мало своихъ собственныхъ. Тѣмъ не менѣе ей удалось подвести, съ утилитарной точки зрѣнія, подъ нѣкоторое подобіе закона цѣлый рядъ фактовъ въ родѣ приведеннаго нами неожиданнаго печальнаго конца практически полезныхъ приспособленій. Къ сожалѣнію, Ройе не сдѣлала тѣхъ выводовъ, которые логически вытекаютъ изъ ея обобщенія, и вообще отнеслась къ нему крайне небрежно. Упоминаетъ она о немъ довольно часто, но вскользь, для объясненія того или другого частнаго круга явленій. Наиболѣе отчетливо формулируетъ она его на стр. 493 такъ: «Если есть общій законъ инстинкта, то онъ состоитъ въ томъ, что, самымъ фактомъ наслѣдственнаго накопленія въ послѣдовательномъ ряду поколѣній, полезный инстинктъ постоянно стремится перейти въ злоупотребленіе. Вызванный потребностью и первоначально ею ограничиваемый, инстинктъ быстро переступаетъ предѣлы потребности и извращается до того, что становится въ противорѣчіе съ своею первоначальною цѣлью». Ройе указываетъ, что всякій полезный инстинктъ, всякое похвальное качество, достигая извѣстной степени напряженности, приходитъ, такъ сказать, къ самоотрицанію: осторожность переходитъ въ трусость, благоразумная экономія въ скупость и проч. При этомъ г-жа Ройе нѣсколько приближается къ одной изъ основныхъ мыслей одного изъ гонимыхъ ею «философовъ и моралистовъ школы Руссо», именно утверждая, что нѣтъ ни одной вредной склонности, которая не была бы преувеличеніемъ извѣстной добродѣтели, извѣстной склонности, полезной при другихъ условіяхъ. Какъ извѣстно, нѣчто въ этомъ родѣ утверждалъ Фурье, но онъ выводилъ изъ этого необходимость такого устройства общества, при которомъ всѣ индивидуальныя особенности оказывались бы полезными. А г-жа Ройе полагаетъ, что такое устройство лишнее, ибо и нынѣ «капризы праздныхъ богачей» и «нелѣпыя страсти» оказываютъ достаточно благодѣтельное дѣйствіе. Говоря о законѣ инстинкта, Ройе не употребляетъ выраженія «самоотрицаніе» и перечисляетъ одобрительныя качества съ ихъ противополож-

ностями довольно безтолково. Но очевидно, что по своимъ результатамъ трусость есть дѣйствительно отрицаніе осторожности, скупость—отрицаніе бережливости и т. д. Точно также и половой инстинктъ, будучи безусловно необходимъ виду, на извѣстной ступени напряженности приводитъ къ результатамъ, прямо противоположнымъ тѣмъ, какіе составляютъ его назначеніе: онъ нуженъ для поддержанія вида, а при усиленномъ напряженіи ведетъ къ безплодію, т. е. къ прекращенію вида. То, что въ приведенныхъ случаяхъ происходитъ въ предѣлахъ одной и той же личности, можетъ происходить, по мнѣнію г-жи Ройе, и въ цѣломъ ряду личностей, причемъ чрезмѣрное напряженіе инстинкта будетъ произведено накопленіемъ его наслѣдственнымъ путемъ. Если, напримѣръ, извѣстному виду особенно полезна осторожность, то подъ вліяніемъ естественнаго подбора выживать будутъ преимущественно наиболѣе осторожные индивиды. Осторожность будетъ передаваться изъ рода въ родъ, все усиливаясь—извѣстно, что чѣмъ старше наслѣдственные признаки, тѣмъ они прочнѣе—пока, наконецъ, не превратится въ трусость, вредную виду, хотя опредѣлить моментъ перевала инстинкта точнымъ образомъ невозможно. Этотъ законъ самоотрицанія инстинкта Ройе не то, чтобы пытается систематически приложить къ исторіи, а думаетъ объяснить имъ нѣкоторыя выдающіяся ея черты. Она указываетъ на военный инстинктъ, на инстинкты накопленія, повиновенія и т. д. и на соотвѣтственные имъ гражданскіе и политическіе институты, какъ на такіе, которые, будучи первоначально полезны виду, съ теченіемъ времени, съ усиленіемъ своимъ въ длинномъ ряду поколѣній, обращаются во вредъ виду. Вся философія исторіи сводится для г-жи Ройе къ этому усиленію инстинкта наслѣдственнымъ путемъ и къ воздѣйствію на него разума, индивидуальной мысли. Инстинктъ, привычка есть сила инерціи, сила, фатально движущая человѣка въ разъ опредѣленномъ направленіи; это центробѣжная сила сознанія, какъ очень удачно выражается г-жа Ройе, тогда какъ разумъ, критическая мысль есть сила центростремительная. Она время отъ времени врывается въ область инстинкта, но все добытое ею, въ свою очередь, становится достояніемъ стихійной силы наслѣдственности и, въ свою очередь, теряетъ свой первоначальный смыслъ.

Мы не коснемся здѣсь самыхъ основаній закона г-жи Ройе, такъ какъ это отвлекло бы насъ отъ предмета статьи слишкомъ далеко. Мы только посмотримъ, какое отношеніе имѣетъ этотъ законъ самоотрицанія инстинкта къ общимъ тенденціямъ книги г-жи Ройе. Замѣтимъ, однако, что Ройе примѣняетъ свой законъ крайне односторонне. Что инстинктъ накопленія былъ въ свое время драгоцѣненъ съ точки зрѣнія специфической пользы; что онъ далъ толчекъ промышленности, а косвеннымъ образомъ и изученію природы; что онъ обезпечивалъ въ борьбѣ за существованіе успѣхъ развитѣйшимъ разновидностямъ и т. д.; что онъ, далѣе, передаваясь наслѣдственнымъ путемъ, все росъ и, наконецъ, въ нѣкоторыхъ представителяхъ вида homo sapiens далеко переросъ за предѣлы потребности и началъ оказывать вредное дѣйствіе – все это очевидно. Но относительно, напримѣръ, военнаго инстинкта можетъ показаться, что онъ не растетъ, а убываетъ. Однако, г-жа Ройе была бы права и относительно военнаго инстинкта, если бы смотрѣла на вещи менѣе грубо. Полезенъ-ли былъ виду военный инстинктъ въ доисторическую пору? Полезенъ, отвѣчаетъ г-жа Ройе, потому что, благодаря ему, были быстро истреблены слабыя разновидности, пропасть между человѣкомъ и предками нынѣшнихъ четырерукихъ сдѣлалась непереходимою, и пониженіе уровня развитія вида путемъ смѣшенія крови стало невозможнымъ: извѣстно, что браки европейцевъ съ женщинами наиболѣе низко стоящихъ дикихъ племенъ безплодны. Но пропасть между человѣкомъ и четырерукими вырыта вовсе не однимъ прямымъ истребленіемъ промежуточныхъ типовъ. Это истребленіе играло ничтожную роль сравнительно съ быстрымъ удаленіемъ человѣческаго типа отъ низшихъ формъ собственнымъ прогрессивнымъ развитіемъ. А въ этомъ развитіи не маловажное значеніе имѣлъ военный инстинктъ: около войны складываются первые миѳы, первыя нравственныя понятія. Сообразно этому, военный инстинктъ не потому теперь вреденъ, что промежуточныя степени между человѣкомъ и четырерукими истреблены, и, слѣдовательно, война ведетъ только къ ничѣмъ неокупаемымъ убійствамъ и разореніямъ. Послѣднее справедливо, но дѣло въ томъ, что и въ другихъ отношеніяхъ военный инстинктъ далъ уже все, чего отъ него можно требовать. Что касается до усиленія военнаго инстинкта, то оно можетъ быть усмотрѣно только при тщательномъ выдѣленіи этого инстинкта изъ массы сопровождающихъ его душевныхъ возбужденій. Собственно военный инстинктъ—жажда побѣды, могъ составлять только очень слабый ингредіентъ войны въ доисторическую пору, когда именно онъ былъ особенно драгоцѣненъ. Дикарю важнѣе грабить, насиловать, обращать въ рабство, чѣмъ собственно побѣждать. Война для славы, для побѣды, не подшитой никакою, для каждаго участника осязательною, реальною выгодою, составляетъ продуктъ позднѣйшаго времени. Только у геніальныхъ дикарей, у избранныхъ существуетъ зародышъ военнаго

инстинкта, развивающійся вмѣстѣ съ цивилизаціей. Сотни тысячъ лѣтъ долженъ былъ копиться наслѣдственнымъ путемъ инстинктъ, двигавшій завоевателями въ родѣ Александра Македонскаго. И если нынѣ инстинктъ этотъ распространенъ гораздо менѣе, чѣмъ въ древности, то тамъ, гдѣ онъ существуетъ, онъ находится въ состояніи сильнѣйшаго напряженія и опять-таки усиливается вмѣстѣ съ цивилизаціей: если необразованный солдатъ не прочь и отъ грабежа во время войны, то цивилизованный офицеръ весь полонъ одною жаждою побѣды, болѣе или менѣе чистою отъ постороннихъ примѣсей. Ни одному мирному нѣмцу не станетъ легче жить отъ побѣды надъ Франціей, станетъ по всей вѣроятности тяжеле, и, во всякомъ случаѣ, каковъ бы ни былъ исходъ войны, она тяжело отзовется на нѣмцѣ. И, однако, у каждаго мирнаго нѣмца голова кружится отъ мысли о побѣдѣ. Древніе германцы наслѣдственно передали ему военный инстинктъ, совершенно гармонировавшій съ ихъ потребностями и нисколько негармонирующій съ потребностями теперешняго нѣмца. И, однако, не смотря на то, военный инстинктъ, хотя и оторванный отъ всякой реальной почвы, живъ и ростетъ, именно потому, что онъ полученъ наслѣдственно, безсознательно. Конечно, одного военнаго инстинкта недостаточно для объясненія феноменовъ современной войны. Здѣсь, очевидно, фигурируютъ и другіе элементы, какъ, напримѣръ, инстинктъ повиновенія, нѣкогда также весьма полезный. Читатель видитъ, что собственно нѣтъ надобности въ абсолютномъ возрастаніи инстинкта для того, чтобы онъ оказался вреднымъ. Достаточно того, если онъ остается на одной и той же ступени напряженія, даже ослабляется, но не пропорціонально росту другихъ элементовъ. Промышленность, отчасти порожденная войной; идеи, также отчасти ею вызванныя и связанныя съ идеями, возникшими изъ элементарнаго основанія нашей нравственности—сочувствія; другіе инстинкты и стремленія, возникшіе нѣсколько позже военнаго инстинкта—все это образовало такую комбинацію условій жизни, среди которой жажда военной побѣды становится во всякомъ случаѣ вредною, хотя бы абсолютно напряженіе военнаго инстинкта и не возростало.

Какъ бы то ни было, но полезный инстинктъ, переростая вызвавшую его потребность, становится источникомъ бѣдствій для человѣчества, а вмѣстѣ съ тѣмъ отживаютъ свое время и соотвѣтственныя явленія общественной жизни. Къ числу такихъ вредныхъ, задерживающихъ прогрессъ, явленій г-жа Ройе относитъ войну, политическое холопство, подчиненность женщины, экономическія отношенія, кастовое устройство и проч. Если мы подведемъ всему этому итогъ, то увидимъ не то что цѣлый рядъ фактовъ, а цѣлое теченіе исторіи, представляющее оборотную сторону той самой медали, которую г-жа Ройе выдаетъ цивилизаціи за прочность и постоянство. Оказывается, что Руссо не до такой степени не правъ, какъ утверждаетъ г-жа Ройе. Формальнымъ образомъ онъ, разумѣется, остается неправъ, такъ какъ золотой вѣкъ человѣчества и естественное состояніе въ такомъ видѣ, какъ они представлялись Руссо, въ дѣйствительности никогда не существовали. Человѣкъ безъ сомнѣнія не вышелъ изъ рукъ природы кроткимъ и счастливымъ созданіемъ, но въ страстномъ обращеніи Руссо къ прошедшему есть и нѣчто законное. Инстинкты дикаря съ современной точки зрѣнія грубы, но они драгоцѣнны для вида, а съ его собственной точки зрѣнія, которая необходимо должна быть принята въ соображеніе, въ его поступкахъ нѣтъ ничего возмутительнаго. Потребности дикаря опять-таки грубы и ничтожны, но онѣ находятся въ полной гармоніи съ его силами и инстинктами. И этой гармоніи можемъ завидовать и мы, люди цивилизованные, люди XIX вѣка. Любопытно, что весьма многіе мыслители (Фихте, Гегель, Контъ, Луи-Бланъ, Лассаль), разсматривая исторію съ точекъ зрѣнія, различныхъ во всѣхъ отношеніяхъ, приходили къ мысли раздѣлить ее на три періода, при чемъ большею частью относились ко второму періоду гораздо менѣе благосклонно, чѣмъ къ первому. Гегель полагалъ даже, что общій законъ развитія состоитъ въ нѣкоторомъ возвращеніи третьей степени (синтезиса) къ первой (тезису), хотя въ сущности, по мнѣнію Гегеля, здѣсь происходитъ не возвращеніе къ тезису, а разрѣшеніе противорѣчія между нимъ и второю ступенью развитія. Сближеніе между первою и третьею ступенями развитія характерно проявляется и въ практической жизни, въ нѣкоторомъ совпаденіи взглядовъ и требованій противоположныхъ крайнихъ партій, партіи прошедшаго и партіи будущаго. Сближеніе это доходитъ иногда до совершеннаго совпаденія интересовъ въ томъ частномъ случаѣ, когда дѣло идетъ о противодѣйствіи промежуточной средней партіи. Однако, сходство между первою и третьею ступенями развитія во всѣхъ трехчленныхъ системахъ философіи исторіи есть чисто формальное. Напримѣръ, Спенсеръ вскользь бросилъ мысль, что исторія науки представляетъ три періода: единогласіе невѣждъ, разногласіе изслѣдователей и единогласіе знающихъ. Ясно, что въ дѣлѣ науки единогласіе желательно, но подъ условіемъ, чтобы оно было единогласіемъ знающихъ, а не невѣждъ. Здѣсь нѣтъ никакого приглашенія вернуться вспять, къ невѣжеству. Въ статьѣ «Что такое прогрессъ?» мы представили бѣглый очеркъ философіи исторіи, въ

которой третій періодъ также представляетъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ сходство съ первымъ, но мы отнюдь не думаемъ приглашать общество вернуться къ первобытной дикости. Сама г-жа Ройе въ нѣкоторыхъ частныхъ случаяхъ указываетъ на прошедшее, отрицаемое настоящимъ, какъ на образецъ будущаго. Такъ, напримѣръ, она говоритъ, что прежде, чѣмъ стать личною, поземельная собственность была общественною и что «въ этомъ первоначальномъ принципѣ поземельной собственности мы найдемъ, можетъ быть, и въ будущемъ единственное средство примиренія всѣхъ правъ и интересовъ» (465); замѣчаніе, между прочимъ, совершенно въ духѣ Руссо и его школы, если позволительно говорить о школѣ Руссо. Да и все дѣлаемое г-жею Ройе примѣненіе закона инстинкта къ исторіи есть вовсе не опроверженіе, а, напротивъ, подтвержденіе и разъясненіе нѣкоторыхъ мыслей Руссо и преемниковъ его критики. Руссо бросилъ обществу новую и оригинальную, но совершенно невыработанную мысль, бросилъ ее съ страстнымъ увлеченіемъ, съ полемическимъ задоромъ въ такой историческій моментъ, когда общество было наименѣе подготовлено къ мысли объ оборотной сторонѣ медали цивилизаціи. Весьма естественно, что при такихъ условіяхъ въ его теоріяхъ есть множество ошибокъ и парадоксовъ, много сбивчивости и темноты. Но въ этомъ лабиринтѣ оріентироваться можно, а тому, кто думаетъ опровергать Руссо, и должно. Ройе же придирается къ мелочамъ и часто становится въ чрезвычайно комическое положеніе, побивая какую-нибудь третьестепенную мысль великаго человѣка однимъ изъ главныхъ оружій его же собственнаго арсенала. Руссо полагалъ, напримѣръ, что условія цивилизованной жизни, каковы: отсутствіе физическихъ упражненій, утонченное кулинарное искусство и т. п., вредно дѣйствуютъ на организмъ; что дикарь, спящій на открытомъ воздухѣ и на голой землѣ, по необходимости довольствующійся простою и грубою пищею, находится въ выгоднѣйшихъ для здоровья условіяхъ, чѣмъ цивилизованный человѣкъ. Какъ и во всѣхъ почти положеніяхъ Руссо, здѣсь есть извѣстная доля правды и извѣстная доля преувеличенія. Во всякомъ случаѣ это мысль не важная, и г-жа Ройе, желающая поразить въ Руссо цѣлую школу соціалистовъ, должна бы была вспомнить хоть Фурье, столь заботившагося о гастрономіи и архитектурѣ. Но, не смущаясь тѣмъ, что приведенная мысль и у Руссо не имѣетъ большого значенія и поклонниковъ себѣ никакихъ не нашла, г-жа Ройе побѣдоносно доказываетъ ея несостоятельность. Но чѣмъ? Тѣмъ, что и нынѣ люди, подвергающіеся вліянію перемѣнъ температуры и т. п., не могутъ похвастаться особеннымъ здоровьемъ. «Всякій знаетъ, — говоритъ она, — что ревматизмомъ страдаютъ преимущественно старые военные и охотники; что, если наши земледѣльцы, дровосѣки, винодѣлы и не подвержены многочисленнымъ нервнымъ разстройствамъ, какія господствуютъ въ большихъ городахъ, то они за то страдаютъ гораздо чаще лихорадками, грудными болѣзнями, воспаленіями. У однихъ слишкомъ сильно возбуждена нервная система, у другихъ слишкомъ дѣятельно кровообращеніе. Пусть тѣ и другіе поровну подѣлятъ свой трудъ, и организмъ, возвращенный къ гармоніи, перестанетъ страдать отъ того и другого излишества» (189). Но вѣдь это одна изъ основныхъ идей Руссо, идея, именно и давшая начало школѣ, идея, противъ которой направлена вся книга г-жи Ройе! Комизмъ этого полемическаго пріема только отчасти сглаживается дальнѣйшими размышленіями Ройе: «Но надо сознаться, что цивилизованная жизнь, какъ и жизнь дикарей, имѣетъ свои неизбѣжныя неудобства (fatalités). Одно изъ такихъ неизбѣжныхъ неудобствъ есть раздѣленіе труда между различными недѣлимыми, болѣе или менѣе спеціализированными для одного какого-нибудь дѣла. Человѣческій организмъ не успѣлъ еще приспособиться къ этой спеціализаціи общественныхъ отправленій; ничто не мѣшаетъ намъ надѣяться, что съ помощью соотвѣтственной каждому отправленію гигіены мы достигнемъ, наконецъ, этого результата». Значитъ, проектъ перераспредѣленія труда оказывается лишнимъ. Это, по крайней мѣрѣ, не такъ смѣшно.

Руссо кое-гдѣ прямо говоритъ, что необходимо возвращеніе назадъ, къ тому небывалому естественному состоянію, которое онъ разрисовалъ такими свѣтлыми красками. Но въ другихъ мѣстахъ онъ столь же прямо утверждаетъ, что это возвращеніе невозможно и нежелательно. Добросовѣстный и менѣе предубѣжденный, чѣмъ г-жа Ройе, критикъ замѣтилъ бы, что Руссо желаетъ собственно возвращенія не къ первобытной жизни, а только, такъ сказать, къ ея пропорціямъ, при чемъ требуется не отреченіе отъ науки, техническихъ открытій и усовершенствованій, нравственныхъ идей, пріобрѣтенныхъ цивилизацій, а только извѣстное ихъ направленіе. Преслѣдуя науку, Руссо не отрицалъ ее самое, а только требовалъ, чтобы она исполняла свою службу человѣчеству, какъ служатъ дикарю его скудныя знанія. Когда Руссо сѣтовалъ, что у насъ есть физики и геометры, а нѣтъ гражданъ, онъ желалъ не исчезновенія физиковъ и геометровъ, а обращенія ихъ въ гражданъ. Этого-то требованія возвращенія къ пропорціямъ прошедшаго г-жа Ройе и не понимаетъ, хотя

стоитъ очень близко къ ключу загадки. Говоря о первобытномъ приблизительномъ равенствѣ силъ и способностей мужчины и женщины и о первомъ раздѣленіи труда, уничтожившемъ это равенство,—одинъ изъ немногихъ пунктовъ, на которыхъ г-жа Ройе сходится съ Руссо,—она замѣчаетъ: «атрофія извѣстнаго количества инстинктовъ у мужчины только придала новую силу тѣмъ, которые онъ сохранилъ и которые, стремясь восполнить сумму его нравственныхъ силъ, должны были скоро достигнуть той степени напряженія, когда они переходятъ за предѣлы своихъ цѣлей и становятся вредными» (549). То же самое относится, очевидно, и къ женщинѣ. Въ чемъ же значитъ дѣло? При распредѣленіи труда между мужчиною и женщиною произошло нѣкоторое нарушеніе формулы жизни того и другой. Замѣтимъ, что измѣненіе формулы жизни необходимо имѣетъ мѣсто при возникновеніи новаго вида и даже составляетъ его суть. Но измѣненіе можетъ быть двоякое. Формула жизни даннаго вида есть, положимъ, $(a + b + c + \dots + m)$, причемъ a, b, $c \dots m$ означаютъ рядъ отправленій, свойственныхъ виду. Если при переходѣ этого вида въ нѣкоторый новый типъ, отношенія между его органами и отправленіями остаются тѣ же самыя, и они только развѣтвляются, усложняются, оставаясь въ прежнемъ равновѣсіи, то формула получитъ видъ: $(a + b + c + \dots + m)^n$. Этотъ случай, единственно возможный случай, дѣйствительнаго усовершенствованія, составляетъ по теоріи Дарвина рѣдкое явленіе, и самое это прямое возрастаніе и усложненіе силъ и способностей есть только частный случай. Однако, нѣкоторыя замѣчанія Негели, Келликера, Снелля и др., признающихъ измѣняемость видовъ, но ищущихъ ей основаній не въ одной теоріи Дарвина, заставляютъ думать, что теорія эта вскорѣ получитъ важное дополненіе, именно, въ смыслѣ разъясненія прямого возвышенія формулы жизни, какъ общаго правила, постоянно нарушаемаго борьбою за существованіе между недѣлимыми одного и того же вида. Затѣмъ возможны весьма разнообразныя измѣненія формулы жизни во всѣ стороны. Всѣ они сводятся къ тому, что видъ, приспособляясь къ новымъ условіямъ жизни, утрачиваетъ, какъ ненужныя, нѣкоторыя изъ прежнихъ чертъ своей организаціи и развиваетъ въ себѣ новыя, хотя возможно и всестороннее упрощеніе, т. е формула $(a + b + c + \dots + m)$ можетъ превратиться въ формулу $\sqrt[n]{a + b + c + \dots + m}$. Паразиты представляютъ случай, весьма близкій къ такому всестороннему упрощенію. Къ такого рода боковымъ измѣненіямъ относятся и всѣ нарушенія формулы жизни, производимыя раздѣленіемъ труда въ обществѣ, а слѣдовательно, и раздѣленіемъ труда между мужчиной и женщиной. Допустимъ, что сумма силъ и способностей того и другой выражается формулой $a + b + c$. Подѣливъ между собой трудъ, они измѣнили эту формулу такимъ образомъ, что для мужчины она стала равна $a + c$, а для женщины $b + c$. Обѣ формулы проще первоначальной, но съ теченіемъ времени каждая изъ нихъ усложняется въ своей односторонности: получаются формулы $a^m + c^n + b^p + c^q$. Эта атрофія однихъ отправленій при усиленіи другихъ, становится, наконецъ, очевидно вредною. Является надобность вернуться къ первобытнымъ пропорціямъ силъ и способностей, но при этомъ и невозможно, и нежелательно, чтобы пропали тѣ дѣйствительно цѣнныя пріобрѣтенія, которыя сдѣланы и мужчиной, и женщиной, не смотря на односторонность и, можетъ быть, даже благодаря односторонности. Требуется уравнять мужчину и женщину не на старой формулѣ $a + d + c$, а на нѣкоторой новой и высшей $(a + b + c)^m$. Этого г-жа Ройе (да и не она одна) никакъ не можетъ понять и твердитъ, что «общественныя учрежденія, которыя имѣли бы результатомъ возвращеніе первобытной однородности, должны отодвинуть человѣчество назадъ» (216). Что человѣчество отодвинется назадъ, если бы удалось его отодвинуть,—это сама истина. Но бѣда въ томъ, что никто, ни даже Руссо, такихъ требованій не предъявлялъ.

Но если г-жа Ройе такъ не любитъ равенство, то взамѣнъ того она очень любитъ свободу...

У дверей кафе сидятъ нѣсколько франтовъ. Мимо проѣзжаетъ извозчикъ.

— Извозчикъ, вы свободны?—спрашиваетъ одинъ изъ франтовъ.

— Свободенъ.

— Ну, такъ кричите: да здравствуетъ свобода!

Эту остроту я вычиталъ нынче лѣтомъ, помнится, въ Шаривари. Едва ли самъ Шаривари понималъ всю ея глубину. А она дѣйствительно глубока, и канва для нея выхвачена изъ юмора самой исторіи, самой жизни. Я знаю только одну столь же глубоко юмористическую канву,—это судьба слова и понятія «пролетарій», что въ буквальномъ смыслѣ значитъ способный къ дѣторожденію, дѣтопроизводитель. Весь споръ соціалистовъ и либераловъ вертится около этихъ двухъ каламбуровъ исторіи. Свободный извозчикъ и дѣтопроизводитель! Кричи: да здравствуетъ свобода! и не производи дѣтей,—таковъ лозунгъ либерализма.—Ваша свобода душитъ свободнаго извозчика, возражаютъ либераламъ; онъ проситъ, чтобы его освободили

отъ этой свободы, освободить же его можетъ только государство. – Караулъ! кричатъ либералы. Правительственное вмѣшательство! Нарушеніе святого и плодотворнаго принципа свободы! Правительства! не слушайте этихъ бредней и во имя святого и плодотворнаго принципа свободы, запретите дѣтопроизводителямъ производить дѣтей!

Свобода!—великое, громкое слово, тысячи разъ кровавыми буквами записанное на скрижаляхъ исторіи и въ сознаніи людей; прекрасный, но страшный сфинксъ, безжалостно пожирающій всякаго, кто не разгадаетъ его хитрыхъ загадокъ. Кто не игралъ этимъ словомъ отъ мудраго Платона до новорожденныхъ русскихъ либераловъ; кто не выворачивалъ его на всѣ лады и не предлагалъ свободному извозчику кричать: да здравствуетъ свобода! Не провозгласилъ-ли Фридрихъ-Вильгельмъ IV теорію «свободныхъ народовъ и свободныхъ королей»; не провозглашаютъ-ли русскіе либералы свободу отъ земли, не правъ-ли публицистъ, утверждавшій, что для многихъ тысячъ людей laissez passer значитъ laissez mourir, и мало-ли людей, желающихъ освободиться отъ свободы? Сколько жертвъ заколото на алтарѣ этой двусмысленной богини, этого Протея, вѣчно ускользающаго по мѣрѣ того, какъ люди къ нему, повидимому, приближаются! Жертвы валятся въ пропасть, но пропасть оказывается бездонною...

Мудрый Платонъ сочиняетъ идеалъ свободной республики, но она не можетъ обойтись безъ рабовъ... Свобода тридцати тысячъ аѳинянъ имѣетъ своимъ базисомъ сто тысячъ рабскихъ спинъ... Плебеи идутъ на священную гору; патриціи вступаютъ съ ними въ сдѣлку. Да здравствуетъ свобода! Но за плебеями стоитъ еще Спартакъ съ 60,000 разъяренныхъ рабовъ... Civis romanus sum, гордо говоритъ римскій сенаторъ. Ты рабъ въ тогѣ, основательно возражаетъ Геліогабалъ... Лютеръ поднимаетъ знамя религіозной свободы. Крестьяне возстаютъ. Назадъ! кричитъ Лютеръ — крѣпостное право есть божественное учрежденіе... Да здравствуетъ свобода! кричитъ Кальвинъ, сожигая Серве.

Наступили новыя времена. Феодализмъ съ голоду продалъ свое первородство за чечевичную похлебку буржуазіи. Но, не смотря на сдѣлку, онъ пробовалъ упереться. Да здравствуетъ свобода! раскатилось, какъ громовой ударъ, надъ Европой. Свободный извозчикъ сначала вторилъ этому побѣдному крику, но потомъ отказался. Онъ запросилъ свободы отъ свободы, запросилъ такъ настойчиво, что либералы поспѣшили заткнуть ему глотку. Что же будетъ дальше? По Шерру «соціальный вопросъ» состоитъ вотъ въ чемъ: «четвертое сословіе желаетъ воспользоваться преимуществами сообща съ тремя привилегированными сословіями. Но, вступивъ въ это пользованіе, четвертое сословіе также захочетъ имѣть своего бѣлаго негра и бодро воевать съ пятымъ сословіемъ, такъ-же, какъ пятое, при подобныхъ условіяхъ, вооружится противъ шестого и такъ далѣе до безконечности» (Комедія всемірной исторіи, I, 21). Итакъ, еще множество разъ раздастся старый крикъ: да здравствуетъ свобода! Но всякій разъ ему, какъ эхо, будетъ вторить дикій возгласъ побѣдителя Бренна: vae victis! И въ результатѣ мы будемъ всетаки безконечно далеки отъ двусмысленной богини. Какъ блудящій огонекъ, будетъ она вести насъ все дальше и дальше, но не дастъ себя обнять, и человѣчество такъ и исчезнетъ, не взглянувъ на нее вблизи. Въ концѣ концовъ, всетаки останется какой-нибудь очень свободный, но очень упрямый извозчикъ, который откажется сказать: «видѣста очи мои»... Тамъ, вдали вѣковъ, человѣчество ждетъ все та же исторія молота и наковальни. Исторія будетъ время отъ времени выбрасывать старые молоты за бортъ и перековывать наковальни въ молоты, но всегда найдется новая наковальня. Есть отъ чего придти въ отчаяніе и броситься въ объятія Нирваны, художественно-нигилистическаго буддизма, возобновленнаго Шопенгауэромъ. Изъ-за чего же биться, изъ-за чего бросать старые молоты за бортъ?

Но, спроситъ трезвый читатель, откуда же возьмется этотъ безконечный рядъ бѣлыхъ негровъ, эти пятое, шестое и т. д. сословія? Гдѣ слѣды ихъ въ теперешнемъ обществѣ? На это отвѣтитъ намъ одинъ изъ мудрецовъ отечественной фабрикаціи, г. Стронинъ. Съ изумительною проницательностью поднимаетъ онъ завѣсу будущаго и показываетъ намъ такую переспективу. Установивъ для исторіи прошедшаго послѣдовательную смѣну трехъ «физіологическихъ» аристократій (просто физіологической, «геронтической» и «генетической»), передающихъ, наконецъ, свою первенствующую роль первой экономической или поземельной аристократіи, которая, въ свою очередь, уступаетъ мѣсто аристократіи капитала, г. Стронинъ продолжаетъ: «Дѣйствительность на этомъ пока и останавливается; исторію застаемъ мы хотя не на господствѣ, но на развитіи этого именно вида, и никакого иного на практикѣ она не давала еще примѣра. Но, съ одной стороны, правильность, до сихъ поръ обнаружившаяся въ смѣнѣ одной аристократіи другою, а съ другой—замѣчаемые въ современномъ обществѣ порывы, направленные по тому же пути, даютъ уже намъ нѣкоторую возможность гадать и о будущемъ. Для аристократіи капитала соперница не аристократія экономическая первая, и не три аристократіи физіологическія, а только собственники труда; равнымъ образомъ и слѣ-

дующая по теоретическому порядку производительная сила, еще болѣе человѣческая, есть, именно, трудъ; итакъ, если онъ создастъ изъ себя когда-нибудь аристократію, третью и послѣднюю экономическую, то не съ инымъ условіемъ, какъ условіемъ все той же эксплоатаціи и низшихъ себя производительныхъ силъ, и высшихъ, пока изъ числа этихъ послѣднихъ очередная не укрѣпится опять до того, что займетъ мѣсто предыдущей, чтобы снова пасть подъ ударами послѣдующей. Благодаря Дарвинову закону, мы имѣемъ право заглядывать теперь и въ еще болѣе отдаленное будущее и предвидѣть тамъ, подобно тремъ физіологическимъ и тремъ экономическимъ, три также аристократіи психологическихъ, а именно: сперва нравственную, потомъ эстетическую и, наконецъ, умственную, какъ самую высшую въ смыслѣ человѣчности; а въ этой послѣдней опять сперва эксплоатирующую аристократію генія (какъ природы умственной), потомъ аристократію знанія (какъ умственнаго капитала), и, наконецъ, аристократію и эксплоатацію метода (какъ умственнаго труда). Прекращеніе же эксплоатаціи есть вмѣстѣ съ тѣмъ и предѣлъ предвидимаго прогресса, конецъ исторіи, доступный нашему воображенію, есть только невозможность дальнѣйшихъ эксплоатацій. Таково плодоносное и озаряющее дѣйствіе законовъ Дарвина на почвѣ исторіологіи» (Исторія и методъ, 252). Такова удивительная и поражающая белиберда, измышленная г. Стронинымъ.

Мы уже говорили, что одинъ изъ немногихъ пунктовъ, на которыхъ г-жа Ройе милуетъ Руссо есть положеніе послѣдняго о приблизительномъ равенствѣ мужчины и женщины въ доисторическую пору. Г-жа Ройе полагаетъ, что различіе между силами и способностями обоихъ половъ, какое мы видимъ нынѣ, есть «результатъ сложнаго и постоянно измѣняющагося вліянія условій жизни; слѣдовательно, теперешнія взаимныя отношенія половъ могутъ въ будущемъ претерпѣть значительныя измѣненія, *могутъ даже стать обратными подъ вліяніемъ противоположныхъ нынѣшнимъ условій жизни, которыя всегда могутъ явиться и быть можетъ въ своевремя и явятся какъ результатъ соціальнаго равновѣсія*» (391). Г-жа Ройе не останавливается на этомъ темномъ намекѣ. Она говоритъ въ другомъ мѣстѣ (379—381), что если для вида окажется выгоднымъ обратное нынѣшнему отношеніе между полами, то оно и произойдетъ, какъ произошло устройство пчелинаго роя съ маткой во главѣ и съ толпами трутней самцовъ, ежегодно избиваемыхъ, или устройство муравейника съ безполыми рабочими самками. Ройе полагаетъ, что въ этомъ, впрочемъ, отдаленномъ фазисѣ развитія человѣческаго общества дѣти не будутъ знать своихъ отцовъ, мать одна будутъ заниматься воспитаніемъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ способна и ко всѣмъ занятіямъ, предоставленнымъ нынѣ мужчинамъ; что если и мужчинамъ будетъ оставлена кое какая дѣятельность и кое-какая собственность, то право наслѣдства будетъ предоставлено исключительно женщинамъ, равно какъ и политическая власть. Г жа Ройе упоминаетъ при этомъ о полумиѳическихъ амазонкахъ и о «чудесахъ женскаго генія, которыя мы находимъ совершенно естественными у пчелъ и муравьевъ». Если не ошибаюсь, амазонки по разсказамъ допускали къ себѣ мужчинъ только періодически, для поддержанія своего оригинальнаго общества, и рождающихся мальчиковъ убивали. Трутни въ ульѣ существуютъ, какъ извѣстно, также единственно для оплодотворенія матки. Поэтому можно думать, что и въ идеальномъ обществѣ г-жи Ройе мужчинамъ будетъ предоставлена исключительно половая дѣятельность: они будутъ пролетаріями, дѣтопроизводителями и въ прямомъ, и въ переносномъ смыслѣ. Это характерно. Чего добраго, Шерръ правъ, и бѣлый негръ всегда найдется. Едва выкарабкиваясь изъ положенія наковальни, женщина уже не прочь стать молотомъ. Она еще по складамъ разбираетъ: «да здравствуетъ свобода!» а vae victis уже готово. Сама еще свободный извозчикъ, женщина уже заглядываетъ въ ту историческую даль, когда она будетъ говорить: messieurs, вы вѣдь свободны, что же вы не кричите: да здравствуетъ свобода! Но г-жу Ройе нельзя упрекнуть, по крайней мѣрѣ, въ недостаткѣ послѣдовательности. Она не строитъ утопій на тему равенства, не увлекается мечтами нивелляціи, она твердо помнитъ, что кто-нибудь долженъ быть молотомъ, а кто-нибудь наковальней. Она остается вѣрна себѣ, хлопочетъ только о свободѣ и твердо вѣритъ, что когда «соціальнымъ равновѣсіемъ» молотъ перекуется въ наковальню, а наковальня въ молотъ, можно будетъ столь же громко, какъ и нынѣ, кричать: «да здравствуетъ свобода!»

Соображенія Шерра о соціальномъ вопросѣ—суть плоды художественно-нигилистическаго буддизма и представляютъ собою скорѣе слова, чѣмъ мысли. Перспектива, открываемая г. Стронинымъ недоумѣвающимъ взорамъ читателей «Исторіи и метода», есть просто белиберда и имѣетъ такую же цѣнность, какъ пророчество какого-нибудь блаженнаго. Мечты г-жи Ройе по малой мѣрѣ фантастичны. Но вотъ явленіе другого рода. Конгрессъ рабочихъ 1867 г. въ Лозаннѣ постановилъ, между прочимъ, такую резолюцію: «Конгрессъ полагаетъ, что стремленія рабочихъ ассоціацій, если послѣднія распространятся въ нынѣшнемъ своемъ видѣ, будутъ

имѣть послѣдствіемъ установленіе четвертаго сословія. за которымъ будетъ стоять еще болѣе подавленное пятое сословіе». Изъ дальнѣйшихъ резолюцій конгресса видно, что дѣло идетъ о рабочихъ ассоціаціяхъ, основанныхъ на началѣ самопомощи. Конгрессъ полагаетъ, что именно эти ассоціаціи, основывающіяся безъ вмѣшательства государства и не могущія распространиться на все рабочее сословіе, кончатъ тѣмъ, что произведутъ новые молоты и новыя наковальни. Лассаль еще въ 1863 году имѣлъ объ этомъ новомъ наслоеніи соціальной пирамиды столь ясное представленіе, что могъ обрисовать и физіономію новыхъ молотовъ: «работники со средствами работниковъ и съ алчностью предпринимателей» (Сочиненія, I, 249). Итакъ, новое «да здравствуетъ свобода!» съ его эхомъ «vae victis» уже выработывается на Западѣ. И, однако, это новое явленіе есть результатъ свободы, отсутствія государственнаго вмѣшательства, точно такъ же, какъ и у насъ сословіе безземельныхъ батраковъ было бы результатомъ свободы отъ земли.

Вся исторія свободы есть собственно одинъ каламбуръ во многихъ дѣйствіяхъ. Послѣднее дѣйствіе началось съ великой французской революціи. До революціи регламентація промышленности и правительственная опека царила неограниченно, и въ устахъ Гурнэ бранный крикъ современнаго либерализма «laissez faire, laissez passer» выражалъ дѣйствительную потребность. Революція разбила феодализмъ и цеховое устройство, провозгласила свободу труда. Но здѣсь же началось и то теченіе, которое привело, наконецъ, къ тому, что свободный извозчикъ приглашается кричать виваты свободѣ. Уже въ 1789 году національная гвардія разогнала нѣсколько десятковъ тысячъ работниковъ. собравшихся въ Елисейскихъ поляхъ, чтобы потолковать о своихъ нуждахъ. А въ 1791 году національное собраніе издало декретъ, запрещавшій всякія ассоціаціи. Буржуазія, поднявшая знамя правъ человѣка, была слишкомъ искренна, слишкомъ полна энтузіазма, наконецъ, слишкомъ мало обрисовывалась, какъ рѣзко со всѣхъ сторонъ очерченный элементъ, чтобы ее можно было заподозрить въ ясно сознанной тенденціи давить рабочаго. Вѣрнѣе предположить, что она за всякой ассоціаціей видѣла призракъ средневѣковыхъ корпорацій, а съ ними и всего того порядка. съ которымъ она такъ ожесточенно боролась. Однако характеръ буржуазіи фатально, самъ собой пробивался наверхъ со всѣми своими особенностями. Дѣло было не въ одной боязни возвращенія къ средневѣковью, говорилось и о невыгодахъ агитаціи въ пользу увеличенія поденной платы. Быстрое теченіе жизни, полной то грандіозныхъ, то кровавыхъ событій, величіе историческаго момента, лихорадка возбужденія,—все это покрывало собою рознь, уже готовившуюся въ средѣ обновленнаго общества. Какъ не ясно было отношеніе побѣдительницы-буржуазіи къ своему союзнику-рабочему, такъ не ясно было и обратное отношеніе. На другой день послѣ того, какъ Робеспьеръ прочиталъ свой проектъ декларацiи правъ человѣка, якобинецъ Буассель читалъ—«декларацію правъ санкюлота». Въ числѣ этихъ правъ значилось, между прочимъ. «право размножаться» и право зависѣть только отъ «природы и верховнаго существа». А между тѣмъ буржуазія несла съ собой именно тотъ порядокъ, при которомъ рабочій не имѣетъ права размножаться и, будучи легально свободенъ, фактически находится въ полной зависимости отъ предпринимателя. Истинныя отношенія выяснились позже, когда, по окончаніи разсчетовъ со старымъ порядкомъ, четвертое сословіе увидѣло передъ собой буржуазію, вооруженную капиталами, машинами, умственнымъ развитіемъ и политическимъ могуществомъ. Четвертое сословіе было вооружено одной свободой и скоро замѣтило, что именно поэтому оно вовсе не свободно. Таковъ былъ одинъ изъ результатовъ революціи, на которую либералы естественно смотрятъ, какъ на предѣлъ, его же не прейдеши. Естественно также, что рабочіе смотрятъ на дѣло иначе. Вышеупомянутый лозанскій конгрессъ пришелъ къ тому заключенію, что нѣкоторые бѣдствія рабочаго класса «постоянно усиливаются съ тѣхъ самыхъ поръ, какъ революція, провозглашая свободу труда и промышленности, разрушила корпораціи. Мы должны вернуться къ прежней солидарности, не замыкаясь, однако, въ тѣсныя рамки, разбитыя нашими отцами». Либеральный экономистъ, у котораго я заимствую эти свѣдѣнія о лозанскомъ конгрессѣ, Курсель-Сенель, иронически замѣчаетъ по поводу приведеннаго заявленія: «вотъ по крайней мѣрѣ откровенное противодѣйствіе революціи»!

Либеральные экономисты считаютъ порядокъ, созданный первою революціей, неприкосновеннымъ, и если одобряютъ и ободряютъ кооперативное движеніе на принципѣ самопомощи, то потому, что ассоціаціи этого рода не въ состояніи конкуррировать съ крупными капиталистами-предпринимателя и могутъ только создать пятое сословіе, что собственно не мѣняетъ ни на волосъ установившихся отношеній между трудомъ и капиталомъ. Затѣмъ все, имѣющее цѣлью и могущее замѣнить легальную свободу труда его фактическою независимостью и, слѣдовательно, повидимому, составляющее дальнѣйшее развитіе идей революціи, клеймится, какъ

отступничество и, что любопытнѣе всего, какъ посягательство на свободу.

Такъ смотритъ на дѣло и г-жа Ройе. Она называетъ первую революцію «революціей изъ всѣхъ революцій прошедшихъ и будущихъ» со включеніемъ, значитъ, и той революціи, которая поставитъ мужчинъ на мѣсто женщинъ и женщинъ на мѣсто мужчинъ. Какъ ни радикаленъ, повидимому, переворотъ, желаемый г-жею Ройе, онъ, собственно, ничего не измѣняетъ въ отношеніяхъ, существующихъ и нынѣ: мѣняются только представители этихъ отношеній. Въ томъ, именно, и состоитъ суть современнаго либерализма, что, какія бы реформы радикальныя онъ ни предлагалъ, какъ бы онъ смѣлъ ни былъ, онъ вертится въ заколдованномъ кругу, изъ котораго не можетъ и не хочетъ выбиться. А это зависитъ отъ того, что либерализмъ основанъ на каламбурѣ. У г-жи Ройе эта каламбурность очевиднѣе, потому что она ставитъ вопросы просто и грубо, не путаясь въ отвлеченностяхъ. Но не слѣдуетъ думать, чтобы она была свободна отъ противорѣчій ходячаго либерализма. Напротивъ, и эти противорѣчія выступаютъ въ ея книгѣ во всей своей неприкрытой наготѣ. Основное положеніе ходячаго либерализма составляетъ такъ-называемая гармонія интересовъ. Утверждаютъ, что настоящія экономическія отношенія, будучи предоставлены собственному свободному теченію, сами собой регулируются къ выгодѣ всѣхъ заинтересованныхъ сторонъ. Г-жа Ройе, какъ мы видѣли, доводитъ эту идею до крайнихъ предѣловъ. Иногда она повторяетъ все, что довольно давно говорено и переговорено всѣми либеральными экономистами, а именно: всякому должна быть предоставлена свобода избирать въ обществѣ положеніе, сообразное своимъ силамъ; законъ долженъ только гарантировать всякому безопасное пользованіе своими правами, насколько они не нарушаютъ чужихъ правъ и т. п. Но не таковы ея взгляды, когда она становится на біологическую точку зрѣнія. Отправляясь отъ теоріи Дарвина, она даетъ понять, что эта гармонія интересовъ есть иллюзія, что дѣло просто въ борьбѣ за существованіе, на которую всякій выходитъ, вооружившись чѣмъ можетъ. Борьба естественно оканчивается побѣдою однихъ и пораженіемъ другихъ, и побѣдители правомѣрно пользуются своимъ положеніемъ. Если Ройе и говоритъ о гармоніи интересовъ, то либерализмъ она исповѣдуетъ главнымъ образомъ не ради нея, а ради именно антагонизма интересовъ. Она требуетъ свободы для того, чтобы, согласно теоріи Дарвина, въ борьбѣ безпрепятственно одерживалъ побѣду сильнѣйшій, лучшій. Когда соціалисты говорятъ о государственномъ вмѣшательствѣ въ пользу изнемогающаго въ борьбѣ слабѣйшаго борца, либеральные экономисты возражаютъ: зачѣмъ нарушать свободу? здѣсь собственно нѣтъ борьбы: это только форма, подъ которою кроется полная солидарность интересовъ. Г-жа Ройе, съ одной стороны, поддакиваетъ этому разсужденію, но въ то же время говоритъ, что дѣло совсѣмъ не въ томъ; что борьба несомнѣнно есть, но что всетаки борцамъ должна быть предоставлена полная свобода справляться какъ знаютъ, ибо, только благодаря борьбѣ, жизнь воплощается все въ новыхъ и высшихъ формахъ. Уравняйте условія жизни борцовъ, и невозможно движеніе впередъ. При равенствѣ нѣтъ побѣды, нѣтъ прогресса. Что касается до печальной стороны этой борьбы, то, говоря словами Дарвина, «мы можемъ утѣшиться мыслью, что война не безпрерывна, что ея ужасъ не сознается, что смерть обыкновенно быстра и что выживаютъ и размножаются особи здоровыя, сильныя и счастливыя» (1, с. 64). Magister dixit! Съ своей стороны и г-жа Ройе удостовѣряетъ: «Пора, если уже не поздно, доказать массамъ, что справедливость и общее счастіе состоятъ въ равенствѣ свободы и въ прогрессѣ путемъ неравенства, которое, превративъ животное въ человѣка, въ будущемъ можетъ произвести изъ людей божественную расу, которая будетъ управлять землею справедливо, въ радости и мирѣ» (587). О, свободный извозчикъ! Неужели ты и теперь откажешься кричать: да здравствуетъ свобода! Теперь, когда тебѣ доказано, какъ дважды два четыре, что нѣсколько времени спустя послѣ того, какъ корова съѣстъ лопухъ, который изъ тебя выростетъ, насчетъ твоихъ слезъ и пота на землѣ явится божественная раса? Надо думать, что г-жа Ройе встрѣтитъ весьма серьезныя препятствія въ пропагандѣ этой плодотворной идеи. Надо думать, что свободный извозчикъ усомнится въ ея достоинствахъ. И свободный извозчикъ будетъ не совсѣмъ неправъ. Вѣрно-ли, что изъ борьбы за существованіе побѣдителями выходятъ лучшіе представители вида? Нѣтъ, не вѣрно. Мы это уже доказывали и будемъ имѣть случай еще разъ говорить объ этомъ. Что выживаютъ «счастливые», какъ выражается Дарвинъ, это вѣрно, потому что въ этой лотереѣ счастіе именно въ томъ и состоитъ, чтобы вынуть билетъ на жизнь. Но вѣдь пословица говоритъ: «счастье дуракамъ». Допустимъ, однако, что борьба дѣйствительно ведетъ къ жизни сильныхъ и къ смерти слабыхъ; допустимъ, что «божественная раса» г-жи Ройе уже на землѣ; что исполнилась фантазія сумасшедшаго нѣмца Браубаха, и видъ «человѣка» отодвинутъ высшимъ видомъ «ангелъ» (Religion, Moral und Philosophie der Darwin'schen Artlehre, 1869); что, какъ это ни трудно себѣ представить, трудъ, согласно

прорицаніямъ г. Стронина, эксплоатируетъ капиталъ, или какая-то эстетическая аристократія эксплоатируетъ нравственную. Фактъ эксплоатаціи, какъ вѣрно замѣтилъ г. Стронинъ, при этомъ не прекращается. Сегодняшніе побѣдители становятся завтра побѣжденными, слабые истребляются, но взамѣнъ нихъ являются новые слабые и т. д. безъ конца. И не смотря на эту безконечную выработку хотя бы и высшихъ формъ, движенія собственно нѣтъ, потому что отношенія между борцами остаются одни тѣ же. Это сказка о бѣломъ быкѣ. Такъ что нѣтъ возможности дождаться той божественной расы, которая будетъ управлять землей «справедливо, въ радости и въ мирѣ».

Но дѣло въ томъ, что ни либеральной буржуазіи вообще, ни г-жѣ Ройе въ частности нѣтъ никакого дѣла до «божественной расы». Она соблазняетъ ею свободнаго извозчика, но сама отнюдь не соблазняется. Она, напримѣръ много говоритъ о свободѣ мысли, свободѣ печати, свободѣ слова. Но это не мѣшаетъ ей негодовать на распространеніе въ народѣ Библіи и Евангелія, ибо «въ Нагорной проповѣди есть достаточно элементовъ для ниспроверженія всего соціальнаго строя, и въ догматѣ естественнаго равенства всѣхъ членовъ человѣческаго рода, дѣтей одного Отца, заключается отрицаніе всѣхъ жизненныхъ условій цивилизованныхъ обществъ» (586). Одинъ соціалистъ, тщательно изучавшій и глубоко чтившій Евангеліе, однажды съ жаромъ доказывалъ мнѣ, что «надо отнять у нихъ (у либераловъ) Бога и Христа». Хлопоты кажется совсѣмъ напрасныя. Г-жа Ройе находитъ, что наши современныя учрежденія слишкомъ «покровительственны». Это, очевидно, слѣдуетъ понимать такъ, что правительственное вмѣшательство нынѣ слишкомъ велико, слишкомъ стѣсняетъ свободное регулированіе силъ. И, однако, г-жа Ройе только для того и высказываетъ это обвиненіе, чтобы потребовать запрещенія законодательнымъ путемъ браковъ между людьми, страдающими наслѣдственными болѣзнями. Такъ какъ этого рода болѣзни, какъ говоритъ сама г-жа Ройе, въ значительной степени зависятъ отъ недостатковъ общественнаго устройства, то изъ бѣды представляются два выхода и оба съ государственнымъ вмѣшательствомъ: или измѣнить самыя условія, порождающія болѣзни, или запретить больнымъ размножаться. Но первый выходъ былъ бы, чего добраго, шагомъ къ «божественной расѣ» и потому г-жа Ройе объ немъ не упоминаетъ и, безъ сомнѣнія, нашла бы его нарушеніемъ свободы. И вотъ она призываетъ правительственное вмѣшательство для запрещенія браковъ, т. е. дѣлаетъ это вмѣшательство хроническимъ, такъ какъ источникъ болѣзней не прекращается и обрубаетъ только вѣтви дерева, на мѣсто которыхъ выростаютъ новыя.

Если подвести всему этому итогъ, то окажется, что не такъ страшенъ чортъ, какъ его малюютъ. Въ теоріи г-жи Ройе проповѣдуется шествіе по направленію къ божественной расѣ, шествіе, которому должна быть предоставлена полная свобода. Шествіе это состоитъ изъ ряда побѣдъ и пораженій, причемъ происходитъ постоянная смѣна побѣдителей; на каждой такой станціи побѣдитель тѣмъ или другимъ способомъ держитъ побѣжденнаго въ зависимости, т. е. лишаетъ его свободы. На практикѣ г-жа Ройе останавливается на исторической станціи, нынѣ въ Европѣ переживаемой, на станціи свободнаго извозчика, и всемѣрно хлопочетъ о томъ, чтобы, именно, на этомъ пунктѣ шествіе по направленію къ божественной расѣ прекратилось. Она не брезгаетъ для этого никакими средствами. И здѣсь мы видимъ опять то удивительное свойство либерализма, что онъ никакъ не можетъ выбиться изъ заколдованнаго круга. Кажется, что можетъ быть радикальнѣе, что можетъ быть утопичнѣе божественной расы, управляющей землею «въ радости и въ мирѣ». Превращеніе морской воды въ лимонадъ, на которое разсчитывалъ Фурье, можно сказать, превзойдено. А между тѣмъ дѣло сводится къ тому, чтобы пригласить, а въ случаѣ надобности и понудить свободнаго извозчика кричать виваты свободѣ.

Мы далеко не покончили ни съ г-жею Ройе, ни съ отношеніемъ теоріи Дарвина къ либерализму. Мы вернемся къ нимъ, а теперь намъ хотѣлось бы указать на одно любопытное разсужденіе Милля, одного изъ самыхъ умѣренныхъ, лучшихъ и честнѣйшихъ представителей либерализма, человѣка, который столь далекъ отъ обычныхъ каламбуровъ либераловъ, что отважился сказать въ своихъ Основаніяхъ политической экономіи: «Узы коммунизма были бы свободою по сравненію съ нынѣшнимъ состояніемъ большинства людей. Почти все сословіе работниковъ въ Англіи и почти во всѣхъ другихъ странахъ имѣетъ такъ мало возможности избирать себѣ занятіе или мѣсто жительства, оно практически такъ зависитъ отъ установленныхъ правилъ и отъ чужой воли, что меньшею свободою могло бы пользоваться развѣ при совершенномъ рабствѣ» (I, 257). Въ своей книгѣ «О свободѣ» Милль цитируетъ, между прочимъ, слѣдующія слова Вильгельма Гумбольдта: «Конечная цѣль человѣка, т. е. та цѣль, которая ему предписывается вѣчными, неизмѣнными велѣніями разума, а не есть только порожденіе смутныхъ и преходящихъ желаній, эта цѣль состоитъ въ наивозможно гармоническомъ раз-

витіи всѣхъ его способностей въ одно полное и самостоятельное цѣлое», что, слѣдовательно, предметъ, «къ которому каждый человѣкъ долженъ непрерывно направлять всѣ свои усилія, и который особенно должны постоянно имѣть въ виду люди, желающіе вліять на своихъ согражданъ, есть могущество и развитіе индивидуальности»,— что для этого два необходимыя условія, — «свобода и разнообразіе личныхъ положеній» (Утилитаріанизмъ. О свободѣ. 274). Возвращаясь потомъ къ этой мысли, Милль говоритъ, что второе изъ условій, необходимыхъ по Гумбольдту для человѣческаго развитія, т. е. разнообразіе положеній, въ Англіи все болѣе и болѣе утрачивается. Прежде различные слои общества, различныя ремесла, различныя мѣстности жили своею отдѣльною жизнью, не похожею на сосѣднюю. Нынѣ же всѣ эти различія сглаживаются. Конечно, говоритъ Милль, разнообразіе положеній еще велико, но уже далеко не то, что было прежде, и при томъ постоянно уменьшается. Нынѣ у всѣхъ болѣе или менѣе одинаковыя права, одинаковыя цѣли; политическія перемѣны всѣ имѣютъ одно общее направленіе — привести все къ одному уровню; распространеніе просвѣщенія влечетъ за собой подчиненіе людей однимъ и тѣмъ же вліяніямъ, дѣлаетъ для всѣхъ доступнымъ одинъ и тотъ же запасъ фактовъ и чувствъ; такую же тенденцію имѣютъ и улучшеніе путей сообщенія, и развитіе промышленности. Все это, говоритъ Милль, составляетъ такой страшный заговоръ противъ индивидуальности, что надо теперь же подумать о средствахъ къ ея охраненію, иначе будетъ поздно. Хотя Милль и говоритъ при этомъ, что «разнообразіе во всякомъ случаѣ есть благо, если бы даже оно состояло въ отступленіи отъ общепринятаго не только къ лучшему, но и къ худшему» (313), но его, разумѣется, нельзя заподозрить во враждебномъ отношеніи къ распространенію знаній или къ развитію промышленности. Трудно, однако, понять, какія средства могутъ быть пущены въ ходъ, чтобы нивеллирующее теченіе науки, промышленности, политическихъ реформъ было парализовано и чтобы вмѣстѣ съ тѣмъ были сохранены стороны этого теченія, признаваемыя и Миллемъ благотворными. Но не въ томъ дѣло. Индивидуальность есть также одно изъ понятій, допускающихъ различные каламбуры. Индивидъ есть сумма свойствъ данной ступени органическаго развитія, т. е. даннаго вида. Объ этомъ мы уже говорили въ другомъ мѣстѣ. Слѣдовательно, требованіе Гумбольдта — «наивозможное гармоническое развитіе всѣхъ способностей человѣка въ одно полное и самостоятельное цѣлое» — и есть, именно, требованіе индивидуальности. Всѣ способности, какія только имѣетъ человѣкъ, какъ извѣстная ступень органическаго развитія, должны быть соединены въ каждомъ изъ насъ, въ каждомъ представителѣ вида. Таковъ идеалъ и Гумбольдта, и Милля, къ которому всѣ мы обязаны стремиться, хотя бы и безъ надежды осуществить его вполнѣ. Едва-ли кто-нибудь станетъ оспаривать законность и величіе такого идеала; выше его мы, очевидно, ничего себѣ представить не можемъ. Но, очевидно также, что, чѣмъ болѣе будемъ мы приближаться къ этому идеалу, тѣмъ болѣе будетъ исчезать разнообразіе нашихъ личныхъ положеній; каждый изъ насъ будетъ обладать всѣми тѣми способностями, какими обладаютъ и остальные. А между тѣмъ этого-то Милль и не хочетъ и говоритъ, что при этомъ исчезнетъ индивидуальность. Здѣсь индивидуальность берется уже въ другомъ смыслѣ, въ смыслѣ личной особенности, въ смыслѣ такихъ свойствъ, какія есть у меня, но нѣтъ у моего сосѣда, и наоборотъ. Понятно, что согласить два такія требованія индивидуальности невозможно. Удивительно, какимъ образомъ Гумбольдтъ и Милль находятъ возможнымъ достигнуть гармоническаго развитія *всѣхъ* силъ и способностей человѣка въ *одно* цѣлое посредствомъ размѣщенія этихъ силъ по *множеству* индивидовъ. Правда, они ставятъ рядомъ съ тѣмъ, что они называютъ индивидуальностью, свободу. Но это едва-ли не усложняетъ затрудненія. Свобода, безъ каламбура, есть независимость отъ другихъ людей. Такая независимость не возможна при столкновеніи интересовъ людей съ различными формулами жизни, т. е. людей, находящихся въ различныхъ положеніяхъ; потому что, если одна личность или одна группа личностей выработала себѣ выгоднѣйшія при данной обстановкѣ функціи, то она непремѣнно поработитъ личности или группы личностей съ функціями менѣе выгодными. Такъ что индивидуальность, какъ ее понимаютъ Милль и Гумбольдтъ, не уживается ни со свободой, ни съ гармоническимъ развитіемъ всѣхъ способностей въ одно цѣлое. Наоборотъ, только такое гармоническое развитіе можетъ дать и свободу, но оно же заключаетъ въ себѣ и требованіе равенства, такъ какъ желательно гармоническое развитіе всѣхъ способностей въ каждомъ человѣкѣ.

IV. *Замѣтки о дарвинизмѣ* *).

До большинства образованныхъ людей доходятъ преимущественно либо самъ Дарвинъ и популярныя изложенія его ученія, либо грубыя, восклицательно - презрительнаго

*) Декабрь 1871.

свойства нападки на него. Обстоятельство это естественно весьма мало способно разбудить и воспитать критическое отношеніе къ предмету. Самые заклятые противники дарвинизма соглашаются, что враждебное имъ ученіе обставлено очень искусно, построено съ большимъ тщаніемъ и остроуміемъ. Понятно, какое чарующее вліяніе должна имѣть эта удивительная постройка на умы людей, непосвященныхъ спеціальнымъ образомъ въ тайны естественныхъ наукъ. Для большинства образованныхъ людей дарвинизмъ пришелъ, увидѣлъ и побѣдилъ. О критическомъ отношеніи тутъ едва-ли можетъ быть и рѣчь. Наши силы, силы профановъ, слишкомъ ничтожны, чтобы сопротивляться мощи дарвинизма; и развѣ только чувства наши, которыя у профановъ могутъ быть и болѣе чутки, чѣмъ у вождей науки, мѣшаютъ намъ безропотно и безповоротно принять ученіе Дарвина во всѣхъ его частяхъ. Съ другой стороны, если какой-нибудь Гибель съ ясностью мѣднаго лба объявляетъ намъ, что теорія Дарвина есть такой же вздоръ, какъ столоверченіе и одъ; или если какой-нибудь узколобый моралистъ считаетъ нужнымъ выставлять противъ теоріи не факты, а свои собственныя понятія о человѣческомъ достоинствѣ и т. п.,—мы естественно не только не расположены взвѣшивать ихъ опроверженія, но, сравнивая эту мелочь и ветошь съ ученіемъ Дарвина, еще болѣе утрачиваемъ возможность быть на сторожѣ. Голоса же наиболѣе цѣнные, голоса людей, относящихся къ дарвинизму не съ увлеченіемъ учениковъ, но и не съ нахальствомъ невѣждъ, заушающихъ теорію во имя началъ ей совершенно чуждыхъ, эти голоса до насъ почти не доходятъ. А между тѣмъ едва-ли нужно доказывать, что въ виду многообъемлющихъ доктринъ, которыя, какъ дарвинизмъ, захватываютъ самые корни жизни, отсутствіе критики особенно пагубно. Читатель не найдетъ поэтому, можетъ быть, лишнимъ воспроизведеніе нѣкоторыхъ изъ упомянутыхъ голосовъ. Мы далеки отъ мысли исчерпать всѣ, хотя бы и наиболѣе замѣчательныя возраженія и указанія, вызванныя теоріей Дарвина. Мы хотимъ только представить нѣсколько мыслей, высказанныхъ о дарвинизмѣ и по поводу него людьми, заслуживающими уваженія и притомъ настолько, насколько мысли эти могутъ намъ помочь въ разработкѣ предмета статьи.

Мы начнемъ съ замѣчаній французскаго анатома Лаказа-Дютье (Lacaze-Duthiees. Annales des sciences naturelles. Zoologie et paléontologie. T. II. 1864. Mémoire sur les Antipathères. XII. De la loi de destruction réciproque des êtres. Pp. 220—233). Лаказъ-Дютье отказывается, во-первыхъ, признать фактомъ всеобщимъ борьбу за существованіе между недѣлимыми одного и того же вида и приводитъ изъ области низшихъ животныхъ нѣсколько примѣровъ, въ которыхъ, по его мнѣнію, отсутствуетъ борьба за пространство, за пищу, за воспроизведеніе рода. Но и въ тѣхъ, признаваемыхъ имъ весьма многочисленными, случаяхъ, когда борьба за существованіе между недѣлимыми одного и того же вида и подборъ родичей существуютъ несомнѣнно, Лаказъ-Дютье отказывается признать за элементомъ борьбы творческое, прогрессивное значеніе, какое ему придается дарвинистами. Самый фактъ борьбы и подбора Лаказъ-Дютье признаетъ и даже даетъ ему свое особенное названіе «закона взаимнаго истребленія существъ», но истолковываетъ его совершенно иначе. Несомнѣнно, говоритъ онъ, что борьба можетъ истребить видъ, но какимъ образомъ можетъ она его создать? Какой тигръ одолѣетъ своихъ собратій въ борьбѣ за существованіе? Очевидно, тотъ, который, если можно такъ выразиться, всѣхъ «тигрѣе», тотъ, въ которомъ типическіе признаки вида выражены наиболѣе характерно. Слѣдовательно, роль борьбы и подбора существенно консервативная; въ результатѣ ихъ вліяній получается сохраненіе въ возможно чистомъ видѣ характерныхъ видовыхъ признаковъ, а отнюдь не прогрессивное ихъ развитіе. Борьба существуетъ, она истребляетъ цѣлыя расы, но отнюдь не къ выгодѣ побѣдителей

Такова сущность возраженій Лаказа-Дютье. Они очень кратки и бѣглы, такъ какъ сдѣланы попутно, въ видѣ маленькаго параграфа въ большой спеціальной работѣ. Въ концѣ концовъ, отдавая должную справедливость заслугамъ Дарвина и стройности его теоріи, Лаказъ-Дютье не считаетъ возможнымъ рѣшительно пристать къ трансформистамъ, ибо выставляемая ими основная причина измѣненія видовъ истолковывается для него въ діаметрально-противоположномъ смыслѣ. Что же касается до трудностей, встрѣчаемыхъ теоріей постоянства видовъ, то, по мнѣнію Лаказа-Дютье, онѣ не болѣе тѣхъ трудностей, съ которыми приходится бороться и теоріи трансформизма. Впрочемъ, Лаказъ-Дютье сохраняетъ въ этомъ отношеніи положеніе нерѣшительное. Не трудно видѣть, что замѣчанія Лаказа-Дютье не имѣютъ того общаго значенія, какое онъ имъ придаетъ. Дарвинистъ могъ бы возразить, что въ борьбѣ за существованіе далеко не всегда одолѣваетъ индивидъ, совмѣщающій въ себѣ въ чистѣйшемъ видѣ всѣ характерные признаки вида, а, напротивъ, весьма часто индивидъ, сильно отклоняющійся отъ нихъ. Но замѣчанія Лаказа-Дютье всетаки имѣютъ цѣну для многихъ

частныхъ случаевъ. И мы могли бы и среди общественной жизни людей найти не мало такихъ случаевъ, когда конкурренція, борьба оканчивается для побѣдителей сохраненіемъ въ усугубленномъ видѣ типическихъ сторонъ statu quo.

Кёлликеръ (Ueber die Darwin'sche Schöpfungstheorie. Leipzig, 1864) рѣшительно становится на сторону трансформистовъ и считаетъ даже совершенно лишнимъ взвѣшивать доводы ихъ противниковъ. Но тѣмъ не менѣе онъ по разнымъ причинамъ считаетъ невозможнымъ согласиться со многими изъ основныхъ положеній Дарвина. Онъ не говоритъ, чтобы факторы измѣнчивости видовъ, указанные Дарвиномъ, совершенно отсутствовали, хотя и тутъ онъ весьма скептически относится, напримѣръ, къ лежащему въ основаніи дарвинизма принципу полезности видоизмѣненій. По его мнѣнію, всякій организмъ въ своемъ родѣ совершенъ, и если онъ разъ пріобрѣлъ полезныя для него особенности, то не видно, почему бы для него нужно были все новыя и новыя измѣненія, разъ измѣненія эти управляются только началомъ полезности. Какъ бы то ни было, Кёлликеръ полагаетъ, что развитіе органической жизни на землѣ шло и идетъ, въ общемъ, совсѣмъ не тѣми путями, на которые указываетъ дарвинизмъ. Гипотезѣ Дарвина Кёлликеръ противопоставляетъ свою собственную, правда, безъ сравненія менѣе выработанную и хуже вооруженную. Кёлликеръ обращаетъ вниманіе на явленіе обмѣна поколѣній, на поразительное сходство зародышей животныхъ, сходство до такой степени близкое, что зародышу достаточно было бы сдѣлать въ своемъ развитіи самое ничтожное отступленіе въ ту или другую сторону, чтобы развиться въ совершенно отличную отъ родича форму; далѣе, на половой диморфизмъ, при чемъ самки и самцы часто до такой степени отличаются другъ отъ друга, что съ полнымъ правомъ могли бы быть относимы къ различнымъ видамъ и даже семействамъ, если бы не было извѣстно ихъ болѣе близкое родство; наконецъ, на полиморфизмъ нѣкоторыхъ видовъ, въ особенности изъ перепончатокрылыхъ, при чемъ, напримѣръ, у термитовъ изъ совершенно тождественныхъ яицъ развивается восемь рѣзко отличныхъ формъ. Совокупность этихъ явленій побуждаетъ Кёлликера думать, что для объясненія разнообразія формъ органической жизни и ихъ измѣнчивости нѣтъ надобности прибѣгать къ сложному механизму крайне медленныхъ полезныхъ видоизмѣненій и подбора, который, вдобавокъ, по его мнѣнію, не выдерживаетъ критики и самъ по себѣ. Онъ полагаетъ, что, повинуясь нѣкоторому общему закону развитія, или, какъ Кёлликеръ неудачно выражается, «великому плану развитія», виды способны переходить въ болѣе сложныя формы непосредственно. Въ чемъ состоитъ этотъ законъ, какимъ образомъ онъ дѣйствуетъ — неизвѣстно, но наблюденіе свидѣтельствуетъ, что прямые потомки могутъ быть очень несхожи ни между собой, ни съ своими ближайшими предками. Совершенно такимъ же путемъ непосредственнаго усложненія могло произойти и все безконечное разнообразіе видовъ. И аналогія явленій обмѣна поколѣній показываетъ, что эти измѣненія признаковъ могутъ или могли происходить довольно большими скачками (Sprungweise Veränderungen).

Упоминая объ этой теоріи Кёлликера, Негели (Происхожденіе естество-историческаго вида и понятіе о немъ. Переводъ Стофа. М., 1866) замѣчаетъ, что не смотря на свою заманчивость и устраненіе при помощи ея многихъ затрудненій, она всетаки представляетъ не болѣе, какъ возможность. Впрочемъ, Негели возстаетъ только противъ *большихъ* скачковъ въ развитіи. Самъ же онъ тоже не удовлетворяется теоріей Дарвина и, подобно Кёлликеру, признаетъ нѣкоторый общій законъ развитія, въ силу котораго организмы непосредственно переходятъ въ высшія формы, помимо метаморфозъ, испытываемыхъ ими путемъ борьбы за существованіе, полезныхъ приспособленій и подбора. По Дарвину, присущая организму индивидуальная измѣнчивость можетъ направляться во всѣ стороны. Опредѣленное же направленіе, принимаемое ею въ ряду поколѣній, зависитъ единственно отъ внѣшнихъ причинъ. Эта теорія, что бы ни говорили дарвинисты, очевидно, исключаетъ законъ необходимости усовершенствованія. Достаточно-ли одного этого принципа для объясненія фактовъ? Негели отвѣчаетъ на этотъ вопросъ отрицательно на слѣдующихъ основаніяхъ. По теоріи полезности (названіе это Негели даетъ теоріи Дарвина въ противоположность другой, которую онъ называетъ теоріей усовершенствованія) всякій видъ долженъ раньше или позже достигнуть формы, соотвѣтствующей окружающимъ его условіямъ и сохранить ее безъ измѣненій до тѣхъ поръ, пока не произойдетъ достаточно важная перемѣна въ обстановкѣ. Попавъ въ другую обстановку, видъ приспособляется къ ней и принимаетъ соотвѣтственную форму. Возвратясь къ прежнимъ условіямъ, онъ долженъ бы былъ принять прежнюю форму, ибо она представляетъ собою наиполезнѣйшее приспособленіе къ этимъ условіямъ. Однако, на самомъ дѣлѣ этого нѣтъ. Прирученная порода, возвращаясь къ прежнимъ условіямъ жизни, дичаетъ, но принимаетъ не первоначальную свою форму, а какую-нибудь новую. Далѣе, если два сродные вида поставлены въ одинаковыя внѣшнія усло-

вія и находятся въ нихъ до совершеннаго приспособленія, то они должны бы были слиться, перейти въ одинъ и тотъ же видъ, такъ какъ самая полезная въ данной обстановкѣ форма можетъ быть, очевидно, только одна. Однако, мы сплошь и рядомъ видимъ, что въ извѣстной мѣстности, при одинакихъ условіяхъ, существуютъ близко сродные виды. «Можно-ли, вообще, представить себѣ,—спрашиваетъ Негели,—чтобы вся сложная организація самаго высшаго растенія и самаго высшаго животнаго образовалась только мало-по-малу, изъ менѣе совершенной, чтобы микроскопическое растеньице превратилось въ яблоню по истеченіи безчисленныхъ поколѣній въ силу одной борьбы за существованіе? Слѣдующее разсужденіе поможетъ намъ разрѣшить этотъ вопросъ. Самая высшая организація обнаруживается двумя свойствами: совмѣщеніемъ въ себѣ самыхъ разнообразныхъ органовъ и самымъ совершеннымъ раздѣленіемъ между ними труда. Оба условія совпадаютъ обыкновенно въ животномъ царствѣ, такъ какъ каждый органъ имѣетъ свое опредѣленное отправленіе. У растеній же обстоятельства эти не зависятъ другъ отъ друга; однимъ и тѣмъ же отправленіемъ могутъ завѣдывать совершенно различные органы, даже у близко сродныхъ растеній одинъ и тотъ же органъ можетъ нести всевозможныя физіологическія отправленія. Замѣчательно, что полезныя приспособленія, описываемыя Дарвиномъ у животныхъ и существующія въ большомъ количествѣ и въ растительномъ царствѣ, суть исключительно физіологической природы и указываютъ всегда на развитіе и измѣненіе органа для особенной цѣли. Морфологическаго измѣненія, объяснимаго принципомъ полезности, неизвѣстно въ растительномъ царствѣ, и я не могу даже представить, какимъ образомъ могло бы оно произойти, такъ какъ общіе морфологическіе процессы относятся къ физіологическому отправленію въ высшей степени безразлично. Теорія полезности требуетъ, какъ высказался и Дарвинъ, чтобы безразличные признаки были измѣнчивы, полезные же постоянны. Поэтому чисто-морфологическія особенности растеній должны бы наилегче подвергаться измѣненію; особенности же, обусловленныя опредѣленнымъ отправленіемъ,—труднѣе всего измѣняться. Опытъ показываетъ противное... Вначалѣ явилось одно только одноклѣточное растеніе или же нѣсколько видовъ такихъ растеній. Соперниковъ не было, и внѣшнія условія были одинаковы на всей земной поверхности. По теоріи полезности не существовало двигателей, обусловливавшихъ появленіе полезныхъ измѣненій. Какъ развились болѣе сложныя и выше организованныя существа, она тѣмъ болѣе не въ состояніи объяснить, что одноклѣточныя, именно, растенія въ такой высокой степени индифферентны къ внѣшней обстановкѣ. Сверхъ того, въ настоящее время находимъ мы одинъ и тотъ же видъ распространившимся по различнымъ поясамъ, при разнообразнѣйшихъ, слѣдовательно, климатическихъ условіяхъ, и окруженнымъ самымъ разнообразнымъ животнымъ и растительнымъ міромъ».

Въ виду всего этого Негели считаетъ рѣшительно невозможнымъ довольствоваться для объясненія постепеннаго образованія высшихъ формъ жизни одною теоріей Дарвина или теоріей полезности. Признавая подборъ родичей, руководимый борьбою за существованіе, несомнѣннымъ факторомъ измѣненія видовъ, онъ находитъ нужнымъ поставить на ряду съ нимъ и другого фактора. По его мнѣнію, индивидуальная измѣнчивость стремится не неопредѣленно во всѣ стороны, не идетъ ощупью, а направляется, сообразно особому закону, преимущественно вверхъ, къ болѣе сложной организаціи. Т.-е., если бы борьба за существованіе и отсутствовала, организмы всетаки подвергались бы постояннымъ измѣненіямъ и, при томъ совершенно опредѣленнаго характера: они все усложнялись бы, совмѣщали бы въ себѣ все большее разнообразіе органовъ и все большее раздѣленіе между ними труда, т. е. все совершенствовались бы. Свойство преобразовываться въ болѣе сложную и совершенную форму такъ же присуще всякому организму, какъ присуще, въ неорганической природѣ, напримѣръ, извѣстнымъ элементамъ группироваться только въ опредѣленныя химическія соединенія и принимать только опредѣленныя кристаллическія формы. Какъ въ клѣточкѣ атомы углерода, водорода, кислорода и азота обнаруживаютъ стремленіе слагаться въ болѣе и болѣе сложныя и высшія соединенія, такъ точно и самымъ клѣточкамъ присуще стремленіе сойтись все въ большемъ и въ большемъ числѣ и составлять все болѣе и болѣе сложныя формы. Такимъ образомъ Негели принимаетъ два рода факторовъ развитія органической жизни на землѣ. Преобразованіе вида, происходящее подъ вліяніемъ факторовъ, указанныхъ Дарвиномъ, т. е. подбора, борьбы за существованіе и полезныхъ приспособленій, пріостанавливается, какъ только видъ приспособился къ окружающимъ условіямъ. Но преобразованіе подъ вліяніемъ принципа усовершенствованія такихъ остановокъ не знаетъ и гонитъ видъ къ дальнѣйшимъ метаморфозамъ, дѣйствуя весьма часто скачкообразно. Если видъ и остается, повидимому, одинаковымъ въ теченіе цѣлаго геологическаго періода, то, тѣмъ не менѣе, въ немъ происходятъ постоянныя внутреннія измѣненія, которыя

необходимо повлекутъ за собою, наконецъ, морфологическое усовершенствованіе, а это послѣднее вызоветъ новое соотвѣтственное приспособленіе функцій.

Намъ нужно сказать еще нѣсколько словъ о небольшой книжкѣ іенскаго профессора математики и физики Карла Снелля (Die Schöpfung des Menschen. Leipzig, 1863), въ которой, не смотря на фантастическій и глубоко-поэтическій колоритъ, нѣкоторыя чисто-научныя данныя сгруппированы съ замѣчательною оригинальностью и смѣлостью мысли. Если Кёлликеръ отнесся къ этой книжкѣ съ снисходительнымъ презрѣніемъ ученаго спеціалиста, то Геккель обратилъ на нее весьма серьезное вниманіе и даже заимствовалъ изъ нея кое что.

Снелль воздерживается отъ критики дарвинизма, по крайней мѣрѣ, въ упомянутомъ сочиненіи, которое имѣетъ цѣлью по возможности популярное изложеніе собственныхъ воззрѣній автора на прогрессъ органической жизни. Ограничиться отрывочными замѣчаніями, какія только и возможны были бы въ подобномъ произведеніи, Снелль не желаетъ именно изъ уваженія къ труду Дарвина и къ заслугамъ послѣдняго какъ для науки вообще, такъ и для вопроса о происхожденіи видовъ въ частности. Тѣмъ не менѣе, однако, Снелль радикально расходится съ Дарвиномъ во всемъ, за исключеніемъ общаго положенія объ измѣняемости видовъ. Подобно Негели, Снелль полагаетъ, что виды измѣняются въ опредѣленномъ направленіи и именно образуютъ собою восходящіе ряды все сложнѣйшихъ формъ, въ силу нѣкотораго общаго закона развитія. Но если и Негели возбудилъ противъ себя упрекъ въ метафизичности своего воззрѣнія, то тѣмъ паче подобный упрекъ можетъ быть сдѣланъ Снеллю. Впрочемъ, относительно Снелля эта игра не стоитъ свѣчъ, и мы ею заниматься не будемъ, а просто постараемся извлечь изъ него что намъ нужно.

Снелль отправляется отъ аналогіи между исторіей человѣчества и, такъ сказать, исторіей природы. Аналогія эта составляетъ теперь вещь крайне избитую и истасканную, но у Снелля она, какъ увидимъ, имѣетъ нѣкоторое особое значеніе. Наиболѣе общую черту развитія «историческихъ организмовъ», т. е. человѣческихъ обществъ, говоритъ Снелль, составляетъ постепенное усиленіе раздѣленія труда, не только въ тѣсномъ, техническомъ смыслѣ слова, въ какомъ оно значится въ учебникахъ политической экономіи, а и въ широкомъ смыслѣ постепеннаго распаденія дѣятельности человѣка на составныя части. Это усиленіе раздѣленія труда мы замѣчаемъ какъ при сравненіи двухъ обществъ, стоящихъ на различныхъ ступеняхъ развитія, такъ и при сравненіи различныхъ фазъ, проходимыхъ однимъ и тѣмъ же обществомъ. Точно также и въ „естественныхъ организмахъ». Раздѣленіе труда между органами высшаго животнаго проявляется рѣзче, чѣмъ въ низшихъ организмахъ, и въ зрѣломъ возрастѣ сильнѣе, чѣмъ въ ранніе періоды жизни. Съ этимъ общимъ явленіемъ тѣсно связано другое, именно образованіе рѣзко отличающихся другъ отъ друга группъ существъ изъ общаго источника такой организаціи, въ которой рѣзкія особенности нынѣшнихъ отдѣльныхъ группъ сливались въ одно цѣлое. Нынѣ формы переходныя, которыя совмѣщали бы въ себѣ особенности двухъ сосѣднихъ группъ, составляютъ рѣдкость. Онѣ существуютъ только въ очень узкихъ географическихъ предѣлахъ, имѣютъ крайне слабую, мало способную къ сопротивленію внѣшнимъ силамъ организацію, очень бѣдны разнообразіемъ видовъ. Въ ранніе же геологическіе періоды такія смѣшанныя существа существовали, напротивъ, въ огромномъ количествѣ и были широко распространены. Таковъ, напримѣръ, лабиринтодонтъ, въ которомъ совмѣщались признаки нынѣшнихъ лягушекъ, черепахъ и ящерицъ и который былъ, по выраженію Бурмейстера, не лягушка, не черепаха и не ящерица, а земноводное, вообще, съ самою общею организаціей, какую только допускаетъ этотъ классъ животныхъ во всей своей совокупности. Это какъ бы воплощенная идея земноводнаго. Нынѣ же эта идея воплощается только по частямъ. Въ исторіи человѣчества обнаруживается совершенно аналогичная черта. Въ завѣщанныхъ намъ древнимъ Востокомъ сочиненіяхъ, напримѣръ, мы находимъ пестрый переплетъ религіозныхъ вѣрованій, поэзіи, философіи, государственной мудрости, естествознанія и при томъ не въ механическомъ смѣшеніи, а въ прочной внутренней связи. И все это цѣлое такъ же мало можетъ быть подведено подъ наши рубрики поэзіи, философіи и проч., какъ не поддаются нашимъ классификаціямъ допотопные организмы. По этой причинѣ намъ такъ и трудно понять умственную жизнь древнихъ. Есть много поводовъ смотрѣть на неопредѣленныя, но богатыя внутреннимъ разнообразіемъ смѣшанныя организаціи, какъ на носителей прогрессивнаго развитія, при которомъ изъ нихъ, какъ изъ общаго источника, расходятся во всѣ стороны рѣзко различающіяся формы. Въ каждомъ геологическомъ періодѣ мы встрѣчаемъ большое разнообразіе организмовъ. Но не всѣ они переходятъ въ измѣненномъ и болѣе развитомъ видѣ изъ одного періода въ слѣдующій. Большое число ихъ вымираетъ, а выживающіе вновь производятъ разнообразіе видовъ, распадаясь на отличныя другъ отъ

друга формы, изъ которыхъ однѣмъ суждено жить только короткое время, а другія несутъ въ себѣ зерно дальнѣйшаго развитія. Первыя имѣютъ, сравнительно со вторыми, большую наклонность приспособиться всякій разъ къ даннымъ условіямъ и очень дѣятельны въ своихъ сношеніяхъ съ внѣшнимъ міромъ; вторыя проникнуты какимъ-то темнымъ позывомъ къ будущему и мало пользуются наслажденіями и удобствами настоящаго. Первыя въ извѣстную эпоху овладѣваютъ всею міровою сценой, тогда какъ вторыя отступаютъ въ это время на задній планъ. Но какъ только окружающія условія измѣняются, первыя либо вымираютъ, либо вновь приспособляются, еще болѣе суживая свою внутреннюю жизнь; вторыя же сохраняются для дальнѣйшаго развитія. Такъ идетъ дѣло до тѣхъ поръ, пока извѣстный принципъ организаціи, напримѣръ, типъ позвоночныхъ, не достигнетъ высшей точки своего развитія. Переходъ одного принципа организаціи къ другой, высшій — невозможенъ. Такое же расчлененіе нѣкотораго первобытнаго цѣлаго встрѣчаемъ мы и въ исторіи человѣчества, напримѣръ, въ распаденіи древняго индо-германскаго народа на племена, населяющія нынѣ Европу и часть Азіи и т. п. Выработка новыхъ формъ организаціи идетъ безостановочно и застой въ этомъ отношеніи бываетъ только кажущійся. Если мы видимъ, напримѣръ, что личинка бабочки долгое время существуетъ, повидимому, нисколько не измѣняясь, то тѣмъ не менѣе въ ней происходятъ постоянныя внутреннія измѣненія, которыя завершаются, наконецъ, весьма быстрымъ превращеніемъ въ куколку, а съ этой послѣдней происходитъ, въ свою очередь, то же самое. Предполагать, чтобы эти измѣненія организаціи были непремѣнно прогрессивны, нѣтъ никакого основанія. Возможны измѣненія и регрессивныя, и они ничуть не рѣже прогрессивныхъ; возможно и совершенное исчезновеніе извѣстныхъ типовъ. Вообще, типы организаціи могутъ быть сведены къ двумъ категоріямъ, между которыми, разумѣется, существуютъ переходные: типы идеальные, разносторонніе, которые могутъ быть и неопредѣленны, и безпомощны въ практическомъ отношеніи, но во всякомъ случаѣ составляютъ залогъ дальнѣйшаго развитія, и типы практическіе, односторонніе, совершенно приспособившіеся къ даннымъ условіямъ, хозяйничающіе въ нихъ вполнѣ, но безсильные противостоять напору измѣненныхъ условій.

Тутъ Снелль впадаетъ въ такую путаницу, которую трудно даже изложить. Не отрицая совершенно вліянія внѣшнихъ условій, онъ полагаетъ, повидимому, что главнымъ факторомъ развитія органическихъ формъ служитъ нѣчто въ родѣ Шопенгауэровой «воли». Онъ очень поэтически говоритъ о мечтахъ, фантазіи, идеалахъ, неясныхъ стремленіяхъ къ болѣе или менѣе высокимъ цѣлямъ, напряженіи воли, изъ которыхъ слагается нѣкоторая внутренняя сила, заставляющая организмъ даже низшихъ животныхъ развиваться, только въ той или другой мѣрѣ приспособляясь къ окружающимъ условіямъ. Но эта поэтическая картина для насъ значенія не имѣетъ.

Подводя итоги всѣмъ приведеннымъ замѣчаніямъ и мыслямъ, высказаннымъ какъ о теоріи Дарвина, такъ и по поводу ея, мы замѣчаемъ, что всѣ они бьютъ въ одну и ту же сторону. Всѣ они отказываются признать за нѣкоторыми факторами происхожденія видовъ, указанными Дарвиномъ, т. е. за борьбою за существованіе между недѣлимыми одного и того же вида, за подборомъ, за полезными приспособленіями, — творческое, прогрессивное значеніе, въ той мѣрѣ, въ какой оно имъ придается дарвинистами. Надо, впрочемъ замѣтить, что когда прошелъ первый пылъ увлеченія новымъ ученіемъ, многіе изъ самихъ дарвинистовъ въ своихъ спеціальныхъ изслѣдованіяхъ встрѣтили множество фактовъ, слишкомъ ясно свидѣтельствовавшихъ, что путями, указанными учителемъ, далеко не всегда осуществляется «возникновеніе высшихъ формъ жизни». Изученіе жизни и строенія паразитовъ доставило въ этомъ отношеніи особенно богатый матеріалъ скептицизму. Самъ Дарвинъ въ послѣднемъ своемъ сочиненіи сознается, что онъ преувеличивалъ значеніе подбора, борьбы и полезныхъ приспособленій, какъ факторовъ прогресса, и приводитъ нѣсколько примѣровъ совершенно противоположнаго ихъ вліянія.

Но вышеприведенные авторы не только отрицаютъ прогрессивное значеніе этихъ факторовъ, но находятъ еще, что ихъ совершенно недостаточно для объясненія развитія органической жизни на землѣ. И опять-таки всѣ они, за исключеніемъ Лаказа-Дютье, относящагося къ вопросу о происхожденіи видовъ неопредѣленно, указываютъ, собственно говоря, на одинъ и тотъ же законъ, который, по ихъ мнѣнію, необходимо приходится допустить, если не взамѣнъ законовъ Дарвина, то, по крайней мѣрѣ, на ряду съ ними. Законъ этотъ есть давно и прочно стоящій въ наукѣ, такъ называемый законъ Бэра, законъ постепеннаго и постояннаго усложненія, усовершенствованія организаціи. Правда, въ томъ видѣ, въ какомъ законъ этотъ прилагается къ дѣлу Кёлликеромъ, Негели и Снеллемъ, онъ представляетъ гипотезу. Но вѣдь и теорія Дарвина заключаетъ въ себѣ не мало гипотетическаго, хотя разработана она несомнѣнно

тщательнѣе и лучше, нежели упомянутыя теоріи. Правда и то, что въ послѣднихъ есть нѣчто метафизическое, и, однако, намъ кажется, что наиболѣе метафизическая изъ нихъ, теорія Снелля, содержитъ въ себѣ совершенно реальное и положительное зерно, которое при нѣкоторомъ уходѣ дастъ и цвѣтъ, и плодъ.

Теорія Снелля имѣетъ для насъ еще особенное значеніе, именно, тѣмъ что она отправляется отъ параллелизма явленій природы и общества. Параллели этого рода, какъ мы уже упоминали, далеко не новы. И замѣчательно, что всѣ, занимавшіеся проведеніемъ ихъ, полагаютъ, что они открыли Америку. Такъ, Эдгаръ Кине, приступая къ ближайшему изложенію этого параллелизма, говоритъ: «Здѣсь я вступаю въ дѣвственный лѣсъ; кругомъ меня все неизвѣстно, проводниковъ нѣтъ. Никто до меня не былъ въ этомъ священномъ лѣсу» (La Création. Paris, 1870. II, 225). Но, не говоря уже о томъ, что параллелизмъ явленій природы и общественной жизни нынѣ составляетъ одну изъ самыхъ ходячихъ темъ, Блунчли еще въ 1844 году измышлялъ параллели между государствомъ и мужчиной, церковью и женщиной, между уголовной юстиціей и пупомъ, между министерствомъ иностранныхъ дѣлъ и обоняніемъ, и проч. Описывая зарожденіе въ себѣ этихъ идей, Блунчли говоритъ: «Тутъ были моменты, когда я вполнѣ наслаждался счастіемъ научнаго открытія» (Psychologische Studien über Staat und Kirche. XII). Спенсеръ не знаетъ о трудахъ этого рода Дрэпэра, и обратно Дрэпэръ не знакомъ съ параллелями Спенсера. А между тѣмъ, не восходя къ классической древности, напримѣръ, къ Платону, пропуская Гоббса или Шекспира, у которыхъ идея этого параллелизма является, болѣе или менѣе, случайно, уже въ средніе вѣка можно найти ее въ довольно разработанномъ видѣ и съ практическими примѣненіями. Это неустанное открываніе Америки, въ чемъ собственно и состоитъ историческая судьба идеи соціальнаго организма и связанныхъ съ нею аналогій, весьма поучительно. Оно осязательно показываетъ безсиліе идеи, такъ какъ ни одна дѣйствительно научная, плодотворная идея не можетъ обнаружить такой рѣшительной неспособности образовать хоть какую-нибудь традицію. Такъ періодически затериваться и выскакивать, выскакивать и затериваться безъ слѣда можетъ только нѣчто совершенно непригодное. На эту тему можно написать цѣлые томы, еще болѣе шутовскіе, чѣмъ измышленія Блунчли, еще болѣе дѣловитые, чѣмъ разсужденія Спенсера, еще болѣе поэтическіе, чѣмъ сочиненіе Кине, и всетаки новый изслѣдователь станетъ открывать Америку и восхищаться во всеуслышаніе своимъ открытіемъ. Но для *нагляднаго* уясненія того или другого процесса, того или другого явленія, безъ мечтаній о новой наукѣ и о дѣйствительномъ изученіи явленій этимъ путемъ, подобныя аналогіи могутъ быть очень удобны. И въ этомъ отношеніи Снелль часто пользуется ими не безъ успѣха. При томъ же, напримѣръ, сближеніе расхожденія видовыхъ признаковъ съ распаденіемъ индо-германскаго племени есть уже не аналогія, а прямо наведеніе.

Но для насъ всего цѣннѣе въ теоріи Снелля различеніе типовъ «практическихъ» и «идеальныхъ». Это указаніе, принятое и ярымъ дарвинистомъ и замѣчательнымъ ученымъ Геккелемъ, въ связи съ приведенными замѣчаніями Лаказа-Дютье, Кёлликера и Негели, можетъ бросить совершенно новый свѣтъ на теорію Дарвина. Фактъ какъ бы распаденія нѣкоторой сложной организаціи на нѣсколько позднѣйшихъ, болѣе простыхъ, былъ замѣченъ уже довольно давно Агассицомъ. Онъ называетъ «идеальные» типы Снелля «пророческими» или, точнѣе, «синтетическими», но, разумѣется, объясняетъ фактъ по своему и не видитъ тутъ никакого перехода видовъ. Тѣмъ не менѣе онъ совершенно справедливо ставитъ Геккелю въ упрекъ, что тотъ въ своихъ генеалогическихъ таблицахъ органическихъ существъ вовсе не принялъ въ соображеніе существованія идеальныхъ или синтетическихъ типовъ, такъ сказать, размѣнивающихся на мелочь. Обстоятельство это дѣйствительно весьма важное, и ни одинъ добросовѣстный трансформистъ не имѣетъ права упускать его изъ виду.

Для дарвинистовъ вся сумма органической жизни на землѣ во всемъ ея разнообразіи произведена совокупнымъ дѣйствіемъ двухъ физіологическихъ дѣятелей: наслѣдственности и приспособленія. Первая представляетъ элементъ консервативный, элементъ инерціи, второе—элементъ прогрессивный, элементъ движенія. Борьба за существованіе и подборъ родичей обусловливаютъ собою вымираніе формъ слабыхъ, менѣе приспособленныхъ къ окружающимъ условіямъ, и побѣду формъ сильныхъ, приспособленныхъ. Таковы простѣйшія основанія, на которыхъ зиждется дарвинизмъ. Основанія эти, какъ думаютъ вышеупомянутые натуралисты, односторонни, но трудно усомниться въ ихъ фактической вѣрности. За всѣмъ тѣмъ, однако, остается еще открытымъ вопросъ о выводахъ, дѣлаемыхъ дарвинистами изъ этихъ посылокъ. Вѣрно-ли дарвинисты понимаютъ и объясняютъ значеніе основъ своего ученія? Много званныхъ, но мало избранныхъ, справедливо говорятъ дарвинисты. Но кто же избранные?

Для пещерныхъ животныхъ глаза составляютъ роскошь, совершенно ненужный предметъ, на поддержаніе котораго даромъ тра-

тится извѣстная доля питательнаго пластическаго матеріала. Поэтому однимъ изъ полезныхъ приспособленій для пещерныхъ животныхъ будетъ утрата чувства и органа зрѣнія. Побѣдителями въ борьбѣ за существованіе, подобранными, избранными окажутся подслѣповатые, для которыхъ *прогрессъ* сподручнѣе. Насѣкомыя, живущія на островахъ, во множествѣ гибнутъ въ морѣ, если далеко залетаютъ отъ берега. Поэтому полезнымъ приспособленіемъ для островныхъ насѣкомыхъ будетъ слабость крыльевъ, и, дѣйствительно, на островахъ безкрылыхъ насѣкомыхъ относительно гораздо больше, чѣмъ на материкахъ. Итакъ, побѣдителями въ борьбѣ за существованіе, подобранными, избранными будутъ наиболѣе слабые и лѣнивые. Для нѣкоторыхъ паразитовъ органы зрѣнія и движенія составляютъ лишнее бремя. Поэтому, во взаимной борьбѣ за существованіе тѣ изъ нихъ будутъ имѣть бо́льшіе шансы на побѣду, которые будутъ уже заключать въ себѣ задатки вялости движеній и слабости зрѣнія. Они будутъ избранные. Натуралистъ, конечно, сумѣлъ бы привести больше и болѣе замѣчательныхъ примѣровъ такихъ приспособленій, которыя, будучи въ узкомъ практическомъ смыслѣ полезны, понижаютъ уровень развитія вида и заключаютъ въ себѣ зерно его окончательнаго вырожденія или исчезновенія при измѣненіи условій жизни. Да не смущается читатель тѣмъ обстоятельствомъ, что въ нашихъ примѣрахъ условія жизни взяты довольно исключительныя: жизнь въ пещерахъ, на островахъ, паразитизмъ. Эти примѣры годятся намъ именно по своей рѣзкости. Конечно, природа представляетъ относительно немного такихъ рѣзкихъ случаевъ ретрограднаго развитія организаціи, побѣды слабыхъ и бездарныхъ, и вредоносности полезныхъ приспособленій. Но можно утвердительно сказать, что случаи рѣшительно прогрессивнаго развитія путемъ борьбы между недѣлимыми одного и того же вида не менѣе рѣдки. Въ самомъ дѣлѣ, путемъ борьбы, подбора и полезныхъ приспособленій видъ можетъ претерпѣвать измѣненія во всевозможныхъ направленіяхъ. Поэтому шансы для прямолинейнаго развитія впередъ, по крайней мѣрѣ, не сильнѣе шансовъ для прямолинейнаго отступленія назадъ. Въ большинствѣ случаевъ формула жизни вида будетъ измѣняться въ нѣкоторомъ среднемъ направленіи, цѣликомъ опредѣляющемся степенью широты или узкости жизненныхъ условій. Несомнѣнно, что побѣда въ пресловутой struggle for life сплошь и рядомъ достается организмамъ малосильнымъ, малодаровитымъ. Сами дарвинисты сознаются, что такъ какъ успѣхъ въ борьбѣ зависитъ часто отъ второстепенныхъ и случайныхъ особенностей организаціи, которыя могутъ выпасть на долю слабѣйшихъ, низшихъ представителей вида, то побѣда часто должна оставаться за послѣдними. Нѣкоторые дарвинисты идутъ дальше и говорятъ: «естественный подборъ *вездѣ* способствуетъ развитію типовъ практическихъ въ ущербъ типамъ идеальнымъ» (Hæckel, Generelle Morphologie. II, 262). А что такое практическій типъ? Это подслѣповатое пещерное животное, это слабокрылое островное насѣкомое, которое, благодаря не силѣ своей, а своей слабости, вытѣсняетъ своихъ родичей съ слишкомъ размашистыми крыльями. Это вообще типъ, находящійся какъ разъ на уровнѣ обстановки, быстро къ ней приспособляющійся, царящій при ней, давящій при ней всѣхъ и вся, но непремѣнно гибнущій вмѣстѣ съ ней, ибо ни къ какимъ болѣе широкимъ условіямъ жизни онъ уже не въ состояніи примѣниться. Что такое типъ идеальный? Это гибнущій изъ-за своей силы на узкомъ поприщѣ островной жизни жукъ, это вообще типъ не сгибающійся, неподатливый и либо гибнущій въ узкой средѣ, либо развертывающійся во всей своей мощи на просторѣ. Тамъ, гдѣ выгодно жить безъ конечностей, даже безъ головы, гдѣ выгодно превратиться въ желудокъ и отбросить всѣ остальные элементы организаціи, гдѣ выгодно имѣть слабыя крылья или неразвитую нервную систему, и проч., и проч., тамъ идеальные типы будутъ задавлены, и восторжествуютъ не сильные, а слабые, или, лучше сказать, практически сила окажется на сторонѣ низшихъ типовъ. Дарвинисты это знаютъ или, по крайней мѣрѣ, подозрѣваютъ. «При очень простыхъ условіяхъ жизни,—говоритъ Дарвинъ, —высокая организація была бы безполезна, быть можетъ, была бы даже положительно вредна, какъ болѣе нѣжная, болѣе подверженная разстройству и поврежденію» (О происхожденіи видовъ», 105). Но на дарвинизмѣ лежитъ характерная печать узкой и сильной англійской практичности. Умъ Дарвина однороденъ съ умами Бекона, Гоббса, Бентама, и эта однородность ума сказывается и въ нѣкоторой однородности доктринъ. Это умы чрезвычайно сильные въ развитіи подробностей, въ послѣдовательномъ проведеніи извѣстнаго начала по всѣмъ возможнымъ развѣтвленіямъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ умы не широкіе, съ относительно малымъ размахомъ. Утилитарный принципъ, къ которому, вообще, такъ расположены англійскіе мыслители, проведенъ Дарвиномъ въ объясненіи явленій органической жизни блистательно, остроумно, послѣдовательно, ловко. Но какъ вмѣстѣ съ тѣмъ здѣсь узко понятъ этотъ утилитарный принципъ! Рядомъ съ удивительною легкостью мысли, съ замѣчательною работою воображенія и проницательностью въ объясненіи извѣстнаго

явленія съ точки зрѣнія принципа полезности, васъ поражаетъ узкость границъ, отводимыхъ самому этому принципу, и неповоротливость мысли въ этомъ направленіи. Фактъ несомнѣненъ: подъ вліяніемъ факторовъ, указанныхъ Дарвиномъ, т. е. борьбы за существованіе между недѣлимыми одного и того же вида и подбора родичей, принципъ полезныхъ приспособленій, каковы бы они ни были, торжествуетъ. Все, не могущее усвоить себѣ особенностей, указываемыхъ практическими требованіями обстановки, гибнетъ. Таковъ фактъ. Но отъ простого констатированія факта еще далеко до возведенія его въ перлъ созданія, до «восхищенія» имъ, до переименованія полезныхъ, въ самомъ узкомъ смыслѣ, приспособленій въ «совершенствованіе». Конечно, Дарвинъ, глядя на природу, радуется далеко не съ столь ограниченно-праздничной точки зрѣнія, какая усвоена большинствомъ его противниковъ. Отсутствіе какой-либо предустановленной цѣлесообразности въ явленіяхъ природы понимается имъ вполнѣ, и телеологія имѣетъ въ его теоріи непреоборимаго противника. И тѣмъ не менѣе значеніе имъ самимъ указываемыхъ и разъясняемыхъ явленій понимается имъ слишкомъ одностороние и узко. И, быть можетъ, знаменитый предшественникъ Дарвина, геніальный Ламаркъ, безспорно заблуждавшійся во многомъ, смотрѣлъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ шире на дѣло, когда говорилъ, что полезныя приспособленія (Ламарку была, впрочемъ, чужда идея приспособленій въ строго-дарвинистскомъ смыслѣ) обусловливаютъ собою не прогрессъ организаціи, а неправильности прогресса: законъ же прогресса по Ламарку есть законъ постепеннаго усложненія организаціи, т. е. тотъ именно законъ, который выставляется нынѣ Кёлликеромъ, Негели, Снеллемъ.

Достойно вниманія, что дарвинизмъ, стремящійся образовать цѣлую философскую систему, не выработалъ опредѣленнаго критерія совершенства. Самъ Дарвинъ весьма двусмысленно относится къ вопросу о томъ, что можетъ быть принято за мѣрило усовершенствованія или пониженія организаціи. А между тѣмъ, не говоря уже о важности этого вопроса въ нравственно-политической доктринѣ, каковую дарвинисты желаютъ, между прочимъ, построить, очевидно его важное значеніе и для исторіи природы. Дарвинъ иногда говоритъ о законахъ борьбы, какъ о «самой рѣшительной изъ всѣхъ пробъ» относительнаго совершенства организаціи («О происхожденіи видовъ», 267); иногда же обращается къ критерію Бэра. «Мѣрило, предложенное фонъ-Бэромъ, - говоритъ онъ,—повидимому, самое приложимое и самое лучшее, а именно степень обособленія отдѣльныхъ органовъ (въ зрѣломъ возрастѣ, я хотѣлъ бы прибавить) и ихъ приспособленіе къ отдѣльнымъ отправленіямъ, или, какъ выразился бы Мильнъ-Эдвардсъ, степень раздѣленія физіологическаго труда» (ibid, 102). Иногда, наконецъ, Дарвинъ подчиняетъ критерій Бэра своему, утверждая, что, такъ какъ высокая степень физіологическаго раздѣленія труда выгодна для организма, то она входитъ въ кругъ дѣйствія борьбы и подбора. И, вообще, упомянувъ мелькомъ о трудности, сложности и запутанности вопроса, Дарвинъ склоненъ отождествлять результаты борьбы, подбора и полезныхъ приспособленій съ усовершенствованіемъ по критерію Бэра. А второстепенные дарвинисты налегаютъ на эту тождественность еще сильнѣе.

Можно защищать совершенно противоположный тезисъ. Можно утверждать, что въ большинствѣ случаевъ борьба за существованіе между недѣлимыми одного и того же вида, съ одной стороны, и правильное развитіе, съ другой,—полезныя приспособленія и усовершенствованіе—находятся въ прямомъ антагонизмѣ. Здѣсь мы встрѣчаемся съ нашимъ старымъ знакомымъ—смѣшеніемъ понятія раздѣленія труда между органами одного и того же недѣлимаго съ понятіемъ раздѣленія труда между недѣлимыми одного и того же вида, отождествленіемъ раздѣленія труда физіологическаго съ раздѣленіемъ труда экономическимъ. И если читатель удостоивалъ наши прежнія статьи своимъ вниманіемъ, онъ безъ труда пойметъ направленіе нашей аргументаціи и въ настоящемъ случаѣ.

Въ главѣ о расхожденіи (дивергенціи) признаковъ Дарвинъ даетъ ключъ къ уразумѣнію слабой стороны дарвинизма. Онъ разсуждаетъ такъ. Въ извѣстной мѣстности живетъ извѣстная група животныхъ. Група эта все размножается и, наконецъ, исчерпываетъ предоставляемыя ей совокупнымъ дѣйствіемъ ея организаціи и мѣстныхъ условій средства жизни. Дальнѣйшее ея умноженіе становится возможнымъ въ такомъ только случаѣ, если ея потомки обратятся къ новымъ средствамъ; если одни, напримѣръ, станутъ лазать на деревья или ходить въ воду, другія переселятся, третьи обратятся къ какой-нибудь новой пищѣ и т. п. Такъ какъ образованіе этихъ уклоненій выгодно для вида, потому что, благодаря имъ, група получитъ возможность захватить мѣста въ природѣ, занятыя дотолѣ другими групами, то они покровительствуются естественнымъ подборомъ. Група болѣе разнообразная одолѣетъ въ борьбѣ групу менѣе разнообразную. Затѣмъ въ средѣ самой групы борьба будетъ всего сильнѣе между наиболѣе сходными по образу жизни, по привычкамъ, по мѣсту жительства организмами, вслѣдствіе чего среднія формы.

вообще говоря, подвергнутся истребленію, а крайнія будутъ все болѣе расходиться, въ сильнѣйшей степени усвоивая выгодныя особенности. Дарвинъ замѣчаетъ при этомъ: «Выгоды разнообразія между жителями одной и той же мѣстности въ сущности тѣ же, что и выгоды физіологическаго раздѣленія труда между органами одного и того же живого тѣла — предметъ, прекрасно разъясненный Мильнъ-Эдвардсомъ. Ни одинъ физіологъ не сомнѣвается въ томъ, что желудокъ, приспособленный къ варенію только растительной пищи или только животной, извлекаетъ по этому самому наибольшее количество питательныхъ началъ изъ этихъ веществъ. Такъ и въ общемъ органическомъ строѣ данной страны, чѣмъ значительнѣе, чѣмъ совершеннѣе разнообразіе животныхъ и растеній, ихъ приспособленіе къ разнымъ образамъ жизни, тѣмъ большее количество особей найдетъ возможность существовать рядомъ» (ibid, 92).

Замѣтьте, что только-что описанный процессъ расхожденія видовыхъ признаковъ есть чисто-гипотетическій. Онъ почти цѣликомъ построенъ «отъ разума». Но отъ разума же могутъ быть выставлены слѣдующія соображенія. Конечно, для вида, приближающагося къ истощенію средствъ жизни, выгодно найти новые источники пищи, занять новыя пространства земли и т. п. Но распаденіе группы на рѣзко отличающіяся разновидности, а тамъ виды, а тамъ, быть можетъ, и роды тутъ, очевидно, не при чемъ. Одно дѣло новые пути для борьбы съ окружающей природой и другое дѣло—расхожденіе видовыхъ признаковъ. Они могутъ идти вмѣстѣ, и, дѣйствительно, въ большинствѣ случаевъ такъ и бываетъ, но выгодны-то всетаки только новыя средства жизни, а не образованіе разновидностей и борьба между ними. Мало того, процессъ образованія разновидностей путемъ борьбы, подбора и полезныхъ приспособленій не только не выгоденъ для недѣлимыхъ, а прямо въ большинствѣ случаевъ вреденъ. Конечно, Дарвинъ правъ, когда говоритъ, что желудокъ, приспособленный къ варенію исключительно животной или исключительно растительной пищи, извлекаетъ наибольшее количество питательнаго матеріала изъ соотвѣтственныхъ веществъ. Въ этомъ, дѣйствительно, не усомнится ни одинъ физіологъ. Но позволительно усомниться, чтобы кто-нибудь пожалѣлъ о томъ, что желудокъ, напримѣръ, человѣка, не приспособленъ къ исключительно животной или растительной пищѣ. Желудокъ жвачныхъ—мастеръ своего дѣла, но позволительно сомнѣваться, чтобы какой-нибудь физіологъ позавидовалъ въ этомъ отношеніи коровѣ. Если желудокъ, спеціально приноровленный только къ извѣстнаго рода пищѣ, есть въ своемъ родѣ совершенство, то организмъ—обладатель этого желудка — будетъ далекъ отъ совершенства по сравненію съ всеядными; онъ будетъ далеко ниже послѣднихъ, при равенствѣ, разумѣется, другихъ условій.

Представимъ себѣ для ясности и простоты, что процессъ распаденія вида происходитъ исключительно подъ вліяніемъ измѣненія пищи. Въ данной мѣстности живетъ группа всеядныхъ животныхъ. Подъ вліяніемъ борьбы, полезныхъ приспособленій и подбора, въ этой группѣ начинаютъ образовываться и усиливаться уклоненія въ сторону пищи, сначала по преимуществу, а потомъ и исключительно растительной, въ сторону живой животной, въ сторону падали, въ сторону пищи рыбной и т. д. Въ результатѣ процесса мы получимъ, взамѣнъ прежняго неопредѣленнаго, «идеальнаго», «синтетическаго», нѣсколько рѣзко обозначенныхъ «практическихъ» типовъ. Естественное дѣло, что они будутъ стоять ниже своего общаго родича, какъ потому, что однообразіе пищи необходимо вліяетъ принижающимъ образомъ на организмъ, такъ и потому, что практическіе типы постепенно суживаютъ сферу своей дѣятельности: они исключительно гоняются за живой добычей и болѣе никакихъ упражненій не имѣютъ, другіе только умѣютъ выискивать падаль и т. д. Но рядомъ съ этимъ пониженіемъ типа въ общемъ, слѣдуетъ отмѣтить болѣе или менѣе сильное развитіе въ извѣстномъ спеціальномъ направленіи. Разновидность, на долю которой выпала жизнь хищниковъ, разовьетъ въ себѣ громадные клыки, сильныя челюсти и конечности, извѣстныя умственныя качества, хитрость и т. д. Разновидность, избравшая себѣ рыбную пищу, будетъ хорошо плавать, разовьетъ, можетъ быть, плавательныя перепонки между пальцами и т. п. Разновидность, насѣвшая на растительную пищу, выработаетъ себѣ длинный кишечный каналъ, сложный желудокъ и пр. Понятно, что съ этими, лучше приспособленными къ спеціальнымъ условіямъ практиками послѣднимъ остаткамъ представителей идеальнаго типа въ борьбѣ не совладать, и они погибнутъ весьма быстро. Они, столь богато развитые, по крайней мѣрѣ im Werden, какъ говорятъ нѣмцы, — падутъ жертвою борьбы, подбора и полезныхъ приспособленій. Но, положимъ, что наступитъ въ нашей мѣстности измѣненіе условій, невыгодное для одной или нѣсколькихъ вѣтвей нашей первоначальной группы. Конечно, эти вѣтви, столь хорошо вооруженныя для борьбы съ сородичами при извѣстныхъ условіяхъ, не выдержатъ перемѣны и уступятъ мѣсто другимъ, падутъ, въ свою очередь, жертвами борьбы, подбора и полезныхъ приспособленій. Гдѣ же выгоды разнообразія образовъ жизни, привычекъ, пищи и т. д.?

Мы взяли примѣръ совершенно произвольный, но едва ли уклонялись фактически отъ утверждаемаго дарвинистами, хотя навѣрно уклонились отъ нихъ въ объясненіи фактовъ, въ точкѣ зрѣнія на нихъ. Геологическія лѣтописи свидѣтельствуютъ, что паденіе идеальныхъ типовъ и захватъ ихъ мѣстъ типами практическими составляетъ явленіе нерѣдкое. Да оно такъ и должно быть, ибо, излагая судьбу гипотетической группы всеядныхъ, мы не дѣлали никакой натяжки. Да, наконецъ, мы имѣемъ приведенное уже выше заявленіе ученаго и умнаго дарвиниста Геккеля: подборъ вездѣ помогаетъ практическимъ типамъ въ ущербъ идеальнымъ. Эту именно мысль развилъ въ приложеніи къ человѣчеству геній Руссо, съ которымъ недавно такъ побѣдоносно сразилась дарвинистка Ройе.

Если читатель вдумается во все вышеизложенное, прогрессъ органической жизни окрасится, можетъ быть, для него цвѣтомъ, нѣсколько отличнымъ отъ цвѣта, налагаемаго на явленія жизни дарвинизмомъ. Но при этомъ возникаютъ слѣдующіе вопросы. Если вѣковѣчное, неустанное дѣйствіе борьбы, полезныхъ приспособленій и подбора производитъ погибель высшихъ типовъ, распаденіе ихъ на формы низшія въ общемъ, хотя и болѣе развитыя въ частностяхъ, то откуда же взялся, напримѣръ, типъ позвоночныхъ, явившійся позже другихъ и представляющій нѣчто сравнительно высоко развитое не только въ частностяхъ, а и въ общемъ? Если развитіе жизни на землѣ не шло и не идетъ рѣшительно прогрессивнымъ путемъ, то не представляетъ же оно и рѣшительнаго регресса. Напротивъ, прогрессъ, очевидно, существуетъ. Какъ же согласить это обстоятельство съ вышесказаннымъ? Ламаркъ очень просто вышелъ бы изъ этого затрудненія. Онъ сказалъ бы, что существуетъ законъ, по которому организмы постепенно совершенствуются, все усложняясь. Но законъ этотъ дѣйствуетъ не въ безвоздушномъ пространствѣ. Онъ сталкивается съ другими законами, и въ результатѣ жизнь развивается въ направленіи нѣкоторой равнодѣйствующей, которая сама постоянно измѣняется. Сегодня законъ правильнаго, нормальнаго развитія, законъ совершенствованія, обнаруживается во всей силѣ, завтра берутъ перевѣсъ пертурбаціонныя силы и отклоняютъ развитіе въ ту или другую сторону. Борьба за существованіе между недѣлимыми одного и того же вида, естественный подборъ родичей и полезныя приспособленія суть силы пертурбаціонныя, постоянно такъ или иначе, но враждебно, невыгодно отзывающіяся на ходѣ развитія органической жизни. Дѣйствительное усовершенствованіе не порождается, а стесняется и извращается элементами, признаваемыми дарвинизмомъ за творческіе. Такъ сказалъ бы Ламаркъ. Такъ, или почти такъ, сказали бы и Кёлликеръ, Негели, Снелль. Послѣдній прибавилъ бы еще слѣдующее. Идеальные типы не всегда затериваются и погибаютъ въ неравной борьбѣ съ практическими. Имъ удается иногда продержаться до такого измѣненія условій жизни, котораго не въ силахъ выдержать ихъ узкіе соперники. И тогда идеальные типы развертываются во всей своей полнотѣ и всесторонности, тѣмъ самымъ отмѣчая рѣшительно прогрессивный шагъ въ исторіи развитія жизни на землѣ. Само собою разумѣется, что сложные законы борьбы и полезныхъ приспособленій, гонящіе жизнь во всевозможныхъ направленіяхъ, могутъ иногда и сами по себѣ способствовать усовершенствованію, т. е. образовать комбинацію, совпадающую съ дѣйствіемъ закона нормальнаго развитія и всесторонняго усложненія. Но это будетъ исключеніе.

Законъ совершенствованія безъ всякаго участія двигателей, обусловливающихъ появленіе полезныхъ приспособленій, а въ силу особыхъ свойствъ организованныхъ тѣлъ, этотъ законъ даетъ удовлетворительное объясненіе еще одному темному предмету. Дарвинъ говоритъ: «Можно было бы спросить, обращаясь къ началу жизни на землѣ, когда всѣ живыя существа, можно полагать, имѣли строеніе очень простое, какимъ образомъ могли возникнуть первыя ступени прогресса или обособленія и специализаціи органовъ? Я не могу дать удовлетворительнаго отвѣта на этотъ вопросъ; могу только сказать, что намъ тутъ недостаетъ руководящихъ фактовъ, и что, слѣдовательно, всякія гипотезы на этотъ счетъ были бы безполезны» (l. с., 105). Негели справедливо замѣчаетъ по этому поводу: «Дарвинъ поступаетъ въ этомъ отношеніи не совсѣмъ логично. Онъ принимаетъ извѣстный принципъ и проводитъ его гораздо дальше, чѣмъ позволяютъ руководящіе факты, доходящіе только до образованія породъ, но не до образованія вида, рода, порядка, класса. Почему бы не провести принципа до самаго конца, или скорѣе, до самаго начала? Руководящіе факты необходимы были только для того, чтобы вывести законъ. Наука не только позволяетъ, но и требуетъ, чтобы мы изслѣдовали, можетъ ли выведенный законъ объяснить всѣ факты» (l. с., 33). Для самого Негели, какъ мы видѣли, развитіе первыхъ и низшихъ представителей жизни на землѣ объясняется существованіемъ особаго закона, въ силу котораго организованная матерія принимаетъ все болѣе и болѣе сложный характеръ.

Дѣйствительно ли существуетъ такой законъ,—этотъ вопросъ должны рѣшить натуралисты. Мы можемъ только сожалѣть о томъ, что большинство говорившихъ объ этомъ за-

конѣ вводитъ въ свои разсужденія разные «великіе планы природы», «стремленія природы» и т. п. Снелль идетъ въ этомъ отношеніи дальше всѣхъ и едва не приходитъ къ извѣстному положенію Шопенгауэра: организація складывается, повинуясь волѣ организма.

Какъ бы то ни было, но въ человѣкѣ отблескъ этого закона существуетъ въ видѣ сознательнаго стремленія къ совершенствованію, къ развитію. И пунктъ столкновенія этого идеальнаго стремленія съ пертурбаціонными силами борьбы, подбора и полезныхъ приспособленій обращается въ проблему жизни. Куда идти? Какъ говоритъ Фаустъ:

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,
Die eine will sich von der andern trennen;
Die eine hält, in derber Liebeslust,
Sich an die Welt mit klammernden Organen;
Die andre hebt gewaltsam sich von Duft
Zu den Gefilden hoher Ahnen..

Старый, какъ сама исторія, вопросъ о summum bonum, о счастіи, о благѣ, о задачѣ жизни встаетъ во всей своей неприкосновенности, точно вѣковая работа человѣческой мысли не сдѣлала ровно ничего. Дарвинисты говорятъ, что они нашли рѣшеніе и что рѣшеніе это безапелляціонно, какъ построенное на научныхъ основаніяхъ. Нѣкоторые изъ нихъ объявляютъ во всеуслышаніе, что надо сжечь все, чему мы поклонялись, и поклониться всему, что мы сжигали. Но, къ сожалѣнію, присматриваясь къ дарвинизму, какъ онъ до сихъ поръ обозначился въ качествѣ нравственно-политической доктрины, мы видимъ на дѣлѣ нѣчто совершенно иное. Мы видимъ, что на дѣлѣ намъ предлагаютъ, напротивъ (въ области нравственно-политической, въ другихъ областяхъ не то), поклоняться еще пуще всему, чему мы и до сихъ поръ поклонялись, и еще пуще сжигать все то, что мы и до сихъ поръ сжигали. Раздѣленіе труда и конкурренція—вотъ нравственно-политическіе столпы дарвинизма, не имъ выдуманные, не имъ впервые возведенные на степень основъ общественнаго строя и имъ только по мѣрѣ силъ укрѣпляемые *). Дарвинизмъ только ярче, смѣлѣе и, да позволено мнѣ будетъ такъ выразиться, наглѣе настаиваетъ на послѣдовательномъ проведеніи началъ, уже дѣйствующихъ и господствующихъ въ современномъ обществѣ.

Человѣкъ подчиненъ тѣмъ же законамъ, что и остальная природа. И въ обществѣ человѣческомъ много званныхъ, но мало избранныхъ; и здѣсь избранными сплошь и рядомъ оказываются подслѣповатые и слабокрылые; и здѣсь существуютъ типы идеальные и практическіе въ лицѣ отдѣльныхъ недѣлимыхъ, сословій, народовъ; и здѣсь борьба, подборъ и полезныя приспособленія дѣлаютъ свое роковое дѣло. Но человѣкъ роститъ въ себѣ древо познанія добра и зла не для того только, чтобы созерцать его плоды, а и для того, чтобы вкушать ихъ. Ему нужны правила поведенія. У него есть идеалы, стремленія, желанія, цѣли. Ему нужна санкція ихъ. Въ немъ борются мысли и чувства, ища отвѣта на категорическій вопросъ: что дѣлать?

Послѣдовательные представители дарвинизма отвѣчаютъ развязно: приспособляйся къ условіямъ окружающей тебя жизни, дави неприспособленныхъ, ибо изъ этого проистечетъ вящшая выгода для общества.

Изъ предыдущаго слѣдуетъ заключить, что возможенъ совершенно противоположный отвѣтъ: приспособляй къ себѣ условія окружающей тебя жизни, не дави неприспособленныхъ, ибо въ борьбѣ, подборѣ и полезныхъ приспособленіяхъ заключается гибель и твоя, и твоего общества.

Блаженны, говорятъ дарвинисты, блаженны вы, если вы сильны, если вы приспособлены, если вы подобраны, если вы избраны. И законна и правомѣрна ваша гибель, если вы окажетесь лишней спицей въ колесѣ практической колесницы. Проваливайтесь въ пропасть прогресса, поглотившую тысячи подобныхъ вамъ. Не надгробнымъ рыданіемъ проводимъ мы васъ, не вѣчною памятью, а ядовитымъ хохотомъ и кликами торжества. Совершилась, скажемъ, законная кара за неприспособленность.

Блаженны вы, могли бы отвѣтить противники, блаженны вы, если вы не промѣняли рубль на ярко вычищенный мѣдный грошъ, если не продали будущаго ради интересовъ минуты и вершка; блаженны вы, даже если поносятъ васъ, и ижденутъ, и рекутъ всякъ золъ глаголъ, на вы лжуще.

Дарвинисты обвиняютъ враждебныя имъ теоріи въ сантиментальности, въ ложной чувствительности, въ ненаучности и т. д. Но во-первыхъ, непосредственная санкція нрав-

---

*) Къ исторіи принципа раздѣленія труда. Однимъ изъ первыхъ, если не первымъ, обобщилъ этотъ принципъ и вывелъ его изъ спеціально-экономической, технической сферы на степень основанія всего общественнаго строя былъ Эйзенгартъ (Eisenhart: Philosophie des Staates oder allgemeine Socialtheorie. Leipzig. 1843—44). Указавъ на потребность новой, общей соціологіи, Эйзенгартъ говоритъ, что французы пытались удовлетворить ей системами Сенъ-Симона и Фурье. Но, говоритъ далѣе почтенный нѣмецкій философъ, эти системы крайне легкомысленны и не соотвѣтствуютъ «нашему нѣмецкому разсудку и нашему нѣмецкому глубокомыслію»; поэтому, говоритъ, я намѣренъ создать eine Socialwissenschaft von deutscher Art und Kunst. Главный нервъ этой Wissenschaft, о которой, конечно, читатель никогда не слыхалъ безъ малѣйшаго ущерба для себя, есть принципъ раздѣленія труда.

ственной обязанности всегда и неизбѣжно заключается въ чувствѣ, на которое, слѣдовательно, фыркать не приходится. При этомъ, конечно, не можетъ быть совершенно выкинутъ изъ счета чисто умственный элементъ. Но дѣйствительно ли этотъ элементъ находится на сторонѣ дарвинистовъ? Дарвинизмъ представляетъ послѣднее, исправленное и дополненное изданіе утилитаризма, а утилитаризмъ хвастается, между прочимъ, тѣмъ, что лучше, чѣмъ какая-нибудь другая этическая система, можетъ разобрать запутанные случаи столкновенія обязанностей; что для него это дѣло простого математическаго разсчета. Итакъ, попробуемъ приложить къ дарвинизму, и въ особенности къ его этикѣ, мѣрку чисто логическую.

Дарвинисты говорятъ о пользѣ вида. Но что такое польза вида, если не польза входящихъ въ составъ его недѣлимыхъ? И, однако, борьба, подборъ и полезныя приспособленія калѣчатъ недѣлимыхъ—въ чемъ относительно нѣкоторыхъ частныхъ случаевъ дарвинисты согласны—и истребляютъ ихъ цѣлыми массами, на что дарвинисты указываютъ съ торжествомъ. Въ этомъ постоянномъ истребленіи слабыхъ они видятъ залогъ преуспѣянія. Но, какъ мы видѣли, истребляются вовсе не слабые, а только не приспособленные. Въ каждой частной комбинаціи надлежитъ разсмотрѣть, кто не приспособленные и кто избранные. Иногда не приспособленные могутъ, дѣйствительно, оказаться слабыми, иногда же, напротивъ, наиболѣе сильными. Но дарвинисты совершенно чужды такого различенія и всѣ какъ прогрессивные, такъ и регрессивные процессы санкціонируютъ однимъ и тѣмъ же принципомъ пользы. Пока дѣло идетъ о процессахъ природы, это слѣпота чисто теоретическая. Она безъ сомнѣнія мѣшаетъ правильному объясненію явленій природы, но, *съ своей точки зрѣнія* дарвинисты *фактически* всетаки правы: начало пользы въ самомъ грубомъ и низшемъ смыслѣ торжествуетъ въ природѣ. Мы говоримъ, что дарвинисты правы *съ своей точки зрѣнія*, потому что есть, какъ мы видѣли, люди, принимающіе, помимо указаннаго Дарвиномъ, другой путь развитія органическихъ формъ. Мы говоримъ, что дарвинисты правы *фактически*, потому что принципіально они вовсе не правы: одно дѣло указывать фактъ и объяснять его, и другое дѣло—восхищаться имъ. Но когда упомянутая слѣпота распространяется на область практическую, она получаетъ иное значеніе. Дарвинисты рекомендуютъ намъ отмѣну такихъ-то и такихъ-то учрежденій, введеніе такихъ-то и такихъ-то правилъ и мѣръ и т. д. Какъ бы мы ни смотрѣли на явленія природы и общественной жизни, но старикъ Вико, во всякомъ случаѣ, правъ; исторія природы отличается отъ исторіи человѣчества тѣмъ, что первой мы не дѣлали, а вторую дѣлали и дѣлаемъ. Поэтому, если бы законъ постояннаго усовершенствованія, признаваемый Ламаркомъ, Кёлликеромъ, Негели, Снеллемъ, въ дѣйствительности и не имѣлъ мѣста, мы всетаки не можемъ безропотно отдаться на волю благодѣяній борьбы, подбора и полезныхъ приспособленій.

Мы видѣли, что, трактуя о расхожденіи признаковъ, дарвинисты смѣшиваютъ двѣ совершенно различныя вещи: пріобрѣтеніе новыхъ средствъ жизни и собственно расхожденіе признаковъ. Первое несомнѣнно полезно, выгоды же второго, по малой мѣрѣ, сомнительны, во всякомъ случаѣ, это двѣ совершенно различныя степени пользы. Невольно представляется вопросъ: не выгоднѣе ли было бы, если бы данная группа животныхъ цѣликомъ, во всемъ своемъ составѣ, воспользовалась однимъ и тѣмъ же пріобрѣтеніемъ новыхъ средствъ жизни; если бы, напримѣръ, въ придачу къ прежнимъ средствамъ всѣ члены группы научились ловить рыбу и лазать на деревья. Какъ бы, однако, такой порядокъ вещей ни былъ выгоденъ, ничего подобнаго у низшихъ животныхъ быть не можетъ. Здѣсь ходъ развитія управляется подборомъ выгодныхъ индивидуальныхъ уклоненій, передаваемыхъ только наслѣдственно, а не педагогически. Но человѣкъ и нѣкоторыя другія животныя давно уже имѣютъ въ своемъ распоряженіи орудіе, способное парализировать невыгоды индивидуальной измѣнчивости, сохраняя ея выгоды. Орудіе это—кооперація. Этотъ великій фактъ, имѣющій столь первенствующее значеніе въ жизни человѣка, совершенно игнорируется дарвинистами. Правда, они говорятъ и много, слишкомъ много говорятъ объ обществѣ, но если вы вглядитесь въ суть ихъ требованій и положеній, то увидите, что, въ концѣ концовъ, они рекомендуютъ устроиться такъ, какъ будто бы никакая кооперація не существуетъ. Они предлагаютъ намъ учиться у безсознательныхъ дѣятелей природы: предаться на волю стихійныхъ силъ. Но при этомъ уже отмѣченная нами двусмысленность понятія пользы, очевидно, должна выступить съ особенною рѣзкостью. Полезныя приспособленія полезны даже въ томъ случаѣ, если они завѣдомо вредны—вотъ странный результатъ, къ которому приходитъ дарвинизмъ, какъ нравственно-политическая доктрина, еще яснѣе, чѣмъ въ качествѣ доктрины біологической. Дарвинизмъ, гораздо лучше вооруженный, чѣмъ утилитаризмъ Бентама и даже Стюарта Милля, тѣмъ не менѣе не вычистилъ тусклаго пятна, лежащаго на всѣхъ до сихъ поръ выставленныхъ утилитарныхъ теоріяхъ. Онъ

не нашелъ формулы, въ которой польза личности и польза общества сочетались бы въ одно цѣлое и были бы связаны не бѣлыми нитками, а нѣкоторымъ внутреннимъ единствомъ. Мало того, такъ какъ мы имѣемъ здѣсь дѣло не только съ отвлеченными положеніями, а и съ конкретными фактами, то и упомянутое тусклое пятно еще рѣзче бьетъ по глазамъ. На это, впрочемъ, есть и другія причины, заключающіяся именно въ игнорированіи дарвинистами великаго факта коопераціи. Обращаясь въ нравственно-политическую доктрину, дарвинизмъ только подставляетъ вмѣсто слова «видъ» слово «общество», вмѣсто «расхожденія признаковъ»—«раздѣленіе труда», вмѣсто «борьбы за существованіе»—«конкурренцію», отчего суть дѣла, разумѣется, ни на волосъ не измѣняется. И въ результатѣ мы получаемъ пропорцію: каждая корова относится къ своему виду, какъ каждый французъ относится къ Франціи или англичанинъ къ Англіи. И еще намъ подвернулась подъ руку корова—животное стадное, а мы могли бы смѣло взять паука, ящерицу и т. п. При такихъ условіяхъ не трудно примириться, какъ это съ неподражаемою наивностью дѣлаетъ самъ Дарвинъ въ своемъ послѣднемъ сочиненіи, съ полезностью запиранія преступниковъ, погибели въ дракахъ буйныхъ людей, ранней смерти людей развратныхъ и т. п. Однако, въ томъ строѣ общества, гдѣ господствуютъ перекрещенныя стихійныя силы подбора, борьбы, расхожденія признаковъ, полезныхъ приспособленій—въ этомъ строѣ гибнутъ не одни буйные, не одни развратные, не одни преступники. Этихъ людей гибнетъ сравнительно ничтожное количество, и, разъ они сумѣютъ овладѣть извѣстными полезными приспособленіями, они застрахованы, они на волѣ, они не лишены возможности передавать свои особенности по наслѣдству. Но за то навѣрное гибнутъ типы идеальные, эти неприспособленные теоретики, совмѣщающіе въ себѣ всѣ силы, разметанныя процессомъ расхожденія признаковъ по всѣмъ закоулкамъ общества. Они гибнутъ, либо втягиваясь въ водоворотъ полезныхъ приспособленій, либо прямо выжимаются изъ строя жизни во всей своей идеальной чистотѣ.

У древнихъ былъ странный обычай. Среди роскошнаго пира, на которомъ вкусъ услаждался утонченными кушаньями, слухъ—пѣніемъ и музыкой, зрѣніе — прекрасными танцовщицами, среди этого пира вдругъ подавался скелетъ... Это должно было напоминать гостямъ тщету всего земного. Русская жизнь! Пересчитай своихъ выбывшихъ изъ строя не приспособленныхъ, и, можетъ быть, теперь, въ пору вящшихъ полезныхъ приспособленій, это воспоминаніе сыграетъ для тебя роль скелета на пирѣ...

Мы впадаемъ, однако, въ сантиментальность, а хотѣли имѣть дѣло съ «холоднымъ разсудкомъ»...

Дарвинисты должны радоваться выбыванію изъ строю не приспособленныхъ, идеальныхъ типовъ. Но не забудемъ, что существуютъ же въ исторіи самыхъ темныхъ угловъ человѣчества lucidae intervalae, когда жизнь даетъ вздохнуть и идеальнымъ типамъ. Въ такія свѣтлыя минуты куда дѣваться типамъ практическимъ, приспособленнымъ, подслѣповатымъ, слабокрылымъ? Въ общественной жизни бываютъ такія рѣзкія и крутыя перемѣны, что приспособиться къ новымъ условіямъ тѣмъ, которые уже окончательно приспособились къ прежнимъ, нѣтъ никакой возможности. Имъ остается только погибнуть, замереть, уступить мѣсто новымъ избраннымъ. Такимъ образомъ мы всетаки стоимъ на распутьи двухъ дорогъ: пойдешь направо, будешь избранъ сегодня и погибнешь завтра; пойдешь налѣво—рискуешь погибнуть сегодня и восторжествовать завтра. Дарвинизмъ толкаетъ направо, но не видно, почему бы не идти налѣво. А между тѣмъ у дарвинистовъ есть подъ руками критерій, можетъ быть, и не выходящій изъ предѣловъ утилитарнаго принципа, но, во всякомъ случаѣ, настолько ясный, что всегда можетъ освѣтить путь и остановить блужданія. Критерій этотъ все та же спеціализація органовъ и отправленій. Но дарвинисты, берущіе его очень часто прямо въ руки, немедленно же пропускаютъ сквозь пальцы, отождествляя его съ спеціализаціей соціальныхъ отправленій. Мы слишкомъ часто и много говорили объ этомъ предметѣ, чтобы не имѣть права сослаться на свои прежніе выводы, какъ на нѣчто доказанное. А мы пришли, между прочимъ, путемъ не одной сантиментальности, а и строгаго анализа фактовъ къ такому заключенію: «Прогрессъ есть постепенное приближеніе къ цѣлостности недѣлимыхъ, къ возможно полному и всестороннему раздѣленію труда между органами и возможно меньшему раздѣленію труда между людьми. Безнравственно, несправедливо, вредно, не разумно все, что задерживаетъ это движеніе. Нравственно, справедливо, разумно и полезно только то, что уменьшаетъ разнородность общества, усиливая тѣмъ самымъ разнородность его отдѣльныхъ членовъ». Съ этой точки зрѣнія,—а мы считаемъ ее неопровержимою и поставляемъ себѣ въ особенную заслугу разъясненіе антагонизма между раздѣленіемъ труда физіологическимъ и экономическимъ—борьба за существованіе между недѣлимыми одного и того же вида и расхожденіе признаковъ суть

элементы регресса. Внѣ приведенной формулы нѣтъ примиренія между интересами личности и общества и вѣковой тяжбѣ между ними нѣтъ конца.

Къ той же формулѣ можно подойти и съ такой стороны, которой мы до сихъ поръ еще не касались. Мы говоримъ о законахъ размноженія.

Подтверждая законы Мальтуса въ теоретическомъ ихъ видѣ, дарвинизмъ рѣшительно отрицаетъ субъективную часть мальтузіанства въ одномъ очень важномъ отношеніи. Правда, нѣкоторые дарвинисты рекомендуютъ даже не «нравственное», а прямо принудительное обузданіе половой дѣятельности больныхъ и слабыхъ. Но большинство смотритъ на дѣло иначе. Мальтусъ совѣтовалъ рожать какъ можно меньше дѣтей, ибо число приборовъ на жизненномъ пиру строго разсчитано и лишнимъ нѣтъ мѣста. Съ точки зрѣнія дарвинизма, напротивъ, чѣмъ видъ многочисленнѣе, тѣмъ лучше, потому что тѣмъ сильнѣе дѣйствуютъ начала борьбы и подбора, тѣмъ большій выборъ предоставляется смерти и тѣмъ, такъ сказать, избраннѣе избранные. Въ усиленномъ размноженіи дарвинизмъ естественно долженъ видѣть залогъ силы и дальнѣйшаго преуспѣянія. И если мальтузіанцы сожалѣли о слишкомъ быстромъ размноженіи человѣка, то дарвинисты, напротивъ, должны жалѣть о сравнительно слабой плодовитости его. Есть, однако, надежда, что плодовитость эта современемъ еще уменьшится, вмѣстѣ съ чѣмъ неминуемо должна ослабнуть напряженность борьбы и подбора. Соціалисты давно уже представляли различныя соображенія, въ силу которыхъ энергія размноженія должна постепенно ослабляться. Въ общемъ эти соображенія оказываются нынѣ вѣрными. Но невысокій уровень біологическихъ знаній мѣшалъ привести дѣло окончательно въ ясность и подтвердить положеніе безспорными научными данными. Нынѣ это сдѣлано въ «Теоріи народонаселенія» Спенсера, вошедшей въ составъ «Основаній біологіи» (стр. 303—394), съ такимъ запасомъ знаній и съ такой ясностью мысли, что невольно удивляешься, какъ могъ столь замѣчательный ученый и мыслитель увлечься несчастною идеей соціальнаго организма.

Вотъ какъ разсуждаетъ Спенсеръ.

Если какая-нибудь раса продолжаетъ существовать среди той враждебной обстановки, какая вообще окружаетъ всякій видъ, то въ ней самой должны заключаться нѣкоторыя охранительныя силы, достаточно сильныя для уравновѣшенія внѣшнихъ разрушительныхъ вліяній. Силы эти суть двоякаго рода. Во-первыхъ, каждая особь можетъ обладать большею или меньшею способностью приспособленія къ *измѣненіямъ* окружающихъ дѣятелей и при томъ, къ большему или меньшему количеству такихъ измѣняющихъ дѣятелей. Это начало сводится, слѣдовательно, говоря языкомъ Спелля, къ степени «идеальности» и «практичности» расы. Типъ практическій заключаетъ въ себѣ менѣе охранительной силы, типъ идеальный — болѣе. Во-вторыхъ, можетъ имѣться болѣе или менѣе значительно развитая способность производить новыя особи, взамѣнъ истребляемыхъ разрушительными вліяніями. Эти двѣ силы должны измѣняться въ обратномъ отношеніи. Когда, вслѣдствіе низкой развитости, способность бороться съ внѣшними опасностями будетъ ничтожна, то должна имѣться большая плодовитость, вознаграждающая вытекающую изъ неразвитости значительную смертность; иначе раса должна вымереть. Когда же, наоборотъ, вслѣдствіе болѣе высокой одаренности, способность къ самосохраненію бываетъ значительнѣе, то необходимо, чтобы соотвѣтственно ей плодовитость была менѣе значительна. Положимъ, что опасности, съ которыми приходится бороться, составляютъ постоянную величину, и тогда, вслѣдствіе того, что способность вида къ борьбѣ съ ними также должна быть постоянной величиной, и вслѣдствіе того, что эта способность есть произведеніе двухъ факторовъ—способности сохраненія индивидуальной жизни и способности размноженія—ясно, что онѣ не могутъ измѣняться иначе, какъ въ обратномъ отношеніи: при возрастаніи одной изъ нихъ другая должна ослабѣвать. Стоитъ только представить себѣ послѣдствія несоотвѣтствія этому закону, чтобы увидѣть, что каждый видъ долженъ либо сообразоваться съ нимъ, либо перестать существовать. Тѣмъ или другимъ путемъ должно установиться обратное отношеніе между способностью къ самосохраненію и способностью произведенія новыхъ особей. Каждая новая особь отнимаетъ нѣчто у организма-производителя, каждая пристройка въ организмѣ-производителѣ отнимаетъ нѣчто у его плодовитости. Чѣмъ сильнѣе издержки на особь, тѣмъ меньше остается на расу, и обратно.

Таковы апріорическіе выводы Спенсера, вполнѣ подтверждаемые индуктивною провѣркой, трудностей которой — вслѣдствіе сложности и запутанности явленій — Спенсеръ отъ себя не скрываетъ. Мы не будемъ приводить того множества часто весьма сложныхъ фактовъ, которыми Спенсеръ подтверждаетъ свое положеніе, и отмѣтимъ только тѣ рубрики, подъ которыя онъ подводитъ антагонизмъ между издержками на особь и издержками на расу. 1) Антагонизмъ между плодовитостью и ростомъ: чѣмъ больше тратится на массу особи, тѣмъ меньше остается на потомство. II.

дѣйствительно, организмы мелкіе, вообще говоря, плодовитѣе крупныхъ. 2) Антагонизмъ между плодовитостью и развитіемъ: чѣмъ больше тратится на строеніе особи, тѣмъ меньше остается на потомство. Это антагонизмъ самый важный вообще, важный и для насъ, такъ какъ степень развитія особи измѣряется степенью физіологическаго раздѣленія труда. Въ этомъ отношеніи заслуживаетъ вниманія слѣдующее соображеніе Спенсера: чѣмъ болѣе и полнѣе дифференцируется органическая масса, тѣмъ меньшая доля ея остается въ томъ сравнительно недифференцированномъ состояніи, при которомъ возможно преобразованіе вещества въ новыя особи или въ зародыши особей. Протоплазма, однажды обратившись въ спеціализированную ткань, не можетъ снова обобщиться и потомъ преобразоваться во что-нибудь иное, а потому прогрессъ строенія въ организмѣ, уменьшая количество вещества, не обладающаго строеніемъ, этимъ самымъ уменьшаетъ запасъ вещества, пригоднаго для выработки потомства. 3) Антагонизмъ между плодовитостью и тратою: чѣмъ дѣятельнѣе организмъ, чѣмъ быстрѣе происходитъ въ немъ обновленіе матеріи и чѣмъ, слѣдовательно, болѣе требуетъ онъ питательнаго матеріала на себя, тѣмъ менѣе онъ плодовитъ. Рядомъ съ этимъ надо поставить еще одно начало: 4) совпаденіе плодовитости съ обильнымъ питаніемъ. Здѣсь Спенсеръ совершенно опровергаетъ извѣстное мнѣніе Дубльдэ, что избытокъ питанія мѣшаетъ размноженію, между тѣмъ какъ ограниченное или недостаточное питаніе вызываетъ его и способствуетъ ему.

Понятно, что изо всѣхъ этихъ элементовъ составляется чрезвычайно сложная сѣть, въ которой беретъ перевѣсъ то одно начало, то другое, то третье. Однако, въ концѣ концовъ, присматриваясь къ явленіямъ съ должнымъ вниманіемъ, мы всетаки можемъ вездѣ прослѣдить одинъ и тотъ же верховный законъ: чѣмъ разностороннѣе организмъ, чѣмъ онъ идеальнѣе, чѣмъ рѣзче въ немъ обозначилось физіологическое раздѣленіе труда, тѣмъ менѣе онъ плодовитъ.

Къ такому результату естественно приходили всѣ, размышлявшіе объ этомъ предметѣ по поводу теоріи Мальтуса. Фурье видѣлъ задержку размноженію, между прочимъ, въ гармоническомъ развитіи силъ и способностей. Прудонъ прямо почти уловилъ законъ, устанавливаемый Спенсеромъ. Прудонъ говорилъ: «Человѣкъ, расходующій значительную часть силы, мускульной ли, или умственной, не можетъ предаваться въ той же степени любовнымъ удовольствіямъ: въ противномъ случаѣ онъ быстро истощилъ бы себя. Между обѣими силами существуетъ стало быть противодѣйствіе; слѣдовательно, въ хорошо устроенномъ обществѣ, основанномъ на справедливости, на равенствѣ состояній, на одинаковомъ образованіи, въ обществѣ, въ которомъ чистота нравовъ все увеличивается, по мѣрѣ возрастанія труда для всѣхъ и для каждаго въ частности, естественно предположить, что равновѣсіе народонаселенія установится само собою» (см. приложенія къ русскому переводу Мальтуса).

Итакъ, если гипотетическій законъ Ламарка, Кёлликера, Негели, Снелля или, по крайней мѣрѣ, нисколько не гипотетическое, сознательное стремленіе человѣка къ совершенству, его идеализмъ, возьметъ верхъ надъ разрушительными силами борьбы, подбора и полезныхъ приспособленій,—намъ нечего бояться за будущее. И принимая отъ дарвинизма законъ борьбы какъ фактъ, мы должны наложить на себя нравственный законъ борьбы съ борьбою, съ подборомъ, съ полезными приспособленіями, съ расхожденіемъ признаковъ.

V. Естественный ходъ вещей *)

Я рабъ, я царь, я червь, я богъ.
Державинъ.

I.

Послѣдняя книга Дарвина «О выраженіи ощущеній у человѣка и животныхъ», переведенная уже на русскій языкъ, по всей вѣроятности, обманула ожиданія многихъ. Въ ней нѣтъ ни новизны идей, которою отмѣчено первое сочиненіе Дарвина «О происхожденіи видовъ», ни блестящихъ обобщеній и гипотезъ, какова теорія пангенезиса въ «Прирученныхъ животныхъ и воздѣланныхъ растеніяхъ», ни того спеціальнаго интереса, который представляетъ «Половой подборъ и происхожденіе человѣка». Это просто груда наблюденій надъ выраженіями ощущеній, тщательно и трудолюбиво собиравшихся въ теченіе почти сорока лѣтъ (съ 1833 года),—наблюденій, иногда очень интересныхъ, иногда въ высшей степени мелочныхъ. Въ смыслѣ дарвиновой теоріи весь интересъ книги исчерпывается нѣсколькими положеніями, значеніе которыхъ, въ виду прежнихъ трудовъ Дарвина, нельзя цѣнить особенно высоко. Нѣкоторыя движенія тѣла и личныхъ мускуловъ остались у насъ по наслѣдству отъ тѣхъ временъ, когда мы еще не были людьми; движенія эти были въ свое время полезны или необходимы, но нынѣ утилитарное значеніе ихъ исчезло, и они играютъ роль просто памятниковъ давно минувшаго. Вотъ одно изъ главнѣйшихъ положеній, если не главнѣйшее, новаго сочиненія Дарвина. Будь этотъ тезисъ развитъ лѣтъ десять тому назадъ, онъ бы имѣлъ громадное

*) Февраль, 1873.

значеніе. Но что онъ значитъ теперь, когда самъ Дарвинъ, Геккель и другіе обстоятельно и подобно прослѣдили генеалогію человѣка даже до безпозвоночныхъ? Новая книга Дарвина есть не болѣе какъ легкая пристройка къ широкой и смѣлой теоріи,—пристройка, конечно, любопытная, но любопытная, главнымъ образомъ, сама по себѣ, а не по отношенію къ теоріи, имѣющей гораздо болѣе солидныя основы. Самъ Дарвинъ говоритъ, что его новое сочиненіе только «нѣкоторымъ образомъ» подтверждаетъ теорію, и прибавляетъ, что едва ли такое подтвержденіе даже и нужно. Затѣмъ остается просто трактатъ объ интересномъ предметѣ. Это, конечно, очень хорошо, но не того въ правѣ общество ожидать отъ Дарвина. Онъ бросилъ въ общество важную идею, которая разрабатывается, развивается, истолковывается одними такъ, другими иначе. Что же дѣлаетъ въ это время учитель? Сообщаетъ въ новомъ сочиненіи, что ему извѣстенъ одинъ случай, когда кроликъ откусилъ у другого кролика полъ-хвоста, или что во всѣхъ извѣстныхъ ему случаяхъ кошка, находящаяся въ пріятномъ расположеніи духа, держитъ хвостъ коломъ вверхъ, загибая конецъ влѣво. Конечно, мы намѣренно привели наблюденія, наиболѣе мелкія, и Дарвинъ и въ новой книгѣ сообщаетъ многое, несравненно болѣе цѣнное. Но во всякомъ случаѣ, давъ многообъемлющую теорію, онъ громоздитъ фактъ на фактъ, не возвращаясь уже къ основамъ теоріи. А если и возвращается, то не отдаетъ въ томъ никакого отчета обществу. Онъ одинаково безстрастно цитируетъ, напримѣръ, Уоллеса и полусумасшедшаго нѣмца Браубаха. Онъ говоритъ, напримѣръ, въ книгѣ о происхожденіи человѣка: «Профессоръ Браубахъ утверждаетъ, что собака смотритъ на хозяина, какъ на Бога» (переводъ Сѣченова, I, 71); «Браубахъ замѣчаетъ, что собаки не позволяютъ себѣ украсть что-либо съѣстное въ отсутствіи хозяина» (Ib., 83). Или: «Каждому охотнику извѣстно, замѣчаетъ д-ръ Іегеръ, какъ трудно приблизиться къ животнымъ въ стадѣ или кучкѣ» (Id., 78). Каждый согласится, что приведенныя мнѣнія профессора Браубаха и доктора Іегера далеко не столь драгоцѣнны, чтобы на нихъ стоило ссылаться; тѣмъ болѣе, что, рядомъ съ этою щепетильностью и отчетливостью, Дарвинъ ни единымъ словомъ не проговаривается о гораздо болѣе интересныхъ вещахъ, содержащихся въ трудахъ профессора Браубаха и доктора Іегера. Одинъ изъ нихъ разсуждаетъ о мистическомъ значеніи числа 3 и о новомъ видѣ, который онъ предлагаетъ назвать «ангеломъ»; другой проповѣдуетъ подъ покровомъ теоріи Дарвина самыя возмутительныя доктрины. И, однако, Дарвину не приходитъ въ голову очистить свою теорію отъ этой коросты. Ни одного изъ своихъ безчисленныхъ толкователей и комментаторовъ, какъ бы ни были глупы и позорны ихъ толкованія и комментаріи, Дарвинъ не считаетъ нужнымъ остановить и цитируетъ ихъ, какъ своихъ сторонниковъ.

Недавно вышелъ, сначала по-англійски, а потомъ и по-нѣмецки, памфлетъ, подъ заглавіемъ «Homo versus Darwin». Ему дана такая форма: homo, оскорбленный изслѣдованіями Дарвина, призываетъ его къ суду; лордъ С., «одинъ изъ лучшихъ англійскихъ юристовъ», производитъ допросъ и произноситъ рѣшеніе. Памфлетъ наполненъ инсинуаціями, уличеніями въ несогласимости дарвинизма съ христіанствомъ и т. п. и для памфлета слишкомъ длиненъ. Но есть въ немъ замѣчанія довольно мѣткія. Между прочимъ, homo утверждаетъ, что въ первомъ изданіи сочиненія «О происхожденіи человѣка» Дарвинъ говоритъ: «Въ Сѣверной Америкѣ, по наблюденіямъ Гирна, черный медвѣдь иногда цѣлыми часами плаваетъ съ широко раскрытою пастью, ловя насѣкомыхъ, какъ китъ. Даже въ такомъ исключительномъ случаѣ я не вижу ничего невозможнаго въ томъ, что если бы насѣкомыхъ было постоянно вдоволь и если бы въ той же странѣ не находилось уже лучше приспособленныхъ соискателей, отдѣльная порода медвѣдей могла бы сдѣлаться, черезъ естественный подборъ, все болѣе и болѣе водною, ихъ пасть все болѣе и болѣе увеличиваться, пока не сложилось бы существо такое же уродливое, какъ китъ *).

Лордъ С. Я никогда не слыхалъ, чтобы китъ ловилъ въ водѣ насѣкомыхъ, не слыхалъ этого и о медвѣдѣ. Какія это насѣкомыя?

Homo. Милордъ, м-ръ Дарвинъ этого не объясняетъ. Во всякомъ случаѣ, нужно громадное количество насѣкомыхъ, какихъ мы, по крайней мѣрѣ, знаемъ, чтобы откормить медвѣдя въ кита.

Дарвинъ. Милордъ, homo долженъ бы былъ пояснить, что прочитанное имъ мѣсто въ послѣдующихъ изданіяхъ выпущено.

Homo. Я знаю, что оно выпущено, но знаю, что это исчезновеніе ничѣмъ не мотивировано. М-ръ Дарвинъ не говоритъ, потому ли онъ его выпустилъ, что его взгляды на естественный подборъ измѣнились, или потому, что кто-нибудь изъ его товарищей - натуралистовъ ужаснулся приведенной идеѣ и настоялъ на ея устраненіи.»

Въ этихъ словахъ Homo достоинъ вниманія укоръ не столько въ томъ, что Дарвинъ хватилъ черезъ край,—какой изъ основателей

*) Homo здѣсь, повидимому, обмолвился. Приведенныя слова Дарвина находятся не въ «Происхожденіи человѣка», а въ «Происхожденіи видовъ». Мы приводимъ ихъ въ переводѣ Рачинскаго (149).

новыхъ доктринъ не увлекался,—сколько въ томъ, что онъ недостаточно откровененъ съ обществомъ. Не то, чтобы онъ «страха ради іудейска» не доводилъ своей теоріи до ея логическихъ концовъ,—мнѣніе, которое было довольно распространено до выхода книги о происхожденіи человѣка и которое должно быть признано теперь не основательнымъ. Но во всякомъ случаѣ, Дарвинъ слишкомъ скупо подаетъ свой голосъ въ преніяхъ, возбужденныхъ его идеями, и относительно весьма многихъ возраженій, дополненій, примѣненій, часто весьма существенныхъ, нельзя рѣшить, какъ смотритъ на нихъ учитель. А между тѣмъ, понятно, что болѣе дѣятельное участіе его было бы здѣсь въ высшей степени желательно.

Между прочими вопросами, относительно которыхъ было бы желательно выслушать мнѣніе Дарвина, любопытенъ вопросъ о будущемъ развитіи органической жизни. Дарвинъ и дарвинисты нарисовали весьма подробную картину жизни на землѣ въ прошедшемъ. Благодаря Ляйеллю и другимъ геологамъ, картина эта дополнена не менѣе обстоятельными подробностями изъ міра неорганическаго. Астрономія давно уже сдѣлала свое дѣло въ этомъ направленіи. Антропологія и исторія подхватили человѣка съ той минуты, какъ онъ сталъ человѣкомъ, и знакомятъ насъ со всѣмъ тѣмъ путемъ, крайнія точки котораго суть дикари, съ одной стороны, и Тьеръ, Пій IX и проч.,—съ другой. Словомъ, прошедшее намъ извѣстно, и заслуга теоріи Дарвина въ этомъ отношеніи занимаетъ одно изъ первыхъ мѣстъ. Совсѣмъ другое относительно будущаго. Надо замѣтить, что и вообще будущее менѣе интересуетъ современную мысль, чѣмъ прошедшее. Хиліасты и милленаріи исчезли, соціалисты утопій не строятъ, о страшномъ судѣ напомнила только прошлогодняя комета, теоріи прогресса сочиняются болѣе для объясненія прошедшаго и настоящаго, дарвинисты молчатъ или почти молчатъ. Нѣкоторые глухо говорятъ, что будетъ, дескать, хорошо. Это, конечно, хорошо. Но не всѣ такъ смотрятъ. Современники сравнительно весьма и весьма рѣдко заглядываютъ въ будущее, но когда заглядываютъ, то видятъ большею частью вещи непріятныя. Гартманъ доказываетъ, что скорби и горести людскія будутъ все возрастать и возрастать, доколѣ, такъ сказать, не исчерпаютъ самихъ себя и доколѣ мы не начнемъ упиваться наслажденіемъ небытія. Съ другой стороны, физики и астрономы указываютъ на замедленіе вращенія земли, на истощеніе запасовъ солнечной теплоты и т. п., какъ на предвѣстниковъ конца земли, съ которымъ связанъ и конецъ органической жизни. Этотъ непріятный конецъ наступить долженъ, ибо все, имѣющее начало, имѣетъ и конецъ. Нѣтъ такого скучнаго романа, который, наконецъ, не кончился бы, нѣтъ такого залежавшагося человѣка, который бы, наконецъ, не скончался. Это, пожалуй, даже и не худо. Но между началомъ и концомъ есть середина. Къ концу надо подойти. А дарвинисты говорятъ, что жизнь безостановочно прогрессируетъ, выкидываетъ, путемъ борьбы за существованіе и подбора, все высшія и высшія формы. Какъ согласить этотъ пріятный процессъ съ непріятнымъ концомъ, основательно ожидаемымъ физиками и астрономами? Это вопросъ не праздный, потому, во-первыхъ, что онъ можетъ до извѣстной степени, служить пробнымъ камнемъ для оцѣнки дарвинизма; потому, во-вторыхъ, что съ нимъ связаны наши надежды и идеалы. Онъ ставитъ подъ сомнѣніе даже самую ихъ законность. Близокъ или далекъ непріятный конецъ, но мы идемъ къ нему. Возможны ли на этомъ пути надежды и идеалы? Надежды и идеалы, вѣдь это нѣчто лучшее дѣйствительности, настоящей исторической минуты, а возможно ли въ будущемъ нѣчто лучшее, если мы завѣдомо спускаемся подъ гору? Вотъ вопросъ, гораздо болѣе страшный, чѣмъ вопросъ о нашемъ происхожденіи. Даже г. Страховъ говоритъ, что ему все равно—изъ глины мы произошли или отъ обезьяны. Да и, конечно, все равно, это пройденная ступень. Если нѣкоторые и оскорбляются недостаточно аристократическимъ происхожденіемъ, приписываемымъ человѣку Дарвиномъ, то они не замедлятъ, конечно, утѣшиться тою, дѣйствительно, утѣшительною мыслью, что мы, такъ сказать, дослужились до человѣка и не даромъ получили свой теперешній чинъ. За эту мысль трезвый человѣкъ съ удовольствіемъ отдастъ всѣхъ героевъ и полубоговъ, происхожденіемъ отъ которыхъ такъ долго тѣшилось людское тщеславіе. Но мы и теперь льстимъ себя надеждою,—и Дарвинъ значительно насъ къ тому поощряетъ,—что дѣти дѣтей нашихъ, по крайней мѣрѣ, будутъ героями и полубогами. Отъ этой надежды отказаться гораздо труднѣе. Съ исчезновеніемъ ея будетъ поражено уже не тщеславіе наше, а совершенно законная гордость прошедшими и настоящими трудами. А между тѣмъ, фатальное: «конецъ такой-то и послѣдней части» будетъ непремѣнно подписано подъ длиннымъ романомъ земли. Какъ же быть съ нашимъ прогрессомъ въ виду этого печальнаго происшествія? Наши отечественные соціологи, надо имъ отдать справедливость, подходили къ этому вопросу. Но г. Жуковскій, по обыкновенію, скрылся въ собственномъ туманѣ; г. П. Л. («Мысли о соціальной наукѣ будущаго»), съ свойственною ему скромностью, заявилъ, что онъ очень уважаетъ Гартмана; г. Стронинъ, съ свойственною ему ясностью

и рѣшительностью, объявилъ, что, въ виду послѣдней части романа, необходимо какъ можно скорѣе завоевать Европу. Не отрицая остроумія всѣхъ трехъ отвѣтовъ, надо, однако, признаться, что они не вполнѣ удовлетворительны. Къ Дарвину мы совершенно тщетно обратились бы съ нашими сомнѣніями и затрудненіями. Онъ сказалъ бы: «То обстоятельство, что человѣкъ поднялся на высшую ступень органической лѣстницы, вмѣсто того, чтобы быть поставленнымъ здѣсь съ самаго начала, можетъ внушать ему надежду на еще болѣе высокую участь въ отдаленномъ будущемъ» («Происхожденіе человѣка», II, 452). Но и то онъ поторопился бы прибавить: «Мы не занимаемся здѣсь надеждами или опасеніями, а ищемъ только правды, насколько она доступна нашему уму» (Ibid.). Да, но вѣдь надежды и опасенія не исключаютъ правды, мало того, это только особыя формы погони за правдой. Интересы правды не пострадали бы, а, напротивъ, выиграли бы, если бы Дарвинъ или кто другой предпринялъ указать роль прогрессирующаго міра въ послѣдней части романа.

Одинъ нѣмецъ сдѣлалъ недавно попытку такого указанія, съ которою мы и хотимъ познакомить читателя. Мы предупреждаемъ его, что онъ встрѣтитъ массу несообразностей, противорѣчій, наконецъ, просто смѣху достойныхъ вещей, но, тѣмъ не менѣе, мы просимъ его дочитать до конца. Не смотря на всѣ несообразности, книжка, о которой мы говоримъ, какъ увидитъ читатель ниже, не лишена не только интереса, а и поучительности. Называется она: Ueber die Auflösung der Arten durch natürliche Zuchtwahl. Oder die Zukunft des organischen Reiches mit Rücksicht auf die Culturgeschichte. Von einem Ungenannten (Hannover, 1872).

II.

Авторъ признаетъ всѣ основныя черты ученія Дарвина: безграничную измѣнчивость организаціи, наслѣдственность, приспособленіе, борьбу за существованіе, естественный подборъ родичей. Но онъ рѣзко расходится съ Дарвиномъ и дарвинистами въ оцѣнкѣ результатовъ дѣйствія этихъ факторовъ. По Дарвину, законъ развитія органической жизни состоитъ, главнымъ образомъ, въ прогрессирующемъ дифференцированіи формъ, причемъ изъ немногихъ первичныхъ формъ развилось все разнообразіе теперешней органической жизни. Рядомъ съ этимъ стоитъ, по Дарвину, законъ постепеннаго усовершенствованія организаціи, въ силу котораго изъ простѣйшихъ организмовъ постоянно развиваются болѣе сложные и совершенные. Дарвинъ имѣетъ въ виду исключительно прошедшее; будущаго же развитія органической жизни на землѣ онъ не касается. Нашъ авторъ задается противоположной задачей. Онъ прежде всего желаетъ опредѣлить будущее. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ приходитъ къ такимъ заключеніямъ относительно общаго направленія развитія органической жизни, которыя діаметрально противоположны заключеніямъ Дарвина. Авторъ начинаетъ свое изслѣдованіе съ опроверженія двухъ лежащихъ, по его мнѣнію, въ заключеніяхъ Дарвина ошибокъ, которыя, однако, ни мало не касаются основныхъ тезисовъ дарвинизма.

Представимъ себѣ три разновидности. Дарвинисты полагаютъ, что наиболѣе выгодно положеніе тѣхъ изъ нихъ, которыя сильно уклоняются вправо или влѣво, и что выгодность эта обусловливается именно односторонностью ихъ развитія; третья же форма, приближающаяся къ среднему положенію, имѣетъ наименѣе шансовъ жизни и распространенія. По мнѣнію автора, дѣло имѣетъ совершенно другой видъ. Напротивъ, средняя форма, въ силу того, что она имѣетъ возможность болѣе многосторонняго приспособленія къ условіямъ существованія, очевидно, имѣетъ и болѣе шансовъ въ жизни. Другая ошибка дарвинистовъ состоитъ въ слѣдующемъ. Они предполагаютъ, что высшее, т. е. сложнѣе организованное существо тѣмъ самымъ имѣетъ въ борьбѣ за существованіе преимущество надъ организмами низшими, простѣйшими. Это несправедливо. Простѣйшіе организмы, напротивъ, будучи сравнительно менѣе зависимы отъ окружающихъ условій, чѣмъ организмы сложные и, такъ сказать, требовательные, болѣе способны къ созданію себѣ прочнаго существованія и возможности распространенія. И мы видимъ, что въ дѣйствительности низшіе организмы болѣе распространены на землѣ, чѣмъ высшіе, сложнѣйшіе, которымъ природа отводитъ обыкновенно сравнительно небольшую географическую полосу.

Теперь представимъ себѣ, что въ извѣстномъ водномъ пространствѣ, между прочимъ, живутъ два вида животныхъ, изъ которыхъ одинъ питается исключительно растительной, а другой — исключительно животной пищей. Предположимъ, далѣе, что въ теченіе поколѣній въ средѣ того и другого вида образуются разновидности, организованныя для обоихъ сортовъ пищи. Съ этою особенностью сопряжены, безъ сомнѣнія, извѣстныя измѣненія и внѣшняго вида животныхъ, такъ что двѣ наши разновидности представятъ собою промежуточныя формы между обѣими крайними. Эти промежуточныя формы, имѣя за собой то важное преимущество, что они могутъ питаться и животной, и растительной пищей, вытѣснятъ, наконецъ, своихъ одностороннихъ родичей. Но такъ какъ этотъ

процессъ уравненія, подъ дальнѣйшимъ давленіемъ измѣнчивости и подбора, долженъ продолжаться, то, въ концѣ концовъ, уцѣлѣвшія среднія формы сольются въ одинъ видъ.— Или представимъ себѣ какой-нибудь растительный видъ. Въ числѣ возможныхъ уклоненій въ силу индивидуальной измѣнчивости, будетъ, между прочимъ, и нѣкоторое географическое завоеваніе, т. е. извѣстная разновидность получитъ возможность жить нѣсколько южнѣе или сѣвернѣе обыкновенныхъ предѣловъ распространенія вида. Такъ какъ эта разновидность окажется менѣе другихъ зависимою отъ температуры, то она, наконецъ, одолѣетъ всѣ остальныя. Точно такъ же исключительно водное или исключительно земное растеніе можетъ приспособиться къ жизни въ обѣихъ стихіяхъ, вслѣдствіе чего вытѣснитъ своихъ одностороннихъ родичей.— Далѣе растеніе можетъ видоизмѣниться въ томъ направленіи, что оплодотвореніе его станетъ возможнымъ при помощи такихъ насѣкомыхъ, для которыхъ оно прежде было недоступно. И опять-таки эта разносторонняя разновидность должна постепенно замѣнить формы первоначальныя, болѣе спеціализированныя, доступныя меньшему числу видовъ насѣкомыхъ.—Ясно, что въ результатѣ всѣхъ этихъ измѣненій нѣтъ разнообразія видовъ. Напротивъ, идя такимъ образомъ далѣе, можно себѣ представить въ концѣ процесса одинъ видъ растеній, универсальное растеніе, способное жить при всѣхъ возможныхъ условіяхъ. Это космополитическое растеніе должно будетъ вытѣснить всѣ другіе виды, потому что если въ нѣкоторыхъ единичныхъ случаяхъ односторонность развитія можетъ оказаться выгодною, то выгода эта съ избыткомъ уравновѣшивается способностью космополита примѣняться къ самымъ разнообразнымъ условіямъ существованія.

Словомъ, авторъ, исходя изъ принциповъ Дарвина, тѣмъ не менѣе видитъ въ развитіи органической жизни процессъ не дифференцированія, не дивергенціи, не расхожденія признаковъ, а, напротивъ, процессъ сглаживанія различій, уравненія признаковъ. Дарвинъ принимаетъ въ началѣ развитія органической жизни существованіе нѣсколькихъ простыхъ формъ, быть можетъ, даже одной, изъ которой получился весь нынѣшній органическій міръ. Авторъ полагаетъ, напротивъ, что теперешнее разнообразіе формъ органической жизни должно съ теченіемъ времени уступить мѣсто нѣсколькимъ или даже одной простой формѣ. Точно такъ же, вмѣсто принимаемаго дарвинистами процесса усложненія организаціи, онъ видитъ въ жизни обратный процессъ упрощенія, не прогрессъ, а регрессъ. По его мнѣнію, формы, приспособленныя къ различнымъ условіямъ существованія, тѣмъ самымъ становятся отъ нихъ менѣе зависимыми и болѣе распространенными, а и то, и другое суть признаки относительно несложныхъ организмовъ. Регрессъ выражается прежде всего уменьшеніемъ размѣровъ. Извѣстно, что такъ называемыя допотопныя животныя вообще больше нынѣшнихъ. Въ растительномъ мірѣ происходитъ то же самое, такъ какъ древесныя растенія постепенно уступаютъ мѣсто кустарнымъ. Но дѣло не въ размѣрахъ только. Идея прогрессивнаго развитія встрѣчаетъ на своемъ пути важное затрудненіе въ лицѣ такъ называемыхъ рудиментарныхъ или зачаточныхъ органовъ. Идея прогресса была бы оправдана только въ такомъ случаѣ, если бы эти органы могли быть разсматриваемы какъ зачатки будущаго развитія. Но этого нѣтъ, и прогрессисты принуждены признать, что въ большинствѣ случаевъ эти органы суть остатки прежняго богатства организаціи. Законъ экономіи, въ силу котораго образованія, становящіяся въ тягость организму, исчезаютъ, и законъ дѣйствія неупотребленія органовъ представляютъ орудія противъ идеи прогресса и за идею регресса. Что касается до вполнѣ образованныхъ и дѣйствующихъ органовъ, то возникновеніе ихъ съ точки зрѣнія естественнаго подбора весьма трудно объяснимо. Выгода, получаемая организмомъ въ борьбѣ за существованіе благодаря тому или другому органу, уже *предполагаетъ* такую степень развитія его, которая даетъ ему возможность функціонировать. Поэтому съ Дарвиновой точки зрѣнія также трудно объяснить возникновеніе органа, какъ легко объяснить его исчезновеніе. Это опять-таки доводъ въ пользу регрессивной исторіи органическаго міра.

Возьмемъ частный случай, напримѣръ, исторію цвѣточнаго вѣнчика. Авторъ принимаетъ вмѣстѣ съ Дарвиномъ, что большой размѣръ и яркая окраска вѣнчика имѣютъ цѣлью привлекать насѣкомыхъ, при помощи которыхъ совершается оплодотвореніе цвѣтка. Но Дарвинъ объясняетъ возникновеніе расцвѣченныхъ вѣнчиковъ путемъ естественнаго подбора, а нашъ авторъ берется, напротивъ, доказать, что именно этимъ путемъ должно происходить исчезновеніе цвѣтныхъ вѣнчиковъ. Допустимъ, говоритъ онъ, самое простое, самое законное явленіе: сильное размноженіе насѣкомыхъ, при помощи которыхъ совершается оплодотвореніе даннаго вида. Возможность такого явленія не подлежитъ сомнѣнію, а большая часть предположеній Дарвина также основывается единственно на возможности. При возникающей такимъ образомъ сильной конкурренціи, насѣкомымъ придется не брезгать и плохими цвѣтками, т. е. цвѣтками съ сравнительно малымъ и блѣднымъ вѣнчикомъ. И эта особенность по необходимости пере-

дается наслѣдственно. Но этого мало. Такъ какъ развитіе вѣнчика и развитіе половыхъ органовъ находятся во взаимномъ антагонизмѣ, то блѣдные и малые цвѣтки, будучи лучшими производителями, будутъ вытѣснять своихъ красавцевъ родичей и, въ концѣ концовъ, борьба рѣшится въ ихъ пользу. Къ этому же результату можно подойти и еще съ одной стороны. Извѣстно, что цвѣтки устроены такъ, что самооплодотвореніе, въ большинствѣ случаевъ, невозможно. Устройство это довольно сложно, такъ что на выработку его подробностей тратится много силы и матеріала. Поэтому, если явится такое уклоненіе въ устройствѣ, главнымъ образомъ, вѣнчика, что самооплодотвореніе станетъ возможнымъ,—а это мыслимо какъ потому, что Дарвинъ принимаетъ безграничную измѣнчивость во всѣ стороны, такъ и потому, что и нынѣ уже существуютъ подобныя растенія, —то обладатели этой особенности будутъ имѣть лишніе шансы въ борьбѣ за существованіе, а вмѣстѣ съ тѣмъ, должна сократиться роль вѣнчика, состоящая, главнымъ образомъ, въ привлеченіи насѣкомыхъ. Такимъ образомъ, общая тенденція измѣненій клонится къ устраненію всѣхъ частей цвѣтка, за исключеніемъ половыхъ органовъ. И, слѣдовательно, мы въ правѣ предполагать въ будущемъ господство, если не одного растительнаго вида, то видовъ, которые, по крайней мѣрѣ, устройствомъ цвѣтка другъ отъ друга отличаться не будутъ: вмѣсто перспективы дальнѣйшаго расхожденія признаковъ, передъ нами разстилается перспектива ихъ сглаживанія, уравненія.

Слѣдующимъ актомъ естественнаго подбора будетъ устраненіе и половыхъ органовъ. Извѣстно, что собственно растительная жизнь находится въ антагонизмѣ съ половою дѣятельностью: чѣмъ напряженнѣе одна, тѣмъ слабѣе другая. Такъ, препятствуя цвѣтенію, мы можемъ продолжить жизнь даже однолѣтняго растенія. Цвѣтъ и плодъ могутъ быть разсматриваемы какъ своего рода могучій паразитъ, живущій на счетъ жизненной силы недѣлимаго. Поэтому совершенное устраненіе цвѣтка будетъ весьма благопріятно для недѣлимыхъ, а, слѣдовательно, и для вида, если, разумѣется, размноженіе будетъ обезпечено инымъ путемъ. А такое обезпеченіе существуетъ. И нынѣ многія растенія размножаются безполовымъ путемъ - клубнями, побѣгами, наконецъ, простымъ отдѣленіемъ клѣточекъ, какъ мхи. Этотъ-то способъ размноженія, какъ наиболѣе экономный, выгодный, и долженъ, наконецъ, восторжествовать, въ силу законовъ естественнаго подбора.

Доказано, преимущественно Негели, что ползучій типъ растеній есть результатъ дѣйствія естественнаго подбора. Устройство это, устраняя надобность въ огромной массѣ древеснаго матеріала для механической поддержки стебля, дастъ возможность удѣлить больше силы и матеріала для существенныхъ цѣлей. Эти мотивы и это направленіе дѣйствія естественнаго подбора, очевидно, не связаны съ какими-нибудь специфическими особенностями того или другого растенія, тѣмъ болѣе, что большую или меньшую наклонность къ ползучему типу мы встрѣчаемъ въ растеніяхъ, вообще, весьма между собою не сходныхъ. Изъ этого слѣдуетъ заключить, что таковъ будетъ съ теченіемъ времени общій ходъ развитія; что всѣ болѣе или менѣе высокія растенія, и въ особенности древесныя, обратятся въ ползучія. Кромѣ того, тѣ же законы естественнаго подбора обусловятъ укороченіе стебля.

Но, продолжая послѣдовательно идти въ этомъ направленіи, мы придемъ къ математической задачѣ. Наиболѣе выгодная по отношенію къ затратѣ матеріала форма должна пользоваться особеннымъ, такъ сказать, покровительствомъ естественнаго подбора и, слѣдовательно, стать типической формою будущаго развитія. Такая форма есть шарообразная. Въ будущемъ сначала всѣ органы растеній примутъ круго- и шарообразную форму, а затѣмъ всѣ вѣтви и листья втянутся, и само растеніе обратится въ шаръ. Физіологическое значеніе листьевъ состоитъ въ предоставленіи дѣйствію свѣта, воздуха и влажности какъ можно большей поверхности. Но очевидно, что роль эта не хуже и даже лучше исполнится всею поверхностью шара. Цѣль эта будетъ достигаться еще вѣрнѣе постепеннымъ изолированіемъ клѣточекъ. Такъ что въ концѣ процесса мы будемъ имѣть, вмѣсто всей нынѣшней роскоши растительнаго міра, массу самостоятельныхъ, однородныхъ клѣточекъ, каковы нынѣ низшіе представители органической жизни.

Авторъ не считаетъ нужнымъ слѣдить за параллельнымъ процессомъ въ животномъ царствѣ. Онъ говоритъ только, что сдѣлать это было бы весьма не трудно, и затѣмъ обращается къ самому принципу подбора. Теорія Дарвина, говоритъ онъ, принадлежитъ къ числу плодотворнѣйшихъ обобщеній, такъ какъ она разсѣяла оптимистическія представленія о существующей будто бы въ природѣ гармоніи интересовъ. Оказывается, что, вмѣсто гармоніи и мира, мы имѣемъ безпощадную войну всѣхъ противъ всѣхъ во всѣхъ уголкахъ земного шара. Признавая этотъ фактъ, авторъ находитъ, однако, что описанный имъ процессъ будущаго развитія органической жизни долженъ водворить миръ на землѣ. Причины борьбы за существованіе суть слѣдующія: 1) недостатокъ приспособленія къ условіямъ жизни; 2) чрезмѣрное размноженіе по отношенію къ данному пространству, количеству

пищи и т. д.; 3) зависимость одного существа отъ другого, принадлежащаго къ другому виду и составляющаго его пищу. Всѣ эти три причины должны съ теченіемъ времени исчезнуть. Если, какъ было говорено выше, естественный подборъ стремится приспособить всѣ организмы ко всѣмъ степенямъ температуры и влажности и ко всякаго рода пищѣ, то на извѣстной степени развитія органической жизни первая причина борьбы сама собой перестаетъ дѣйствовать. Далѣе, принимая въ соображеніе антагонизмъ между плодовитостью и энергіей растительной, т. е. личной, индивидуальной жизни, принимая въ соображеніе выгоды послѣдней, слѣдуетъ допустить, что измѣненія будутъ часто направляться въ ея сторону, а вмѣстѣ съ тѣмъ будетъ ослабляться сила размноженія и, слѣдовательно, суживаться поле борьбы. Если мы приложимъ это начало, напримѣръ, къ травояднымъ животнымъ, то увидимъ, что хищнымъ придется отказаться отъ своего образа жизни. Въ самомъ дѣлѣ, разъ въ силу вышеизложеннаго размноженіе травоядныхъ сократится, хищникамъ уже труднѣе будетъ питаться животной пищей, и между ними будутъ, по законамъ естественнаго подбора, усиливаться индивидуальныя уклоненія въ сторону растительной пищи. Такимъ путемъ плотоядныя постепенно обратятся въ травоядныхъ, а затѣмъ и для животныхъ вообще, по мѣрѣ упрощенія ихъ организаціи, выгоднѣе станетъ получать пищу непосредственно изъ неорганической природы, подобно растеніямъ. Такимъ образомъ, водворится на землѣ миръ, и «мысль эта,—прибавляетъ нѣмецъ,—должна насъ утѣшать въ исчезновеніи роскоши природы, которая нынѣ дается разбоемъ и борьбой».

Дарвинъ полагаетъ, что разъясненные имъ факторы дѣйствуютъ во всѣхъ направленіяхъ, т. е. безъ всякаго опредѣленннаго направленія, такъ что совершенствованіе организмовъ, на которое часто напираютъ дарвинисты, является у нихъ случайнымъ и побочнымъ продуктомъ. Негели и нѣкоторые другіе полагаютъ, напротивъ, что существуетъ особый законъ природы, въ силу котораго организмы измѣняются въ опредѣленномъ направленіи, именно въ направленіи къ усложненію, къ усовершенствованію. Нашъ авторъ не согласенъ ни съ тѣмъ, ни съ другимъ мнѣніемъ. Дарвинистамъ онъ говоритъ, что существуетъ опредѣленное направленіе измѣненій, а Негели,—что это направленіе клонится не къ усовершенствованію, а къ упрощенію. Дарвинисты изображаютъ обыкновенно генеалогію органическаго міра въ видѣ дерева, корни котораго представляютъ начатки жизни, а верхнія развѣтвленія нынѣ существующіе виды. Авторъ находитъ, что это изображеніе очень вѣрно... если его повернуть вверхъ ногами. Но лучше прибѣгнуть къ образу рѣчной системы, истоки которой представятъ нынѣшніе виды, а устье—будущность органическаго міра, протоплазматическое море (Protoplasma-Meer), т. е. безформенную органическую массу. Но разложеніе должно идти дальше: безформенная органическая масса должна распасться на химическіе элементы—кислородъ, углеродъ, водородъ, азотъ. Такое распаденіе мы видимъ въ каждомъ случаѣ разложенія мертваго организма, слѣдовательно, оно не представляетъ ничего невѣроятнаго и подлежитъ наблюденію даже теперь. Нѣтъ надобности придумывать какія-нибудь гипотетическія обстоятельства, при которыхъ означенное явленіе только и можетъ имѣть мѣсто. Между тѣмъ теорія, отправляющаяся отъ идеи сложенія химическихъ элементовъ въ органическія соединенія и въ организмы въ началѣ вещей, должна путаться въ гипотезахъ и не имѣетъ опытно-наблюдательной опоры. Во всякомъ случаѣ, сила, соединяющая элементы для образованія организмовъ, дѣйствовала только разъ при нѣкоторыхъ особенныхъ обстоятельствахъ; сила разлагающая дѣйствуетъ всегда и при всѣхъ обстоятельствахъ. Наконецъ, идея распаденія органическаго міра на химическіе элементы совпадаетъ с ътеоріями новѣйшихъ физиковъ, которые, какъ, напримѣръ, Клаузіусъ, доказываютъ, что міровые процессы клонятся къ извѣстному предѣлу, именно къ превращенію всѣхъ химическихъ и механическихъ силъ въ равномѣрно по всей вселенной распредѣленную теплоту. «Вотъ,—говоритъ авторъ,—будущность органическаго міра, логически вытекающая изъ принциповъ Дарвина, а не стремленіе къ безконечному дифференцированію и совершенствованію».

Мы совсѣмъ обойдемъ тѣ параграфы, которые озаглавлены: «Затрудненія теоріи» и «Философское основаніе». Здѣсь авторъ остроумно доказываетъ правильность своей исходной точки,—построенія будущности органическаго міра, вмѣсто изысканія его прошедшаго. Еще остроумнѣе прячется онъ за спину Дарвина, доказывая, что возраженія, могущія быть выставленными противъ его теоріи, съ такимъ же правомъ могутъ быть предъявлены и Дарвину; что, слѣдовательно, поскольку они опровергнуты дарвинистами, постольку оправданъ и онъ. Мы перейдемъ къ вопросу о генеалогическомъ отношеніи между человѣкомъ и обезьяной.

Авторъ начинаетъ рѣшительнымъ утвержденіемъ существованія этой генеалогіи этого родства. Подобно дарвинистамъ, онъ смѣется надъ мыслью объ особенномъ положеніи человѣка въ природѣ, сравниваетъ ее съ геоцентрической теоріей древнихъ и т. д.

Но этимъ и оканчивается его сходство съ дарвинистами. Логически развивая вышеизложенный взглядъ на исторію развитія органической жизни, онъ утверждаетъ, что различія между человѣкомъ и звѣремъ должны постепенно ослабѣвать, что человѣкъ будетъ все болѣе и болѣе приближаться къ высшимъ млекопитающимъ; что послѣдніе не отстали отъ человѣка въ процессѣ развитія, а оставили его назади. Авторъ вполнѣ готовъ признать новѣйшія генеалогическія изслѣдованія, напримѣръ, Геккеля. Но рядомъ съ этимъ онъ ставитъ вопросъ: человѣкъ-ли произошелъ отъ обезьяны, или обезьяна отъ человѣка? «Дарвинъ, — говоритъ онъ, — стоитъ за первое рѣшеніе, но это совершенно произвольный выводъ, лишенный всякаго основанія». Не трудно представить себѣ аргументацію автора. Онъ доказываетъ, что при ограниченности или односторонности умственной дѣятельности большинства человѣческаго рода, мозгъ человѣка долженъ, подъ вліяніемъ неупотребленія, постепенно уменьшаться, и, наконецъ, снизойти до размѣровъ и степени развитія мозга обезьяны. Далѣе, въ виду выгодности замѣны ногъ руками, существованія хвоста и покрытой шерстью кожи, естественный подборъ упрочитъ за человѣкомъ всѣ эти особенности, въ зачаточномъ состояніи имѣющіяся уже и теперь.

Авторъ не скрываетъ отъ себя неблагопріятнаго пріема, который должна встрѣтить его теорія. Если, говоритъ онъ, теоріи Дарвина пришлось выдерживать сильный натискъ предразсудковъ о происхожденіи человѣка, то тѣмъ паче неблагопріятно должно быть встрѣчено отрицаніе прогресса, съ идеей котораго люди такъ свыклись. Но наука обязана игнорировать эти предразсудки, и разъ идея прогресса уступаетъ передъ лицомъ науки мѣсто идеѣ регресса, наукѣ нечего церемониться. Къ вышеизложеннымъ естественно-научнымъ соображеніямъ въ пользу того, что міръ не прогрессируетъ, а регрессируетъ, надлежитъ прибавить еще соображенія культурно-историческія.

Признавая измѣнчивость человѣческихъ расъ, признавая, что нынѣ существующія расы связаны между собою родствомъ и представляютъ цѣпь переходныхъ формъ, мы еще не рѣшаемъ вопроса о направленіи этой цѣпи. Представитель кавказской расы и австралійскій негръ связаны родственно и представляютъ двѣ отдаленныя ступени развитія. Но которая изъ нихъ выше, дальше ушла въ процессѣ развитія? Представлять въ пользу кавказской расы физіологическіе резоны нельзя, ибо вопросъ объ усложненіи организаціи вообще и мозга въ частности есть именно подсудимый. Физіологически европеецъ выше дикаря, это несомнѣнно, но намъ нужно знать, кто изъ нихъ выше исторически. Съ этой точки зрѣнія защитники теоріи прогресса могутъ представить только одинъ важный фактъ: вытѣсненіе дикихъ народовъ европейскими колонистами. Извѣстно, однако, что, съ другой стороны, высшіе народы нерѣдко пасуютъ передъ низшими. Во всякомъ случаѣ доступное намъ историческое время слишкомъ коротко, чтобы мы имѣли право строить законъ прогресса на его одиночныхъ явленіяхъ. Притомъ же самое важное рѣшить—прогрессируютъ или регрессируютъ сами цивилизованные народы. Скажутъ, можетъ быть, что наши свѣдѣнія о низкомъ уровнѣ развитія нашихъ предковъ каменнаго періода не оставляютъ на этотъ счетъ никакихъ сомнѣній. Но кто далъ намъ право считать эти существа своими прямыми предками? Изъ того, что они жили тамъ же, гдѣ мы живемъ теперь, еще ровно ничего не слѣдуетъ, точно такъ же, какъ и изъ ихъ древности. Мы можемъ предположить, что это представители родственной намъ вѣтви общаго родословнаго дерева; что въ то время, какъ наша вѣтвь остановилась на извѣстной ступени развитія, они быстро регрессировали и либо исчезли совсѣмъ, либо стали родоначальниками высшихъ млекопитающихъ. Для провѣрки теоріи прогресса и регресса мы должны прослѣдить исторію одного какого-нибудь народа, существующаго и по сіе время. Возьмемъ же культурные народы древности, каковы китайцы, индусы, египтяне, евреи, греки, римляне. Какого бы мы ни были мнѣнія о теперешнемъ состояніи этихъ народовъ, но никто, конечно, не скажетъ, чтобы они въ прежнее время были ближе, чѣмъ теперь, къ моменту выдѣленія человѣка изъ животнаго міра.

Нельзя, конечно, отрицать, что въ цѣломъ цивилизованные народы сдѣлали въ теченіе тысячелѣтій огромные успѣхи въ наукѣ, искусствѣ, техникѣ и что факторовъ этихъ успѣховъ слѣдуетъ искать въ Дарвиновой борьбѣ за существованіе. Но замѣтимъ, что если длинный рядъ поколѣній работаетъ надъ какимъ-нибудь дѣломъ, то высота достигнутаго ими совершенства ни въ какомъ случаѣ не можетъ служить мѣриломъ качественнаго усовершенствованія человѣческаго рода. Мы просто работники, стоящіе на вершинѣ постройки, надъ которой работали многія поколѣнія. Но отъ этого мы отнюдь не совершеннѣе первыхъ работниковъ. Напротивъ, они гораздо выше насъ. Присматриваясь къ характеру цивилизаціи, легко увидѣть, что человѣкъ улучшаетъ свое положеніе въ мірѣ, но ни на волосъ не улучшается самъ въ смыслѣ усовершенствованія. Искуснѣе пользованіе силами природы, организація общества, пріисканіе средствъ для удовлетворенія потребностей, — всѣ эти улучшенія внѣш-

ихъ жизненныхъ отношеній доступны и низшимъ животнымъ, напримѣръ, многимъ насѣкомымъ. Если же мы возьмемъ спеціально человѣческія особенности: разумъ, языкъ, силу воли, нравственное достоинство, то еще вопросъ—прогрессируемъ ли мы въ этомъ отношеніи. Современные мыслители, напримѣръ, обладаютъ сравнительно громадною массою знаній, но какой изъ нихъ можетъ сравниться по силѣ мысли, по совершенству способностей съ древними философами? Или какое изъ современныхъ открытій и изобрѣтеній можетъ быть поставлено рядомъ съ изобрѣтеніемъ письма?

Выше было говорено о вѣрованіи въ особенное, исключительнее положеніе человѣка въ природѣ, какъ о предразсудкѣ. И, конечно, съ современной точки зрѣнія это предразсудокъ. Наука доказала, что въ человѣкѣ нѣтъ никакой особой, нематеріальной субстанціи, что между нимъ и другими животными нѣтъ никакой пропасти. Но имѣемъ ли мы право называть отринутыя нынѣ воззрѣнія предразсудками въ устахъ Сократа, Платона, Аристотеля или Лейбница, Декарта? Воззрѣнія эти до того тѣсно связаны со всѣми другими сторонами ихъ ученій, имѣвшими міровое значеніе, что пришлось бы всю ихъ философію называть просто глупостью. О недостаточномъ знакомствѣ съ фактами здѣсь говорить нельзя, потому что явленія, которыхъ совершенно достаточно для нашего убѣжденія, были вполнѣ извѣстны еще Аристотелю. И, однако, онъ не убѣждался, онъ всетаки признавалъ человѣческую душу чѣмъ-то существенно отличнымъ отъ остального міра. Мы выйдемъ изъ этого затрудненія очень просто, если примемъ, что обѣ стороны правы, что выхода слѣдуетъ искать въ измѣненіи не субъективныхъ мнѣній, а объективныхъ фактовъ. Въ нашемъ сознаніи потому исчезла пропасть между человѣкомъ и звѣремъ, что ослабѣло различіе между ними въ дѣйствительности: человѣкъ приблизился къ звѣрю. Смотря на вещи иначе, древніе ни мало не заблуждались, потому что въ ихъ время специфически человѣческія черты были выражены ярче, и пропасть между человѣкомъ и звѣремъ дѣйствительно существовала.

Одно изъ наиболѣе характерныхъ отличій человѣка отъ животныхъ есть религіозное чувство. Хотя Дарвинъ и доказываетъ, что оно въ зачаточномъ состояніи существуетъ и у животныхъ, но это показываетъ только, что различіе и здѣсь не абсолютно, а относительно. Тѣмъ не менѣе различіе есть, и мы должны признать религіозность, чувство зависимости отъ нѣкотораго высшаго духовнаго существа, специфическою особенностью человѣка. Вмѣстѣ съ тѣмъ никто, конечно, не станетъ отрицать постепенный упадокъ религіознаго чувства въ людяхъ. Сравните теократіи древности и полутеократіи среднихъ вѣковъ съ теперешними чисто свѣтскими конституціями государствъ; сравните древнее искусство, такъ часто направлявшееся къ исключительно религіознымъ цѣлямъ, съ теперешнимъ его эмансипированнымъ состояніемъ; сравните крестовые походы съ нынѣшними національными войнами. Прослѣдите далѣе внутреннюю исторію религіозности, и паденіе ея станетъ очевиднымъ. Отъ наивныхъ вѣрованій въ откровеніе мы идемъ къ атеизму. Мы, говоритъ авторъ, далеки отъ мысли признавать исключительное достоинство за которую-нибудь изъ этихъ стадій развитія мысли. «Нельзя смотрѣть на одинъ какой-нибудь органическій типъ,—на рыбу, на млекопитающее, на инфузорію,—какъ на истинное животное, а на всѣ остальные, какъ на выродки». Ступени развитія мысли такъ же хороши на своемъ мѣстѣ и такъ же связаны между собою началами сосуществованія и послѣдовательности, какъ и органическіе типы. Не отдавая ни одной изъ нихъ преимущества, мы только слѣдимъ за порядкомъ ихъ смѣны. Въ нашемъ случаѣ порядокъ этотъ, какъ мы видѣли, опредѣляется формулою: отъ откровенія къ атеизму. Принимая въ соображеніе вышеизложенное о религіозномъ чувствѣ, какъ о специфически человѣческой чертѣ, мы должны связать эту формулу съ болѣе общею: отъ человѣка къ звѣрю. А разъ мы имѣемъ двѣ такія ясно опредѣленныя точки линіи движенія, для насъ ясно и направленіе самого движенія: мы регрессируемъ.

Скажутъ, можетъ быть, что религіозное чувство, исчезая, не оставляетъ за собою пустого пространства, что оно съ избыткомъ замѣняется разумомъ, который также принадлежитъ къ числу специфически человѣческихъ чертъ. Но это возраженіе далеко не существенно. Инстинктъ животныхъ есть не что иное, какъ усовершенствованный, упроченный разумъ. По Дарвину, пчелы въ своихъ постройкахъ рѣшаютъ такія задачи, которыя не подъ силу человѣческимъ матеметическимъ способностямъ. По Вундту, бобры, независимо даже отъ инстинкта, обнаруживаютъ механическія и гидростатическія познанія. «По Геккелю, есть собаки, лошади и слоны, стоящіе въ умственномъ отношеніи рѣшительно выше многихъ ученыхъ». А открытое презрѣніе «образованнаго» общества къ логикѣ всѣмъ извѣстно.

Точно такъ же не замѣщается религіозное чувство и нравственными началами. Стоитъ только припомнить, что необходимое условіе, субстратъ всякаго нравственнаго принципа—«свободы воли»—есть для насъ, благодаря успѣхамъ науки, пройденная ступень иллюзіи.

Что же касается до мотивовъ и мѣрила нравственности, то на этомъ пунктѣ стоитъ остановиться подольше. Дѣйствіями человѣка управляютъ два противоположные мотива: во-первыхъ, личный интересъ, во-вторыхъ, совѣсть, чувство долга, которое, какъ бы мы ни смотрѣли на его происхожденіе, сводится къ пожертвованію личнаго интереса для блага ближняго или для общаго блага. Второй изъ этихъ мотивовъ всегда признавался этическимъ по преимуществу, ему отдавалось предпочтеніе, по крайней мѣрѣ, въ принципѣ, если не фактически. Но съ теченіемъ времени значеніе его все болѣе и болѣе стушевывается. Постепенно уменьшается число людей, руководящихся въ своихъ дѣйствіяхъ нравственными принципами, и понятія добраго и злого, справедливаго и несправедливаго отступаютъ передъ понятіемъ болѣе или менѣе целесообразнаго. Ошибочно было бы выводить изъ этого явленія какія-нибудь пессимистическія заключенія, скорбѣть о ходѣ вещей и т. п. Ходъ вещей устраиваетъ все совершенно естественно и законно: tempora mutantur et nos mutamur in illis. Измѣненіе этическаго принципа правомѣрно совершается подъ давленіемъ разъясненнаго Дарвиномъ закона сохраненія привилегированныхъ недѣлимыхъ. Въ исторіи человѣчества, какъ и въ исторіи всего мірозданія, царитъ законъ самосохраненія, и право силы есть верховное право и тамъ, и здѣсь. «Если мы допустимъ для человѣка еще какой-нибудь этическій принципъ, стоящій въ противорѣчіи съ первымъ, то во имя послѣдовательности мы должны ввести дуализмъ и въ остальную природу, принять отличный отъ матеріальныхъ силъ принципъ развитія, именно принципъ творенія». «Опытъ свидѣтельствуетъ, что наилучшіе выдерживаютъ борьбу за существованіе тѣ, кто рѣшительнѣе преслѣдуетъ свои личные интересы, кто неразборчивѣе въ своихъ средствахъ. Напротивъ, отщепенцы, налагающіе на себя цѣпи совѣсти или самопожертвованія, отодвигаются въ сторону или размозжаются колесомъ времени». Напрасно называютъ инстинктъ самосохраненія неодобрительнымъ именемъ эгоизма. Это нравственный принципъ будущаго, точно также, какъ принципъ самопожертвованія есть принципъ прошедшаго, когда борьба за существованіе еще не велась съ такою напряженностью. Справедливо говорятъ, что общее благо наилучше достигается, когда отдѣльныя личности совершенно свободно преслѣдуютъ свое личное благо. Извѣстно, что прогоняя нищаго, мы болѣе содѣйствуемъ и его собственному благу, и благу общества, чѣмъ посредствомъ порывовъ мягкосердія. Итакъ, наши правила нравственности измѣняются въ направленіи отъ благороднаго самопожертвованія къ эгоизму. Но это есть, вмѣстѣ съ тѣмъ, движеніе по направленію отъ человѣка къ звѣрю, который руководствуется въ своихъ дѣйствіяхъ, вообще говоря, исключительно эгоизмомъ. И здѣсь, слѣдовательно, мы видимъ струю, направленную прямо внизъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, сглаживающую различія между человѣкомъ и другими животными. Тотъ же процессъ уравненія признаковъ, а не расхожденія ихъ, какъ утверждаетъ Дарвинъ, можно наблюдать и въ средѣ человѣческаго общества.

Сюда относится, во-первыхъ, давно замѣченное исчезновеніе рѣзко опредѣленныхъ духовныхъ физіономій, оригинальныхъ характеровъ. Сюда же слѣдуетъ отнести и постепенное уравненіе личныхъ мнѣній, покоряемыхъ общими вѣрованіями. Но очевиднѣе всего этотъ процессъ въ соціально-политической области. Мы видимъ, что люди раздѣлены на расы, національности, государства, сословія, корпораціи, раздѣлены по языкамъ, вѣрованіямъ, обычаямъ, и проч. Суть большинства этихъ обособленій состоитъ въ томъ, что самостоятельность и свобода отдѣльныхъ недѣлимыхъ приносятся въ жертву интересамъ нѣкотораго высшаго цѣлаго или нѣкоторыхъ привилегированныхъ личностей. Но, вглядываясь въ исторію развитія этихъ обособленій, не трудно замѣтить, что они въ прежнее время были гораздо рѣзче и что они все болѣе и болѣе сглаживаются. Междусословныя стѣны такъ или иначе рушатся; желѣзныя дороги, наука, литература перебрасываютъ мосты отъ одной національности къ другой; національные костюмы отступаютъ передъ всенивелирующей модой; дѣятельность таможенъ сокращается; цехи исчезли или исчезаютъ; мелкія государства вливаются въ большія, и т. д. Это направленіе, столь ясное и характеристичное, есть не что иное, какъ частное повтореніе міровогo процесса отъ сложнаго къ простому, отъ большого къ малому, отъ разнообразія къ однообразію.

Итакъ, міровой процессъ, по изслѣдованію нашего автора, діаметрально-противоположенъ изображаемому Дарвиномъ. Дарвинъ прекрасно объяснилъ ходъ вещей отъ зарожденія органической жизни на землѣ до настоящаго момента. Но онъ рѣшительно не въ силахъ освѣтить съ своей точки зрѣнія будущее. Нашъ авторъ, съ другой стороны, сознаетъ, что, разъяснивъ будущее, онъ не знаетъ, какъ пристроить свою точку зрѣнія къ отдаленному прошедшему. Какъ тутъ быть? Авторъ рѣшаетъ вопросъ просто. Правъ Дарвинъ, говоритъ онъ, правъ и я. Онъ правъ для прошедшаго, я — для будущаго. Если вы бросите камень, то до извѣстной точки онъ будетъ летѣть вверхъ, но затѣмъ сила тяже-

сти перевѣситъ силу толчка, и камень упадетъ на землю. Такъ и съ органической жизнью. Первоначально тенденція ея была въ сторону дивергенціи, расхожденія признаковъ. Но на извѣстной точкѣ должна начаться конвергенція, уравненіе признаковъ. Мы находимся на точкѣ перелома. Мы стоимъ какъ бы на высокой горѣ, оба склона которой представляются нашимъ взорамъ съ одинаковою ясностью.

III.

Мы предупредили читателя, что ему придется выслушать много вздора, несообразностей, противорѣчій, и проч. Тѣмъ не менѣе, мы привели содержаніе книжки неизвѣстнаго автора отнюдь не для того только, чтобы посмѣшить читателя. Это прежде всего діалектическій фокусъ, мѣстами дубоватый, мѣстами довольно ловкій и остроумный. Иногда просто кажется, что это пародія на дарвинизмъ, которой, если она, по замыслу автора, дѣйствительно пародія, нельзя отказать въ нѣкоторой удачѣ. Но тонъ автора до такой степени серьезенъ, нѣкоторыя соображенія его въ такой мѣрѣ лишены шутовского характера, что на мысли о пародіи установиться трудно, какъ ни тянетъ къ этому, хоть бы, напримѣръ, серьезность ссылки на бутаду Геккеля: нѣкоторые слоны, лошади и собаки въ умственномъ отношеніи стоятъ гораздо выше многихъ ученыхъ. Порѣшивъ на томъ, что нѣмцы бываютъ всякіе, возьмемъ книжку, какъ она есть, безотносительно къ тайнымъ замысламъ автора, если таковые и были. Балаганитъ авторъ, или нѣтъ, но онъ ставитъ интересную задачу, до сихъ поръ мало кому приходившую въ голову. Балаганно онъ ее разрѣшаетъ, или нѣтъ, но указанный имъ пунктъ, дѣйствительно, можетъ служить отчасти пробою для дарвинизма и, вмѣстѣ съ тѣмъ, глубоко затрогиваетъ кровные интересы людей. Балаганитъ авторъ, или нѣтъ, но принятый имъ тонъ изслѣдованія можетъ быть названъ въ нѣкоторомъ отношеніи типическимъ тономъ современной мысли.

Часто говорятъ объ естественной нравственности, объ естественномъ правѣ, объ естественномъ хозяйствѣ, объ естественномъ ходѣ вещей, какъ регуляторѣ человѣческихъ дѣлъ, и проч. При этомъ прилагательному «естественный» придается нѣкоторое, если не магическое, то, во всякомъ случаѣ, санктирующее значеніе. Предполагается, что такъ называемая естественння мораль, экономія и т. д. необходимо выше всякой другой морали и экономіи, что, если предоставить дѣла ихъ естественному теченію, то результаты будутъ лучше, чѣмъ если бы мы старались измѣнить его. Словомъ, «естественный» значитъ «нормальный». Прилагательное «естественный» получило это санктирующее значеніе въ прошломъ столѣтіи. Тогда всѣ оттѣнки политической мысли, Руссо, Бриссо, энциклопедисты, физіократы, экономисты, были болѣе или менѣе проникнуты этою идеей. Въ каждомъ частномъ случаѣ это обращеніе къ «естественности», какъ къ панацеѣ, обусловливалось комбинаціей частныхъ причинъ. Но въ общемъ это былъ протестъ противъ «неестественности» средневѣковаго общественнаго строя, приписывавшаго себѣ «сверхъестественное» происхожденіе. Нѣкоторыя изъ выработанныхъ подъ вліяніемъ такого настроенія доктринъ давно уже утратили свое первоначальное содержаніе. Такъ, напримѣръ, основаніе естественнаго права въ прошломъ столѣтіи составляла идея равенства. Нынѣ, собственно, естественное право вышло изъ моды, но тамъ, гдѣ оно имѣетъ мало-мальски оригинальное содержаніе, оно отправляется отъ естественнаго неравенства людей. Но общій тезисъ, подсказанный требованіями минуты, уцѣлѣлъ и по сіе время, благодаря школьной политической экономіи и отчасти нѣмецкой философіи. Въ особенности, первая, развивая девизъ, данный ей еще физіократами: laissez aller, laissez passer, le monde va de lui même,— способствовала идеализаціи «естественности». Въ новѣйшее время возвеличеніе этой идеи взялъ на себя дарвинизмъ. Нѣкоторыхъ дарвинизмъ прельстилъ заключающейся будто бы въ немъ идеей естественнаго братства. Къ числу такихъ, впрочемъ, очень немногихъ, сантиментальныхъ людей принадлежитъ, напримѣръ, старый Мишле. Въ своемъ послѣднемъ трудѣ, «Histoire du XIX siècle», онъ съ восторгомъ говоритъ о Ламаркѣ, какъ объ апостолѣ идеи естественнаго братства между всѣми живыми существами. Онъ прибавляетъ, что идея эта въ наше время подтверждена, между прочимъ, Дарвиномъ. Онъ забываетъ при этомъ, что доктрина Ламарка существенно отличается отъ теоріи Дарвина въ томъ отношеніи, что первый призналъ всѣ живыя существа братьями, а второй добавилъ, что эти братья относятся и должны относиться другъ къ другу, какъ Каинъ и Авель. Тутъ, пожалуй, и нечѣмъ восторгаться. Но дѣло не въ этомъ. Какъ уже сказано, этою стороною дарвинизма любуются не многіе. Несравненно большею популярностью пользуется дарвинизмъ за идею прогресса, какъ результата естественной борьбы за существованіе. Благодушный утопистъ Мальтусъ, трудъ котораго Дарвинъ называетъ «незабвеннымъ», предлагалъ людямъ умѣреннѣе размножаться, въ виду печальныхъ послѣдствій жизненной конкурренціи. Дарвинизмъ требуетъ, напротивъ, усиленнаго размноженія, усиленной жизненной конкурренціи, благодаря нестѣсняемой

«естественной» дѣятельности которой, вырабатываются все высшія и высшія формы. Эти высшія, привилегированныя формы (favoured races) *) суть, вмѣстѣ съ тѣмъ, носители основанія естественнаго права — права сильнаго. При этомъ передъ нами развертывается необъятная перспектива прошедшаго, изъ которой видно, что естественный ходъ вещей былъ въ высшей степени благодѣтеленъ, велъ органическую жизнь все вверхъ — къ красотѣ, уму и нравственности современнаго человѣка. Да здравствуетъ естественный ходъ вещей!

Но нашъ веселый нѣмецъ напоминаетъ о вещи самой простой и естественной, — о неизбѣжномъ концѣ вмѣстилища всяческаго прогресса — земли. Мысль о смерти вообще непріятная вещь. Но мы всетаки совершенно свыклись съ мыслью о собственной смерти; какъ потому, что люди умираютъ каждый день, такъ и потому, что мы живемъ не только настоящимъ, а и будущимъ. Самый простой смертный видитъ въ дѣтяхъ своихъ какъ бы нѣкоторое продолженіе самого себя. А тѣ, на долю которыхъ выпала высокая честь и обязанность служить словомъ или дѣломъ обществу, почерпаютъ изъ этого служенія еще болѣе значительное утѣшеніе, такъ какъ съ ними не умираютъ ихъ дѣла и слова. Гораздо уже труднѣе переварить смерть общества, скажемъ, народа или государства, потому что явленіе это весьма рѣдкое и, вмѣстѣ съ тѣмъ, болѣе или менѣе уничтожающее результаты нашей дѣятельности. Наконецъ, земля имѣетъ покончить свое бытіе только однажды. Это ужъ совсѣмъ не утѣшительно. Конечно, конецъ этотъ такъ далекъ, что мы не только можемъ не принимать, но даже не можемъ принимать его въ соображеніе. Самъ по себѣ онъ, можно сказать, для насъ не существуетъ. Но опять-таки къ нему надо подойти. И, слѣдовательно, тотъ самый естественный ходъ вещей, которому мы шлемъ столько благодарностей за прошедшее, и на который возлагаемъ столько надеждъ въ будущемъ, — ведетъ насъ внизъ. Вотъ мысль, рѣзко противопоставленная нашимъ веселымъ нѣмцемъ оптимизму дарвинистовъ. И благодаря рѣзкости постановки вопроса, невольно должны придти въ голову сомнѣнія насчетъ прелестей естественнаго хода вещей.

Правда, для самого автора не существуетъ даже вопросъ о значеніи естественнаго хода вещей для человѣка. Нашъ веселый нѣмецъ не отъ міра сего. И въ этомъ состоитъ вторая любопытная черта его произведенія, черта, весьма характеристическая.

Огромное большинство людей вѣритъ въ исключительное положеніе человѣка въ природѣ, въ то, что для него писаны совершенно особые законы и не писаны законы, дѣйствующіе въ остальной природѣ. Значительное большинство людей науки и образованныхъ людей вообще давно уже эманципировалось отъ этого дуализма. Но при этомъ произошло маленькое недоразумѣніе. Какое, — мы увидимъ ниже. А теперь передъ нами налицо результатъ этого недоразумѣнія — размышленія нашего веселаго нѣмца, не столько, впрочемъ, размышленія, сколько его точка зрѣнія. Не смотря на массу содержащихся въ его трактатѣ противорѣчій, трудно быть послѣдовательнѣе его въ отрицаніи дуализма, въ отрицаніи противоположности человѣка и природы. Онъ не только утверждаетъ, вмѣстѣ съ современною наукой, что между человѣкомъ и представителями остальной природы нѣтъ качественныхъ различій. Онъ идетъ гораздо дальше. Онъ говоритъ, что эгоизмъ и право силы, царящіе во всей природѣ, должны быть признаны руководящими началами и для человѣка, ибо, въ противномъ случаѣ, мы, послѣдовательности ради, должны будемъ ввести дуализмъ и въ остальную природу. Онъ смотритъ на различныя ступени развитія человѣческой мысли съ полною объективностью. Онъ не рѣшается признать ни за одною изъ нихъ, ни за вчерашнею, ни за сегодняшнею, ни за завтрашнею, никакихъ преимуществъ. Всѣ эти ступени суть для него не моменты приближенія къ его какому-нибудь субъективному идеалу, а такіе же продукты природы, какъ ступени развитія органическаго міра. Самъ онъ не волнуется никакими идеалами, надеждами, опасеніями и тому подобными слабостями. Зная, что человѣкъ и природа едино суть, онъ смотритъ, напримѣръ, на волнующую людей идею равенства и на практическое ея осуществленіе, какъ на приближеніе къ обезьянѣ, и перспектива обезьяньяго потомства его ни малѣйше не смущаетъ: такъ написано въ законахъ природы, которымъ подчиненъ и человѣкъ, tempora mutantur et nos mutamur in illis. При изслѣдованіи прогресса онъ устраняетъ всѣ выработанныя человѣкомъ понятія о худшемъ и лучшемъ, о благѣ и страданіи, о совершенствѣ и слабости. Онъ ищетъ только отвѣта на вопросъ: что послѣ чего? и съ невозмутимымъ спокойствіемъ говоритъ: прогрессъ есть регрессъ. Многіе должны позавидовать этой неимовѣрной объективности веселаго нѣмца. Не въ первый ужъ разъ видимъ мы попытку опредѣлить пути человѣческаго прогресса безотносительно къ человѣку, къ его надеждамъ и стремленіямъ, на-

*) Любопытно, что въ первыхъ изданіяхъ нѣмецкаго перевода это выраженіе переведено „vervollkommnete Rassen» (усовершенствованныя породы), а въ двухъ послѣднихъ — «begünstigte» (покровительствуемыя, привилегированныя).

слажденіямъ и страданіямъ. Но дѣло въ томъ, что позитивисты, напримѣръ, провидятъ въ дальнѣйшей исторіи человѣчества только развитіе положительнаго знанія; значитъ, для нихъ въ будущемъ есть нѣчто хорошее и хорошо гарантированное. Поэтому имъ не особенно трудно прикидываться совершенно безстрастными наблюдателями естественнаго хода вещей. Или, напримѣръ, экономисты. Въ ихъ спокойствіи, въ ихъ объективности, въ ихъ довѣріи къ естественному ходу вещей нѣтъ ничего удивительнаго, такъ какъ они увѣрены, что тамъ, впереди, находится гармонія интересовъ. Нашъ нѣмецъ находится въ совсѣмъ иномъ положеніи. Онъ впереди обезьяну видитъ и, тѣмъ не менѣе, ни мало не смущается. Повидимому, эта непреклонная объективность должна бы была сообщить автору прочную точку опоры, гарантировать отъ противорѣчій и дать ему возможность безошибочно отвѣтить на обнаженный отъ всякихъ постороннихъ примѣсей вопросъ: что послѣ чего? Между тѣмъ никакой точки опоры авторъ, очевидно, не имѣетъ, потому что, въ концѣ концовъ, даже враждебный ему дуализмъ онъ готовъ признать законнымъ и соотвѣтствующимъ истинѣ въ прошедшемъ. Противорѣчій въ его веселомъ произведеніи такая бездна, что нѣтъ почти возможности, да нѣтъ и надобности, за ними слѣдить. Наконецъ, даже оголенный вопросъ: что послѣ чего? получаетъ отвѣтъ совершенно неправильный.

При этомъ мы имѣемъ въ виду не общій смыслъ его теоріи, которая при всей своей несообразности заключаетъ въ себѣ, однако, нѣкоторое зерно истины. А также не практикуемое имъ пришиваніе своей теоріи бѣлыми нитками, съ одной стороны, къ теоріи Дарвина, а съ другой,—къ теоріи Клаузіуса. Здѣсь онъ является просто моднымъ современнымъ фокусникомъ, съ беззаботностью мотылька порхающимъ по вопросамъ жизни и съ рѣшительностью Александра Македонскаго разрубающимъ Гордіевы узлы. Гораздо поучительнѣе слѣдующій промахъ веселаго нѣмца. Стремясь обнажить вопросъ о прогрессѣ отъ всякихъ субъективныхъ примѣсей, желая смотрѣть на міръ, «ковыряя въ носу», какъ сказалъ бы Гоголь, или объективно, какъ говорятъ другіе, веселый нѣмецъ упускаетъ изъ виду то, что находится у него подъ носомъ,—результаты борьбы человѣка съ природой. Въ его картинѣ недостаетъ такой простой и очевидной черты, какъ вѣроятное для очень близкаго будущаго исчезновеніе, по крайней мѣрѣ, въ цивилизованныхъ странахъ дикихъ звѣрей и вытѣсненіе культурными растеніями дикорастущихъ. За то онъ вводитъ въ свою картину такія ни съ чѣмъ несообразныя фантазіи, какъ обростаніе человѣка шерстью, появленіе у него хвоста, превращеніе ногъ въ руки. Ясно, что отъ этихъ именно измѣненій человѣкъ безусловно гарантированъ. И гарантированъ, благодаря именно тому обстоятельству, которымъ обусловливается исчезновеніе вредныхъ для человѣка животныхъ и безполезныхъ для него растеній. Обстоятельство это есть ни болѣе, ни менѣе, какъ самъ человѣкъ, его цѣлесообразная дѣятельность. Разъ человѣкъ надѣлъ одежду,—его кожа гарантирована отъ важныхъ измѣненій; онъ будетъ носить, сообразно внѣшнимъ условіямъ, то мѣхъ, то выдѣланную шерсть, то полотно и тѣмъ самымъ обезпечитъ неприкосновенность своей кожи. Разъ человѣкъ изобрѣлъ болѣе или менѣе сложныя механическія орудія,—конечности его опять-таки не подлежатъ сколько-нибудь значительнымъ видоизмѣненіямъ; онъ будетъ приспособлять къ внѣшнимъ условіямъ не руки свои, а изобрѣтенныя имъ механическія орудія. Силою своего разума человѣкъ ставитъ между собою и силами природы извѣстныхъ посредниковъ, на которыхъ и отзывается непосредственная его борьба за существованіе. Онъ уже не столько приспособляется къ стихійнымъ, природою даннымъ условіямъ существованія, сколько ихъ приспособляетъ къ себѣ. Допустимъ, что разсужденія нашего веселаго нѣмца, напримѣръ, о неизбѣжности ползучаго типа для растеній въ абстрактѣ совершенно справедливы, что таковъ именно ходъ вещей. Но еще вопросъ, допуститъ ли человѣкъ осуществиться этой наклонности растеній. А, очевидно, онъ допуститъ это только въ такомъ случаѣ, если это окажется для него выгоднымъ. Конечно, и человѣческая дѣятельность имѣетъ предѣлы, но, тѣмъ не менѣе, искусственный подборъ стремится замѣнить собою подборъ естественный и замѣняетъ его все въ большей и большей мѣрѣ. Веселый нѣмецъ слона-то и не примѣтилъ. А это дѣйствительно слонъ. Достигнувъ извѣстной ступени историческаго развитія, человѣкъ уподобляется Іисусу Навину, который говоритъ солнцу: стой!—и солнце стоитъ. Разница, однако, въ томъ, что Іисусъ Навинъ совершилъ, по библейскому сказанію, чудо, нѣчто сверхъестественное, а человѣкъ, измѣняя окружающій міръ, не думаетъ выбиваться изъ круга общихъ законовъ природы. Онъ не дѣлаетъ и не можетъ дѣлать ничего неестественнаго, потому что неестественное значитъ именно невозможное. Но, тѣмъ не менѣе, дѣятельность его рѣзко отличается отъ другихъ естественныхъ процессовъ по отношенію къ нему самому, творцу этой дѣятельности. Посмотримъ же, въ чемъ, ближайшимъ образомъ, состоитъ дѣятельность человѣка на землѣ, каково отношеніе ея къ другимъ процессамъ природы, и каковы

результаты столкновенія этихъ двухъ теченій.

Цитируемый Дарвиномъ Сомервиль говоритъ о нѣкоторыхъ искусныхъ скотоводахъ: «словно они начертили на стѣнѣ идеально совершенную форму овцы и придали ей жизнь». Вотъ простѣйшій образецъ человѣческой дѣятельности. Побуждаемый своими надобностями, человѣкъ строитъ нѣкоторый идеалъ и, руководимый знаніемъ, достигаетъ его, то-есть получаетъ удовлетворяющую его комбинацію впечатлѣній и ощущеній. Взятый нами примѣръ крайне простъ; идеалъ достигается съ легкостью и увѣренностью, какія характеризуютъ преимущественно привычную механическую дѣятельность человѣка. Въ другихъ случаяхъ идеалы не только труднѣе достижимы, но и несравненно менѣе ясны, такъ что на отысканіе идеала и опредѣленіе его подробностей тратится человѣкомъ, вообще, не меньше силъ, чѣмъ на его осуществленіе. Какъ бы то ни было, но изъ нашего примѣра видно всетаки отношеніе человѣческой дѣятельности къ другимъ естественнымъ процессамъ. Овца, какою она вышла изъ рукъ слѣпыхъ силъ природы и предшествующихъ поколѣній людей, не удовлетворяетъ человѣка. Онъ передѣлываетъ ее въ виду своихъ собственныхъ интересовъ, отнюдь не давая простора ни естественному подбору, ни какимъ бы то ни было интересамъ самой овцы. Весьма вѣроятно, что та формы овцы, которая даетъ наибольше шерсти и жиру, крайне невыгодна для нея самой. Весьма вѣроятно, что эта идеальная форма связана съ какими-нибудь болѣзнями, недолговѣчностью овцы и т. п. Во всякомъ случаѣ, естественный подборъ только въ видѣ частнаго, исключительнаго случая могъ бы произвести такую, только для человѣка (и даже только для скотовода, потому что эстетикъ легко можетъ ею не удовлетвориться) идеально совершенную форму овцы. Представимъ себѣ всю область человѣческой дѣятельности въ дѣлѣ искусственнаго подбора животныхъ и растеній, и намъ станетъ ясно, какъ нелѣпо было бы игнорировать роль человѣческой дѣятельности въ дальнѣйшей исторіи жизни на землѣ, и какъ эта дальнѣйшая исторія должна отличаться по своему характеру отъ предыдущей. Ясно, напримѣръ, что хищныя животныя, если даже имъ такъ написано на роду, не успѣютъ обратиться въ травоядныхъ, потому что будутъ истреблены человѣкомъ или приручены. До развитія человѣческой дѣятельности, до вліянія на жизнь его идеаловъ, слѣпыя силы природы измѣняли организмы безъ всякаго опредѣленнаго направленія и давали побѣду «привилегированнымъ», которыхъ можно назвать такъ только именно потому, что они одержали побѣду, и ничто не мѣшало имъ быть во многихъ отношеніяхъ ниже побѣжденныхъ. По мѣрѣ развитія человѣческой дѣятельности, этотъ порядокъ вещей измѣняется. Измѣненія организмовъ происходятъ въ одномъ направленіи,—въ направленіи интересовъ человѣка, а не въ интересахъ нѣкоторыхъ счастливцевъ каждаго вида. Конечно, всегда могутъ остаться нѣкоторыя заповѣдныя, недоступныя для человѣка области дѣйствія естественнаго подбора. Но мы говоримъ объ общемъ характерѣ и направленіи процесса.

Что же въ это время дѣлается съ человѣкомъ? Представимъ себѣ нашего отдаленнаго предка, который всковырялъ извѣстное пространство земли какимъ-нибудь подобіемъ скребка или лопаты, разсыпалъ нѣсколько зеренъ и дождался плодовъ своего нехитраго труда. Разъ онъ это совершилъ, измѣненіе его переднихъ конечностей, въ предѣлахъ взятаго нами примѣра, уже не требуется обстоятельствами его жизни (оно безъ сомнѣнія не требовалось уже гораздо раньше; нашъ примѣръ годится только для наглядности). Требуется измѣненіе скребка, каковое можетъ совершиться, не принимая въ соображеніе какихъ-нибудь счастливыхъ случайностей, только благодаря усиленной умственной дѣятельности. Надо выдумать что-нибудь лучше скребка. Сознается необходимость глубже взрывать почву. Вырабатывается идеалъ пригоднаго орудія и обработки поля. И вотъ скребокъ замѣняется лопатой, лопата сохой, соха плугомъ, человѣческая сила силой домашнихъ животныхъ, эта послѣдняя силой вѣтра, теченія воды, пара. Идеалы растутъ, подмываемые, съ одной стороны, увеличивающеюся трудностью обработки, а съ другой, собственной инціативой человѣка. И каждый изъ этихъ шаговъ впередъ, во-первыхъ, все болѣе и болѣе обезпечиваетъ физическую (въ грубомъ смыслѣ слова) неприкосновенность человѣческаго типа, и во-вторыхъ, вызываетъ извѣстныя измѣненія умственной природы человѣка. Въ числѣ орудій приспособленія одно изъ важнѣйшихъ мѣстъ занимаетъ кооперація, которая вызываетъ рядъ измѣненій собственно нравственнаго характера. И здѣсь человѣкъ ставитъ передъ собой извѣстные идеалы и стремится выработать удовлетворительную комбинацію ощущеній и впечатлѣній. Намъ не зачѣмъ слѣдить здѣсь за ходомъ всѣхъ этихъ измѣненій. Намъ нужно только опредѣлить ихъ общее направленіе, а оно очевидно: исторія жизни на землѣ стремится обратиться въ исторію человѣческихъ идеаловъ. Ростъ и паденіе идеаловъ, ихъ смѣна, способы достиженія ихъ, матеріалы, идущіе на ихъ теоретическую постройку и практическое осуществленіе,—вотъ элементы дальнѣйшей исторіи жизни на землѣ. Конкретнымъ обра-

зомъ они выразятся слѣдующими чертами: измѣненіе органическихъ формъ въ интересахъ человѣка, сохраненіе физическаго типа человѣка въ общихъ чертахъ, измѣненіе его умственнаго и нравственнаго склада (См. объ этомъ у Спенсера и Уоллеса). Идеалы могутъ враждебно сталкиваться. Человѣкъ можетъ, напримѣръ, задуматься: обработать ли ему красивую дикую мѣстность и тѣмъ удовлетворить нѣкоторому сельско-хозяйственному идеалу, или оставить ее, какъ она есть, въ видахъ эстетическихъ. Но и въ послѣднемъ случаѣ мѣстность остается неприкосновенною только въ качествѣ человѣческаго идеала, въ качествѣ явленія, удовлетворяющаго эстетическимъ вкусамъ человѣка.

Но, спрашивается, какъ связать это будущее съ послѣднею частью романа земли? Очевидно, веселый нѣмецъ ничего такого не сдѣлалъ; онъ просто механически приставилъ свою теорію къ теоріи Клаузіуса. Если читатель спроситъ о нашемъ мнѣніи на этотъ счетъ, то мы ему отвѣтимъ: не знаемъ. И прибавимъ въ утѣшеніе, что этого и никто не знаетъ. Относительно самой послѣдней части романа существуетъ много предложеній и теорій, другъ друга исключающихъ. Существуетъ даже мнѣніе, и при томъ поддерживаемое людьми науки въ настоящемъ смыслѣ слова, что романъ земли безконеченъ. Однако, эта гипотеза мало вѣроятна. Но намъ, собственно говоря, до этого нѣтъ дѣла, не только потому, что конецъ романа слишкомъ далекъ отъ насъ для того, чтобы мы могли принимать его въ соображеніе практически, но и потому, что, каковъ бы онъ ни былъ, мы будемъ, по-неволѣ, бороться до конца. Выработка идеаловъ, погоня за удовлетворяющей комбинаціей ощущеній прекратиться не можетъ. Идеалъ не только не отступаетъ передъ трудностями, но, напротивъ, питается ими. Прудонъ въ своей книгѣ объ искусствѣ задавалъ себѣ роковой вопросъ и отвѣтилъ на него такъ: «Я не вѣрю, чтобы всемірный человѣкъ Паскаля, вѣчно учащійся, вѣчно развивающійся, накопляющій богатства и безсмертный, могъ дряхлѣть и приходить въ упадокъ. Онъ можетъ мучиться, колебаться, временно падать и подыматься, но мнѣ кажется совершенно невозможнымъ, даже противорѣчивымъ, чтобы нравственное его паденіе могло быть постояннымъ, продолжительнымъ. Человѣчество когда-нибудь кончится, говорятъ нѣкоторые; земля, служившая ему колыбелью, сдѣлается для него гробницей. Я могу допустить, что планета наша можетъ состарѣться,—хотя я этого и не знаю; я допускаю это потому, что планета не духъ, не совѣсть и не свобода; но, въ такомъ случаѣ, человѣчество, постоянно уменьшаясь въ своей массѣ, вслѣдствіе неблагопріятныхъ условій почвы, уничтожится, такъ сказать, добровольно, не истощившись, а перейдя въ высшую духовность. Достигнувъ совершенства, человѣкъ кончится. Достигнувъ высшей степени сознанія, пониманія свободы и своего достоинства, въ виду истощенной, дряхлой природы, ставшей ниже его, одухотворенный человѣкъ, безъ сожалѣнія къ своей неудавшейся судьбѣ, долженъ будетъ согласиться съ необходимостью и завѣщать свою душу болѣе юному міру». Такъ или иначе, но мы можемъ руководствоваться только воображеніемъ, говоря о конечныхъ формахъ великой борьбы человѣка съ природой за существованіе. Можно придумать много различныхъ комбинацій, но всѣ онѣ будутъ построены на пескѣ. Отъ этой мысли, какъ и, вообще, отъ постройки *конечнаго* идеала, мы должны отказаться. Милль говоритъ въ своемъ трактатѣ политической экономіи о «неподвижномъ состояніи общества» въ экономическомъ отношеніи, какъ о возможномъ и желательномъ будущемъ. И объ этомъ можно разсуждать, къ этому идеалу можно стремиться. Но экономическая неподвижность не исключаетъ собою дальнѣйшихъ идеаловъ нравственныхъ, умственныхъ, эстетическихъ. И, слѣдовательно, конечнаго идеала, достаточно ярко обозначеннаго, мы не имѣемъ. Для насъ важны не эти, облеченные въ плоть и кровь, послѣдніе образы, а направленіе нашей дѣятельности. Ринутся ли послѣдніе люди въ битву съ тѣмъ отчаяніемъ, съ которымъ горсть удальцовъ бросаются въ сраженіи на вѣрную смерть, угаснетъ-ли человѣчество тихо и постепенно, сокращаясь въ числѣ; нанесетъ-ли оно послѣдніе удары само себѣ,—во всякомъ случаѣ, пути природы и человѣка разные. И возникающая отсюда борьба за существованіе, проявляясь въ иныхъ формахъ, чѣмъ между другими дѣятелями природы, тѣмъ не менѣе, безпощадно обязательна. Идеалъ и стремленіе къ его осуществленію возникаютъ такъ же фатально, какъ самыя пассивныя приспособленія низшихъ существъ. Простыя физіологическія нужды и высшіе нравственные идеалы гонятъ насъ все впередъ и впередъ, на вѣчную фатальную борьбу съ безсмысленной природой, борьбу, въ которой мы остановиться не можемъ. Конечный идеалъ для насъ теменъ, мы побуждаемся къ дѣйствію только ближайшими идеалами, и конецъ романа земли практически важенъ для насъ только, какъ указаніе на безсмысленность и *негуманность*, безчеловѣчность естественнаго хода вещей. Но мы люди и можемъ руководствоваться только *гуманностью*, въ широкомъ смыслѣ слова, только человѣчностью. И одно это уже фатально обязываетъ насъ на борьбу съ природой, каковы бы ни были ея конечные результаты.

Спрашивается, какого мнѣнія должны мы

держаться въ виду всего этого относительно естественной морали, естественнаго права, естественной экономіи, естественнаго хода вещей, какъ регулятора человѣческихъ дѣлъ? Каково ихъ отношеніе къ нашимъ идеаламъ? Очевидно, что люди, толкующіе о естественномъ ходѣ вещей, какъ о благодѣтельномъ регуляторѣ человѣческихъ дѣлъ, находятся во власти нѣкотораго недоразумѣнія. Кусокъ хлѣба, снящійся голодному нищему; красавица, о которой мечтаетъ юноша; форма овцы, которой добивается скотоводъ; общественный строй, представляющійся мыслителю осуществленіемъ справедливости; механическое приспособленіе, задуманное техникомъ,—водъ идеалы или, вѣрнѣе, элементы идеаловъ. Но развѣ не естественный ходъ вещей породилъ сонъ нищаго, мечту юноши, идеалъ овцы, думу мыслителя, работу техника? Развѣ не естественный ходъ вещей побудитъ нищаго, возставъ отъ сна, протянуть руку за подаяніемъ, наняться въ работники или ограбить прохожаго? Развѣ не естественный ходъ вещей побудитъ человѣка стремиться тѣми-ли, другими-ли путями къ осуществленію его идеала справедливости? Развѣ дѣйствіе механическаго приспособленія, изобрѣтеннаго техникомъ, будетъ менѣе естественно, чѣмъ ростъ растенія, дыханіе человѣка, притяженіе земли, соединеніе химическихъ элементовъ и проч.? Вообще, развѣ возможенъ какой-нибудь не естественный ходъ вещей? Развѣ неестественна, собственно говоря, самая безумная мечта? Единственный смыслъ, который можетъ быть навязанъ выраженію «естественный ходъ вещей», состоитъ въ невмѣшательствѣ человѣка. Дано извѣстное сочетаніе силъ; если мы не будемъ вмѣшиваться въ дальнѣйшее развитіе этой комбинаціи, то это будетъ естественный ходъ вещей. Но въ такомъ случаѣ надо признать, что естественный ходъ вещей существуетъ только тогда и тамъ, когда и гдѣ нѣтъ человѣка, потому что человѣкъ каждымъ своимъ шагомъ, простѣйшими жизненными актами измѣняетъ, такъ или иначе, данную комбинацію силъ. Мы согласны, пожалуй, принять это толкованіе, единственно, впрочемъ, потому, что не возлагаемъ большихъ надеждъ на естественный ходъ вещей. Но это толкованіе не только крайне обидно для человѣка, но и ведетъ къ тому самому дуализму, который желаютъ изгнать сторонники естественнаго хода вещей. Въ самомъ дѣлѣ, рельефъ земного шара, напримѣръ, созданъ извѣстными сочетаніями космическихъ силъ. Въ созданіи его принимали участіе, между прочимъ, такія же индивидуализированныя единицы, какъ и человѣкъ. И мы говоримъ, что рельефъ земного шара опредѣлился естественнымъ ходомъ вещей. Является человѣкомъ и передѣлываетъ рельефъ земли, сообразно своимъ идеаламъ здѣсь пробиваетъ туннель, тамъ строитъ плотину, тамъ отводитъ русло рѣки, здѣсь тревожитъ залежи каменнаго угля,—и намъ приходится признать, что это неестественный ходъ вещей. За что же мы выгоняемъ такимъ образомъ человѣка изъ области естества? и куда? Мы не придираемся, не говоримъ о тѣхъ непроизвольныхъ измѣненіяхъ данной среды, которыя совершаются простѣйшими физіологическими отправленіями, актами дыханія, пищеваренія и проч. Мы говоримъ только о сознательной дѣятельности человѣка. И ее-то, очевидно, всетаки не представляется возможнымъ называть неестественною, въ какомъ бы направленіи и какими бы средствами она ни измѣняла данную среду.

Мы имѣемъ здѣсь любопытный образчикъ того, какъ иногда слова переживаютъ сами себя. Въ свое время, выраженіе «естественный ходъ вещей» имѣло очень ясный и совершенно спеціальный смыслъ. Оно выражало требованіе ослабленія узъ, наложенныхъ на личность феодализмомъ. Но оно осталось въ обиходѣ рѣчи и послѣ упраздненія феодализма, получило гораздо болѣе общій и гораздо менѣе опредѣленный смыслъ, а затѣмъ осложнилось еще дурно-понятымъ реализмомъ.

Будемъ, однако, разумѣть подъ естественнымъ ходомъ вещей все, что только подъ нимъ можно разумѣть, т.-е. всѣ процессы природы, за исключеніемъ сознательной дѣятельности человѣка. И надо замѣтить, что если мы устранимъ двусмысленность выраженія «естественный ходъ вещей» и ту смутную точку зрѣнія, благодаря которой установилась эта двусмысленность, то выдѣленіе сознательной дѣятельности человѣка изъ совокупности естественныхъ процессовъ окажется вполнѣ раціональнымъ. Оно ни малѣйше не колеблетъ общности происхожденія и свойствъ обоихъ разрядовъ явленій. Оно установляетъ только извѣстную классификацію, не устраняющую полезности и необходимости другихъ классификацій. Разумъ, воля и чувство человѣка, стремящіеся стать верховными активными дѣятелями природы, подобно всѣмъ другимъ сложнымъ факторамъ, представляютъ собою просто извѣстное сочетаніе основныхъ силъ природы. Это сочетаніе развивалось постепенно, начиная съ низшихъ ступеней органической лѣстницы. Представители каждой изъ этихъ ступеней боролись съ остальной природой, по необходимости противопоставляли себя ей, но, или падали въ этой борьбѣ, или распространяли свое вліяніе въ болѣе или менѣе узкихъ предѣлахъ. Только съ развитіемъ цѣлесообразной дѣятельности человѣка остальная природа встрѣтила врага достаточно могучаго, чтобы побѣдить и время, и пространство, и климатъ, и

естественный ходъ вещей. Когда говорятъ, что земля постепенно, естественнымъ ходомъ вещей приготовилась къ существованію человѣка, то это справедливо въ томъ условномъ смыслѣ, что человѣкъ могъ явиться только послѣ многовѣковыхъ измѣненій земной поверхности и органической жизни. Но тѣмъ не менѣе, земля оказалась скорѣе мачихой, чѣмъ заботливой матерью человѣка. Вообще говоря, человѣкъ весьма рѣдко удовлетворяется комбинаціей ощущеній и впечатлѣній, получаемыхъ имъ отъ процессовъ и результатовъ естественнаго хода вещей. Онъ раздѣляетъ то, что природа соединяетъ, и наоборотъ; онъ перебрасываетъ мосты черезъ рѣки и прорываетъ каналы; перевозитъ естественныя произведенія одной страны въ другую, гдѣ они, пожалуй, не естественны; объединяетъ естественныя группы—народы общими вѣрованіями и раздѣляетъ народъ на классы; проводитъ воду туда, гдѣ, по естественнымъ условіямъ, она скопиться не могла, и осушаетъ болота; развиваетъ въ животныхъ и растеніяхъ такія формы и особенности, которыя противны естественному ходу вещей, и т. д., и т. д. Это даетъ уже намъ нѣкоторое право думать, что нѣчто прогрессивное въ смыслѣ естественнаго хода вещей можетъ оказаться регрессивнымъ въ человѣческомъ смыслѣ и наоборотъ. Человѣкъ приноситъ съ собою въ міръ новую силу, которая, какъ и всѣ другія сложныя силы, представляетъ извѣстное сочетаніе основныхъ силъ природы и, подобно всѣмъ другимъ силамъ, стремится охватить всю природу. Сила размноженія, какъ извѣстно, такова, что каждый видъ покрывалъ бы въ короткое время землю своимъ потомствомъ, если бы не встрѣчались столкновенія съ другими силами природы. Изъ этого, однако, не слѣдуетъ, чтобы напряженность силы размноженія, вообще и въ каждомъ частномъ случаѣ, была неестественна. Точно такъ же цѣлесообразная дѣятельность человѣка стремится овладѣть природой, вовсе не переставая быть естественной. Но понятно, что для человѣка его разумная дѣятельность рѣзко выступаетъ изъ среды другихъ дѣятелей природы и имѣетъ совершенно особое спеціальное значеніе. Она имѣетъ таковое уже потому, что она *наша* дѣятельность. Ни малѣйше не сомнѣваясь въ естественности мотивовъ, цѣлей и средствъ человѣческой дѣятельности, нельзя, однако, не признать, что она въ нашихъ глазахъ пользуется и должна пользоваться нѣкоторою преміей по сравненію съ другими, столь же естественными процессами. А это уже обязываетъ насъ къ нѣкоторому дуализму, хотя и не къ тому, который признаетъ человѣка существомъ, стоящимъ внѣ законовъ природы. Такъ что веселый нѣмецъ, можетъ быть, и не правъ, говоря: «если мы допустимъ для человѣка еще какой-либо этическій принципъ, стоящій въ противорѣчіи съ правомъ силы и эгоизмомъ, то, во имя послѣдовательности, мы должны ввести дуализмъ и въ остальную природу, принять отличный отъ матеріальныхъ силъ принципъ развитія».

Удивительное мы съ вами время переживаемъ, читатель. Приходится доказывать, что чувства и воззрѣнія, противоположныя эгоизму и праву силы, не неестественны! А между тѣмъ, кажется, чего проще: эти чувства и воззрѣнія существовали испоконъ вѣку, участвовали въ историческомъ процессѣ, хотя далеко не всегда побѣждали, и кристаллизировались въ исторіи, существуютъ, наконецъ, и по сіе время. Существовали, существуютъ, значитъ, кажется, по малой мѣрѣ, естественны. Приходится доказывать, что изъ того, что человѣкъ—животное, еще вовсе не слѣдуетъ, чтобы для него обязательно было быть скотомъ. Тѣни великихъ служителей человѣчества, вы всѣ, для насъ мыслившіе и страдавшіе и пролившіе кровь и молившіеся, заблуждавшіеся и находившіе истину,—посмотрите на насъ; посмотрите, что спекли мы изъ вашей крови и мысли: съ одной стороны, пропись—будь добродѣтеленъ, ибо добродѣтель торжествуетъ, а порокъ наказуется; съ другой стороны, нѣчто, не имѣющее имени—добродѣтель есть порокъ, порокъ же есть добродѣтель или, по крайней мѣрѣ, добродѣтель неестественна. И особенно достойно вниманія, что и эти прописи, и это нѣчто, не имѣющее имени, существуютъ совмѣстно и ни малѣйше другъ друга не стѣсняютъ. Даже нашъ веселый нѣмецъ не чуждъ прописи. Онъ, подобно Мишле, радуется естественному братству всѣхъ земныхъ тварей и проистекающимъ отсюда высокимъ, гуманнымъ чувствамъ!

Читатель отнюдь не долженъ смущаться тѣмъ, что веселый нѣмецъ не то сумасшедшій, не то клоунъ, не то серьезный и остроумный человѣкъ. Имя ему легіонъ, хотя мысли, высказываемыя имъ, высказываются другими не въ столь парадоксальной формѣ. Но форма, конечно, ничего не значитъ, и мы нѣмца веселаго взяли только потому, что онъ, по своей неустрашимости, особенно удобенъ для наблюденій.

АНАЛОГИЧЕСКІЙ МЕТОДЪ ВЪ ОБЩЕСТВЕННОЙ НАУКѢ *)

(Исторія и методъ. Сочиненія Александра Стронина 1869 г.)

I.

Общественная наука есть «дѣло, которое, вѣроятно, составитъ великій умственный подвигъ ближайшихъ двухъ или трехъ поколѣній мыслителей Европы». Такими словами заключаетъ Стюартъ Милль свою «Систему логики». Но развѣ общественная наука еще не существуетъ? Развѣ у насъ нѣтъ науки экономической, науки права со всѣми ея многочисленными развѣтвленіями, науки исторической съ ея подспорьями—археологіей, нумизматикой, сравнительной филологіей и проч.? Безъ всякаго сомнѣнія, все это у насъ есть и, тѣмъ не менѣе, мыслителямъ Европы предоставляется совершить умственный подвигъ—создать общественную науку. Что же это за несуществующая наука и въ чемъ тутъ дѣло? Дать вполнѣ удовлетворительный отвѣтъ на этотъ вопросъ мы не беремся; но намекнуть на отвѣтъ намъ придется, потому что лежащая передъ нами книга г. Александра Стронина имѣетъ въ виду, именно, уясненіе нѣкоторыхъ пунктовъ общественной науки, о чемъ, впрочемъ, довольно трудно догадаться по странному заглавію. Мы прочли эту книгу съ большимъ любопытствомъ, а прочитавъ, тотчасъ же взялись за перо, чтобы представить читателю посильную оцѣнку нѣкоторыхъ основныхъ положеній г. Стронина, по нашему крайнему разумѣнію, достойныхъ особеннаго вниманія. При томъ же г. Стронинъ предлагаетъ оригинальную классификацію соціальныхъ наукъ и оригинальный методъ ихъ, и уже по одному этому мы сочли своею обязанностью остановиться подольше на его книгѣ. Но этого мало. Какъ мы уже сказали, нѣкоторые взгляды автора заслуживаютъ особеннаго вниманія, ибо въ нихъ отражается весьма важная, хотя, по всей вѣроятности, временная сторона современнаго мышленія вообще.

Прежде всего бросилось намъ въ глаза то обстоятельство, что книжка г. Стронина «посвящается славянскимъ гостямъ Россіи 1867 года». Конечно, всякій воленъ посвящать свои труды кому угодно. Но всякій воленъ также дѣлать изъ посвященія свои заключенія, каковыя, разумѣется, очень затруднительны, когда книжка посвящается частному лицу, но, напротивъ, невольно, сами собой напрашиваются, когда она посвящена людямъ, такъ сказать, публичнымъ, какъ въ настоящемъ случаѣ. Откровенно говоря, мы были изумлены тѣмъ, что «Исторія и методъ» посвящается «славянскимъ гостямъ Россіи 1867 года». Еще болѣе, откровенно говоря, это посвященіе не расположило насъ въ пользу труда г. Стронина. Мы думали встрѣтиться въ немъ съ отголосками напускной горячки 1867 г. или съ истертыми тезисами славянофильства. Но мы ошиблись. Въ самомъ концѣ книги наткнулись мы на слѣдующую подозрительную фразу: «Мы пережили въ нашей христіанской эрѣ и ступень древняго востока—въ романскихъ среднихъ вѣкахъ, переживаемъ и ступень Греціи—въ германской новой исторіи, остается ступень Рима—будущность славянства». Это заключительныя слова книги. Но затѣмъ, въ самой книгѣ, на всемъ пространствѣ отъ посвященія до заключенія, есть только одно мѣсто въ духѣ русскихъ хозяевъ (т. е. людей, принимавшихъ славянскихъ гостей 1867 г.; мы дѣлаемъ это поясненіе для непроницательныхъ читателей, могущихъ подумать, что рѣчь идетъ о людяхъ, знающихъ толкъ въ сельскомъ, домашнемъ, государственномъ или иномъ какомъ-нибудь хозяйствѣ). И за исключеніемъ этого мѣста, которое мы, въ свое время, покажемъ читателю, въ книгѣ г. Стронина не только нѣтъ ничего такого, что бы могло польстить русскимъ хозяевамъ, но есть даже вещи, которыя имъ должны крайне не понравиться. Г. Стронинъ полагаетъ, что исторія, какъ наука, началась собственно съ Бокля; большинство русскихъ хозяевъ, имѣя въ виду историческія работы г. Погодина, Шевырева, и проч., съ таковымъ мнѣніемъ автора едва ли согласится. Русскіе хозяева весьма хлопотали о томъ, чтобы на меню торжественныхъ обѣдовъ въ честь славянскихъ гостей не попадались иностранныя слова, вслѣдствіе чего «салатъ» подвергся гоненію; равномѣрно въ эту знаменитую эпоху были поползновенія изгнать и другія иностранныя слова, каковы; «кассація», «фактъ» и проч.; г. же Стронинъ такъ и сыплетъ иностранными терминами, и при томъ во многихъ случаяхъ имъ самимъ из-

*) 1869, іюль.

мышленными. Такихъ пунктовъ различія между г. Стронинымъ, съ одной стороны, и русскими хозяевами, съ другой,—существуетъ весьма достаточно. Поэтому можно думать, что г. Стронинъ не отъ пріѣзда къ намъ славянскихъ гостей заключилъ о великой будущности славянства, а поступилъ гораздо серьезнѣе, именно: убѣдившись научнымъ путемъ въ великой будущности славянства, порадовался славянскимъ гостямъ и посвятилъ имъ свою книжку. Дѣло, значитъ, сводится къ тому, чтобы опредѣлить тотъ научный путь, которымъ авторъ дошелъ до своего убѣжденія. Мы въ правѣ ожидать, что это путь дѣйствительно научный, потому что г. Стронинъ принимаетъ въ соображеніе всѣ новѣйшія общія изслѣдованія по вопросамъ о методахъ и задачахъ общественной науки. Онъ цитируетъ Конта, Милля, Спенсера, Бокля, Риттера и не цитируетъ почти никого, кромѣ нихъ. Къ сожалѣнію, однако, вглядываясь въ вышеприведенную фразу г. Стронина, можно усомниться въ научности избранныхъ имъ логическихъ путей. У него за періодомъ древняго Востока слѣдуетъ періодъ Греціи, за нимъ періодъ Рима, а затѣмъ первый повторяется въ романскихъ среднихъ вѣкахъ, второй — въ новой германской исторіи, третій, наконецъ, имѣетъ повториться въ исторіи славянства. Эта идея круговорота—вещь не новая и не оригинальная. Это бы еще не бѣда, что идея не новая, но она, кромѣ того, идея скучная и безотрадная. Въ самомъ дѣлѣ, съ чего, напримѣръ, мы съ вами, читатель, начнемъ усердствовать на пользу славянства, когда въ его будущей исторіи повторится исторія Рима. Римъ, какъ извѣстно, развалился, и развалился послѣ всевозможныхъ скандаловъ и мерзостей. Ну, развалится и славянство. Неужто же для этого стоитъ работать? Наконецъ, и это бы еще не бѣда, что идея историческаго круговорота скучна и безотрадна: если бы она была вѣрна, пришлось бы ей поневолѣ покориться, и стали бы мы, скрѣпя сердце, готовиться къ всемірному владычеству славянства, затѣмъ къ появленію славянскихъ Калигулъ и Геліогабаловъ, къ набѣгамъ варваровъ и проч. Но, что самое важное, идея эта не имѣетъ никакого научнаго основанія, ибо отнюдь не изображаетъ дѣйствительнаго хода вещей. Человѣку приходится терпѣть скуку, испытывать смѣну надеждъ разочарованіями, а разочарованій надеждами и т. п. Но вселенная, міръ, природа - скуки не терпитъ, природа до безконечности разнообразна, а потому и въ исторіи круговоротъ не можетъ быть общимъ правиломъ. Исторію въ этомъ отношеніи можно уподобить богатѣйшему франту, который ни за что не надѣнетъ два раза одну и ту же пару перчатокъ. О ней можно сказать то же, что сказалъ Гете о ея старшей сестрѣ, о природѣ: «Was da ist, war noch nie; was war, kommt nicht Wieder».

Объ этомъ, впрочемъ, намъ распространяться не зачѣмъ, потому что идея историческаго круговорота не занимаетъ въ соображеніяхъ г. Стронина какого-либо виднаго мѣста; она является въ самомъ концѣ книги нѣсколько неожиданно и даже, можно сказать, ни къ селу, ни къ городу. Рѣчь шла о томъ, что въ виду той пользы, какую людямъ можетъ принести наука, «мысль нѣмѣетъ при представленіи всѣхъ вѣроятностей будущаго, и содрогается сердце отъ зависти къ потомству». И вдругъ намъ остается ступень Рима — будущность славянства... Главные взгляды нашего автора хотя и имѣютъ нѣкоторыя точки соприкосновенія съ идеею историческаго круговорота, тѣмъ не менѣе, представляютъ въ общемъ нѣчто иное. Къ этимъ-то главнымъ взглядамъ мы и обратимся, но сперва да позволено намъ будетъ сдѣлать еще одно мелкое замѣчаніе. Г. Стронинъ страдаетъ маніей оригинальной терминологіи. Такъ, онъ различаетъ четыре вида индукціи: «эвидентику», «аттентику», «экспериментику» и «обсерватику», хотя всѣ они весьма удобно вмѣщаются въ установившуюся рубрику опыта и наблюденія. Подъ эвидентикой, напримѣръ, г. Стронинъ разумѣетъ тотъ процессъ мысли, которымъ добыты математическія аксіомы. Но чѣмъ же этотъ индуктивный процессъ отличается отъ иныхъ индуктивныхъ процессовъ? Ничѣмъ не отличается. Дѣло только въ томъ, что факты, выражаемые аксіомами, повторяются въ высшей степени часто, но этимъ только облегчается процессъ. Что же касается до аттентики, то даже довольно трудно понять не только, что это за особенная индукція, но и, вообще, что это за операція. Въ ней, какъ, по крайней мѣрѣ, удостовѣряетъ г. Стронинъ, руководителемъ для изслѣдователя служитъ «одно только вниманіе, наблюденіе однимъ чувствомъ внутреннимъ!» Произнеся это, г. Стронинъ ставитъ восклицательный знакъ, къ которому мы, съ своей стороны, охотно прибавили бы вопросительный. Впрочемъ, г. Стронинъ и самъ говоритъ, что это «наблюденіе внутреннимъ чувствомъ» вещь ненадежная, значитъ, намъ не зачѣмъ особенно печалиться о нашемъ непониманіи. Далѣе, людей, изучающихъ законы общественныхъ явленій, г. Стронинъ называетъ почему-то *соціалистами*, хотя слово это имѣетъ во всѣхъ европейскихъ языкахъ гораздо болѣе спеціальное, очень опредѣленное и всѣмъ извѣстное значеніе. Затѣмъ, у него являются такіе термины: «движимость и бытійность» (въ противоположность движенію и бытію), «ве-

щественность и сильственность» (въ противоположность веществу и силѣ) и проч., и проч., и проч. Та же терминологическая манія играетъ значительную роль и въ классификаціи соціальныхъ наукъ, предлагаемой г. Стронинымъ. Тутъ есть и *хронологія*, и *хорографія*, и *прагматика*, и *соціономія*, и *соціологія*, и *соціалистика*, и *конституція*, и *пафосологія*, и *палліатика*, и *юстиція* и *проч.*, и проч., и проч. Да еще изъ нихъ въ составъ, напримѣръ, *исторіологіи*, входятъ: «во-первыхъ, *гигнологія*, ученіе о происхожденіи государствъ; во-вторыхъ, *эпохологія*, т.-е. ученіе о возрастахъ государственныхъ; въ-третьихъ, *эрологія*, о великихъ событіяхъ политическихъ; въ-четвертыхъ, *этнологія*, о національностяхъ и національныхъ идеалахъ, миссіяхъ, роляхъ; въ-пятыхъ, *прогрессологія*, о путяхъ, мѣрахъ и предѣлахъ прогресса каждаго мѣста, каждаго времени и каждаго элемента; наконецъ, *фанатологія*, о паденіи и метаморфозѣ или метампсихозѣ государствъ». Или, напримѣръ: «Если теперь ученіе о силахъ психологическихъ правительственныхъ назовемъ *кратологіей* (а если не назовемъ?), то если возьмемъ психологическія силы, это будетъ соціальная *барологія*; общественная—то физической акустикѣ будетъ отвѣчать ученіе о силѣ слова, *фонетика*; оптикѣ—ученіе о силѣ мысли, *идеологія*; термотикѣ—ученіе о силѣ знанія, *гностика*; магнетикѣ—ученіе о симпатіи и антипатіи и вообще о сантиментальныхъ силахъ, *симпатика*; и электрикѣ—ученіе о силѣ дѣла и вообще о силахъ моральныхъ, *эрготика*». Все это въ соединеніи съ варварскимъ языкомъ вообще дѣлаетъ книгу г. Стронина весьма неудобочитаемою. Любопытно, что, по мнѣнію нашего достопочтеннаго автора, «необходимо спустить, наконецъ, науку и философію съ облаковъ внизъ: а тѣмъ болѣе такую науку и такую философію какъ соціальныя; для нихъ, болѣе чѣмъ для всякихъ другихъ наукъ и философій, нелѣпо становиться въ такую позу, которая внушала бы ужасъ, и заговаривать такимъ языкомъ, который бы нужно было потомъ переводить на обыкновенный языкъ смертныхъ. Это пустяки, будто бы не всякое знаніе, какъ утверждаютъ педанты, можно передать всякой публикѣ и вообще передавать его безъ всякихъ схоластическихъ замашекъ» (441). Если читатель усмотритъ нѣкоторое противорѣчіе между словомъ и дѣломъ г. Стронина, то онъ можетъ утѣшиться тѣмъ, что слово само по себѣ, и ученіемъ о силѣ его занимается *фонетика*, а дѣло опять само по себѣ, и сила его составляетъ предметъ *эрготики*.

Равномѣрно слѣдуетъ замѣтить и то, что сила мысли особь статья (ученіе о ней есть *идеологія*), а сила слова опять-таки особь статья (*фонетика*); вслѣдствіе чего отнюдь не слѣдуетъ думать, чтобы за всякимъ словомъ такъ ужъ и сидѣла какая-нибудь мысль. Есть и просто слова, къ каковымъ мы и причисляемъ большинство терминовъ г. Стронина. Слишкомъ много цвѣтовъ, слишкомъ много цвѣтовъ!—говоритъ корыстолюбивый жрецъ Калхасъ въ «Прекрасной Еленѣ». Слишкомъ много цвѣтовъ! скажемъ и мы г. Стронину, ибо всѣ эти *логіи* суть не болѣе, какъ цвѣты, никогда не дающіе плодовъ. Г. Стронинъ ищетъ метода соціальныхъ наукъ и ихъ классификаціи и, разумѣется, находитъ и то, и другое. Но дѣло въ томъ, что планъ его классификаціи построенъ, если можно такъ выразиться, безъ всякаго плана. Мы будемъ слѣдить за нимъ шагъ за шагомъ.

Книга г. Стронина начинается сравненіемъ между науками естественными и такъ называемыми нравственными и политическими. При этомъ авторъ высказываетъ нѣсколько не новыхъ и не оригинальныхъ, но совершенно справедливыхъ мыслей о печальномъ состояніи нынѣ существующихъ общественныхъ наукъ и о еще болѣе печальныхъ практическихъ результатахъ ихъ теоретической слабости. Сѣтованія г. Стронина мы раздѣляемъ вполнѣ и думаемъ, что ихъ раздѣляютъ и всѣ мыслящіе люди. Равнымъ образомъ едва ли можетъ подлежать сомнѣнію и то положеніе г. Стронина, что нынѣ существующія общественныя науки должны ожидать своего обновленія отъ сближенія съ естествознаніемъ. И, разумѣется, не мы станемъ охуждать то стремленіе, которое сказалось въ пронесшемся недавно надъ нашимъ обществомъ страстномъ увлеченіи естественными науками. Общественная наука неизбѣжно должна чѣмъ-нибудь позаимствоваться у естествознанія, во-первыхъ, потому, что естествознаніе, какъ наука старшая, успѣло выработать цѣлый арсеналъ логическихъ пріемовъ, а во-вторыхъ, потому, что общество управляется, кромѣ своихъ спеціальныхъ законовъ, еще законами, царящими и надъ остальной природой. Но позаимствоваться можно и очень многимъ, и очень малымъ. Общественная наука можетъ взять у естествознанія его методы, можетъ перенести къ себѣ его истины цѣликомъ, можетъ, наконецъ, переработать эти истины какимъ-нибудь способомъ. Этотъ вопросъ о размѣрахъ займа, о предѣлахъ вторженія естествознанія въ область общественной науки, къ сожалѣнію, слишкомъ рѣдко возникаетъ въ сознаніи большинства людей, призадумывающихся надъ судьбами человѣчества и ищущихъ имъ новаго, независимаго отъ оффиціальныхъ наукъ, освѣщенія. Эта несмотрительность порождаетъ мно-

жество недоразумѣній, весьма печальныхъ какъ по теоретическимъ, такъ и по практическимъ своимъ результатамъ. Въ настоящей статьѣ мы, можетъ быть, неоднократно будемъ имѣть случай останавливаться надъ этого рода явленіями нашей умственной жизни. Надо отдать справедливость г. Стронину: онъ категорически ставитъ вопросъ о границахъ естествознанія и общественной науки. Онъ говоритъ о «всеобщихъ намекахъ на то, что исторія или, вообще, науки нравственныя должны ожидать своего возрожденія отъ естествознанія, что онѣ должны сблизиться съ нимъ, стать на почву его, что историкъ долженъ быть вмѣстѣ и естествоиспытатель, что онъ долженъ усвоить пріемы естествоиспытанія и проч.». Г. Стронинъ отдаетъ этому воззрѣнію должную справедливость, но не успокоивается на этомъ. Онъ спрашиваетъ: «Что же именно имѣютъ означать всѣ эти: сблизиться, на какую стать почву, что усвоить и какъ. Нужна ли намъ помощь естествознанія только для того, чтобъ сумѣть, какъ у Бокля, опредѣлить вліяніе природы на общество, или же и для чего-нибудь иного? нужна ли намъ помощь естествоиспытательнаго содержанія (добытыхъ имъ знаній) или же помощь его формы (метода) или, наконецъ, и того, и другого вмѣстѣ? Равно и тамъ, гдѣ та или другая нужна, какъ и гдѣ должна быть примѣнена она? Всего этого мы до сихъ поръ себѣ не уяснили, къ сознанію не привели» (20). Вотъ что называется отчетливою и обстоятельною постановкою вопроса. Къ сожалѣнію, дальше идетъ уже нѣчто не столь отчетливое и обстоятельное. Дальше идетъ вотъ что. Изъ всѣхъ заявленій въ пользу вмѣшательства естествознанія въ объясненіе явленій общественной жизни, говоритъ г. Стронинъ, «достовѣрно» пока только то, что общественная наука должна усвоить, именно методъ естествознанія, «т. е. именно индукцію, а никакъ не методъ философіи или математики, т. е. никакъ не дедукцію». Однако, почему же это «достовѣрно»? Сейчасъ только это было вопросомъ и вдругъ сдѣлалось достовѣрнымъ. Сейчасъ только г. Стронинъ до извѣстной степени скептически относился къ общему голосу людей, желающихъ связать общественную науку съ естествознаніемъ; сейчасъ только онъ заявлялъ, что «всего этого мы до сихъ поръ себѣ не уяснили, къ сознанію не привели», и не успѣло еще притупиться перо, изобразившее эти слова, какъ г. Стронинъ говоритъ: «Принимая этотъ отвѣтъ (что общественная наука должна заимствовать у естествознанія индуктивный методъ) за голосъ всеобщій и доказательствъ въ пользу свою не требующій, мы...» и т. д. Это не особенно послѣдовательно, но слѣдуетъ, кромѣ того, замѣтить, что это и не особенно вѣрно, въ томъ смыслѣ не особенно вѣрно, что общій голосъ отнюдь не требуетъ для общественной науки индуктивнаго метода. Не говоря о прочихъ, Милль, какъ г. Стронину небезызвѣстно, считаетъ общественную науку наукой дедуктивной. А Милля г. Стронинъ называетъ «знатокомъ методовъ». Вѣрно или невѣрно мнѣніе Милля — это вопросъ особый, но нельзя же не принять въ соображеніе голоса «знатока методовъ», говоря объ «общемъ голосѣ». А Милль не одинъ считаетъ дедукцію пріемомъ, наиболѣе пригоднымъ для общественной науки. Какъ бы, однако, тамъ ни было, но г. Стронинъ, полагая, что онъ повинуется общему голосу, начинаетъ «пробовать различные способы примѣнить къ изученію общества методъ индуктивный». Для этого онъ прежде всего дробитъ индукцію на эвидентику, аттентику, экспериментику и обсерватику, причемъ послѣдняя и оказывается единственнымъ годнымъ для общественной науки видомъ индукціи. Въ переводѣ, какъ выражается самъ г. Стронинъ, «на языкъ смертныхъ», всѣ эти его соображенія сводятся къ той истинѣ, что въ общественной наукѣ опытъ не можетъ играть столь важной роли, какъ въ естествознаніи, вслѣдствіе чего на долю соціологіи остается одно наблюденіе. Истина несомнѣнная, но для которой рѣшительно не стоило сочинять ни эвидентики, ни аттентики.

Итакъ, методъ найденъ, — обсерватика, а попросту говоря, наблюденіе. Примѣненіе его «къ изученію соціальному» авторъ начинаетъ съ классификаціи. «Естествознаніе, — говоритъ г. Стронинъ, — представляетъ въ этомъ отношеніи картину, совершенное извѣстную въ общественной наукѣ: оно представляетъ собою не одну и ту же науку, какъ исторія, гдѣ все содержаніе стасовано въ одну кучу, но, напротивъ, цѣлый рядъ отдѣльныхъ наукъ, гдѣ содержаніеэ то разсортировано по самымъ разнообразнымъ категоріямъ. Правда, было время, когда и естествовѣдѣніе, подобно нынѣшнему обществовѣдѣнію, вмѣщалось также въ одну науку; но тогда оно и похвалиться могло не многимъ» (30). Намъ было очень прискорбно прочесть эти строки, потому что въ нихъ есть, во-первыхъ, передержка, во-вторыхъ, обнаруживается непониманіе задачи общественной науки; въ-третьихъ, наконецъ, обнаруживается непониманіе принципа классификаціи наукъ вообще. Такъ какъ съ тѣмъ и другимъ непониманіемъ мы еще встрѣтимся ниже, то теперь посмотримъ только на передержку. Дѣло все шло о томъ, чтобы приложить индуктивный методъ къ общественной наукѣ вообще, и вдругъ г. Стронинъ подтасовываетъ, вмѣсто общественной науки, исторію. Это вѣдь вещи совер-

шенно различныя. Возьмемъ ли мы систему школьныхъ, оффиціальныхъ общественныхъ наукъ, мы увидимъ, что рядомъ съ исторіей въ нашихъ гимназіяхъ и университетахъ преподаются юридическія науки, политическая экономія, статистика, географія. Возьмемъ ли мы общественную науку въ томъ смыслѣ, какой придаютъ ей лучшіе умы нашего времени, мы увидимъ, что и съ этой точки зрѣнія исторія есть только часть общественной науки, именно та часть, въ вѣдѣніи которой находятся условія развитія государствъ и народовъ; а часть не можетъ равняться цѣлому. Это говоритъ «эвидентика». Если бы г. Стронинъ своего кунстштюка не устроилъ, онъ увидѣлъ бы, что нельзя сказать объ обществовѣдѣніи, какъ оно существуетъ въ настоящее время, что въ немъ все содержаніе стасовано въ одну кучу; онъ увидѣлъ бы, что факты юридическіе худо ли, хорошо ли изучаются юриспруденціей, факты этическіе — системами морали, факты экономическіе — политическою экономіей, факты, способные быть выраженными цифрами, — статистикой и т. д. Да этого нельзя сказать и о школьной исторіи. Чѣмъ другимъ, а ужъ тѣмъ, чтобы въ ней все содержаніе общественной науки было стасовано въ одну кучу,—этимъ школьная исторія не грѣшна; въ ней, какъ понимаетъ и самъ г. Стронинъ, разумѣется, не дается мѣста многому, что имѣло бы на него полное право. Слѣдуетъ поэтому думать, что несостоятельность нравственныхъ и политическихъ наукъ зависитъ не оттого, что въ нихъ все содержаніе сбито въ одну кучу, ибо самый фактъ этой скученности не существуетъ. Можно даже думать, что безсиліе нравственныхъ и политическихъ наукъ обусловливается причиною діаметрально противоположною, именно ихъ разобщенностью и спеціализацiей, недостаткомъ синтетическаго начала. По крайней мѣрѣ, на это обстоятельство очень явственно указываетъ совершающееся на нашихъ глазахъ преобразованіе исторіи. Не смотря на свою блѣдность, школьная исторія имѣетъ рѣзко опредѣленный спеціальный характеръ. Она занимается разсказываніемъ политическихъ событій, предметъ ея—войны, перемирія и миры, восшествія на престолъ и низверженія съ онаго и т. д. Она не нуждается не только въ естествознаніи, а и ни въ какой изъ существующихъ общественныхъ наукъ; она сама себѣ владыка. Совсѣмъ иное дѣло съ научной исторіей. Эта послѣдняя, желая найти законы, по которымъ формируется умственный, нравственный, экономическій, юридическій, политическій характеръ народа, самымъ тѣснымъ образомъ соприкасается и съ естествознаніемъ, и съ науками нравственными и политическими. Г. Стронинъ не узналъ этого предтечи. Г. Стронинъ есть, можно сказать, тотъ самый Севастьянъ, который не узналъ нѣкогда своихъ крестьянъ. Г. Стронинъ ищетъ принциповъ общественной науки, дѣлаетъ при этомъ передержку, подтасовывая, вмѣсто общественной науки, исторію и, не смотря на то, что искомые имъ принципы, вслѣдствіе именно его передержки, становятся, такъ сказать, передъ его носомъ,—отворачивается отъ нихъ. И совершенно напрасно ссылается при этомъ г. Стронинъ на естествознаніе. Во-первыхъ, кто ему далъ право приводить общественной наукѣ въ примѣръ цѣлое естествознаніе? Естествознаніе есть наука о вселенной, и если г. Стронинъ не придерживается психологическаго дуализма, то онъ долженъ признать, что явленія общественной жизни представляютъ не болѣе какъ одно изъ звеньевъ длинной цѣпи явленій природы. А опять таки «эвидентика» говоритъ, что часть не можетъ равняться цѣлому. Поэтому, если естествознаніе распалось на нѣсколько наукъ, то это еще вовсе не резонъ, чтобы такое же распаденіе было обязательно и для общественной науки, а тѣмъ болѣе для исторіи. Можетъ быть, она и должна быть раздроблена, а можетъ быть и нѣтъ. Да и въ естествознаніи, или, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ отдѣлахъ его, мы замѣчаемъ стремленіе къ «стасованію всего содержанія въ одну кучу». Науки неорганическаго міра готовы слиться, благодаря теоріи единства и метаморфоза силъ; теорія Дарвина нанесла ударъ различнымъ орнитологіямъ, эрпетологіямъ, ихтіологіямъ и пр. Г. Стронинъ, вѣроятно, имѣлъ въ виду необходимость классификаціи историческаго матеріала. Но классификація научнаго матеріала отнюдь не всегда требуетъ раздробленія науки. Если мы возьмемъ не все естествознаніе, а, напримѣръ, одну химію, то увидимъ, что она составляетъ одну науку, что не мѣшаетъ ей классифицировать свой матеріалъ на элементы и сложныя тѣла, элементы на органогены, галоиды, щелочные, металлы и т. д., а сложныя на кислоты, соли, ангидриды и пр.; кромѣ того, существуютъ въ химіи и иныя классификаціи,—гомологическіе, изологическіе ряды и т. д. И все это никого не побуждаетъ дробить химію на отдѣльныя науки. Если г. Стронинъ замѣтитъ, что какъ разъ именно химія-то и раздѣляется на органическую и неорганическую, то мы приведемъ ему на этотъ счетъ мнѣніе одного изъ его любимыхъ авторовъ (выборъ которыхъ дѣлаетъ ему большую честь)—Конта. Мыслитель этотъ, такъ много сдѣлавшій для философіи естествознанія, совершенно не признаетъ самостоятельнаго значенія за органической химіей. Мы очень рады, что наткнулись на этотъ примѣръ, по-

тому что способъ воззрѣнія на него Конта и его аргументація пригодятся намъ дальше. Контъ разсуждаетъ такъ. Между органическими веществами есть такія, для образованія которыхъ не нужно присутствія жизненнаго процесса, составляющаго характерическій признакъ для всякаго организма; эти вещества, какъ, напримѣръ, алкоголь, должны быть изучаемы въ общей химіи. Есть, наоборотъ, и такія вещества, какъ, напримѣръ, кровь, которыя существуютъ только благодаря жизненному процессу,—ихъ должна изучать физіологія. Такимъ образомъ для органической химіи не остается ничего, хотя Контъ и не думалъ отрицать значеніе химіи органическихъ тѣлъ. Онъ говоритъ только, что существованіе органической химіи, какъ отдѣльной науки, незаконно. Изучать химическую сторону, химическія свойства организма—это одно дѣло, и имъ можетъ и должна заняться общая химія. Изучать же организмъ съ химической точки зрѣнія—это другое дѣло и дѣло не позволительное, потому что, по крайней мѣрѣ, при наличныхъ своихъ средствахъ, химія не въ силахъ объяснить жизненный процессъ и, слѣдовательно, цѣлостно ставить вопросы органической жизни и всесторонне осмотрѣть біологическій фактъ не можетъ. А понять явленіе—значитъ оцѣнить его со всѣхъ сторонъ, какъ нѣчто цѣлое. Такая-то цѣлостная постановка вопросовъ и всесторонняя оцѣнка фактовъ и составляетъ насущную потребность нравственныхъ и политическихъ наукъ и верховный принципъ грядущей общественной науки.

Получаетъ, наконецъ, г. Стронинъ свою классификацію. Вотъ она: *Исторія физическая* (антропологія); *исторія земледѣлія, исторія промышленности и исторія торговли* (элементы экономическіе): *исторія религіи, исторія философіи и исторія науки*; *исторія эстетическая* («гдѣ изслѣдуются законы развитія зодчества, ваянія» и проч.), *исторія логическая* («изучаетъ законы появленія, развитія и приложенія методовъ научныхъ, художественныхъ и религіозныхъ»); *исторія практическая* («изучаетъ умѣнье дѣйствовать, мастерство общежитія, искусство политическое»); *исторія политическая*, «а въ точнѣйшемъ смыслѣ то, что называется *правовѣдѣніемъ*». Подраздѣленія послѣдней: «исторія каноническая, *право междуцерковное*; исторія интернаціональная, *право международное*; исторія народная, *право междуусобное*: исторія сословій, *право междусословное*; исторія обычаевъ и нравовъ, *право междусемейное*; исторія уголовная, *право междуличное*; исторія гражданская, *право междуимущественное*».

Классификація эта говоритъ сама за себя. Тѣмъ не менѣе, выражаясь еще болѣе откровенно, чѣмъ мы это дѣлали до сихъ поръ, мы должны сказать, что сколь безсмысленна эта классификація вообще, столь же уродуетъ ее въ частности и указанное нами смѣшеніе исторіи съ общественной наукой. Г. Стронинъ, какъ отецъ, всей красоты своего дѣтища усмотрѣть не можетъ. Однако, и онъ усматриваетъ, что въ его классификаціи нѣтъ «ни политической экономіи, ни географіи, ни статистики, ни грамматики». Въ этомъ, конечно, нѣтъ ничего удивительнаго, потому что г. Стронинъ искалъ собственно классификаціи историческаго матеріала, почему исторія экономическихъ элементовъ у него получила свое мѣсто, а политическая экономія нѣтъ. Ну какъ же теперь быть? Возможны были для г. Стронина три исхода изъ такого неловкаго положенія. Во-первыхъ, если бы онъ крѣпко вѣровалъ въ законность и правильность своихъ пріемовъ, онъ могъ бы совершенно отринуть науки, не попавшія въ его классификацію. Это г. Стронинъ сдѣлать не рѣшается. И дѣйствительно, было бы по малой мѣрѣ странно не пускать политическую экономію или статистику туда, гдѣ сидятъ, въ качествѣ наукъ, разныя эрготики и междуусобныя права. О другихъ двухъ исходахъ г. Стронинъ говоритъ: «Итакъ, или принципъ классификаціи нашей совершенно неудаченъ, или же рядомъ съ нею должна быть еще какая-то классификація, другая система наукъ соціальныхъ, въ которой бы нашли себѣ естественное мѣсто и всѣ вышеозначенныя науки». Къ сожалѣнію, г. Стронинъ и не думаетъ останавливаться на первомъ предположеніи, т. е. на негодности своей классификаціи; онъ оставляетъ ее неприкосновенною и приступаетъ къ дополнительной классификаціи, построенной уже на совершенно иныхъ началахъ. Къ этого рода эклектическимъ пріемамъ г. Стронинъ обнаруживаетъ особенную склонность.

Обращается г. Стронинъ къ дедукціи и, хотя за нѣсколько страницъ передъ тѣмъ и утверждалъ, что общественная наука отнюдь не должна имѣть никакого дѣла съ методомъ дедуктивнымъ, находитъ, что «уклоненіе отъ него науки общественной не мыслимо» (115). Обращается г. Стронинъ къ дедукціи и при этомъ удобномъ случаѣ дѣлитъ ее на «аналитику», «діалектику» и «гипотетику», а послѣднюю опять на гипотетику индуктивную и гипотетику дедуктивную. Ни первая, ни другая, ни третья не оказываются, однако, пригодными для общественной науки. Читатель готовъ уже придти въ отчаяніе и можетъ утѣшаться только тѣмъ, что, какъ-никакъ, а какую-нибудь *логію* г. Стронинъ да отроетъ. И дѣйствительно отроетъ. Онъ приводитъ 24 примѣра перенесеній или распространеній законовъ одной

науки на другую и затѣмъ говоритъ: «Такъ какъ примѣры эти взяты не изъ одной только или изъ двухъ паръ наукъ, а изъ всевозможныхъ отраслей знанія, и такъ какъ не смотря на разнообразіе наукъ, фактъ повторяется всюду, то возникаетъ вѣроятность, что *нѣтъ закона той или другой науки, а есть только законъ науки вообще*. А отсюда возникаетъ вѣроятность и того практическаго для прямой нашей цѣли вывода, что *сколько и какихъ есть до сихъ поръ законовъ у естествознанія, столько же, говоря вообще, и такихъ же должно быть ихъ и у обществознанія*. Стоитъ, значитъ, въ такомъ случаѣ только выслѣдить, гдѣ именно и какъ они въ этомъ послѣднемъ проявляются, и обществовѣдѣніе сразу могло бы подняться на ступень научности. А если такъ, то и тайна дедукціи соціальныхъ наукъ была бы открыта: тайна эта была бы методъ *аналогики*». Такое свое умозаключеніе г. Стронинъ именуетъ «чисто индуктивнымъ» и полагаетъ, что оно оправдывается и путемъ дедукціи. Индуктивную часть его умозаключенія, т. е. 24 примѣра, мы сейчасъ разсмотримъ. Что же касается до дедуктивной стороны, то она основывается у г. Стронина на Контовомъ рядѣ основныхъ наукъ, который расположенъ по возрастающей сложности и убывающей общности. Вслѣдствіе этого основныя элементарныя науки могутъ быть представлены въ видѣ описанныхъ другъ около друга концентрическихъ круговъ, изъ которыхъ каждый содержитъ въ себѣ предыдущій и самъ содержится въ послѣдующемъ. Степень сложности явленій каждаго изъ круговъ обусловливается тѣмъ, что въ нихъ, кромѣ ихъ собственной категоріи, напримѣръ, въ біологіи—жизни, имѣютъ мѣсто и категоріи предыдущихъ круговъ, т. е. для той же біологіи категоріи математики—число и протяженіе, категорія механики — движеніе и т. д. Такимъ образомъ во всякомъ порядкѣ явленій повторяются законы предыдущихъ порядковъ. Это-то и убѣждаетъ г. Стронина въ великомъ значеніи его аналогики, которая, между прочимъ, при ближайшемъ разсмотрѣніи, признана г. Стронинымъ за отвергнутую имъ за нѣсколько страницъ «дедуктивную гипотетику». Мы говоримъ *его* аналогика, вопервыхъ, потому, что хотя *аналогія* составляетъ, въ особенности въ обыденной жизни, пріемъ очень обыкновенный, но доселѣ никто не пытался возвести его на степень *аналогики*, т. е. на степень метода, рекомендуемаго для систематическаго употребленія. Во-вторыхъ, аналогическій методъ г. Стронина столь трудно характеризовать въ немногихъ словахъ, что самое лучшее для него названіе есть методъ г. Стронина, а въ чемъ онъ состоитъ, читатель увидитъ изъ примѣровъ. Для полученія классификаціи соціальныхъ наукъ путемъ аналогическаго метода г. Стронинъ беретъ установленный Контомъ рядъ элементарныхъ наукъ и пріискиваетъ каждой изъ нихъ что-нибудь параллельное, сходное, аналогичное въ наукѣ общественной. Что соотвѣтствуетъ въ соціологіи наукѣ чиселъ, ариѳметикѣ и наукѣ протяженія, геометріи? спрашиваетъ г. Стронинъ и отвѣчаетъ: хронологія и географія, потому что одна занимается числами, а другая пространствомъ. Но, говоритъ г. Стронинъ, и та, и другая должны быть научнымъ (и именно аналогическимъ) путемъ преобразованы. Такъ, хронологія должна «объяснять всѣ свойства временности по отношенію къ общественной жизни, т. е. объяснять явленія и законы различныхъ историческихъ пропорцій и отношеній, различныхъ общественныхъ прогрессій и уравненій, каковы, напримѣръ, прогрессіи экономическія, замѣченныя Мальтусомъ, статистическія, замѣченныя Кетле, и каковы, никѣмъ еще незамѣченныя, численныя отношенія періодовъ революцій къ періодамъ реакцій, эпохъ застоя къ эпохамъ реформъ, продолжительности мирныхъ временъ къ временамъ войнъ» и т. д. Словомъ, заключаетъ нѣсколько неудобопонятно г. Стронинъ, «хронологія должна быть, съ одной стороны, узнанною въ исторіи алгеброю и ариѳметикою, а съ другой,—непризнанною за таковыя статистикою» (172). Точно такъ же должна быть построена и географія. Затѣмъ, что въ соціологіи соотвѣтствуетъ механикѣ и астрономіи? Ничего не соотвѣтствуетъ. Надо сочинить. Сочиняются слова: *прагматика и соціономія*. Что соотвѣтствуетъ химіи? Сочиняется слово *конституція* (наука о формахъ общественныхъ). Такимъ же образомъ физикѣ соотвѣтствуетъ *соціалистика* (наука о силахъ общественныхъ). Геологія «легко укладывается въ существующую уже рубрику *археологіи*, такъ что предстоитъ перевести на общественный языкъ только біологію; переводъ же этотъ точнѣе всего исполнится терминомъ *исторіологіи*». Все это тамъ опять само собой дѣлится, политическая экономія, статистика, грамматика и географія находятъ себѣ мѣсто, и г. Стронинъ торжествуетъ. Торжествуетъ онъ на такой манеръ: «классификація эта имѣетъ всѣ свойства повелительности для общевѣдѣнія, и притомъ повелительности первостепенной, безъ предварительнаго исполненія которой и вся остальная наука обречена была бы на неподвижность. И если бы затѣмъ аналогика не могла ничего уже дать нашей наукѣ, то и тогда она сослужила бы службу свою недаромъ, потому что столько новыхъ точекъ зрѣнія были бы подаркомъ и для всякаго иного вѣдѣнія, болѣе окрѣпшаго и возмужавшаго, чѣмъ вѣдѣніе общества, такъ что роль

инціативности, даръ руководительства этого метода получаетъ здѣсь еще одно себѣ доказательство: онъ обозначаетъ впервые пункты различенія въ безразличной до сихъ поръ и хаотической всеобщности исторіи, онъ указываетъ обществознанію всѣ возможные пути его, даетъ ему весь планъ, всю перспективу работъ, безъ чего и самыя работы были бы не мыслимы. Но точно-ли вся заслуга метода этимъ и ограничивается? Если методъ такъ достаточно узаконяетъ классификацію, то, въ свою очередь, и классификація не узаконяетъ-ли произведшаго ее на свѣтъ метода? Не служитъ-ли она въ пользу его такимъ свидѣтельствомъ, какому равное, признаемся (еще бы не признаться!), едва-ли мы до сихъ поръ и имѣли? Аналогія, столь обширная и столь полная, какъ аналогія всѣхъ безъ исключенія научныхъ рубрикъ обществознанія соціальнаго и политическаго, со всѣми безъ исключенія рубриками математики и естествовѣдѣнія, на этомъ одномъ остановиться не можетъ; она необходимо должна проникать и нѣсколько дальше вглубь, въ параллельность самыхъ законовъ тѣхъ или другихъ наукъ». И г. Стронинъ начинаетъ аналогировать законы естествознанія съ законами явленій общественной жизни.

Читатель понялъ, разумѣется, что мы придаемъ классификаціи г. Стронина столь малое значеніе, что не станемъ вникать въ подробности ея, не станемъ сожалѣть о томъ, что, напримѣръ, соціономіи предписывается обратить вниманіе, между прочимъ, на «отношенія націи къ націи», хотя отношеніями этими уже занимается «исторія интернаціональная, право международное», или что Мальтусовъ законъ имѣетъ мѣсто въ хронологіи, а теорія Дарвина аналогируется въ исторіологіи и т. п. Но мы не можемъ умолчать о совершенной несостоятельности самаго принципа этой классификаціи, хотя намъ и очень прискорбно разрушать иллюзіи и самодовольство г. Стронина. Мы говоримъ совершенно искренно. Г. Стронинъ читалъ хорошія книжки, г. Стронинъ много думалъ, г. Стронинъ имѣетъ прекрасныя намѣренія. Все это вызываетъ къ нему наше полное сочувствіе, которое только отчасти парализируется слишкомъ большими его претензіями. И тѣмъ не менѣе книжка его можетъ возбудить только отрицательный интересъ, можетъ показать только, что не слѣдуетъ идти тѣми логическими или, вѣрнѣе, нелогическими путями, какими идетъ г. Стронинъ. При такихъ условіяхъ, мы сочли бы гораздо болѣе приличнымъ совершенно не говорить объ «Исторіи и методѣ», если бы употребляемые авторомъ пріемы не представляли ошибки, слишкомъ важной и любопытной во многихъ отношеніяхъ. Г. Стронинъ читалъ хорошія книжки, но не совсѣмъ хорошо ихъ понялъ. Такъ, онъ не понялъ и одной изъ своихъ исходныхъ точекъ, классификаціи наукъ Конта. Принципъ этой классификаціи состоитъ, какъ извѣстно, въ томъ, что науки расположены въ ней въ порядкѣ возрастающей сложности и убывающей общности; такъ что явленія, подлежащія вѣдѣнію одной изъ наукъ ряда, зависятъ отъ всѣхъ классовъ законовъ, какіе имѣютъ мѣсто во всѣхъ предшествующихъ наукахъ, но не зависятъ отъ законовъ, спеціальныхъ для послѣдующихъ наукъ. Такъ, напримѣръ, ариѳметика и алгебра изучаютъ законы чиселъ и представляютъ собою науку наиболѣе простую и наиболѣе общую. Геометрія изучаетъ протяженіе и пользуется законами ариѳметики и алгебры, для которыхъ, наоборотъ, спеціально-геометрическіе законы протяженія ненужны и немыслимы. Механика руководствуется и законами чиселъ, и законами протяженія, но имѣетъ и свои собственные законы равновѣсія и движенія, которые не могутъ быть сведены ни къ ариѳметическимъ и алгебраическимъ, ни геометрическимъ законамъ и т. д. Однимъ словомъ, рядъ наукъ расположенъ такимъ образомъ, что каждая наука пользуется законами всѣхъ предыдущихъ, но не даетъ имъ, съ своей стороны, ни одного закона въ обмѣнъ. Въ каждой наукѣ оказывается нѣкоторый остатокъ, который входитъ въ составъ слѣдующей науки ряда, но не можетъ быть объясненъ законами наукъ предыдущихъ. Если бы случилось, что остатокъ этотъ, напримѣръ, факты гистологическіе и морфологическіе, фактъ организаціи въ біологіи,—получилъ физико-химическое объясненіе, то біологія растворилась бы въ низшихъ наукахъ, то-есть, въ наукахъ болѣе простыхъ и общихъ, наука перестала бы существовать. Для послѣдняго члена ряда—соціологіи обязательны законы всѣхъ предыдущихъ членовъ ряда,—и при томъ наиболѣе важны законы ближайшаго члена, біологіи, а наименѣе законы отдаленнѣйшаго члена, математики,—но она имѣетъ также свои собственные законы, не имѣющіе себѣ никакого подобія въ остальныхъ наукахъ. Въ соціологіи есть нѣкоторый свой остатокъ, такой же, какой законы протяженія составляютъ для геометріи, законы равновѣсія и движенія для механики, законы тяготѣнія для астрономіи и т. д. Свести этотъ остатокъ къ законамъ математическимъ и естественнымъ нѣтъ никакой возможности, какъ невозможно законы протяженія свести къ законамъ чиселъ. Можно только указать точки соприкосновенія спеціально-соціологическихъ законовъ съ законами низшихъ наукъ, показать, какъ они уживаются рядомъ.

Изъ этого слѣдуетъ, во-первыхъ, что пред-

положеніе г. Стронина о томъ, что сколько и какихъ законовъ найдено въ естествознаніи, столько же и такихъ же должно быть въ обществознаніи, что предположеніе это, или, вѣрнѣе, утвержденіе, не имѣетъ никакого основанія. Должно полагать, что и самъ г. Стронинъ не станетъ утверждать, что, напримѣръ, законы механики качественно и количественно равны законамъ ариѳметики, алгебры и геометріи; иначе ему придется игнорировать законы равновѣсія и движенія, то есть то, что именно и составляетъ суть механики. Предположеніе г. Стронина было бы вѣрно только въ томъ случаѣ, если бы категорія общественности была сведена къ категоріи органической жизни, жизнь—къ физико-химическому процессу, этотъ послѣдній къ процессу механическому, а движеніе—къ законамъ чиселъ и протяженія, на что мы не имѣемъ никакого права разсчитывать.

Далѣе изъ принципа Контовой классификаціи слѣдуетъ, что каждая наука имѣетъ право изучать подлежащія ея вѣдѣнію явленія, гдѣ бы и въ какихъ комбинаціяхъ съ категоріями другихъ наукъ они ни встрѣчались, но не имѣетъ права изучать *всю* комбинацію съ своей точки зрѣнія. Математика, напримѣръ, имѣетъ дѣло съ величинами, и потому математическій анализъ приложимъ вездѣ, гдѣ только есть величины, а онѣ есть вездѣ. Но въ чистомъ видѣ, безъ сопряженія съ какими бы то ни было другими элементами, величины существуютъ только въ математикѣ. Простѣйшее явленіе — движеніе, даже абстрагированное отъ всякихъ другихъ примѣсей, съ какими оно встрѣчается какъ въ конкретныхъ тѣлахъ, такъ и въ категоріяхъ астрономіи, физики, химіи, біологіи и соціологіи, не можетъ быть все безъ остатка сведено къ измѣренію величинъ. Математика можетъ и должна изучать математическую, то есть, поддающуюся измѣренію, сторону движенія, но не можетъ разсматривать все движеніе съ математической точки зрѣнія. Чѣмъ далѣе мы будемъ подвигаться въ рядѣ наукъ, то есть, чѣмъ сложнѣе и спеціальнѣе будутъ взятыя нами явленія, тѣмъ математическая сторона ихъ будетъ незначительнѣе, и тѣмъ, слѣдовательно, меньше будетъ работы математическому анализу. Тяготѣніе, теплота, электричество, химическій процессъ, жизнь, общественность,—таковъ рядъ основныхъ явленій, слѣдующихъ за движеніемъ въ порядкѣ возрастающей сложности. Математическая сторона астрономіи еще очень обширна, очень значительна она и въ физикѣ, но уже въ химіи значеніе ея быстро убываетъ, въ біологіи и соціологіи оно еще меньше. И это совершенно понятно. Величины есть вездѣ, и вездѣ онѣ могутъ быть измѣряемы, но, напримѣръ, въ физикѣ, кромѣ категоріи количества, есть еще категоріи теплоты и электричества, и, слѣдовательно, роль математики суживается; въ химіи прибавляется еще понятіе химическаго сродства, наносящее новый ущербъ значенію математики и т. д. Такимъ образомъ, математика обязана изучать математическую сторону физическихъ явленій, но не можетъ изучать ихъ съ своей спеціальной, математической точки зрѣнія. Еще нелѣпѣе (если только тутъ возможны степени) изучать съ математической точки зрѣнія явленія химическія или біологическія, и, наконецъ, верхъ нелѣпости изучать съ математической точки зрѣнія соціологическія явленія. Это-то, безъ сомнѣнія, Контъ и имѣлъ въ виду, отрицая значеніе статистики или, по крайней мѣрѣ, очень важной части ея—теоріи вѣроятностей въ приложеніи къ соціологическимъ вопросамъ. Онъ преслѣдуетъ этого рода работы съ необыкновенною ненавистью и не прощаетъ ихъ ни Лапласу, ни Кондорсе. Но нападки эти совершенно неосновательны, потому что математика есть не только наука, а, какъ и логика, вмѣстѣ съ тѣмъ, орудіе нашего ума. Когда статистикъ высчитываетъ вѣроятное количество преступленій при данныхъ общественныхъ условіяхъ, онъ отнюдь не изучаетъ явленій съ математической точки зрѣнія; здѣсь онъ только при помощи логическихъ и математическихъ пріемовъ открываетъ законъ соціологическій, и при томъ чисто эмпирическій. Цифры, какъ прекрасно выразился Гёте, не управляютъ обществомъ, а только показываютъ, какъ оно управляется. Есть, правда, попытки спеціально математическаго анализа явленій общественной жизни, но онѣ отличаются радикальною нелѣпостью. Къ нимъ принадлежитъ, напримѣръ, одобряемая г. Стронинымъ и заносимая имъ въ отдѣлъ «хронологіи» попытка Кетле опредѣлить среднюю продолжительность жизни государствъ и народовъ. Кетле опредѣлилъ эту продолжительность въ 1461 годъ. Но, во-первыхъ, онъ взялъ только пять древнихъ государствъ, именно ассирійское, египетское, еврейское, греческое и римское; во-вторыхъ, при опредѣленіи продожительности ихъ существованія, онъ руководствовался такими источниками, какъ Histoire ancienne Ролленя и Discours sur l'histoire universelle Боссюэта, а со времени Ролленя, котораго переводилъ еще потѣшной памяти Тредьяковскій, хронологія, напримѣръ, Египта получила совершенно иной видъ. Въ-третьихъ, наконецъ—и это самое важное—если бы даже выводъ Кетле былъ основанъ на данныхъ несомнѣнно вѣрныхъ, то и въ этомъ случаѣ онъ не имѣлъ бы никакого значенія. Продолжительность существованія государствъ обусловливается такимъ множествомъ самыхъ разно-

образныхъ элементовъ,—каковы условія почвы и климата, общественное и политическое устройство, эмиграція и иммиграція, физіологическія условія расъ и проч., и проч., и проч.,—и условія эти такъ разнообразно комбинируются въ каждомъ данномъ частномъ случаѣ, что не только нѣтъ возможности уловить общій законъ продолжительности жизни государствъ съ чисто математической точки зрѣнія, но и самая математическая сторона этого явленія не имѣетъ никакого значенія. Не трудно видѣть, что настоящія статистическія изслѣдованія имѣютъ совсѣмъ другой смыслъ. Здѣсь, съ помощью логическихъ и математическихъ пріемовъ, выясняются условія, порождающія фактъ, условія не математическія, а естественныя и общественныя. Здѣсь математика есть только ключъ къ замку соціологіи, а не самый замокъ (эта прекрасная метафора—математика-ключъ и математика-замокъ принадлежитъ Кэри, который, однако, совершенно неосновательно отрицаетъ значеніе математики, какъ науки). Тамъ, гдѣ въ соціологическихъ изслѣдованіяхъ математика начинаетъ играть роль большую, чѣмъ роль ключа, тамъ неизбѣжно является фатализмъ, самый грубый. Пять древнихъ царствъ жили по 1461-му году. Что изъ этого слѣдуетъ? Вы не выдавите изъ этого факта ни одной пригодной капли. И рѣшительно столько же смысла имѣетъ вся хронологія г. Стронина, то есть, изученіе общественныхъ явленій съ математической точки зрѣнія или, какъ онъ выражается, «объясненіе всѣхъ свойствъ временности по отношенію къ общественной жизни». «Отношенія періодовъ революцій къ періодамъ реакцій, эпохъ застоя къ эпохамъ реформъ» и т. д., хотя и могутъ быть выражены численно, потому что во всѣхъ явленіяхъ есть сторона, могущая подлежать измѣренію, но это численное выраженіе не представляетъ ничего цѣннаго. Иначе пришлось бы допустить, что общество управляется цифрами; а такъ какъ законы математическіе, какъ наиболѣе простые, подлежатъ наименьшей степени регулированія, то пришлось бы, высчитавъ отношеніе періодовъ революцій къ періодамъ реакцій, сидѣть у моря и ждать погоды; то есть, ждать, пока кончится найденный нами терминъ и начнется другой: 10, положимъ, лѣтъ мира, и затѣмъ 10 лѣтъ войнъ и такъ безъ конца, какъ безъ конца повторяется: 2+2=4, двѣ прямыя пересѣкаются въ одной точкѣ и т. д. Итакъ, изученіе общества съ математической точки зрѣнія немыслимо, изученіе же математической стороны общественныхъ явленій имѣетъ значеніе весьма и весьма второстепенное.

Возьмемъ другую науку, болѣе сложную, напримѣръ, химію. Въ соединеніи съ физикой, механикой и математикой, химія можетъ намъ объяснить нѣкоторыя стороны жизни, но изучать жизнь съ химической точки зрѣнія нельзя. Тѣмъ болѣе справедливо это для отношеній между химіей и соціологіей. Химическій анализъ почвы, напримѣръ, имѣетъ для соціологіи весьма важное значеніе. У г. же Стронина, химія, какъ и всѣ другія науки, выражаясь слогомъ гоголевскаго приказчика, «точно пролетарій какой, все выше своей сферы лѣзетъ». Происходитъ, разумѣется, при этомъ путаница невообразимая. Разсматривая общественныя явленія съ химической точки зрѣнія, онъ находитъ, что, вслѣдствіе химическаго сродства, галлы и франки слились въ одинъ народъ, а кельты, бретонцы, обладающіе болѣе слабымъ сродствомъ, осѣли въ видѣ самостоятельнаго остатка. Аналогія эта ровно ничего не объясняетъ. Здѣсь соціологіи должна помочь не химія, потому что явленіе слитія двухъ расъ есть явленіе не химическое, а гораздо болѣе сложное; объяснить этотъ фактъ намъ можетъ только физіологія, да и то не одна, а при существенной помощи соціологіи; что же касается до химіи, то она должна при изученіи такого сложнаго факта отступить на очень отдаленный планъ, хотя и можетъ оказаться не безполезною. И такими-то ребяческими выводами и заключеніями переполнена вся книжка г. Стронина. Онъ доходитъ до того, что, сравнивая эгоизмъ и альтруизмъ (такъ Контъ называетъ симпатическіе мотивы, въ противоположность эгоизму), съ одной стороны, съ составными частями атмосфернаго воздуха, кислородомъ и азотомъ, съ другой, говоритъ: «самое содержаніе этихъ двухъ, другъ друга умѣряющихъ газовъ, въ обѣихъ атмосферахъ совершенно одинаково, и крайне горючій альтруизмъ относится къ несгораемому эгоизму, какъ 21 : 79 (????), то есть эгоизма и самосохраненія вчетверо (и кто вамъ это только высчиталъ) больше, чѣмъ самоотверженія и любви». «Но,—совершенно серьезно продолжаетъ г. Стронинъ,—было время, когда пропорція ихъ была еще неблагопріятнѣе» и т. д. (242). Замѣтимъ, между прочимъ, что г. Стронинъ совершенно напрасно называетъ альтруизмъ горючимъ, а эгоизмъ несгораемымъ. Не говоря уже о томъ, что въ этомъ нѣтъ ни малѣйшаго смысла вообще, прилагательныя эти не имѣютъ смысла даже съ точки зрѣнія безсмыслія аналогіи г. Стронина, ибо аналогичный альтруизму кислородъ отнюдь горѣть не можетъ.

Такова-то обработка явленій общественной жизни съ химической точки зрѣнія. Въ виду ея остается только руками развести. Но, можетъ быть, плодотворнѣе оцѣнка соціологическихъ явленій съ біологической точки зрѣнія, такъ какъ біологія представляетъ науку, ближайшую къ соціологіи. Но и здѣсь

повторяется тотъ же самый законъ зависимости явленій и завѣдующихъ ими наукъ. Біологическая сторона явленій общественной жизни, т. е. все, что касается рожденія, жизни, здоровья, болѣзни и смерти отдѣльныхъ біологическихъ недѣлимыхъ, все это можетъ быть изучаемо біологіей, при помощи, разумѣется, собственно соціологическихъ данныхъ. Изученіе же соціологіи съ біологической точки зрѣнія незаконно и должно привести къ ошибочнымъ результатамъ. Образчикъ такого незаконнаго пріема мы указали въ статьѣ «Что такое прогрессъ?». Само собою разумѣется, что г. Стронинъ съ распростертыми объятіями принимаетъ аналогію Спенсера и Дрэпера.

Однако, мы до сихъ поръ еще не разсмотрѣли знаменитыхъ 24-хъ примѣровъ г. Стронина, кои, по его словамъ, представляютъ индуктивное доказательство величія аналогическаго метода. Всѣхъ ихъ разбирать мы, разумѣется, не станемъ, а возьмемъ наудачу штукъ пять—шесть.

«Что такое гипотеза Лапласа, какъ не простое нанесеніе законовъ давно извѣстныхъ *настоящаго* на неизвѣстныя явленія *прошедшаго* (Примѣръ 4). Добрый г. Стронинъ, вѣдь это же не аналогія, а чистѣйшая индукція, да и никакого перенесенія закона изъ одной науки въ другую тутъ, очевидно, нѣтъ.

«Ботаническое открытіе Гете было также не что другое, какъ продленіе закона *части* на явленіе *цѣлаго*, перестановка закона изъ одной главы ботаники въ другую» (Примѣръ 6). Опять-таки, гдѣ же тутъ перенесеніе закона изъ одной науки въ другую? Даже изъ главы-то ботаники въ другую не было никакого перехода, а просто произошло обобщеніе, правда, очень крупное, въ области морфологіи.

«При устройствѣ рыбы, природа помѣстила плавательныя орудія ея нѣсколько впереди центра тяжести и потомъ на самомъ концѣ животнаго; но не то же ли самое дѣлаетъ и механикъ при построеніи корабля, когда размѣщаетъ свои весла и колеса и свой руль? Итакъ, законъ зоологіи продолжается и въ области механики или, пожалуй, законъ *механики* простирается и въ предѣлахъ *зоологіи*» (Примѣръ 10). То-то, что законъ механики простирается и въ предѣлахъ зоологіи, но и тамъ всетаки остается механическимъ закономъ равновѣсія, а не какимъ-нибудь зоологическимъ закономъ. Тутъ нѣтъ перенесенія закона изъ одной науки въ другую, законъ механическій оказывается приложеннымъ не къ иной какой-либо, а только къ механической сторонѣ организаціи рыбы.

«Въ эмбріологіи извѣстенъ законъ, по которому каждая функція отправляется послѣдовательно тремя различными органами, изъ которыхъ одинъ первичный, другой переходный и третій окончательный; О. Контъ, вовсе не думая объ эмбріологіи, пришелъ къ такимъ же тремъ органамъ функцій соціальныхъ: теологическому, метафизическому и позитивному; а Льюисъ, въ этомъ законѣ *соціологіи*, не замедлилъ подмѣтить простое примѣненіе закона *эмбріологическаго*, аналогія, которая, по словамъ его, есть одна изъ безчисленнаго множества поразительныхъ аналогій между развитіемъ организма индивидуальнаго и общественнаго» (Примѣръ 19). Льюисъ точно старается провести эту аналогію, но у него она является просто натяжкой, тогда какъ г. Стронинъ, кромѣ того, и Льюиса переврал. Льюисъ говоритъ вотъ что: «каждая функція послѣдовательно отправляется *двумя* (иногда и большимъ числомъ) органами, изъ коихъ *одинъ* первичный, переходный, посредствующій; *другой* вторичный, окончательный, постоянный». («Философія наукъ Конта», стр. 37). Откуда же, спрашивается, г. Стронинъ почерпнулъ свѣдѣніе объ эмбріологическомъ законѣ *тройной* смѣны органовъ для каждой функціи?

«Вундтъ въ своей психологіи находитъ, что ощущеніе возрастаетъ, какъ логарифмъ раздраженія, а такимъ образомъ законъ *алгебры* не перестаетъ, значитъ, дѣйствовать на явленіяхъ *психологіи*» (Примѣръ 24). Ну, съ этой штукой мы уже видѣлись въ хронологіи.

Однако, я полагаю, довольно. Эти нѣсколько примѣровъ убѣждаютъ насъ, что не только г. Стронинъ не понимаетъ связи и отношеній между явленіями природы и между науками, но не уяснилъ себѣ даже и того, что такое аналогія; это, впрочемъ, можно было бы вывести уже изъ того, что г. Стронинъ вздумалъ обратить *аналогію* въ *аналогику*. Есть логическіе пріемы, настолько прочные, что они съ большою выгодою могутъ употребляться систематически въ огромномъ количествѣ случаевъ, т. е. обратиться въ методъ. Таковы методы индуктивный и дедуктивный, которые, впрочемъ, не легко разграничить. Есть и другіе пріемы, для которыхъ нельзя допустить такого широкаго и систематическаго употребленія, хотя въ извѣстныхъ, относительно узкихъ предѣлахъ, они могутъ примѣняться съ пользою. Такова гипотеза и такова еще болѣе аналогія. Подъ аналогіей разумѣются вещи весьма различныя. Аналогія есть собственно указаніе общихъ чертъ въ различныхъ предметахъ и потому въ смыслѣ возможности аналогіи нѣтъ предѣловъ; г. Стронинъ проводитъ аналогіи и Ньютонъ проводилъ аналогіи, блинъ имѣетъ

видъ круга и нуль имѣетъ видъ круга, и т. д. Но въ смыслѣ цѣлесообразности аналогіи могутъ быть предписаны весьма строгіе предѣлы, и при томъ тѣмъ болѣе строгіе, чѣмъ важнѣе цѣль, которая имѣется въ виду при употребленіи аналогіи. Если цѣль эта состоитъ только въ томъ, чтобы сильнѣе выразить какую-нибудь мысль, то границы аналогіи еще очень широки — чѣмъ аналогія (здѣсь она получаетъ названіе метафоры) художественнѣе, образнѣе вызываетъ въ нашемъ умѣ требуемое представленіе, тѣмъ она лучше. На такихъ художественныхъ аналогіяхъ построены всѣ поэтическія сравненія, ругательныя слова, въ родѣ «оселъ», «змѣя», «лиса» и т. д., одобрительныя, въ родѣ «левъ», «орелъ» и проч. Но уже въ баснѣ и въ большей части народныхъ пословицъ отъ аналогіи требуется нѣчто, кромѣ пластичности. Такъ какъ въ этихъ случаяхъ имѣется въ виду полученіе нѣкотораго вывода изъ аналогіи, то послѣдняя должна указывать сходство отношеній между аналогируемыми предметами. Мы, напримѣръ, говоримъ: «аналогію можно сравнить съ легкимъ казачьимъ отрядомъ, который самъ по себѣ, безъ помощи пѣхоты и артиллеріи, укрѣпленнаго мѣста взять не можетъ». Какова бы ни была эта аналогія съ художественной точки зрѣнія, она удовлетворительно указываетъ на сходство отношеній между аналогіей и другими логическими пріемами, съ одной стороны, и между тяжелыми войсками и казачьимъ отрядомъ—съ другой. Поэтому изъ этой аналогіи возможны нѣкоторые выводы. Мы можемъ развивать свою метафору далѣе, напримѣръ, въ такомъ родѣ: «хотя казачій отрядъ взять крѣпости не можетъ, но можетъ быть съ пользою употребленъ для рекогносцировки и указать пѣхотѣ и артиллеріи слабые пункты крѣпости; слѣдуетъ поэтому думать, что и аналогія можетъ указать направленіе, въ которомъ должны быть произведены наблюденія и опыты». Это называется доводомъ по аналогіи. Само собою разумѣется, что это доказательство весьма слабое и для опредѣленія значенія аналогіи мы должны обратиться къ другимъ логическимъ путямъ. Но иногда можетъ случиться, что нѣкоторыя свойства явленія почему-нибудь недоступны нашему изученію, тогда какъ мы имѣемъ полную возможность изучать другое явленіе, аналогичное съ первымъ, т. е. имѣемъ равенство отношеній между нѣкоторыми извѣстными намъ свойствами обоихъ явленій. Въ такомъ случаѣ мы можемъ, въ предѣлахъ этого равенства отношеній, изучать второе явленіе вмѣсто перваго. Пріемъ этотъ часто употребляетъ Спенсеръ подъ именемъ соціологическаго метода. Для него развитіе недѣлимаго и развитіе общества аналогичны, т. е. въ уравненіи А: В=В: С,—А есть для него общество, В индивидуальный организмъ, С—органъ. Поэтому, если изученіе физіологическаго факта представляетъ нѣкоторыя затрудненія, какихъ не представляетъ изученіе соотвѣтственнаго факта соціологическаго, Спенсеръ обращается къ послѣднему и сдѣланный имъ выводъ переноситъ на физіологическій фактъ. Это пріемъ собственно совершенно законный, если полное наведеніе по какимъ-нибудь причинамъ невозможно и если равенство отношеній, т. е. пропорція А: В=В: С дѣйствительно существуетъ и доказана. При этомъ вовсе нѣтъ надобности утверждать сходство между обществомъ и недѣлимымъ и между недѣлимымъ и органомъ; достаточно сходства отношеній между ними. Уподобленіе общества недѣлимому и недѣлимаго органу представляетъ случай, отличный отъ случая равенства отношеній. Здѣсь предполагается, что въ томъ и другомъ случаѣ имѣютъ мѣсто одни и тѣ же законы. У Спенсера обѣ эти аналогіи употребляются рядомъ, но, тѣмъ не менѣе, это различные типы аналогіи. Горючія вещества обладаютъ большою способностью преломленія, алмазъ также обладаетъ ею. Изъ этого сходства въ степени способности преломленія Ньютонъ заключилъ и о сходствѣ по отношенію къ горѣнію; онъ рѣшилъ, что алмазъ долженъ быть горючъ. Опытъ подтвердилъ его выводъ. Здѣсь равенство отношеній принимаемо въ разсчетъ не было. Ньютонъ предположилъ, что должна существовать нѣкоторая причинная связь между горючестью и способностью преломленія, хотя законъ этой связи не найденъ и по сіе время. Какъ ни блистательно удалась эта аналогія, но если бы она не могла быть подтверждена опытомъ, мы должны бы были относиться къ ней подозрительно; а если бы при этомъ изслѣдованія показали, что между горючестью и высокою степенью преломляющей способности нѣтъ никакой причинной связи, то аналогія Ньютона и никуда не годилась бы. Что же стало бы съ нею, если бы было найдено, что горючесть и способность преломленія дѣйствительно относятся между собой, какъ причина къ слѣдствію, а между тѣмъ, опытомъ не было бы дознано, что алмазъ горючъ? Аналогія смѣнилась бы настоящимъ выводомъ или наведеніемъ. Слѣдуетъ, кромѣ того, замѣтить, что аналогія тѣмъ безупречнѣе, чѣмъ существеннѣе входящія въ ея разсчетъ сходныя свойства и чѣмъ значительнѣе объемъ сходства сравнительно съ объемомъ различія. Поэтому аналогія можетъ быть построена только при достаточной оцѣнкѣ не только сходныхъ, а и несходныхъ свойствъ аналогируемыхъ предметовъ. Далѣе слѣдуетъ имѣть въ виду возможность встрѣч-

ныхъ аналогій. Но, кромѣ эти общихъ правилъ, отъ соблюденія которыхъ зависитъ большая или меньшая степень годности аналогій, послѣднія могутъ быть подчинены еще и инымъ. Слѣдуетъ, во-первыхъ, помнить, что аналогія не можетъ доказать, что въ двухъ аналогируемыхъ обстоятельствахъ дѣйствуетъ одинъ и тотъ же законъ. Аналогія только дотуда и существуетъ, докуда не найденъ одинъ законъ, управляющій двумя различными явленіями; разъ причинная связь между схожими и не схожими свойствами явленій формулирована, — аналогія уже не имѣетъ мѣста, она смѣняется индукціей или выводомъ. Роль аналогіи чисто временная, и мы должны стараться, по возможности, скорѣе перешагнуть черезъ эту степень, чтобы стать на болѣе прочную почву. Такъ какъ значеніе аналогіи всецѣло зависитъ отъ подтвержденія ея выводовъ опытомъ и наблюденіемъ и отъ возможности замѣны ея индукціей или выводомъ, то наиболѣе цѣнны тѣ аналогіи, которыя наименѣе долговѣчны. Какія же аналогіи наиболѣе удовлетворяютъ этому требованію? Для этого слѣдуетъ обратиться къ классификаціи наукъ. Мы обращаемся къ классификаціи Конта, во-первыхъ, потому, что ее принимаетъ г. Стронинъ, а во-вторыхъ, потому, что лучшаго выбора онъ не могъ сдѣлать. Классификація эта говоритъ, что:

Числовыя отношенія управляются нѣкоторыми опредѣленными законами, которые мы называемъ ариѳметическими и алгебраическими.

Явленія протяженія управляются законами чиселъ + нѣкоторыми собственными, геометрическими законами, которые къ законамъ чиселъ не сводятся. Назовемъ эти послѣдніе геометрическимъ остаткомъ A.

Явленія движенія подлежатъ законамъ чиселъ и протяженія + механическій остатокъ B.

Явленія астрономическія зависятъ отъ законовъ чиселъ, протяженія, равновѣсія и движенія + астрономическій остатокъ C.

Явленія физическія предполагаютъ законы чиселъ, протяженія, равновѣсія и движенія, тяготѣнія + физическій остатокъ D.

Явленія химическія управляются законами чиселъ, протяженія, равновѣсія и движенія, тяготѣнія, теплоты и электричества + химическій остатокъ E.

Біологическія явленія подлежатъ законамъ чиселъ, протяженія, равновѣсія и движенія, тяготѣнія, теплоты и электричества, химическаго соединенія и разложенія + біологическій остатокъ F.

Соціологическія явленія зависятъ отъ законовъ чиселъ, протяженія, равновѣсія и движенія, тяготѣнія, теплоты и электричества, химическаго соединенія и разложенія органической жизни + соціологическій остатокъ G, состоящій изъ спеціальныхъ законовъ явленій общественности.

Остатки A, B, C и т. д. существуютъ только потому, что мы не можемъ усмотрѣть законы, общіе имъ всѣмъ. Если бы когда нибудь нашли эти общіе законы, самостоятельное существованіе отдѣльныхъ наукъ прекратилось бы, и мы дѣйствительно имѣли бы право сказать вмѣстѣ съ г. Стронинымъ, что «нѣтъ закона той или другой науки, а есть только законъ науки вообще». По всей вѣроятности, мы никогда не будемъ въ правѣ сказать это, а теперь не смѣемъ даже подозрѣвать возможность такого идеальнаго состоянія науки. Весьма любопытно, что хотя г. Стронинъ признаетъ, что нѣтъ закона той или другой науки, а слѣдовательно, нѣтъ математики, физики и т. д., тѣмъ не менѣе, однако, признаетъ эти науки существующими, когда строитъ путемъ аналогическаго метода свою классификацію соціальныхъ наукъ. Мало того, столь либеральный въ своемъ теоретическомъ положеніи, г. Стронинъ въ примѣненіи его сказывается plus royaliste que le roi. Нѣтъ, говоритъ, законовъ отдѣльныхъ наукъ, а когда нужно сочинить какую-нибудь отрасль общественной науки, то онъ готовъ признать существованіе законовъ не только математики, физики, а даже барологіи и даже магнетики. Въ числѣ звоновъ, слышанныхъ г. Стронинымъ, есть, повидимому, и механическая теорія міра. И здѣсь, можетъ быть, существуетъ нѣкоторое недоразумѣніе между нами и читателемъ. Аналогическій методъ состоитъ въ объясненіи относительно сложныхъ явленій съ точки зрѣнія явленій низшаго порядка. Мы признаемъ этотъ методъ радикально негоднымъ и очень благодарны г. Стронину за то, что онъ далъ намъ возможность высказать это. Теперь читатель можетъ спросить: развѣ на вѣки вѣчные должны остаться эти рубрики: математика, астрономія, физика, химія, біологія и соціологія? Развѣ это предѣлъ, его же не прейдеши? Міръ единъ, и всѣ классификаціи его явленій играютъ только временную роль, пока уму нашему не удалось подмѣтить общія черты между несходными явленіями. На это возраженіе читатель можетъ быть не безъ основанія наведенъ громадными обобщеніями послѣдняго времени, стремящимися стереть пограничную черту между качественными различіями и перемѣщеніемъ нѣкоторыхъ частицъ и сводящими такимъ образомъ свѣтъ, теплоту, электричество, химическій процессъ, даже нервную дѣятельность и общественныя явленія къ чисто-механическому принципу движенія. Важныя открытія, къ которымъ привело это воззрѣніе, даютъ, повидимому, поддержку аналоги-

ческому методу, но въ сущности не даютъ ея вовсе. Безъ всякаго сомнѣнія механическая теорія міра разрослась изъ аналогій, какъ разростается изъ нихъ всякое обобщеніе, если подъ аналогіей разумѣть, вообще, указаніе сходныхъ чертъ различныхъ предметовъ. Но здѣсь судьба аналогіи тѣсно связана съ судьбою гипотезы, такъ-какъ для объясненія явленій свѣта, теплоты, электричества и пр., механическая теорія вводитъ въ свои разсчеты цѣлый рядъ гипотетическихъ факторовъ, недоступныхъ нашему наблюденію и совершенно намъ неизвѣстныхъ—эѳиръ, электрическія жидкости, молекулы и т. д. Распространеніе свѣта представляетъ большое сходство съ волнообразнымъ движеніемъ упругихъ жидкостей—вотъ аналогія. Дальнѣйшіе опыты и наблюденія подтверждаютъ намъ, что дѣйствительно распространеніе свѣта слѣдуетъ, если не тѣмъ же, то, по крайней мѣрѣ, такимъ же законамъ, какими управляется волнообразное движеніе. Но что же такое въ явленіяхъ свѣта волнообразно движется? Свѣтоносный эѳиръ—вотъ гипотеза. Гипотеза эта можетъ помочь намъ при изслѣдованіи свѣтовыхъ явленій, но точнымъ образомъ повѣрить ее нѣтъ никакой возможности. Поэтому явленія свѣта съ явленіями движенія отождествлять нельзя, хотя механическая теорія можетъ объяснить механическія условія свѣта, то-есть физическій остатокъ D остается въ сущности незатронутымъ. Равнымъ образомъ, пока мы не можемъ провѣрить, дѣйствительно-ли имѣетъ мѣсто молекулярное движеніе въ химическомъ процессѣ и исчерпывается ли весь этотъ процессъ понятіемъ движенія, до тѣхъ поръ химическія явленія представляютъ для насъ нѣчто отличное отъ механическихъ; химическій остатокъ E все-таки существуетъ. Въ высшей степени остроумные опыты и наблюденія, сдѣланные подъ вліяніемъ механической теоріи, сблизили различныя отрасли физики, объяснили механическую сторону физическихъ и отчасти химическихъ явленій, дали нѣкоторые намеки на объясненіе механической стороны явленій высшихъ порядковъ. Но говорить, что теорія волнообразнаго движенія совершенно объясняетъ природу свѣтовыхъ явленій, что свѣтъ есть только движеніе совершенно неизвѣстнаго намъ фактора, недоступнаго наблюденію, имѣющаго нѣкоторыя свойства вещества, не имѣя его главныхъ свойствъ — говорить это можетъ только человѣкъ, крайне увлекающійся широтою обобщенія. Пока еще ничто не даетъ намъ права изучать всѣ явленія съ механической точки зрѣнія, то есть употреблять аналогическій методъ, хотя изученіе механическихъ условій явленій несомнѣнно плодотворно. Слѣдуетъ, однако, замѣтить, что какого бы крайняго приверженца механической теоріи мы ни взяли и какъ бы не основательны его соображенія ни были, для него было бы оскорбительно сравненіе съ г. Стронинымъ. Имѣя въ виду въ сущности то же положеніе, что и г. Стронинъ, то есть, что нѣтъ закона той или другой науки, а есть законъ науки вообще, крайній приверженецъ механической теоріи совершенно послѣдовательно представляетъ себѣ вселенную, какъ систему движенія; онъ ищетъ во всѣхъ явленіяхъ механическихъ законовъ, изучаетъ всѣ явленія съ механической точки зрѣнія, но уже не становится на точки зрѣнія химическую, астрономическую, біологическую и т. д. Эти точки зрѣнія для него не существуютъ въ томъ видѣ, въ какомъ существуютъ для г. Стронина. И это логично. Мы не считаемъ Контова ряда группъ явленій и соотвѣтствующихъ имъ наукъ за предѣлъ,—его же не прейдеши. Но какихъ измѣненій онъ можетъ современемъ потребовать—этого теперь себѣ и представить нельзя. До сихъ поръ (за исключеніемъ нѣкоторой перетасовки отдѣловъ физики) классификація эта ничѣмъ не поколеблена. И явленія математическія, физическія, астрономическія, химическія, біологическія и соціологическія мы принуждены признавать различными, имѣющими свои особенные законы.

Признавъ это и помня, что аналогія сама не можетъ доказать, что въ двухъ сравниваемыхъ случаяхъ дѣйствуетъ одинъ и тотъ же законъ, и что аналогія тѣмъ лучше, чѣмъ она быстрѣе смѣняется полнымъ наведеніемъ или выводомъ, мы можемъ опредѣлить относительную цѣнность аналогіи и болѣе спеціальнымъ образомъ. Наиболѣе цѣнны аналогіи, не выходящія изъ предѣловъ одного изъ спеціальныхъ остатковъ A, B и т. д. То есть, при равенствѣ другихъ условій (объемъ сходства и различія, существенность аналогируемыхъ свойствъ, возможность встрѣчныхъ аналогій), наиболѣе цѣнны аналогіи между явленіями соціологическими и соціологическими, біологическими и біологическими и т. д., и именно спеціально соціологическими, спеціально біологическими. Біологическій остатокъ составляютъ законы организаціи, и потому для біологіи наиболѣе цѣнны аналогіи въ предѣлахъ морфологіи и гистологіи, то-есть аналогіи между тканями, аналогіи между органами, аналогіи между цѣлыми организмами. Сюда относятся, напримѣръ, упоминаемыя г. Стронинымъ ботаническое и анатомическое открытія Гёте. Такого рода аналогіи, будучи заключены въ предѣлахъ явленій, завѣдомо управляемыхъ одними и тѣми же законами—хотя законъ частнаго случая, лежащаго въ основаніи аналогіи, и не извѣстенъ—могутъ разсчитывать

на весьма быструю помощь наведенія или, благодаря теоріи единства типа, вывода. Соціологическій остатокъ составляютъ явленія общественной жизни, и потому для соціологіи могутъ имѣть наибольшее значеніе аналогіи между общественными явленіями, напримѣръ, между различными формами общественности у людей и у животныхъ, или между такими явленіями индивидуальной жизни, которыя зависятъ отъ общественныхъ условій.

Всѣ эти аналогіи, при соблюденіи, разумѣется, общихъ логическихъ правилъ для аналогій, часто совершенно граничатъ съ наведеніемъ.

Совершенно никакой цѣны не имѣютъ аналогіи между нѣкоторымъ спеціальнымъ остаткомъ и явленіемъ низшаго порядка или между двумя спеціальными остатками. Подобныя аналогіи (если только онѣ не аналогіи въ смыслѣ равенства отношеній) не имѣютъ никакой будущности, или, вѣрнѣе, имъ предстоитъ слишкомъ долгая будущность; такъ какъ явленія двухъ спеціальныхъ остатковъ наличныя силы науки должны признать не подлежащими какимъ-нибудь общимъ законамъ, то аналогія не имѣетъ никакой надежды смѣниться полнымъ наведеніемъ, а сама открыть общій двумъ явленіямъ законъ она не въ силахъ. Такова аналогія между организмомъ—остаткомъ біологіи, и обществомъ—спеціальнымъ остаткомъ соціологіи. Здѣсь-то аналогія и разростается въ аналогическій методъ.

Внутри этихъ предѣловъ, между аналогіями, немедленно могущими смѣниться полнымъ наведеніемъ, и такими, которыя объ этомъ и мечтать не смѣютъ, можетъ существовать много очень разнообразныхъ комбинацій, перечислить которыя нѣтъ возможности. Мы разсмотримъ хоть одинъ примѣръ. Аналогія между борьбой за существованіе въ природѣ и конкурренціей въ обществѣ до извѣстныхъ предѣловъ законна, такъ какъ борьба за существованіе является результатомъ біологическихъ законовъ, которые имѣютъ мѣсто и въ обществѣ. Но не всѣ выводы изъ этой аналогіи будутъ для насъ одинаково обязательны. Напримѣръ, мы говоримъ: борьбу за существованіе выдерживаютъ въ большей части случаевъ сильнѣйшіе, лучшіе, наиболѣе развитые представители животнаго и растительнаго царства; такъ какъ конкурренція въ обществѣ имѣетъ весьма большое сходство съ борьбой за существованіе въ природѣ, то должно думать, что и въ конкурренціи побѣдителями остаются лучшіе, развитѣйшіе представители общества. Такого вывода мы не имѣемъ права сдѣлать, потому что имъ захватывается соціологическій остатокъ—общественныя отношенія, слѣдовательно, соціологическій фактъ разсматривается съ біологической точки зрѣнія, то есть употребляется незаконный аналогическій методъ. Конкурренція несомнѣнно зависитъ отъ нѣкоторыхъ чисто-біологическихъ законовъ, но общественныя отношенія представляютъ нѣчто не встрѣчающееся въ остальной природѣ, а потому не невозможно, что конкурренція въ обществѣ даетъ не тѣ результаты, что борьба за существованіе въ природѣ.

Мы отнюдь не думаемъ, чтобы какими-нибудь правилами можно было удержать отъ ложныхъ аналогій, потому что аналогія есть продуктъ воображенія. Не думаемъ мы равнымъ образомъ утверждать, чтобы опыты и наблюденія, вызванные самою неправильною, по нашему разсчету, аналогіей, не могли весьма значительно расширить кругъ нашихъ знаній. Это дѣло случая. Но если желаютъ, какъ желаетъ этого г. Стронинъ, получить немедленные выводы изъ аналогіи, то слѣдуетъ помнить существующія границы науки, переступить которыя аналогія, по самому существу своему, не можетъ. Г-нъ же Стронинъ хотя и много толкуетъ о «горизонтальномъ», «вертикальномъ», «концентрическомъ», «прямо-діагональномъ» и «обратно-діагональномъ» «средствѣ наукъ», и различаетъ три подвида аналогіи: «тождество», «такождество» и «иножество», тѣмъ не менѣе съ беззаботностью мотылька порхаетъ надъ всѣми областями явленій природы, презирая всякія препоны для аналогій. До какой степени г. Стронинъ мало способенъ оцѣнить относительное значеніе той или другой аналогіи, видно изъ слѣдующаго примѣра. Милль въ своей Системѣ логики приводитъ, какъ образчикъ ложной аналогіи, параллель между рожденіемъ, молодостью, старостью и смертью недѣлимыхъ и обществъ. Г-нъ Стронинъ эту аналогію, которую мы на основаніи вышесказаннаго уже a priori могли бы признать негодною, г. Стронинъ ее признаетъ. Милль говоритъ вотъ что: «Упадокъ жизненныхъ силъ въ одушевленномъ тѣлѣ можетъ быть точно приписанъ естественному развитію именно тѣхъ перемѣнъ въ строеніи, которыя, на болѣе раннихъ ступеняхъ, составляютъ ростъ одушевленнаго тѣла до полной зрѣлости. Въ политическомъ же тѣлѣ развитіе этихъ перемѣнъ не можетъ имѣть вообще иного слѣдствія, кромѣ дальнѣйшаго продолженія роста; только прекращеніе этого развитія и начало движенія вспять могли бы составить упадокъ. Политическія тѣла умираютъ, но отъ болѣзни или насильственной смерти: у нихъ нѣтъ старости» (II, 360). Мы не признаемъ за этимъ доводомъ особенной глубины, но, тѣмъ не менѣе, онъ есть доводъ, который г. Стронину слѣдовало бы опровергнуть. Но этого онъ и не думаетъ сдѣлать, не цитируетъ

даже довода, а цѣпляется за послѣднія слова Милля и говоритъ: хоть Милль и не признаетъ и проч., «но въ дополненіе къ этому достаточно замѣтить, что тотъ же Милль для тѣхъ же обществъ допускаетъ, во-первыхъ, понятіе тѣлъ; во-вторыхъ, рожденія; въ-третьихъ, болѣзни; въ-четвертыхъ, смерти, когда говоритъ, напримѣръ, такъ: «Политическія тѣла умираютъ, но только отъ болѣзни или насильственной смерти, а не отъ старости» (246). Принимая въ соображеніе, что г. Стронинъ Миллева доказательства не приводитъ, мы должны сказать, что его придирка стоитъ на границѣ между недобросовѣстностью и несообразительностью. Г. Стронинъ не понимаетъ или не хочетъ понять, что въ приведенныхъ имъ словахъ Милля выраженія «тѣло», «смерть» и т. д. употребляются въ томъ же метафорическомъ смыслѣ, въ какомъ мы его назвали беззаботнымъ мотылькомъ; въ какомъ поэтъ называетъ свою возлюбленную «стыдливой маргариткой», отнюдь не думая, что эту маргаритку слѣдуетъ поливать водой; въ какомъ вы называете глупаго человѣка «пробкой», не имѣя въ виду заткнуть имъ бутылку; въ какомъ вы называете нехорошаго человѣка «свиньей», отнюдь не думая отдать его окорока въ колбасную для копченья. Для химической точки зрѣнія на явленія общественной жизни г. Стронинъ не шутя находитъ нѣкоторую точку опоры въ томъ обстоятельствѣ, что выраженіе—химическое *сродство* заимствовано изъ общественныхъ отношеній; равнымъ образомъ политическая теорія *округленія* границъ радуетъ его, какъ предтеча рѣшенія соціальныхъ вопросовъ съ астрономической точки зрѣнія, ибо намекаетъ на шарообразную форму небесныхъ тѣлъ. При такихъ условіяхъ г. Стронинъ, конечно, смѣло можетъ сказать: «Поле дѣятельности, открываемое аналогическимъ методомъ для наукъ общественныхъ, обширно до неимовѣрности» (151). C'est le mot—до неимовѣрности. Понятное дѣло, что, задавшись мыслью о возможности изученія явленій общественной жизни съ математической, механической, физической, химической, біологической точекъ зрѣнія, можно натворить сколько угодно аналогій. Берете вы соціологическое явленіе и пріискиваете ему аналогію, положимъ, въ механикѣ; не найдется ничего въ механикѣ—ступайте въ физику, химію и т. д.

Напримѣръ, г. Стронинъ говоритъ: «Ничто у историковъ и публицистовъ не повторяется такъ часто, какъ положеніе, что малыя государства рано или поздно поглощаются большими, чему мы и видѣли еще недавно такой ясный примѣръ на Германіи. Но что же такое это эмпирическое обобщеніе, какъ не частный только случай все одного и того же всеобщаго тяготѣнія? и тяготѣнія, управляемаго ничѣмъ инымъ, какъ опять простою же массивностью?» Если вы скажете г. Стронину, что не всегда такъ бываетъ и что, напримѣръ, не Неаполь поглотилъ Сардинію, а Сардинія Неаполь, что въ древности не Греція поглотила Македонію, а Македонія Грецію и проч., и проч., то г. Стронинъ отвѣтитъ, что здѣсь «астрономическій» законъ парализованъ «соціономическимъ», въ которомъ, вмѣсто массивности, подставляется богатство, умственная сила и т. д. А астрономическій законъ всетаки остается? Всетаки остается. Такъ.

На стр. 299-й г. Стронинъ разсматриваетъ «съ астрономической точки зрѣнія будущность панславянскаго (собственно говоря, этакого и не бывало) племени». «Внутри этой системы,—говоритъ авторъ, огромное, плотное и увѣсистое тѣло, какова Россія, вокругъ дробные, разъединенные, слабые астероиды славянскіе; мало того, самое разстояніе послѣднихъ отъ первой таково, что они соприкасаются съ нею непосредственно и, если раздѣляются въ одномъ мѣстѣ, то только Венгріей; итакъ, положеніе таково, что одни находятся во всѣхъ отношеніяхъ въ сферѣ притяженія другого, и устранить это положеніе значило бы измѣнить всю географію». Это и есть именно мѣсто, о которомъ мы упоминали, какъ о мѣстѣ въ духѣ русскихъ хозяевъ, конечно, не ожидавшихъ, что на помощь къ нимъ стремится астрономія. Однако, если бы какой-либо заклятый врагъ Россіи,—при чемъ мы отнюдь не утверждаемъ, чтобы русскіе хозяева были непремѣнно друзьями Россіи, не утверждаемъ, по крайней мѣрѣ, чтобы они были друзьями полезными—если бы какой-либо врагъ Россіи пожелалъ опровергнуть эту аналогію, то могъ бы сдѣлать это безъ всякаго труда. Во-первыхъ, онъ могъ бы спросить: почему же славянскіе астероиды до сихъ поръ не притянуты Россіею, если они находятся въ сферѣ ея притяженія? Если тѣло попадаетъ въ сферу притяженія земли, то падаетъ на нее немедленно. Почему же славянскіе-то астероиды не падаютъ? Это возраженіе не огорчило бы, разумѣется, г. Стронина, даже если бы онъ его принялъ. Онъ ни мало не медля заставилъ бы «панславянское племя» слиться въ силу химическаго сродства, какъ онъ это и дѣлаетъ относительно галловъ и франковъ. Но врагъ Россіи могъ бы поднять брошенное г. Стронинымъ оружіе—астрономію и съ помощію ея построить какую-нибудь аналогію въ ущербъ Россіи. Онъ могъ бы приложить къ ея будущности, напримѣръ, теорію Лапласа, сравнить окраины Россіи съ экваторіальнымъ поясомъ гипотетическаго первобытнаго вращающагося сфероида; а этотъ экваторіальный поясъ, какъ извѣстно, вслѣдствіе возрастанія центробѣжной силы, от-

дѣляется, по теоріи Лапласа, отъ общаго ядра въ видѣ кольца, которое и сгущается въ видѣ одного или нѣсколькихъ самостоятельныхъ тѣлъ. Такимъ образомъ, врагъ Россіи усмотрѣлъ бы съ «астрономической точки зрѣнія» не слитіе славянскихъ племенъ съ Россіею, а отпаденіе отъ нея ея окраинъ. Излагать въ русскомъ журналѣ выводы враговъ Россіи— вещь не позволительная. Но выводъ нашъ столь нелѣпъ, и врагъ Россіи, который пожелалъ бы имъ воспользоваться, былъ бы столь глупъ и, слѣдовательно, безвреденъ, что за подобное изложеніе вражескихъ аргументовъ «Отечественныя Записки», надо полагать, предостереженія не получатъ. И, однако, наша аналогія представляетъ не менѣе прочности, чѣмъ аналогія г. Стронина.

Стронинъ говоритъ: «Сплавъ различныхъ металловъ всегда крѣпче и тверже, чѣмъ каждая изъ его составныхъ частей», и находитъ это явленіе аналогичнымъ съ прочностью сплава различныхъ народовъ, каковъ, напримѣръ, сплавъ англичанъ изъ кельтовъ, бриттовъ, римлянъ и т. д. Слова: «сплавъ крѣпче и тверже» имѣютъ очень неопредѣленный смыслъ, а слова «сплавъ крѣпче» не имѣютъ даже никакого смысла. Однако, такъ какъ дѣло идетъ о «прочности» народовъ, то нужно думать, что твердость сплава металловъ противополагается г. Стронинымъ его жидкости и газообразности. Но въ такомъ случаѣ законъ относительно твердости сплава металловъ не имѣетъ никакого основанія. Для спаиванія металлическихъ вещей употребляется сплавъ изъ олова и свинца, и этотъ сплавъ плавится при болѣе низкой температурѣ, чѣмъ отдѣльно взятые олово и свинецъ, т.-е. въ этомъ случаѣ составныя части сплава переходятъ изъ твердаго въ жидкое состояніе легче, чѣмъ ихъ сплавъ: онѣ тверже его, какъ выражается г. Стронинъ. Калій плавится при 136° (по Фаренгейту), натрій при 190°, а сплавъ ихъ при обыкновенной уже температурѣ жидокъ. Если вы представите г. Стронину эти и другія подобныя возраженія противъ его аналогіи, онъ, ни мало не смущаясь, перейдетъ къ аналогіи біологической. И здѣсь онъ попадаетъ на настоящее мѣсто (хотя смѣшеніе крови можетъ, при извѣстныхъ условіяхъ, и понизить уровень породы); но въ томъ-то и дѣло, что онъ не видитъ никакой разницы между аналогіями никуда негодными и аналогіями въ такой мѣрѣ прочными, что онѣ даже перестаютъ быть аналогіями. Аналогическій методъ весьма часто вводитъ г. Стронина въ противорѣчіе съ самимъ собой. Такъ онъ исповѣдуетъ, что только наука, только знаніе можетъ двигать человѣчество впередъ; у него «сердце содрогается отъ зависти къ потомству», болѣе чѣмъ онъ просвѣщенному; у него «мысль нѣмѣетъ при представленіи вѣроятностей будущаго» значенія науки; онъ не вѣритъ ни въ какія «революціи и реформаціи» и вѣритъ только «въ реформу понятій, революцію знаній». И тѣмъ не менѣе, добравшись разными тождествами, такождествами и инождествами до убѣжденія, что знаніе есть теплота, а просвѣщеніе—нагрѣваніе, онъ совѣтуетъ американцамъ позадержать нагрѣваніе. Иначе, говоритъ, сгорите. А мысль, замѣтьте, продолжаетъ нѣмѣть и сердце не перестаетъ содрогаться.

Вамъ надоѣло, читатель? И намъ тоже. Вы негодуете на насъ за то, что мы, подъ предлогомъ какой-то, якобы важной стороны измышленій г. Стронина, столько времени занимали ваше вниманіе очевиднымъ для всякаго вздоромъ. Въ оправданіе наше мы можемъ сказать, что хотя мы пишемъ не о книгѣ г. Стронина, а скорѣе по поводу ея, тѣмъ не менѣе въ видѣ простой благодарности за предоставленіе случая высказать нѣсколько не лишенныхъ значенія мыслей, мы не могли не поговорить и о самой книгѣ. И этотъ долгъ благодарности мы старались уплатить съ наивозможнѣйшею умѣренностью, ибо оставили безъ разсмотрѣнія огромную кучу перловъ остроумія г. Стронина. Онъ даже свой аналогическій методъ аналогируетъ съ чѣмъ-то, ужъ не помню. Теперь мы нѣсколько уклонимся отъ книжки г. Стронина, однако, по чувству той же благодарности, всетаки не навсегда оставимъ его.

II.

Лѣтъ съ десятокъ съ хвостикомъ тому назадъ, насъ разбудили вопросы практической жизни. Это было настоящее время, когда и проч. Это было очень давно, хотя и не болѣе, какъ лѣтъ съ десятокъ съ хвостикомъ тому назадъ. Историческая весна начиналась, травка изъ-подъ мерзлой земли пробивалась, весенніе звуки слышались (что значитъ примѣръ: мы все метафорами говоримъ). Съ тѣхъ поръ много воды утекло, и текла она въ общихъ чертахъ такъ. Разбуженные практическими вопросами и громомъ крымскихъ пушекъ, мы были замѣчательно единодушны. Но затѣмъ, когда рѣшеніе практическихъ вопросовъ подвинулось ближе, и когда для освѣщенія практической земли мы стали искать точекъ опоры на теоретическомъ небѣ, мы перестали быть единодушными, и въ нашемъ обществѣ можно было ясно различить двѣ группы мнѣній, другъ другу враждебныхъ. Потомъ теоретическое небо очень быстро показалось намъ съ овчинку, и, видя, какъ ближній нашъ покрываетъ простого туза козырной двойкой, мы уличали его въ *измахъ*. Потомъ настало затишье, и козырныя двой-

ки перестали покрывать простыхъ тузовъ...

Тѣмъ не менѣе, въ этотъ недавній періодъ полнаго затишья тамъ и сямъ слышались, да слышатся и теперь, какъ эхо, воспоминанія о прошедшемъ, въ видѣ болѣе или менѣе остроумныхъ насмѣшекъ, клеветъ, инсинуацій. Отличительное свойство этихъ упражненій состоитъ въ безсмысліи. И въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Жизнь вызвала новыя мысли, новыя чувства, новыя желанія, но вызвала не во всемъ обществѣ. Образовались два противоположныхъ строя взглядовъ. Одинъ изъ нихъ, не успѣвъ еще выясниться и исправить нѣкоторыя, иногда весьма крупныя, но во всякомъ случаѣ частныя ошибки своихъ представителей — исчезъ, или почти исчезъ. Цѣпкія руки противниковъ хватались и хватаются безъ разбора за все, за что только есть грамматическая возможность ухватиться, и норовятъ изо всякой случайной мухи сдѣлать обязательнаго слона. Эта неразборчивость даромъ обойтись, разумѣется, не можетъ, и неизбѣжный удѣлъ всѣхъ прибѣгающихъ къ ней есть безсмысленность выводовъ и обвиненій. Такова Немезида логики и исторіи.

Такъ недавно, уже и прежде знаменитый, московскій профессоръ г. Борисъ Чичеринъ обвинялъ древнихъ софистовъ, а попутно и «нигилистовъ», въ томъ, что они проповѣдывали грубѣйшую корысть и право силы, и тутъ же заявилъ, что софисты первые возстали противъ рабства...

Между прочимъ, въ русскомъ обществѣ явилась мысль, что исторія не есть театръ маріонетокъ, что она не есть и результатъ самопроизвольныхъ прыжковъ самихъ Пьеро и Коломбинъ, что человѣческія дѣйствія вызываются опредѣленными и уловимыми внѣшними причинами и слѣдуютъ одно за другимъ въ извѣстномъ правильномъ порядкѣ. Сама по себѣ, эта мысль совершенно безобидна и, повидимому, допускаетъ для своей оцѣнки только одинъ критерій — истину. Можно разсуждать только о томъ, вѣрна ли эта теорія, соотвѣтствуетъ ли она даннымъ исторіи. Но она влечетъ за собой цѣлый рядъ практическихъ выводовъ, и потому въ нашемъ обществѣ заняла достойное мѣсто только въ строѣ міросозерцанія извѣстной группы людей. Другая группа стала утверждать, что ставить человѣка въ зависимость отъ тѣхъ или другихъ слѣпыхъ, безсознательныхъ законовъ значитъ унижать его человѣческое достоинство, превращать его въ машину, которая не вѣдаетъ, что творитъ. Профессоръ (бывшій, а можетъ быть и нынѣшній — хорошенько не знаемъ) исторіи въ московскомъ университетѣ г. Герье, говоря объ историческихъ взглядахъ Бокля, выражается такъ: «Никакіе варвары, ни Атилла, называвшій себя бичомъ божіимъ, ни фанатическія мусульманскія орды, считавшія священнымъ долгомъ истреблять всѣхъ, не признавшихъ пророчества Мухамеда, не сдѣлали столько зла человѣчеству, сколько могла бы повредить цивилизаціи ложная теорія — что люди и народы въ своихъ дѣйствіяхъ подчинены только естественнымъ законамъ» (Очеркъ развитія исторической науки, стр. 107). Эта краснорѣчивая тирада была произнесена года три тому назадъ съ каѳедры старѣйшаго изъ русскихъ университетовъ; затѣмъ она была напечатана въ «Русскомъ Вѣстникѣ», вмѣстѣ со всею вступительною лекціею г. Герье; далѣе, наконецъ, эта же вступительная лекція, со включеніемъ вышеприведенной краснорѣчивой тирады, была перепечатана и издана отдѣльной брошюрой. Такимъ образомъ достопочтенный профессоръ счелъ нужнымъ трижды предать анаѳемѣ взгляды Бокля, и такое троекратное чуранье казоваго конца московской интеллигенціи весьма знаменательно и поучительно. Г. Герье, предполагая, что противорѣчитъ Боклю, указываетъ въ пику ему на «идеи», какъ на двигательную силу народовъ. Едва-ли какой-нибудь благоразумный человѣкъ — Бокль y compris — когда-либо сомнѣвался въ такомъ значеніи идей, что не мѣшаетъ симъ послѣднимъ самимъ подчиняться многоразличнымъ условіямъ. Есть, правда, идеи, для которыхъ, фигурально выражаясь, законъ не писанъ. Эти послѣднія суть, по опредѣленію Гейне «всякая глупость, которая вамъ взбредетъ въ голову». Но о несуществованіи для нихъ законовъ можно говорить именно только фигурально. Въ сущности идеи самого г. Герье имѣютъ свои причины. Что же касается до идеи закономѣрности человѣческихъ дѣйствій, то она представляетъ собою дѣятеля въ такой мѣрѣ сильнаго, что московскому профессору весьма трудно надолго задержать его вліянія, хотя бы онъ проклялъ его не три, а триста тридцать три раза, помноженные на два: каковое умноженіе дастъ 666, то есть, какъ извѣстно, «число звѣрино». Тѣмъ не менѣе, академическій тормазъ, какъ бы онъ ни былъ незначителенъ, есть всетаки тормазъ. Идея закономѣрности человѣческихъ дѣйствій считается вредною, вреднѣе всякихъ бичей божіихъ отъ саранчи до Атиллы, и это заявляется оффиціальнымъ жрецомъ науки. Ложность или истинность теоріи весьма быстро оставляется въ сторонѣ, и вниманіе сосредоточивается на ея вредности. Это — признакъ и хорошій, и дурной: хорошій, потому что указываетъ на силу новой мысли, требующей для своего поборенія, кромѣ логической рати, еще резерва инсинуацій; дурной, потому что инсинуаціи мо-

тутъ сдѣлать свое дѣло. И мы видѣли, что онѣ дѣйствительно сдѣлали свое дѣло. Инсинуаторы (такъ мы называемъ для краткости всѣхъ, переносящихъ вопросы науки на почву вредоностности), докладывая путемъ печати и общественныхъ толковъ обо всемъ подозрительномъ, стрѣляли по двумъ зайцамъ заразъ и ловили рыбу въ совершенно мутной водѣ. Во-первыхъ, они распространяли въ обществѣ страхъ и отнимали у него такимъ образомъ возможность взглянуть трезво на дѣло. И это дѣлали иногда люди, отъ которыхъ всего менѣе можно ожидать подобнаго образа дѣйствій и которые когда-то сами горячо ратовали противъ всякихъ инсинуацій. Такъ, если не ошибаемся, въ 1865 году, г. профессоръ Кавелинъ излагалъ, по поводу одной диссертаціи по уголовному праву, что прямой выводъ изъ нѣкоторыхъ, бывшихъ тогда въ ходу, теорій есть открытый грабежъ, но весьма мало потрудился для опроверженія этихъ теорій. Да еще если бы эта травля и въ другихъ была такою же случайностью, какъ въ г. Кавелинѣ, такъ жить еще было бы можно. Посвятивъ себя всецѣло сыскнымъ дѣламъ, инсинуаторы и сами не спускались или не поднимались до дѣйствительной критической оцѣнки мнѣній своихъ противниковъ, вслѣдствіе чего послѣдніе слышали слишкомъ много разжигающихъ обвиненій и слишкомъ мало возраженій... Результаты понятны. Инсинуаторы вертятся, какъ бѣсы передъ заутреней, а ничтожные вначалѣ промахи ихъ противниковъ обращаются въ крупную ошибку, ибо не встрѣчаютъ никакихъ логическихъ препятствій. Самимъ оглянуться въ жару увлеченія трудно, а, когда оглянулись —произошла скандальная перебранка. А тутъ опустился занавѣсъ... Тѣмъ временемъ, оторванныя отъ логики обвиненія, никого въ сущности не убѣждая, но многихъ запугивая, принимаютъ все болѣе и болѣе нелѣпый характеръ, и, въ концѣ концовъ, образуютъ такую массу сумбура и противорѣчій, въ которой уже ровно ничего нельзя разобрать. Вредоностность идеи законосообразности человѣческихъ дѣйствій мотивируется въ нашемъ великомъ отечествѣ (а, впрочемъ, и не въ немъ одномъ) тѣмъ, что она превращаетъ человѣка въ безсловесное животное, отводитъ ему слишкомъ низкое мѣсто въ міровой табели о рангахъ; сторонники ея «вѣрятъ въ лягушекъ и не вѣрятъ въ принсипы», какъ остроумно утверждаетъ Павелъ Кирсановъ (мнѣ очень жаль, что я натолкнулся на изъѣзженный и переѣзженный романъ г. Тургенева, но дѣлать нечего). The Athaeneum, разбирая «Отцовъ и дѣтей», приходитъ къ тому заключенію, что отъ поколѣнія, произведшаго Базарова, нельзя ждать ничего хорошаго. Дѣйствительно, если бы приговоръ гг. Тургенева и Кирсанова былъ вѣренъ, то есть, если бы Базаровъ, насколько онъ вѣритъ въ лягушекъ и не вѣритъ въ «принсипы», могъ быть представителемъ общаго смысла движенія русской мысли за послѣднее или, вѣрнѣе, за предпослѣднее время, то это было бы очень горько и безотрадно. Однако, это не только такъ не было, но и не могло такъ быть. Отдѣльныя единицы могли, конечно, какъ и всегда и вездѣ, заблудиться, могло случиться даже, подъ напоромъ совершенно новаго міросозерцанія, съ одной стороны, и вышеозначенныхъ инсинуацій,—съ другой—временное, почти повальное заблужденіе, но это ровно ничего не значитъ. Въ общемъ «вѣра въ лягушекъ», то есть въ силу естественныхъ законовъ, не только не исключаетъ «вѣры въ принсипы», то есть въ задачи духовной дѣятельности человѣка, но даетъ послѣдней прочныя опоры. Такъ герой другой повѣсти г. Тургенева— «Довольно», къ которому авторъ относится и долженъ относиться гораздо симпатичнѣе, приходитъ къ тому заключенію, что Венера Милосская, пожалуй, «несомнѣннѣе» самыхъ возвышенныхъ и великихъ принсиповъ, и потому «складываетъ на пустой груди ненужныя руки». Люди, дѣйствительно вѣрящіе въ лягушекъ, рѣдко приходятъ въ такимъ рѣшеніямъ. Жизнь можетъ ихъ разбить, но не забить. И это понятно: «Принсипъ» стоитъ одиноко, даже гордится тѣмъ, что онъ ничѣмъ не связанъ, не обусловленъ, а между тѣмъ, человѣкъ уходитъ въ него весь. Подорвался принсипъ, и нечѣмъ жить человѣку, и пуста его грудь, и не нужны его руки. Не то съ «лягушками». Здѣсь ошибка можетъ быть открыта, и міросозерцаніе оттого не шелохнется, потому что допускаетъ повѣрку и исправленіе частностей. Отцомъ новаго взгляда на исторію,—взгляда, основанннаго на вѣрѣ въ лягушекъ, слѣдуетъ считать Кондорсэ, въ которомъ, по выраженію Литтрэ, совмѣщалась жизнь и мысль всего XVIII вѣка. Припомните же личную исторію этого, поистинѣ великаго, но какъ-то странно почти забытаго человѣка: припомните его въ передовыхъ рядахъ революціи, потомъ осужденнаго этою самою революціей, пишущаго въ какой-то каморкѣ, подъ ежеминутнымъ страхомъ смерти, свою немногими оцѣненную «Картину прогресса человѣческаго разума»: припомните его смерть и завѣщаніе дочери—не мстить его личнымъ врагамъ, такъ какъ для него личные враги не существуютъ. Господамъ московскимъ профессорамъ исторіи и всякаго права и безправія надо очень высоко поднять голову, чтобы увидѣть все величие этого человѣка. А Кондорсэ вѣрилъ въ лягушекъ и первый положилъ фундаментъ новѣйшей исторической школѣ. А господа профессора вѣрятъ въ принсипы и готовы лучше воскре-

сить изъ мертвыхъ Атиллу, чѣмъ допустить, что исторія не есть огромное «съ бухту барахту». Такъ-то иногда прошедшее, задушивъ въ своихъ цѣпкихъ и неразрушимыхъ объятіяхъ великую жизнь и великую мысль, выдаетъ настоящему сдачу мелочью, мѣдяками новаго чекана.

Но Кондорсэ революціонеръ, красный, крайній, и только ножъ еще болѣе революціонной, красной и крайней гильотины доканалъ его. Какъ смѣть приводить его жизнь и мысль въ оправданіе чего бы то ни было!? Вотъ они, ваши образцы, вотъ куда ведутъ ваши законосообразности! Вотъ другой мотивъ обвиненія. Любопытно сопоставить эти оба главные пункта обвинительной рѣчи не призваннаго прокурорскаго надзора. Одинъ пунктъ гласитъ такъ: вы отрицаете свободу человѣческой воли, вы утверждаете, что человѣкъ не выбираетъ и не можетъ себѣ выбрать жизненнаго пути, что, гонимый внѣшними условіями, онъ безсознательно идетъ туда и такъ, куда и какъ толкаютъ его ваши законы; по вашей теоріи человѣкъ не несетъ на себѣ отвѣтственности за свои дѣла, какъ не несетъ ея камень, падающій по закону тяжести на землю; вы отнимаете у него все, что въ немъ есть человѣческаго, и преграждаете ему путь къ духовному развитію; вы говорите, что и завтра, и послѣзавтра человѣка будутъ толкать ваши естественные законы съ тою же силою и въ томъ же направленіи. Если допустить справедливость этихъ упрековъ, то ученіе, на которое они сыплются, должно быть признано, если не теоріей полнаго застоя и косности, то, по крайней мѣрѣ, самымъ грубымъ фатализмомъ. Это именно и есть призывъ къ сложенію ненужныхъ рукъ на пустой груди; эта—теорія предопредѣленія, не исправленная и дополненная, а облеченная въ реалистическую съ виду форму, изъ прорѣхъ которой выглядываютъ старыя не выстиранныя тряпки Это, дѣйствительно, ученіе позорное и опасное, отнимающее у людей будущее и узаконивающее неразрушимость настоящаго. И, однако, сторонники ученія законосообразности обвиняются не въ томъ. Надъ рядами ихъ противниковъ вѣетъ знамя историческаго права и постепенности. Ихъ уличаютъ въ разрушительныхъ стремленіяхъ и въ желаніи перестроить общество на какой-либо новый ладъ, удовлетворяющій личнымъ взглядамъ строителей. Но какъ же связать эти два обвиненія: принципъ неприкосновенности и ненарушимости естественныхъ законовъ, которыми управляется общество—и стремленіе нарушить ихъ; низведеніе человѣка до степени неразумнаго животнаго – и постановка разума въ критическое отношеніе въ существующимъ общественнымъ условіямъ, отрицаніе свободы воли—и произвольный выборъ тѣхъ или другихъ основъ общественнаго строя взамѣнъ существующихъ... Итакъ, не проще ли было, вмѣсто обвиненій, указать на этотъ рядъ противорѣчій. Подобныя операціи предпринимались, однако, слишкомъ рѣдко, если только предпринимались, а тянулись себѣ двух-трехстороннія, взаимно исключающіяся инсинуаціи. Понятное дѣло, что не такими пріемами указываются ошибки; понятное дѣло, что они могутъ вести только къ усиленію ошибки, если она была. Мы и въ помышленіи не имѣемъ, чтобы изложенныя два обвиненія были единовременно справедливы относительно кого бы то ни было изъ «новыхъ людей» (къ сожалѣнію, опять выраженіе изъѣзженное, но имѣющее достоинство краткости); не думаемъ мы и того, чтобы они по одиночкѣ когда-либо составляли чье-нибудь profession de foi, по крайней мѣрѣ, въ такомъ грубомъ видѣ. Однако, мы не можемъ сказать, чтобы теорія «новыхъ людей», и въ особенности позднѣйшихъ, были свободны отъ подобныхъ противорѣчій. Въ общемъ, міросозерцаніе ихъ ясно и опредѣленно; здѣсь нашли себѣ мѣсто всѣ лучшія и чистѣйшія, поистинѣ святыя стремленія вѣка. Это былъ призывъ къ добру, къ правдѣ, къ истинѣ, къ счастію, это былъ вызовъ злу, неправдѣ, лжи, страданію. Но въ частностяхъ можно было найти много противорѣчій съ общимъ фономъ, и на этомъ свѣтломъ фонѣ не трудно усмотрѣть эти темныя пятна. Не трудно усмотрѣть и то, что всѣ эти темныя пятна, безъ исключенія, обязаны своимъ происхожденіемъ тому логическому пріему, который г. Стронинъ употребляетъ подъ именемъ аналогическаго метода. А методъ этотъ, какъ мы видѣли, состоитъ въ томъ, что изъ простого сходства, безъ указанія на причинную связь, безъ точнаго опредѣленія объема сходства, дѣлаются заключенія отъ законовъ явленій относительно простыхъ къ законамъ явленій болѣе сложныхъ. Мы видѣли, что при этомъ г. Стронинъ изучаетъ не значеніе астрономическихъ, химическихъ, біологеческихъ законовъ для явленій общественной жизни. Это было бы совершенно законно и могло быть очень плодотворно. Г. Стронинъ изучаетъ не то, онъ изучаетъ общественныя явленія съ математической, механической, химической и т. д. точекъ зрѣнія. Мы старались показать (и будемъ имѣть къ этому случай и ниже), что это незаконно и не можетъ быть плодотворно, хотя бы уже просто потому, что, перебравъ всѣ точки зрѣнія низшихъ наукъ, г. Стронинъ не даетъ мѣста точкѣ зрѣнія соціологической. Это равносильно изученію химическихъ явленій со всѣхъ точекъ зрѣнія, кромѣ химической. При этомъ остается безъ объясненія или получаетъ неизбѣжно ложное объясненіе тотъ со-

ціологическій остатокъ, который не можетъ быть сведенъ къ законамъ болѣе простыхъ наукъ и который именно и составляетъ предметъ общественной науки. Всѣ подобныя попытки Контъ отнесъ бы къ метафизическимъ. Мы ихъ называемъ эксцентрическими, потому что въ нихъ упущенъ изъ вида человѣкъ, какъ членъ общества,—обязательный центръ для всякой работы человѣческой мысли, а тѣмъ болѣе въ области соціологіи. Эта идея о центральномъ значеніи человѣка для человѣческой мысли составляетъ, безспорно, resumé всего движенія русскаго общества за послѣднее время, это его философскій смыслъ, тотъ свѣтлый общій фонъ, о которомъ мы говорили. Онъ сказывается не только въ журнальныхъ толкахъ о человѣческихъ задачахъ искусства и науки, а и во всѣхъ практическихъ вопросахъ, уже полурѣшенныхъ. Крестьянская реформа, реформа судопроизводства обнимаются этимъ принципомъ не менѣе, чѣмъ отрицаніе искусства для искусства и науки для науки. Въ цѣломъ, однако, этотъ принципъ былъ недостаточно сознанъ для того, чтобы на свѣтломъ фонѣ не нашли себѣ мѣста темныя пятна, т. е. аналогическій методъ. Мы представимъ на выдержку нѣсколько образчиковъ его примѣненія, и такъ какъ для насъ здѣсь важно только уясненіе извѣстнаго логическаго пріема, то примѣры мы будемъ брать не только изъ новѣйшей исторіи русской мысли, а и у тѣхъ западныхъ авторитетовъ, которые имѣли на ходъ ея вліяніе. Понятное дѣло, что систематически аналогическій методъ, кромѣ труда г. Стронина, нигдѣ и никогда не употреблялся, но весьма часто употреблялся и употребляется урывками. Мы будемъ имѣть въ виду исключительно примѣненіе его къ вопросамъ общественной жизни.

На вычисленіи средней продолжительности существованія государствъ Кетле мы имѣли образчикъ изученія общественныхъ явленій съ математической точки зрѣнія. Такого рода странности встрѣчаются довольно часто въ статистическихъ изслѣдованіяхъ. Отъ нихъ не свободны и Бокль, и Кетле; и Милль справедливо связываетъ этого рода ошибки у Бокля съ ученіемъ о неподвижности нравственнаго элемента въ обществѣ. Статистикѣ выпала завидная роль въ рѣшеніи вопроса законосообразности человѣческихъ дѣйствій. Даже вопросъ этотъ былъ впервые въ наиболѣе рѣзкой формѣ выставленъ статистикомъ Кетле. Но хотя сочиненія Кетле имѣютъ теперь уже только историческое значеніе, статистика за недостаточностью матеріаловъ, не смотря на относительно громадныя ея услуги общественной наукѣ, еще очень далека отъ своего идеала. Суть ея, какъ извѣстно, состоитъ въ томъ, что, какъ бы, повидимому, ни были случайны явленія, разсматриваемыя единично, въ цѣломъ они представляютъ замѣчательную правильность и порядокъ. Слѣдовательно, статистика должна имѣть подъ руками какъ можно больше фактовъ, и количествомъ ихъ именно и опредѣляется степень вѣрности статистическихъ обобщеній. Ограниченное число данныхъ часто ведетъ или къ невѣрнымъ выводамъ въ частности относительно обсуждаемаго вопроса, или, что, разумѣется, гораздо хуже, совершенно извращаетъ понятіе законосообразности. Кетле, имѣя въ рукахъ цифры для очень небольшого времени, впалъ въ нѣсколько частныхъ ошибокъ. Это дѣло, разумѣется, поправимое, тѣмъ болѣе, что выводы статистики пока еще слишкомъ рѣдко принимаются въ соображеніе при рѣшеніи практическихъ вопросовъ. Но если статистикъ забудетъ, что выведенные имъ законы суть законы эмпирическіе, справедливые только для данныхъ обстоятельствъ времени и мѣста, то ограниченное число фактовъ легко можетъ довести его до фатализма, при чемъ именно и произойдетъ изученіе явленій соціологическихъ съ математической точки зрѣнія. Такъ какъ рядъ статистическихъ цифръ только при извѣстномъ числѣ данныхъ можетъ выдвинуть изъ-за математическихъ выкладокъ чисто-соціологическій фактъ, то вплоть до этого момента достаточности данныхъ, опредѣлить который, разумѣется, очень трудно, мы не имѣемъ права дѣлать никакихъ выводовъ. Если пять древнихъ государствъ существовали каждое по 1641 году, то мы не имѣемъ никакого основанія думать, чтобы какое-либо шестое государство должно было прожить именно столько же, ни больше, ни меньше. Если цифра, найденная Кетле, вѣрна, то это значитъ только, что условія, опредѣляющія продолжительность жизни государства, во всѣхъ пяти древнихъ государствахъ были одинаковы, и что если эти условія повторятся гдѣ-нибудь въ шестомъ государствѣ вновь, то и это послѣднее просуществуетъ 1641 годъ. Но такъ какъ математическая выкладка этихъ условій намъ не выяснила, то найденный Кетле фактъ не имѣетъ никакого значенія, и придавать ему значеніе значитъ изучать явленіе съ математической точки зрѣнія и впадать въ фатализмъ; это значитъ чуть-чуть что не возвращаться къ пиѳагорейскимъ понятіямъ о значеніи чиселъ, какъ о причинѣ бытія. Гервинусъ замѣчаетъ, что въ концѣ XIV, XV, XVI, XVII и XVIII вѣковъ происходили великіе политическіе перевороты, изъ чего можно заключить, что и въ концѣ XIX вѣка должно произойти нѣчто подобное. Прямое наблюденіе теперешняго хода европейскихъ дѣлъ можетъ дать очень обильныя подтвер-

жденія послѣднему предположенію, но тѣмъ не менѣе это не болѣе, какъ совпаденіе, случайное и любопытное въ такой же мѣрѣ, въ какой случайно и любопытно совпаденіе года рожденія Кювье, Александра Гумбольдта, Наполеона и Веллингтона съ прохожденіемъ Венеры передъ солнцемъ. Если двадцать лѣтъ кряду въ полицію забирается приблизительно одно и то же число пьяныхъ, то изъ этого слѣдуетъ не то, что и въ двадцать первомъ году ихъ будетъ забрано столько же; это можетъ быть, а можетъ и не быть. Двадцатилѣтнее постоянство цифръ свидѣтельствуетъ не объ ихъ неизмѣнномъ фаталистическомъ постоянствѣ, а только о томъ, что въ продолженіе двадцати лѣтъ не измѣнились условія, вліяющія на пьянство, съ одной стороны, и на бдительность и усердіе полиціи,—съ другой. Это истина самая простая и очевидная до послѣдней степени. И, однако, люди, пораженные ясностью статистическихъ выводовъ, не всегда придаютъ имъ должное значеніе. Статистическіе выводы представляютъ процессъ чисто-индуктивный, требующій для своего приложенія къ такимъ сложнымъ явленіямъ, какъ факты общественной жизни, непремѣнно помощи дедукціи. Въ такихъ случаяхъ, гдѣ эта помощь, вслѣдствіе недостаточности нашихъ знаній, немыслима, статистика только констатируетъ фактъ. Напримѣръ, она свидѣтельствуетъ, что пропорція мужскихъ и женскихъ рожденій равняется $^{21}/_{20}$, и ни малѣйшаго намека на объясненіе этого факта статистика дать не можетъ. Здѣсь мы не можемъ вывести явленіе изъ причины, и потому должны ограничиться наблюденіемъ самого явленія: математическій анализъ не выяснилъ намъ тѣхъ біологическихъ и соціологическихъ условій, совокупностью которыхъ порождается статистическій фактъ. Но это не даетъ намъ права разсматривать это явленіе съ чисто математической точки зрѣнія и признавать за нимъ несокрушимую силу. Дальнѣйшія біологическія и соціологическія изслѣдованія могутъ, правда, показать, что законъ, управляющій пропорціей мужскихъ и женскихъ рожденій, есть законъ коренной, столь же неумолимый, какъ и, напримѣръ, законъ смертности для людей. Но тѣ же соціологическія и біологическія изслѣдованія могутъ показать и противное, могутъ показать, что законъ этотъ зависитъ отъ такихъ условій, которыя могутъ быть человѣкомъ измѣнены или устранены. Фатализмъ школы Мальтуса слѣдуетъ объяснить именно этою обработкою соціальныхъ вопросовъ съ математической точки зрѣнія. Г. Стронинъ только грубо доводитъ эту точку зрѣнія до абсурда, когда говоритъ: «Въ математикѣ извѣстны два противоположные способа возрастанія количествъ: прогрессія ариѳметическая и прогрессія геометрическая; въ наукѣ соціальной Мальтусъ нашелъ такую же противоположность въ возрастаніи народонаселенія и въ возрастаніи средствъ жизни, т. е. формулы чиселъ суть также и формулы событій, законъ *математики* есть столько же и законъ *политической экономіи*» (134). Г. Стронинъ говоритъ здѣсь такую нелѣпость, какой, разумѣется, не скажетъ ни одинъ мало-мальски толковый мальтузіанецъ. Математическій законъ говоритъ только, что геометрическая прогрессія растетъ быстрѣе ариѳметической. Поэтому, если мы представимъ себѣ такую комбинацію общественныхъ условій,—а представить себѣ это можно,—что не средства жизни, а народонаселеніе растетъ въ ариѳметической прогрессіи, а въ геометрической растетъ не народонаселеніе, а средства жизни, то математическій законъ останется все тотъ же, тогда какъ соціологическій будетъ вывороченъ на изнанку. Г. Стронинъ, повторяемъ, утверждаетъ совершенную нелѣпость, non sens; тѣмъ не менѣе между нимъ и всѣми послѣдователями Мальтуса есть то общее, что они разсматриваютъ явленіе съ математической точки зрѣнія; а такъ какъ математическіе законы, какъ наиболѣе простые, регулированію не поддаются, и ариѳметическая прогрессія будетъ до конца вѣковъ возрастать медленнѣе геометрической, то они думаютъ, что и запасы пищи будутъ до конца вѣковъ возрастать медленнѣе народонаселенія. Само собою разумѣется, что чѣмъ послѣдователь Мальтуса толковѣе, тѣмъ больше удаляются, по формѣ, его соображенія отъ такого грубаго представленія. Многіе экономисты даже не признаютъ прогрессій Мальтуса, хотя и остаются его учениками, не признаютъ возможности численнаго выраженія отношеній между ростомъ народонаселенія и средствъ пропитанія.

Когда Кетле говоритъ, что человѣкъ съ неумолимою правильностью уплачиваетъ бюджетъ преступленій; когда такой замѣчательный статистикъ, какъ Вагнеръ, говоритъ: «Наблюденія заставляютъ насъ почти думать, что *экономія природы* требуетъ ежегодно опредѣленнаго числа самоубійствъ» (Statistischantropologische Untersuchung der Gesetzmässigkeit der scheinbarwillkürlichen Handlungen. Hamburg, 1864), — то это можетъ быть разсматриваемо не болѣе, какъ façon de parler. Такъ можно смотрѣть даже на Вагнерово сравненіе нашего общества съ фантастической страной, гдѣ всѣ хорошія и дурныя дѣла совершаются по правительственному предписанію, и самоубійцы, преступники и пр. назначаются *по жребію* (S. 44). Но ужъ совсѣмъ не façon de parler послѣдняя книга Дюфо, статистика, тоже когда-то замѣчательнаго, котораго цитируетъ Бокль, на котораго ссылается Вагнеръ. «Да,—говоритъ Дюфо,—

когда осмотришься кругомъ, когда увидишь все то горе, всѣ тѣ страданія, которыя съ ужасающей правильностью повторяются на землѣ, какъ не подумать, что долженъ же этотъ порядокъ смѣниться иною картиной! Тѣ, кто столько страдаетъ на землѣ, устремляютъ взоры и воздѣваютъ руки къ небу. Они надѣются, они жаждутъ чего-нибудь лучшаго, чѣмъ настоящая жизнь. Да! нужна другая жизнь для незаслуженнаго несчастія, для задавленной добродѣтели. Это законъ нравственнаго равновѣсія судебъ человѣчества, открывающійся наблюденію (qui se revèle à l'observation) и стоящій непоколебимо твердо»... (De la méthode d'observation dans son application aux sciences morales et politiques. Paris, 1866, p. 172). Дерптскій профессоръ богословія г. фонъ-Эттингенъ (Die Moralstatistik und die christliche Sittenlehre, Versuch einer Socialethik auf empirischer Grundlage. Erlangen, 1868) тоже признаетъ законосообразность общественныхъ явленій. Когда стала складываться такъ называемая математическая школа статистиковъ, правовѣрные послѣдователи Ахенваля, недовольные нововведеніемъ, называли школу Кетле рабами цифръ—Tabellenknechte (за что тѣ, въ свою очередь, обзывали ахенвальцевъ болтунами—Schwätzer). Ахенвальцы и не подозрѣвали, разумѣется, въ какомъ смыслѣ современемъ кличка придется по шерсти математикамъ.

Вслѣдствіе двойной роли математики, какъ особаго вида логики и какъ самостоятельной науки, изученіе явленій общественной жизни съ математической точки зрѣнія могло, по недоразумѣнію, найти себѣ не мало сторонниковъ. И мы думаемъ, что они есть и у насъ, хотя не они произносятъ тирады въ родѣ приведенной тирады Дюфо. Но потому-то анализъ явленій общественной жизни съ математической точки зрѣнія и составляетъ темное пятно на свѣтломъ фонѣ. Однако, увлеченіе этою точкою зрѣнія объясняется именно исключительнымъ положеніемъ математики. Что же касается до объясненія соціологическихъ явленій съ механической, астрономической, физической, химической, геологической точекъ зрѣнія, то, сколько намъ извѣстно, оно на всемъ земномъ шарѣ встрѣчается только въ сочиненіи г. Стронина, если не считать, разумѣется, чисто мистическихъ бредней. Исключеніе составляютъ только нѣкоторыя попытки сторонниковъ механической теоріи. Но это объясняется тѣмъ, что понятіе движенія составляетъ простѣйшую элементарную идею какого бы то ни было процесса, и ни одного явленія мы безъ движенія себѣ представить не можемъ. Вообще же говоря, если и употребляются выраженія въ родѣ «химическое сродство душъ или народовъ», «центръ тяжести государства», «параллелограмъ общественныхъ силъ», «историческія формаціи» и проч., то опять-таки въ чисто метафорическомъ смыслѣ, ради художественной пластичности. Поэтому г. Стронинъ стоитъ здѣсь совершенно одиноко.

Нельзя того же сказать объ изученіи явленій общественной жизни съ біологической точки зрѣнія. Здѣсь, какъ и въ математикѣ, опять представляются сильные соблазны, но по иной причинѣ, именно по причинѣ смежности біологіи и соціологіи и множества точекъ соприкосновенія между ними. Поэтому и аналогическій методъ получаетъ здѣсь много случаевъ для своего примѣненія. И здѣсь мы видимъ заблужденія самыя разнообразныя. Блистательный примѣръ этого рода аналогій представляетъ попытка свести соціальный прогрессъ къ развитію органическому и понятіе общества къ понятію огранизма, т. е. объяснить съ біологической точки зрѣнія самыя общественныя формы. Мы видѣли, что аналогія эта, отличающаяся радикальною ложностью, ухитряется, однако, свивать себѣ гнѣзда въ весьма замѣчательныхъ умахъ нашего времени. Здѣсь мы замѣтимъ только, что и Контъ не чуждъ этого воззрѣнія, которое, повидимому, къ нему пристало меньше, нежели къ кому-нибудь; впрочемъ, онъ развиваетъ его весьма мало и при томъ въ «Соціальной статикѣ», безспорно слабѣйшей части всего его круга философіи. Къ этой аналогіи мы, русскіе, особеннаго пристрастія не обнаружили, хотя и можно бы было указать на то, что переводчики и издатели сочиненій Спенсера и Дрэпера не обратили вниманія публики на незаконность этого обобщенія; а въ предисловіи къ русскому переводу Физіологіи Дрэпера имѣются даже, сколько помнится, похвалы идеѣ соціальнаго организма. Идея эта составляетъ точку исхода и для нѣкоторыхъ частныхъ аналогій, какъ, напримѣръ, для сравненія между возрастами недѣлимаго и общества и т. д.

Выше мы сказали, что Контовъ рядъ наукъ расположенъ такимъ образомъ, что каждая изъ нихъ пользуется законами всѣхъ предыдущихъ членовъ ряда, но не даетъ имъ ни одного закона въ обмѣнъ. Мы полагаемъ, что въ такомъ расположеніи заключается главнѣйшее достоинство классификаціи Конта. Однако, относительно этого пункта могутъ быть представлены нѣкоторыя фактическія и съ перваго взгляда очень основательныя возраженія. Бываютъ иногда, повидимому, случаи перенесенія законовъ высшей науки на явленія низшей, т. е. движеніе, обратное общему ходу. Такимъ случаемъ, напримѣръ, кажется Спенсеру и другимъ (въ томъ числѣ и г. Стронину) распространеніе экономическаго закона раздѣленія труда на

явленія развитія организмовъ. Легко, однако, видѣть, что физіологическое раздѣленіе труда, т. е. раздѣленіе труда между органами одного и того же недѣлимаго, и раздѣленіе труда экономическое, т. е. раздѣленіе труда между недѣлимыми одного и того же вида— не только не имѣютъ между собою ничего общаго, но даже взаимно исключаются. Гораздо болѣе основательное выраженіе представляется въ словахъ Дарвина, что его теорія есть «приложеніе закона Мальтуса ко всему растительному и ко всему животному царству». Здѣсь выходитъ, какъ будто, что соціологія, наука наиболѣе сложная и наименѣе общая, дала законъ біологіи, наукѣ болѣе простой и болѣе общей. Дарвинъ, разумѣется, правъ, когда говоритъ что его теорія есть распространеніе закона Мальтуса, но и мы правы, утверждая, что высшая наука, пользуясь законами низшихъ, не даетъ имъ, съ своей стороны, ни одного закона. Во-первыхъ, сколько намъ помнится, самъ Мальтусъ былъ наведенъ на свою теорію чисто біологическими фактами, и именно, кажется, мыслями Франклина о размноженіи насѣкомыхъ; но это, равно какъ и незнакомство предшественниковъ Дарвина съ Мальтусомъ, большого значенія имѣть не можетъ. Такъ какъ соціологическія явленія управляются, кромѣ своихъ собственныхъ законовъ, еще и законами всѣхъ низшихъ наукъ, то естественное дѣло, что на какомъ нибудь соціологическомъ явленіи можетъ быть открытъ и законъ низшей науки, напримѣръ, законъ біологическій. Организація рыбы есть фактъ біологическій и можетъ быть цѣлостно понятъ только съ біологической точки зрѣнія, но вотъ г. Стронинъ замѣтилъ въ этой организаціи механическій принципъ. Заключать изъ этого, что законъ біологіи простирается и въ предѣлахъ механики, какъ заключаетъ это г. Стронинъ, есть нелѣпость, но совершенно вѣрно обратное заключеніе того же г. Стронина, что біологическіе факты подчинены механическимъ законамъ. Можно допустить, что болѣе сложная наука, какова соціологія относительно біологіи или біологія относительно механики, вслѣдствіе ли большей доступности или практическихъ надобностей, или иныхъ причинъ, *эмпирически* разрабатывается иногда раньше низшей науки. При этомъ послѣдняя можетъ получить отъ первой эмпирическую истину, пріобрѣтенную опытомъ или наблюденіемъ. Легко можетъ быть, что нѣкоторые механическіе законы и въ самомъ дѣлѣ получены въ эмпирическомъ видѣ путемъ наблюденія организаціи рыбы. Только въ этомъ смыслѣ и можно сказать, что иногда высшая и болѣе спеціальная наука даетъ законъ низшей и болѣе общей. Но это воззрѣніе крайне поверхностное и могущее вести за собой множество заблужденій, что мы и видимъ на г. Стронинѣ. Мы видѣли, что самостоятельное существованіе наукъ обусловливается только тѣмъ, что въ каждой изъ нихъ есть нѣкоторый остатокъ, который мы не можемъ свести къ законамъ болѣе простыхъ и общихъ наукъ. Поэтому низшая наука входитъ въ высшую всѣми своими частями, какъ, напримѣръ, механика въ астрономію; высшая же наука можетъ войти въ низшія только тѣми своими частями, которыя не составляютъ ея спеціальнаго остатка. И такъ какъ этотъ остатокъ и составляетъ, собственно, существенный предметъ науки, то въ этомъ, болѣе точномъ смыслѣ мы и говоримъ, что высшая наука, пользуясь законами низшихъ, не даетъ имъ, съ своей стороны, ни одного закона. Наблюдая біологическій фактъ, хоть ту же организацію рыбы, мы видимъ, что она подчинена извѣстнымъ механическихъ законамъ равновѣсія и движенія; но признать эти законы біологическими мы не можемъ, во-первыхъ, потому, что они не объясняютъ намъ всего біологическаго факта, а во-вторыхъ, потому, что они приложимы и къ такимъ явленіямъ, которыя, по свидѣтельству нашихъ чувствъ и нашего сознанія, имѣютъ мало общаго съ организаціей рыбы, напримѣръ, къ небеснымъ тѣламъ. И то, и другое побуждаетъ насъ признать, что хотя явленія равновѣсія и движенія наблюдались нами на біологическомъ фактѣ, но что они представляютъ собою законы не біологіи, а науки болѣе простой и общей. Точно также, если мы видимъ, что законъ Мальтуса можетъ быть въ лицѣ теоріи Дарвина распространенъ на всю органическую природу, то изъ этого слѣдуетъ заключить, что онъ есть законъ біологическій, а не соціологическій, т. е., что онъ не захватываетъ того соціологическаго остатка, который не можетъ быть сведенъ ни къ законамъ біологіи, ни къ законамъ какой-либо другой низшей науки. Здѣсь мы имѣемъ случай, о которомъ шла рѣчь выше. Самая сложная и самая спеціальная изъ всѣхъ наукъ—соціологія, имѣющая свой опредѣленный кругъ подвѣдомственныхъ ей явленій, именно явленій общественной жизни, открываетъ эмпирическую истину, которая цѣликомъ входитъ въ науку болѣе общую, біологію. Значитъ ли это, что соціологія дала законъ біологіи, какъ думаютъ многіе, или это значитъ, что біологія сама взяла свой собственный законъ, какъ думаемъ мы,—пусть теперь судитъ читатель. Во всякомъ случаѣ, мы признаемъ, что соціологія дала импульсъ, толчокъ біологіи. Точно также наблюденіе надъ организаціей рыбы могло дать импульсъ механикѣ. Но затѣмъ біологія, какъ наука, могла быть раціонально разрабатываема только уже послѣ систематизаціи ме-

ханическихъ фактовъ, которая позволила раціонально объяснить эмпирически найденный нами на организаціи рыбы механическій законъ. Такимъ же образомъ, соціологія, давъ эмпирическій толчокъ біологіи, должна ожидать отъ нея раціональной помощи вообще, и въ частности для провѣрки закона Мальтуса, какъ закона соціологическаго. Біологія должна отвѣтить на тѣ вопросы, которые ей можетъ задать соціологія, какъ самостоятельная наука. Біологическій законъ борьбы за существованіе несомнѣнно обязателенъ для соціологіи. Но подъ борьбою за существованіе разумѣются вещи чрезвычайно различныя; двѣ собаки въ голодное время, говоритъ Дарвинъ, борются за существованіе; «растеніе на окраинѣ пустыни борется съ засухой»; «растеніе, производящее ежегодно тысячу сѣмянъ, изъ которыхъ среднимъ числомъ лишь одно достигаетъ зрѣлости, борется съ подобными себѣ и иными растеніями, уже покрывающими почву»; «омела, выростающая на вѣткѣ яблони, борется съ яблоней, но сѣянки омелы борются между собою; та же омела борется съ другими растеніями, носящими ягоды, соперничаетъ съ ними въ привлеченіи птицъ, которыя могли бы разнести ея сѣмена». Изъ этого слѣдуетъ, что теорія Дарвина утверждаетъ одинъ, чрезвычайно общій, фактъ, именно, что всякая индивидуализированная единица отъ послѣдняго лишая до человѣка живетъ, прямо или косвенно, насчетъ другихъ организованныхъ единицъ или насчетъ неорганической природы. При этомъ направленіе борьбы за существованіе, т. е. устремится ли она въ данномъ недѣлимомъ на недѣлимыя одного съ нимъ вида, или на недѣлимыя другихъ видовъ, или, наконецъ, на мертвую природу,—это всецѣло зависитъ отъ тѣхъ частныхъ условій, въ которыя недѣлимое попадетъ. Г. Стронинъ совершенно справедливо замѣчаетъ, что самая возможность ежедневно обѣдать обусловливается для насъ борьбою за существованіе. Но г. Стронинъ можетъ добыть себѣ обѣдъ охотой, земледѣліемъ, и въ этомъ случаѣ обѣдъ будетъ результатомъ борьбы съ недѣлимыми другихъ видовъ и съ неорганической природой; можетъ онъ отнять, напримѣръ, у насъ обѣдъ при помощи физической силы, можетъ отнять какъ-нибудь косвенно— и такъ какъ мы имѣемъ счастье принадлежать къ виду homo sapiens, Linn., къ которому принадлежитъ и г. Стронинъ, то между этими случаями и первымъ будетъ, съ человѣческой точки зрѣнія, нѣкоторая разница. Предметъ соціологіи есть общественность, кооперація, и потому, принимая отъ біологіи законъ борьбы за существованіе, соціологія обязана опредѣлить, какое направленіе принимаетъ борьба подъ вліяніемъ коопераціи; и если существуетъ нѣсколько типовъ коопераціи, то какъ вліяетъ каждый изъ нихъ. Она должна прослѣдить эти вліянія не только въ человѣческомъ обществѣ, а и вездѣ, гдѣ существуетъ кооперація, то-есть и въ пчелиномъ ульѣ, и въ муравейникѣ, и въ колоніяхъ низшихъ животныхъ. При этомъ можетъ встрѣтиться надобность въ рѣшеніи вопроса объ условіяхъ большей или меньшей плодовитости, и этотъ вопросъ соціологія должна передать на разсмотрѣніе физіологіи. Добытые такимъ путемъ законы будутъ дѣйствительно соціологическіе законы и усмотрѣны они будутъ не съ біологической, а съ соціологической точки зрѣнія. Мы надѣемся представить читателю, съ точки зрѣнія высказанныхъ здѣсь соображеній, болѣе подробную параллель между теоріей Мальтуса и теоріей Дарвина. Здѣсь съ насъ достаточно сказаннаго и нижеслѣдующихъ замѣчаній по поводу взглядовъ одного русскаго писателя на значеніе теоріи Дарвина для соціологіи. Писатель этотъ г. Бибиковъ; взгляды эти изложены имъ въ статьѣ «Сантиментальная философія» («Критическіе этюды», этюдъ второй). Мы не видѣли русскаго перевода труда Мальтуса, въ предисловіи къ которому г. Бибиковъ возвращается, какъ намъ говорили, къ сопоставленію теорій Мальтуса и Дарвина; равнымъ образомъ не знаемъ мы ни чтеній г-жи Ройе, ни статьи «Дурные признаки», по поводу которыхъ написанъ этюдъ г. Бибикова; помнимъ только, что «Дурные признаки» принадлежатъ перу г. Страхова. Но это ничего не значитъ. Мы имѣемъ въ виду только вопросъ о границахъ естествознанія и общественной науки и о достоинствахъ того пріема, который употребляется г. Стронинымъ подъ именемъ аналогическаго метода. Далѣе мы наткнулись на то, что методъ этотъ заставлялъ еще недавно людей съ самыми чистыми стремленіями становиться, по недоразумѣнію, въ противорѣчіе съ исповѣдуемыми ими ученіями: что «инсинуаторы» наши, такъ голосисто горланившіе противъ «новыхъ людей», не только никогда не указывали и не могли указать на дѣйствительныя частныя ошибки своихъ противниковъ, но своей аргументаціей только напускали туману и способствовали, такъ сказать, закрѣпощенію ошибки. Статья г. Бибикова даетъ возможность развить эти пункты. Г.Бибиковъ—новый человѣкъ, г. Страховъ— инсинуаторъ. Есть выраженія, до такой степени захватанныя нечистыми руками, что ихъ неловко выговорить. Къ такимъ принадлежитъ и выраженіе «новый человѣкъ». Во всякомъ случаѣ, надо оговориться. По отношенію къ постановкѣ общественныхъ вопросовъ, новые люди исповѣдывали и исповѣдуютъ, что явленія общественной жизни пови-

нуются извѣстнымъ законамъ, что школьная наука не ищетъ этихъ законовъ и потому не имѣетъ права на званіе науки, что единственнымъ типомъ науки представляется до сихъ поръ естествознаніе, и что выводы, добытые естествознаніемъ, должны имѣть существенное вліяніе на построеніе настоящей общественной науки. Въ статьѣ своей г. Бибиковъ является, въ этомъ смыслѣ, новымъ человѣкомъ. «Дурные же признаки» г. Страхова могутъ служить очень типичнымъ представителемъ пріемовъ гг. инсинуаторовъ. А что такое «инсинуаторъ», мы говорили выше.

Г-жа Ройе, переведшая книгу Дарвина на французскій языкъ, сдѣлала изъ нея нѣсколько выводовъ въ примѣненіи къ общественнымъ вопросамъ. Нѣкоторые изъ нихъ приведены у г. Бибикова въ такомъ видѣ:

«Законъ естественнаго избранія, въ приложеніи къ современному человѣчеству, подрываетъ наши законы политическіе, гражданскіе, нравственные». «Чтобы убѣдиться въ этомъ,—говоритъ г-жа Ройе,—достаточно указать на преувеличеніе того состраданія, того милосердія, того братства, въ которомъ наша христіанская эра постоянно полагала идеалъ соціальной добродѣтели. На преувеличеніе даже самопожертвованія, состоящее въ томъ, что вездѣ и во всемъ сильные приносятся въ жертву слабымъ, добрые злымъ, существа, обладающія богатыми дарами духа и тѣла — существамъ порочнымъ и хилымъ. Что выходитъ изъ этого исключительнаго и неразумнаго покровительства, оказываемаго слабымъ, больнымъ, неизлѣчимымъ, даже самимъ злодѣямъ, словомъ, всѣмъ, обиженнымъ природой? То, что бѣдствія, которыми они поражены, укореняются и размножаются безъ конца, что зло не уменьшается, а увеличивается и возрастаетъ насчетъ добра. Мало-ли на свѣтѣ этихъ существъ, которыя неспособны жить собственными силами, которыя всею своею тяжестью виснятъ на здоровыхъ рукахъ и, будучи въ тягость себѣ самимъ и другимъ членамъ общества, гдѣ проходитъ ихъ чахлое существованіе, занимаютъ на солнцѣ больше мѣста, чѣмъ три индивидуума хорошей комплексіи. Тогда какъ эти послѣдніе не только жили бы съ полною силою для удовлетворенія своихъ собственныхъ потребностей, но могли бы произвести сумму наслажденій, превышающую то, что бы они сами потребили. Думали-ли когда-нибудь объ этомъ серьезно?»

Г. Бибиковъ признаетъ эти положенія г-жи Ройе, какъ логически вытекающія изъ теоріи Дарвина, не подлежащими опроверженію. «Сердиться на нихъ не приходится, не поможетъ». Продолжая ихъ, г-жа Ройе приходитъ, наконецъ, къ тому заключенію, что такъ какъ высшія расы произошли постепенно и что, слѣдовательно, въ силу закона прогресса, онѣ предназначены въ дальнѣйшемъ ходѣ замѣстить собою низшія расы, а не смѣшаться и слиться съ ними, при чемъ онѣ подвергались бы опасности быть поглощенными этими расами, посредствомъ скрещиваній, которыя понизили бы средній уровень породы, то нужно не разъ подумать объ этомъ, прежде, чѣмъ провозглашать политическую и гражданскую свободу въ народѣ, состоящемъ изъ меньшинства индо-германцевъ и изъ большинства монголовъ или негровъ. Теорія Дарвина требуетъ поэтому, чтобы множество вопросовъ, слишкомъ поспѣшно рѣшенныхъ было снова подвергнуто серьезному изслѣдованію. Люди не равны по природѣ, вотъ изъ какой точки должно исходить. Они не равны индивидуально даже въ самыхъ чистыхъ расахъ; а между различными расами эти неравенства получаютъ столь большіе размѣры въ умственномъ отношеніи, что законодатель никогда не долженъ упускать этого изъ виду».

Послѣдніе выводы, по мнѣнію г. Бибикова, «предлагаются на разсмотрѣніе науки и не претендуютъ на категорическое разрѣшеніе».

Г. Страховъ, какъ человѣкъ не безъ образованія, понимаетъ, что теорія Дарвина, хотя и не всѣми европейскими учеными признаваемая и принимаемая, имѣетъ, тѣмъ не менѣе, за себя столько данныхъ, что онъ, г. Страховъ, вынужденъ признать главныя черты ея «безъ сомнѣнія, совершенно точными и вѣрными». Изъ этихъ совершенно точныхъ и вѣрныхъ чертъ теоріи Дарвина г-жа Ройе дѣлаетъ выводы. Выводы эти г. Страхову не нравятся. Что же, вы думаете, дѣлаетъ г. Страховъ? Опровергаетъ выводы, доказываетъ, что они не логичны, не вытекаютъ изъ «безъ сомнѣнія, совершенно точныхъ и вѣрныхъ положеній»? Этотъ вопросъ мы задали собственно для формы, ибо читатель очень хорошо понимаетъ, что никакихъ доказательствъ и опроверженій г. Страховъ не представляетъ. Онъ заявляетъ только: «Изученіе природы не все, что нужно; тому, кто смотритъ на это изученіе, какъ на живую струю, которая можетъ спасти жизнь дряхлѣющей цивилизаціи, слѣдуетъ указать на выводы, сдѣланные изъ великаго открытія природы г-жею Ройе: эти выводы приличны эпохѣ паденія». Это собственныя слова г. Страхова. Г. Бибиковъ приводитъ въ другомъ мѣстѣ слова того же Страхова, повидимому, нѣсколько перефразируя ихъ, однако, вѣрно передавая ихъ тонъ и смыслъ: «Берегитесь! оглянитесь, куда ведутъ васъ естественные выводы вашей естественной науки, не сдержанной другими, болѣе глубокими основаніями! Возвратитесь въ главное русло человѣческаго ума, или вы будете погребены подъ развалинами

окружающей васъ жизни. Остерегитесь! дурные признаки! Смотрите, къ чему пришли вы, лишенные теплой вѣры, обойденные безотчетнымъ чувствомъ, вѣчно присущимъ человѣку. Дурные признаки!» Теперь всмотритесь же въ безобразіе этого пріема. А+В=С, говорите вы г. Страхову. Да, отвѣчаетъ онъ, это «совершенно точно и вѣрно». Слѣдовательно, продолжаете вы, А=С—В. Да, отвѣчаетъ г. Страховъ, это выводъ вѣрный, но только «въ эпоху паденія возможны такіе выводы». Неожиданность этого заявленія напоминаетъ слѣдующее мѣсто изъ послѣдней повѣсти Гл. Успенскаго:

— «Дубина!

— «Ну, не больно... Не бывалъ дубиной!—огрызался водовозъ.

Этого было довольно, чтобы всѣ оскорбленныя временемъ внутренности Птицыной закипѣли кипучей смолой.

— «Ка-акъ! Мы подлые?—восклицала она, захлебываясь отъ гнѣва.»

Такъ всегда прорывается безсильная злоба, и эта неожиданность финала именно и составляетъ для нея наиболѣе характерный признакъ. Какъ справедливо говоритъ г-жа Птицына, она въ старое время этого самаго водовоза въ порошокъ бы растерла и по вѣтру развѣяла. И сдѣлала бы она это, конечно, не съ чувствомъ благорасположенія, но отнюдь и не съ такой злобой, съ какой ей теперь приходится повторять: «Мы здѣсь тридцать восемь лѣтъ живемъ, а не подлые... Не подлячка я... не подлячка!.. У меня сыновья въ Польшѣ, а я не подлая»! Совершенно точно такъ же въ очень старое время гг. Страховы прямо обратились бы къ соотвѣтственнымъ собственноручнымъ исправительнымъ мѣрамъ. Во время, не очень старое, но всетаки старое, они сказали бы, что А = С — В совершенно такой же отвратительный и вредный вздоръ, какъ и самое А + В=С. Нынѣ же, захваченные волною цивилизаціи, они говорятъ, что А+В=С, что и А=С — В, но что послѣднее, оставаясь истиной, не имѣетъ права на существованіе. Они охотно стали бы на точку зрѣнія своихъ предковъ, но первобытная невинность ими уже утрачена, они изгнаны изъ рая, и имъ уже нѣтъ туда возврата. Они поневолѣ должны говорить, что, конечно, дескать, наука... мы съ большимъ уваженіемъ... и положенія ваши, и выводы совершенно вѣрны... А у самого оскорбленныя временемъ внутренности кипятъ кипучей смолой. Какъ хотите, а положеніе это въ такой мѣрѣ непріятно и для чувства собственнаго достоинства оскорбительно, что поневолѣ крикнешь: «Мы здѣсь тридцать восемь лѣтъ живемъ, а не подлые! Не подлячка я, не подлячка, у меня сыновья въ Польшѣ!» Съ другой стороны, всмотритесь въ положеніе водовоза. Ему приходится, во-первыхъ, заниматься своимъ дѣломъ; во-вторыхъ, парировать ничѣмъ не вызванныя ругательства г-жи Птицыной; въ-третьихъ, наконецъ, доказывать, что онъ и не думалъ отрицать факта пребыванія сыновей г-жи Птицыной въ Польшѣ. Примите, далѣе, въ соображеніе, что при этой сценѣ можетъ присутствовать городовой, заранѣе предубѣжденный не въ пользу водовоза, что городовой этотъ можетъ на слово повѣрить г-жѣ Птицыной, какъ дамѣ завѣдомо благонадежной. Вы видите, что среди этихъ огней водовозъ легко можетъ потерять хладнокровіе и въ самомъ дѣлѣ сказать, что у г-жи Птицыной нѣтъ сыновей въ Польшѣ, тогда какъ фактъ этотъ, можетъ быть, не подлежитъ ни малѣйшему сомнѣнію. Ясно, что г-жѣ Птицыной слѣдуетъ при этомъ развѣ предъявить какіе-нибудь документы, аргументы, доказательства. Но, такъ какъ всякіе документы у нея уже давно затерялись, то, вмѣсто предъявленія ихъ, она просто кричитъ: «Городовой!» Такъ поступаетъ и г. Страховъ. Документы о пребываніи его сыновей въ Польшѣ (мы говоримъ, конечно, иносказательно) имъ давно затеряны.

Насъ, однако, интересуетъ здѣсь не столько г. Страховъ, сколько г. Бибиковъ. Г. Бибиковъ видитъ, съ одной стороны, логическій выводъ изъ признаваемаго имъ естественно-научнаго обобщенія, а съ другой ему,—преподноситъ г. Страховъ заявленіе о пребываніи своихъ сыновей въ Польшѣ и о своей тридцати-восьмилѣтней давности. Какъ человѣкъ, имѣющій уваженіе къ логикѣ, г. Бибиковъ становится на сторону г-жи Ройе и заявляетъ г. Страхову, что ему никакого дѣла нѣтъ до его сыновей въ Польшѣ и до его давности. Г. Страховъ настаиваетъ. Если бы онъ не настаивалъ, было бы гораздо лучше. Г. Бибиковъ сосредоточилъ бы свое вниманіе на выводахъ г-жи Ройе и хладнокровно оцѣнилъ и взвѣсилъ бы ихъ. Теперь же вниманіе раздваивается. Прежде всего, онъ хочетъ доказать г. Страхову, что мыслитель этотъ говоритъ несообразности. Онъ это дѣлаетъ. Онъ доказываетъ г. Страхову, что, если тотъ признаетъ вѣрнымъ основное положеніе, признаетъ правильнымъ сдѣланный изъ него выводъ, то затѣмъ немыслимо уже возмущаться выводомъ. Безъ всякаго сомнѣнія, г. Страховъ рѣшается продѣлать этотъ кунстштюкъ подъ вліяніемъ чувства, весьма похвальнаго. Выводы г-жи Ройе кажутся ему жестокими и безчеловѣчными, и онъ, вопреки логикѣ, отказывается ихъ принять изъ человѣколюбія. Мы утверждаемъ поэтому, что чувство, руководящее г. Страховымъ, весьма похвально. Сказать же публично, что данное предложеніе составлено во всѣхъ частяхъ его вѣрно, но

что, тѣмъ не менѣе, у меня есть сыновья въ Польшѣ—сказать это публично—это положительно подвигъ самоотверженія. Серьезно. Однако, такъ какъ при этомъ еще призывается городовой, то это есть, кромѣ того, инсинуація. Смущенный этою противоестественною смѣсью, увлеченный горячностью спора, при очевидномъ ничтожествѣ своего противника, г. Бибиковъ неосторожно утверждаетъ, что никакихъ сыновей въ Польшѣ и никакой тридцати-восьмилѣтней давности у г. Страхова никогда не бывало.

Г. Страховъ ратуетъ во имя чувства. Г. Бибиковъ видитъ, что это, должно быть, очень ненадежное чувство, если оно, въ научномъ вопросѣ, не признаетъ авторитета логики. Но среди тѣхъ трудностей, въ которыя попадаетъ г. Бибиковъ, онъ, къ сожалѣнію, забываетъ, что таково только личное чувство г. Страхова, и, вслѣдствіе этого, говоритъ, что въ вопросахъ науки чувство не должно имѣть никакого участія. Это рѣшеніе съ разбѣгу вводитъ въ его дальнѣйшія соображенія многія противорѣчія, что, разумѣется, очень прискорбно. Онъ говоритъ, что «сантиментальность боится истины», и что естествознаніе «изгонитъ сантиментальную философію съ площадей и закоулковъ науки. Въ области спеціальныхъ наукъ, математическихъ и естественныхъ, уже теперь нѣтъ мѣста для сантиментальной философіи. Сердись она или не сердись, страдай или радуйся, что въ сѣрнистой кислотѣ человѣкъ задыхается, что камень, по закону тяжести, падаетъ на голову, что патологическое состояніе разрушаетъ организмъ, что часть меньше цѣлаго, для химіи, для жизни, для физіологіи, для математики — это все равно». Сердись или не сердись сантиментальная философія, законъ преобладанія естественно избранныхъ, сильныхъ, отстраненія немощныхъ, слабыхъ, вырождающихся, всегда существовалъ». «Сантиментальная философія сознательно поставляетъ для себя иной законъ, иную норму, иной идеалъ, чѣмъ тѣ законы и идеалы, которымъ слѣдуетъ природа». Тутъ есть, очевидно, нѣкоторое недоразумѣніе. Конечно, сердиться на то, что въ сѣрнистой кислотѣ человѣкъ задыхается, могутъ только гг. Страховы. Ихъ негодованіе тѣмъ именно и отличается, что всегда становится въ разрѣзъ съ истиной. Но не одни они «сознательно поставляютъ себѣ иной идеалъ, чѣмъ тотъ, которому слѣдуетъ природа». Собственно говоря, природа не слѣдуетъ никакому идеалу; идеалъ есть продуктъ человѣческаго творчества, и въ актѣ этого творчества необходимо участвуетъ и чувство. Дѣло только въ томъ, какъ и куда направляется это чувство. Вы видите, напримѣръ, что извѣстныя обстоятельства аккуратно каждый день вынуждаютъ нѣсколько человѣкъ отправляться въ помѣщеніе, наполненное парами сѣрнистой кислоты, и тамъ задыхаться. Если это вамъ нравится, вы говорите: пусть себѣ отправляются и задыхаются, вашъ идеалъ совпадаетъ съ дѣйствительностью. Если же нѣтъ, то-есть, если чувство ваше возмущается этимъ зрѣлищемъ, у васъ создается извѣстный идеалъ, степень годности котораго всецѣло зависитъ отъ вашей предварительной внутренней работы. Идеалъ вашъ можетъ стать въ совершенное противорѣчіе съ непоколебимымъ закономъ природы, и тогда васъ ожидаетъ печальная будущность. Въ составъ вашего идеала можетъ, напримѣръ, входить представленіе о сѣрнистой кислотѣ, которая, оставаясь сѣрнистой кислотой, не мѣшала бы человѣку дышать. Идеалъ этотъ недостижимъ, и потому, если вы человѣкъ крупный, если вы, дѣйствительно, принимаете близко къ сердцу судьбу людей, вынужденныхъ ежедневно отправляться въ помѣщеніе съ парами сѣрнистой кислоты, то можете въ одинъ прекрасный день сойти съ ума или разбить себѣ лобъ. Если же вы калибромъ помельче, то станете негодовать на свойства сѣрнистой кислоты: ахъ, дескать, какъ это печально и нехорошо, что въ сѣрнистой кислотѣ трудно дышать; если же вы еще помельче, то просто скажете, что и вздоръ это совсѣмъ, будто въ сѣрнистой кислотѣ нельзя дышать, хотя надъ собой и не рѣшитесь сдѣлать опыта. Все это рѣшенія сантиментальной философіи. Но вотъ является другой человѣкъ, не менѣе васъ чувствующій, но болѣе васъ благоразумный. Онъ не отказывается отъ чувства негодованія, но оно направляется у него не на свойства сѣрнистой кислоты, а на тѣ обстоятельства, которыя вынуждаютъ людей задыхаться въ ней. Онъ не только не косится на законъ природы, но ищетъ и другихъ, извѣстная комбинація которыхъ могла бы поставить людей внѣ вліянія сѣрнистой кислоты. Точно такъ же и въ вопросѣ о преобладаніи сильныхъ надъ слабыми, здоровыхъ надъ больными, умныхъ надъ глупыми. Если вамъ это нравится, и прекрасно. Если же нѣтъ, то вы, подобно Страхову, заговорите о сыновьяхъ въ Польшѣ. Или же, признавъ преобладаніе сильныхъ, здоровыхъ, умныхъ закономъ природы, вы станете искать тѣхъ законовъ кооперации, которыми устранялось бы присутствіе слабыхъ, больныхъ, глупыхъ, то есть, не отрицая закона конкурренціи, вы постараетесь только вырвать изъ-подъ него почву. Изъ этого видно, что чувство не только можетъ уживаться съ истиной, не вступая въ безплодныя пререканія съ нею, но можетъ даже способствовать пріобрѣтенію дальнѣйшихъ истинъ. Г. Бибиковъ понимаетъ все это не хуже насъ и, очевидно, увлекся, единственно

только благодаря инсинуаторскимъ пріемамъ г. Страхова. Однако, бѣда родитъ бѣду и противорѣчіе—противорѣчіе. Основное положеніе г. Бибикова состоитъ въ томъ, что конкурренція и борьба за существованіе стремятся поднять уровень породы и суть, слѣдовательно, орудія прогресса: сильные выживаютъ, слабые вымираютъ, и родъ человѣческій, вслѣдствіе этого, прогрессируетъ. Слѣдовательно, все слабое должно быть, по справедливости, обречено смерти, и страданія слабыхъ совершенно законны. Поэтому, г. Бибиковъ разсуждаетъ такъ: «Когда въ семействѣ много дѣтей, а ѣсть нечего, Мальтусъ простодушно принималъ это за несчастіе. Теперь же мы видимъ, что чѣмъ больше дѣтей, тѣмъ лучше, тѣмъ сильнѣе можетъ дѣйствовать законъ конкурренціи. Слабые погибнутъ, и выдержатъ борьбу только естественно избранные». Кажется, вѣдь, какой жестокій приговоръ: г. Бибиковъ даже съ нѣкоторымъ задоромъ ставитъ его передъ г. Страховымъ. Вѣчно будетъ тянуться конкурренція, вѣчно будутъ мереть съ голоду нѣкоторые члены такихъ семействъ, въ которыхъ много дѣтей, но это не бѣда, ибо родъ человѣческій этимъ путемъ прогрессируетъ, такъ-сказать, питаясь мясомъ нѣкоторыхъ представителей человѣчества. Однако, г. Бибиковъ не долго удерживается на этой точкѣ зрѣнія. На вопросъ о томъ,—кто же естественно избранные, г. Бибиковъ указываетъ на вымираніе Меровинговъ, Капетинговъ и другихъ «поколѣній бѣлой кости». Далѣе, принимая на себя защиту словъ г-жи Ройе о неосновательности покровительства «слабымъ, немощнымъ и преступнымъ», онъ чувствуетъ, что тутъ есть что-то неладное, однако, удачно справляется съ дѣтьми и преступниками; онъ утверждаетъ, что покровительство имъ отнюдь не противорѣчитъ выводамъ г-жи Ройе, потому что какъ въ ребенкѣ, такъ и въ преступникѣ, цѣнится возможность, будущая польза для рода и вида. «То же,—прибавляетъ г. Бибиковъ,—слѣдуетъ сказать о старикѣ. Совѣстно, впрочемъ, и доказывать подобныя вещи. Ликурговы воззрѣнія на старость не привились, и во имя нашего достоинства, смѣемъ думать, никогда не привьются къ человѣчеству». Это вѣдь ужъ, пожалуй, тоже сантиментальная философія. Въ заключеніе г. Бибиковъ говоритъ: «Не слѣдовало-ли бы подумать обратно: что мысль и дѣятельность человѣка всегда и безусловно должны бы были направляться на помощь слабости, безсилію, беззащитности изъ-за той же пользы для рода? Въ безчисленномъ множествѣ случаевъ такъ и выходитъ—вотъ почему состраданіе и дѣятельная помощь слабымъ, безсильнымъ и беззащитнымъ входятъ такимъ широкимъ элементомъ въ гуманное чувство или, что́ то же, въ чувство человѣческое, родное; они даже составляютъ основу для него». Не такъ, значитъ, страшенъ чортъ, какъ его сначала намалевалъ г. Бибиковъ. Однако, противорѣчія его приличны не «эпохѣ паденія», а, напротивъ, эпохѣ зарожденія, эпохѣ молодой, неустановившейся мысли, но мысли ищущей, мысли, жаждущей истины, эпохѣ чувства самой горячей любви къ человѣчеству. Безъ всякаго сомнѣнія, это безконечно выше тридцати-восьмилѣтней давности г. Страхова, которая значительно способствуетъ сбивчивости въ мысляхъ и взглядахъ «новыхъ людей», только раздражая ихъ своимъ вмѣшательствомъ и нигдѣ не указывая признаковъ заблужденія.

Мы искренно сожалѣемъ о томъ, что у нашей молодежи вырывались еще недавно фразы въ родѣ: «нравственно то, что естественно», «любовь исчерпывается половымъ влеченіемъ» и т. д. Мы искренно рады, что фразы эти такъ рѣдко отзывались на дѣлѣ. Но мы утверждаемъ, что настоящіе виновники всѣхъ этихъ приложеній аналогическаго метода суть господа инсинуаторы. Это ихъ дѣло. Я ищу правилъ жизни, я ищу истины, добра, счастія. Я дѣлаю, положимъ, легкую ошибку. Въ ту же минуту мнѣ предлагаютъ сыновей въ Польшѣ и тридцати-восьмилѣтнюю давность и призываютъ городового. Какъ! Эта убогая, искалѣченнная, заплеснѣвѣлая мораль, не мирящаяся съ знаніемъ и призывающая на помощь городового, есть нравственность? Эта дикая похоть, отрѣзывающая человѣка отъ всего міра, есть любовь? Долой же эту нравственность и любовь! Я найду въ природѣ типы другой нравственности и другой любви. Но въ природѣ нѣтъ нравственности. Нравственное, значитъ, желательное; естественное, значитъ, необходимое,—это двѣ различныя категоріи. Человѣкъ обязанъ сочетать ихъ для себя, но найти сочетаніе ихъ въ природѣ нельзя, а если бы было возможно, то природа оказалась бы глубоко безнравственною. Въ то время, какъ я страстно ищу нормальнаго сочетанія желательнаго съ необходимымъ, въ то время, какъ я душою и тѣломъ отдаюсь этимъ поискамъ, мнѣ продолжаютъ кричать о тридцати-восьмилѣтней давности и предлагать сыновей въ Польшѣ. Мнѣ приходится огрызаться, искать глазами городового, и всетаки преслѣдовать завѣтную мысль. Оглушенный всѣмъ этимъ, я хватаюсь за аналогическій методъ. Но на дѣлѣ я все такъ же страстно желаю блага, на дѣлѣ я люблю самою чистою любовью, и только изрѣдка, въ частностяхъ сбиваюсь на практическомъ пути... Вопли о тридцати-восьмилѣтней давности раздаются еще громче, и чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ.

Кто виноватъ и кто правъ? Кто чистъ, не смотря на укоры въ грязи, и кто грязенъ, не смотря на сыновей въ Польшѣ?

ДЕРВИНИЗМЪ И ОПЕРЕТКИ ОФФЕНБАХА*).

Читая и перечитывая произведенія Дарвина, проникаешься все большимъ уваженіемъ къ этому необыкновенному человѣку, и не знаешь, чему удивляться: полнотѣ и всесторонности фактическихъ знаній или силѣ философскаго пониманія, нравственному мужеству убѣжденій, или скромности, съ которою они высказываются, наблюдательности въ частностяхъ или величію и мощи всего міросозерцанія.

Геккель.

И публика смѣялась много,
Смотря на эту ерунду.

Орфей въ аду.

I.

Мы присутствуемъ при одномъ изъ самыхъ рѣзкихъ случаевъ историческаго атавизма. 1870—71 годъ есть годъ исключительный; элементы, окрасившіе его собой, просто-напросто ворвались, благодаря стеченію особенныхъ условій, на сцену, собственно говоря, имъ давно уже не принадлежавшую. Конечно, они могутъ на ней фигурировать еще довольно долго, быть можетъ, даже слишкомъ долго для терпѣнія цивилизаціи, которая, впрочемъ, до сихъ поръ оказывается достаточно терпѣливою. Но всетаки, это только гости, и гости бездомные—ихъ собственный домъ проданъ съ аукціоннаго торга. И рано или поздно купившіе его, настоящіе хозяева, попросятъ ихъ очистить историческую сцену совсѣмъ. Они уже теперь просятъ, но трусливо, въ слишкомъ мягкихъ формахъ, совершенно не дѣйствующихъ на нахальныхъ гостей. Эта скромность приглашеній очистить квартиру обусловливается отчасти уваженіемъ къ бывшимъ домовладѣльцамъ, отчасти надобностью въ ихъ опытности по дворницкой части, отчасти трусостью, отчасти глупостью. Но, разумѣется, приглашенія будутъ съ теченіемъ времени становиться все настоятельнѣе и настоятельнѣе. Шевалье де-Роганъ отдулъ Вольтера палками и его же упряталъ по этому поводу въ Бастилію. Черезъ нѣсколько лѣтъ Вольтеръ царствовалъ въ Европѣ, и разные де-Роганы смотрѣли на него снизу вверхъ. Еще черезъ нѣсколько лѣтъ Бастилія пала, де-Роганы бѣжали, куда глаза глядѣли, а прахъ Вольтера былъ помѣщенъ въ Пантеонѣ. Sic transit gloria mundi!

Кто же настоящіе хозяева исторической сцены? Я думаю, что читатель это и самъ знаетъ. Когда я говорилъ, что мы переживаемъ моментъ историческаго атавизма, я не говорилъ ничего особенно оригинальнаго. Какъ это ни кажется съ перваго взгляда страннымъ, мысль эта получила особенное распространеніе именно теперь, во время и послѣ франко-прусской войны. Не говоря о Контѣ, Боклѣ, Прудонѣ, ни даже о Бенжаменѣ Констанѣ, ее можно усмотрѣть при нѣкоторомъ вниманіи и въ многочисленныхъ брошюрахъ, книгахъ, статейкахъ, статьяхъ и рѣчахъ по поводу современныхъ событій: и у г. Стронина, который, впрочемъ, нѣсколько переврал дѣло; и у г. Вырубова, который, впрочемъ, увѣренъ, что онъ говоритъ то, чего до него никто не говорилъ; и у императора Вильгельма, который объяснялъ, что война ему была нужна для упроченія мира; и въ газетныхъ передовыхъ статьяхъ, и въ фельетонахъ, и у Jean qui pleure, и у Jean qui rit. Читатель, конечно, знаетъ, что промышленность и торговля, съ каждымъ днемъ все развивающіяся, въ принципѣ исключаютъ войну и всѣ связанныя съ нею силы; что Европа стремится установить у себя такой порядокъ вещей, при которомъ вопросъ о casus belli представлялся бы на разрѣшеніе имущихъ и просвѣщенныхъ представителей націи, т.-е. людей естественно не расположенныхъ къ войнѣ; что Европа достигла уже въ этомъ направленіи кое-какихъ результатовъ, ибо имущіе и просвѣщенные представители націй получаютъ, по мѣрѣ сосредоточенія въ ихъ рукахъ имуществъ и просвѣщенія, все большую и большую силу, и т. д., и т. д. Все это вещи, давно всѣмъ извѣстныя, такъ что я отнюдь не посмѣю утруждать ими вниманіе читателя. Онъ, безъ сомнѣнія, очень хорошо понимаетъ, что настоящіе хозяева исторической сцены въ Западной Европѣ, хотя и не вездѣ, и не окончательно введенные во владѣніе, суть имущіе и просвѣщенные представители націй. Развивать эту мысль я не стану. Я хочу только представить читателю небольшую и, смѣю думать, интересную параллель между двумя силами, ничего, повидимому, между собою общаго не имѣющими, но дружно работающими въ интересѣ настоящихъ хозяевъ современной исторіи. Я хочу показать, какъ новые хозяева, съ противопо-

*) 1871, октябрь.

ложныхъ сторонъ выпроваживаютъ старыхъ домовладѣльцевъ и какіе поряки они съ собой приносятъ.

Эти ничего, повидимому, между собою общаго не имѣющія, но дружно работающія, силы суть: дарвинизмъ и оперетки Оффенбаха.

О, русская критика, если бы я не зналъ, что твои громы подобны картоннымъ громамъ Юпитера въ оффенбаховскомъ «Орфеѣ», я бы сильно струсилъ, ставя эти имена рядомъ и, особенно, помѣщая между ними соединительный союзъ. Я разумѣю критику, имѣющую претензію и патентъ на либерализмъ, потому что съ другой стороны громовъ и не жду. Г. Страховъ меня, можетъ быть, даже по головкѣ погладитъ, если удостоитъ своимъ вниманіемъ, а — чего добраго — и московская пресса снизойдетъ до одобренія во вниманіи къ пикантности предмета.

Разница въ отношеніяхъ либеральной критики къ Дарвину и Оффенбаху дѣйствительно громадная. Одного всѣ—я продолжаю разумѣть либеральную критику, и письменную, и устную—одного всѣ уважаютъ, хотя весьма мало читаютъ и еще меньше понимаютъ; другого всѣ презираютъ, хотя всѣ смотрятъ, слушаютъ, напѣваютъ, насвистываютъ, но тоже не понимаютъ. Въ одномъ видятъ гордость нашего вѣка, въ другомъ — позорное пятно на современной цивилизаціи. Одного съ азартомъ охраняютъ отъ нападокъ мракобѣсія, другого готовы во всякое время выдать головой прокурорскому надзору. И не смотря на все это, я осмѣливаюсь думать, что если бы русскую либеральную интеллигенцію оставить при одномъ Дарвинѣ, даже при десяти Дарвинахъ, но безъ всякаго Оффенбаха, она сильно соскучилась бы.

Въ прошломъ году во Франкфуртѣ происходилъ съѣздъ нѣмецкихъ журналистовъ. Бесѣдовали о разныхъ потребностяхъ литературы, о необходимости полной свободы печати и т. п. И конечно, если бъ въ Германіи могло подлежать вопросу свободное обращеніе въ публикѣ сочиненій Дарвина, нѣмецкіе журналисты горячо ухватились бы за свободу. Но вотъ въ одномъ изъ засѣданій съѣзда, одинъ изъ членовъ предложилъ слѣдующій вопросъ: не вліяютъ ли оперетки Оффенбаха развращающимъ образомъ на общество, не унижаютъ ли онѣ собою драматическое искусство, и потому не будетъ ли признано благопотребнымъ по мѣрѣ силъ и возможности препятствовать постановкѣ означенныхъ опретокъ? Вопросъ былъ разрѣшенъ въ положительномъ смыслѣ, т. е.: развращающимъ образомъ вліяютъ, драматическое искусство унижаютъ, препятствовать благопотребно. Послѣ засѣданія члены отправились въ театръ, послушать и посмотрѣть — кого? Оффенбаха. Не знаю, разсмѣялись ли, подобно древнимъ авгурамъ, почтенные представители нѣмецкой журналистики, взглянувъ другъ на друга въ театрѣ. Неизвѣстно мнѣ также, принялся-ли кто нибудь изъ членовъ съѣзда читать послѣ засѣданія произведенія Дарвина. Знаю только, что если въ театрѣ давали не Оффенбаха, а вицъ-Оффенбаха—Эрве и, именно, «Маленькаго Фауста», то Маргарита пѣла:

> Demandez à monsieur Prud'homme
> Ce qu'il pense de mes talents,
> Il va vous répondre qu'en somme
> Ma danse est un signe du temps...

Почтенные представители нѣмецкой журналистики нѣкоторымъ образомъ разыграли начало послѣдней сцены изъ «Елены Прекрасной». Переодѣтый жрецомъ-пустынникомъ, Парисъ производитъ импонирующее впечатлѣніе на ожидающихъ его веселыхъ царей, жрецовъ, дѣвъ. Всѣ ждутъ отъ него проповѣди строгой и карающей. Больше всѣхъ труситъ пройдоха-попъ Калхасъ. Но вотъ пріѣзжій жрецъ говоритъ, что его богиня не любитъ пасмурныхъ лицъ.

> Чтобы ей угодить,
> Веселѣй надо быть,

напѣваетъ онъ, слегка покачивая туловище направо и налѣво.

> Веселѣй надо быть,

подхватываетъ обрадованный хоръ, у котораго свалилась гора съ плечъ. Начинается неистовый канканъ...

Съ Оффенбахомъ подобные казусы случаются довольно часто, случаются, разумѣется, между прочимъ, и въ ущербъ, и на счетъ Дарвина. Въ Германіи, конечно, достаточно людей, читающихъ Дарвина и не слушающихъ Оффенбаха, каковая непослѣдовательность—потому что въ извѣстномъ отношеніи это дѣйствительно непослѣдовательно—можетъ быть, вѣроятно, въ нѣкоторыхъ случаяхъ объяснена просто черствостью и оторванностью отъ жизни. Есть, разумѣется, такіе люди и у насъ, хоть ихъ и гораздо поменьше, чѣмъ въ Германіи. Но я имѣю въ виду не ученыхъ спеціалистовъ, а обыкновенныхъ смертныхъ, вкусившихъ плодовъ древа познанія добра и зла съ гораздо большею умѣренностью, чѣмъ плодовъ древа жизни, живущихъ немножко мыслью, читающихъ книжки, пописывающихъ въ журналахъ и газетахъ, бывающихъ въ театрахъ, въ засѣданіяхъ окружнаго суда и различныхъ благотворительныхъ и неблаготворительныхъ обществъ. Я имѣю въ виду письменную и устную либеральную критику, за разоблаченіе тайнъ которой надо мной, я знаю, разразятся громы, увы? —это я тоже знаю—картонные...

Но мнѣ нужно поговорить еще съ нашей

музыкальной критикой, въ средѣ которой тоже есть, какъ я слышалъ, либералы и ретрограды, реалисты и классики, западники и славянофилы. Впрочемъ, я долженъ признаться, что обо всѣхъ этихъ фракціяхъ представленіе имѣю смутное. Когда мнѣ попадаются на глаза статьи нашихъ почтенныхъ музыкальныхъ критиковъ, я наталкиваюсь въ нихъ на «септимы» и «доминантъ-аккорды», на «сочность», «вкусность», «красивость» того или другого музыкальнаго произведенія, и—грѣшный человѣкъ — почти ничего не понимаю. Я охотно сознаюсь, что главное дѣло тутъ въ моемъ полнѣйшемъ музыкальномъ невѣжествѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ я осмѣливаюсь думать, что сама музыкальная критика находится на невысокомъ уровнѣ развитія. Я думаю, что современное ея положеніе соотвѣтствуетъ положенію литературной критики въ моментъ борьбы классицизма съ романтизмомъ, когда все вниманіе критики сосредоточивалось на спеціально эстетической сторонѣ поэтическихъ произведеній; когда рѣшались вопросы о томъ, можно или нельзя отступать отъ классическихъ образцовъ, отъ трехъ единствъ, отъ возвышеннаго стиля; когда одни наслаждались капризными полетами фантазіи, а другіе желали взнуздать ее по формѣ; когда критикъ отсталый пригонялъ къ произведеніямъ классическую мѣрку и затѣмъ кричалъ: лобъ! или: затылокъ! а критикъ передовой, сказавъ: это красиво, это несочно, —болѣе уже ничего не имѣлъ сказать. Можетъ быть, я и ошибаюсь. Можетъ быть также и то, что сама музыка по существу своему способна выдержать только эстетическія требованія. Вы видите, что я не страшусь громовъ и музыкальной критики, но по другимъ причинамъ. Я знаю, что наши музыкальные критики народъ въ своемъ дѣлѣ сильный—хоть меня нѣсколько и смущаютъ ихъ вопіющія разногласія — и какъ люди, чувствующіе свою силу, будутъ ко мнѣ снисходительны. Понадобилось же мнѣ это вступленіе единственно ради того, чтобы заявить, что относительно музыки Оффенбаха мнѣ не на что опереться. Наши музыкальные критики—не занимаются этимъ веселымъ маэстро, такъ что я не знаю, что думаютъ авторитеты даже о степени сочности и вкусности его музыки. Я чувствую, что музыка Оффенбаха весела, задорна, комична, но какова «мораль» этой *музыки*—я не знаю. Не знаю даже, возможна-ли, вообще, мораль музыки. Что же касается до морали *оперетокъ* Оффенбаха, т. е. совокупности либретто, музыки и исполненія, то она для меня совершенно ясна. Поэтому, когда я буду ниже говорить объ Оффенбахѣ, то буду имѣть въ виду совокупность впечатлѣній, получаемыхъ зрителемъ, и меньше всего въ состояніи буду говорить о сторонѣ музыкальной. Точно такъ же подъ общемъ именемъ Оффенбаха я буду разумѣть и всѣхъ вицъ-Оффенбаховъ.

II.

Дарвинъ и Оффенбахъ суть оба въ равной мѣрѣ продолжатели «просвѣтителей» XVIII вѣка. Я знаю, какія возраженія вы готовы выставить и противъ этого сопоставленія Дарвина съ Оффенбахомъ, и противъ приравниванія ихъ обоихъ къ революціонно-философскому движенію прошлаго столѣтія. Больше всего васъ смущаетъ здѣсь легкомысліе, безнравственность, распущенность веселаго маэстро. Вы знаете, что «литература просвѣщенія» подготовила въ извѣстной степени революцію, что она состояла изъ крупныхъ талантовъ, что она составляла силу, въ которой заискивали короли и которой поклонялись народы. Наконецъ, она отошла уже въ вѣчность и вспоминается вамъ не иначе, какъ окруженная ореоломъ славы и величія. Вы ее уважаете. О Дарвинѣ и говорить нечего. При взглядѣ на его портретъ, на этотъ крутой, нахмуренный лобъ, нависшія брови и проницательные глаза, вы торопитесь застегнуть на всѣ пуговицы сюртукъ своей души, — да простится мнѣ это фигуральное выраженіе въ восточномъ вкусѣ. Вы знаете, что этотъ человѣкъ совершилъ переворотъ въ наукѣ, что это человѣкъ и глубокомысленный, и остроумный, и талантливый, и трудолюбивый. Вы его глубоко уважаете... И вдругъ—Оффенбахъ! А что такое Оффенбахъ? Во первыхъ, забубенный маэстро, которому все трынъ-трава, даже, говорятъ, права артистической собственности. Во-вторыхъ, гг. Галеви и Мельякъ и другіе, менѣе извѣстные либреттисты, за которыми вы готовы признать извѣстную долю остроумія, но которые суть всетаки не болѣе какъ господа Мельякъ и Галеви, поставщики болѣе или менѣе скабрезныхъ либретто. Въ-третьихъ, актеры, изъ которыхъ каждый норовитъ выкинуть какое-нибудь «колѣнцо». И актеры эти не пѣвцы какіе-нибудь десятитысячные, не крупные драматическіе таланты Нѣтъ, для Оффенбаха совершенно достаточно безголосыхъ господъ Монаховыхъ и Сазоновыхъ и полупѣвицъ, полутанцовщицъ — госпожъ Лелевыхъ и Лядовыхъ Если передъ Дарвиномъ вы стремитесь застегнуть сюртукъ вашей души на всѣ пуговицы, то передъ этимъ народомъ вы считаете себя въ правѣ разгуливать въ халатѣ и даже въ одномъ бѣльѣ. Вы, можетъ быть, даже сочувствовали тому фельетонисту, который употребилъ слово «деверіи», для обозначенія едва ли не пуб-

личныхъ женщинъ. Конечно, разрѣзъ на тупикѣ Прекрасной Елены и пикантныя «пиррическія пляски» имѣютъ для васъ кое-какое значеніе и, между нами говоря, даже очень важное значеніе, но эту-то часть души своей вы и прикрываете, когда застегиваетесь на всѣ пуговицы. И не то, чтобы вы при этомъ сильно лицемѣрили. Нѣтъ, пустивъ въ дѣло «холодный разсудокъ», вы передъ самимъ собой скажете, что удовольствіе, получаемое вами при созерцаніи «Герцогини Герольштейнской» или «Фауста на изнанку», несравненно ниже тѣхъ умственныхъ наслажденій, которымъ вы, впрочемъ, предаетесь съ должною умѣренностью. Пушкинъ о комъ-то, можетъ быть, о самомъ себѣ, сказалъ, что онъ

Читалъ охотно Апулея,
А Цицерона не читалъ.

Но, конечно, огромное большинство читающихъ Апулея и не читающихъ Цицерона въ душѣ признаетъ превосходство Цицерона надъ Апулеемъ. Правда, что въ той же душѣ, только чуть-чуть поглубже, дѣло имѣетъ, по всей вѣроятности, другой видъ. Но, во всякомъ случаѣ, «Происхожденіе видовъ»—и

Дзынь-ля-ля, дзынь-ля-ля...

Дарвинъ—и

Pif! paf! pan!
En avant!
Le pied leste,
Et du geste!
Pif paf! pan!
En avant!

Монтескье—и

Ah! que j'aime les militaires...

Даламберъ—и

Вотъ, напримѣръ,
Съ моей мама-а-а-шей...

Вольтеръ—и

Aux maris ré—
Aux maris cal—
Aux maris ci—
Aux maris trants—
Aux maris récalcitrants...

Однако, не такъ страшенъ чортъ, какъ его малюютъ. Мы такъ спеціализировали свои жизненныя цѣли и задачи, свой трудъ и свои наслажденія, что, натолкнувшись или будучи кѣмъ-нибудь или чѣмъ-нибудь натолкнуты на извѣстную сторону явленій, склонны оставлять безъ вниманія его другія стороны. Мы привыкли допускать для каждаго явленія только одинъ родъ дѣйствія. Это обрекаетъ насъ на сужденія грубыя, топорныя, огульныя, одностороннія. Успѣшный анализъ, т. е. разложеніе явленія на его составные элементы, и успѣшный синтезъ, т. е. усмотрѣніе чертъ, общихъ двумъ или нѣсколькимъ явленіямъ—для насъ одинаково затруднительны. Мы привыкли видѣть въ наукѣ только знаніе, въ художественномъ произведеніи — только эстетическое наслажденіе, хоть многое уже было сдѣлано для низведенія науки и искусства съ ихъ фантастическихъ пьедесталовъ въ общій водоворотъ жизни. Впрочемъ, взгляды на этотъ вопросъ претерпѣваютъ многочисленныя измѣненія. Въ наше время одни склонны придавать значеніе фактическому знанію, какъ знанію, an und für sich, не требуя его оплодотворенія ни философскою мыслью, ни практическими цѣлями. Другіе, напротивъ, уважаютъ только такое знаніе, которое можетъ быть немедленно приложено къ практической жизни, напримѣръ, можетъ научить убивать въ наименьшій срокъ наибольшее число людей или что-нибудь въ этомъ родѣ. И точно также въ области искусства. Давно уже затихли требованія искусства для искусства, и самые ярые его поборники не прочь настрочить романъ, драму, повѣсть съ совершенно практическою цѣлью — ошельмовать ту или другую единичную, не нравящуюся автору личность. Реализмъ, утилитаризмъ и многіе другіе измы давно уже захвачены колесомъ либеральной рутины, увлекающимъ своимъ ровнымъ движеніемъ и своихъ былыхъ противниковъ. C'est la fatalité, какъ говоритъ Калхасъ. Весьма немногіе способны оградить интересы науки и искусства какъ отъ мелкаго служенія мелкимъ интересамъ мелкаго времени, такъ и отъ педантической и эстетической замкнутости. И даже эти немногіе всетаки рѣдко вполнѣ сохраняютъ балансъ между Сциллой и Харибдой. Даже головы посвѣтлѣе, давно уже признавшія относительность цѣнности фактическаго знанія, часто съ большимъ трудомъ переваривають вопросъ объ общественномъ значеніи того или другого явленія изъ области чистой науки. Когда здѣсь, въ Петербургѣ, устраивалась недавно художественно-литературная «Бесѣда», то дѣло не выгорѣло, говорятъ, между прочимъ, потому, что оказалось крайне затруднительнымъ опредѣлить границы профессій членовъ. Основаніе «Бесѣдѣ» было положено беллетристомъ г. Тургеневымъ и піанистомъ г. Рубинштейномъ. Сообразно этому, первоначально рѣшено было допускать въ члены исключительно представителей различныхъ отраслей искусства. Но остановиться на этомъ оказалось невозможнымъ и пришлось расширить предѣлы общества допущеніемъ въ него представителей литературной критики, а затѣмъ и публицистовъ. Отсюда оставался уже одинъ шагъ до ученыхъ и профессоровъ, но этому, говорятъ, воспротивились нѣкоторые вліятельные художники. И это враждебное столкновеніе логики вещей со взглядами нѣкоторыхъ

художниковъ совершенно понятно и естественно, потому что логика, собственно говоря, при основаніи «Бесѣды» несуществовала вовсе. Господа художники и ученые, представители искусства и представители науки должны, конечно, въ большинствѣ случаевъ чувствовать себя нѣсколько неловко рядомъ. Что между ними общаго? Что общаго между, напримѣръ, историкомъ-публицистомъ г. Костомаровымъ и піанистомъ г. Рубинштейномъ? Или между переводчикомъ Дарвина г. Рачинскимъ и исполнителемъ Оффенбаха г. Монаховымъ? Тутъ мы встрѣтимъ, вопервыхъ, цѣлый рядъ совершенно несоизмѣримыхъ величинъ, въ родѣ аршиновъ и пудовъ, величинъ до такой степени чуждыхъ другъ другу, что невозможно даже придумать такую мѣрку, которая могла бы измѣрить ихъ различіе. Затѣмъ мы встрѣтимъ въ средѣ нашей интеллигенціи цѣлый рядъ лицъ, чуждающихся другъ друга единственно по недоразумѣнію, но всетаки чуждающихся. Лежащее въ основаніи этой отчужденности, недоразумѣніе есть результатъ профессіональной спеціализаціи и оторванности отъ жизни. Оно невозможно въ тѣхъ профессіяхъ, которыя по существу своему стоятъ ближе къ жизни. Недавно были напечатаны въ «Вѣстникѣ Европы» маленькіе очерки «Личностей смутнаго времени» г. Костомарова. Тутъ были Скопинъ-Шуйскій, Мининъ, Пожарскій и еще кто-то. Въ фактическомъ отношеніи эти очерки не могутъ идти ни въ какое сравненіе съ другими трудами нашихъ историковъ, со включеніемъ самого г. Костомарова. Ученому автору приходится на каждомъ шагу указывать на неполноту фактическаго матеріала, взятаго имъ въ основаніе очерковъ. Такъ что для записного спеціалиста-эрудита эти крошечные этюды не имѣютъ, вѣроятно, никакой цѣны. И больше всего онъ, можетъ быть, приметъ къ сердцу разоблаченіе г. Костомаровымъ чьей-то чисто-фактической ошибки, именно смѣшенія князя Пожарскаго, который стоитъ вмѣстѣ съ Мининымъ въ Москвѣ на Красной площади, съ какимъ-то Лопатой-Пожарскимъ, который ровно ничѣмъ не прославился. Но эти очерки имѣютъ весьма важное общественное значеніе, какъ критическая оцѣнка дѣятелей нашей исторіи, стоящихъ на пьедесталѣ, построенномъ на вѣру и въ силу голаго квасного патріотизма. Разъ представитель какой бы то ни было ученой или артистической профессіи сознательно сталъ на эту почву жизни, онъ уже имѣетъ интересы, общіе и другимъ профессіямъ. Онъ уже не будетъ ни кичиться своимъ положеніемъ въ іерархіи профессій, за которую толпа держится по преданію, ни предаваться по этому поводу излишнему смиренію. Если онъ окажется человѣкомъ чужимъ представителю другой профессіи, то отнюдь не потому, что онъ стоитъ по мѣркѣ толпы выше или ниже на лѣстницѣ, а по той же причинѣ, по какой онъ можетъ оказаться чужимъ и товарищу по профессіи,—по причинѣ разногласія въ оцѣнкѣ явленій жизни. Это послѣднее разногласіе для насъ въ настоящую минуту неинтересно, такъ какъ мы заняты явленіемъ, въ логическомъ порядкѣ ему предшествующимъ. Прежде чѣмъ разногласіе въ оцѣнкѣ явленій жизни можетъ обнаружиться, надо, чтобы представители различныхъ отраслей умственной дѣятельности встали на эту общую почву жизни. А пока этого нѣтъ, разрозненность представителей умственнаго труда, дѣятельности ученой и артистической, будетъ имѣть характеръ совершенно безсознательный, такъ сказать, стихійный. Мнѣ хотѣлось бы пояснить дѣло примѣромъ, а между тѣмъ не хочется тревожить чьи бы то ни было имена. Но положимъ, актеръ x, фигурирующій въ опереткахъ Оффенбаха, сталкивается съ ученымъ y, пропагандирующимъ и даже самостоятельно развивающимъ воззрѣнія Дарвина. Какъ они отнесутся другъ къ другу? Конечно, какъ люди совершенно чужіе, не имѣющіе между собой ничего общаго. Они чужіе по складу жизни и привычкамъ, которыя, разумѣется, у актера x не таковы, какъ у ученаго y. Толпа испоконъ вѣка рѣшила, что цѣль жизни актера есть развлеченіе публики, а ученаго—поученіе, и актеръ, и ученый и сами этому повѣрили. Актеръ x привыкъ къ покровительственному амикошонству, связанному съ извѣстной дозой презрѣнія или, по крайней мѣрѣ, неуваженія. Ученый y пріученъ, напротивъ, къ тому, чтобы къ нему относились съ почтительнымъ трепетомъ. Одинъ—гаеръ, другой—педантъ. Съ однимъ кутятъ, другому даютъ торжественные обѣды. Одинъ распущенъ, другой строгъ. Одинъ привыкъ подлаживаться ко всѣмъ изгибамъ прихоти публики, другой смотритъ сверху внизъ на «чернь непросвѣщенну». Одинъ махнулъ рукой на себя, на свою личность, другой преисполненъ чувства собственнаго достоинства. Понятное дѣло, что актеръ x будетъ чувствовать себя неловко въ присутствіи ученаго y, и обратно—ученый y будетъ шокироваться присутствіемъ актера x. А между тѣмъ, эта неловкость навѣрно исчезла бы, если бы исполнитель Оффенбаха и пропагандистъ Дарвина выглянули изъ узкихъ оконъ своего гаерства и педантизма на вольный просторъ жизни. Покойная Лядова, говорятъ, искренно и горячо молилась передъ тѣмъ, какъ ей выйти въ роли Прекрасной Елены на сцену. Человѣкъ вѣрующій, но грубый, назоветъ, пожалуй, эту молитву кощунствомъ. Я назову ее просто

наивностью. Это такая же sancta simplicitas, какую замѣтилъ мученикъ Гусъ въ старухѣ, подкладывающей полѣно къ костру, который готовъ былъ его сжечь. Бѣдная старуха просто не вѣдала, что она творила. Такъ точно не вѣдала, что творила, и Лядова. Если бы она занималась не гаерствомъ, т. е. не подлаживаніемъ подъ всѣ тонкости вкуса публики, не чистымъ, пожалуй, искусствомъ, а понимала бы, что такое Оффенбахъ, она, безъ сомнѣнія, выбрала бы что-нибудь одно. Но эта sancta simplicitas не имѣла за душой ничего, кромѣ желанія угодить, доставить наслажденіе. Какъ же ей не чуждаться, не бояться представителей науки, столь гордыхъ, столь уважаемыхъ? Но повторяю, что если бы пропагандисты Дарвина и исполнители Оффенбаха выглянули изъ-за своего педантизма и гаерства на вольный просторъ жизни, они увидѣли бы, что нити, исходящія отъ нихъ въ общественное сознаніе, на извѣстномъ пунктѣ совершенно сходятся, сматываются въ одинъ клубокъ. Они поняли бы, что въ извѣстномъ отношеніи они кровные братья по духу, по конечнымъ результатамъ своей дѣятельности. Быть можетъ, существуютъ исполнители Оффенбаха и пропагандисты дарвинизма, не похожіе на моихъ актера x и ученаго y. Таковые будутъ, безъ сомнѣнія, со мной согласны, потому что мои доводы и выводы до такой степени просты и не замысловаты, что мнѣ даже нѣсколько совѣстно такого длиннаго вступленія. Если эти выводы не были сдѣланы раньше, то навѣрное только по недостатку вниманія и вслѣдствіе рутиннаго отношенія къ іерархіи профессій.

III.

Сопоставленіе Оффенбаха съ «литературой просвѣщенія» прошлаго столѣтія, очевидно, вовсе не такъ дерзко, какъ можетъ показаться на первый взглядъ. Съ точки зрѣнія морали XVIII вѣкъ видалъ вещи не въ примѣръ почище Оффенбаха. Не говоря уже о такихъ явленіяхъ, какъ, напримѣръ, поразительный spectacle des sauvages, который имѣлъ мѣсто на одномъ изъ парижскихъ театровъ около 1770 года и возможности котораго многіе даже отказываются вѣрить, мы въ средѣ самыхъ «просвѣтителей» найдемъ не мало подходящихъ чертъ. Читатель согласится, по крайней мѣрѣ, съ тѣмъ, что, напримѣръ, Вольтеръ написалъ весьма достаточное количество скабрезныхъ разсказовъ и стиховъ и что этотъ веселый грѣхъ и вообще водился за просвѣтителями. Но на грѣхи въ этомъ отношеніи хоть бы Вольтера можно смотрѣть различно. Если смотрѣть, напримѣръ, на Pucelle d'Orleans съ спеціально-моральной точки зрѣнія, то вы найдете здѣсь бездну такихъ вещей, передъ которыми самъ Оффенбахъ покраснѣлъ бы въ качествѣ «мальчишки и щенка». Но въ Pucelle можно усмотрѣть и другую сторону. Обратите вниманіе на то, что здѣсь подвергалось осмѣянію, что скандализировалось, на кого валились всѣ сальности и двусмысленныя остроты. Заушенію и оплеванію предавалась здѣсь католическая святая — я не знаю, была ли канонизирована Іоанна д'Аркъ, но это все равно, такъ какъ въ сознаніи народа она жила во всякомъ случаѣ святою,—и божественное право французскихъ королей, династію которыхъ спасла орлеанская дѣвственница. Эта сторона Pucelle совершенно совпадаетъ съ основнымъ, такъ сказать, миссіонерскимъ тономъ литературы просвѣщенія. Вы можете видѣть въ цинизмѣ Pucelle только обертку, въ которую Вольтеръ, сообразно своимъ собственнымъ вкусамъ и вкусамъ современнаго ему свѣтскаго общества, завернулъ революціонныя стрѣлы; можете, наоборотъ, признать, что Вольтеръ ни о чемъ, кромѣ сальностей, не думалъ, когда писалъ свою Дѣвственницу. По отношенію къ результатамъ, осѣвшимъ въ общественномъ сознаніи подъ вліяніемъ Дѣвственницы и другихъ подобныхъ произведеній, это вопросъ не важный. Сомнительно, конечно, чтобы Вольтеръ не понималъ, что онъ дѣлаетъ. Но во всякомъ случаѣ вы должны согласиться, что воспитательное значеніе подобныхъ произведеній Вольтера было двоякое: съ одной стороны, они дѣйствовали нравственно-разлагающимъ образомъ, а съ другой,—впадали въ общую струю XVIII вѣка, подмывшую старый порядокъ, дѣлали въ нее извѣстный вкладъ. Конечно, этотъ вкладъ въ общую кассу критической работы прошлаго столѣтія былъ сравнительно съ размѣрами другихъ вкладовъ, но только сравнительно съ ними, не великъ. Но это всетаки не была лепта вдовицы. Если, переплетенная циническими выходками и грязными картинами, борьба противъ стараго порядка сама по себѣ въ одиночку была бы ничтожна, то нужно напомнить, что она въ одиночку не являлась и не могла явиться. Это былъ не только вкладъ на будущее время, а и симптомъ настоящаго. А настоящее это состояло въ томъ, что средневѣковой феодально-католическій колоссъ, расшатанный и надтреснувшій, терпѣлъ нападеніе со всѣхъ возможныхъ сторонъ и на всѣ возможныя манеры. Одни, какъ кроты, рылись подъ его ногами въ сферѣ практическихъ интересовъ; другіе рѣзали его тѣло холоднымъ ножомъ анализа, спокойно смотря на болѣзненное трепетаніе заживо анатомируемаго колосса; третьи пѣли у него подъ носомъ гимны новымъ богамъ—свободѣ и разуму; четвертые съ циническимъ хохотомъ швыряли грязью въ его когда-то грозное и

величавое лицо. Эти силы, дружно съ различныхъ сторонъ развѣнчивавшія, срамившія, топтавшія колосса, не всегда дѣйствовали вполнѣ сознательно и далеко не всегда подозрѣвали свою солидарность. Но это всетаки были крупные таланты, многосторонніе умы, изъ которыхъ почти каждый держалъ въ своихъ рукахъ всѣ нити борьбы. А для насъ, захваченныхъ дальнѣйшей спеціализаціей жизненныхъ задачъ, трудно уловить общій характеръ явленій, формальнымъ образомъ рѣзко отличающихся другъ отъ друга. Однако, это еще не значитъ, чтобы пропускаемыя нами стороны явленія не производили на насъ своего дѣйствія. Помимо нашего сознанія всасываемъ мы ихъ въ себя, продолжая думать, что данное явленіе производитъ только одинъ родъ дѣйствія. Общество прошлаго столѣтія зачитывалось «Орлеанской Дѣвственницей», зачитывалось, большею частью, разумѣется, ради ея циническихъ подробностей. Но революціонный духъ ея оно всетаки вбирало въ себя. Какъ бы то ни было, а Орлеанская дѣва, посланная свыше спасительница французскихъ королей, и всѣ связанныя съ нею идеи и воспоминанія были закиданы грязью.

Чтобы достойно оцѣнить значеніе литературы просвѣщенія во всѣхъ ея формахъ, надо припомнить состояніе различныхъ слоевъ общества въ ту пору. Конечно, мы должны ограничиться самыми бѣглыми штрихами.

Говорятъ, когда удавъ хочетъ проглотить какое-нибудь мелкое животное или птицу, онъ разѣваетъ ротъ и смотритъ на свою жертву. Повинуясь какому-то таинственному, магнетическому вліянію глазъ змѣи, жертва сама собой валится ей въ пасть. Въ такомъ именно положеніи одурѣнной, почти самовольной жертвы находилась въ прошломъ столѣтіи вѣками скованная католическо-феодальная организаціи. Это было нѣчто фатальное. C'était la fatalité. Что касается высшаго общества, то въ примѣненіи къ нему смѣшно было бы говорить о развращающемъ вліяніи Pucelle и тому подобныхъ произведеній. Высшіе слои общества были въ этомъ отношеніи, можно сказать, неуязвимы, развратить ихъ было невозможно. Во Франціи они видали, какъ регентъ въ своей ложѣ, въ театрѣ, раздѣвалъ до-нога танцовщицъ; какъ знатнымъ дамамъ доставляло своеобразное удовольствіе принимать ночную рубашку изъ рукъ лакея. Прусскія знатныя дамы, не желая отставать отъ жительницъ менѣе суровыхъ климатовъ въ обнаженіи своего тѣло, принуждены были надѣвать трико. Въ Австріи разоблаченіе это приняло такіе размѣры, что одинъ горячій вѣнскій проповѣдникъ публично призывалъ орла св. Іоанна, «дабы онъ нагадилъ на эти безстыдно открытыя груди». Его заставили извиниться, онъ отказался. Замѣнившій его проповѣдникъ извинился за него, но при этомъ пожелалъ, чтобы телецъ св. Луки замѣнилъ орла св. Іоанна. Во всей Европѣ въ высшихъ классахъ царила такая виртуозность разврата, что Pucelle тутъ никакъ даже пришпилить нельзя. Государи и государики Западной Европы и высшее дворянство тонули въ омутѣ самаго утонченнаго и изнѣживающаго разврата, передавая своимъ потомкамъ испорченную кровь и ослабшій духъ и все болѣе удаляясь отъ полудикихъ средневѣковыхъ богатырей. Только прусскіе короли составляли въ этомъ отношеніи нѣкоторое исключеніе и мы, можетъ быть, переживаемъ теперь отчасти результаты этой относительной воздержности. Конечно, весь этотъ народъ долженъ былъ съ жадностью читать вещи въ родѣ Pucelle и даже оставаться недовольнымъ ея элементарностью. Но вмѣстѣ съ тѣмъ люди эти втягивали въ себя и ея революціонную закваску; они постепенно расшатывали въ себѣ свою внутреннюю опору, свою вѣру въ то, что во всякое время и на всякомъ мѣстѣ дѣла могутъ принять, съ Божіею помощью, благопріятный для нихъ оборотъ. Одуреніе могло доходить до того, что коронованныя главы болтали о республикѣ и братались съ своими злѣйшими врагами, какъ весьма скоро обнаружилось.

Развращающее вліяніе скабрезной стороны литературы просвѣщенія на буржуазію имѣло, конечно, другой характеръ. Но вещь немыслимая развратить то, за чѣмъ стоитъ исторія, хотя можно развратить отдѣльныя личности. Тотъ или другой изъ имущихъ и просвѣщенныхъ представителей націи могъ свихнуться, читая циническія и грязныя картины и глядя на развратъ высшихъ классовъ; но буржуазія въ цѣломъ должна была совершить свою историческую миссію. И даже въ отдѣльныхъ личностяхъ распущенность могла вязаться съ благороднѣйшими побужденіями и чистѣйшими идеями. Авторъ Фоблаза, этого благодушнаго, хотя и циническаго оправданія легкаго поведенія по части клубнички, былъ жирондистъ, честнѣйшій республиканецъ, своею кровью засвидѣтельствовавшій вѣрность своимъ убѣжденіямъ вовсе не клубничнаго свойства. Такъ что можно, пожалуй, согласиться, что циническая сторона «Pucelle» давала пищу безнравственнымъ элементамъ общественной жизни, но она навѣрное не вносила въ нее ничего новаго, тогда какъ ея сатирическая сторона вводила въ общество идеи и чувства несомнѣнно новыя. Это сочетаніе цинизма съ сатирой имѣло даже свои чрезвычайно выгодныя стороны. Конечно, можно бы было написать объ «Орлеанской дѣвѣ» ученый трактатъ и доказать въ немъ съ логикой и историческими документами въ ру-

кахъ, что никогда Богъ не посылалъ ее для спасенія французскихъ королей, что и вообще короли эти не пользовались и не могли пользоваться никакимъ особеннымъ сверхъестественнымъ покровительствомъ, и т. д., и т. д. Подобные трактаты и писались въ XVIII столѣтіи, но, дѣйствуя преимущественно на разумъ, они имѣли, вѣроятно, болѣе глубокое, но менѣе распространенное вліяніе. А миссія XVIII вѣка состояла въ томъ, чтобы, какъ можно скорѣе и какъ можно дальше, распространить извѣстныя идеи и чувства. И дерзкое, циническое оплеваніе предметовъ, дотолѣ священныхъ, было чрезвычайно важнымъ и сильнымъ ферментомъ.

Наконецъ, надо замѣтить еще слѣдующее. Литература просвѣщенія была по преимуществу литературой критики и разрушенія:

Духъ отрицанья, духъ сомнѣнья
Леталъ надъ грѣшною землей.

Въ подобные историческіе моменты—это общій социологическій законъ, который можно бы было прослѣдить на множествѣ примѣровъ—расходившаяся критика мало думаетъ о предѣлахъ своей дѣятельности. Литература просвѣщенія, отрицая чувства и идеи, которыми держался старый порядокъ, готова была не только отрицать средневѣковыя формы морали, но и къ самой морали относиться съ скептическимъ недовѣріемъ. Таковъ законъ всякой сильной реакціи, въ какую бы то ни было сторону. И тамъ, гдѣ замѣшивается смѣхъ, и особенно такой неудержимый, ядовитый, какъ смѣхъ Вольтера, это «черезъ край» выступаетъ съ особенною яркостью. Но проходитъ время, и разлившаяся рѣка вступаетъ въ свои естественные берега.

Итакъ, цинизма и сальностей въ литературѣ просвѣщенія было слишкомъ достаточно для того, чтобы поставить съ ней въ этомъ отношеніи рядомъ Оффенбаха. Но ихъ можно и должно ставить рядомъ и въ другихъ отношеніяхъ. Смѣхъ Оффенбаха есть отголосокъ хохота Вольтера, отголосокъ, достойный большого вниманія по своей общедоступности. Оффенбахъ,—это легіонъ, и легіонъ, котораго всѣ слушаютъ и смотрятъ, не смотря на свой кажущійся ригоризмъ и презрительное отношеніе къ опереткамъ. Кругъ явленій, осмѣиваемыхъ Оффенбахомъ, почти тотъ же, что кругъ явленій, осмѣиваемыхъ Вольтеромъ. Пріемы смѣха, опять-таки, весьма часто совершенно совпадаютъ. Желая осмѣять, напримѣръ, нетерпимость или какія-нибудь вѣрованія, Вольтеръ беретъ иногда совершенно фантастическую канву, вводитъ на сцену разныхъ индійскихъ и египетскихъ боговъ, жрецовъ и проч., и на этой канвѣ начинаетъ вышивать свои сатирическіе узоры въ полной и совершенно резонной увѣренности, что узоры эти дойдутъ по настоящему адресу. И они, дѣйствительно, доходили. Совершенно такой же эффектъ производятъ и фантастическіе образы Оффенбаха. Надо обладать очень малою аналитическою способностью, чтобы не отличать во всѣхъ этихъ канканирующихъ богахъ, сластолюбивыхъ жрецахъ, «мѣднолобыхъ, то бишь мѣднолатыхъ» Аяксахъ, похотливыхъ герцогиняхъ Герольштейнскихъ, глупыхъ карабинерахъ, и проч., и проч., элементъ клубничный, развращающій, отъ элемента сатирическаго и, смѣю сказать, революціоннаго. Да, милостивые государи, революціоннаго, и я сердечно радъ, что могу сказать это, т. е. сдѣлать открыто доносъ, который, навѣрное, останется безъ послѣдствій. А останется онъ безъ послѣдствій потому, что Оффенбахъ—c'est la fatalité, потому что это одинъ изъ настоящихъ хозяевъ исторической сцены, и съ головы котораго не падаетъ ни одинъ волосъ, даже въ угоду московскимъ громовержцамъ; потому что онъ нуженъ всѣмъ, даже тѣмъ, подъ кѣмъ онъ роется. C'est la fatalité.

По степени таланта, Вольтера съ Оффенбахомъ нельзя, разумѣется, сравнивать уже по одному тому, что Оффенбахъ есть личность собирательная, а не физическая и духовная единица. Конечно, смѣяться послѣ Вольтера можно съ меньшею затратою силы, чѣмъ какая нужна была Вольтеру. Но не въ этомъ дѣло. Весьма часто случается, что люди высоко талантливые имѣютъ мало вліянія, а люди совершенно безталанные имѣютъ вліяніе сильное. Оффенбахъ есть собирательная личность, несомнѣнно очень талантливая, но онъ помимо того почерпаетъ силу въ своей собирательности. Онъ имѣетъ въ своемъ распоряженіи массу средствъ, какихъ у Вольтера подъ руками не было. Вольтеръ, правда, писалъ драмы и трагедіи, которыя, не смотря на свою ходульность, имѣли воспитательное значеніе. Но свой смѣхъ онъ не облекалъ никогда въ драматическую форму. Оффенбахъ же имѣетъ за себя эту форму, да еще, кромѣ свободы фантастическаго сюжета, разныя другія вольности, своего рода хартіи. Вольтеръ могъ вдосталь наглумиться надъ орлеанской дѣвственницей, но онъ не могъ заставить ее канканировать, какъ канканируетъ у Оффенбаха гётевская Маргарита, какъ канканируетъ у него цѣлый Олимпъ. Обличить бездѣятельность полиціи можетъ каждый писака, точно такъ же, какъ каждый писака можетъ написать такіе стихи:

Nous sommes les carabiniers,
La sécurité des foyers,
Mais, par un malheureux hasard,
Au secours des particuliers
Nous arrivons toujours trop tard.

Но Оффенбахъ силенъ именно своею кол-

лективностью. Тамъ, гдѣ не хватаетъ либреттистовъ, являются актеры, гримировка, костюмы, музыка. И никакія самыя дѣятельныя и краснорѣчивыя нападки на полицію не унизятъ ее такъ, какъ эти комическія фигуры карабинеровъ. Никакими словами не наложишь на извѣстный сортъ людей такого клейма, какъ образомъ «ца-р-р-я Ахилла, гер-р-ро-я». Обличайте, сколько хотите, лицемѣріе, пьянство и развратъ католическихъ поповъ, но вы никогда не произведете на массу такого впечатлѣнія, какъ фигура Калхаса, отплясывающаго, подобравъ полы своей хламиды, «пиррическій танецъ». Много ходитъ разсказовъ о различныхъ похотливыхъ и веселыхъ герцогиняхъ. Но посмотрите на герцогиню Герольштейнскую, какъ она производитъ приглянувшагося ей здоровеннаго солдата въ генералиссимусы, какъ она затѣмъ велитъ своимъ прихвостнямъ убить его ночью, но отмѣняетъ внезапно приказъ и довольствуется разжалованіемъ его опять въ солдаты; какъ она тутъ же заглядывается на одного изъ убійцъ и какъ, наконецъ, выходитъ замужъ за тупоумнаго принца Павла...

Я отнюдь не говорю, чтобы масса выносила изъ Оффенбаха какія-либо опредѣленныя идеи и чувства. Но она далеко не всегда выносила ихъ изъ смѣха Вольтера. Выносится и залегаетъ въ душѣ, у большинства безсознательно, извѣстный тонъ, разрабатываемый уже самою жизнью. Если сила Оффенбаха, между прочимъ, заключается въ его собирательности, то этою же собирательностью обусловливается и его слабость въ томъ или другомъ частномъ случаѣ. Надо помнить, что Оффенбахъ есть не только стимулъ, но и симптомъ извѣстнаго положенія вещей, и, слѣдовательно, онъ сильнѣе тамъ, гдѣ это положеніе вещей обозначилось ярче. Оффенбахъ есть дѣтище Франціи, и всѣ нѣмецкіе вице-Оффенбахи по необходимости плохи.

Что касается распущенности Оффенбаха, то я еще къ ней вернусь ниже, а теперь обратимся къ Дарвину.

IV.

Всякое болѣе или менѣе крупное обобщеніе служитъ основаніемъ для дальнѣшихъ, чисто научныхъ, спеціальныхъ изысканій. Но этимъ не ограничивается его роль. Оно немедленно, не будучи даже во всѣхъ своихъ частяхъ достаточно провѣрено, пускается въ оборотъ, переваривается, худо ли, хорошо ли, не одними спеціалистами, а и всею массою просвѣщенныхъ и имущихъ представителей націй. И въ этой сферѣ обобщеніе производитъ часто совершенно неожиданныя послѣдствія. Такъ, первые шаги мысли по направленію отъ древней, геоцентрической системы міроздания къ болѣе совершенной — геліоцентрической, составляли, съ одной стороны, вкладъ въ сокровищницу чистой науки, и астрономы работали надъ улучшеніемъ и уясненіемъ новой системы, большею частію не выходя изъ предѣловъ своей спеціальности. Съ другой стороны, геліоцентрическая теорія распространялась и въ кругу людей, весьма мало интересующихся астрономическими вопросами. Эти люди не имѣли никакого резона ждать окончательной выработки новой системы міра. Они немедленно прилагали ея суть къ вопросамъ вовсе не астрономическимъ, ставили ее во главу угла новой теологіи, новой философіи, новой морали, новыхъ взглядовъ на общественныя отношенія и глядь — Джіордано Бруно ужъ корчится въ предсмертныхъ судорогахъ на кострѣ инквизиціи. Въ древнія времена, благодаря ограниченности числа, непрочности положенія и неважности значенія просвѣщенныхъ и имущихъ представителей человѣческой породы, побочные результаты извѣстнаго чисто-научнаго положенія не могли быть особенно важными. Но съ дальнѣйшимъ поступательнымъ движеніемъ исторіи дѣло получаетъ другой видъ.

Исторія той или другой науки, быть можетъ, и должна довольствоваться изложеніемъ преемственнаго развитія чисто-научныхъ, спеціальныхъ положеній. Но исторія вообще и даже исторія мысли, вообще, обязана прослѣдить всѣ побочные результаты, произведенные извѣстнымъ научнымъ открытіемъ, наблюденіемъ, обобщеніемъ; тѣмъ болѣе, что эти побочные результаты могутъ быть иногда несравненно важнѣе результатовъ прямыхъ, чисто-научныхъ. Иногда «труба, зовущая на бой», какъ называлъ себя Бэконъ, бываетъ значительнѣе бойцовъ, особенно, если послѣдніе замыкаются въ слишкомъ узкую сферу. Напримѣръ, остроумно выполненная Дарвиномъ реставрація нашего отдаленнаго предка — животнаго, покрытаго шерстью, съ бородами у обоихъ половъ, съ остроми, подвижными ушами и т. д., съ научной точки зрѣнія имѣетъ весьма малую цѣнность. Этотъ гипотетическій звѣрь ни на шагъ не подвигаетъ науку впередъ. Онъ можетъ даже оказаться при ближайшемъ разсмотрѣніи звѣремъ совершенно фантастическимъ, небывалымъ. Да если бы эта частная гипотеза Дарвина и оказалась во всѣхъ частяхъ вѣрною, это всетаки будетъ не особенно цѣнный вкладъ въ науку. Это только одна изъ иллюстрацій къ теоріи Дарвина, и при томъ не такая иллюстрація, которая поддерживала бы и уясняла бы теорію, а напротивъ такая, которая сама требуетъ ея поддержки. Но побочные результаты этой гипотезы навѣрное весьма важны. Ученые еще долго могутъ пре-

пираться насчетъ относительной цѣнности пріемовъ, съ которыми Дарвинъ приступилъ къ реставраціи образа нашего предка и положеннаго въ основаніе ея фактическаго матеріала. Но въ массу просвѣщенныхъ и имущихъ классовъ брошена искусно написанная и производящая впечатлѣніе картина, которая сдѣлаетъ свое дѣло. У массы просвѣщенныхъ и имущихъ классовъ, занятыхъ жизненою практикой и срываніемъ цвѣтовъ наслажденія, нѣтъ ни времени, ни охоты, да нѣтъ и надобности, ждать конца ученыхъ препирательствъ о разныхъ тонкостяхъ и подробностяхъ. Она просто всасываетъ въ себя всѣ подходящіе яркіе элементы, ассимилируетъ ихъ и, вспоенная и вскормленная ими, является на аренѣ исторіи.

Общественное значеніе побочныхъ результатовъ каждаго крупнаго шага въ наукѣ состоитъ въ уясненіи двухъ пунктовъ: 1) положенія человѣка въ природѣ, 2) отношенія человѣка къ человѣку или положенія человѣка въ обществѣ. Ближайшимъ образомъ важенъ, собственно говоря, только второй пунктъ, но онъ слишкомъ тѣсно связанъ съ первымъ, который Гексли не безъ основанія называетъ поэтому вопросомъ всѣхъ вопросовъ для человѣка, проблемою, лежащею въ основаніи всѣхъ другихъ. Что касается этого перваго пункта, то позиція дарвинизма не подлежитъ никакимъ сомнѣніямъ. Подобно геліоцентрической системѣ міозданія и всякой другой научной теоріи, дарвинизмъ вдвигаетъ человѣка въ ряды остальныхъ индивидуализированныхъ дѣятелей природы. Достигается такое вдвиганіе и общими положеніями дарвинизма, и частными, прямыми указаніями на мѣсто человѣка въ природѣ. Послѣднимъ вопросомъ спеціально заняты извѣстныя чисто-научныя изслѣдованія Гексли, Фогта и другихъ, а также множество популярныхъ сочиненій Бюхнера, Ролле, Ройе и проч.; наконецъ, послѣдняя книга самого Дарвина. Здѣсь мы находимъ указанія на то, что человѣческій организмъ построенъ по тому же плану, по какому построены и всѣ остальныя млекопитающія; на то, что человѣкъ способенъ принимать отъ низшихъ животныхъ и сообщать имъ нѣкоторыя болѣзни, каковы водобоязнь, оспа, сапъ и т. д., а это свидѣтельствуетъ о сродствѣ тканей и крови по частичному строенію и составу; на то, что обезьяны подвержены нѣкоторымъ незаразительнымъ болѣзнямъ, совершенно тождественнымъ съ нашими; что обезьяны курятъ съ удовольствіемъ табакъ, пьютъ вино и водку, послѣ чего у нихъ болятъ головы, и онѣ жадно прохлаждаются лимоннымъ сокомъ, а это, въ связи со всѣмъ остальнымъ, свидѣтельствуетъ о сходствѣ вкусовыхъ нервовъ и аналогичности ощущеній у человѣка и обезьяны; что различныя стадіи эмбріологическаго развитія человѣка представляютъ поразительное сходство съ низшими формами животной жизни, и т. д., и т. д. Дарвинъ слѣдитъ далѣе за умственными, нравственными, даже религіозными элементами человѣка сравнительно съ низшими животными, и на каждомъ шагу приходитъ къ тому заключенію, что во всѣхъ отношеніяхъ разница между человѣкомъ и другими индивидуализированными дѣятелями природы чисто количественная, а не качественная. «Только нашъ собственный предразсудокъ,—говоритъ Дарвинъ,—и высокомѣріе нашихъ предковъ, воображавшихъ, что они происходятъ отъ полубоговъ, заставляютъ насъ медлить такимъ выводомъ». Снисходя къ предразсудкамъ толпы, дарвинисты спрашиваютъ, что лестнѣе для человѣческаго достоинства: быть разжалованными изъ полубоговъ, или возведенными въ санъ человѣка изъ низшихъ ступеней естественно-исторической табели о рангахъ?

Общія положенія дарвинизма подрываютъ тѣ же самые предразсудки, но только въ болѣе общей формѣ. Одно отрицаніе принципа отдѣльности акта творенія каждаго изъ животныхъ, даже не будучи приложено къ человѣку, враждебно сталкивается съ цѣлою массою закоренѣлыхъ предразсудковъ и суевѣрій.

Если мы захотимъ прослѣдить исторію положеній Дарвина спеціально по отношенію къ вопросу о происхожденіи видовъ, то въ качествѣ его предшественниковъ, не считая мелкихъ явленій, получимъ Жоффруа Сентъ-Илера, Ламарка, Бюффона, Демалье (замѣчательно, что все это французы). Такъ смотритъ на дѣло самъ Дарвинъ, въ предисловіи къ своему первому труду; такъ смотритъ, напримѣръ, и Катрфажъ въ своемъ очеркѣ предшественниковъ дарвинизма. Но если смотрѣть на дѣло съ болѣе широкой точки зрѣнія, именно, если попытаться обнять всѣ побочные результаты ученія Дарвина, то его генеалогія получитъ совсѣмъ другой видъ. Дарвинъ окажется прямымъ преемникомъ энциклопедистовъ и просвѣтителей прошлаго столѣтія. Нужды нѣтъ, что одинъ изъ прямыхъ спеціальныхъ предковъ Дарвина—Демалье былъ обруганъ и осмѣянъ Вольтеромъ. Это частность, какихъ можно бы было, пожалуй, найти очень много. Но дѣло не въ нихъ, а въ общемъ тонѣ дарвинизма и общемъ тонѣ критической работы XVIII вѣка, которые совершенно совпадаютъ. Едва ли это нужно доказывать. Къ устраненію вмѣшательства супранатуральныхъ силъ и къ заваливанію теоретической пропасти между человѣкомъ и животными, т. е. къ установленію мѣста человѣка въ природѣ въ духѣ дарви-

низма, вели и психологическія, и этическія, и философскія, и историческія воззрѣнія XVIII вѣка, словомъ—вся его суть. Если для историка біологіи Дарвинъ есть преемникъ Ламарка, то въ глазахъ исторіи мысли онъ продолжаетъ борьбу просвѣтителей съ феодально-католическимъ колоссомъ. Ведетъ онъ эту борьбу безъ лихорадочной страстности и задора просвѣтителей, а съ спокойствіемъ человѣка, имѣющаго подъ ногами твердую почву, съ спокойствіемъ настоящаго хозяина исторической сцены. Его святѣйшество, Пій IX, можетъ сколько угодно предавать въ своихъ энцикликахъ анаѳемѣ «натурализмъ», онъ можетъ сколько угодно заносить сочиненія Дарвина въ свои индексы, но въ Западной Европѣ Дарвинъ есть одинъ изъ хозяевъ. Даже тяжелая рука прусскихъ побѣдоносцевъ не въ состояніи придавить его, да если бы и осмѣлилась временно придавить, то настоящіе хозяева исторической сцены знаютъ пути и лазейки, непроходимые для массивныхъ тѣлесъ побѣдоносцевъ. Дарвинизмъ—c'est la fatalité.

Отъ вопроса о положеніи человѣка въ природѣ идутъ во всѣ стороны, подобно радіусамъ изъ центра, лучи, освѣщающіе и вопросъ объ отношеніяхъ человѣка къ человѣку. Понятное дѣло, что если мы убѣдились, что

Es leuchtet die Sonne
Ueber Bös und Gute;
Und dem Verbrecher
Glänzen, wie dem Besten,
Der Mond und die Sterne,—

то старая этика уже не годится и требуется новая. Понятное дѣло, что если супранатуральныя силы изгнаны изъ обихода природы, то и всѣ держащіяся за нихъ явленія общественной жизни должны рухнуть. До какой степени и здѣсь дарвинизмъ близокъ къ практической работѣ XVIII вѣка, видно будетъ изъ слѣдующаго сопоставленія.

До просвѣтителей исторія представляла складъ всевозможныхъ фантазій и небылицъ, тѣшившихъ ребяческую гордость различныхъ народовъ. Французскіе историки утверждали, что Юпитеръ, Плутонъ и Нептунъ были французскими королями, что основатель Галліи—Галлъ, былъ самъ Ной, и т. п. Историческія воззрѣнія Боссюэта слишкомъ извѣстны. Нѣкій богословъ разсчиталъ, что Богъ велѣлъ Ною собрать животныхъ въ ковчегъ въ воскресенье 12-го октября, а всемірный потопъ начался ровно черезъ недѣлю, т. е. въ воскресенье, 19-го октября. Одинъ историкъ доказывалъ, на основаніи священнаго писанія, что до тѣхъ поръ, пока будетъ существовать французская монархія, міръ можетъ спать спокойно: антихристъ не явится. Просвѣтители дружно принялись выметать эти авгіевы конюшни метлами всевозможныхъ размѣровъ и устройствъ. Собственно вся ихъ дѣятельность во всѣхъ подробностяхъ развѣвала всю эту ерунду. Но они прилагали къ дѣлу и спеціально историческую критику, ниспровергая этимъ орудіемъ вѣрованія въ происхожденіе народовъ отъ боговъ и полубоговъ, т. е. производя въ частной области ту же ампутацію, какую дарвинизмъ производитъ въ широкихъ размѣрахъ. Но такъ какъ исторія въ тѣ времена была исторіей исключительно королей, то около нихъ-то и фигурировали супранатуральныя силы, возвышая ихъ значеніе. Для теологовъ всѣ люди были извѣстнымъ образомъ созданы Богомъ. Но историки упускали изъ виду это обстоятельство. Для нихъ короли либо прямо происходили отъ боговъ или полубоговъ, было были особо поставлены богами, а народы выростали неизвѣстно откуда, въ родѣ грибовъ. Ничтожной причины достаточно для того, чтобы недоразумѣніе на этотъ счетъ разомъ распоролось отъ верхняго края до нижняго. Въ числѣ могущихъ пригодиться на это дѣло причинъ значатся и избранные мною для паралелли дарвинизмъ и оперетки Оффенбаха.

Я нѣкоторымъ образомъ пророчествую, а никто въ своей землѣ пророкомъ не бывалъ. Но я утѣшаю себя, во-первыхъ, тѣмъ, что пророчествую не для своей земли. Во-вторыхъ, когда существовала и дѣйствовала литература просвѣщенія, никто вѣдь навѣрное не повѣрилъ бы тому, что указалъ бы на смѣхъ Вольтера, на доктрины Гурнэ и проч., какъ на предтечи событій, которыхъ въ дѣйствительности они были предтечами. Навѣрное никто не повѣрилъ бы. Иначе старый порядокъ не лѣзъ бы такъ наивно охотно въ заготовленную для него исторіей петлю. И когда Галіани говорилъ: novum rerum mihi nascitur ordo,—какая нибудь букашка, можетъ быть, отработала его за оптимизмъ. Я, впрочемъ, обвиненію въ оптимизмѣ, никакимъ образомъ, не подлежу, какъ, смѣю надѣяться, будетъ видно изъ слѣдующей главы.

Очевидно, что дарвинизмъ и оперетки Оффенбаха могутъ быть сведены въ своемъ отрицательномъ значеніи къ одному знаменателю. Очень вѣроятно, что и дарвинисты, и Оффенбахъ не видятъ всѣхъ нитей, связывающихъ ихъ между собою, даже вообще не видятъ всѣхъ производимыхъ ими результатовъ. Но дѣлаютъ они, во всякомъ случаѣ, одно и то же дѣло; одни съ приличною представителямъ науки важностью и спокойствіемъ, другой журча, какъ веселый ручеекъ, къ каскаднымъ всплескамъ котораго прислушиваются и тѣ, подъ кѣмъ онъ тихо и постепенно подмываетъ берега.

V.

Какіе порядки несутъ съ собой настоящіе хозяева исторической сцены?

Въ послѣднемъ своемъ сочиненіи Дарвинъ пытается приложить свое біологическое обобщеніе къ міру явленій нравственно-политическихъ. Попытка эта, къ сожалѣнію и сверхъ всякаго ожиданія, крайне слаба, расплывчата, робка и не оригинальна. Онъ говоритъ, собственно, то же самое, что до него было высказано нѣкоторыми популяризаторами дарвинизма, но безъ смѣлости, послѣдовательности и, если можно такъ выразиться, безпощадности послѣднихъ.

Феодально-католическая этика санкціонировала милостыню, благотворительность, посильную помощь Христа-ради отдѣльнымъ слабымъ, бѣднымъ, немощнымъ лицамъ. Настоящіе хозяева исторической сцены, имущіе и просвѣщенные представители націй, отрицаютъ, вмѣстѣ съ остальными основами феодально-католическаго строя, и принципъ помощи немощнымъ и покровительства слабымъ. Отрицанію этому, какъ и всѣмъ доктринамъ настоящихъ хозяевъ исторической сцены, начало положено XVIII вѣкомъ, и именно такъ называемыми экономистами. Замѣтимъ мимоходомъ, что экономисты, реагируя противъ средневѣковыхъ порядковъ, ратовали противъ двухъ принциповъ, совершенно различныхъ, именно противъ частной, личной благотворительности и противъ вмѣшательства общества въ дѣла частныхъ лицъ. Какъ бы то ни было, и тотъ, и другой принципъ, имѣя въ виду помощь немощнымъ, были одинаково противны просвѣщеннымъ и имущимъ классамъ. Одинъ изъ экономистовъ, Мальтусъ, далъ біологическую основу доктрины, каковая основа и развивается дарвинистами. Для дарвинистовъ, прогрессъ какъ въ природѣ, такъ и въ обществѣ, осуществляется путемъ неустанной борьбы, вымиранія слабыхъ борцовъ и подбора единицъ сильныхъ. Естественно, что дарвинисты должны видѣть препятствіе прогрессу въ такихъ явленіяхъ общественной жизни, которыя подаютъ руку помощи слабымъ борцамъ. Эти слабыя единицы, вмѣсто того, чтобы погибнуть, какъ погибаютъ онѣ въ природѣ,—въ обществѣ, благодаря благотворительности, сохраняются, передаютъ свою слабость потомкамъ и стремятся понизить уровень человѣческой породы. И Дарвинъ, и всѣ дарвинисты согласны относительно этого факта. Но въ то время, какъ болѣе смѣлыя и послѣдовательныя духовныя чада доктрины прямо предлагаютъ прекращеніе какой бы то ни было помощи безпомощнымъ и покровительства слабымъ, въ самомъ Дарвинѣ добрыя чувства борются съ логикой. «Нельзя не пожалѣть—хотя, быть можетъ, это не совсѣмъ разумно—о быстротѣ, съ какою размножается человѣчество». «Мы должны безропотно примириться съ несомнѣнно пагубными послѣдствіями сохраненія жизни и размноженія слабыхъ людей». Такъ говоритъ Дарвинъ. Читатель, можетъ быть, помнитъ, что г-жа Ройе гораздо тверже и неукоснительнѣе проводитъ идею дарвинизма. Но нравственно-политическая часть послѣдняго труда Дарвина такъ слаба, что ее, при опредѣленіи общественнаго значенія дарвинизма, совершенно не стоитъ принимать въ соображеніе. Это просто на живую нитку сшитые клочки изъ мальтузіанства, «Теоріи нравственныхъ чувствъ» Адама Смита и утилитаризма. Дѣло въ томъ, что дарвинисты переносятъ свою доктрину въ область соціологическихъ вопросовъ цѣликомъ, только одни дѣлаютъ это съ кое-какими оговорками, а другіе безъ всякихъ оговорокъ. Какъ біологическое обобщеніе, теорія Дарвина въ своихъ главныхъ и основныхъ чертахъ несомнѣнно составитъ такое же вѣчное достояніе науки, какъ нѣкоторыя вѣковыя истины низшихъ наукъ. Я твердо убѣжденъ и въ томъ, что теорія Дарвина обязательна подъ извѣстными условіями и для соціологіи. Но въ этой области изъ нея можно сдѣлать весьма различныя употребленія, и здѣсь для насъ важно только то ея приложеніе къ сферѣ вопросовъ нравственно-политическихъ, какое дѣлается настоящими хозяевами исторической сцены.

Если бы я вѣрилъ въ то, что мать-природа есть намъ дѣйствительно мать, что она блюдетъ за каждымъ нашимъ шагомъ и предупреждаетъ, наказываетъ и милуетъ насъ, я бы обратилъ вниманіе читателя на то любопытное обстоятельство, что такіе люди, какъ Платонъ и Аристотель, Руссо и Вольтеръ, Шиллеръ и Гёте являются въ исторіи всегда попарно, какъ бы пополняя другъ друга. Я бы написалъ по этому поводу цѣлый трактатъ, гдѣ говорилось бы и о премудрости природы, и о ея благости; и о томъ, что она односторонности боится не меньше, чѣмъ пустоты; и о томъ,—что произошло бы, если бы на свѣтѣ жили только Аристотели, Вольтеры и Гёте, и не существовало бы Платоновъ, Руссо и Шиллеровъ, и обратно, какія послѣдствія могло бы имѣть существованіе Платоновъ, Руссо и Шиллеровъ при отсутствіи Аристотелей, Вольтеровъ и Гёте; и о томъ, что природа стремится установить въ головахъ людей извѣстное равновѣсіе, прибѣгая для этого къ системѣ контрфорсовъ, и т. д. Трактата этого я, однако, не напишу, потому что ясно вижу, что равновѣсія въ людскихъ головахъ нѣтъ, что контрфорсы тутъ нисколько

не помогаютъ; а, пожалуй, еще большую путаницу производятъ. И будь я самъ Ѳома невѣрный, я долженъ бы былъ въ этомъ убѣдиться, потому что язвы гвоздиныя подъ рукой,—хоть бы, напримѣръ, въ недавней перепалкѣ изъ-за классицизма и реализма. На этотъ счетъ въ нашемъ журналѣ были высказаны еретическія мнѣнія, за что ему и досталось. И по дѣломъ. Но еретическія мнѣнія не унимаются, и еще недавно одинъ изъ нашихъ сотрудниковъ ехидно замѣтилъ, что изъ реальныхъ училищъ выходятъ прусскіе уланы, а изъ классическихъ—Камиллы Демулены, и что, если бы у него, нашего почтеннаго сотрудника, былъ сынъ, такъ онъ знаетъ, какой изъ этихъ образцовъ онъ бы для него выбралъ. Ехидство нашего почтеннаго сотрудника очевидно, такъ какъ тонъ его не оставляетъ никакого сомнѣнія въ томъ, что онъ своего сына прусскимъ уланомъ отнюдь не желалъ бы видѣть. Я предупреждаю «Отечественныя Записки», что если онѣ будутъ продолжать печатать у себя такія вещи, онѣ весьма быстро утратятъ лестную репутацію «либеральнаго», «прогрессивнаго» журнала. Г. Безобразовъ, г. Александръ Кевскій e tutti quanti ополчатся, докажутъ, какъ дважды два четыре, что «наши прогрессисты» недалеко уѣхали отъ «нашихъ охранителей», а иные свободные отъ постоя рецензенты и совсѣмъ растеряются. Хорошаго тутъ мало. Но дѣло не въ этой печальной перспективѣ, а въ томъ, что вопросъ объ *измахъ*, очевидно, подлежитъ пересмотру. Идеализмъ, матеріализмъ, спиритуализмъ, нигилизмъ, классицизмъ, реализмъ, — все это перепуталось, перемѣшалось, во всемъ этомъ, съ позволенія сказать, самъ чортъ ногу сломаетъ, а мы грѣшные и подавно. Одни говорятъ, что классицизмъ плодитъ благонамѣреннѣйшихъ людей, а реализмъ—безбожниковъ и революціонеровъ; другіе утверждаютъ, напротивъ, что реализмъ даетъ храбрыхъ, но весьма благонамѣренныхъ прусскихъ улановъ, а классицизмъ—Камилловъ Демуленовъ; третьи доказываютъ, что классицизмъ производитъ просто тупоголовыхъ людей, тогда какъ реализмъ просвѣщаетъ нравственныя очи. И я осмѣливаюсь думать, что даже участіе представителей университетской науки, гг. Грота, Стасюлевича, Бекетова, Менделѣева и проч., весьма мало подвинуло этотъ любопытный вопросъ къ разрѣшенію. Осмѣливаюсь думать, что господа ученые диспутанты и публики не просвѣтили, и сами уѣхали ровнехонько съ тѣмъ самымъ багажомъ, съ которымъ прибыли на интеллектуальный турниръ: кто съ собой прусскаго улана привезъ, тотъ съ нимъ и уѣхалъ; кто захватилъ тупоголоваго или ночного грабителя —опять-таки съ нимъ и вернулся. И такъ по всѣмъ *измамъ*. Дебатируемъ мы, дебатируемъ и приходимъ, наконецъ, къ результатамъ совершенно неожиданнымъ и, можно сказать, поразительнымъ, а главное—и не замѣчаемъ этой поразительности. Увѣряютъ насъ, напримѣръ, что нигилизмъ есть ученіе крайне опасное, подрывающее всевозможныя основы, и т. д. И тутъ же рядомъ изображаютъ что-нибудь въ родѣ такого діалога между двумя представителями страшной доктрины.

X. Сигары слѣдуетъ курить дрянныя и дешевыя, потому что таковыя курилъ Базаровъ.

Y. Нѣтъ, сигары слѣдуетъ курить хорошія и дорогія, потому что таковыя курилъ Рахметовъ.

Великодушно даря идею этого діалога гг. Ключникову, Лѣскову-Стебницкому и Крестовскому, прошу ихъ взамѣнъ объяснить мнѣ, что такое нигилизмъ. Очевидно, что вся система *измовъ* требуетъ тщательнаго пересмотра. Желаніе дать посильный матеріалъ для такого пересмотра побуждаетъ меня измѣнить своему намѣренію не трактовать о томъ, что произошло бы, если бы существовали только одни Аристотели или только одни Платоны. Впрочемъ, трактатъ будетъ всего въ нѣсколько строкъ.

Если бы судьба посылала въ міръ только Аристотелей, Вольтеровъ и Гёте, мы имѣли бы весьма ясныя понятія о природѣ и о мѣстѣ въ ней человѣка, но мы были бы никуда негодными гражданами и жалкими эгоистами. Если бы, наоборотъ, Аристотелей, Вольтеровъ и Гёте не было, а были бы одни Платоны, Руссо и Шиллеры, мы были бы благородными мечтателями, пламенными борцами за правду и справедливость, но имѣли бы самыя фантастическія представленія о законахъ природы. Къ счастью, судьба посылаетъ въ міръ великихъ идеалистовъ и реалистовъ въ перемежку. Но, къ несчастію, судьба даетъ міру весьма мало такихъ экземпляровъ, въ которыхъ научный реализмъ находился бы въ надлежащей пропорціи къ гражданскому идеализму, что наводитъ весьма многихъ людей на мысль о несовмѣстимости этихъ началъ въ принципѣ.

Современные дарвинисты продолжаютъ традицію Аристотеля, Вольтера и Гёте. Они реалисты и въ наукѣ о природѣ, и въ психологіи, и въ практическихъ вопросахъ нравственно-политическаго характера. И такими именно они и должны быть въ качествѣ настоящихъ хозяевъ исторической сцены. Когда такимъ хозяиномъ былъ феодально-католическій колоссъ, онъ закрѣпощалъ за собой историческую сцену во всѣхъ ея подробностяхъ, опираясь на супранатуральныя силы. Современные хозяева исторической сцены, въ качествѣ людей просвѣщенныхъ, изгнали эту

супранатуральную идеализацію фактовъ естественныхъ и общественныхъ; а въ качествѣ людей имущихъ они закрѣпощаютъ за собой историческую сцену своимъ реализмомъ, который сводится къ новаго рода идеализаціи факта. «Хотя это намъ и трудно,—говоритъ Дарвинъ,—но намъ слѣдуетъ восхищаться дикой, инстинктивной злобой пчелы-матки, уничтожающей молодыхъ матокъ, своихъ дочерей, тотчасъ по ихъ рожденіи или погибающей въ борьбѣ съ ними; ибо это несомнѣнно полезно обществу». Вы спросите: съ какой стати стану я восхищаться тѣмъ, что полезно такому обществу, организація котораго допускаетъ всякія варварства? Дарвинъ отвѣтитъ вамъ: съ такой стати, что это общество существуетъ. Конечно, такъ разсуждать могутъ только хозяева исторической сцены.

Такъ какъ дарвинисты переносятъ свою доктрину цѣликомъ въ область соціологическихъ фактовъ, то намъ достаточно припомнить здѣсь самыя общія черты дарвинизма.

Всѣ индивидуализированныя единицы природы ведутъ между собою неустанную и самую жестокую борьбу за обладаніе пространствомъ, за пищу, за половое удовлетвореніе. Примѣняя ко всѣмъ дѣятелямъ природы языкъ человѣческихъ отношеній, мы могли бы сказать, что природа полна всевозможныхъ преступленій: насилій, воровства, грабежа, разврата, убійствъ. Но не смущайтесь этимъ, ибо именно эта жесточайшая свалка обусловливаетъ собой развитіе высшихъ формъ жизни. Не будь ея, слабые индивиды увѣковѣчивали бы въ потомствѣ путемъ наслѣдственной передачи свои недостатки, а сильные, за недостаткомъ упражненія, постепенно ослабѣли бы. «Такъ изъ вѣчной борьбы,—говоритъ Дарвинъ,—изъ голода и смерти прямо слѣдуетъ самое высокое явленіе, какое мы можемъ себѣ представить, а именно возникновеніе высшихъ формъ жизни». Перенесите теперь это соображеніе въ область нравственно-политическую, и вы увидите, что такова именно должна быть доктрина просвѣщенныхъ и имущихъ представителей націй. Они достаточно просвѣщены, чтобы понимать законы природы, и достаточно имущи, чтобы условія развитія—голодъ и смерть—выпали не на ихъ долю. Любопытно видѣть, какъ суровая г-жа Ройе приглашаетъ во имя разума прекратить всякую помощь безпомощнымъ, а мягкосердечный Дарвинъ утѣшаетъ, что и безъ того дѣла идутъ недурно. «Преступниковъ,—говоритъ онъ,—казнятъ или подвергаютъ долгосрочному тюремному заключенію, такъ что они не могутъ свободно передавать потомству свои дурныя качества. Меланхоликовъ и сумасшедшихъ запираютъ, или они кончаютъ самоубійствомъ. Люди запальчивые и задорные часто погибаютъ насильственною смертью» и проч.., такъ что, въ концѣ концовъ, все идетъ къ лучшему въ семъ наилучшемъ изъ міровъ.

Я обращаю вниманіе читателя на утѣшительный конецъ, никогда, впрочемъ, не наступающій, борьбы за существованіе. Процессъ, которымъ вырабатываются высшія формы жизни, ужасенъ и глубоко-возмутителенъ. Это цѣпь насилій, голодныхъ смертей, медленныхъ и внезапныхъ самоубійствъ. Но кончается все прекрасно.

Дзынь-ля-ля...

Читатель, это просится на сцену Оффенбахъ. Онъ желаетъ проканканировать. Пусть его. Онъ имѣетъ резоны.

Елена Прекрасная ставитъ рога своему глупому мужу, надъ нимъ смѣются. Елену и Париса благословляетъ развратный мошенникъ, жрецъ Калхасъ. Пьяные цари шулерничаютъ и подкладываютъ Калхасу вмѣсто пятиалтыннаго пуговицу. Развратъ, пьянство, наглость, глупость, лицемѣріе,—вотъ что фигурируетъ на сценѣ. Но не смущайтесь. Конецъ прекрасенъ. Побѣдитель на всѣхъ состязаніяхъ—Парисъ похищаетъ Елену, они передадутъ потомству свой умъ и красоту...

Grisons nous tous
Comme des fous!
Et chacun ayant sa chacune,
Amusons-nous au clair de lune...

Шайка разбойниковъ. Грабежъ, воровство, развратъ, растрата казеннаго имущества и проч. Но не бойтесь. Это только начало и продолженіе. А въ концѣ концовъ, добрый принцъ Мантуанскій даруетъ разбойникамъ амнистію, и страшный атаманъ Фальсакаппа обѣщаетъ вступить на путь истины...

Pif! paf! pan!
En avant!
Le pied leste,
Et du geste!

Фаустъ и Маргарита. Это не Гётевская пара. Это кокодесъ и кокотка. Убійство, развратъ. Самъ сатана говоритъ, что дьяволамъ скоро нечего будетъ дѣлать на землѣ. И, наконецъ, наказаніе: за всѣ свои грѣхи Фаустъ и Маргарита обязаны, по приговору сатаны, танцовать до скончанія вѣка...

C'est imprévu, mais c'est moral!
Ainsi finit la comédie...

Это поетъ развратная герцогиня Герольштейнская, рѣшаясь, наконецъ, осчастливить своей прекрасной особой тупоумнаго принца Павла. Не смотря на разныя несчастія, случающіяся съ дѣйствующими лицами въ теченіе пьесы, все кончается прекрасно. Разжалованный Фрицъ соединяется съ своей возлюбленной и съ радостью возвращается въ свою хижину, генералъ Бумъ становится генералиссимусомъ, Павелъ женится...

Hop là! hop là!

Перикола, La princesse de Trébizonde, Vert-vert, Le château à Toto,—вездѣ вы увидите одно и то же: рядъ мерзостей и затѣмъ блистательный конецъ: либо половой подборъ соединяетъ любящія сердца, либо всѣ обращаются на стезю добродѣтели, либо другое какое торжество происходитъ. Чтó же остается дѣлать?

Веселѣй надо быть...

VI.

Если не считать двухъ кошмаровъ, съ одной стороны—побѣдоносцевъ, а съ другой—неимущихъ и непросвѣщенныхъ представителей націй,—душевный покой настоящихъ хозяевъ исторической сцены не возмутимъ. Это тихое безоблачное небо, безъ сучка и задоринки, это роза безъ шиповъ. Просвѣщеніе и имущество эмансипировали настоящихъ хозяевъ исторической сцены отъ всякихъ страховъ. Старыя вѣрованія разбиты, новыя уже складываются, но хозяева ихъ не знаютъ, не хотятъ и не могутъ знать. Ни внѣ себя, ни въ самой себѣ личность не знаетъ никакихъ преградъ своимъ похотямъ и тонетъ въ омутѣ наслажденій. Въ отношеніи необузданности, едва ли не замѣчательнѣе всего оперетка вицъ-Оффенбаха Эрве,—Le petit Faust. И это достойно особеннаго вниманія, ибо Эрве соединяетъ, кажется, въ себѣ одномъ всю коллективность Оффенбаха. Если не ошибаюсь, онъ не только композиторъ, а и либреттистъ, и актеръ.

Въ старые годы благородные дюки и виконты прокалывали другъ другу шпагами по всѣмъ правиламъ такъ называемой чести. Нынѣ Фаустъ даетъ Валентину мефистофелевскій coup de tabatière и стяжаетъ одобреніе присутствующихъ...

Въ старые годы со страхомъ и уваженіемъ относились къ блѣдному образу смерти. Mors была atrociter даже для забубенныхъ подгулявшихъ буршей. Нынѣ *трупъ* предательски убитаго Валентина *канканируетъ...* Трупъ канканируетъ! Неужели это не признакъ времени?

Въ старые годы боялись ада. Нынѣ души великихъ грѣшниковъ канканируютъ...

Въ старые годы женщинъ соблазняли любезностью, ухаживаніями, похищали, насиловали. Нынѣ ихъ просто покупаютъ, и сама Маргарита есть не болѣе какъ кокотка. Каждый ея жестъ оцѣненъ: за улыбку англичане платятъ шесть пенсовъ...

Можетъ ли этотъ безконечный канканъ имѣть развращающее вліяніе? Странный вопросъ. Конечно, не менѣе Pucelle. Но я уже неоднократно обращалъ ваше вниманіе на то обстоятельство, что Оффенбахъ, какъ и всякое другое широко распространенное соціальное явленіе, есть не только дѣятель, а и симптомъ. Съ этой точки зрѣнія это не болѣе какъ наружная сыпь, свидѣтельствующая о неправильности внутреннихъ отправленій организма. И усилія мировыхъ судей, карающихъ г-жъ Филиппо и Гандонъ, могутъ только вогнать болѣзнь внутрь. Я знаю, что говорю банальную истину, которая заставитъ только улыбнуться мудрыхъ практиковъ. Но что же дѣлать, истины по большей части банальны, а мудрымъ практикамъ подобаетъ улыбаться.

Со времени Pucelle утекло много воды. Съ тѣхъ поръ настоящіе хозяева исторической сцены уже въ значительной степени выжили старыхъ домовладѣльцевъ. Недавнія событія показали, впрочемъ, что послѣдніе еще сидятъ кое-гдѣ достаточно крѣпко. Однако, и въ недавнихъ событіяхъ можно усмотрѣть нѣчто, хотя бы въ мелочахъ, свидѣтельствующее о надорванности принциповъ старыхъ домовладѣльцевъ. Относительно Франціи это очевидно, но и въ Германіи исторія дѣлаетъ свое дѣло. Я укажу только на одно мелкое, но характерное явленіе,—на позорную исторію съ румынскими желѣзно-дорожными облигаціями, въ которой прусская знать участвовала въ подмѣнѣ румынскихъ пятиалтынныхъ прусскими пуговицами. Участіе это показываетъ, что прусская знать, представляющая вмѣстѣ съ англійскимъ дворянствомъ единственную настоящую знать въ Европѣ, готова стать въ ряды ажіотирующихъ и спекулирующихъ просвѣщенныхъ и имущихъ представителей націи. Въ другихъ мѣстахъ это раствореніе аристократіи въ буржуазіи произошло уже давнымъ давно, и древніе гербы и прадѣдовскія доблестныя шпаги снесены на биржу. Сенъ-Симонъ разсказываетъ въ своихъ мемуарахъ, что одинъ острякъ сказалъ дюку де-Бурбону, хваставшему портфелемъ, набитымъ акціями: «фи, милостивый государь, у вашего прадѣда было ихъ (игра словъ: action—акція и дѣло, дѣяніе) всего пять—шесть, но они были дороже вашихъ». Теперь это «фи!» было бы вопіющимъ анахронизмомъ. C'est la fatalité. На одномъ торжественномъ обѣдѣ, происходившемъ вскорѣ послѣ окончанія франко-прусской войны, одинъ доблестный русскій воинъ провозгласилъ, кидая камешекъ въ прусскій огородъ: «Мы не дѣлаемъ изъ своихъ побѣдъ пяти-милліардной спекуляціи!» Это замѣчаніе глубоко-вѣрное: уста младенцевъ вѣщаютъ истину. Надъ нашимъ богоспасаемымъ отечествомъ еще вѣетъ старое и почти цѣльное знамя. Когда намъ случается побѣждать, мы дѣйствительно не спекулируемъ, а просто пожинаемъ лавры. Европа же уже давно кладетъ лавровые листья въ супъ. И даже тѣ лавровые вѣнки, которые украшаютъ головы

нынѣшнихъ побѣдителей, сильно отдаютъ бульономъ.

Индѣ практически, индѣ принципіально тучныя коровы старыхъ домовладѣльцевъ поглощены тощими коровами настоящихъ хозяевъ исторической сцены. И развратъ, какъ одинъ изъ факторовъ исторіи, не имѣетъ уже дѣла съ обособленными феодально-католическими элементами, которые скинуты со счетовъ. Ихъ замѣнили элементы буржуазно-либеральные, которые, какъ въ XVIII вѣкѣ дворянство, не подлежатъ никакому развращенію. Для нихъ Оффенбахъ просто игрушка и много-много, что зеркало, на которое не только не приходится пенять, но въ которое смотрѣться пріятно. Маргарита совершенно права, утверждая, что ея танецъ есть признакъ времени. Пусть же мертвые хоронятъ мертвыхъ, а опять-таки тѣхъ, за кѣмъ стоитъ исторія, развратить нельзя.

Что же касается спеціально клубничной стороны разлагающаго вліянія Оффенбаха, то надо замѣтить слѣдующее. Какой вѣкъ не былъ развратенъ? Не тотъ ли, когда папы жили въ кровосмѣсительной связи съ своими матерями и сестрами и содержали публичные дома? Не тотъ ли, когда римскіе цезари публично бракосочетались съ мужчинами? Всегда были въ обществѣ элементы отживающіе и всегда они развратничали. Развратъ есть одинъ изъ молотовъ исторіи. Если сравнительно очень скромный Оффенбахъ распространенъ въ цѣлыхъ слояхъ общества и единовременно во всѣхъ концахъ Европы, то это потому, что ампутація предстоитъ большая.

Novum rerum mihi nascitur ordo.

Простите, читатель, ежели чего не дописалъ или что переписалъ.

БОРЬБА ЗА ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ.

(Соціологическій очеркъ).

I.

ВВЕДЕНІЕ *).

Когда какая-нибудь крѣпость, занятая карлистскимъ отрядомъ, осаждается войсками признаннаго испанскаго правительства и затѣмъ, послѣ долгихъ переговоровъ, вылазокъ и стычекъ, благополучно увеличиваетъ собою владѣнія короля Альфонса, то, не смотря на все ничтожество этого ряда событій даже для самой Испаніи, русскія газеты слѣдятъ за нимъ изо дня въ день. Такое участіе къ судьбамъ испанской крѣпости, оспариваемой Альфонсомъ у Карлоса или обратно, объясняется какъ собственными вкусами русскихъ газетъ, такъ и спросомъ со стороны читающей публики. Тѣмъ или другимъ способомъ общество, если бы пожелало, могло бы произвести извѣстное давленіе на періодическую печать и вытребовать у нея болѣе или менѣе аккуратное сообщеніе свѣдѣній болѣе важныхъ, хотя бы для этого пришлось отодвинуть на задній планъ распрю короля Альфонса съ дономъ-Карлосомъ. Трудно, конечно, допустить, чтобы русское общество принимало такъ ужъ близко къ сердцу судьбу разныхъ испанскихъ крѣпостей. Надо думать, что газеты въ этомъ случаѣ нѣсколько пересаливаютъ. Но, вообще говоря, наша читающая публика, какъ, впрочемъ, и многія другія читающія публики, очень любознательна насчетъ внѣшнихъ политическихъ событій, въ родѣ перемѣны династій, взятія крѣпостей, многознаменательныхъ словъ, сказанныхъ Макъ-Магономъ на смотру, и т. п. Да не подумаетъ читатель, чтобы я хотѣлъ угостить его лекціей на ту тему, что въ исторіи человѣчества внѣшнія политическія событія составляютъ только ничтожную, хотя и бросающуюся въ глаза, верхнюю пленку, подъ которой въ измѣненіяхъ нравовъ, въ приращеніи знаній, въ развитіи экономическихъ отношеній кипитъ настоящая, хоть и не видная исторія. Лекція эта читается, начиная съ прошлаго столѣтія, такимъ количествомъ людей и нерѣдко людьми такихъ высокихъ умственныхъ качествъ, что, если читатель все-таки устремляетъ свою любознательность на вопросъ о командованіи карлистскими войсками Доррегараемъ, такъ, значитъ, есть тому причины, съ которыми лекціей о сути исторіи ничего не подѣлаешь. Быть можетъ, всѣ читавшіе и читающіе подобныя лекціи поступали бы цѣлесообразнѣе, если бы постарались

*) 1875, октябрь.

самымъ изложеніемъ сути исторіи заинтересовать свою аудиторію и сосредоточить ея любознательность на томъ, что дѣйствительно заслуживаетъ вниманія. Разумѣется, я и такой претензіи не имѣю и весь этотъ разговоръ завелъ только потому, что въ русскія газеты недавно случайно проскользнуло извѣстіе, имѣющее несомнѣнную связь съ сутью исторіи. Не ручаемся, однако, чтобы читатель сразу призналъ его таковымъ.

Дѣло въ томъ, что недавно въ Реймсѣ происходилъ конгрессъ католическихъ рабочихъ ассоціацій, на который прибыли делегаціи изъ Англіи, Швейцаріи, Бельгіи и Италіи. Цѣль этого конгресса состоитъ въ учрежденіи клубовъ для солдатъ и рабочихъ и проч., а также въ учрежденіи мастерскихъ для обученія ремесламъ сиротъ и дѣтей бѣдныхъ родителей. Одинъ изъ ораторовъ, іезуитскій патеръ Маркиньи, произнесъ длинную рѣчь въ пользу возстановленія торговыхъ гильдій въ томъ видѣ, какъ онѣ существовали при Людовикѣ Святомъ. Слушатели съ жаромъ рукоплескали этой рѣчи, «исполненной состраданія, по выраженію одной ультрамонтанской газеты, къ судьбѣ злополучныхъ ремесленниковъ, у которыхъ революція отняла всѣ ихъ гарантіи». Конгрессъ принялъ резолюцію объ организаціи католическихъ обществъ, въ которыя входили бы всѣ классы рабочихъ и которыя управлялись бы подобно ремесленнымъ цехамъ, и о приглашеніи всѣхъ христіанскихъ нанимателей къ составленію изъ себя обществъ для поощренія рабочихъ своею моральною поддержкой. Рабочія же общества должны находиться подъ покровительстомъ дамъ. Словомъ, предполагается возстановленіе старинныхъ цеховъ и возрожденіе христіанской семьи среди рабочихъ классовъ. Графъ де-ла-Туръ-дю-Пэнъ прочелъ отчетъ о развитіи католическихъ рабочихъ клубовъ. При окончаніи франко-германской войны во Франціи существовалъ всего одинъ такой клубъ—въ Парижѣ, между тѣмъ какъ въ настоящее время они заведены уже во многихъ городахъ и селеніяхъ. Католики надѣются, что это движеніе будетъ способствовать примиренію капитала съ трудомъ. Само собою разумѣется, что члены этого съѣзда выразили письменно свое согласіе съ силлабусомъ.

На нашъ взглядъ это извѣстіе заслуживаетъ несравненно большаго вниманія, чѣмъ судьбы альфонсистской или карлистской Испаніи, хотя на реймскомъ конгрессѣ никто не размахивалъ шпагой, никто не осаждалъ крѣпостей и не сдавался на капитуляцію. Тотъ или другой Карлосъ уже много разъ оспаривалъ испанскій тронъ у того или другого Альфонса и будетъ, можетъ быть, еще много разъ оспаривать, вслѣдствіе чего будетъ повторяться и тотъ звонъ оружія, и та пушечная пальба, которыми нынѣ полна Испанія. Нельзя того же сказать о вздохахъ по средневѣковымъ цехамъ, раздававшихся на реймскомъ конгрессѣ. Во всякомъ случаѣ, если только читатель остановитъ свое вниманіе на приведенномъ фактѣ, онъ найдетъ въ немъ много поучительнаго и даже поразительнаго. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ не связались въ вашемъ умѣ неразрывными узами понятія о европейскомъ рабочемъ и о революціи?—а вотъ на конгресѣ рабочихъ ассоціацій говорится, что революція отняла у рабочихъ всѣ ихъ гарантіи. Развѣ не представляется вамъ рабочее движеніе чѣмъ-то враждебнымъ религіи и церкви?—а вотъ на конгрессѣ представители католической церкви принимаютъ движеніе подъ свое покровительство. Скажутъ, можетъ быть, что реймскій конгрессъ есть явленіе исключительное. Другіе скажутъ, что онъ есть результатъ происковъ католической партіи, ищущей себѣ въ рабочихъ массахъ опоры для борьбы съ государственною, свѣтскою властью. И тѣ, и другіе будутъ отчасти справедливы, но только отчасти. Что клерикалы ищутъ себѣ опоры въ рабочихъ—это вѣрно. Но это явленіе уже само по себѣ глубоко знаменательное. Среди многочисленныхъ экономическихъ партій, существующихъ нынѣ въ Германіи, очень любопытна хорошо организованная группа, считающая въ числѣ своихъ членовъ многихъ высокопоставленныхъ католическихъ духовныхъ лицъ и открыто называющаяся christlich-sociale Partei. Какъ бы ни было близко происхожденіе и развитіе этой партіи къ «культуръ-кампфу», возгорѣвшемуся въ Германіи недавно, слѣдуетъ, однако, замѣтить, что, напримѣръ, епископъ фонъ-Кеттелеръ выражалъ свои мнѣнія еще во времена агитаціи Лассаля, когда герой «культурной борьбы», Бисмаркъ, и не помышлялъ объ этой борьбѣ. Что касается реймскаго конгресса, то мы сами готовы признать его въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ явленіемъ исключительнымъ. Но онъ всетаки есть одно изъ знаменій времени и получаетъ не маловажное значеніе въ ряду другихъ фактовъ. Возьмите, напримѣръ, этотъ вздохъ по гильдіямъ временъ Людовика Святого. Положимъ, что онъ вырвался изъ груди іезуита, но вѣдь словамъ іезуита аплодировали депутаты рабочихъ ассоціацій. И налицо есть факты почище аплодисментовъ. Кто читалъ книгу Торнтона «Трудъ» и хоть, напримѣръ, первый томъ исторіи первой революціи Луи Блана, того должно было поразить многостороннее сходство англійскихъ рабочихъ союзовъ съ средневѣковыми цехами и корпораціями, разумѣется—минусъ католическіе орнаменты, о которыхъ собственно и вздыхаютъ люди въ родѣ іезуита Маркиньи.

Вотъ нѣкоторые изъ фактовъ, разсказы-

ваемыхъ Торнтономъ. Нѣкоторые союзы дѣлятъ окружающую ихъ страну на округа и не дозволяютъ употреблять произведенія подвѣдомственныхъ имъ отраслей промышленности иначе, какъ въ томъ округѣ, въ которомъ они выработаны. Въ большей части Ланкашира кирпичники и каменщики находятся въ оборонительномъ и наступательномъ союзѣ, и, вслѣдствіе этого, въ извѣстныхъ произвольно намѣченныхъ границахъ можетъ употребляться только кирпичъ мѣстнаго производства. Напримѣръ, ни одинъ кирпичъ, сдѣланный далѣе, чѣмъ въ четырехъ миляхъ отъ Манчестера, не можетъ проникнуть въ городъ. Каждый возъ кирпича при въѣздѣ въ Манчестеръ, осматривается особыми агентами союза каменщиковъ, и, если они найдутъ, что кирпичъ изъ «запрещенной» мѣстности, весь союзъ тотчасъ же отказывается отъ работы. Границей манчестерскаго союза каменщиковъ признается каналъ, протекающій въ четырехъ миляхъ отъ Манчестера и въ двухъ отъ Аштона. Какое бы изобиліе кирпича ни было на аштонскомъ берегу канала, оно ничѣмъ не отзовется на Манчестерѣ. Это чисто средневѣковая система внутреннихъ заставъ, запрещеній, монополій и непроходимыхъ пропастей между различными мѣстностями и различными отраслями производства достигаетъ иногда въ практикѣ рабочихъ союзовъ крайнихъ предѣловъ смѣшного. Напримѣръ, въ Болтанѣ нѣсколько каменщиковъ, проходя мимо конторы Дэя и слыша тамъ стукъ каменной работы, вошли и увидѣли, что плотникъ вбивалъ въ стѣну балки, а такъ какъ оставленныя для нихъ въ стѣнѣ отверстія оказались слишкомъ малы, то ему пришлось нѣсколько увеличить ихъ. Каменщики тотчасъ донесли объ этомъ союзу, и тотъ оштрафовалъ Дэя на 2 ф. ст. за то, что онъ дозволилъ плотнику произвести каменную работу. Въ Аштонѣ Джорджъ Кольбекъ послалъ столяра и каменщика передѣлать въ домѣ дверь и передвинуть ее на аршинъ въ сторону. Каменщикъ уже почти кончилъ свою работу, когда замѣтилъ, что столяръ, чтобы не сидѣть сложа руки, сталъ помогать ему, т. е. выбивалъ кирпичи на томъ мѣстѣ, гдѣ надо было устроить дверь. Каменщикъ тотчасъ же бросилъ работу и ушелъ, а союзъ каменщиковъ оштрафовалъ Кольбека на 2 ф. ст. За что? спрашивалъ онъ. «За то, отвѣчалъ союзъ, что вы нарушили правило, позволивъ плотнику выламывать кирпичи, это—дѣло каменщиковъ, и потому, если вы не заплатите штрафа, то всѣ каменныя работы у васъ прекратятся». Въ другомъ мѣстѣ подрядчикъ былъ оштрафованъ на 5 ф. ст. за то, что онъ, прождавъ своихъ каменщиковъ пять дней, поручилъ, наконецъ, печникамъ расширить окно на нѣсколько вершковъ. Конторщикъ одного подрядчика въ Блакпулѣ замѣтилъ однажды, измѣряя какую-то работу, что на его мѣркѣ стерлись подраздѣленія, знаки футовъ и дюймовъ. Онъ взялъ краски и возобновилъ знаки. Въ тотъ же день его хозяинъ получилъ отъ союза маляровъ письмо, въ которомъ его очень учтиво просили запретить конторщику исполнять малярную работу, такъ какъ онъ не маляръ.

Не напоминаетъ ли все это тѣ далекія и, казалось, совсѣмъ стертыя революціей времена, когда букинисты и книгопродавцы вели постоянные споры изъ-за того, что такое старая и что такое новая книга, когда подобнымъ же образомъ портные и продавцы стараго платья препирались три вѣка сряду? Если бы мы имѣли въ виду параллель между рабочими союзами (распространяющимися нынѣ и въ Германіи) и средневѣковыми цехами, мы могли бы указать и многія другія поразительно сходныя черты этихъ двухъ явленій. Но настроеніе рабочихъ массъ въ Европѣ, какъ ни соблазнительна эта тема, не входитъ въ программу предлагаемой статьи. Настроеніе это отнюдь не исчерпывается обычаями англійскихъ Trades-unions. Мы указываемъ мимоходомъ на эту сторону дѣла только потому, что указаніе это нужно въ виду нашей спеціальной цѣли.

Нѣчто соотвѣтствующее рѣчамъ и резолюціямъ реймскаго конгреса и практикѣ англійскихъ рабочихъ союзовъ имѣетъ мѣсто и въ наукѣ.

Показавъ, какъ самый ростъ капитала вызываетъ относительный избытокъ рабочаго населенія, Марксъ замѣчаетъ: «Таковъ законъ народонаселенія, свойственный капиталистическому способу производства; каждому особенному, исторически опредѣленному способу производства соотвѣтствуетъ особенный, исторически опредѣленный законъ народонаселенія. Абстрактные законы размноженія существуютъ только для растеній и животныхъ» (Das Kapital, 1867, 617). Конечно, это недовѣріе къ существованію общихъ и абстрактныхъ соціологическихъ законовъ (въ основаніи своемъ вполнѣ соотвѣтствующее философско-историческому міровоззрѣнію Маркса) можетъ показаться нѣсколько преувеличеннымъ. Но, во всякомъ случаѣ, приведенныя слова заключаютъ въ себѣ весьма важное указаніе. Соціологи вообще, а экономисты въ особенности, склонны къ расширенію значенія тѣхъ общественныхъ формъ, среди которыхъ имъ приходится жить, учиться и учить. Вращаясь въ извѣстной исторически опредѣленной формѣ общественныхъ отношеній, люди, занимающіеся изученіемъ общественныхъ вопросовъ, слишкомъ часто поднимаютъ выводы изъ своихъ болѣе или менѣе узкихъ наблюденій на степень непреложныхъ общихъ

законовъ. А затѣмъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ, благодаря удачной систематизаціи и другимъ условіямъ, логическимъ и политическимъ, эти выводы съ навѣшаннымъ на нихъ ярлыкомъ непреложности расходятся по бѣлу-свѣту и принимаются съ распростертыми объятіями даже тамъ, гдѣ они вовсе не имѣютъ подъ собой исторической почвы. Таковы, напримѣръ, нѣкоторыя идеи римскаго права, таковы экономическіе законы, установленные англійской школой, покорившіе себѣ, конечно, временно, чуть не весь цивилизованный міръ. Оставляя въ сторонѣ практическія слѣдствія такого ненормальнаго порядка вещей, нетрудно видѣть, какъ вредно долженъ онъ отзываться даже на интересахъ чистой науки. Ни абстрактная, ни конкретная соціологія, очевидно, не могутъ быть построены удовлетворительно, если кругъ наблюденій соціолога ограничивается конституціонной монархіей, фабрикой, денежнымъ и торговымъ рынкомъ да акціонернымъ обществомъ. А эти формы коопераціи (слово это мы разумѣемъ въ самомъ широкомъ смыслѣ) до послѣдняго времени почти исключительно поглощали вниманіе изслѣдователей. Относительно всѣхъ другихъ формъ общественныхъ отношеній какъ-бы существовало безмолвное соглашеніе, что онѣ не только неудовлетворительны или отсталы, но даже не заслуживаютъ вниманія. Ихъ третировали свысока, рѣдко даже удостоивая презрительнаго замѣчанія, что ничего не можетъ быть путнаго изъ Назарета. Это было совершенно понятно и извинительно въ медовые мѣсяцы вѣка просвѣщенія и принциповъ 89 года. Тогда люди были полны такой цѣльной вѣры, что ключъ къ замку человѣческаго счастья найденъ, что всѣ ихъ увлеченія должны быть имъ прощены, какъ простились грѣхи Магдалины. Но съ тѣхъ поръ утекло много воды. Англія, вдохновлявшая вѣкъ просвѣщенія своей конституціонной системой и промышленнымъ строемъ, утратила свое обаяніе. Она оказалась страной противорѣчій, въ которой, чего хочешь, того и просишь, и которая, именно въ силу этого никого вполнѣ удовлетворить не можетъ. Мало того. Подъ перомъ нѣкоторыхъ, часто блестящихъ талантовъ Англія обратилась какъ бы въ илота, котораго исторія, въ поученіе другимъ народамъ, до пьяна напоила дурными соками цивилизаціи. Знаменитые принципы 89 года независимо отъ присущихъ имъ самимъ недостатковъ, распространяясь географически, вмѣстѣ съ тѣмъ разжижались. Съ грѣхомъ пополамъ амальгамировали они попадавшіеся имъ на пути распространенія весьма разнохарактерные элементы. И этой-то странной амальгамѣ, лишенной всякой цѣльности и не возбуждавшей ничьего искренняго энтузіазма, который многое искупаетъ, суждено было сосредоточить на себѣ вниманіе людей, изучающихъ явленіе общественной жизни. Были у этой амальгамы апологеты, которые безспорно выяснили многое въ современной жизни, но которые вмѣстѣ съ тѣмъ самымъ безсмысленнымъ образомъ топтали всякій научный интересъ и къ отжившимъ, и къ отживающимъ, и къ вновь нарождающимся формамъ коопераціи, ко всему, что утратило или еще получило права гражданства въ странной амальгамѣ. Едва-ли не больше всѣхъ старались и ужъ, конечно, больше всѣхъ успѣли въ этомъ направленіи экономисты. Политическая экономія построена на томъ предположеніи, что абсолютный, единственный двигатель человѣка есть стремленіе къ наживѣ, къ богатству, стремленіе взять со своего сосѣда какъ можно больше и дать ему въ обмѣнъ какъ можно меньше. Адамъ Смитъ очень хорошо понималъ односторонность своего экономическаго ученія и потому поставилъ рядомъ съ нимъ «Теорію нравственныхъ чувствъ», гдѣ человѣкъ оказывается дѣйствующимъ столь же исключительно подъ вліяніемъ «симпатіи». Смитъ нигдѣ не говоритъ, какъ вяжутся между собою эти его двѣ противоположныя доктрины, но, очевидно, что онъ просто для удобства изслѣдованія уединилъ въ одномъ случаѣ голый эгоизмъ, въ другомъ—симпатію. Вѣрнѣйшій изъ его учениковъ, Дж. Ст. Милль, вполнѣ усвоилъ себѣ этотъ ходъ мысли учителя. Онъ прямо указалъ, что истины, добытыя политическою экономіей, имѣютъ весьма условный характеръ, такъ какъ въ основаніи ея лежитъ не реальный, а гипотетическій человѣкъ (Система логики, II, 479). Однако, далеко не всѣ экономисты поняли истинный характеръ и дѣйствительные предѣлы своей науки, въ чемъ, впрочемъ, имъ помогали нѣкоторыя побочныя обстоятельства. Во-первыхъ, реальный человѣкъ, входившій въ кругъ наблюденій экономистовъ, человѣкъ биржи, лавки, фабрики, акціонернаго общества, оказался дѣйствительно очень похожимъ на гипотетическаго человѣка науки Смита и Милля. Онъ дѣйствительно управлялся въ своихъ дѣйствіяхъ исключительно желаніемъ получить какъ можно больше съ сосѣда и дать ему въ обмѣнъ какъ можно меньше. Отсюда понятно заключеніе экономистовъ, что такова природа человѣка вообще,—заключеніе, къ которому они, однако, отнюдь не могли бы придти, если бы кругъ ихъ наблюденій и изслѣдованій былъ шире. Далѣе: изъ всего цикла общественныхъ наукъ политическая экономія даже въ своемъ изуродованномъ видѣ всетаки болѣе другихъ имѣла правъ на званіе науки; всетаки она была больше наука, чѣмъ юриспруденція, исторія, политика, этика. Это естественно

вело къ искушенію отождествлять политическую экономію съ соціологіей. Такимъ образомъ, все способствовало незаконному расширенію значенія науки, получившей толчокъ отъ Адама Смита. Экономисты не задумались сказать объ объектѣ своихъ изслѣдованій: ecce homo! тогда какъ это былъ только человѣкъ биржи, лавки и фабрики. Они притянули себѣ на помощь утилитаризмъ, между тѣмъ какъ эта доктрина, правильно понятая, утверждаетъ только одно: человѣкъ стремится къ личному счастію, —вовсе не предрѣшая, въ чемъ будетъ состоять личное счастіе человѣка въ томъ или другомъ частномъ случаѣ. И удивительно, съ какимъ упорствомъ держались экономисты этой странной иллюзіи, потому что фактовъ, уничтожающихъ ее, было всегда налицо достаточно, даже слишкомъ достаточно. Факты въ родѣ прусско-французской и затѣмъ парижско-версальской кровавой распри, казалось бы, очень ясно говорятъ, что люди—не только существа воздѣлывающія, поѣдающія, купующія и куплюдѣющія. Были у экономистовъ противники. Они опять-таки многое уяснили въ современной жизни, но ихъ дѣятельность была, главнымъ образомъ, отрицательная. Они стремились уничтожить зданіе, возводимое экономистами, а это обязывало ихъ опять-таки сосредоточивать свое вниманіе на биржѣ, лавкѣ и фабрикѣ. Но тамъ они встрѣчали воочію ненавистнаго имъ гипотетическаго человѣка науки Смита, торопились уйти отъ него въ область фантазіи, противопоставляли ему продукты своего личнаго творчества — человѣка Утопіи, Икаріи, Фаланстера.

Мы не имѣемъ въ виду практическихъ цѣлей экономистовъ и ихъ противниковъ, не думаемъ разбирать, въ какой мѣрѣ достигались эти цѣли трудами тѣхъ и другихъ. Не касаемся мы также ихъ заслугъ въ наукѣ вообще. Мы констатируемъ только фактъ узкости круга наблюденій соціологовъ, фактъ отсутствія той весьма важной отрасли науки, которую нѣкоторые писатели предлагаютъ называть общественной морфологіей, т. е. ученіемъ о формахъ коопераціи (*Schäffle*. Kapitalismus und Socialismus. 1870, S. 430. *Вреденъ*. Строй экономическихъ предпріятій. 1873). Было бы смѣшно и нелѣпо желать, чтобы фабрика, биржа, лавка остались внѣ контроля науки, но пора, кажется, подумать, что на нихъ свѣтъ не клиномъ сошелся, что даже и онѣ могутъ быть плодотворно изучаемы только съ точки зрѣнія, отправляющейся отъ наблюденій и изслѣдованій болѣе широкихъ. Въ этомъ отношеніи въ Европѣ за послѣднее время замѣчается весьма любопытное движеніе. Время Утопій, Икарій миновало уже давно, уступивъ мѣсто направленію, болѣе практическому и менѣе связанному съ личнымъ творчествомъ. Но и объ экономистахъ нельзя уже скоро будетъ повторить остроту одного нѣмецкаго писателя: купите себѣ скворца, научите его тремъ словамъ: Tausch (обмѣнъ) Tausch, Tausch! и у васъ будетъ прекрасный политико-экономъ.

Если мы пожертвуемъ второстепенными оттѣнками, то нынѣшнія направленія экономической науки могутъ быть подведены подъ три рубрики.

Во-первыхъ, такъ называемые фритрэдеры или манчестерцы. Это—то самое направленіе, которое приняло гипотетическаго человѣка Смита за человѣка дѣйствительнаго. Основной догматъ его есть свободное движеніе личныхъ интересовъ, долженствующее само собой привести все къ наилучшему концу. Эти люди проникнуты практическою стороною смитовской науки, но болѣе или менѣе недовольны ея теоретической и въ особенности методологической частью. Она для нихъ слишкомъ абстрактна и гипотетична. Это направленіе все болѣе и болѣе затирается другими и насчитываетъ очень мало чистыхъ представителей.

Во-вторыхъ, — школа Маркса (разумѣя послѣдняго исключительно какъ научнаго дѣятеля). Расходясь съ такъ называемой классической, смитовской школой въ практическихъ тенденціяхъ, Марксъ вполнѣ усвоилъ ея гипотетическій характеръ и логическіе пріемы изслѣдованія. Онъ только строже и послѣдовательнѣе Смита и Рикардо проводитъ ихъ собственные пріемы, благодаря чему, приходитъ къ новымъ заключеніямъ. Обливая, напримѣръ, всѣмъ своимъ обильнымъ запасомъ желчной брани практическія тенденціи Мальтуса и мальтузіанцевъ, Марксъ не отвергаетъ, однако, основаній знаменитаго закона народонаселенія. Напротивъ, новыми и совершенно неожиданными аргументами онъ доказываетъ, что этотъ законъ въ основаніи своемъ вѣренъ, но только для извѣстной, исторически опредѣленной комбинаціи условій, а не обязателенъ для всѣхъ временъ и мѣстъ. Не смотря на всю свою тенденціозность, Марксъ не вводитъ въ теоретическую часть своихъ изслѣдованій никакихъ этическихъ нравственныхъ моментовъ. Онъ твердо стоитъ на абстрактной почвѣ гипотетическаго человѣка науки Смита, но вмѣстѣ съ тѣмъ твердо помнитъ, что это —человѣкъ гипотетическій, условный, такъ сказать, выдуманный для удобства изслѣдованія.

Направленіе третьей группы современныхъ экономистовъ можетъ быть названо этическимъ. Названіе это присвоено собственно такъ называемому «профессорскому соціализму» (Kathedersocialismus), но подъ него подходятъ и многіе другіе, взаимно борю-

щіеся и часто очень нетерпимо другъ къ другу относящіеся оттѣнки образа мыслей. Всѣмъ имъ обще стремленіе ввести въ науку тотъ нравственный элементъ, который устраняется изъ политической экономіи одними сознательно и условно, въ силу требованій научнаго удобства, и другими безсознательно и безусловно, благодаря смѣшенію абстракта съ дѣйствительностью. Какъ именно долженъ быть введенъ этотъ элементъ въ науку и какую онъ долженъ играть въ ней роль — объ этомъ происходятъ очень горячія препирательства. При этомъ одни не высказываютъ ничего, кромѣ благороднаго негодованія противъ эгоизма, какъ основы экономической науки, а другими рядомъ съ сочувствіемъ къ извѣстнымъ нравственнымъ идеаламъ обнаруживается болѣе или менѣе сильная логическая способность. Дальнѣйшія различія обусловливаются разницей политическихъ тенденцій. Въ своей критикѣ классической науки представители этическаго направленія говорятъ: если бы люди были дѣйствительно таковы, каковыми ихъ предполагаетъ манчестерская теорія, т. е. если бы они были равны по способности и желанію преслѣдовать свои экономическія цѣли — тогда, конечно, борьба этихъ личныхъ силъ привела бы къ наилучшему результату, и оставалось бы только любоваться, какъ среди полной свободы каждая сила займетъ естественно принадлежащее ей мѣсто. Но люди манчестерской теоріи не суть дѣйствительные люди: они сочинены, выдуманы ради отвлеченныхъ требованій науки. И мы видимъ, что въ дѣйствительности, во-первыхъ, промышленная свобода не даетъ тѣхъ благодатныхъ результатовъ, какіе отъ нея ожидались, и что, во-вторыхъ, на почвѣ свободной конкурренціи сами собой возникали и возникаютъ рабочіе союзы и другія попытки такъ организовать общественную волю, чтобы слабыя силы и малыя экономическія способности находили себѣ гарантію отъ убійственнаго вліянія конкурренціи. Кто долженъ на себя взять обязанность такой гарантіи, государство ли, церковь ли, собственныя ли организаціи рабочихъ, это—опять исходный пунктъ множества разногласій.

Не входя въ оцѣнку различныхъ направленій экономической науки, мы отмѣтимъ только два крайне любопытныя явленія, представляющія, впрочемъ, собственно говоря, только двѣ стороны одного и того же явленія. Мы видимъ, во-первыхъ, поразительно быстрый ростъ недовѣрія къ принципамъ формальной свободы и личнаго интереса, какъ гарантій всеобщаго благосостоянія, поразительно быстрое паденіе доктринъ, строящихъ зданіе общества на этихъ двухъ столбахъ. Паденіе это до такой степени очевидно и до такой степени законно, что разные іезуиты начинаютъ уже эксплуатировать его съ цѣлью возстановленія исторически и нравственно отжившихъ учрежденій со всѣми ихъ, рѣшительно не укладывающимися въ современную жизнь, сторонами. Но не одни іезуиты съ упованіемъ смотрятъ назадъ. Сами рабочіе, какъ мы видѣли, по собственному почину возстановляютъ чисто средневѣковыя учрежденія, тяжелымъ гнетомъ ложащіяся на нихъ, добровольно надѣваютъ на себя ярмо. Имъ вторитъ и наука, какъ вторила она въ свое время идеямъ буржуазіи. Въ этомъ обращеніи назадъ, къ среднимъ вѣкамъ, а то такъ и къ еще болѣе глубокой древности, заключается вторая любопытная сторона современнаго движенія въ наукѣ. И Марксъ, и представители этическаго направленія весьма терпимо относятся къ нѣкоторымъ формамъ средневѣковой общественности, до такой степени терпимо, что подобное отношеніе было бы рѣшительно немыслимо еще очень недавно. Этого мало. Дѣло не въ простой терпимости. Документы о старыхъ, отжившихъ формахъ общественности вытаскиваются изъ архивной пыли; формы отживающія рекомендуется беречь, хотя бы для того, чтобы успѣть подвергнуть ихъ анализу и наблюденію. Словомъ, упоеніе настоящимъ смѣняется настроеніемъ, которое можно бы было назвать соціологическимъ романтизмомъ, если бы наряду со старыми не возбуждали интереса и нѣкоторыя новыя формы общественныхъ отношеній, если бы дѣло шло о простой идеализаціи стараго, а не объ изученіи и примѣненіи его къ новымъ потребностямъ. И удивительно, какъ освѣжающе-реформаторски дѣйствуетъ на науку это расширеніе поля наблюденій. Мауреръ, Нассе, Мэнъ, Брентано, Лавеле пожали обильную жатву.

Молодой нѣмецкій профессоръ Луйо Брентано былъ приглашенъ въ 1867 г. директоромъ статистическаго бюро въ Берлинѣ, Энгелемъ, сопутствовать ему въ поѣздкѣ по фабричнымъ округамъ Англіи съ научною цѣлью. Поѣхалъ Брентано, какъ онъ самъ разсказываетъ (Die Arbeitergilden der Gegenwart), полный вѣры въ догматы школьной политической экономіи. «Да и кто бы, —говоритъ онъ, устоялъ a priori передъ ученіемъ, которое, не требуя никакого вмѣшательства, разрѣшаетъ къ всеобщему удовлетворенію всѣ затрудненія экономической и соціальной жизни простою игрой разнузданныхъ личныхъ интересовъ». Англійскія Trades-unions Брентано глубоко презиралъ. Они представлялись ему печальнымъ анахронизмомъ, явленіемъ дикимъ и не имѣющимъ никакой будущности. Мысли эти онъ даже изложилъ передъ своимъ отъѣздомъ въ печати. Поѣздку предполагалось ограничить всего двумя мѣсяцами. Но вмѣсто

того, увлеченный работой, открывшей ему совершенно новыя и неожиданныя перспективы, Брентано пробылъ въ Англіи почти два года, при чемъ совершенно измѣнились его взгляды и на рабочіе союзы, и на науку. Онъ не ограничился изученіемъ непосредственно передъ нимъ стоявшаго живого явленія—рабочихъ союзовъ. Пораженный сходствомъ нѣкоторыхъ подробностей ихъ уставовъ съ порядками, господствовавшими въ средневѣковыхъ гильдіяхъ и цехахъ, онъ задалъ себѣ рядъ вопросовъ: нѣтъ ли между этими двумя явленіями какого-нибудь преемства? не представляютъ ли они фактовъ однородныхъ, необходимо являющихся при извѣстныхъ историческихъ условіяхъ? Если да, то въ чемъ состоитъ этотъ, такъ сказать, спросъ исторіи на подобнаго рода союзы? Наблюденія надъ организаціей и дѣятельностью рабочихъ союзовъ, въ связи съ изслѣдованіемъ историческихъ документовъ, относящихся къ древнимъ гильдіямъ, убѣдили Брентано, что существуетъ особый соціологическій или, пожалуй, экономическій законъ, въ силу котораго издревле возникали союзы съ тѣми же цѣлями и даже съ тою же приблизительно организаціей, какими характеризуются нынѣшнія Trades-unions. Человѣкъ освѣжился, получилъ новыя понятія о предѣлахъ и методахъ своей науки. На цеховую систему онъ получилъ возможность взглянуть не только съ той, всѣмъ извѣстной стороны, что она тормозитъ успѣхи производства и стѣсняетъ свободу промышленности, а еще съ той, что она извѣстнымъ образомъ гарантировала рабочаго отъ превратностей судьбы. Другимъ примѣромъ такого освѣженія можетъ служить книга бельгійскаго экономиста Лавеле «Первобытная собственность». Русскому читателю извѣстно или, по крайней мѣрѣ, должно быть извѣстно, что Лавеле оцѣнилъ поземельную общину, «первобытную собственность», не только съ точки зрѣнія ея роли въ производствѣ богатствъ (роли, по его мнѣнію, въ принципѣ весьма благотворной), а и съ точки зрѣнія гарантій, предоставляемыхъ ею мелкимъ собственникамъ. Съ этой-то точки зрѣнія, еще недавно не имѣвшей въ наукѣ ни малѣйшаго значенія, Лавеле даже съ нѣкоторою сантиментальностью отзывается объ исчезнувшей въ старой Европѣ общинѣ, а къ новымъ народамъ обращается съ такимъ восклицаніемъ: «Граждане Америки и Австраліи, не усвоивайте себѣ того узкаго, суроваго права, которое мы заимствовали изъ Рима и которое можетъ привести насъ къ экономической борьбѣ. Возвратитесь къ первобытному преданію вашихъ предковъ».

Въ виду подобныхъ фактовъ, число которыхъ растетъ съ каждымъ днемъ, мыслящимъ человѣкомъ можетъ овладѣть самое серьезное недоумѣніе. Гласъ народа—гласъ Божій, говоритъ пословица. Если и въ массахъ, и въ интеллигенціи замѣчается извѣстное тяготѣніе къ прошлому, такъ какой ужъ тутъ Альфонсъ и какой Карлосъ могутъ насъ интересовать? Даже католическая реакція, какъ и реакція прусская, ничтожны передъ этой невидной, не шумной, но тѣмъ болѣе поразительной реакціей.

«Я и не я»—такова формула міра, выставленная нѣмецкой метафизикой. На одной чашкѣ вѣсовъ я, такой-то, а на другой—все остальное,—т. е. и домъ моего сосѣда, и жена его, и волъ его, и оселъ его, и агонія умирающаго, и первый пискъ младенца, и желтая выжженая скатерть Сахары, и глубь океана, и вершины Альпъ, и безконечные міры планетъ со всѣмъ, что на нихъ живетъ, мыслитъ, чувствуетъ. Болѣе дерзкая идея никогда не высказывалась человѣческимъ языкомъ, да ничего болѣе дерзкаго и придумать нельзя. Забытый нынѣ Максъ Штирнеръ въ своемъ надѣлавшемъ гвалта: «Der Einzige und sein Eigenthum» въ принципѣ только сдѣлалъ большую книгу изъ короткой формулы «я и не я». И всѣ теоретики эгоизма не сказали больше этого. Какъ ни дерзка, однако, эта формула, она вполнѣ соотвѣтствуетъ природѣ человѣка, какъ и всякаго индивидуализированнаго существа вообще. Каждымъ своимъ шагомъ, каждымъ дыханіемъ человѣкъ выдѣляетъ свое я изъ необъятнаго *не-я*, противопоставляетъ себя ему и располагаетъ все «не я» въ чисто эгоистической переспективѣ, т. е. группируетъ его, примѣняясь къ своимъ личнымъ страданіямъ и наслажденіямъ. Это до такой степени очевидно, не смотря на всѣ грошевыя разсужденія грошевыхъ моралистовъ, что человѣкъ мыслящій и не лицемѣръ не потребуетъ отъ насъ доказательствъ. Съ лицемѣрами намъ разговаривать нечего, а людямъ недодумавшимся рекомендуемъ порыться въ книжкахъ, въ которыхъ означенная мысль давно развита подробно, а иногда даже слишкомъ подробно. Противорѣчія съ тѣмъ, что было говорено выше, здѣсь нѣтъ, потому что нѣтъ никакого основанія предполагать, что эгоизмъ выражается не иначе, какъ въ формѣ желанія содрать съ сосѣда какъ можно больше и дать ему въ обмѣнъ какъ можно меньше. Человѣкъ, какъ и всякое живое существо, всегда стремился, стремится и будетъ стремиться къ счастію, искать наслажденія, ощущеній пріятныхъ и бѣжать страданія. Это—фактъ, до такой степени основной, связанный съ самымъ фактомъ бытія, что Бэнъ («Духъ и тѣло») имѣлъ полное право назвать слѣдующее положеніе «закономъ самосохраненія»: «Состояніе удовольствія соединяется съ усиленіемъ, состояніе страданія—съ ослабленіемъ нѣкоторыхъ или всѣхъ жизненныхъ

отправленій». Но само собою разумѣется, что общій и элементарный принципъ стремленія къ личному счастію можетъ въ частныхъ случаяхъ усложняться почти до неузнаваемости. Усложненія эти бываютъ двоякаго рода. Или человѣкъ, гоняясь за наслажденіемъ, попадаетъ на ложную дорогу и страдаетъ по ошибкѣ. Или онъ страдаетъ сознательно, въ видахъ полученія нѣкотораго, особенно для него цѣннаго наслажденія. Муцію Сцеволѣ было, конечно, больно, когда онъ жегъ свою руку, онъ страдалъ, но страданіе это онъ перенесъ не ради него самого, а ради наслажденія, даваемаго сознаніемъ исполненнаго долга. Изъ этого слѣдуетъ только то, что стремленіе къ личному счастію, эгоизмъ, способны принимать крайне разнообразныя формы, которыя слѣдуетъ различать и классифицировать. И если читатель отрѣшится отъ привычнаго отвращенія къ эгоизму, вызваннаго низкими формами, въ которыхъ онъ часто проявляется, то увидитъ, что нѣмецкая формула «я и не я» заключаетъ въ себѣ нѣчто величавое и смѣлое, хотя, конечно, я не буду стоять за то развитіе этой формулы, которое представили нѣмецкіе метафизики Да ни у одного изъ нихъ не хватило смѣлости и правдивости освѣтить съ точки зрѣнія своей основной идеи темные переулки и закоулки лабиринта общественной жизни. Вызывая съ перваго же шага на бой всю вселенную, они на второмъ шагѣ готовы были примириться съ ничтожествомъ. Они были блудливы, какъ кошка, и трусливы, какъ заяцъ. Въ исторіи нравственныхъ теорій вообще бросается въ глаза какая-то странная смѣсь крайней смѣлости мысли съ трусостью. Возьмемъ недавній примѣръ. Извѣстный позитивистъ Литтрэ представилъ года три тому назадъ теорію происхожденія нравственности. Онъ полагаетъ именно, что всѣ наши эгоистическія чувства имѣютъ свой корень въ потребности питанія, какъ въ инстинктѣ поддержанія личной жизни, а чувства и побужденія альтруистическія (терминъ Конта)—въ инстинктѣ поддержанія жизни цѣлаго вида, въ потребности размноженія. Эти два инстинкта, постепенно развиваясь, образовали всю сложную сѣть нашихъ нравственныхъ понятій. Эта мысль въ основаніи своемъ не новая. И всѣ, кто ее высказывалъ, упорно старались не только отличить эгоизмъ и альтруизмъ въ ихъ теперешнемъ состояніи, а дать имъ непремѣнно различное происхожденіе. Безъ сомнѣнія задняя мысль, всегда подсказывавшая такое рѣшеніе вопроса, состоитъ въ предубѣжденіи противъ эгоизма, ради его грязныхъ формъ. Кажется унизительнымъ связать эгоизмъ съ нравственностью даже въ ихъ отдаленномъ источникѣ. А между тѣмъ если ужъ рѣшиться идти такъ далеко въ глубь исторіи, какъ пошелъ Литтрэ, такъ почему не признать и половой инстинктъ просто одною изъ формъ инстинкта поддержанія личной жизни. Для первобытнаго человѣка а тѣмъ болѣе для низшихъ формъ животной жизни, удовлетвореніе аппетита и полового инстинкта имѣютъ совершенно одинаковое значеніе.

Замѣчено, что теоретики эгоизма бываютъ часто на практикѣ людьми крайне добрыми, исполненными самоотверженія и всякаго доброжелательства къ людямъ. Это относится въ особенности ко многимъ знаменитымъ дѣятелямъ конца прошлаго столѣтія. Такъ Морелли, напримѣръ, говорилъ, что собственникъ имѣетъ полное право запереть дверь своего дома передъ носомъ зябнущаго и промокшаго человѣка. Самъ Морелли никогда бы такъ не поступилъ. Онъ только въ принципѣ отстаивалъ неприкосновенность и верховныя права своего *я*, чтобы на практикѣ добровольно, исключительно по свободному рѣшенію того же *я*, распахнуть настежь дверь своего дома передъ обездоленнымъ. Всякій долженъ признать, что это положеніе имѣетъ свое достоинство и свою прелесть. Тѣмъ именно и обаятельно было вліяніе великихъ умовъ конца прошлаго столѣтія, что ѳни болѣе или менѣе рѣшительно сбрасывали съ личности всякія умственные и нравственные кандалы. Отчасти этимъ же объясняется и обаяніе нѣмецкой метафизики. Недаромъ Фихте праздновалъ, какъ день духовнаго рожденія своего сына, тотъ день, когда онъ впервые назвалъ себя мѣстоименіемъ перваго лица—я.

И отъ всѣхъ драгоцѣнныхъ сторонъ сознанія личной свободы ходъ исторіи предлагаетъ намъ отказаться, если справедливо предположеніе, что и массы, и интеллигенція въ Европѣ тяготѣютъ къ прошлому—къ цеховой системѣ и поземельной общинѣ. Членъ англійскаго союза плотниковъ уже и теперь не смѣетъ работать быстрѣе другихъ, хотя бы былъ гораздо сильнѣе и искуснѣе ихъ; онъ не смѣетъ, хотя бы умиралъ съ голоду, взяться за работу, если союзъ рѣшилъ произвести стачку; онъ связанъ и многими другими стѣсненіями. Русскій мужикъ великороссъ долженъ въ извѣстный срокъ пустить свой участокъ въ жеребій и не смѣетъ продать его, хотя бы онъ составлялъ для владѣльца только тяжелое бремя. Неужели—это будущность Европы, въ которой пролилось такъ много крови за свободу, въ которой съ идеей свободы сжились такъ давно и такъ прочно? Есть надъ чѣмъ призадуматься.

Однако чортъ не такъ страшенъ, какъ его малюютъ. О томъ, что англійскіе рабочіе союзы должны будутъ измѣнить многіе пункты своихъ уставовъ или погибнуть, а также о томъ, что русская община можетъ также измѣняться и развиваться, мы теперь говорить не будемъ, а обратимъ вниманіе читателя на

слѣдующія любопытныя и запутанныя обстоятельства. Если, какъ говорятъ старые экономисты, манчестерцы, свободное движенiе личныхъ интересовъ, ничѣмъ несвязанныхъ, ведетъ къ наилучшимъ результатамъ, а тѣмъ болѣе, если въ дѣйствiяхъ своихъ люди руководствуются исключительно личнымъ интересомъ, то какъ объяснить возникновенiе различныхъ организацiй, которыми рабочiе добровольно стѣсняютъ свою личную свободу? И замѣтьте, что чѣмъ свободнѣе страна, тѣмъ подобныя организацiи въ ней распространеннѣе и энергичнѣе. Отчасти это объясняется, разумѣется, тѣмъ, что они въ Англiи, напримѣръ, встрѣчаютъ для своего возникновенiя и развитiя меньше стѣсненiй, чѣмъ на континентѣ. Но вмѣстѣ съ тѣмъ должно признать, что сама промышленная свобода несетъ съ собой какой-то ядъ, побуждающiй людей хвататься за противоядiе Во всякомъ случаѣ личный интересъ побуждаетъ рабочихъ въ извѣстной, часто очень и очень большой мѣрѣ отказываться отъ личной свободы. Этотъ-то неожиданный и парадоксальный результатъ свободнаго промышленнаго прогресса главнымъ образомъ и побудилъ экономистовъ къ пересмотру своихъ догматовъ. Къ сожалѣнiю, однако, при этомъ пересмотрѣ происходитъ одинъ очень важный недосмотръ. Почти вся разномастная группа, подведенная нами подъ рубрику этическаго направленiя, весьма горячо обличаетъ «индивидуализмъ» и «атомизмъ» классической школы, т. е. Смита, Рикардо, Мальтуса и ихъ эпигоновъ, нынѣшнихъ манчестерцевъ. Подъ индивидуализмомъ (слово, пущенное въ ходъ Луи-Бланомъ) или атомизмомъ здѣсь разумѣется стремленiе основать науку на потребностяхъ личностей, индивидовъ, отдѣльныхъ атомовъ общества, а не самаго общества, разсматриваемаго какъ самостоятельное цѣлое. Попрекая этимъ старыхъ экономистовъ, представители этическаго направленiя дѣлаютъ огромную ошибку. Старые экономисты дѣйствительно всегда много говорили и говорятъ о свободѣ личности, о личномъ интересѣ, такъ что на первый взглядъ, въ самомъ дѣлѣ, можетъ показаться, что интересы общества, какъ нѣкоторой высшей единицы, личности юридической, для нихъ не существуютъ. Въ дѣйствительности, однако, отношенiя ихъ къ личности и обществу совсѣмъ не таковы. Они отрицали и отрицаютъ государство, какъ регулятора экономическихъ отношенiй, отрицаютъ въ томъ же смыслѣ и такiя общественныя единицы, какъ цехъ и община. Это для нихъ – фантомы, Spuck, какъ говорилъ Максъ Штирнеръ. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы у нихъ не было своего фантома. Онъ есть, и личность приносится ему въ жертву. Спенсеръ въ своей «Соцiальной статикѣ» очень удачно называетъ этотъ фантомъ (которому онъ и самъ приноситъ обильныя жертвы) системой наибольшаго производства. Контуры и границы этой общественной единицы далеко не такъ опредѣленны, какъ контуры и границы, напримѣръ, семьи или государства; узы, связывающiя ея членовъ, далеко не такъ явно насильственны, какъ въ нѣкоторыхъ другихъ формахъ общественности. Но тѣмъ не менѣе узы эти существуютъ, и разорвать ихъ часто бываетъ труднѣе, чѣмъ какiя бы то ни было другiя. Въ «Запискахъ профана» были приведены два очень характерные въ этомъ отношенiи факта изъ русской жизни. Либеральный и гуманный Мордвиновъ отстаивалъ крѣпостное право единственно потому, что передъ его умственнымъ окомъ носилась система наибольшаго производства, а нормальныхъ для этой системы, т. е. свойственныхъ ей узъ налицо еще не было. Ихъ нѣтъ на Руси въ достаточномъ размѣрѣ и до сихъ поръ, а каковы они должны быть—это видно изъ откровеннаго показанiя одного свидѣтеля въ коммиссiи для изслѣдованiя нынѣшняго положенiя сельскаго хозяйства. Свидѣтель этотъ прямо утверждалъ, что горе наше не столько въ пьянствѣ крестьянъ, ихъ невѣжествѣ и проч., сколько въ томъ, что они имѣютъ собственныя хозяйства: «необходимо прежде всего, чтобы у нихъ не было собственныхъ хозяйствъ», только тогда изъ нихъ выйдутъ надежные, постоянные, дорожащiе своимъ мѣстомъ рабочiе, вмѣстѣ съ чѣмъ возрастетъ и сельская производительность въ Россiи. Справедливы или несправедливы виды на увеличенiе производительныхъ силъ Россiи путемъ обезземеленья крестьянъ, характеръ приведеннаго предложенiя вполнѣ ясенъ: въ видахъ системы наибольшаго производства, изыскиваются узы, достаточно прочныя для того, чтобы свободная личность крестьянина не могла изъ нихъ выбиться; средство очень простое: лишенiе крестьянина собственности и поставленiе его въ такiя экономическiя условiя, гдѣ его личный интересъ отодвинутъ на заднiй планъ. Спрашивается: при чемъ тутъ индивидуализмъ? Тутъ топчется именно личность, индивидъ; личная свобода, личный интересъ, личное счастiе кладутся въ видѣ жертвоприношенiя на алтарь правильно или неправильно понятой системы наибольшаго производства. А между тѣмъ, приведенное предложенiе вполнѣ соотвѣтствуетъ духу старой политической экономiи, и если въ немъ рѣзче выступаетъ реальная подкладка разсужденiй о свободѣ, то только благодаря обстоятельствамъ времени и мѣста, благодаря именно тому, что у насъ система наибольшаго производства еще только водворяется Однако и въ европейской экономической литературѣ могутъ

быть найдены предложенія и положенія, даже еще болѣе откровенныя. Я напомню только мнѣнія Тоунзенда объ англійскомъ законѣ о бѣдныхъ и Гарнье—о народномъ образованіи. Первый полагалъ, что законъ о бѣдныхъ стремится разрушить «гармонію и красоту, симметрію и порядокъ Богомъ и природой установленной системы». Гарнье ратовалъ противъ народнаго образованія, которое грозитъ «уничтожить всю нашу общественную систему. Какъ всѣ другіе виды раздѣленія труда, раздѣленіе между трудомъ физическимъ и умственнымъ становится рѣзче по мѣрѣ обогащенія общества; подобно всякому другому, это раздѣленіе труда есть результатъ прошедшихъ успѣховъ и причина будущихъ». Очевидно, что этихъ людей нельзя упрекать въ индивидуализмѣ, потому что они имѣютъ свой Spuck, свою «общественную систему», ради интересовъ которой желаютъ оборвать стремленіе личности къ умственному развитію и матеріальному благосостоянію. Въ знаменитыхъ практическихъ выводахъ изъ закона Мальтуса, въ такъ называемой теоріи моральнаго воздержанія, система эта посягаетъ даже на такія интимныя права личности, какъ право любви (чего, между прочимъ, никогда не дѣлаетъ прославленная своею стѣснительностью русская община).

И старые соціалисты, и нынѣшніе представители этическаго направленія совершенно даромъ тратили и тратятъ краснорѣчіе, иронію, паѳосъ, доказывая, что экономисты-манчестерцы не хотятъ знать ничего, кромѣ отдѣльныхъ недѣлимыхъ. Напротивъ, ихъ-то они и не хотятъ знать. Такая общественная система, которая опиралась бы на свободу личности и на личный интересъ, была бы совершенно противна духу старыхъ экономистовъ. Они, правда, требовали ея на словахъ; они даже рѣзко и энергично критиковали съ этой точки зрѣнія государство, феодальныя и крѣпостныя отношенія, цехъ, общину; но, разбудивъ такимъ образомъ жажду личной свободы и личнаго интереса, они немедленно же вдвигали личность въ систему наибольшаго производства, гдѣ она и погибла. Такимъ образомъ упреки въ индивидуализмѣ, адресованные на имя экономистовъ, основаны на чистомъ недоразумѣніи. Устраненіе этого недоразумѣнія представляется мнѣ важнымъ не только въ томъ общемъ и чисто логическомъ смыслѣ, что всѣ ошибки подлежатъ исправленію. Есть ошибки важныя и не важныя, а разсматриваемая нами ошибка очень важна. Во-первыхъ, уже потому, что она очень распространена. Не хватило бы у меня мѣста, если бы я вздумалъ цитировать хотя бы только важнѣйшія изъ возраженій экономистамъ, основанныхъ на означенномъ недоразумѣніи. Замѣчу только, что оно раздѣляется и однимъ изъ замѣчательнѣйшихъ современныхъ писателей, Фр. Альб. Ланге, нѣкоторыми мыслями котораго я сейчасъ воспользуюсь. Ланге долженъ быть зачисленъ въ группу этическаго направленія. Но онъ стоитъ совершенно особнякомъ и по воззрѣніямъ, и по силѣ мысли, и по многосторонности эрудиціи, и по добросовѣстности. Большинство «этиковъ», путаясь кто въ политическихъ, кто въ клерикальныхъ тенденціяхъ, негодуетъ на манчестерцевъ, именно, съ точки зрѣнія этихъ тенденцій. Ланге въ этомъ отношеніи — человѣкъ чистый. Тѣмъ не менѣе и онъ толкуетъ объ индивидуализмѣ и атомизмѣ политической экономіи. Надо замѣтить, что русскіе писатели грѣшны этимъ грѣхомъ меньше другихъ. По крайней мѣрѣ, многіе изъ писавшихъ о нашей общинѣ (еще недавно г. Посниковъ) старались показать въ своихъ возраженіяхъ доморощеннымъ манчестерцамъ, что рекомендуемая ими система наибольшаго производства только по недоразумѣнію и на словахъ берется гарантировать личную свободу, личный интересъ и собственность, а въ сущности ведетъ къ разрушенію и того, и другого, и третьяго. Выгоды этой точки зрѣнія очевидны. Она объясняетъ, между прочимъ, и парадоксальные на первый взглядъ результаты свободнаго промышленнаго прогресса, и постепенно овладѣвающее Европой стремленіе къ изученію, а мѣстами и къ возстановленію отжившихъ, забытыхъ формъ общежитія, на которыхъ наука уже поставила было крестъ. Рыба ищетъ, гдѣ глубже, а человѣкъ, гдѣ лучше. Это—вѣковѣчная истина. Она и экономистами признается, даже во главу угла науки ставится. Пока система наибольшаго производства только освобождала личность, разбивая узы цеховъ и монополій, на нее возлагались всяческія надежды, а по мѣрѣ того, какъ сталъ обнаруживаться ея двусмысленный характеръ, ея стремленіе замѣнить однѣ узы другими—надежды стали ослабѣвать. Старыя узы оказались въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ сноснѣе новыхъ, потому что онѣ всетаки гарантировали личность отъ бурь и непогодъ. Явилась мысль примѣнить ихъ старые принципы къ требованіямъ новаго времени, при чемъ, разумѣется, совершаются и неудачные опыты, потому что дѣло предстоитъ нелегкое.

Но здѣсь намъ можетъ быть сдѣлано одно очень важное возраженіе. Положимъ, скажутъ, что личность крестьянина, лишеннаго гарантій общины, и ремесленника, вылупившагося изъ цеха, дѣйствительно, затерлась и потерпѣла большее или меньшее поврежденіе въ системѣ наибольшаго производства.

Но эта система въ томъ именно и уличается, что она строитъ благосостояніе сравнительно немногихъ на разореніи массъ; въ этомъ и состоитъ проникающій ее и ея апологетовъ эгоистическій элементъ. Само собою разумѣется, что не наше дѣло—защищать систему наибольшаго производства. Но вотъ въ чемъ вопросъ: дѣйствительно ли такъ велико, какъ кажется, счастіе тѣхъ, кого система наибольшаго производства осыпаетъ своими дарами? Не безынтересно замѣтить, что Мальтусъ, совершенно по тѣмъ же соображеніямъ, по какимъ Гарнье возстаетъ противъ народнаго образованія, требовалъ, чтобы страсть къ накопленію богатствъ была отдѣлена отъ влеченія къ наслажденіямъ. Ему казалось, что система наибольшаго производства тогда только будетъ процвѣтать, когда рабочіе будутъ работать, размножаясь лишь по заказу рынка, а капиталисты только накоплять богатства, не наслаждаясь; наслажденія онъ ставилъ внѣ системы наибольшаго производства, по крайней мѣрѣ внѣ персонала активнаго участія въ ней. Конечно это—мечта, своего рода утопія. Но узкая логичность Мальтуса имѣетъ свою цѣну.

Вопросъ о счастіи осыпанныхъ дарами задалъ себѣ и упомянутый уже Ланге и далъ на него любопытный отвѣтъ при помощи одного психо-физическаго закона, который и мнѣ придется изложить вкратцѣ.

Еще въ прошломъ столѣтіи Д. Бернулли, разрабатывая теорію вѣроятностей, обратилъ вниманіе на слѣдующее обстоятельство. Положимъ, что вѣроятность выигрыша въ какой-нибудь лотереѣ вычислена для двухъ человѣкъ: одного—богатаго и имѣющаго нѣсколько билетовъ, другого—бѣднаго и имѣющаго гораздо меньшее число билетовъ. Разница между этими двумя вѣроятностями отнюдь не будетъ выражать разницы въ степени удовольствія, съ которымъ выигрышъ будетъ встрѣченъ тѣмъ и другимъ претендентомъ. Это—совсѣмъ другой вопросъ. Шансовъ выиграть у богатаго больше, потому что у него больше билетовъ, объективное счастіе на его сторонѣ; но этого нельзя прямо сказать о счастіи субъективномъ, т. е. о внутреннемъ удовлетвореніи выигрышемъ. Богатый человѣкъ съ презрѣніемъ смотритъ на такія суммы, которыя осчастливили бы бѣднаго. На основаніи этихъ соображеній Бернулли вывелъ, что относительная, личная, субъективная цѣнность какой-нибудь суммы (fortune morale, какъ потомъ назвалъ Лапласъ) равняется абсолютной, математической, объективной цѣнности (fortune physique), раздѣленной на имущественное состояніе заинтересованнаго человѣка. Дальнѣйшая разработка этого положенія привела къ формулѣ: относительная цѣнность растетъ какъ логариѳмъ цѣнности абсолютной. Это вычисленіе долго оставалось безъ употребленія въ учебникахъ теоріи вѣроятностей, пока ему не придали важнаго значенія два лейпцигскіе профессора: Веберъ и Фехнеръ. Рядомъ опытовъ, наблюденій и вычисленій они пришли къ тому заключенію, что всякое ощущеніе растетъ, какъ логариѳмъ вызывающаго его впечатлѣнія или раздраженія. Если мы для простоты возьмемъ только цифры: 1, 10, 100, 1000 и т. д., то логариѳмы ихъ будутъ: 0, 1, 2, 3, 4 и т. д. Значитъ, принимая за единицу ту степень раздраженія или ту величину впечатлѣнія, соотвѣтствующее ощущеніе которому равно нулю, мы должны усилить впечатлѣніе на девять единицъ, чтобы ощущеніе усилилось только на одну единицу. Это совпаденіе закона ощущеній съ закономъ логариѳмовъ такъ поразительно, что, какъ говоритъ Вундтъ, таблицы логариѳмовъ точно нарочно для того составлены, чтобы избавить психологовъ отъ вычисленій. Ланге, съ своей стороны, находитъ, что Фехнеръ вполнѣ правъ, называя приведенный законъ «основнымъ психо-физическимъ закономъ». Веберъ началъ собственно съ изслѣдованія мелкихъ разницъ въ длинѣ линій, распознаваемыхъ на глазомѣръ, разницъ въ высотѣ тоновъ, распознаваемыхъ на слухъ, въ вѣсѣ предметовъ, въ силѣ свѣта, запаха и проч. Эти-то изслѣдованія и убѣдили его, что иногда абсолютная разница, напримѣръ, въ вѣсѣ двухъ предметовъ еще не опредѣляетъ разницы въ ощущеніи осязанія. Напримѣръ, небольшая прибавка хинина не усилитъ горькаго вкуса крѣпкаго раствора, между тѣмъ какъ въ слабомъ растворѣ хинина эта же прибавка произведетъ ощутительное на вкусъ усиленіе горечи.

Спрашивается: можно ли приложить «основной психо-физическій законъ» къ общественному быту? Но, кажется, тутъ и спрашивать нечего, потому что законъ этотъ есть тотъ же законъ Бернулли, который уже непосредственно соприкасается съ явленіями общественной жизни. И дѣйствительно, «основной психо-физическій законъ» можетъ пролить свѣтъ на многія запутанныя явленія. Возьмемъ, напримѣръ, степень воспріимчивости какого-нибудь народа къ политическому гнету или степень воспріимчивости представителей какого-нибудь класса общества къ давленію экономическихъ отношеній. Съ точки зрѣнія закона Вебера очевидно, что если гнетъ усиливается, то эта прибавка ощущается совсѣмъ не пропорціонально ея абсолютнымъ размѣрамъ, а пропорціонально ея отношенію ко всей силѣ гнета. Какъ ничтожная прибавка хинина мало ощущается въ крѣпкомъ растворѣ и рѣзко слышится въ слабомъ растворѣ, такъ, напримѣръ, нѣко-

торое усиленіе полицейскаго произвола въ одной странѣ можетъ произвести цѣлую бурю, а въ другой пройти совсѣмъ незамѣченнымъ. Это будетъ зависѣть не отъ размѣровъ надбавки, а отъ ея отношенія ко всей существующей уже суммѣ произвола. Естественно, что какому-нибудь хивинцу можетъ показаться, что англичане иногда съ жира бѣсятся...

Но насъ здѣсь интересуетъ другой вопросъ, именно вопросъ о счастіи людей, осыпаемыхъ дарами системы наибольшаго производства. Оказывается, что старая пословица «не въ деньгахъ счастье», равно какъ и многія наивныя изреченія наивныхъ мудрецовъ о тщетѣ матеріальныхъ благъ, съ математическою точностью подтверждаются современною наукою. Конечно, какъ проповѣди наивныхъ мудрецовъ не отвратили людей отъ жажды наживы, такъ и указанія современной науки будутъ въ этомъ случаѣ приняты развѣ только къ свѣдѣнію и ужъ никакъ не къ исполненію. Но наука всетаки обязана сказать, что объективное счастіе, состоящее въ обладаніи извѣстными матеріальными благами, отнюдь еще не гарантируетъ счастія субъективнаго, личнаго, т. е. извѣстной суммы пріятныхъ ощущеній. Мало того, погоня за этимъ объективнымъ счастіемъ, даже удачная, въ корень подрываетъ субъективное, т. е. настоящее счастіе. Это именно и говорили испоконъ вѣка наивные мудрецы. Наука то же слово, да не такъ же молвитъ. Не говоря уже о разницѣ въ пріемахъ доказательства и въ степени доказательности, наивные мудрецы утверждали, что алчный человѣкъ, даже въ случаяхъ удовлетворенія его алчности, есть человѣкъ несчастный, а потому, дескать, не будемъ ему завидовать, а просто пожалѣемъ его. Наука на этомъ остановиться не можетъ. Дѣло психологіи—показать, какова степень счастія, даваемаго удачнымъ сосредоточеніемъ рублей и роскошью. Дѣло соціологіи—выяснить отношеніе этихъ явленій къ жизни общества. Отчего не пожалѣть и богача, если онъ субъективно несчастливъ, но надо пожалѣть и тѣхъ, на счетъ которыхъ строится его объективное счастіе.

Ощущеніе растетъ, какъ логариѳмъ вызывающаго его впечатлѣнія, т. е. несравненно медленнѣе. Значитъ опять-таки, для того, чтобы ощущеніе удовольствія, приносимаго процессомъ сосредоточенія рублей или роскошнымъ образомъ жизни, чтобы это пріятное ощущеніе увеличилось всего на одну единицу, сумма рублей или предметовъ роскоши должна увеличиться на цѣлыхъ девять единицъ. Отсюда — ненасытность алчности. Она, собственно, не имѣетъ и не можетъ имѣть предѣловъ и должна постоянно изыскивать все новыя и новыя средства, хотя бы для того, чтобы поддерживать сумму пріятныхъ ощущеній на одномъ и томъ же уровнѣ, не давать ей падать. Разница между теперешнимъ нашимъ положеніемъ и новымъ, обезпечивающимъ нѣкоторое увеличеніе наслажденія, ощущается только въ моментъ приращенія, а приращеніе это должно увеличиваться все быстрѣе и быстрѣе. Приращеніе, весьма ощутительное для человѣка средняго состоянія и средняго образа жизни, не только ни на одну іоту не усилитъ пріятныхъ ощущеній человѣка богатаго, но можетъ, относительно говоря, даже ослабить ихъ, потому что оставитъ его жажду неудовлетворенною. Поднимаясь на еще высшую степень богатства, этотъ богатый человѣкъ можетъ даже въ слабой степени удовлетворяться только еще болѣе значительнымъ приращеніемъ, и т. д., и т. д., вплоть до могилы или какой-нибудь катастрофы, сразу сметающей все его благосостояніе. Возможность такой катастрофы всегда близка, потому что способная къ безконечному возрастанію алчность побуждаетъ къ рискованнымъ способамъ догнать вѣчно убѣгающую цѣль и уравнять ростъ ощущеній съ ростомъ раздраженій. Когда мы слышимъ, что такой-то зарвался на биржевой игрѣ, такой-то обокралъ кассу, такой-то изнываетъ отъ тоски среди роскошной обстановки, такой-то изобрѣтаетъ наслажденія все болѣе и болѣе остраго свойства, мы разсматриваемъ все это какъ отдѣльные случаи, а если и стараемся суммировать ихъ, то всетаки рѣдко кому приходитъ въ голову оцѣнить всю фатальность, всю неизбѣжность подобныхъ явленій въ системѣ наибольшаго производства. Очевидно, что на этомъ пути счастія нѣтъ; его нѣтъ даже для осыпанныхъ дарами—они гонятся за счастіемъ съ такимъ же успѣхомъ, съ какимъ ребенкомъ гонится за своею тѣнью. Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго въ томъ, что многіе серьезные люди, какъ говоритъ Милль въ извѣстной, проникнутой какою-то тихою грустью главѣ о «неподвижномъ состояніи» (Основанія политической экономіи, книга IV, гл. VI), «довольно холодны къ нынѣшнему экономическому прогрессу, съ которымъ поздравляютъ себя дюжинные публицисты—къ простому возрастанію производства и накопленія». Между прочимъ, одну изъ характерныхъ чертъ современной экономической литературы составляетъ то обстоятельство, что вопросы производства и накопленія уходятъ въ ней на задній планъ, подчиняются другимъ вопросамъ. Интересъ большинства новѣйшихъ изслѣдованій сосредоточивается на изученіи такихъ формъ общественности, которыя способны оградить личность отъ жизненныхъ бурь и гарантировать ей возможность многосторонняго развитія, а не такихъ,

которыя способны усилить производство и накопленіе. Съ этой точки зрѣнія наука смотритъ на будущее, съ нея же оцѣниваетъ и отжившія или отживающія формы, каковы цехъ и община. Ими интересуется съ той стороны, что это—сочетанія не капиталовъ съ капиталами, а людей съ людьми, *личностей съ личностями*; что отдѣльные члены ихъ пользуются выгодами сочетанія силъ сообразно *своимъ потребностямъ*, а не вкладамъ. Поэтому, если подъ индивидуализмомъ разумѣть ученіе, покоящееся на личности, ея потребностяхъ и интересахъ, то его вопреки установившемуся мнѣнію слѣдуетъ искать не въ старой, манчестерской, такъ называемой либеральной политической экономіи, а въ нынѣ возникающихъ доктринахъ. Старая же политическая экономія цѣликомъ отдавала личность на жертву системѣ наибольшаго производства. Въ самомъ дѣлѣ, система эта можетъ процвѣтать, т. е. производство можетъ расти въ колоссальныхъ размѣрахъ, могутъ накопляться колоссальныя богатства, между тѣмъ какъ входящія въ систему личности не получатъ ни свободы, которая имъ обѣщается на словахъ, ни счастья, которое постоянно ихъ поддразниваетъ и убѣгаетъ. Допустите на минуту вмѣстѣ съ г. Стронинымъ и комп., что система наибольшаго производства есть организмъ sui generis, нѣчто живое и реальное, а не Spuck, и вы увидите, что этому высшему организму дѣйствительно очень выгодно, чтобы крестьянинъ былъ обезземеленъ, чтобы рабочій былъ пригвожденъ къ опредѣленному мѣсту въ качествѣ одного изъ покорныхъ членовъ организма, чтобы, наконецъ, росла жажда наживы и матеріальныхъ наслажденій, обусловливающая ростъ накопленія и производства. Но гдѣ же здѣсь индивидуализмъ и атомизмъ?

Читатель приглашается смотрѣть на предлагаемую статью, какъ на бѣглое введеніе, различныя части котораго получатъ въ свое время болѣе подробное развитіе. Цѣль нашихъ очерковъ состоитъ въ выясненіи отношеній различныхъ формъ общежитія къ судьбамъ личности. Очерки эти предполагается вести въ извѣстномъ систематическомъ порядкѣ, въ которомъ система наибольшаго производства занимаетъ не первое мѣсто. Но прежде всего надо выяснить общіе принципы «борьбы за индивидуальность» и опредѣлить ихъ связь съ новѣйшими движеніями въ наукѣ и жизни. Сдѣлать это на какомъ-нибудь частномъ выдающемся случаѣ представлялось намъ особенно удобнымъ. Можно было начать, напримѣръ, съ того разряда фактовъ, который занимаетъ г. Драгоманова въ статьяхъ о новокельтскомъ и провансальскомъ движеніи во Франціи («Вѣстникъ Европы», № 8, 9). Мы встрѣтили бы здѣсь рядъ явленій, аналогичныхъ фактамъ, на которые выше обращено вниманіе читателя. Г. Драгомановъ занятъ «движеніемъ, которое то сильнѣе, то слабѣе замѣчается во всѣхъ европейскихъ обществахъ,—движеніемъ къ тому, чтобы дать, если не преобладаніе, то сильную долю участія въ нравственной и практической жизни современныхъ обществъ сельскимъ классамъ, дѣйствительному большинству народа». Движеніе это проявляется и въ жизни, и въ литературѣ, и въ наукѣ. Проявляется оно, между прочимъ, интересомъ къ провинціальнымъ народнымъ нарѣчіямъ, которыми говорятъ сельскіе классы. Если принять въ соображеніе отрицательное отношеніе первой революціи ко всѣмъ мѣстнымъ провинціальнымъ особенностямъ, а также то обстоятельство, что крестьяне во Франціи до сихъ поръ всегда становились поперекъ дороги политическому либерализму, то невольно вспоминается, что вѣдь и цеховая система была разрушена революціей и что система эта была всегда антиподомъ либерализма экономическаго. Формы, въ которыхъ на первыхъ порахъ выражается пробужденіе провинцій и сельскихъ классовъ, часто въ своемъ родѣ не менѣе грубы, чѣмъ практика англійскихъ рабочихъ союзовъ и нѣкоторыя другія явленія того же порядка. И тамъ, и тутъ неожиданно поднимается нѣчто, старое, забытое, еще недавно всѣми презираемое. Если европейскій либералъ и русскій читатель (который по отношенію къ европейскимъ дѣламъ почти всегда либералъ) могутъ съ ужасомъ думать о возможности погибели свободы и личнаго интереса въ кандалахъ цеховъ и общинъ, то не съ меньшимъ ужасомъ должны они относиться къ возможности вліянія на исторію грубыхъ, невѣжественныхъ, оттертыхъ отъ торной дороги прогресса французскихъ крестьянъ. Присмотрѣвшись, однако, попристальнѣе къ этой страшной для либераловъ возможности, мы безъ особеннаго труда убѣдились бы, что чему другому, а началамъ личности и свободы она въ сущности отнюдь не грозитъ; что мы имѣемъ здѣсь дѣло съ формами, часто очень не привлекательными, борьбы за индивидуальность, которая (индивидуальность) не находитъ себѣ должнаго обезпеченія въ государственныхъ порядкахъ Франціи. Мы могли бы добыть изъ-подъ той верхней пленки исторіи, въ которой фигурируютъ Карлосъ и Альфонсъ, нѣкоторыя другія аналогичныя и столь же на первый взглядъ поразительныя явленія. Но мы предпочли остановить вниманіе читателя на нѣкоторыхъ протестахъ противъ системы наибольшаго производства и ея апологетовъ, потому что никто больше старыхъ экономистовъ не толковалъ о личности и ея интересахъ и никто не былъ больше ихъ упрекаемъ въ индивидуализмѣ. Неосно-

вательность этихъ упрековъ будетъ въ свое время показана яснѣе и подробнѣе. Но и теперь уже ясно, что старый споръ соціалистовъ и экономистовъ долженъ или прекратиться, или перенестись на новую почву. Какъ бы ни были справедливы доказательства экономистовъ, что тотъ или другой утопистъ мечтаетъ замкнуть личность въ извѣстныя неподвижныя формы и совершенно утопить ея интересы въ интересахъ общества—несомнѣнно, что *всѣ* старые экономисты сами стремились именно къ такому поглощенію личности въ системѣ наибольшаго производства.

Мы забѣжимъ и еще нѣсколько впередъ, сказавъ нѣсколько словъ объ одномъ явленіи, имѣющемъ непосредственную связь съ системою наибольшаго производства, хотя и выходящемъ уже изъ ея границъ. Алчность, направленная на покупательную силу или на наслажденія, пріобрѣтаемыя этою силою, сама по себѣ, какъ мы видѣли, предѣловъ не имѣетъ. Она ненасытна по самой природѣ своей. Поэтому человѣкъ, попавшій въ эту колею, рано или поздно перестаетъ довольствоваться тѣми способами пріобрѣтенія и накопленія, которые ведутъ къ производству совыхъ богатствъ. Неудовлетворенный въ нвоей погонѣ за счастіемъ, вѣчно близкимъ и вѣчно удаляющимся, онъ—холопъ своего Spuck и протестуетъ по-холопски. Какъ недовольный дикарь сѣчетъ своего идола, а не ищетъ себѣ другого бога, такъ и онъ не пытается выбраться изъ несчастной колеи, а изыскиваетъ средства пріобрѣтать, не производя. Можно украсть, можно поддѣлать духовное завѣщаніе или другой какой-нибудь документъ, можно поджечь мельницу, застрахованную выше ея стоимости. Все это и практикуется. Но эти стародавніе, нелегальные способы наживаться неинтересны. Есть способъ, относительно говоря, новый и при томъ не подлежащій карѣ закона,—спекуляція. Спекуляція буквально значитъ—умозрѣніе. Спекулятивный элементъ есть во всякомъ промышленномъ и даже во всякомъ человѣческомъ предпріятіи вообще. Это—просто умозрительная оцѣнка условій предпріятія. Адвокатъ, защищая человѣка, въ невинности котораго онъ даже вполнѣ убѣжденъ и оправданіе котораго искренно поставилъ себѣ цѣлью, можетъ прибѣгнуть къ тому или другому ораторскому эффекту, сообразному съ составомъ присяжныхъ: онъ спекулируетъ на извѣстныя качества присяжныхъ. Путешественникъ, ѣдущій въ какую-нибудь дикую страну, запасается грошевыми зеркалами, бусами и другими украшеніями, спекулируя на пристрастіе дикарей къ блестящимъ игрушкамъ, и т. п. Но спекулянтъ въ тѣсномъ смыслѣ слова—совсѣмъ не то. Онъ отрываетъ спекуляцію, умозрѣніе, отъ предпріятія. Онъ, по опредѣленію одного стараго оффиціальнаго французскаго документа (декрета 1795 г.), продаетъ то, чего у него нѣтъ, и покупаетъ то, что ему вовсе не нужно и чего онъ вовсе не хочетъ пріобрѣсти. Пристраиваясь къ какому-нибудь предпріятію, даже становясь во главѣ его, спекулянтъ отнюдь не думаетъ довести его до конца, да и вообще объ этомъ концѣ не думаетъ. Все его умозрѣніе направлено на то, чтобы перепродать въ благопріятную минуту свою долю участія въ предпріятіи, получить разницу между нисшей и высшей цѣной этой доли. Для этого цѣны этихъ долей разными искусственными пріемами и уловками поднимаются все вверхъ. Такія усиленныя дозы всетаки, однако, не могутъ наполнить бездонную бочку Данаидъ, и алчность всетаки находитъ предѣлъ не въ себѣ, а въ Krach'ѣ, въ кризисѣ—результатѣ переполненія рынка фиктивными цѣнностями или несоотвѣтствія этихъ цѣнностей съ дѣйствительными выгодами представляемыхъ ими предпріятій. А результатъ кризиса извѣстенъ уже намъ по собственному, русскому опыту: разоренія и самоубійства. Замѣчательна заразительность, повальный характеръ спекуляціи и биржевой игры. Тутъ есть нѣчто столь же болѣзненное, какъ въ средневѣковыхъ «коллективныхъ» маніяхъ, когда вдругъ тысячи людей безъ всякой видимой причины испытывали непреодолимое желаніе то плясать, то сноситься съ дьяволомъ, то идти въ Палестину. Стоитъ припомнить одинъ изъ древнѣйшихъ, если не древнѣйшій случай спекуляціонной горячки. Онъ любопытенъ во многихъ отношеніяхъ.

Въ 1554 г. естествоиспытатель Бусбекъ вывезъ въ Европу изъ Адріанополя тюльпанъ, который скоро сдѣлался любимымъ цвѣткомъ голландцевъ. Любовь эта въ годы 1634—1638 обратилась въ настоящую манію и, Богъ знаетъ почему, совершенно отуманила головы практическихъ и флегматическихъ жителей Нидерландовъ. Деньги, помѣстья, дома, скотъ, посуда, платье—все уходило на пріобрѣтеніе тюльпановыхъ луковицъ. И увлекался не одинъ какой-нибудь классъ народа: жертвами тюльпаноманіи были и дворяне, и трубочисты, и купцы, и кухарки, и крестьяне, и ремесленники. Понятно, что собственно любовь къ тюльпанамъ была подхвачена и раздута спекуляціей. Продавцы и покупатели тюльпановъ имѣли свои биржи, своихъ маклеровъ, писцовъ и проч. Вотъ что говоритъ цитируемый Максомъ Виртомъ (Geschichte der Handelskrisen, 1874) Джонъ Францисъ: «Исторія голландской тюльпаноманіи не уступитъ въ поучительности ни одному изъ подобныхъ періодовъ. Въ 1634 г. главные города Нидерландовъ увлеклись спекуляціей, которая разорила солидную торговлю, вы-

звала алчность богачей и бѣдняковъ, подняла цѣну цвѣтовъ до того, что они продавались дороже, чѣмъ на вѣсъ золота, и, наконецъ, какъ всегда въ такихъ случаяхъ бываетъ, разрѣшилась всеобщимъ горемъ и дикимъ отчаяніемъ. Многіе совершенно разорились, немногіе обогатились. Основанія тогдашней спекуляціи были тѣ же, что и нынѣ. Дѣла заключались на поставку въ срокъ извѣстныхъ видовъ луковицъ, и были случаи, что на уплату разницы по сдѣлкѣ о двухъ луковицахъ шло все имущество спекулянта. Заключались контракты и платились тысячи гульденовъ за тюльпаны, которыхъ даже и въ глаза не видали ни маклера, ни продавцы, ни покупатели. Нѣкоторое время, какъ обыкновенно бываетъ, всѣ выигрывали и никто не былъ въ проигрышѣ. Бѣдняки богатѣли; высшіе и низшіе классы торговали цвѣтами; маклера наживались, и трезвый голландецъ мечталъ о прочномъ счастіи. Страна предалась обманчивой надеждѣ, что страсть къ цвѣтамъ будетъ длиться вѣчно. А когда узнали, что лихорадка проникла и за границу, то рѣшено было, что богатства всего міра сосредоточатся на берегахъ Зюдерзее и что отнынѣ бѣдность станетъ миѳомъ въ Голландіи. Что вѣрованіе это было вполнѣ искренно, доказывается тѣми цѣнами, которыя, по свидѣтельству многихъ достовѣрныхъ современниковъ, платились за тюльпаны». Дѣйствительно, цѣны платились громадныя. Тюльпановыя луковицы продавались на вѣсъ гранами, при чемъ различные виды тюльпановъ цѣнились различно. Двѣсти гранъ вида Semper Augustus стоили 5,500 флориновъ, 410 гранъ Viceroy—3,000 фл. и т. д. Были сдѣлки такого рода: за луковицу давалась новая карета и пара лошадей съ упряжью, за другую—двѣнадцать акровъ земли. Изъ дѣлъ города Алькмара видно, что въ 1637 г. сто двадцать луковицъ было продано съ публичнаго торга въ пользу сиротскаго дома за 90,000 фл. Понятно, какія громадныя суммы переходили изъ рукъ въ руки каждый день, какія состоянія складывались и разрушались въ самый короткій срокъ. Биржевая игра со всѣми ея нынѣшними приливами и отливами была уже на лицо. Вся разница, какъ говоритъ Максъ Виртъ, состоитъ въ томъ, что акціи назывались тогда «тюльпанами». Изъ множества относящихся къ тому времени анекдотовъ приведемъ два. Одинъ купецъ велѣлъ подать закусить матросу, который доставилъ ему на домъ какіе-то товары. Закуска была очень скромная—селедка и кружка пива. Матросъ захотѣлъ ее чѣмъ-нибудь приправить и искрошилъ въ селедку лежавшую тутъ же въ комнатѣ луковицу. Оказалось, что завтракъ матроса обошелся въ 500 фл., потому что такова была цѣна луковицы: она была тюльпановая, и купецъ ее только что пріобѣлръ. Одинъ англичанинъ нашелъ въ саду нѣсколько тюльпановыхъ луковицъ и взялъ ихъ себѣ для научныхъ изслѣдованій. Онъ былъ обвиненъ въ воровствѣ и долженъ былъ уплатить громадныя деньги. Не одна Голландія одурѣла. И Лондонъ, и Парижъ обезумѣли, хотя и въ меньшей степени. Наконецъ, наступила минута расплаты за глупость. Завѣса упала съ глазъ, и луковицы оказались луковицами, чѣмъ имъ и надлежитъ быть. Настала паника. Тотъ, кто вчера еще владѣлъ громаднымъ состояніемъ въ видѣ нѣсколькихъ тюльпановъ, которые стоило только вынести на рынокъ, чтобы имѣть и землю, и лошадей, и экипажи, и деньги, и всѣ блага земли—сегодня оказался нищимъ. Напрасно продавцы тюльпановъ доказывали, что ихъ товаръ имѣетъ высокую цѣнность и что паника не имѣетъ основанія. Ничто не въ силахъ было удержать паденія курса тюльпановъ, которые были, впрочемъ, такъ же красивы и цвѣтущи, какъ и прежде. Банкротства шли за банкротствами, и много лѣтъ понадобилось на излѣченіе ранъ, нанесенныхъ безсмысленной тюльпаноманіей.

Не говоря о поучительности этой исторіи, имѣющей себѣ по нелѣпости весьма мало соперницъ въ исторіи человѣчества и, однако, въ сущности тождественной съ позднѣйшими спекуляціонными лихорадками, она поможетъ намъ установить нужные термины. Каждый изъ тюльпаномановъ очень хорошо понималъ или могъ понимать, что настоящая цѣна луковицѣ—грошъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ каждый разсчитывалъ на глупость всѣхъ остальныхъ, на то именно, что они будутъ цѣнить грошъ въ нѣсколько тысячъ гульденовъ. Въ концѣ концовъ, всѣ оказались равно глупы, за исключеніемъ, можетъ быть, горсти запѣвалъ, въ родѣ нашей «малой биржи», засѣдающей то у Демута, то у Вольфа. Такъ представляется исторія съ перваго взгляда. На дѣлѣ, однако, такой сознательности въ дѣйствіяхъ большинства тюльпаномановъ, по всей вѣроятности, не было. Это былъ чисто болѣзненный и заразительный процессъ, находящійся, можетъ быть, въ прямой связи съ «основнымъ психо-физическимъ закономъ», съ несоразмѣрностью роста раздраженій и ощущеній. Это стихійныя силы бушевали, а не силы разума. Какъ бы то ни было, но каждый тюльпаноманъ думалъ исключительно о своей личной наживѣ. Это-то беззавѣтное стремленіе къ личной наживѣ экономисты и взяли нѣкоторымъ образомъ подъ свое покровительство, построивъ на немъ науку и объявивъ, что оставленное на всей своей вольной волѣ стремленіе это водворитъ на землѣ ту степень совершенства людскихъ отношеній, какую только способна вынести наша грѣш-

ная земля. Сами экономисты думали, что они стоятъ за свободу, интересы и достоинство личности; другіе громили ихъ за систематизацію и догматизацію эгоизма, индивидуализма Возьмемъ же тюльпаноманію. Что нравственную подкладку этого бѣшенства составляетъ эгоизмъ, это, конечно, вѣрно. Но если моралисты спорятъ о томъ, есть ли въ насъ какой-нибудь этическій двигатель, который не можетъ быть сведенъ къ эгоизму, такъ только потому, что эгоизмъ способенъ принимать безконечно разнобразныя формы. И, во всякомъ случаѣ, та форма эгоизма, которая, дѣйствительно, заслуживала бы названія индивидуализма, очевидно отсутствуетъ въ тюльпаноманіи. Мы тутъ видимъ простое стадо барановъ, жмущихся другъ къ другу и безсмысленно валящихся всей гурьбой въ пропасть. Глупостью ли, разсчетомъ ли на чужую глупость, чѣмъ бы то ни было, но тюльпаноманы всѣ обезличены, связаны въ кучу. Конечно, на такомъ патологическомъ случаѣ ничего основывать нельзя, и тюльпаноманію мы приводимъ только въ качествѣ иллюстраціи.

Намъ могутъ сказать, что основной психофизическій законъ приложимъ не только къ системѣ наибольшаго производства, что не только жажда наживы, а и жажда познанія, жажда любви ненасытимы въ силу того, что ощущеніе возрастаетъ, какъ логариѳмъ вызывающаго его впечатлѣнія. Да, наконецъ, что же дѣлать и съ жаждой матеріальныхъ наслажденій? Не въ монахи же всѣмъ идти. Совершенно справедливо. Природа обидѣла насъ во всѣхъ отношеніяхъ на этомъ пунктѣ, какъ и на многихъ другихъ. Жаловаться на нее, пожалуй, и можно, особенно въ лирическомъ стихотвореніи или въ краснорѣчивомъ пессимистическомъ трактатѣ, въ родѣ, «Философіи безсознательнаго» Гартмана, но при однѣхъ жалобахъ оставаться неудобно. Надо бороться. Бороться съ природой можно только при помощи ея самой и, слѣдовательно, только окольными путями. Природа даетъ ядъ, у нея же надо искать противоядія, какого-нибудь средства, которое парализовало бы дѣйствіе основного психо-физическаго закона. Уже самое поверхностное наблюденіе можетъ дать нѣкоторый намекъ, что такое средство, дѣйствительно, есть. Въ самомъ дѣлѣ, вѣдь не всѣ же люди наживы топятся, вѣшаются и изнываютъ въ тоскѣ. Есть между ними и такіе, которымъ живется недурно. Но секретъ ихъ состоитъ въ томъ, что они—не исключительно люди наживы, что они не только не живутъ по тому рецепту Мальтуса, который предписываетъ накоплять, не наслаждаясь, но еще стараются по возможности разнообразить свои наслажденія. Тонкій и разнообразный обѣдъ, опера, картинная галлерея, путешествіе, книга, и проч., и проч. болѣе или менѣе спасаютъ ихъ. Это спасительное дѣйствіе разнообразія впечатлѣній, очевидное для поверхностнаго даже наблюденія, подало поводъ нѣкоему доктору Пидериту основать на немъ теорію счастія (Theorie des Glücks—сочиненіе это извѣстно мнѣ только по цитатамъ того же Ланге, въ Arbeiterfrage). Существуетъ такъ называемый законъ дѣйствія контрастовъ, по которому нервы наши тѣмъ воспріимчивѣе къ извѣстнымъ впечатлѣніямъ или раздраженіямъ, чѣмъ дольше они передъ тѣмъ подвергались противоположному раздраженію. «Каждая радость,—говоритъ Пидеритъ,—кажется намъ тѣмъ большею, чѣмъ сильнѣе было смѣненное ею горе, и тотъ, кто никогда не испытывалъ несчастія, не видалъ и счастія. Пояснимъ это примѣромъ. Температура въ три градуса тепла производитъ, какъ извѣстно, непріятное ощущеніе холода въ пальцахъ. Но если подержать нѣсколько минутъ руку въ ледяной водѣ, то та же температура въ три градуса произведетъ пріятное ощущеніе тепла. Такъ бываетъ и съ человѣческимъ сердцемъ. Часто человѣкъ бываетъ недоволенъ своимъ положеніемъ и ропщетъ на судьбу. Но какъ только сердце его погружается въ ледяную ванну несчастія, и онъ теряетъ то, чѣмъ обладалъ, потерянное получаетъ для него высокую цѣну; тѣ самыя условія, которыя ему казались невыносимыми, осчастливили бы его, если бы вернулись. Самое здоровье можетъ только цѣнить тотъ, кому случалось его терять... Какъ невозможно постоянно питаться сладкими кушаньями, такъ невозможно вынести непрерывную радость и счастье. Кто черезъ мѣру употребляетъ сладости, у того законъ дѣйствія контрастовъ вызываетъ отвращеніе. По тому же закону скука и пресыщеніе слѣдуютъ за чрезмѣрнымъ счастіемъ. Удивляются, что богачи-англичане, которымъ жизнь ни въ чемъ не отказываетъ, такъ часто кончаютъ сплиномъ и самоубійствомъ. Но тутъ нѣтъ ничего удивительнаго, потому что

Nichts ist schwerer zu ertragen,
Als eine Reihe von guten Tagen.

Законъ дѣйствія контрастовъ обязателенъ не только для нервовъ ощущенія, а и для нервовъ движенія. Трудъ и напряженіе дѣйствуютъ благодѣтельно и пріятно послѣ долгаго покоя, а покой, въ свою очередь, доставляетъ наслажденіе послѣ напряженнаго труда. «Это относится и къ умственному труду—продолжаетъ Пидеритъ.—Умственный трудъ есть первое условіе нравственнаго здоровья, и наслажденіе умственнаго напряженія состоитъ, главнымъ образомъ, въ слѣдующемъ за нимъ благодатномъ чувствѣ душевнаго покоя. Чѣмъ дольше и напряженнѣе стремимся мы къ какой-нибудь цѣли, тѣмъ сильнѣе наслажде-

ніе успокоенія, когда цѣль достигнута. При этомъ степень наслажденія зависитъ не отъ того, какъ другіе оцѣнятъ добытый нами результатъ, а отъ степени и продолжительности затраченнаго напряженія. Ученый математикъ, рѣшивъ уравненіе первой степени, останется вполнѣ равнодушнымъ, а ученику третьяго класса, которому придется поломать голову надъ этой задачей, результатъ доставитъ высокое наслажденіе. Такимъ образомъ, счастіе осуществляется по извѣстнымъ физіологическимъ законамъ, одинаково дѣйствующимъ на каждаго, безъ различія возраста и общественнаго положенія. Радость и горе, счастіе и несчастіе смѣняютъ другъ друга въ жизни, какъ день и ночь, и чѣмъ темнѣе была ночь, тѣмъ благодатнѣе кажется намъ свѣтъ новаго дня. Несчастному легко выбраться изъ несчастія. Стоитъ ему только обратиться къ труду, и при томъ къ такому труду, къ которому онъ имѣетъ больше всего склонности и способностей: одинъ берется за книги, другой за страннический посохъ, третій за плугъ, четвертый за кисть художника, и съ работой возвращается наслажденіе, радость, счастіе.»

Это была бы прекраснѣйшая теорія счастія, если бы она соотвѣтствовала дѣйствительности, а такое требованіе можетъ быть ей предъявлено, потому что почтенный докторъ Пидеритъ утверждаетъ, что, собственно говоря, въ дѣйствительности всѣ счастливы, субъективно счастливы, т. е. сознаютъ себя счастливыми. Но такъ какъ этого нѣтъ и такъ какъ обратиться къ труду, къ которому чувствуешь склонность и способности, въ дѣйствительности часто бываетъ трудновато, то почтенный докторъ Пидеритъ не теорію счастія состряпалъ, а кислосладкую нѣмецкую Mehlspeise mit Mandeln und Rosinen. Кто такія Mehlspeisen любитъ—тому благо. Однако и тотъ, кому эти произведенія нѣмецкаго кулинарнаго генія претятъ, долженъ признать, что въ основаніи теоріи Пидерита есть нѣчто очень цѣнное. Законъ контрастовъ, очевидно, способенъ вывести насъ изъ-подъ дѣйствія фатальной несоразмѣрности роста ощущеній и раздраженій. Очевидно, въ самомъ дѣлѣ, что постоянное возрастаніе раздраженій одного и того же рода съ успѣхомъ можетъ быть замѣнено разнообразіемъ впечатлѣній. Если алчность, жажда наживы или какая бы то ни было иная жажда будетъ уравновѣшена какимъ-нибудь контрастомъ, то угрожающая человѣку опасность превратиться въ бездонную бочку будетъ устранена. Но, конечно, спасительныхъ контрастовъ слѣдуетъ искать не тамъ и не такъ, гдѣ и какъ ихъ ищетъ Пидеритъ. Онъ просто не понялъ своей собственной исходной точки. Это не съ нимъ однимъ бываетъ. Въ одномъ изъ мелкихъ опытовъ Спенсера («Польза и красота»), между прочимъ, развивается тотъ же законъ контраста въ примѣненіи къ частной области. Дѣло идетъ о контрастѣ, какъ необходимомъ условіи красоты. Такъ, чтобы получить художественный эффектъ, свѣтъ долженъ быть располагаемъ рядомъ съ тѣнью, яркіе цвѣта съ мрачными, выпуклыя поверхности съ плоскими; громкіе переходы въ музыкѣ должны смѣняться и разнообразиться тихими, а хоровыя пьесы— соло; въ драмѣ требуется разнообразіе характеровъ, положеній, чувствъ, стиля; въ поэмѣ измѣненіемъ стихосложенія достигается значительный эффектъ, и проч. На основаніи этого Спенсеръ защищаетъ историческихъ живописцевъ отъ чьихъ-то упрековъ въ томъ, что они заимствуютъ свои сюжеты изъ далекаго прошлаго, а не изъ современной жизни. Современныя положенія и событія, говоритъ онъ, составляютъ невыгодный сюжетъ для искусства, потому что влекутъ за собой сцѣпленіе идей, не представляющихъ значительнаго контраста съ нашими ежедневными представленіями. Не говоря о томъ, что современная жизнь, если ужъ на то пошло, представляетъ слишкомъ достаточное количество рѣзкихъ контрастовъ въ пространствѣ, чтобы ихъ надо было искать во времени, вся защита исторической живописи прошита тутъ противно основнымъ требованіямъ логики. Исходная точка Спенсера есть необходимость разнообразія слуховыхъ и зрительныхъ впечатлѣній, необходимость извѣстныхъ контрастовъ въ самой картинѣ, драмѣ, поэмѣ, оперѣ и т. д. Это не имѣетъ рѣшительно никакого отношенія къ несходству положенія зрителя или слушателя съ сюжетомъ картины или оперы. Такъ и у Пидерита. Начинаетъ онъ съ благотворнаго значенія разнообразія ощущеній, а кончаетъ тѣмъ, что дѣлаетъ изъ несчастія необходимое звено счастія. Ощущенія могутъ быть различны, даже противоположны, совершенно помимо категоріи пріятнаго. Если бы ощущенія не подлежали иной классификаціи, не могли бы быть раздѣлены иначе, какъ на пріятныя и непріятныя, тогда, конечно, законъ контрастовъ обязывалъ бы насъ переходить отъ пріятныхъ ощущеній къ непріятнымъ, чтобы затѣмъ опять съ большею сладостью вкусить удовольствіе и т. д. На самомъ дѣлѣ это не такъ. Ощущенія бываютъ зрительныя, слуховыя, осязательныя и т. д.; затѣмъ, въ группѣ зрительныхъ ощущеній различимы ощущенія свѣта и темноты, краснаго, зеленаго, синяго и т. д. цвѣтовъ, линій и плоскостей, прямыхъ и кривыхъ линій, геометрическихъ тѣлъ и органическихъ формъ, и проч., и проч., и проч. Словомъ, тутъ имѣется такое неисчерпаемое

море контрастовъ, что нѣтъ никакой надобности прибѣгать къ ощущеніямъ непріятнымъ для усиленія сладости пріятныхъ. Послѣ глупаго и бездарнаго произведенія какого-нибудь жалкаго писаки очень пріятно читать творенія геніальнаго человѣка. Эта такъ. Но и въ средѣ геніевъ я могу найти достаточно разнообразія, чтобы не утруждать себя чтеніемъ глупостей и бездарностей. Отъ скептическаго и мрачнаго Байрона я могу перейти къ бурному идеализму молодого Шиллера, отъ него къ спокойному реализму Гёте и т. д. Временная разлука съ другомъ можетъ быть и пріятна въ своемъ результатѣ—удвоенной радости свиданія. Но если бы мой другъ обладалъ такими сокровищами ума и сердца, которыя, какъ стеклышки въ калейдоскопѣ, давали бы съ каждымъ поворотомъ все новыя и все прекрасныя комбинаціи,—такъ зачѣмъ намъ разлучаться? Конечно, вѣчно нюхать розы надоѣстъ, но зачѣмъ же я стану контраста ради нюхать какую-нибудь гадость, когда могу найти достаточно разнообразія и въ сферѣ пріятныхъ обонятельныхъ ощущеній, когда на землѣ рядомъ съ розой цвѣтутъ и благоухаютъ фіалки, душистый горошекъ, геліотропы и проч. А если и это все мнѣ надоѣстъ, такъ я могу обратиться къ богатому запасу ощущеній зрительныхъ, слуховыхъ и т. д. Безъ сомнѣнія, это *могу* очень условно. Я далеко не всегда могу разбирать и выбирать ощущенія. Люди не доросли даже до идеи возможности непрерывнаго счастія и не могутъ себѣ представить счастіе иначе, какъ съ хлыстомъ и шпорами несчастія. А объ осуществленіи дѣйствительныхъ условій счастія нечего, разумѣется, и говорить. Отъ нихъ люди до сихъ поръ, можно сказать, все удалялись. Но теперь у насъ рѣчь идетъ только о томъ, что физіологическій законъ контрастовъ самъ по себѣ не оправдываетъ толкованія Пидерита (толкованіе это принадлежитъ не исключительно Пидериту, а очень многимъ), потому что теоретическіе контрасты могутъ быть найдены и въ сферѣ пріятныхъ ощущеній. Надо еще замѣтить, что Пидеритъ, какъ и всѣ писавшіе о законѣ контрастовъ (у насъ, напримѣръ, Ушинскій—«Человѣкъ, какъ предметъ воспитанія»), придаетъ неправильное значеніе продолжительности и напряженности извѣстнаго ощущенія. Въ извѣстныхъ предѣлахъ продолжительность ощущенія дѣйствительно придаетъ высокую цѣну ощущенію противоположному, но отнюдь нельзя сказать: чѣмъ продолжительнѣе и напряженнѣе, напримѣръ, ощущеніе голода или темноты, тѣмъ пріятнѣе ощущеніе насыщенія или свѣта; или: чѣмъ напряженнѣе и продолжительнѣе умственная работа, тѣмъ сильнѣе наслажденіе успокоенія; или: чѣмъ сильнѣе и продолжительнѣе горе, тѣмъ сильнѣе и смѣняющая его радость. Все это справедливо только въ извѣстныхъ, сравнительно узкихъ предѣлахъ. Пока, напримѣръ, голодъ не выходитъ изъ предѣловъ аппетита (который, мимоходомъ сказать, составляетъ ощущеніе пріятное), это, конечно, совершенно вѣрно, но очень голодный человѣкъ просто не можетъ ѣсть. Точно также выйти на яркій свѣтъ послѣ долгаго пребыванія въ темнотѣ непріятно и тяжело — «глазамъ больно». Русскіе писатели, вообще имѣющіе несчастную привычку работать вечеромъ и даже ночью, знаютъ, что по окончаніи продолжительной и напряженной работы долго нѣтъ возможности успокоиться и заснуть. Человѣкъ, убитый горемъ, дѣйствительно убитъ для радости; нужно часто очень продолжительный промежутокъ времени, цѣлые года, чтобы на лицѣ его опять могла появиться улыбка радости. Романисты часто описываютъ, какъ высохшая земля жадно пьетъ благодатныя капли дождя и т. д. Но кто хоть разъ въ жизни видѣлъ дожди послѣ засухи или даже просто поливалъ цвѣты, тотъ знаетъ, что это—одна изъ многочисленныхъ несообразностей, извѣстныхъ подъ именемъ поэтическихъ вольностей, потому что на дѣлѣ бываетъ совсѣмъ наоборотъ: сухая земля сравнительно долго не впитываетъ въ себя воду. Такъ и продолжительное напряженіе нервовъ ощущенія или движенія въ одномъ какомъ-нибудь направленіи не только не дѣлаетъ ихъ воспріимчивѣе, а прямо притупляетъ.

Такимъ образомъ, говоря отвлеченно, есть полная возможность избѣжать дѣйствія основного психо-физическаго закона. И для этого нѣтъ надобности въ періодической смѣнѣ пріятныхъ и непріятныхъ ощущеній, счастія и несчастія. Нужны только разнообразіе и извѣстная равномѣрность ощущеній и, слѣдовательно, разносторонность жизненной дѣятельности, возможное, такъ сказать, расширеніе нашего я. Конечный предѣлъ этому расширенію во всякое данное время полагается границами человѣческой природы, т. е. суммою силъ и способностей человѣка. Сумма эта не представляетъ, конечно, величины постоянной и можетъ, въ болѣе или менѣе продолжительные сроки, прибывать и убывать. Напримѣръ, нѣкоторые натуралисты полагаютъ, что есть насѣкомыя, обладающія органами чувствъ, намъ совершенно неизвѣстныхъ. Если бы, чего, надо думать, никогда не случится, у человѣка явились эти теперь для насъ даже безусловно немыслимыя чувства, то измѣнилась бы и формула его жизни, передъ нимъ развернулся бы цѣлый новый мѣръ наслажденія и дѣятельности, ни о

размѣрахъ, ни о характерѣ котораго человѣкъ не можетъ теперь имѣть даже отдаленнѣйшаго понятія. Съ другой стороны, мы знаемъ, что, напримѣръ, евреи временъ Библіи и греки временъ Гомера неспособны были воспринимать такіе оттѣнки цвѣтовъ, которые для насъ вполнѣ ясны, что они не знали, напримѣръ, голубого цвѣта *). На этомъ пунктѣ, значитъ, наше *я* со временъ Библіи и Гомера расширилось. Но, расширяясь въ одномъ или нѣсколькихъ отношеніяхъ, это *я* можетъ въ нѣкоторыхъ другихъ отношеніяхъ суживаться, утрачивая соотвѣтственныя силы и способности совсѣмъ или же сокращая ихъ размѣры. Вообще тутъ возможны самыя сложныя и запутанныя комбинаціи. Намъ предстоитъ выяснить нѣкоторыя изъ нихъ и едва ли не важнѣйшія—именно комбинаціи, возникающія подъ давленіемъ различныхъ формъ общественной жизни. Что касается другого великаго фактора исторіи человѣчества—природы, то онъ будетъ для насъ стоять на второмъ планѣ. Однако, во избѣжаніе недоразумѣній, намъ здѣсь же придется сказать нѣсколько словъ о нѣкоторыхъ общихъ законахъ природы съ точки зрѣнія вліянія ихъ на судьбы личности. Мы будемъ очень кратки; подробное развитіе нижеслѣдующихъ мыслей читатель найдетъ въ статьяхъ: «Что такое прогрессъ?», «Теорія Дарвина и общественная наука», «Органъ, общество и недѣлимое» и проч.

Есть ли въ природѣ какія-нибудь силы, вліяющія на расширеніе или суженіе формулы жизни недѣлимаго, индивида? Съ тѣхъ поръ, какъ измѣняемость видовъ стала общепризнанною истиною, этотъ вопросъ рѣшенъ утвердительно. Честь эта принадлежитъ дарвинизму. Для дарвинистовъ вся сумма органической жизни на землѣ во всемъ ея разнообразіи произведена изъ немногихъ простѣйшихъ формъ совокупнымъ дѣйствіемъ двухъ физіологическихъ дѣятелей: наслѣдственности и приспособленія. Первая представляетъ элементъ консервативный, элементъ инерціи, второе—элементъ прогрессивный, элементъ движенія. Борьба за существованіе и подборъ родичей обусловливаютъ собою вымираніе индивидовъ слабыхъ, менѣе приспособленныхъ къ окружающимъ условіямъ, и побѣду индивидовъ сильныхъ, приспособленныхъ. Вотъ простѣйшія основанія дарвинизма. Но они показываютъ только, что формула жизни индивида, его *я* можетъ сильно измѣняться вообще. Будетъ ли оно расширяться, или суживаться, это—другой вопросъ, на который дарвинисты даютъ отвѣтъ крайне сбивчивый и двусмысленный. Самъ Дарвинъ приводитъ нѣкоторые поразительные примѣры побѣды слабыхъ индивидовъ, какъ, напримѣръ, слабокрылыхъ островныхъ насѣкомыхъ, паразитовъ, лишенныхъ органовъ зрѣнія и движенія, слѣпыхъ пещерныхъ животныхъ и проч., которыя побѣждаютъ своихъ болѣе одаренныхъ родичей, именно благодаря слабости, слѣпотѣ, неподвижности. А между тѣмъ, тотъ же Дарвинъ настаиваетъ на томъ, что борьба за существованіе и подборъ ведутъ къ совершенствованію организмовъ, разумѣя подъ совершенствованіемъ иногда приспособленіе, а иногда именно приращеніе силъ и способностей индивида. Такое приращеніе, какъ результатъ Дарвиновыхъ принциповъ, во всякомъ случаѣ, весьма проблематично. Путемъ борьбы, подбора и полезныхъ приспособленій видъ можетъ претерпѣвать измѣненія во всевозможныхъ направленіяхъ. Поэтому шансы для прямолинейнаго развитія впередъ, т. е. къ приращенію суммы силъ и способностей недѣлимаго, по теоріи вѣроятностей, не сильнѣе шансовъ для прямолинейнаго отступленія назадъ, т. е. къ убыли. Спрашивается: какъ же объяснить появленіе на землѣ крайне сложныхъ организмовъ, далеко превосходящихъ, по количеству силъ и способностей, простѣйшія исходныя точки органической жизни? Дѣло въ томъ, что въ теоріи Дарвина слѣдуетъ различать двѣ стороны: общую идею происхожденія органической жизни изъ немногихъ простыхъ формъ и собственно Дарвину принадлежащее объясненіе того пути, которымъ шло и идетъ развитіе органическаго міра. Какъ ни остроумно это объясненіе, какъ ни тонка и плодотворна работа Дарвина, но нѣкоторые ученые полагаютъ, что его гипотеза недостаточна. Они не отрицаютъ не только измѣняемости видовъ, но и спеціально Дарвиновыхъ принциповъ подбора приспособленныхъ и борьбы за существованіе. Они ставятъ только рядомъ съ ними особый принципъ развитія, въ силу котораго измѣненіе видовъ имѣло бы мѣсто и при отсутствіи подбора, полезныхъ приспособленій и борьбы за существованіе. Этотъ законъ развитія давно уже признанъ въ эмбріологіи, но лишь очень немногими прилагается къ объясненію происхожденія видовъ. Онъ основывается на (предполагаемомъ) свойствѣ организованной матеріи принимать съ теченіемъ времени все болѣе и болѣе сложное строеніе. Въ свойствѣ этомъ нѣтъ ничего мистическаго. Какъ магнитной стрѣлкѣ свойственно обращаться всегда однимъ концомъ къ сѣверу; какъ въ неорганической природѣ извѣстнымъ элементамъ свойственно группироваться только въ опре-

*) Эта теорія Гладстона-Гейгера нынѣ уже опровергнута, но я оставляю ссылку на нее въ качествѣ нагляднаго примѣра, иллюстраціи.

дѣленныя химическія соединенія и принимать только опредѣленныя кристаллическія формы; какъ, наконецъ, въ клѣточкѣ атомы углерода, водорода, кислорода и азота обнаруживаютъ стремленіе слагаться въ болѣе и болѣе сложныя и высшія соединенія, такъ точно и самимъ клѣточкамъ свойственно сходиться все въ большемъ и большемъ числѣ и составлять все болѣе сложныя формы органической жизни. Усложненіе это состоитъ въ увеличеніи числа и разнообразія органовъ и въ усиленіи *физіологическаго раздѣленія труда*, т. е. въ усиленіи обособленія и приспособленія органовъ къ спеціальнымъ отправленіямъ. Такимъ образомъ, законъ развитія неудержимо и постоянно толкаетъ организованную матерію впередъ, къ дальнѣйшему усложненію. Подъ его вліяніемъ сумма силъ и способностей недѣлимыхъ постоянно растетъ. Дарвиновскіе же принципы подбора, борьбы и полезныхъ приспособленій болѣе или менѣе отклоняютъ жизнь отъ этого прямо прогрессивнаго пути въ разныя стороны. Они представляютъ собою вліянія пертурбаціонныя. Напримѣръ, разъ появившійся органъ зрѣнія никоимъ образомъ не могъ бы исчезнуть, если бы на обладателя его вліялъ только законъ развитія. Законъ этотъ, напротивъ, требуетъ дальнѣйшаго усложненія какъ органа зрѣнія, такъ и другихъ органовъ чувствъ. Но силы природы не дѣйствуютъ въ одиночку: онѣ сталкиваются, парализуютъ одна другую безъ всякаго плана и цѣли. Животное загоняется ближайшими условіями жизни въ пещеру или обрекается на паразитизмъ, и тутъ-то обнаруживается вліяніе началъ борьбы, подбора и полезныхъ приспособленій. Во взаимной борьбѣ за существованіе тѣ изъ паразитовъ будутъ побѣдителями, которые отличаются нѣкоторою вялостью движеній и слабостью зрѣнія, потому что въ условіяхъ паразитизма конечности и глаза составляютъ только лишнее бремя. Вялость и слѣпота подхватываются подборомъ, и въ результатѣ получается полное приспособленіе—окончательная утрата органовъ движенія и зрѣнія. Но въ общемъ счетѣ, въ цѣломъ, законъ развитія одерживаетъ все-таки верхъ, чѣмъ и объясняется сложность и богатство не только органической жизни вообще, а и отдѣльныхъ, индивидуальныхъ ея представителей.

Хотя для меня далеко не безразлично, признаетъ ли читатель законъ развитія, или нѣтъ, но настаивать здѣсь на этомъ пунктѣ я не могу. Читатель долженъ, во всякомъ случаѣ, признать, что приспособленіе къ условіямъ существованія отнюдь не необходимо ведетъ за собой усовершенствованіе въ смыслѣ расширенія индивидуальнаго *я*, прироста суммы силъ и способностей индивида, а слѣдовательно и роста его счастія. Приспособленіе ведетъ только къ извѣстному равновѣсію между индивидомъ и окружающими условіями и, если эти условія очень просты и однообразны, то приспособленіе можетъ состоять въ приниженіи организаціи. Самъ Дарвинъ вынужденъ неоднократно утверждать это съ полною опредѣленностью. Спрашивается теперь: каковы результаты приспособленія человѣческой личности къ условіямъ общественной жизни? расширяютъ ли они наше *я* или суживаютъ, увеличиваютъ или уменьшаютъ шансы нашего счастія? И да, и нѣтъ—смотря по точкѣ зрѣнія. Въ принципѣ, безъ сомнѣнія, общественная жизнь даритъ насъ цѣлой массой наслажденій, которыя совершенно немыслимы для человѣка одинокаго, если-бы такой былъ возможенъ. Какъ говоритъ поэтъ, раздѣленное горе—полъ-горя, раздѣленное счастіе—двойное счастіе. Нѣтъ надобности и говорить, какъ велико вліяніе жизни въ обществѣ на развитіе и усложненіе нервной системы, и какъ обогащаетъ нашу духовную природу облегчаемая общественнымъ состояніемъ возможность «сочувственнаго опыта», т. е. переживанія личностью чужой жизни, присвоенія себѣ добытыхъ ею результатовъ. Я полагаю даже, что роль сочувственаго опыта громадна и въ дѣлѣ пріобрѣтенія человѣчествомъ положительныхъ знаній, на что, къ сожалѣнію, исторія науки не обращаетъ до сихъ поръ никакого вниманія. Словомъ, въ принципѣ расширеніе нашего личнаго *я* путемъ кооперации, общественной жизни, не подлежитъ никакому сомнѣнію. Но принципъ этотъ претерпѣваетъ весьма существенныя измѣненія въ примѣненіи къ различнымъ формамъ кооперации. Нынѣ въ большой модѣ параллели и аналогіи между обществомъ и недѣлимымъ. Какъ читателю извѣстно, мы держимся очень невысокаго мнѣнія о всѣхъ этихъ упражненіяхъ, въ которыхъ не знаешь, чему удивляться—отсутствію ли нравственнаго чутья, или слабости мысли. Мы готовы, однако, признать эти аналогіи, если онѣ будутъ логически доведены до конца, потому что конецъ этотъ наилучше обнаруживаетъ полнѣйшую несостоятельность субъективной стороны работы всѣхъ аналогистовъ, а въ этой-то сторонѣ и все дѣло. Напримѣръ, всѣ теоретики «общественнаго организма» настаиваютъ на аналогіи физіологическаго и экономическаго или общественнаго раздѣленія труда. Аналогію эту они проводятъ до тошноты подробно, и слѣдить за всей ихъ эквилибристикой намъ нѣтъ никакой надобности. Мы возьмемъ одинъ только грубый и рѣзкій примѣръ, удобный по своей наглядности: образо-

ваніе сословій или, еще лучше, индійскихъ кастъ аналогично обособленію тканей и органовъ въ организмѣ. Какъ въ Индіи общественное раздѣленіе труда породило касты браминовъ, воиновъ, простыхъ гражданъ и рабовъ, такъ физіологическое раздѣленіе труда обособляетъ въ организмѣ различные органы, исполняющіе только одну какую-нибудь функцію. Аналогія можетъ идти дальше, проводя параллели между браминами и головой, воинами и руками и т. д. Аналогія выводится по степени способностей изслѣдователя болѣе или менѣе полная и остроумная, а въ результатѣ получается положеніе: Индія есть организмъ. Ну, прекрасно, пусть будетъ организмъ—имя вещи не мѣняетъ — пусть аналогія вышла блестящая. Но идите же дальше въ сопоставленіи общественнаго и физіологическаго раздѣленія труда, покажите ихъ взаимныя отношенія, которыхъ аналогія вовсе не касается. А взаимныя отношенія физіологическаго и экономическаго раздѣленія труда таковы, что они взаимно исключаются, т. е.: чѣмъ общественное раздѣленіе труда сильнѣе, тѣмъ физіологическое слабѣе, и обратно. Чѣмъ собственно въ нашей аналогіи сходны голова и брамины? Тѣмъ, что брамины въ обществѣ, какъ мозгъ въ организмѣ, монополизируютъ процессы мышленія, они болѣе или менѣе, насколько то для человѣка возможно, заглушаютъ въ себѣ остальныя отправленія, а у другихъ членовъ общества въ то же время ослабляются функціи мозга. Точно то же и съ кшатріями, вайсіями, судрами. Ясно, что въ каждомъ изъ представителей этихъ кастъ внутренняя физіологическая работа стала одностороннѣе, ихъ индивидуальное *я* суживается именно потому, что общество стало разностороннѣе. Допустимъ же, что общество и личность, индивидъ, аналогичны и что даже развитіе ихъ управляется однимъ и тѣмъ же закономъ, который Спенсеръ называетъ закономъ перехода отъ однороднаго къ разнородному (это, собственно говоря, и есть вышеупомянутый законъ развитія). Но очевидно, что съ точки зрѣнія этого закона нормальное развитіе общества и нормальное развитіе личности сталкиваются враждебно. Аналогисты этого не понимаютъ. Они твердятъ свое: общество, подобно организму, дифференцируясь, распадаясь на несходныя части, прогрессируетъ. Хорошо, пусть *общество прогрессируетъ*, но поймите, что *личность* при этомъ *регрессируетъ*, что если имѣть въ виду только эту сторону дѣла, то общество есть первый, ближайшій и злѣйшій врагъ человѣка, противъ котораго онъ долженъ быть постоянно насторожѣ. Общество самымъ процессомъ своего развитія стремится подчинить и раздробить личность, оставить ей какое-нибудь одно спеціальное отправленіе, а остальныя роздать другимъ, превратить ее изъ индивида въ органъ. Личность, повинуясь тому же закону развитія, борется или, по крайней мѣрѣ, должна бороться за свою индивидуальность, за самостоятельность и разносторонность своего *я*. Эта борьба, этотъ антагонизмъ не представляетъ ничего противоестественнаго, потому что онъ царитъ во всей природѣ. Мы недавно еще приводили мотивированное мнѣніе объ этомъ предметѣ первокласснаго европейскаго ученаго Геккеля: цѣлое тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ несовершеннѣе его части, и обратно.

Но какъ же связать эту враждебную личности тенденцію общества съ тѣмъ несомнѣннымъ фактомъ, что общественная жизнь расширяетъ и обогащаетъ наше личное существованіе? Вопросъ разрѣшается тѣмъ, что мы имѣемъ здѣсь два встрѣчныя теченія, изъ которыхъ иногда одолѣваетъ одно, а иногда другое. Собственно говоря, благодѣтельная для развитія личности сторона общественной жизни не исчезаетъ совершенно даже въ кастовомъ устройствѣ, вообще представляющемъ едва ли не наиболѣе яркій случай порабощенія личности обществомъ. Спеціалистъ умственной дѣятельности, браминъ, вполнѣ способенъ обогатить запасъ своихъ личныхъ наслажденій сочувствіемъ къ наслажденіямъ всѣхъ подобныхъ ему браминовъ. Точно такъ же благодѣтельно въ извѣстныхъ предѣлахъ даетъ себя знать сочувственный опытъ, какъ орудіе познаванія. Но, съ другой стороны, устраняя себя отъ матеріальной и вообще практической дѣятельности, браминъ непремѣнно суживаетъ сферу своей жизни И кругъ его наблюденій становится уже, и возможность пережить жизнь людей, занятыхъ другими задачами, утрачивается; наконецъ, кругъ доступныхъ ему наслажденій болѣе или менѣе ограничивается исключительно умственною дѣятельностью. Вообще по мѣрѣ того, какъ принципъ раздѣленія труда осуществляется въ обществѣ, по мѣрѣ того, какъ процессъ дифференцированія дробитъ общество на рѣзко обособленныя группы, имѣющія свои собственныя и другимъ недоступныя цѣли и интересы — получается двоякій результатъ. Съ одной стороны, сочувственный опытъ имѣетъ болѣе широкое и полное примѣненіе въ средѣ каждаго изъ обособившихся слоевъ общества, а съ другой — для каждаго изъ представителей извѣстнаго слоя утрачивается возможность поставить себя въ положеніе представителя другого слоя. А этимъ въ корень подрывается благодѣтельное значеніе общества. Мало того, что наслажденія представителей различныхъ слоевъ замкнуты въ болѣе или

менѣе узкія рамки: отрава захватываетъ и то специальное наслажденіе, которое, казалось бы, вполнѣ обезпечено человѣку его общественнымъ положеніемъ. Мы видѣли, что наслажденіе пріобрѣтенія, наживы, предоставленное обстоятельствами времени и мѣста въ полное владѣніе извѣстныхъ классовъ общества и уединенное отъ другихъ наслажденій, цѣлей и интересовъ, перестаетъ быть наслажденіемъ. Жажда его обращается въ источникъ личнаго несчастія. Точно то же и со всѣми другими наслажденіями, даже съ наслажденіемъ знанія. Человѣкъ, выработавшій себѣ особенную напряженность того или другого специальнаго отправленія и болѣе или менѣе заглушившій въ себѣ всѣ остальныя, естественнымъ образомъ понимаетъ и цѣнитъ только то, что тѣсно соприкасается съ его специальнымъ отправленіемъ. Человѣкъ, весь, безъ остатка отдавшійся жаждѣ знанія, не въ состояніи правильно оцѣнить, напримѣръ, роль матеріальнаго труда въ обществѣ, онъ не въ состояніи ее *познать*, а между тѣмъ онъ хочетъ *знать все*. Это внутреннее противорѣчіе есть опять-таки источникъ личнаго несчастія, и для меня нисколько не удивительно, что развитіе нѣмецкой метафизики завершилось философіей отчаянія, пессимистическими системами Шопенгауэра и Гартмана, проповѣдующими одиночное или гуртовое самоубійство. Формула «я и не—я», не смотря на всю свою законность въ принципѣ, не смотря на все свое соотвѣтствіе человѣческой природѣ, непремѣнно должна была въ устахъ нѣмецкой метафизики привести къ такому результату. *Я* какого-нибудь Гегеля есть, собственно говоря, ничтожная дробь человѣческаго *я*. И эта-то дробь, этотъ-то жалкій органъ общественнаго организма вздумалъ мѣряться и бороться съ «не я», со вселенной! Онъ потерпѣлъ пораженіе на почвѣ познанія, какъ на нашихъ глазахъ терпятъ его ежедневно люди наживы на почвѣ производства, какъ потерпитъ его каждый, борющійся за разныя частныя цѣли, а не за свою индивидуальность, т. е. за расширеніе до возможныхъ предѣловъ своего личнаго существованія. А эта задача сводится къ борьбѣ съ роковой тенденціей общества двигаться по типу органическаго развитія.

Совершенно поэтому понятны тѣ на первый взглядъ поразительные факты современной европейской жизни, съ которыхъ мы начали свою бесѣду. Община и цехъ суть представители низшихъ ступеней общественнаго развитія, старыхъ его моментовъ, когда дифференцирующее вліяніе общества было несравненно слабѣе, чѣмъ нынѣ, слѣдовательно, слабѣе были и всѣ пагубныя для личности послѣдствія развитія общества. Отсюда—всѣ обращенія назадъ, въ глубь прошлаго, всѣ упованія на возможность примѣненія его принциповъ къ требованіямъ нашего времени. Въ какой мѣрѣ эти упованія основательны—мы увидимъ въ свое время.

Вполнѣ сознавая крайнюю бѣглость и неполноту предлагаемаго введенія, мы отсылаемъ читателя за разъясненіями и дополненіями къ прежнимъ нашимъ статьямъ, а равно и къ послѣдующимъ очеркамъ. Намъ нужно было только напомнить кое-что читателю, чтобы выяснить ту точку зрѣнія, съ которой впослѣдствіи будутъ подвергнуты анализу различныя формы общественной жизни. Мы начнемъ съ самой элементарной формы — съ семьи.

II *).

Семья.

Не нами міръ начался и не нами кончится.—Къ теоріи борьбы за индивидуальность. — Практическіе и идеальные типы.—Типы и степени развитія. — Отсутствіе семьи, какъ исходная точка супружескихъ и родительскихъ отношеній.—Факты, характеризующіе эти отношенія въ глубокой древности.—Теорія любви Шопенгауэра.—Теорія любви Геккеля.—Любовь съ точки зрѣнія борьбы за индивидуальность.—Миѳъ Платона о происхожденіи половыхъ различій.

Я имѣю къ читателю, который удостоитъ своимъ вниманіемъ эти очерки, одну очень скромную, но вмѣстѣ съ тѣмъ и очень важную просьбу. Я прошу его именно помнить, что не имъ міръ начался и не имъ кончится. Кажется, просьба достаточно скромная, и читатель, я увѣренъ, съ перваго же слова дастъ мнѣ свое согласіе, даже, можетъ быть, съ презрительнымъ нетерпѣніемъ пожметъ плечами: дескать, стоитъ ли объ этомъ толковать? Но я продолжаю настаивать на своей просьбѣ, потому что исполнить ее вовсе не такъ легко, какъ кажется съ перваго взгляда. Читатель долженъ не просто обѣщать, а постараться какъ можно глубже проникнуться той мыслью, что не имъ міръ начался и не имъ кончится. Множество формъ общественной жизни сдано въ архивъ исторіи и либо погибаетъ тамъ навсегда, не оставивъ по себѣ ни слѣда, ни воспоминанія, либо возстановляется только въ мысли историка и соціолога, какъ возстановляются въ мысли палеонтолога чудовищные образы лабиринтодонтовъ и плезіозавровъ, либо, наконецъ, нырнувъ въ глубь временъ, возникаютъ на почвѣ дѣйствительной жизни вновь въ преобразованномъ видѣ. Съ другой стороны, множество формъ общественной жизни предстоитъ человѣчеству въ будущемъ. Этого нельзя не признать уже по простой аналогіи съ прошедшимъ. Тѣ, можетъ быть, мил-

*) 1876, январь.

ліоны лѣтъ, которыя предстоитъ прожить человѣчеству, не могутъ же быть наполнены нашими теперешними чувствами и отношеніями. Придутъ иныя птицы, совьютъ иныя гнѣзда и запоютъ иныя пѣсни, а наши гнѣзда и пѣсни будутъ играть такую же роль, какъ реставрированныя фигуры лабиринтодонтовъ въ палеонтологическихъ музеяхъ или каменные топоры первобытныхъ людей въ музеяхъ археологическихъ. Мы стоимъ на границѣ необъятнаго прошлаго и необъятнаго будущаго. Какъ ни очевидна эта истина, но дѣйствительно проникнуться ею такъ, чтобы всегда имѣть ее на счету, вовсе не легко. Это свидѣтельствуетъ исторія науки, человѣческой мысли, которая долго была убѣждена, что все, въ ней и вокругъ нея совершающееся, отъ вѣка и до вѣка было и останется въ такомъ видѣ, какъ оно есть. Мысль человѣческая могла себѣ представить начало и конецъ всего сущаго и даже съ особенною любовью останавливалась на этихъ двухъ моментахъ, но иного измѣненія, кромѣ начала и конца, мысль не знала. Идеи для нея были врождены, т. е. имѣли только начало, а не развитіе, не подлежали никакимъ измѣненіямъ. Виды органической жизни были постоянны, т. е. опять-таки имѣли только начало и, разумѣется, конецъ. Видовъ, говорилъ Линней, столько, сколько ихъ было создано вначалѣ. Точно такъ же относилась мысль и къ солнечной системѣ, и къ земной корѣ, и къ формамъ общественной жизни и т. д., хотя, собственно говоря, фактовъ было всегда достаточно для опроверженія такихъ воззрѣній. Но ужъ это какая-то коренная слабость человѣческаго ума: принимать данное за типичное, частное за универсальное и переходящее за вѣчное. Что касается въ частности занимающаго насъ здѣсь предмета, т. е. формъ общественной жизни, то новѣйшія работы въ области антропологіи, этнографіи и доисторической археологіи, извѣстныя всѣмъ и каждому хоть по наслышкѣ, казалось бы, должны совершенно поколебать господствующую тупую увѣренность, что исторически данныя формы общества составляютъ предѣлъ, его же не прейдеши. Вѣдь и людоѣдъ думалъ, что учрежденіе не фигуральнаго, а прямого пожиранія людьми людей никогда не исчезнетъ. Однако людоѣдъ ошибся, но примѣръ его никого ничему не научилъ. Люди, почему-то называемые практическими, и теперь разсуждаютъ подобно людоѣду. Они не могутъ сдѣлать тѣхъ усилій мысли и воображенія, которыя требуются для того, чтобы представить себѣ возможность значительнаго измѣненія окружающаго міра. Но если вы и преодолѣли эту слабость, являются новыя трудности. Русскому человѣку, воспитанному на ровномъ, плоскомъ пейзажѣ, какъ-то тѣсно, какъ-то нравственно тѣсно и душно въ узкой швейцарской долинѣ, обрамленной высокими горами. Его давятъ эти непривычныя глазу громады справа, громады слѣва, такъ осязательно дающія ему чувствовать его ничтожество. Подобное же нравственное «не по себѣ» испытываетъ человѣкъ, который вдругъ вспомнитъ, что его настоящая жизнь со всѣми ея треволненіями есть только узкая полоса между необъятнымъ прошедшимъ и столь же необъятнымъ будущимъ. Въ немъ можетъ подняться очень горькое и безотрадное чувство. Въ самомъ дѣлѣ, завтрашняя исторія смететъ насъ, сегодняшнихъ, послѣзавтрашняя—завтрашнихъ и т. д., и т. д., и т. д., такъ что мысль отказывается, наконецъ, слѣдить за этой безконечною цѣпью, которая становится по мѣрѣ удаленія все болѣе неопредѣленною, туманною, неуловимою, какъ очертанія альпійскихъ вершинъ, сливающихся съ облаками. А позади, въ прошедшемъ, такая же утомительная длинная перспектива. Изъ-за чего же я бьюсь? Изъ-за чего напрягаю свой мозгъ, изъ-за чего борюсь и страдаю, когда то, что я съ бою досталъ, какъ истину и справедливость, въ слѣдующее же, быть можетъ, историческое мгновеніе окажется вздоромъ и гадостью? Вотъ мучительный вопросъ, который заставляетъ насъ инстинктивно цѣпляться за настоящее, какъ за вѣчное, за исторически данное, какъ за непреходящее.

Но вѣдь этимъ не поможешь. Да и чему помогать? Когда человѣкъ голоденъ, онъ ѣстъ, не смущаясь тѣмъ, что часовъ черезъ пять желудокъ опять потребуетъ работы, а тамъ опять и опять – вплоть до предсмертной потери аппетита. Все живущее удовлетворяетъ по возможности своимъ потребностямъ. И такъ идетъ жизнь, то создавая новыя потребности, то отшибая старыя, то такъ, то иначе ихъ удовлетворяя или не удовлетворяя. Въ числѣ потребностей человѣка есть потребности знанія и умиротворенія совѣсти. Одна удовлетворяется истиной, другая—справедливостью, а различныя формы этого удовлетворенія образуютъ тѣ безконечныя перспективы прошедшаго и будущаго, которыя называются исторіей человѣчества. Намъ, стоящимъ на извѣстной точкѣ этой необъятной перспективы, есть-ли какой-нибудь резонъ смущаться многочисленностью и разнообразіемъ понятій объ истинномъ и справедливомъ не только въ прошедшемъ, а и въ будущемъ? Никакого. Допустимъ, что черезъ какія-нибудь сто лѣтъ ниспровергнутъ даже такую несомнѣнную для насъ истину, какъ: дважды два—четыре. Отъ этого намъ не можетъ быть ни тепло, ни холодно, потому что мы, во всякомъ случаѣ, *сыты* таблицей умноженія, съ успѣхомъ употребляемъ ее и

въ разсчетахъ съ мелочной лавочкой, и въ вычисленіяхъ пути планетъ — словомъ, получаемъ отъ нея полное удовлетвореніе вездѣ, гдѣ она только приложима. Сомнѣнія въ будущности таблицы умноженія, еслибы они и закрались въ вашъ умъ, не могутъ васъ заставить усомниться въ ней самой. Отъ таблицы умноженія поднимитесь къ высочайшему идеалу справедливости. Создавая его, вы тѣмъ самымъ говорите: вотъ какой порядокъ вещей удовлетворитъ мою жажду справедливости, вотъ что мнѣ нужно, чтобы заморить червяка моей совѣсти. Пройдутъ вѣка — и вы окажетесь, можетъ быть, нищимъ, нищимъ знаніемъ и совѣстью, а идеалъ вашъ будетъ далеко обойденъ или отвергнутъ. Что-жъ изъ этого? Пока онъ—вашъ идеалъ, вы во всякомъ случаѣ ничѣмъ, кромѣ осуществленія его или приближенія къ нему, своей жажды справедливости не удовлетворите. И если вы всетаки продолжаете, какъ нѣмцы говорятъ, grübeln на ту тему, что, дескать, ахъ! я не могу успокоиться на своемъ идеалѣ, потому что взойдетъ солнце—росу высушитъ, наступитъ слѣдующее историческое мгновеніе—и мой идеалъ окажется несостоятельнымъ, такъ это вовсе не значитъ, что идеалъ вамъ очень въ самомъ дѣлѣ дорогъ. Совсѣмъ напротивъ. Это значитъ, что онъ вамъ не дорогъ. Если вамъ докажутъ, что будущее человѣчество станетъ довольствоваться несравненно меньшимъ количествомъ пищи, чѣмъ какое поглощается вами теперь, то вы въ отчаяніе не придете, ахать не будете, а исправно скушаете свою порцію, да еще, можетъ быть, прибавки потребуете. Когда удовлетвореніе жажды справедливости станетъ для васъ такою же неотложною органическою потребностью, какъ удовлетвореніе аппетита, будущее перестанетъ васъ смущать и на этомъ пунктѣ. Вы и тутъ будете домогаться своей порціи, потому что домогательство это даже не отъ васъ зависитъ и составляетъ необходимое условіе вашего существованія. Дѣло просто въ томъ, что въ каждое историческое мгновеніе человѣкъ какъ-ни-какъ оріентируется и долженъ оріентироваться въ окружающемъ мірѣ, т. е. извѣстнымъ образомъ группировать результаты своего опыта. Онъ при этомъ старается и неизбѣжно долженъ стараться оставить въ своемъ міровоззрѣніи какъ можно меньше прорѣхъ. Это—требованіе его природы, которое необходимо должно быть удовлетворено. И цѣнность удовлетворенія нисколько не уменьшается тѣмъ, что то же самое требованіе природы по прошествіи извѣстнаго времени будетъ удовлетворено иначе. Слѣдовательно, скептицизмъ и сидѣніе сложа руки отнюдь не оправдываются вѣчною смѣною понятій объ истинномъ и справедливомъ. Напротивъ, эта смѣна представляетъ нѣчто въ высокой степени утѣшительное; она оставляетъ надежду, что самыя пылкія ваши мечты, которыя вы, можетъ быть, даже боитесь разсказать своимъ современникамъ, хотя бы въ нихъ и не было ничего фантастическаго, съ теченіемъ времени и осуществятся, и даже превзойдутся.

Волна на волну набѣгаетъ,
Волна погоняетъ волну...

Страшная, умъ помрачающая громада этихъ волнъ катится и будетъ катиться въ теченіе вѣковъ по руслу исторіи человѣчества. Будемъ же готовы встрѣтить и въ прошедшемъ, и въ будущемъ такія формы общественной связи, которыя потребуютъ отъ насъ сильнѣйшаго напряженія мысли и воображенія. Объ этомъ я и прошу читателя: не нами міръ начался и не нами онъ кончится. Относительно будущаго, впрочемъ, предлагаемые очерки будутъ крайне скромны. И не только потому, что авторъ ихъ не желаетъ быть осмѣяннымъ, обруганнымъ или заподозрѣннымъ въ сумасшествіи. Нѣтъ, все это я бы взялъ и сумѣлъ бы перенести, если бы болѣе или менѣе отдаленное будущее могло развернуться передъ нашимъ умственнымъ взоромъ съ полною ясностью. Но это невозможно. Много высокихъ умовъ и благороднѣйшихъ сердецъ надолго скомпрометтировали не только себя, а и свое дѣло, святое дѣло, тѣмъ, что брались предугадать различныя частности будущаго человѣческаго общества. Мнѣ уже случилось однажды сдѣлать это замѣчаніе и получить недавно отъ критика «Недѣли», г. Л—аго, слѣдующее возраженіе: «Едва ли не напрасно г. Михайловскій упрекнулъ утопистовъ въ томъ, что они предполагали возможнымъ опредѣлить идеальное общество до мельчайшихъ подробностей: они были въ этомъ случаѣ очень послѣдовательны, такъ какъ эмпирическое содержаніе нашего «я» складывается именно изъ мелочей, а слѣдовательно, «признавъ желательнымъ» отождествленіе этого содержанія во всѣхъ членахъ общества, нельзя не желать опредѣлить эти мелочи» («Недѣля» № 30). Я думаю, однако, что я правъ. Прежде всего, какой моментъ исторіи разумѣется подъ «идеальнымъ обществомъ»? Если дѣло идетъ о завтрашнемъ днѣ, такъ, конечно, можно говорить даже о «мельчайшихъ подробностяхъ». Но на завтрашній день можетъ быть предъявленъ только такой скудный maximum требованій, что осуществленіе ихъ едва ли стоитъ называть идеальнымъ обществомъ. Надо бы выбрать какой-нибудь менѣе громкій терминъ. Если же осуществленіе идеальнаго общества откладывается до болѣе или менѣе отдаленнаго будущаго, то увлечься

характеристикой его мельчайшихъ подробностей значитъ совершенно произвольно остановиться на одномъ изъ звеньевъ исторической цѣпи, уходящей въ непроглядную даль. Однихъ техническихъ изобрѣтеній, которыя могутъ быть сдѣланы въ нужный промежутокъ времени, совершенно достаточно, чтобы обратить въ ничто всѣ подробности утопіи. Надо замѣтить, что почти всѣ утописты, начиная съ Томаса Мора, рисовали подробности идеальнаго общества совсѣмъ не съ научными или философскими, а съ сатирическими цѣлями. И въ этомъ заключается ихъ оправданіе. Поражаясь извѣстною неурядицей, они противопоставляли ей извѣстный порядокъ, въ которомъ элементы неурядицы группировались, такъ сказать, навыворотъ. Дѣло эстетической, а не научной или философской критики—судить этотъ художественный пріемъ. Онъ, во всякомъ случаѣ, какъ художественный пріемъ, законенъ. Однако и тутъ, увлекаясь изображеніемъ мелочей и подробностей, утописты нерѣдко забывали собственныя основныя требованія и впадали въ странные промахи. Я не помню, кто изъ нихъ полагалъ, что въ идеальномъ обществѣ изъ золота будутъ дѣлаться ночныя вазы и цѣпи каторжниковъ. Это — просто художественное низверженіе кумира золотого тельца. Дурно ли, хорошо ли оно исполнено, это — другой вопросъ, но противъ самаго пріема нельзя было бы ничего возразить, если бы утопистъ, занявшись ночными вазами, не позабылъ изгнать изъ идеальнаго общества каторжниковъ. Мечты гораздо болѣе скромныя, чѣмъ та, въ которой фигурируетъ золотая ночная ваза, обходятся безъ каторги и цѣпей. Конечно, это—недосмотръ, котораго можно бы было избѣжать, но, избѣжавъ его, авторъ впалъ бы въ другой, въ третій. Идеалъ—всегда отрицательнаго происхожденія. Человѣкъ не удовлетворенъ, оскорбленъ въ томъ или другомъ чувствѣ и дѣлаетъ построеніе, въ которомъ не удовлетворяющія и оскорбляющія его явленія отсутствуютъ. Поэтому отрицательныя черты общественнаго идеала (я здѣсь вообще не говорю объ идеалѣ личномъ) могутъ быть, дѣйствительно, обозначены до мельчайшихъ подробностей. Но какъ только вы начнете подставлять вмѣсто нихъ мельчайшія подробности положительнаго свойства, вы всегда рискуете—да простится мнѣ выраженіе — попасть пальцемъ въ небо, потому что съ теченіемъ времени можетъ исчезнуть всякій поводъ къ вашимъ мелочнымъ положительнымъ поправкамъ. Вы естественно склонны поставить вмѣсто $(-a)$ тотъ же элементъ съ положительнымъ знакомъ, т. е. $(+a)$, тогда какъ ходъ вещей можетъ и самое a утопить въ Летѣ. Какъ бы далеко ни заглянули вы въ будущее, но всякое будущее станетъ съ теченіемъ времени прошедшимъ. Какое же основаніе имѣете вы обрывать нить исторіи и произвольно останавливать ее на одномъ какомъ-нибудь моментѣ, даже если вы вѣрно угадали не только его общій характеръ, а и подробности? А это и дѣлали утописты. Обратитесь назадъ и представьте себѣ первобытнаго человѣка, сочиняющаго подробности идеальнаго общества. Хорошую бы онъ утопію сочинилъ? Вы скажете, что то—дикарь, а то —вы, живущій тысячи лѣтъ спустя, тысячи лѣтъ, не даромъ прожитыя. Это, конечно, правда. Но въ сравненіи съ тѣмъ человѣкомъ, который будетъ жить тысячи лѣтъ спустя послѣ васъ, вы еще ничтожнѣе, чѣмъ первобытный человѣкъ въ сравненіи съ вами. Да и зачѣмъ вамъ эти подробности идеальнаго общества? Идеалъ нуженъ и важенъ, какъ маякъ, какъ путеводная звѣзда, а такъ какъ путеводная звѣзда человѣчества не можетъ остановиться (потому что не останавливается бѣгъ времени), то идеаломъ можетъ быть только движеніе въ извѣстномъ направленіи. Опредѣливъ для себя это направленіе, вы получите все, что есть дѣйствительно цѣннаго въ утопіяхъ, и избѣжите всѣхъ ихъ слабостей. Другое дѣло —ближайшія станціи этого движенія. Онѣ, конечно, должны быть ясны, хоть опять-таки не теряться въ мелочахъ.

Вотъ почему, повторяю, я буду въ своихъ очеркахъ очень скроменъ на счетъ будущаго. А пока да позволено мнѣ будетъ сдѣлать маленькое отступленіе, отчасти въ интересахъ нижеслѣдующаго, а отчасти какъ дань привычкѣ откликаться текущей литературѣ.

Г. Мордовцевъ въ статьяхъ своихъ о провинціальной печати («Дѣло», 1875, №№ 9 и 10) предположилъ существованіе соціологическаго закона, въ силу котораго «все изъ провинцій тянется къ центрамъ, въ эти чудовищныя пасти большихъ городовъ, гдѣ оно погибаетъ, если не носитъ въ себѣ задатковъ жизни, такъ сказать, большого полета, или находитъ удовлетвореніе всѣмъ своимъ потребностямъ, богатѣетъ и иногда благоденствуетъ, добивается славы, почестей, могущества». Все, въ какомъ бы то ни было отношеніи выдающееся—будь то геніальный умъ, громадное богатство, невообразимая красота или крупное уродство, въ родѣ Юліи Пастраны и двухголоваго соловья—стремится изъ окраинъ къ центрамъ. Провинціи остаются «вдовствующими во всѣхъ отношеніяхъ». Положенія эти иллюстрируются разными примѣрами изъ общественной жизни, а также изъ области природы. Разсматривать я ихъ не буду, потому что и вообще не могу здѣсь останавливаться на спеціальномъ предметѣ статей г. Мордовцева. Замѣчу

только, что главный ихъ недостатокъ состоитъ въ полной неопредѣленности и неясности для самого автора его точки зрѣнія и метода. Вмѣсто того, чтобы строго отдѣлить въ занимающемъ его рядѣ явленій существующее отъ желательнаго, авторъ то радуется поглощенію центрами окраинъ, видя въ немъ часть процесса объединенія всего человѣчества, то скорбитъ о немъ, то считаетъ его неизбѣжнымъ, по крайней мѣрѣ временно, то предлагаетъ провинціямъ экономически конкуррировать съ центрами. Не на эту, однако, шаткость точки зрѣнія и неопредѣленность метода обратилъ вниманіе неизвѣстный авторъ статьи «Одинъ изъ русскихъ централистовъ» («Недѣля», 1875, № 45). Напротивъ, онъ полемизируетъ съ г. Мордовцевымъ, какъ съ совершенно послѣдовательнымъ, цѣльнымъ «централистомъ», игнорируя всѣ его логическіе промахи и противорѣчія. Только въ самомъ концѣ статьи упоминаются эти противорѣчія, какъ свидѣтельство непригодности для насъ централистскихъ теорій. Во всякомъ случаѣ, воображаемому послѣдовательному централисту авторъ хочетъ противопоставить послѣдовательную теорію децентрализаціи или самостоятельнаго развитія окраинъ, провинціи. Вотъ эта теорія.

„Цивилизація, имѣя въ началѣ своего развитія силу центростремительную, правило подбора, централизацію для огражденія цѣлаго, нашла скоро другой принципъ, поставившій задачею развитіе частей, ихъ совершенствованіе, присвоеніе ими тѣхъ же функцій, какія имѣли прежде только избранные, и поставила это цѣлью своего прогресса. Такимъ образомъ мы видимъ въ нашей цивилизаціи... стремленіе не къ одному поглощенію частей, но и къ распредѣленію жизни между ними и уравненію ихъ во имя тѣхъ же цѣлей цивилизаціи. Жизнь частей не можетъ быть игнорируема въ интересахъ жизни цѣлаго, вотъ что часто упускается изъ виду централизаторами. Они предполагали въ человѣческой исторіи дѣйствующимъ только одинъ законъ централизаціи, независимо отъ другихъ, точно такъ же обусловливающихъ человѣческую жизнь, наконецъ, они принимали его безъ всякаго отношенія къ идеямъ и чувствамъ, стремящимся къ созданію идеала, несомнѣнно болѣе справедливаго. Они упустили изъ виду цѣлую массу другихъ силъ, которыя дѣйствовали въ человѣческомъ обществѣ не менѣе значительно: такъ, противъ силы, стремящейся установить только подборъ сильнаго и гибель слабаго, противъ силъ, стремящихся къ поглощенію и подчиненію, выступаютъ силы, дѣйствующія на пользу взаимнаго сохраненія, уравненія, которыя постоянно борются. Противъ монополіи и привилегій, противъ централизаціи и насильственной регламентаціи мы видимъ стремленіе индивидуумовъ и группъ къ сохраненію своей жизни и своихъ особенностей. Въ самомъ дѣлѣ, какъ въ органической природѣ, такъ и въ развитіи обществъ, мы находимъ такой законъ, который является гораздо болѣе дѣйствительнымъ, чѣмъ прежній законъ борьбы за существованіе, поглощеніе и истребленіе, наконецъ, жизни цѣлаго на счетъ частей. Это законъ, стоящій за сохраненіе частей и единицъ въ природѣ, развитіе органовъ, частей, видовъ, оразноображеніе ихъ и совершенствованіе, которое давало жизнь цѣлому организму или роду. Прогрессъ и формированіе состоятъ въ обособленіи и спеціализаціи какъ частей организма, такъ и его цѣлаго. Этотъ естественно-историческій законъ, проникающій природу, не менѣе дѣйствуетъ и въ соціологіи. Человѣческое общество также опирается на жизнь своихъ частей, и, чѣмъ болѣе даетъ развитія ихъ силамъ и содѣйствуетъ полнотѣ жизни индивидуумовъ, тѣмъ болѣе гарантируетъ свое собственное существованіе и сохраненіе. Развитіе общества создается обособленіемъ его функцій, дифференцированіемъ отправленій въ различныхъ частяхъ его, какъ и въ индивидуумѣ, и одною изъ задачъ цивилизаціи является настолько же объединеніе жизни, насколько и покровительство разнообразію ея. „Чѣмъ несовершеннѣе существо,—говорилъ еще Гёте,—тѣмъ болѣе сходства замѣчаемъ мы между отдѣльными частями его и цѣлымъ; чѣмъ совершеннѣе оно, тѣмъ болѣе различія въ его частяхъ. Въ первомъ случаѣ части въ большей или меньшей степени повторяютъ собою цѣлое; въ послѣднемъ же—онѣ совершенно не похожи на цѣлое. Чѣмъ больше сходства между частями, тѣмъ меньше между ними зависимости, соподчиненность частей есть признакъ высшей организаціи". Эти истины по отношенію къ животнымъ и растеніямъ также прилагаются и къ обществамъ. „Чѣмъ несовершеннѣе общество,—говоритъ другой писатель,—т. е. чѣмъ меньше разнообразія въ занятіяхъ, тѣмъ больше сходства между частями, какъ это легко можетъ замѣтить каждый, наблюдая человѣка въ чисто земледѣльческихъ странахъ".

Я никоимъ образомъ не могъ оставить здѣсь безъ вниманія эти общіе взгляды, представляющіе, повидимому, такое близкое сходство съ теоріей борьбы за индивидуальность и, однако, существенно отъ нея отличающееся не въ свою, какъ мнѣ кажется, пользу. Безъ сомнѣнія, такъ сказать, наружность статьи «Недѣли» далеко превосходитъ наружность статьи г. Мордовцева. Неизвѣстный авторъ прямо заявляетъ, что въ обществѣ борются силы центробѣжная и центростремительная, изъ которыхъ, смотря по условіямъ борьбы, побѣждаетъ то та, то другая, и что онъ, авторъ, считаетъ желательною побѣду силы центробѣжной. Если бы авторъ ограничился этимъ или подобнымъ краткимъ выраженіемъ своихъ мыслей, опровергать его было бы довольно сложнымъ дѣломъ и несравненно болѣе труднымъ, чѣмъ теперь, когда онъ, развертывая свои формулы, тѣмъ самымъ даетъ оружіе противъ нихъ. Авторъ не выбивается изъ круга тѣхъ аналогій, изъ которыхъ вытекаютъ опровергаемыя имъ самимъ воззрѣнія. Всѣ органисты, всѣ дарвинисты, всѣ нелѣпологи, всѣ тѣ, что возводятъ въ общественный принципъ фактъ подбора сильныхъ и приспособленныхъ и гнета ихъ надъ слабыми и неприспособленными—всѣ они согласны съ

нашимъ авторомъ, что «развитіе общества создается обособленіемъ его функцій, дифференцированіемъ отправленій въ различныхъ частяхъ его, какъ и въ индивидуумѣ». Согласны или, по крайней мѣрѣ, должны быть согласны съ этимъ и самые крайніе централизаторы, съ которыми авторъ «Недѣли» полемизируетъ. Они себѣ представляютъ дѣло такъ. Дано обширное общество, называемое Россіей, русскимъ государствомъ. Развиваться оно должно, какъ и всякій индивидъ, путемъ обособленія функцій, дифференцированія органовъ и отправленій. Т. е., напримѣръ, Нижнее Поволжье, по естественному характеру своему, должно взять на себя функцію производства хлѣба, быть, какъ говорятъ объ этомъ краѣ, житницей Россіи и ни-ни, отнюдь не помышлять о соперничествѣ съ другими частями русскаго организма въ какихъ-нибудь другихъ отрасляхъ матеріальнаго или не матеріальнаго производства: промышленныя издѣлія Поволжье получитъ изъ центровъ промышленности, потому что такова обособленная функція послѣднихъ; собственныхъ продуктовъ умственнаго творчества. Поволжью тоже не полагается, потому что оно будетъ снабжено ими изъ спеціальныхъ центровъ, завѣдывающихъ умственными отправленіями, и т. д., и т. д. Централизаторы въ состояніи будутъ привести въ пользу этихъ воззрѣній тѣ самыя слова Гёте и другого неизвѣстнаго мнѣ писателя, на которыя опирается авторъ «Недѣли». Они это и дѣлаютъ: слова Гёте весьма часто ими цитируются. Они именно требуютъ разнообразія, зависимости и подчиненности частей и настаиваютъ, что это необходимо для существованія и сохраненія цѣлаго. Вся разница между спорящими сторонами состоитъ, такимъ образомъ, не столько въ аргументахъ, сколько въ намѣреніяхъ, въ субъективной подкладкѣ спора. Централисты хотятъ, чтобы государственный центръ поглотилъ части, окраины; децентралисты этого не хотятъ. Тяжба при этомъ ведется, собственно говоря, только между государствомъ и тѣми *группами*, на которыя оно дробится. Хотя тяжущіеся и стараются связать каждый свое дѣло съ судьбами личности, индивида въ тѣсномъ смыслѣ слова, но такъ какъ судьбы эти играютъ для нихъ всетаки только второстепенную роль, то выплываютъ вещи очень странныя. Напримѣръ, авторъ «Недѣли» категорически заявляетъ: «Тамъ, гдѣ централизація достигла высшаго предѣла, тамъ падала человѣческая дѣятельность и талантливость, а гдѣ развивалась децентрализація, тамъ силы общества поднимались». При этомъ разумѣются паденіе и ростъ «индивидуальности человѣческихъ способностей». Въ доказательство приводятся нѣкоторые историческіе примѣры. Почти всѣ они могутъ быть истолкованы совсѣмъ иначе. Но я напомню крупный примѣръ — феодальную систему, представлявшую полнѣйшую децентрализацію и, однако, страшно давившую «индивидуальность человѣческихъ способностей». Не безъ всякаго же основанія многіе историки видятъ въ среднихъ вѣкахъ со всей ихъ децентрализаціей какой-то мрачный провалъ въ исторіи. Я это не въ порицаніе принциповъ децентрализаціи и федерализма говорю—о нихъ у насъ въ свое время особая рѣчь будетъ. Я только пользуюсь случаемъ лишній разъ выяснить основаніе моей теоріи, съ которою теорія автора «Недѣли», повидимому, такъ близка. Я готовъ согласиться съ нимъ и со всѣми аналогистами, что всякая индивидуализированная единица, будь то растительная клѣточка, зародышъ животнаго, единица національная, сословная, государственная, развивается, дифференцируясь на части и обособляя свои отправленія. Но я предлагаю идти дальше. Существуютъ различныя ступени индивидуальности, которыя борются между собой, стремятся подчинить другъ друга. Эта борьба (обнимающая Дарвинову борьбу за существованіе, какъ частный случай) ведется различными степенями индивидуальности съ весьма различнымъ успѣхомъ. Въ высшихъ организмахъ, напримѣръ въ человѣкѣ, всѣ тѣ 60,000,000,000,000 клѣточекъ, которыя, по разсчету Фирордта и Велькера, обращаются ежесекундно въ его тѣлѣ, всѣ его ткани, органы чувствъ и движенія,—закрѣпощены своему цѣлому окончательно. Въ низшихъ организмахъ побѣда цѣлаго надъ частями далеко слабѣе. Въ муравейникѣ индивидъ въ тѣсномъ смыслѣ слова побѣжденъ обществомъ; въ полипнякѣ эта побѣда еще рѣшительнѣе. Фабрика, какъ экономическая единица, стремится подчинить себѣ, поглотить рабочаго. Въ исторіи намъ извѣстны національныя индивидуальности, побѣжденныя и непобѣжденныя единицами государственными. Внутри національной индивидуальности борются индивидуальности сословныя, а внутри послѣднихъ—индивидуальности человѣческія. Достигая строго обособленной ступени развитія касты, сословіе побѣждаетъ какъ высшую національную индивидуальность, такъ и низшую—человѣческую, и т. д., и т. д. Таковы факты, картину которыхъ должны представить предлагаемые очерки, если имъ суждено достаточно долго занимать вниманіе читателя; такова собственно объективная часть теоріи борьбы за индивидуальность. Здѣсь нѣтъ ничего такого, что не могло бы быть доказано съ почти математическою ясностью. Факты такъ просты, что сами по себѣ не могли бы породить

никакихъ споровъ. Не такова субъективная сторона дѣла. Историки, соціологи, политики, публицисты, имѣя дѣло съ различными ступенями общественной индивидуальности, произвольно выбираютъ центромъ своихъ изслѣдованій то одну, то другую. Одни принимаютъ близко къ сердцу судьбы «общественнаго организма» вообще (это—самые поверхностные, изъ нихъ-то и выходятъ нелѣпологи, нелѣпософы и нелѣпоманы) и радуются, если организмъ этотъ поглощаетъ и уродуетъ человѣка, т. е. индивида въ тѣсномъ смыслѣ слова. Другіе желаютъ побѣды, кто группѣ національной, кто сословной, кто государственной и т. д. Отсюда идетъ большинство разногласій между людьми, изслѣдующими общественныя явленія, отсюда и ихъ взаимное непониманіе. На какомъ основаніи каждый изъ нихъ желаетъ побѣды именно такой-то ступени индивидуальности? Они либо не задаютъ себѣ этого вопроса, а инстинктивно, въ силу преданія или *безотчетныхъ* личныхъ склонностей, выбираютъ свой центръ изслѣдованія; либо же, будучи поставлены въ необходимость отвѣчать, скажутъ: я стою, напримѣръ, за національные интересы, потому что они наилучше способствуютъ благосостоянію, умственному развитію и нравственному совершенствованію личностей. Я не могу себѣ, по крайней мѣрѣ, представить возможности иного конечнаго отвѣта. Его должны, хотя бы для вида, дать даже тѣ ученые и писатели, которые завѣдомо своекорыстно или въ интересахъ какой-нибудь касты гнутъ и ломаютъ факты общественной жизни. Но дѣло въ томъ, дѣйствительно ли и насколько и при какихъ условіяхъ интересы національные или какой-нибудь другой группы, политической, экономической, родственной и т. д., совпадаютъ съ интересами личности. Нужна, слѣдовательно, прежде всего провѣрка отношеній различныхъ общественныхъ индивидуальностей къ индивидуальности человѣческой. Я предлагаю для этого мѣрило крайне простое, не требующее для успѣшнаго приложенія ничего, кромѣ вниманія и добросовѣстности. Оно непосредственно примыкаетъ къ тѣмъ несомнѣннымъ фактамъ, совокупности которыхъ я называю борьбой за индивидуальность и которые не только никѣмъ не отрицаются, но множествомъ весьма ученыхъ людей съ особенною охотою, хотя и не слишкомъ логично, выставляются на первый планъ. Такъ какъ я не въ первый разъ предлагаю читателю это мѣрило, то, чтобы не надоѣсть ему, постараюсь здѣсь вкратцѣ изложить свои взгляды въ нѣсколько новомъ видѣ. При этомъ выяснятся кое-какія обстоятельства, которыя ниже сослужатъ намъ службу.

Исчезнувшая, какъ говорится, допотопная животная жизнь представляетъ немало образцовъ поразительныхъ типовъ, которые Агассицъ называетъ пророческими или синтетическими (онъ дѣлаетъ нѣкоторую разницу между этими двумя терминами, но она для насъ не важна; см. его De l'espèce et de la classification en zoologie, tr. par Vogeli. 182). Они представляютъ собою соединеніе (синтезъ) и какъ-бы предвосхищеніе (пророчество) нѣсколькихъ животныхъ типовъ, которые въ послѣдующіе геологическіе періоды, въ томъ числѣ и въ наше время, существуютъ только въ раздѣльномъ видѣ. Таковы, напримѣръ, чудовищные ихтіозавры, т. е. рыбо-ящеры, совмѣщающіе въ себѣ такія черты организаціи, которыя нынѣ встрѣчаются только порознь въ рыбахъ и въ пресмыкающихся. Таковъ не менѣе чудовищный лабаринтодонтъ, въ которомъ совмѣщаются особенности нынѣшнихъ лягушекъ, черепахъ и ящерицъ. Въ настоящее время такія смѣшанныя переходныя формы очень рѣдки, имѣютъ очень слабую организацію и очень бѣдны видами, напримѣръ, летучая рыба. Но нѣкогда это были цари земли, передъ которыми все дрожало. Какое употребленіе дѣлаетъ изъ этихъ фактовъ Агассицъ—до этого намъ нѣтъ дѣла: онъ измѣненія видовъ, какъ извѣстно, не признавалъ и видѣлъ въ органическихъ формахъ какъ бы застывшія идеи нѣкотораго міроваго разума. Поучительнѣе мнѣнія нѣмецкаго ученаго Снелля, изложенныя въ фантастической, но чрезвычайно умной брошюрѣ Die Schöpfung des Menschen. Снелль сводитъ типы организаціи къ двумъ разрядамъ — типовъ идеальныхъ и практическихъ. Идеальные, это—то же, что пророческіе или синтетическіе типы Агассица. Снелль именно въ нихъ видитъ носителей прогрессивнаго развитія; самое даже разнообразіе органической жизни въ значительной степени обусловливается разносторонностью и богатствомъ ихъ природы, изъ которой, какъ изъ общаго источника, расходятся во всѣ стороны рѣзко различныя формы. Типы практическіе, напротивъ, односторонніе и скудные, приспособляются къ тѣмъ или другимъ замкнутымъ условіямъ существованія и все болѣе и болѣе суживаютъ формулу своей жизни. Само собою разумѣется, что рѣзкой перегородки между практическими и идеальными типами нѣтъ. Могучіе ихтіозавры, птеродактили и т. п. не вынесли своей мощи. Какъ у Ильи Муромца калики перехожіе сбавили половину его силы, потому что иначе землѣ было бы тяжело носить его, такъ и у этихъ древнихъ чудищъ природа обобрала ихъ мощь и раздала ее по частямъ узкимъ, приспособленнымъ къ одной водной стихіи рыбамъ, жалкимъ пресмыкающимся и т. п. Это обстоятельство, между прочимъ, должно

бы было нѣсколько затуманить радость тѣхъ дарвинистовъ, которые вѣрятъ въ творческую силу подбора и борьбы за существованіе. Даровитѣшій изъ нихъ, Геккель, долженъ былъ признаться, что «естественный подборъ вездѣ (überall) способствуетъ развитію типовъ практическихъ въ ущербъ идеальнымъ» (Generalle Morphologie, II, 262). Не все, значитъ, пахнетъ розой въ процессѣ борьбы и не только относительно средствъ, но и относительно результатовъ: вмѣсто одного цѣлковаго, положимъ, даже десять (конечно, меньше) гривенниковъ, сильно потертыхъ процессомъ размѣна—это не особенно, кажется, выгодно. И если бы природа не возмѣщала этой убыли тѣмъ закономъ развитія, о которомъ говорено было выше, на землѣ жить было бы довольно скучно, да, по правдѣ сказать, и не стоило бы. Это, впрочемъ, мимоходомъ. Въ чемъ собственно состоитъ разница между практическими и идеальными типами, напримѣръ, между нынѣшними рыбами и ящерицами, съ одной стороны, и древними рыбо-ящерицами—съ другой? и въ чемъ состоитъ процессъ распаденія одного идеальнаго типа на нѣсколько практическихъ? Читатель видитъ, что все дѣло здѣсь опять таки въ томъ же принципѣ раздѣленія труда, который даетъ діаметрально противоположные результаты, будучи приложенъ къ органамъ одного и того же индивида и къ нѣсколькимъ индивидамъ. Въ предѣлахъ индивидуальности ихтіозавра физіологическое раздѣленіе труда, т. е. раздѣленіе труда между органами, достигаетъ извѣстной, довольно высокой степени, потому что тутъ есть на лицо и органы, необходимые для жизни въ водѣ, и органы, необходимые для жизни на сухомъ пути. Когда идеальный типъ ихтіозавра распался на практическіе типы рыбъ и ящерицъ, произошло раздѣленіе труда между индивидами, при чемъ въ каждомъ изъ нихъ степень физіологическаго раздѣленія (въ предѣлахъ разсматриваемыхъ нами свойствъ организаціи) понизилась: одни стали способны только къ водной жизни, другіе только къ сухопутной. Понизился *типъ* развитія. Затѣмъ этотъ новый, пониженный практическій типъ можетъ достигать весьма высокой *степени* развитія: рыбы выработали себѣ чрезвычайно сложные аппараты, приспособленные къ водной жизни, какихъ у ихтіозавра, конечно, не было. Приложите теперь это разсужденіе къ явленіямъ общественной жизни. Поставьте вмѣсто вида ихтіозавра какую-нибудь соціальную группу, какую-нибудь общественную индивидуальность. Если внутри этой индивидуальности и подъ вліяніемъ ея развитія, состоящаго въ переходѣ отъ однороднаго къ разнородному, въ дифференцированіи частей, въ усиленіи раздѣленія труда (общественнаго), обособляются рѣзко различные индивиды, то *типъ* послѣднихъ понижается, какъ бы ни была высока *степень* ихъ развитія: общественная индивидуальность можетъ торжествовать побѣду надъ индивидуальностью человѣческою. Типъ безполаго рабочаго муравья далеко ниже типа его отдаленнаго плодовитаго предка, хотя въ предѣлахъ своей односторонности онъ, можетъ быть, достигъ чрезвычайно высокой степени развитія. Теперь сравните съ этой точки зрѣнія два муравейника; одинъ—древній, въ которомъ раздѣленіе труда не произвело еще никакого полиморфизма (многоформенности), а другой - нынѣшній, въ которомъ имѣется 3 - 5 кастъ, различающихся и наружнымъ видомъ, и общественною дѣятельностью, и характеромъ организаціи. Который изъ нихъ выше? Съ объективной точки зрѣнія выше нынѣшній муравейникъ, потому что его части (муравьи) сильнѣе дифференцированы. Но съ субъективной точки зрѣнія самого муравья, выше древній муравейникъ. Чтобы не повторять того, что было доказываемо много разъ, я только просто заявляю, что становлюсь на точку зрѣнія муравья. Пусть совокупными усиліями полиморфныхъ индивидовъ созданы огромныя богатства и даже цѣлая муравьиная цивилизація, это—только *высокая степень* развитія *пониженнаго типа*. Типъ древняго муравейника выше, хотя онъ и не успѣлъ достигнуть высокой степени развитія; онъ выше потому, что въ немъ побѣда въ борьбѣ за индивидуальность осталась на сторонѣ муравья, т. е. индивида въ тѣсномъ смыслѣ слова. Побѣдѣ высшей индивидуальности, т. е. общественной (какая бы она ни была—національная, экономическая, родственная, политическая) я радоваться не могу. Какое-нибудь высшее существо, передъ всеобъемлющимъ взоромъ котораго субъективная сторона историческаго процесса стушевывается, которое равно безразлично относится и къ муравью, и къ муравейнику, такое высшее существо можетъ надо мной посмѣяться и уличить меня въ противорѣчіи. Въ самомъ дѣлѣ, я признаю низшимъ то, что съ объективной точки зрѣнія есть высшее, ибо я и самъ готовъ цитировать нѣмецкаго олимпійца: «чѣмъ несовершеннѣе существо, тѣмъ болѣе сходства замѣчаемъ мы между отдѣльными частями его и цѣлымъ; чѣмъ совершеннѣе оно, тѣмъ болѣе различія въ его частяхъ». Значитъ, заключаютъ отсюда соціологи, историки, политики, публицисты, значитъ и общество тѣмъ совершеннѣе, чѣмъ болѣе различія между его членами. Затѣмъ соціологи, политики и т. д. начинаютъ путаться и препираться, принимая за центръ изслѣдованія одинъ одну, другой другую общественную индивидуальность

Я думаю, они оттого путаются и препираются, что берутъ на себя въ своей исходной, точкѣ (можетъ быть, по недоразумѣнію) непосильное бремя олимпійскаго величія, передъ которымъ «все—все равно». Я—не олимпіецъ, а только человѣкъ, т. е. индивидъ въ тѣсномъ смыслѣ слова, а потому и сочувствовать могу только такому же индивиду, и радоваться только его побѣдѣ, и горевать только о его пораженіи. Внѣ этого и мнѣ «все—все равно», въ томъ числѣ и централизація, и децентрализація.

Надѣюсь, что мнѣ уже больше не придется утомлять вниманія читателя отвлеченнымъ изложеніемъ теоріи борьбы за индивидуальность, которая ближе выяснится на конкретныхъ примѣрахъ.

Начнемъ съ семьи, какъ съ самой элементарной общественной единицы и притомъ во многихъ отношеніяхъ рѣзко отличающейся отъ всѣхъ другихъ общественныхъ единицъ. Элементарность ея слѣдуетъ, однако, разумѣть только въ томъ смыслѣ, что она обнимаетъ собой наименьшее число лицъ: мужъ, жена, сынъ или дочь—эти три лица уже составляютъ семью. Было бы ошибочно думать, что семья элементарна еще въ другомъ смыслѣ—именно, какъ самая древняя форма общежитія. Это, впрочемъ, —мнѣніе очень распространенное и раздѣляемо многими высокими авторитетами. Такъ Мэнъ («Древнее право») полагаетъ, что прототипомъ древнѣйшаго человѣческаго общества долженъ быть признанъ патріархально-семейный бытъ, изображенный въ книгахъ Ветхаго Завѣта. Мы скоро увидимъ, что этотъ бытъ есть плодъ уже довольно высокой цивилизаціи и не даетъ никакого понятія о «состояніи, въ какомъ находилось человѣчество въ началѣ своей исторіи» (Мэнъ, 98). Дарвинъ, поднимающійся, конечно, гораздо дальше въ глубь временъ, также склоняется къ мнѣнію, что наши отдаленнѣйшіе предки обладали уже извѣстной, вѣроятно, полигамической формой брака и семьи, подобно многимъ нынѣшнимъ четырерукимъ. Однако, онъ убѣждается въ этомъ единственно апріорными соображеніями. Онъ признаетъ, что «всѣ внимательно изучавшіе этотъ предметъ» смотрятъ на дѣло иначе и что «кажется несомнѣннымъ, что обычай брака развивался постепенно» («Происхожденіе человѣка и половой подборъ», пер. Сѣченова, II, 399, 402). Конечно, данныхъ для рѣшенія вопросовъ о томъ времени, когда человѣкъ сталъ человѣкомъ, не имѣется. Но несомнѣнно, съ чѣмъ согласенъ и Дарвинъ, что было такое время, когда простое общее смѣшеніе половъ «было чрезвычайно распространено на всемъ земномъ шарѣ». Дарвинъ слѣдовательно, полагаетъ, что учрежденіе брака и семьи, хотя бы только въ такой формѣ, въ какой оно нынѣ существуетъ у гориллы, было нѣкогда присуще и человѣку, но затѣмъ имъ утеряно. Интересно сопоставить этотъ выводъ съ мнѣніями одного русскаго ученаго, г. Воеводскаго. Изслѣдованіе греческихъ миѳовъ привело его къ вопросу: насколько дѣтоубійство могло считаться нѣкогда не только безразличнымъ, а прямо нравственнымъ поступкомъ, и какъ мы должны смотрѣть на него съ точки зрѣнія исторіи развитія нравственности. Я имѣлъ случай упоминать въ «Запискахъ профана» о точкѣ зрѣнія г. Воеводскаго, который не допускаетъ возможности попятнаго движенія въ исторіи человѣческой нравственности. Сообразно этому предстояло объяснить и дѣтоубійство, какъ нѣкоторый шагъ впередъ. Онъ замѣчаетъ, что въ нѣкоторыхъ городахъ Силезіи и Саксоніи у городскихъ воротъ до сихъ поръ висятъ палицы съ надписью:

Wer seinen Kindern giebt das Brot
Und leidet dabei selber Noth,
Den schlage man mit dieser Keule todt.

Т. е.: кто дѣтямъ своимъ даетъ хлѣбъ и при этомъ самъ терпитъ нужду, тотъ да будетъ убитъ этой палицей. Я полагаю, что надпись эта должна быть объясняема просто какимъ нибудь частнымъ случаемъ или цѣлымъ рядомъ случаевъ (въ родѣ исторіи короля Лира), который поразилъ современниковъ. Но г. Воеводскому они «напоминаютъ, что дорожить чрезмѣрно жизнью ребенка могло когда-то считаться порокомъ. Если мы вспомнимъ при этомъ, продолжаетъ онъ, какъ сильно развита у большей части извѣстныхъ намъ животныхъ любовь къ дѣтенышамъ, принимающая иногда даже отвратительные размѣры, напримѣръ, у обезьянъ, которыя нянчатся даже съ мертвымъ ребенкомъ по нѣскольку дней послѣ его смерти, то всякій шагъ, сдѣланный человѣчествомъ въ противоположную сторону, получитъ для насъ новое значеніе. Дѣйствительно, любовь матери къ своему ребенку, особенно въ первое время его существованія, вытекаетъ даже просто изъ физіологическихъ условій и поэтому уже никакъ не можетъ считаться исключительнымъ плодомъ гуманнаго развитія, а напротивъ, однимъ изъ самыхъ элементарныхъ, всегда существовавшихъ инстинктовъ, безъ котораго, подобно какъ безъ полового влеченія, немыслимо было бы ни человѣчество, ни вообще міръ животныхъ. Смотря съ этой точки зрѣнія, намъ уже не представляются столь неблаговидными и древнѣйшіе миѳы о дѣтоубійствѣ... представится возможность уразумѣть и этическое значеніе дѣтоубійства, какъ фактора въ культурномъ развитіи человѣчества («Каннибализмъ въ греческихъ миѳахъ», 129 и слѣд.). Здѣсь не мѣсто говорить, насколько законна точка зрѣнія, признающая шагомъ впередъ *всякое*

уклоненіе, въ чемъ бы оно ни состояло, человѣческаго типа отъ нравовъ и обычаевъ животныхъ. Замѣчу только, что она нѣсколько напоминаетъ образъ мыслей дикаря, который привелъ европейскому путешественнику тотъ аргументъ противъ моногаміи, что одной женой довольствуется мѣстный видъ обезьянъ, или тѣхъ жителей Малайскаго архипелага, которые считаютъ позоромъ имѣть бѣлые зубы, «какъ у собакъ».

Какъ бы то ни было, но при настоящемъ уровнѣ нашихъ знаній пробѣлъ между семейнымъ общежитіемъ высшихъ животныхъ и отсутствіемъ семьи у нашихъ отдаленныхъ предковъ можетъ быть наполненъ только отвлеченными соображеніями, съ чѣмъ согласенъ и г. Воеводскій. Фактическая исторія супружескихъ и родительскихъ отношеній въ человѣчествѣ начинается отсутствіемъ семьи, тѣмъ состояніемъ, которое различными изслѣдователями называется то общимъ смѣшеніемъ половъ, то общиннымъ или коммунальнымъ бракомъ, то гетеризмомъ. Намъ, конечно, трудно себѣ представить порядокъ вещей, въ которомъ не имѣютъ мѣста понятія отца, матери, мужа, жены, сына, дочери, т. е. тѣ самыя понятія, которыми полна нравственная атмосфера, окружающая насъ съ ранняго дѣтства. Мы готовы даже признать, отправляясь отъ привычныхъ намъ взглядовъ и чувствъ, такой порядокъ безпорядкомъ, совершеннымъ хаосомъ. Между тѣмъ, это былъ несомнѣнно порядокъ, т. е. нѣчто новое прочное, всѣми признанное и, такъ сказать, уравновѣшенное. Очень долго этотъ порядокъ совершенно удовлетворялъ потребностямъ и взглядамъ людей и затѣмъ, когда народились новыя силы, уступилъ ихъ напору только съ большимъ трудомъ, оставивъ и понынѣ многочисленные слѣды своего когда-то безграничнаго господства.

Разскажите малообразованному европейцу о русскомъ общинномъ землевладѣніи. Онъ будетъ, вѣроятно, удивленъ этими порядками и назоветъ ихъ страннымъ хаосомъ, который въ самомъ себѣ носитъ залогъ разрушенія, потому что, дескать, люди въ ряду поколѣній не могутъ терпѣть такого систематическаго посяганія на личную собственность, какъ передѣлы земли и круговая порука. И это будетъ, повидимому, даже очень удовлетворительное разсужденіе, а между тѣмъ, община существуетъ цѣлые вѣка. Такимъ же хаотическимъ состояніемъ представляется намъ, напримѣръ, жизнь кавказскихъ горцевъ, у которыхъ господствуетъ кровная или родовая месть. Насъ поражаетъ при этомъ не только отсутствіе спеціальныхъ судебныхъ органовъ, а и невозможная для насъ идея, что нѣтъ личныхъ преступленій, что въ убійствѣ виноватъ не убійца, а весь его родъ. Съ точки зрѣнія горцевъ, однако, это вовсе не нелѣпая идея: они съ ней испоконъ вѣка живутъ. Возьмите еще, напримѣръ, хоть цыганскій таборъ съ его поразительной организаціей, въ которой личная воля, личные вкусы, личное достояніе, личныя симпатіи совершенно утопаютъ. Намъ странно, что люди могутъ такъ жить. Прикидывая на свой аршинъ, представляя себя и окружающихъ людей въ положеніи членовъ цыганскаго табора, мы видимъ, что намъ не выдержать бы и недѣли такой жизни. Однако, цыгане живутъ, много вѣковъ живутъ и, вѣроятно, считаютъ хаосомъ именно наши порядки. Все это—остатки обычаевъ, когда-то повсемѣстно распространенныхъ, только остатки, дающіе лишь слабое понятіе о тѣхъ мысляхъ и чувствахъ, которыя господствовали на отдаленной зарѣ исторіи человѣчества. Надо себѣ представить, что въ ту неизмѣримо далекую отъ насъ пору личность утопала отнюдь не въ семьѣ (какъ думаетъ Мэнъ) и даже не въ такой опредѣленной общественной единицѣ, какъ русская община, горскій родъ или цыганскій таборъ, а въ чемъ-то такомъ, чему мы и имени не знаемъ. Это было нѣчто въ родѣ стада. Супружескія и родительскія отношенія едва-ли не лучше всего обрисовываютъ духъ и характеръ такого общежитія. Однако, даже всѣ имѣющіяся этого рода свѣдѣнія какъ о вымершихъ уже народахъ, такъ и о нынѣ живущихъ дикаряхъ только въ совокупности, взаимно дополняясь, могутъ помочь возстановить полную картину древнѣйшаго гетеризма.

Въ замѣчательномъ сочиненіи Бахофена «Материнское право» (Das Mutterrecht. Eine Untersuchung über die Gynækokratie der alten Welt nach ihrer religiösen und rechtlichen Natur) собраны относящіяся сюда свидѣтельства древнихъ писателей. Я приведу нѣкоторыя изъ нихъ. По Геродоту и Страбону массагеты и назамоны, хотя и имѣли женъ, но никто никому не препятствовалъ совершать публично половой актъ съ чьей бы то ни было женой. Подобные же нравы поразили, по Ксенофонту и другимъ, солдатъ Кира въ нѣкоторыхъ народахъ, встрѣченныхъ ими въ походѣ. Объ эфіопскихъ аусеяхъ Геродотъ говоритъ, что они «пользуются женами сообща, не живутъ съ ними въ домахъ и совершаютъ половой актъ подобно скотамъ». При этомъ массагетъ, вступая въ сношеніе съ первою попавшеюся женщиной, вывѣшивалъ свой колчанъ съ переду кибитки и втыкалъ въ землю свою палку: это была какъ бы вывѣска, символъ того, что происходило въ это время въ кибиткѣ. Съ тою же цѣлью современный Страбону арабъ оставлялъ свою палку съ наружной стороны двери, и т. п. Относительная малочислен-

ность такихъ прямыхъ свидѣтельствъ о грубѣйшихъ формахъ гетеризма нисколько не удивительна. Удивительна, напротивъ, крайняя живучесть этихъ, въ полномъ смыслѣ слова, первобытныхъ порядковъ. Въ болѣе мягкихъ формахъ общинный бракъ и понынѣ существуетъ, напримѣръ, у бушменовъ; у каировъ (въ Индіи) «никто не знаетъ своего отца и всякій смотритъ на дѣтей своей сестры, какъ на своихъ наслѣдниковъ» (причемъ тутъ сестра, мы увидимъ впослѣдствіи); тигуры въ Оудѣ «живутъ обширными общинами въ почти безразличномъ смѣшеніи, и даже для тѣхъ лицъ, которыя считаются въ супружествѣ, брачныя узы существуютъ только по имени»; у туземцевъ острова Королевы Шарлотты «женщины, повидимому, смотрятъ на всѣхъ мужчинъ своего племени, какъ на своихъ мужей», и т. д. (Дж. Леббокъ. Начало цивилизаціи. Пер. Коропчевскаго, 65). Я не стану, однако, перечислять и описывать этого рода факты. Гораздо любопытнѣе обширный разрядъ очень разнообразныхъ фактовъ, относящихся къ гораздо болѣе позднимъ историческимъ моментамъ, но косвенно характеризующихъ и стародавнее отсутствіе семьи. Они любопытны потому, что рисуютъ самый процессъ образованія семьи и ея борьбы съ высшею индивидуальностью.

Діодоръ Сицилійскій съ удивленіемъ отмѣчаетъ «странный обычай» жителей Балеарскихъ островов. У нихъ, говоритъ онъ, въ свадебную ночь молодая считается общею собственностью всѣхъ гостей, которые пользуются ею въ порядкѣ старшинства. Мужъ вступаетъ въ свои права послѣднимъ. Подобные же обычаи существовали въ Вавилонѣ, Арменіи, у многихъ эѳіопскихъ племенъ, кажется, въ Карѳагенѣ, отчасти въ Греціи. Кое-гдѣ и теперь господствуетъ этотъ обычай съ нѣкоторыми измѣненіями. Такъ у санталовъ (одного изъ туземныхъ племенъ Индіи), говоритъ Леббокъ, браки совершаются только однажды въ годъ—по большей части въ январѣ. Въ теченіе шести дней всѣ, готовящіеся вступить въ бракъ, живутъ вмѣстѣ, и только послѣ этого за отдѣльными парами признается право вступать въ бракъ. Факты эти не могутъ быть объяснены ничѣмъ, кромѣ сознанія коллективнаго права племени на всѣхъ женщинъ. Право это во всемъ своемъ объемѣ уже утрачено; мужъ и жена на другой день свадьбы принадлежатъ уже только другъ другу; но страшное давленіе племени еще выражается безропотнымъ предоставленіемъ первой ночи всѣмъ и каждому. Этотъ компромиссъ лучше всего характеризуетъ совершенно для насъ непонятную степень поглощенія личности племенемъ. Я говорю «племенемъ» за невозможностью найти соотвѣтственное имя для той странной общественной индивидуальности, которая съ нынѣшней точки зрѣнія такъ грубо и безапелляціонно давила индивидуальность человѣческую. Это, конечно, была не семья, потому что семья въ пору упомянутаго компромисса только начала еще складываться. Но это—и не племя, и не община, какъ видно изъ многихъ другихъ остатковъ старины, сохранившихся до нашихъ дней. Хотя относительно многихъ нынѣшнихъ дикарей и извѣстно, что свобода половыхъ отношеній не выходитъ у нихъ за предѣлы племени, но совокупность относящихся сюда фактовъ заставляетъ, мнѣ кажется, думать, что не совсѣмъ такъ было на зарѣ исторіи, тѣмъ болѣе, что вѣдь мы, собственно говоря, не знаемъ, какъ сложилась единица, называемая нами теперь племенемъ. Въ вышеупомянутомъ показаніи Діодора Сицилійскаго о жителяхъ Балеарскихъ островов говорится, что жена уступалась всѣмъ «друзьямъ и знакомымъ» (Бахофенъ, 12). Извѣстно далѣе, какъ распространена и донынѣ такъ называемая (не совсѣмъ правильно) «гостепріимная проституція», т. е. обычай, въ силу котораго жена или дочь хозяина предоставляются гостю. У коряковъ и чукчей сила этого обычая доходитъ до того, что хозяинъ оскорбляется отказомъ гостя и можетъ даже убить его (Е. Якушкинъ. Обычное право, VII). У алеутовъ всякій возвратившійся изъ дальняго пути имѣетъ право на всѣхъ женщинъ юрты (Путешествіе флота капитана Сарычева, 1804 г.). У насъ въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ до послѣдняго времени рекрутъ-наемщикъ имѣлъ право на всѣхъ молодыхъ женщинъ семьи нанявшаго его крестьянина (Якушкинъ, VII). Бразильскіе людоѣды считаютъ обязанностью уступать своихъ женъ и дочерей военноплѣннымъ, обреченнымъ на съѣденіе. Всѣ эти обломки, несомнѣнно, глубокой древности показываютъ, что древнѣйшая общественная индивидуальность, вторгавшаяся въ супружескія отношенія, не можетъ быть названа племенемъ. Леббокъ говоритъ: «Повидимому, обычаемъ признается извѣстное право за каждымъ членомъ общины и за посѣтителями ея, какъ временными членами; эти послѣдніе не могли бы быть лишены означеннаго права какими-либо распоряженіями, сдѣланными до ихъ прибытія и, слѣдовательно, безъ ихъ согласія» (I. c., 92). Вторая половина этого замѣчанія для меня совершенно непонятна, тѣмъ болѣе, что самъ же Леббокъ приводитъ поразительный обычай бразильскихъ людоѣдовъ: ужъ, конечно, согласіе или несогласіе обреченныхъ на съѣденіе не могло имѣть никакого значенія. Приходится, кажется, при-

знать, что тутъ передъ нами полнѣйшій «мракъ неизвѣстности». Позже, гораздо позже, всесильная, но неопредѣленная первобытная общественная индивидуальность выдѣлила изъ себя семью и въ то же время сама подверглась кореннымъ измѣненіямъ, обособивъ внутри себя различные общественные классы. На нѣкоторыхъ ея членовъ перешло при этомъ древнее коллективное право, что и выразилось въ учрежденіяхъ «княжого» у насъ и juris primae noctis въ Европѣ. Этотъ замѣчательный процессъ сосредоточенія коллективныхъ правъ въ рукахъ немногихъ мы увидимъ еще много разъ. Но здѣсь не онъ насъ интересуетъ. Намъ нужно было только убѣдиться, что исторія супружескихъ и родительскихъ отношеній начинается отсутствіемъ семьи.

Къ такому же результату приводитъ другой разрядъ крайне любопытныхъ фактовъ. За послѣднее время этнологи, обративъ вниманіе на понятія о родствѣ у различныхъ народовъ, пришли ко многимъ совершенно неожиданнымъ и чрезвычайно важнымъ заключеніямъ. Самая поразительная сторона этихъ изслѣдованій ждетъ еще насъ впереди. Здѣсь намъ нужно только отмѣтить крайнюю неопредѣленность понятій о родствѣ у первобытныхъ народовъ. Ясныя и совершенно раздѣльныя для насъ понятія мужа, жены, отца, дяди, тетки и т. д. у первобытныхъ народовъ болѣе или менѣе сливаются съ сосѣдними степенями родства. Напримѣръ, у гавайцевъ (Сандвичевы острова) одно и то же слово «вагена» означаетъ жену, свояченицу (сестру жены), невѣстку (жену брата), жену шурина (брата жены), женъ племянниковъ съ отцовской и материнской стороны. То же самое слово означаетъ и женщину вообще. Дѣло тутъ не въ бѣдности языка, какъ замѣчаетъ Леббокъ, потому что въ гавайской системѣ различаются нѣкоторыя такія степени родства, для которыхъ въ европейскихъ языкахъ нѣтъ особыхъ названій. Такъ, у гавайцевъ есть особыя имена для усыновленнаго сына, для старшаго и для младшаго брата. «Легко замѣтить, — продолжаетъ Леббокъ, — что дитя принадлежитъ здѣсь цѣлой группѣ, не имѣя болѣе близкаго отношенія ни къ своему отцу, ни къ своей матери, которые стоятъ къ нему въ такой же степени родства, какъ дяди и тетки; такимъ образомъ, у каждаго ребенка бываетъ по нѣскольку отцовъ и матерей.» У Леббока читатель найдетъ довольно подробный анализъ различныхъ системъ родства на основаніи матеріаловъ, собранныхъ Морганомъ. Общій выводъ, выраженный въ принятыхъ нами терминахъ, будетъ слѣдующій: семейная индивидуальность развивалась, переходя отъ простого къ сложному, дифференцируя свои отправленія, установляя между своими членами раздѣленіе труда. Только исподоволь и въ теченіе долгаго времени обособлялись тѣ спеціальныя, исключительныя функціи мужа, жены, отца, матери, дяди и т. д., которыми они облечены нынѣ у цивилизованныхъ европейскихъ народовъ. Первоначально же функціи, напримѣръ, отца и мужа или брата и мужа могли совпадать. Возникающія отсюда семейныя узы съ перваго взгляда очень тѣсны и прочны, но въ сущности они свидѣтельствуютъ опять-таки, что исходною точкою супружескихъ и родительскихъ отношеній было отсутствіе семейной индивидуальности. Они относятся къ тому моменту развитія, когда семья уже сложилась, но находится еще въ зародышевомъ состояніи. Въ такомъ видѣ исторія во многихъ мѣстахъ и до нашего времени донесла семейныя отношенія. У тоттіяровъ въ Индіи братья, дяди и племянники имѣютъ общихъ женъ. По обычаю сіуксовъ и нѣкоторыхъ другихъ сѣверо-американскихъ племенъ покупкою старшей изъ дочерей начальника вмѣстѣ съ тѣмъ пріобрѣтается право на всѣхъ остальныхъ ея сестеръ. У тодасовъ, обитателей Нейльгиррійскихъ горъ, дѣвушка, выходя замужъ, въ то же время становится женою всѣхъ братьевъ своего мужа, по мѣрѣ достиженія ими періода возмужалости, а они становятся вмѣстѣ съ тѣмъ мужьями всѣхъ ея сестеръ, какъ скоро возрастъ этихъ послѣднихъ позволяетъ имъ выйти замужъ. Въ этомъ случаѣ, говоритъ цитируемый Леббокомъ Шортъ, «первый родящійся ребенокъ считается принадлежащимъ старшему брату, слѣдующій второму, и, не смотря на эту противоестественную систему, тодасы, нужно признаться, обнаруживаютъ много нѣжности къ своему потомству, болѣе, чѣмъ, казалось бы, могъ способствовать тому ихъ обычай смѣшаннаго сожительства». Тотъ же писатель такъ описываетъ обычай, господствующій между редіями въ южной Индіи: «Молодая женщина шестнадцати или двадцати лѣтъ можетъ выйти замужъ за мальчика пяти или шести лѣтъ. При этомъ, однако, она живетъ обыкновенно съ какимъ-нибудь взрослымъ мужчиной, напримѣръ, съ дядей или съ двоюроднымъ братомъ со стороны матери, но никакъ не съ родственниками отца; случается, что она живетъ съ отцомъ своего малолѣтняго мужа, т. е. съ своимъ свекромъ. Если отъ какой-либо подобной связи у нея появятся дѣти, они считаются дѣтьми малолѣтняго мужа. Къ тому времени, когда мальчикъ выростетъ, жена его обыкновенно оказывается уже слишкомъ старой или не способной производить дѣтей; тогда и онъ, въ свою очередь, живетъ съ женой какого-

нибудь мальчика» (Леббокъ, 59). Англійскій писатель ставитъ восклицательный знакъ, отмѣтивъ поразительный для него фактъ сожительства женщины со свекромъ. Намъ, русскимъ, восклицательнаго знака тутъ ставить не приходится, потому что у насъ существуетъ даже особенный терминъ для выраженія этого факта: снохачество. Не смотря на страшныя легенды о кровосмѣсителяхъ (въ которыхъ, впрочемъ, караются, кажется, исключительно только совершившіе блудъ съ матерью), сожительство ближайшихъ родственниковъ—не Богъ знаетъ какая рѣдкость въ Россіи, не говоря уже о старинѣ, которая оставила свои слѣды въ символическихъ свадебныхъ обрядахъ. «Одинъ изъ извѣстныхъ русскихъ этнографовъ» разсказывалъ г. Шашкову слѣдующую сцену изъ крестьянской жизни Вятской губерніи. Парень лежитъ на печи и стонетъ. Оказывается, что онъ боленъ вслѣдствіе несчастнаго любовнаго похожденія. Мать читаетъ ему нотацію за то, что онъ связывается съ разными посторонними потаскухами: «вонъ, вѣдь есть свои кобылы, говорила она, указывая на дочерей» (Очеркъ исторіи русской женщины, 30). Собственно снохачество, конечно, несравненно распространеннѣе. И тамъ, гдѣ русское населеніе примыкаетъ къ инородческому, что понятно даетъ удобную почву для сохраненія самыхъ архаическихъ формъ общежитія, снохачество имѣетъ или имѣло недавно совершенно тотъ же видъ, въ какомъ оно существуетъ въ Индіи у реддіевъ. Такъ въ архивѣ томскаго монастыря хранится дѣло, изъ котораго видно, что въ 1735 г. по улицамъ Ачинска ходила вмѣстѣ съ своими знакомыми подгулявшая сватья ачинскаго попа Никифора «и сказывала на него, попа, духовное дѣло. А невѣстка его, попова, сказывала, что-де онъ попъ взялъ ее, Пелагею, въ замужество за сына своего, малолѣтняго сына, и растлилъ дѣвство ея и прижилъ съ нею младенца». Г. Серафимовичъ, у котораго я заимствую это свѣдѣніе, продолжаетъ: «Подобное пользованіе женами своихъ малолѣтнихъ сыновей было весьма распространено въ Сибири, и такіе браки взрослыхъ дѣвицъ съ малолѣтними не разъ запрещались указами. Эти браки поставляли въ самое невыгодное положеніе малолѣтнихъ мужей. Мужъ выросталъ, и въ то время, когда у него являлась потребность быть мужемъ, его жена оказывалась старухой. Оставалось одно—или заводить вторую жену на сторонѣ, или сойтись съ чужой женой. Впрочемъ, если у мужа доставало энергіи и были деньги, то онъ могъ добиться и развода у духовнаго начальства. Такъ въ 1749 году одинъ енисейскій крестьянинъ жаловался, что отецъ женилъ его семилѣтняго, на сорокалѣтней дѣвкѣ, что теперь ей уже 60 лѣтъ и она положительно не способна быть женой. Крестьянинъ просилъ развода и получилъ его» (Очерки русскихъ нравовъ въ старинной Сибири. «Отечественныя Записки», 1867, № 10). Степень распространенности снохачества въ настоящее время лучше всего характеризуется слѣдующимъ любопытнымъ случаемъ. Въ Воронежской губерніи одно сельское общество купило для церкви колоколъ, который, не смотря на всѣ усилія собравшихся крестьянъ, не поднимался на колокольню. Дьячекъ, полагая, что колоколъ не идетъ оттого, что между прихожанами много грѣшниковъ, предложилъ выйти изъ толпы снохачамъ: отступила почти половина собравшихся крестьянъ (Кузнецовъ. Историко-статистическій очеркъ проституціи и сифилиса въ Москвѣ. Архивъ судебной медицины, 1870, № 4). Живучесть снохачества объясняется, вѣроятно, тѣмъ же процессомъ сосредоточенія коллективныхъ правъ всѣхъ мужскихъ членовъ семьи въ рукахъ главы—отца.

Не удаляясь отъ русской жизни, мы можемъ намѣтить еще одинъ разрядъ фактовъ, свидѣтельствующихъ о трудностяхъ, которыя должна была преодолѣть семья, чтобы вылупиться изъ неопредѣленной первобытной общественной индивидуальности. Замолкли веселые праздники Купалы и Ярилы или, по крайней мѣрѣ, утратили свой древній элементъ полнѣйшей свободы половыхъ отношеній. Но и сами они были только остатками еще болѣе глубокой древности, когда свобода половыхъ отношеній, отличаясь чисто животною откровенностью, имѣла, такъ сказать, хроническій, а не острый характеръ, т. е., когда она имѣла мѣсто не въ торжественные или праздничные дни, а составляла будничное, заурядное явленіе. Процессъ выдѣленія семьи, сопровождаемый образованіемъ религіозныхъ и поэтическихъ представленій, сконцентрировалъ это заурядное явленіе, пріурочивъ его къ опредѣленной торжественной или веселой обстановкѣ. Предразсудокъ есть обломокъ древней правды, какъ превосходно сказалъ Баратынскій. Сѣдая древность оставляетъ по себѣ болѣе или менѣе широкія прожилки, оберегаемыя религіей или обычаемъ, безсознательно окружаемыя ореоломъ почтенія и величія. Христіанство сильно боролось съ древнимъ гетеризмомъ, но явственные слѣды его остаются въ русской жизни и по сю пору. Уже древнѣйшія лѣтописи съ негодованіемъ отмѣчаютъ, что радимичи, вятичи и сѣверяне «браци не возлюбиша; но *игрища* межи селъ и ту слѣтахуся рищюще на плясаніа, и отъ плясаніа познаваху, которая жена или дѣвица до младыхъ похотеніе имать, и отъ очнаго воззрѣнія и отъ обнаженія мышца и отъ

прѣстъ ручныхъ показаніа отъ прѣстней доралаганіа на прѣсты чужая, тожъ потомъ целованіа съ любзаніемъ и плоти съ сердцемъ разжегшися слегахуся, иныхъ поимающа, а другыхъ, поругавше, метаху на насмѣяніе до смерти» (Переяславская лѣтопись). Эти неистовыя игрища, такъ далекія отъ зауряднаго спокойствія любовныхъ сношеній какихъ-нибудь дикихъ массагетовъ или назамоновъ, сами были уже «обломкомъ древней правды», на что указываетъ ихъ острый характеръ. Такія неистовства могли, конечно, совершаться только періодически, въ дни, назначенные религіей и обычаемъ, какъ откликъ старины. Съ теченіемъ времени обломокъ древней правды все больше обтирался, такъ сказать, историческимъ треніемъ, таялъ, какъ таетъ комъ снѣга, все уменьшаясь въ объемѣ. Въ XIII в. митрополитъ Кириллъ писалъ: «Мы слышали, что въ субботу вечеромъ собираются вмѣстѣ мужи и жены и играютъ безстыдно и скверну творятъ въ ночь святого воскресенія». Въ XVI вѣкѣ Стоглавъ отмѣчаетъ, что подобныя игрища происходятъ въ Ивановъ день и наканунѣ Рождества и Богоявленія, и такъ описываетъ это времяпровожденіе: «Сходятся народы, мужи и жены и дѣвицы на нощное плещеваніе и на безчинный говоръ, на бѣсовскія пѣсни и плясаніе и на богомерзкія дѣла, и бываетъ отрокамъ оскверненіе и дѣвкамъ растлѣніе. И егда нощь мимо идетъ, къ рѣцѣ тогда отходятъ крѣпціи и съ великимъ кричаніемъ, аки бѣсніи, омываются водою» (Стоглавъ, гл. 41, вопр. 24). И много подобныхъ громовъ металъ христіанскій аскетическій идеалъ противъ языческаго веселья, сильнаго своей связью съ стародавнимъ обычнымъ правомъ. Но и донынѣ, напримѣръ, въ Нижегородской губерніи, по словамъ мѣстныхъ этнографовъ, «сходятся на красную горку женихи и невѣсты, нарядясь какъ можно лучше; при этомъ бываютъ и умыванія. Купальныя ночи (*купальни*) начинаются съ перваго воскресенья послѣ пасхи и продолжаются до осени во всѣ праздники. Отъ этихъ ночей сначала завязывается *лада*, потомъ сватовство» (Е. Якушинъ, I с., VI). Въ малороссійскихъ губерніяхъ на «вечерницахъ» веселье въ складчину продолжается до полуночи, а потомъ парубки и дѣвушки тутъ же въ хатѣ ложатся спать попарно. Родственники дѣвушекъ противъ этого ничего не имѣютъ, пока дѣвушка не забеременѣетъ (Кузнецовъ). Въ Уссурійскомъ Краѣ «на зимнихъ вечернихъ сходбищахъ, или такъ называемыхъ «вечоркахъ», постоянно разыгрываются такія сцены, о которыхъ даже и неудобно говорить въ печати» (Пржевальскій. Путешествіе въ Уссурійскій Край, 30). Въ нѣкоторыхъ селеніяхъ Пинежскаго уѣзда (Арханг. губ.) допускается полная свобода половыхъ сношеній. Сношенія эти не считаются тамъ предосудительными; напротивъ того, дѣвушка, не выбранная парнемъ на вечеринкѣ, нерѣдко должна бываетъ выслушивать горькіе упреки отъ своей матери» (Е. Якушинъ, VII). Въ извѣстныхъ «Путевыхъ письмахъ изъ Новгородской губерніи» покойнаго П. И. Якушина также говорится о «посидкахъ», послѣ которыхъ всякъ «дружень схватитъ друженицу, да и пойдетъ куда нужно» (Русская Бесѣда, 1859, № 4). И проч., и проч. Всѣ эти отклики первобытныхъ половыхъ отношеній слабѣютъ, можно сказать, на нашихъ глазахъ. Такъ г. Якушкинъ приводитъ рѣшеніе воржскаго волостного суда (Ярославской губерніи, Ростовск. уѣзда), изъ котораго видно, что въ 1868 году «по общему согласію запрещено сходиться *бесѣдамъ* собственно отъ соблазновъ и непріятностей, и всѣмъ домохозяевамъ пускать въ свои дома сходбища запрещено». Такъ постепенно таетъ древнее право всякаго мужчины на всякую женщину. Причины этого процесса сводятся, во-первыхъ, къ образованію семейной индивидуальности, которая развивается и крѣпнетъ въ борьбѣ съ индивидуальностью племенной; а во-вторыхъ, къ вліянію враждебнаго древнему праву христіанства и въ частности православія, легшаго въ основаніе воззрѣній государственной власти на супружескія отношенія. Но иногда семья лишается этой религіозной поддержки, и религія напротивъ покровительствуетъ древнему праву. Въ такомъ случаѣ слагается то, что принято называть религіозной проституціей. Такъ, напримѣръ, на Балеарскихъ островахъ брачущіеся должны были выкупать у «племени» цѣною первой ночи свое право на исключительное сожительство, такъ въ Индіи, Вавилонѣ, Арменіи, Персіи, Египтѣ, Финикіи и проч., дѣвушка, передъ вступленіемъ въ бракъ, должна была купить право на это проституціей въ храмѣ. Въ этихъ случаяхъ боги какъ бы олицетворяютъ собою первобытную общественную индивидуальность, являются ея представителями и врагами нарождающейся семьи. Они только подъ условіемъ жертвы дѣвственности терпятъ исключительный, личный бракъ. Дѣвушка обязана отдаваться въ храмѣ Милиты, Афродиты и т. д. каждому, кто потребуетъ, а плата за проституцію идетъ ей въ приданое. И это не помѣшаетъ ей найти мужа, напротивъ—чѣмъ больше ее любили, тѣмъ больше она, значитъ, достойна любви. Такъ разсуждали не только въ древности, такъ смотрятъ многіе народы и теперь. И замѣчательно, что вездѣ послѣ жертвы или, собственно говоря, цѣлаго ряда жертвъ богамъ —представителямъ древнѣйшей общественной инди-

видуальности, женщина становится вѣрной женой или, по крайней мѣрѣ, отъ нея требуется строжайшая вѣрность мужу. Многими наблюдателями замѣчено, что въ Россіи цѣломудріе дѣвушекъ и замужнихъ женщинъ находится въ обратномъ отношеніи: тамъ, гдѣ дѣвки гуляютъ въ волю, онѣ отличаются крайней строгостью нравовъ въ замужествѣ— и наоборотъ. Это—не случайное явленіе, это—результаты борьбы двухъ ступеней общественной индивидуальности. Впослѣдствіи мы нѣсколько ближе посмотримъ на одинъ крупный историческій фактъ этого рода, на положеніе женщины въ Аѳинахъ, гдѣ гетеры, представительницы древняго права свободы половыхъ отношеній, пользовались несравненно большимъ почетомъ, чѣмъ законныя жены. Въ Египтѣ незаконныя дѣти, плодъ свободной любви, ставились иногда выше законныхъ (Бахофенъ, 125). Будда воздалъ величайшій почетъ главѣ куртизанокъ города Везали (Леббокъ, 94). Въ нѣкоторыхъ частяхъ западной Африки негры съ уваженіемъ смотрятъ на публичныхъ женщинъ (тамъ же). Истинный смыслъ этихъ странныхъ для насъ явленій лучше всего раскрывается слѣдующимъ разсказомъ Карвера, приводимымъ Леббокомъ. Во время пребыванія своего у одного сѣверо-американскаго племени, Карверъ замѣтилъ, что всѣ съ необыкновеннымъ почтеніемъ относятся къ одной женщинѣ. Оказалось, что «однажды она пригласила сорокъ главнѣйшихъ воиновъ въ свой шатеръ, приготовила для нихъ пиръ и относилась къ нимъ во всѣхъ отношеніяхъ такъ, какъ бы они были ея мужьями. При дальнѣйшихъ разспросахъ Карверу было сообщено, что это—древній обычай, уже пришедшій въ забвеніе, и что едва въ цѣломъ поколѣніи найдется одна женщина, достаточно смѣлая, чтобы устроить такой пиръ, не смотря на то, что полный успѣхъ обѣщаетъ ей самаго завиднаго мужа».

Читатель понимаетъ, конечно, что я далекъ отъ мысли представить что-нибудь похожее на полную исторію семьи. Моя цѣль совсѣмъ иная. Всѣ вышеупомянутые факты приведены, во-первыхъ, для того, чтобы утвердить отсутствіе семьи, какъ исходную точку супружескихъ и родительскихъ отношеній, и, во-вторыхъ, чтобы показать общій процессъ выдѣленія семьи изъ «племени», если это слово здѣсь умѣстно, процессъ борьбы этихъ двухъ ступеней общественной индивидуальности. Многія изъ относящихся сюда явленій ниже опять привлекутъ наше вниманіе. Будутъ указаны и другія, изъ которыхъ я долженъ теперь же упомянуть нѣкоторыя. Мы увидимъ впослѣдствіи, что первобытная женщина занимала въ обществѣ совѣмъ не такое мѣсто, какое она занимаетъ нынѣ у цивилизованныхъ народовъ и дикарей. Она не была ни явной, ни замаскированной рабой, она была по малой мѣрѣ равна мужчинѣ. Эту черту, разъясненіе которой я принужденъ до поры, до времени отложить въ сторону, читатель долженъ постараться ввести въ неясную картину отдаленнаго отъ насъ на тысячи лѣтъ человѣческаго быта.

Историки, соціологи, публицисты и т. д., занимавшіеся изученіемъ семейныхъ отношеній, брака, «женскаго вопроса» и т. д., брали обыкновенно подъ свое покровительство ту или другую форму брака, т. е., ту или другую ступень *общественной* индивидуальности, и приглашали читателей торжествовать ея побѣду, видѣли въ приближеніи къ ней прогрессъ, а въ удаленіи отъ нея—регрессъ. Мы поступимъ иначе. Мы опредѣлимъ, прежде всего, отношеніе различныхъ формъ супружескихъ и родительскихъ связей къ индивидуальности человѣческой; насъ будутъ занимать *ея* побѣды и пораженія. Оставляя пока въ сторонѣ связь родителей съ дѣтьми, посмотримъ, что связывало и связываетъ мужчину и женщину. Конечно, любовь. Но многимъ кажется неудобнымъ давать это названіе связи первобытныхъ людей. Леббокъ приводитъ увѣренія многихъ путешественниковъ, что дикари любви собственно не знаютъ и не чувствуютъ. Онъ и самъ утверждаетъ, что «низшія расы не имѣютъ брачныхъ установленій; истинная любовь почти неизвѣстна имъ, и бракъ въ низшихъ фазахъ своего развитія вовсе не является дѣломъ привязанности и взаимнаго влеченія». Это разсужденіе типическое. Не одинъ Леббокъ отказывается понимать любовь независимо отъ «брачныхъ установленій», которыя, какъ показываетъ ежедневный опытъ, въ дѣйствительности далеко не всегда завершаютъ «привязанность и взаимное влеченіе». Что супружескія отношенія дикарей не имѣютъ того напряженно, исключительно личнаго характера, которымъ отличается любовь въ цивилизованныхъ обществахъ, это, конечно, вѣрно. Но отрицать у дикарей взаимное влеченіе очень мудрено. Какъ видно изъ словъ цитируемыхъ Леббокомъ путешественниковъ, ихъ смущаетъ варварское обращеніе дикарей съ женами. Но этотъ фактъ только ставитъ передъ изслѣдователемъ новую задачу и задачу очень любопытную. По словамъ г. Н. Львова, у дагестанскихъ горцевъ «мужчина смотритъ на женщину, какъ на рабочій скотъ»; «доволенъ ли мужъ своей женой, или нѣтъ, послѣдняя всетаки играетъ роль служанки, дѣйствующей по волѣ своего господина»; «женскій полъ долженъ довольствоваться остатками отъ стола откушавшихъ уже

гостей»; «ласки горцевъ къ женамъ своимъ выражаются ударами; вмѣсто нѣжныхъ словъ они дарятъ своихъ женъ кличкою и бранью въ родѣ: больхонъ—свинья, гяуръ—невѣрный, чурукай—гадкая, наджасъ—поганая и т. п.; горянки такъ привыкли къ подобнымъ нѣжностямъ, что едва ли имъ понравились бы ласки европейскія. Взамѣнъ грубыхъ ласкъ мужчинъ, женщины отвѣчаютъ имъ самыми нѣжными именами, въ родѣ: свѣтъ очей моихъ, лѣкарство изъ лѣкарствъ, да останешься ты живъ для меня, да продлится твой вѣкъ, и т. п.». Кажется, далеко ли это отъ варварскаго обращенія съ женщинами какихъ-нибудь готтентотовъ или кафровъ, которымъ путешественники отказываютъ въ любви? А между тѣмъ, «любовь у горцевъ считается священнымъ чувствомъ; они говорятъ, что гдѣ-то въ книгѣ написано, что если мусульманинъ умретъ отъ чистой любви къ женщинѣ, то наслѣдуетъ царство небесное». («Домашняя и семейная жизнь дагестанскихъ горцевъ аварскаго племени», въ III-мъ выпускѣ «Сборника свѣдѣній о кавказскихъ горцахъ»). А извѣстные разсказы о русскихъ женщинахъ и соотвѣтствующая имъ пословица «кого люблю, того и бью»? Ясно, что выкидывать взаимное влеченіе изъ супружескихъ отношеній грубыхъ варваровъ, тиранящихъ своихъ женъ, нельзя. Нужно, напротивъ, разрѣшить вопросъ: какъ можетъ это варварство уживаться съ любовью?

Что же такое любовь?

Ihr, Weisen hoch und tief gelahrt,
Die ihr's ersinnt und wisst,
Wie, wo und wann sich Alles paart?
Warum sich's liebt und küsst?
Ihr, hohen Weisen, sagt mir's an!
Ergrübelt was mir da,
Ergrübelt mir wo, wie und wann.
Warum mir so geschah?

Ergrübeln пытались многіе, слишкомъ многіе. Но изъ всей колоссальной массы отвѣтовъ на этотъ вопросъ можно выбрать только очень мало дѣйствительно цѣннаго. Прототипомъ огромнаго большинства отвѣтовъ можетъ служить рѣшеніе Виктора Гюго: l'amour c'est être deux et n'être qu'un; un homme et une femme, qui se fondent en un ange, c'est le ciel. Это до такой степени скудно и безсмысленно, что даже непереводимо. Мнѣ извѣстна только одна теорія любви, заслуживающая вниманія — теорія Шопенгауэра-Гартмана, т.-е. собственно Шопенгауэра, потому что Гартманъ только обокралъ своего мрачнаго философскаго отца, обокралъ и съ выгодой пустилъ наворованное въ оборотъ.

Вотъ какъ разсуждаетъ Шопенгауэръ (см. Die Welt als Wille und Vorstellung, B II, Metaphysik der Geschlechtsliebe).

Всякая любовь, со всѣми ея треволненіями и то трагическими, то комическими, то идиллическими аксессуарами, есть только строго опредѣленное, спеціализированное, къ извѣстному индивиду направленное половое стремленіе. «Вся исторія въ томъ, что каждый Гансъ ищетъ своей Гретхенъ» (при этомъ Шопенгауэръ замѣчаетъ, что онъ не можетъ выразиться такъ ясно, какъ это сдѣлалъ бы на его мѣстѣ Аристофанъ). Но почему же такая мелочь, такое ничтожество играетъ въ жизни такую важную роль? Почему любовь такъ властно вторгается въ жизнь и глубокомысленнаго ученаго, и государственнаго человѣка, занятаго дѣлами высокой важности; почему изъ-за такой мелочи люди готовы жертвовать и жизнью, и имуществомъ, и честью? Дѣло въ томъ, что это вовсе не мелочь. Конечная цѣль всѣхъ любовныхъ шашней вполнѣ соотвѣтствуетъ тому жару и той беззавѣтности, которые въ нихъ вкладываются. Она важнѣе всѣхъ другихъ цѣлей человѣческой жизни, потому что ею обусловливается ни больше, ни меньше, какъ образованіе новаго поколѣнія. Судьба тѣхъ дѣйствующихъ лицъ драмы человѣческаго бытія, которыя выступятъ на сцену, когда мы сойдемъ съ нея, вполнѣ опредѣляется и по существу, и по своимъ особенностямъ нашими любовными дѣлами. Только этою внутреннею и несознаваемою ихъ важностью можно объяснить то обстоятельство, что поэты всѣхъ временъ и народовъ неустанно черпали изъ любви свои сюжеты и всетаки не исчерпали ея. Возрастающая склонность двухъ любящихъ сердецъ есть уже, собственно говоря, жизненная воля новаго индивида, котораго они могутъ и хотятъ произвести; въ ихъ страстныхъ взглядахъ уже загорается новая жизнь, имѣющая сложиться въ новую гармоническую индивидуальность. Они стремятся слиться въ одно существо и достигаютъ этого въ лицѣ ребенка, который наслѣдуетъ качества и отца, и матери. Наоборотъ: взаимное и рѣшительное отвращеніе мужчины и женщины показываетъ, что новый индивидъ, котораго они могли бы вызвать къ жизни, былъ бы существомъ дурно организованнымъ, не гармоническимъ, несчастнымъ. Какъ только мужчина и женщина полюбили другъ друга, такъ возникаетъ уже зародышъ будущаго человѣка въ видѣ Платоновской идеи. Какъ и всѣ идеи, она съ страшною силою стремится выразиться въ явленіи, воплотиться, реализироваться, и эта-то мощь и стремительность и составляютъ взаимную страсть двухъ будущихъ родителей. Дѣло въ томъ, что эгоизмъ есть такое глубокое и коренное свойство всякаго индивида, что только эгоистическими цѣлями и можно навѣрное подѣйствовать на него возбудительнымъ образомъ. Поэтому для достиженія своихъ цѣ-

лей природа внушаетъ индивиду извѣстную иллюзію, благодаря которой нѣчто, составляющее благо вида или рода, представляется ему его личнымъ благомъ. Эта иллюзія есть инстинктъ. Такимъ именно характеромъ иллюзіи, самообмана, отличается и любовь. Человѣкъ думаетъ, что, стремясь соединиться съ извѣстной, опредѣленной особой другого пола, и только именно съ ней одной, онъ дѣйствуетъ исключительно въ видахъ своего личнаго наслажденія. Между тѣмъ, во всѣхъ своихъ скорбяхъ и радостяхъ любви онъ—только игралище верховной воли природы, того генія рода или вида, который одинъ пожинаетъ плоды страсти. Наслажденіе полового акта само по себѣ не увеличивается и не уменьшается, напримѣръ, красотой или безобразіемъ супруговъ. Однако, стремясь къ этой цѣли, повидимому, вполнѣ личной, человѣкъ терзаетъ свою личность на всѣ лады, топчетъ свой разумъ, честь, наконецъ, прямо лишаетъ себя жизни. Это—потому, что природа обманнымъ образомъ вдохнула въ него страсть именно къ такому-то лицу; для ея и только для ея цѣлей нужно было связать такого-то съ такой-то, а сами они, удовлетворивъ своей страсти, съ разочарованіемъ видятъ, что любовь, въ концѣ концовъ, дала имъ только то наслажденіе, которое можетъ быть получено, безъ всякой борьбы, безъ долгихъ и часто мучительныхъ стараній связать свою жизнь именно съ такимъ-то мужчиной или съ такой-то женщиной. Цѣли, преслѣдуемыя при этомъ природой, и ради которыхъ она обманываетъ людей и часто губитъ ихъ какъ индивидовъ, суть, во-первыхъ, размноженіе человѣческаго рода, во-вторыхъ, поддержаніе его типа въ возможно чистомъ видѣ, словомъ—количественное и качественное сохраненіе человѣческаго рода. Она мучитъ и счастливитъ индивидовъ для общаго блага, для блага всего человѣчества въ нескончаемой цѣпи его поколѣній. Цѣль индивидовъ – ихъ личное наслажденіе, котораго они или не получаютъ, или оплачиваютъ слишкомъ дорого. Цѣль природы—новое, многочисленное и типическое, гармонически развитое поколѣніе. И вотъ какъ дѣйствуетъ природа. Прежде всего надо замѣтить, что мужчина склоненъ къ непостоянству въ любви, женщина – наоборотъ. Любовь мужчины убываетъ, а любовь женщины прибываетъ послѣ удовлетворенія страсти. Это очень мудро со стороны природы. Мужчина можетъ произвести больше ста дѣтей въ годъ; женщина—только одного ребенка. Мужчина и стремится исполнить свою оплодотворяющую функцію, а женщина напротивъ инстинктивно, т.-е. по тайному внушенію природы, держится одного мужчины, какъ охранителя и кормильца будущаго ребенка. Такимъ образомъ, гарантируется размноженіе и сохраненіе потомства. Но природа пускаетъ въ ходъ и гораздо болѣе сложныя и тонкія средства. Они могутъ быть раздѣлены на абсолютныя, одинаково на всѣхъ дѣйствующія, и относительныя, вліяніе которыхъ индивидуально. Мы замѣчаемъ, что, несмотря на безразличіе собственно полового наслажденія, любовь вызывается почти исключительно людьми извѣстнаго возраста, именно въ предѣлахъ способности дѣторожденія. Женщина съ окончаніемъ менструаціи любви не вызываетъ. Ясно, что руководящій при этомъ нами инстинктъ направленъ исключительно на созданіе новаго поколѣнія. За извѣстнымъ возрастомъ слѣдуетъ, какъ мотивъ выбора, здоровье: острыя болѣзни мѣшаютъ любви только временно, хроническія же положительно отталкиваютъ насъ, потому что они передаются дѣтямъ, хотя опять-таки мы не сознаемъ и не принимаемъ въ соображеніе этого невыгоднаго для потомства результата. Далѣе на насъ вліяютъ отталкивающимъ образомъ несоразмѣрный ростъ, уродство въ строеніи скелета. Маленькія ноги важны, какъ одна изъ характеристичнѣйшихъ особенностей человѣческаго типа. Зубы играютъ роль въ безсознательномъ выборѣ предмета любви, потому что важны для пищеваренія, и еще потому, что качества ихъ унаслѣдываются съ особеннымъ постоянствомъ. Извѣстная полнота въ женщинѣ привлекаетъ насъ той гарантіей, которую она предоставляетъ для обильнаго питанія зародыша. Наконецъ, важное значеніе имѣетъ красота лица, при чемъ особенно выдается привлекательность правильнаго носа и небольшого подбородка: и то, и другое характерно для человѣческаго типа. Прекрасные глаза и красивый лобъ связаны съ психическими и преимущественно интеллектуальными качествами, которыя наслѣдуются, главнымъ образомъ, отъ матери (Шопенгауэръ убѣжденъ, что дѣти наслѣдуютъ волю и характеръ, а также физическое строеніе отъ отца, а интеллектуальныя качества и физическій ростъ отъ матери. Соображеніе это играетъ видную роль въ его очеркѣ мужскихъ качествъ, привлекательныхъ для женщинъ; этого очерка я касаться не буду, потому что и предыдущаго достаточно для уясненія точки зрѣнія нѣмецкаго философа). Таковы абсолютные, т. е. на всѣхъ распространяющіеся мотивы выбора предмета любви. Само собою разумѣется, что тутъ дѣло идетъ именно только о страстной любви. Выборъ разсудочный можетъ руководиться самыми разнообразными побужденіями и совершенно противорѣчить всѣмъ цѣлямъ природы. Мотивы относительные всѣ сводятся въ сущности къ стремленію природы исправить уклоненія

отъ видового типа или восполнить недостатки одного изъ влюбленныхъ противоположными качествами другого и такимъ образомъ создать въ лицѣ нового поколѣнія нѣчто уравновѣшенное, гармоническое, нормальное. Поэтому-то, между прочимъ, совершенно правильная красота рѣдко возбуждаетъ страстную любовь. Для страсти нужно нѣчто такое, что можетъ быть выражено только химической метафорой: влюбленные должны другъ друга нейтрализовать, какъ кислоты и щелочи нейтрализуются въ соляхъ. Мужской и женскій полъ суть односторонности. Въ одномъ индивидѣ эта односторонность выражена рѣзче, въ другомъ слабѣе: поэтому каждый индивидъ всего удобнѣе восполняется и нейтрализуется *извѣстною* степенью мужественности или женственности, и этихъ-то степеней и ищетъ человѣкъ въ представителѣ другого пола; ищетъ совершенно безсознательно, инстинктивно, въ интересахъ природы, которая имѣетъ въ виду восполненіе человѣческаго типа въ ребенкѣ. Наиболѣе мужественный мужчина всегда ищетъ наиболѣе женственной женщины, и наоборотъ. Влюбленные совершенно напрасно толкуютъ о «гармоніи ихъ душъ». Гармонія эта можетъ оказаться жесточайшимъ диссонансомъ тотчасъ послѣ свадьбы, т. е. тотчасъ по достиженіи цѣли природы, которая состоитъ въ зачатіи ребенка, приближающагося къ нормальному человѣческому типу. Природа жестоко надуваетъ влюбленныхъ, заставляя ихъ думать, что они созданы другъ для друга, тогда какъ все дѣло въ нейтрализаціи ихъ односторонностей, не въ нихъ самихъ, а въ будущемъ поколѣніи. Съ этою только цѣлью природа сводитъ слабаго въ мускульномъ отношеніи мужчину съ сильной женщиной, и наоборотъ, маленькаго мужчину съ высокой женщиной, и наоборотъ, блондиновъ съ брюнетками, тупоносыхъ съ длинноносыми и горбоносыми, стройныхъ и худыхъ съ толстыми и т. п. Очень совершенный въ какомъ-нибудь отношеніи человѣкъ, хотя, можетъ быть, и не придастъ высокой цѣны соотвѣтственному несовершенству, но, по крайней мѣрѣ, легче другихъ примирится съ нимъ, и это единственно потому, что въ немъ самомъ лежитъ уже гарантія противъ несовершенства дѣтей на этомъ пунктѣ. Благо самихъ брачущихся, самихъ влюбленныхъ и вообще отдѣльныхъ индивидовъ тутъ не при чемъ. Въ страшномъ водоворотѣ любви безпредѣльно царитъ геній вида. Не влюбленный горюетъ о своей возлюбленной или о невозможности съ ней соединиться—то вопль генія вида, которому стоятъ поперекъ дороги препятствія. Но большинство этихъ препятствій онъ ломитъ. Какъ говоритъ Шамфоръ: quand un homme et une femme ont l'un pour l'autre une passion violente, il me semble toujours que quel que soient les obstacles que les séparent, un mari, des parents etc., les deux amants sont l'un à l'autre de par la Nature, qu'ils s'appartiennent de droit divin, malgré les lois et les conventions humaines. Большая часть «Декамерона» Боккачіо есть не что иное, какъ гнѣвъ и насмѣшка генія вида надъ попираемыми имъ правами и интересами отдѣльныхъ индивидовъ. Ребенокъ, ради котораго единственно происходитъ вся исторія любви, тоже только индивидъ. Онъ выростетъ и точно такъ же будетъ, инстинктивно повинуясь волѣ генія вида, искать счастія въ любви и тоже его не найдетъ. Онъ принужденъ будетъ бороться съ тысячами препятствій, будетъ весь израненъ, потеряетъ, можетъ быть, и честь, и совѣсть и растопчетъ даже, можетъ быть, наконецъ, свою собственную индивидуальность. Извѣстны случаи, что люди, питая другъ къ другу пламенную страсть, вмѣстѣ съ тѣмъ презираютъ предметъ любви, даже ненавидятъ его внѣ полового акта. А когда страсть удовлетворена—любви конецъ, потому что ея метафизическая цѣль достигнута; затѣмъ наступаютъ уже другія чувства, можетъ быть и высокія, и пріятныя, но это—уже не любовь, а дружба, привычка, уваженіе, чувство общности жизненныхъ задачъ и т. д. Если бы страсть Петрарки была удовлетворена, мы бы не имѣли его пѣсенъ, потому что и птица перестаетъ пѣть, когда яйца положены. Браки по любви, заключаемые въ интересахъ вида (опять-таки, конечно, безсознательно), бываютъ большею частью несчастны, потому что разъ исчезаетъ иллюзія, наступаетъ разочарованіе и скорбь объ отсутствіи гармоніи душъ. Совсѣмъ иное съ браками по разсчету, въ которыхъ иллюзія не участвуетъ. Но если такіе браки и бываютъ счастливы, то счастіе это дается не любовью.

Такова теорія Шопенгауэра, которой нельзя отказать ни въ глубинѣ, ни въ послѣдовательности. Гартманъ, какъ уже сказано, только повторилъ ее и тѣмъ самымъ, относительно говоря, сдѣлалъ шагъ назадъ (что, впрочемъ, относится не къ одной теоріи любви). Со времени Шопенгауэра утекло воды совершенно достаточно для того, чтобы человѣкъ, видящій въ философіи, какъ Гартманъ, «умозрительные результаты индуктивнаго естественно-научнаго метода», нѣсколько поохладѣлъ къ идеѣ цѣлесообразности явленій природы. Между тѣмъ, какъ извѣстно, цѣли природы составляютъ фундаментъ всей пресловутой философіи Безсознательнаго. Здѣсь не мѣсто разсуждать объ этомъ предметѣ, но я долженъ упомянуть о возможности совершенно иного, дистелеологическаго, какъ сказалъ бы Геккель, объяс-

ненія явленій полового инстинкта и любви. Трудно найти область явленій, въ которыхъ таинственная мощь инстинкта заявляла бы себя такъ ярко и въ то же время такъ трудно объяснимо. Откуда берется и чѣмъ обусловливается это весеннее ликованіе природы, когда цвѣты блистаютъ своими разукрашенными половыми органами и птицы запѣваютъ свои пѣсни любви? Какъ объяснить, что даже многіе рыбы, существа, вошедшія въ поговорку своей холодностью и нѣмотою, въ пору размноженія пріобрѣтаютъ яркую окраску и даже способность издавать звуки? Какъ объяснить инстинктъ самца, безошибочно узнающаго икру своего вида и оплодотворяющаго ее? Какъ объяснить, наконецъ, ту нескончаемую поэму любви, которою полна исторія человѣчества? Во всемъ этомъ и въ другихъ безчисленныхъ проявленіяхъ полового инстинкта столько поразительнаго, что гдѣ же и искать цѣлей природы, какъ не здѣсь, въ этомъ архитаинственномъ мірѣ, гдѣ все такъ дивно прилажено и соображено! Недаромъ народъ видитъ въ любви чары, волшебство и для объясненія ея симптомовъ придумалъ разныя приворотныя зелья, напускающія сухоту на добрыхъ молодцовъ и красныхъ дѣвицъ. Людямъ ученымъ естественно было приплести сюда цѣли природы. И дѣйствительно, извѣстное разсужденіе Вольтера о часахъ и часовщикѣ напчаще примѣнялось и примѣняется къ области полового инстинкта и любви. Но бѣда въ томъ, что всякій разсуждающій о цѣляхъ природы рисуетъ эту природу съ самого себя и своей собственной личности и подсовываетъ ей тѣ цѣли, которыя онъ самъ считаетъ достойными достиженія. Я не буду говорить о томъ, какъ явно проходитъ эта тенденція сквозь всю исторію метафизики, и замѣчу только, что уже очень давно родилась, хотя и не получила должнаго развитія, мысль, вполнѣ объясняющая видимую цѣлесообразность явленій природы, не прибѣгая къ гипотезѣ цѣлей природы. Еще Эмпедоклъ доказывалъ, что поразительная законченность многихъ явленій, ставящая насъ втупикъ, есть просто дѣло случая, а не результатъ воли обдумывающей, соображающей, вообще мыслящей природы. При этомъ подъ случаемъ только и слѣдуетъ разумѣть независимость отъ чьей бы то ни было цѣлесообразной дѣятельности, а не отъ закона причинности. Дѣло въ томъ, что могли возникать тысячи, милліоны формъ, устроенныхъ вовсе не цѣлесообразно, но именно вслѣдствіе этой нецѣлесообразности они не могли продержаться на аренѣ жизни и должны были гибнуть. Слѣдовательно, какъ бы слѣпо ни творила природа, но, въ концѣ концовъ, существуютъ и подлежатъ нашему изученію только тѣ, сравнительно очень рѣдкія ея созданія, которыя прилажены къ цѣлямъ существованія. И въ этомъ весь секретъ цѣлесообразности. «Если бы кто-нибудь,—говоритъ Ланге,—чтобы убить зайца, выпустилъ милліоны выстрѣловъ во всѣхъ возможныхъ направленіяхъ; если бы онъ, чтобы попасть въ запертую комнату, купилъ десять тысячъ разныхъ ключей и перепробовалъ ихъ всѣ; если бы онъ, чтобы имѣть домъ, выстроилъ цѣлый городъ и затѣмъ всѣ лишніе дома предоставилъ на волю вѣтровъ и непогоды,—никто не назвалъ бы его дѣйствія цѣлесообразными; еще менѣе можно было бы увидѣть въ нихъ какую-нибудь высшую мудрость» (Geschichte des Materialismus. B. II, 246). Между тѣмъ, такъ именно дѣйствуетъ природа, порождая милліоны жизней, изъ которыхъ лишь немногимъ, въ видѣ исключенія, суждено дѣйствительно жить, а все остальное погибаетъ отчасти еще въ состояніи зародышей или яицъ, отчасти едва достигнувъ зрѣлаго возраста. Это разсужденіе, лежащее въ основѣ всей теоріи Дарвина, приложимо и къ частностямъ органической жизни, и къ явленіямъ полового инстинкта. Нѣтъ ничего удивительнаго въ томъ, что мы видимъ только способные къ размноженію организмы, потому что никакіе другіе не могли бы вѣдь и существовать. Природа дѣлала, можетъ быть, милліоны пробъ, извергая изъ своей творческой утробы, напримѣръ, рыбъ, не умѣющихъ распознавать икру своего вида, но всѣ эти пробы необходимо должны были потерпѣть фіаско—«не расцвѣсть и отцвѣсть». Такъ что та степень цѣлесообразности, которую мы видимъ вокругъ насъ, отнюдь не должна удивлять насъ. Вотъ если бы ея не было, это было бы дѣйствительно удивительно и совершенно необъяснимо съ точки зрѣнія научныхъ понятій о природѣ. Теперь же намъ нѣтъ никакой надобности прибѣгать къ гипотезѣ мыслящей природы—гипотезѣ, вызвавшей вопросъ Дюбуа-Реймона: гдѣ же мозгъ или вообще органъ мысли природы? Возьмите исторію любого многочисленнаго семейства. Въ немъ случались вѣроятно и выкидыши, и преждевременныя рожденія, можетъ быть и двойни, и уроды; матери рожали и красивыхъ, и некрасивыхъ, и умныхъ, и глупыхъ, и живучихъ, и неживучихъ дѣтей; рожали онѣ, разумѣется, не задаваясь цѣлями произвести на свѣтъ именно такое-то потомство, хотя, конечно, желали имѣть дѣтей умныхъ, здоровыхъ и т. д. Такъ и всеобщая мать—природа. Но надо еще прибавить, что эта всеобщая мать творитъ безстрастно и хоронитъ безъ слезъ свои дѣтища. Вѣчно бьетъ изъ ея утробы родникъ жизни, вѣчно созидаетъ она новыя и

разнообразныя формы, но лишь очень немногія, исключительно немногія, лишь тѣ, которыя случайно (въ вышеупомянутомъ смыслѣ случайно) носятъ въ себѣ залогъ возможности существованія, лишь онѣ не затираются новыми потоками жизни и живутъ, и плодятся, и множатся. Понятно, какъ просто объясняется съ этой точки зрѣнія та страшная мощь полового инстинкта, которую Шопенгауэръ и Гартманъ ставятъ на счетъ будто бы очень хитрой и постоянно насъ надувающей природы или «Генія вида», или «Безсознательнаго».

Однако, это только до тѣхъ поръ просто, пока мы разсматриваемъ явленія полового инстинкта въ общихъ чертахъ, пока мы не выходимъ изъ предѣловъ тѣхъ понятій о происхожденіи и укрѣпленіи инстинкта *вообще*, которыя Дарвинъ представилъ еще въ первомъ своемъ знаменитомъ сочиненіи. Но собственно половымъ инстинктомъ и самъ Дарвинъ, и всѣ дарвинисты занимались весьма мало, хотя Дарвинъ и вынужденъ былъ выдѣлить «половой подборъ», какъ самостоятельный факторъ органическаго прогресса. Не смотря на это выдѣленіе, на первый взглядъ такъ много обѣщающее для интересующихъ насъ здѣсь вопросовъ, половой подборъ объясняетъ вѣдь только возникновеніе и развитіе такъ называемыхъ вторичныхъ половыхъ признаковъ, т. е. такихъ половыхъ отличій, которыя не состоятъ въ прямой связи съ актомъ дѣторожденія: таковы, напримѣръ, присутствіе бороды у мужчинъ и отсутствіе ея у женщинъ и т. п. Самъ половой инстинктъ остается при этомъ въ сторонѣ. Чтобы показать читателю, какъ скудны въ этомъ отношеніи воззрѣнія дарвинистовъ, я сдѣлаю довольно длинную выписку изъ послѣдняго сочиненія геніальнѣйшаго изъ нихъ—Геккеля:

«Для полового размноженія въ его простѣйшей формѣ не требуется ничего, кромѣ сліянія или срощенія двухъ различныхъ клѣточекъ: женской, зародышевой, и мужской, сѣменной. Всѣ другія крайне сложныя явленія, группирующіяся около полового акта въ высшихъ животныхъ, играютъ только подчиненную и второстепенную роль; они только впослѣдствіи примыкаютъ къ первичному простѣйшему процессу и суть результаты «дифференцированія». Но когда мы подумаемъ, какую необычайно важную роль играютъ половыя отношенія во всей органической природѣ, какимъ могучимъ мотивомъ въ разнообразнѣйшихъ и замѣчательнѣйшихъ процессахъ является взаимная склонность, притяженіе двухъ половъ, *любовь* — то представится очень важнымъ свести эту любовь къ ея первоначальному источнику, къ силѣ притяженія (Anziehungskraft) двухъ различныхъ клѣточекъ. Во всемъ органическомъ мірѣ эта малая причина производитъ величайшія слѣдствія. Подумайте только о роли, которую играютъ въ природѣ цвѣты; объ удивительныхъ явленіяхъ, порождаемыхъ половымъ подборомъ въ мірѣ животныхъ; наконецъ, о высокомъ значеніи любви въ жизни человѣка,—и вездѣ сліяніе двухъ клѣточекъ есть первичный и единственный мотивъ; вездѣ этотъ невидный процессъ оказываетъ сильнѣйшее вліяніе на развитіе самыхъ разнообразныхъ отношеній. Можно смѣло сказать, что никакой другой органическій процессъ не можетъ быть поставленъ рядомъ съ этимъ по обширности и напряженности дифференцирующаго дѣйствія. Древняя греческая сказка о Парисѣ и Еленѣ и множество другихъ подобныхъ исторій представляютъ только поэтическое выраженіе того неизмѣримаго вліянія, которое любовь и связанный съ нею половой подборъ имѣли на исторію дифференцированія половъ. Всѣ другія страсти, волнующія грудь человѣка, даже въ совокупности своей далеко не такъ могучи, какъ воспламеняющая чувство и отуманивающая разумъ любовь. Съ одной стороны, мы благодарно идеализируемъ любовь, какъ источникъ возвышеннѣйшихъ созданій поэзіи, пластическихъ искусствъ и музыки; мы почитаемъ въ ней могучаго фактора человѣческой нравственности, основаніе семейной жизни, а черезъ нее и государственнаго развитія. Съ другой стороны, мы боимся въ ней всепожирающаго пламени, которое губитъ несчастныхъ и причиняетъ больше горя, порока и преступленій, чѣмъ всѣ другія бѣды человѣчества, вмѣстѣ взятыя. Любовь такъ полна чудесъ и такъ безконечно важно ея вліяніе на психическую жизнь, что здѣсь болѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь кажется неумѣстнымъ естественное (механическое) объясненіе. И не смотря на все это, сравнительная біологія и эмбріологія совершенно ясно и несомнѣнно сводятъ любовь къ ея древнѣйшему и простѣйшему источнику—къ *избирательному сродству* (*Wahlverwandschaft*) *двухъ различныхъ клѣточекъ: зародышевой и сѣменной* (Anthropogenie, 656).

Ни одинъ дарвинистъ не сказалъ больше этого, а между тѣмъ далеко ли мы, въ сущности, отошли, ведомые знаменитымъ ученымъ Геккелемъ, отъ теоріи забытаго метафизика Шопенгауэра? Очень недалеко, и при этомъ не совсѣмъ впередъ, не во всѣхъ, по крайней мѣрѣ, отношеніяхъ. Мы ушли, конечно, впередъ, переставъ подсовывать бездушной и безумной природѣ цѣли и цѣлесообразную дѣятельность. Но это—единственный, правда, очень крупный шагъ впередъ. Чѣмъ, въ сущности, «избирательное сродство двухъ клѣточекъ» лучше безсознательнаго взаимнаго тяготѣнія двухъ индивидовъ? Не только не лучше, а даже хуже, потому что разрѣшеніе вопроса отодвигается въ область, недоступную наблюденію. Это, конечно, отчасти зависитъ отъ самого предмета, подлежащаго объясненію, потому что, въ концѣ концовъ, сила любви такъ же мало намъ понятна, какъ и сила тяготѣнія или химическаго сродства. Кто скажетъ, что такое тяготѣніе? Въ отвѣтъ на этотъ вопросъ можно только прибѣгнуть къ описанію или распространенію, т. е. въ нѣсколькихъ или многихъ словахъ сказать то же самое, что заключается въ одномъ словѣ «тяготѣніе». Такъ и съ любовью. Но дѣло въ томъ, что всякая теорія должна обнимать большій или меньшій кругъ фактовъ и при ра-

венствѣ другихъ условій та теорія лучше, которая охватываетъ наибольшее число фактовъ. Очевидно, что теорія Шопенгауэра, оставляя въ сторонѣ ея телеологическій характеръ, съ этой точки зрѣнія лучше теоріи Геккеля. Она больше даетъ уму, оставляетъ въ рядѣ явленій полового инстинкта меньше пробѣловъ. Геккель не умѣетъ объяснить съ точки зрѣнія избирательнаго сродства двухъ клѣточекъ, ни страшной силы любви, ни того несомнѣннаго факта, что любовь требуетъ извѣстной степени контраста между любящими, ни другихъ вещей, которыя Шопенгауэръ, худо ли, хорошо ли, объясняетъ. Мы не можемъ, конечно, примириться съ его объясненіемъ, потому что оно противорѣчитъ самымъ основнымъ требованіямъ научнаго мышленія. Однако, и формулы Геккеля намъ маловато, потому что она тѣсна и узка. Но, можетъ быть, теорія достаточно широкая и невозможна безъ примѣси такой лигатуры, какъ цѣли природы? Къ счастію, дѣло, кажется, стоитъ, не такъ безнадежно, и у самихъ дарвинистовъ можетъ быть почерпнуто нѣчто весьма пригодное для нашей цѣли.

Читатель замѣтилъ, что Геккель видитъ въ явленіяхъ полового инстинкта и высшаго изъ нихъ, любви, результаты «дифференцированія» и затѣмъ имъ самимъ приписываетъ сильное дифференцирующіе вліяніе. «Дифференцированіе» стало нынѣ моднымъ словомъ, и съ нимъ случилось то же, что обыкновенно случается съ модными словами: его употребляютъ, какъ говорится, зря, вкладывая въ него неопредѣленно одобрительный смыслъ. Когда слово «свобода» стало моднымъ, то дѣло дошло до знаменитой «свободы отъ земли» и до анекдота о «свободномъ» извозчикѣ, которому мимо ходящіе хлыщи предлагаютъ кричать: «да здравствуетъ свобода». Такъ и съ дифференцированіемъ. Предполагается, что оно есть всегда или спутникъ чего-то очень хорошаго и для кого-то выгоднаго, или же составляетъ самую суть этого хорошаго. Изо всѣхъ мнѣ извѣстныхъ писателей наибольше злоупотребляетъ этимъ словомъ Спенсеръ. Я предлагаю читателю, всякій разъ какъ онъ въ разговорѣ или въ печати встрѣчаетъ слово «дифференцированіе», задавать себѣ или собесѣднику вопросъ; что именно въ данномъ случаѣ дифференцируется, и къ какимъ результатамъ дифференцированіе приводитъ? Такъ мы поступимъ и въ занимающемъ насъ случаѣ.

Всѣ разнообразные процессы размноженія сводятся къ отдѣленію отъ организма-производителя одной или нѣсколькихъ клѣточекъ, изъ которыхъ развивается новый индивидъ. Самый простой случай представляетъ размноженіе дѣленіемъ: организмъ-производитель просто распадается на двѣ или нѣсколько частей. Этотъ процессъ можетъ имѣть мѣсто только въ наименѣе дифференцированныхъ организмахъ, т. е. въ такихъ, части которыхъ ничѣмъ другъ отъ друга не отличаются, очень мало зависятъ какъ другъ отъ друга, такъ и отъ своего цѣлаго, и способны каждая составить изъ себя новое, самостоятельное цѣлое. Поднимаясь выше по лѣстницѣ организмовъ, мы встрѣчаемъ послѣдовательно почкованіе, размноженіе спорами, два вида гермафродитизма и, наконецъ, чистое половое размноженіе. Эта градація идетъ параллельно усложненію, дифференцированію организмовъ. Развиваясь, дифференцируясь, организмъ побѣждаетъ входящія въ него низшія индивидуальности именно тѣмъ, что водворяетъ между ними несходство, спеціализацію и раздѣленіе труда. Уже на ступени почкованія не всѣ части организма способны произвести новый индивидъ: почки выростаютъ обыкновенно только на извѣстныхъ мѣстахъ организма-производителя. Наконецъ, въ высшихъ животныхъ только ничтожная доля клѣточекъ, именно клѣточки зародышевыя и сѣменныя, способны развиваться въ самостоятельный индивидъ. Только онѣ сохраняютъ еще всю сумму свойствъ, необходимыхъ для самостоятельной, свободной жизни, только онѣ не побѣждены высшею индивидуальностью, а всѣ остальныя клѣточки сгруппированы въ служебные, подчиненные органы и усвоили себѣ только одну какую-нибудь спеціальную сторону жизни.

Самымъ процессомъ своего развитія организмъ, какъ и всякая другая ступень индивидуальности, установляетъ между своими частями раздѣленіе труда и вмѣстѣ съ тѣмъ зависимость и рабство. Подвергшіяся дифференцированію части всякаго побѣдоноснаго цѣлаго, другъ безъ друга жить не могутъ и въ то же время суть рабы или цѣлаго, или другъ друга. Дѣло въ томъ, что всякое побѣдоносное цѣлое можетъ, въ свою очередь, оказаться побѣжденнымъ другою, еще высшею индивидуальностью. И это именно явленіе можно прослѣдить въ градаціи способовъ размноженія. Въ этой градаціи замѣчается не только усиленіе раздѣленія труда, дифференцированія между клѣточками и органами и, слѣдовательно, не только ростъ побѣды индивида въ тѣсномъ смыслѣ, а и усиліе раздѣленія труда, дифференцированія между индивидами и, слѣдовательно, зачатки ихъ пораженія новою, высшею индивидуальностью. *Процессы дифференцированія двухъ сосѣднихъ ступеней индивидуальности необходимо враждебны одинъ другому,* вотъ незыблемое правило, котораго, къ сожалѣнію, не хотятъ знать господа, зря толкующіе о дифференцированіи и видящіе въ немъ всегда

какое-то безусловное благо—для кого? они не говорятъ и сами не знаютъ. Дифференцированіе есть всегда побѣда для извѣстной ступени индивидуальности, но вмѣстѣ съ тѣмъ она всегда неизбѣжно составляетъ пораженіе для другой ступени. Спрашивается: какая же это новая ступень индивидуальности дифференцируетъ мужской и женскій полъ, устанавляетъ раздѣленіе труда въ актѣ воспроизведенія новыхъ поколѣній? Семья. Зачатки ея даны уже въ двуполомъ гермафродитизмѣ, потому что такіе гермафродиты въ періодъ размноженія сходятся другъ съ другомъ, сближаются и это сближеніе достигаетъ иногда полнѣйшаго слитія, такъ что два индивида совершенно сливаются въ одно цѣлое, и уже въ этомъ новомъ цѣломъ образуется будущее поколѣніе. При чистомъ половомъ размноженіи трудъ произведенія новаго поколѣнія окончательно дѣлится между самцомъ и самкой и тѣмъ кладется начало семьѣ. Но благодѣтельный для побѣдителей, роковой для побѣжденныхъ законъ дифференцированія и раздѣленія труда на этомъ не останавливается. Онъ все глубже и рѣзче отдѣляетъ самку и самца, дѣлаетъ ихъ все менѣе другъ на друга похожими и все болѣе другъ отъ друга зависимыми. Дарвинъ предполагаетъ, что долго послѣ того, какъ предки млекопитающихъ перестали быть гермафродитами, оба пола могли отдѣлять молоко и оба кормить дѣтенышей, а у сумчатыхъ оба пола могли носить дѣтенышей въ брюшныхъ сумкахъ. Еще и теперь нѣкоторые рыбы-самцы носятъ яйца самокъ въ мѣшкахъ до выхода молодыхъ рыбъ, а потомъ, говорятъ, даже кормятъ ихъ; самцы другихъ рыбъ выводятъ икру во рту или жаберныхъ полостяхъ; самцы нѣкоторыхъ жабъ наматываютъ четкообразную икру, которую мечутъ самки, на свои бедра, гдѣ она и остается до выхода головастиковъ; у нѣкоторыхъ птицъ самцы берутъ на себя весь трудъ вывода птенцовъ; у голубей самцы наравнѣ съ самками кормятъ птенцовъ сокомъ, отдѣляемымъ ихъ зобомъ. Есть, слѣдовательно, полное основаніе предполагать, что предки млекопитающихъ, хотя уже раздѣльнополые, были, однако, настолько всѣ сходны, равны между собой, что трудъ кормленія дѣтей не дѣлился между самцами и самками. На это указываютъ и многія другія обстоятельства. «Если мы предположимъ,—говоритъ Дарвинъ,—что въ теченіе продолжительнаго прошлаго періода самцы помогали самкамъ въ уходѣ за дѣтенышами и что впослѣдствіи по какой либо причинѣ,—напримѣръ, вслѣдствіе уменьшенія числа рождавшихся дѣтенышей—самцы перестали оказывать самкамъ эту помощь, то намъ будетъ понятно, какимъ образомъ неупотребленіе органовъ въ періодъ зрѣлости должно было повести къ ихъ недѣятельности» (Происхожденіе человѣка и половой подборъ, I, 238). Такимъ образомъ объясняется атрофированіе молочныхъ железъ у самцовъ млекопитающихъ. Далѣе развиваются другіе, такъ называемые вторичные половые признаки, т. е. такіе, которые есть у самцовъ, но нѣтъ у самокъ, и наоборотъ. Идите дальше, въ человѣческое общество, и вы увидите, что вторичные половые признаки становятся вмѣстѣ съ развитіемъ семьи все рѣзче. На этомъ результатѣ сходятся самыя разнообразныя отрасли новѣйшей науки: исторія, этнографія, физіологія, анатомія. У нынѣ существующихъ низшихъ расъ и въ низшихъ классахъ цивилизованныхъ народовъ, а также у исчезнувшихъ древнихъ народовъ, насколько исторія можетъ возстановить ихъ характеръ, половыя различія несравненно слабѣе, чѣмъ въ культурныхъ классахъ у культурныхъ народовъ. Такъ, напримѣръ, Ретціусъ нашелъ, что «женскіе черепа высшихъ классовъ въ Швеціи обнаруживаютъ несравненно рѣзче половыя особенности, нежели черепа простыхъ крестьянокъ» (Мечниковъ. Антропологія и дарвинизмъ, «Вѣстникъ Европы», 1875, № 1). Риль, какъ и многіе другіе наблюдатели, замѣчаетъ, что разница въ ростѣ и физіономіи между мужчинами и женщинами гораздо замѣтнѣе въ высшихъ классахъ, чѣмъ въ низшихъ. Тотъ же Риль замѣчаетъ, что это самое отношеніе можетъ быть усмотрѣно даже въ звукѣ голоса мужчины и женщины на различныхъ стадіяхъ цивилизаціи. Онъ указываетъ, что въ Европѣ постепенно исчезаютъ контральты и высокіе тенора, а вырабатываются наиболѣе рѣзкіе контрасты: для мужчинъ басы, для женщинъ сопрано (Die Familie, 27). Негры, монголы, американскіе, малайскіе народы въ обоихъ полахъ почти безбороды, тогда какъ въ кавказской расѣ мужчины рѣзко отличаются отъ женщинъ бородой и усами, такъ что нѣмки даже выработали пословицу: ein Kuss ohne Bart ist ein Ei ohne Salz, т. е. поцѣлуй безбородаго человѣка все равно, что яйцо безъ соли. Анатомы Гушке и Велькеръ пришли къ тому заключенію, что, «по мѣрѣ увеличенія совершенства расы увеличивается и разница между полами по отношенію къ вмѣстимости черепной полости; особенно же сильно превосходитъ въ этомъ отношеніи европеецъ европейку сравнительно съ негромъ и негритянкой» (Мечниковъ). По изслѣдованіямъ одного англичанина вѣсъ мозга цыгана равенъ 1245 граммамъ, цыганки—1224; у лапландцевъ это отношеніе выразится цифрами 1350 и 1264, у ирландцевъ—1406 и 1261, у нѣмцевъ — 1499 и 1160 (Reich. Studien über die Frauen, 45). По Топинару («Антропологія») средній объемъ

внутренности черепа современнаго парижанина равенъ 1558 кв. сантиметр., парижанки—1337; у корсиканцевъ соотвѣтственными цифрами будутъ 1552 и 1367; у французовъ временъ Меровинговъ—1504 и 1361; у китайцевъ — 1518 и 1383; у ново-каледонцевъ—1460 и 1330. Хотя всѣмъ подобнымъ вычисленіямъ слѣдуетъ довѣрять только съ большою осторожностью, но въ связи съ цѣлымъ рядомъ другихъ фактовъ и они могутъ имѣть свое значеніе, какъ одно изъ свидѣтельствъ, что, по мѣрѣ развитія цивилизаціи, половыя различія усиливаются, т. е. усиливается половое дифференцированіе. Но намъ извѣстно уже, что исходною точкою супружескихъ отношеній должно быть признано отсутствіе семьи, и что народы вымершіе и нынѣ существующія низшія расы и низшіе классы цивилизованныхъ народовъ до сихъ поръ сохранили многочисленные слѣды первобытныхъ формъ общежитія. Слѣдовательно, развитіе семьи и усиленіе половыхъ различій идутъ рука объ руку. Въ этомъ нѣтъ ничего удивительнаго. Семья, какъ высшая индивидуальность, развиваясь, установляетъ между своими частями раздѣленіе труда, назначаетъ своимъ членамъ различныя занятія, а приспособленіе къ этимъ спеціальнымъ занятіямъ отражается на физической организаціи членовъ.

Намъ говорятъ, что въ этомъ состоитъ прогрессъ. Нѣкоторые говорятъ это прямо, напримѣръ, г. Шкляревскій (Объ отличительныхъ свойствахъ мужского и женскаго типовъ), Риль (Die Familie). Но, напримѣръ, Риль, дойдя до извѣстныхъ фактовъ, до которыхъ и мы въ свое время дойдемъ, съ негодованіемъ говоритъ объ Ueberweiblichkeit и объ übertriebene Sonderung der Geschlechter, т. е. о чрезмѣрной женственности и чрезмѣрномъ различіи половъ. Тогда какъ вызывающіе его негодованіе факты логически неизбѣжны съ его собственной точки зрѣнія, составляютъ дальнѣйшее развитіе того, что онъ самъ признаетъ хорошимъ и желательнымъ. Другіе, напримѣръ, многіе выше цитированные авторы, освоившись съ идеей равноправности половъ, съ нѣкоторымъ удивленіемъ отмѣчаютъ тотъ фактъ, что у болѣе «совершенныхъ» расъ и «болѣе цивилизованныхъ» классовъ половыя различія становятся все сильнѣе и что, слѣдовательно, цивилизація несетъ съ собой не равноправность половъ, а нѣчто совсѣмъ противоположное. И въ самомъ дѣлѣ, съ точки зрѣнія ходячаго либерализма, мы имѣемъ тутъ поразительное, необъяснимое явленіе. Какъ бы мы ни толковали о варварствѣ дикарей, которые бьютъ своихъ женъ, но вѣдь драка—это общій фонъ жизни дикарей. Они и другъ друга бьютъ, и жены ихъ бьютъ и очень сильно, какъ увидимъ, а нѣкогда били еще сильнѣе. Во всякомъ случаѣ фактъ относительнаго равенства половъ въ первобытномъ обществѣ несомнѣненъ. Это равенство изгнано, какъ говорятъ, «цивилизацей». Если бы мы имѣли право связывать умственныя способности съ вѣсомъ мозга, то, на основаніи цифръ, приводимыхъ Рейхомъ, должны бы были сдѣлать слѣдующее заключеніе: съ развитіемъ цивилизаціи женщины глупѣютъ не только относительно, т. е. отстаютъ отъ развитія умственныхъ способностей мужчинъ, а даже и абсолютно: вѣсъ мозга цыганки равенъ 1224, лапландки 1264, а у нѣмки—1160. Повторяю, всѣ подобныя вычисленія, неизвѣстно на какихъ основаніяхъ основанныя, не заслуживаютъ довѣрія. Но они всетаки наглядно, хоть можетъ быть и грубо, освѣщаютъ тотъ коренной фактъ, который ставитъ втупикъ точку зрѣнія ходячаго либерализма. Противники такъ называемой эмансипаціи женщинъ находятся въ несравненно болѣе выгоднымъ положеніи, потому что они могутъ острить, какъ и дѣлаетъ Рейхъ, что, дескать, эмансипація налегче можетъ осуществляться у цыганъ и вообще у какихъ-нибудь дикарей, забытыхъ исторіей.

Но для насъ необязательно ни недоумѣніе либераловъ, ни остроуміе такъ называемыхъ консерваторовъ, потому что мы умѣемъ различать типы и степени развитія, знаемъ, что очень высокій типъ можетъ находиться на очень низкой степени, и наоборотъ. Важность этого обстоятельства даетъ мнѣ смѣлость съ совершенно серьезными намѣреніями разсказать полу-комическую, полу-фантастическую, но превосходную сказку, которую Платонъ въ одномъ изъ своихъ разговоровъ («Пиршество») влагаетъ въ уста Аристофану.

На «пиршествѣ» поочереди говорятъ все очень умныя вещи объ Эротѣ, о Любви, и умнѣе всѣхъ, конечно, Сократъ. Только одна рѣчь проходитъ безъ всякихъ одобрительныхъ возгласовъ,—рѣчь Аристофана, но я только ее и приведу, нѣсколько сокративъ и измѣнивъ, потому что тамъ есть «нецензурныя» подробности.

Встарину,—говоритъ Аристофанъ,—люди были совсѣмъ не то, что теперь. Съ виду это были существа шарообразныя, съ четырьмя руками, четырьмя ногами, съ двумя совершенно схожими лицами, съ четырьмя ушами, съ двойными половыми органами. Ходить они могли такъ же, какъ и мы ходимъ, но для скорости перекатывались колесомъ на своихъ восьми конечностяхъ. И это были не мужчины и женщины, а нѣчто единое и цѣлое, мужчина и женщина вмѣстѣ. Сила у нихъ была громадная, какъ физи-

ческая, такъ и умственная. Разсказъ Гомера объ исполинахъ, которые вздумали проложить себѣ дорогу на Олимпъ, относится собственно къ этимъ могучимъ цѣльнымъ людямъ. Боги призадумались. Оставлять дерзость людей безнаказанною было нельзя, а истребить ихъ въ конецъ—не хотѣлось, потому что тогда некому бы было приносить богамъ жертвы и воздавать почести. Наконецъ, Зевесъ придумалъ выходъ. Онъ рѣшилъ разрубить людей пополамъ. Такимъ образомъ они ослабѣютъ, разсуждалъ мудрый богъ, и кромѣ того, ихъ станетъ вдвое больше, значитъ и жертвоприношеній больше. Пусть они ходятъ на двухъ ногахъ, сказалъ Зевесъ, а если они всетаки не успокоятся и будутъ продолжать свои бунты, я разрублю ихъ еще разъ и они будутъ двигаться на одной ногѣ, какъ волчки. Сказано, сдѣлано. Зевесъ разрѣзалъ людей пополамъ, какъ рѣжутъ яблоко или яйцо. Затѣмъ онъ велѣлъ Аполлону повернуть имъ шеи и лица напередъ, къ сторонѣ разрѣза, чтобы они его всегда видѣли и казнились. Кромѣ того, нужно было натянуть кое-гдѣ кожу и вообще вылѣчить разрѣзанныя половинки, что Аполлонъ и исполнилъ. Разрѣзанныя половины устремились одна къ другой, обнялись, схватились руками и не хотѣли разлучаться ни на минуту, такъ что многія изъ нихъ умерли съ голоду. Если умирала одна изъ нихъ, то другая искала новую. Наконецъ, Зевесъ сжалился надъ ихъ несчастнымъ положеніемъ и сдѣлалъ въ ихъ строеніи еще нѣкоторыя измѣненія, которыя окончательно дали разрѣзаннымъ половинкамъ теперешнюю форму мужчинъ и женщинъ и вмѣстѣ съ тѣмъ породили то, что мы называемъ любовью... Любовь, слѣдовательно, есть стремленіе къ цѣлостности, стремленіе людей другъ къ другу съ цѣлью возстановленія первобытной могучей природы человѣка. Каждый изъ насъ есть только полчеловѣка и каждая половина ищетъ своей половины. Счастливый бракъ есть случай удачнаго подбора половинокъ, несчастный—неудачнаго.

Этотъ превосходный, глубоко-поэтическій и глубокомысленный миѳъ дорогъ намъ въ двухъ отношеніяхъ. Во-первыхъ, потому, что онъ рѣзко ставитъ превосходство гермафродитизма (какъ физіологическаго *типа*) передъ раздѣльнополымъ существованіемъ, а во вторыхъ, потому, что не менѣе рѣзко указываетъ на болѣзненный источникъ половой любви. Люди гермафродитами никогда не были. Надо спуститься по нашему генеалогическому дереву, вмѣстѣ съ Дарвиномъ и Геккелемъ, до асцидій, чтобы встрѣтить гермафродитизмъ. Поэтому людей мы теперь изъ счета выкинемъ. Но несомнѣнно, что когда впервые обозначилось раздѣльнополое существованіе и для образованія новаго индивида потребовалась встрѣча *двухъ* половыхъ продуктовъ, сѣменной и зародышевой клѣточки — *типъ* животныхъ понизился, и произошло нѣчто описываемое Аристофаномъ; сравнительно сильный, высоко развитый типъ какъ бы былъ разрубленъ на двѣ сравнительно слабыя половины. Образовался *sexe*, *Geschlecht*, нѣчто разрубленное, или *полъ*, т. е. половина. Люди, зря толкующіе о дифференцированіи и раздѣленіи труда, доказываютъ, что «освобожденіе гермафродитовъ отъ соотвѣтственной половины генетической дѣятельности открываетъ имъ возможность тѣмъ большаго совершенствованія относительно другихъ отправленій» (Шкляревскій). Пусть такъ, но всѣ эти усовершенствованія, если бы они были дѣйствительно такъ велики, какъ говорятъ, и даже больше, должны быть исключительно отнесены къ *степени* развитія, а типъ всетаки понизился, поскольку раздѣленіе труда произошло между индивидами, а не между органами въ предѣлахъ одной и той же индивидуальности. Тамъ, гдѣ половой актъ сопровождается полнѣйшимъ слитіемъ двухъ индивидовъ въ одинъ, внутри котораго развивается молодое поколѣніе, тамъ «всегда (in der Regel) этотъ новый индивидъ обладаетъ болѣе высокою организаціей, чѣмъ тѣ два, изъ слиянія которыхъ онъ произошелъ». (Häckel. Anthropogenie, 130). Это же разсужденіе приложимо и къ болѣе важнымъ изъ вторичныхъ половыхъ признаковъ. Человѣкъ получилъ раздѣльнополое существованіе по наслѣдству, но отдаленнѣйшій его типъ, который мы имѣемъ уже, однако, право называть человѣкомъ, не зналъ тѣхъ вторичныхъ половыхъ признаковъ, тѣхъ половыхъ различій, которыя выросли и растутъ съ тѣхъ поръ. Какими бы побочными усовершенствованіями ни сопровождался этотъ ростъ половыхъ различій, но въ суммѣ они представляютъ всетаки высокую, колоссальную, если хотите, степень развитія пониженнаго типа. Индивидуальность человѣческая при этомъ какъ мужчины, такъ и женщины, терпитъ коренной ущербъ, совсѣмъ не восполняемый побочными побѣдами. Если будетъ кѣмъ-нибудь доказано (чего, однако, быть не можетъ), что зло—ущербъ неизбѣжный, то изъ этого всетаки не слѣдуетъ, что ущерба нѣтъ.

Индивидуальность человѣческая при этомъ побѣждается высшею, семейною индивидуальностью, въ которую входятъ, какъ подчиненные члены, супруги, дѣтей и затѣмъ рядъ болѣе дальнихъ родственниковъ. Мы пока заняты только супругами. Ихъ связываетъ любовь. И здѣсь намъ опять поможетъ

Платоновскій миѳъ. Половой инстинктъ и его высшее проявленіе, любовь, люди опять-таки получили по наслѣдству. Происхожденіе полового инстинкта должно быть отнесено къ тому же рѣшительному въ исторіи жизни на землѣ моменту, когда впервые полы обособились, дифференцировались. И для этого момента картина, нарисованная Аристофаномъ или Платономъ, совершенно вѣрна въ основаніи. Геніальный фантазеръ угадалъ. Сравните процессы размноженія при простомъ дѣленіи одного индивида и при предварительномъ полномъ сліяніи двухъ индивидовъ въ одно цѣлое. Въ первомъ случаѣ нѣсколько клѣточекъ, повинуясь закону развитія, достигаютъ извѣстной степени возможности самостоятельно относиться къ внѣшнему міру и отдѣляются. При сліяніи, напротивъ, два индивида въ извѣстный моментъ своей жизни оказываются слишкомъ слабыми для самостоятельнаго существованія, оказываются половинками, которыя стремятся слиться и образовать одно цѣлое. Ощущенія этихъ половинокъ намъ, конечно, не извѣстны, но вѣрно, что онѣ порознь существовать не могутъ. Если мы примемъ указанный въ первомъ очеркѣ законъ развитія, то это явленіе значительно уяснится намъ. По закону развитія, организмы стремятся къ постоянному усложненію, или, что то же, усовершенствованію. Механическія причины этого стремленія намъ не извѣстны, но оно столь же неуклонно, какъ стремленіе ртути вверхъ по трубкѣ термометра; только послѣдняго движенія мы не называемъ неопредѣленымъ словомъ «стремленіе», потому что свели его на механическія причины. Такъ какъ всякая индивидуальность стремится къ усложненію, а усложненіе двухъ сосѣднихъ ступеней индивидуальности ведетъ, какъ мы знаемъ, къ враждебному ихъ столкновенію, то въ результатѣ могутъ оказаться очень разнообразныя явленія, между прочимъ, и упрощеніе организаціи; упрощеніе можетъ быть только въ одномъ или нѣсколькихъ отношеніяхъ, а въ другихъ развитіе, усложненіе можетъ идти своимъ чередомъ и достигать очень высокой степени. Такой именно случай представляетъ обособленіе половъ. Какъ и всякое раздѣленіе труда между индивидами одного и того же вида, оно—явленіе болѣзненное. Простой гермафродитъ внутри себя развиваетъ въ двухъ различныхъ мѣстахъ оба половые элемента—сѣменныя и зародышевыя клѣточки. И это съ точки зрѣнія индивидуальной жизни — высшій типъ размноженія. Рядъ случайныхъ уклоненій, поддержанныхъ наслѣдственною передачею и очевидно невыгодныхъ съ точки зрѣнія богатства индивидуальной жизни, мало-по-малу атрофировалъ въ однихъ индивидахъ мужскую, въ другихъ женскую способность. Встрѣтивъ въ этомъ пунктѣ задержку, законъ развитія обходитъ преграду и возстановляетъ первичное единство и совершенство, цѣльность, сложность—сліяніемъ. Мы видѣли, что индивидъ, образованный сліяніемъ, дѣйствительно выше вошедшихъ въ него отдѣльныхъ индивидовъ. Это-то замѣчательное выраженіе закона развитія, будучи увѣковѣчено наслѣдственной передачей, развивается съ теченіемъ времени въ половой инстинктъ, а затѣмъ въ любовь. Безъ него раздѣльнополые организмы не могли бы существовать, потому что не давали бы потомства. Постепенно глохли бы да глохли тѣ осужденные на гибель гермафродиты, у которыхъ способность выдѣлять мужскіе или женскіе половые продукты атрофировалась. Первоначально сливаться раздѣльнополые организмы должны были въ силу чисто механическихъ причинъ, на которыя имѣетъ быть разложенъ законъ развитія. О стремленіи въ силу наслажденія, конечно, тутъ не можетъ быть рѣчи, какъ не можетъ быть рѣчи о мукахъ родовъ при распаденіи какого-нибудь простѣйшаго организма на два или нѣсколько новыхъ индивидовъ. Наслажденіе и страданіе, вся страшная и увлекательная сторона любви развивалась постепенно, вмѣстѣ съ развитіемъ нервной системы и психической жизни. Но первый толчокъ былъ именно таковъ, какъ его изобразилъ Аристофанъ. Любовь—не надувательство природы, или безсознательнаго, или генія вида, преслѣдующихъ какія-то свои цѣли. Она—и не неудобопонятное избирательное сродство двухъ клѣточекъ. Она одно изъ выраженій великаго закона развитія, сдерживаемое другими проявленіями того же закона. Платонъ правъ: любовь—взаимное тяготѣніе двухъ разрѣзанныхъ половинокъ. Но слиться эти половинки могутъ только въ низшихъ организмахъ. Въ силу все того же закона развитія, высшіе организмы приспособляютъ всѣ свои клѣточки къ цѣлямъ своего индииндуальнаго, личнаго существованія, давятъ ихъ, группируютъ ихъ въ служебные, подчиненные органы. Лишь сѣменныя и зародышевыя клѣточки избавлены отъ этого гнета, и только онѣ и сливаются въ новый индивидъ, который въ первую пору своего эмбріональнаго развитія дѣйствительно оказывается не половинкой, а цѣльнымъ существомъ—онъ имѣетъ и мужскія, и женскія железы. Только съ теченіемъ времени сказывается наслѣдственная сила раздѣленія половъ, и человѣкъ родится мужчиной или женщиной, во всякомъ случаѣ—половинкой. Опять и опять начинаетъ свою работу неустанный и слѣпой законъ развитія; опять

и опять загорается онъ пламенемъ любви и вновь сливаетъ зародышевыя и сѣменныя клѣточки, и т. д.

Понятенъ съ этой точки зрѣнія и отмѣченный Шопенгауэромъ фактъ важности контрастовъ въ любви. Природа разрѣзала половинки не совсѣмъ такъ правильно, какъ разсказываетъ Аристофанъ. Или, можетъ быть, она исполнила угрозу Зевеса и, такъ какъ раздѣльнополые люди были всетаки еще слишкомъ сильны и могущественны, то разрубила ихъ еще разъ и, можетъ быть, не одинъ разъ или хоть такъ, слегка надрубила. Есть и другіе контрасты, которые законъ развитія стремится слить для возстановленія первичной цѣльности...

Понятенъ далѣе и тотъ фактъ, что любовь уживается рядомъ съ взаимнымъ отчужденіемъ, враждебностью, презрѣніемъ, вообще, съ отрицательнымъ отношеніемъ представителей обоихъ половъ. Это отрицательное отношеніе, выражаясь въ крайне грубой формѣ у дикарей, въ сущности, однако, гораздо менѣе сильно у нихъ, чѣмъ у народовъ и классовъ цивилизованныхъ, гдѣ оно закутывается въ формы тонкія и мягкія. Зависитъ это отъ того, что между дикаремъ и дикаркой нѣтъ сильныхъ контрастовъ, которые, дѣлая ихъ другъ другу необходимыми, въ то же время взаимно отчуждали бы ихъ. Мы знаемъ, что подвергшіяся дифференцированію части всякаго побѣдоноснаго цѣлаго другъ безъ друга жить не могутъ и въ то же время суть рабы или цѣлаго, или другъ друга. Допустите теперь сюда мысленно свѣтъ сознанія. Представьте себѣ, что дифференцированныя части одушевлены самосознаніемъ. Тогда надо будетъ сказать, что онѣ другъ друга любятъ до безумія, потому что даже жить врозь не могутъ, и въ то же время сознаніе взаимнаго рабства можетъ имъ внушать нѣчто въ родѣ взаимной вражды, если, разумѣется, предположить сознаніе достигшимъ достаточно высокой степени развитія. Въ человѣчествѣ эта степень, конечно, достигнута...

Да не подумаетъ читатель, чтобы я хотѣлъ этими нѣсколькими строками отдѣлаться отъ контрастовъ, какъ источника притягательной и вмѣстѣ съ тѣмъ отталкивающей силы. Объ этомъ рѣчь будетъ дальше, и тогда для насъ окончательно выяснится значеніе любви, какъ одного изъ проявленій великаго закона развитія.

III *).

Семья.

(*Продолженіе*).

Кувада.—Нѣсколько словъ о положеніи дѣтей.—„Женовластіе" Бахофена.—Сказки о женскихъ царствахъ, амазонки.—Миѳы Беллерофона и проч.—Второстепенныя черты женовластія.—Правая и лѣвая рука.—Борьба за индивидуальность и борьба за существованіе.—Гипотеза г-жи Ройе.—Существуетъ ли общее женское дѣло.—Любовь въ средніе вѣка.

Страбонъ разсказываетъ, что у иберійцевъ, жившихъ на сѣверѣ Испаніи, женщины «послѣ родовъ кладутъ вмѣсто себя въ постель своихъ мужей и ухаживаютъ за ними». Діодоръ Сицилійскій повѣствуетъ о такомъ же обычаѣ у жителей Корсики. Нимфодоръ и Аполлоній разсказываютъ то же самое объ одномъ скиѳскомъ племени. Есть свидѣтельства, что этотъ странный обычай и донынѣ сохранился въ нѣкоторыхъ провинціяхъ Испаніи и Франціи. Онъ и носитъ французское названіе couvade, что собственно значитъ высиживаніе, отъ couver (говорится о птицахъ, высиживающихъ яйца). Распространеніе кувады далеко не ограничивается уголкомъ Европы. По свидѣтельству путешественниковъ, многіе туземцы южной Америки, южной Индіи, гренландцы, камчадалы, дайяки на Борнео и проч., въ большей или меньшей степени сохранили обычай кувады (см. Тайлора «Доисторическій бытъ человѣчества», 395 и слѣд., и Леббока «Начало цивилизаціи», 15 и слѣд.). Вотъ, напримѣръ, что говоритъ миссіонеръ Добрицгофферъ объ абипонахъ: «Какъ только вы услыхали, что жена абипонца родила ребенка, то тутъ же вы видите, какъ ея мужъ ложится въ постель, укутывается цыновками и кожами, чтобы не пахнуло на него вреднымъ вѣтромъ, и въ продолженіе извѣстнаго числа дней соблюдаетъ постъ, хранимый въ тайнѣ **), т. е. строго воздерживается отъ извѣстнаго мяса; вы можете поклясться, что у такого господина непремѣнно родился ребенокъ... Я читалъ о существованіи этого обычая въ древнія времена и хохоталъ надъ нимъ, никогда даже не думая вѣрить въ дѣйствительное существованіе этого сумасбродства, и всегда предполагалъ, что про этотъ варварскій обычай разсказывалось больше въ шутку, чѣмъ серьезно, и, наконецъ, самъ увидѣлъ его собственными своими глазами у абипонцевъ. И дѣйствительно, они охотно и

*) 1876, мартъ.

**) Я цитирую по русскому переводу Тайлора (г. Валицкаго), изданному въ 1868 г. въ Москвѣ. Безобразнѣе этого перевода трудно себѣ что-нибудь представить.

со всею строгостью исполняли этотъ древній обычай, какъ онъ ни труденъ, потому что убѣждены вполнѣ, что воздержаніе и спокойствіе отцовъ благодѣтельно дѣйствуетъ на новорожденныхъ, и что даже оно необходимо... Поэтому, если ребенокъ умираетъ преждевременно, то женщины приписываютъ его смерть невоздержанію отца, при чемъ обыкновенно указываютъ и на причины въ родѣ слѣдующихъ: онъ не воздерживался отъ употребленія мяса; онъ обременялъ свой желудокъ морской свиньей: онъ переплывалъ рѣку, когда было свѣжо; онъ не заботился подстричь свои длинныя брови; онъ ѣлъ подземный медъ, топча пчелъ ногами; онъ до того ѣздилъ верхомъ, что измучился и вспотѣлъ. Подобными безсмысленными разсужденіями толпа женщинъ обвиняетъ безнаказанно отца въ причинѣ смерти ребенка; и при этомъ обыкновенно проклятія градомъ сыплются на голову безотвѣтнаго супруга». Англійскій путешественникъ Бретъ видѣлъ въ Гвіанѣ слѣдующее: «При рожденіи ребенка, по требованію древняго индійскаго этикета, отецъ долженъ лечь въ койку, и, какъ будто въ самомъ дѣлѣ больной, провести въ ней нѣсколько дней, принимая поздравленія и соболѣзнованія своихъ друзей. Одинъ разъ мнѣ самому случилось наблюдать исполненіе этого обычая: мужчина, совершенно здоровый и полной силъ, безъ всякаго признака болѣзни, лежалъ въ своей койкѣ съ самымъ жалобнымъ видомъ; за нимъ почтительно и заботливо ухаживали женщины, между тѣмъ какъ мать новорожденнаго стряпала, не обращая на себя ничьего вниманія». Сюда же, можетъ быть, слѣдуетъ отнести миѳъ «дважды рожденнаго» Вакха, котораго Зевесъ донашивалъ самъ по смерти его матери Семелы и т. п.

И Тайлоръ, и Леббокъ обращаютъ вниманіе только на одну сторону обычая кувады, именно на выражающееся въ немъ первобытное понятіе о непосредственной физической связи дѣтей и родителей. Шире посмотрѣлъ на этотъ обычай Бахофенъ (Das Mutterrecht, 255). Онъ сопоставилъ его съ нѣкоторыми странными обрядами усыновленія. Дѣло въ томъ, что отецъ во время кувады стонетъ, кричитъ, вообще старается подражать мукамъ родительницы, и въ этомъ именно состоитъ вся соль обычая. Такимъ же подражаніемъ сопровождалась и сопровождается кое-гдѣ церемонія усыновленія, при чемъ дѣйствующимъ лицомъ бываетъ то мужчина, то женщина, то оба вмѣстѣ. Діодоръ говоритъ, что Юнона, для усыновленія Геркулеса, пропустила его на постели сквозь свои одежды, «подражая настоящему рожденію». Діодоръ прибавляетъ, что варвары совершали эту церемонію и въ его время. Любопытно, что въ нѣкоторыхъ нашихъ раскольничьихъ толкахъ практикуется совершенно подобный обрядъ при пріемѣ новыхъ членовъ. Въ Пошехонскомъ уѣздѣ Ярославской губерніи «женщину-роженицу укладываютъ въ постель; она должна охать и стонать, какъ при естественныхъ родахъ. Надъ нею читаютъ молитвы и по временамъ спрашиваютъ ее: родишь ли раба божія? Она отвѣчаетъ: рожу въ грѣхахъ и страдахъ. Вопросъ этотъ и отвѣтъ повторяются три раза, послѣ чего сквозь рубашку лежащей женщины пропускаютъ вступающаго въ расколъ» (Якушкинъ, «Обычное право», XV). У филипповцевъ Череповскаго уѣзда Новгородской губ. «женщина въ грязной рубахѣ, замаранной мѣсячными очищеніями или послѣродовыми изверженіями, широко разставляетъ свои ноги, межъ которыхъ долженъ пролѣзть желающій получить крещеніе; въ это время она стонетъ и старается показывать всѣ тѣ симптомы, которыми обыкновенно сопровождается актъ рожденія» (Громачевскій, «Череповскіе раскольники» въ «Зарѣ», 1871, № 9). У Бахофена, Гримма (Deutsche Rechtsaltertümer), Мишле (Origines du droit français) собраны многія указанія на подобные обряды усыновленія въ древности и въ средніе вѣка. Таковъ, напримѣръ, разсказъ о князѣ Эдесскомъ, который усыновилъ Балдуина, прижавъ его къ голой груди подъ рубашкой. Во многихъ мѣстахъ усыновляемыхъ и узаконяемыхъ просто подводили подъ плащъ — mantella, вслѣдствіе чего они назывались mantellati. Во Франціи узаконенныхъ дѣтей называли enfants mis sous le drap. Одинъ фламандскій поэтъ XIII столѣтія говоритъ, что «pardessous le mantiel la mère, furent faits loial cil trois frères».

Во всѣхъ этихъ случаяхъ нѣкто чужой становится близкимъ, роднымъ, сыномъ, послѣ болѣе или менѣе близкаго подражанія акту дѣторожденія, совершаемаго новымъ отцомъ или матерью. Въ кувадѣ мы видимъ то же самое, съ тѣмъ только осложненіемъ что отецъ заранѣе приготовляется къ подражанію, соблюдая извѣстную діэту и извѣстный образъ жизни. Очевидно, что это именно—только приготовленіе къ главному моменту всей комедіи и что дѣло не въ немъ. Специфическое же отличіе кувады, рѣзко выдѣляющее ее изо всѣхъ случаевъ усыновленія, состоитъ въ томъ, что здѣсь подражаетъ акту дѣторожденія не сторонній какой-нибудь усыновитель, а всегда подлинный или предполагаемый родной отецъ. И это чрезвычайно важно. Не удивителенъ вообще фактъ подражанія—онъ вполнѣ соотвѣтствуетъ грубости первобытнаго ума; не удивительно и то, что обычай этотъ сохранился

въ видѣ символа даже на относительно высокой степени цивилизаціи,—это сохраненіе древняго обычая, исполненнаго для своего времени глубокаго смысла, въ видѣ формальнаго символа есть явленіе очень обыкновенное. Понятно поэтому, что Юнона дѣлала видъ, что рожаетъ Геркулеса, что Эдесскій князь символически рожалъ Балдуина, что раскольница символически рожаетъ новаго члена секты. Но это еще не объясняетъ кувады. Спрашивается: зачѣмъ родному отцу продѣлывать комедію кувады, когда и безъ того несомнѣнно, что новорожденный есть плоть отъ плоти его и кость отъ костей его? Казалось бы, онъ—единственное въ цѣломъ мірѣ лицо, которому кувада, какъ обрядъ усыновленія, не нужна. А между тѣмъ, самая нелѣпость этого обычая показываетъ, что онъ возникъ не случайно и не по какимъ-нибудь мелкимъ поводамъ, что за нимъ стоитъ долгая, серьезная и, вѣроятно, глубоко трагическая исторія.

Зачѣмъ отцамъ понадобилось образно, символически утверждать свою связь съ дѣтьми? Затѣмъ, конечно, что эта связь была не всегда ясна. Дѣйствительно, если мы признаемъ, вмѣстѣ со всѣми новѣйшими изслѣдователями, отсутствіе семьи исходною точкою супружескихъ и родительскихъ отношеній, то станетъ очевидно, что связь отца съ дѣтьми не могла быть ясною на зарѣ исторіи человѣчества. Кровная связь съ матерью, которая «со скрежетомъ сына носила и со стономъ его родила», никогда не могла подлежать сомнѣнію. Но отецъ... кто былъ отцомъ новорожденнаго массагета, назамона или троглодита? Этого никто не зналъ—ни мать, ни самъ отецъ, ни племя. Судьба дѣтей въ первобытномъ обществѣ весьма мало извѣстна и даже мало понятна теперешнему человѣку. Намъ трудно дѣйствительно представить себѣ съ полною ясностью, какъ жили и расли дѣти при отсутствіи семьи. Кое-какія свѣдѣнія имѣются только относительно позднѣйшихъ ступеней развитія цивилизаціи, когда уже ребенку тѣмъ или другимъ способомъ пріискивался отецъ. Напримѣръ, Геродотъ разсказываетъ объ одномъ эѳіопскомъ племени, что мужчины на собраніяхъ своихъ, которыя бывали черезъ каждые три мѣсяца, распредѣляли между собой подросшихъ дѣтей, руководствуясь при этомъ сходствомъ ребенка съ кѣмъ-нибудь изъ мужей. Такія же свѣдѣнія имѣются о либурнахъ и скиѳахъ. Тодасы, у которыхъ женщина выходитъ замужъ сразу за нѣсколькихъ братьевъ, а эти братья, въ свою очередь, становятся мужьями всѣхъ ея сестеръ, выпутываются, какъ мы уже видѣли, изъ затрудненія тѣмъ, что признаютъ первенца сыномъ старшаго брата, второго—ребенкомъ второго брата и т. д. И эта странная съ нашей точки зрѣнія система не мѣшаетъ существованію у тодасовъ большой нѣжности къ дѣтямъ. Точно такъ же и древніе писатели говорятъ объ отсутствіи у эѳіоповъ, скиѳовъ и проч. семейныхъ несогласій, которыя, казалось бы, неизбѣжны. Мало того, нѣкоторые, какъ, напримѣръ, Страбонъ, приписываютъ многія хорошія нравственныя стороны этихъ варваровъ, именно ихъ семейнымъ порядкамъ. А Бахофенъ замѣчаетъ, что они осуществили у себя въ дѣйствительности многія самыя пылкія мечты Платона. Съ другой стороны, однако, можно привести множество фактовъ, свидѣтельствующихъ о крайне жалкомъ положеніи дѣтей въ первобытномъ обществѣ и у современныхъ отсталыхъ народовъ. Изслѣдователи семейныхъ отношеній обыкновенно и смотрятъ на «дѣтскій вопросъ» именно, съ этой точки зрѣнія. См., напримѣръ, подборъ фактовъ у Мальтуса, у г. Шашкова (Историческія судьбы женщины, дѣтоубійство и проституція) или у г. Воеводскаго (Каннибализмъ въ греческихъ миѳахъ), который даже считаетъ *дѣтоѣдство* первымъ фазисомъ развитія людоѣдства. Этого рода факты не подлежатъ никакому сомнѣнію, но относительно дѣлаемыхъ изъ нихъ выводовъ слѣдуетъ имѣть въ виду два соображенія. Во-первыхъ, рядомъ съ возмутительнымъ положеніемъ дѣтей мы часто встрѣчаемъ, на тѣхъ же приблизительно ступеняхъ цивилизаціи, нѣчто діаметрально противоположное. Припомнимъ гордость, съ которою Одиссей называетъ себя въ особенно торжественныхъ случаяхъ «отцомъ Телемака». Нашъ чувашъ зоветъ жену до рожденія сына просто по имени, а съ этого момента она получаетъ титулъ матери такого-то, напримѣръ, Василія (Риттихъ, «Объ инородцахъ Казанской губ.» II, 70). Въ Австраліи, когда ребенокъ получаетъ имя, родители начинаютъ называться по его имени: Кадлитпина—отецъ Кадли, Кадлинганка—мать Кадли. Этотъ обычай, повидимому, весьма распространенъ по всему материку. У бечуановъ, въ южной Африкѣ, «родители называются по имени ребенка». Такъ какъ старшаго сына Ливингстона звали Робертомъ, то жену его туземцы всегда звали Ма-Робертъ, т. е. мать Роберта. То же самое видимъ на Мадагаскарѣ, на Суматрѣ, въ Америкѣ (Леббокъ, 342). Уже въ этомъ принятіи родителями именъ дѣтей выражается такая же степень къ нимъ почтенія, съ какою у насъ, наоборотъ, дѣти принимаютъ фамилію отца. Но это почтеніе къ дѣтямъ идетъ иногда гораздо дальше. Въ нѣкоторыхъ частяхъ Полинезіи сынъ считался по своему званію выше отца, и въ извѣстныхъ случаяхъ, какъ, напримѣръ, на

Маркизскихъ островахъ и на Таити, король отказывался отъ престола, какъ скоро у него рождался сынъ, а поземельные собственники при такихъ же обстоятельствахъ теряли право на свою землю и становились простыми опекунами дѣтей, признававшихся настоящими владѣльцами ея» (Тамъ же, 341). На Фиджи, гдѣ господствуетъ обычай наслѣдованія по женской линіи, въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ племянникъ играетъ роль тирана и можетъ распоряжаться собственностью дяди, какъ ему угодно. «Какъ бы высоко ни стоялъ вождь, но, если у него есть племянникъ, у него есть вмѣстѣ съ тѣмъ и господинъ». Какими бы историческими условіями ни объяснялись эти необычныя для насъ отношенія, но это—факты, которые должны быть приняты въ соображеніе при оцѣнкѣ положенія дѣтей въ первобытномъ обществѣ и у современныхъ отсталыхъ народовъ. Далѣе, изслѣдователи, подбирающіе факты варварскаго обхожденія съ дѣтьми и дѣтоубійства на зарѣ нашей исторіи, въ сущности говорятъ о сравнительно позднихъ историческихъ моментахъ. Во всѣхъ приводимыхъ ими случаяхъ, тираномъ и убійцей является отецъ, а безконтрольный владыка семьи—отецъ, есть, какъ мы сейчасъ увидимъ, продуктъ позднѣйшей исторіи. По крайней мѣрѣ, замѣчательная работа Бахофена дѣлаетъ это въ высокой степени вѣроятнымъ. Дѣло не въ отрицаніи тѣхъ пятенъ чистой дѣтской крови, которыми испещрена исторія человѣчества, а въ томъ, чтобы внести въ изслѣдованіе этихъ пятенъ новый элементъ: характеръ супружескихъ и половыхъ отношеній, вообще отношеній между мужчинами и женщинами. Этими отношеніями судьба дѣтей опредѣлялась въ древнѣйшей исторіи человѣчества въ такой мѣрѣ, что послѣдняя совсѣмъ непонятна безъ разъясненія первыхъ. А что отношенія между мужчинами и женщинами были далеко не всегда похожи на нынѣ существующія и вообще имѣютъ свою долгую и сложную исторію, въ которой брали перевѣсъ то мужчины, то женщины—это мы можемъ, отчасти, уже усмотрѣть изъ обычая кувады. Отецъ, чтобы быть признаннымъ отцомъ, долженъ уподобиться матери—таковъ основной смыслъ кувады. Домогались ли отцы такого уподобленія матерямъ или, напротивъ, были къ нему вынуждены какою-нибудь стороннею силою, видѣли ли они въ немъ священное право, или неотвратимую обязанность, но ясно, что мать занимала нѣкогда первенствующее мѣсто въ семьѣ. Только цѣною подражанія материнскимъ страданіямъ могъ отецъ стать, по крайней мѣрѣ относительно дѣтей, рядомъ съ матерью. А слѣдовательно, было и такое время, когда отецъ стоялъ ниже матери—иначе не могъ бы сложиться обычай кувады: онъ не имѣлъ бы подъ собой никакой исторической почвы. И это вполнѣ естественно, а съ точки зрѣнія первобытнаго человѣка, кромѣ того, вполнѣ осмысленно. Права и обязанности матери начертаны на скрижаляхъ ея собственной природы съ такою ясностью, что въ нихъ не могло быть сомнѣнія. Права и обязанности отца, напротивъ, представляютъ продуктъ отвлеченія, совершенно непосильнаго уму первобытнаго человѣка, тѣмъ болѣе при отсутствіи замкнутой, обособленной семьи. Если же въ послѣдующей исторіи мы видимъ первенствующимъ лицомъ въ семьѣ не мать, а отца; если мы встрѣчаемъ такое презрѣніе къ материнскому элементу, что, напримѣръ, бразильскіе тупинамбосы отдаютъ своихъ женъ плѣннымъ и затѣмъ съѣдаютъ дѣтей, происходящихъ отъ этой связи, въ полной увѣренности, что это—дѣти вражескія; если мы видимъ римскую семью, состоящую изъ всемогущаго мужа-отца, окруженнаго рабами и рабынями; если мы видимъ восточнаго владыку гарема и, наконецъ, извѣстную степень преобладанія отца во всѣхъ классахъ европейскихъ народовъ,—то все это не значитъ, что всегда такъ было. Рѣзкій контрастъ между этими формами семьи (не говоря уже о глубокихъ различіяхъ самыхъ этихъ формъ) и первобытною властью матери ставитъ только передъ нами новую задачу: прослѣдить историческую связь этихъ контрастовъ.

Конечно, эти выводы не могутъ быть правомѣрно сдѣланы изъ одного только обычая кувады, хотя уже и онъ поражаетъ своею рѣзкостью. Но дѣло въ томъ, что кувада въ смыслѣ намека на былое первенство матери стоитъ не одиноко въ исторіи. Къ ней примыкаетъ громадная масса фактовъ, совокупность которыхъ побудила Бахофена признать женовластіе, гинекократію (Gynaikokratie), какъ самостоятельный историческій періодъ, слѣдующій непосредственно за періодомъ древнѣйшаго гетеризма. Съ кропотливостью типическаго нѣмецкаго эрудита Бахофенъ собралъ и истолковалъ въ подтвержденіе своей гипотезы огромное количество фактовъ, и если даже половину его соображеній признать натяжками (безъ которыхъ дѣло не обходится), такъ и то остается слишкомъ довольно резоновъ въ пользу основной мысли. Бахофенъ занятъ преимущественно истолкованіемъ греческихъ миѳовъ, и книга его представляетъ едва-ли не первую широкую попытку связать миѳы съ формами общественныхъ отношеній. Само собой разумѣется, что здѣсь можетъ быть приведена только ничтожная доля фактическихъ аргументовъ Бахофена, а съ другой

стороны, намъ придется заимствовать кое-что и изъ другихъ источниковъ. Мы даже начнемъ съ такого заимствованія.

Вотъ какую любопытную сказку записалъ г. Каразинъ въ низовьяхъ Аму-Дарьи.

Нѣкогда существовало большое царство, въ которомъ и ханъ, и сановники, и судьи, и муллы, и джигиты были женщины. Хана-женщину звали Занай, и жила она въ городѣ *Самирамъ*, который стоялъ «не на землѣ, а высоко надъ нею, на тридцати семи тысячахъ столбовъ. Въ Самирамѣ были и мужчины, но немного, да и тѣ «сидѣли дома взаперти и только сакли убирали да малыхъ дѣтей нянчили», въ то время, какъ женщины творили судъ и расправу, ходили на войну, на охоту. Изъ дѣтей, впрочемъ, мужчинамъ поручались только мальчики, а дѣвочки до извѣстнаго возраста жили всѣ въ ханскомъ дворцѣ. Новорожденныхъ дѣвочекъ оставляли всѣхъ въ живыхъ, а мальчиковъ только одного изъ ста: остальныхъ же бросали на растерзаніе дикимъ звѣрямъ и хищнымъ птицамъ. Выбирала счастливаго мальчика, единаго изъ ста, слѣпая старуха. Разъ эта старуха принялась горько плакать, и на вопросы собравшагося народа отвѣтила предсказаніемъ, что ханъ Занай родитъ мальчика, который погубитъ бабье царство. Тогда рѣшили сына хана, какъ только онъ родится, бросить звѣрямъ на растерзаніе не въ очередь. Въ предупрежденіе же взрыва материнскихъ чувствъ, къ хану были приставлены двѣ женщины, которыя должны были смотрѣть, чтобы Занай не обманула народъ Самирама. Вотъ пришло ей время родить, и стала она молить своихъ приставницъ, чтобы скрыли отъ народа рожденіе мальчика, если таковое послѣдуетъ. Обѣщала она имъ золота и халатовъ цвѣтныхъ— тѣ не поддавались. «Позволю вамъ,—говорила Занай, — мужей выбирать себѣ не по жребію, а кого хотите; позволю вамъ у другихъ даже женъ отобрать мужей, только спасите, сберегите мнѣ мое дѣтище!» Приставницы не соглашались. Наконецъ, уже передъ самыми родами, приставницы предложили хану такое условіе: «не хотимъ мы себѣ мужей изъ здѣшнихъ, а дай намъ мужей изъ тѣхъ, что внизу ѣздятъ, кому въ городъ нашъ дорога запретная, кому къ постелямъ нашимъ дороги закономъ не проложено». Занай согласилась. Народъ Самирама былъ обманутъ; Занаю подкинута дѣвочка; сынъ ея, названный *Искандеромъ*, спрятанъ, а приставницы получили по своему желанію мужей со стороны. Когда Искандеръ выросъ, онъ сталъ главою мужчинъ въ Самирамѣ. Скоро мужчины возмутились и потребовали у женщинъ сабель, копій, аркановъ и проч., предлагая имъ взамѣнъ котлы, иглы, кочерги, ложки. Началась война, окончившаяся пораженіемъ мужчинъ, потому что они были безоружны и приходилось ихъ всего по одному на сто женщинъ. Ханъ Искандеръ былъ присужденъ къ лютой казни, и именно сама Занай должна была его сначала оскопить, а потомъ содрать съ него съ живого кожу. У Занай не поднялась рука на сына. Она призналась во всемъ народу и ударила себя въ сердце тѣмъ самымъ ножомъ, которымъ должна была казнить мятежнаго сына. Послѣдовало замѣшательство, чѣмъ и воспользовались побѣжденные было мужчины: они подобрали брошенное женщинами со страха оружіе и стали съ тѣхъ поръ править Самирамомъ по-своему. «Раздѣлили они всѣхъ женщинъ себѣ поровну: мало было мужчинъ, а женщинъ много — всякому по сту женщинъ досталось». Съ тѣхъ поръ и пошло многоженство и порабощеніе женщинъ («Древняя и Новая Россія». 1876, № 11, «Сказка о женскомъ ханствѣ»).

Въ послѣднее время у насъ народилась группа писателей, обладающихъ пылкою фантазіей и кое-какими свѣдѣніями о странахъ, мало у насъ извѣстныхъ, каковы Лапландія и вообще крайній сѣверъ Россіи, наши новыя средне-азіатскія владѣнія, Америка. Результатомъ сочетанія этихъ трехъ элементовъ, т. е. пылкой фантазіи авторовъ, обладанія ими кое-какими свѣдѣніями и малой извѣстности странъ, въ которыхъ имъ удалось побывать, является громадная масса весьма пространныхъ, но и весьма подозрительныхъ повѣствованій. Къ сожалѣнію, г. Каразинъ занимаетъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ этой группѣ писателей. Тѣмъ не менѣе, однако, я не затруднился привести здѣсь «сказку о женскомъ ханствѣ», потому что она разными своими сторонами совпадаетъ со множествомъ другихъ сказаній. Прежде всего самое имя женскаго ханства «Самирамъ» естественно приводитъ на память Семирамиду, прославленную преданіемъ въ качествѣ знаменитой воительницы и строительницы. И Самирамъ сказки о женскомъ ханствѣ отличается именно тѣмъ волшебнымъ величіемъ, какое приписывается постройкамъ Семирамиды. Далѣе, оскопленіе Искандера, хотя и не состоявшееся, напоминаетъ преданіе, что Семирамида окружала себя скопцами, чтобы не выдаваться своимъ высокимъ женскимъ голосомъ и безбородымъ лицомъ. Избіеніе мальчиковъ напоминаетъ сказаніе о томъ, что Семирамида избивала своихъ любовниковъ и насыпала надъ ихъ могилами курганы, которые и назывались холмами Семирамиды. Не лишено также интереса сравненіе Искандера, на котораго не поднялась рука у хана-женщины, съ Александромъ Македонскимъ, героическимъ по-

бѣдителемъ Азіи, которому по преданію царица амазонокъ предложила себя во время одного изъ его походовъ и съ которымъ имѣла дружественныя сношенія другая царственная женщина, и именно, по одному извѣстію, правнучка Семирамиды.

Но, даже оставляя въ сторонѣ совпаденіе частностей сказки о женскомъ ханствѣ съ преданіями и миѳами о Семирамидѣ, мы должны будемъ увидѣть въ ней только одинъ изъ многочисленныхъ варьянтовъ сказаній о женскихъ царствахъ. Извѣстны классическія представленія объ амазонкахъ: это были могучія, воинственныя женщины, жившія самостоятельно, управлялись сами собой, сходились съ мужчинами лишь въ опредѣленные сроки или же держали ихъ у себя въ полномъ подчиненіи, избивали всѣхъ или почти всѣхъ родившихся у нихъ мальчиковъ. Имъ приписывалась постройка большихъ городовъ, какъ Синопъ, Смирна, Мемфисъ. Классическая древность помѣщаетъ ихъ, главнымъ образомъ, въ Средней Азіи и у Чернаго моря. Всѣмъ греческимъ героямъ приходилось имѣть сношенія съ амазонками и большею частію враждебныя. Съ ними сражается Беллерофонъ; Пріамъ въ Иліадѣ съ гордостью вспоминаетъ о встрѣчѣ съ «мужеподобными» амазонками; Геркулесъ похищаетъ поясъ царицы амазонокъ Ипполиты: ахейцевъ защищаетъ отъ конечнаго пораженія амазонками Ахиллъ, убивая царицу Пентезилею; Тезей похищаетъ амазонку Антіопу, и за это мстительныя воительницы подступаютъ къ самымъ Аѳинамъ, гдѣ, однако, Тезей ихъ разбиваетъ; этимъ эпизодомъ аѳиняне всегда очень гордились, приписывая амазонкамъ относительно Эллады роль въ родѣ той, которую монголы играли относительно Европы. О встрѣчахъ съ амазонками Александра Македонскаго уже упомянуто. Другую большую группу извѣстій объ амазонкахъ дали старые путешественники въ Южную Америку, гдѣ будто бы бокъ-о бокъ съ перувіанской цивилизаціей удержались еще древнія женскія царства. И китайскіе хроникеры сохранили извѣстія о гинекократическихъ учрежденіяхъ. Клапротъ на основаніи китайскихъ источниковъ описываетъ два женскія царства, изъ которыхъ одно имѣло въ половинѣ VI вѣка по Р. Х. дипломатическія сношенія съ Китаемъ, затѣмъ утратило генекократическій характеръ и, наконецъ, въ 793 году вошло въ составъ небесной имперіи. Наконецъ, и славяне не остались безъ подобныхъ воспоминаній. На судѣ Любуши, кромѣ самой знаменитой княжны, присутствуютъ еще двѣ «віегласніе» дѣвицы, изъ которыхъ одна держитъ «доски правдодатне», а другая мечъ, каратель кривды. Такимъ образомъ, весь судъ и расправа оказывается въ рукахъ женщинъ. Въ лѣтописи Козьмы Пражскаго разсказывается о «дѣвичьей войнѣ». Дѣвушки построили городъ Дѣвинъ и подъ предводительствомъ Власты вели упорную войну съ мужчинами. Власта постановила воспитывать только дѣвочекъ, а мальчикамъ выкалывать правый глазъ и отрубать большіе пальцы. Наконецъ, мужчины побѣдили, и Власта была убита.

Какъ бы ни были разукрашены фантазіей всѣ эти извѣстія, но уже самая распространенность сказокъ о женскихъ царствахъ по Старому и Новому свѣту показываетъ, что въ нихъ есть нѣкоторое несомнѣнное историческое зерно. Въ пользу этого говорятъ и другія соображенія. Леббокъ относится къ выводамъ Бахофена очень скептически и даже какъ бы не рѣшается выставить на видъ самую суть ихъ; но и онъ, какъ и другіе изслѣдователи, вынужденъ признать тотъ весьма важный и очень ясный намекъ на былое женовластіе, что въ древности, да и донынѣ во многихъ мѣстахъ весьма распространено наслѣдованіе какъ имени, такъ и имущества и общественнаго положенія, исключительно по женской линіи. «Я допускаю,—говоритъ онъ,—что утвержденіе отескихъ правъ возрастало весьма медленно и въ зависимости отъ окружающихъ обстоятельствъ, при помощи импульсовъ естественной привязанности. Вмѣстѣ съ тѣмъ признанію родства по отцу, взамѣнъ родства по матери, вѣроятно содѣйствовало также естественное, свойственное каждому желаніе, чтобы имущество его переходило къ роднымъ его дѣтямъ. Правда, мы знаемъ немного такихъ случаевъ какъ, напримѣръ, въ Аѳинахъ, когда о такой перемѣнѣ сохраняются ясныя воспоминанія; но намъ нетрудно представить себѣ, какъ это могло произойти, и въ то же время трудно допустить возможность подобнаго измѣненія въ обратномъ смыслѣ. Кромѣ того, система родства по мужской линіи является достаточно общей, если не исключительной, для всѣхъ цивилизованныхъ расъ, тогда какъ противоположная система весьма распространена среди дикарей—откуда, очевидно, вытекаетъ, что указываемая нами перемѣна во многихъ случаяхъ дѣйствительно должна была имѣть мѣсто» (112). Вотъ нѣкоторые относящіеся сюда факты. По всей Африкѣ весьма распространенъ обычай престолонаслѣдія по женской линіи, т.-е. вождю или королю наслѣдуетъ не его сынъ, а сынъ его сестры. Въ Индіи во многихъ племенахъ переходитъ такимъ же образомъ въ женскую линію имущество у простыхъ смертныхъ. У индійцевъ Гудзонова залива дѣти носятъ имя матери, а не отца. На островахъ Дружбы, Каролинскихъ и Маріанскихъ дѣти наслѣдуютъ общественное положеніе матери, какъ бы ни

было оно высоко или низко. Во всѣхъ этихъ случаяхъ дѣло идетъ о власти и объ имуществѣ, а слѣдовательно, они указываютъ на весьма яркое и, такъ сказать, вполнѣ реальное преобладаніе женщины. Какъ оно выражается въ повседневной жизни, можно отчасти видѣть изъ Ливингстонова описанія семейныхъ нравовъ одного земледѣльческаго негритянскаго племени въ Африкѣ. Въ этомъ племени (Балонда), живущемъ маленькими общинами, женщины принимаютъ участіе въ общественныхъ совѣщаніяхъ; молодой человѣкъ, женясь, обязывается пожизненно снабжать мать жены дровами; женѣ предоставлено право развода, при чемъ дѣтей она можетъ оставить у себя; безъ согласія жены мужъ не можетъ вступать ни въ какія обязательства, даже самыя ничтожныя. Ливингстонъ прибавляетъ, что онъ не знаетъ случаевъ возстанія мужей, хотя деспотизмъ женъ доходитъ иногда до жестокости. Правда, что въ другихъ негритянскихъ племенахъ Ливингстонъ наблюдалъ нѣчто совершенно противоположное, именно—полнѣйшее рабство женщины. Но и это явленіе объясняетъ онъ былымъ распространеніемъ женовластія, которое повело къ тому, что мужчины стали покупать женъ, и, сорвавъ ихъ этимъ способомъ, такъ сказать, съ корня, упрочили свое преобладаніе.

Обращаясь къ древности, мы остановимся только на двухъ—трехъ примѣрахъ, чтобы имѣть возможность разсмотрѣть ихъ съ разныхъ сторонъ.

Геродотъ разсказываетъ, что ликійцы носятъ прозвище не отцовъ, а матерей, такъ что, если спросить ликійца, кто онъ такой, то онъ начнетъ перечислять свой родъ съ материнской стороны, назоветъ мать, бабку, прабабку и т. д. Если, продолжаетъ Геродотъ, женщина благороднаго происхожденія выйдетъ за раба, то дѣти будутъ считаться благорожденными и—наоборотъ (Припомнимъ, что Рогнѣда не хотѣла «разути рабичича», т. е. отрицала благородное происхожденіе Владиміра, имѣя въ виду родъ его матери). Другіе древніе писатели прямо говорятъ, что ликійцы издавна управлялись женщинами, что женщинамъ у нихъ воздавался большій почетъ, чѣмъ мужчинамъ, что наслѣдство переходило у нихъ къ дочерямъ, а не къ сыновьямъ. Наконецъ, еще одна характерная черта: трауръ, скорбное почтеніе къ умершимъ должно было выражаться у ликійцевъ тѣмъ, что мужчины надѣвали женское платье. Обрядъ, какъ бы дополняющій куваду: тамъ и здѣсь, только уподобившись женщинѣ, матери, можетъ отецъ, мужчина, заявить свою связь съ новорожденнымъ или съ умершимъ. Миѳъ ликійскаго героя Беллерофона пытается дать объясненіе такому женовластію и, дѣйствительно, въ связи съ другими миѳами объясняетъ много. Сопоставляя различные варьянты этого миѳа, мы отмѣтимъ слѣдующія черты. Въ Иліадѣ самое появленіе Беллерофона въ Ликіи обусловливается половыми отношеніями:

> Съ юношей Прета жена возжелала Антія младая
> Тайной любви насладиться; но къ ищущей былъ непреклоненъ,
> Чувствъ благородныхъ исполненный, Беллерофонъ непорочный.

Оскорбленная Антія клевещетъ Прету, что Беллорофонъ «насладиться любовью хотѣлъ со мной, съ нехотящей». Разгнѣванный Претъ отправляетъ юношу въ Ликію на вѣрную погибель. Тамъ герой совершаетъ рядъ подвиговъ, изъ которыхъ для насъ особенно любопытно пораженіе амазонокъ. Конецъ исторіи въ разныхъ варьянтахъ различенъ. Гомеръ кончаетъ ликійскія дѣла Беллерофона мирно. Плутархъ же приводитъ два разсказа. По одному Беллерофонъ, оскорбленный неблагодарностью ликійцевъ за избавленіе отъ страшнаго вепря, проклялъ ихъ и вымолилъ у Посейдона, чтобы тотъ пропиталъ всю почву солью. Наступилъ голодъ и запустѣніе, и только ликійскія женщины выпросили у Беллерофона помилованіе. Съ тѣхъ-то поръ ликійцы и приняли обычай называться по матери, а не по отцу. По другому разсказу Беллерофонъ, руководимый тѣмъ же мотивомъ, испросилъ у Посейдона безплодіе и запустѣніе ликійской земли. Богъ залилъ Ликію морскими волнами. Пока мужчины умоляли Беллерофона, онъ оставался непоколебимъ; но вотъ передъ нимъ предстали женщины и при томъ въ такомъ *женственномъ* видѣ, что Беллерофонъ отъ стыда удалился, а вмѣстѣ съ тѣмъ отступило и море. Оставляя въ сторонѣ устанавливаемыя Бахофеномъ аналогіи между землей и женскимъ началомъ, съ одной стороны, и моремъ и мужскимъ началомъ—съ другой, мы всетаки должны признать, что въ миѳѣ Беллерофона всецѣло отразилась борьба за формы половыхъ отношеній. И борьба эта оказывается чрезвычайно сложною и разностороннею. Сперва Беллерофонъ борется съ поползновеніями Антіи, направленными на разрушеніе извѣстной формы семьи; этотъ первый эпизодъ непосредственно ведетъ къ борьбѣ съ амазонками, а въ концѣ концовъ, торжествуетъ ликійское женовластіе.

Августиномъ сохраненъ разсказъ Варрона объ иномъ концѣ борьбы въ Аѳинахъ. Въ правленіе Кекропса случилось двойное чудо: сразу появилось масличное дерево и родникъ воды. Дельфійскій оракулъ объяснилъ, что масличное дерево означаетъ Минерву, а вода—Нептуна, и что гражданамъ предоставляется рѣшить, въ честь кого изъ этихъ боговъ назвать свой городъ и, слѣдовательно, кого

изъ нихъ выбрать своимъ покровителемъ. Народное собраніе по тогдашнему обычаю состояло изъ мужчинъ и женщинъ; первые вотировали за Нептуна, вторыя—за Минерву, и такъ какъ женщинъ оказалось больше, то онѣ восторжествовали. Разгнѣванный Нептунъ затопилъ Аѳины. Тогда для умилостивленія божества граждане порѣшили отнять у женщинъ право голоса въ народныхъ собраніяхъ, называть дѣтей по отцовскому, а не материнскому прозвищу и, наконецъ, запретить женщинамъ называться по имени богини, аѳинянками. Какъ въ этомъ миѳѣ Нептунъ представляетъ мужское начало, а Минерва—женское, такъ въ «Эвменидахъ» Эсхила эти же роли распредѣляются между Аполлономъ и Аѳиной, съ одной стороны, и Эринніями—съ другой. Клитемнестра убиваетъ своего мужа Агамемнона, а Орестъ, мстя за отца, убиваетъ Клитемнестру, т. е. свою мать. Эринніи обвиняютъ Ореста: онъ убилъ ту, которая «носила его подъ сердцемъ». Клитемнестра же убила только мужа, а не кровнаго родственника. Орестъ, напротивъ, отрицаетъ свою кровную связь съ матерью и отдаетъ преимущество отцовскому элементу. Такого же мнѣнія держатся Аполлонъ и Аѳина. Такимъ образомъ Эринніи попираютъ права отца и мужчины, выдвигая впередъ права матери и женщины, а Апполонъ и Аѳина стоятъ столь же исключительно на сторонѣ правъ отца. При этомъ Эринніи горько упрекаютъ ихъ, что они, «новые боги», хотятъ ниспровергнуть *старое* право.

Разсуждая съ сочувствіемъ или съ негодованіемъ о «женскомъ вопросѣ», мы, люди второй половины XIX вѣка, склонны видѣть въ немъ свое дѣтище. Именно въ качествѣ своего изобрѣтенія мы или лелѣемъ его, или негодуемъ на него. Между тѣмъ, онъ такъ же старъ, какъ само человѣческое общество. Сѣдая древность ставила и разрѣшала его даже несравненно рѣзче и занималась имъ съ несравненно большимъ увлеченіемъ, чѣмъ мы. Имъ насквозь пропитаны всѣ древнѣйшие миѳы, слѣдовательно, и вся древнѣйшая дѣйствительность, потому что nihil est in religione quod non fuerit in vita. Надо только имѣть въ виду ту крайне грубую наивность, цѣльность и простоту, съ которою наши отдаленные предки ставили и рѣшали этотъ щекотливый вопросъ. Если разложить такъ называемый женскій вопросъ на его простѣйшіе составные элементы, то мы найдемъ, во-первыхъ, любовь, стремленіе двухъ половинокъ человѣческаго существа соединиться въ одно цѣлое, стремленіе, встрѣчающее многоразличныя препятствія какъ въ своей собственной задачѣ, такъ и въ тѣхъ или другихъ общественныхъ условіяхъ; во-вторыхъ, конкурренцію между представителями обоихъ половъ, борьбу за кусокъ хлѣба, за независимость, за преобладаніе въ семьѣ, въ обществѣ. Эти два теченія, которыми вполнѣ опредѣляются всѣ перипетіи женскаго вопроса, суть теченія встрѣчныя, противоположныя, потому что одно стремится слить то, что другое стремится разъединить. Любовь уживается здѣсь бокъ-о-бокъ съ враждой. Такъ какъ половыя отношенія образуютъ первую форму борьбы за индивидуальность въ человѣческомъ обществѣ, при появленіи своемъ мало или вовсе неосложненную другими формами, то наши далекіе предки естественно очень занимались указаннымъ противорѣчіемъ. Они ставили его, такъ сказать, ребромъ. Козьма Пражскій, напримѣръ, чрезвычайно поэтически описываетъ трехдневное перемиріе во время «дѣвичьей войны»: обѣ враждующія стороны, дравшіяся съ ожесточеніемъ, выкалывавшія другъ у друга глаза и отрубавшія пальцы, сходятся на пиршествѣ, которое оканчивается совершенно оргіастическимъ праздникомъ любви. Кровавая распря Тезея съ амазонками тоже заканчивается любовью. Самая любовь, какъ слитіе двухъ враждебныхъ и вмѣстѣ необходимыхъ другъ другу половинокъ, представлялась во многихъ греческихъ и средне-азіатскихъ культурахъ и миѳахъ чрезвычайно образно. Въ Фокидѣ существовалъ храмъ Геркулеса подъ характеристическимъ названіемъ Геркулеса Мизогина, т. е. женоненавистника. (Любопытно, что, по объясненію г. Воеводскаго, имя Деяниры, жены и виновницы смерти Геркулеса, значитъ «раздирающая мужей»). Дѣйствительно, Бахофенъ собралъ много чертъ борьбы Геркулеса съ женскимъ началомъ. Но вотъ герой сталкивается съ Омфалой, и любовь ихъ выражается переодѣваніемъ и обмѣномъ образа жизни. Омфала надѣваетъ на страшнаго полубога прозрачное розовое женское платье и сажаетъ его за прялку, а сама беретъ лукъ, колчанъ, львиную шкуру и палицу. Празднества Сандона, Астарты, Цибелы сопровождались переодѣваніемъ мужчинъ въ женское платье, и наоборотъ. Наконецъ, въ личностяхъ божествъ слитіе достигало окончательной ступени: многія божества изображались болѣе или менѣе гермафродитами. Такъ, напримѣръ, сирійская Афродита или Астарта изображалась на Кипрѣ съ бородой и съ еще болѣе ясными признаками мужественности. Дункеръ въ своей Geschichte des Alterthums нерѣдко обращаетъ вниманіе на замѣчательный фактъ слитія парныхъ боговъ и богинь въ одно двуполое цѣлое. «Такимъ образомъ,—говоритъ онъ,—должно было выражаться соединеніе мужского и женскаго начала въ высшую силу природы, въ единое божественное существо» (I, 257, 297 и др., 2 изд.). Такое полное примиреніе возможно было, однако, только въ пылкомъ полетѣ фан-

тазіи, въ высочайшемъ идеалѣ, и потому на землѣ борьба за индивидуальность шла своимъ чередомъ, склоняя чашки вѣсовъ побѣды то на одну, то на другую сторону. Грубо наивная древность была до такой степени заинтересована этой борьбой, что фаллусъ былъ для нея какъ бы знаменемъ мужчины, священнымъ символомъ его личныхъ, семейныхъ, общественныхъ правъ и притязаній, а ктеисъ—такимъ же знаменемъ женщины. Древніе миѳы и культы, обряды и обычаи многихъ нынѣ живущихъ народовъ представляются, съ точки зрѣнія европейскаго цивилизованнаго человѣка, исполненными крайняго безстыдства и безнравственности. Напримѣръ, описывая любопытный праздникъ сбора плодовъ ямса на Золотомъ берегу, Рейхеновъ говоритъ, то онъ сопровождается «скандаломъ въ самомъ рѣзкомъ смыслѣ этого слова», пошлостями, безстыдствомъ и проч. (Zeitschrift für Ethnologie. 1873, Heft II, письмо къ Бастіану). Конечно, если бы мы стали продѣлывать что-нибудь въ родѣ описываемаго Рейхеновымъ, такъ это былъ бы и скандалъ, и пошлость, и безстыдство, какъ была бы съ нашей стороны безсмысленной и пошлой комедіей кувада. Но для первобытнаго человѣка она—не праздное развлеченіе, а великое, торжественное дѣло, съ которымъ связана вся его исторія. Мы устраиваемъ свои половыя отношенія по возможности въ сторонѣ отъ другихъ нашихъ дѣлъ и независимо отъ нихъ, и въ этой-то ихъ обособленности и, такъ сказать, обнаженности лежитъ вполнѣ естественная причина стыдливаго молчанія, которымъ мы ихъ окружаемъ. Первобытный человѣкъ этой обособленности не знаетъ. Онъ распространяетъ идею любви, брака и плодородія даже на внѣшнюю природу. Упомянутый праздникъ негровъ Золотого берега напоминаетъ нѣкоторыми своими чертами многія древнія торжества, и въ томъ числѣ наши похороны Ярилы. Похороны эти совершались въ ознаменованіе прекращенія дѣйствія лѣтняго солнечнаго (землю оплодотворяющаго) тепла. При этомъ чучело, которое хоронили, изображалось съ огромнымъ фаллусомъ. Женщины плакали, причитали и пѣли съ нашей точки зрѣнія совершенно безстыдныя пѣсни (одна изъ нихъ приведена недавно въ смягченномъ видѣ г. Печерскимъ, «Въ лѣсахъ», IV, 131). Сравнительная миѳологія давно уже установила многочисленныя параллели между различными перипетіями половыхъ отношеній и явленіями грозы, грома, молніи, дождя. Если, такимъ образомъ, даже процессы внѣшней природы сближались и прямо отождествлялись съ половымъ процессомъ, то тѣмъ болѣе въ правѣ мы ожидать сближенія явленій половой жизни съ отношеніями гражданскими, общественными, что для насъ здѣсь особенно важно. И дѣйствительно, такія сближенія встрѣчаются, можно сказать, на каждомъ шагу. При самомъ началѣ вереницы греческихъ боговъ мы видимъ Крона, оскопляющаго (по наущенію матери) своего отца Урана и овладѣвающаго его престоломъ, и затѣмъ — Зевса, низвергающаго своего отца Крона и берущаго себѣ въ жены его жену, т. е. свою мать Рею. Обѣ эти революціи, слѣдовательно, самымъ тѣснымъ образомъ соприкасаются съ явленіями половой жизни и находятъ себѣ въ нихъ и завершеніе, и символъ. Новый богъ, новый владыка безсмертныхъ и смертныхъ въ одномъ случаѣ лишаетъ стараго не только власти, а и половой жизни, въ другомъ—овладѣваетъ вмѣстѣ съ престоломъ женой стараго владыки, т. е. принимаетъ на себя его половыя отношенія. Говоря мимоходомъ объ этихъ самыхъ эпизодахъ, г. Воеводскій замѣчаетъ: «Слѣдуетъ только вспомнить, какую важную роль игралъ дѣтородный членъ во всѣхъ древнихъ культахъ. Оскопить человѣка—значило лишить его символа власти и жизни» (295). Ясно, что половой процессъ и возникающія изъ него отношенія, сплетаясь съ различными нравственно-политическими элементами, проникая ихъ и въ то же время проникаясь ими, не могли имѣть остраго «скандальнаго» характера. Совпаденіе строго-легальной чистоты семейныхъ отношеній, даже нѣсколько аскетическаго пошиба, съ грубо наглядными формами культа, поражаетъ, напримѣръ, въ празднествахъ въ честь Деметры, богини, прямо противоположной по своему характеру распущенной Афродитѣ. Въ тесмофоріяхъ, какъ назывались эти празднества, принимали главное и почти исключительное участіе женщины (мужчинамъ въ нѣкоторыхъ случаяхъ даже подъ страхомъ смерти воспрещалось проникать въ храмъ) и при томъ женщины, родившіяся въ законномъ бракѣ и состоящія въ таковомъ же; да и тѣ должны были, приготовляясь къ празднику, воздерживаться извѣстное время отъ половыхъ сношеній (Maury. Histoire des rèligions de la Grèce antique, II, 223 и слѣд.). А между тѣмъ, въ тесмофоріяхъ играло существенную роль изображеніе ктеисъ. Ясно, что эротическій элементъ расплывался здѣсь въ чемъ-то гораздо болѣе широкомъ.

Что же это такое было, это широкое? Послѣ всего предыдущаго, мы, кажется, имѣемъ уже право отвѣтить: борьба мужского и женскаго началъ, борьба не только личная, а и общественная, поднятая напряженіемъ исторіи до религіозной высоты. Совершенно независимо отъ группъ сословныхъ, племенныхъ, національныхъ и другихъ высшихъ общественныхъ индивидуальностей и раньше

нихъ слагалась индивидуальность семейная, а въ ней бились, какъ птицы въ клѣткѣ, двѣ половинки человѣческой индивидуальности, безповоротно разрѣзанныя тысячелѣтнимъ процессомъ природы. Я прошу читателя обратить вниманіе, что это не есть Дарвинова борьба за существованіе, хотя и она играла въ занимающихъ насъ отношеніяхъ свою подчиненную роль. Обѣ половины человѣческаго существа боролись именно за индивидуальность, обѣ стремились обратиться изъ половинокъ въ нѣчто цѣлое, т. е. совмѣстить въ себѣ весь жизненный трудъ, требуемый наличными условіями, и все сопряженное съ нимъ наслажденіе. Временное удовлетвореніе это стремленіе получало, какъ получаетъ и теперь, въ любви; но такъ какъ затѣмъ налицо оставались всетаки только двѣ половины, а не что-нибудь единое и цѣлое, то каждая изъ нихъ искала иныхъ путей. Въ безумномъ порывѣ мечты эти поиски создавали двуполые образы божествъ, а въ дѣйствительности заставляли то женщину обращаться въ «мужеподобную» амазонку, то мужчину подражать въ кувадѣ мукамъ родильницы. Если мы видимъ многочисленныя отклоненія отъ этого органическаго стремленія къ цѣлости и единству, къ индивидуальности; если мы видимъ, напримѣръ, стремленіе мужчинъ и женщинъ строго распредѣлить между собой необходимый жизненный трудъ, при чемъ каждая сторона норовитъ навалить на другую какъ можно больше, то это — результатъ наростанія и укрѣпленія индивидуальности общественной, главнымъ образомъ—семейной. Индивидъ въ тѣсномъ смыслѣ слова, пока онъ не покоренъ высшею индивидуальностью, жаденъ до послѣдней степени и не только неохотно уступаетъ другому какую-нибудь функцію своего организма, но стремится захватить и чужія функціи. Въ позднѣйшихъ формахъ борьбы за индивидуальность мы увидимъ это подробнѣе. Но, собственно, по яркости и наглядности этой жадности, мы не увидимъ уже ничего столь поразительнаго, какъ представленные факты борьбы мужского и женскаго начала.

Я долженъ напомнить читателю то различіе двухъ основныхъ формъ эгоизма, которое я пытался установить во вступительномъ очеркѣ. «Мы знаемъ превосходно,—говоритъ одинъ нѣмецкій писатель, — что многіе органы излишни для жизни, но не знаемъ всѣхъ органовъ, которые *должны* быть сохранены для безпрерывнаго продолженія жизни. Случалось, что человѣкъ оставался живъ послѣ ампутаціи обѣихъ рукъ и обѣихъ ногъ. Тѣмъ не менѣе конечности необходимы для сохраненія жизни, потому что въ этомъ случаѣ человѣкъ могъ оставаться въ живыхъ, только пользуясь руками и ногами другихъ людей» (Прейеръ, «Изслѣдованіе жизни» въ «Знаніи» 1873, № 4). Но не однѣ жертвы хирургическихъ операцій могутъ жить только потому, что у другихъ есть руки и ноги. Существуетъ даже мнѣніе, что человѣкъ, по самымъ основнымъ свойствамъ своей природы, склоненъ къ такому положенію, т. е. къ возможности жить только благодаря тому, что у другихъ людей есть руки и ноги. Эту-то предполагаемую основную склонность человѣка, психологи, моралисты, экономисты называютъ эгоизмомъ. Неспорно, что всѣ ихъ теоріи имѣютъ широкое фактическое основаніе; не мало на свѣтѣ людей, уподобляющихся паразиту, постепенно суживающему формулу своей жизни, остающемуся, наконецъ, безъ конечностей, безъ органа зрѣнія и превращающемуся въ пищеварительно-половой инструментъ. Неспорно, что склонность къ паразитизму есть склонность эгоистическая. Но всетаки это — только извѣстная, хотя и широко распространенная форма эгоизма. Существуетъ и другая, когда человѣкъ стремится, напротивъ, расширить свою формулу жизни, вводить въ нее все новые и новые элементы, обнимать все большій и большій кругъ наслажденій, а слѣдовательно, и дѣятельности. Первая форма даетъ начало борьбѣ за существованіе, вторая — борьбѣ за индивидуальность. Результатъ борьбы за существованіе есть приспособленіе къ исторически данной общественной средѣ. Результатъ борьбы за индивидуальность—обратный: приспособленіе среды. Дана, положимъ, вышеупомянутая семья бразильскихъ тупинамбосовъ. Роли индивидовъ распредѣлены вполнѣ ясно: мужъ—грубый воинъ-людоѣдъ, ничего, кромѣ войны, не знающій и въ свободное отъ этого занятія время ровно ничего не дѣлающій; жена—покорное вьючное животное, исполняющее всѣ хозяйственныя обязанности, рожающее дѣтей, но лично не имѣющее на нихъ никакихъ правъ; ея дѣти могутъ быть совершенно правомѣрно съѣдены, если они прижиты не отъ ея суроваго владыки, а рожать такихъ обреченныхъ на убой дѣтей она опять-таки обязана по требованію все того же владыки. Такъ сложилась исторически эта форма семьи. Пусть несчастное созданіе, исправляющее въ этой семьѣ обязанности жены и матери, борется за существованіе, т. е. за пространство, за воздухъ, метафорически выражаясь, за кусокъ хлѣба, а въ дѣйствительности этотъ кусокъ можетъ иногда оказаться обглоданною костью ея собственнаго дѣтища. Въ результатѣ получится болѣе или менѣе полное приспособленіе къ данной семейной средѣ. Среда эта укрѣпится, а формула жизни жены-матери сократится. То же самое и относительно самого владыки, не смотря на его

привилегированное положеніе. Но пусть эти люди борются не за существованіе, а за индивидуальность, за расширеніе своего *я*; пусть только, напримѣръ, женщина добивается признанія *своихъ* дѣтей *своими* и, слѣдовательно, неподлежащими съѣденію. Въ результатѣ получается или, по крайней мѣрѣ, можетъ получиться измѣненіе среды, ея приспособленіе къ требованіямъ индивида въ тѣсномъ смыслѣ слова. Не смотря, однако, на эту глубокую разницу между борьбой за существованіе и борьбой за индивидуальность, они съ извѣстной точки зрѣнія могутъ переходить одна въ другую. Мы условились принимать цѣлую градацію индивидуальностей, въ которой индивидъ въ тѣсномъ смыслѣ слова, человѣкъ, личность составляетъ только одно изъ звеньевъ, хотя самое для насъ дорогое и даже единственное дорогое и близкое. Поэтому и борьба за существованіе можетъ быть разсматриваема, какъ частный случай борьбы за индивидуальность,—тотъ именно случай, когда активнымъ, борющимся и побѣждающимъ началомъ является высшая общественная индивидуальность, въ области занимающихъ насъ теперь явленій – семейная. Естественное дѣло, что пока эта высшая индивидуальность еще не окрѣпла, не развилась, не налегла всею своею тяжестью на человѣка, не было и поводовъ къ ней приспособляться. Эгоизмъ въ эту отдаленную пору долженъ былъ направляться и дѣйствительно направлялся главнымъ образомъ на расширеніе личности, на захватъ все большаго и большаго круга наслажденій и дѣятельности, хотя бы этотъ захватъ даже сопровождался нѣкоторыми частными лишеніями и страданіями. Мы видѣли тому по истинѣ поразительные примѣры въ кувадѣ, въ которой наивный дикарь мечтаетъ принять на себя даже трудъ родовъ; въ попыткахъ женщины стать «мужеподобною», оставаясь женщиной.

Что касается до перипитій этой удивительной борьбы, то онѣ наиболѣе изслѣдованы Бахофеномъ. Вотъ въ общихъ чертахъ результаты, къ которымъ онъ пришелъ. За періодомъ гетеризма, безразличнаго смѣшенія половъ, слѣдовалъ періодъ женовластія и именно въ видѣ преобладанія матери. Женщина, какъ существо болѣе слабое и на которое поэтому первобытный гетеризмъ ложился тяжелымъ бременемъ, первая возстала противъ господствовавшаго звѣрообразнаго порядка. Но возстать она могла только въ качествѣ матери и, слѣдовательно, съ помощью дѣтей, которыя были къ ней естественно ближе, чѣмъ къ отцу, даже если онъ былъ извѣстенъ (наглядное выраженіе этого переворота даютъ вышеупомянутые миѳы Крона и Зевса, низвергающихъ, въ союзѣ съ матерями, своихъ отцовъ). Такимъ образомъ женщина, родившая и вскормившая дѣтей, мать, кладетъ основаніе семьѣ и становится во главѣ ея. Отсюда—наслѣдованіе по женской линіи. Но на этомъ не могъ остановиться потокъ женовластія. Женщина получаетъ преобладающій голосъ въ собраніяхъ семей, т. е. въ народныхъ собраніяхъ, въ гражданской и политической жизни. Мужчина, съ своей стороны, стремится захватить права и обязанности матери. Въ этой борьбѣ выдвигаются амазонки, существованіе которыхъ Бахофенъ считаетъ несомнѣннымъ и появленіе которыхъ на аренѣ исторіи онъ признаетъ вырожденіемъ, извращеніемъ женской природы и частнымъ возвращеніемъ къ первобытному гетеризму. Наконецъ, побѣждаетъ мужчина, и семья поднимается на высшую ступень, ступень духовной, болѣе отвлеченной связи отца съ дѣтьми, въ противоположность ясно физической связи матери съ дѣтьми.

Я обращаю вниманіе читателя только на фактическую сторону изслѣдованія Бахофена, а не на его субъективныя мнѣнія, совершенно, впрочемъ, тонущія въ громадной массѣ истолкованныхъ имъ историческихъ фактовъ и миѳическихъ сказаній. Исходя изъ того принципа, что въ миѳахъ отразилась, съ извѣстнымъ, разумѣется, преломленіемъ, дѣйствительная исторія, Бахофенъ даетъ, напримѣръ, миѳу Беллерофона такой видъ: герой имѣетъ цѣлью установить высшій и исторически позднѣйшій типъ семьи съ преобладаніемъ отца, а вмѣстѣ съ тѣмъ преобладаніе мужчины въ гражданской политической жизни; но ему удается только половина задачи: амазонокъ, это извращеніе женской природы и возвращеніе къ первобытному гетеризму, онъ побѣдилъ, но отступилъ передъ ликійскими матерями, представшими ему въ самомъ *женственномъ* видѣ, такъ сказать, съ знаменемъ материнства. Кромѣ извѣстныхъ уже намъ, главныхъ контуровъ женовластія, сохранившихся коегдѣ, какъ мы видѣли, и донынѣ въ видѣ слабыхъ остатковъ, Бахофенъ пытается еще возстановить нѣкоторыя второстепенныя черты этой формы общежитія. Нельзя, къ сожалѣнію, сказать, чтобы всѣ эти его попытки были удачны. Такъ онъ желаетъ, напримѣръ, опредѣлить отношеніе кастоваго строя Египта къ женовластію, которое по показанію древнихъ писателей было таково, что всѣ высшія должности были въ Египтѣ заняты женщинами, а домашнее хозяйство предоставлялось мужчинамъ. Однако, изъ этого желанія не вышло ничего, кромѣ нѣкоторой путаницы (стр. 103 и др.). Тѣмъ не менѣе, нельзя не признать справедливою слѣдующую основную мысль Бахофена. Если вѣрно—

а въ этомъ, кажется, нельзя сомнѣваться—что женщина, и именно въ качествѣ матери, играла нѣкогда такую выдающуюся роль, какъ думаетъ нашъ авторъ и какъ отчасти могъ видѣть читатель изъ предыдущаго, то эта черта должна была самымъ рѣшительнымъ образомъ отразиться на всемъ строѣ цивилизаціи. Въ самомъ дѣлѣ, въ послѣдующее время съ понятіемъ женщины сочеталось представленіе чего-то по существу подчиненнаго, низкаго, грязнаго, а актъ дѣторожденія и всѣ связанныя съ нимъ явленія, столь нѣкогда священныя, представлялись требующими особеннаго искупленія и очищенія. Это—такой крупный переворотъ, подобнаго которому исторія, можетъ быть, не представляетъ. А между тѣмъ, передъ нимъ должны стать втупикъ или, по крайней мѣрѣ, отмѣтить его какъ фактъ, не подлежащій дальнѣйшему объясненію, люди, привыкшіе видѣть центръ тяжести исторіи въ умственномъ развитіи. Книга Бахофена тѣмъ именно намъ и дорога, что признаетъ такимъ центромъ отношенія общественныя и уже изъ него ведетъ радіусы къ системѣ вѣрованій и понятій. И оттого-то мы встрѣчаемъ у него такіе блистающіе свѣжестью и оригинальностью выводы. Въ цитированной уже выше статьѣ Прейеръ дѣлаетъ слѣдующее остроумное замѣчаніе: «Преобладающее направленіе умовъ нашего столѣтія можно назвать по преимуществу механическимъ. Съ одной стороны, никогда еще не тратилось такъ много умственныхъ силъ на сооруженіе машинъ, сберегающихъ и замѣняющихъ человѣческія руки и мозгъ, на изысканіе средствъ для капитализаціи и распредѣленія пространства и времени; съ другой стороны, попытки объяснить чисто механическимъ путемъ всѣ явленія, въ особенности самыя сложныя изъ нихъ—явленія жизни—никогда еще не были такъ распространены, какъ въ настоящее время. *Второе, быть можетъ, есть послѣдствіе перваго. Удивлялись, что умъ человѣческій посредствомъ механическихъ приспособленій могъ подчинить себѣ природу, и такимъ образомъ матеріальные успѣхи какъ бы навели на успѣхи интеллектуальные*». Я ни малѣйше не сомнѣваюсь, что въ этомъ смѣломъ, хотя и брошенномъ мимоходомъ предположеніи лежитъ зерно правды. Что явленія умственной жизни тѣсно связаны съ фактами общественныхъ отношеній—это никѣмъ, кажется, не отрицается. Но обыкновенно эту связь представляютъ себѣ такъ, что извѣстныя вѣрованія, успѣхи философіи, науки, литературы производятъ давленіе на общественную жизнь. На самомъ же дѣлѣ это давленіе ничтожно сравнительно съ толчкомъ, который дается умственной жизни формами общежитія. Несиорно, что дарвинизмъ, напримѣръ, извѣстнымъ образомъ отражается въ общественной жизни, расшатывая одни мнѣнія и чувства и укрѣпляя другія. Но самъ дарвинизмъ могъ явиться только въ наше время, не потому только, что для такой группировки біологическихъ явленій не доставало донынѣ матеріаловъ (что даже и не совсѣмъ вѣрно), а главнымъ образомъ потому, что наше время есть время вящшаго торжества въ обществѣ Дарвиновыхъ принциповъ борьбы за существованіе, расхожденія признаковъ и приспособленія. Какъ ни парадоксаленъ можетъ показаться на первый взглядъ этотъ принципъ, который я теперь защищать во всемъ его объемѣ не могу, но несомнѣнно, что, по крайней мѣрѣ, относительно вѣрованій, онъ скоро станетъ азбучной истиной. А если такъ, то, конечно, рѣзкая разница во взаимныхъ отношеніяхъ обоихъ половъ должна имѣть своимъ послѣдствіемъ столь же рѣзкую разницу міросозерцаній. И Бахофенъ кое-что сдѣлалъ для опредѣленія этой разницы. Не говоря объ общемъ характерѣ его изслѣдованія, цѣликомъ направленнаго къ тому, чтобы сопоставленіемъ миѳовъ и историческихъ данныхъ, такъ сказать, вынудить у первыхъ ихъ общественный смыслъ, онъ остроумно связалъ нѣкоторыя вѣрованія съ обыденными житейскими дѣлами собственно для характеристики періода женовластія. Наибольше онъ напираетъ на преобладаніе въ этомъ періодѣ луны, ночи и лѣвой руки надъ солнцемъ, днемъ и правой рукой, которые выдвинулись на первый планъ только съ тѣхъ поръ, какъ первенствующимъ лицомъ въ семьѣ и обществѣ сталъ мужчина. Связь луны съ женскими божествами и солнца съ мужскими до извѣстной степени, кажется, общепризнана въ наукѣ. Относящіяся сюда миѳологическія данныя Бахофенъ сопоставляетъ съ рядомъ свидѣтельствъ о странномъ предпочтеніи ночи сравнительно съ днемъ у народовъ, гинекократическій характеръ которыхъ можетъ быть дознанъ. Предпочтеніе это выражалось въ выборѣ ночи для сраженій, для всякаго рода сходокъ и собраній, для религіозныхъ церемоній, для отправленія правосудія, въ счисленіи времени ночами, а не днями и т. п. Положенія эти являются у Бахофена не только плодами теоретическихъ соображеній; они, напротивъ, даже до безпорядочности завалены грудой фактическаго матеріала. Факты сведены у него такъ, что отдаленная древность является какъ бы насквозь пропитанною идеею тѣснѣйшаго родства между женскимъ элементомъ, луною, ночью и, наконецъ, лѣвой рукой. Изо всѣхъ этихъ чертъ я могу и долженъ нѣсколько

подробнѣе остановиться только на послѣдней, т. е. на преобладанiи лѣвой руки надъ правой.

Извѣстны взгляды Биша на значенiе неравномѣрной дѣятельности и неравномѣрнаго развитiя парныхъ симметрическихъ органовъ, главнымъ образомъ — правой и лѣвой рукъ. Биша полагалъ, что эта неравномѣрность, именно превосходство всей правой стороны нашего организма, не есть что-нибудь врожденное, обусловленное самою природою органовъ; что, не смотря на нѣкоторыя дѣйствительныя различiя правой и лѣвой стороны, «мы всегда будемъ въ правѣ сказать, что это неравенство вызывается общественными требованiями, а природа предназначала обѣ половины къ согласному дѣйствiю» («Физiологическiя изслѣдованiя о жизни и смерти», пер. Бибикова, 25). Затѣмъ, несогласное дѣйствiе обѣихъ половинъ Биша признаетъ источникомъ различныхъ несовершенствъ. Напримѣръ, фальшивый голосъ (если онъ не зависитъ отъ недостатка слуха) обусловливается несогласiемъ обѣихъ симметрическихъ половинъ гортани, неравною силою мускуловъ, двигающихъ голосовыя пластинки, неравною дѣятельностью соотвѣтственныхъ нервовъ и т. д. Неравномѣрная дѣятельность обѣихъ мозговыхъ полушарiй ведетъ къ умственному ослабленiю и разстройству. Но если бы мы захотѣли обратиться по этому вопросу къ признанной, авторитетной наукѣ, то получили бы очень немного указанiй. Въ берлинскомъ антропологическомъ обществѣ (Gesellschaft für Anthropologie, Ethnologie und Urgeschichte) происходили въ 1873 г. пренiя по вопросу объ употребленiи правой и лѣвой руки. Въ пренiяхъ участвовалъ Вирховъ — авторитетъ достаточно громкiй. Онъ выразилъ мнѣнiе, что преимущественное употребленiе правой руки, повидимому, предопредѣлено особенностями нашей организацiи, но при этомъ сослался на два спецiальныя сочиненiя — одно 1847 года, а другое даже 1807-го! Далѣе, въ исторической части пренiй никто не упомянулъ ни единымъ словомъ о Бахофенѣ, хотя книга его вышла еще въ 1861 году. О Биша также не было сказано ни слова.

Пренiя въ берлинскомъ антропологическомъ обществѣ были вызваны рефератомъ Мейера. Мейеръ не думаетъ, чтобы предпочтенiе правой руки опредѣлялось свойствами нашей организацiи, потому что естественная разница между правой и лѣвой сторонами слишкомъ ничтожна для такого рѣшительнаго предпочтенiя. Не думаетъ онъ также (какъ думалъ Биша), что человѣкъ выбралъ правую руку просто потому, что надо же было которую нибудь выбрать. Биша думалъ, что для согласованiя своихъ дѣйствiй въ сраженiи люди условились держать наступательное оружiе въ правой рукѣ, а также производить всѣ общеупотребительныя движенiя слѣва направо, что сподручнѣе дѣлать правой рукой. Но Мейеръ полагаетъ, что эти явленiя не могутъ быть признаны коренными, потому что въ нихъ уже выразилось преобладанiе правой стороны. Преобладанiе — самое рѣшительное. Если мы обратимся къ изображенiямъ боговъ, то увидимъ, что они держатъ символы своей власти Зевсъ — молнiю, Посейдонъ — трезубецъ, Геркулесъ — палицу и проч., всегда въ правой рукѣ. Правую руку суетъ въ огонь Муцiй-Сцевола; правой рукою здороваются еще гомеровскiе герои, правою рукою караютъ и милуютъ боги, благословляютъ жрецы, судятъ судьи, царствуютъ цари; слѣва направо (по нашему «посолонь») происходятъ съ древнѣйшихъ временъ религiозныя церемонiи, угощенiе гостей и т. д. Далѣе во всѣхъ почти языкахъ названiе правой стороны синонимируется съ названiями привлекательныхъ умственныхъ, нравственныхъ и физическихъ качествъ — честности, прямоты, ловкости, справедливости (droit, adroit, dextérité; dexter, правда, право: Recht, rechtlich и проч.). Наоборотъ: названiе лѣвой руки въ языкахъ латинскомъ, французскомъ, нѣмецкомъ, готскомъ, кимврскомъ, венгерскомъ, итальянскомъ и проч., и проч. связывается съ понятiемъ слабаго, несчастнаго, неспособнаго, неловкаго, несвободнаго, рабскаго. Словомъ, всегда и вездѣ правая рука противопоставляется лѣвой съ такой же рѣзкостью, какъ добро злу, правда неправдѣ, свѣтъ мраку. Объясненiя такого всеобщаго и рѣзкаго противопоставленiя должно, по мнѣнiю Мейера, искать въ какомъ-нибудь постоянномъ и важномъ для людей явленiи природы — и именно въ восходѣ и заходѣ солнца. Для первобытнаго человѣка сами по себѣ правая и лѣвая сторона столь же безразличны, какъ и для животныхъ. Но съ ростомъ сознанiя человѣкъ, наконецъ, остановилъ свое вниманiе на появленiи изъ ночного мрака солнца и на движенiи его вправо къ югу, послѣ чего оно исчезаетъ на западѣ. Это были первыя постоянныя, изо дня въ день повторяющiяся явленiя, къ которымъ человѣкъ могъ прiурочить разъ навсегда понятiя «впередъ», «назадъ», «вправо», «влѣво», вообще — прочныя, опредѣленныя понятiя четырехъ различныхъ направленiй. А слѣдовательно, уже при самомъ зарожденiи своемъ эти понятiя должны были связаться съ противоположенiемъ свѣта и мрака и вмѣстѣ съ тѣмъ добра и зла, потому что мракъ ночи сопровождался сравнительною безпомощностью, страхомъ звѣрей и проч. Затѣмъ, вся эта группа представленiй освятилась религiознымъ элементомъ: божество, свѣтъ,

благо отошли вправо, «посолонь» (это русское слово въ самомъ дѣлѣ подтверждаетъ соображенія Мейера), а демонъ, мракъ, зло— влѣво. Я не буду утомлять читателя фактическими доказательствами, представленными Мейеромъ въ пользу своего объясненія, хотя они собственно занимаютъ немного мѣста и сводятся къ обычаямъ обращаться въ молитвѣ на востокъ и на западъ и къ нѣкоторымъ филологическимъ сближеніямъ. Мейеръ закончилъ свой рефератъ воспоминаніемъ о нѣмецкомъ патріотѣ, демократѣ и основателѣ гимнастическихъ обществъ Янѣ, который сильно возставалъ противъ «неестественной однорукости», т. е. преобладанія правой руки. Мейеръ не согласенъ съ Яномъ. Онъ допускаетъ, что «двурукость», равномѣрное развитіе правой и лѣвой руки, имѣла бы свои выгоды. Но думаетъ, что выгоды эти ничтожны сравнительно съ великимъ значеніемъ полярной противоположности добра и зла, которая порождена и поддерживается преобладаніемъ правой руки надъ лѣвой. «Упрекъ въ неосторожности, — говоритъ онъ,—опровергается соображеніемъ о томъ, что двусторонность была нѣкогда намъ присуща наравнѣ съ животными и растеніями, но, повинуясь естественному закону развитія, мы должны не только инстинктивно, а и сознательно подняться на высшую ступень надъ животнымъ міромъ. Конечно, не затѣмъ вѣчная природа обратила нашу голову къ небу, не затѣмъ научила она насъ всѣмъ міровымъ строемъ великому противоположенію добра и зла, чтобы мы теперь опять утратили его смыслъ изъ-за чисто тѣлесной цѣлесообразности и животной двусторонности; а затѣмъ, чтобы дать намъ руль въ буряхъ нашего духовнаго развитія и крылья для полета изъ конечнаго въ безконечное» (Verhandlungen der berl. Geselschaft etc. 1873, Sitzung v. 25 Januar).

Безъ сомнѣнія, этотъ заключительный ораторскій фокусъ референта есть величайшая пошлость, хотя бы ужъ потому, что люди научились различать добро и зло по очень многимъ причинамъ, а не только потому, что комбинація обстоятельствъ освятила для нихъ правую руку. Тѣмъ болѣе нелѣпо ожидать паденія полярной противоположности добра и зла отъ замѣны «однорукости» «двурукостью». Полярности добра и зла двурукость, конечно, не угрожаетъ; но самыя понятія о добрѣ, какъ и о злѣ, должны будутъ потерпѣть отъ ея введенія, вѣроятно, довольно значительныя измѣненія. Точно такъ же въ правѣ мы ожидать, чтобы преобладаніе лѣвой руки, если таковое нѣкогда было, должно было существеннымъ образомъ отражаться на весьма различныхъ сторонахъ жизни, равно какъ впослѣдствіи противоположная однорукость. Въ этомъ и состоитъ мысль Бахофена. Читатель не долженъ забывать, что однорукость сама въ себѣ не разрѣшается, что она ведетъ къ преобладанію всей соотвѣтственной стороны тѣла, значитъ и мускуловъ, и нервовъ, и органовъ чувствъ, и мозгового полушарія.

Изъ всѣхъ замѣчаній, вызванныхъ рефератомъ Мейера заслуживаетъ вниманія только одно. Именно Сименсъ замѣтилъ, что, если референтъ правъ, то, во всякомъ случаѣ, только относительно жителей сѣвернаго полушарія: въ южномъ же полушаріи, допуская вѣрность основного принципа референта, лѣвая рука должна бы была преобладать, такъ какъ тамъ видимое движеніе солнца происходитъ справа налѣво, и любопытно было бы провѣрить это обстоятельство на обычаяхъ туземцевъ южнаго полушарія. На это Мейеръ отвѣтилъ отчасти ни къ селу, ни къ городу, что человѣческая цивилизація сосредоточена преимущественно въ сѣверномъ полушаріи. Бастіанъ подтвердилъ основательность замѣчанія Сименса, но такъ какъ подъ рукой не оказалось нужныхъ для разъясненія недоразумѣнія свѣдѣній, то тѣмъ дѣло и кончилось. Если бы въ собраніи присутствовалъ Бахофенъ, пренія были бы вѣроятно несравненно продолжительнѣе. Самъ Мейеръ намекаетъ на существованіе нѣкоторыхъ прорѣхъ въ его теоріи. Такъ, онъ указываетъ относительно Египта, что слова «evet» и «emunt» (востокъ и западъ), которыя Шамполіонъ считалъ равнозначащими выраженіямъ «право» и «лѣво», теперь читаются наоборотъ, т. е. лѣво и право. Далѣе, греки называли иногда лѣвую сторону въ противность общему правилу счастливою, счастье приносящею, лучшею. Мейеръ объясняетъ это тѣмъ, что греки какъ бы хотѣли польстить грозному и мрачному началу лѣвой стороны, умилостивить его. Бахофенъ привелъ бы несравненно большее число такихъ исключеній, не становясь, однако, въ совершенное противорѣчіе съ Мейеромъ. Въ самомъ дѣлѣ, Мейеръ установляетъ тѣсную связь, съ одной стороны, солнца, дня и правой руки, а съ другой—ночи (слѣдовательно, и луны) и лѣвой руки. Ту же самую связь утверждаетъ и Бахофенъ, и это встрѣча людей, отправляющихся отъ совершенно разныхъ точекъ, заслуживаетъ большого вниманія. Но Бахофенъ прибавляетъ еще къ первой группѣ представленій мужской элементъ, а ко второй — женскій. Поэтому, сообразно общимъ результатамъ своего изслѣдованія, онъ не даетъ абсолютнаго рѣшенія, не говоритъ, что съ понятіемъ той или другой руки *всегда* связывалось что-то почтенное или что-то низкое. Онъ полагаетъ, что первоначально, вмѣстѣ съ господствомъ материнскаго права, преобладала и

лѣвая рука (любопытно, что такое временное преобладаніе, по совершенно инымъ резонамъ, готовъ допустить и Мейеръ. Verhandlungen, 29). Такъ, во время процессіи Изиды одинъ изъ жрецовъ несъ изображеніе лѣвой руки, которая называлась justitiae или aequitatis manus, рука справедливости, а также наполненный молокомъ золотой сосудъ, имѣвшій форму женской груди. Здѣсь ясно выступаютъ рядомъ: символъ женственности, материнства и почтеніе къ лѣвой рукѣ. Пиѳагорейцы, объяснявшіе все сущее изъ числа, какъ первичной субстанціи, и вмѣстѣ съ тѣмъ такъ высоко ставившіе женщину, сопоставляли нечетное число съ правой рукой, а четное - съ лѣвой. Понятіе же четнаго и до сихъ поръ во многихъ языкахъ отождествляется съ понятіемъ честнаго, прямого, справедливаго (gerade pair). Одна изъ древнѣйшихъ и чистѣйшихъ богинь Дикé, *Справедливость*, возсѣдаетъ на сѣверѣ, т. е. не посолонь, а влѣво, и держитъ колосья въ лѣвой рукѣ. Семирамида и другія типическія царственныя женщины изображались древними такъ, что только лѣвая сторона ихъ головы причесана, и проч., и проч. (Das Mutterrecht, 11, 127, 129, 132, 158, 185, 219, 274, 319, 362, 377, 413). Затѣмъ, когда женщина была побѣждена мужчиной, на первый планъ выдвинулась правая рука, а съ лѣвой сочетались понятія слабаго, зловреднаго и презрѣннаго. Низшей индійской кастѣ «чандала» законы Ману рѣшительно воспрещали употребленіе правой руки *). Такимъ образомъ судьба правой и лѣвой руки оказывается однимъ изъ эпизодовъ великой распри мужского и женскаго началъ, и притомъ освѣщаетъ ее именно съ точки зрѣнія борьбы за индивидуальность.

Я стараюсь представить читателю великую распрю по возможности въ чистомъ видѣ, что сопровождается, однако, большими трудностями, ибо семейныя отношенія облегаются наслоеніями другихъ общественныхъ индивидуальностей и нерѣдко совершенно въ нихъ топутъ. До какой степени легко запутаться въ этомъ лабиринтѣ, видно изъ слѣдующихъ примѣровъ. Г. Шашковъ, руководствуясь Бахофеномъ и Ливингстономъ, приводитъ много фактовъ стараго и современнаго женовластія въ Африкѣ. При этомъ онъ нерѣдко указываетъ на почетное значеніе женщинъ царскаго рода, что, однако, вовсе не говоритъ въ пользу его темы. Ливингстонъ говоритъ, напримѣръ (цитата у Леббока), что дочь одного начальника бечуановъ «не могла смотрѣть на мужа иначе, какъ на господина жены: поэтому она говорила, что всѣ мужчины принадлежатъ ей, она можетъ взять любого изъ нихъ, но не можетъ держать постоянно ни одного». Ясно, что мы имѣемъ здѣсь фактъ преобладанія не женщины, но вождя и его рода, а жена есть собственно раба мужа. Въ такія недоразумѣнія публицисты, историки и философы «женскаго вопроса» впадаютъ довольно часто, вводя въ занимающую ихъ область то, что вовсе къ ней не относится или относится въ совсѣмъ неблагопріятномъ для женщинъ смыслѣ. Мы, вѣроятно, еще увидимъ и другіе примѣры подобныхъ недоразумѣній. Въ послѣдующей исторіи супружескихъ отношеній, при преобладающемъ значеніи отца и мужа, весьма важную роль играютъ явленія, названныя Мак-Ленаномъ эндогаміей и экзогаміей: жена бралась или внутри своего племени, или со стороны, чужая. Въ случаѣ экзогаміи жена бралась насильно, умыкалась, и при этомъ, конечно, отбивалась сама и, если было возможно, прибѣгала къ помощи сородичей, одноплеменниковъ. Въ случаѣ побѣды мужчины женщина становится, разумѣется, рабой его, какъ военная добыча. Существуютъ многочисленныя описанія походовъ дикарей за женами, при чемъ они обращаются съ добычей варварски жестоко: оглушаютъ ее, напримѣръ, дубиной и волокутъ полумертвую въ свое логовище. Ничего нелегальнаго, противнаго понятіямъ дикарей о справедливости въ такомъ пріобрѣтеніи жены нѣтъ. До такой степени, что даже въ законахъ Ману одинъ изъ ви-

---

*) По поводу этой касты въ книгѣ Жаколліо „Les législateurs religieux“ (1876) встрѣчается чрезвычайно странная мысль. Каста чандала составилась, по мнѣнію автора, изъ отбросовъ высшихъ кастъ, лишенныхъ своего положенія за преступленія. Эти несчастные терпѣли всевозможныя гоненія и варварства: они не смѣли жить ни въ городахъ, ни въ деревняхъ, должны были употреблять разбитую посуду, воду могли пить только изъ болотъ и лужъ, и т. д. Въ періодъ борьбы буддистовъ и браманистовъ, чандалы, одинаково гонимые и презираемые обѣими враждующими сторонами, цѣлыми массами эмигрировали изъ Индіи, и изъ нихъ-то составились народы, названные впослѣдствіи семитическими. Сколько мнѣ извѣстно, это мнѣніе о происхожденіи семитовъ, кромѣ Жаколліо, рѣшительно не имѣетъ сторонниковъ. Самъ онъ высказываетъ его безъ всякихъ доказательствъ, чисто эпически. Нельзя считать доказательствами одной ссылки на Авадана-Састру (объ эмиграціи чандаловъ приблизительно въ направленіи Халдеи и Вавилона) и слѣдующихъ двухъ во всякомъ, впрочемъ, случаѣ любопытныхъ сближеній обычаевъ семитовъ съ постановленіями о чандалахъ. Когда, вслѣдствіе крайне жалкаго образа жизни, между чандалами начались заразительныя болѣзни, угрожавшія остальному населенію, имъ было предписано обрѣзаніе. Далѣе, какъ уже сказано, имъ было воспрещено употребленіе правой руки и писаніе слѣва направо. „Еще и донынѣ,—замѣчаетъ авторъ,—индо-европейскіе народы во всякомъ дѣлѣ пользуются преимущественно правой руки, тогда какъ всѣ такъ называемые семиты употребляютъ лѣвую (?)“. Напомню читателю, что Средняя Азія есть по преимуществу страна амазонокъ, женскихъ царствъ и боговъ-гермафродитовъ.

довъ или способовъ брака описывается слѣдующими чертами: «Когда изъ отцовскаго дома похищается молодая дѣвица, которая сопротивляется, зоветъ на помощь, когда разбиваются затворы и убиваютъ или ранятъ сопротивляющихся, то этотъ бракъ называется способомъ гигантовъ». Способъ этотъ рекомендуется исключительно для употребленія уважаемой кастѣ воиновъ. Съ теченіемъ времени этотъ способъ исчезъ и оставилъ только многочисленные символическіе слѣды въ свадебныхъ обрядахъ едва ли не всѣхъ народовъ. Общій характеръ этихъ обрядовъ лучше всего обозначается короткимъ замѣчаніемъ одного славянскаго писателя: «вся свадьба у южныхъ славянъ представляетъ собою войну въ маломъ видѣ» (Ферреръ Клунъ въ «Руской Бесѣдѣ» 1857). Но если мы вздумаемъ, на основаніи анализа и сравненія различныхъ свадебныхъ обрядовъ, возстановить обликъ того древняго быта, котораго они представляютъ только разрозненные и сами по себѣ безсмысленные обломки, то должны будемъ усмотрѣть въ нихъ весьма различныя наслоенія. Возьмемъ нѣсколько русскихъ свадебныхъ обычаевъ, собранныхъ Терещенкомъ («Бытъ русскаго народа»). Мы встрѣчаемъ, напримѣръ, пѣсню, въ которой мужъ беретъ жену

По божьему повелѣнью,
По царскому уложенью,
По господскому приказанью,
По мірскому приговору.

Здѣсь семья оказывается совершенно поглощенною другими общественными индивидуальностями (О бракахъ по мірскому приговору см. замѣчанія г. Якушкина, «Обычное Право», XXIII). Слѣдовательно, для выясненія собственно семейныхъ отношеній надо было бы произвести извѣстнаго рода вскрытіе. Невѣста плачетъ, что ее отдаютъ «чужому роду-племени», «разлучаютъ съ родомъ-племенемъ». Домъ, въ который она вступаетъ, представляется ей исполненнымъ вражды:

Что медвѣдь со медвѣдицей,
Богоданный-то батюшка
Съ богоданною матушкой;
Шипица колючая
Богоданны милы братцы;
Крапива-то жгучая
Богоданныя сестрицы.

Этимъ безотраднымъ пѣснямъ вполнѣ соотвѣтствуютъ нѣкоторые обряды встрѣчи невѣсты (такъ, въ нѣкоторыхъ мѣстахъ родители благословляютъ новобрачныхъ одѣтые въ вывороченной шубѣ, «что медвѣдь со медвѣдицей»), наконецъ, обряды отбиванія невѣсты, имѣющіе совершенно подобіе войны, пріобрѣтенія добычи, похищенія. Но уже въ этомъ подобіи войны можно усмотрѣть два противоположныя теченія, которыя слѣдуетъ строго различать, какъ принадлежащія двумъ разнымъ эпохамъ. Не всегда въ свадебныхъ обрядахъ женихъ похищаетъ или завоевываетъ невѣсту, а иногда, наоборотъ, невѣста — жениха. Не всегда также родственники или вообще безразлично представители того или другого пола отбиваютъ нападеніе жениха, а иногда исключительно женщины, вовсе не родственницы. Конечно, такихъ архаическихъ чертъ могло сохраниться немного, но онѣ всетаки есть. Такъ, въ Малороссіи, по словамъ Терещенки, невѣста повязываетъ жениха полотенцемъ. Сваты при этомъ объясняютъ, что «приводца» (приведеннаго) необходимо связать, чтобы онъ не убѣжалъ изъ хаты. Тамъ же въ числѣ свадебныхъ обрядовъ существуетъ ловля жениха; его ловятъ или палками загоняютъ на дворъ невѣсты; онъ упирается, убѣгаетъ, скачетъ на лошади. Отсюда уже недалеко до былины о богатырѣ Добрынѣ, котораго «паленица» схватила за желты кудри, посадила его «во глубокъ карманъ» и дома женила на себѣ. Г. Кавелинъ былъ, какъ извѣстно, въ молодости писатель, несравненно болѣе осмотрительный, чѣмъ теперь, когда сѣдина уже давно закралась въ его бороду. Тѣмъ не менѣе приведенные малороссійскіе свадебные обряды такъ ярки, что г. Кавелинъ, именно по поводу ихъ, говоритъ: «Пассивная роль жениховъ только окончательно убѣждаетъ, что мнѣніе, будто женскій полъ—слабѣйшая половина человѣческаго рода и потому въ быту занимаетъ второстепенное мѣсто—далеко не аксіома и не можетъ быть принято исходной точкой въ историческомъ изслѣдованіи» (Сочиненія, IV, 174). Въ другомъ мѣстѣ: «Мнѣніе, что женскій полъ есть слабѣйшій, не вполнѣ оправдывается исторіей, а потому не можетъ быть принято за аксіому въ историческихъ изслѣдованіяхъ о женщинѣ. Напримѣръ, что значитъ сказаніе объ амазонкахъ? Его нельзя признать за чистый вымыселъ. Нѣкоторые замѣчаютъ даже именно у славянскаго племени какое-то нравственное превосходство женскаго пола надъ мужскимъ» (тамъ же, 87). Малороссійская ловля жениха и привязываніе «приводца» не исключительныя явленія, какъ видно изъ слѣдующихъ словъ Леббока: у гаросовъ (индусское племя) при публичномъ объявленіи брака «происходитъ притворная драка, хотя въ этомъ случаѣ притворное сопротивленіе бываетъ на сторонѣ жениха. Въ этомъ племени дѣвушки предлагаютъ себя мужчинамъ» (l. c., 80). Я не располагаю ни достаточными данными, ни достаточнымъ временемъ для выясненія разницы тѣхъ свадебныхъ обрядовъ, въ которыхъ символически сражаются представители разныхъ *половъ*, и тѣхъ, въ которыхъ противниками являются представители разныхъ *родовъ* или племенъ.

Но разница налицо. Въ первомъ случаѣ стоятъ другъ противъ друга мужской и женскій элементы во всей двойственности ихъ враждебно-любовнаго отношенія, а во второмъ—эта коренная черта тонетъ въ позднѣйшихъ наслоеніяхъ родового быта.

Основаніе семьѣ положено безспорно матерью. Что касается до дальнѣйшей судьбы семьи подъ главенствомъ отца и мужа, то она насъ пока не занимаетъ, потому что намъ не выяснился еще основной факторъ супружескихъ отношеній—враждебно-любовное отношеніе между полами. Всѣ разнообразные оттѣнки и развѣтвленія патріархальной семьи пока исчезаютъ для насъ передъ тѣмъ общимъ фактомъ, что мать и жена заняли въ ней второстепенное мѣсто. Эта форма семьи, какъ мы видѣли, установилась не безъ борьбы, и съ установленіемъ ея борьба не прекратилась. Однако, борьба стала скоро существенно отличною отъ первобытной, такъ сказать, амазонской. Возьмите сборникъ семейно-нравственныхъ предписаній, въ родѣ «Домостроя» или «Пчелы», и какой-нибудь хорошій сборникъ народныхъ русскихъ пѣсенъ. Вы будете сравнивать идеалы зауряднаго мудреца съ дѣйствительностью, какъ и насколько она отразилась въ пѣснѣ. И вы поразитесь, до какой степени въ пустынѣ вопіетъ заурядный мудрецъ Какъ бы ни поступали, ни чувствовали, ни мыслили идеальныя фигуры мудреца, но въ дѣйствительности, и при томъ въ дѣйствительности, подхваченной пѣсней—значитъ яркой, характерной, потому что пѣсня даромъ слова не скажетъ,—жена въ такомъ родѣ забавляется надъ мужемъ: она заперла передъ носомъ мужа ворота и

...съ невѣжею смѣленько говорила:
Ты ночуй, ночуй, невѣжда, за вратами,
Вотъ тебѣ, невѣжа, мягкая постеля,
Мягкая постеля—бѣлая пороша!
Вотъ тебѣ высоко изголовье—подворотня!
Вотъ тебѣ шитое одѣяло—часты звѣзды!
Ужъ и я ли невѣжу упросила:
Каково тебѣ, невѣжа, за вратами,
Таково-жъ мнѣ, невѣжа, за тобою,
За твоей дурацкой головою.

Дѣйствительный мужъ жалуется, что за нимъ ходятъ три сторожа.

Трое сторожи, трое грозные:
Первый сторожъ ходитъ—тесть-батюшка,
Второй сторожъ—теща-матушка.
Третій сторожъ-молода жена:
Мы его пойдемъ, да на огнѣ сожжемъ,
На огнѣ найдемъ, пустимъ въ быстру рѣченьку.
Ахъ, ты возмой, возмой, туча грозная!
Убей моего тестя-батюшку,
А стрѣлой застрѣли тещу-матушку,
Сильнымъ дождичкомъ засѣки молоду жену.
Ты спаси, спаси красну дѣвушку,
Красну дѣвушку, прежнюю сударушку.

Наконецъ женщина поднимаетъ эту глухую борьбу до отвратительной высоты. Трудно въ самомъ дѣлѣ найти что-нибудь омерзительнѣе (по нравственному складу) той пѣсни, существующей во множествѣ варьянтовъ, въ которой женщина мститъ такъ:

Я изъ рукъ, изъ ногъ коровать смощу,
Изъ буйной головы яндаву скую,
Изъ глазъ его я чару солью,
Изъ мяса его пирогъ напеку,
А изъ сала его я свѣчей налью.
Созову я бесѣду подружекъ своихъ,
Я подружекъ своихъ и сестрицу его,
Загадаю загадку неотгадливую:
Ой, и что таково:
На миломъ я сижу,
На милова гляжу,
Я милымъ подношу,
Милымъ подчиваю.
А и милъ предо мной,
Что свѣчею горитъ?

Какого бы, однако, напряженія ни достигла эта борьба, въ какихъ бы страшныхъ образахъ она ни воплощалась, она ничтожна, какъ дѣтская игра, въ сравненіи съ тою гигантской борьбой, которая создавала миѳы и культы клала свою печать на весь общественный строй и на все міровоззрѣніе.

Zerstücke den Donner in seine einfachen Syblen,
Und du wirst Kinder damit in den Schlummer singen:
Schmeltze sie zusammen in einen plötzlichen Schall
Und der monarchische Laut widp den ewigen Himmel bewegen.

Donner древней борьбы за индивидуальность въ сферѣ занимающихъ насъ здѣсь вопросовъ былъ дѣйствительно zerstückt in seine einfachen Sylben, разбитъ на слоги. Съ безумнымъ, но смѣлымъ и величавымъ порывомъ существа, еще не отшлифованнаго гранями высшихъ общественныхъ индивидуальностей и не знающаго ни силъ своихъ, ни границъ, древность стремилась слить воедино мужской и женскій элементы и слить не только въ процессѣ любви, то-есть въ процессѣ взаимнаго тяготѣнія двухъ разрозненныхъ половинъ—нѣтъ: древность стремилась побороть и самую любовь, стать выше ея, обративъ каждую половину въ цѣлое, такъ, чтобы мужчина воспринялъ все женственное, а женщина—все мужественное. Съ свойственною ей цѣльностью и наивностью, древность доводила это стремленіе до геркулесовыхъ столповъ, до самыхъ послѣднихъ логическихъ результатовъ, и пала подъ бременемъ неумолимаго закона природы; пала, какъ гомеровскіе герои, не отступающіе и передъ богами, и оружіе которыхъ еще послѣ паденія гудитъ и звенитъ по всему полю битвы. Въ послѣдующіе періоды мы видимъ или голую борьбу за существованіе, то-есть приспособленіе къ условіямъ патріархальной семьи, или тотъ

только видъ борьбы за индивидуальность, который эксплуатируется всѣми романистами и называется любовью. Добрый молодецъ потому желаетъ смерти своей прекрасной «половинѣ», что она оказалась *не его* половиной, не подходящей, какъ ему, по крайней мѣрѣ, кажется. Кровавая мстительница потому льетъ свѣчи изъ сала своей непрекрасной «половины», что она отошла отъ нея. Сообразно этому борьба получаетъ исключительно личный характеръ. На сценѣ Иванъ и Марья, Ѳедотъ и Дарья, можетъ быть при достаточной сложности интриги три-четыре дѣйствующія лица, но нѣтъ лагеря женщинъ и лагеря мужчинъ — нѣтъ борьбы коллективной. Въ этомъ разница. За вычетомъ любви, всѣ стороны борьбы за индивидуальность сходятъ со сцены отношеній между полами и переходятъ на другую, вѣрнѣе на другія, гдѣ дѣйствуютъ роды, племена, народы, сословія, профессіи, касты, союзы политическіе, экономическіе, подъ коловращеніемъ которыхъ мужчина и женщина, какъ таковые, затираются. На исторической сценѣ фигурируютъ на первомъ планѣ не мужчина и женщина, а монголъ и европеецъ, браминъ и парій, гугенотъ и католикъ, капиталистъ и наемникъ— все нѣчто, если хотите, даже безполое, потому что въ столкновеніяхъ гугенота и католика или монгола и европейца полъ рѣшительно не при чемъ. Правда, женщина занимаетъ вездѣ второстепенное мѣсто и есть собственно только жена брамина, монгола и гугенота. Но подчиненное положеніе не спасло женщину отъ давленія высшихъ общественныхъ индивидуальностей. Его явственные слѣды она несетъ на себѣ и въ наше время, когда, повидимому, женщины опять выстраиваются въ сплошныя фаланги.

Читателю извѣстно, если онъ, разумѣется, удостоивалъ вниманіемъ мои прежнія писанія, что я не имѣю претензіи быть апостоломъ современнаго женскаго движенія, то-есть формъ, въ которыхъ оно практикуется, и путей, которыми идетъ. Я не стараюсь подчеркивать его слабыя стороны явственнѣе, чѣмъ стороны сильныя, но не могу не привести слѣдующую, напримѣръ, курьезную гипотезу г-жи Ройе, женщины очень ученой и неглупой. Сказавъ нѣсколько словъ о возможности женскихъ государствъ, помянувъ амазонокъ, г-жа Ройе переходитъ къ вопросу о полезности «переворота отношеній между полами». «Если бы,—она говоритъ,— было доказано, что такое общественное состояніе можетъ дать дѣйствительную экономію силъ, то есть сократить непроизводительную трату индивидуальной дѣятельности, сберечь время и вообще достигнуть извѣстныхъ результатовъ съ меньшими усиліями, то было бы весьма вѣроятно, что какая-нибудь разновидность человѣка осуществитъ съ теченіемъ времени на верху зоологической лѣстницы тѣ самыя чудеса женскаго генія, которыя насъ нисколько не удивляютъ у насѣкомыхъ—у пчелъ и муравьевъ» (Origine de l'homme et des sociétés, 381). Надо, впрочемъ, отдать справедливость г-жѣ Ройе: она говоритъ это въ сослагательномъ наклоненіи и даже начинаетъ съ того, что on ne voit pas bien ce que l'espèce humaine y gagnerait. Еще бы gagnerait! Перевернуть ли извѣстнымъ образомъ стасованную колоду картъ краномъ внизъ или краномъ вверхъ — отъ этого въ ней ничего не перемѣнится. Игра ума г-жи Ройе хороша только тѣмъ, что сама обнаруживаетъ свою неосновательность. Объ этомъ стоитъ сказать нѣсколько словъ, потому что игра ума г-жи Ройе переноситъ въ будущее то, что нѣкогда существовало и о чемъ мы уже говорили. На самомъ дѣлѣ, разница между этой гипотезой и первобытными гинекократическими обществами громадна, не столько въ общихъ контурахъ обоихъ зданій, сколько въ ихъ подробностяхъ, или, пожалуй, не столько въ ихъ планахъ, сколько въ исторической обстановкѣ. Я не говорю уже о томъ, что человѣчество едва ли захочетъ надѣть на себя новую петлю — и старыхъ дѣвать некуда,—но надо помнить, что древность молода, а современность стара и даже, можетъ быть, беззуба. Пылкость юноши не приличествуетъ разбитому параличемъ старцу. Главное отличіе игры ума г-жи Ройе отъ древняго женовластія состоитъ вотъ въ чемъ. Въ отдаленную пору борьбы мужского и женскаго началъ, которую я старался выше характеризовать, всякія общественныя индивидуальности только еще складывались, и всѣ достаточно рѣзкія различія между людьми, приходившими между собой въ столкновеніе, сводились къ различію половому. Между самими женщинами процессъ общественнаго развитія (дифференцированія) еще не провелъ тѣхъ рѣзкихъ демаркаціонныхъ чертъ, какія отдѣляютъ нынѣ дворянку отъ крестьянки, капиталистку отъ работницы, представительницу одной профессіи отъ представительницы другой. Исторія не провела ихъ и между мужчинами. Оттого возможно было общее женское дѣло и общее мужское дѣло, и оттого столкновеніе этихъ дѣлъ могло наполнить исторію. Нынѣ ничто подобное невозможно.

Здѣсь я чувствую потребность оторваться отъ гипотезы г-жи Ройе, которую, я въ это искренно вѣрю, русскія женщины въ серьезъ никоимъ образомъ не примутъ. Ну и Богъ съ ней. Но фактъ невозможности коллективнаго женскаго дѣла остается всетаки налицо. Точнѣе сказать: коллективное женское дѣло ог-

раничивается и не можетъ не ограничиваться самыми элементарными и общими требованіями. Если уличные ловеласы оскорбляютъ достоинство женщины, то противодѣйствіе имъ, повидимому, можетъ войти въ составъ общаго женскаго дѣла, хотя и тутъ, надо замѣтить, есть женщины, безусловно гарантированныя отъ уличныхъ оскорбленій своимъ положеніемъ, обстановкой, а есть такія, для которыхъ уличные ловеласы составляютъ источникъ существованія. Что въ самомъ дѣлѣ можетъ быть общаго въ настоящемъ случаѣ между великосвѣтской дамой, которая идетъ по Невскому въ сопровожденіи ливрейнаго лакея, проституткой, которая сама заглядываетъ прохожему въ глаза, бѣдной дѣвушкой, которая растеряется отъ обиды, и кухаркой или дворничихой, отъ которой ловеласъ въ случаѣ надобности отлетитъ турманомъ? Но уже несомнѣнно общее женское дѣло могутъ составить требованія расширенія правъ семейныхъ—матери, жены, дочери, требованія права любви. Далѣе сюда же слѣдуетъ условно допустить обнаруживающіяся нынѣ требованія права знанія и труда—условно потому, что право труда всего подавляющаго большинства населенія одинаково приблизительно есть или его одинаково нѣтъ какъ у женщинъ, такъ и у мужчинъ. Послѣдній случай для насъ особенно интересенъ. Пока рѣчь идетъ объ общихъ требованіяхъ знанія и труда, это есть коллективное женское дѣло и вмѣстѣ съ тѣмъ борьба за индивидуальность, за расширеніе женскаго *я*, за введеніе въ него новыхъ нравственныхъ, умственныхъ и физическихъ элементовъ. Но вопросъ можетъ значительно осложниться, когда общая формула выльется въ спеціальный, такъ-сказать, сосудъ и застынетъ въ немъ, отпечатавъ на себѣ всѣ его выпуклости и вогнутости. Легко можетъ случиться, что коллективное дѣло при этомъ раздробится на личныя дѣла, вмѣстѣ съ чѣмъ борьба за индивидуальность смѣнится голой борьбой за существованіе. Пускай завтра же отворятся настежь двери общественной дѣятельности передъ женщинами; пускай онѣ хлынутъ въ нихъ, давя другъ друга и мужчинъ, вообще, кто кого сможетъ, и размѣстятся въ стройномъ порядкѣ по ступенямъ политической, административной, экономической, профессіональной іерархіи. Отъ этого, можетъ быть, выиграетъ тотъ или другой общественный организмъ, та или другая ступень общественной индивидуальности, но женское, коллективное, общее женское дѣло—при чемъ оно тутъ? Женщины будутъ также конкуррировать между собой, перебивать другъ у друга кусокъ хлѣба, какъ это дѣлается и нынѣ между мужчинами. Конечно, виноватъ тутъ самый порядокъ, и нельзя винить никого, кто борется за существованіе. Но во всякомъ случаѣ разъ женщина борется только за существованіе—коллективный характеръ женскаго дѣла немыслимъ. Каждая въ одиночку будетъ приспособляться къ условіямъ жизни и той или другой общественной индивидуальности и фатально давить неприспособленныхъ: alte Geschichte, которая нисколько не мѣняется съ измѣненіемъ персонала. Радоваться ей, какъ успѣху женскаго дѣла, это, по-моему, со стороны друзей женщинъ—такое же недоразумѣніе, какъ радоваться тому, что дочь царька бечуановъ имѣетъ право выбирать себѣ любого мужа. Борьба за существованіе есть въ крайнемъ случаѣ только печальная необходимость и въ качествѣ таковой не заключаетъ въ себѣ, во-первыхъ, ничего радостнаго и желательнаго, потому что, чѣмъ она усиленнѣе, тѣмъ больше жертвъ, а во-вторыхъ, не можетъ имѣть общаго коллективнаго характера, потому что всегда разбиваетъ интересы, всегда zerstückt den Donner in seine einfachen Sylben. Кто хочетъ, чтобы громъ дѣйствительно гремѣлъ изъ тучи, тотъ долженъ искать иныхъ путей. Безъ сомнѣнія, положеніе женщинъ трудно, но едва ли оно легче для мужчинъ, быть можетъ, даже труднѣе, по крайней мѣрѣ, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ. И теперь каждый мужчина,—чтобы откровенно свести вопросъ на чисто личную почву,—долженъ, подойдя возрастомъ къ дверямъ общественной дѣятельности, прежде чѣмъ постучаться въ нихъ, добросовѣстно взвѣсить свои силы и подумать: бороться ли мнѣ только за существованіе и, слѣдовательно, приспособляться ко всѣмъ изгибамъ данной общественной среды, или же бороться за индивидуальность и, слѣдовательно, приспособлять. Трудно это, конечно; и рѣшить трудно, а въ послѣднемъ случаѣ и привести въ исполненіе нелегко, въ первомъ-то легко. Такъ или иначе, но вопросъ сводится не къ загораживанью для кого бы то ни было дороги къ труду и знанію, а къ формѣ труда и направленію знанія. Можетъ быть, поменьше настойчивости въ подчеркиваніи *женскаго* вопроса, поменьше желанія проникнуть во всѣ поры даннаго общественнаго организма не повредило бы женщинамъ.

Я пока только это и хотѣлъ сказать, а теперь обратимся опять къ тому исконному звену, которое связываетъ мужчину и женщину,—къ любви.

Потребность любви безъ сомнѣнія присуща человѣческой природѣ. Порукой въ томъ и вѣковая исторія, и любой почти нумеръ ежедневной газеты. Но въ извѣстныхъ, весьма значительныхъ предѣлахъ потребность любви можетъ измѣняться по силѣ и напря-

женности. Я имѣю въ виду не отдѣльныя личности, которыя любятъ, разумѣется, разно, а цѣлыя историческія эпохи. Если же искать эпоху, въ которой жажда любви прорывалась бы съ наибольшею силой, то, конечно, придется остановиться на среднихъ вѣкахъ. Въ самомъ дѣлѣ, въ эту пору всѣ общественные классы одолѣваются какою-то повальною одурью любви, если позволено мнѣ будетъ такъ выразиться: это выраженіе—самое подходящее. Я напомню только тѣ черты, которыя поражаютъ своею напряженностью какъ въ сторону прекраснаго, такъ и еще больше въ сторону смѣшного и отвратительнаго. Знаменитый Абеларъ, полный умственныхъ силъ и блестящихъ способностей, передаетъ, однако, въ назиданіе потомству не философію свою, а свою любовную исторію съ Элоизой. Данте навѣки связываетъ свое имя съ Беатриче. Петрарка двадцать лѣтъ безкорыстно любитъ и воспѣваетъ Лауру и, какъ самъ разсказываетъ, для обузданія пламени любви въ молодости, «блуждая безъ цѣли, оглашалъ долины и небо жалобными пѣснями». Не такъ знаменита любовь Боккачіо къ доннѣ Маріи, но за то скептическій гуляка прославилъ свое имя Декамерономъ, этимъ изображеніемъ пріятнаго времяпровожденія молодыхъ людей и женщинъ, удалившихся во время чумы въ раковину Венеры. Кроваво-порнографическій эпизодъ Нельской Башни, въ которой Маргарита Наварская, Іоанна де-Пуатье и Бланка де-ла-Маршъ разыгрывали роль «прекрасной, какъ ангелъ небесный, какъ демонъ коварной и злой» царицы Тамары. Романы и fabliaux, полные то чистѣйшей до эѳирности, то грязной до омерзѣнія любви, трубадуры, минезингеры, «веселая наука» и, наконецъ, рыцарство съ его служеніемъ «Богу и дамѣ» и утонченнѣйшими градаціями любви, рыцарство, совершавшее для прекрасныхъ глазъ дамы и великіе подвиги, и великія глупости. Пусть читатель просмотритъ хоть, напримѣръ, у Шерра («Исторія цивилизаціи Германіи») исторію глупаго, но пламеннаго рыцаря Ульриха фонъ-Лихтенштейна. Наконецъ, учреждаются «суды любви», cours d'amour; на нихъ стоитъ остановиться, чтобы видѣть, до какой виртуозности можно дойти въ этомъ направленіи. Рыцарская любовь имѣла много ступеней: любовь къ мужу была не то, что любовь къ своему рыцарю, любовь рыцаря, въ свою очередь, проходила извѣстную градацію, подробности возвышенія которой были строго опредѣлены. Существовалъ, напримѣръ, одинъ условный поцѣлуй, носившій выразительное названіе «половина да, половина нѣтъ». Считалось возможнымъ задавать и разрѣшать такія задачи: дама и рыцарь лежатъ въ объятіяхъ другъ друга цѣлую ночь, не позволяя себѣ ничего, кромѣ поцѣлуя. Естественно, что такія скользкія двусмысленности должны были подавать поводъ ко множеству недоразумѣній, разрѣшеніемъ которыхъ и занимались благорожденныя дамы, засѣдавшія въ «судахъ любви». Одинъ рыцарь послалъ своего друга къ дамѣ своего сердца по сердечному дѣлу, но другъ оказался коварнымъ другомъ, а дама коварною дамой. Рыцарь представилъ дѣло въ судъ любви, и судъ, состоявшій изъ шестидесяти дамъ подъ предсѣдательствомъ графини фландрской, постановилъ исключить коварныхъ изъ общества рыцарей и дамъ. Одинъ рыцарь признался въ любви дамѣ; та отвѣчала, что она уже любитъ другого, но если бы она его потеряла, то удовлетворитъ просителя. Вскорѣ дама вышла замужъ за любимаго рыцаря, и тогда отвергнутый потребовалъ исполненія обѣщанія. Дама не соглашалась, рыцарь—въ судъ. Судъ, подъ предсѣдательствомъ Элеоноры Пуатье, постановилъ: дама должна исполнить обѣщанное, потому что, выйдя замужъ за любимаго рыцаря, она, дѣйствительно, потеряла его, такъ какъ между мужемъ и женой не можетъ быть рыцарской любви. Поднимались и общіе вопросы. Напримѣръ: кто изъ двухъ любящихъ лучше—тотъ ли, кто умеръ съ печали, что не видалъ возлюбленной, или тотъ, кто умеръ отъ радости, увидавъ возлюбленную? Или: что лучше, любовь загорающаяся, или любовь возобновляющаяся? Но чтобы читатель сразу поднялся на вершину комизма судовъ любви, я заимствую у Дюфура (Histoire de la prostitution) слѣдующее судоговореніе. Во Франціи трибуналъ любви былъ довольно сложенъ; тамъ были и maire des bois verts, и baillif de joye, и viguier d'amours, и проч. Однажды дама приноситъ на своего друга жалобу devant le maistre des forestz et des eaues sur le faict du gibier d'amours. Она жалуется, что другъ нарочно столкнулъ ее въ рѣку, чтобы mettre la main sur les tetins, вслѣдствіе чего она проситъ, чтобы виновный былъ très grievement puny de punition publique. Другъ отвѣчалъ, что точно они въ воду упали, но что cheyant il ne l'avoit ni tastée ni pincée, ne n'eut pas le loisir de ce faire, pour l'eau dont il estoit tout esblouy. Тѣмъ не менѣе, le procureur d'amous dessus le faict des eaues et des forestz disoit que par les ordonnances il est deffendu de ne point chasser à engins, par lesquels on puisse prendre testins en l'eaue, и т. д. Судъ приговорилъ виновнаго, во вниманіе къ смягчающимъ обстоятельствамъ, къ покупкѣ дамѣ новаго платья, взамѣнъ попорченнаго водой. Мы имѣемъ тутъ дѣло съ какими-то полоумными, которые страстно жаждутъ любви, потому что готовы ради нея и умереть, и убить, и дѣлать невѣроятныя глупости, а между тѣмъ,

какъ будто совершенно растерялись и не знаютъ, кого любить, за что любить, какъ любить. Даже такое комическое дѣло, какъ суды любви, есть въ сущности, можетъ быть, только одна изъ формъ тѣхъ знаменитыхъ повальныхъ или коллективныхъ психическихъ болѣзней, которая такъ характеризуютъ средніе вѣка. Не все было комично въ средневѣковыхъ любовныхъ дѣлахъ. Припомнимъ многочисленныя исторіи привораживанія присухи, любовныхъ чаръ и, наконецъ, знаменитые процессы вѣдьмъ, въ которыхъ фигурировалъ дьяволъ подъ видомъ инкубъ и суккубъ, въ которыхъ дѣвушки и женщины обвиняли себя въ любовныхъ сношеніяхъ съ дьяволомъ. Что толкало воображеніе этихъ несчастныхъ по направленію къ безобразному козлу, какъ они себѣ представляли своего мрачнаго мучителя-любовника? Я чрезвычайно сожалѣю, что не могу теперь подробнѣе остановиться на этихъ поразительныхъ и уже завѣдомо патологическихъ поискахъ любви. Безъ сомнѣнія, одно упоминаніе о нихъ вызвало въ головѣ читателя ужасные образы, которыхъ, въ связи съ комизмомъ судовъ любви, съ минезингерами, трубадурами, рыцарями, приворотными зельями, болѣе или менѣе странною любовью великихъ поэтовъ (можетъ быть, сюда слѣдуетъ отнести еще гнусности, открытыя процессомъ тампліеровъ)—всего этого совершенно достаточно для признанія среднихъ вѣковъ временемъ вящшей и болѣзненной жажды любви. Въ самомъ дѣлѣ, отпечатокъ чего-то ненормальнаго, то капризно-страстнаго, то неестественно разогрѣтаго лежитъ и на исторіяхъ Абелара и Элоизы, Петрарки и Лауры, даже Данте и Беатриче, и на фантазіи Боккачіо вышитъ букетъ шаловливой любви на мрачномъ фонѣ чумы, а о массовыхъ движеніяхъ и говорить нечего. Откуда же взялся этотъ странный шабашъ глупцовъ и негодяевъ, полоумныхъ и увлеченныхъ, несчастныхъ и неистовыхъ?

Есть еще одна крупная, характерная черта въ средневѣковьѣ. Если вы будете слѣдить за судьбой обширной имперіи Карла Великаго, то поразитесь быстротой и неудержимостью, съ которою она стремилась, такъ сказать, атомизироваться, распасться на простѣйшія составныя части. Имперія разсыпается на королевства, королевства—на второстепенныя самостоятельныя политическія индивидуальности, а ихъ перерѣзываютъ во всѣхъ направленіяхъ стѣны и заставы; города разсыпаются на сословія, сословія—на цехи и гильдіи. Этотъ по размѣрамъ своимъ единственный въ исторіи процессъ займетъ насъ впослѣдствіи, при чемъ мы увидимъ въ немъ весьма различныя теченія. Теперь для насъ довольно слегка указать только на ту его сторону, которая несомнѣнно тяжелымъ гнетомъ ложилась на индивида въ тѣсномъ смыслѣ слова, на человѣческую личность. Не бѣда, что распадалась имперія Карла: бѣда въ томъ, что дробился человѣкъ. Общественное раздѣленіе труда достигло небывалой силы. Наука была оторвана отъ жизни, опытъ отъ мысли; воинъ былъ только воинъ и выглядывалъ изъ-за зубчатыхъ стѣнъ своего замка только для грабежа, разбоя и воинской потѣхи, турнировъ; каждая профессія отдѣлялась непроходимымъ рвомъ отъ всего остального міра, превращая своихъ представителей изъ людей въ спеціальные инструменты; даже нищіе прирастали, какъ грибы, къ церковнымъ папертямъ и не смѣли переходить отъ одной къ другой; даже у проститутокъ былъ свой rex ribaldorum, лишь бы онѣ поплотнѣе замкнулись въ свое ремесло. Я покажу въ свое время оборотную сторону этой медали—она есть, равно какъ и тѣ усилія, которыя человѣческая индивидуальность противопоставляла историческому теченію.

Нѣтъ ли какой-нибудь связи между представленными двумя рядами явленій средневѣковой жизни? Несомнѣнно есть, и не можетъ ея не быть между одновременными явленіями, до такой степени яркими и общими. Любовь есть стремленіе къ соединенію двухъ разрозненныхъ половинъ человѣческаго существа. Если бы мы имѣли дѣло съ абстрактнымъ человѣкомъ, то выборъ не игралъ бы никакой роли въ любви. На самомъ же дѣлѣ каждый изъ насъ, будучи въ качествѣ мужчины или женщины уже по коренному закону природы получеловѣкомъ, вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе или менѣе помятъ ближайшими условіями жизни. Этимъ обусловливается выборъ въ любви и при томъ въ той именно формѣ, которую подмѣтилъ еще Шопенгауэръ (и раньше Кантъ). Разнополость сама по себѣ не предрѣшаетъ съ исключительностью предмета любви. Но люди различаются не только полами, и потому законъ развитія компенсируетъ и второстепенные констрасты однихъ другимъ. Прежде всего это обнаруживается на вторичныхъ половыхъ признакахъ. Суммируя всѣ вторичные половые признаки въ словахъ мужественность и женственность, мы можемъ съ положительностью утверждать, что, чѣмъ въ данной расѣ или въ данную эпоху мужчины мужественнѣе, а женщины женственнѣе, тѣмъ, вообще говоря, любовь царитъ полновластнѣе. Но затѣмъ различные процессы и, между прочимъ, процессъ дифференцированія общества, производятъ многочисленныя измѣненія въ средѣ самихъ мужчинъ и самихъ женщинъ, новые, значитъ, контрасты, которые тѣмъ же механизмомъ закона развитія вовлекаются въ

общій водоворотъ любви. При этомъ мы имѣемъ уже не полчеловѣка, какъ оно слѣдовало бы по закону природы, а другую, меньшую дробь; и чѣмъ меньше эта дробь, тѣмъ страстнѣе стремится она къ своей дополнительной (до единицы) дроби; но трагизмъ состоитъ въ томъ, что тѣмъ труднѣе найти эту дополнительную дробь. Это именно мы и видимъ въ средніе вѣка. Представимъ себѣ средняго средневѣковаго мужчину, идеальный типъ, въ которомъ совмѣщались бы всѣ разбросанныя по классамъ и сословіямъ силы и способности. Это будетъ наше мѣрило, т. е. нормальный человѣкъ эпохи, точнѣе полчеловѣка, мужчина (замѣчу мимоходомъ, что таковъ именно долженъ быть пріемъ и при сравненіи двухъ эпохъ или двухъ цивилизацій, а слѣдовательно при оцѣнкѣ прогресса). Теперь посмотримъ, что такое, напримѣръ, Абеларъ. Возьмите какой-нибудь курсъ исторіи философіи, посмотрите, что занимало Абелара, какъ онъ разрѣшалъ волновавшіе его вопросы, и вы увидите, что Абеларъ былъ головастикъ, при томъ такой, у котораго уши, глаза, ноздри наполовину закрыты, такъ что еле-еле оставляютъ проходъ внѣшнему міру на кое-какую подтопку дикой мозговой работѣ. Онъ составляетъ, не смотря на свои блестящія діалектическія способности, весьма малую дробь нормальнаго человѣка эпохи, какъ съ точки зрѣнія волнующихъ его интересовъ, такъ и съ точки зрѣнія его силъ. Эта малая дробь ищетъ своей дополнительной дроби съ страшною стремительностью. Но откуда же взять эту дробь, когда кругомъ все столь же малыя дроби, хотя и съ другими знаменателями? Откуда взять туловище къ громадной картонной головѣ, которая мигаетъ и дуетъ въ «Русланѣ и Людмилѣ»? Оттого-то Абеларъ (помимо его позднѣйшаго уродства) такъ явно неудовлетворенъ любовью Элоизы, любитъ такъ грубо и извращенно. А что такое благородный и славный рыцарь Ульрихъ фонъ-Лихтенштейнъ? Ацефалъ, безголовый человѣкъ, въ головномъ отношеніи до такой степени безпомощный, что разъѣзжаетъ въ честь своей дамы по бѣлому свѣту въ костюмѣ Венеры. Что такое нищая, приросшая, какъ грибъ, къ паперти храма? Почти ничто. Подавленная своимъ ничтожествомъ и почерпающая въ немъ удесятеренную жажду любви, она, конечно, не найдетъ дополнительной дроби,— и вотъ она кидается въ объятія чему-то безъ образа, имени, кидается воображеніемъ въ объятія дьявола. Что такое всѣ эти графини фландрскія и Элеоноры Пуатье, всѣ эти благорожденныя дамы? Онѣ не имѣютъ понятія и о сотой долѣ тѣхъ страданій и радостей, которыми живетъ средній нормальный человѣкъ эпохи. И вотъ онѣ регламентируютъ любовь, требуя и плотской любви мужа, и двусмысленной любви рыцаря, и эѳирной любви простого поклонника, и полудѣтской любви пажа, думая изъ этихъ кусочковъ сложить требуемую дополнительную дробь. Но удовлетворенія нѣтъ, и благорожденныя дамы погрязаютъ въ безсмысленномъ шутовствѣ. Чѣмъ больше жажда любви, тѣмъ труднѣе ея удовлетвореніе. Это—варіація на ту же тему, которая въ примѣненіи къ жаждѣ наживы была нами указана въ первомъ очеркѣ: здѣсь мы имѣемъ выраженіе того же основного психо-физическаго закона, въ силу котораго ощущеніе растетъ только какъ логариѳмъ вызывающаго его раздраженія.

Средніе вѣка миновали, и наше время, къ счастію, не знаетъ уже такой колоссальной несоразмѣрности жажды любви съ возможностью ея удовлетворенія, хотя она остается всетаки причиною многихъ разбитыхъ жизней. Но наше время выставило другую, не менѣе грозную несоразмѣрность въ теоремѣ Мальтуса. Теорія Мальтуса можетъ насъ здѣсь интересовать только поскольку ею затрогиваются отношенія семейныя и половыя. Поэтому достаточно заявить, что въ основныхъ своихъ чертахъ она, въ примѣненіи къ даннымъ общественнымъ условіямъ, несомнѣнно вѣрна. Я разумѣю только самую теорему, а не практическіе выводы изъ нея Мальтуса и мальтузіанцевъ. Нѣкоторые изъ этихъ выводовъ теперь именно подлежатъ нашему обсужденію.

IV *).

Семья.

(*Окончаніе*).

«Нравственное самообузданіе» Мальтуса.— Объясненіе Лекки. — «Дисгармоническіе періоды» г. Мечникова. — Избытокъ любви. — Творческое начало семьи и смерть ея какъ организма.— Несоразмѣрность потребностей съ условіями удовлетворенія. — Вольница и подвижники. — Гетеры и іогины. — Антагонизмъ индивидуальности и генезиса —Заключеніе.

Безъ малаго восемьдесять лѣтъ тому назадъ, появилось первое изданіе знаменитаго трактата Мальтуса о народонаселеніи, и во всѣ эти восемьдесятъ лѣтъ, можно сказать, не умолкали ожесточеннѣйшіе споры за и противъ теоріи. Очень хорошо понимая, какимъ нетерпѣніемъ готовъ встрѣтить иной читатель новыя разсужденія на эту старую тему, спѣшу предупредить, что здѣсь у насъ не будетъ рѣчи о теоріи Мальтуса по существу. Если мы и придемъ въ концѣ главы къ нѣкоторымъ результатамъ, освѣщающимъ самыя основанія теоріи, то они будутъ получены попутно. Не въ нихъ пока наша цѣль.

*) 1876, іюнь.

Въ такъ называемой теоріи Мальтуса слѣдуетъ различать двѣ стороны: теоретическую и практическую. Первая утверждаетъ только, что при данныхъ условіяхъ населеніе размножается быстрѣе, чѣмъ средства пропитанія. Какъ ни грубо выразилъ первоначально этотъ фактъ Мальтусъ, но это—фактъ несомнѣнный, и всѣ возраженія противъ него порождены недоразумѣніями. Возраженія получаютъ силу только съ того момента, какъ ими отрицается неизбѣжный, роковой характеръ разъясненнаго Мальтусомъ несоотвѣтствія. Если признать несоотвѣтствіе роста размноженія съ ростомъ средствъ пропитанія фатальнымъ, роковымъ, то тѣмъ самымъ, разумѣется, устраняется всякая почва для какого бы то ни было практическаго рѣшенія: выхода нѣтъ. Такъ именно и поставленъ былъ вопросъ въ первомъ изданіи «Опыта» Мальтуса. Но затѣмъ онъ ввелъ «нравственное самообузданіе», какъ панацею противъ изображенныхъ имъ золъ. Перебравъ «различныя системы, предложенныя или принятыя обществомъ противъ бѣдствій, порождаемыхъ закономъ народонаселенія», Мальтусъ приходитъ къ заключенію, что всѣ онѣ радикально неудовлетворительны, и что вся надежда должна быть возложена на самообузданіе. Панацея эта была встрѣчена возгласами негодованія и упреками въ лицемѣріи, въ двусмысленности. И надо сказать правду, что въ этихъ упрекахъ было и остается, не смотря на разныя недоразумѣнія, много вѣрнаго. Былъ ли Мальтусъ врагъ народа, котораго одна французская пѣсня сороковыхъ годовъ справедливо попрекала:

Qu'attendez vous, enfans du prolétaire.
Quand vous n'avez ni travail, ni crédit?
Celui qui chôme est de trop sur la terre,
Allez vous en, les malthusiens l'ont dit:

или онъ, напротивъ, былъ, какъ говорятъ его послѣдователи, лучшій другъ рабочаго люда, доброжелательно рекомендовавшій ему воздержаніе отъ любви—это было бы намъ, пожалуй, все равно. Но что собственно значитъ «нравственное самообузданіе»? Прямого, откровеннаго отвѣта на этотъ вопросъ вы не найдете ни у самого Мальтуса, ни у Милля, который именно по этому поводу замѣтилъ, что «общественныя болѣзни, подобно физическимъ, не могутъ быть предупреждаемы или излѣчиваемы, если не говорить о нихъ прямо и ясно» («Основанія политич. экон.», кн. II, гл. XIII), ни у Гарнье, который посвятилъ цѣлый трактатъ спеціально разъясненію недоразумѣній, порожденныхъ теоріей Мальтуса. Прочитавъ труды столповъ теоріи съ полнымъ вниманіемъ и безъ всякаго предубѣжденія, вы всетаки не знаете: дѣйствительно ли они предлагаютъ извѣстной части населенія обратиться въ аскетовъ? вѣрятъ ли они сами въ возможность такого превращенія? или они желали бы видѣть какія-нибудь искусственныя ограниченія количества рождающихся дѣтей? или, наконецъ, что-нибудь въ общественныхъ учрежденіяхъ должно служить резервуаромъ, куда отведется избытокъ естественной потребности любви? Потому что не надо забывать этой стороны дѣла: при наличныхъ условіяхъ существуетъ избытокъ любви. Когда людямъ предлагаютъ безъ дальнѣйшихъ объясненій просто взять да и заморить одну изъ элементарнѣйшихъ и сильнѣйшихъ потребностей, то невольно должно придти въ голову, что предлагающій либо лицемѣритъ, либо держитъ за пазухой какой-нибудь камень двусмысленности. Правда, столпы теоріи съ негодованіемъ отвергаютъ «безболѣзненное удушеніе» новорожденныхъ, кастрацію и тому подобныя мѣры, предложенныя Маркусомъ, Вейнгольдомъ и другими эксцентриками мальтузіанской идеи. Но отъ такого отрицанія еще далеко до положительнаго разъясненія двусмысленнаго термина «нравственное самообузданіе». Я приведу только два примѣра того, какъ путаются и увертываются столпы теоріи.

Въ своемъ сочиненіи «Du principe de population» (P. 1857) Іосифъ Гарнье относительно одного изъ враговъ теоріи,—Прудона, замѣчаетъ, что, не смотря, дескать, на неосновательность этого писателя, въ сочиненіяхъ его есть страницы, подъ которыми обѣими руками подписался бы самый завзятый мальтузіанецъ. Онъ ссылается при этомъ на Дю-Пюйнода, который также укоряетъ Прудона въ томъ, что онъ, будучи, собственно говоря, самъ чуть что не мальтузіанецъ, громитъ Мальтуса и его школу. И похвалы Гарнье, и упреки Дю-Пюйнода представляютъ результатъ просто путаницы понятій и неясности собственныхъ взглядовъ. Прудонъ полагалъ, что способность дѣторожденія и самая любовь должны ослабѣть подъ вліяніемъ извѣстныхъ измѣненій общественнаго строя; что воздержность въ половыхъ сношеніяхъ явится при иныхъ экономическихъ условіяхъ сама собой, какъ результатъ равновѣсія личныхъ и общественныхъ силъ. Между тѣмъ, Мальтусъ посвятилъ много страницъ своего труда на доказательство, что никакіе общественные порядки не въ силахъ предотвратить пагубныя послѣдствія «закона народонаселенія». Мало того: онъ доказываетъ что «система равенства» (такъ Мальтусъ называлъ современныя ему доктрины Годвина, Валласа, Кондорсе, Оуена), обезпечивая каждому возможность безбѣднаго существованія, тѣмъ самымъ дала бы, если бы могла осуществиться, только новый толчокъ размноженію. Ясно, что Прудонъ и Мальтусъ — антиподы. Одинъ топчетъ свойства человѣче-

ской природы, рекомендуя немедленно приступить къ самообузданію; другой ждетъ равновѣсія силъ въ будущемъ, какъ результата извѣстнымъ образомъ направленной исторіи, при томъ такимъ именно образомъ, который въ глазахъ перваго есть нелѣпость. Если же Гарнье, Дю-Пюйнодъ, Молинари утверждаютъ, что это—одно и то же, то, конечно, только потому, что либо сами не понимаютъ, чего они хотятъ, либо умышленно напускаютъ туману.

Иначе нельзя характеризовать и поведеніе самого Мальтуса. Знаменитая четвертая книга «Опыта», въ которой трактуется о нравственномъ самообузданіи, поражаетъ своей запутанностью и противорѣчіями. Напримѣръ: «Страсть эта (любовь), если смотрѣть на нее съ самой широкой точки зрѣнія, присоединяя къ ней любовь родителей къ дѣтямъ и дѣтей къ родителямъ, безъ сомнѣнія, есть одно изъ могущественнѣйшихъ условій для счастія. Тѣмъ не менѣе намъ хорошо извѣстно изъ опыта, что эта же самая страсть становится источникомъ бѣдствій, если она дурно направляется. *Правда, что въ итогѣ эти бѣдствія ничтожны сравнительно съ благотворнымъ дѣйствіемъ добродѣтельной любви*; но сами по себѣ они несомнѣнно весьма значительны. Образъ дѣйствія въ этомъ отношеніи правительствъ и даже налагаемыя ими наказанія говорятъ, что страсть, о которой идетъ рѣчь, не вызываетъ такихъ страшныхъ бѣдствій или, по крайней мѣрѣ, не причиняетъ такого непосредственнаго вреда обществу, какъ нарушеніе права собственности, какъ противозаконное удовлетвореніе желанія обладать тѣмъ, что принадлежитъ другому. Тѣмъ не менѣе, когда при изслѣдованіи этой страсти представишь себѣ важныя слѣдствія необузданнаго ея проявленія, то невольно чувствуешь себя готовымъ на большія жертвы, чтобы уменьшить ея силу или даже совсѣмъ заглушить. *Но это значило бы или отнять у человѣческой жизни всю прелесть и сдѣлать ее безцвѣтной, или отдать ее на произволъ дикаго и неукротимаго звѣрства*». Итакъ, бѣдствія, причиняемыя любовью, ничтожны сравнительно съ ея благотворнымъ значеніемъ: лишить ее людей значитъ обезцвѣтить ихъ жизнь или обратить ихъ въ звѣрей. И, однако, нравственное самообузданіе всетаки рекомендуется. Точно такъ же Мальтусъ вполнѣ понимаетъ всю непобѣдимую силу полового влеченія и ставитъ его по общности и могуществу непосредственно вслѣдъ за голодомъ, но тѣмъ не менѣе повторяетъ свой припѣвъ обузданія. Онъ представляетъ себѣ дѣло такъ, что женщины должны выходить замужъ лѣтъ 28—30, а слѣдовательно супружескій возрастъ мужчины отводится годамъ къ 40. Онъ настаиваетъ на томъ, что воздержаніе до этого возраста должно быть строго-нравственнымъ, т. е. не формальнымъ только, а дѣйствительнымъ цѣломудріемъ, рисуетъ идиллическую картину общества, въ которомъ практикуются такіе нравы: молодые люди находятся до брачнаго возраста въ близкихъ, но вполнѣ цѣломудренныхъ отношеніяхъ, имѣютъ возможность коротко узнать другъ друга и затѣмъ не тяготиться уже дѣтьми, происходящими отъ ихъ поздняго союза. Идиллію эту онъ развиваетъ такъ далеко, что предсказываетъ даже въ концѣ раскрываемой имъ перспективы исчезновеніе войны. Конечно, онъ долженъ былъ очень хорошо понимать, что все это—пустяки. Какой же въ самомъ дѣлѣ серьезный человѣкъ можетъ думать, что воздержаніе до 40-лѣтняго возраста возможно, какъ общее правило. Возраженіе это до такой степени настойчиво вызывается теоріей, что Мальтусъ не могъ его не предвидѣть и отвѣтилъ такъ: «Если кто-либо предлагаетъ кодексъ нравственности или полную теорію нашихъ обязанностей, то это вовсе не доказываетъ, чтобы онъ обольщалъ себя безумной надеждой, какъ бы онъ ни былъ убѣжденъ въ неизмѣнной необходимости для людей подчиненія его законамъ, что послѣдніе будутъ исполняться всѣми или даже большею частью людей». Зачѣмъ же было огородъ городить? Но этого мало: Мальтусу очень хорошо извѣстно, что даже въ томъ случаѣ, если его огородъ гороженъ не напрасно, изъ его проекта не можетъ выйти ничего, кромѣ изуродованія человѣческой жизни.

Всѣ эти противорѣчія, недомолвки, двусмысленности объясняются очень просто, если вспомнить исторію происхожденія теоріи Мальтуса. Русскій переводъ «Опыта о законѣ народонаселенія» оканчивается словами: «Практическая цѣль, которую главнымъ образомъ имѣлъ въ виду авторъ, какія бы ошибки ни сдѣланы были имъ, состояла въ улучшеніи положенія и въ увеличеніи счастія низшихъ классовъ общества». Въ позднѣйшихъ изданіяхъ Мальтусъ дѣйствительно много говорилъ на эту тему, но совсѣмъ не такова была его первоначальная цѣль. Извѣстно, что онъ хотѣлъ только противопоставить законъ народонаселенія демократическимъ и революціоннымъ идеямъ, нахлынувшимъ въ его время изъ Франціи во всю Европу; онъ хотѣлъ доказать, что никакія политическія и соціальныя реформы не въ силахъ уничтожить бѣдствія значительнѣйшей части человѣчества, которыя являются такимъ образомъ зломъ неизбѣжнымъ, роковымъ, установленнымъ Провидѣніемъ. Во второмъ изданіи онъ много смягчилъ свои положенія и выводы и, кромѣ того, ввелъ панацею самообузданія. Любо-

пытны слѣдующія его слова въ предисловіи ко второму изданію: «Что же касается того, что я говорю о будущихъ успѣхахъ общества (т. е. самообузданія), то, надѣюсь, что слова мои не будутъ опровергнуты опытомъ прошлаго. Если найдутся люди, которые будутъ настаивать, что всякое препятствіе для размноженія населенія представляетъ большее зло, чѣмъ тѣ бѣдствія, отъ которыхъ оно спасаетъ, то они несомнѣнно примутъ во всей силѣ всѣ послѣдствія, представленныя мною въ первомъ изданіи этого опыта. Если принять это мнѣніе, то на нищету и бѣдствія низшихъ классовъ народа нельзя смотрѣть иначе, какъ на неисправимое зло». Слѣдовательно, и впослѣдствіи, уже по изобрѣтеніи самообузданія, Мальтусъ охотно готовъ былъ видѣть въ бѣдствіяхъ низшихъ классовъ народа» «неисправимое зло». Понятно, что онъ не могъ при такомъ условіи придавать серьезное значеніе самообузданію, и это-то естественное невѣріе въ рекомендуемое имъ самимъ средство породило всю массу его противорѣчій и двусмысленностей. Къ нему лично вовсе не могутъ быть обращены наши вопросы: дѣйствительно ли онъ вѣрилъ въ возможность самообузданія? или онъ предполагалъ отлить избытокъ любви въ какой-нибудь особый резервуаръ? и т. п. Всѣ эти вопросы и при жизни его проходили мимо его ушей, да и теперь отскакиваютъ отъ его теоріи, которая въ основаніи своемъ состоитъ въ «неисправимости зла» какими бы то ни было средствами, въ томъ числѣ и самообузданіемъ. Другое дѣло — его послѣдователи. Между ними есть, безъ сомнѣнія, люди искренніе и не столь враждебно относящіеся къ тому, съ чѣмъ враждовалъ Мальтусъ. Какъ же они разумѣютъ практическую сторону доктрины своего учителя? Едва ли не вѣрнѣе всего будетъ сказать, что они просто не хотятъ ея знать, хотя много говорятъ о ней. Дѣло въ томъ, что большинство мальтузіанцевъ — экономисты, т. е. люди, объектъ науки которыхъ есть собственно не человѣкъ, а существо купующее, воздѣлывающее и поѣдающее. Положимъ, что въ исходной точкѣ они признали его таковымъ чисто въ видахъ логическаго и методологическаго удобства. Но не имѣя силъ удержаться на этой отвлеченной высотѣ, они отождествили своего абстрактнаго человѣка съ человѣкомъ конкретнымъ, дѣйствительно существующимъ. Сдѣлать это безъ ущерба для логики было, конечно, невозможно, потому что на каждомъ шагу обнаруживается, что дѣйствительно человѣкъ не только воздѣлываетъ, покупаетъ, продаетъ, поѣдаетъ, а обладаетъ и другими склонностями и способностями, напримѣръ, склонностью и способностью половой любви и дѣторожденія. Нелогичный, но при данной путаницѣ неизбѣжный выходъ изъ затрудненія — отвернуться отъ любви, *игнорировать* ее. Отсюда поразительная небрежность въ отношеніяхъ мальтузіанцевъ къ вопросу о любви. Слѣдующее маленькое разсужденіе «отъ противнаго», можетъ быть, лучше всего выяснитъ читателю свойства ошибки экономистовъ. Политическая экономія построена на той гипотезѣ, что человѣкъ въ своихъ дѣйствіяхъ управляется исключительно жаждою пріобрѣтенія. Это построеніе совершенно законно, пока не выходитъ изъ предѣловъ гипотезы. Точно такъ же могутъ быть построены и другія отвлеченныя науки. Мы можемъ взять какое-нибудь очень общее и очень могущественное свойство человѣческой природы, уединить его, отвлечь отъ другихъ свойствъ и условно, въ видахъ удобства изслѣдованія, предположить, что человѣкъ руководится въ своей дѣятельности исключительно мотивами, соотвѣтствующими выдѣленному нами свойству. Любовь представляетъ мотивъ, достаточно общій и могущественный для такого построенія. Слѣдовательно, можно представить себѣ науку, удовлетворяющую всѣмъ требованіямъ отвлеченной науки и, такъ сказать, вполнѣ параллельную политической экономіи, которая отвѣтитъ на вопросъ: каковы были бы законы послѣдовательности и сосуществованія явленій въ обществѣ, разсматриваемомъ исключительно съ точки зрѣнія половыхъ отношеній его членовъ? Безъ сомнѣнія, въ примѣненіи къ жизни законы этой науки подлежали бы гораздо большимъ поправкамъ, чѣмъ законы политической экономіи, потому что основаніе послѣдней можетъ быть сведено къ мотиву, болѣе общему и элементарному, чѣмъ любовь. Величайшую ошибку сдѣлалъ бы представитель этой несуществующей науки любви или какъ бы она ни называлась, если бы отождествилъ объектъ ея, отвлеченнаго человѣка, проникнутаго исключительно половымъ стремленіемъ съ человѣкомъ дѣйствительнымъ. Вѣроятнымъ слѣдствіемъ этой ошибки представителей науки любви было-бы предложеніе людямъ заглушить въ себѣ нѣкоторыя коренныя свойства человѣческой природы, мѣшающія неограниченному воцаренію любви въ жизни. Такова именно позиція экономистовъ-мальтузіанцевъ. Они, конечно, какъ и всякій взрослый человѣкъ, понимаютъ, что вполнѣ нравственное самообузданіе, какого желалъ на словахъ Мальтусъ, есть утопичнѣйшая изъ утопій; что съ точки зрѣнія ихъ теоріи дѣло совсѣмъ не въ самообузданіи, а въ устраненіи естественнаго финала половыхъ отношеній, т. е. дѣторожденія. Но прямо указать на какую-нибудь мѣру въ этомъ родѣ они не рѣшаются, потому что боятся оскорбить утвердившіяся понятія о нравственности. Очутиться въ такомъ неловкомъ положеніи можетъ

всякій робкій мыслью человѣкъ. Но стоять въ немъ съ такимъ упорствомъ могутъ только экономисты. Необходимую для этого слѣпоту они почерпаютъ въ отождествленіи конкретнаго человѣка жизни съ отвлеченнымъ человѣкомъ экономической науки, т. е. съ идеей человѣка, занятаго только производствомъ, обмѣномъ и потребленіемъ богатствъ. Нечего, слѣдовательно, и искать у экономистовъ разъясненія дѣйствительнаго смысла и значенія практической части ученія Мальтуса. Отвѣтовъ на вышепоставленные вопросы, т. е. настоящихъ, прямыхъ отвѣтовъ, слѣдуетъ требовать у мальтузіанцевъ-экономистовъ.

Такіе есть. Вотъ, напримѣръ, Лекки, историкъ и моралистъ, безстрашно доводящій мысль учителя до нѣкоторыхъ ея логическихъ результатовъ. Лекки излагаетъ и развиваетъ ученіе Мальтуса слѣдующимъ образомъ. Естественная потребность любви сильнѣе, чѣмъ то требуется благосостояніемъ человѣчества. Если бы удовлетвореніе ея въ формѣ брака сдѣлалось всеобщимъ, то это было бы величайшимъ несчастіемъ. Хотя природа совершенно недвусмысленно побуждаетъ людей къ раннимъ бракамъ, но цивилизація, по мѣрѣ своего поступательнаго движенія, должна все сильнѣе противоборствовать этому естественному стремленію. «При обсужденіи этого вопроса, — продолжаетъ Лекки, — моралистъ долженъ имѣть въ виду преимущественно слѣдующіе два пункта: естественный долгъ каждаго мужчины заботиться о дѣтяхъ, которыхъ онъ произвелъ на свѣтъ, и охраненіе домашняго очага отъ ущерба и позора. Семья есть центръ и прототипъ государства, и счастіе и благосостояніе общества всегда въ высокой степени зависятъ отъ чистоты домашней жизни. Исключительная по своей сущности любовь мужчины и естественное желаніе каждаго быть увѣреннымъ, что вскормленный имъ ребенокъ есть дѣйствительно его ребенокъ, дѣлаютъ изъ вторженія въ семью противозаконныхъ страстей причину величайшихъ страданій. Не смотря на это, чрезмѣрная сила страстей дѣлаетъ, кажется, эти вторженія и неизбѣжными, и частыми. При такихъ-то условіяхъ возникаетъ въ обществѣ печальнѣйшая и во многихъ отношеніяхъ ужаснѣйшая фигура, какую только можетъ встрѣтить взоръ моралиста» (Sittengeschichte Europas von Augustus bis auf Karl den Grossen. Uebers. v. Jolowicz, II, 231 и слѣд.). Дѣло идетъ о проституціи, которой чистенькій, высоконравственный англичанинъ вынужденъ, скрѣпя сердце, печатно пѣть восторженные благодарственные гимны въ прозѣ. Лекки останавливается передъ проституціей съ ужасомъ, но и съ почтеніемъ, какъ передъ зломъ неизбѣжнымъ, какъ передъ спасительной отдушиной, охраняющей, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые семейные очаги. Выводъ этотъ особенно знаменателенъ въ устахъ Лекки, который въ своихъ основныхъ соображеніяхъ признаетъ пожизненную связь мужчины и женщины нормальнымъ типомъ половыхъ отношеній и считаетъ недостаточнымъ утилитарный принципъ въ ученіи о нравственности. Какъ-бы то ни было, но у него хватило смѣлости и честности не вилять подобно экономистамъ-мальтузіанцамъ и самому Мальтусу по двусмысленной дорожкѣ вполнѣ нравственнаго, истинно-цѣломудреннаго самообузданія. Онъ, по крайней мѣрѣ отчасти, раскрываетъ дѣйствительный смыслъ практической части ученія Мальтуса, переводя туманное слово самообузданіе словомъ проституція. Лекки не знаетъ удовлетворительнаго въ нравственномъ отношеніи выхода изъ заколдованнаго круга дѣйствій «закона народонаселенія» и прямо заявляетъ это.

Чрезвычайно замѣчательна у Лекки самая постановка вопроса. Хотя онъ ссылается на Мальтуса, но въ развитіи своихъ мыслей значительно уклоняется отъ него не только въ практическомъ отношеніи, разбивая фантомъ самообузданія, а и въ теоретическомъ. Съ точки зрѣнія Лекки, вопросъ не исчерпывается несоотвѣтствіемъ силы размноженія съ ростомъ средствъ пропитанія: дѣло въ избыткѣ силы любви, въ чрезмѣрной напряженности полового стремленія, даже совершенно независимо отъ количества рождающихся дѣтей. Лекки представляетъ себѣ дѣло такъ: пожизненный моногамическій бракъ есть наилучшая форма супружескихъ отношеній, но, какъ доказалъ Мальтусъ, полное господство этой формы повело бы ко многимъ пагубнѣйшимъ послѣдствіямъ, и потому оно нежелательно; въ виду этой отрицательной цѣли, если можно такъ выразиться, цивилизація постепенно отодвигаетъ брачный возрастъ или же прямо сокращаетъ число браковъ. Остается, слѣдовательно, извѣстный осадокъ любви, такъ сказать, нерастворимый въ правильномъ бракѣ. Куда онъ дѣвается, какъ удовлетворяется и каковы вообще послѣдствія его существованія? Въ отвѣтъ Лекки указываетъ на грубую и грязную поддѣлку любви въ видѣ проституціи и на нарушеніе семейнаго счастія, на «ущербъ и позоръ домашняго очага». Но если такъ, то гроза виситъ совсѣмъ не только надъ «низшими классами народа», какъ полагалъ Мальтусъ, и вообще не только надъ людьми, не имѣющими средствъ содержать семью. Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ она собирается, напротивъ, преимущественно надъ головами людей обезпеченныхъ, имѣющихъ мальтузіанское право на семейную жизнь. Именно въ эту семейную жизнь вторгается осадокъ любви, нераство-

римый въ правильномъ бракѣ, и производить въ ней массу страданій. Лекки согласенъ лучше на проституцію. — Вотъ полный кругъ относящихся къ нашему предмету идей Лекки. Очевидно, что его взгляды далеко логичнѣе и вмѣстѣ съ тѣмъ ближе къ тревогамъ жизни, чѣмъ деревянная теорія самообузданія. Однако и у Лекки мы замѣчаемъ двѣ весьма существеныя прорѣхи. Во-первыхъ, исчерпываются ли послѣдствія избытка любви проституціей и вторженіемъ «противозаконныхъ» страстей въ законную семейную жизнь? Конечно, нѣтъ. Послѣдствія эти несравненно многообразнѣе, какъ знаетъ всякій, если не по опыту, то изъ «судебнаго отдѣла» газетъ и краткихъ извѣщеній о самоубійствахъ, сумасшествіяхъ и т. п. Во-вторыхъ, причиною избытка любви Лекки всетаки признаетъ главнымъ образомъ только указанное Мальтусомъ несоотвѣтствіе. Но такъ ли это? Опять-таки, конечно, нѣтъ. Надо замѣтить, что въ главѣ о положеніи женщинъ Лекки почти исключительно занятъ явленіями супружескихъ и вообще любовныхъ отношеній въ высшихъ и среднихъ классахъ европейскихъ обществъ. Здѣсь, именно среди людей обезпеченныхъ, находитъ онъ наиболѣе обильный матеріалъ для изслѣдованія вліянія позднихъ браковъ, отсутствія браковъ и вторженія въ чужую брачную жизнь. Значитъ, люди избѣгаютъ брака и наносятъ «ущербъ и позоръ домашнему очагу» своего сосѣда не только потому, что имъ нечѣмъ прокормить собственную семью, а и по другимъ причинамъ. Изъ нихъ Лекки указываетъ только на одну: на убѣжденіе въ грѣховности плотской любви. Но очевидно, что эта причина объясняетъ лишь очень немногое. Что въ извѣстныя эпохи нѣкоторые члены общества воздерживаются отъ брака по побужденіямъ мистико-религіознымъ — это справедливо. Но само по себѣ это явленіе отражается такъ или иначе только на личной жизни воздерживающихся. Правда, что, обращаясь, какъ въ католическомъ духовенствѣ, въ голую формальность, принципъ безбрачія очень хорошо уживается съ фактическимъ вторженіемъ въ чужую семейную жизнь и съ проституціей. Но бѣда была бы еще не очень велика, если бы всѣ трудности вопроса любви вертѣлись около католическаго духовенства.

Итакъ, ни причины, ни слѣдствія избытка любви не обнаружены Лекки съ достаточною полнотою. Эти два пробѣла отчасти пополнитъ, отчасти, по крайней мѣрѣ, выяснитъ намъ г. Мечниковъ, о замѣчательномъ изслѣдованіи котораго («Возрастъ вступленія въ бракъ») я уже имѣлъ случай говорить *).

*) См. Записки Профана.

Напомню главные выводы г. Мечникова. Анализъ разнообразнаго статистическаго и этнографическаго матеріала приводитъ автора къ такому заключенію: «Половая зрѣлость (pubertas), общая физическая зрѣлость (nubilitas) и брачная зрѣлость (возрастъ вступленія въ бракъ) составляютъ три важные момента въ жизни человѣка, имѣющіе одну и ту же цѣль: удовлетвореніе стремленій къ поддержанію вида (размноженіе). Въ однихъ случаяхъ (большинство первобытныхъ народовъ) эти три момента совпадаютъ или почти совпадаютъ другъ съ другомъ; въ другихъ же случаяхъ они раздвигаются, между ними появляются промежутки, тѣмъ болѣе длинные, чѣмъ дольше совершается развитіе, и потому наиболѣе ощутительные у наиболѣе цивилизованныхъ народовъ. Эти промежутки, означающіе неравномѣрное и, слѣдовательно, неодновременное развитіе аппаратовъ, служащихъ для одной и той же цѣли, составляютъ доказательство дисгармоніи въ развитіи человѣка». «Дисгармоническіе періоды», какъ называетъ г. Мечниковъ упомянутые промежутки, у цивилизованныхъ народовъ длиннѣе, чѣмъ у первобытныхъ; у высшихъ классовъ длиннѣе, чѣмъ у низшихъ; у мужчины длиннѣе, чѣмъ у женщины. Они сопровождаются увеличеніемъ смертности, преступленій, самоубійствъ и сумасшествій. Такъ какъ эти печальныя явленія вмѣстѣ съ культурнымъ развитіемъ, съ цивилизаціей, все усиливаются, то г. Мечниковъ считаетъ себя въ правѣ выразить предположеніе, что само культурное развитіе служитъ источникомъ смерти народовъ—все равно какъ смерть отдѣльныхъ индивидовъ есть только конецъ жизни.

Оставляя пока это послѣднее заключеніе въ сторонѣ, сосредоточимъ свое вниманіе на другихъ сторонахъ изслѣдованія г. Мечникова. Постановка вопроса у него та же самая, что у Лекки. Онъ исходитъ изъ того факта, что цивилизація постоянно отодвигаетъ брачный возрастъ, хотя возрастъ половой зрѣлости остается при этомъ неподвижнымъ. Фактъ этотъ является у г. Мечникова болѣе осязательнымъ, чѣмъ у Лекки, потому что обставленъ статистическимъ матеріаломъ. Напримѣръ, возрастъ половой зрѣлости русскихъ крестьянъ, англійскихъ перовъ, бароновъ и проч. и нѣмецкихъ принцевъ одинъ и тотъ же — около семнадцати лѣтъ. Но женятся русскіе крестьяне, среднимъ числомъ, въ 20,79 лѣтъ, англійскіе перы и бароны въ 29,63, а нѣмецкіе принцы въ 30,5. Такимъ образомъ весь промежутокъ между физическою возможностью вступленія въ бракъ и самымъ вступленіемъ равняется у русскихъ крестьянъ тремъ годамъ, у англійскихъ перовъ и бароновъ —

двѣнадцати, а у нѣмецкихъ принцевъ тринадцати годамъ. Эти годы распадаются на два отдѣльные дисгармоническіе періода: первый тянется отъ проявленія половой зрѣлости до наступленія полной физической зрѣлости, второй — отъ этого послѣдняго момента до собственно брачнаго возраста. И такъ цивилизація удлиняетъ дисгармоническіе періоды и тѣмъ самымъ порождаетъ слѣдовательно, относительный избытокъ потребности любви, потому что потребность эта просыпается раньше, чѣмъ физіологическими и культурными условіями допускается ея безнаказанное удовлетвореніе. Каковы причины и послѣдствія этого факта? Возьмемъ сначала послѣдствія, потому что они должны, между прочимъ, служить болѣе нагляднымъ выраженіемъ самаго факта. При этомъ я позволю себѣ болѣе или менѣе значительныя отступленія отъ г. Мечникова, вѣрнѣе сказать, нѣкоторыя дополненія къ его соображеніямъ.

Что касается перваго дисгармоническаго періода, т. е. промежутка между моментомъ половой зрѣлости и моментомъ общей зрѣлости организма, то его значеніе вполнѣ ясно и не подлежитъ особенно пространнымъ толкованіямъ. Онъ имѣетъ значеніе главнымъ образомъ для женщинъ. Половая зрѣлость, т. е. потребность любви, проявляется у женщинъ извѣстными характерными признаками, дающими возможность съ достаточною точностью отнести этотъ моментъ, напримѣръ, для англичанокъ къ шестнадцатому, для француженокъ—къ пятнадцатому году. Но ростъ тазовыхъ костей, обусловливающихъ правильные роды, завершается только около двадцати лѣтъ; поэтому до наступленія этого выраженія общей зрѣлости организма удовлетвореніе такъ рано пробуждающейся потребности любви сопровождается усиленною смертностью въ родахъ. Здѣсь, значитъ, избытокъ любви прямо и просто ведетъ къ смертной казни. Нѣтъ, къ сожалѣнію, прямыхъ доказательствъ, что первый дисгармоническій періодъ все раздвигается съ развитіемъ цивилизаціи (ихъ нѣтъ и у г. Мечникова); но мы знаемъ, однако, что, во-первыхъ, напримѣръ, наши крестьянки выходятъ замужъ раньше женщинъ высшихъ классовъ, и что, во-вторыхъ, рожаютъ онѣ легче. Можно поэтому думать— что подтверждается и нѣкоторыми дедуктивными соображеніями—что развитіе тазовыхъ костей и вообще общая зрѣлость организма замедляется у цивилизованныхъ женщинъ ихъ образомъ жизни, лишеннымъ физическихъ упражненій. Можно бы было, конечно, рекомендовать женщинамъ воздержаніе, или, говоря словами Мальтуса, нравственное самообузданіе. Оно отчасти и практикуется не только въ первомъ, а и во второмъ дисгармоническомъ періодѣ. Если наиболѣе цивилизованныя націи, а въ нихъ наиболѣе обезпеченные и культурные классы, отличаются поздними браками, то изъ этого не слѣдуетъ, конечно, чтобы факты эти служили показателемъ усиленія цѣломудрія. Но относительно женщинъ это до извѣстной степени справедливо. Старая дѣва — это несчастное, осмѣянное, озлобленное существо— не миѳъ. Для цивилизованныхъ женщинъ оффиціальная статистическая цифра возраста вступленія въ бракъ сплошь и рядомъ служитъ дѣйствительнымъ выраженіемъ количества лѣтъ нравственнаго обузданія. Слишкомъ извѣстны результаты этого явленія: «между 144 душевными больными женскаго пола, находившимися въ клиникѣ Эскироля, было не менѣе 88 случаевъ, причиной которыхъ предполагалось воздержаніе. Маудсли считаетъ это обстоятельство одной изъ главныхъ причинъ помѣшательства у особъ женскаго пола». Но это только наиболѣе яркіе результаты, которые, подобно шилу, слишкомъ ужъ далеко вылѣзаютъ изъ мѣшка и кровавыми уколами даютъ о себѣ знать. Взвѣсьте всю ту массу страданій, которая приводитъ старыхъ дѣвъ и вѣрныхъ памяти мужа вдовъ къ умопомѣшательству; прибавьте сюда страданія, не доводящія до камеры въ клиникѣ душевныхъ болѣзней, но постоянно держащія субъекта у ея порога, и вы ужаснетесь передъ этимъ избыткомъ любви, которой дѣваться некуда и которая бурлитъ, какъ чрезмѣрное количество пара въ паровикѣ, пока его не разорветъ. Если дисгармоническимъ періодамъ предстоитъ постоянное удлиненіе, то, значитъ, будетъ все расти и эта страшная лавина страданій.

Мужчинѣ не приходится выдерживать такую борьбу съ позывами любви, потому что ни природа, ни общество не возложили на него отвѣтственности за половыя сношенія, хотя бы приблизительно равной той, какую несетъ женщина. Возможны, конечно, въ видѣ рѣдкихъ исключеній случаи нравственнаго самообузданія мужчинъ, но это—такая капля въ морѣ, о которой говорить не стоитъ. Во всякомъ случаѣ послѣдствія воздержанія для мужчинъ тѣ же, что и для женщинъ. Главная масса страданій мужчинъ, поражаемыхъ дисгармоническими періодами, мотивируется совсѣмъ иначе. Къ услугамъ мужчинъ является, во-первыхъ, проституція. Сюда уходитъ огромная доля избытка ихъ потребности любви. Результаты извѣстны: болѣзни (далеко не одинъ сифилисъ), распущеность всякаго рода. Я бы желалъ только обратить вниманіе читателя на тѣ второстепенныя, повидимому, и рѣдко кѣмъ принимаемыя въ соображеніе

стороны этого рода половыхъ сношенiй, которыя отзываются непосредственно на нравственномъ характерѣ мужчины. Уже одна привычка смотрѣть на человѣка (на проститутку), какъ на вещь, которая продается и которую можно купить, ложится на привыкшаго пятномъ, неизбѣжно расплывающимся по всей его нравственной физiономiи. Но дѣло не останавливается на этомъ. Связи съ «погибшими, но милыми созданiями», купля и продажа любви являются въ глазахъ одной части общества дѣломъ грязнымъ и презрѣннымъ, которое должно быть поэтому скрываемо; между тѣмъ существуютъ и такiя сферы, гдѣ купля и продажа любви, при томъ ея особенно извращенные виды, составляютъ своего рода подвигъ, удаль, молодечество. Понятно, что и то, и другое должно самымъ пагубнымъ образомъ отражаться на нравственномъ характерѣ людей, захваченныхъ этой мутной волной. Въ первомъ случаѣ лицемѣрiе въѣдается въ плоть и кровь, во второмъ — цинически извращаются самыя элементарныя требованiя добропорядочнаго поведенiя и уваженiя къ человѣческой личности. Я не могу здѣсь дольше остановиться на этихъ явленiяхъ. Читатель можетъ самъ ихъ обдумать, и если онъ приметъ въ соображенiе весь обширный кругъ золъ, связанныхъ съ проституцiей (даже оставляя въ сторонѣ судьбу женщины-проститутки), всѣ наносимые ею ущербы физическому, умственному и нравственному здоровью, онъ пойметъ, что около проституцiи группируется чрезвычайно значительная доля пагубныхъ слѣдствiй дисгармоническихъ перiодовъ. Сюда, безъ сомнѣнiя, должны быть отчасти занесены и тѣ усиленныя склонности неженатыхъ мужчинъ къ болѣзнямъ, смертности, преступленiямъ, самоубiйствамъ и сумасшествiямъ, о которыхъ трактуетъ г. Мечниковъ. Говорю: *отчасти* — потому что всѣ эти явленiя, несомнѣнно тѣсно связанныя съ сферою половыхъ отношенiй, вовсе, однако, не такъ уже зависятъ собственно отъ безбрачной жизни, какъ думаетъ г. Мечниковъ. Вообще вопросъ этотъ поставленъ у него крайне грубо, крайне эмпирически. Статистики пришли къ заключенiю, что на долю холостыхъ выпадаетъ бóльшая смертность, большее количество преступленiй, самоубiйствъ и сумасшествiй, чѣмъ на долю женатыхъ. Однако, на этомъ чисто эмпирическомъ обобщенiи ни соцiологъ, ни антропологъ не имѣютъ права строить никакихъ теорiй. Дѣло въ томъ, что достаточно разработанныя статистическiя данныя имѣются только для странъ съ приблизительно одинаковою культурою вообще и, что особенно важно, съ одною и тою же господствующею, оффицiально признанною формою брака: пожизненною моногамiей, обставленною извѣстными условiями. Статистика знаетъ только количество законныхъ церковныхъ или гражданскихъ браковъ. Всѣхъ, незанесенныхъ въ этого рода списки, статистикъ обязанъ считать холостыми. Но ихъ не можетъ признать таковыми антропологъ или соцiологъ. Онъ долженъ разложить эмпирическiй законъ, найденный статистикой, на его простѣйшiе элементы и оперировать уже надъ ними. Матерiалъ для этого можетъ быть отчасти доставленъ тою же статистикою. Таковы, напримѣръ, свѣдѣнiя о количествѣ незаконныхъ дѣтей, сдаваемыхъ и несдаваемыхъ въ воспитательные дома, о количествѣ разводовъ, о количествѣ холостыхъ, умирающихъ въ больницахъ и въ отцовскомъ или вообще родственномъ домѣ и т. п. Никакихъ такого рода свѣдѣнiй г. Мечниковъ не собралъ, а это обстоятельство значительно колеблетъ всю его характеристику второго дисгармоническаго перiода, которому онъ придаетъ особенно важное значенiе. Напримѣръ, въ числѣ предполагаемыхъ причинъ большей смертности холостыхъ онъ упоминаетъ объ отсутствiи семейнаго ухода. Но семейнымъ уходомъ могутъ пользоваться и холостые, потому что у нихъ могутъ быть отецъ, мать, дядя, сестры и проч., и, наоборотъ, семейный человѣкъ сплошь и рядомъ по разнымъ обстоятельствамъ заболѣваетъ гдѣ нибудь на фабрикѣ и умираетъ въ больницѣ. Ясно, что положенiе вещей можетъ быть освѣщено только побочными дополнительными статистическими данными, а безъ нихъ присутствiе или отсутствiе извѣстныхъ брачныхъ церемонiй является чѣмъ-то, самостоятельно и таинственно влiяющимъ на судьбу людей. Чрезмѣрное значенiе, придаваемое нашимъ авторомъ статистикѣ брачнаго возраста, весьма дурно повлiяло и на его главный общiй выводъ. Позднее занесенiе въ оффицiальные брачные списки является у него однимъ изъ признаковъ «неравномѣрнаго и, слѣдовательно, неодновременнаго развитiя аппаратовъ, служащихъ для одной и той же цѣли размноженiя». Какой же такой новый «аппаратъ» развивается въ человѣкѣ въ моментъ брачной церемонiи? Если тутъ разумѣть собственно половое сближенiе, такъ вѣдь этотъ «аппаратъ», составляя въ большинствѣ случаевъ новость для женщины, о чемъ было говорено выше, отнюдь не новъ для мужчины. Далѣе, изъ словъ г. Мечникова можно заключить, что при вступленiи въ бракъ всякiя дисгармонiи какъ бы прекращаются, и человѣкъ входитъ, наконецъ, въ тихую пристань безпечальнаго житiя, по крайней мѣрѣ, въ сферѣ половыхъ отношенiй. Можно сказать, ежедневно развертывающiяся передъ нами семейныя драмы показываютъ, что такое заключенiе было бы далеко не вѣрно. Поло-

жимъ, что анализъ этихъ драмъ не входилъ въ програму г. Мечникова, предѣльный пунктъ которой есть «возрастъ вступленія въ бракъ». Но его способъ выраженій и изложенія всетаки даетъ поводъ къ недоразумѣнію. Онъ такъ рѣзко подчеркиваетъ моментъ закономъ признаннаго вступленія въ бракъ и такъ опредѣлительно говоритъ о продолженіи дисгармоническаго періода «отсюда и досюда», что поневолѣ приходится думать о брачной и семейной жизни вообще, какъ о чемъ-то вполнѣ гармоническомъ. Мы знаемъ, что это не такъ. Разсчитываютъ, что на 100 браковъ приходится 10 завѣдомо счастливыхъ, 30 безразличныхъ. основанныхъ на привычкѣ, 40 колеблющихся и 20 завѣдомо несчастныхъ. Сомнѣваюсь, чтобы разсчетъ этотъ былъ вѣренъ, но думаю, что отношеніе крайнихъ цифръ, выражающихъ число завѣдомо счастливыхъ и завѣдомо несчастныхъ браковъ, весьма близко къ дѣйствительности. Относящіеся сюда факты до такой степени общеизвѣстны, что объ нихъ нѣсколько даже странно говорить. Часть ихъ непосредственно примыкаетъ ко второму дисгармоническому періоду г. Мечникова. Какой-нибудь англійскій баронъ, въ продолженіе тринадцати лѣтъ дисгармоническихъ періодовъ, успѣетъ, вѣроятно, значительно истаскаться и не въ состояніи будетъ отвѣтить пылкой любви своей невѣсты, которая, если она тоже баронесса, выходитъ замужъ, среднимъ числомъ, въ 23 года, оставаясь до этого возраста въ полномъ воздержаніи. Ясно, что со стороны жены въ этомъ бракѣ будетъ избытокъ любви, т. е. матеріалъ для семейной драмы. Избытокъ любви возможенъ и со стороны мужчины, потому что въ немъ ровнѣе держится и дольше сохраняется потребность любви. Но вытекающія изъ этихъ общеизвѣстныхъ и легко объяснимыхъ фактовъ столкновенія, не смотря на весь свой драматизмъ, сравнительно очень просты. Благодаря избирательному характеру любви, благодаря тому, что она устремляется, не смотря на разныя препятствія, къ обладанію именно такимъ-то, а не инымъ лицомъ другого пола— въ этой сферѣ явленій представляются комбинаціи, несравненно болѣе сложныя и труднѣе поддающіяся анализу. Въ интересахъ читателя, однако, выгоднѣе будетъ отложить на нѣсколько времени ихъ разсмотрѣніе. Каковы бы они ни были, но и тѣ послѣдствія избытка любви, которыя мы видѣли до сихъ поръ, достаточно ярки. Посмотримъ теперь на причины этого избытка.

Причины постояннаго удлиненія дисгармоническихъ періодовъ г. Мечниковъ видитъ въ самомъ культурномъ развитіи, въ цивилизаціи. Въ частности онъ ссылается на слова Эскироля, что les progrès de la civilisation multiplient les fous, и на общее мнѣніе новѣйшихъ психіатровъ о связи сумасшествія съ культурой. Положеніе—достаточно неопредѣленное. Правда, г. Мечниковъ оговаривается, что онъ имѣетъ въ виду «только данныя формы развитія, не позволяя себѣ дѣлать болѣе обширныя обобщенія: изъ того, что европейскіе цивилизаціи сопровождаются опредѣленными видоизмѣненіями семейной жизни, еще не слѣдуетъ, чтобы всякое вообще развитіе представляло тотъ же характеръ». Но и европейская цивилизація представляетъ понятіе, всетаки настолько обширное, что пріуроченіе къ нему, какъ къ причинѣ, всѣхъ вышеупомянутыхъ печальныхъ явленій не говоритъ уму ничего опредѣленнаго. Необходимо ближайшее выясненіе тѣхъ элементовъ или тѣхъ сторонъ цивилизаціи, которыя вліяютъ на человѣка столь пагубнымъ образомъ. Г. Мечниковъ неоднократно подходитъ къ этому выясненію и всетаки ничего не выясняетъ. Онъ говоритъ, напримѣръ, что у первобытныхъ народовъ и въ низшихъ классахъ цивилизованныхъ націй запаздываніе браковъ, если и случается, то является почти исключительно слѣдствіемъ «матеріальныхъ мотивовъ», именно — невозможности прокормить семью въ годы неурожая и голода. «На болѣе же высокихъ степеняхъ культурнаго развитія въ томъ же направленіи дѣйствуютъ другія причины, и дѣйствуютъ при томъ съ несравненно большею силой». Въ другомъ мѣстѣ онъ говоритъ, что здѣсь «на первомъ планѣ должно быть поставлено умственное развитіе, неизбѣжно вносимое цивилизаціей», и поясняетъ дѣло такъ: «Тазовыя кости могутъ кончить свой ростъ въ 20 лѣтъ и наилучшимъ образомъ приспособиться къ рожденію дѣтей; тѣмъ не менѣе это обстоятельство ни мало не будетъ опредѣляющимъ моментомъ при вступленіи въ бракъ большинства цивилизованныхъ дѣвушекъ, которыя руководствуются при этомъ иными мотивами, какъ, напр., общественнымъ положеніемъ, репутаціей, богатствомъ и проч.». Но все это, очевидно,—такіе же «матеріальные мотивы», и умственное развитіе тутъ, очевидно, рѣшительно не при чемъ. Наконецъ, еще въ одномъ мѣстѣ онъ уже гораздо опредѣленнѣе говоритъ, что «къ числу причинъ, увеличивающихъ число душевныхъ болѣзней, нужно отнести общее усложненіе жизненныхъ условій культурныхъ народовъ». Но эта справедливая мысль не получаетъ ни дальнѣйшаго развитія, ни приложенія къ области половыхъ отношеній.

А между тѣмъ, г. Мечниковъ былъ чрезвычайно близокъ къ истинѣ. задѣвалъ ее локтемъ, какъ говорятъ французы, и при томъ едва-ли не въ слабѣйшей части своего изслѣдованія, въ той именно, гдѣ онъ пытается

установить пресловутый параллелизмъ явленій индивидуальной и общественной жизни и періодическій, циклическій характеръ цивилизаціи. Читатель знаетъ, что съ нашей точки зрѣнія вопросъ этотъ сводится къ борьбѣ за индивидуальность между человѣкомъ и обществомъ. Въ случаѣ побѣды послѣдняго, оно становится крѣпкою индивидуальною, недѣлимою единицею, подчиняя себѣ все сильнѣе и сильнѣе личность, которая низводится этимъ процессомъ на степень простого подчиненнаго органа. Но, побѣждая такимъ образомъ личность и само обращаясь въ организмъ, общество подлежитъ уже всѣмъ условіямъ органической жизни. Какъ и всякій организмъ, оно должно имѣть свою молодость, зрѣлость, старость и, наконецъ, смерть. Такъ что съ этой стороны г. Мечниковъ, какъ и всѣ аналогисты, правъ. Но всѣ они упускаютъ изъ виду, что возможенъ и другой случай — болѣе или менѣе полной побѣды личности, при чемъ общество, не превращаясь въ организмъ, практически окажется безсмертнымъ, т. е. смерть его уйдетъ въ совершенно для насъ недоступную даль (я разумѣю смерть естественную, изъ самой жизни вытекающую, а не насильственную, вслѣдствіе какихъ-нибудь ударовъ со стороны). Какъ бы то ни было, но вотъ именно та сторона цивилизаціи, которую г. Мечниковъ имѣетъ право обвинять въ удлиненіи дисгармоническихъ періодовъ и во всѣхъ сопряженныхъ съ ними бѣдахъ и изъ которой вытекаетъ смерть государствъ, «народовъ», вообще — обществъ: пораженіе человѣческой индивидуальности. Само по себѣ «общее усложненіе жизненныхъ условій культурныхъ народовъ» не могло бы вести, напримѣръ, къ приращенію количества сумасшествій. Бѣда въ томъ, что параллельно этому усложненію общественныхъ условій идетъ сравнительное оскудѣніе личной жизни. Кругъ потребностей личности все расширяется, цивилизація раскрываетъ передъ человѣкомъ все новыя обширныя и заманчивыя перспективы, но вмѣстѣ съ тѣмъ удовлетвореніе этихъ потребностей становится несоразмѣрно затруднительнымъ вслѣдствіе пораженія личности. Въ человѣкѣ будится страшная жажда, но вмѣстѣ съ тѣмъ отнимается сила доползти до ручья и зачерпнуть глотокъ воды. Онъ превращается въ туго натянутую струну, къ которой стоитъ только чуть-чуть прикоснуться, чтобы она издала, смотря по своимъ особенностямъ, то грозно-мрачный, то заунывно-жалобный звукъ. Читатель отчасти уже знаетъ, что я хочу сказать этими словами. Посмотримъ нѣсколько ближе, какъ отзывается это несоотвѣтствіе личныхъ силъ съ общественными условіями въ области половыхъ отношеній.

Въ статьѣ г. Потанина «Отъ Новочеркаска до Казани» (въ казанскомъ сборникѣ «Первый шагъ») находимъ нѣсколько фактовъ, чрезвычайно ярко характеризующихъ относительное положеніе мужчинъ и женщинъ у нашихъ крестьянъ—положеніе вполнѣ первобытное и нѣкогда несомнѣнно очень распространенное. Въ Никольскомъ уѣздѣ Вологодской губерніи, по словамъ г. Потанина, есть вдовы, получающія надѣлъ, пашущія его сами и платящія за себя подати наравнѣ съ мужчинами; встрѣчаются даже дѣвицы-одиночки, получающія надѣлъ и платящія за себя подати. Кромѣ того, здѣсь попадаются женщины, которыя обстоятельствами вынуждены были вполнѣ перейти къ мужскому труду; такія женщины исполняютъ всѣ мужскія работы и за женскія не берутся вовсе, одѣваются въ мужское платье, курятъ трубку и вообще усваиваютъ мужскіе нравы. Женщины эти называются въ Никольскомъ уѣздѣ *полумужичьями*. Есть онѣ и въ Нижегородской губерніи. Такія превращенія образуются обыкновенно по желанію родителей. Если въ семьѣ родятся все дѣвочки, то одну изъ нихъ назначаютъ къ мужскимъ работамъ. Ее и одѣваютъ мальчикомъ, и играетъ она съ мальчиками. Самое имя ея «умужеподобляется»: такъ, напримѣръ, Елизавета превращается въ Елисейку. Встрѣчается и обратное явленіе: въ семьяхъ, гдѣ нѣтъ дѣвицъ, а все парни, одинъ изъ нихъ пріучается къ женскимъ работамъ. Въ Никольскомъ уѣздѣ можно встрѣтить на посидѣлкахъ парня, сидящаго съ прялкой. Такой парень прядетъ, ткетъ холстъ и обшиваетъ семью, какъ дѣвушка.

Эти любопытные факты не составляютъ, разумѣется, какой-нибудь спеціальной особенности нынѣшняго Никольскаго уѣзда. Риль («Die Familie») сообщаетъ нѣчто подобное, хотя и не столь выразительное, о нѣмецкихъ крестьянахъ. А что глубокая древность была переполнена подобными явленіями—это мы уже видѣли. Вообще было уже указано, что у первобытныхъ народовъ и въ низшихъ классахъ европейскихъ націй разница между представителями обоихъ половъ сравнительно ничтожна. Многіе вторичные половые признаки развиты здѣсь еще до такой степени слабо, что, за исключеніемъ собственно половыхъ отношеній, мужчинѣ и женщинѣ нетрудно помѣняться, въ случаѣ надобности, ролями. Это — истина общепринятая. Весь кругъ дѣятельности мужчины доступенъ женщинѣ и обратно. Сообразно этому тотъ острый, всеувлекающій, такъ сказать, демоническій характеръ, которымъ отличается любовь цивилизованныхъ классовъ, въ крестьянскомъ быту, вообще говоря, не имѣетъ мѣста. Выборъ, исключительность любви, въ виду малаго отличія между мужчиной и женщиной и между самими женщинами, не можетъ

играть очень видной роли. Я очень хорошо знаю, что правило это допускаетъ многочисленныя исключенія. Но дѣло въ томъ, что народная жизнь не представляетъ чего-нибудь вполнѣ сплошного: въ ней можно усмотрѣть множество наслоеній, относящихся къ весьма различнымъ эпохамъ. И здѣсь я имѣю въ виду только слой древнѣйшій, но всетаки настолько живучій, что онъ и донынѣ составляетъ едва ли не общій фонъ картины народной жизни. «Я женёный», говорятъ иногда крестьяне, вмѣсто «я женатъ». Въ этомъ характерномъ, энергическомъ словѣ «женёный» и въ спокойномъ тонѣ простого заявленія факта, которымъ оно произносится, вы можете различить двѣ стороны. Безъ сомнѣнія, личность самымъ возмутительнымъ образомъ давится, когда человѣка «женятъ». Собственная ли семья, или, какъ иногда бываетъ, цѣлое общество связываетъ судьбу двухъ людей, не имѣющихъ другъ къ другу опредѣленно выраженной склонности, но человѣческая индивидуальность здѣсь во всякомъ случаѣ подавлена. И, повидимому, паденіе ея тѣмъ сильнѣе, чѣмъ спокойнѣе принимаютъ люди рѣшающій ихъ судьбу приговоръ семьи или общества. Однако, это не такъ, не всегда, по крайней мѣрѣ, такъ. Люди, склонные къ неблагодарному занятію уличеніемъ мужика въ грубости и въ отсутствіи человѣческаго достоинства, часто выставляютъ противъ него рядомъ такія два обвиненія: во-первыхъ, мужикъ—звѣрь: ему была бы баба, а какая—Марья или Дарья—это ему все равно; во-вторыхъ, мужикъ—звѣрь: онъ женитъ своего сына или выдаетъ свою дочь, не справляясь съ ихъ собственной волей. Но, очевидно, что первое обвиненіе совершенно уничтожаетъ второе. Какъ ни великъ бываетъ иногда деспотизмъ мужицкой семьи, но если парню все равно—что Дарья, что Марья, то деспотизмъ перестаетъ быть деспотизмомъ съ точки зрѣнія выбора супруговъ. Онъ остается въ полной силѣ въ томъ только отношеніи, что парня по разнымъ стороннимъ соображеніямъ сплошь и рядомъ женятъ, когда онъ одинаково далекъ и отъ Дарьи, и отъ Марьи, или если дѣвку выдаютъ замужъ, когда она этого вообще не хочетъ. Но эта сторона семейной жизни насъ здѣсь пока не занимаетъ. Мы имѣемъ въ виду только собственно половыя отношенія и избирательный характеръ любви. Въ этомъ отношеніи деспотизмъ мужицкой семьи, какъ бы онъ ни былъ грубъ по формѣ, ложится на личность несравненно меньшимъ гнетомъ, чѣмъ подобныя же явленія въ цивилизованныхъ классахъ. Активное или пассивное стѣсненіе свободы выбора въ дѣлѣ любви цивилизованныхъ классовъ, хотя бы облеченное въ сравнительно мягкія формы, есть настоящее звѣрство, чего отнюдь нельзя съ такимъ же правомъ сказать о деспотизмѣ крестьянской семьи. Читателю станетъ это вполнѣ ясно, если онъ припомнитъ наше опредѣленіе любви. Любовь, какъ мы знаемъ, есть то выраженіе великаго закона органическаго развитія, въ силу котораго представители разныхъ половъ стремятся слиться въ одно цѣлое какъ бы ища другъ въ другѣ свою дополнительную до единицы дробь. Изложеніе нѣкоторыхъ частныхъ проявленій этого закона, сдѣланное въ прошломъ очеркѣ, было отмѣчено въ одной газетѣ, какъ нѣчто совершенно непонятное. Полагаю, что господинъ отмѣтчикъ просто не прочиталъ статьи, а развернулъ ее на одной изъ послѣднихъ страницъ, которая, оторванная отъ всего предыдущаго, конечно, могла показаться неясною. Тѣмъ не менѣе, желая быть по возможности для всѣхъ понятнымъ, я позволю себѣ прибѣгнуть, наглядности ради, къ довольно грубому способу изложенія. Мужчина есть по естественному закону раздѣльнополаго существованія не 1, а приблизительно—$1/_2$; женщина тоже приблизительно—$1/_2$. Законъ развитія побуждаетъ эти двѣ половины тяготѣть другъ къ другу для образованія единицы. Въ этомъ и состоитъ любовь, никогда ненасытимая, потому что никогда не достигающая своей цѣли. Отсюда—всѣ разочарованія и вообще вся скорбная изнанка любовныхъ отношеній. Но чувство, само по себѣ чрезвычайно сильное, любовь при извѣстныхъ условіяхъ можетъ еще, такъ сказать, обостряться и достигать страшной, умъ помрачающей напряженности. Природа раздѣлила человѣка на двѣ приблизительно равныя половины—мужчину и женщину, но общество можетъ подвергнуть его и дальнѣйшему еще дробленію, что мы и видимъ въ блестящей исторіи европейскихъ націй и государствъ. Превращая человѣка въ подчиненный органъ, на обязанности котораго лежитъ главнымъ образомъ одно какое-нибудь отправленіе, общество заглушаетъ въ немъ болѣе или менѣе значительную часть силъ и способностей. При этомъ человѣкъ, будучи уже отъ природы $1/_2$, обращается въ другую, меньшую дробь, напримѣръ, $1/_3$. Эта одна треть человѣка нуждается уже не въ $1/_2$ для образованія единицы, а въ $2/_3$. Такъ какъ жажда любви есть требованіе компенсаціи, уравновѣшенія односторонности, то любовь человѣка, формула жизни котораго выражается дробью $1/_3$, гораздо страстнѣе, напряженнѣе, безумнѣе, чѣмъ то установлено природой, а между тѣмъ еще менѣе подлежитъ удовлетворенію. Въ первобытномъ мірѣ, отчасти еще и въ нашемъ крестьянскомъ быту Марья—такая же $1/_2$, какъ Дарья. Да и Иванъ приблизительно такая же $1/_2$, какъ Марья и Дарья. Поэтому

чувство любви остается здѣсь приблизительно въ своихъ естественныхъ границахъ и, кромѣ того, не можетъ имѣть напряженно-избирательнаго характера. Цивилизованная же, напримѣръ, дѣвушка, формула жизни которой есть $^1/_3$, ищетъ мужчины, такъ сказать, равнаго $^2/_3$. Найти его чрезвычайно трудно, потому что кругомъ все дроби, меньшія $^1/_2$, а вслѣдствіе этого оказывается уже не относительный только избытокъ любви, а абсолютный. Каковы бы, однако, ни были результаты вытекающихъ отсюда поисковъ дополнительной дроби, но ясно, что стѣсненіе свободы выбора есть въ этомъ случаѣ дѣйствительное варварство.

Очень хорошо понимая неудовлетворительность избраннаго мною пріема изложенія, думаю, однако, что онъ лучше всякаго другого можетъ выяснить занимающій насъ фактъ, а именно—что цивилизація (собственно та ея сторона, которая выражается побѣдой общества надъ личностью въ борьбѣ за индивидуальность) усиливаетъ потребность любви и вмѣстѣ съ тѣмъ затрудняетъ ея удовлетвореніе. Эта страшная и все растущая дисгармонія, обнимающая оба дисгармоническіе періода г. Мечникова и далеко оставляющая ихъ за собой, слѣдующимъ образомъ отражается на судьбѣ семьи. Семья есть ячейка и прототипъ всѣхъ общественныхъ индивидуальностей. Всѣ онѣ или непосредственно разрастаются изъ семьи, какъ семейная община, за̀друга южныхъ славянъ, или представляютъ вторичныя образованія того же типа, или слагаются по типу спеціально братскихъ и, слѣдовательно, тоже семейныхъ отношеній. Но всѣ эти высшія общественныя индивидуальности вырастаютъ изъ семьи первобытной, болѣе или менѣе сохранившейся и у нашихъ крестьянъ. Это разрастаніе, эта творческая сила семьи возможна только тамъ и постольку, гдѣ и поскольку семья не уподобилась организму съ превращенными въ органы членами, гдѣ каждому изъ нихъ не отведена какая-нибудь одна функція, словомъ—гдѣ Елизавета и Елисейка могутъ во всякое время обмѣняться ролями. Это относится не только къ семьѣ, а и ко всякой общественной индивидуальности. Напримѣръ, въ сербской за̀другѣ, не смотря на всѣ ея недостатки, творческая сила не изсякла и не изсякла единственно потому, что господарь ея есть лицо выборное, т. е. такое, которымъ можетъ сдѣлаться любой членъ общины, а не разъ навсегда опредѣленный органъ: сегодняшнія руки могутъ завтра же сдѣлаться головой, и обратно. Этого рода явленія я и имѣлъ въ виду, говоря о практическомъ безсмертіи обществъ, не превращающихся въ организмъ. Точно такъ же можетъ быть практически безсмертна и семья. Но въ случаѣ органическаго развитія ей, какъ и всякому организму, предстоитъ пройти ступени молодости, зрѣлости, старости и, наконецъ, умереть. Родительскія отношенія я все еще долженъ пока оставлять въ сторонѣ и прошу читателя представить себѣ семью, состоящую только изъ мужа и жены. Супружескія отношенія Елисейки и Елизаветы, если смотрѣть на семью, какъ на организмъ, представляютъ ея молодость. Съ органической точки зрѣнія это—даже еще не семья, а только зародышъ ея, въ которомъ еще не выяснилась строгая спеціализація органовъ. Но именно, поэтому такая семья можетъ дать начало другимъ общественнымъ индивидуальностямъ, на первый разъ, напримѣръ, хозяйственной единицѣ. Любовь этихъ супруговъ, какъ уже замѣчено, не выходитъ изъ своихъ естественныхъ предѣловъ, и потому, какъ ни грубы ихъ взаимныя ласки, какъ ни дики Елисейка и Елизавета вообще, но семейной драмы здѣсь не предвидится: любовь удовлетворена настолько, насколько она вообще можетъ быть удовлетворена; ревность неизвѣстна, да едва ли часты и поводы къ ней. Возьмите мѣщанскую, мелкую дворянскую, чиновничью семью. Это уже не молодость семьи; это, по крайней мѣрѣ, ея зрѣлость. Роли органовъ опредѣлены уже весьма рѣзко: мужъ завѣдуетъ, такъ сказать, министерствомъ иностранныхъ дѣлъ, жена—министерствомъ внутреннихъ дѣлъ. Любовь имѣетъ уже болѣе романическій, болѣе напряженный характеръ. Мужъ и жена долго искали другъ друга, томились въ ожиданіи своей дополнительной дроби. Но такъ какъ требуемая дробь еще не Богъ знаетъ какъ велика, то, можетъ быть, они и нашли ее. Въ такомъ случаѣ они счастливы, а нѣтъ—такъ драма готова. Но вотъ, положимъ, слѣдующій же отпрыскъ этой семьи—потому ли, что свалилось какъ бы съ неба наслѣдство послѣ забытаго дяди, или потому, что отецъ занялъ высокое положеніе въ служебной іерархіи—поднимается на ступень выше средняго общественнаго уровня. Весьма вѣроятно, что эта новая, уже вполнѣ цивилизованная семья представитъ собою періодъ старости и разложенія, а тамъ не за горами уже и смерть. Представимъ себѣ довольно, повидимому, благопріятныя условія. Мужъ занимается какой-нибудь либеральной профессіей, жена—изящная и довольно образованная женщина. Сошлись они по сильной взаимной любви, при чемъ преодолѣли много препятствій. Но полюбили они другъ друга такъ страстно именно потому, что очень непохожи другъ на друга. Они искали своей дополняющей противоположности, чтобы слиться съ нею въ одно навѣки нераздѣльное цѣлое. Она, женственная и мягкая, искала мужественности и твердости, а онъ—жен-

ственности. Нашли ли они то, чего искали? Если нашли, они счастливы. Но въ высокой степени вѣроятно, что этого не случилось. Въ высокой степени вѣроятно, что жена, хотя и уважающая либеральную профессію своего мужа, но совершенно ей всетаки чуждая, начинаетъ скоро тяготиться тѣми привычками, тѣмъ строемъ мысли и чувствъ, которыя онъ, цѣликомъ отдавшись своей профессіи, переноситъ изъ нея и въ домашнюю жизнь; онъ—слишкомъ профессоръ, слишкомъ адвокатъ, слишкомъ писатель, слишкомъ чиновникъ. Не того жаждала ея душа; ей неясно, но заманчиво грезилось что-то большее. Она искала человѣка и нашла такую маленькую дробь, которая кажется тѣмъ ничтожнѣе, чѣмъ сильнѣе влекло ее нѣкогда къ этому человѣку. Разочарованіе, новая любовь, новое разочарованіе, ревность... Читатель знаетъ конецъ этой исторіи, слишкомъ обыкновенной и слишкомъ нерѣдко обрывающейся даже кровавымъ финаломъ. Я хотѣлъ бы подчеркнуть только слѣдующее. Во-первыхъ, если жена въ этой исторіи такъ напряжено любитъ и такъ ужасно разочаровывается, то только потому, что и сама она есть маленькая до ничтожества дробь человѣка. Только поэтому ей и нужно что-то крупное, что-то превышающее естественную норму—$^1/_2$. Во-вторыхъ, въ разсказанной примѣрной исторіи совершился послѣдній актъ существованія семьи, какъ организма. Изъ семьи, въ которой мужъ и жена строго подѣлили между собой функціи, гдѣ, какъ говорится въ какой-то французской комедіи, la caisse a été donné à l'homme, pour être vidée par la femme, или инымъ какимъ-нибудь способомъ, но рѣзко подѣляются права и обязанности супруговъ, гдѣ они, будучи чужды другъ другу, всетаки остаются связанными—изъ такой семьи выдохлась творческая сила. Никакой высшей общественной индивидуальности она породить не можетъ. Семья умерла, совершивъ весь кругъ органическаго развитія. Такъ умерла она въ высшихъ классахъ европейскихъ націй.

Я вовсе, конечно, не утверждаю, что счастливыхъ браковъ нѣтъ или что они невозможны. Они есть. И въ такомъ случаѣ они представляютъ удачный подборъ двухъ дополняющихъ одна другую дробей. Не утверждаю я также, чтобы несчастные браки, равно какъ и вся обоюдоострая прелесть любви, составляли исключительную принадлежность высшихъ классовъ. Эти явленія тамъ, безъ сомнѣнія, ярче, сильнѣе, потому что эти классы сильнѣе захватываются волной цивилизаціи, которая даетъ имъ вдобавокъ, въ особенности женщинѣ, столько досуга, что потребность любви не отвлекается дѣятельностью, не заглушается работой. Неустанная работа жены какого-нибудь фабричнаго, превращеннаго въ ходячій рабочій инструментъ и, слѣдовательно, тоже представляющаго весьма малую дробь человѣка, много пріостанавливаетъ развитіе семейныхъ драмъ въ этомъ быту. Неустанная работа русской крестьянки тоже, конечно, много помогала ей сносить ея три страшныя доли: «съ рабомъ повѣнчаться», «до гроба рабу покоряться» и «быть матерью сына раба». Тѣмъ не менѣе бываютъ тревожные историческіе моменты, когда все общество отъ верхняго края до нижняго чувствуетъ на себѣ тяжесть несоразмѣрности жажды любви съ условіями ея удовлетворенія. Надъ низшими классами она можетъ нависнуть, кромѣ вышеописаннаго пути, еще въ видѣ закона Мальтуса, т. е. въ видѣ простой невозможности, по чисто матеріальнымъ причинамъ, удовлетворить потребности любви. Здѣсь замѣчу только, что мальтузіанская дилемма—хлѣбъ или любовь—имѣетъ свой корень въ томъ же процессѣ развитія общества по органическому типу, т. е. въ побѣдѣ общества надъ личностью. Отсюда же вытекаютъ и многія другія несоразмѣрности все усиливающейся потребности съ все убывающей возможностью ея удовлетворенія. Въ предлагаемыхъ очеркахъ была уже рѣчь объ одной такой несоразмѣрности въ жаждѣ пріобрѣтенія, наживы. Въ прежнихъ статьяхъ, я имѣлъ случай прослѣдить ту же несоразмѣрность къ жаждѣ знанія. Впослѣдствіи мы увидимъ и еще нѣкоторые подобные случаи. Когда всѣ эти многоразличныя несоразмѣрности достигаютъ извѣстной, значительной степени напряженности, въ обществѣ появляются два чрезвычайно любопытные типа, которые я назову вольницей и подвижниками. Это—отщепенцы, протестанты. Протестуютъ они двумя совершенно различными, но всетаки родственными между собою и часто другъ въ друга переходящими способами. Вольница представляетъ протестъ воинствующій, активный, подвижники—протестъ мирный, пассивный. И тѣ, и другіе порываютъ всякія связи съ обществомъ. При этомъ вольница идетъ напроломъ и старается смести всѣ препятствія, лежащія между потребностью и ея удовлетвореніемъ, а это иногда равняется попыткѣ смести весь установившійся общественный строй. Вольница звонитъ во всю и часто цѣлымъ рядомъ страшныхъ насилій и убійствъ пытается уничтожить все, что мѣшаетъ ей жить такъ, какъ она хочетъ. Въ большей части случаевъ она становится подъ знамя и борется во имя старины—той старины, которая еще не знала несоразмѣрности силы потребности съ условіями ея удовлетворенія. Иной путь избираютъ подвижники. Они прямо и просто ста-

раются заглушить въ себѣ тѣ потребности, напряженность которыхъ такъ тяжело отзывается на личности за невозможностью удовлетворенія. Изъ общества, которое не дало имъ ничего, кромѣ муки, подвижники уходятъ въ лѣса и пустыни и тамъ либо живутъ совсѣмъ одиноко, умерщвляя, какъ они говорятъ, плоть свою, либо основываютъ общежитія аскетическаго характера. Не смотря на совершенную противоположность стремленій вольницы и подвижниковъ, они во многихъ отношеніяхъ очень близки между собою. Во-первыхъ, съ извѣстной точки зрѣнія почти безразлично—уменьшать ли число потребностей, или, напротивъ, расширять ихъ подъ условіемъ удовлетворенія. Если человѣкъ довелъ свои потребности до послѣдняго minimum'a, онъ тоже удовлетворенъ. Во-вторыхъ, исторически вольница и подвижники—родные братья. Ихъ протестъ, ихъ отрицаніе направлены противъ однихъ и тѣхъ же явленій, одинаково имъ ненавистныхъ, и появляются они поэтому всегда вмѣстѣ, рука объ руку, на аренѣ исторіи. Наконецъ, въ-третьихъ, и вольница, и подвижники одинаково неспособны протестовать прямо отъ лица поруганной и раздавленной историческимъ процессомъ личности. Подвижникамъ всегда нужна религіозная санкція ихъ подвиговъ. Что же касается вольницы, то и она ищетъ отчасти той же религіозной, отчасти весьма своеобразной политической санкціи: еврейская вольница группировалась около лже-мессій, во множествѣ появлявшихся до и послѣ Іисуса Христа, при чемъ лже-мессіи иногда ограничивались чисто религіозною проповѣдью (которая составляла духовный хлѣбъ насущный подвижниковъ), а иногда бросались въ проповѣдь политическую, самозванно объявляя себя политическими царями іудейскими; русская вольница, въ крупнѣйшихъ эпизодахъ своей исторіи, выдвинула самозванство императорское. Но опять-таки это самозванство было настолько проникнуто религіозными элементами, что тотъ же императоръ Петръ III, которымъ прикрывался Пугачовъ, а у скопцовъ (подвижниковъ) Селивановъ, въ послѣднемъ случаѣ обращается даже въ Бога Саваоѳа. Весьма часто случается, что одна и та же личность, побывавъ временно въ рядахъ подвижниковъ, переходитъ затѣмъ въ ряды вольницы, и наоборотъ. Какъ увидимъ, эта родственность вольницы и подвижниковъ, не смотря на противоположность ихъ отношеній къ жизни, представляетъ едва ли не любопытнѣйшія страницы исторіи народной жизни.

Половыя отношенія имѣютъ свою спеціальную вольницу и своихъ спеціальныхъ подвижниковъ. Читатель уже знаетъ, что древнѣйшая форма супружескихъ отношеній представляетъ то, что называется гетеризмомъ, т. е. полнѣйшее отсутствіе какихъ бы то ни было брачныхъ нормъ, доходящее до чисто животныхъ отношеній, но ужъ, конечно, не устанавливающее перегородокъ между потребностью и ея удовлетвореніемъ. Это-то древнѣйшее обычное право становится подъ защиту извѣстныхъ божествъ и вмѣстѣ обращается въ знамя вольницы. Сюда относятся, напримѣръ, въ русской народной жизни всѣ тѣ «игрища межю селъ», о которыхъ повѣствуетъ лѣтописецъ, всѣ тѣ празднества Купалы и Ярилы, съ необузданностью которыхъ такъ долго боролся христіанскій идеалъ. Въ извѣстное время народъ (или извѣстная часть его) считалъ, считаетъ отчасти и до сихъ поръ себя въ правѣ открыто разрывать всѣ установленныя позднѣйшимъ историческимъ процессомъ іерархическія узы и удовлетворять требованія своей природы самымъ необузданнымъ образомъ, не стѣсняясь никакими нормами. Въ другихъ случаяхъ слагается даже болѣе или менѣе постоянный персоналъ вольницы любви, преимущественно изъ женщинъ, который занимается тѣмъ, что историки называютъ религіозной проституціей. Такія жрицы любви, не связанныя никакими узами, во множествѣ жили при храмахъ нѣкоторыхъ азіатскихъ божествъ. Наконецъ, въ лицѣ греческихъ гетеръ эта вольница достигаетъ весьма высокаго уровня развитія и получаетъ на изящной почвѣ Аттики даже чрезвычайно изящный характеръ. Гетеры также находились подъ покровительствомъ божества. Сама Афродита почиталась въ нѣкоторыхъ мѣстахъ подъ именемъ Афродиты-Гетеры. Солонъ построилъ ей храмъ на деньги, собранныя въ видѣ налога на публичныхъ женщинъ. Въ Коринѳѣ послѣднія были настоящими жрицами Афродиты. Не иначе какъ черезъ нихъ обращались коринѳяне къ богинѣ съ мольбами, даже въ чрезвычайно важныхъ случаяхъ, какъ было, напримѣръ, во время персидскихъ войнъ. Въ Ѳессаліи женщины должны были построить Афродитѣ храмъ въ искупленіе своей тяжкой вины передъ богиней: они убили изъ ревности гетеру Лаису. Но и независимо отъ религіозной санкціи, гетеры занимали въ обществѣ очень своеобразное, но во всякомъ случаѣ высокое положеніе. Онѣ ни мало не походили на нынѣшнихъ проститутокъ даже высшаго ранга. Конечно, не всякой гетерѣ выпадала на долю блестящая судьба Аспазіи, Лаисы, Фрины или Кратины, но вѣрно то, что она не выпадала ни одной законной женѣ. Лучшая жена та, о которой нѣтъ ни дурной, ни хорошей молвы, говоритъ Ѳукидитъ; но эта скромность и замкнутость требовались только отъ женъ и всего менѣе отъ гетеръ. Строго запертая въ небольшой

кругъ домашней жизни, находясь въ постоянной зависимости сначала отъ родителей, потомъ отъ мужа и въ случаѣ вдовства отъ сыновей, не смѣя принимать мужчинъ и даже присутствовать за обѣдомъ при мужчинахъ—законная жена не могла удовлетворить потребности любви своего мужа, столь склоннаго къ общественной жизни, къ наслажденію искусствомъ и философскою мыслею. Гетера, «единственная свободная женщина въ Аѳинахъ», какъ говоритъ Лекки, была совсѣмъ въ иномъ положеніи. Въ постоянномъ общеніи съ геніальнѣйшими представителями Греціи, каковы Сократъ, Периклъ, Фидій, Апеллесъ, она пріобрѣла широкій кругъ умственныхъ интересовъ. Аспазія, говорятъ, сочиняла нѣкоторыя изъ знаменитыхъ рѣчей Перикла; въ одномъ изъ разговоровъ Платона («Пиршество»), гетера Діотима является учительницей Сократа, гетера Леонтина была усердной прозелиткой ученія Эпикура, и проч. Немудрено, что при такихъ условіяхъ энергичнѣйшія женщины предпочитали семьѣ ряды этой блестящей вольницы. Тамъ ихъ естественная потребность любви значительно утрачивала свой жгучій, острый характеръ, потому что дробь, выражающая формулу ихъ жизни, увеличивалась, насколько онѣ причащались общественнымъ, умственнымъ и эстетическимъ интересамъ. А между тѣмъ удовлетвореніе этой смягченной уже самой по себѣ потребности облегчалось.

Нѣчто въ этомъ родѣ сообщается относительно нашихъ новыхъ среднеазіатскихъ владѣній въ разсказѣ г. Каразина «Акъ-Томакъ». Самъ по себѣ разсказъ, представляя помѣсь этнографіи съ беллетристикой въ совершенно незаконной пропорціи, не имѣетъ никакой цѣны. Но тамъ приводится одна, несомнѣнно, подлинная сатирическая пѣсня (г. Каразинъ любезно и очень благоразумно сообщаетъ имя переводчика), въ которой женщина осмѣиваетъ жизнь гаремныхъ затворницъ, сравнивая ихъ съ курами, а владыку ихъ съ пѣтухомъ. Рядомъ выставляется въ привлекательныхъ краскахъ судьба вольной «красной курицы», т. е. лица, отъ имени котораго поется пѣсня—аѳинской гетеры въ ташкентскомъ вкусѣ.

Такъ-то устраиваетъ свое положеніе вольница любви, то въ грубыхъ и грязныхъ, то въ изящныхъ формахъ, такъ или иначе разрубая для себя лично узелъ несоразмѣрности жажды любви съ условіями ея удовлетворенія. Противоположнымъ образомъ разрубается онъ подвижниками. Рекомендованное Мальтусомъ нравственное самообузданіе отнюдь не можетъ обратиться въ общее правило, но въ извѣстныя эпохи къ нему устремляется чрезвычайно большое число людей. Вдругъ поднимается гоненіе на любовь, не на распущенность—нѣтъ: «топоръ дѣвственности» начинаетъ внезапно, по выраженію одного католическаго святого, безпощадно «рубить лѣсъ брака» въ самыхъ даже строгихъ его формахъ. Всякія половыя отношенія объявляются грѣховными, и хотя, разумѣется, на дѣлѣ такое воздержаніе не для всѣхъ писано, однако, всетаки практикуется въ поразительной степени. Самое поразительное въ этихъ явленіяхъ есть, впрочемъ, ихъ періодичность. Гоненіе на любовь захватываетъ какъ бурный вихрь цѣлыя массы мужчинъ и женщинъ, и черезъ нѣсколько времени остываетъ или, по крайней мѣрѣ, ниспадаетъ до степени формальнаго только исповѣдыванія принципа безбрачія. Удовлетворительнаго объясненія этихъ фактовъ мнѣ не случалось нигдѣ встрѣтить, между тѣмъ какъ оно напрашивается само собой. Кажется, прежде всего должно бы было придти въ голову, что такое массовое отреченіе отъ любви возможно только тамъ и тогда, гдѣ и когда любовь даетъ больше страданій, чѣмъ наслажденій. Дѣйствительно, когда вслѣдствіе выше объясненной несоразмѣрности любовь оказывается неудовлетворимой и несетъ съ собой только муки разочарованія и жгучее чувство неудовлетворенія, тогда для натуръ глубокихъ, но пассивныхъ и негодящихся въ буйные ряды вольницы, остается только одинъ исходъ — задавить въ себѣ порывъ любви. А затѣмъ санкція является уже сама собой, прикрывая помимо нея не совершившійся фактъ.

Ближайшее разсмотрѣніе этихъ явленій я долженъ отложить до спеціальной главы о вольницѣ и подвижникахъ, потому что послѣдніе бѣгутъ въ лѣса и пустыни не только отъ любви, а и отъ многихъ другихъ потребностей. Но одинъ, наиболѣе поразительный изъ извѣстныхъ мнѣ примѣровъ такого всеотреченія я считаю удобнымъ привести теперь же. Примѣръ этотъ поразителенъ почти до невѣроятности. Дѣло идетъ объ іогинахъ, индусскихъ факирахъ. Свѣдѣнія о нихъ извѣстный физіологъ Прейеръ («Изслѣдованіе жизни») заимствуетъ изъ сочиненія Пауля «Treatise on the Yoga Philosophy» (Benares, 1851) — свѣдѣнія, подтверждаемыя многими достовѣрными свидѣтелями. Іогины позволяютъ себя заживо хоронить на нѣсколько недѣль и по истеченіи этого времени, проведеннаго безъ воздуха, воды, пищи и свѣта, возвращаются къ жизни. Прейеръ полагаетъ, что это—летаргія, похожая на зимнюю спячку млекопитающихъ, но окончательнаго мнѣнія не высказываетъ, да намъ оно, пожалуй, не нужно. Для насъ интересны причины, побуждающія іогиновъ заживо хорониться, и условія, при которыхъ

подобныя вещи могутъ происходить. Іогины длиннымъ рядомъ самоистязаній пріучаются къ полному отреченію отъ воздуха, свѣта, воды, пищи. Кромѣ общихъ аскетическихъ правилъ полнаго цѣломудрія и крайней умѣренности въ пищѣ, вотъ нѣкоторыя особенныя упражненія іогиновъ. Они беззвучно произносятъ мистическое слово «омъ» 12,000 разъ въ день. Частое повтореніе слова омъ, равно какъ и мистическихъ словъ согамъ, бамъ, ламъ, рамъ, іамъ, хамъ, наводитъ сонъ. Такіе слоги должны быть неслышно произнесены іогиномъ 600 и даже 6,000 разъ подъ рядъ. Затѣмъ произноситъ 6,000 разъ слогъ «дамъ» и 9 подобныхъ. Затѣмъ «амъ». Послѣ того 15 другихъ слоговъ 6,000 разъ. Затѣмъ произнести также неслышно «гамза» (мистическое слово, имѣющее много различныхъ значеній) 2,000 разъ. Далѣе, іогинъ обязанъ пребывать три часа въ такомъ положеніи: лѣвая пятка находится подъ заднею частью, правая надъ половыми частями; при другомъ положеніи лѣвая нога лежитъ на правой ляшкѣ, а правая—на лѣвой. При этомъ правая рука должна держать большой палецъ правой ноги, лѣвая — большой палецъ лѣвой ноги (руки перекрещиваются въ это время за спиной). Стоять вертикально на головѣ. Въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ упражняться ежедневно по четыре раза по 48 минутъ слѣдующимъ образомъ: вдыхать черезъ лѣвую ноздрю, ввести воздухъ въ желудокъ глотаніемъ; придерживать дыханіе и выдыхать затѣмъ черезъ лѣвую ноздрю. Затѣмъ—то же самое съ перемѣною ноздри. При этомъ задерживать дыханіе все дольше и проглатывать все больше воздуха. Каждый іогинъ дѣлаетъ 24 надрѣза въ подъязычной уздечкѣ, черезъ каждые 8 дней по одной. Послѣ каждаго надрѣза онъ третъ языкъ два раза въ сутки, предпринимая съ нимъ движенія какъ бы при доеніи, употребляя при этомъ вяжущія, маслянистыя и соленыя вещества. Достаточно растянувъ языкъ, онъ заворачиваетъ его назадъ и пріучается закрывать гортанное отверстіе кончикомъ языка, которымъ отодвигаетъ назадъ язычокъ. При этомъ легкія и желудокъ наполняются воздухомъ, а всѣ отверстія тѣла законопачиваются воскомъ и ватой. И т. д., и т. д. Прейеръ приводитъ 41 упражненіе въ этомъ родѣ. Этимъ способомъ іогины доходятъ, наконецъ, до такой нечувствительности къ внѣшнимъ впечатлѣніямъ и ко всякаго рода лишеніямъ, что могутъ пролежать въ землѣ нѣсколько недѣль. Прейеръ полагаетъ, что они при этомъ движутся «религіозными причинами». Но это, очевидно, не объясненіе. Это значитъ только, что, совершая свои замысловатыя безобразія, іогины думаютъ, что дѣлаютъ нѣчто богоугодное. Но вопросъ въ томъ, какъ могло сложиться такое вѣрованіе. Оно вѣдь не съ неба свалилось. Очевидно, какимъ-нибудь долгимъ путемъ страшныхъ страданій пришли эти люди къ необходимости закупориться отъ всего міра, отречься отъ всѣхъ элементарнѣйшихъ радостей жизни и заглушить въ себѣ потребность свѣта, пищи, любви, даже дыханія. Только глубоко несчастному, окончательно забитому или разбитому жизнью человѣку можетъ придти дикая фантазія держать по цѣлымъ часамъ пальцы ногъ въ рукахъ, твердить десятки тысячъ разъ омъ, дамъ, бамъ, ламъ и затыкать глотку собственнымъ языкомъ. Только тотъ, кому опостылѣло даже солнце красное, можетъ такъ систематически увѣчить себя. Съ точки зрѣнія борьбы за индивидуальность вопросъ разрѣшается очень просто, если вспомнить, что іогины, какъ и понятіе нирваны, т. е. блаженства небытія (нынѣ возобновляемое въ Германіи), суть продукты Индіи, той самой Индіи, которая представляетъ безпримѣрную въ исторіи рѣзкость кастоваго общественнаго строя. Каста есть не что иное, какъ строго обособленный, спеціализированный, законченный органъ общественнаго организма. Это—случай полной побѣды общества надъ личностью. Кругъ дѣятельности члена касты обведенъ крайне узкою рамкой, въ немъ придавлено множество естественныхъ функцій; дробь, выражающая формулы его жизни, поистинѣ ничтожна. Отсюда опять-таки—полная несоразмѣрность между силой потребностей и условіями ихъ удовлетворенія. А затѣмъ являются, во-первыхъ, вольница (она была и въ Индіи), стремящаяся сбросить съ себя ярмо касты, и, во-вторыхъ, подвижники, стремящіеся задавить самыя потребности. И тѣ, и другіе борются за индивидуальность, за независимость. Но одни направляютъ свою борьбу на внѣшній міръ, чтобы его примѣнить къ своимъ ненаходящимъ удовлетворенія потребностямъ; другіе ведутъ борьбу сами съ собой и мечтаютъ добыть себѣ независимость отрицательнымъ путемъ, въ блаженствѣ небытія или, по крайней мѣрѣ, въ доведеніи своихъ потребностей до послѣдняго minimum'а.

Изъ примѣра іогиновъ читатель самъ можетъ видѣть, какъ трудно выдѣлить подвижничество любви изъ общей совокупности подвижничества. Потому мы пока на этомъ и остановимся. Я хотѣлъ бы только подтвердить для частной области половыхъ отношеній общее замѣчаніе о родственности вольницы и подвижниковъ. Всѣмъ извѣстны примѣры крайнихъ распутниковъ и распутницъ, внезапно переходившихъ въ ряды подвижниковъ любви. Далѣе, самыя оргіастическія празднества древнихъ (въ особенности у средне-азіатскихъ народовъ), при которыхъ

царила полнѣйшая распущенность, сопровождались иногда самооскопленіемъ, т. е. добровольнымъ отреченіемъ отъ половыхъ сношеній. Наконецъ, исторія русскихъ сектъ представляетъ примѣры, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ еще болѣе замѣчательные. Что между нашими сектантами были обманщики и всякаго рода недобросовѣстные люди—это, конечно, несомнѣнно. Но что масса, какъ и всякая движущаяся масса, была глубоко искренна и наивно вѣрующа—въ этомъ можно еще меньше сомнѣваться. Огромное большинство хлыстовъ, которому было не до софизмовъ, совершенно искренно не видѣло разницы между необузданною свободою половыхъ отношеній даже до свальнаго грѣха и полнымъ воздержаніемъ. Они колебались между тѣмъ и другимъ въ своемъ инстинктивномъ стремленіи свергнуть демона любви съ его неестественнаго престола. Полная искренность этого стремленія фактически доказана отпрыскомъ хлыстовщины—скопчествомъ.

Читатель, разумѣется, не заподозритъ меня въ положительномъ сочувствіи къ вольницѣ и подвижникамъ любви. Наиболѣе привлекательный типъ этой вольницы — гетеры—во всякомъ случаѣ торговали своей любовью и, наживая иногда колоссальныя богатства, разоряли народъ. Что же касается іогиновъ или скопцовъ, то здравомыслящаго и желающаго жить человѣка, ихъ примѣръ, конечно, не прельститъ. Не смотря на весь радикализмъ рѣшеній вопроса, осуществленныхъ гетерами, съ одной стороны, іогинами—съ другой, онъ ни мало не измѣнялъ общаго положенія дѣлъ. Жалкое прозябаніе законныхъ женъ аѳинянъ составляло необходимое условіе процвѣтанія гетеръ, а представить себѣ цѣлый народъ іогиновъ невозможно. Поэтому, именно, разрѣшая затрудненіе лично для себя, и вольница, и подвижники любви были всетаки безсильны внести протестъ непосредственно отъ своей личности и прикрывались тою санкціей, которая многими ошибочно принимается за самую причину появленія вольницы и въ особенности подвижниковъ. Возможно иначе и притомъ не разрубить, а развязать узелъ. Для выясненія этого пути мы должны обратиться къ анализу отношеній между индивидуальностью и половою дѣятельностью. При этомъ то, что было выражено грубымъ образомъ, при помощи дробей, получитъ болѣе научное освѣщеніе. Сначала намъ придется опредѣлить отношеніе индивидуальности къ плодовитости, потому что въ такомъ именно направленіи до сихъ поръ собирался и группировался необходимый для насъ научный матеріалъ. Антагонизмъ индивидуальности и плодовитости составляетъ уже безспорную истину. Въ изложеніи ея я буду слѣдовать Спенсеру («Основанія біологіи»).

Одноклѣточныя растенія, размножающіяся безполовымъ генезисомъ, обыкновенно и микроскопически малы, и чрезвычайно плодовиты. Такъ, нѣкоторыя водоросли размножаются такъ быстро, что «почти мгновенно» покрываютъ пруды непрозрачною зеленью. Двураздѣлка, по приблизительному разсчету Смита, можетъ произвести въ мѣсяцъ потомство, равное тысячѣ милліоновъ особей. «Если мы допустимъ, что весьма вѣроятно, что молодой Gonium можетъ развиться дѣленіемъ въ двадцать четыре часа, то при благопріятныхъ условіяхъ одна колонія дастъ на слѣдующій день начало 16, на третій 256, на четвертый 4,096, по истеченіи же недѣли—268.435.456 подобнымъ ей организмамъ». Такую же и даже еще болѣе изумительную плодовитость встрѣчаемъ у низшихъ животныхъ. «Если бы всѣ ея потомки выживали и продолжали сами дѣлиться, то какая-нибудь Paramecium была бы способна дать такимъ образомъ начала 268 милліонамъ особей въ теченіе одного мѣсяца. И это еще не наибольшая извѣстная намъ плодовитость; есть еще одно маленькое животное, видимое только при сильномъ увеличеніи, о которомъ вычислено, что оно даетъ въ четыре дня начало 170 билліонамъ. И всегда эта громадная размножаемость сопровождается столь крайнею мелкотой, что порою въ одной каплѣ воды содержится столько особей иного вида, сколько людей по всей земной поверхности!» Поднимаясь къ существамъ болѣе крупнымъ, мы замѣчаемъ вмѣстѣ съ тѣмъ постепенное уменьшеніе плодовитости. И то же самое видимъ въ половомъ генезисѣ: если вычесть постороннія обстоятельства, затемняющія ясность результата, каковы степень подвижности сравниваемыхъ существъ, степень сложности ихъ строенія, то въ большинствѣ случаевъ антагонизмъ между ростомъ и половымъ генезисомъ не подлежитъ сомнѣнію. Та же истина можетъ быть прослѣжена и въ исторіи каждаго отдѣльнаго животнаго и растенія. Пока индивидъ продолжаетъ расти, онъ или вовсе не производитъ потомства, или производитъ потомство малочисленное и слабое. Возрастаніе родительскаго индивида такъ или иначе задерживаетъ стремленіе организма производить новыя особи, и обратно—генетическая дѣятельность задерживаетъ дальнѣйшее возрастаніе. Переходя къ антагонизму между генезисомъ и развитіемъ, т. е., степенью сложности строенія, мы встрѣчаемъ общее правило, уже упомянутое въ двухъ первыхъ нашихъ очеркахъ. Вотъ какъ формулируетъ его Спенсеръ: «чѣмъ больше и полнѣе дифференцируется органическая масса, тѣмъ меньшая доля ея остается въ томъ сравнитель-

но недифференцированномъ состоянiи, при которомъ возможно преобразованiе вещества въ новыя особи или зародыши особей. Протоплазма, однажды обратившись въ специализированную ткань, не можетъ снова обобщиться и потомъ преобразоваться во что-нибудь иное; а потому прогрессъ строенiя въ организмѣ, уменьшая количество вещества, не обладающаго строенiемъ, этимъ самымъ уменьшаетъ запасъ вещества, пригоднаго для выработки потомства». Впрочемъ, въ конкретныхъ случаяхъ это отвлеченное правило, осложняясь посторонними влiянiями, не такъ легко поддается провѣркѣ. То же самое слѣдуетъ сказать и объ антагонизмѣ между тратою на индивидуальныя потребности, преимущественно на поддержанiе теплоты и передвиженiе, съ одной стороны, и плодовитостью, —съ другой. Можно, однако, привести нѣсколько очень убѣдительныхъ примѣровъ. Сравнивая птицъ съ млекопитающими и выбирая при этомъ въ томъ и другомъ классѣ животныхъ приблизительно одинаковаго размѣра и питающихся одинаковою пищею (напримѣръ, хищныхъ птицъ и звѣрей приблизительно одинаковаго размѣра), мы увидимъ, что птицы вообще менѣе плодовиты, чѣмъ млекопитающiя. Это объясняется тѣмъ, что птицы, расходуя много на поддержанiе себя на воздухѣ и быстрое передвиженiе, оставляютъ сравнительно мало вещества на образованiе новаго поколѣнiя. Затѣмъ и въ томъ, и въ другомъ классѣ могутъ быть проведены подобныя же частныя параллели, сравнивая, напримѣръ, плодовитость относительно малодѣятельныхъ куриныхъ съ другими птицами, равными по объему и питающихся такою же пищею, но ведущихъ болѣе дѣятельный образъ жизни. Или, напримѣръ, сравните плодовитость кролика и зайца. Эти два вида очень близки, питаются одинаковою пищею, но болѣе дѣятельный заяцъ приноситъ 2—5 дѣтенышей въ пометѣ, а кроликъ 5—8. Рукокрылыя и грызуны очень сходны по внутреннему строенiю, но если мы будемъ сравнивать близкихъ по размѣрамъ — обыкновенную мышь и летучую мышь, то увидимъ, что первая приноситъ до 10 и даже до 12 дѣтенышей за-разъ, а летучая мышь—только одного. Такимъ образомъ жизненный расходъ индивида, выражающiйся въ тратахъ на поддержку массы тѣла, на тонкости строенiя и на передвиженiе, обратно пропорцiоналенъ плодовитости или генетической дѣятельности. Чѣмъ больше расходуетъ индивидъ на себя, тѣмъ меньше можетъ онъ расходовать на расу, на новыя поколѣнiя. Это отношенiе должно, кромѣ расхода, обусловливаться еще доходомъ, который сводится, главнымъ образомъ, къ питанiю. Избытокъ питательнаго вещества, остающiйся за удовлетворенiемъ индивидуальнаго роста, развитiя и ежедневнаго потребленiя, служитъ мѣриломъ силы размноженiя. Ясно, что при обильномъ питанiи этотъ избытокъ больше, а слѣдовательно—больше и сила размноженiя.

Само собою разумѣется, что статьи прихода и расхода личной жизни могутъ комбинироваться крайне разнообразно. Изъ числа этихъ комбинацiй Спенсеръ выдѣляетъ въ особую главу нѣкоторые крайне любопытные случаи. Сюда относятся, во-первыхъ, паразиты. Неподвижность, бездѣятельный образъ жизни паразитовъ и обилiе пищи, всегда готовой, дѣлаютъ ихъ размножаемость поистинѣ изумительною. Такъ, у нѣкоторыхъ мягкокожихъ ракообразныхъ, живущихъ на водныхъ животныхъ, органы плодоразвитiя и ихъ содержимое достигаютъ иногда объема въ восемь и десять разъ большаго, чѣмъ остальная часть тѣла. Во внутренностныхъ эти отношенiя еще поразительнѣе. Такъ, въ зрѣлой самкѣ аскариды человѣческой заключается до 64.000,000 яичекъ. «Погруженный весь въ питательную жидкость, которую онъ поглощаетъ свой оболочкой, лентецъ не нуждается въ пищеварительномъ аппаратѣ. Поэтому пространство, которое занялъ бы этотъ аппаратъ, и матерiалы, которые пошли бы на него, смѣло могутъ у него идти на органы плодоразвитiя, которые дѣйствительно почти и выполняютъ собою каждый сегментъ: будучи самъ по себѣ совершенно полонъ въ половомъ отношенiи, каждый сегментъ есть почти не что иное, какъ огромная воспроизводительная система, въ которой другихъ строенiй имѣется лишь настолько, насколько это необходимо, чтобы сплотить его. Если мы вспомнимъ, что лентецъ постоянно выпочковываетъ такiе сегменты, тѣмъ временемъ какъ вполнѣ развившiеся лопаются, и такъ дѣлаетъ всю жизнь, то увидимъ, что здѣсь, гдѣ нѣтъ расхода, гдѣ трата на индивидуальность ограничена до высочайшей степени, между тѣмъ какъ питанiе велико, насколько лишь это возможно, степень плодовитости достигаетъ крайняго предѣла». Общественныя насѣкомыя представляютъ также очень убѣдительныя подтвержденiя антагонизма индивидуальности и генезиса. Изъ яйца пчелы можетъ выйти и маленькая безполая пчела-работница, и крупная плодовитая пчела-матка, смотря по запасу корма, предоставленнаго личинкѣ. Такимъ образомъ обилiе пищи, бездѣятельный образъ жизни и значительная плодовитость совпадаютъ, здѣсь, съ одной стороны, а съ другой—точно такъ же совпадаютъ недостатокъ пищи, усиленная дѣятельность и совершенное безплодiе. У муравьевъ, особенно у тропическихъ, видимъ

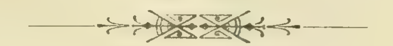
то же самое. У матки-муравья воспроизводительная система достигаетъ иногда громадныхъ размѣровъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ она совершенно неспособна къ движенію, такъ что кладетъ яйца гдѣ попало, и уже рабочіе переносятъ ихъ туда, гдѣ имъ надлежитъ вывестись. Очевидна близость этого случая съ явленіями паразитизма: матка поглощаетъ обильный даровой кормъ, почти ничего не тратитъ на передвиженіе и потому чрезвычайно плодовита. Матка африканскихъ термитовъ кладетъ въ двадцать-четыре часа 80,000 яицъ.

Итакъ, индивидуальность и половая, генетическая дѣятельность во всѣхъ отношеніяхъ находятся во взаимномъ антагонизмѣ. Чѣмъ рѣзче выражена индивидуальность, чѣмъ индивидъ крупнѣе, сложнѣе и дѣятельнѣе, тѣмъ онъ менѣе плодовитъ. Это можно было бы и дедуктивнымъ путемъ вывести изъ теоріи борьбы за индивидуальность, именно — изъ борьбы между индивидомъ и входящими въ его составъ, поглощенными имъ, «помраченными», какъ превосходно выражается въ одномъ мѣстѣ Спенсеръ, низшими ступенями индивидуальности. Не трудно было бы, въ самомъ дѣлѣ, показать, что антагонизмъ индивидуальности и генезиса есть только частное выраженіе общаго антагонизма двухъ сосѣднихъ ступеней индивидуальности. Я боюсь, однако, утомлять теперь этимъ вниманіе читателя. Такъ или иначе, но фактъ антагонизма индивидуальности и плодовитости несомнѣненъ. Очень хорошо разработанный у Спенсера, онъ не составляетъ его открытія и можетъ быть найденъ во многихъ сочиненіяхъ по физіологіи. Но Спенсеръ сдѣлалъ шагъ впередъ попыткой приложить этотъ фактъ къ человѣческому обществу. Человѣкъ естественно оказывается подчиненнымъ общимъ законамъ размноженія. Малый ростъ, обильное питаніе, отсутствіе дѣятельности физической и умственной, грубость организаціи—вотъ условія наисильнѣйшаго размноженія человѣка, какъ и другихъ животныхъ, комбинирующіяся въ разныхъ странахъ и сословіяхъ весьма различно и потому дающія результаты очень сложные. Обратныя условія задерживаютъ силу размноженія. Подтвердивъ это примѣрами, Спенсеръ обращается къ будущему. Онъ разбираетъ шансы прогресса, который человѣчество можетъ сдѣлать въ отношеніи физической силы, проворства, механической ловкости, въ отношеніи умственномъ, нравственномъ. А этотъ разборъ приводитъ его къ заключенію, что плодовитости предстоитъ извѣстное, весьма значительное сокращеніе. Онъ полагаетъ, что «въ концѣ концовъ, тѣснота населенія и зло, которымъ она сопровождается, исчезнутъ и настанетъ такой порядокъ дѣлъ, что отъ каждой особи не будетъ требоваться ничего, кромѣ нормальной и пріятной дѣятельности». Я очень бѣгло передаю эти воззрѣнія Спенсера и не могу на нихъ останавливаться, потому что они затрогиваютъ много постороннихъ предмету этой статьи вопросовъ, а отступленій было уже и безъ того много. Замѣчу только, что Спенсеръ нигдѣ не говоритъ о шансахъ прогресса политическаго въ широкомъ смыслѣ этого слова. Безъ сомнѣнія, тотъ «миръ и благоволеніе», которые онъ обѣщаетъ въ будущемъ, возможны только въ такомъ случаѣ, если всѣ члены общества достигнутъ такой степени индивидуальности, которая такъ рѣшительно сократитъ половую дѣятельность. Это такъ ясно, что, пожалуй, даже не требуетъ оговорки, но нѣкоторые другіе взгляды Спенсера, связанные съ его излюбленной идеей соціальнаго организма, мѣшаютъ составить опредѣленное понятіе объ его убѣжденіяхъ на этотъ счетъ. Играя въ соціальномъ организмѣ роль подчиненнаго, «помраченнаго» органа, человѣкъ утрачиваетъ свою индивидуальность, а слѣдовательно, невозможно ждать и сокращенія его плодовитости. Въ этомъ именно состоитъ вѣрная сторона теоріи Мальтуса: рабочій, пока онъ — только рабочій, всегда будетъ настолько плодовитъ, что только мальтузіанскія фуріи, «порокъ, несчастіе и воздержаніе», помѣшаютъ ему размножаться.

Насъ интересуетъ здѣсь, однако, не избытокъ размноженія, для устраненія или предотвращенія котораго рекомендуется много разныхъ средствъ, а избытокъ самой любви, о которомъ обыкновенно забываютъ. Сколько мнѣ извѣстно, одинъ Прудонъ настаивалъ на этой сторонѣ дѣла, ожидая въ будущемъ сокращенія силы полового влеченія и введенія его въ естественныя границы. Не трудно видѣть, что все вышеизложенное остается для этого вопроса въ полной силѣ. Опека надъ любовью или невозможна, или ведетъ къ самымъ пагубнымъ послѣдствіямъ. Избытокъ же ея устранится самъ собой, если усилія людей будутъ направлены къ торжеству человѣческой индивидуальности. Этотъ избытокъ оттого только и происходитъ, что, кромѣ пораженія индивидуальности естественнымъ закономъ раздѣльнополаго существованія (что составляетъ уже предѣлъ, его же не прейдеши), историческій процессъ наноситъ ей новые удары, во-первыхъ, усиливая вторичные половые признаки, во-вторыхъ—обращая личность въ органъ.

Заканчивая этой точкой первый отдѣлъ «Борьбы за индивидуальность», я чувствую потребность обратиться къ читателю съ просьбой о снисхожденіи. Кромѣ многочисленныхъ недостатковъ изложенія, очень хо-

рошо мною сознаваемыхъ, настоящій очеркъ озаглавленъ «Семья», а между тѣмъ, семья въ немъ далеко не выяснена, и ему надлежало бы носить какое-нибудь гораздо менѣе опредѣленное заглавіе. Дѣло въ томъ, что въ противность первоначальному плану я долженъ былъ перенести многое въ одну изъ дальнѣйшихъ главъ. Таковы ужъ условія журнальной работы. Теперь мы перейдемъ къ вольницѣ и подвижникамъ.



ВОЛЬНИЦА И ПОДВИЖНИКИ *).

Историческія параллели.

I.

Прелести «естественнаго состоянія», такъ волновавшія лучшіе умы конца прошлаго столѣтія, сданы въ архивъ. Бытъ дикарей или «первобытныхъ народовъ» изучается пристальнѣе, чѣмъ когда-нибудь; на это изученіе возлагаются большія и совершенно основательныя надежды какъ въ теоретическомъ отношеніи, въ интересѣ знанія, такъ и въ практическомъ — интересѣ текущей жизни. Но при этомъ самое понятіе естественнаго состоянія радикально измѣняется, можно даже сказать — устраняется. Какой-нибудь Руссо бралъ своего дикаря изъ области собственной геніальной фантазіи, получившей толчокъ отъ самыхъ скудныхъ фактическихъ свѣдѣній, и ставилъ его рядомъ съ современнымъ французомъ, которому уже грозила страшная революція. Какъ ни старался Руссо наполнить разстояніе между этими двумя пунктами, онъ не пошелъ дальше геніальныхъ догадокъ. Нынѣшній изслѣдователь находится въ другомъ положеніи. Громадная и все растущая масса свѣдѣній о бытѣ первобытныхъ народовъ устраняетъ туманность фигуры «дикаря» Руссо, но вмѣстѣ съ тѣмъ разбиваетъ ея цѣльность, потому что развертываетъ картину крайняго разнообразія понятій, вѣрованій, нравовъ, общественныхъ отношеній. Вольтеръ могъ только острить, что при чтеніи сочиненій Руссо его забираетъ охота пробѣжаться на четверенькахъ. Нынѣшній изслѣдователь можетъ прямо указать на такіе-то и такіе-то народы, дѣйствительно, почти бѣгающіе на четверенькахъ. И тѣмъ не менѣе изслѣдователь вездѣ застаетъ первобытнаго человѣка уже на извѣстной, хотя и совершенно жалкой степени культуры. Неизвѣстно, говорятъ, ни одно племя, которое не знало бы употребленія огня. Многіе солидные изслѣдователи отказываются также признать, чтобы какой-нибудь нынѣ существующій народъ не имѣлъ представленій, хотя бы смутныхъ, о божествѣ. Не только нынѣ живущіе дикари, а и наши отдаленные предки каменнаго періода предстоятъ передъ нами съ нѣкоторыми орудіями въ рукахъ, такъ что опредѣленіе человѣка, какъ «производителя машинъ», принадлежащее, если не ошибаюсь, Франклину, строго говоря, справедливо и для человѣка первобытнаго. Наконецъ, дикарь вовсе не всегда представляетъ изъ себя того безусловно вольнаго человѣка, какимъ его рисовалъ себѣ Руссо. Имѣются, правда, свѣдѣнія и о такого характера первобытныхъ порядкахъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ вся совокупность данныхъ о жизни дикарей представляетъ картину крайне разнообразную и на первый взглядъ безпорядочную, гдѣ попадаются и строго хранимая общественная іерархія, и самый свирѣпый деспотизмъ, и проч. Такимъ образомъ рѣзкость границы между «естественнымъ состояніемъ» и цивилизацiей сглаживается. При этомъ естественно должна исчезать и та страстность, съ которою нѣкогда ломались копья изъ-за этого: Руссо былъ и быльемъ поросъ. Иногда слышится еще по поводу его ученія страстно задорный тонъ, какъ, напримѣръ, въ извѣстной книгѣ Ройе, но это крайне рѣдко. Современный изслѣдователь съ величавымъ спокойствіемъ доказываетъ, что исторія совершаетъ свое поступательное движеніе безъ скачковъ и безъ остановки. Здѣсь уже нѣтъ мѣста волненіямъ изъ-за «золотого вѣка», нѣкогда будто бы царившаго на землѣ и до сихъ поръ сохранившагося среди забытыхъ исторій дикарей. Тамъ, гдѣ многіе мыслящіе люди XVIII вѣка видѣли что-то очень хорошее, блистающее свѣтомъ идеала, тамъ современный изслѣдователь констатируетъ невѣжество, грубость, жестокость, словомъ—просто дикость.

*) 1877, январь.

Тѣмъ не менѣе, однако, не только многіе наблюдатели-путешественники, а и нѣкоторые теоретики наталкиваются на факты, повидимому, рѣзко противорѣчащіе огульному приговору о низкомъ во всѣхъ отношеніяхъ состояніи первобытныхъ людей. Если Спенсеръ полагаетъ, что дикарь уступаетъ цивилизованному человѣку даже въ ростѣ и физической силѣ, то и онъ признаетъ за нимъ первенство въ дѣлѣ тонкости внѣшнихъ чувствъ и живости воспріятій. Если никто не сомнѣвается въ относительномъ умственномъ убожествѣ дикаря, то далеко не такъ единодушны мнѣнія о его нравственныхъ качествахъ. Ни Леббокъ, ни Тайлоръ, ни Вайцъ, ни Спенсеръ, ни вообще представители науки, трактующіе о зарѣ исторіи человѣчества, не отрицаютъ многихъ прекрасныхъ сторонъ древнѣйшей исторіи; они стараются даже ввести ихъ въ общій итогъ своихъ изслѣдованій. Мнѣ неизвѣстенъ, однако, ни одинъ современный писатель, который удовлетворительно справился бы съ этой задачей. Прочитавъ, напримѣръ, заключительныя строки «Началъ цивилизаціи» Леббока или первыя двѣ главы «Первобытной культуры» Тайлора, вы видите, что люди эти, не смотря на всю свою добросовѣстность и эрудицію, даже, можно сказать, не намекнули на разрѣшеніе вопроса, который ихъ занимаетъ. Въ этомъ отношеніи, впрочемъ, положеніе русскаго читателя совсѣмъ особенное. Арсеналъ европейской философіи и науки заключаетъ въ себѣ многочисленныя коллекціи оружія разныхъ сортовъ и типовъ. Много тутъ такого покрытаго ржавчиной хлама, съ которымъ, не смотря на всю его хламовитость, европейскій писатель не можетъ не считаться. Были, напримѣръ, не разъ высказываемы съ извѣстнымъ ученымъ аппаратомъ мнѣнія, что дикари суть выродившіеся потомки какой-то странной древней цивилизаціи, находившейся подъ особымъ покровительствомъ божества, и т. п. Европейскій изслѣдователь, проникнутый научнымъ духомъ, тратитъ не мало силъ на опроверженіе подобныхъ мнѣній, упорно ищетъ фактовъ, которые свидѣтельствуютъ, что никакой такой древней цивилизаціи не существовало, и затѣмъ считаетъ свое дѣло сдѣланнымъ. Конечно, у него есть и другіе мотивы, но таковъ одинъ изъ главныхъ. Наши русскія требованія—совсѣмъ иныя. Философія и наука представлены у насъ вообще плохо. Что же касается мнѣній въ родѣ только что приведеннаго, то они не пользуются у насъ рѣшительно никакимъ авторитетомъ, хотя кое-кѣмъ и исповѣдуются. Поэтому опровергать ихъ, а тѣмъ паче сообразовать съ ними общій ходъ какого нибудь изслѣдованія совершенно не стоитъ, не зачѣмъ. Это же обстоятельство налагаетъ извѣстную своеобразную печать на отношенія русскихъ читателей къ европейскому писателю о развитіи культуры. Съ одной стороны, такой писатель способенъ произвести у насъ въ большинствѣ верхоглядство, потому что, какъ и, всякое большинство, оно мало сконно къ критикѣ и впитываетъ въ себя полемическую струю изслѣдованія, не подозрѣвая ея случайнаго полемическаго характера. За то, съ другой стороны, русское меньшинство остается въ подобныхъ случаяхъ неудовлетвореннымъ. Оно видитъ, что свое частное дѣло европейскій изслѣдователь сдѣлалъ—доказалъ, положимъ, невозможность древнѣйшей высокой цивилизаціи; но вѣдь не въ ней и дѣло, не въ ней одной, по крайней мѣрѣ. Вопросъ въ томъ: какъ ввести въ общую схему исторіи нѣкоторыя фактическія, достовѣрныя, никѣмъ не отрицаемыя черты сравнительнаго матеріальнаго довольства, высокаго нравственнаго уровня и т. п. первобытной жизни? Какъ связать ихъ съ стольже фактически достовѣрною грубостью, жестокостью, варварствомъ той же первобытной жизни? Вопросъ не праздный и даже не только въ теоретическомъ смыслѣ важный. Всѣ согласны, что цивилизація прививаетъ человѣку нѣкоторыя несимпатичныя (выбираю самое общее и не предопредѣляющее частностей выраженіе) черты, но думаютъ, что онѣ съ избыткомъ окупаются чертами симпатичными. Если бы удалось разобраться въ безпорядочной грудѣ относящихся сюда и часто другъ другу противорѣчащихъ фактическихъ свѣдѣній, найти какое нибудь общее начало, которое давало бы возможность хоть съ приблизительною точностью опредѣлить, такъ сказать, приходъ и расходъ исторіи, мы были бы въ громадномъ выигрышѣ. А для уясненія практической стороны этого выигрыша достаточно вспомнить, что низшіе классы всѣхъ европейскихъ обществъ, въ томъ числѣ и русскаго, движутся медленнѣе, чѣмъ высшіе. Ихъ нравы и понятія представляютъ какъ бы обломки, иногда очень крупные, раннихъ ступеней исторіи тѣхъ самыхъ, которыя внѣ Европы находятся еще мѣстами почти внѣ прикосновенности. Слѣдовательно, общее начало, найденное нами для опредѣленія характера историческихъ измѣненій, измѣненій во времени, оказалось бы пригоднымъ и для сравненія нравовъ, понятій, общественныхъ учрежденій, вѣрованій высшихъ и низшихъ классовъ европейскихъ, вообще цивилизованныхъ обществъ.

Здѣсь я не намѣренъ говорить объ этомъ руководящемъ началѣ, тѣмъ болѣе, что представилъ попытки его опредѣленія въ другихъ мѣстахъ. Я имѣю въ виду только неудовлетворительность въ этомъ отношеніи спеціальныхъ изслѣдованій о древнѣйшей культурѣ.

Минуя писателей менѣе философски развитыхъ и, очевидно, трудно справляющихся съ собственной громадной эрудиціей, посмотримъ на Спенсера: первыя главы послѣдняго его сочиненія («Основанія соціологіи», томъ I) посвящены именно занимающему насъ предмету.

Спенсеръ, какъ извѣстно, самый ярый сторонникъ той теоріи развитія, которая вѣритъ въ рѣшительно поступательный ходъ исторіи. Вдобавокъ онъ есть ея наиболѣе философскій представитель. Но за то въ его сочиненіяхъ пробивается, едва ли не сильнѣе, чѣмъ у кого-нибудь другого, та полемическая струйка, о которой говорено выше. Она у него, впрочемъ, сильно осложняется другими мотивами. Какъ бы то ни было, но вотъ характерный примѣръ его обращенія съ фактами. «Кость,—говоритъ онъ,—найденная въ Сетльской пещерѣ и попавшая туда, по мнѣнію Джейки, прежде послѣдняго междуледоваго періода, признана проф. Бёскомъ за человѣческую и описывается имъ какъ часть «чрезвычайно неуклюжей и грубой fibula (малое берцо)»; при чемъ онъ замѣчаетъ, что она походитъ по своей формѣ на другую fibula, найденную въ Ментонской пещерѣ. Но въ то же самое время онъ прибавляетъ, что въ музеѣ хирургической коллегіи существуетъ fibula недавняго времени, представляющая подобную же грубость и неуклюжесть» (40). Можно ли сдѣлать какое-нибудь заключеніе, сопоставляя эти *двѣ* древнія кости съ *одною* новою? Казалось бы — ровно никакого, потому что фактовъ слишкомъ ужъ мало. Спенсеръ самъ это понимаетъ и тѣмъ не менѣе полагаетъ, что «мы имѣемъ право въ этомъ случаѣ» сказать, что «тѣ черты, которыя въ тогдашнія времена были далеко нерѣдкими, а вѣроятно, даже общими, представляютъ въ наше время большія рѣдкости». Ясно, что мы рѣшительно не имѣемъ права сложить изъ трехъ костей, хотя бы и очень неуклюжихъ и грубыхъ, такой выводъ, противъ котораго я, впрочемъ, по существу ничего не имѣю, потому что по всей вѣроятности кости первобытнаго человѣка были, дѣйствительно, очень грубы и неуклюжи. Я привелъ слова Спенсера только какъ рѣзкій примѣръ излишней быстроты многихъ его выводовъ, когда рѣчь заходитъ о всяческой грубости и скудости первобытнаго человѣка. Надо, впрочемъ, замѣтить, что въ «Основаніяхъ соціологіи» Спенсеръ обнаруживаетъ рѣдкое въ немъ въ этомъ отношеніи безпристрастіе.

Такъ, онъ приводитъ слѣдующія слова Эрскина, «какъ результатъ всей опытности, вынесенной имъ изъ знакомства съ тихо-океанскими землями»: «Нѣтъ ничего очень невѣроятнаго въ томъ, что иностранные торговцы будутъ еще современемъ научены чести и приличіямъ тѣми самыми людьми, на которыхъ они привыкли смотрѣть до сихъ поръ, какъ на коварныхъ и неисправимыхъ дикарей острововъ сандальнаго дерева». Такъ «названіе, которымъ обозначается бѣлый человѣкъ у туземцевъ Вата, одного изъ ново-каледонскихъ острововъ, значитъ «скитающійся по морямъ распутникъ». «Многія постыдныя дѣла, совершенныя въ недавнее время въ этихъ областяхъ, заслуживаютъ еще худшихъ названій», замѣчаетъ отъ себя Спенсеръ (74). Спенсеръ, впрочемъ, не придаетъ большого значенія этимъ явленіямъ, потому что они уравновѣшиваются для него явленіями совершенно противоположнаго характера. Дѣло въ томъ, что племя, обладающее какимъ нибудь высокимъ нравственнымъ качествомъ, по другимъ наблюденіямъ, сдѣланнымъ другими людьми, въ другое время, при другихъ обстоятельствахъ, оказывается, именно по отношенію къ этому качеству на крайне низкомъ уровнѣ. Напримѣръ, Эйръ утверждаетъ, что туземцы Австраліи отличаются сильнымъ родительскимъ чувствомъ, и однако же, кромѣ того, что они, по словамъ нѣкоторыхъ путешественниковъ, бросаютъ своихъ больныхъ дѣтей, мы имѣемъ еще здѣсь показаніе Ангаса, что въ Муррѣ отецъ иной разъ убиваетъ своего маленькаго сына, чтобы наживить его мясомъ свои удочки. Это разногласіе объяснимо и помимо ошибокъ наблюдателей. Появленіе европейцевъ есть для дикарей событіе высокой важности, иногда совершенно или значительно измѣняющее ихъ бытъ и понятія, такъ что слѣдующая партія европейцевъ естественно можетъ найти уже новые нравы. Кромѣ того, дикарь обладаетъ одною чертою, которая, по мнѣнію Спенсера, легко примиряетъ различныя противорѣчія въ родѣ вышеуказанныхъ. Черта эта есть «импульсивность», сильная возбудимость, вслѣдствіе которой дикарь принимаетъ чрезвычайно быстрыя рѣшенія и немедленно приводитъ ихъ въ исполненіе почти чисто рефлективно отзываясь на всякое возбужденіе. Отсюда —крайнее непостоянство расположенія духа и вѣчное колебаніе изъ стороны въ сторону А эта основная черта характера дикаря объясняется, въ свою очередь, его крайнею умственною бѣдностью: онъ не умѣетъ комбинировать ощущенія и чувства, не можетъ предвидѣть болѣе или менѣе отдаленныя послѣдствія своихъ поступковъ. Спенсеръ, впрочемъ, самъ приводитъ весьма рѣзкіе примѣры отсутствія импульсивности у нѣкоторыхъ дикарей. Всѣмъ извѣстно, какъ умѣютъ управлять своими душевными движеніями краснокожіе Сѣверной Америки, и они—далеко не единственные дикари, отли-

чающіеся этою способностью въ чрезвычайной степени. Кромѣ того, весьма трудно привести въ связь «импульсивность» дикарей съ двумя другими приписываемыми имъ Спенсеромъ чертами. Онъ указываетъ, во-первыхъ, на ихъ крайній консерватизмъ, слѣпое повиновеніе прадѣдовскимъ обычаямъ, а если вспомнить, какъ мелочно подробна регламентація жизни многихъ первобытныхъ людей (запрещеніе, напримѣръ, ѣсть рыбу извѣстной длины, обязанность брать жену непремѣнно изъ извѣстнаго рода, запрещеніе невѣсткѣ разговаривать съ свекровью, и проч., и проч.), то довольно трудно будетъ указать раіонъ дѣятельности импульсивности, т. е. почти рефлективной отзывчивости на внѣшнія возбужденія. Легко возбуждающійся человѣкъ едва ли способенъ выносить подобныя ограниченія. Еще труднѣе связать импульсивность съ необыкновенною выносливостью дикарей, которую Спенсеръ считаетъ также весьма характеристическою чертою. Онъ полагаетъ именно, что дикарямъ сравнительно мало грозятъ «непріятныя ощущенія какъ положительнаго, такъ и отрицательнаго характера, т. е. какъ тѣ страданія, которыя являются вслѣдствіе чрезмѣрнаго возбужденія нервовъ, такъ и чувство неудовлетворенности, тѣ «алканія», которыя идутъ отъ частей нервной системы, лишенныхъ ихъ нормальной дѣятельности» (54). Спенсеръ говоритъ это не въ томъ смыслѣ, что жизнь дикарей гарантируетъ ихъ отъ такой неравномѣрности нервной дѣятельности (что было бы, я полагаю, вполнѣ основательно): онъ говоритъ только, что проистекающія отсюда страданія не ощущаются ими съ такою напряженностью, какъ цивилизованными людьми. Если это и не прямое отрицаніе «импульсивности», то всетаки значительное ея ограниченіе. Въ концѣ концовъ, Спенсеръ приходитъ къ такому заключенію относительно занимающаго насъ вопроса: «Мы видимъ достаточно ясно, что если первобытный человѣкъ имѣетъ лишь очень мало дѣятельной благожелательности, за то онъ вовсе не отличается дѣятельною зложелательностью, какъ это нерѣдко предполагали. Въ самомъ дѣлѣ, бѣглый взглядъ на факты скорѣе приводитъ насъ къ тому заключенію, что ненужная жестокость вовсе не составляетъ общей отличительной черты наименѣе цивилизованныхъ племенъ, между тѣмъ какъ она оказывается обычною для расъ болѣе цивилизованныхъ» (77).

Результатъ, поражающій своей скудностью и двусмысленностью, въ особенности для Спенсера, который вообще увѣренъ въ постепенномъ ростѣ и развитіи соціальныхъ, симпатическихъ чувствъ. Остаются совершенно не разъясненными какъ тотъ моментъ, когда цивилизація прививаетъ «ненужную жестокость», такъ и тотъ, когда послѣдняя опять исчезаетъ, да и исчезаетъ ли? Въ другихъ своихъ сочиненіяхъ Спенсеръ просто игнорировалъ сравнительно свѣтлыя стороны первобытной жизни. Это было несправедливо, односторонне, но за то результатъ былъ, по крайней мѣрѣ, ясенъ. Теперь, въ «Основаніяхъ соціологіи», онъ принялъ въ соображеніе всѣ pro и contra, привелъ множество противорѣчивыхъ свѣдѣній, но за то подвелъ имъ только нѣчто въ родѣ ариѳметическаго итога; даже меньше того, потому что въ ариѳметическомъ итогѣ исчезаютъ свойства отдѣльныхъ слагаемыхъ, а здѣсь они остаются налицо. Прежде одни видѣли въ дикарѣ чуть не ангела, другіе—чуть не демона. Спенсеръ объясняетъ, что обѣ стороны и правы, и не правы, потому что дикарь бываетъ «благожелателенъ», бываетъ и «зложелателенъ». Но въ какихъ случаяхъ и отношеніяхъ онъ является такимъ или инымъ—это остается столь же неизвѣстнымъ въ концѣ изслѣдованія, какъ и въ началѣ.

Общій недостатокъ всѣхъ подобнаго рода изслѣдованій состоитъ въ томъ, что они обращаютъ недостаточно вниманія на формы общественныхъ отношеній. Положимъ, что они берутъ факты изъ общественной жизни, но затѣмъ выдѣляютъ индивидуальнаго человѣка и говорятъ: первобытный человѣкъ золъ или добръ, хитеръ и проч., болѣе или менѣе игнорируя обстановку общественныхъ отношеній, при которыхъ этотъ человѣкъ добръ или золъ. Такое стремленіе получить нѣкоторое абсолютное рѣшеніе естественно ведетъ, какъ у старыхъ писателей, къ рѣзко одностороннему результату, или, какъ у новыхъ, къ результату двусмысленному и неопредѣленному: ни два, ни полтора. Къ счастію, не всѣ новые писатели таковы. Я уже говорилъ о необычайной важности обнаружившагося въ послѣднее время стремленія къ изученію такихъ формъ общественности, на которыя до сихъ поръ вовсе не обращалось вниманія—формъ исчезнувшихъ, исчезающихъ и, можетъ быть, по этому самому, даже прямо презираемыхъ. Здѣсь намъ предстоитъ взглянуть на одинъ частный случай, превосходно характеризующій не только пріемъ, но до извѣстной степени даже общій тонъ результатовъ новаго научнаго направленія, проливающаго, не смотря на свою скромность, несравненно больше свѣта на древнюю жизнь въ ея интимныхъ подробностяхъ, чѣмъ «Основанія соціологіи» Спенсера.

Кажется, что можетъ быть прочнѣе той истины, на которой большинство экономистовъ строитъ свою науку: человѣкъ продаетъ какъ можно дороже и покупаетъ какъ можно дешевле. Подтвержденіемъ этой истины яв-

ляется и ежедневный опытъ, и соображенія о свойствахъ человѣческой природы. Такое совпаденіе доказательствъ индуктивныхъ и дедуктивныхъ повело, наконецъ, даже къ нѣкоторой нравственной санкціи соотвѣтственнаго явленія. Хотя общественное мнѣніе въ широкомъ смыслѣ слова не одобряетъ стараній продать вещь какъ можно дороже и купить ее какъ можно дешевле, но оно протестуетъ не особенно сильно. А въ мірѣ спеціалистовъ торговли старанія эти, несомнѣнно, имѣютъ нѣкоторую нравственную санкцію. Наконецъ, и люди мысли, люди науки пытались и пытаются подвести нравственный фундаментъ подъ фактическое зданіе барыша. Они уличаютъ въ нелѣпомъ декламаторствѣ, въ слезливомъ сантиментализмѣ, въ безумномъ фантазерствѣ тѣхъ, кто не хочетъ преклонить колѣни предъ идоломъ барыша. Они доказываютъ, что не только такъ есть, всегда было и будетъ, но что такъ и должно быть, ибо изъ той конкурренціи, которая вытекаетъ изъ правила: продавай какъ можно дороже и покупай какъ можно дешевле, слагается стройная и, въ концѣ-концовъ, благодѣтельная система человѣческихъ отношеній—лучшая, какой только можетъ достигнуть человѣкъ. Въ этомъ убѣжденъ, между прочимъ, и Спенсеръ, не смотря на то, что никто больше его не говоритъ о развитіи, измѣнчивости всего сущаго, а слѣдовательно, и природы человѣка. Однако убѣжденіе въ исконной и вѣковѣчной преданности человѣка барышу оказывается клеветой на видъ homo sapiens—клеветой, по крайней мѣрѣ, относительно прошедшаго и давно прошедшаго времени.

Менъ въ своихъ изслѣдованіяхъ древняго права натолкнулся на вопросъ о происхожденіи существующихъ нынѣ рыночныхъ обычаевъ. Вотъ тѣ въ высшей степени замѣчательныя заключенія, къ которымъ онъ пришелъ:

«Чтобы понять, чѣмъ первоначально былъ рынокъ, должно представить себѣ территорію, занятую деревенскими общинами, самостоятельными въ своихъ дѣйствіяхъ и до сихъ поръ еще автономическими, при чемъ каждая воздѣлываетъ свой пахотный участокъ, лежащій среди пустопорожней земли, и—боюсь, что долженъ прибавить это—каждая находится въ безпрерывной войнѣ съ своими сосѣдями. Но въ нѣкоторыхъ пунктахъ, такихъ вѣроятно, гдѣ соприкасались земли двухъ или трехъ деревень, повидимому, были участки такой земли, которую нынѣ назвали бы нейтральною почвою. Это были торговыя или рыночныя мѣста. По всей вѣроятности они были единственными мѣстами, гдѣ встрѣчались члены различныхъ первобытныхъ группъ для какихъ-либо другихъ цѣлей, кромѣ войны, и прежде всего сюда являлись, безъ сомнѣнія, именно лица, уполномоченныя спеціально на обмѣнъ продуктовъ и издѣлій одной маленькой деревенской общины на произведенія другой. Сэръ Джонъ Леббокъ, въ своемъ сочиненіи «Начало цивилизаціи», сдѣлалъ нѣсколько интересныхъ замѣчаній о слѣдахъ, какіе еще остаются отъ чрезвычайно древняго соотношенія между рынками и нейтральностью; хотя теперь и не мѣсто далѣе проводить мою мысль, но не могу не указать на существованіе чрезвычайно важной для новѣйшихъ писателей исторической связи между тѣмъ и другимъ, такъ какъ jus gentium римскаго претора, которое отчасти было сначала «торговымъ правомъ», несомнѣнно сродни нашему «международному праву». Но, кромѣ понятія нейтральности, съ торгами соединялось прежде еще нѣчто другое: это были идеи о неблаговидныхъ продѣлкахъ и о неумолимомъ торгашествѣ или барышничествѣ. Всѣ три идеи какъ бы соединились въ аттрибутахъ бога Гермеса или Меркурія, который въ одно и то же время былъ богомъ границъ, повелителемъ вѣстниковъ или пословъ и покровителемъ торговли, обмана и воровъ. Рынокъ былъ, слѣдовательно, пространствомъ нейтральной земли, на которомъ, при древнемъ строѣ общества, члены разныхъ самостоятельныхъ владѣльческихъ группъ безопасно сходились, покупали и продавали, не стѣсняемые правилами цѣнъ, установленными обычаями. Здѣсь-то, кажется, получило начало и отсюда распространилось по цѣлому міру понятіе о правѣ человѣка брать за свои товары наибольшую цѣну. Рыночному закону, кстати будетъ здѣсь замѣтить, очень посчастливилось въ исторіи права. Jus gentium римлянъ, хотя, безъ сомнѣнія, имѣло цѣлью отчасти уладить отношенія римлянъ къ подвластному населенію, развилось отчасти также вслѣдствіе коммерческихъ требованій. Римское jus gentium постепенно возвысилось до моральной теоріи, которая, между другими теоріями, не заявляющими притязанія на религіозную санкцію, не имѣла на свѣтѣ соперницы до появленія этическихъ ученій Бентама... Законъ о личной или движимой собственности имѣетъ постоянное стремленіе совмѣстить въ себѣ и законъ о поземельной или недвижимой собственности; но, кромѣ того, первый обнаруживаетъ также наклонность ассимилироваться съ торговымъ закономъ. Желаніе установить въ смыслѣ закона то, что представляетъ удобство въ коммерческомъ отношеніи, ясно видно въ новѣйшихъ рѣшеніяхъ англійскихъ судовъ; цѣлая группа правовыхъ афоризмовъ, происходящая изъ закона торга (самымъ знаменательнымъ афоризмомъ было «caveat emptor»—берегись покупатель), развилась на счетъ всѣхъ другихъ, соперничавшихъ съ ними... Политико-экономы часто выражаютъ сожалѣніе по поводу неопредѣленныхъ нравственныхъ чувствъ, которыя препятствуютъ полному признанію ихъ принциповъ. Мнѣ кажется, что полусознательное отвращеніе, какое люди чувствуютъ къ доктринамъ, которыхъ сами не отрицаютъ, часто могло бы быть изслѣдовано съ большею пользою, чѣмъ обыкновенно предполагается. Такое отвращеніе иногда оказывается отраженіемъ какого-нибудь стараго порядка идей... Откуда происходитъ сознаніе того, чтобы барышничество при заключеніи сдѣлки съ близкимъ родственникомъ или другомъ—дѣло недостойное? Такое сознаніе, по моему мнѣнію, носитъ слѣды того древняго понятія, что люди, соединенные въ естественныя группы, не должны вносить торговыхъ принциповъ во взаимныя сношенія. Единственная естественная группа, въ которую люди еще и теперь соединены, есть семья, а единственныя связывающія узы, подобно узамъ семейнымъ,—тѣ, какія люди создаютъ сами себѣ посредствомъ дружбы... Люди, соединенные въ такія группы, изъ которыхъ развилось новѣйшее общество, не заключали другъ съ другомъ торговыхъ сдѣлокъ, основанныхъ на такъ называемыхъ для краткости коммерческихъ принципахъ. Общее по-

ложеніе, служащее базисомъ политической экономіи, впервые сдѣлалось вѣрнымъ при такихъ обстоятельствахъ, при какихъ только и было возможно въ то время, именно—по отношенію не къ членамъ одной и той же группы, а къ иностранцамъ. Постепенно предположеніе о правѣ каждаго добиваться наивысшей цѣны за товаръ проникло и въ эти группы, но никогда не было принято вполнѣ, пока соединительными узами между людьми считались узы семьи или клана. Правило это одерживаетъ верхъ лишь тогда, когда первобытная община разрушена. Какія именно причины обобщили рыночный законъ до появленія предположенія, что онъ выражаетъ первоначальную и основную наклонность человѣческой природы, вполнѣ объяснить невозможно—такъ разнообразны онѣ были. Все, что способствовало превращенію общества изъ скопленія семействъ въ собраніе индивидуумовъ, способствовало и увеличенію справедливости того опредѣленія человѣческой природы, какое сдѣлано было политико-экономами» («Деревенскія общины на Востокѣ и Западѣ», стр. 115).

Я почти цѣликомъ привелъ все это мѣсто о значеніи рынковъ, потому что оно дѣйствительно въ высокой степени замѣчательно. Надо только устранить двѣ существенныя ошибки Мена, въ которыя онъ впадаетъ во всѣхъ своихъ трудахъ. Во-первыхъ, онъ полагаетъ, что исторія человѣчества началась съ патріархальнаго быта и постоянно напираетъ на противоположность древнѣйшаго «скопленія семействъ» новѣйшему «собранію индивидуумовъ». Онъ до такой степени увѣренъ въ этомъ, что въ одномъ изъ своихъ сочиненій («Древнѣйшая исторія учрежденій») утверждаетъ, будто члены русской общины помнятъ свое происхожденіе отъ одного предка. Мы уже знаемъ, что семья, а тѣмъ паче ея патріархальная форма, составляетъ сравнительно поздній продуктъ исторіи, что она лишь съ большимъ трудомъ выдѣлилась изъ нѣкоторой, мало намъ доступной, но несомнѣнно существовавшей гораздо болѣе широкой общественной единицы. Конечно, семья дала впослѣдствіи начало цѣлому ряду высшихъ, болѣе сложныхъ группъ, и, напримѣръ, югославянская задруга есть несомнѣнный продуктъ семьи. Но съ другой стороны, именно семья положила первое начало распаденію неопредѣленной первобытной группы. Когда семья уже обособилась, и каждый мужчина получилъ свою женщину и призналъ своихъ дѣтей, древнѣйшій принципъ еще жилъ въ отношеніяхъ имущественныхъ и политическихъ: община уже потому не можетъ считаться продуктомъ семьи, что она древнѣе ея. Объ этомъ, впрочемъ—въ своемъ мѣстѣ. Другая ошибка Мена, раздѣляемая имъ чуть не со всѣми изслѣдователями, состоитъ въ представленіи «собранія индивидуумовъ». Уже въ первомъ изъ предлагаемыхъ очерковъ было показано, до какой степени не основательно видѣть въ исторіи человѣчества какое-то постоянное торжество личнаго начала, «индивидуализаціи», которой однѣ радуются и о которой другіе печалуются. На дѣлѣ мы видимъ до сихъ поръ только смѣну однѣхъ узъ другими, менѣе стѣснительными въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, болѣе стѣснительными въ другихъ. Здѣсь замѣчу только слѣдующее. Не смотря на всеобщее убѣжденіе въ томъ, что исторія представляетъ процессъ индивидуализаціи, приходится считаться съ фактами, ярко противорѣчащими такому убѣжденію. И тогда вотъ какъ они толкуются. Леббокъ или, вѣрнѣе, миссіонеръ Бегертъ, на котораго Леббокъ ссылается, говоритъ, что у калифорнскихъ индѣйцевъ нѣтъ ни полиціи, ни законовъ, ни судей, ни храмовъ. «Всѣ они считаются равными между собой, и каждый поступаетъ такъ, какъ хочетъ, не спрашивая своего сосѣда и не заботясь о его мнѣніи. Различныя племена отнюдь не представляютъ собраній разумныхъ существъ, подчиняющихся законамъ и повинующихся своимъ начальникамъ, но гораздо болѣе походятъ на *стадо свиней...* Однимъ словомъ, жители Калифорніи живутъ какъ будто *свободные мыслители и матеріалисты...* («Начало цивилизаціи», пер. Коропчевскаго, стр. 236).

Все это не мѣшаетъ, однако, основательности замѣчаній Мена о значеніи рынковъ. Надо удивляться проницательности этого ученаго, очевидно, мало интересующагося дѣйствительно древнѣйшими формами общественности, мало знакомаго съ ними и даже отрицающаго ихъ, между тѣмъ какъ среди нихъ онъ могъ бы найти чрезвычайно вѣскія подтвержденія для своихъ соображеній. Напримѣръ, вотъ слова Геродота о карѳагенской торговлѣ: «Карѳагеняне разсказывали мнѣ, что они часто плывутъ на своихъ корабляхъ за Столбы Геркулесовы къ народу, живущему на берегахъ Ливіи, и, приплывши туда, выносятъ свои товары на берегъ, гдѣ и складываютъ ихъ, а сами раскладываютъ огонь и, когда поднимется дымъ, садятся обратно на свои корабли. Прибрежные жители, замѣтивъ дымъ, приходятъ на берегъ, кладутъ подлѣ товаровъ кучу золота и уходятъ. Тогда карѳагеняне снова выходятъ на берегъ и смотрятъ, много ли золота; если увидятъ, что золота достаточно, то берутъ его и уѣзжаютъ обратно восвояси. А если золота мало, то снова уходятъ на корабли и ждутъ прибавки, а туземцы опять приходятъ и все прибавляютъ золота, пока не удовлетворятъ карѳагенянъ. Но никому изъ нихъ нѣтъ обиды, потому что карѳагеняне не дотрогиваются до золота, а туземцы не берутъ товара, пока не кончится торгъ». Приведя это показаніе «отца исторіи», Гееренъ

(Ideen über Politik, Verkehr und Handel der vornehmsten Völker der alten Welt) замѣчаетъ «Геродота неоднократно упрекали въ легковѣріи, пока, наконецъ, въ послѣднее время блистательнымъ образомъ не была доказана достовѣрность всѣхъ переданныхъ имъ извѣстій; теперь мы не только знаемъ достовѣрно, что разсказъ карѳагенянъ о нѣмой торговлѣ — совершенная правда, но знаемъ еще, что и теперь ведется такая торговля въ прилежащей къ рѣкѣ Нигеру, такъ называемой Золотой области». Но со временъ Геерена вѣрность показаній Геродота подтвердилась еще сильнѣе. Бастіанъ сообщаетъ, между прочимъ, слѣдующее: «Для торговли съ племенемъ орангъ-кубу, собирающимъ въ лѣсахъ Суматры бензоинъ-гумми, малайскій купецъ раскладываетъ свои пестрые товары на опушкѣ лѣса и, удаляясь, ударяетъ въ гонгъ, а черезъ недѣлю возвращается и находитъ на томъ же мѣстѣ эквивалентъ» (Der Mensch in der Geschichte, III, 366). Хитоны входили въ торговыя сношенія съ бѣлыми на нейтральномъ мѣстѣ (367). Айносы, торгуя съ курилами, кладутъ товары на берегу, а черезъ нѣсколько времени возвращаются и получаютъ такимъ же образомъ обмѣнный товаръ. Китайцы торговали на островѣ духовъ Ланка съ невидимыми купцами. Бразильскіе индѣйцы снимаютъ на время торга оружіе и кладутъ его возлѣ себя, но какъ только торгъ конченъ, обѣ стороны одновременно хватаются за оружіе (368). Сюда же относятся многочисленные разсказы о «молчаливой» торговлѣ. Такого рода извѣстія имѣются и въ русскихъ лѣтописяхъ и преданіяхъ о сношеніяхъ съ другими народами. Такъ новгородецъ Гюрята Роговичъ, разсказъ котораго записанъ у лѣтописца подъ 1092 годомъ, слышалъ отъ югровъ, что «суть горы зайдуче луку моря, имъ же высота до небеси, и въ горахъ тѣхъ кличъ великъ и говоръ, и сѣкутъ гору, хотяще высѣчися; и въ горѣ той просѣчено оконце мало, и тудѣ молвятъ, и есть не разумѣти языку ихъ, но кажуть на желѣзо и помаваютъ рукою, просяще желѣза. Кто дастъ имъ ножъ ли, сѣкиру, даютъ скоро противу». А объ самой Югрѣ, по ея покореніи (1499), въ Россіи разсказывали: «Тамошніе люди, какъ настанетъ юрьевъ осенній день, засыпаютъ мертвецкимъ сномъ и спятъ до юрьева весенняго дня, а тогда оживаютъ. Съ ними ведутъ торговлю народы: густинцы и серпентовцы—торговлю чудную: нигдѣ такъ не торгуютъ. Готовясь спать или, лучше сказать, замирать, югорцы кладутъ на извѣстныя мѣста товары; во время сна приходятъ купцы изъ земли названныхъ выше народовъ, берутъ товары и на мѣсто ихъ свои кладутъ; случается, что проснувшись югорцы бываютъ недовольны мѣною: отсюда у нихъ съ сосѣдями споры и войны случаются» (Костомаровъ, «Сѣвернорусскія народоправства», I, 419).

Что касается упоминаемыхъ Меномъ замѣчаній Леббока, то они состоятъ въ слѣдующемъ:

«Съ перваго взгляда довольно трудно усмотрѣть связь между этими разнообразными обязанностями (Меркурія, Гермеса), характеризующимися столь противоположными качествами. Однако же, какъ мнѣ кажется, всѣ онѣ вытекали изъ обыкновенія означать границы вертикальными камнями. Отсюда и самое названіе Гермесъ или Термесъ (граница, межа). Въ безпокойныя древнія времена, во избѣжаніе распрей, принято было оставлять полосу нейтральной земли между владѣніями различныхъ народовъ. Она называлась маркой; отсюда происходитъ и титулъ маркиза, означавшій тѣхъ чиновниковъ, которые охраняли границу или «марку». Эти марки не обработывались и служили выгономъ для стадъ. Здѣсь же собирались купцы для обмѣна на этой нейтральной почвѣ произведеній своихъ странъ; по той же причинѣ здѣсь заключались договоры; тутъ же происходили международныя игры и увеселенія. Вертикально стоящіе камни обыкновенно ставились на мѣстахъ погребенія, а позднѣе на нихъ вырѣзывались законы и постановленія, записывались замѣчательныя событія и писались похвалы умершимъ. Поэтому Меркурій, изображаемый гладкимъ стоячимъ камнемъ, былъ богомъ путешественниковъ, такъ какъ стоялъ на границѣ; богомъ пастуховъ, такъ какъ покровительствовалъ пастбищамъ; сопровождалъ души умершихъ въ подземныя страны, вслѣдствіе весьма древняго обыкновенія ставить на могилахъ памятники въ формѣ вертикально стоящихъ камней; богомъ воровъ его звали въ насмѣшку (?). Онъ былъ посланникомъ боговъ, потому что послы обыкновенно сходились на границахъ, и богомъ краснорѣчія, вслѣдствіе той же причины. Онъ изобрѣлъ лиру и предсѣдательствовалъ на играхъ, потому что музыкальныя и прочія состязанія происходили на нейтральной почвѣ» («Начало цивилизаціи», 220).

Къ этому надо прибавить еще то обстоятельство, что у многихъ народовъ было обыкновеніе хоронить покойниковъ именно на границѣ—на межѣ, которая такимъ образомъ какъ бы смертью опоясывала заключенное въ ней пространство. «Могильные холмы служили въ старое время пограничными знаками,—говоритъ Афанасьевъ:—ezagulis означаетъ въ литовскомъ языкѣ могилу, курганъ и межевой камень; deus ezagulis—тотъ, кто покоится на межѣ, усопшій» («Поэтическія воззрѣнія славянъ на природу», III, 799). Относительно международныхъ игръ и увеселеній любопытно указаніе Бастіана, что арабскіе рынки при случаѣ обращались въ мѣста поэтическихъ состязаній (l. c. 367). Можетъ быть отчасти сюда же слѣдуетъ отнести тѣ «игрища межю селъ», за которыя лѣтописецъ упрекаетъ радимичей, вятичей, сѣверянъ и древлянъ. Дѣйствительно, если мы видимъ, что между

столь близкими и родственными, сосѣдними галицко-русскими племенами, каковы гуцулы и бойки, «существуетъ племенная ненависть, причина которой очень загадочна» («Славянскій сборникъ», I, 39); если мы видимъ, какъ иногда солоно приходится въ Россіи парню, вздумавшему приволокнуться за дѣвкой на гуляньѣ въ чужой деревнѣ,—то становится понятнымъ огромное значеніе пространства «межю селъ» въ древности.

Я не буду утомлять вниманіе читателя перечисленіемъ другихъ фактовъ, подтверждающихъ это громадное значеніе границы, межи, нейтральнаго пространства, «межю селъ»: оно, я полагаю, очевидно. Но вмѣстѣ съ тѣмъ оно до такой степени важно и опредѣленно, что способно дать искомую руководящую нить среди хаотическихъ противорѣчій первобытной жизни. Въ самомъ дѣлѣ, нетрудно видѣть, что взаимныя отношенія людей, живущихъ внутри межи, должны рѣзко отличаться отъ ихъ отношеній къ людямъ, живущимъ по ту сторону ея. Нѣтъ поэтому ничего удивительнаго въ томъ, что мы встрѣчаемся въ первобытной жизни съ непримиримыми на первый взглядъ противорѣчіями, съ рѣзкими проявленіями какъ «благожелательности», такъ и «зложелательности». Тайлоръ совершенно вѣрно замѣчаетъ, что «законъ дикарей касательно человѣкоубійства основывается не на идеальномъ представленіи о достоинствѣ и правахъ человѣка, а на практическомъ раздѣленіи всѣхъ людей на своихъ и чужихъ». («Первобытное общество», въ «Знаніи» 1873, № VIII). Но это относится не только къ человѣкоубійству. Иностранца, вообще человѣка съ той стороны межи, можно обмануть, ограбить, убить, даже съѣсть (hostis—врагъ и иностранецъ), но ничего подобнаго нельзя сдѣлать съ человѣкомъ, живущимъ внутри межи. Тамъ узаконяются всевозможныя насилія и варварскіе поступки, даже не узаконяются, потому что никто и не задумывается надъ ихъ правомѣрностью; здѣсь всѣ стоятъ за одного и одинъ за всѣхъ, удивляя путешественниковъ своей кротостью, благодушіемъ, честностью, не нуждающимися ни въ какихъ формальныхъ постановленіяхъ. Территоріальная граница является, слѣдовательно, вмѣстѣ съ тѣмъ какъ бы границей между добромъ и зломъ, границей, отвлеченно говоря, столь же рѣзкой, столь же опредѣленной, какъ и та полоса земли, усыпанная могильными курганами. Въ дѣйствительности, фактически, эта, такъ сказать, духовная межа не столь опредѣленна и не покрываетъ собою всѣхъ противорѣчій нравственной жизни первобытныхъ народовъ; но мы сейчасъ увидимъ, что логическое распространеніе понятія межи приводитъ къ такой ясности результата, какая только можетъ быть достигнута въ явленіяхъ столь сложныхъ.

Намъ нужно теперь очень обще и бѣгло возстановить нѣкоторыя черты древней жизни внутри межи. Выше было замѣчено, что видѣть древнѣйшую форму общественности въ семьѣ ошибочно. Я по необходимости долженъ былъ говорить о взаимныхъ отношеніяхъ то двухъ родственныхъ славянскихъ *племенъ*, то двухъ *деревень*, то двухъ древнихъ *селъ*, то двухъ индійскихъ *общинъ*, то, наконецъ, двухъ *народовъ*, какими являются карѳагеняне и африканцы, югорцы и серпентовцы и проч. Дѣло въ томъ, что ближайшимъ образомъ опредѣлить и назвать древнѣйшую, но уже человѣческую форму общества—нельзя, хотя можно съ достовѣрностью сказать, что это не была ни семья, ни родъ, ни община въ теперешнемъ смыслѣ слова, ни народъ. Тѣмъ не менѣе, однако, нѣкоторыя отдѣльныя черты могутъ быть реставрированы при помощи анализа нынѣ существующихъ формъ. Такъ возстановили мы нѣкоторыя черты половыхъ отношеній. Первобытные порядки въ другихъ сферахъ жизни сохранились дольше, и мы имѣемъ въ Россіи уголокъ, гдѣ они хотя и угасаютъ, однако все-таки еще живутъ. Я разумѣю уральскую казацкую общину. Къ счастію, она настолько извѣстна, что мнѣ не нужно задерживать читателя на ея описаніи. Достаточно напомнить нѣсколько подробностей. Все огромное пространство земли въ $6^1/_2$ милліоновъ десятинъ, занятое 80,000 душъ обоего пола, какъ извѣстно, не подѣлено не только между отдѣльными лицами или семьями, но даже между селеніями или станицами, такъ что ничто не мѣшаетъ казаку изъ-подъ Гурьева-городка пахать землю гдѣ-нибудь на самомъ сѣверѣ общинной территоріи. Такъ устроилась община и по другимъ занятіямъ: по рыболовству, добычѣ соли, сѣнокосу. Едва-ли гдѣ-нибудь на земномъ шарѣ сохранилось общинное владѣніе въ такомъ размѣрѣ; но что въ древности оно сплошь и рядомъ было именно таково—на это имѣется много данныхъ. Далѣе мы встрѣчаемъ въ уральской общинѣ широко развитую круговую поруку, нѣкогда опять-таки чрезвычайно распространенную и наиболѣе яркіе образцы которой, сравнительно поздніе, всѣмъ знакомы въ явленіяхъ родовой мести. Затѣмъ—самоуправленіе, руководствующееся обычнымъ правомъ, а въ чрезвычайныхъ случаяхъ рѣшеніемъ сходки, народнаго собранія, извѣстнаго у славянъ подъ именемъ вѣча, рады, казацкаго круга, снема, сейма и составляющаго достояніе едва-ли не всѣхъ первобытныхъ народовъ. На взглядъ цивилизованнаго человѣка картина жизни уральцевъ должна представляться странною смѣсью

необузданной свободы невыносимыхъ стѣсненій. Въ самомъ дѣлѣ, уралецъ можетъ, напримѣръ, косить сѣно, *гдѣ* хочетъ, хоть за нѣсколько сотъ верстъ отъ своего дома, но совсѣмъ не *когда* хочетъ и *сколько* хочетъ — я сейчасъ скажу, въ чемъ состоитъ ограниченіе. Онъ можетъ ловить рыбу, *гдѣ* хочетъ, но совсѣмъ не *когда* хочетъ. Напримѣръ, въ зимній ловъ всѣ ждутъ на берегу извѣстнаго знака, пушечнаго выстрѣла, послѣ котораго каждый идетъ къ заранѣе намѣченному мѣсту, пробивать ледъ и добываетъ рыбы сколько можетъ и сколько счастіе пошлетъ. Но въ промежутокъ между обычными сезонами рыбной ловли никто ловить не смѣетъ, не смѣетъ даже производить какую-нибудь шумную работу на берегу или на рѣкѣ; даже судоходство пріостанавливается, чтобы не распугать рыбу. Представьте, что вы хотите доставить себѣ самое невинное удовольствіе въ видѣ катанья на лодкѣ «по Уралу, по рѣкѣ» съ пѣсенками, или что вы хотите, когда вздумалось закинуть тоню—вамъ ни того, ни другого не позволятъ, то есть ваша личность будетъ грубо стѣснена. Но приглядываясь къ дѣлу ближе, вы увидите въ противность общепринятому мнѣнію о первобытныхъ порядкахъ, что начало личности проникаетъ ихъ, такъ сказать, насквозь. Чтобы убѣдиться въ томъ, стоитъ только вдуматься въ обычай сѣнокоса въ уральской общинѣ. Казакъ, какъ уже сказано, можетъ косить гдѣ хочетъ, но, во-первыхъ, въ строго опредѣленное время, такъ что всѣ начинаютъ косить за разъ, а во-вторыхъ—только на томъ пространствѣ, которое онъ своими личными силами успѣетъ «обкосить» въ первый день покоса. Въ этотъ день казакъ только обкашиваетъ кругомъ нужное ему, по его личному мнѣнію и глазомѣру, пространство, при чемъ ему нѣтъ разсчета затѣвать кругъ съ чрезмѣрно большимъ діаметромъ, потому что въ такомъ случаѣ сосѣдъ можетъ врѣзаться въ ту сторону круга, которую онъ еще не успѣлъ обозначить при помощи своей косы. Я сказалъ, что онъ дѣлаетъ кругъ своими личными силами. Это не совсѣмъ вѣрно, потому что каждый казакъ можетъ выставить на покосъ трехъ работниковъ, но не больше, изъ своей ли семьи, или изъ наемниковъ. Но самая равномѣрность этого расширенія личныхъ силъ показываетъ, что оно вызвано только чисто хозяйственными соображеніями, принципъ же личности, личнаго труда, личнаго умѣнья, личной ловкости, личнаго разсчета, личной свободы остается во всей своей силѣ. Стѣсненія, налагаемыя подобными правилами, напримѣръ, при рыболовствѣ, дѣйствительно, велики, можетъ быть даже ненужно велики, но мотивъ ихъ никакого ущерба началу личности, индивидуальности не наноситъ и имѣетъ въ виду только благо личности въ зависимости отъ явленій внѣшней природы; бей и лови рыбы сколько можешь, когда количество ея въ рѣкѣ достигаетъ своего maximuma. Индивидуальныя потребности, удовлетворенныя индивидуальными силами,—таковъ принципъ и до сихъ поръ живущій въ уральской общинѣ, не смотря на множество препятствующихъ условій. Конечно, для осуществленія этого принципа требуется общее соглашеніе, но дѣло въ томъ, что оно дѣйствительно общее, то есть такое, въ которомъ участвуетъ каждый индивидъ, не имѣя при данныхъ условіяхъ повода и нужды подставлять ногу большинству или меньшинству, которыхъ, впрочемъ, и нѣтъ въ наличности.

Понятно, что уральцамъ живется или жилось хорошо, о чемъ свидѣтельствуютъ всѣ путешественники, начиная съ Гакстгаузена и кончая г. Авесовымъ («Камско-Волжская Газета» 1873 года, №№ 85 и 92). Понятно также, что они, какъ люди мало развитые, дорожатъ каждою мелочью своего быта, упорно держась за такія подробности, которыя лишь эмпирически сплочены съ ихъ житьемъ-бытьемъ и могутъ логически даже противорѣчить его основному принципу. Изъ этого не слѣдуетъ, однако, чтобы принципъ этотъ, даже помимо различныхъ злоупотребленій, былъ безупреченъ. Онъ прежде всего двойственъ, потому что мѣряетъ «своихъ« и «чужихъ«, за межой живущихъ совершенно различными мѣрками. Не говоря уже о военномъ и, слѣдовательно, профессіонально-враждебномъ къ иностранцамъ характерѣ уральской общины, давно исчезнувшемъ въ ней, не смотря на демократическій строй, существуютъ своего рода паріи въ видѣ работниковъ изъ киргизъ и великоруссовъ. Относительно этихъ людей уральцы доходятъ до настоящихъ и, благодаря организаціи общины, вѣроятно всегда успѣшныхъ стачекъ, съ цѣлью пониженія заработной платы. Это, если не враги, то, во всякомъ случаѣ, чужіе люди, «иногородніе», относительно которыхъ дозволены поступки, которые заслужили бы рѣзкое и всеобщее неодобреніе, если бы они были направлены противъ одного изъ своихъ. Однимъ словомъ, это—люди изъ-за межи. Здѣсь, слѣдовательно, мы опять возвращаемся къ Мену. Дѣйствительно, въ то время, какъ для внутреннихъ отношеній общины обычай всячески сокращаетъ поле дѣйствія конкурренціи, оставляя на немъ только индивидуальныя силы, приблизительно равныя, потому что онѣ находятся въ однихъ и тѣхъ же условіяхъ, трудъ чужого человѣка разрѣшается цѣнить какъ можно ниже, покупать его какъ можно дешевле, пользуясь всякими случайными вы-

годами положенія, при чемъ конкурренція достигаетъ своего логическаго конца—монополіи и стачки. Эти порядки очень живучи и сохраняются даже къ тому времени, когда земля, земельные участки, выдѣлившіеся изъ общаго владѣнія, поступаютъ на рынокъ, подвергаясь всѣмъ колебаніямъ спроса и предложенія. Менъ приводитъ постановленіе древняго ирландскаго закона, по которому «существуютъ три ренты: высшая (rack-rent, буквально—мучительная рента, какъ замѣчаетъ въ другомъ мѣстѣ Менъ) съ лица, принадлежащаго къ чуждому племени, справедливая рента (fair-rent) съ члена своего племени и условленная рента (stipulated-rent), уплачиваемая одинаково и своимъ племенемъ, и посторонними». Слѣдовательно, и въ этомъ случаѣ, когда чужой допускается къ землевладѣнію, съ него и только съ него, дозволяется брать ренту высшую обычной «справедливой» нормы, то есть сколько только позволятъ условія, при которыхъ совершается сдѣлка, хотя бы двѣ шкуры съ одного вола, по пословицѣ.

Для нагляднаго выясненія тѣхъ двоякаго рода чувствъ, которыя обусловливаются и воспитываются этими двумя сторонами первобытной жизни, можетъ служить приводимый Лавелэ (De la propriété et de ses formes primitives, стр. 283) легендарный разсказъ объ опредѣленіи границы между областью Ури и Глариса. Жители этихъ общинъ постоянно ссорились и дрались изъ-за межи. Наконецъ, они рѣшили установить ее слѣдующимъ образомъ. Съ первымъ крикомъ пѣтуха изъ Альтдорфа и изъ Глариса должны были пуститься бѣгомъ представители той и другой общины, и тамъ, гдѣ они встрѣтятся—быть границѣ. Депутаты Ури должны были наблюдать въ Гларисѣ, а депутаты Глариса въ Альдорфѣ, чтобы бѣгуны дѣйствительно съ первымъ крикомъ пѣтуха пустились въ путь. Люди Глариса досыта накормили своего пѣтуха, разсчитывая, что это придастъ ему силы, и онъ запоетъ пораньше. Люди Ури поступили наоборотъ, и ихъ разсчетъ оказался вѣрнѣе, такъ что ихъ бѣгунъ далеко опередилъ своего противника. При встрѣчѣ тотъ взмолился о болѣе справедливомъ раздѣлѣ. Бѣгунъ Ури согласился уступить ему все то пространство, которое онъ, побѣжденный, въ состояніи будетъ пронести его, побѣдителя, на себѣ, а бѣжать надо было въ гору. Чтобы не посрамить своей общины и не нанести ей матеріальнаго ущерба, бѣгунъ Глариса согласился, взвалилъ къ себѣ на плечи противника и бѣжалъ въ гору до тѣхъ поръ, пока не свалился отъ усталости и не умеръ. Это случилось у ручья, который и получилъ названіе Scheidebächli—ручей раздѣла. Въ этомъ разсказѣ, не смотря на его легендарность, отразился, какъ въ зеркалѣ, весь строй первобытной жизни: вѣчныя пограничныя ссоры и драки, преданность своей общинѣ, доходящая до послѣдней степени самоотверженія, и обманы, хитрости, надругательства по отношенію къ чужой общинѣ. Но особенно любопытно сравнить способы опредѣленія границъ между общинами со способами опредѣленія границъ личнаго владѣнія. «Первоначальная единица для измѣренія владѣнія была весьма неопредѣлительна,—говоритъ г. Побѣдоносцевъ («Курсъ гражданскаго права»),—ибо взята была не изъ качествъ земли, а изъ личнаго свойства владѣльца: это былъ *личный трудъ*... Владѣніе распространялось безъ всякой опредѣлительности: «куда плугъ и соха, и топоръ, и коса ходитъ». Такимъ образомъ, собственникъ большею частью имѣлъ сознаніе лишь о починномъ пунктѣ своего владѣнія и отъ этой точки владѣніе его простиралось въ неопредѣленную даль, доколѣ простиралось дѣйствіе труда его, обработка земли, не сталкиваясь съ чужимъ трудомъ и чужимъ владѣніемъ, которое, въ свою очередь, распространялось по мѣрѣ личнаго труда». Въ тѣхъ же почти выраженіяхъ и съ тою же ссылкою на характерную русскую пословицу говоритъ Бѣляевъ («Крестьяне на Руси»): «Владѣніе землею долго опредѣлялось и ограничивалось только мѣрою труда и средствъ владѣльца, какъ говорилось и писалось: *куда топоръ, коса и соха ходила*, то есть сколь далеко хватали средства и трудъ владѣльца, столь далеко простиралось и владѣніе; за чертою труда прекращалось и владѣніе, лежащая далѣе земля или принадлежала другому землевладѣльцу, положившему въ нее свой трудъ, или никому не принадлежала и считалась дикою». Община только регулировала возникавшія изъ такого порядка отношенія своихъ членовъ, предотвращала тѣ столкновенія, которыя могли выходить на «чертѣ труда», по выраженію Бѣляева. Единственный принципъ, который она при этомъ могла имѣть и дѣйствительно имѣла, состоитъ въ уравновѣшеніи труда и потребностей каждаго изъ своихъ членовъ. Сюда относится вся механика передѣловъ, а также вышеприведенные обычаи покоса въ уральской общинѣ, наглядно выражающіе все громадное значеніе «черты труда». Мимоходомъ сказать, у насъ и донынѣ склонны видѣть въ общинныхъ учрежденіяхъ нѣчто если не исключительно, то все-таки преимущественно русское, хотя до сихъ поръ существующая индійская и древняя германская община всѣмъ болѣе или менѣе знакомы. На дѣлѣ, однако, община существуетъ или существовала во всѣхъ частяхъ свѣта. Такъ, въ Сіерра-Леоне и Фернандо-По обработка полей производится

сообща, а жатва распредѣляется по семействамъ, смотря по потребностямъ. То же самое у іолофовъ; то же самое было недавно на Золотомъ Берегу (Waitz, «Antropologie der Naturvölker», II, стр. 84). У многихъ американскихъ индѣйцевъ земля находится въ общемъ владѣніи всего племени, при чемъ или отдѣльные участки находятся во временномъ пользованіи отдѣльныхъ лицъ, или же обработка производится сообща (равно какъ и охота), а продуктъ распредѣляется по потребностямъ (Id., III, 1 Hälfte, стр. 128). Какъ ни отрывочны подобныя указанія и какъ ни разнообразны въ подробностяхъ общинные порядки, но общій ихъ принципъ не подлежитъ сомнѣнію. Не таковы, однако, отношенія двухъ сосѣднихъ общинъ или вообще древнѣйшихъ общественныхъ единицъ. Въ этомъ случаѣ «черта труда» смѣнялась чертою насилія, обмана и т. п. Тѣ же американскіе индѣйцы зорко блюдутъ за незыблемостью границы владѣній всего племени, и всякій иностранецъ долженъ испрашивать особое позволеніе, чтобы перешагнуть ее. Наглядное же выраженіе этихъ отношеній можно видѣть въ способахъ опредѣленія границъ дальностью полета стрѣлы, пущенной изъ лука—способахъ, очень долго сохранившихся: докуда долетало смертоносное оружіе, символъ насилія и вражды, дотуда простиралось владѣніе общины. При этомъ, равно какъ и въ легендарномъ раздѣлѣ земель Ури и Гларнса, никакія потребности не служили нормой, а просто всякая община норовила захватить какъ можно больше. Впослѣдствіи эти отношенія вражды, борьбы, конкурренціи устанавливаются и между отдѣльными личностями. Но къ окончательному торжеству этого начала ведетъ долгій и трудный историческій процессъ, на пути котораго мы можемъ встрѣтить чрезвычайно странныя переходныя формы, въ которыхъ сплетается древнее начало съ новѣйшими. Приведу примѣръ. Въ одной хроникѣ разсказывается, что Карломанъ предоставилъ одному музыканту феодальное право на всемъ томъ пространствѣ земли, которое онъ, взойдя на высокую гору, въ состояніи будетъ огласить звуками своего рожка (cor). Музыкантъ такъ и сдѣлалъ, а затѣмъ, обходя сосѣднія деревни спрашивалъ встрѣчныхъ: слышали ли они звукъ рожка? При утвердительномъ отвѣтѣ, онъ объявлялъ слышавшаго своимъ вассаломъ, въ знакъ чего и давалъ ему тутъ же пощечину. Потомки этихъ людей, говоритъ хроника, долго назывались transcornati (Michelet, Origines du droit francais). Это право на владѣніе пространствомъ, которое музыкантъ можетъ наполнить звукомъ своего инструмента, отчасти напоминаетъ еще древній принципъ черты труда, но онъ уже до такой степени извращенъ историческими наростами, что его едва можно различить. Но, какъ увидимъ въ свое время, феодализмъ, не смотря на грубость своихъ формъ, далеко не въ такой мѣрѣ подсѣкъ древнѣйшее право, какъ практика рынка, которая окончательно ввела въ междуличныя отношенія ту вражду, борьбу и конкурренцію, которыя нѣкогда характеризовали только взаимныя отношенія между единицами общественными, между группами.

Вообще мудрено найти характеристику природы человѣка, болѣе неосновательную или, по крайней мѣрѣ, одностороннюю, чѣмъ извѣстное изреченіе Гоббаса: homo homini lupus, въ особенности, когда дѣло идетъ о древней исторіи человѣчества, хотя несомнѣнно, что двѣ сосѣднія общественныя единицы были всегда во враждебныхъ отношеніяхъ. Этотъ-то несомнѣнно враждебный характеръ, говоря нынѣшнимъ языкомъ международныхъ отношеній, и былъ, вѣроятно, причиною недоразумѣнія, обобщившаго и отношенія междуличныя. Homo homini до такой степени не былъ въ древности lupus, что *какъ отдѣльная личность*, даже чужой человѣкъ не встрѣчалъ вражды. Древнѣйшія общественныя единицы отличались необыкновенною пластичностью и стремленіемъ ассимилировать чуждые элементы, если только они являлись въ видѣ отдѣльныхъ личностей. Писатели, вѣрующіе, что исходною точкою общества была семья, очень хорошо замѣтили это и много говорятъ о юридическихъ фикціяхъ, въ силу которыхъ чужой объявлялся и признавался своимъ. Сюда относится: извѣстный уже намъ обычай кувады, обряды усыновленія, побратимства и проч. Но, мнѣ кажется, всѣ подобные обычаи, сопровождаемые иногда чрезвычайно сложными формальностями, именно въ силу этого должны относиться къ такому времени, когда пластическая сила общества уже значительно ослабѣла. Иначе не было бы надобности въ такихъ усиліяхъ ума для признанія чужого своимъ. Вдобавокъ, мы знаемъ уже, что разныя другія соображенія побуждаютъ признать исходною точкою развитія общества не семью, а отсутствіе семьи. Запорожская община, любопытная для насъ въ этомъ случаѣ отсутствіемъ необходимѣйшаго элемента семьи — женскаго пола, не нуждалась въ сложныхъ обрядахъ для принятія въ свою среду польскаго шляхтича, крымскаго татарина, бѣглаго крестьянина, хотя все назначеніе ея, какъ цѣлаго, состояло въ борьбѣ съ Польшей, Крымомъ, Москвой. Можно съ увѣренностью сказать, что, напротивъ, параллельно развитію и укрѣпленію семейнаго начала и его усложненій, общество постепенно, хотя весьма медленно, утрачивало свою способность воспри-

нимать чуждые элементы. Сторонники семьи, какъ первообраза общества, доходятъ иногда до чрезвычайно странныхъ толкованій. Вотъ, напримѣръ, что говоритъ Менъ: «Жители индѣйскаго селенія называютъ другъ друга «братьями», хотя я неоднократно замѣчалъ, что составъ ихъ общины часто является искусственнымъ и происхожденіе ея членовъ чрезвычайно разнообразнымъ. Но, не смотря на то, это братство не ограничивается однимъ названіемъ, а очевидно, имѣетъ гораздо большее значеніе. Христіанскіе миссіонеры сдѣлали недавно попытку, которая, повидимому, должна имѣть большой успѣхъ: они размѣстили въ селеніяхъ новообращенныхъ изъ самыхъ различныхъ странъ. Въ настоящее время, согласно полученнымъ мною свѣдѣніямъ, эти лица совершенно слились съ «братствомъ»; они съ такою же легкостью говорятъ на мѣстномъ нарѣчіи и слѣдуютъ мѣстнымъ обычаямъ такъ же свободно, какъ будто они сами и ихъ предки были съ незапамятныхъ временъ членами сельской общины, ассоціаціи, преимущественно свойственной Индіи» («Древнѣйшая исторія учрежденій», 189). Менъ приводитъ этотъ поразительный фактъ, какъ образецъ «гибкости понятій о родствѣ». Но, мнѣ кажется, фактъ говоритъ только о необычайной пластической силѣ сохранившагося въ Индіи общиннаго порядка, при чемъ слово и даже понятіе братства отступаетъ совсѣмъ на задній планъ. Другой примѣръ. Нравственная связь, образующаяся между людьми, изъ которыхъ одинъ накормилъ другого, бываетъ очень различна, какъ по своей силѣ, такъ и по продолжительности. Русскій человѣкъ считаетъ эту связь пожизненною и говоритъ, что «хлѣбъ-соль не бранится», «хлѣбъ-соль не допуститъ на зло»; арабъ же не смѣетъ преслѣдовать своего гостя и, слѣдовательно, считаетъ его нравственно съ собой связаннымъ только до тѣхъ поръ, пока съѣденная путникомъ хлѣбъ-соль находится еще въ желудкѣ. (Bastian. Rechtsverhältnisse, XIV). Тѣмъ не менѣе связь эта существуетъ, и казалось бы трудно натянуть ее на шаблонъ связи семейной. Между тѣмъ Афанасьеву эта натяжка удалась. Придравшись къ одной русской пословицѣ: «кто сидѣлъ *на печи*, тотъ уже не гость, а свой», онъ объясняетъ все явленіе гостепріимства, хотя не въ немъ собственно и дѣло, «поклоненіемъ домашнему очагу», т. е. семейному началу (ор. с. II, 62).

Читатель не долженъ претендовать на отрывочность и вмѣстѣ скученность изложенныхъ фактовъ. Наша ближайшая цѣль состоитъ не въ выясненіи той или другой частности первобытной жизни, а въ утвержденіи того общаго правила, что территоріальная граница, межа является вмѣстѣ съ тѣмъ какъ бы границею между добромъ и зломъ. И дѣйствительно, мы видимъ, что двойственность общественныхъ отношеній, среди которыхъ живетъ первобытный человѣкъ, отражается во всѣхъ древнихъ религіяхъ дуализмомъ, единовременнымъ существованіемъ и вѣчною враждою добраго и злого начала, свѣтлаго божества и дьявола. Конечно, первый толчокъ этому дуализму можетъ быть данъ явленіями природы. Прежде всякаго другого опредѣленія природы божествъ, первобытный человѣкъ дѣлитъ ихъ на благодѣтельныя, добрыя, и зложелательныя, злыя. И тѣ, и другія требуютъ молитвъ, жертвоприношеній; злыя божества иногда даже настоятельнѣе добрыхъ, потому что послѣднія и безъ того, по самому существу, суть, такъ сказать, прирожденные покровители молящагося и жертву приносящаго. Очень рано въ сонмѣ злыхъ божествъ, состоящемъ изъ страшныхъ звѣрей, грозныхъ явленій природы, вдвинутыхъ въ фантастическіе человѣкоподобные образы, занимаютъ мѣсто или непосредственно иностранецъ, инородецъ, «иногородній», вообще представитель чужой общественной единицы, или же его божественные покровители, его добрые боги. Всѣми изслѣдователями замѣчено, что при столкновеніи двухъ миѳологическихъ рядовъ (возможномъ только при столкновеніи двухъ общественныхъ единицъ) они обыкновенно не уничтожаютъ другъ друга, а одинъ изъ нихъ превращается въ рядъ демоновъ, злыхъ, темныхъ божествъ. Такъ дѣвы, добрыя божества арійцевъ-индусовъ, у иранцевъ получили значеніе злыхъ демоновъ. Точно такое же превращеніе потерпѣли мѣстныя божества на Цейлонѣ, подъ давленіемъ буддизма. Такъ христіанство даже до сихъ поръ не совсѣмъ уничтожило бога Вуутана, Одина, а низвело его мощь на степень демонической силы «дикаго охотника» (wilder *wüthender* Jäger). Такихъ примѣровъ можно бы было привести много, и число ихъ было бы даже гораздо значительнѣе, если бы люди науки придавали должное значеніе вліянію общественныхъ отношеній на религіозныя вѣрованія. А то, напримѣръ, даже такой авторитетъ, какъ Лассенъ, считаетъ возможнымъ утверждать, что арійцы-индусы и иранцы разошлись изъ-за различнаго пониманія природы божествъ, каковое, дескать, различіе и проявилось въ признаніи индусскихъ добрыхъ боговъ злыми демонами со стороны иранцевъ («Indische Alterthumskunde», 2 изд. I, 632, 932). (Точка зрѣнія, когда-то господствовавшая у насъ по отношенію къ расколу и едва-ли кѣмъ-нибудь теперь поддерживаемая). Всѣ подобныя явленія подлежатъ болѣе простому и резонному объясненію: естественно въ самомъ дѣлѣ, что при постоянно враждебныхъ отношеніяхъ двухъ

народовъ боги-покровители одного изъ нихъ становятся богами-гонителями другого. Это воззрѣніе переносится и на служителей боговъ-покровителей чужого племени. Такъ финны среди европейцевъ издревле слыли колдунами, людьми, состоящими въ дружескихъ отношеніяхъ съ злыми, нечистыми силами, да и теперь, даже подъ самымъ Петербургомъ, можно слышать нѣчто подобное о чухнахъ; сами же финны приписывали магическую силу лапландцамъ. Объ осадѣ Казани разсказывается: «Егда солнце начнетъ восходить, взыдутъ на градъ, всѣмъ намъ зрящимъ, ово престарѣвшіе ихъ мужи, ово бабы и начнутъ вопіять *сатанинскія* словеса, машуще одеждами своими на войско наше и вертяще неблагочиннѣ. Тогда абіе востанетъ вѣтеръ и сочинятся облаки, аще бы и день ясенъ зѣло начинался», и т. д. («Сказанія князя Курбскаго»). И здѣсь, слѣдовательно, сила чужихъ боговъ не отрицается: она только признается «сатанинскою». Малайцы полуострова, которые приняли магометанскую религію и цивилизацію, имѣютъ именно такое понятіе о низшихъ племенахъ своей страны, принадлежащихъ болѣе или менѣе къ ихъ же расѣ, но оставшихся въ своемъ древнемъ дикомъ состояніи. Малайцы имѣютъ собственныхъ чародѣевъ, но считаютъ ихъ ниже колдуновъ грубого племени минтира. Якуны—также грубое и дикое племя, которое малайцы презираютъ, какъ невѣрныхъ и стоящихъ немного выше животныхъ, но которыхъ въ то же время страшно боятся. Для малайца якунъ кажется сверхестественнымъ существомъ, искуснымъ въ гаданіи, колдовствѣ и чарованіи. Въ Индіи, въ давно прошедшіе вѣка, господствующіе арійцы описывали грубыхъ туземцевъ страны, какъ людей, «владѣющихъ волшебными силами», «мѣняющихъ свой видъ по желанію». Индусы, населяющіе Чота-Нагпуръ и Сингбумъ, твердо вѣрятъ, что мундасы сильны въ колдовствѣ, могутъ превращаться въ тигровъ и другихъ хищныхъ звѣрей, чтобы пожирать своихъ враговъ и проч. (Тайлоръ, «Первобытная культура», 1, 106). Тайлоръ замѣчаетъ, что этого рода отношенія существуютъ и между сектами. Такъ, въ Англіи и Шотландіи протестанты считали католическихъ священниковъ (а не своихъ) способными заклинать дьяволовъ и вообще имѣющими дружественную связь съ нечистой силой. То же явленіе существуетъ въ Германіи и до сихъ поръ. Гильфердингъ разсказываетъ то же самое о балканскихъ славянахъ: православные босняки увѣрены, что католическій попъ умѣетъ сладить съ нечистой дьявольской силой, а православный не можетъ («Поѣздка по Герцеговинѣ, Босніи и Старой Сербіи»).

Не знаю, какъ отнесся бы къ этому послѣднему примѣру Тайлоръ. Цѣль его доказать, что вѣрованія въ таинственныя магическія силы постепенно исчезаютъ въ человѣчествѣ и принадлежатъ низшему уровню цивилизаціи. Для него «поучительно видѣть, что это здравое сужденіе безсознательно принимается тѣми народами, воспитаніе которыхъ не настолько подвинулось, чтобы разрушить самую вѣру въ колдовство.» Въ подтвержденіе онъ приводитъ рядъ случаевъ, когда низшее племя заподозрѣвается въ сношеніяхъ съ нечистою, дьявольскою силою. Сюда же отнесены повѣрья, что католическіе священники ближе къ дьяволу, чѣмъ протестантскіе, что вполнѣ согласуется съ воззрѣніемъ Тайлора на католицизмъ, какъ на низшую, сравнительно съ протестантствомъ, ступень развитія. Мы имѣемъ тутъ образчикъ той полемической струнки, о которой было говорено въ началѣ статьи. Въ сущности, обобщеніе Тайлора совсѣмъ невѣрно, потому что можно привести множество случаевъ, когда безспорно высшее племя не только заподозрѣвается въ сношеніяхъ съ нечистою силою, но даже прямо отождествляется съ сонмомъ дьяволовъ: такъ многіе дикари смотрятъ на бѣлыхъ. Да едва ли тутъ и можетъ быть установлено какое-нибудь общее правило, кромѣ того, что въ «чужомъ» болѣе или менѣе олицетворяется духъ зла и что божества, покровительствующія ему, признаются злыми. Запутанность всѣхъ сложныхъ миѳологій объясняется тѣмъ, что въ различныхъ мѣстахъ извѣстной исторической страны (Египта, Индіи, Греціи) почитались различные боги, часто противопоставлялись другъ другу, въ качествѣ враждебныхъ или дружественныхъ, сообразно взаимнымъ отношеніямъ ихъ почитателей, и, такъ сказать, боролись за обладаніе страной. Египетскій Сетъ (Тифонъ) богъ всякаго зла, насылавшій засуху, безплодіе и проч., былъ въ то же время богомъ войны и всей «заграницы», а потому чествовался преимущественно во времена тягостныхъ иноплеменныхъ нашествій, какъ было, напримѣръ, во время владычества гиксовъ.

Очевидно, было достаточно причинъ для того, чтобы отвести иностранца, иноплеменника, инородца, на ряду съ «гладомъ, трусомъ и потопленіемъ», съ страшными фантастическими драконами, химерами, вампирами, сфинксами, съ кровожадными тиграми, крокодилами, могучими змѣями, въ вѣдѣніе духа зла, дьявола. Они были часто хуже голода и землетрясенія, хуже змѣй и тигровъ. Хорошо еще, если они налетали на сосѣдей вихремъ и, окончивъ свое разрушительное дѣло, вихремъ же исчезали. Но бывало и иначе. Побѣдители, сильные, кромѣ

частныхъ условій, доставившихъ побѣду, своею сплоченностью, тяжелымъ гнетомъ ложились на побѣжденныхъ и давили ихъ безпощадно. Кромѣ выпадающихъ на долю побѣжденныхъ голода, холода, всевозможныхъ физическихъ лишеній, ранъ, побоевъ, тутъ происходитъ еще нѣчто особенное, имѣющее чрезвычайно важное значеніе для ихъ нравственной жизни. Во-первыхъ, попрана, поругана священная межа, съ которой связано такъ много; отступился богъ-покровитель, добрый богъ, или, по крайней мѣрѣ, оказался не въ силахъ противостоять чужому богу. Извѣстны фамильярныя отношенія дикарей къ своимъ богамъ: бога, не исполнившаго своей обязанности, иногда просто сѣкутъ. Но не всегда такъ бываетъ, и à la longue такія экзекуціи немыслимы. Въ случаѣ нашествія и осѣданія иноплеменниковъ, или нужны усиленныя молитвы, жертвоприношенія и покаянія, или же колеблется самая вѣра; а такъ какъ религіозное начало проникаетъ собою всѣ нравственныя отношенія древности, то понятно, какіе громадные нравственные результаты должны получаться отъ враждебнаго столкновенія двухъ общественныхъ единицъ. Отлетаетъ правда, то есть все, что считалось истиннымъ, справедливымъ, могущественнымъ, святымъ. Къ этому же результату приводитъ другой родъ соображеній. Голодъ, вообще физическія лишенія, не составляютъ новости для побѣжденныхъ: падежъ, неурожай и проч. и прежде заставляли голодать, но, благодаря общинной организаціи, это голоданіе распространялось равномѣрно. Вайнъ рисуетъ поистинѣ трогательную картину ожиданія голодными алеутами своей доли добычи въ рыбной ловлѣ. Онъ приводитъ свидѣтельства путешественниковъ, что ожиданіе очереди, каковъ бы ни былъ голодъ, происходитъ безусловно честно. Но вотъ эти мирныя, честныя отношенія, такъ сказать, раскалываются клиномъ побѣды. Побѣдители не считаютъ себя равными побѣжденнымъ. Въ своей общинѣ они относятся другъ къ другу иначе, но здѣсь имъ нечего, не для чего стѣсняться. Побѣдитель заставляетъ побѣжденнаго работать на себя и отнимаетъ у него лучшій кусокъ. Для послѣдняго здѣсь уже не просто въ голодѣ дѣло: физическое лишеніе осложняется нравственнымъ фактомъ, потрясающимъ весь обиходъ его понятій. Побѣдители, благодаря своему насилію и труду побѣжденныхъ, ведутъ сравнительно роскошный образъ жизни, удовлетворяютъ такимъ своимъ потребностямъ, которыя, не будь столкновенія, побѣды и пораженія, можетъ быть, только черезъ многое множество лѣтъ возникли бы какъ у побѣдителей, такъ и у побѣжденныхъ. Наконецъ, если побѣдители пришли издалека, изъ страны съ другими климатическими и проч. условіями, то можно навѣрное сказать, что они приносятъ съ собой потребности, дотолѣ у побѣжденныхъ неслыханныя. И вотъ побѣжденнаго, весь нравственный складъ котораго уже расшатанъ, начинаетъ точить червь: онъ ничѣмъ не хуже этихъ пришельцевъ, онъ даже навѣрное лучше ихъ, хоть богъ и отступился отъ него—почему же имъ выпадаетъ на долю всякая благодать, а ему всякія лишенія? Въ немъ будятся новыя потребности, но не представляется никакихъ средствъ для ихъ удовлетворенія. Та внутренняя борьба, которая въ немъ при этомъ происходитъ, тѣ порыванія то къ подавленію новыхъ потребностей, то къ ихъ удовлетворенію, или, пожалуй, тѣ «алканія, которыя идутъ отъ частей нервной системы, лишенныхъ ихъ нормальной дѣятельности», убѣждаютъ его опять-таки, что правда отлетѣла. Это осложненіе физическаго лишенія нравственнымъ фактомъ играетъ во всѣхъ древнихъ религіозно-нравственныхъ системахъ чрезвычайно важную роль, подробности котораго, полныя глубокаго трагизма, мы, свыкшіеся съ мыслью, что не однимъ хлѣбомъ живетъ человѣкъ, не всегда способны оцѣнить по достоинству.

Дуализмъ, вѣчная борьба добраго и злого начала, глубже всего разработанъ въ иранскихъ вѣрованіяхъ, имѣвшихъ важное значеніе даже въ исторіи Европы и до сихъ поръ вспоминаемыхъ въ обыкновенномъ разговорномъ языкѣ (Ормуздъ и Ариманъ — добро и зло). Какъ спеціальные историки Ирана, такъ спеціальные историки дуализма обращаютъ вниманіе на климатическія, почвенныя, вообще физическія условія страны, занятой иранцами, особенно пригодныя для выработки идеи дуализма. Здѣсь есть плодоносныя, цвѣтущія полосы и оазисы, есть и дикія безплодныя пустыни; есть сильные холода зимой и сильные жары лѣтомъ, есть здоровыя мѣстности и переполненныя болѣзнями и проч. Все это должно было способствовать развитію понятія о полярно-противоположныхъ, но рядомъ дѣйствующихъ божествахъ. Мы можемъ здѣсь только принять къ свѣдѣнію это непосредственное вліяніе окружающей природы. Кромѣ нея, иранцы побуждались къ дуализму своими вѣчно враждебными столкновеніями съ сосѣдними туранскими народами. Этотъ источникъ иранскаго дуализма точно такъ же признанъ всѣми изслѣдователями, а потому для насъ достаточно будетъ привести нѣкоторыя черты изъ исторіи борьбы Ормузда съ Ариманомъ, собственно для подтвержденія существованія той внутренней боробы изъ-за новыхъ

и неудовлетворенныхъ потребностей, о которой было сейчасъ говорено. При этомъ мы, разумѣется, не вдадимся въ провѣрку варьянтовъ и т. п., а просто возьмемъ, что намъ нужно.

Въ тысячелѣтнее царствованіе Іема или Іама люди не знали ни болѣзни, ни смерти, ни зависти, ни другихъ пороковъ, ни голода, ни жажды. *Іема прогналъ съ лица земли всѣхъ демоновъ* и заперъ ихъ въ подземномъ царствѣ. Все это счастіе исчезло при преемникѣ Іема, Дахакѣ, который *былъ иностранецъ и происходилъ прямо отъ Аримана.* Въ тысячелѣтнее царствованіе Дахака земля превратилась въ юдоль плача и всякаго беззаконія. *Демоны опять свободно загуляли по землѣ,* добрые люди сократились въ числѣ и много терпѣли. Самъ Ариманъ одѣлся поваромъ, поступилъ на службу къ Дахаку и *научилъ его ѣсть мясную пищу, между тѣмъ какъ до тѣхъ поръ питались только растительной.* Ариманъ подчивалъ Дахака сначала яйцами, потомъ фазанами, другими птицами, бараниной. телятиной. Въ благодарность за гастрономическія наслажденія, поваръ-Ариманъ просилъ только позволенія поцѣловать царя въ оба плеча. Но тотчасъ послѣ этихъ поцѣлуевъ у царя выросли изъ плечъ двѣ змѣи. а поваръ исчезъ, и найти его не было возможности. Дахакъ обратился къ врачамъ. Они пробовали отрѣзать змѣй, но тѣ опять выростали, такъ что всѣ усилія врачебной науки оказались безплодными. Тогда выступилъ на сцену опять Ариманъ, на этотъ разъ въ видѣ врача. *Онъ посовѣтовалъ кормить змѣй человѣческимъ мозгомъ,* предсказывая, что они отъ этого сами умрутъ. Съ тѣхъ поръ каждый день убивались два человѣка, и мозгомъ ихъ кормились змѣи нечестиваго царя. Безбожіе, несправедливость, зло все росли. Наконецъ, два благородные принца взяли на себя царскую кухню и стали регулярно спасать, по крайней мѣрѣ, по одному человѣку въ день, примѣшивая къ человѣческому мозгу бараній. Спасенные же укрывались въ горы и положили начало курдскимъ племенамъ. Дахакъ былъ свергнутъ потомкомъ Іема, Фредуномъ, при чемъ *въ войскахъ Дахака находились демоны, а все доброе, праведное стояло за Фредуна.*

Какъ и всякій миѳъ, это преданіе представляетъ своеобразное, оплетенное фантазіей отраженіе дѣйствительности. Прослѣдить эту связь съ дѣйствительною жизнью въ подробностяхъ нѣтъ, разумѣется, никакой возможности. Но если читатель обратитъ вниманіе на подчеркнутыя строки, онъ увидитъ, что для безыменныхъ создателей миѳа, для народной массы, иностранецъ былъ демономъ, то изгоняемымъ изъ родной страны, то водворяющимся въ ней; что водвореніе это, кромѣ всякаго рода прямого зла, сопровождалось появленіемъ потребностей, до тѣхъ поръ побѣжденнымъ неизвѣстныхъ; что, наконецъ, удовлетвореніе этихъ потребностей, при данныхъ условіяхъ, признавалось столь же неправеднымъ, какъ кормленіе ненасытныхъ змѣй человѣческимъ мясомъ.

До сихъ поръ мы имѣли въ виду только столкновеніе двухъ общественныхъ единицъ, оставляя въ сторонѣ тѣ измѣненія ихъ внутренняго строя, которыя могутъ и должны происходить съ теченіемъ времени. Мы говорили только о межѣ, отдѣляющей владѣнія двухъ сосѣднихъ общинъ, предполагая, что внутри каждой изъ нихъ все идетъ по старому. На дѣлѣ такой неподвижности нѣтъ. Неустанная международная вражда постепенно, но постоянно подтачиваетъ и мирныя братскія отношенія внутри первобытной общины.

Индійская община совмѣщаетъ въ себѣ представителей разныхъ промысловъ; въ ней есть кузнецы, башмачники, шорники, браминъ, счетчикъ, изъ рода въ родъ передающіе свое искусство и свое знаніе. Но среди этихъ полноправныхъ членовъ общины встрѣчаются люди и богатые, и, повидимому, уважаемые, которые не пользуются деревенскими или муниципальными привилегіями въ качествѣ членовъ общества. Таковы, напримѣръ, торговцы зерновымъ хлѣбомъ. Менъ считаетъ себя въ правѣ замѣтить, что «промыслами, остающимися такимъ образомъ, внѣ органической группы, бываютъ именно тѣ, которые берутъ свои товары съ отдаленныхъ рынковъ». Менъ намекаетъ на близкую связь этого страннаго явленія съ общимъ значеніемъ рынковъ, какъ нейтральнаго мѣста, гдѣ сходятся въ принципѣ враждебные другъ другу люди. Это вполнѣ резонно. Если на рынкѣ практикуется всякаго рода неправда, если тамъ разрѣшается брать съ покупателя какъ можно дороже и давать ему какъ можно меньше, то естественно, что на купца, занимающагося этимъ дѣломъ, должна ложиться извѣстная печать отверженія, не смотря на то, что онъ вмѣстѣ съ тѣмъ—желанный «гость», какъ говорилось у насъ въ старину: онъ привозитъ товары, какихъ въ данной мѣстности нѣтъ. Положимъ, что онъ надуваетъ почти «демоновъ» или, по крайней мѣрѣ. служителей нечистой силы, но онъ входитъ съ ними въ постоянныя мирныя сношенія и впитываетъ въ себя отчасти ихъ нечисть. Замѣчательно, что торговля очень туго подчиняется общинной организаціи. Тѣ же уральскіе казаки, не смотря на свои общинныя привычки, торгуютъ съ сосѣдями-великоруссами врознь: каждый везетъ свои возы пшеницѣ и сѣна въ особину. Все это

естественно выдѣляетъ купца, ставитъ его въ совершенно особенное положеніе въ древнемъ обществѣ, проводитъ между нимъ и остальными своего рода межу, въ смыслѣ границы между добромъ и зломъ: въ его личности старая правда надломлена, хотя нѣкоторыя постороннія обстоятельства могутъ иногда поэтизировать его въ глазахъ народа. Такъ было въ Малороссіи съ чумаками.

Гораздо важнѣе другія измѣненія въ древнемъ обществѣ. Я имѣлъ уже случай ссылаться на «Эвмениды» Эсхила, въ которыхъ, по поводу убійства Агамемнона Клитемнестрой и Клитемнестры Орестомъ, идутъ пререканія между Аполлономъ и Аѳиной, съ одной стороны, и Эринніями,—съ другой. Эринніи считаютъ преступникомъ Ореста, потому что онъ убилъ *мать*; Аполлонъ и Аѳина защищаютъ Ореста, потому что онъ мстилъ за *отца*. При этомъ Эринніи называютъ своихъ оппонентовъ «новыми богами» и упрекаютъ ихъ за ненависть къ *старой* правдѣ. Эта старая правда состояла, какъ мы знаемъ, въ женовластіи, въ преобладаніи материнскаго права надъ отцовскимъ. Если читатель согласится принять взгляды на этотъ предметъ Бахофена, то онъ убѣдится, что въ древней борьбѣ мужского и женскаго начала точно такъ же имѣлась своего рода граница добра и зла, выражавшаяся иногда даже прямо территоріальной межой. Борьба эта велась съ перемѣннымъ счастіемъ, но побѣдителемъ вышелъ, въ концѣ-концовъ, вообще говоря, мужчина. Женщина заняла вслѣдствіе этого такое же положеніе, какъ и всѣ побѣжденные. Въ ней, какъ во всякомъ побѣжденномъ, будятся желанія и не дается средствъ для ихъ удовлетворенія. При этомъ женщина обращается въ «вѣдьму», въ служительницу сатаны, въ такой же «сосудъ дьявольскій», какимъ былъ, напримѣръ, туранецъ для иранца. Мы увидимъ впослѣдствіи, какое важное значеніе имѣло это обстоятельство въ исторіи, а здѣсь отмѣтимъ только сѣтованіе Эринній на ниспроверженіе новыми богами правды.

Но вотъ борьба мужского и женскаго элемента, если не окончательно улеглась, то, по крайней мѣрѣ, утратила свой острый характеръ. Болѣе или менѣе обособились семьи въ той или другой формѣ. Во все время этого процесса кристализаціи семьи идетъ своимъ чередомъ безпощадная война между сосѣдями. Но война требуетъ единства дѣйствій, подчиненія волѣ одного какого-нибудь начальника, который былъ первоначально, конечно, выборный и по окончаніи своей предводительской миссіи утопалъ въ общей массѣ впредь до востребованія. Востребованіе, однако, не заставляло себя ждать. При раздѣлѣ добычи вождю выпадала лучшая доля и, что особенно важно, нѣкоторыя привилегіи. Такъ, онъ получалъ, сравнительно съ другими, большую часть покоренной земли, а также право не пускать свой земельный участокъ въ передѣлъ, право огораживать его и вообще не подчинять его господствующимъ въ общинѣ обычнымъ порядкамъ. Разъ установилась семья, является и наслѣдственная передача (въ той или другой формѣ) собственности и правъ, вслѣдствіе чего, если постъ вождя, начальника и не становится сразу прямо наслѣдственнымъ въ тѣсномъ смыслѣ слова, то всетаки является склонность выбирать на это мѣсто людей одной и той же, привилегированной семьи. Семья разрастается, выдѣляетъ изъ себя новыя ячейки, которыя осѣдаютъ гдѣ-нибудь поблизости. Получается родъ въ наиболѣе извѣстной патріархальной формѣ или же въ той формѣ братскаго старшинства, на которую недавно обратилъ вниманіе г. Забѣлинъ. Во всякомъ случаѣ отпрыски первичной семьи сохраняютъ къ ней извѣстное подчиненное отношеніе, сначала очень слабое и часто разрушаемое, но которое съ теченіемъ времени все крѣпнетъ. Первичная семья занимаетъ привилегированное положеніе. Такъ или иначе, тѣмъ или другимъ путемъ, вѣрнѣе, разными путями выдѣляются наслѣдственные военные вожди, получающіе и въ мирное время, во внутреннихъ распорядкахъ, первенствующее значеніе. Не смотря на свое обособленное положеніе, они служатъ представителями цѣлой общины. Во имя ея занимаютъ они вражескую территорію, отъ ея имени ведутъ переговоры. Мало-по-малу это сосредоточіе коллективныхъ правъ идетъ все дальше и дальше. Насколько не улеглись еще древнія безбрачныя и безсемейныя половыя отношенія, когда женщина принадлежала всей общинѣ, это верховное право общины переходитъ на вождя: онъ, какъ персонификація цѣлаго, имѣетъ право на всѣхъ женщинъ, и каждый, основывающій новую семью, обязанъ или приводить къ нему свою жену (jus primae noctis, culage, bracognage, «княжое»), или откупаться. То же самое происходитъ и въ поземельныхъ отношеніяхъ; коренная и покоренная земля, принадлежащая цѣлому, сосредоточивается въ рукахъ его представителя, который постепенно получаетъ право раздавать земельные участки отъ своего личнаго имени за личную же ему службу. Образуется классъ воиновъ, дружинниковъ, которые, занятые военною дѣятельностью, сами переуступаютъ свои земли на извѣстныхъ условіяхъ службы и другихъ повинностей. Таковъ въ самыхъ общихъ чертахъ процессъ феодализаціи первобытной общины. Въ результатѣ получаются іерархически расположенная группа воиновъ-гос-

подъ и группа безправыхъ рабовъ-земледѣльцевъ. Не смотря на то, что они живутъ по сю сторону межи, они уже не могутъ быть «свои» другъ другу. Между ними лежитъ цѣлая пропасть, и въ сущности мы имѣемъ здѣсь такихъ же побѣдителей и побѣжденныхъ.

Этимъ не ограничиваются измѣненія во внутреннемъ строѣ древняго общества. Для борьбы съ Ариманомъ, представляется ли онъ въ видѣ иностранца или грознаго явленія природы, нужно не только оружіе, нужны молитвы, жертвоприношенія. Параллельно образованію класса воиновъ идетъ совершенно аналогическій процессъ выдѣленія класса жрецовъ, изъ рода въ родъ передающихъ свои секреты умилостивленія грозныхъ и благодаренія благихъ боговъ. Жрецъ, какъ и воинъ, начинаетъ съ временнаго представительства за свою общину предъ лицомъ божества, но затѣмъ постепенно сосредоточиваетъ въ своей личности право всѣхъ и каждаго непосредственно сноситься съ богами. На него ложится нѣкоторое отраженіе божественнаго свѣта, съ которымъ оно постоянно имѣетъ дѣло, и придаетъ ему иногда такое значеніе, что онъ становится даже выше вождя. Углубляясь въ свое занятіе, переходя отъ молитвъ и созерцанія къ теоріямъ и размышленію и въ то же время ревниво оберегая свое привилегированное положеніе, жрецы все больше удаляются отъ своихъ единоплеменниковъ и естественно доходятъ даже до нѣкотораго презрѣнія къ ихъ грубымъ суевѣріямъ, хотя не считаютъ нужнымъ или возможнымъ поднять ихъ до своего уровня.

Происходятъ и другія измѣненія внутри межи древняго общества. Всѣ они состоятъ въ томъ, что «свои» становятся «чужими», при чемъ различныя сферы дѣятельности и сопряженныя съ ними права и обязанности, принадлежавшія нѣкогда всѣмъ и каждому, распредѣляются по отдѣльнымъ общественнымъ группамъ. Въ результатѣ для каждой такой группы получаются «алканія», идущія отъ частей нервной системы, лишенныхъ ихъ «нормальной дѣятельности», то есть неудовлетворенныя потребности, то есть рѣшительно то же самое, что дается враждебнымъ столкновеніемъ двухъ древнѣйшихъ общественныхъ единицъ, отдѣльныхъ другъ отъ друга священною межой.

Есть, однако, одна важная разница между явленіями, происходящими внутри межи, и тѣми, которыя могутъ быть названы международными. Измѣненія внутренняго строя древней общины происходятъ съ чрезвычайной медленностью и постепенностью; это — процессъ вѣковой, тогда какъ вторженіе иноплеменниковъ сразу измѣняетъ весь строй покореннаго общества, при чемъ иногда самое обличіе и языкъ побѣдителей до такой степени разнятся отъ обличія и языка побѣжденныхъ, что послѣдніе ни на минуту не могутъ усомниться въ грустной истинѣ своего пораженія. Не то съ своими собственными купцами, воинами, жрецами и проч., которые вырастаютъ исподволь, съ неустанностью, но и съ медленностью часовой стрѣлки, приближаясь къ своей окончательной формировкѣ. Они связаны съ остальными членами общества языкомъ, нѣкоторыми обычаями и преданіями, происхожденіемъ, и потому разореніе древняго права, «правды», въ этомъ случаѣ гораздо менѣе ощущается. Таковъ общій законъ ощущеній. Можно съ помощью особеннаго аппарата такъ медленно и постепенно нагрѣть воду, въ которой помѣщена нога лягушки, что лягушка и не замѣтитъ, какъ ея нога сварится, тогда какъ гораздо менѣе слабое, но внезапное, рѣзкое измѣненіе температуры воды заставитъ лягушку отдернуть ногу. Человѣкъ можетъ замерзнуть съ улыбкой на лицѣ, если замерзаніе происходитъ постепенно. Одинъ медикъ устроилъ кругообразный, вращающійся ножъ, которымъ совершенно отрѣзывалъ, маленькими кружочками, уши кроликовъ, и тѣ спокойно ѣли во все время операціи. Всякій знаетъ, что при условіи неподвижности можно долго сидѣть въ ваннѣ, не ощущая охлажденія воды. Вообще постепенное усиленіе какого бы то ни было раздраженія ослабляетъ соотвѣтственное ощущеніе, между тѣмъ какъ сравнительно ничтожный, но внезапный приростъ раздраженія тотчасъ же разрѣшается образованіемъ ощущенія. Такъ и въ жизни народовъ, въ исторіи. Гнетъ иноплеменниковъ, хотя бы сравнительно слабый, ощущается гораздо живѣе, чѣмъ гнетъ «самобытный», хотя бы и болѣе сильный, потому что разница между двумя сосѣдними моментами прироста гнета въ первомъ случаѣ всегда больше.

Сварена ли будетъ лягушечья лапа быстрымъ опущеніемъ въ кипятокъ или крайне постепеннымъ возвышеніемъ температуры воды, она во всякомъ случаѣ будетъ вареная, а лягушка безногая. Тутъ разница не въ объективныхъ послѣдствіяхъ, а въ субъективномъ процессѣ. Опять-таки такъ и въ исторіи, съ тою, однако, разницей, что постепенность, съ которою происходитъ феодализація общины или образованіе браминскаго гнета, не можетъ сравниться съ постепенностью возвышенія температуры воды, достигаемою особенными усиліями экспериментатора. Народъ, подвергаемый феодализаціи или другому подобному процессу, не можетъ не ощущать, когда его, напримѣръ, бьютъ или отнимаютъ у него женъ, дѣтей. Ощущенія

онъ получаетъ достаточно сильныя, но ощущенія эти не слагаются въ высшія интеллектуальныя формаціи. Можно ощущать боль, но не сознавать или слабо сознавать ея причиненіе, какъ несправедливость. Отсутствіе критики и протеста, не смотря на всю тяжесть и боль жизни, можетъ въ подобныхъ случаяхъ распространяться даже на загробную жизнь. Такъ, на островахъ Тонга будущая жизнь была привилегіей одной касты; «по вѣрованію туземцевъ, ихъ предводители и высшіе классы переходили въ божественномъ просвѣтленіи въ страну блаженства «Болоту», а низшіе классы были надѣлены только такими душами, которыя умирали вмѣстѣ съ тѣлами; и хотя нѣкоторыя изъ членовъ этого класса имѣли смѣлость требовать мѣста въ раю на-ряду съ избранными, но народъ вообще благодушно соглашался на уничтоженіе своихъ плебейскихъ душъ» (Тайлоръ, «Первобытная культура», II, 99). Джонъ Смитъ, авторъ старой «Исторіи Виргиніи», приводитъ такія вѣрованія туземцевъ: «вожди и знахари. раскрашенные и убранные перьями, будутъ курить, пѣть и плясать съ предками, между тѣмъ какъ простой народъ не будетъ имѣть загробной жизни и сгніетъ въ своихъ могилахъ» (тамъ же, 140), и т. п.

Не было, конечно, въ ист ріи, нѣтъ и въ настоящее время общества, настолько замкнутаго, чтобы всѣ его понятія о добрѣ и злѣ, о правдѣ и неправдѣ выросли единственно на почвѣ измѣненій внутренняго строя жизни. Это логически невозможно, потому что, даже устраняя мысленно всѣхъ «чужихъ» сосѣдей, не трудно видѣть, что они должны образоваться процессомъ кристаллизаціи семей. Можно говорить только о большей или меньшей степени вліянія международныхъ, между сословныхъ отношеній, результатъ которыхъ, повторяю, одинъ и тотъ же, не смотря на разницу въ быстротѣ процесса и въ степени сознанія его участниковъ.

Понятія о добрѣ и злѣ иранцевъ и индусовъ очень наглядно изображаютъ какъ это сходство, такъ и это различіе. Иранцы представляли себѣ весь міръ громаднымъ поприщемъ борьбы добраго и злого начала. Ормуздъ и Ариманъ со всею ихъ свитою отдѣлены другъ отъ друга огромной межей. которая сначала была пустымъ пространствомъ, а потомъ отчасти выполнилась совокупнымъ Ормузда и Аримана созданіемъ вещественнаго міра: первый создавалъ плодоносныя долины, чистыхъ и полезныхъ животныхъ, людей, Ариманъ—пустыни, змѣй, скорпіоновъ, муравьевъ и проч., наконецъ злыхъ существъ отчасти человѣко-, отчасти демон подобныхъ. Борьба добраго и злого начала идетъ неустанно,съ перемѣннымъ счастіемъ, но, въ концѣ концовъ, все, созданное и поддерживаемое Ариманомъ, должно исчезнуть: никакого зла въ мірѣ не будетъ. Между прочимъ, въ изображеніи блаженнаго состоянія въ далекомъ будущемъ (имѣющимъ пройти извѣстныя степени совершенства) поражаетъ странная смѣсь крайне грубыхъ, чисто матеріальныхъ и очень возвышенныхъ подробностей. Такъ, рядомъ съ господствомъ добродѣтели и правовѣрія поминаются очень прочныя, неизносимыя платья, способность быть сытымъ, не нуждаясь въ пищѣ, не высыхающія деревья, вкусные напитки, плотская любовь безъ дѣторожденія. Какъ ни дико все это на взглядъ современнаго человѣка, но очевидно, что въ общемъ жажда жизни и вѣра въ жизнь не покидали иранцевъ. Они стремились быть активными участниками всемірной борьбы добра и зла; ею проникнуты всѣ ихъ вѣрованія и преданія, ею заняты ихъ герои, какъ Исфендіаръ, Рустемъ, ихъ благочестивые цари, какъ Іемъ, ихъ пророки, какъ Зороастръ. Зло было для нихъ, служителей Ормузда, чѣмъ-то внѣшнимъ и временнымъ. И это потому, что ихъ дуализмъ питался, главнымъ образомъ (хотя, конечно, не исключительно) внѣшнею борьбой съ сосѣдними народами. Иначе у индусовъ. Первоначально и имъ были знакомы демоны, носители зла, какъ чисто внѣшніе враги. Спустившись въ долину Инда и потомъ Ганга, аріи встрѣтили туземное населеніе съ темной кожей и, наконецъ, отчасти покорили, отчасти уничтожили и разсѣяли его. Битвы съ этими «дазіями», врагами и вмѣстѣ съ тѣмъ демонами, оставили значительные слѣды въ индусскихъ преданіяхъ и даже въ жизни, потому что покоренные, подъ именемъ судры, заняли низшій слой общества. Кромѣ того, разрозненные на мелкія племена, управляемые своими князьками, индусы и между собой вели постоянныя войны, результаты которыхъ отражались въ миѳологіи преобладаніемъ бога того или другого племени побѣдителя. Это былъ народъ бодрый, веселый, склонный ко всякаго рода удовольствіямъ, повидимому, даже до излишества. Вотъ отрывокъ изъ гимна бога Индры, напившагося священной и пьяной сомы: «Будто бурные вѣтры, возбудили меня выпитые напитки. Вѣдь я выпилъ сомы? Меня возбудили выпитые напитки, какъ быстрые кони (влекутъ) колесницу. Вѣдь я выпилъ сомы? Ко мнѣ достигла молитва какъ корова (спѣшащая) къ своему теленку. Вѣдь я, и т. д. Оба міра (земля и небо) даже не составляютъ половины меня. Вѣдь, я, и т. д. Небо превосхожу я величіемъ и эту пространную землю. Вѣдь я, и т. д. Вотъ, я эту землю поставлю сюда или туда. Вѣдь я, и т. д. Быстро эту землю

переброшу я сюда или туда. Вѣдь я, и т. д. Одна половина моя на небѣ, внизъ протянулъ я другую. Я величественъ, я возвышенъ до облаковъ. Вѣдь я пилъ сому?» (Всев. Миллеръ, «Очерки арійской миѳологіи», 96). Привожу этотъ образъ пьяно-веселаго бога, въ блаженствѣ котораго отразились чувства его почитателей, только для того, чтобы оттѣнить имъ позднѣйшіе, строго аскетическіе взгляды индусовъ на жизнь. Эти послѣдніе возникли подъ преобладающимъ вліяніемъ уже другого фактора, именно — внутренняго измѣненія общественнаго строя, развитія и обособленія кастъ. Не входя въ подробности, скажемъ только, что, хотя браминская метафизика, необыкновенно тщательно разработанная, была всегда чужда народу, которому нужны были яркіе, осязательные образы, но браминская мораль отреченія привилась и къ массѣ. Не одни брамины, а вообще «дважды рожденные», т. е. арійцы изъ разныхъ кастъ удалялись въ пустыни, лѣса и варварски себя мучили. Низшія касты, подавленныя работой, поборами, жестокостями, охотно склонялись къ браминской мысли, что тѣло есть нечистый домъ, который пріятно покинуть. Самъ великій реформаторъ и другъ всѣхъ угнетенныхъ. Будда, училъ, что источникъ зла есть желаніе, потребность, а потому надлежитъ какъ можно меньше дорожить жизнью и ея прелестями и ждать вѣчнаго успокоенія въ небытіи, въ Нирванѣ. Души униженныхъ и оскорбленныхъ жадно раскрывались передъ этимъ ученіемъ, признавшимъ, собственно говоря, непобѣдимость зла, потому что побѣдить его значило побѣдить свои собственныя потребности, ощущенія, чувства, свое собственное существованіе. Въ противоположность иранцамъ, искавшимъ зла во внѣшнихъ врагахъ и стремившимся поэтому бороться съ внѣшнимъ міромъ, индусы искали зла въ себѣ, въ своей вещественной, чувственной природѣ. Тѣ искали столкновенія съ внѣшнимъ міромъ, эти его боялись и бѣжали. Правда, и иранцамъ было знакомо это стремленіе сократить бюджетъ своей жизни, стремленіе признать грѣхомъ, зломъ новыя потребности. Но, какъ мы видѣли въ сказаніи о Дахакѣ, они и здѣсь винили не свою природу, а внѣшній и преходящій духъ зла въ образѣ нечестиваго иностранца. Вотъ другое сказаніе о первыхъ людяхъ Mashya и Mashyâna явились на свѣтъ въ видѣ растенія. Они были очень похожи другъ на друга, такъ что нельзя было узнать, кто изъ нихъ мужчина и кто женщина, при томъ же они были всегда обнявшись. Сначала они были чистыми созданіями, но злой духъ помутилъ ихъ мысль: они стали лгать, говорить безбожныя рѣчи и подпали подъ власть злого духа. Они одѣлись въ черное платье и пошли на охоту. Встрѣтили овцу, поѣли ея молока и вслѣдствіе этой первой пробы животной пищи испортились еще больше; потомъ поѣли мяса, стали рубить деревья, и т. п., и, все больше приближаясь къ духу зла, дошли, наконецъ, до ссоръ, дракъ и жертвоприношеній демонамъ. Какъ видитъ читатель, здѣсь фигурируетъ тотъ же мотивъ, что и въ сказаніи о Дахакѣ: то же полувраждебное отношеніе къ расширенію потребностей, то же признаніе ихъ исчадіемъ ада и новымъ источникомъ зла. Если хотите, тѣмъ же мотивомъ пронизаны всѣ индусскія религіозно-нравственныя системы: онѣ только рѣзче, обобщеннѣе выражаютъ мысль, что потребность, желаніе есть зло. Но почему же такъ? Почему всякая, даже самая элементарная потребность, всякое, даже самое скромное желаніе есть зло? Читатель отчасти знаетъ нашъ отвѣтъ изъ прежнихъ статей: потому, что, *при извѣстныхъ условіяхъ*, жажда не соотвѣтствуетъ возможности утоленія, сила потребности не соотвѣтствуетъ возможности ея удовлетворенія, страстность желанія встрѣчаетъ непреодолимыя препятствія или въ самой природѣ желанія, или во внѣшнихъ условіяхъ. Эти условія иранецъ могъ всегда указать пальцемъ: то были набѣги и нашествія иноплеменниковъ. Отъ младыхъ ногтей иранецъ видѣлъ въ нихъ враговъ и потому, хотя и соглашался признать свои желанія и потребности зломъ, но не иначе, какъ навѣяннымъ со стороны, не въ немъ самомъ заключеннымъ, а находящимся во вражескомъ станѣ. Ясность врага, открытыя встрѣчи съ нимъ лицомъ къ лицу, какъ съ врагомъ, вели къ вѣрѣ въ побѣду, въ концѣ которой потребности не вырваны съ корнемъ, а удовлетворены: мы видѣли, что въ будущемъ блаженномъ царствѣ Ормузда люди не будутъ, правда, принимать пищи, но будутъ вѣчно сыты и носить неизносимое платье. Самый вещественный міръ иранцы не признавали сплошь исчадіемъ зла, какъ не признавали сплошь добрымъ міръ духовъ. На свою жизнь они не накладывали руки ни въ настоящемъ, въ процессѣ борьбы добра и зла, ни въ будущемъ, въ побѣдѣ добра. Индусы, напротивъ, подвергнутые исторіей «самобытному», внутреннему гнету кастоваго строя, выроставшаго медленно, исподволь, вѣками, не могли съ такою ясностью указать враговъ. Покоренные судры могли, конечно, сказать: вотъ кто намъ мѣшаетъ ѣсть, пить, любить, молиться, говорить—вотъ эти «дважды рожденные» арійцы, нагрянувшіе на насъ съ демонскою силою! Но даже самые подавленные изъ арійцевъ и самые смѣлые ихъ реформаторы протестовали не противъ тѣхъ, кто ихъ дѣйствительно давилъ, а противъ самихъ себя. Зороастръ гонялъ демоновъ съ

лица земли. Будда выгонялъ ихъ изъ душъ, одержимыхъ внутреннимъ демономъ желанія.

Безъ сомнѣнія, исторія Ирана, какъ и исторія Индіи, не такъ однородны. Я имѣю въ виду только главные опредѣляющіе моменты, которые въ Иранѣ и Индіи выступаютъ всетаки яснѣе, чѣмъ гдѣ-нибудь. Такой ясности мы уже не увидимъ впослѣдствіи, потому что вліяніе столкновеній съ людьми изъ-за межи и вліяніе столкновеній, происходящихъ внутри межи, идутъ обыкновенно бокъ-о-бокъ и даже какъ бы оплодотворяютъ другъ друга.

Такъ или иначе, но подъ давленіемъ общественныхъ условій возникаетъ представленіе о добрѣ и злѣ, объ ихъ исконной враждѣ, о побѣдѣ, временной или вѣчной, зла. Добро сочетается съ понятіемъ о божествѣ, зло—съ понятіемъ о дьяволѣ. Существуетъ мнѣніе, что дуалистическія воззрѣнія въ Европѣ, имѣвшія громадное значеніе въ собственно народной жизни, всѣ восточнаго происхожденія и преимущественно иранскаго, съ примѣсью буддизма. Можетъ быть оно и такъ, но для насъ это не важно, потому что, если народъ самъ собой принимаетъ какое-нибудь вѣрованіе, хотя бы издалека, такъ значитъ оно ему по плечу пришлось. Ему остается только или измѣнить его формы, или вложить нѣсколько иное содержаніе въ подробности. Гильфердингъ разсказываетъ: «Отчего православный попъ не можетъ заклинать бѣсовъ и давать «записи» (талисманы), тогда какъ латинскій «фратръ» знаетъ, какъ совладать съ нечистой силой?» спросилъ я у одной простой боснійской женщины. Вотъ почему: прежде у христіанъ (т. е., у православныхъ) и у латинъ былъ одинъ законъ (религія); но потомъ, когда явился «Римъ-папа», то законы разошлись: нашъ ушелъ въ небо, а латинскій остался на землѣ. Оттого латинскій фратръ имѣетъ власть, какой попъ не имѣетъ» («Поѣздка по Герцеговинѣ» и проч., 456). Правда, значитъ, отлетѣла, и поневолѣ приходится поклониться злу, дьяволу и его слугѣ. Весьма вѣроятно, что это—прямой остатокъ богумильства, которое было отпрыскомъ манихейства, а манихейство, въ свою очередь, основалось на чисто восточныхъ элементахъ. Но это, очевидно, важно только въ историческомъ смыслѣ. Боснячка во всякомъ случаѣ знаетъ, что правда отлетѣла на небо. Знаетъ и наша Голубиная Книга въ снѣ о Правдѣ и Кривдѣ:

Возговорилъ Владиміръ князь,
Володиміръ князь Володиміровичъ:
Ой ты гой еси, премудрый царь,
Премудрый царь Давыдъ Евсеевичъ!
Мнѣ ночесь, сударь, мало спалось!
Мнѣ во снѣ много видѣлось.
Кабы съ той стороны, со восточной,
А съ другой стороны, съ полуденной,
Кабы два звѣря собиралися,
Кабы два лютые собѣгалися,
Промежду собой дрались, билися,
Одинъ одного звѣрь одолѣть хочетъ.—
Возговорилъ премудрый царь,
Премудрый царь Давыдъ Евсеевичъ:
Это не два звѣря собиралися,
Не два лютые сбѣгалися;
Это Кривда съ Правдой соходилися,
Промежду собой бились, дралися,
Кривда Правду одолѣть хочетъ;
Правда Кривду переспорила,
Правда пошла на небеса,
Къ самому Христу, царю небесному;
А Кривда пошла у насъ вся по всей землѣ,
По всей землѣ, по свѣтъ русской,
По всему народу христіанскому.

Понятно, какіе разнообразные, смотря по мѣсту, времени и обстоятельствамъ, узоры можетъ вышить народная дума на этой то смутной, то яркой канвѣ борьбы добра и зла, въ которую укладывается и космогонія, и мораль, и исторія, и прошедшее, и настоящее, и будущее. Правда отлетѣла, такъ или иначе. Ее добыть надо. Встаютъ поэты и пророки. Одни вспоминаютъ стародавнее житье, которое еще не знало ни наплыва иноплеменниковъ, ни соотвѣтственныхъ внутреннихъ измѣненій. Вспоминаютъ и поэтизируютъ его, рисуютъ золотымъ вѣкомъ, въ которомъ все добро было, и рѣки текли млекомъ и медомъ, и правда царила, всѣ сыты-одѣты были. Другіе напряженно вглядываются въ будущее и въ немъ ищутъ возможности водворить правду на землѣ. Сильные ненавистью къ настоящему, они вѣрятъ, что конецъ ему наступитъ скоро. И вотъ ихъ пѣсни и пророчества поднимаютъ бурныя историческія волны: то идутъ добывать правду подвижники и вольница.

Изъ литературныхъ и журнальныхъ замѣтокъ 1872 года *).

I.

Слѣды Петра Великаго.—Петровскій Сборникъ «Русской Старины». — «Царь Петръ Великій» г Петрова, іюньское внутреннее обозрѣніе «Вѣстника Европы» и проч.—Слѣдовъ Петра въ наличности не оказывается.—«Взглядъ на юридическій бытъ древней Россіи» г. Кавелина.—Два слова о его же «Задачахъ психологіи».—Какъ слѣдуетъ искать слѣдовъ Петра.—«Русскіе общественные вопросы», сборникъ «Недѣли».—Таинственный незнакомецъ.—Нужные люди.—Случай изъ исторіи французской журналистики и случай, бывшій недавно съ «С.-Петербургскими Вѣдомостями».

По случаю Петровскаго юбилея сказано множество рѣчей и издано много книгъ и брошюръ. Къ сожалѣнію моему, я не могъ ознакомиться со всею этою массою словъ и писаній. Особенно жалѣю я о моемъ незнакомствѣ съ рѣчью г. Бестужева-Рюмина «О причинахъ разногласія во взглядахъ на Петра» (она до сихъ поръ еще не напечатана) и съ сборникомъ народныхъ пѣсенъ о Петрѣ, изданнымъ въ Москвѣ г. Безсоновымъ (онъ еще не полученъ въ Петербургѣ). Во всемъ, что мнѣ удалось прочитать, я встрѣтилъ много общихъ мѣстъ, много ненужныхъ мелкихъ подробностей, наконецъ, много расшаркиваній передъ нынѣшнимъ временемъ, когда «великія цѣли Великаго осуществились» и т. д.,—но очень мало такого, что было бы дѣйствительно достойно памяти гиганта русской исторіи. О газетахъ говорить нечего: «Русскій Міръ» дѣлаетъ выписку изъ Устрялова и затѣмъ говоритъ отъ себя: пойдемъ по слѣдамъ Петра! «С.-Петербургскія Вѣдомости» дѣлаютъ выписку изъ Соловьева и затѣмъ говорятъ отъ себя: пойдемъ по слѣдамъ Петра! Можетъ быть, впрочемъ, я и перепуталъ, можетъ быть изъ Соловьева дѣлаетъ выписку «Русскій Міръ», а изъ Устрялова «С.-Петербургскія Вѣдомости», но это мало мѣняетъ дѣло. Глубокомысліе, такъ сказать, обязательное, авторовъ передовыхъ статей и не позволяло ожидать отъ нихъ чего-нибудь меньшаго или чего-нибудь большаго, чѣмъ Устряловъ-Соловьевъ и слѣды Петра. Но въ нижнихъ этажахъ этихъ газетныхъ листовъ, въ фельетонахъ, которымъ дозволяется быть интереснѣе, явилось и еще кое-что. Такъ, «Русскій Міръ» разсказываетъ какой-то анекдотъ изъ жизни Петра, а въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» памяти Петра посвящены два первыя письма г. Незнакомца о московской политехнической выставкѣ. Второе изъ этихъ писемъ любопытно. Оно, во-первыхъ, очень горячо и бойко написано и вообще удачно, а во-вторыхъ, содержитъ въ себѣ въ видѣ маленькаго хвостика нѣкоторый характерный намекъ на современность. Побывавъ въ Парижѣ, Петръ сказалъ, что тамъ заслуживаютъ вниманія только науки и искусства, «все же прочее воняетъ» (въ такомъ родѣ). Разсказавъ это, Незнакомецъ прибавляетъ отъ себя: вотъ что понималъ Петръ еще въ прошломъ столѣтіи и до чего у насъ многіе не могутъ возвыситься и до сихъ поръ. Это намекъ на сочувственное отношеніе большинства русскаго общества къ французамъ во время послѣдней войны. На мѣстѣ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» я бы тщательно избѣгалъ подобныхъ намековъ, потому что они должны напоминать имъ нѣкоторыя ихъ неудачныя пробы пера. Но оставимъ это. Вышеупомянутый хвостикъ любопытенъ въ болѣе общемъ смыслѣ. Онъ свидѣтельствуетъ, какъ мало понимается у насъ разница между петровскимъ временемъ и нынѣшнимъ. Петръ былъ во Франціи въ 1717, кажется, или въ 1718 году. Былъ онъ тамъ во время малолѣтства Людовика XV и регентства герцога Орлеанскаго, однимъ словомъ, въ самые темные дни Франціи, когда къ деспотизму Людовика XIV прибавился еще крайній развратъ безпутнаго регента и его двора, мотовство и алчность въ средѣ самого общества и проч. Поэтому было совершенно достойно великаго царя отвернуться отъ этой мерзости. Но, спрашивается, неужели повторять справедливый въ свое время приговоръ Петра и повторять его теперь, послѣ того, что пережито и дано человѣчеству Франціей,—значитъ идти «по слѣдамъ Петра»? Конечно, «С.-Петербургскія Вѣдомости» во время франко-прусской войны шли даже дальше приговора Петра и отняли у Франціи и «науки, и искусства». Но уже само собою разумѣется, что они въ то время значительно уклонялись отъ «слѣдовъ Петра».

Что такое слѣды Петра? Я не знаю, всѣ ли авторы юбилейныхъ брошюръ, рѣчей и статей задавали себѣ этотъ вопросъ. Вѣрно только то, что всѣ предлагаютъ намъ идти по слѣдамъ Петра. Большинство утверждаетъ, кромѣ того, что намъ для этого и не тре-

*) 1872 г., іюль.

буется дѣлать какія-нибудь особыя усилія, ибо мы уже и теперь идемъ по этимъ слѣдамъ. Рѣзче всего выражена эта мысль въ рѣчи, сказанной въ день юбилея въ Варшавѣ профессоромъ тамошняго университета г. Вейнбергомъ. Г. Вейнбергъ поставилъ дѣло такъ ловко, что слушатели его, вѣроятно, недоумѣвали, что̀ они собственно собрались дѣлать—память ли Петра чествовать, или просто радоваться тому, что мы живемъ въ настоящее время, когда и проч. Эта двойственность задачи юбилея сказывается, впрочемъ, болѣе или менѣе во всѣхъ рѣчахъ и писаніяхъ по поводу двухсотлѣтія рожденія Петра: живой о живомъ и думаетъ.

Но всетаки, что такое слѣды Петра? Я беру книжку г. Петрова «Петръ Великій, послѣдній царь московскій и первый императоръ всероссійскій» и ищу въ ней отвѣта на этотъ вопросъ. Если бы какой-нибудь иностранецъ пожелалъ познакомиться съ личностью Петра по этой книжкѣ, то онъ пришелъ бы, вѣроятно, въ большое недоумѣніе. Конечно, сказалъ бы онъ, этотъ Петръ былъ большой охотникъ воевать, путешествовать, строить корабли и жечь фейерверки, но чѣмъ же ужъ онъ такъ великъ? Положимъ, что военная дѣятельность Петра была необходима для упроченія благоденствія и самостоятельности Россіи. Но, за вычетомъ этой дѣятельности, Петръ является у г. Петрова какимъ-то довольно безалаберно странствующимъ фейерверкеромъ и пиротехникомъ. Итакъ, пойдемъ по слѣдамъ Петра и будемъ жечь фейерверки, тѣмъ болѣе, что это весело и къ нашему теперешнему настроенію подходитъ.

Я беру «Петровскій сборникъ», изданный «Русскою Стариной», и опять спрашиваю: гдѣ слѣды Петра? Я не знаю, почему «Русской Старинѣ» пришло въ голову назвать этотъ сборникъ «Петровскимъ». Это не болѣе, какъ оттискъ VI нумера «Русской Старины», что и значится на оберткѣ сборника. Какъ нумеръ журнала, посвященнаго изученію нашего недавняго прошлаго, этотъ сборникъ ничѣмъ не отличается отъ другихъ нумеровъ: въ немъ есть вещи интересныя и неинтересныя, важныя и не важныя. Но если это «Петровскій» сборникъ, то зачѣмъ въ него попала, напримѣръ, написанная въ 1835 (въ оглавленіи опечатка *1735*) году «Солдатская сказка про двухъ царей, россійскаго и нѣмецкаго» и т. д.,—произведенія барабанно-патріотической, шовинистской школы? Во всякомъ случаѣ поищемъ слѣдовъ Петра въ томъ, что даетъ «Петровскій сборникъ». Интереснѣе всего въ сборникѣ слѣдующія двѣ вещи: секретныя депеши объ обидѣ прусскаго посла Петромъ и Меньшиковымъ и «шутки и потѣхи Петра Великаго». Эти два ряда документовъ очень любопытны, но въ нихъ Петръ рисуется съ самой непривлекательной своей стороны. Онъ является здѣсь грубымъ «московитомъ», оскорбляющимъ прусскаго посла, восточнымъ деспотомъ, не имѣющимъ ни малѣйшаго понятія о международномъ правѣ, и изобрѣтателемъ въ высшей степени грубыхъ и циническихъ «шутокъ и потѣхъ». Это, что ли, «слѣды Петра»?

Въ рѣчи академика Веселовскаго о Петрѣ, «какъ основателѣ Академіи Наукъ», въ рѣчи академика Грота о Петрѣ, «какъ просвѣтителѣ Россіи», даже въ довольно безграмотныхъ брошюрахъ гг. Божерянова («Очеркъ развитія искусствъ въ Россіи въ царствованіе П. В.») и Купріянова («Исторія медицины (въ) Россіи въ царствованіе П. В.») можно, пожалуй, найти настоящіе слѣды Петра. Но это слѣды или слишкомъ общіе (Петръ любилъ просвѣщеніе), или слишкомъ уже спеціальные (Петръ цѣнилъ искусство и уважалъ медицину). Впрочемъ, рѣчь г. Веселовскаго заключаетъ въ себѣ небезполезное напоминаніе о взглядѣ Петра на значеніе академіи наукъ. По мысли Петра, Академія должна была состоять изъ трехъ частей, имѣвшихъ тѣсную связь между собой: 1) изъ собственно академіи, члены которой должны были трудиться о «совершенствѣ художествъ и наукъ», оказывать въ случаѣ надобности помощь своими познаніями присутственнымъ мѣстамъ и пещись о распространеніи и заведеніи «вольныхъ художествъ и мануфактуръ»; 2) изъ университета, въ которомъ академики преподавали бы публичныя лекціи о «художествахъ и наукахъ» и 3) изъ «гимназіума», гдѣ адъюнкты или элевы академиковъ обучали бы юношей первымъ основаніямъ наукъ и приготовляли ихъ къ поступленію въ университетъ, въ учителя будущихъ училищъ и т. п.

Я обращаюсь къ «Вѣстнику Европы». Этотъ солидный, аккуратный и по преимуществу историческій журналъ, какъ извѣстно, еще загодя началъ готовиться къ юбилею. Въ майской уже книжкѣ этого года, вышедшей по обыкновенію 1-го мая, были напечатаны статьи: «О старомъ зимнемъ дворцѣ и палатѣ, въ коей скончался государь императоръ Петръ Великій. Записка 1834 года» А. Л. Майера (съ двумя рисунками). «Кронпринцесса Шарлотта, невѣстка Петра Великаго» г. Герье и «Малороссійскіе эмигранты при Петрѣ Великомъ» г. де-Пуле. Но въ двухъ послѣднихъ статьяхъ Петръ значится болѣе по прикосновенности. Г. де-Пуле, напримѣръ, разыскалъ въ Полтавѣ семейный архивъ фамиліи Горленковъ и содержимое его разсказалъ подъ заглавіемъ «Малороссійскіе эмигранты *при Петрѣ*», хотя Петръ тутъ собственно съ боку припека. Что касается до первой статьи, то

она представляетъ плодъ трудолюбиваго изслѣдованія, оконченнаго въ 1834 году, о томъ, въ какой комнатѣ Петръ умеръ. Комнату эту покойный Майеръ разыскалъ, и редакція «Вѣстника Европы», съ своей стороны, замѣчаетъ: «При помощи изслѣдованій Майера, было бы возможно возвратить великой памяти Петра В. мѣсто его кончины и дать ему соотвѣтствующее назначеніе: въ верхнемъ этажѣ Зимняго дома устроить, напримѣръ, музей Петра Великаго, а въ нижнемъ, гдѣ онъ скончался—часовню, въ которую можно бы было спускаться черезъ музей, такъ какъ нижній этажъ Зимняго дома Петра Великаго теперь находится въ уровень съ мостовой и ниже ея».—И чудесно. Только съ г. Погодинымъ надо бы было посовѣтоваться. А слѣдовъ Петра всетаки нѣтъ. Но въ іюньской книжкѣ «Вѣстникъ Европы» уже вплотную подходитъ къ дѣлу и печатаетъ прямо посвященную юбилею статью: «Государственныя идеи Петра Великаго и ихъ судьба».

Статья эта, замѣняющая въ іюньской книжкѣ внутреннее обозрѣніе, написана очень ловко. Цѣль ея — доказать, что такъ называемый «петербургскій» періодъ русской исторіи, періодъ господства бюрократіи и централизаціи, вовсе не можетъ считаться дѣтищемъ Петра, что Петръ готовилъ Россіи совершенно иную будущность. Петръ былъ настоящій диктаторъ, вышедшій изъ народа, деспотически вдвинувшій государство въ новую колею, но вовсе не имѣвшій въ виду династическихъ цѣлей. Онъ не желалъ уступать кому бы то ни было ни іоты изъ своего полновластія, но только потому, что иначе онъ не могъ бы совершить свою реформу. Возводить же свой цезаризмъ въ принципъ, въ систему онъ никогда не думалъ. Его идеаломъ былъ слѣдующій типъ государственнаго управленія: во-первыхъ, одно высшее, полноправное учрежденіе — сенатъ, и, во-вторыхъ, совершенно самостоятельное областное управленіе съ самымъ широкимъ вліяніемъ земскаго, выборнаго начала. При этомъ благоустройство провинцій предполагалось отдать въ полное распоряженіе дворянъ, а городовъ — городского сословія. Съ этою цѣлью городамъ дана была собственная, независимая городская полиція, собственное управленіе и судъ съ полною гарантіей отъ вмѣшательства бюрократіи, по всѣмъ не только сословнымъ, но и гражданскимъ и даже уголовнымъ дѣламъ. Такое же широкое самоуправленіе предполагалось и для провинцій учрежденіемъ выборныхъ изъ дворянъ, ландратскихъ коллегій и земскихъ коммиссаровъ и другими мѣрами, къ числу которыхъ авторъ причисляетъ и учрежденіе майората. «Мысль эта,— замѣчаетъ авторъ,— правда, была весьма нераціональна; но, во всякомъ случаѣ, и она свидѣтельствуетъ, что Петръ вовсе не былъ расположенъ ко всеуравнивающей, всесглаживающей системѣ бюрократіи, а ожидалъ развитія государства отъ созданія въ немъ крѣпкихъ, самостоятельныхъ сословій». Вотъ, говоритъ авторъ, къ чему считалъ насъ способными Петръ еще полтораста лѣтъ тому назадъ, и вотъ что было извращено его преемниками, дѣйствительными отцами и матерями «петербургскаго» періода нашей исторіи.

Повторяю, статья написана ловко, нужные автору факты сгруппированы удачно. Въ статьѣ ищутся и находятся слѣды Петра. Но я не думаю, чтобы это были подлинные слѣды Петра; я не думаю даже, что послѣдніе могутъ быть отысканы при помощи пріема, употребляемаго авторомъ іюньскаго внутренняго обозрѣнія «Вѣстника Европы». Несомнѣнно, что Петръ не былъ ни систематическимъ деспотомъ по принципу, ни блюстителемъ династическихъ интересовъ, — послѣднее онъ доказалъ слишкомъ хорошо. Но, кромѣ этого, въ изслѣдованіи нашего автора едва ли есть что-нибудь несомнѣнное. Если Петръ не былъ систематическимъ деспотомъ, то точно такъ же не былъ онъ и систематическимъ либераломъ. Можно, конечно, при извѣстномъ искусствѣ сгруппировать факты изъ дѣятельности Петра такъ, что на нихъ самъ собою напросится ярлыкъ какого-нибудь изъ современныхъ политическихъ принциповъ: цезаризма или конституціонализма, централизаціи или самоуправленія, деспотизма или либерализма. Но никакихъ такихъ принциповъ Петръ не зналъ и всякая система, и по личному его духу, и по свойствамъ его задачи была ему совершенно чужда. Отыскивать ее, да еще въ такихъ рѣзкихъ контурахъ, какъ это дѣлаетъ нашъ авторъ, совершенно тщетно. Различныя мѣры Петра, къ которымъ можетъ быть пришпиленъ ярлыкъ какого-нибудь современнаго политическаго принципа, представляютъ собою не болѣе, какъ ощупью искомыя—и потому часто противорѣчивыя—средства для достиженія одной великой цѣли. Найдите самую общую формулу этой цѣли, и вы найдете дѣйствительные слѣды Петра. Но допустимъ, что вы найдете что-нибудь цѣнное и безъ такой общей формулы. Положимъ, что Петръ дѣйствительно имѣлъ тотъ самый идеалъ государственнаго управленія, какой нарисованъ авторомъ іюньскаго внутренняго обозрѣнія «Вѣстника Европы». Эта находка будетъ имѣть, по всей вѣроятности, только историческое значеніе. Конечно, люди, для которыхъ не писанъ законъ вообще, могутъ презирать и законъ исторической перспективы. Но достаточно самыхъ слабыхъ понятій о теоріи вѣроятностей, чтобы разсудить, что конститу-

ціонный идеалъ середины прошлаго столѣтія имѣетъ весьма мало шансовъ оказаться идеаломъ современнаго государственнаго строя. Петръ могъ находить, что во Франціи его времени все, кромѣ наукъ и искусствъ, «воняетъ». Но этотъ приговоръ есть, какъ историческій фактъ одно дѣло, а какъ «слѣды Петра», какъ нѣчто такое, чему мы должны слѣдовать,—другое дѣло. Идти по слѣдамъ Петра вовсе не значить попугаеобразно повторять все, что онъ говорилъ, и продѣлывать все, что онъ дѣлалъ. Я ужъ не говорю о дикихъ попойкахъ и циническихъ забавахъ Петра, благо въ этомъ «слѣдовъ» никто и не видитъ. Но Петръ, напримѣръ, именно въ сферѣ государственнаго управленія заимствовалъ многое изъ тѣхъ самыхъ остзейскихъ порядковъ, которые, за смертью «Вѣсти», всѣми нашими публицистами, порицаются. Но это еще не значить, чтобы для нашихъ публицистовъ было невозможно шествіе по слѣдамъ Петра, даже въ той же самой области государственныхъ идей. А еще остзейскіе порядки выдержали со временъ Петра, въ сравненіи съ тѣмъ, что пережила съ тѣхъ поръ Франція, конечно, ничтожныя перемѣны. Я не знаю,—можетъ быть Петръ, если бы онъ жилъ, и теперь сказалъ бы, что все во Франціи воняетъ. Но я знаю навѣрное, что онъ сказалъ бы это не потому, что онъ нашелъ во Франціи вонь въ 1717 году. Петръ есть одна изъ оригинальнѣйшихъ личностей въ нашей исторіи, и, какъ ни парадоксально это можетъ показаться, но идти по слѣдамъ Петра во многихъ случаяхъ значитъ дѣйствовать и разсуждать совсѣмъ не такъ, какъ дѣйствовалъ и разсуждалъ въ свое время Петръ. Именно потому, что онъ дѣйствовалъ и разсуждалъ въ свое время, а мы въ свое. Въ высшей степени мала вѣроятность, чтобы въ какой-нибудь, даже частной, области комбинація народныхъ и государственныхъ силъ и потребностей настоящаго времени оказалась тождественною съ соотвѣтственною комбинаціей временъ петровскихъ. Упускать это изъ виду значитъ, между прочимъ, унижать Петра; значитъ предполагать, что онъ всею своею дѣятельностью не пошатнулъ современную ему комбинацію общественныхъ силъ.

Итакъ, пріемъ исканія слѣдовъ Петра, который употребляется г. Незнакомцемъ, отчасти авторомъ іюньскаго внутренняго обозрѣнія «Вѣстника Европы» и весьма многими другими,—это вообще самый употребительный пріемъ,—содержитъ въ себѣ клевету на исторію и Петра, отрицаніе реформы и цѣлую массу противорѣчій. Есть только одно средство выйти изъ этихъ противорѣчій,—найти общую формулу дѣятельности Петра, формулу цѣли, формулу настолько общую, чтобы она, объясняя его дѣятельность, давала указанія и для нашей. Я ожидалъ, что ко дню петровскаго юбилея кто-нибудь изъ нашихъ даровитыхъ историковъ приготовитъ такую работу. Естественнѣе всего было ждать чего-нибудь подобнаго отъ «Вѣстника Европы», въ которомъ группируются наши лучшія силы по части исторіи. Но «Вѣстникъ Европы», къ сожалѣнію, ограничился напечатаніемъ записки о мѣстѣ кончины Петра съ присовокупленіемъ проекта новой часовни, затѣмъ «Малороссійскими эмигрантами» и ловкимъ, но по самому замыслу своему фальшивымъ внутреннимъ обозрѣніемъ. Я ждалъ отъ нашихъ историковъ, между которыми есть и теоретики, и талантливые художники-психологи, двухъ работъ, которыя, разумѣется, въ принципѣ могли бы быть слиты въ одну. Я ждалъ, во-первыхъ, новой, яркой, сильной характеристики личности Петра. Эта монументальная фигура, стоящая на главномъ, такъ сказать, водораздѣлѣ русской исторіи, этотъ царственный революціонеръ, этотъ азіатъ-европеецъ, этотъ дикарь, способный къ самымъ высокимъ и нѣжнымъ чувствамъ, этотъ работникъ на тронѣ, до сихъ поръ еще не ясенъ русскому обществу. Эта фигура, хоть надъ ней и много работали, и до сихъ поръ еще состоитъ изъ отдѣльныхъ кусковъ, не сложенныхъ, не спаянныхъ, не охваченныхъ одною общею идеею. И я думаю, что большинство общества не знаетъ Петра, какъ личности, какъ характера, очевидно, выкроеннаго руками природы и русской исторіи изъ цѣльнаго куска и въ то же самое время полнаго, повидимому, противорѣчій. Двухсотлѣтній юбилей рожденія Петра не принесъ съ собой ничего такого, что помогло-бы разрѣшить эти противорѣчія, а между тѣмъ Петръ — субъектъ, въ высшей степени любопытный даже въ чисто-психологическомъ отношеніи. Другая работа, которой я ждалъ отъ русскихъ историковъ, состоитъ въ уясненіи вышеупомянутой общей формулы общественной дѣятельности Петра. Ничего и такого не явилось. Надо идти назадъ, къ сороковымъ годамъ, чтобы найти слѣды «слѣдовъ Петра» въ ихъ общемъ выраженіи.

Глубокомысленные авторы передовыхъ статей «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» и «Русскаго Міра», приглашая идти по слѣдамъ Петра, ссылаются на Соловьева и Устрялова. Я буду цитировать просто журнальную статью г. Кавелина «Взглядъ на юридическій бытъ древней Россіи» (Сочиненія, т. I). Заговоривъ объ этой статьѣ, я, такъ сказать, трогаю локтемъ новое сочиненіе г. Кавелина «Задачи психологіи», печатавшееся сначала въ «Вѣстникѣ Европы» и теперь вышедшее отдѣльнымъ изданіемъ.

Оцѣнка этого произведенія не входитъ въ планъ моей статьи. Я скажу только одно: г. Кавелинъ считаетъ «Задачи психологіи» нѣкоторымъ образомъ продолженіемъ «Взгляда». Я, равно какъ и многіе другіе, привыкшіе съ почтеніемъ относиться къ трудамъ г. Кавелина, глубоко сожалѣю, что онъ написалъ продолженіе, ни въ какомъ отношеніи не достойное начала. Когда въ 1864 или въ 1865 году г. Кавелинъ писалъ въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» свои неудачныя статьи объ «Уголовно-статистическихъ этюдахъ» г. Неклюдова, мы думали, что это просто плодъ минутнаго, необдуманнаго увлеченія. Оказывается, что высказанныя тогда почти ребяческія воззрѣнія на психическую жизнь въ связи съ этическими задачами развились въ цѣлую систему. Это весьма огорчаетъ многихъ, помнящихъ заслуги г. Кавелина передъ русскимъ обществомъ. Что касается до «Взгляда на юридическій бытъ древней Россіи», то, конечно, и самъ авторъ измѣнилъ бы въ немъ теперь многія, даже весьма важныя частности: 1846 годъ не вчера былъ. Но для меня важно только то философско-историческое построеніе, которое лежитъ въ основѣ «Взгляда», и ужъ, конечно, за болѣе полное развитіе авторомъ этого построенія можно бы было отдать десять «Задачъ психологіи».

Древній міръ не зналъ идеи личности. Человѣкъ, помимо опредѣленій кастъ, сословій, національностей, въ древности ничего не значилъ и былъ, можно сказать, совсѣмъ неизвѣстенъ. Даже древнія религіи, будучи мѣстными, національными, исключительными не давали никакой цѣны человѣку, какъ человѣку. Онѣ брали подъ свое покровительство человѣка, только какъ члена извѣстной группы. Христіанство дало совершенно новый толчокъ исторіи. Оно породило мысль о безусловномъ достоинствѣ человѣка и человѣческой личности внѣ стихійно установившихся узкихъ опредѣленій. «Изъ опредѣляемаго человѣкъ сталъ опредѣляющимъ, изъ раба природы и обстоятельствъ — господиномъ ихъ». Съ этихъ поръ для всѣхъ народовъ, не смотря на болѣе или менѣе долгія остановки, ошибки и заблужденія, установилась одна цѣль: «безусловное признаніе достоинства человѣка, лица, и всестороннее его развитіе». Но къ этой цѣли, сообразно различію историческихъ условій, народы идутъ различными путями. Несходны были пути Россіи и Европы. Но съ Петра Великаго эти пути соединяются.

Отличительная черта древней русской жизни есть полное отсутствіе юридической опредѣленности. «Напрасно станемъ мы искать въ ней власти и подчиненности, правъ и сословій, собственности и администраціи. Человѣкъ жилъ тогда совершенно подъ опредѣленіями природы; мысль еще не освободила его отъ ея ига. При всей ограниченности онъ представляетъ многія прекрасныя черты. Люди жили сообща, не врозь, не отчужденные, какъ потомъ, не было еще различія между «моимъ» и «твоимъ»— источникъ послѣдующихъ бѣдствій и пороковъ; всѣ, какъ члены одной семьи, поддерживали, защищали другъ друга, и обида нанесенная одному, касалась всѣхъ». Это былъ бытъ чисто-семейный, кровный, стихійный. Въ созиданіи его не участвовали мысль, сознаніе. Но именно потому онъ былъ не только не опредѣленъ, а и непроченъ. Онъ заключалъ въ самомъ себѣ задатки разрушенія. Самъ собою, по мѣрѣ расширенія семей и родовъ, кровный бытъ долженъ былъ распадаться. Вскорѣ званіе старѣйшины пришлось сдѣлать выборнымъ, вмѣстѣ съ чѣмъ выдвигалось начало личности, личнаго достоинства. Образовались въ поселеніяхъ вѣча. Но во всемъ этомъ всетаки весьма мало было юридически установившагося. Только съ развитіемъ и усиленіемъ Москвы, чисто отвлеченное лицо—государство, а вмѣстѣ съ нимъ и начало личности стали окончательно затирать собою кровныя, стихійныя общественныя узы. Только съ этихъ поръ мысль и нравственные интересы замѣнили собою родство, какъ основаніе общественнаго быта. Въ XVII столѣтіи личное начало было уже выработано нашей исторіей, личность освободилась отъ ига природы и кровнаго быта. Но эту независимость личность получила не сознательно, а какъ бы извнѣ, вслѣдствіе стихійнаго хода вещей. Поэтому она оставалась бездѣятельною, въ ладу съ несоотвѣтствовавшею ей обстановкою. Долго это не могло тянуться. «Неоживленная личность должна была пробудиться къ дѣйствованію, почувствовать свои силы *и себя поставить безусловнымъ мѣриломъ всего*». Но неразвитость и безсодержательность личности ручались за то, что она не могла начать дѣйствовать совершенно самостоятельно. Она должна была начать мыслить и дѣйствовать подъ чужимъ вліяніемъ.

Таковъ, по мнѣнію г. Кавелина, въ самыхъ общихъ чертахъ, ходъ русской исторіи до Петра. Развитіе Европы шло иначе. Тамъ съ самаго начала личный элементъ получилъ широкое развитіе. Начало личности сказалось уже въ германскихъ дружинахъ, въ этихъ вольныхъ, сознательныхъ, юридическихъ, а не кровныхъ и стихійныхъ, какъ у славянъ, союзахъ. Этимъ личнымъ началомъ проникнуты и новыя государства, основанныя германцами. Правда, этотъ личный элементъ грубъ, проникнутъ эгоизмомъ, непохожъ на христіанскій идеалъ. «Но, мало по-малу, подъ

разнообразными формами, повидимому, неимѣющими между собою ничего общаго или даже противоположными, воспитывается *человѣкъ*. Изъ области религіи мысль о безусловномъ его достоинствѣ постепенно переходитъ въ міръ гражданскій и начинаетъ въ немъ осуществляться. Тогда чисто-историческія опредѣленія, въ которыхъ сначала сознавала себя личность, какъ излишнія и ненужныя, падаютъ и разрушаются, въ различныхъ государствахъ различно. Безчисленные частные союзы замѣняются въ нихъ однимъ общимъ союзомъ, котораго цѣль— всестороннее развитіе человѣка, воспитаніе и поддержаніе въ немъ нравственнаго достоинства. Эта цѣль еще недавно обозначилась. Достиженіе ея—въ будущемъ».

Итакъ, у насъ не было начала личности. Но древняя жизнь его создала, а съ XVIII вѣка оно стало дѣйствовать и развиваться. Оттого-то мы такъ тѣсно сблизились съ Европой, ибо совершенно другимъ путемъ она къ этому времени пришла къ одной цѣли съ нами. *Развивши начало личности донельзя, во всѣхъ его историческихъ, тѣсныхъ, исключительныхъ опредѣленіяхъ*, она стремилась дать въ гражданскомъ обществѣ просторъ *человѣку* и пересоздавала это общество. Въ ней наступалъ тоже новый порядокъ вещей, противоположный прежнему, историческому, въ тѣсномъ смыслѣ національному. *А у насъ вмѣстѣ съ началомъ личности человѣкъ прямо выступалъ на сцену историческаго дѣйствованія, потому что личность въ древней Россіи не существовала и, слѣдовательно, не имѣла никакихъ историческихъ опредѣленій*... И въ Европѣ, и у насъ рѣчь шла тогда о *человѣкѣ*; сознательно или безсознательно — это все равно. Бо́льшая развитость, бо́льшая сознательность была причиной, что мы стали учиться у нея, а не она у насъ. Но это не измѣняетъ ничего въ сущности. Европа боролась и борется съ рѣзко, угловато развившимися историческими опредѣленіями человѣка; мы боролись и боремся съ отсутствіемъ въ гражданскомъ быту всякой мысли о человѣкѣ. Тамъ человѣкъ давно живетъ и много жилъ, хотя и подъ односторонними историческими формами; у насъ онъ вовсе не жилъ и только что началъ жить съ XVIII вѣка. Итакъ, вся разница только въ предыдущихъ историческихъ данныхъ, но цѣль, задача, стремленія, дальнѣйшій путь — одни. Это совпаденіе началось уже со времени петровской реформы. Въ Петрѣ Великомъ личность на русской почвѣ вступила въ свои безусловныя права, отрѣшилась отъ непосредственныхъ, природныхъ, исключительно національныхъ опредѣленій, побѣдила ихъ и подчинила себѣ. Вся частная жизнь Петра, вся его государственная дѣятельность есть первая фаза осуществленія начала личности въ русской исторіи».

Я считаю эту философско-историческую схему весьма замѣчательною, въ особенности въ виду бѣдности русской исторической литературы по части широкихъ общихъ выводовъ. И потому мнѣ было бы очень прискорбно, если бы я опустилъ что-нибудь существенное въ изложеніи основной мысли г. Кавелина. Его «Взглядъ» давно уже считается очень цѣннымъ вкладомъ въ русскую историческую литературу, но я осмѣливаюсь думать, что онъ всетаки цѣнится ниже своего достоинства.

Но, можетъ быть, читатель недоволенъ тѣмъ, что въ «замѣткахъ» своихъ я преслѣдую его отвлеченными, теоретическими вопросами, что я выкапываю статью 1846 года ради ея теоретическаго, философскаго значенія. Можетъ быть, читатель ждетъ отъ историка ярко расцвѣченной картинки, а отъ публициста—нырянія, зажмуря глаза, въ омутъ чисто-практическихъ вопросовъ. Это очень вѣроятно. Далеко ушли отъ насъ тѣ времена, когда г. Кавелинъ писалъ свой «Взглядъ». Тогда, можетъ быть, по отсутствію достаточно захватывающей практической дѣятельности, любили теоретизировать и философствовать; теперь мы стали практиками, теперь намъ теоріями и отвлеченностями заниматься некогда. Теперь составилось даже очень либеральное объясненіе отлыниванья отъ теоріи. Говорятъ: кругомъ насъ кипитъ практическая жизнь, требуются руки и головы на разрѣшеніе вопросовъ, довлѣющихъ злобѣ дня. Заниматься отвлеченностями значитъ теперь предаваться тонкой умственной гастрономіи на счетъ народа, требующаго прочно гарантированнаго куска хлѣба. Говорятъ: послужимъ народу прямо, практически, дѣломъ. Читатель, зажмите ротъ тому, кто вамъ говоритъ это. Онъ или лицемѣритъ, или не вѣдаетъ, что говоритъ. Есть сферы мысли, витаніе въ которыхъ дѣйствительно составляетъ не болѣе какъ умственную гастрономію, безсознательно преступную. Но эти сферы осуждены самою наукою, въ нихъ даже не легко забраться извнѣ. Но если вы вздумаете нырнуть въ омутъ практическихъ вопросовъ, зажмуря глаза, т. е. безъ прочнаго теоретическаго базиса, то, какими бы чистыми и высокими планами вы ни задавались, ваше служеніе народу окажется медвѣжьей услугой. Вы не народу русскому служить будете, а первому встрѣчному «нужному» человѣку, который уже, разумѣется, сумѣетъ обойти васъ. Вы не только не гарантируете народу куска хлѣба, но поможете нужному человѣку вырвать кусокъ хлѣба прямо изо рта у народа. Только проч-

ный теоретическій базисъ дастъ вамъ возможность разсѣкать явленія на ихъ составныя части и отличать въ нихъ дѣйствительно бѣлое отъ дѣйствительно чернаго, помимо привычныхъ формулъ и словъ, сплошь и рядомъ только затемняющихъ положеніе вещей. Только прочный теоретическій базисъ дастъ вамъ возможность открывать сходство въ явленіяхъ, на первый взглядъ ни мало не сходныхъ. А разъ вы будете умѣть производить эти двѣ операціи, т. е. анализъ и сравненіе явленій, васъ не проведетъ уже ни одинъ нужный человѣкъ. Добывайте же себѣ этотъ базисъ, добывайте во что бы то ни стало и прежде всего. Это дѣло вовсе не трудное въ сравненіи съ цѣнностью тѣхъ результатовъ, которые оно за собой повлечетъ и для васъ самихъ, и для всѣхъ окружающихъ васъ, и для всего, что вамъ свято и дорого. Вотъ почему я васъ приглашаю остановиться, между прочимъ, и на философско-исторической теоріи г. Кавелина. Мы сейчасъ увидимъ, что она имѣетъ цѣну и непосредственно для практическихъ вопросовъ.

Во «Взглядѣ» г. Кавелина бросается въ глаза нѣкоторая неопредѣленность терминологіи, вводящая, повидимому, въ ошибки и самого автора, а тѣмъ болѣе могущая сбить читателя. Впрочемъ, все необходимое для исправленія дѣла можетъ быть почерпнуто изъ самаго же «Взгляда». Г. Кавелинъ то противопоставляетъ, то отождествляетъ понятія «личности» и «человѣка». Не будь этой неопредѣленности, мы бы увидѣли, что въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ сходства между теченіемъ русской и европейской жизни гораздо больше, чѣмъ то кажется г. Кавелину, а въ другихъ отношеніяхъ гораздо меньше. Вмѣстѣ съ тѣмъ и «слѣды Петра» получатъ нѣсколько иное значеніе. Собственно говоря, нельзя утверждать, — можетъ быть, г. Кавелинъ и самъ теперь согласится съ этимъ,—что германскіе народы сразу принесли съ собою начало личности въ Европу. Но, безъ сомнѣнія, начало это во всякомъ случаѣ, развилось у нихъ гораздо быстрѣе и интенсивнѣе, чѣмъ у насъ. Далѣе значеніе христіанства, какъ историческаго фактора, слишкомъ велико, чтобы его надо было преувеличивать, а авторъ его, очевидно, преувеличиваетъ. Это видно уже изъ того, что онъ вовсе почти не упоминаетъ о немъ, когда слѣдитъ за ходомъ русской исторіи. И спрашивается, почему же такой всеопредѣляющій факторъ не сгладилъ различія между русскою и европейскою исторіей задолго до Петра и его реформы? Поэтому мы и помимо христіанства можемъ очень удобно разсуждать о томъ, что такое личность, что такое человѣкъ. Повидимому, мысль автора слѣдуетъ понимать такъ. Въ отдаленной древности вездѣ судьба человѣка и общественный бытъ управляются чисто фатальными, стихійными условіями. Человѣкъ живетъ въ извѣстной мѣстности, родится отъ извѣстнаго отца и матери, имѣетъ братьевъ, сестеръ и т. д. Эти условія, не имъ созданныя, кладутъ на него свою печать. Его личная творческая дѣятельность ничтожна, онъ ничего не выбираетъ. Съ теченіемъ времени онъ начинаетъ избирать себѣ и товарищей, и начальниковъ, и мѣсто жительства, и родъ занятій. Это прорывается личность, личная мысль, личное сознаніе. Но, сбрасывая съ себя одно стихійное ярмо за другимъ, личное начало можетъ принять двоякое направленіе. Оно можетъ «поставить себя безусловнымъ мѣриломъ всего» и не признавать надъ собою никакихъ ограниченій, ни старыхъ, стихійныхъ, ни новыхъ, сознательныхъ. Это уже будетъ чисто-эгоистическое начало, могущее возникнуть только при узкой сферѣ интересовъ и односторонности задачи, при «одностороннихъ историческихъ опредѣленіяхъ», какъ выражается г. Кавелинъ. Это направленіе слишкомъ эгоистично, чтобы можно было сомнѣваться въ томъ, что оно *лично*. И въ то же время оно слишкомъ односторонне, чтобы его можно было признать *человѣчнымъ*. Но развитіе личнаго начала можетъ принять и другое направленіе. Человѣкъ можетъ разбить стихійныя оковы, налагаемыя на него, напримѣръ, родствомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ подчиниться сознательно избраннымъ ограниченіямъ, напримѣръ, товарищества. Смотря по большей или меньшей широтѣ условій, въ которыя при этомъ попадаетъ человѣкъ, его развитіе приметъ направленіе болѣе или менѣе *человѣчное*. Вотъ, мнѣ кажется, что хотѣлъ сказать авторъ «Взгляда» своимъ противопоставленіемъ идей личности и человѣка. Но такъ какъ въ чистомъ, исключительномъ видѣ эти двѣ идеи еще никогда не осуществлялись, то на различныхъ промежуточныхъ формахъ онѣ могутъ и совпадать. Надо признать относительность той и другой идеи. А если такъ, то намъ придется нѣсколько измѣнить построеніе г. Кавелина съ фактической стороны. Нельзя согласиться съ нимъ, что въ петровское время Европа, «развивши начало личности донельзя, во всѣхъ его историческихъ, тѣсныхъ опредѣленіяхъ, стремилась дать въ гражданскомъ обществѣ просторъ *человѣку*». Петръ далеко не дожилъ до такого времени. Еще философія XVIII вѣка, еще первая революція работали все надъ тѣмъ же одностороннимъ усиленіемъ личнаго начала, которое продолжаетъ усиливаться и понынѣ, правда, уже вызывая грозную реакцію. Въ этомъ все горе, вся бѣда Европы. Петръ и предвидѣть

не могъ ничего подобнаго. Но Петръ точно чутьемъ понималъ опасность нѣкоторыхъ сторонъ исключительно личнаго начала. Ему при этомъ много помогало положеніе Россіи. Въ Россіи дѣйствительно *личность* и *человѣкъ* могли почти безпрепятственно выступить на арену исторіи вмѣстѣ, именно потому, что личность до Петра едва существовала и, слѣдовательно, никакихъ «историческихъ опредѣленій» имѣть не могла. Дѣйствительно, вся частная жизнь Петра и вся его государственная дѣятельность есть первая фаза осуществленія въ русской исторіи начала личности не въ смыслѣ того направленія, которое она приняла отчасти при немъ, а въ особенности послѣ него въ Европѣ, а въ смыслѣ *человѣчности*. Вотъ искомая общая формула дѣятельности Петра. Петръ былъ выше Европы. И при исканіи «слѣдовъ Петра» необходимо имѣть это въ виду. Возьмемъ нѣсколько, по возможности разнообразныхъ, примѣровъ изъ жизни и дѣятельности Петра, чтобы нагляднѣе уяснить себѣ его задачу.

Припомнимъ, во-первыхъ, его знаменитыя слова въ письмѣ къ царевичу Алексѣю: «Я за отечество и за подданныхъ моихъ жизни не жалѣлъ и не жалѣю, то неужели пожалѣю тебя. Лучше будь чужой добрый, чѣмъ свой негодный». Здѣсь слышится голосъ человѣка, рѣшительно и безповоротно покончившаго со стихійнымъ началомъ родства. Но здѣсь нѣтъ личности, ставящей себя «безусловнымъ мѣриломъ всего». Петръ сбрасываетъ иго кровныхъ и династическихъ интересовъ, но онъ немедленно же сознательно налагаетъ на себя иго «отечества и подданныхъ», ради которыхъ онъ дѣйствительно «жизни не жалѣлъ».

Любопытно, что Петръ, будучи очень близокъ съ Лейбницемъ, ни малѣйше не увлекался его метафизикой. И это совершенно понятно. Метафизика ставитъ личность въ полномъ смыслѣ «безусловнымъ мѣриломъ всего». Это было нѣчто совершенно чуждое и духу, и задачѣ Петра. Петръ порѣшилъ съ предразсудками и суевѣріемъ. Онъ грубо и цинически топталъ ихъ своимъ «всешутѣйшимъ соборомъ» и т. п. Но, сбрасывая это иго, Петръ не распускалъ личность, не оставлялъ ее въ безвоздушномъ пространствѣ своеволія: онъ наложилъ на нее иго науки.

Петръ желалъ развитія промышленности, но идея безусловной частной собственности, безусловнаго господства личности надъ предметами общей необходимости была ему совершенно чужда. Это ясно видно изо всей его дѣятельности. Приведемъ слѣдующій примѣръ. Горное и металлургическое производство было до Петра въ рукахъ землевладѣльцевъ. Петръ взялъ его въ руки государства. Затѣмъ онъ разрѣшилъ разработку минераловъ и частнымъ лицамъ, но на слѣдующихъ условіяхъ. Въ указѣ объ учрежденіи бергъ-коллегіума говорится: «Намъ однимъ, яко монарху, принадлежатъ рудокопные заводы; но мы, по любви къ нашимъ подданнымъ, милостиво соизволяемъ употребленіе ихъ каждому и всѣмъ вообще, кто имѣетъ къ тому охоту». Далѣе всѣмъ и каждому даровалось право производить всякія горныя и металлургическія работы *безразлично на своихъ или на чужихъ земляхъ*, «дабы Божіе благословеніе подъ землею втунѣ не осталось».

Любопытно начало этого указа: «Намъ однимъ» и т. д. Ужъ, конечно, этотъ царь-плотникъ, царь-матросъ, дѣлавшій себѣ какую-то странную потѣху изъ «кесаря» Ромодановскаго, не кичился своимъ положеніемъ. Отъ этого «Намъ однимъ» не отдаетъ также и деспотизмомъ. Утверждать это было бы такъ же легкомысленно, какъ видѣть въ Петрѣ систематическаго либерала нынѣшняго чекана съ программою сената и «крѣпкихъ, самостоятельныхъ сословій». Коллизія обстоятельствъ заставляла Петра сплошь и рядомъ, за невозможностью создать новую узду для исключительно личнаго начала, для безусловнаго измѣренія всего однимъ этимъ началомъ—оставлять въ полной неприкосновенности, даже сильнѣе затягивать старую узду. Таковъ именно смыслъ указа объ учрежденіи бергъ-коллегіума и безчисленнаго множества другихъ. Требуется развить горнозаводское дѣло. Если предоставить его на волю безусловной частной собственности, то «божіе благословеніе будетъ подъ землей втунѣ пропадать». И вотъ Петръ ломаетъ идею частной собственности. А чѣмъ могъ онъ мотивировать такую ломку, какъ не тѣмъ, что «намъ однимъ, яко монарху, принадлежатъ рудокопные заводы»? Но онъ только пропускаетъ, такъ сказать, сквозь свою монаршую волю это право владѣнія заводами и затѣмъ отдаетъ его безразлично всякому желающему и умѣющему вести дѣло.

Задача Петра была трудна и громадна. Ему предстояло разбудить личность, сбросить съ нея старыя стихійныя оковы, но немедленно же указать ей новыя границы. Здѣсь и слѣдуетъ искать «слѣдовъ Петра». Мы не найдемъ при этомъ слѣдовъ, въ такой мѣрѣ ясныхъ и опредѣленныхъ, чтобы они давали намъ готовую, полную и опредѣленную программу дѣйствій. Отъ такихъ требованій надо совершенно отрѣшиться. Петръ былъ бы безумцемъ, если бы онъ въ самомъ дѣлѣ надѣялся провести программу, подобную той, какая ему предписывается авторомъ іюньскаго внутренняго обозрѣнія

«Вѣстника Европы». Могъ ли онъ разсчитывать дѣйствительно опереться на сенатъ, которому вынужденъ былъ читать такія наставленія: «Никому въ сенатѣ не позволяется разговоры имѣть о постороннихъ дѣлахъ, которыя не касаются службѣ нашей, меньше же кому дерзновеніе имѣть бездѣльными разговорами или шутками являться: но надобно вѣдать, что есть оное мѣсто сочинено, гдѣ поступать подобаетъ совсякою надлежащею учтивостью». Могъ ли онъ дѣйствительно опереться на дворянское самоуправленіе? Г. Романовичъ-Славатинскій такъ характеризуетъ отношеніе дворянъ того времени къ мѣстному самоуправленію: «Дворянина тянуло въ деревню не для того, чтобы пріобрѣсть въ ней авторитетъ и значеніе въ средѣ собратовъ землевладѣльцевъ, не для того, чтобы участвовать въ управленіи родною мѣстностью. Въ деревню его тянуло, чтобы *полежебокствовать*, чтобы насладиться привольемъ и покоемъ сельской жизни, чтобы показать дворянскую волю надъ холопами и дать разгуляться страстямъ и инстинктамъ, сдерживаемымъ дисциплиной царской службы. Понятно то безучастіе, какое показало мѣстное шляхетство къ выбору такой важной мѣстной должности, какъ должность земскаго коммиссара. На выборы въ эту должность шляхетство вмѣсто себя посылало своихъ приказчиковъ, что возбранялось указомъ 1724 года, предписывавшимъ выбирать самимъ помѣщикамъ, а въ выборѣ тѣхъ коммиссаровъ приказчикамъ не быть (№ 4,458). Но указы не могли породить въ шляхетствѣ интереса къ выборамъ, на которые оно продолжало смотрѣть, какъ на тяжелую обязанность, отъ которой старалось *отлынивать*, какъ *отлынивало* отъ обязательной службы» (Дворянство въ Россіи, 408).

Петръ могъ, конечно, ошибаться и часто ошибался, но онъ слишкомъ хорошо зналъ современное ему русское общество, чтобы возвести въ систему такую ошибку, какъ конституціонная программа XIX вѣка въ грубой и не развитой Россіи XVIII вѣка. Хотя несомнѣнно, что въ числѣ другихъ средствъ для достиженія своихъ цѣлей онъ пускалъ въ ходъ и самоуправленіе. Точно такъ же онъ, въ случаѣ надобности, не постѣснился бы, и дѣйствительно не стѣснялся, вмѣшаться въ зачатки самоуправленія своею державною волею. Въ числѣ другихъ ощупью отыскиваемыхъ мѣръ Петръ схватился и за институтъ майората. Но не надо забывать, что у насъ это не былъ институтъ исключительно дворянскій, какъ въ Европѣ; ибо помысли Петра майоратъ распространялся не только на поземельную, а и на движимую собственность, слѣдовательно, былъ равно обязателенъ для всѣхъ сословій. Учрежденіе майората мотивировалось для Петра не только желаніемъ сохранить отъ разоренія дворянскія фамиліи, а и чисто государственными цѣлями,—удобствомъ сбора податей и привлеченіемъ младшихъ сыновей къ государственной службѣ и другимъ занятіямъ, и заботами о крестьянахъ. При этомъ Петръ разсуждалъ такъ: дѣти богатаго отца привыкли жить роскошно, а между тѣмъ, въ силу раздробленія наслѣдства, оказываются бѣдняками, обременяющими, для удовлетворенія своихъ широкихъ потребностей, крестьянъ поборами. Петръ не зналъ дилеммы: «всеуравнивающая, всесглаживающая бюрократія», или «крѣпкія, самостоятельныя сословія». По самому положенію своему, онъ долженъ былъ пробовать очень разнообразныя комбинаціи власти и свободы, между которыми особенно любопытно учрежденіе «фискаловъ». Это были областные прокуроры, выборныя лица, на обязанности которыхъ лежало наблюденіе за дѣйствіями мѣстной администраціи. Эти фискалы не были учрежденіемъ сословнымъ. Напротивъ, они могли быть всякаго «чина», лишь бы былъ человѣкъ «добрый». Да и вообще Петръ былъ слишкомъ проникнутъ государственною идеею, которая, впрочемъ, не была для него ни династическою, ни полицейскою идеею, чтобы навязать личности тѣсныя сословныя границы. Его задача состояла въ томъ, чтобы вывести на арену исторіи не узкую, ограненную односторонними сословными интересами *личность*, а всесторонняго *человѣка*. Самъ Петръ служилъ интересамъ не династіи, а русскаго народа. Поэому ему вполнѣ естественно было требовать отъ другихъ служенія тому же русскому народу, а не тому или другому сословію. Конечно, онъ могъ, въ видѣ временной мѣры, требовать хотя какого-нибудь расширенія личныхъ интересовъ, хотя бы въ предѣлахъ сословія или родной мѣстности. Но, разумѣется, Петръ глубоко понималъ, что это только временная мѣра, и очень удивился бы, если бы узналъ, что ко дню его двухсотлѣтняго юбилея этотъ этапъ, эта станція обратилась въ цѣль путешествія.

Задача Петра была такъ широка, дѣятельность его была такъ многостороння и сталкивалась съ такими трудностями, что представитель любой современной политической доктрины можетъ не безъ успѣха навязать ему свое ученіе. Но можно, конечно, a priori сказать, что такой пріемъ объясненія дѣятельности Петра приведетъ къ грубымъ ошибкамъ. Многимъ можетъ показаться, что, принимаясь за дѣло этимъ способомъ, можно во всякомъ случаѣ, придти къ чему-то, вполнѣ ясному и осязательному, тогда какъ выведенная мною изъ «Взгляда» г. Ка-

велина формула дѣятельности Петра обща до безсодержательности. Но ясность результатовъ, добытыхъ первымъ способомъ, есть оптическій обманъ, нѣчто фальшивое въ самомъ основаніи своемъ. Вы получаете какъ будто очень много, тогда какъ въ сущности не получаете ровно ничего, или, по крайней мѣрѣ, не больше, чѣмъ отъ «Малороссійскихъ эмигрантовъ при Петрѣ». Напротивъ, общая формула, въ родѣ Кавелинской, и не пытается дать вамъ что-нибудь рѣзко очерченное, ибо именно съ ея точки зрѣнія все рѣзко очерченное будетъ въ данномъ случаѣ фальшфейеромъ. Она вамъ самимъ предоставляетъ анализомъ современныхъ условій привести въ ясность вопросъ о «слѣдахъ Петра». Она не безсодержательна, а только не берется за невозможное дѣло: связать двѣ историческія точки, отстоящія одна отъ другой на 150 лѣтъ, вполнѣ опредѣленными частностями. Сбрасывая съ себя и съ Россіи иго всего стихійнаго, фатальнаго, безсознательнаго, Петръ не выпустилъ ни свою и никакую другую личность въ безвоздушное пространство. Онъ сознательно подчинялъ всѣ личные интересы интересамъ русскаго народа. Служите русскому народу, топите всякіе личные интересы въ интересахъ народа,—и вы пойдете по его слѣдамъ. Но вы не пойдете по слѣдамъ Петра, если будете расширять предѣлы отечества или требовать непремѣнно шествія по стопамъ западной цивилизаціи. Хотя въ свое время Петръ и расширялъ предѣлы Россіи и шелъ по стопамъ западной цивилизаціи, дѣлая это единственно въ интересахъ народа, но съ тѣхъ поръ понятія западной цивилизаціи и народа значительно усложнились и подлежатъ новому пересмотру. Только анализомъ этихъ понятій въ ихъ новомъ видѣ можно уяснить себѣ и частности слѣдовъ Петра. Не анализомъ этимъ, конечно, а только нѣкоторыми указаніями на него мы займемся сейчасъ. А теперь укажемъ на литературную новость.

Недавно вышелъ заслуживающій нѣкотораго вниманія сборникъ «Недѣли» «Русскіе общественные вопросы». Прежде всего заслуживаетъ вниманія исторія этого сборника, разсказываемая самими гг. издателями. Вотъ эта интересная и поучительная исторія. Г. Гайдебуровъ и г-жа Конради купили газету «Недѣля» у ея прежняго владѣльца г. Генкеля, въ октябрѣ 1869 г., послѣ шестимѣсячной ея пріостановки. При этомъ г. Генкель остался отвѣтственнымъ редакторомъ газеты, съ тѣмъ, однако, условіемъ, чтобы по прошествіи извѣстнаго времени онъ былъ замѣненъ другимъ лицомъ. Послѣднее оказалось, однако, дѣломъ не легкимъ. Новые издатели представили въ главное управленіе по дѣламъ печати сразу трехъ лицъ, ходатайствуя объ утвержденіи кого-нибудь изъ нихъ отвѣтственнымъ редакторомъ. Всѣ трое были забракованы, точно такъ же и четвертое, и пятое лицо. Между тѣмъ 4-го апрѣля 1871 года «Недѣля» получила третье предостереженіе и была снова пріостановлена на шесть мѣсяцевъ. Удовлетвореніе подписчиковъ за этотъ полугодовой перерывъ и составляетъ цѣль сборника «Русскіе общественные вопросы». Но этимъ не окончились мытарства «Недѣли». По полученіи третьяго предостереженія, г. Генкель сталъ настоятельно требовать исполненія условія относительно замѣны его другимъ отвѣтственнымъ редакторомъ. Впрочемъ, издателямъ-сотрудникамъ «Недѣли» удалось уговорить г. Генкеля еще на нѣкоторое время, и съ 4-го октября 1871 г. «Недѣля» стала выходить по прежнему. Дѣло, однако, шло плохо. Въ 1871 году подписчиковъ было 2,000 слишкомъ, а въ 1872 г. цифра эта упала до 1,500, при чемъ нѣкоторые подписчики, высылая только полугодовую плату, выражали прямо увѣренность, что «Недѣля» только полгода и просуществуетъ, въ виду новыхъ административныхъ взысканій. Издатели рѣшились вести дѣло какъ можно осторожнѣе, и, дѣйствительно, въ продолженіе пяти мѣсяцевъ «Недѣля» никакихъ непріятностей съ цензурой не имѣла. Но въ началѣ марта случился неожиданный казусъ: г. Генкель внезапно уѣхалъ за границу, не предупредивъ объ этомъ никого. Издатели-сотрудники «Недѣли» обратились въ главное управленіе по дѣламъ печати съ просьбой о разрѣшеніи имъ, впредь до пріисканія и утвержденія новаго редактора, выпускать газету подъ временною отвѣтственностью кого нибудь изъ нихъ. Но разрѣшенія не послѣдовало и «Недѣля» пріостановилась. Тогда издатели представили новое—по общему счету шестое—лицо для утвержденія его постояннымъ редакторомъ, но опять потерпѣли неудачу. Съ седьмымъ повторилась та же самая исторія. Надо замѣтить, что закономъ не полагается никакого опредѣленнаго срока на собраніе главнымъ управленіемъ нужныхъ ему свѣдѣній о томъ или другомъ кандидатѣ на званіе отвѣтственнаго редактора. Издателямъ-сотрудникамъ «Недѣли» въ прошломъ году пришлось ждать отвѣта относительно одного изъ представленныхъ лицъ — *болѣе полугода.* Между тѣмъ существуетъ постановленіе, по которому «всякое повременное изданіе, уже выходившее въ свѣтъ, но *по какимъ-либо причинамъ* не появлявшееся въ теченіе года, считается прекратившимся, и на возобновленіе онаго требуется новое разрѣшеніе». Положеніе г. Гайдебурова и г-жи Конради, очевидно, крайне затруднительно. Они, во-первыхъ, должны изыскивать средства для удовлетворенія подписчиковъ. Далѣе, представляя по-

слѣдовательно въ главное управленіе одного редактора за другимъ, они легко могутъ пропустить установленный закономъ годовой срокъ. Наконецъ, даже и передать газету въ другія руки имъ крайне трудно. Кто возьметъ газету,— какъ бы ни были скромны требованія ея нынѣшнихъ владѣльцевъ, — кто возьметъ газету, не дающую никакого дохода, не имѣющую редактора и въ глазахъ подписчиковъ значительно дискредитированную? Гг. издатели справедливо замѣчаютъ: «правда, у насъ не часты случаи, подобные настоящему. Но уже одна возможность такихъ положеній, въ которыхъ издатели, безъ всякой съ своей стороны вины, лишаются всего своего имущества, заставляетъ обратить вниманіе на неполноту нашего законодательства о печати». Дѣйствительно, это фактъ, надъ которымъ стоитъ призадуматься. Вы издаете газету или журналъ безъ цензуры. Въ случаѣ нарушенія законовъ о печати, относительно васъ могутъ быть приняты слѣдующія мѣры: 1) судебное преслѣдованіе, 2) предостереженія и пріостановка изданія, 3) запрещеніе розничной продажи нумеровъ, 4) задержаніе нумеровъ изданія до выхода ихъ въ свѣтъ, 5) запрещеніе изданія. Положимъ, вы подверглись всѣмъ этимъ взысканіямъ и наказаніямъ за исключеніемъ послѣдняго и перваго (судебное преслѣдованіе періодическаго изданія есть у насъ, къ сожалѣнію, величайшая рѣдкость). Наконецъ, вы рѣшаетесь вести дѣло какъ можно осторожнѣе и строго блюсти за тѣмъ, чтобы не выходить изъ предѣловъ законности, рѣшаетесь, однимъ словомъ, «исправиться». Это вамъ удается и вы мирно и спокойно существуете годъ, два. Но тутъ съ вашимъ редакторомъ, не принимающимъ, собственно говоря, никакого участія въ изданіи, ни въ хозяйственномъ, ни въ литературномъ отношеніи, случается какой-нибудь неожиданный казусъ: онъ умираетъ, исчезаетъ за границу, наконецъ, просто по личнымъ непріятностямъ съ вами отказываетъ вамъ въ своей подписи. Вы представляете 10—20 лицъ, вполнѣ, повидимому, политически благонадежныхъ, но ни одно изъ нихъ не утверждается. Между тѣмъ приходитъ годъ,— и трахъ!—вы не только лишаетесь возможности вести дорогое и привычное вамъ дѣло, но еще вдобавокъ разоряетесь, а между тѣмъ вы «исправились»; вы ни въ чемъ не виноваты, вы, положа рука на сердце, можете сказать: откуда мнѣ сіе? Подозрительнымъ людямъ можетъ даже придти въ голову, что эта браковка цѣлаго ряда кандидатовъ на неимѣющее никакого значенія званіе есть нѣчто преднамѣренное. Но какая же надобность правительству прибѣгать къ такимъ кривымъ путямъ, когда интересы закона такъ прочно гарантированы совокупностью вышеупомянутыхъ взысканій и наказаній? Какая ему, далѣе, надобность разорять людей, посильно и въ предѣлахъ законности желающихъ послужить отечеству? Будемъ надѣяться, что новый уставъ о печати, котораго мы уже давно ждемъ, доставитъ болѣе солидныя гарантіи собственности издателей и свободѣ прессы. Будемъ надѣяться, что онъ сузитъ предѣлы административныхъ взысканій и замѣнитъ ихъ судебными преслѣдованіями. Будемъ надѣяться, что онъ обусловитъ собою меньшую разборчивость въ дѣлѣ утвержденія отвѣтственныхъ редакторовъ, этихъ часто «лицъ безъ рѣчей». Замѣтимъ мимоходомъ, что, не смотря на существующую нынѣ въ этомъ отношеніи разборчивость, то и дѣло слышно объ исчезновеніи отвѣтственныхъ редакторовъ, вмѣстѣ съ чѣмъ сажается на мель предпріятіе и утрачивается довѣріе публики къ новымъ изданіямъ. Такъ исчезли редакторы «Современнаго Обозрѣнія»—г. Тибленъ, «Азіатскаго Вѣстника»—г. Пашино, «Искры»—г. Леонтьевъ. А между тѣмъ это, вѣроятно, все лица «избранныя». Будемъ надѣяться на новый уставъ:

Вотъ пріѣдетъ баринъ,—
Баринъ насъ разсудитъ...

Впрочемъ, объ этомъ уставѣ ходятъ разнорѣчивые слухи...

Но обратимся къ содержанію сборника «Недѣли». Мы не найдемъ тутъ чего-нибудь очень крупнаго или блестящаго, найдемъ, напротивъ, не мало слабаго, поверхностнаго и ненужнаго. Но взамѣнъ того, мы найдемъ во многихъ статьяхъ сборника задатки трезваго пониманія требованій нашей общественной жизни. Я позволю себѣ обратить вниманіе читателя на слѣдующія отдѣльныя положенія нѣкоторыхъ сотрудниковъ сборника. Такія мысли не часто встрѣчаются въ русской литературѣ и заслуживаютъ полнаго вниманія.

«Освобожденіе крестьянъ съ землей сдѣлало Россію въ соціальномъ смыслѣ tabula rasa, на которой еще открыта возможность написать ту или другую будущность. Эта возможность начать съ начала и положить зародышъ будущаго развитія возлагаетъ на представителей умственной жизни въ Россіи широкую задачу: руководствуясь опытомъ другихъ странъ, избѣжать тѣхъ ошибокъ, исправленіе которыхъ теперь составляетъ тамъ заботу всѣхъ передовыхъ дѣятелей. Важность этой задачи, выпавшей на долю дѣйствующихъ поколѣній, требуетъ отъ нихъ напряженія всѣхъ умственныхъ силъ, самой добросовѣстной работы, не допускающей никакихъ предвзятыхъ идей, никакого обезьянничества. Все сдѣланное теперь отзовется на всей будущей жизни Россіи; всякій промахъ, всякое легкомысленное рѣшеніе падетъ тяжелымъ

проклятіемъ на теперешнее поколѣніе» (А. В. Яковлевъ. «Ассоціація и артель», 300).

«Пролетаріатъ, къ сожалѣнію, дѣйствительно зарождается въ Россіи; можно сказать даже, что онъ растетъ довольно быстро... Требуется предотвратить язву пролетаріата, свирѣпствующую въ западной Европѣ и угрожающую въ будущемъ Россіи. Излѣченіе этой язвы мнѣ всегда казалось такою тяжелою задачею, которая, по крайней мѣрѣ, моему уму, моимъ понятіямъ не по силамъ. Но въ то же время я убѣжденъ, что предупрежденіе ея возможно, если только мѣры будутъ приняты во время» (Кн. А. И. Васильчиковъ. «Ссудо-сберегательныя товарищества въ Россіи», 315).

Мы отъ души привѣтствуемъ энергическія слова г. Яковлева и тревожныя сомнѣнія кн. Васильчикова. Пора оставить самоуслажденіе юбилейнымъ ораторамъ и застольнымъ поэтамъ. Давно пора. Вопросъ объ общемъ направленіи нашей жизни, затертый разработкою частностей, не есть вопросъ, ни праздный, ни «идиллическій», какъ многіе стараются увѣрить. Его ставитъ сама жизнь и отворачиваться отъ него могутъ только мелкая и въ сущности бездѣльная дѣловитость, да сознательное лицемѣріе. Мы, дѣйствительно, переживаемъ важную и торжественную минуту, на нашу долю, дѣйствительно, выпала важная задача. Но минута эта важна не какъ стимулъ для юбилейныхъ тостовъ и ликованія. Она важна потому, что опредѣляетъ собою переломъ въ русской исторіи, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ даже болѣе важный, чѣмъ переломъ XVIII вѣка, отмѣченный геніальнымъ образомъ Петра. Вотъ мысль, которую намъ особенно хотѣлось бы внушить читателю. Пусть читатель идетъ налѣво, пусть онъ идетъ направо (намъ хотѣлось бы, разумѣется, чтобы онъ избралъ правую сторону), но пусть онъ, по крайней мѣрѣ, знаетъ, что онъ дѣлаетъ. Только сознаніе важности этой цѣли можетъ скрасить невеселую возню съ разными безшабашными рыцарями безпечальнаго образа.

Насъ усердно приглашаютъ идти по слѣдамъ Петра. Намъ усердно жужжатъ, что никакихъ особенныхъ приготовленій для такого шествованія не требуется, ибо мы и такъ идемъ уже по слѣдамъ Петра. А между тѣмъ мы должны выслушивать такія, напримѣръ, горькія истины. Одинъ изъ сотрудниковъ сборника «Русскіе общественные вопросы», кн. Васильчиковъ, говоритъ: «Слово «народный», мнѣ кажется, употреблялось и употребляется весьма частое всуе. *Народнымъ* зовутъ и просвѣщеніе, хотя оно до новѣйшаго времени исключительно обращалось къ образованію средняго и высшаго сословія; *народнымъ* называютъ и продовольствіе, хотя мѣропріятія по этому предмету большею частью доставляли очень скудныя средства и очень незначительному меньшинству населенія; *народнымъ* называли и здравіе, хотя медицинскія пособія до простого народа весьма рѣдко достигали; наконецъ, *народнымъ* называли и кредитъ, хотя онъ давался только подъ залогъ такого имущества, движимаго и недвижимаго, какого у народа нѣтъ, или подъ учетъ такихъ бумагъ, какихъ въ простомъ народѣ въ обращеніи не существуетъ» (306). Помимо горькой ироніи, которая заключается въ томъ, что народное здравіе, народное просвѣщеніе, народное продовольствіе, народный кредитъ народу не даются, — это иронія исторіи, виноваты въ ней не мы, не наше поколѣніе,—въ словахъ кн. Васильчикова звучитъ еще одна горькая истина. Та именно, что къ ироніи исторіи мы относимся какъ въ чему-то логическому, что намъ нужно разъяснять такія истины. Намъ еще недавно, съ удивительною ясностью лба, доказывали, что въ Россіи существуетъ только два направленія: ретроградное и либеральное, въ которомъ группируются всѣ искренніе друзья народа. Но что такое народъ? Вотъ вопросъ, на который едва ли въ состояніи будутъ отвѣчать всѣ яснолобые либералы. Для нихъ, какъ выражается Базаровъ, народъ есть тотъ таинственный незнакомецъ, который фигурируетъ въ романахъ г-жи Ратклифъ. Онъ нуженъ, неизбѣженъ, какъ дѣйствующее лицо романа, но снимать съ него покрывало таинственности, значитъ разрушать планъ романа. А романъ хорошъ и увлекателенъ. Въ немъ описывается Россія, просвѣщенная, изрѣзанная по всѣмъ направленіямъ желѣзными дорогами, переполненная фабриками и заводами, кишащая банками и акціонерными обществами, самоуправляющаяся. Вотъ какими благами засыпанъ въ романѣ яснолобыхъ либераловъ таинственный незнакомецъ. Не разрушать же эту картину ради какимъ-то логическихъ требованій, ради разоблаченія ироніи исторіи, ради устраненія таинственности, когда въ ней именно весь смакъ романа.

Къ счастію, противъ этой таинственности возникаетъ уже нѣкоторая реакція. Появляются люди, умѣющіе анализировать понятіе народа. Кн. Васильчиковъ разсказываетъ очень любопытную исторію о томъ, какъ нѣкоторые финансовые тузы желали пристроиться къ дѣлу народнаго кредита. Кн. Васильчикову и его единомышленникамъ приходилось просить совѣтовъ и указаній у нѣкоторыхъ спеціалистовъ-финансистовъ. Тѣ утверждали, что народный кредитъ невозможенъ, такъ какъ народъ не можетъ представить никакого обезпеченія. А на возраже-

ніе, что ссуды могутъ обезпечиваться круговою порукою крестьянъ, спеціалисты «отвѣчали улыбкой жалости къ такимъ превратнымъ экономическимъ и финансовымъ понятіямъ». Но тутъ же «явились и другіе финансисты съ болѣе практическими или спекулятивными соображеніями, которые предлагали въ этомъ случаѣ свои услуги для основанія центральнаго банка въ помощь ссуднымъ товариществамъ и, разумѣется, съ участіемъ въ ихъ барышахъ и убыткахъ. Когда мы имѣли дерзость отвѣчать, что не только такую помощь не признаемъ въ настоящее время нужною, но что участіе въ барышахъ и убыткахъ крупнаго банка только повредитъ нашему дѣлу, то улыбка жалости превращалась въ улыбку презрѣнія». И кн. Васильчиковъ былъ, очевидно, достоинъ этой улыбки презрѣнія,—не правда ли, яснолобые либералы? Онъ затѣялъ «идиллію»,—это даже спеціалисты рѣшили,—онъ задумалъ обойтись безъ «нужныхъ» людей, великодушно предлагавшихъ свои щедрыя услуги тому самому народу, кость отъ кости котораго составляютъ они сами. Развѣ неизвѣстно кн. Васильчикову, что въ Россіи существуютъ только два разряда людей: ретрограды и либералы или, что то же, искренніе друзья народа? Зачѣмъ же онъ такъ неделикатно отталкиваетъ друзей народа, входящихъ въ составъ народа? «Дѣйствительно,—спрашиваетъ кн. Васильчиковъ,—былъ ли вѣренъ разсчетъ практическихъ финансистовъ? Правда, что едва ли при другихъ операціяхъ банки и банкиры могли бы зарабатывать такіе проценты, какіе обнаруживаются въ отчетахъ ссудныхъ товариществъ. Въ одномъ изъ нихъ прибыль составляетъ 32% на паевой капиталъ, въ другомъ 39%, въ третьемъ 48%, въ четвертомъ 33%, въ пятомъ 24%. Наконецъ, въ одномъ, именно Гдовскомъ, Петербургской губерніи, 79%. Въ средней сложности всѣхъ товариществъ отношеніе чистой прибыли къ собственному паевому капиталу составляетъ 31—32%. Очевидно, что центральный банкъ нашелъ бы выгоды отъ участія въ такихъ барышахъ, но едва ли бы эти барыши не исчезли отъ участія крупныхъ капиталистовъ, поглощаясь ими соразмѣрно ихъ благотворительному содѣйствію». Идиллія, положительно идиллія! Впрочемъ, какъ свидѣтельствуетъ кн. Васильчиковъ, дѣло народнаго кредита идетъ недурно и безъ нужныхъ людей. Нужно думать, что интересы капиталистовъ, предлагавшихъ свои услуги ссудосберегательнымъ товариществамъ, не совсѣмъ совпадаютъ съ интересами народа, что капиталисты эти не входятъ въ составъ таинственнаго незнакомца.

Кто же этотъ таинственный незнакомецъ? Ближе всего было бы думать, что онъ мужикъ. Но это совсѣмъ несправедливо. Въ статьѣ г. Шапиро «Нужды русскаго сѣвера» (Русск. общ. вопросы, 151—238), основанной отчасти на собственныхъ наблюденіяхъ автора, отчасти на работахъ архангельскаго статистическаго комитета (кстати, нельзя не пожалѣть объ отсутствіи въ Петербургѣ склада провинціальныхъ изданій), читатель найдетъ массу фактовъ, доказывающихъ, что мужикъ еще не значитъ народъ. На Поморьѣ существуетъ характерная поговорка: пусти душу въ адъ, такъ и будешь богатъ. Занимаются пусканіемъ души въ адъ обыкновенно кулаки изъ крестьянъ же. Сколотивъ всякими правдами и неправдами кое-какой капиталецъ, кулакъ, въ качествѣ нужнаго человѣка, предлагаетъ свои услуги рабочимъ артелямъ или отдѣльнымъ промышленникамъ. Онъ предлагаетъ ихъ съ такимъ же великодушіемъ, съ какимъ крупные капиталисты брались помочь дѣлу ссудосберегательныхъ товариществъ устройствомъ центральнаго банка. Онъ платитъ за нихъ подати, отпускаетъ товары въ долгъ и при помощи такихъ благодѣяній закабаляетъ ихъ совсѣмъ, такъ что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ они его иначе и не зовутъ, какъ своимъ господиномъ. Точно такъ же ведутъ себя и артельные старосты, и приказчики купеческихъ конторъ, вышедшіе всѣ тоже, главнымъ образомъ, изъ крестьянъ. Но едва ли даже яснолобые либералы будутъ утверждать, что интересы этихъ кулаковъ, состоящіе въ высасываніи изъ народа всякой трудовой копѣйки, суть интересы народа. Они не станутъ этого утверждать, впрочемъ, только потому, что операція высасыванія производится въ этомъ случаѣ въ сравнительно мелкихъ размѣрахъ, съ патріархальною грубостью и безъ малѣйшихъ либеральныхъ украшеній. Но, высасывая понемножку, кулакъ изъ крестьянъ можетъ, наконецъ, развернуться, повести дѣло на широкую ногу и обзавестись и либеральными украшеніями, тѣмъ болѣе, что при веденіи дѣла на широкую ногу, грязная, грубая сторона операціи высасыванія не бросается такъ въ глаза. Но можетъ ли крестьянинъ скопить сумму, достаточную для веденія широкаго дѣла? Можетъ. Это видно изъ біографіи нашего извѣстнаго желѣзнодорожнаго дѣятеля г. Губонина. Какъ видно изъ свѣдѣній, обязательно сообщенныхъ о немъ публикѣ въ № 178 «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», г. Губонинъ откупился въ 1860 году на волю у своего помѣщика, генерала Бибикова, за 10,000 рублей. Значитъ, онъ въ крѣпостномъ даже состояніи сумѣлъ составить себѣ довольно таки кругленькій капиталецъ. Я не знаю, какими путями онъ его добылъ («С.-Петербургскія Вѣдомости» объ этомъ не говорятъ). Но вѣрно то, что онъ нынѣ ведетъ мильон-

ныя дѣла, признается однимъ изъ самыхъ нужныхъ людей въ Россіи и радуетъ «С.-Петербургскія Вѣдомости» тѣмъ, что «Коммиссаровская школа создана для неимущихъ, для дѣтей простого народа, и создана въ большей части человѣкомъ, который самъ вышелъ изъ простого народа». И всетаки я не думаю, чтобы интересы г. Губонина совпадали съ интересами русскаго народа, не смотря на всѣ его пожертвованія и услуги русскому прогрессу. Они не совпадаютъ ровно въ такой же мѣрѣ, въ какой чужды интересамъ народа интересы г. Варшавскаго и прочихъ тузовъ, біографіи которыхъ до сихъ поръ, къ сожалѣнію, не опубликованы, но которые могутъ быть самаго аристократическаго происхожденія.

Въ западной Европѣ, гдѣ, за громаднымъ развитіемъ различныхъ взаимно враждебныхъ интересовъ, гораздо труднѣе, чѣмъ у насъ, выяснить понятіе народа, тѣмъ не менѣе выработался (правда, не школьною наукою) на этотъ счетъ очень простой и глубоко вѣрный взглядъ: народъ, въ настоящемъ смыслѣ слова, есть совокупность трудящихся классовъ общества. Служить народу значитъ работать на пользу трудящагося люда. Служа этому народу по преимуществу, вы не служите никакой привилегіи, никакому исключительному интересу, вы служите просто труду, слѣдовательно, между прочимъ, и самому себѣ, если вы только вообще чему-нибудь служите. Вотъ до послѣдней степени простая мысль, которая тѣмъ не менѣе снимаетъ нѣсколько покрывало таинственности съ незнакомца, фигурирующаго въ красивомъ романѣ яснолобыхъ либераловъ. Этою нехитрою мыслью должны повѣряться всѣ разсужденія о развитіи отечественной промышленности и сельскаго хозяйства, о самоуправленіи и проч., и проч. Возьмите любой цвѣтокъ прогресса и цивилизаціи. Если онъ теперь или въ будущемъ, непосредственно или косвенно, безусловно или по стеченію обстоятельствъ, поведетъ къ закабаленію труда, ляжетъ на него бременемъ,—онъ не стоитъ мѣднаго гроша, ибо подрываетъ корень существованія общества. Другое дѣло, если этотъ цвѣтокъ можетъ быть посаженъ на нашей почвѣ, если не съ пользою для народа, то, по крайней мѣрѣ, не въ ущербъ ему. Тогда насаждайте его, и пусть онъ плодится и множится. Это, къ счастью, понимается уже многими, какъ видно изъ статей гг. Португалова, Шапиро, Яковлева, Васильчикова, напечатанныхъ въ сборникѣ «Русскіе общественные вопросы». И за это мы охотно прощаемъ сборнику его слабыя стороны и желаемъ ему всякаго успѣха.

Для облегченія положенія трудящихся классовъ требуется прежде всего устраненіе нужнаго человѣка. Въ немъ именно все дѣло. И иди мы по настоящимъ, а не поддѣльнымъ слѣдамъ Петра, не по тѣмъ, которые ищутся попугаеобразнымъ способомъ, нужный человѣкъ не сидѣлъ бы у насъ въ переднемъ углу. Нужный человѣкъ есть самый яркій представитель того исключительно личнаго начала, недовѣріе къ которому Петръ завѣщалъ намъ всею своею дѣятельностью. Являясь какъ бы на помощь труду, нужный человѣкъ только закабаляетъ его. Представляя элементъ труда въ обществѣ, народъ не имѣетъ въ своихъ рукахъ орудій производства. Ихъ предлагаетъ ему нужный человѣкъ и за это получаетъ львиную долю продукта. Дѣло, значитъ, только въ томъ, чтобы сосредоточить орудія производства въ рукахъ представителей труда. Все, становящееся поперекъ дороги къ этой цѣли, — будь это свобода, промышленность, желѣзная дорога, грандіозный финансовый планъ, самоуправленіе,—подлежитъ уничтоженію, которое будетъ и выгодно, и справедливо. Истинная свобода, правильно организованная и полезная промышленность, не шулерская финансовая комбинація, нужная желѣзная дорога, истинное самоуправленіе—не могутъ стоять въ противорѣчіи съ интересами народа или, что то же, труда. Въ такомъ положеніи могутъ быть только цѣли и результаты дѣятельности нужнаго человѣка, прикрытые красивою мантіей таинственнаго незнакомца. Какъ же справиться съ нужнымъ человѣкомъ? Вышепоименованные авторы предлагаютъ различныя мѣры: ссудосберегательныя кассы и другія ассоціаціи, сосредоточеніе предпринимательской дѣятельности въ земствѣ (передачу земству изъ рукъ скупщиковъ и капиталистовъ хлѣбной торговли, рыбныхъ ловель, эксплуатаціи минеральныхъ богатствъ, пароходства, желѣзныхъ дорогъ, страхованій и проч.). Когда у насъ заходитъ рѣчь объ организаціи рабочаго труда (это плеоназмъ, употребляющійся только по привычкѣ), раздаются обыкновенно голоса, громко и съ азартомъ отрицающіе государственную помощь. Трудно представить себѣ что-нибудь страннѣе и даже, можно сказать, наглѣе этихъ голосовъ. Стоитъ только припомнить, что они раздаются въ странѣ, гдѣ, съ одной стороны, только вчера освобождены государственнымъ вмѣшательствомъ милліоны крѣпостныхъ, гдѣ съ другой стороны, послѣ освобожденія огромныя суммы, изъ взыскиваемыхъ съ податныхъ сословій, т. е. почти исключительно съ труда, уходятъ на субсидіи и гарантіи капиталистамъ-предпринимателямъ. Эти привилегіи, субсидіи и гарантіи никѣмъ не опротестованы, протесты считаются даже идилліями, тогда какъ при малѣйшемъ намекѣ на государственную помощь труду поднимаются

азартные крики. Можно помочь крестьянскими деньгами и г. Губонину, и г. Варшавскому, и кому угодно, но только не крестьянамъ. Тутъ мы начинаемъ взывать о свободѣ, невмѣшательствѣ, о «казенной» организаціи труда, о самопомощи и о другихъ прекрасныхъ вещахъ. И въ этомъ хорѣ не отказывается принимать участіе и литература, журналистика. Происходи все это, напримѣръ, во Франціи, нашелся бы, разумѣется, какой-нибудь Локруа, который сказалъ бы,— я не хочу портить переводомъ эти мѣткія слова: servir le peuple, c'est la théorie et le pretexte pour les journalistes vendus à la bourgeoisie; se servir du peuple, c'est la pratique et le profit.

Но у насъ эти слова вовсе не могутъ быть названы мѣткими. Буржуазія въ смыслѣ людей средняго достатка и порядочнаго образованія, конечно, всегда у насъ существовала. Но въ смыслѣ обособленныхъ интересовъ и стремленій она только что послѣ освобожденія крестьянъ и могла народиться. Это разъ. Во-вторыхъ, голосъ журналистики имѣетъ у насъ еще слишкомъ мало вѣса, чтобы могла образоваться систематическая купля и продажа мнѣній. Возможны, конечно, отдѣльные случаи такой купли и продажи—они вѣдь существовали еще во времена Булгарина. Но это всетаки исключенія. И даже сравнивая два поразительно сходныя, по внѣшности, явленія въ русской и европейской журналистикѣ, изъ которыхъ послѣднее завѣдомо обусловлено самою наглою продажностью, мы не рѣшимся сдѣлать тотъ же приговоръ относительно перваго. Мы найдемъ для него другія объясненія, тоже, конечно, прискорбныя. Намъ именно хочется сопоставить два такія явленія.

Вышеприведенныя слова Локруа сказаны были, между прочимъ, по поводу одной крупной взятки, взятой знаменитымъ редакторомъ «Фигаро» Вильмессаномъ, тѣмъ самымъ Вильмессаномъ, который имѣлъ однажды наглость публично и въ самыхъ льстивыхъ выраженіяхъ благодарить Ротшильда за какую-то подачку. Исторія этой взятки слѣдующая.

Одно изъ наиболѣе дутыхъ и шулерски организованныхъ акціонерныхъ обществъ, и безъ того уже ошеломившее биржу громадностью основного капитала, собраннаго единственно съ цѣлью монополизировать дѣло ажіотажа, вскорѣ послѣ первой же выдачи очень высокаго и, конечно, фальшиваго (или фиктивнаго) дивиденда,—задумало увеличить свой капиталъ еще нѣсколькими десятками милліоновъ. Общественное мнѣніе отнеслось нѣсколько подозрительно къ такому увеличенію, и Вильмессанъ, постоянно игравшій на биржѣ, вздумалъ воспользоваться этимъ, т. е. ознакомиться съ закулисною стороною предпріятія и написать очень рѣзкую передовую статейку о вредѣ, ожидающемъ акціонеровъ, если капиталъ общества еще увеличится. Прибавлено было, что правленіе и директоры не безъ цѣли облекаютъ эту мѣру таинственностью и не обнародываютъ оффиціально, какимъ порядкомъ они предполагаютъ совершить это увеличеніе, что крайне нужно сдѣлать предварительно, чтобы акціонеры могли приготовиться къ возраженію на ближайшемъ общемъ собраніи. Акціонеры чуть не предупреждались Вильмессаномъ, что ихъ хотятъ ограбить. На биржѣ и между акціонерами составилась оппозиція правленію общества; противники увеличенія капитала уже надѣялись восторжествовать, и что же? Наканунѣ дня, въ который все должно было рѣшиться, появляется статья того же Вильмессана о глубокой проницательности людей, задумавшихъ развить такое золотое и прибыльное дѣло до крайнихъ размѣровъ, чтобы разомъ убить всякую возможность конкурренціи ему со стороны и облагодѣтельствовать, такимъ образомъ, акціонеровъ, т. е. обезпечить имъ на долгое время дивидендъ еще болѣе высокій, чѣмъ полученный на первый годъ. Это было написано для акціонеровъ, которымъ предстояло на завтра присутствовать въ общемъ собраніи. Наступилъ роковой день, и, конечно, гибельная для акціонеровъ мѣра, превознесенная однимъ изъ директоровъ правленія до небесъ—была принята; за нее оказалось большинство голосовъ, а наличное меньшинство, т. е. оппозиція, заговорившая на основаніи первой статьи Вильмессана, была осмѣяна. Чтобы къ этому меньшинству не присоединились акціонеры отсутствовавшіе, чтобы не могло явиться уже никакой возможности для протеста противъ этого рѣшенія и всѣ пути для оппозиціи были закрыты, чтобы, наконецъ, фальшь эта не повліяла на биржевую игру акціями новаго выпуска, правленіе заказало Вильмессану еще третью передовую статью. Въ ней значилось, что во время общаго собранія правленіе и директоры, стоявшіе за увеличеніе капитала, разбили въ прахъ глупые доводы меньшинства, что оппозиція была смѣшана съ грязью, и въ заключеніе самъ авторъ этой статьи, редакторъ газеты «Фигаро», признавалъ, что имѣлъ до сихъ поръ очень смутное понятіе о геніальнѣйшей комбинаціи, выяснившейся на послѣднемъ общемъ собраніи. Продажный фолликюлеръ и лакей буржуазіи взялъ, конечно, настолько кругленькую сумму за самоуниженіе по финансовымъ и спекуляціонно-биржевымъ вопросамъ, что могъ даже вовсе пожертвовать своимъ авторитетомъ по этой части на будущее время и, пожалуй, дать подписку, что ничего не бу-

детъ писать отнынѣ о биржевыхъ и акціонерныхъ фокусахъ.

Въ литературѣ посыпались на Вильмессана самыя безцеремонныя уличенія, которыя онъ парировалъ съ свойственною ему наглостью. Но репутація его была во всякомъ случаѣ сдѣлана. Вильмессанъ былъ заклейменъ именемъ «воришки посредника», держащаго вора въ рукахъ угрозой доноса полиціи и берущаго съ него за молчаніе извѣстный процентъ.

Теперь просимъ читателя сравнить слѣдующія двѣ статьи «С-Петербургскихъ Вѣдомостей». Въ биржевой хроникѣ № 81 сообщены свѣдѣнія о проектѣ увеличенія капитала международнаго банка. Хроникеръ замѣчаетъ при этомъ: «До выслушанія объясненій (которыя правленіе банка должно было дать 19 апрѣля) нельзя, разумѣется, составить себѣ никакого опредѣленнаго понятія обо всемъ, имѣющемъ произойти, ни взвѣсить выгоду или невыгоду увеличенія капитала». Затѣмъ, въ № 84, отъ 25-го марта, появилась статья, направленная прямо противъ предположенной операціи. Вотъ эта статья цѣликомъ.

«Въ свое время мы сообщали о грандіозныхъ проектахъ учрежденія различныхъ банковъ съ капиталами въ десятки милліоновъ, — проектахъ, которые представлялись министерству финансовъ,—и о намѣреніи нашего правительства не разрѣшать подобныхъ учрежденій впредь до выясненія пользы и цѣлесообразности дѣятельности разрѣшенныхъ уже десятковъ акціонерныхъ банковъ. Получивъ отказъ, учредители грандіозныхъ предпріятій не ретировались, но, руководствуясь совѣтами предводителей нашихъ биржевыхъ спекулянтовъ, начали изыскивать въ уставахъ существующихъ банковъ, различныя неясныя статьи, чтобы воспользоваться ими для расширенія банковой дѣятельности, вопреки высказаннымъ на этотъ счетъ намѣреніямъ правительства. *Къ услугѣ подобныхъ прожектеровъ* явился нашъ международный банкъ.

«Въ публикѣ и биржевыхъ сферахъ до сихъ поръ ходили разнаго рода темные слухи и предположенія касательно порядка увеличенія капитала международнаго банка; но никто ничего положительнаго сказать не могъ,—само правленіе, въ объявленіи о приглашеніи акціонеровъ въ общее собраніе на 16-е апрѣля, ничего не говоритъ, какимъ порядкомъ предполагаетъ оно увеличить капиталъ банка. Молчаніе довольно странное...

«Въ № 81 «Спб. Вѣдомостей» нашъ биржевой хроникеръ объяснилъ, какимъ образомъ правленіе международнаго банка предполагаетъ увеличить капиталъ банка. Но, конечно, объясненіе это нельзя считать оффиціальнымъ, и желательно бы услышать что-либо болѣе опредѣленное отъ самого правленія.

«Во всякомъ случаѣ полезно разобрать предлагаемую реформу на основаніи объясненій, приводимыхъ биржевымъ хроникеромъ. Новый выпускъ акцій, въ количествѣ 100,000, долженъ быть помѣщенъ за границей въ кредитныхъ учрежденіяхъ Вѣны и Берлина, со взносомъ по 100 руб. на акцію. Первое, что бросается въ глаза, это возможный приливъ въ Россію изъ-за границы капитала въ 10 милліоновъ рублей. Сумма почтенная. Но кто можетъ поручиться, что сумма эта останется въ Россіи, хотя нѣсколько мѣсяцевъ? При настоящемъ спекулятивномъ направленіи фондовой биржи, можно, основываясь на практикѣ недавняго прошедшаго, положительно сказать, что всѣ эти 10 милліоновъ рублей, вмѣстѣ съ большою преміею, отъ 20 до 40 руб. на акцію, что составитъ отъ 2 до 4 милліоновъ руб., перейдутъ мѣсяца черезъ два или три назадъ за границу.

«Другими словами, большая часть акцій новаго выпуска, или даже все количество перепродается назадъ въ Россію и, вмѣсто 10 милліоновъ рублей заграничныхъ денегъ, на которыя мы разсчитываемъ, иностранные благодѣтели банкиры возьмутъ съ насъ еще преміи милліона 2 или 4, а пожалуй, и болѣе, смотря по спекулятивному направленію рынковъ здѣшняго и заграничныхъ. Мы видимъ изъ этого всю непрактичность новаго проекта и сильно сомнѣваемся, что онъ когда-либо будетъ утвержденъ правительствомъ. Если же онъ пройдетъ, то, конечно, только съ условіемъ, чтобы акціи второго выпуска не обращались въ Россіи и не были котированы ни на одной изъ русскихъ биржъ.

«Проектъ непрактиченъ еще и съ другой стороны. Войдемъ въ положеніе акціонеровъ, владѣющихъ акціями перваго выпуска международнаго банка. Собранный банкомъ капиталъ по старымъ 20,000 акцій, по 150 руб., составляетъ 3 милліона рублей. Если правленіе сочло нужнымъ увеличить капиталъ, оно могло потребовать отъ акціонеровъ остальной взносъ по 100 руб. на старую акцію; это составитъ 2 милліона, или всего 20,000 акцій по 250 руб., 5 милліоновъ. Если-бъ обороты банка, положимъ, приняли большіе размѣры, можно было сдѣлать второй выпускъ акцій на 5 милліоновъ, или сколько нужно частями; въ такомъ случаѣ, какъ это дѣлается во всѣхъ акціонерныхъ обществахъ, старымъ акціонерамъ дается обыкновенно право получить новыя акціи по номинальной цѣнѣ. Это право стараго акціонера, думаемъ мы, оспариваемо быть не можетъ, и было бы явною несправедливостью, чтобъ въ такомъ деликатномъ дѣлѣ вопросъ о продажѣ всѣхъ 100 000 акцій новаго выпуска заграничнымъ кредитнымъ учрежденіямъ можно было рѣшить большинствомъ голосовъ въ общемъ собраніи акціонеровъ.

«Если правленіе утвердитъ эту мѣру большинствомъ голосовъ, то недовольные ею, присутствующіе въ общемъ собраніи акціонеры могутъ составить протестъ противъ дѣйствій правленія за превышеніе власти, прося привести въ исполненіе § 46 устава. Подобный протестъ можетъ быть поданъ и отъ акціонеровъ, не присутствовавшихъ въ общемъ собраніи и не согласныхъ съ мнѣніемъ большинства.

«Въ приглашеніи правленія сказано только, что въ собраніи 19-го апрѣля будетъ обсуждаться вопросъ объ увеличеніи капитала банка, и будетъ предложенъ вопросъ объ измѣненіи нѣкоторыхъ параграфовъ устава. Какъ говорятъ, надежда правленія основана на § 3 устава, гдѣ говорится, что основной капиталъ общества въ 5.000,000 рублей распредѣляется на 20,000 акцій, каждая въ 250 руб., и можетъ быть увеличенъ впослѣдствіи, по постановленію общаго собранія акціонеровъ, порядкомъ, утвержденнымъ министромъ финансовъ. Намъ кажется страннымъ, почему правленіе или совѣтъ банка не объявили оффиціально, какой порядокъ будетъ предложенъ для увеличенія капитала, а также какіе §§ устава будутъ предложены общему собранію акціонеровъ для измѣненія. Изъ многолѣтней акціонер-

ной практики мы можемъ вспомнить не мало прискорбныхъ фактовъ, чему подвергается акціонеръ, отправляющійся на общее собраніе и не знающій, о чемъ пойдетъ рѣчь въ собраніи, гдѣ предлагаются вопросы, въ продолженіе мѣсяцевъ обдуманные лицами, предлагающими ихъ, но которые акціонерамъ должно окончательно обсудить и рѣшить въ продолженіе какого-нибудь получаса. Чтобы приготовиться къ общему собранію, акціонерамъ безотлагательно теперь же надобно потребовать отъ правленія объясненій, какимъ порядкомъ предполагается увеличить капиталъ банка, какіе §§ устава требуютъ измѣненія и какъ предполагаютъ измѣнить ихъ.

«Надѣемся, что это справедливое требованіе акціонеровъ будетъ уважено правленіемъ и совѣтомъ банка очень скоро, чтобы дать акціонерамъ возможность представить правленію, до общаго собранія, свои соображенія въ установленный уставомъ срокъ. Иначе все это дѣло будетъ имѣть характеръ спекуляціи, прикрытый только для вида согласіемъ нѣкотораго количества акціонеровъ.

«Очень можетъ быть, что увеличеніе на 10 милліоновъ капитала нашихъ банковыхъ учрежденій и не повлечетъ за собою какихъ-либо дурныхъ послѣдствій; но мы противники всякаго эскамотажа и убѣждены, что дѣло, хорошее и одинаково выгодное для Россіи и для иностранныхъ банкировъ, ни въ какой таинственности не нуждается. Обстановка же всей спекуляціи, о которой мы говоримъ, не внушаетъ намъ довѣрія, и мы считаемъ своимъ долгомъ обратить на нее вниманіе публики».

Дѣло совершенно ясное; «С.-Петербургскія Вѣдомости» агитируютъ противъ увеличенія капитала международнаго банка, воодушевляютъ и даже отчасти создаютъ оппозицію. Наступаетъ 19-е апрѣля, и «С.-Петербургскія Вѣдомости» слѣдующимъ эмфатическимъ образомъ описываютъ этотъ день въ № 110:

«Въ среду, 19 апрѣля, происходило общее собраніе акціонеровъ международнаго коммерческаго банка, имѣвшее *громадный интересъ и привлекшее многочисленную публику*, которая состояла, разумѣется, исключительно изъ акціонеровъ. *Животрепещущимъ вопросомъ дня, имѣвшимъ громадный интересъ*, былъ вопросъ объ увеличеніи капитала банка до тридцати милліоновъ рублей, посредствомъ выпуска, за границей, ста тысячъ новыхъ акцій, по 250 руб. каждая. Причиной столь значительнаго увеличенія капитала была *крайняя необходимость* (*а 25-го марта ея еще не было?*) устранить отъ международнаго банка угрожавшую ему въ началѣ нынѣшняго года и могущую еще возобновиться опасность отъ учрежденія проектированнаго нѣсколькими биржевыми игроками большого промышленнаго банка извѣстнаго на биржѣ подъ именемъ «княжескаго», съ двадцати-пяти-милліоннымъ капиталомъ, осуществленіе котораго могло низвести международный банкъ на степень банкирской конторы. Посредствомъ выпуска ста тысячъ новыхъ акцій за границею, международный банкъ тѣсно сближался съ двумя значительными заграничными кредитными учрежденіями: Ротшильдскими Credit-Anstalt въ Вѣнѣ и Disconto-Geselschaft въ Берлинѣ, получалъ значеніе первокласснаго европейскаго, дѣйствительно «международнаго» банка, и отстранялъ отъ себя навсегда возможность какой бы то ни было вредной конкурренціи. Значительное большинство акціонеровъ банка, узнавшее еще въ мартѣ (*25-го марта, какъ жаловались «С.-Петербургскія Вѣдомости», никто еще ничего не зналъ*) условія, на которыхъ правленіе предполагаетъ увеличить капиталъ банка, признало важность и пользу этого увеличенія, отнеслось сочувственно къ проектированнымъ правленіемъ условіямъ (подробно объясненнымъ въ биржевой хроникѣ № 81-го «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей»), и обѣщало правленію свое содѣйствіе. Между тѣмъ, недѣли за двѣ до 19-го марта, т. е. крайняго срока перевода акцій на имя акціонеровъ для полученія права присутствія въ общемъ собраніи 19-го апрѣля, на биржѣ распространился слухъ объ оппозиціи, готовящейся противодѣйствовать предполагаемому увеличенію капитала международнаго банка. Одни говорили, что оппозиція истекаетъ изъ одного частнаго банка; другіе утверждали, что она идетъ отъ одного изъ соучредителей такъ называемаго „княжескаго“ банка, готовившагося быть директоромъ означеннаго банка и предчувствовавшаго неосуществимость своихъ искательствъ въ случаѣ осуществленія увеличенія капитала международнаго банка. «С.-Петербургскія Вѣдомости» всего менѣе могли имѣть въ виду *такую* (*развѣ дѣло въ этомъ?*) оппозицію, когда высказывали свои соображенія противъ той же мѣры. Никто не зналъ навѣрно, какая будетъ оппозиція, но всѣ ожидали оппозиціи серьезной, капитальной и осмысленной. Усиленная покупка акцій, не смотря на быстро и чрезмѣрно увеличивающуюся цѣну ихъ, подтверждала биржевые слухи о готовящейся оппозиціи. Вслѣдствіе сего, въ собраніи 19-го апрѣля и явилось, какъ сказано выше, весьма большое число акціонеровъ.

«Докладъ правленія о дѣятельности банка въ истекшемъ году, доставившей акціонерамъ $23^{40}/_{100}\%$ дивиденда, былъ прослушанъ сочувственно, и отчетъ за 1871 годъ утвержденъ единогласно. Вещь естественная, такъ какъ такого результата не достигалъ до сихъ поръ ни одинъ изъ здѣшнихъ частныхъ банковъ. Затѣмъ прочитанъ былъ докладъ правленія объ увеличеніи капитала банка и о способахъ этого увеличенія. *Глубочайшая тишина воцарилась* въ собраніи по прочтеніи этого доклада. Хотя громадное большинство раздѣляло воззрѣнія и доводы доклада правленія, но для составленія себѣ болѣе вѣрнаго понятія о пользѣ предлагавшейся мѣры, *не мѣшало выслушать оппозицію, а главное*, составить себѣ понятіе объ этой оппозиціи. Кто она такая? Какія ея цѣли и побужденія? Какое значеніе имѣютъ въ нашемъ финансовомъ, биржевомъ и акціонерномъ мірѣ члены этой оппозиціи? *Оппозиція зачитала* (*вѣроятно то, что «С.-Петерб. Вѣд.» говорили въ № 48*) и заговорила. Во-первыхъ, не зачѣмъ увеличивать капиталъ банка; во-вторыхъ, нѣкоторые параграфы устава банка вовсе не обязательны для акціонеровъ; въ-третьихъ, не для чего международному банку быть первокласснымъ банкомъ, совсѣмъ не для чего; въ-четвертыхъ, обѣщаніе отдать подъ судъ всѣхъ акціонеровъ банка, которые большинствомъ трехъ четвертей голосовъ рѣшатъ увеличеніе капитала банка! въ-пятыхъ, увеличеніе капитала банка есть посягательство на собственность акціонеровъ! въ-шестыхъ, къ чему помѣщать новыя акціи за границею, когда «мы сами можемъ спустить ихъ здѣсь!» *Гомерическій смѣхъ потрясъ залу собранія*, когда все это было высказано. Оппозиція оказалась не капитальною, не финансовою, даже не патріотическою, какъ того ожидали нѣкоторые, а оказалась она просто-на-просто игровою и состояла изъ двухъ биржевыхъ маклеровъ, двухъ зайцевъ, одного содержателя второстепенной

банкирской конторы и двухъ занимающихся биржевою игрою лицъ, итогъ: 15 игровыхъ голосовъ противу 355 голосовъ дѣйствительныхъ акціонеровъ, вотировавшихъ въ пользу увеличенія капитала банка и соотвѣтствующаго измѣненія нѣкоторыхъ параграфовъ устава.

«Возражалъ оппозиціи членъ совѣта банка Н. Н. Сущовъ, основательныя, мѣткія и остроумныя возраженія котораго градомъ сыпались на несчастную оппозицію, при неумолкаемыхъ рукоплесканіяхъ и неудержимомъ смѣхѣ всего собранія».

Дѣло опять совершенно ясное: «С.-Петербургскія Вѣдомости» одобряютъ затѣянную операцію и унижаютъ оппозицію, ими отчасти созданную. «С.-Петербургскія Вѣдомости» стараются изо всѣхъ силъ смѣшать оппозицію съ грязью и утверждаютъ, что, говоря противъ увеличенія капитала международнаго банка, они имѣли въ виду оппозицію вовсе не такую. Какъ будто дѣло въ этомъ! Доводы оппозиціи, приводимые въ статьѣ № 110 съ грубою иропіей и едва ли вполнѣ точно, во всякомъ случаѣ весьма сходны съ доводами самихъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», высказанными въ № 84. Въ этомъ легко убѣдится всякій, точно такъ же, какъ и въ томъ, что ни одной изъ мѣръ, предложенныхъ въ № 84 для охраненія интересовъ акціонеровъ, правленіе не приняло. И тѣмъ не менѣе «С.-Петербургскія Вѣдомости» вторятъ «гомерическому хохоту» надъ «несчастной» оппозиціей. Воистину можно сказать: чего смѣешься? надъ собой смѣешься. И такъ-то «С.-Петербургскія Вѣдомости» всегда хохочутъ и всегда «гомерически»... Весело имъ живется.

Между поведеніемъ «Фигаро» и «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» по внѣшности сходства не мало. Но это только по внѣшности. «Фигаро» завѣдомо взялъ взятку. Относительно же «С.-Петербугскихъ Вѣдомостей» мы не имѣемъ въ рукахъ никакихъ фактовъ, которые давали бы намъ право бросить имъ такое тяжкое обвиненіе. Но этого мало. Мы вполнѣ увѣрены, что такихъ фактовъ не существуетъ вовсе. Дѣло объясняется гораздо проще.

«С.-Петербургскія Вѣдомости» имѣютъ прекрасныя намѣренія, но по положенію и ходу вещей постоянно колеблются самымъ легкимъ зефиромъ. Они желаютъ идти по слѣдамъ Петра, потому что видятъ въ нихъ свѣтъ, силу, счастье, свободу, а это все прекрасныя вещи. Мы увѣрены, что если «С.-Петербургскія Вѣдомости» и не согласятся признать вышепоставленную задачу—сосредоточеніе орудій производства въ рукахъ рабочихъ силъ—центральною задачей нашей жизни, то всетаки въ одной изъ ближайшихъ передовыхъ статей отнесутся къ ней размазисто, но сочувственно. Но это не помѣшаетъ имъ, конечно, тутъ же требовать новыхъ гарантій и привилегій для всевозможныхъ нужныхъ людей и въ этомъ именно видѣть слѣды Петра. Что же тутъ удивительнаго, что они высказываютъ два противоположныя мнѣнія объ операціяхъ международнаго банка? Грандіозный финансовый планъ, обманутые или осчастливленные акціонеры, гомерическій хохотъ, потрясающій стѣны залъ,—все это такъ похоже на Европу (зри слѣды Петра), что «С.-Петербургскія Вѣдомости» даже нѣсколько польщены тѣмъ, что видятъ передъ собою такой «животрепещущій вопросъ дня», имѣющій такой «громадный интересъ», привлекающій такую «многочисленную публику». Они торопятся сказать свое слово, а торопливость приноситъ свои плоды. Вотъ и все. Я осмѣливаюсь повторить такъ разсердившее «С.-Петербургскія Вѣдомости» мнѣніе, что они суть кроткая дѣвица, затягивающаяся въ корсетъ и желающая всѣмъ нравиться. Но если дѣвица вступитъ въ бракъ? Это можетъ совершиться самымъ тихимъ, самымъ незамѣтнымъ и нимало не позорящимъ нравственный элементъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» манеромъ. Я представляю себѣ это дѣло, въ возможности, такъ. Обстоятельства «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» — чего Богъ сохрани — нѣсколько запутываются. Немедленно, разумѣется, является нужный человѣкъ въ лицѣ какого-нибудь г. Полякова, г. Баймакова, вообще какого-нибудь финансоваго туза. Является нужный человѣкъ и предлагаетъ свои услуги: примите, молъ, меня въ компанію; я въ литературную часть мѣшаться не буду; я смотрю на дѣло съ чисто коммерческой точки зрѣнія. «С.-Петербургскія Вѣдомости» не князь Васильчиковъ: они благодушны. Они вдобавокъ часто одобряли институтъ нужнаго человѣка. Они соглашаются, а нужный человѣкъ свое дѣло знаетъ и, въ концѣ концовъ, кладетъ-таки на почтенную газету свою печать. Понятно, что пути къ браку могутъ быть безконечно разнообразны и что нѣтъ надобности предполагать, что исходною точкою будетъ непремѣнно запутанность обстоятельствъ.

До какой, въ самомъ дѣлѣ, степени могутъ быть разнообразны эти пути, видно изъ слѣдующаго. Г. Незнакомецъ есть безспорно талантливѣйшій сотрудникъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей». Ѣдетъ онъ нынче на политехническую выставку въ Москву и два свои первыя письма пишетъ противъ Москвы: и такая она, и сякая, и Петра измучила, и гоголевскимъ Петрушкой отъ нея пахнетъ, и т. д. Письма написаны горячо, съ увлеченіемъ и удачно. Но въ слѣдующихъ письмахъ оказывается уже, что Петербургъ есть исключительно чиновникъ, тогда какъ въ Москвѣ «растутъ крѣпкія общественныя силы, въ ней на-

ходятся люди, умѣющіе жертвовать своими капиталами и своимъ знаніемъ въ пользу научныхъ и народныхъ цѣлей» и т. д., и т. д. Вообще, тонъ совершенно измѣняется. Въ чемъ же дѣло? Г. Незнакомецъ такъ много говоритъ о вагонахъ г. Губонина, о пожертвованіяхъ г. Губонина, о школѣ г. Губонина, о біографіи г. Губонина и имѣетъ на этотъ счетъ такія свѣдѣнія, что всякій догадается, что онъ былъ въ Москвѣ гдѣ-нибудь недалеко отъ г. Губонина. Далѣе, Незнакомецъ разсказываетъ, что у него какой-то московскій профессоръ забылъ табакерку. Значитъ, у него былъ въ гостяхъ московскій профессоръ. Какъ человѣкъ впечатлительный, г. Незнакомецъ, очевидно, воспринялъ все, что ему было говорено московскимъ профессоромъ и людьми, близкими къ г. Губонину. И вотъ онъ перемѣнилъ свой взглядъ на Москву. А какъ талантливѣйшій сотрудникъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», онъ, если бы остался жить въ Москвѣ, непремѣнно потянулъ бы (какъ это случалось не разъ) почтенную газету въ бракъ. Хорошо еще, что г. Незнакомецъ время отъ времени путешествуетъ, ѣздитъ не только въ Москву, а и изъ Москвы.

II *).

Письма г. Скальковскаго съ московской политехнической выставки. — «Малайскій архипелагъ» Уоллеса. — «Протоколы и стенографическіе отчеты засѣданій перваго всероссійскаго съѣзда фабрикантовъ, заводчиковъ и лицъ, интересующихся отечественною промышленностью».— Мысли г. Скальковскаго танцуютъ кадриль.— Теоретическая и практическая точка зрѣнія.— Русскій рабочій вопросъ на съѣздѣ промышленниковъ. — «Англо-саксонская сельская община» г. Сольскаго.

Вы, конечно, читали напечатанныя въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» остроумныя письма г. Скальковскаго съ московской политехнической выставки. Во всякомъ случаѣ я обращаю на нихъ ваше вниманіе. Г. Скальковскій становится настолько замѣтнымъ писателемъ и практическимъ дѣятелемъ, что было бы не безполезно подвести итоги его дѣятельности. Къ сожалѣнію, мнѣ эта работа не подъ силу. Г. Скальковскій пишетъ съ очевиднымъ знаніемъ дѣла и о срочномъ и почтовомъ пароходствѣ, и объ испанской живописи, и о нуждахъ русской промышленности, и о глицериновомъ мылѣ, и о красотѣ севильянокъ и проч., и проч., и проч. Я не хочу подвергаться эпиграммамъ въ родѣ извѣстнаго акаѳиста покойнаго Щербины (см. «Русскую Старину» за январь):

Радуйся, Испаніи невиданіе,
Радуйся, Испаніи описаніе,
Радуйся, живописи непониманіе,
Радуйся, о живописи трактованіе,
Радуйся, музыки неразумѣніе
Радуйся, о музыкѣ разсужденіе и т. д.

Поэтому я отказываюсь отъ оцѣнки литературной дѣятельности г. Скальковскаго въ цѣломъ. Пусть кто хочетъ возьметъ на себя этотъ трудъ, а я берусь доставить только кое-какіе матеріалы, при чемъ получатся, я надѣюсь, не безынтересные побочные результаты.

Въ № 177-мъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» (второе письмо съ выставки) г. Скальковскій пишетъ: «Въ послѣднее время очень много разсуждали о кустарной промышленности, собирали даже о ней кое-какія свѣдѣнія и писали статейки съ проектами поставить кустарное производство на «раціональныя» основанія. Лучшимъ средствомъ для этого рекомендовалось начало ассоціаціи. Признавая пользу артельнаго начала, которое въ кустарномъ дѣлѣ отчасти и приложено, нельзя всетаки не признать, что всѣ попеченія о благѣ кустарной промышленности—чистая блажь и происходятъ по большей части отъ незнанія условій промышленнаго производства вообще и кустарнаго производства въ особенности. Промышленность, какъ любовь: гоните ее въ дверь, она влетитъ въ окно. Никакое государство, какъ бы иностранные ученые и отечественные доктринеры ни считали его земледѣльческимъ, безъ промысловъ существовать не можетъ, а въ особенности, когда горючій матеріалъ дешевъ и свободныя руки зимой въ изобиліи. Потому еще въ доисторическую эпоху возникли въ Россіи разнообразныя отрасли промышленности на кустарномъ началѣ, существующія безъ большихъ измѣненій до настоящаго времени. Невѣжество и неприхотливость потребителей, крѣпостное право, неумѣнье расцѣнить свой трудъ, недостатокъ фабрикъ и заводовъ и прикрѣпленіе людей къ землѣ, болѣе всего по отсутствію удобныхъ средствъ къ передвиженію, поддерживали временно существованіе подобнаго способа производства; но при устройствѣ настоящихъ фабрикъ и заводовъ, онъ теряетъ свой raison d'être и долженъ непремѣнно исчезнуть, какъ исчезъ въ государствахъ даже менѣе развитыхъ, нежели Россія. Мы не говоримъ о ремеслахъ и мелкой промышленности; они, конечно, всегда останутся. Но продолжать ковать гвозди, воруя казенный лѣсъ, и ткать холсты, получая по 3 копѣйки въ день, когда одна хорошая фабрика сработаетъ гораздо болѣе, нежели цѣлый уѣздъ, занимающійся кустарнымъ производствомъ, значитъ безцѣльно растрачивать экономическія силы и пренебрегать рабочими

*) 1872 г., августъ.

руками въ странѣ, гдѣ ихъ-то всего болѣе и недостаетъ для эксплуатаціи безмѣрной почвы съ ея нетронутыми богатствами. Если же мы нашу промышленность, взамѣнъ силы пара, техническаго и денежнаго капитала, будемъ угощать экономическими теоріями и проектами, то польза будетъ не очень велика, а къ тому, кажется, и клонятся предполагаемыя улучшенія кустарнаго производства».

Вотъ голосъ дѣлопроизводителя общества для содѣйствія русской промышленности и торговлѣ и редактора «Трудовъ» онаго, секретаря перваго всероссійскаго съѣзда фабрикантовъ и заводчиковъ, автора сочиненій «Стоитъ-ли поощрять русскую промышленность?» «Срочное и почтовое пароходство въ Россіи и за границей», словомъ—голосъ практика. Но, подобно большинству сотрудниковъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», г. Скальковскій есть дѣятель двухголосый. Въ №184-мъ (второе письмо съ выставки) г. Скальковскій пишетъ: «Всѣ механическія издѣлія блѣднѣютъ передъ прядильными машинами фабрики Плате и комп., пущенными въ ходъ нашими мануфактуристами. Публика равнодушно посматриваетъ на эти машины, какъ бы не зная, что эти веретена произвели величайшій общественный переворотъ новѣйшихъ временъ, окончанія и послѣдствій котораго не предвидятъ самые проницательные люди, но передъ которымъ кажутся жалкими перевороты отдѣльныхъ государствъ. Машины эти, изобрѣтателя которыхъ не идеализируютъ, какъ другихъ реформаторовъ, потому что ими обязаны не одному какому-либо человѣку, а соединеннымъ усиліямъ многихъ инженеръ-механиковъ, создаютъ новый порядокъ вещей, вліяніе котораго отражается на отдаленнѣйшихъ островахъ Австраліи, гдѣ появленіе дешевыхъ мануфактуръ вноситъ разлагающій элементъ въ первобытную цивилизацію; эти-то машины создаютъ своимъ распространеніемъ промышленный пролетаріатъ со всѣми связанными съ нимъ вопросами и головоломными задачами, тотъ порядокъ вещей и тотъ пролетаріатъ, о которомъ одинъ знаменитый естествоиспытатель и путешественникъ написалъ недавно слѣдующія строки, разсуждая преимущественно объ Англіи: «Преодолѣніе силъ природы повлекло за собою быстрое возрастаніе народонаселенія и значительное накопленіе богатствъ, что, въ свою очередь, имѣло слѣдствіемъ такое усиленіе бѣдности, порока и поощренія столькихъ гнусныхъ чувствъ и лютыхъ страстей, что еще вопросъ, не понизился ли вообще умственный и нравственный уровень нашего населенія, и не принесло ли это движеніе болѣе зла, нежели добра. Въ сравненіи съ нашимъ удивительнымъ прогрессомъ въ физикѣ и ея практическихъ примѣненіяхъ, англійская общественная и нравственная организація остается въ состояніи варварства. И если мы будемъ продолжать обращать главныя наши силы къ утилизированію знанія законовъ природы только съ цѣлью дальнѣйшаго расширенія торговли и промышленности, то слѣдующій за этимъ неизбѣжно вредъ можетъ возрасти до такихъ гигантскихъ размѣровъ, что мы будемъ не въ силахъ справиться съ нимъ. Нужно признать тотъ фактъ, что богатство, знанія и культура, выпадающая на долю немногихъ лицъ, не составляютъ еще цивилизаціи и не могутъ служить символомъ совершенства нашего общественнаго быта. Наши безпримѣрные успѣхи въ промышенности и торговлѣ, наши обширные и многолюдные города создали цѣлую армію пролетаріевъ и преступниковъ, ряды которыхъ увеличиваются съ каждымъ днемъ; они создали многочисленный классъ людей, вся жизнь которыхъ проходитъ въ тяжеломъ неблагодарномъ трудѣ, между тѣмъ какъ на долю ничтожнаго меньшинства выпали одни лишь удовольствія; они видятъ вокругъ себя роскошь и довольство, наслаждаться которыми они лишены всякой надежды; въ этомъ отношеніи положеніе ихъ хуже дикарей». Слова богатаго англичанина невольно пришли намъ на память въ манежѣ. Они составляютъ обратную сторону всей политехнической выставки».

Мрачныя слова, вспоминавшіяся г. Скальковскому на выставкѣ, принадлежатъ знаменитому сопернику Дарвина Уоллесу и взяты изъ очень интересной книги послѣдняго «Малайскій архипелагъ. Страна орангъ-утанга и райской птицы» (Спб., 1872). Я долженъ сознаться, что эта и нѣкоторыя другія страницы въ сочинеіни Уоллеса, за которыя гг. Антоновичъ и Жуковскій назвали бы его «либеральничающимъ невѣждой», а г. Коршъ «Бѣдной Лизой», имѣютъ въ моихъ глазахъ высокую цѣну. Одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ людей науки и, слѣдовательно, трезвой мысли, человѣкъ, и по своему умственному развитію, и по своему матеріальному положенію имѣющій возможность просмаковать всѣ тончайшія блага цивилизаціи, человѣкъ этотъ, сравнивая бытъ высоко цивилизованной страны съ бытомъ дикарей, говоритъ: «Наше общество едва-ли имѣетъ какое либо реальное превосходство надъ обществомъ лучшихъ изъ дикарей. Вотъ урокъ, почерпнутый мною изъ наблюденій надъ не цивилизованными племенами» (621). Это поучительно. Поучительны также станицы 506—7, поводъ которымъ данъ слѣдующимъ дѣйствительно поразительнымъ фактомъ: «въ одномъ изъ отдаленнѣйшихъ уголковъ земли (на Аруанскихъ островахъ) дикари могутъ покупать платье дешевле, чѣмъ народъ въ той

странѣ, гдѣ оно производится; дитя ткача должно дрожать зимой отъ холода, не будучи въ состоянiи купить себѣ вещей, доступныхъ дикарю тропическихъ странъ, гдѣ платье служитъ только для украшенiя».

Я прошу читателя запомнить два приведенныя мѣста изъ писемъ г. Скальковскаго съ выставки.

Предо мной лежитъ довольно любопытная книга: «Протоколы и стенографическiе отчеты засѣданiй перваго всероссiйскаго съѣзда фабрикантовъ, заводчиковъ и лицъ, интересующихся отечественною промышленностью». Съѣздъ происходилъ, какъ извѣстно, въ 1870 году; но отчеты его засѣданiй опубликованы только въ нынѣшнемъ. Я не берусь говорить объ этомъ сборникѣ документовъ вообще какъ потому, что не имѣю нужныхъ для этого спецiальныхъ свѣдѣнiй, такъ и потому, что многое въ сборникѣ имѣетъ слишкомъ спецiальный интересъ. Я возьму изъ него только нѣчто, всего два, три эпизода.

Въ первомъ засѣданiи перваго отдѣленiя съѣзда рѣчь шла о влiянiи желѣзныхъ дорогъ на промышленность. Въ концѣ засѣданiя г. Скальковскiй сдѣлалъ слѣдующее предложенiе: «Не угодно ли будетъ собранiю выразить, чтобы желѣзныя дороги, проходящiя по каменно-угольнымъ бассейнамъ или въ мѣстностяхъ, завѣдомо богатыхъ каменнымъ углемъ, по условiю, выраженному въ концессiяхъ, или по нравственному влiянiю правительства на правленiя дорогъ, непремѣнно употребляли бы горючимъ матерiаломъ каменный уголь, для того, чтобы спасти остатки лѣсовъ. При этомъ г. Скальковскiй указалъ на Курскую, Московскую и Азовскую желѣзныя дороги, какъ на такiя, которыхъ необходимо связать предлагаемымъ имъ условiемъ. На это предложенiе предсѣдатель, г. фонъ-Бушенъ, возразилъ слѣдующими восторженно принятыми словами: «Я полагаю, что первое и главное условiе для развитiя всякой промышленности есть свобода (*непремѣнно*! *браво*)! Повторять здѣсь подобную аксiому, какъ ту, что только свободный трудъ производителенъ, что промышленность должна имѣть полный просторъ, чтобы брать и употреблять матерiалъ тотъ, который выгоднѣе и дешевле и который, поэтому, можетъ служить для удешевленiя самаго произведенiя—совершенно излишне. (*Вѣрно*! *Браво*!). Я не раздѣляю мнѣнiя о томъ, чтобы съѣздъ фабрикантовъ, который хлопочетъ о нуждахъ фабрикантовъ, долженъ былъ выразить свою дѣятельность въ томъ, чтобъ просить подвергнуть отдѣльныя отрасли промышленности регламентацi. Всякая регламентацiя вредна вообще въ промышленномъ дѣлѣ, и чѣмъ ея меньше, тѣмъ для дѣла лучше» *(браво!)* и т. д. Было заявлено, далѣе, что вопросъ, поднятый г. Скальковскимъ, не подлежитъ разрѣшенiю перваго отдѣленiя. Г. Скальковскiй взялъ свое предположенiе назадъ съ тѣмъ, чтобы перенести его во второе отдѣленiе съѣзда. Третье засѣданiе второго отдѣленiя было спецiально посвящено вопросу о распространенiи употребленiя ископаемаго топлива въ Россiи, и г. Скальковскiй продолжалъ отстаивать свою мысль объ обязательномъ, для извѣстныхъ желѣзныхъ дорогъ, употребленiи каменнаго угля. Онъ и нѣкоторые другiе указывали на Харьково-Таганрогскую дорогу, въ районѣ которой остается лѣсу всего на одинъ, на три года; на Грушевскую, на Азовскую дороги, прорѣзывающiя богатѣйшiя каменноугольныя мѣсторожденiя и, тѣмъ не менѣе, отапливающiяся дровами, и т. п. Г. Скальковскому возражали, что промышленность регламентацiями только забивается. Одинъ изъ ораторовъ объявилъ: «Пусть наши богатства лежатъ въ землѣ, если ихъ нужно вынимать съ регламентацiями!» Это восклицанiе напоминаетъ извѣстное: perissent les colonies pourvu que le principe soit sauvé! или еще болѣе знаменитое: fia justicia, ruat coelum! Г. Скальковскiй довольно удачно парировалъ эти возраженiя. Онъ называлъ ихъ «громкими фразами» и говорилъ, что «если запрещаютъ выбрасываться изъ окна, такъ вѣдь это тоже регламентацiя».

Теперь другой эпизодъ. Второе засѣданiе съѣзда занято было изслѣдованiемъ вопроса: «какiя мѣры могутъ быть приняты для содѣйствiя умственному и нравственному развитiю нашего рабочаго сословiя?» Между прочимъ, г. Кайгородовъ выразилъ мнѣнiе о необходимости устранить дѣтей младшаго возраста отъ работъ на фабрикахъ. Г. Скальковскiй возразилъ на это такъ: «Дѣйствительно, эта мѣра казалась бы одною изъ гуманнѣйшихъ для улучшенiя быта фабричныхъ рабочихъ; но мнѣ кажется, что въ Россiи эта мѣра совершенно не примѣнима. Въ промышленномъ законодательствѣ западной Европы существуетъ теперь стремленiе по возможности ограничивать дѣтскую работу на фабрикахъ. Въ новомъ промышленномъ уставѣ, проектъ котораго составленъ въ министерствѣ финансовъ, имѣлось это въ виду, и срокъ ограниченъ 12 годами. Но противъ этого возстаютъ фабриканты и, какъ мнѣ кажется, совершенно справедливо. На Западѣ населенiе чрезвычайно плотно, и чувствуется нерѣдко избытокъ въ рабочихъ рукахъ. Поэтому тамъ и легко сдѣлать порядочныя ограниченiя. Въ Бельгiи воспретили даже недавно всю женскую работу въ горномъ дѣлѣ, но въ Россiи подобная мѣра была бы стѣснительна и отразилась бы тяжело

на нашемъ рабочемъ классѣ, который чрезвычайно бѣденъ. По моему мнѣнію, надобно не сокращать, а по возможности усиливать всѣ средства для увеличенія заработковъ, такъ какъ отъ матеріальнаго благосостоянія зависитъ и улучшеніе нравственное». Противъ мысли о выгодности труда малолѣтнихъ для самихъ рабочихъ говорилъ профессоръ Вреденъ. Онъ указалъ на то обстоятельство, что если крестьянинъ-земледѣлецъ занимается еще, напримѣръ, ткачествомъ, при чемъ послѣднее играетъ только роль подспорнаго занятія, то эта подспорная работа оцѣнивается безъ всякой нормы. Заработная плата въ такихъ случаяхъ падаетъ нерѣдко такъ низко, что становится даже возможна конкурренція ручной работы съ машинною. Такова же роль труда не самостоятельныхъ членовъ рабочей семьи: что бы ни зарабатывали жена и дѣти, они всетаки приносятъ коечто въ домъ и, слѣдовательно, повидимому, облегчаютъ положеніе семьи. Но это только повидимому. На самомъ дѣлѣ фабрикантъ, оцѣниваетъ трудъ малолѣтнихъ внѣ всякой нормы, стремится замѣстить этимъ дешевымъ трудомъ трудъ взрослыхъ работниковъ. Благодаря этой конкурренціи, падаетъ и заработная плата взрослыхъ, такъ что въ результатѣ рабочій оказывается въ огромномъ убыткѣ. Г. Скальковскій объявилъ, что онъ не станетъ возражать противъ теоретической справедливости вывода г. Вредена, но, тѣмъ не менѣе, остался при своемъ мнѣніи, что для Россіи нѣтъ надобности въ ограниченіи работы дѣтей на фабрикахъ. Въ настоящее время, замѣтилъ г. Скальковскій, очень много говорятъ о свободѣ промышленности и о свободѣ торговли; но свобода промышленности состоитъ въ возможно меньшемъ числѣ ограниченій, запрещеній и наблюденій. Если бы возможно было уменьшить стѣсненія въ промышленномъ уставѣ, то отъ этого промышленность, конечно, только бы выиграла».

Мы собрали матеріалы и можемъ начать постройку.

Мы имѣемъ четыре мысли г. Скальковскаго: 1) о значеніи кустарной промышленности, 2) о значеніи крупной промышленности (эта мысль выражена словами Уоллеса), 3) объ обязательности для извѣстныхъ желѣзныхъ дорогъ употребленія минеральнаго топлива, 4) о дѣтскомъ трудѣ на фабрикахъ. Не трудно видѣть, что эти четыре мысли г. Скальковскаго въ нѣкоторомъ родѣ танцуютъ кадриль. Танецъ идетъ весело и живо, пары мѣняются мѣстами, продѣлываютъ chassé en avant, chassé croisé кружатся, галопируютъ, сходятся, наконецъ вѣжливо раскланиваются и расходятся въ разныя стороны: онѣ, можетъ быть, никогда уже болѣе не встрѣтятся, а можетъ быть, при первыхъ звукахъ веселой ритурнели расположатся въ прежнемъ порядкѣ. Это дѣло бальнаго фатума.

Сопоставимъ сначала два первыя воззрѣнія. Г. Скальковскій считаетъ нелѣпостью, блажью заботы о кустарной промышленности, о выводѣ занимающихся ею изъ-подъ ярма кулаковъ-скупщиковъ и т. п. Онъ желаетъ скорѣйшей замѣны кустарниковъ крупною промышленностью, ибо одна хорошая фабрика наработаетъ больше, чѣмъ цѣлый уѣздъ, занимающійся кустарнымъ производствомъ. Какія же формы крупной промышленности должны смѣнить наши кустарники? какими путями мы можемъ придти къ этимъ формамъ? Отвѣты на эти вопросы не составляютъ тайны ни для кого изъ приглядывавшихся къ дѣятельности г. Скальковскаго. Изъ тѣхъ же протоколовъ перваго всероссійскаго съѣзда промышленниковъ это очень не трудно усмотрѣть: свобода и покровительство, вотъ двусмысленный и нѣсколько противорѣчивый лозунгъ г. Скальковскаго. Далѣе, покровительство распредѣляется для него въ обратномъ отношеніи къ силамъ покровительствуемыхъ, по принципу: большому кораблю большое и плаваніе, а маленькій и въ лужѣ погуляетъ. Такъ, напримѣръ, онъ желаетъ «*облегченія* для паруснаго судоходства, *поощренія*—для парового и *субсидій* для большихъ пароходныхъ компаній» (Протоколы, 82). Въ брошюрѣ г. Скальковскаго «Стоитъ-ли поощрять русскую промышленность?» я нахожу, между прочимъ, слѣдующее замѣчаніе: «Было время, когда англичане находились въ зависимости отъ промышленности прирейнскихъ городовъ.—Мы покупаемъ у англичанъ цѣлую лисицу, отдавая имъ за нее отдѣльный лисій хвостъ, говорили нѣмцы, потому государственные люди Англіи двѣсти лѣтъ заботились объ изданіи законовъ, покровительствующихъ своей промышленности, и добились того, что сами промышленники хлопочутъ уже тамъ о свободной торговлѣ и отмѣнѣ пошлинъ. Мы, хотя носимъ англійскія моды и заводимъ въ подражаніе иностранцамъ общества покровительства животныхъ, но не хотимъ подражать имъ въ покровительствѣ своего труда». Но къ чему дѣлать выписки и цитаты? И безъ нихъ ясно, что г. Скальковскій желаетъ замѣны кустарниковъ существующими на западѣ, главнымъ образомъ, въ Англіи, формами крупной промышленности. И придти къ нимъ онъ желаетъ тою же прото1енною дорожкой, какою шла западная Европа и опять-таки, главнымъ образомъ, Англія. А къ чему пришла Англія? Намъ отвѣчаетъ на это самъ г. Скальковскій отчасти своими собственными словами, отчасти словами Уоллеса. Быть можетъ, читатель, если бы вамъ

пришли въ голову при видѣ прядильныхъ машинъ такія мрачныя мысли, какія занимали г. Скальковскаго на выставкѣ, быть можетъ, вы призадумались бы надъ ролью кустарной промышленности. Быть можетъ, вы сказали бы себѣ: надо искать такой комбинаціи, которая устраняла бы невыгоды кустарнаго производства, но въ то же время не довела бы насъ до «цѣлой арміи преступниковъ и пролетаріевъ, ряды которыхъ увеличиваются съ каждымъ днемъ»; а буде такая комбинація въ настоящую минуту по нѣкоторымъ обстоятельствамъ неудобна, то не подождать ли намъ херить кустарники съ развязностью почти военнаго человѣка? Картина, представленная Уоллесомъ, такъ страшна и мрачна, такъ несетъ отъ нея человѣческимъ мясомъ и человѣческой душой, принесенными въ жертву «невѣдомому богу» (кто вѣдаетъ этого бога?), что иной можетъ, пожалуй, сказать: а пусть себѣ тверитяне и новгородцы продолжаютъ пока ковать гвозди, воруя казенный лѣсъ,—это всетаки лучше и, во всякомъ случаѣ, будущее остается въ нашихъ рукахъ. Но вѣдь мы присутствуемъ при веселой кадрили: пары мѣняются мѣстами, сходятся, расходятся,

Чертогъ сіялъ, гремѣли хоры,

Уоллесъ пошелъ не знаю куда, а г. Скальковскій либо въ помѣщеніе комитета общества для содѣйствія торговлѣ и промышленности, либо въ редакцію «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей».

Опять веселый ритурнель. Является новая пара мыслей г. Скальковскаго. Г. Скальковскій желаетъ спасти лѣса и для этого предполагаетъ обязать нѣкоторыя желѣзныя дороги употреблять минеральное топливо. Ему говорятъ, что это будетъ регламентація, которая, какъ и всякая регламентація, только стѣснитъ промышленность, что промышленникъ воленъ пользоваться тѣмъ матеріаломъ, который для него сподручнѣе. Г. Скальковскій отвѣчаетъ, что это только громкія фразы, что, пожалуй, и запрещеніе выбрасываться изъ окна есть тоже регламентація. Затѣмъ г. Скальковскому говорятъ, что не надо бы пускать дѣтей на фабрики. Онъ отвѣчаетъ: это будетъ регламентація, которая, какъ и всякая регламентація, только стѣснитъ промышленность; промышленникъ воленъ пользоваться тѣмъ матеріаломъ, который для него сподручнѣе. Можетъ быть, кому-нибудь покажется, что это только громкія фразы, что, пожалуй, и запрещеніе выбрасываться изъ окна есть тоже регламентація. Но, во всякомъ случаѣ, пары дѣлаютъ chassé en avant, chassé croisé, сходятся, кружатся, наконецъ вѣжливо раскланиваются и расходятся въ разныя стороны. Г. Скальковскій, сохранивъ лѣса при помощи регламентаціи и снабдивъ фабрики дѣтскимъ трудомъ при помощи свободы, удаляется, слегка польки руя, въ комитетъ общества для содѣйствія промышленности или въ редакцію «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей»...

Эта не безканканная кадриль поучительна. И не только, какъ матеріалъ для характеристики дѣятельности г. Скальковскаго. Четыре мысли г. Скальковскаго сами собой разбиваются на двѣ діаметрально противуположныя группы, взаимныя отношенія которыхъ опредѣлить весьма важно. Назовемъ воззрѣнія г. Скальковскаго на кустарную промышленность и дѣтскій трудъ на фабрикахъ — практическими, и его же мысли о крупной промышленности и обязательности употребленія каменнаго угля—теоретическими. Понятное дѣло, что эти названія чисто условныя, ибо нѣтъ такой практики, которая не имѣла бы или, по крайней мѣрѣ, не могла бы имѣть соотвѣтственной теоріи: а съ другой стороны, *теоретическій* отнюдь не значитъ *непрактическій*. Тѣмъ не менѣе, тѣ двѣ точки зрѣнія, о которыхъ мы говоримъ, до такой степени различны, что единовременное существованіе ихъ въ головѣ одного и того же человѣка можетъ быть по справедливости названо довольно рѣдкою игрою природы (lusus naturae).

Наиболѣе характеристическая черта практической точки зрѣнія состоитъ въ уваженіи къ условіямъ, среди которыхъ приходится рѣшать данную задачу. Это уваженіе можетъ принимать различныя формы, достигать различныхъ степеней. Иногда, напримѣръ, условія задачи признаются просто хорошими и не нуждающимися ни въ какомъ обновленіи, иногда стихійно не измѣняемыми, иногда, наконецъ, просто о достоинствахъ и недостаткахъ наличныхъ условій не говорится вовсе, и, слѣдовательно, ихъ законность подразумѣвается. Въ этомъ состоитъ и сила, и слабость практической точки зрѣнія. Практикъ (я напоминаю, что это чисто условное названіе) не оглядывается по сторонамъ, не удаляется отъ задачи ни на шагъ. Поэтому ему легко представить рѣшеніе задачи, не осложненной побочными данными: ему легко и убѣдить поверхностныхъ слушателей, читателей, наблюдателей, что онъ говоритъ только дѣло. Его рѣшенія всегда просты и понятны большинству. Но за то они по необходимости узки и въ большинствѣ случаевъ ошибочны, ибо анализъ условій задачи, отъ котораго практикъ отлыниваетъ, существенно необходимъ для самаго рѣшенія. Положеніе теоретиковъ гораздо труднѣе. Достойно вниманія, что засѣданія всероссійскаго съѣзда промышленниковъ, въ которыхъ г. Скальковскій, въ качествѣ теоретика, ратовалъ за наши южные лѣса, были посвя-

щены вовсе не лѣсоводству, а каменноугольной промышленности и желѣзнодорожному дѣлу. Поднимая вопросъ о будущности нашихъ лѣсовъ на югѣ, предлагая принять мѣры для ихъ сохраненія, г. Скальковскій уклонился отъ вопросовъ, поставленныхъ въ программѣ съѣзда. Это явленіе весьма обыкновенное, когда люди разсуждаютъ съ теоретической точки зрѣнія, которая стремится охватить и принять въ соображеніе возможно большій кругъ явленій. Есть множество вопросовъ, которые очень волнуютъ практиковъ, но о которыхъ теоретикъ даже говорить не станетъ, если для удовлетворительнаго ихъ рѣшенія требуется предварительно измѣнить совокупность обставляющихъ вопросъ условій. Онъ заговоритъ объ этихъ условіяхъ, объ этихъ, въ глазахъ практиковъ и толпы, совершенно постороннихъ дѣлу вещахъ. Понятно поэтому, что публика апплодировала не г. Скальковскому, а г. фонъ-Бушену, отчасти за его гимнъ свободѣ, отчасти за чисто-практическую постановку вопроса: если предприниматель при наличныхъ условіяхъ находитъ болѣе выгоднымъ отоплять локомотивы дровами, то пусть его отопляетъ; а что въ близкомъ будущемъ это ляжетъ бременемъ на цѣлый край и поведетъ даже къ важнымъ климатическимъ измѣненіямъ,—до этого г. фонъ-Бушену дѣла нѣтъ, это не въ его околоткѣ.

Уваженіе практиковъ къ условіямъ задачи часто принимаетъ даже комическій характеръ. Вотъ, напримѣръ, г. Скальковскій, разсуждая на этотъ разъ, какъ практикъ, говоритъ, что кустарное производство гвоздей въ Новгородской губерніи есть безобразіе, между прочимъ, потому, что крестьянамъ приходится для этого воровать лѣсъ. Конечно, это безобразіе, но оно говоритъ вовсе не противъ кустарной промышленности. Дѣло только значитъ въ томъ, что условія жизни крестьянина должны быть измѣнены въ извѣстномъ направленіи, чтобы ему не приходилось воровать казенный лѣсъ. Лѣса, благодаря Бога, въ Россіи много и, если г. Скальковскій будетъ продолжать энергически защищать его отъ безпутнаго хищничества, такъ гвоздарные кустарники могутъ, въ принципѣ, устроиться недурно. Но г. Скальковскій не видитъ возможности даже такого измѣненія условій жизни мужика. Ни «облегченія», ни «поощренія», ни «субсидіи» не въ силахъ поставить мужика въ такое положеніе, чтобы онъ не нуждался въ ворованномъ лѣсѣ.

Итакъ, практическая точка зрѣнія стремится рѣшить данную задачу, по возможности сохранивъ безъ измѣненія окружающія условія. Практикъ, желая произвести въ жизни народа извѣстную перемѣну, имѣетъ въ виду только одинъ рядъ фактовъ. Для теоретика дѣло осложняется двумя вопросами: во-первыхъ, возможно ли предложенное измѣненіе при незыблемости другихъ, на первый взглядъ постороннихъ условій? Во-вторыхъ, если предложенное измѣненіе, дѣйствительно, будетъ имѣть мѣсто, то не отзовется ли оно на нѣкоторыхъ сторонахъ народной жизни настолько тяжело, что эта тяжесть перевѣситъ ожидаемыя непосредственныя благодѣтельныя послѣдствія измѣненія?

Рѣчь идетъ объ умственномъ, нравственномъ и матеріальномъ развитіи рабочихъ. Г. Скальковскій полагаетъ, что прекраснымъ средствомъ для улучшенія положенія рабочихъ можетъ служить полная свобода въ дѣлѣ допущенія дѣтей на фабрики. Эта мѣра будетъ имѣть, во-первыхъ, всѣ тѣ общія блага послѣдствія, какія даются свободными учрежденіями: фабрикантъ получитъ возможность болѣе широкаго выбора подходящихъ рабочихъ силъ, крестьянинъ или городской рабочій получитъ возможность отдавать своихъ дѣтей туда, гдѣ, по условіямъ его жизни, помѣстить ихъ всего выгоднѣе. Недаромъ и фабриканты, и рабочіе протестуютъ противъ ограниченія дѣтскаго фабричнаго труда. Далѣе, ребенокъ рабочій получаетъ на фабрикѣ лучшую, чѣмъ дома, пищу, съ малолѣтства пріучается къ мастерству, такъ или иначе учится. Такъ разсуждаетъ практикъ и заканчиваетъ свое разсужденіе весьма гуманной фразой: надо не сокращать, а усиливать всѣ средства заработковъ, и вмѣстѣ съ матеріальнымъ улучшеніемъ получится и нравственное. На теоретическое замѣчаніе г. Вредена о пониженіи заработной платы путемъ конкурренціи дѣтскаго труда г. Скальковскій отвѣчаетъ, что, за слабымъ развитіемъ фабричнаго дѣла въ Россіи, конкурренція эта не можетъ у насъ имѣть такихъ вредныхъ послѣдствій, какъ въ странахъ промышленно-развитыхъ. Это возраженіе съ практической точки зрѣнія, признающей выводы г. Вредена слишкомъ широкими, слишкомъ отдаляющимися отъ дѣла, весьма вѣско. Но теоретикъ можетъ найти, напротивъ доводы, г. Вредена недостаточно широкими.

Нѣкоторыя эмпирическія условія, среди которыхъ намъ приходится рѣшать вопросъ о дѣтскомъ трудѣ, указаны г. Скальковскимъ совершенно вѣрно: фабриканты дѣйствительно ропщутъ на проектъ новаго промышленнаго устава, нѣсколько, хотя далеко недостаточно ограничивающій эксплуатацію дѣтскаго труда; сами рабочіе дѣйствительно желаютъ отдавать своихъ дѣтей на фабрики, видя въ ихъ трудѣ извѣстное подспорье. Другія условія указаны г. Скальковскимъ невѣрно. Такъ, напримѣръ, когда онъ

утверждалъ, что рабочіе вообще и дѣти въ частности получаютъ на фабрикахъ хорошую пищу, то былъ немедленно остановленъ людьми, повидимому, близко знакомыми съ фабричными порядками. Наконецъ, есть еще условія, совершенно упущенныя изъ виду ораторомъ. У насъ существуетъ мнѣніе, что нашъ фабричный рабочій гораздо развитѣе, гораздо выше, если не въ нравственномъ, то, по крайней мѣрѣ, въ умственномъ отношеніи, нежели крестьянинъ. Это мнѣніе рѣшительно ни на чемъ не основано. Оно держится едва ли не потому только, что нѣчто подобное дѣйствительно имѣетъ мѣсто въ западной Европѣ. Но, если на Западѣ до нѣкоторой степени дѣйствительно существуетъ указанное отношеніе между крестьяниномъ и фабричнымъ рабочимъ, то оно обязано своимъ происхожденіемъ отнюдь не фабричному режиму, а вліяніямъ совершенно иного свойства, какихъ у насъ и въ поминѣ нѣтъ, именно вліянію широкой политической жизни, которая естественно концентрируется въ городахъ и едва достигаетъ деревень. Высокое развитіе нѣкоторыхъ представителей рабочаго класса составляетъ только облеченный въ плоть и кровь протестъ противъ фабричнаго режима. Но и то не должно преувеличивать значеніе этого развитія. Что касается собственно дѣтей, работающихъ на фабрикахъ, то я приведу изъ Маркса слѣдующіе отвѣты нѣкоторыхъ дѣтей рабочихъ на вопросы правительственнаго коммиссара. *Двѣнадцатилѣтній* мальчикъ: «четырежды четыре—восемь, а четыре четверки—16. Король—это *тому*, кому принадлежатъ всѣ деньги и все золото. Говорятъ, что у насъ есть король и что этотъ король—королева и что его называютъ принцесса Александра. Говорятъ, что она вступила въ бракъ съ королевскимъ сыномъ. Принцесса эта—мужчина». *Двѣнадцатилѣтній* мальчикъ: «Я живу не въ Англіи. Думаю, что есть такая страна, но я объ ней не слыхалъ». *Четырнадцатилѣтній*: «Слышалъ я, какъ нѣкоторые говорили, будто бы Богъ создалъ міръ и потомъ утопилъ весь народъ, кромѣ одного человѣка; слышалъ я, что этотъ одинъ человѣкъ былъ маленькая птичка». *Пятнадцатилѣтній*: «Я ничего не знаю о Лондонѣ». *Семнадцатилѣтній*: «Чортъ—добрый человѣкъ. Я не знаю, гдѣ онъ живетъ. Христосъ былъ злой человѣкъ».—Отвѣты эти заимствованы изъ оффиціальнаго документа. Таковы дѣти—рабочіе въ странѣ, высокоразвитой въ промышленномъ отношеніи, въ странѣ, которую г. Скальковскій рекомендуетъ намъ взять за образецъ «покровительства своему труду», въ странѣ, на которую съ сочувствіемъ взирали многіе изъ членовъ всероссійскаго съѣзда промышленниковъ. Къ невообразимой умственной забитости ребенка, съ 7, 8, и даже 12 лѣтъ (противъ этой цифры наши фабриканты уже протестуютъ, находя ее слишкомъ высокою) запертаго на фабрикѣ, слѣдуетъ еще прибавить крайнюю деморализацію и физическое уродство. Факты и изслѣдованія, относящіеся сюда, слишкомъ извѣстны для того, чтобы о нихъ стоило распространяться. Далѣе, мы нынѣ очень хорошо знаемъ, что умственныя, физическія и нравственныя особенности искалѣченнаго фабрикой ребенка будутъ передаваться изъ рода въ родъ, и чѣмъ длиннѣйшій рядъ поколѣній выживетъ одинъ и тотъ же забивающій режимъ, тѣмъ труднѣе будетъ поправить дѣло. Изъ совокупности этихъ элементарныхъ, всѣмъ понятныхъ, всѣмъ болѣе или менѣе извѣстныхъ фактовъ ясно видно, что дѣтскій трудъ самъ по себѣ составляетъ громадное зло. Размѣры этого зла въ будущемъ трудно даже предвидѣть. Спрашивается, какъ возможно надѣяться улучшить положеніе рабочаго класса этимъ путемъ? Не есть ли это, говоря откровенно, просто безсмыслица? И ради чего предлагается вести на закланіе дѣтскія души, въ которыхъ заключается вся будущность страны? Ради того, что ребенокъ-рабочій увеличитъ заработокъ семьи. Это типъ практической аргументаціи. Что невѣжественный, нищій человѣкъ разсчитываетъ выжать изъ своихъ дѣтей нѣкоторую прибавку къ своему скудному заработку—это вполнѣ понятно и естественно: его гонитъ нищета, его разумъ не протестуетъ. Но когда люди образованные, «интересующіеся отечественною промышленностью», всенародно заявляютъ о своемъ желаніи загнать ребятъ на фабрики ради улучшенія положенія рабочаго класса, то дѣло получаетъ особый интересъ. Справедливость требуетъ, однако, замѣтить, что мысль г. Скальковскаго о свободѣ дѣтскаго труда не вполнѣ прошла на съѣздѣ. Но насъ интересуетъ здѣсь практическая точка зрѣнія, а не резолюція съѣзда. И мысль г. Скальковскаго представляетъ очень характерный образецъ разсужденій съ практической точки зрѣнія. Теоретикъ, столкнувшись съ вопросомъ о дѣтскомъ трудѣ, сказалъ бы, что, въ виду неисчислимаго зла, долженствующаго проистечь изъ свободы дѣтскаго труда, разсчитывать поправить положеніе рабочихъ этимъ путемъ свободы—по малой мѣрѣ смѣшно (иной могъ бы употребить слово болѣе жесткое); что, напротивъ, условія жизни рабочаго должны быть такъ измѣнены, чтобы онъ, во-первыхъ, понялъ весь ужасъ совершаемаго имъ дѣтоубійства, чтобы онъ, во-вторыхъ, и не нуждался въ такомъ дѣтоубійствѣ. Но практикъ желалъ бы улучшить положеніе рабочаго, по возможности не измѣ-

няя условій его жизни или, что то же, не улучшая его положенія. Это нелѣпость, но она въ томъ или другомъ видѣ повторяется на каждомъ шагу людьми, смотрящими на вещи съ практической точки зрѣнія. Это нелѣпость, но при помощи самыхъ простыхъ махинацій она можетъ получить соблазнительный видъ очевидной практической истины. Г. Скальковскій можетъ по пальцамъ разсчитать: рабочій получетъ, скажемъ, 15 рублей; онъ даетъ семилѣтнаго сына на фабрику, и тотъ получаетъ 4 рубля, двѣнадцатилѣтная дочь—5 рублей; итого заработокъ семьи равняется 24 рублямъ. Чего же вамъ больше желать? 24 больше 15. Результатъ блестящій, способный ослѣпить многихъ. Задача рѣшена и при томъ просто и ясно: девять цѣлковыхъ ощупать можно. Теоретикъ, напротивъ, пугаетъ васъ будущимъ, которое еще когда-то будетъ, и предлагаетъ, если вы, дѣйствительно хотите улучшить положеніе рабочаго, рѣшить задачу трудную и многосложную, потревожить многіе интересы, измѣнить условія жизни рабочаго. Понятно, что уже по самой сложности своей задача эта не можетъ достигнуть простоты и ясности девяти цѣлковыхъ. Это не по плечу толпѣ, тогда какъ практикъ составляетъ кость отъ кости и плоть отъ плоти ея; онъ только повторяетъ желанія и мысли фабрикантовъ и рабочихъ, поскольку они совпадаютъ. Нѣтъ ничего удивительнаго, что практикъ обратится къ теоретику съ такимъ репримандомъ: я дѣло дѣлаю, я не задаюсь широкими планами, но я всетаки улучшаю положеніе рабочаго, хоть въ размѣрѣ девяти цѣлковыхъ; а вы что? вы «угощаете нашу промышленность экономическими теоріями и проектами». На это теоретикъ можетъ съ справедливою гордостью отвѣтить: пусть я, по вашему, не дѣлаю дѣла, но я не гублю своего народа. А вы не только губите его, но губите полусознательно, потому что приходятъ же вамъ въ голову на московской выставкѣ мрачныя мысли Уоллеса.

Благодаря тому обстоятельству, что общія выраженія цѣлей теоретиковъ и практиковъ совпадаютъ, благодаря тому, напримѣръ, что и тѣ, и другіе говорятъ объ улучшеніи положенія рабочаго класса, у насъ довольно распространено мнѣніе объ ихъ солидарности. Можно довольно часто слышать мнѣніе, что теоретики суть радикалы, желающіе нѣкотораго быстраго и крутого измѣненія условій народной жизни, а практики суть «постепеновцы», добивающіеся въ окончательномъ результатѣ того же, но придерживающіеся принципа: тише ѣдешь, дальше будешь. Это совсѣмъ несправедливо. Разница тутъ не въ степени, а въ самомъ направленіи. Это было бы для насъ совершенно ясно, если бы мы потщательнѣе анализировали такія понятія, какъ «цивилизація», или не держали бы идеи «народа» въ положеніи таинственнаго незнакомца, фигурирующаго въ романахъ г-жи Ратклифъ. Въ статьѣ «Что такое счастіе?» былъ приведенъ цѣлый рядъ мнѣній людей, болѣе или менѣе авторитетныхъ, о смыслѣ цивилизаціи. Были подобраны воззрѣнія людей, только сочувствующихъ существующему въ Европѣ экономическому порядку вещей. Общій смыслъ всѣхъ этихъ мнѣній состоитъ въ томъ, что нищета и невѣжество народа, т. е. трудящихся классовъ, составляютъ существенное, необходимое условіе европейской цивилизаціи. Совершенно то же самое говорятъ и соціалисты, внутренніе враги Европы, какъ она исторически сложилась. Значитъ, въ Европѣ дѣло поставлено совершенно ясно. Если мы за грѣхи свои доживемъ когда-нибудь до того, что наши практики посмѣютъ говорить столь же громко и откровенно, какъ практики европейскіе, то будетъ, можетъ быть, уже поздно разсуждать о томъ, въ чемъ состоитъ разница между теоретической и практической точкой зрѣнія. Но за то тогда дѣло будетъ совершенно ясно.

Большинство ораторовъ перваго всероссійскаго съѣзда фабрикантовъ и промышленниковъ требовало свободы, свободы и свободы. Мы слышали уже красивое восклицаніе: «Пусть наши богатства лежатъ въ землѣ, если ихъ нужно вынимать съ регламентаціями»! Мы привели также начало покрытаго рукоплесканіями гимна свободѣ, пропѣтаго г. фонъ-Бушеномъ. Это глубокое уваженіе къ свободѣ прорывалось на съѣздѣ на каждомъ шагу: шла ли рѣчь о банкахъ, или дѣтскомъ трудѣ, о воспитаніи или желѣзныхъ дорогахъ—ораторы, взывавшіе къ свободѣ, получали на свою долю аплодисменты и одобренія. Съѣздъ открылся рѣчью г. Вешнякова, имѣвшею цѣлью связать съ понятіемъ свободы самый фактъ съѣзда. «Прошли тѣ времена,—сказалъ ораторъ,—когда промышленное законодательство во всѣхъ почти странахъ заключало въ себѣ не только опредѣленіе общихъ условій существованія въ государствѣ фабричной ремесленной промышленности, но и стѣснительныя ограниченія относительно права заниматься тою или другою отраслью труда и предписанія относительно обязательнаго размѣра, вида, качества и даже цѣны издѣлій. Нынѣ свобода труда, свобода промышленности сдѣлались девизомъ современнаго промышленнаго прогресса. Освободившись отъ лежавшей надъ нею опеки, предоставленная собственному самостоятельному развитію, промышленность почувствовала потребность въ самопознаніи, въ уясненіи самой себѣ своихъ нуждъ». А одно изъ средствъ такого самопознанія пред-

ставляютъ съѣзды промышленниковъ. Другой ораторъ по поводу одного проекта замѣтилъ: милостивые государи, вамъ предлагаютъ не правительственное вмѣшательство, а «*напротивъ*, очень раціональную мѣру» (Протоколы, 11). Такимъ образомъ, члены съѣзда безъ всякихъ преній, молча рѣшили, что правительственное вмѣшательство во всякомъ случаѣ негодно, а свобода во всякомъ случаѣ раціональна. И въ то же время большинство членовъ съѣзда обсуждало подлежащіе вопросы съ чисто-практической точки зрѣнія. Это совпаденіе не случайное, какъ не трудно видѣть изъ самаго легкаго анализа понятія свободы.

Мы не будемъ пока говорить о нѣкоторой туманности этого понятія въ обиходномъ его употребленіи и переведемъ слово «свобода» словами «независимость и личная инціатива». Полагаемъ, что относительно этого перевода пререканій быть не можетъ. Но, спрашивается, чего мы добиваемся, говоря о свободѣ? Рѣшаемъ ли мы теоретическую задачу или даемъ практическое правило? Есть ли для насъ свобода цѣль, къ которой мы должны стремиться, или средство для достиженія другихъ цѣлей, напримѣръ, благосостоянія? Практики, не любящіе анализировать свои общія идеи, не задаютъ себѣ этихъ вопросовъ. Между тѣмъ они очень важны. Что независимость и личная инціатива сами по себѣ желательны— въ этомъ въ современномъ обществѣ всѣ согласны, и теоретики, и практики. Мы говоримъ: въ современномъ обществѣ, потому что въ средніе вѣка и у насъ при крѣпостномъ правѣ смотрѣли на дѣло иначе. Но указаніе цѣли не есть еще практическое правило. Всѣ дороги ведутъ въ Римъ, говоритъ пословица. Если къ независимости и личной инціативѣ ведутъ не всѣ пути, то во всякомъ случаѣ, при признаніи свободы цѣлью, могутъ существовать весьма различные взгляды на способы достиженія этой цѣли. Практики этого не хотятъ знать или не понимаютъ и, зарядившись идеей свободы, говорятъ о ней и какъ о цѣли дѣйствія, и какъ о наилучшемъ способѣ дѣйствія. Это весьма подозрительно. Это прежде всего не практично, если подъ практичностью разумѣть искусство скоро и съ возможно малыми убытками достигать извѣстной цѣли. Понятно, что наука можетъ выработать идею такой цѣли, которая въ своемъ общемъ выраженіи станетъ обязательною для всѣхъ странъ и при всѣхъ обстоятельствахъ. Но совершенно непонятно, чтобы эта непререкаемая, общая цѣль достигалась при всѣхъ обстоятельствахъ одними и тѣми же средствами. Экономическіе и вообще соціологическіе факты представляютъ собою нѣчто въ такой мѣрѣ сложное, постоянно измѣняющееся, колеблющееся, что даже просто дико думать найти здѣсь какое-нибудь универсальное средство для достиженія извѣстной цѣли, хотя цѣль эта и можетъ быть универсальною. Два человѣка, живя въ разныхъ условіяхъ, могутъ задаться одною и тою же цѣлью, могутъ, напримѣръ, задумать фабрикацію писчей бумаги. Но изъ этого еще не слѣдуетъ, что способы достиженія этой общей цѣли должны быть одинаковы. Способы эти опредѣлятся окружающими условіями: въ лѣсистой мѣстности фабрикантъ будетъ жечь дрова и выдѣлывать бумагу изъ дерева, а при другихъ условіяхъ—станетъ употреблять каменный уголь и тряпье. Практики это очень хорошо понимаютъ и даже требуютъ, чтобы фабриканту была предоставлена полная свобода выбора способовъ дѣйствія. Но какъ только рѣчь заходитъ не о частностяхъ, а о самой свободѣ, такъ они начинаютъ утверждать, что знаютъ способъ дѣйствій, пригодный всегда и при всѣхъ обстоятельствахъ. Мало того, это уваженіе къ свободѣ, какъ къ средству, застилаетъ для практиковъ самую цѣль. Мы видѣли недавно, что Спенсеръ, разсуждающій въ этомъ случаѣ, какъ настоящій практикъ, признаетъ путь свободы единственнымъ раціональнымъ путемъ при всѣхъ обстоятельствахъ. И его нисколько не смущаетъ то обстоятельство, что по его же изслѣдованіямъ этотъ путь ведетъ къ наибольшей зависимости. Правъ Спенсеръ фактически или нѣтъ—мы думаемъ, что правъ, что свобода, какъ универсальное средство, дѣйствительно ведетъ къ зависимости—но онъ тутъ только наивно и вмѣстѣ строго послѣдовательно дотягиваетъ до конца особенности практической точки зрѣнія. Практикъ желаетъ рѣшить всякую предложенную задачу, по возможности не измѣняя прилегающихъ условій. Свобода естественно представляется при этомъ единственно раціональнымъ путемъ, ибо она, въ качествѣ универсальнаго средства, избавляетъ, во-первыхъ, отъ обязанности вникать въ крайне-измѣнчивыя условія задачи: если бы медицина была столь наивна, что увѣровала бы въ какую-нибудь панацею, то понятно діагностика оказалась бы ненужною. Во-вторыхъ, свобода предписываетъ ничего не измѣнять, а предоставлять все въ данный моментъ существующее его естественному развитію. Это практику, какъ нельзя болѣе на руку. Все, предоставленное своему естественному развитію, идетъ по направленію наименьшаго сопротивленія, слѣдовательно, легчайшимъ, простѣйшимъ путемъ, какой только возможенъ при данныхъ условіяхъ. А это только практику и нужно. О будущемъ, о томъ, что получится въ окон-

чательномъ результатѣ, практикъ не думаетъ. Если оно и вспомнится, напримѣръ, г. Скальковскому на политехнической выставкѣ, то всетаки не окажетъ никакого вліянія на его образъ мыслей и дѣйствій. Это все равно, какъ нищему приснилось бы, что онъ король: солнце встанетъ, разбудитъ нищаго, и онъ пойдетъ себѣ просить Христа ради.

Изъ всего этого слѣдуетъ, что практическая точка зрѣнія практична только въ самомъ узкомъ, техническомъ смыслѣ слова. Она годится только въ такихъ случаяхъ, когда условія заданной задачи очень просты. Она годится сапожнику, механику, вообще технику, но совершенно не годится публицисту, государственному дѣятелю, вообще человѣку, имѣющему дѣло съ явленіями достаточно сложными. Насадить въ своемъ отечествѣ промышленность и сшить сапоги, это двѣ вещи разныя, а между тѣмъ, наши практики, насаждая промышленность, дѣйствуютъ и разсуждаютъ чисто какъ сапожники: они исполняютъ заказъ. Заказывая сапожнику сапоги, я назначаю ему извѣстную, строго опредѣленную и очень узкую рамку: сапоги должны быть опойковые, съ широкими носками, съ такими-то каблуками и т. д. Кромѣ этой рамки и своего личнаго интереса, сапожникъ не долженъ принимать въ соображеніе ничего. Такъ дѣйствуютъ и наши практики.

Первый всероссійскій съѣздъ фабрикантовъ, заводчиковъ и лицъ, интересующихся отечественною промышленностью, посвятилъ два засѣданія на разсужденія о способахъ поднять положеніе нашего рабочаго. Это очень немного (всѣхъ засѣданій было 17). Но мы бы, пожалуй, примирились съ этимъ малымъ количествомъ времени, удѣленнымъ съѣздомъ на обсужденіе вопроса первѣйшей важности, если бы онъ былъ, по крайней мѣрѣ, поставленъ какъ слѣдуетъ. Къ сожалѣнію, этого отнюдь нельзя сказать. Предсѣдатель, г. Делавоссъ, открывая засѣданіе, объявилъ, что удовлетворительное рѣшеніе вопроса о положеніи рабочихъ вполнѣ гарантировано, во-первыхъ, важностью самого дѣла; во-вторыхъ, тѣсною связью, существующею между положеніемъ рабочаго и интересами промышленниковъ; въ-третьихъ, «тою чертою нашего промышленника, которая не всегда, къ сожалѣнію, встрѣчается на Западѣ, а именно готовностью удѣлить изъ накопленныхъ богатствъ излишекъ для меньшихъ своихъ братій». Заручившись такими солидными гарантіями, предсѣдатель счелъ нужнымъ замѣтить, что всѣ «абстрактные, умозрительные вопросы» должны быть устранены изъ обсужденія. «Желательно, — продолжалъ г. Делавоссъ,—чтобы нашъ рабочій не представлялъ человѣка больного, требующаго медицинскихъ пособій, у изголовья котораго врачи начали нескончаемую полемику о тѣхъ причинахъ, которыя породили въ немъ эту болѣзнь, и о дѣйствіи этой болѣзни на разныя части организма и т. п. Необходимо предположить, что люди, которые примутъ участіе въ настоящихъ преніяхъ, достаточно знакомы съ бытомъ нашего мастерового и, слѣдовательно, предложенныя ими мѣры могутъ быть обсуждены только съ точки зрѣнія большей или меньшей ихъ практичности и примѣнимости къ дѣлу». Мудрено было ждать чего-нибудь хорошаго отъ такого начала. Начертанная г. Делавоссомъ программа въ своемъ родѣ драгоцѣнна. Ею исключается два ряда изслѣдованій: во-первыхъ, всѣ научныя, теоретическія или, пожалуй, «абстрактныя, умозрительныя» разсужденія о законахъ экономическаго развитія, поскольку они отражаются на положеніи рабочаго, во-вторыхъ, всѣ конкретныя, описательныя, историческія изслѣдованія причинъ того или другого явленія изъ быта рабочихъ. Что же остается за вычетомъ этихъ двухъ обширныхъ областей, безспорно имѣющихъ довольно близкое отношеніе къ занимавшему съѣздъ вопросу? Остается точка зрѣнія «большей или меньшей практичности и примѣнимости къ дѣлу». Точка зрѣнія несомнѣнно почтенная, если «дѣло», о которомъ идетъ рѣчь, вполнѣ выяснено изслѣдованіемъ соотвѣтственныхъ «абстрактныхъ, умозрительныхъ вопросовъ», но вмѣстѣ съ тѣмъ точка зрѣнія вполнѣ несостоятельная въ томъ изолированномъ видѣ, въ какомъ она желательна г. Делавоссу. Въ съѣздѣ принимали участіе кроткіе и благонамѣренные люди чистой науки, какъ г. Вреденъ; ловкіе и остроумные люди публицистики и канцелярской дѣятельности, какъ г. Скальковскій; наконецъ, люди чистой практики, какъ г. Сыромятниковъ, заявившій «о недостаточности образованія провинціальнаго русскаго купечества, къ средѣ котораго и я (г. Сыромятниковъ) принадлежу»: люди, «не умѣющіе красно говорить», но твердо увѣренные, что «торговая промышленность составляетъ силу и богатство страны». Если признавать заслуживающею вниманія только точку зрѣнія большей или меньшей практичности, то, конечно, указанія г. Сыромятникова должны считаться наиболѣе цѣнными. Дѣйствительно, всѣ указанія г. Сыромятникова были весьма практичны. Такъ, напримѣръ, когда г. Вреденъ доказывалъ, что трудъ малолѣтнихъ оплачивается безъ всякой нормы, что тутъ не имѣютъ силы ни спросъ и предложеніе, ни издержки на содержаніе рабочаго, ни такъ называемый естественный предѣлъ заработной платы, г. Сыромятниковъ, становясь на сторону г. Скаль-

ковскаго, возразилъ: «плата за работу опредѣляется не произвольно, а по соглашенію съ рабочимъ, и, смотря по труду и работѣ, онъ получаетъ больше или меньше». Это, конечно, практично, но уже слишкомъ просто, до такой степени просто, что, пожалуй, и не стоило съѣзжаться для выслушиванія подобныхъ экономическихъ воззрѣній. А между тѣмъ, они выслушивались. А когда г. Вреденъ нѣсколько дольше продержалъ слушателей въ области «абстрактныхъ, умозрительныхъ» вопросовъ, предсѣдатель замѣтилъ, что въ виду малаго количества времени нельзя-ли ограничить пребываніе ораторовъ на каѳедрѣ 15 минутами. За это предсѣдатель получилъ въ концѣ засѣданія благодарность за «безпристрастіе и примѣрное терпѣніе», съ которыми онъ руководилъ преніями. Крайняя бѣдность результатовъ преній не представляетъ при такихъ обстоятельствахъ ничего удивительнаго. Но она увеличивается еще однимъ обстоятельствомъ. Предположеніе г. Делавосса о томъ, что участвующіе въ преніяхъ достаточно знакомы съ положеніемъ русскихъ рабочихъ, блистательно не оправдалось. Такъ что съѣздъ принялъ, между прочимъ, слѣдующія двѣ резолюціи: принимая во вниманіе, что въ настоящее время имѣется весьма мало свѣдѣній о бытѣ рабочихъ въ Россіи, съѣздъ выражаетъ желаніе: 1) чтобы правительство, при участіи ученыхъ обществъ и спеціалистовъ, предприняло рядъ изслѣдованій для изученія современнаго положенія рабочаго сословія въ нравственномъ, умственномъ и матеріальномъ отношеніяхъ, 2) чтобы въ видахъ возможности улучшенія быта рабочаго населенія въ Россіи распространеніемъ такъ называемыхъ хозяйственныхъ и промышленныхъ артелей, было произведено правительствомъ изслѣдованіе этого вопроса и изданъ нормальный уставъ такихъ артелей.

Намъ кажется, однако, что ни недостатокъ людей, близко знакомыхъ съ положеніемъ русскихъ рабочихъ, ни недостатокъ времени, на который постоянно ссылался г. Делавоссъ, не суть коренныя причины бѣдности резолюцій съѣзда по вопросу объ улучшеніи положенія рабочаго сословія. Нельзя сказать, чтобы на съѣздѣ не было людей, компетентныхъ въ вопросѣ о положеніи рабочихъ. Тутъ былъ, напримѣръ, г. Шапиро, какъ извѣстно, хорошо знакомый съ бытомъ рабочаго люда на сѣверѣ Россіи,—но онъ почти не принималъ участія въ преніяхъ. Тутъ былъ г. Хорошевскій, управляющій домбровскими заводами, были и другіе управляющіе заводами; были, правда, въ очень ограниченномъ числѣ, бывшіе и настоящіе фабриканты какъ г. Сыромятниковъ и т. д. Эти люди не могутъ не знать быта рабочихъ, по крайней мѣрѣ, въ извѣстныхъ мѣстностяхъ и въ извѣстныхъ отрасляхъ промышленности. Значитъ, не въ этомъ дѣло. Что же касается до недостатка времени, то это вопросъ, очевидно, не первичный. Спрашивается, почему коммиссія изъ членовъ русскаго техническаго общества и общества для содѣйствія промышленности и торговлѣ, составлявшая программу съѣзда, удѣлила такъ мало времени вопросу, быть можетъ, важнѣйшему изъ всѣхъ, какіе обсуждалъ съѣздъ? Намъ кажется, что качественная и количественная бѣдность резолюцій съѣзда, обусловленная, конечно, отчасти и недостаткомъ времени, коренится несравненно глубже, имѣетъ ту же самую причину, что и недостатокъ времени. Намъ кажется, что причину эту нетрудно открыть, прислушиваясь къ заключительной рѣчи г. Делавосса.

Передъ баллотировкой резолюцій шестого отдѣленія съѣзда, предсѣдатель пожелалъ выразить «свой субъективный взглядъ» на только что оконченныя пренія. Этотъ субъективный взглядъ весьма характеренъ какъ по сущности своей, такъ и по формѣ. Г. Делавоссъ сказалъ слѣдующее:

„Сколько я могъ себѣ уяснить, главная цѣль нашего съѣзда есть сближеніе между собой двухъ фракцій дѣятелей, изъ коихъ одна заключаетъ въ себѣ элементъ научный, теоретическій, а другая чисто практическій. Сближеніе это необходимо для обсужденія нѣкоторыхъ мѣръ, имѣющихъ цѣлью нормальное развитіе и упроченіе нашей промышленности, а также возвышеніе умственнаго и матеріальнаго уровня нашего рабочаго люда. *Если, такимъ образомъ, одна фракція дѣятелей подаетъ руку помощи другой, безъ всякой задней мысли, но съ чистосердечною откровенностью и съ твердымъ желаніемъ трудиться для общаго дѣла, то было бы весьма странно и неестественно видѣть въ условіяхъ, скрѣпляющихъ связь между сказанными фракціями, такія положенія, которыя надаютъ тяжелымъ бременемъ на одну изъ нихъ, и вслѣдствіе неподготовленности этой послѣдней къ воспріятію новыхъ, мало испытанныхъ еще теорій организаціи рабочаго труда, грозятъ ей переворотами того порядка, который установился почти полувѣковой практикой.* Вопросы, которые предложены намъ для обсужденія, имѣютъ такую громадную важность и такъ обширны по содержанію, для рѣшенія своего требуютъ предварительно всесторонняго и глубокаго изученія какъ съ теоретической, такъ и съ практической точки зрѣнія. Не далѣе какъ сегодня намъ сказали, что *эти вопросы въ настоящее время еще не разрѣшены въ тѣхъ государствахъ, которыя насъ во всемъ опередили и гдѣ занимается ими издавна цѣлая масса ученыхъ экономистовъ и образованныхъ промышленниковъ.* Слѣдовательно, было бы опрометчиво предполагать, чтобы наше отдѣленіе могло въ два или три засѣданія выработать такія положительныя данныя, чтобы на основаніи ихъ мы могли бы ходатайствовать о принятіи какихъ бы то ни было коренныхъ, рѣшительныхъ мѣръ, относительно этихъ вопросовъ, *а тѣмъ менѣе такихъ, которыя требуютъ энергическаго репрессивнаго дѣйствія самодержавной власти на дѣла той фракціи дѣятелей, съ которыми мы въ настоящее*

время намѣревались заключить союзъ для преслѣдованія одинаковой цѣли».

Съ грустью выписываемъ мы эти кудреватые, мягкіе періоды директора московскаго техническаго училища. Невольно лѣзутъ въ голову вопросы: зачѣмъ говорилъ все это г. Делавоссъ? Зачѣмъ онъ такъ изгибался, желая благополучно протискаться между «двумя фракціями дѣятелей»? За что такъ глубоко унизилъ онъ науку, «элементъ научный, теоретическій» передъ горстью русскихъ фабрикантовъ, которые, вдобавокъ, съ такимъ равнодушіемъ отнеслись къ дѣлу съѣзда, что ихъ присутствовало разъ, два, да и обчелся? И какую роль играетъ при этомъ нашъ рабочій людъ, надъ головами котораго «двѣ фракціи дѣятелей подаютъ другъ другу руку помощи»? Если мы расплетемъ кудри рѣчи г. Делавосса, то получимъ слѣдующее: Мы, люди науки, желаемъ вмѣстѣ съ вами, фабрикантами и промышленниками, обсудить, между прочимъ, положеніе рабочаго народа. Но вы не бойтесь. Вы наслышались о разныхъ теоріяхъ, которыя считаютъ нужнымъ и возможнымъ сократить ваши барыши. Не бойтесь, мы не предложимъ ничего подобнаго. Мы безъ всякой задней мысли, съ чистосердечною откровенностью предлагаемъ вамъ союзъ.—Вотъ что говорилъ предсѣдатель шестого отдѣленія перваго всероссійскаго съѣзда промышленниковъ. И эта рѣчь бросаетъ яркій свѣтъ и на комплименты «той особенности русскихъ промышленниковъ, что они всегда готовы пожертвовать излишекъ (?) въ пользу меньшей братіи», и на узкую постановку вопроса о положеніи рабочихъ, и на весь ходъ преній. Люди науки знаютъ, это энергическое воздѣйствіе на дѣла «другой фракціи дѣятелей» было бы нужно въ интересахъ рабочаго люда. Но, зная это, люди науки всетаки молчатъ, ибо боятся потревожить душевное спокойствіе фабрикантовъ. Мало того, люди науки прямо говорятъ: мы знаемъ, что нужно, но мы молчимъ, потому что не хотимъ нарушать миръ души «другой фракціи дѣятелей». Во всякомъ случаѣ, понятно, что при такихъ условіяхъ дебаты о положеніи рабочихъ не могли представлять серьезнаго интереса. Если взглядъ г. Делавосса на эти дебаты вѣренъ, а онъ, кажется, вѣренъ, то господа дебатирующіе должны были все время находиться подъ вліяніемъ извѣстныхъ заднихъ мыслей, хотя бы послѣднія только въ томъ и состояли, что какъ бы, молъ, насъ не заподозрили въ заднихъ мысляхъ и въ недостаткѣ чистосердечія. А вслѣдствіе этого вниманіе ораторовъ устремлялось со всѣмъ не туда, куда слѣдовало по программѣ. Напримѣръ, рѣчь идетъ о дѣтскомъ трудѣ. Было бы весьма не трудно доказать, что для блага самихъ рабочихъ дѣтей ихъ на фабрики допускать не слѣдуетъ. Софизмъ г. Скальковскаго относительно дѣтскаго труда, какъ подспорья, могъ бы только вызвать соображенія о необходимости нѣкоторыхъ коренныхъ мѣръ. Во всякомъ случаѣ, вопросъ шелъ бы объ улучшеніи положенія рабочаго класса. Но надъ ораторами висѣла, какъ Дамокловъ мечъ, опасность обидѣть, оскорбить, потревожить «другую фракцію дѣятелей». Вопросъ объ улучшеніи быта рабочихъ парализовался вопросомъ о необходимости чистосердечно поддерживать союзъ съ фабрикантами, для которыхъ ограниченіе дѣтскаго труда невыгодно. Подобную замѣну одного вопроса другимъ мы уже видѣли въ защитѣ г. Скальковскимъ южныхъ лѣсовъ, когда рѣчь шла о каменноугольной промышленности. Но тамъ условія задачи расширялись, тогда какъ здѣсь они суживались. И такимъ-то образомъ торжествовала практическая точка зрѣнія, предписывающая въ настоящемъ случаѣ улучшать положеніе рабочихъ, не улучшая его.

Но кудрявая рѣчь г. Делавосса любопытна не только, какъ ключъ въ тайнѣ дебатовъ о рабочемъ вопросѣ на съѣздѣ промышленниковъ. Она можетъ служить нагляднымъ примѣромъ одного важнаго недоразумѣнія, красною нитью проходящаго чуть ли не по всѣмъ господствующимъ у насъ воззрѣніямъ на современное положеніе Россіи. Хотя на съѣздѣ весьма часто говорилось, что нашъ промышленникъ, нашъ рабочій, наша наука отличаются отъ заграничныхъ весьма рѣзко, но на дѣлѣ пренія о рабочемъ вопросѣ шли въ чисто заграничномъ тонѣ. Мы не хотимъ, конечно, этимъ сказать, чтобы засѣданія шестого отдѣленія съѣзда представляли точный снимокъ съ подобныхъ собраній въ западной Европѣ. Конечно, они тамъ несравненно благоустроеннѣе и обстоятельнѣе. Мы говоримъ только о тонѣ, о направленіи дебатовъ. Г. Делавоссъ ссылался на то, что рабочій вопросъ не разрѣшенъ и въ государствахъ, во всемъ насъ опередившихъ, и отсюда заключилъ, что тѣмъ паче можемъ и даже должны отложить разрѣшеніе его мы. Къ сожалѣнію, ни г. Делавоссъ и никто изъ присутствующихъ не попытался объяснить указанный имъ фактъ изъ европейской жизни. Между тѣмъ, объяснить его весьма легко и было бы на съѣздѣ весьма умѣстно.

Современный экономическій порядокъ въ Европѣ началъ складываться еще тогда, когда наука, завѣдующая этимъ кругомъ явленій, не существовала и когда нравственныя идеи были крайне грубаго свойства. Вслѣдствіе этого европейская жизнь складывалась почти такъ же безсмысленно и безнравственно, какъ въ природѣ течетъ рѣка или ростетъ дерево.

Рѣка течетъ по направленію наименьшаго сопротивленія, смываетъ то, что можетъ смыть, будь это алмазная копь, огибаетъ то, чего смыть не можетъ, будь это навозная куча. Шлюзы, плотины, обводные и отводные каналы устраиваются по иниціативѣ человѣческаго разума и чувства. Этотъ разумъ и это чувство, можно сказать, не присутствовали при возникновеніи современнаго экономическаго порядка въ Европѣ. Они были въ зачаточномъ состояніи, и воздѣйствіе ихъ на естественный, стихійный ходъ вещей было ничтожно. Конечно, люди всегда старались такъ или иначе повліять на ходъ вещей. Но они руководствовались при этомъ указаніями самаго скуднаго опыта и самыми грубыми интересами; и понятно, что только въ высшей степени рѣдко эти руководители могли случайно натолкнуть на путь, указываемый современною наукою и современными нравственными идеями. Такое совпаденіе, хотя оно и случалось, было въ своемъ родѣ чудомъ, рѣдчайшимъ исключеніемъ изъ общаго правила. Конечно, европейскія законодательства предписывали даже весьма энергическія мѣры, стараясь направить экономическое развитіе въ ту или другую сторону. Но въ большинствѣ случаевъ эти мѣры, не смотря на свой насильственный характеръ, только ускоряли естественный процессъ развитія. Такова, напримѣръ, покровительственная торговая политика, которой держалась въ свое время и нынѣшняя представительница фритредерства—Англія. Вотъ почему мы и говоримъ, что разумъ (разумѣя разумъ, просвѣтленный наукой) и нравственное чувство (болѣе или менѣе развитое) не вліяли на ходъ экономическаго развитія въ Европѣ. Величайшимъ актомъ вмѣшательства разума и чувства было освобожденіе крѣпостныхъ, но и въ этомъ актѣ было много стихійнаго. Въ освобожденіи крестьянъ въ Европѣ слѣдуетъ отличать двѣ стороны. Рядомъ съ свободой, съ паденіемъ феодальной зависимости идетъ цѣлый длинный рядъ явленій, клонящихся къ тому, чтобы отдѣлить собственность отъ труда, собственника отъ условій труда, производителя отъ орудій прозводства. Дѣло началось съ обезземеленія свободныхъ, освобожденныхъ крестьянъ. Оно происходило индѣ насильственно, индѣ путемъ свободы: мелкіе землевладѣльцы и члены дурно организованныхъ, плохо гарантированныхъ поземельныхъ общинъ снесли свои надѣлы на рынокъ, ибо съ узкой, практической точки зрѣнія, при наличныхъ условіяхъ, ихъ было выгодно продать. Далѣе, какъ мелкая поземельная собственность не могла выжить рядомъ съ крупной, такъ кустарная промышленность не могла удержаться при укрѣпленіи и возрастаніи крупной. Вездѣ освобожденный отъ феодальной зависимости крестьянинъ и ремесленникъ утрачиваютъ тѣмъ или другимъ путемъ свои права собственности на землю и орудія производства. Мелкій, но самостоятельный собственникъ становится наемникомъ, имѣющимъ въ своемъ распоряженіи только свой трудъ, между тѣмъ, какъ всѣ необходимыя условія труда—земля, инструменты, машины—по мѣрѣ своего улучшенія и усложненія сосредоточиваются въ другихъ рукахъ, въ рукахъ капиталистовъ и крупныхъ поземельныхъ собственниковъ. Вотъ задняя сторона экономическаго развитія Европы, сторона, обыкновенно упускаемая изъ виду апологетами крупной промышленности. Апологеты эти любять приводить статистическія данныя, повидимому, свидѣтельствующія овысокомъ благосостояніи современнаго рабочаго по сравненію съ положеніемъ крѣпостного или раба. Данныя эти или невѣрны, или невѣрно понимаются. Это доказано. Но если бы это даже и не было доказано, то вѣрно то, что практическій, стихійный путь или, что то же, путь свободы, какъ универсальнаго средства, привелъ къ зависимости. Ибо въ концѣ этого пути общество трудящихся собственниковъ распалось на громадную массу рабочихъ, не имѣющихъ собственности, и собственниковъ. Этотъ процессъ былъ безсмысленъ и безнравственъ, какъ всякій стихійный процессъ, не управляемый человѣческимъ разумомъ и нравственнымъ чувствомъ. А когда онъ окончательно обрисовался, то свыкшіеся съ нимъ разумъ и нравственное чувство уже въ значительной степени утратили способность имъ возмущаться. Поэтому вполнѣ естественно, что во всемъ опередившія насъ государства не разрѣшили своего рабочаго вопроса. Но намъ они въ этомъ отношеніи не указъ. Тамъ крупные промышленники представляютъ великую общественную силу, могучую и числомъ своимъ, и своимъ образованіемъ, и громадными капиталами. Тамъ удовлетворительное рѣшеніе рабочаго вопроса дѣйствительно равняется революціи, которая должна взволновать весь вѣками складывавшійся общественный строй и поколебать интересы важные, сильные, многочисленные. Поэтому тамъ была бы, по крайней мѣрѣ, объяснима та кудрявая осторожность, то zirlich-manierlich, которое выразилось въ рѣчи г. Делавосса. А у насъ? Съ чего мы то станемъ вести свои дѣла такъ, какъ будто бы наши капиталисты не ничтожная во всѣхъ отношеніяхъ капля въ морѣ русскаго народа или какъ будто бы наши рабочіе ничѣмъ не отличаются отъ европейскихъ пролетаріевъ? Только одинъ изъ ораторовъ съѣзда, именно г. Губинъ, попытался было, по крайней мѣрѣ, одну сторону вопроса поставить на надлежа-

щую точку зрѣнія. «Слово «рабочій», —говорилъ г. Губинъ,—нельзя понимать у насъ въ томъ смыслѣ, какъ за границей. У насъ нѣтъ или очень мало такихъ рабочихъ, которые бы родились на заводѣ. У насъ они одинъ годъ работаютъ на суконной фабрикѣ, другой на сахароваренномъ заводѣ и т. д., и если работаютъ на одной фабрикѣ, то все-таки по большей части имѣютъ за собою матеріальную поддержку въ принадлежащей имъ землѣ. Слѣдовательно, наши рабочіе не могутъ быть приравниваемы къ фабричнымъ Бельгіи, Франціи и Англіи, гдѣ они являются беземельными пролетаріями. У насъ рабочіе не составляютъ отдѣльнаго рабочаго сословія. Напротивъ того, они состоятъ и изъ мѣщанъ, и изъ крестьянъ, живутъ и по уѣздамъ, и по городамъ». Къ сожалѣнію, это указаніе было сдѣлано ради безспорно важной, но второстепенной цѣли, именно въ доказательство того, что устройство школъ на заводахъ недостаточно. Между тѣмъ, указанный г. Губинымъ общеизвѣстный фактъ громадной важности долженъ бы былъ лечь въ основаніе всѣхъ преній о русскомъ рабочемъ вопросѣ.

Уже лѣтъ тридцать, сорокъ занимаемся мы разсужденіями на тему: Россія и Европа. Срокъ, кажется, достаточный для того, чтобы успѣло выработаться какое-либо опредѣленное воззрѣніе на положеніе Россіи въ виду европейской цивилизаціи. Но за все это время мы успѣли выказать много самохвальства и самоуничиженія и добыли очень мало такого, что дѣйствительно стояло бы на высотѣ безспорной или хоть, по крайней мѣрѣ, вѣроятной истины. Насъ путаютъ здѣсь больше всего фантомы въ родѣ тѣхъ, какіе подсказали г. Делавоссу его рѣчь, и національное самолюбіе. Но путаница существуетъ и помимо этихъ двухъ факторовъ. Люди, не обуреваемые ни излишествомъ національнаго самолюбія, ни фантомами, люди спокойные и свѣтлые, какъ серебряный рубль, отправляясь отъ совершенно вѣрнаго факта, скажутъ вамъ: положеніе нашего рабочаго не имѣетъ ничего общаго съ западнымъ пролетаріатомъ, а потому за будущность Россіи нечего бояться: крупная промышленность не произведетъ въ ней того, что она произвела въ Европѣ. Спрашивается, гдѣ основанія такого оптимизма? Развѣ европейскій рабочій въ свое время не былъ въ такомъ же положеніи, въ какомъ теперь еще находится нашъ? И развѣ не прогрессъ промышленности выбилъ его изъ этой колеи? Пусть намъ докажутъ, что европейскій рабочій никогда не былъ собственникомъ земли и орудій производства, самостоятельнымъ хозяиномъ; пусть также докажутъ, что его теперешнее положеніе не обусловливается развитіемъ фабричной промышленности. Тогда только приведенный оптимистическій взглядъ будетъ имѣть за себя нѣкоторую вѣроятность. Но этого доказать невозможно.—Другіе, опять-таки отправляясь отъ безспорнаго положенія, скажутъ: цивилизація одна—общечеловѣческая, и какой-нибудь самостоятельной русской цивилизаціи ожидать нельзя; а потому мы должны идти тѣмъ же путемъ, какимъ шла и идетъ Европа, избѣгая только развѣ нѣкоторыхъ частностей: общинное землевладѣніе, кустарная промышленность и т. п. осуждены и европейской практикой, и европейской наукой.—Да, конечно, цивилизація одна, уже потому одному, что научныя истины остаются истинами вездѣ и всегда. Но когда намъ приходится слышать приведенное мнѣніе, намъ вспоминается эпизодъ изъ пушкинскаго отрывка «Импровизаторъ». Итальянцу - импровизатору выпала тема: «Клеопатра и ея любовники». Импровизаторъ затруднился. Онъ пожелалъ узнать, какихъ именно любовниковъ Клеопатры имѣлъ въ виду господинъ, задавшій тему. «Потому что у великой царицы ихъ было много», пояснилъ импровизаторъ. Пій IX, парижская коммуна, Бисмаркъ, международное общество рабочихъ, Наполеонъ III, дарвинизмъ, и проч., и проч., и проч.,—все вѣдь это продукты европейской цивилизаціи, и за каждымъ изъ нихъ значится цѣлая программа. Кого же мы возьмемъ себѣ въ руководители? Князь Васильчиковъ, въ своей извѣстной рѣчи, говоритъ, что разрушеніе нашей поземельной общины сдѣлалось у насъ своего рода Carthago delenda est, и самъ князь Васильчиковъ не считаетъ нужнымъ сдѣлать этому воззрѣнію достодолжный отпоръ. Распущеніе общины требуется во имя такъ называемыхъ здравыхъ экономическихъ началъ и историческихъ законовъ цивилизаціи. Говорятъ: этотъ вопросъ рѣшенъ наукою и цивилизаціей окончательно и безповоротно. Не совсѣмъ, однако, окончательно. Англія составляетъ, какъ извѣстно, предметъ воздыханій многихъ. Правда, эти многіе не прощаютъ Англіи кое-какихъ частностей въ родѣ законовъ о бѣдныхъ, а также феодальной подкладки, въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ сохранившейся въ Англіи больше, чѣмъ гдѣ нибудь. Но, во всякомъ случаѣ, это страна гигантски цивилизованная и, что для насъ въ настоящую минуту важнѣе всего, страна, снабжающая цивилизованный, а отчасти нецивилизованный міръ здравыми экономическими началами. Между тѣмъ, въ настоящее время въ Англіи происходитъ весьма любопытное и поучительное для насъ движеніе, способное либо разочаровать насъ въ томъ, что Англія есть старана здравыхъ экономическихъ началъ, либо заставить насъ

усомниться въ здравости началъ, признаваемыхъ нами здравыми. Движеніе имѣетъ цѣлью реформу поземельныхъ отношеній. Въ немъ принимаютъ участіе признанные научные авторитеты, государственные дѣятели, публицисты, рабочіе. Составляются общества, собираются митинги. Вотъ нѣкоторыя черты изъ этого движенія.

Изъ числа обществъ, имѣющихъ цѣлью способствовать реформѣ поземельныхъ отношеній, первое по времени основанія есть «лига національной реформы» (national reform league), образовавшаяся въ средѣ рабочихъ въ пятидесятыхъ годахъ. Программа лиги сводится къ слѣдующимъ главнымъ положеніямъ: «Земля принадлежитъ націи. Жатва и другія произведенія земли—фермеру. Все, что фермеръ можетъ получить въ обмѣнъ на добытые изъ почвы или при ея посредствѣ продукты, за исключеніемъ того, что—въ видѣ ренты—уплатитъ государству, составляетъ неоспоримую его собственность».

Лигу эту смѣнила въ послѣднее время «лига земли и труда» (land and labour league). На митингѣ 28 февраля 1870 года эта новая лига выставила слѣдующія требованія: 1) Чтобы измѣнены были законы, въ силу которыхъ народъ принужденъ голодать (to starve) дома или изгоняется изъ родной страны. 2) Чтобы земля была вновь возвращена во владѣніе націи, такъ какъ нынѣшніе владѣльцы ея (которыхъ самъ Гладстонъ не задумывается назвать the lounging class) злоупотребляютъ своимъ правомъ владѣнія. Но они должны получить вознагражденіе, по примѣру ирландской церкви. Нищета, до которой дошелъ народъ, въ настоящее время требуетъ спѣшной помощи; и эта помощь будетъ оказана ему въ томъ только случаѣ, если рабочимъ дана будетъ возможность прилагать свой трудъ къ обработкѣ пустопорожнихъ земель не гдѣ-нибудь за морями, а у себя дома, въ Англіи».

На митингѣ въ Соутгемптонѣ 25 мая 1870 г. приняты были рабочими слѣдующія рѣшенія: «Желательно—1) Чтобы обширные участки плодородной земли, впустѣ лежащіе въ «Новомъ лѣсѣ» (Hampschire), были приспособлены къ воздѣлыванію, при чемъ, впрочемъ, менѣе годные къ обработкѣ могли бы быть оставлены и въ естественномъ состояніи, чтобы была возможность наслаждаться дикими красотами первобытной природы. 2) Чтобы плодородные участки не было дозволено присваивать въ частную собственность: они должны отдаваться въ аренду на довольно продолжительный срокъ, чтобы возбудить въ арендаторѣ интересъ къ воздѣлыванію земли безъ истощенія почвы. Самые же участки должны быть раздѣлены такъ, чтобы въ обработкѣ ихъ могли принять участіе преимущественно мелкіе фермеры».

Для характеристики отношенія рабочихъ къ поземельному вопросу приведемъ еще слѣдующее письмо, напечатанное въ концѣ 1870 года въ органѣ рабочаго класса «Пчелиный улей». Письмо адресовано къ Гладстону и заключаетъ въ себѣ благодарность за его дѣятельность по церковному и поземельному вопросамъ въ Ирландіи. Затѣмъ авторы переходятъ къ англійскимъ порядкамъ и заканчиваютъ письмо такъ: «Мы вовсе не думаемъ указывать на тѣ измѣненія, которыя необходимо произвесть въ поземельныхъ законахъ Англіи. Имѣя дѣло съ ирландскимъ поземельнымъ вопросомъ, вы уже доказали и способность вашу отыскивать средства для устраненія гнетущихъ народъ бѣдствій, и, сверхъ того, рѣдкія стойкость и мужество, чтобы привести съ исполненіе одинъ разъ принятое рѣшеніе, плодъ политической мудрости и справедливости. Найдется-ли у васъ столько же энергіи и доброй воли, чтобы то же самое дѣлать для Англіи? Мы убѣдительно просимъ, чтобы законодательство на очереди не было отложено, во избѣжаніе тысячи случайностей; чтобы оно не было навязано правящимъ классамъ силою подъ гнетомъ народной нищеты и отчаянія, чтобы оно не было ускорено (при посредствѣ парламента) вслѣдствіе аграрной борьбы, которая можетъ вспыхнуть за стогомъ сѣна, за живою изгородью. Борьба, во всякомъ случаѣ, неизбѣжна. Но, въ какой бы формѣ ни возгорѣлась она, мы просимъ васъ быть готовыми къ этой борьбѣ, со всею энергіей, какою вы владѣете, и приготовить къ ней другихъ. Возстановленіе связи народа нашей страны съ землею, на которой онъ родился, будетъ, конечно, почвою, на которой разгорится ближайшая серьезная политическая борьба въ королевствѣ».

Такъ смотрятъ на дѣло рабочіе. Либеральная партія съ своей стороны организовалась въ виду поземельнаго вопроса, въ два кружка: Кобденскій клубъ и Общество реформы поземельнаго владѣнія (land tenure reform association). Въ послѣдней своей рѣчи Кобденъ (онъ умеръ въ 1865 году), между прочимъ, говорилъ: «Если бы мнѣ было теперь 25 или 30 лѣтъ, а не вдвое болѣе, я снова взялъ бы Адама Смита въ руки, и мы имѣли бы лигу для свободнаго перехода земли, какъ имѣли лигу для свободной торговли хлѣбомъ. Какъ прежде, такъ и теперь Адамъ Смитъ былъ бы намъ авторитетомъ. Я не сомнѣваюсь, что успѣхъ увѣнчалъ бы наши усилія, если бы только взяться за дѣло, какъ слѣдуетъ, т. е. видѣть въ немъ не осуществленіе революціонныхъ или чартистскихъ стремленій, но дальнѣйшее только приложе-

ніе началъ экономической науки. И я говорю смѣло: кто возьмется за это дѣло и приведетъ его къ концу, сдѣлаетъ для англійскаго бѣдняка болѣе, нежели въ состояніи были сдѣлать для него мы, приложивъ начала свободы къ торговлѣ». Въ память Кобдена друзья его основали клубъ, имѣющій цѣлью подготовить матеріалы для реформы поземельныхъ отношеній. Въ 1870 году клубъ издалъ сборникъ статей, касающихся поземельной собственности въ Англіи и въ другихъ странахъ. Весьма многіе члены клуба видятъ якорь спасенія въ общинномъ землевладѣніи, вслѣдствіе чего тщательно изучаютъ какъ вымершія, такъ и существующія еще формы сельской общины. Книга Нассе объ англійской средневѣковой сельской общинѣ переведена на англійскій языкъ; извѣстные труды Маурера о нѣмецкой общинѣ также отчасти переводятся, отчасти компилируются; изучается индійская община.

Кобденскій клубъ задался исключительно теоретическими цѣлями. Напротивъ, общество реформы поземельной собственности ведетъ дѣятельную агитацію. Во главѣ общества стоитъ Д.-Ст. Милль. Притязанія крупныхъ землевладѣльцевъ, основанныя на давности, Милль старается парализовать доказательствами, что общинныя права древнѣе помѣстныхъ. Затѣмъ обществомъ, окончательно сложившимся на митингѣ 15 мая 1871 года, принята слѣдующая программа Милля: Общество желаетъ: «1) Устранить всякаго рода препятствія для свободнаго перехода земель изъ однѣхъ рукъ въ другія. 2) Отмѣнить законъ о первородствѣ. 3) Ограничить право отдѣльныхъ лицъ обставлять владѣніе землею, переходящею по наслѣдству, разными стѣснительными условіями. 4) Обложить налогомъ поземельную собственность на слѣдующемъ основаніи: такъ какъ цѣнность земли постоянно возрастаетъ, преимущественно отъ совокупнаго дѣйствія размножающагося населенія и накопляющихся богатствъ, безъ особенныхъ заботъ со стороны собственниковъ земли, то слѣдуетъ требовать въ пользу государства весь размѣръ ренты, который (послѣ предварительной оцѣнки) окажется увеличеніемъ прежняго размѣра, помимо усилій и затратъ со стороны самихъ владѣльцевъ. 5) Способствовать пріобрѣтенію на общественный счетъ помѣстій, поступающихъ въ продажу, для развитія кооперативнаго земледѣлія и—6) мелкаго фермерства. 7) Озаботиться о томъ, чтобы земли, принадлежащія коронѣ, общественнымъ учрежденіямъ, а также пожертвованныя для благотворительныхъ цѣлей, не переходили въ частное владѣніе. Ими слѣдовало бы также воспользоваться для улучшенія жилищъ рабочаго класса. 8) Пустопорожнія земли, или требующія парламентскаго акта для обнесенія ихъ оградою (то есть обращенія ихъ въ частную собственность) должны быть удержаны для національнаго употребленія, съ вознагражденіемъ за то помѣстныхъ и общинныхъ правъ. 9) Послѣ предоставленія большей части земель, нынѣ впустѣ лежащихъ, для обработки мелкимъ фермерамъ и кооператорамъ, слѣдутъ озаботиться, чтобы менѣе плодородные участки удержаны были въ дикомъ состояніи, для общаго пользованія, развитія вкуса къ сельскимъ удовольствіямъ—и чтобы рѣшеніе объ ихъ окончательномъ назначеніи предоставлено было будущимъ генераціямъ. 10) Предоставить государству войти во владѣніе (послѣ вознагражденія настоящихъ собственниковъ) всѣми естественными предметами и постройками (находящимися на извѣстныхъ участкахъ земли), имѣющими значеніе для науки, искусства или исторіи, и прирѣзать къ этимъ участкамъ такую полосу окружающей ихъ земли, какая будетъ найдена необходимою для означенной цѣли». Общество реформы поземельной собственности считаетъ въ числѣ своихъ членовъ—кромѣ Милля—Фосетта, Роджерса, Оджера, Кернса, Поттера, Клиффъ-Лесли и другихъ видныхъ представителей науки и публицистики.

Независимо отъ дѣятельности рабочихъ и либераловъ, выставила свою програму и консервативная партія. Это «новое соціальное движеніе» (The new social movement) организовано Д. Скоттомъ Росселемъ, которому удалось сблизить нѣкоторую группу крупныхъ землевладѣльцевъ съ нѣкоторою группою рабочихъ. По программѣ Росселя, рабочіе англійскіе нуждаются болѣе всего: «1) Въ семейныхъ жилищахъ, съ необходимыми для сохраненія здоровья условіями, въ которыхъ можно было бы пользоваться чистымъ воздухомъ и свѣтомъ. 2) Въ снабженіи ихъ здоровою, дешевою и питательною пищею. 3) Въ досугѣ, которомъ могли бы пользоваться для выполненія семейныхъ и общественныхъ обязанностей, для цѣлей образованія и радостей семейной жизни. 4) Въ организаціи мѣстнаго управленія, чѣмъ можно было бы обезпечить благосостояніе жителей поселковъ, селъ и городовъ. 5) Въ систематическомъ преподаваніи началъ разныхъ знаній и усовершенствованій въ каждомъ ремеслѣ (преимущественно для искусныхъ работниковъ). 6) Въ публичныхъ паркахъ, постройкахъ и разнаго рода учрежденіяхъ для поучительнаго отдыха, соединеннаго съ нравственнымъ совершенствованіемъ. 7) Въ приспособленіи различныхъ общественныхъ учрежденій для общей пользы».

Соотвѣтственно этому составлены семь предложеній, которыя были представлены нѣкоторымъ, какъ говоритъ Д. С. Россель, «наиболѣе способнымъ и умѣреннымъ» рабочимъ. Они образовали изъ себя совѣтъ (council of working men) для обсужденія этихъ предложеній и приняли ихъ 4 февраля 1870 года. Вотъ эти предложенія. «Предполагается: 1) перемѣстить семейства рабочихъ изъ настоящихъ вертеповъ ихъ скученія (crowded dens) въ большихъ городахъ въ мѣста, гдѣ бы они могли пользоваться просторомъ и здоровымъ воздухомъ. 2) Организовать самоуправленіе посредствомъ соединенія для муниципальныхъ цѣлей деревень, городовъ и графствъ, предоставивъ имъ право пріобрѣтать для общей пользы земли и распоряжаться ими. 3) Постановить, чтобы 8 часовъ добросовѣстнаго, искуснаго труда составляли рабочій день. 4) Устроить для всѣхъ доступныя школы. 5) Учредить для всѣхъ доступные публичные рынки и на началахъ кооперативныхъ. 6) Ввести въ программу общественнаго управленія учрежденіе и поддержку различныхъ локалей для отдыха и соединить съ ними распространеніе знаній и развитіе вкуса. 7) Скупить на счетъ государства желѣзныя дороги и содержать ихъ на общественный счетъ, чтобы онѣ могли служить, подобно почтовому управленію, для общей пользы». Положенія эти приняты были въ сентябрѣ 1870 года и консервативными лордами, а также нѣкоторыми изъ партіи виговъ. Они образовали тогда же, съ цѣлью изготовленія парламентскихъ биллей, совѣтъ законодателей (council of legislators). Въ октябрѣ 1871 года обнародованы были приведенныя семь положеній, и «новое соціальное движеніе» получило гласность.

«Новое соціальное движеніе» есть, собственно говоря, пуфъ. Очень понятно, что консервативная партія, ядро которой составляютъ крупные поземельные собственники, въ виду дѣятельности рабочихъ и либераловъ, сочла полезнымъ выставить и свою программу, въ которой рабочимъ обѣщались всякія блага, но тщательно устранялся вопросъ дня — реформа поземельныхъ отношеній. Дѣло это, какъ можетъ быть читатель помнитъ по газетамъ, надѣлало одно время много шуму: нѣкоторые лорды отказывались отъ участія въ «новомъ соціальномъ движеніи», Скоттъ Россель настаивалъ, что оно поднято совмѣстнымъ участіемъ лордовъ и рабочихъ и т. д. Теперь оно совсѣмъ затихло. Только немногіе могли видѣть въ немъ что-нибудь серьезное. Замѣчу мимоходомъ, что въ числѣ этихъ немногихъ находится «суздальская» фракція позитивистовъ. См. издающійся съ апрѣля нынѣшняго года журналъ «Ordre et progrès, La politique positive», № 4-й).

Гораздо поучительнѣе дѣятельность радикаловъ и либераловъ. Либеральное «общество реформы поземельнаго владѣнія» сдѣлало было попытку сближенія съ радикалами, именно пригласило на митингъ 15-го мая нѣкоторыхъ членовъ «лиги земли и труда». Радикалы отказались на томъ основаніи, что общество допустило въ свою программу многіе компромиссы, какъ, напримѣръ, допущеніе свободной купли и продажи земли, которая такимъ путемъ попадаетъ въ руки лендлордовъ и, слѣдовательно, все движеніе только усилитъ послѣднихъ. За то, съ другой стороны, на Милля, Фоссета и проч. посыпались упреки въ невѣжествѣ, въ утопичности и т. д. «Times» утверждалъ, что общество реформы поземельнаго владѣнія задалось несообразною цѣлью уничтожить врожденное людямъ стремленіе къ наживѣ и, подорвавъ спекуляцію землею, ослабить вообще духъ предпріимчивости. «Міромъ управляетъ—по словамъ «Times — сила, на которую ни одинъ философъ не имѣлъ до сихъ поръ ни малѣйшаго вліянія, которая могущественнѣе обѣихъ палатъ и всей поземельной аристократіи. Сила эта—jobbery, барышничество». Когда одинъ изъ членовъ кобденскаго клуба внесъ въ прошломъ году въ парламентъ предложеніе о реформѣ поземельныхъ законовъ въ самомъ скромномъ размѣрѣ (именно, о реформѣ законовъ о завѣщаніи и наслѣдствѣ), то изъ 658 членовъ нижней палаты въ пользу предложенія высказалось только 49. А во время преній былъ высказанъ слѣдующій взглядъ: «Планы Милля и подобныхъ ему экономистовъ ведутъ лишь къ тому, чтобы жизнь обратилась въ сущее несчастіе, такъ какъ никакіе разсчеты, основанные на собственности, не будутъ возможны». Дебаты дали только одинъ цѣнный результатъ, именно свѣдѣніе, что къ сессіи нынѣшняго (1872) года готовится билль о переходѣ земельныхъ владѣній изъ рукъ въ руки (land transfer bill).

Свѣдѣнія объ этой борьбѣ въ Англіи заимствованы нами изъ любопытной маленькой книжки г. Сокальскаго «Англо-Саксонская сельская община. I. Первобытная англо-саксонская община» (Харьковъ, 1872). Въ коротенькомъ предисловіи авторъ объясняетъ, почему онъ выбралъ для изслѣдованія такой отдаленной періодъ изъ жизни народа, намъ совершенно чуждаго. «Первыя начала судебъ этого народа,—говоритъ г. Сокальскій,—имѣютъ много общаго съ нашими судьбами. Сходныя черты могутъ служить объясненіемъ нашего прошлаго, а отчасти и того, на какой почвѣ мы стоимъ, куда мы идемъ». Авторъ тысячу разъ правъ.

Книжка, повидимому, университетскаго происхожденія, а въ такомъ случаѣ она способна доставить двойное удовольствіе. Члены университетскаго сословія, къ сожалѣнію, не часто даютъ себѣ отчетъ, почему они выбираютъ для своихъ диссертацій и изслѣдованій тотъ или другой предметъ.

Итакъ, куда мы идемъ? По стопамъ западной цивилизаціи? Но у Клеопатры было много любовниковъ. «Times» съ его апологіей барышничества—цивилизація. Радикалы, требующіе обращенія всѣхъ земель въ государственную собственность—цивилизація. Либералы, желающіе свободнаго перехода земель; либералы, требующіе ограниченія свободы завѣщаній и измѣненія законовъ о наслѣдствѣ; либералы, присматривающіеся къ средневѣковому общинному землевладѣнію; наконецъ, консерваторы, сочиняющіе шулерское «новое соціальное движеніе»—все это цивилизація. Куда же намъ идти? Очевидно, что сказать: пойдемъ по стопамъ европейской цивилизаціи,—значитъ ровно еще ничего не сказать. Надо остановиться на какихъ-нибудь общихъ началахъ, которыя освѣщали бы и путь, пройденный Европой, и нашъ будущій путь.

Рабочій вопросъ въ Европѣ есть вопросъ революціонный, ибо тамъ онъ требуетъ *передачи* условій труда въ руки работника, экспропріаціи теперешнихъ собственниковъ. Рабочій вопросъ въ Россіи есть вопросъ консервативный, ибо тутъ требуется только *сохраненіе* условій труда въ рукахъ работника, гарантія теперешнимъ собственникамъ ихъ собственности. У насъ подъ самымъ Петербургомъ, т. е. въ одной изъ наиболѣе англизированныхъ мѣстностей, въ мѣстности испещренной фабриками, заводами, парками, дачами, существуютъ деревни, жители которыхъ живутъ на *своей* землѣ, жгутъ *свой* лѣсъ, ѣдятъ *свой* хлѣбъ, одѣваются въ армяки и тулупы *своей* работы, изъ шерсти *своихъ* овецъ. Гарантируйте имъ прочно это свое, и русскій рабочій вопросъ рѣшенъ. А ради этой цѣли можно все отдать, если какъ слѣдуетъ понимать значеніе прочной гарантіи. Скажутъ: нельзя же вѣчно оставаться при сохѣ и трехпольномъ хозяйствѣ, при допотопныхъ способахъ фабрикаціи армяковъ и тулуповъ. Нельзя. Но изъ этого затрудненія существуютъ два выхода. Одинъ, одобряемый практическою точкою зрѣнія, очень простъ и удобенъ: поднимите тарифъ, распустите общину, да, пожалуй, и довольно,—промышленность, на подобіе англійской, какъ грибъ выростетъ. Но она съѣстъ работника, экспропріируетъ его. Есть и другой путь, конечно, гораздо труднѣе, но легкое разрѣшеніе вопроса не значитъ еще правильное. Другой путь состоитъ въ развитіи тѣхъ отношеній труда и собственности, которыя уже существуютъ въ наличности, но въ крайне грубомъ первобытномъ видѣ. Понятно, что цѣль эта не можетъ быть достигнута безъ широкаго государственнаго вмѣшательства, первымъ актомъ котораго должно быть законодательное закрѣпленіе поземельной общины. Народъ нашъ чутьемъ слышитъ, откуда близится къ нему опасность. Въ № 197-мъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» напечатана любопытная корреспонденція о безпорядкахъ въ Купянскомъ уѣздѣ (Харьковской губерніи). Это обыкновенная у насъ печальная путаница, въ которой фигурируютъ «пять возовъ розогъ». Не мое дѣло ее разсказывать, и я только приведу слѣдующія слова крестьянъ: «Какъ возьмемъ владѣнную запись, такъ сейчасъ сможемъ продавать часть земли, когда будетъ на то согласіе двухъ третей общества,—а у насъ всегда наберется голи, а лѣнтяевъ и того болѣе. Вотъ паны да купцы водкою да деньгами подобьютъ насъ продать имъ часть земли, да еще лучшей. Деньги за землю поступятъ въ казну, намъ полегчаетъ на нѣсколько копѣекъ, а мы ту же проданную землю будемъ нанимать по 3, да по 5 рублей въ годъ... Пока земля казенная, съ голоду я не умру: и чтобы со мной ни было, а земля останется при мнѣ, а какъ мы выкупимъ, то она достанется богатымъ. Я умру, и земля пойдетъ на общество, а выростутъ дѣти и получатъ землю; а какъ выкупимъ, да подѣлимъ, то пока выростутъ дѣти, опекуны и волость проживутъ землю, какъ бываетъ съ избами и другимъ имуществомъ и дѣтямъ нашимъ придется таскаться нищими». На замѣчаніе какого-то либерала, что продажа части, выкупъ и раздѣлъ зависятъ отъ ихъ доброй воли, крестьяне, сильные своимъ здравымъ смысломъ, отвѣчали: «Только дай намъ право, такъ добрую волю нашу въ кабакахъ легко будетъ достать... Такой-то (имя и отечество) сейчасъ споитъ насъ, подкупитъ волостное и сельское начальство, да и купитъ у насъ лучшую землю, а мы останемся при однѣхъ усадьбахъ и неудобной землѣ».

Конечно, закрѣпленіе общины есть только первый необходимый шагъ правительственнаго вмѣшательства, но шагъ въ высшей степени важный, опредѣляющій судьбу народа, по крайней мѣрѣ, въ отрицательномъ смыслѣ. Общинное землевладѣніе и крупная промышленность по образцу англійской рядомъ долго существовать не могутъ. Кто-нибудь долженъ будетъ уступить. Скажутъ: община стѣсняетъ свободу личности. Это старая сказка. Что такое свобода, независимость, личная иниціатива? Для практиковъ это устланный розами путь въ бездонную пропасть. Для теоретиковъ это цѣль пути, до которой нельзя дойти, не потерпѣвши ни

одной царапины. Конечно, эта точка зрѣнія не допускаетъ красивыхъ фразъ, ежеминутныхъ виватовъ свободѣ и проклятій регламентаціи. По ея словамъ дѣтоубійство есть только дѣтоубійство, а не свобода труда, пролетаріатъ—только пролетаріатъ, а не свобода выбора занятій. Свободенъ-ли безземельный наемникъ, брошенный на произволъ стихійнаго, т. е. безсмысленнаго и безнравственнаго закона спроса и предложенія труда? У насъ не то что г. Скальковскій, а и г. Сыромятниковъ толкуютъ о «свободѣ труда». Въ Европѣ эту пѣсню начинаютъ бросать, и, какъ мы видѣли, авторитетнѣйшіе либералы поговариваютъ о правительственномъ вмѣшательствѣ въ той или другой формѣ. Личная иниціатива возможна въ экономическомъ порядкѣ вещей только для собственника. Бойтесь-же прежде всего и больше всего такого общественнаго строя, который отдѣлитъ собственность отъ труда. Онъ именно лишитъ народъ возможности личной иниціативы, независимости, свободы. Вотъ точка зрѣніи, съ которой съѣздъ промышленниковъ долженъ-бы былъ обсуждать русскій рабочій вопросъ, если-бы онъ хотѣлъ его разрѣшить, если-бы онъ могъ хотѣть. Во всякомъ случаѣ люди науки могли хотѣть. Но они предпочли «безъ задней мысли, съ чистосердечною откровенностью» подать черезъ головы народа руку помощи «другой фракціи дѣятелей». Они предпочли обратить въ «жупелъ» консервативнѣйшій изъ вопросовъ русской жизни. Они вторили невѣжественной толпѣ и только посильно помогли затемнить и безъ нихъ достаточно затемненный вопросъ, самъ по себѣ ясный, какъ божій день. Грустно... Откуда-же ждать свѣту? Что ходъ вещей, неруководимый свѣтомъ науки, привелъ старую Европу къ бѣдствіямъ—это понятно. Но мы только что начинаемъ жить теперь, когда наука уже обладаетъ и нѣкоторыми истинами и нѣкоторымъ авторитетомъ. А она хвостомъ виляетъ... Лисій хвостъ и волчій ротъ—вотъ эмблема двухъ фракцій перваго всероссійскаго съѣзда заводчиковъ, фабрикантовъ и лицъ, интересующихся отечественною промышленностью.

Одинъ изъ ораторовъ съѣзда промышленниковъ, именно г. Кайгородовъ, предложилъ съѣзду «выбрать изъ среды своей или основать новое общество для содѣйствія умственному, нравственному и матеріальному развитію нашихъ рабочихъ, подобно тому, какъ существуетъ общество для развитія нашей торговли и промышленности». Изъ всего вышесказаннаго читатель можетъ a priori заключить, что предложеніе это особеннаго сочувствія не вызвало. И дѣйствительно, изъ протоколовъ и стенографическихъ отчетовъ не видно даже, чтобы предложеніе г. Кайгородова вызвало хоть какія-нибудь пренія: его просто *замолчали*. Между тѣмъ общество для содѣйствія умственному, нравственному и матеріальному развитію рабочихъ имѣло бы у насъ гораздо больше правъ на существованіе, чѣмъ раздуваемое газетами общество для содѣйствія торговлѣ и промышленности. Желательно было-бы, чтобы мысль г. Кайгородова не пропала безслѣдно. Благодаря существованію такого спеціальнаго общества нашъ рабочій вопросъ могъ-бы систематически разрабатываться, не занимая задняго угла въ засѣданіяхъ съѣздовъ промышленниковъ, не играя роли «жупела», пугающаго слабонервныхъ старухъ.

III *).

Г. Страховъ.—Русская печать о послѣдней книгѣ Ренана.—Субъективная и объективная оцѣнка фактовъ.—Элементы европейской цивилизаціи.—Политическій матеріализмъ.—Веселенькій пейзажикъ. — Два посвященія. — Великолѣпный князь Тавриды и Самуилъ Соломоновичъ Поляковъ.

Г. Страховъ давно уже, въ некрологѣ Апполона Григорьева, разсказалъ, что покойный критикъ говорилъ ему, г. Страхову: кромѣ тебя, теперь и писать некому. Весьма вѣроятно, что мнѣніе Григорьева раздѣляется болѣе или менѣе обширнымъ кругомъ лицъ. Но огромное большинство все таки привыкло смотрѣть на г. Страхова только какъ на смѣшного писателя. Это мнѣніе не то что невѣрно, а неполно. Пожалуй и Донъ-Кихотъ смѣшонъ, но его тощая фигура способна вызвать не только смѣхъ. Съ извѣстной точки зрѣнія это не только не комическій образъ, а, напротивъ, вполнѣ трагическій и при томъ невольно влекущій къ себѣ ваши симпатіи. Пусть г. Страховъ смѣшонъ, какъ Донъ-Кихотъ, но онъ и мужественъ, какъ Донъ-Кихотъ, и задаетъ себѣ удивительные подвиги, какъ Донъ-Кихотъ, и преданъ своей Дульцинеѣ, какъ Донъ-Кихотъ, и даже, какъ Донъ-Кихотъ, не знаетъ своей Дульцинеи. Дѣйствительно въ г. Страховѣ, какъ писателѣ, есть нѣчто доблестное, степенное, нѣсколько аскетическое, словомъ, нѣчто рыцарственное. Прослышалъ г. Страховъ, что за моремъ рыцарь Джонъ-Стюартъ-Милль прославился своей логикой. Г. Страховъ, не только не смущаясь всемірною славою англійскаго рыцаря, но, напротивъ, почерпая изъ этого обстоятельства удвоенную энергію, бросается на него съ крикомъ: «да здравствуетъ Дульцинея!» Въ результатѣ боя оказывается, что англійскій рыцарь Джонъ-Стюартъ Милль — «глупецъ». Называя Милля глупцомъ, г. Страховъ и не думаетъ ругаться. Онъ степенно.

*) 1872, сентябрь.

хотя и мужественно, опредѣляетъ, что такое глупость, прикидываетъ полученную мѣрку къ Миллю и находитъ, что она приходится какъ разъ. Это не брань,—рыцари не бранятся. Собственно говоря, предпріятіе г. Страхова гораздо еще величественнѣе. Не на одного Милля «Мальбругъ въ походъ поѣхалъ», а на всю современную науку и философію, поѣхалъ съ поднятымъ забраломъ, смѣло и безхитростно. Этого мало. Во время самаго боя нашъ рыцарь выбираетъ себѣ положенія, крайне трудныя, такъ что иногда не знаешь даже, точно-ли передъ тобою рыцарь безъ страха и упрека или это необыкновенно отважный акробатъ. Рыцарь ведетъ бой такъ Мудрость, говоритъ онъ, есть умственное зрѣніе, способность различать предметы. Что-же мы видимъ въ современной мудрости? Анатомическая теорія уничтожаетъ всѣ различія между предметами, сводя ихъ къ группамъ атомовъ; теорія единства силъ природы уничтожаетъ различія между теплотою, электричествомъ, химическимъ сродствомъ и т. д.; теорія измѣнчивости органическихъ типовъ сглаживаетъ различія между животными и растительными видами; сторонники равноправности мужчинъ и женщинъ забываютъ разницу между обоими полами, и проч., и проч., и проч. Гдѣ-же тутъ мудрость, способность усматривать различія между предметами? Это просто глупость.—Ударъ, чрезвычайно искусный и вмѣстѣ съ тѣмъ въ высшей степени рискованный, чисто рыцарскій. Ибо стоитъ только сказать, что мудрость есть умѣніе усматривать сходство между предметами (а это опредѣленіе имѣетъ столько же правъ на существованіе, какъ и опредѣленіе г. Страхова), и Россинантъ долженъ будетъ увлечь своего храбраго сѣдока въ совершенно противоположную сторону. Такъ сражался г. Страховъ по поводу книги Миллера «О подчиненности женщинъ».

Да не подумаетъ, однако, читатель, что мы желаемъ смѣяться надъ г. Страховымъ. Не отрицая смѣхотворности его литературной физіономіи, мы не можемъ отказать ему въ своемъ сочувствіи и уваженіи. Г. Страховъ человѣкъ разносторонне и философски образованный; онъ довольно тонкій діалектикъ; онъ, дѣйствительно, если не смѣлый мыслитель, то смѣлый писатель. Когда современную науку и философію назоветъ глупостью круглый невѣжда, то тутъ не будетъ ничего достойнаго вниманія, не будетъ даже смѣлости. Не помню, какіе дикари вплотную подбѣгали къ направленнымъ противъ нихъ европейскимъ пушкамъ и старались заткнуть страшныя жерла своими шляпами, считая возможнымъ задержать такимъ способомъ вылетъ ядеръ и картечи. Тутъ нѣтъ особенной смѣлости, потому что нѣтъ знанія. Дѣятельность г. Стрѣхова не такова. Онъ вкусилъ европейской науки въ такой мѣрѣ, какъ можетъ быть немногіе изъ нашихъ писателей. Онъ знаетъ, что шляпой нельзя заткнуть пушечное жерло. И тѣмъ не менѣе затыкаетъ. Пусть это смѣшно, безумно, но нельзя не отдать должнаго смѣлости и самоотверженію г. Страхова. Возникающая при этомъ психологическая задача, признаемся, для насъ неразрѣшима. Но борьба, несомнѣнно долженствующая происходить въ душѣ и головѣ г. Страхова, не заключаетъ въ себѣ ничего смѣшного. Что такая борьба должна существовать, это можно было-бы сказать a priori. Но несомнѣнные признаки ея имѣются и въ наличности. Г. Страховъ ежеминутно готовъ выкинуть самое отчаянное, головоломное salto mortale. Но онъ смѣлъ только въ отрицаніи. Какъ это ни странно, но г. Страховъ есть главнымъ образомъ отрицатель. Правда, что онъ преимущественно отрицаетъ отрицаніе, но изъ этого всетаки какъ-то не выходитъ ничего положительнаго. Г. Страховъ до такой степени слабъ по этой части, что ухватился обѣими руками за грошовыя положенія г. Данилевскаго. Это для него какая-то манна, которой онъ ждалъ, сорокъ лѣтъ странствуя въ пустынѣ. Идетъ-ли рѣчь о Дарвинѣ, г. Страховъ пишетъ: эта сторона ученія Дарвина блистательно объяснена въ книгѣ Н. Я. Данилевскаго. Идетъ-ли рѣчь о Ренанѣ—г. Страховъ замѣчаетъ: можно подумать, что Ренанъ только прочелъ книгу Н. Я. Данилевскаго. Читая любую статью г. Страхова, вы изумляетесь отважности его нападеній и крайней бѣдности, неуловимости положительныхъ результатовъ битвы. Отчего это происходитъ? Единственно отъ того, что г. Страховъ, съ одной стороны, желаетъ заткнуть шляпой жерло пушки, а съ другой стороны,—понимаетъ, что ядро непремѣнно снесетъ шляпу. Въ этой борьбѣ есть, конечно, извѣстная доля комизма, но есть нѣчто достойное уваженія и сочувствія. Мы не смѣшиваемъ г. Страхова съ разными проходимцами, говорящими вздоръ бездanно и безпошлинно. Г. Страховъ платитъ пошлину, и навѣрное очень тяжелую. Поэтому намъ было всегда прискорбно видѣть, что г. Страховъ окруженъ проходимцами и долженъ нести извѣстную долю отвѣтственности за дѣянія, совершенно не соотвѣтствующія его рыцарскому достоинству. Не говоря уже о безобразной травлѣ на «нигилистовъ», продолжавшейся въ «Зарѣ», гдѣ Страховъ былъ однимъ изъ главныхъ сотрудниковъ, и во всякомъ случаѣ самымъ виднымъ, до послѣдняго его издыханія, мы отмѣтимъ слѣдующій фактъ. Буквально наканунѣ своей смерти «Заря» печатала въ газетахъ шарлатанскія объявленія въ та-

комъ родѣ: въ виду необычайнаго нашего успѣха, мы покорнѣйше просимъ гг. подписчиковъ поторопиться, дабы мы заранѣе могли озаботиться вторымъ изданіемъ первыхъ нумеровъ. Мы увѣрены, что г. Страховъ совершенно не причастенъ этому шулерству, обнаружившемуся такъ быстро. Однако и г. Страховъ не безъ грѣха. Въ своемъ второмъ и послѣднемъ нумерѣ «Заря» не мало негодовала на «Гражданина», желающаго «поставить точку» къ реформамъ. И тотчасъ же послѣ смерти «Зари» ея главный сотрудникъ, г. Страховъ, появился въ «Гражданинѣ» съ обширной статьей о послѣдней книгѣ Ренана... Впрочемъ, статья эта интересна и поучительна.

Книга Ренана «La réforme intellectuelle et morale» вызвала у насъ не мало толковъ. Объ ней съ почтеніемъ отзывались и «Московскія Вѣдомости», и «Русскій Вѣстникъ», и «Вѣстникъ Европы»,—послѣдній, впрочемъ, едва-ли не по недоразумѣнію. Московскимъ органамъ печати появленіе книги Ренана какъ разъ на руку. Либеральный французъ, отрекающійся чуть не отъ всего кодекса либерализма и проклинающій его источникъ—первую революцію,—какая богатая и благодарная тема! «Самосознаніе просыпается во Франціи... Мы всегда говорили... Уроки исторіи...» и т. д., и т. д. А въ концѣ концовъ, краткая, но сильная нотація русскимъ «революціонерамъ, матеріалистамъ, коммунистамъ» и проч., и указаніе на Пруссію и Англію, какъ на страны, спокойно, но вѣрно приближающіяся къ истинному идеалу государственнаго устройства и народной жизни. Все это очень плоско, избито и пишется какъ бы по рецепту. Рыцарскій нравъ г. Страхова не могъ помириться съ такой легкой задачей. Г. Страховъ повелъ дѣло обстоятельнѣе, своеобразнѣе и смѣлѣе. Онъ выбралъ изъ La réforme наиболѣе характерныя мѣста, дополнилъ ихъ цитатами изъ нѣкоторыхъ другихъ сочиненій Ренана и снабдилъ своими комментаріями. Только. Но при этомъ получилась очень тонкая характеристика Ренана, какъ мыслителя, и не лишенная не только интереса, а и правды—оцѣнка европейской цивилизаціи. Дѣло не обходится, однако, безъ salto mortale, безъ аргументовъ и положеній, въ высшей спепени рискованныхъ. Ренанъ есть писатель, обладающій извѣстнымъ индивидуальнымъ характеромъ, выдѣляющимъ его изъ ряда другихъ европейскихъ писателей. Есть писатели характернѣе его въ томъ или другомъ отношеніи; есть и такіе, которые блѣднѣе его. Но такая простая обстановка вопроса о личности Ренана не нравится г-ну Страхову. Съ обыкновеннымъ смертнымъ нашъ рыцарь не подумалъ бы преломить копье. И вотъ онъ предварительно превращаетъ Ренана въ «полнаго представителя европейскаго просвѣщенія» вообще, а затѣмъ и политической мысли въ частности. Но это надо доказать. «Не коммунисты,—говоритъ г. Страховъ,—не матеріалисты и позитивисты суть истинные представители современнаго просвѣщенія; это лишь уродства, имъ порожденныя, имѣющія силу лишь потому, что они столько же исполнены метафизики, фанатизма, слѣпой вѣры, какъ и самыя древнія ученія. Просвѣщенный, умственно развитой человѣкъ ясно видитъ противорѣчіе, которое заключается въ этихъ вольнодумствахъ, именно, что они опираются на нѣкоторой узкой вѣрѣ. Какъ онъ можетъ признать, что все существующее есть вещество? Или, что цѣль человѣческой жизни есть матеріальное благосостояніе? Или, что философіи есть одно изъ заблужденій человѣчества? — очевидно salto mortale, и притомъ двойное, если даже не тройное. Мы отмѣтимъ, однако, только одну его сторону, именно, что воззрѣнія, заключающія въ себѣ противорѣчія, не могутъ быть признаны представителями современнаго просвѣщенія». Это совершенно вѣрная мысль. Но, какъ увидимъ, вся статья г. Страхова направлена къ тому, чтобы доказать, что Ренанъ есть нѣкоторое воплощенное противорѣчіе, нѣкоторый облеченный въ плоть и кровь разладъ. А между тѣмъ, Ренанъ-то и оказывается «полнымъ представителемъ европейскаго просвѣщенія». Г. Страховъ очень любитъ выбирать себѣ для боя наиболѣе опасныя и невыгодныя положенія.

Какъ бы то ни было, но никакихъ настоящихъ резоновъ въ пользу своего мнѣнія о Ренанѣ, какъ о полномъ представителѣ европейскаго просвѣщенія, г. Страховъ не приводитъ. Нельзя же признать вышеприведенное разсужденіе резономъ. Да и вообще мысль г. Страхова трудно утвердить на резонахъ. Ренанъ—человѣкъ безспорно очень образованный, но образованіе его, какъ исключительно классическое, гуманитарное, весьма одностороннe. Ренанъ никогда не изучалъ законовъ природы и только очень недавно приступилъ къ поверхностному изученію политической жизни народовъ. Конечно, не надо быть энциклопедистомъ, чтобы считаться полнымъ представителемъ европейскаго просвѣщенія. Для этого достаточно усвоить себѣ общій духъ европейскаго просвѣщенія и затѣмъ прилагать его къ любой частной области. Едва ли можно сказать это объ Ренанѣ, и во всякомъ случаѣ г-нъ Страховъ этого не доказалъ. Онъ просто изъ рыцарской отваги превратилъ мельницу въ великана,—было бы съ кѣмъ сражаться. За то характеристика Ренана, какъ инди

видуума, у г. Страхова очень удачна. Мысль Ренана, по мнѣнію нашего автора, «постигая и объясняя прошлое, отрекается отъ всѣхъ началъ этого прошлаго, а новыхъ началъ не находитъ въ себѣ». Ренанъ «уважаетъ всякую вѣру, но самъ не имѣетъ никакой; преклоняется предъ всякимъ подвигомъ, совершоннымъ въ простотѣ сердечной, но самъ не можетъ чувствовать побужденій къ подвигамъ; восхваляетъ всѣ формы историческої жизни, но самъ не способенъ ни признать какія-нибудь изъ нихъ за настоящія, правильныя, ни создать или стремиться создать новую форму». Онъ «нѣсколько завидуетъ прошлому и лишенъ всякой инициативы для будущаго». Въ политическомъ отношеніи Ренанъ — «консерваторъ, но такой, который только ставитъ прошлое выше настоящаго, а никакъ не можетъ желать его возвращенія». «Если бы у Ренана былъ свой собственный идеалъ, были начала, осуществленія которыхъ въ жизни онъ желалъ бы, то онъ не могъ бы жалѣть о старомъ порядкѣ и бояться его разрушенія; но такъ какъ такого идеала у него нѣтъ, то ему остается одинъ выходъ—желать возвращенія стараго порядка, не создавать новую жизнь, а возстановить исчезнувшую. Старая форма жизни представляется ему единственно возможною, единственно понятною, — по той причинѣ, что, не чувствуя въ себѣ никакого вполнѣ жизненнаго движенія, онъ способенъ цѣнить и признавать только чужую жизнь, только ту, которою еще живутъ другіе народы или нѣкогда жила его собственная страна... Ренанъ есть нѣчто въ родѣ французскаго славянофила, съ тою разницею, что начала, признаваемыя нашими славянофилами, еще сохранились въ народѣ, еще крѣпко живутъ въ немъ, и что наши славянофилы сами искренно вѣрятъ въ эти начала. Ренанъ же мечтаетъ о возстановленіи такой жизни, которая исчезла почти безъ слѣда, разрушена въ самомъ корнѣ; при томъ, какъ ни ясно онъ понимаетъ эту жизнь, самъ онъ можетъ только уважать ея начала, но никакъ не вѣрить въ нихъ; онъ находится въ такомъ же отношеніи къ старому порядку, въ какомъ находится къ религіи».

Все это, или почти все весьма вѣрно и весьма тонко. Лучшей характеристики Ренана мы не встрѣчали. Но невольно возникаетъ вопросъ: въ какой мѣрѣ могутъ быть цѣнны соображенія человѣка, стоящаго въ положеніи, такъ мастерски описанномъ г-мъ Страховымъ? Человѣкъ этотъ не имѣетъ ни въ прошедшемъ, ни въ настоящемъ, ни въ будущемъ никакой умственной или нравственной опоры. Онъ всему чужой. Чего же ждать отъ этой тѣни? Онъ можетъ, получивъ нѣкоторое возбужденіе отъ необычайныхъ событій прошлой войны, написать нѣсколько прочувствованныхъ словъ Штраусу. Онъ можетъ говорить истину, можетъ заблуждаться. Но никакого особеннаго значенія его рѣчамъ придавать нельзя. Такимъ образомъ, благодаря г. Страхову, оказывается, что московская пресса совершенно напрасно радовалась появленію книги Ренана.

Г. Страховъ занялъ иную позицію. Ему кажется, что Ренанъ есть полный представитель европейскаго просвѣщенія, что онъ не исключительная единица, а широко распространенный типъ, что вся «разумная» часть не только Франціи, а и всей Европы находится въ такомъ же положеніи, какъ Ренанъ. Утверждаетъ это г. Страховъ совершенно бездоказательно, даже не считаетъ нужнымъ доказывать. Но какъ бы то ни было, онъ идетъ дальше московской прессы и отрываетъ у Ренана «со святыми упокой» не только Франціи, а и Германіи. Въ концѣ концовъ, только Россія оказывается для Ренана гарантированною отъ грозящаго цивилизованному міру паденія. Г. Страховъ замѣчаетъ при этомъ въ мнѣніяхъ Ренана «глубокомысліе, обширный и тонкій взглядъ на вещи, превосходное пониманіе исторіи и вмѣстѣ чудесное безпристрастіе, искреннюю любовь къ правдѣ, дѣйствительное желаніе добра». Одного только, по мнѣнію г. Страхова, Ренанъ не понимаетъ и не можетъ понять—духовнаго и политическаго склада Россіи. Поскорбѣвъ, однако, объ этомъ, порадуемся тому, что «полный представитель европейскаго просвѣщенія» глубокомысленъ, превосходно понимаетъ исторію и проч., а не «глупъ», какъ можно бы было думать, руководствуясь прежними статьями г. Страхова.

Г. Страховъ очень удобно раздѣлилъ свою статью на шесть главъ: 1) о Ренанѣ вообще; 2) сужденіе Ренана о революціи 1789 года: 3) сужденія Ренана о современномъ состояніи Франціи; 4) средства, предлагаемыя Ренаномъ для спасенія Франціи, 5) сужденія Ренана о внутреннемъ состояніи Европы; 6) значеніе франко-прусской войны и ея послѣдствія.

Мѣткую характеристику Ренана, сдѣланную г. Страховымъ, мы уже видѣли. Теперь посмотримъ на мнѣнія Ренана въ томъ самомъ порядкѣ, въ какомъ они сгруппированы и расположены г. Страховымъ.

Въ предисловіи къ Essais de morale et de critique, изданнымъ въ 1859 году, Ренанъ писалъ: Въ 1851 году я еще питалъ относительно революціи и происшедшей отъ нея формы общества обыкновенные во Франціи предразсудки, которымъ суждено было поколебаться только вслѣдствіе жестокихъ уроковъ. Я считалъ революцію синонимомъ ли-

берализма, а такъ какъ это слово (либерализмъ) представляетъ для меня довольно хорошо высшую формулу развитія человѣчества, то фактъ, которымъ, по ученію ошибочной философіи исторіи, знаменуется пришествіе въ міръ либерализма, являлся мнѣ въ нѣкоторомъ смыслѣ священнымъ. Я не видалъ еще скрытой язвы въ той общественной системѣ, которая была создана французскимъ умомъ; я не замѣчалъ, что при своей насильственности, при своемъ кодексѣ, основанномъ на чисто матеріалистическомъ понятіи о собственности, при своемъ презрѣніи къ личнымъ правамъ, при своей манерѣ *принимать въ разсчетъ лишь недѣлимое и видѣть въ недѣлимомъ только пожизненное существо, не имѣющее нравственныхъ связей,— революція заключала въ себѣ зародышъ разрушенія, который долженъ былъ вскорѣ привести къ господству посредственности и слабости, къ угасанію всякой великой иниціативы, къ наружному благосостоянію, условія котораго разрушаютъ другъ друга... Ничего не можетъ быть пагубнѣе для націи, какъ фанатизмъ, заставляющій ее полагать свое самолюбіе въ защитѣ извѣстныхъ словъ, прикрываясь которыми ее можно вести до послѣднихъ предѣловъ рабства и униженія»*. Въ 1868 году, въ предисловіи къ книгѣ Questions contemporaines, Ренанъ говорилъ: «Во всемъ великая, а въ иныхъ отношеніяхъ возвышенная, революція есть опытъ, дѣлающій безмѣрную честь народу, который осмѣлился его сдѣлать; но это опытъ неудавшійся. Сохранивъ лишь одно неравенство, неравенство имущества; оставивъ лишь одного гиганта, государство, и тысячи пигмеевъ; создавъ могущественный центръ, Парижъ, среди умственной пустыни, провинціи; превративъ общественныя службы въ администраціи; остановивъ развитіе колоній и закрывъ такимъ образомъ единственный исходъ, которымъ современныя государства могутъ уйти отъ задачъ соціализма, *революція создала націю, будущее которой мало надежно, націю, гдѣ одно богатство имѣетъ цѣну, гдѣ благородство можетъ только больше и больше падать»*. Въ статьѣ «о конституціонной монархіи во Франціи», вошедшей въ «Réforme intellectuelle et morale, Ренанъ говоритъ: «Французская революція есть событіе столь необыкновенное, что съ нея должно начинаться всякое разсужденіе о дѣлахъ нашего времени. Во Франціи не совершается ни одного важнаго событія, которое не было бы прямымъ послѣдствіемъ этого главнаго факта, глубоко измѣнившаго условія жизни нашей страны. Какъ все великое, дерзкое, героическое, все превосходящее обыкновенную мѣру человѣческихъ силъ, французская революція будетъ въ теченіе вѣковъ предметомъ, занимающимъ умы, порождающимъ споры, поводомъ ко взаимной любви и ненависти. Съ одной стороны, французская революція (имперія, по моему мнѣнію, составляетъ ея продолженіе) есть слава Франціи, по преимуществу французская эпопея; но почти всегда націи, имѣющія въ своей исторіи какой-нибудь исключительный фактъ, искупаютъ этотъ фактъ долгими страданіями и часто платятся за него своимъ національнымъ существованіемъ. Такъ было съ Іудеею, Греціей и Италіей. За то, что онѣ создали единственныя въ своемъ родѣ вещи, которыми живетъ и пользуется міръ, эти страны подвергались вѣкамъ униженія и національной смерти. Національная жизнь есть нѣчто ограниченное, посредственное, узкое. Чтобы сдѣлать что-нибудь необыкновенное, всеобщее, нужно разорвать эту тѣсную сѣть: но, съ тѣмъ вмѣстѣ, мы раздираемъ отечество, такъ какъ отечество есть совокупность предразсудковъ и установившихся идей, которыхъ не можетъ принять все человѣчество... Я думаю, что революція будетъ имѣть для Франціи подобныя слѣдствія, хотя не столь продолжительныя, такъ какъ дѣло Франціи было менѣе велико и всеобще, чѣмъ дѣло Іудеи, Греціи, Италіи. Вѣроятно XIX вѣкъ будетъ считаться въ исторіи Франціи искупленіемъ за революцію». Въ той же статьѣ, доказывая, что замѣна дворянства буржуазіею, неравенства, основаннаго на рожденіи, неравенствомъ, основаннымъ на имуществѣ, не принесла съ собой безусловно справедливаго порядка вещей, Ренанъ замѣчаетъ: «*Французская буржуазія ошиблась, думая, что посредствомъ своей системы конкурсовъ, спеціальныхъ училищъ и правильнаго служебнаго повышенія, она можетъ основать справедливое общество. Народъ легко ей докажетъ, что бѣдное дитя исключено изъ этихъ конкурсовъ, и сравнительно съ нею будетъ правъ, утверждая, что полная справедливость требуетъ, чтобы всѣ французы при рожденіи были поставлены въ одинаковое положеніе*».

Вотъ нѣкоторыя мысли Ренана о первой революціи. Мы привели далеко не все, что собрано г. Страховымъ, и сдѣлали это не безъ цѣли. Мы не уклоняемся отъ порядка изложенія, принятаго г. Страховымъ, но постараемся разбить каждую изъ его главъ или рубрикъ на двѣ существенно различныя части. Одно изъ первыхъ правилъ критики, къ сожалѣнію, весьма часто забываемое, состоитъ въ различеніи объективной и субъективной оцѣнки фактовъ. Постоянное соблюденіе этого простого правила избавило бы насъ отъ многихъ недоразумѣній. Указаніе на существованіе факта, на его вѣроятныя причины и слѣдствія, на его распространенность и т. д. составляетъ объективную оцѣн-

ку. Субъективная же оцѣнка состоитъ въ одобреніи или порицаніи факта, въ указаніи на его желательность или нежелательность съ извѣстной точки зрѣнія. Конечно, въ сужденіяхъ того или другого писателя о томъ или другомъ фактѣ не всегда легко отличить эти двѣ стороны. Ибо усвоенная авторомъ субъективная точка зрѣнія не только существенно вліяетъ на характеръ и направленіе его наблюденій и умозаключеній, но даже подсказываетъ ему для объективной оцѣнки выраженія далеко не объективнаго свойства. Возьмемъ, напримѣръ, вышеупомянутое разсужденіе г. Страхова о глупости. Собственно говоря, онъ желалъ оцѣнить современную науку и философію совершенно объективно. Онъ желалъ показать, что въ этой наукѣ и философіи есть всѣ признаки глупости, извѣстнаго качества, допускающаго анализъ и описаніе. Бываютъ люди бѣлокурые и черноволосые. Понятію одного о красотѣ соотвѣтствуетъ свѣтлый цвѣтъ волосъ, другого—темный. Но собственно въ словахъ «бѣлокурый», «черноволосый» нѣтъ ни одобренія, ни порицанія. Въ такомъ именно смыслѣ называлъ г. Страховъ современную науку «глупою». Тѣмъ не менѣе очевидно, что разсужденіе г. Страхова вышло вовсе не такъ безстрастно, что и посылка, и выводы его подсказаны ему извѣстными симпатіями и антипатіями. Г. Страховъ это очень хорошо, безъ сомнѣнія, и самъ понимаетъ, потому что въ любопытной статьѣ своей о дарвинизмѣ («Переворотъ въ наукѣ», «Заря», № 1) онъ доказываетъ, что «то, что думаетъ человѣкъ, не есть объективная истина, независимая отъ его натуры, а есть именно то, что ему *хочется думать*». Въ устахъ Страхова «глупый» было аналогично не съ «бѣлокурый» или «черноволосый», а съ «бѣлобрысый» или «черномазый». Такимъ-то образомъ переплетаются другъ съ другомъ субъективная и объективная точки зрѣнія, перетягивая вѣсы то на одну, то на другую сторону. Это, однако, только затрудняетъ обязанность критики отличать субъективную оцѣнку отъ объективной. Мы всетаки должны ихъ по возможности отдѣлять. Такъ мы и поступимъ съ Ренаномъ. Мы будемъ слѣдовать изложенію г. Страхова, но сначала приведемъ и разсмотримъ болѣе или менѣе объективную сторону сужденій Ренана о первой революціи, о франко-прусской войнѣ и т. д. Затѣмъ прослѣдимъ такимъ же порядкомъ и болѣе или менѣе субъективную ихъ сторону. Если при этомъ нѣсколько пострадаетъ яркость ренановскихъ красокъ, замѣчательная красивость и даже художественность его изложенія, то взамѣнъ получатся нѣкоторыя другія выгоды.

«Легко было видѣть,—говоритъ Ренанъ, разсуждая о современномъ состояніи Франціи,—что французская революція, слабо задержанная на нѣкоторое время событіями 1815 года, во второй разъ увидитъ передъ собой своего вѣчнаго врага, германское или, лучше сказать, сѣверное славяно-германское племя, другими словами Пруссію, оставшеюся страною стараго порядка и такимъ образомъ предохранившуюся отъ матеріализма промышленнаго, экономическаго, соціалистическаго, революціоннаго, который ослабилъ добродѣтель всѣхъ другихъ народовъ. Твердое рѣшеніе прусской аристократіи побѣдить французскую революцію имѣло, такимъ образомъ, два отдѣльные фазиса: одинъ съ 1792 по 1815-й, другой—съ 1848 по 1871-й, и тотъ, и другой—побѣдоносные; и такъ вѣроятно будетъ и впередъ, если только революція не овладѣетъ и самымъ врагомъ своимъ—для чего большія удобства представитъ присоединеніе Германіи къ Пруссіи, хотя еще и не очень скоро... Побѣда Германіи была побѣдой человѣка дисциплинированнаго надъ недисциплинированнымъ, человѣка почтительнаго, заботливаго, внимательнаго, методическаго—надъ человѣкомъ, не имѣющимъ этихъ свойствъ. Это побѣда науки и разума, но въ то же время это побѣда стараго порядка, того принципа, который отвергаетъ верховную власть народа и право населеній располагать своей судьбой. Идеи объ этой власти и этомъ правѣ не только не укрѣпляютъ племени, но обезоруживаютъ его, дѣлаютъ неспособнымъ ко всякому воинственному подвигу... Война доказала до очевидности, что мы уже не обладаемъ прежними воинскими способностями... Благородныя стремленія прежней Франціи, патріотизмъ, энтузіазмъ къ прекрасному, жажда славы исчезли вмѣстѣ съ благородными классами, представлявшими собою душу Франціи... Начните говорить крестьянину или соціалисту интернаціоналки *) о Франціи, о ея прошломъ, о ея геніи: онъ не пойметъ этого языка. Воинская честь съ этой ограниченной точки зрѣнія—безуміе; стремленіе къ великимъ дѣламъ, слава умственной жизни—фантазіи; деньги, потраченныя на искусство и науку—брошены въ воду, безпутно истрачены, взяты изъ кармана людей, ни мало не нуждающихся въ наукѣ и искусствѣ... Съ 1848 года начались два движенія, которыя должны были убить не только всякій воинскій духъ, но и всякій патріотизмъ: я разумѣю необыкновенное развитіе матеріальныхъ стремленій у рабочихъ и у крестьянъ. Ясно, что соціализмъ рабочихъ есть

*) Насъ нѣсколько удивляетъ, что такой рыцарственный писатель, какъ г. Страховъ, влагаетъ въ уста французу такое своеобразно-обрусѣлое выраженіе. Какъ бы ни смотрѣлъ европеецъ на международное общество рабочихъ, оно для него всетаки не „интернаціоналка“.

прямая противоположность воинскому духу. Съ другой стороны крестьянинъ, съ тѣхъ поръ какъ ему открылась дорога къ богатству и показано было, что его промыселъ всего вѣрнѣе даетъ доходъ, почувствовалъ удвоенное отвращеніе отъ конскрипціи. Я говорю по опыту. Я дѣлалъ избирательную кампанію въ маѣ 1869 года въ департаментѣ Сены и Марны; могу увѣрить, что на своемъ пути среди деревенскаго населенія я не нашелъ ни единаго элемента прежней воинской жизни... Съ одной стороны, успѣхи вещественнаго процвѣтанія поглощали буржуазію; съ другой—соціальные вопросы совершенно заглушили вопросы національные и патріотическіе. Эти два рода вопросовъ составляютъ какъ будто противовѣсъ другъ другу; развитіе однихъ есть признакъ ослабленія другихъ... Сказать ли прямо? Наша политическая философія содѣйствовала нашему паденію. Главный принципъ нашей морали — устранять темпераментъ, давать какъ можно больше господства разуму надъ животною стороною; между тѣмъ воинственный духъ требуетъ прямо противоположнаго. Чѣмъ мы могли руководствоваться, мы, либералы, не имѣющіе возможности допустить божественное право въ политикѣ, какъ скоро мы не допускаемъ сверхъестественнаго въ религіи? Простымъ человѣческимъ правомъ, компромиссомъ между безусловнымъ раціонализмомъ Кондорсе и XVIII вѣка и между правами, проистекающими изъ исторіи. Не удавшійся опытъ революціи излѣчилъ насъ отъ поклоненія разуму; но при всей нашей доброй волѣ, при всѣхъ усиліяхъ, мы не могли придти къ поклоненію силѣ или праву, основанному на силѣ—въ чемъ заключается нѣмецкая политика».

Въ то время, какъ дѣла шли такимъ образомъ во Франціи, «совершенно другой духъ, древній духъ того, что мы называемъ старымъ порядкомъ, жилъ въ Пруссіи и во многихъ отношеніяхъ въ Россіи. Англія и остальная часть Европы шли по тому же пути, какъ и мы, по пути мира, промышленности, торговли, признаваемому школою экономистовъ и большею частью государственныхъ людей за самый путь цивилизаціи. Но были двѣ страны, въ которыхъ еще сохранялось честолюбіе въ старомъ смыслѣ этого слова, стремленіе къ увеличенію, національная вѣра, племенная гордость. Россія, вслѣдствіе своихъ глубокихъ инстинктовъ, вслѣдствіе своего фанатизма, въ одно время и религіознаго, и политическаго, сохраняла священный огонь прежнихъ временъ, сохраняла то, чего такъ мало у насъ, народа, изношеннаго эгоизмомъ, то есть—быструю готовность идти на смерть за дѣло, съ которымъ не связанъ никакой личный интересъ. Въ Пруссіи дворянство, обладающее преимуществами, крестьяне, управляемые почти феодальнымъ порядкомъ, воинственный и національный духъ, доходящій до суровости, тяжелая жизнь, нѣкоторая общая бѣдность, вмѣстѣ съ нѣкоторою завистью къ народамъ, ведущимъ жизнь болѣе пріятную—сохранили условія, составляющія во всѣ времена силу народовъ... Это народъ существенно монархическій; онъ не чувствуетъ никакой нужды въ свободѣ; у него есть добродѣтели, но добродѣтели классовъ. Между тѣмъ какъ у насъ одинъ и тотъ же типъ чести есть идеалъ для всѣхъ, въ Германіи дворянинъ, бюргеръ, профессоръ, крестьянинъ, работникъ имѣетъ свою особую формулу обязанностей; обязанности человѣка, права человѣка слабо понимаются. И въ этомъ заключается великая сила, ибо нѣтъ болѣе сильной причины политическаго и военнаго упадка, какъ равенство».

Однако и Германія не застрахована. «Прусская военно-феодальная партія, всего больше внушающая опасенія за миръ Европы, повидимому, должна современемъ уступить значительную долю своего перевѣса берлинской буржуазіи, нѣмецкому духу, столь широкому, столь свободному духу, который станетъ глубоко либеральнымъ, какъ только будетъ освобожденъ отъ тисковъ прусскаго военнаго порядка. Сила, съ которою происходитъ нѣмецкое движеніе, должна породить очень быстрыя развитія. Нужно отказаться отъ всѣхъ аналогій въ исторіи, если завоеванная Германія, въ свою очередь, не завоюетъ Пруссіи и не поглотитъ ея. Невозможно предполагать, чтобы нѣмецкое племя, какъ оно ни мало революціонно, не восторжествовало надъ прусскимъ ядромъ, какъ бы крѣпко оно ни было. Прусскій принципъ, по которому основа націи есть армія, а основа арміи мелкое дворянство, не можетъ быть приложенъ къ Германіи. Германія, самый Берлинъ, имѣетъ буржуазію. Основою истинной нѣмецкой націи станетъ то, что составляетъ основу всѣхъ современныхъ націй — богатая буржуазія... Вообще огромное большинство человѣческаго рода питаетъ ужасъ къ войнѣ. Истинно христіанскія идеи кротости, справедливости, доброты все больше пріобрѣтаютъ силы въ мірѣ. Воинственный духъ живетъ только въ воинахъ по ремеслу, въ дворянскихъ классахъ сѣверной Германіи и въ Россіи. Демократія не хочетъ, не понимаетъ войны. Прогрессъ демократіи разрушитъ царствованіе этихъ желѣзныхъ людей, выходцевъ минувшаго времени, вдругъ появившихся къ ужасу нашего вѣка изъ нѣдръ стараго германскаго міра. Чѣмъ бы ни кончилась настоящая война (статья писана во время войны),

эта партія будетъ побѣждена въ Германіи. Ея дни сочтены демократіею».

И тогда... Тогда наступитъ часъ возмездія для Франціи. «Ея возмездіе нѣкогда будетъ состоять въ томъ, что она ушла дальше всѣхъ по той дорогѣ, которая ведетъ къ исчезновенію всякаго благородства, всякой добродѣтели. Мы останемся ниже народовъ германскихъ и славянскихъ, пока эти народы сохранятъ иллюзіи, свойственныя молодымъ племенамъ; но эти племена, въ свою очередь, состарѣются; они пойдутъ по пути всего рожденнаго. Самое жестокое мщеніе, какое Франція можетъ совершить надъ гордымъ дворянствомъ, бывшимъ главною причиною ея пораженія, состоитъ въ томъ, чтобы жить въ демократіи, доказать фактомъ возможность республики. Тогда недолго пришлось бы ждать той минуты, когда мы могли бы сказать нашимъ побѣдителямъ, какъ мертвецы пророка Исаіи: Et tu vulneratus es sicut et nos; nostri similis effectus es! (Ты раненъ, какъ и мы; ты намъ подобенъ!). Итакъ, пусть Франція останется тѣмъ, что она есть; пусть она неустанно держитъ знамя либерализма, давшаго ей ея роль въ послѣднія сто лѣтъ. Этотъ либерализмъ часто бываетъ причиною слабости, но по этому самому міръ приметъ его; ибо міръ дряхлѣетъ и теряетъ свою древнюю суровость. Франція во всякомъ случаѣ гораздо вѣрнѣе достигнетъ возмездія, если будетъ обязана имъ своимъ недостаткамъ, чѣмъ если бы была принуждена ожидать его отъ достоинствъ, которыхъ никогда не имѣла. Чѣмъ побѣждена Франція? Тѣмъ остаткомъ нравственной силы, суровости, тяжести, самоотверженія, которыя еще устояли въ глухомъ закоулкѣ міра противъ разъѣдающаго дѣйствія эгоизма. Пусть французской демократіи удастся образовать государство, способное къ жизни, и эта старая закваска быстро исчезнетъ отъ дѣйствія самаго энергическаго элемента, разлагающаго всякую добродѣтель, какой только былъ извѣстенъ до сихъ поръ міру».

Сатирико-лирическій тонъ этой великолѣпной въ своемъ родѣ тирады напоминаетъ намъ, что мы должны ограничиться пока объективной стороной взглядовъ Ренана. Но, какъ уже сказано, выдѣлить эту сторону бываетъ не всегда легко. Какъ мы ни старались добиться этого результата, но во всемъ вышеприведенномъ сквозятъ симпатіи и антипатіи Ренана. А передать дѣло своими словами мы не рѣшались въ интересахъ точности. Читатель долженъ самъ нѣсколько потрудиться и извлечь изъ приведенныхъ мыслей по возможности обнаженную отъ морали фактическую оцѣнку первой революціи и послѣдней войны. Намъ нѣтъ пока дѣла до того, что одобряетъ и чего не одобряетъ Ренанъ. Для насъ важно только знать, какія фактическія послѣдствія имѣла революція, какія причины породили паденіе Франціи, какова вѣроятная будущность Германіи. Если читатель сдѣлаетъ мысленно это отвлеченіе, то увидитъ, что сужденія Ренана далеко не новы, что ихъ не разъ высказывали люди совершенно противоположнаго образа мыслей, что въ Ренанѣ они только осложняются нѣкоторыми специфическими чертами. Читатель, знакомый даже только съ переведеннымъ на русскій языкъ первымъ томомъ исторіи великой революціи Луи-Блана, безъ труда усмотритъ сходство между сужденіями знаменитаго соціалиста и обрадовавшаго своей книгой московскую прессу Ренана. Въ частностяхъ окажется, разумѣется, много различій, но мы говоримъ объ общемъ смыслѣ. Въ концѣ концовъ, о фактическомъ ходѣ революціи говорятъ, разумѣется, одинаково всѣ писатели отъ Фихте до Капфига, отъ Луи-Блана до Баранта, отъ Кине до Ренана и де-Местра. Но для каждаго изъ нихъ элементы причинъ и слѣдствій группируются иначе, смотря по тѣмъ сторонамъ, на которыя они обращаютъ преимущественное вниманіе. И нетрудно убѣдиться, что вниманіе Ренана и Луи-Блана—мы могли бы взять любого соціалиста—направлено въ одну и ту же сторону. Достаточно вспомнить, что Луи-Бланъ называетъ періодомъ *индивидуализма* то начавшееся Революціей теченіе дѣлъ, которое по Ренану «принимаетъ въ разсчетъ лишь недѣлимое и видитъ въ недѣлимомъ только пожизненное существо, неимѣющее нравственныхъ связей». Старый порядокъ представлялъ извѣстную систему нравственныхъ и матеріальныхъ узъ. Узы эти революція разорвала, не замѣнивъ ихъ никакими новыми, и мѣриломъ всего поставила недѣлимое. Это недѣлимое, приносимое и приносившееся при старомъ порядкѣ въ жертву различнымъ идеальнымъ единицамъ, каковы: церковь, государство, нація, сословіе, корпорація, семейство, со времени революціи стало, наоборотъ, приносить самому себѣ въ жертву всѣ идеальныя единицы. Это повлекло за собой усиленіе матеріальныхъ стремленій, и золотой телецъ замѣнилъ собой и Бога, и боговъ стараго порядка. Вотъ въ самомъ общемъ видѣ мысль и Ренана, и Луи-Блана. Слова, подчеркнутыя нами въ сужденіяхъ Ренана о революціи, могли бы быть цѣликомъ написаны рукою Луи-Блана. Что касается до несовмѣстности буржуазнаго либеральнаго развитія съ воинственностью и мечтами о національной славѣ, то объ этомъ предметѣ можно найти весьма много у того же Луи-Блана какъ въ исторіи революціи, такъ и въ Histoire de dix ans. Введеніе послѣдняго сочиненія все посвящено доказательствамъ,

что паденіе Наполеона I было неизбѣжно въ силу того, что онъ самъ себѣ противорѣчилъ, съ одной стороны, стремясь сохранить индивидуалистическій тонъ, заданный революціей, а съ другой—желая быть монархомъ-воителемъ, носителемъ національной славы. Вообще говоря, мысль о несовмѣстности воинственнаго духа съ развитіемъ промышленныхъ интересовъ и либеральной буржуазіи давно уже стала общимъ мѣстомъ. Особенность Ренана состоитъ въ рѣзкой, крутой постановкѣ вопроса и въ указаніи нѣкоторыхъ сторонъ его, обыкновенно упускаемыхъ изъ виду. Самые ординарные апологеты современнаго порядка вещей толкуютъ о постоянномъ развитіи мирныхъ наклонностей, вызываемыхъ промышленнымъ строемъ общества. Ренанъ идетъ дальше этой азбуки и указываетъ на сопутствующее развитію мирныхъ наклонностей исчезновеніе доблестей, чувства долга, готовности жертвовать жизнью ради дѣла не личнаго. Но и эта сторона вопроса разработана соціалистами.

Въ приложеніи къ франко-прусской войнѣ тема эта дѣйствительно не была въ европейской печати развита никѣмъ такъ полно и рѣзко, какъ Ренаномъ. На это существуютъ особыя причины. Почему именно Ренанъ могъ усмотрѣть всѣ стороны страшнаго года, мы увидимъ, только уяснивъ себѣ его субъективную точку зрѣнія, весьма своеобразную. А почему вообще и французамъ, и нѣмцамъ трудно и теперь даже представить всесторонній анализъ значенія минувшей войны—это ясно само собой. Могли ли въ самомъ дѣлѣ нѣмцы признать, что ихъ побѣда есть побѣда силы надъ разумомъ, варварства надъ цивилизаціей? Могли-ли французы признать, что ихъ пораженіе есть пораженіе эгоизма самоотверженіемъ, распущенности—чувствомъ долга? Между тѣмъ на сторонѣ нѣмцевъ дѣйствительно были грубая сила, варварство и вмѣстѣ съ тѣмъ самоотверженіе, чувство долга, а на сторонѣ французовъ—разумъ, цивилизація и вмѣстѣ съ тѣмъ эгоизмъ и распущенность. Россія во время франко-прусской войны не побѣждала и пораженій не терпѣла, поэтому русская печать могла бы усмотрѣть различныя стороны дѣла и извлечь такимъ образомъ изъ кровавыхъ событій весьма полезный урокъ для себя. Въ огромномъ большинствѣ своихъ органовъ, однако, русская печать оказалась далеко ниже этой задачи. Она обнаружила замѣчательную скудость, сбивчивость, неясность своихъ руководящихъ началъ. Русская печать (мы говоримъ о большинствѣ), весьма рьяная въ мелочахъ, въ частностяхъ, умѣющая тутъ и волноваться, и браниться, отличается замѣчательнымъ благодушіемъ и простодушіемъ, когда какой-нибудь вопросъ поднимается событіями на извѣстную высоту. Одна часть русской прессы излюбила извѣстныя понятія или, вѣрнѣе, слова, каковы: разумъ, цивилизація, свобода. Другая часть ненавидитъ эти слова. Наконецъ, есть слова нейтральныя, къ которымъ всѣ относятся съ уваженіемъ, таковы: самоотверженіе, чувство долга. Но процессъ зарожденія этихъ отношеній къ извѣстнымъ понятіямъ или словамъ весьма теменъ. Занесло на полянку вѣтромъ сѣмя, и выросъ грибъ. Выросъ онъ быстро, самъ въ зарожденіи и ростѣ своемъ неповиненъ. Вотъ и вся исторія большей части нашей періодической прессы. Напрасно будете вы толковать, напримѣръ, что либерализмъ есть извѣстное политическое ученіе, къ которому можно относиться и такъ, и иначе. Для «Русскаго Міра» слово «либералъ» будетъ всетаки ругательнымъ словомъ, и если онъ найдетъ, что вы поступаете неумно или неблагонамѣренно, онъ назоветъ васъ либераломъ, хоть вы у него на головѣ колъ тешите, доказывая, что вы политическаго ученія, называемаго либерализмомъ, не исповѣдуете. Для «Петербургскихъ Вѣдомостей», напротивъ, «либералъ» есть нѣкоторый чинъ, и опять-таки вы можете тесать колъ до второго пришествія. Простодушнымъ органамъ ни разу не приходитъ въ голову разложить доктрину либерализма на ея составныя части. Оттого-то мы и видимъ, что «Русскій Міръ», для котораго «либералъ» значитъ пустой или неблагонамѣренный человѣкъ, ратуетъ за распущеніе крестьянской общины и торжество личной собственности, т. е. стоитъ за идею, существенно либеральную. А «Петербургскія Вѣдомости», для которыхъ «либеральный» значитъ похвальный, придерживаются протекціонизма, т. е. ученія совершенно нелиберальнаго.

При такомъ настроеніи русской печати трудно было бы ожидать, чтобы она рѣшилась признать въ числѣ причинъ прусскихъ побѣдъ грубую силу, варварство и рядомъ съ нимъ самоотверженіе, чувство долга; а въ числѣ причинъ пораженія французовъ—ихъ распущенность, эгоизмъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ и ихъ высокую цивилизацію, ихъ духъ равенства и свободы. Для благодушной русской печати такое сочетаніе словъ дико. Ормуздъ тутъ самымъ безпорядочнымъ образомъ перемѣшанъ съ Ариманомъ, тогда какъ русская печать любитъ, чтобы Ормуздъ былъ Ормуздомъ,—а Ариманъ—Ариманомъ. Это, конечно, удобнѣе: и понимать легче, и жить легче. Но, къ сожалѣнію, въ дѣйствительности дѣло происходитъ не такъ.

Воинственный духъ слабѣетъ по мѣрѣ развитія науки и промышленности. Это доказывается какъ многочисленными историческими примѣрами, такъ и самыми элементар-

ными соображеніями о существенно мирныхъ свойствахъ научнаго и промышленнаго духа. Изъ этого слѣдуетъ, что при равенствѣ другихъ условій побѣжденнымъ непремѣнно долженъ оказаться народъ, выше стоящій въ умственномъ и промышленномъ отношеніи. Усвоить себѣ эту простую мысль намъ мѣшаетъ только традиціонное уваженіе къ воинственности и къ побѣдѣ, значительно поколебленное, но все еще дающее себя знать въ нашихъ сужденіяхъ объ историческихъ событіяхъ. Воинъ въ нашихъ понятіяхъ все еще окруженъ извѣстнымъ ореоломъ. Законности этого ореола нельзя отрицать вполнѣ, ибо какъ ни какъ, а воинъ дерется и умираетъ въ то время, какъ остальное населеніе пользуется плодами мира. Но это не должно путать нашихъ понятій и мѣшать намъ признать, что извѣстная степень грубости и бѣдности составляетъ необходимое условіе воинственности націи. Таково вліяніе умственнаго и матеріальнаго развитія вообще. Затѣмъ нѣкоторыя формы промышленнаго развитія и извѣстный опредѣленный строй мысли еще болѣе ослабляютъ воинственный духъ косвеннымъ образомъ, именно разлагая тѣ идеи преданности нѣкоторому общему дѣлу, готовности приносить свою личность въ жертву, которыя составляютъ, не менѣе грубости и бѣдности, необходимыя условія воинственнаго духа и побѣды. Что касается до «права населенія располагать своими судьбами», то Ренанъ, очевидно, ошибочно приписываетъ ему безусловно ослабляющее военный духъ значеніе. Исторія представляетъ не мало воинственныхъ племенъ, вполнѣ пользовавшихся этимъ правомъ. И это понятно: богатая и умственно развитая нація воспользуется правомъ располагать своими судьбами, конечно, ради сохраненія мира, но нація грубая и бѣдная будетъ только стимулироваться этимъ правомъ на военные подвиги. Да и вообще значеніе права населенія располагать своими судьбами всецѣло зависитъ отъ свойствъ самаго населенія: одинъ народъ сдѣлаетъ изъ него одно употребленіе, другой другое. Но затѣмъ анализъ Ренана совершенно вѣренъ. Тѣ формы экономическаго, политическаго и умственнаго развитія, которыя вся Европа въ большей или меньшей степени усвоила себѣ со временъ первой революціи и подъ ея непосредственнымъ вліяніемъ, дѣйствительно ослабляютъ военный духъ не только прямо, своимъ мирнымъ характеромъ. Онѣ въ то же время вліяютъ въ томъ же направленіи и косвенно,—заглушая чувства долга и самоотверженія, — противопоставляя всякимъ идеальнымъ единицамъ эгоистическую личность. Не Ренану принадлежитъ честь открытія и формулировки этой истины,—задолго до него она была высказана, смѣрена и взвѣшена соціалистами всѣхъ оттѣнковъ. Игнорируя родственныя его сужденіямъ (въ объективномъ, конечно, только отношеніи) воззрѣнія соціалистовъ, Ренанъ не только впадаетъ въ несправедливость. Онъ лишаетъ самого себя возможности провести до конца анализъ элементовъ европейской цивилизаціи. Ренанъ неоднократно говоритъ о соціализмѣ, но онъ вездѣ ставитъ его рядомъ съ либерализмомъ и отдѣляетъ эти два ученія только запятыми. Это пріемъ удовлетворительный, поскольку рѣчь идетъ объ отрицательной сторонѣ соціализма; да и то не обо всей. Вѣрно то, что и либерализмъ, и соціализмъ одинаково враждебны старому порядку. Но въ то время, какъ либерализмъ, разрушая или отрицая старыя идеальныя единицы,—семью, общину, корпорацію, сословіе, государство, націю,—выставляетъ на ихъ мѣсто одинокую личность, единицу матеріальную, соціализмъ создаетъ новыя идеальныя единицы. Различие это въ высшей степени важно. Ренану стоило бы только немного оглядѣться, чтобы увидѣть, что самоотверженіе, чувство долга, готовность жертвовать собою общему дѣлу не вымерли въ Европѣ, существуютъ не въ одной Пруссіи. Какъ бы мы ни смотрѣли на рабочіе союзы въ Англіи, на международное общество рабочихъ, на многочисленные рабочіе союзы въ Германіи, на стачки рабочихъ, но нельзя отрицать, что качества, приписываемыя Ренаномъ исключительно пруссакамъ и отчасти русскимъ, достигаютъ въ означенныхъ союзахъ и обществахъ высокаго развитія. Или возьмемъ парижскую рѣзню. Мы здѣсь совершенно устраняемъ вопросъ объ одобрительности или неодобрительности поведенія различныхъ частей парижскаго населенія. Мы видимъ только, что люди страдали и умирали не за свое личное дѣло. Слѣдовательно, самоотверженіе, чувство долга, вообще признаніе надъ собой верховной власти нѣкоторой идеальной единицы играли здѣсь извѣстную роль. Поверхностнаго наблюдателя, какимъ въ этомъ случаѣ оказывается и Ренанъ, смущаетъ здѣсь то обстоятельство, что онъ не можетъ отвлечься отъ привычныхъ формъ идеальныхъ единицъ; вслѣдствіе чего ему кажется, что отсутствіе преданности къ идеальнымъ единицамъ стараго порядка равносильно низверженію всякихъ идеальныхъ единицъ, самаго ихъ принципа.

Итакъ, элементы европейской цивилизаціи обрисованы Ренаномъ не полно. Кромѣ самоотверженныхъ, но грубыхъ воиновъ, кромѣ распущенныхъ, эгоистичныхъ мирныхъ гражданъ, существуютъ еще мирные граждане (мирные въ принципѣ, обстоятельства могутъ въ извѣстной мѣрѣ фактически измѣнить

дѣло), готовые жертвовать собою не хуже суровыхъ воиновъ, хотя и для другихъ идеаловъ. Конечно, не всегда легко разграничить эти три элемента, они постоянно переплетаются другъ съ другомъ: и въ Пруссіи есть и распущенность, и мирное самоотверженіе; и во Франціи есть дикіе воины. Въ всякомъ случаѣ, будущее Европы зависитъ не только отъ того, что возьметъ верхъ: старый порядокъ или первая революція. Мало того, этотъ вопросъ даже не заслуживаетъ большого вниманія, такъ какъ рѣшеніе его слишкомъ очевидно. Ренанъ совершенно справедливо говоритъ, что и въ Пруссіи, въ этой единственной въ Европѣ крупной и достаточно полной представительницѣ стараго порядка, въ ближайшемъ будущемъ дворянство уступитъ мѣсто буржуазіи, военный духъ—мирному промышленному и умственному развитію. Это вопросъ рѣшенный. Нерѣшенный вопросъ состоитъ только въ томъ, какія формы приметъ это мирное развитіе,—восторжествуютъ-ли начала первой революціи во всемъ ихъ объемѣ, или къ нимъ сдѣлана будетъ извѣстная поправка. Старые идеалы падутъ, но замкнется-ли жизнь въ личности, въ матеріальной единицѣ, или личность преклонится предъ новыми идеалами,—вотъ основной вопросъ европейской жизни, совершенно упущенный Ренаномъ изъ виду. Обошелъ его Ренанъ потому, что самъ онъ, какъ прекрасно объяснилъ г. Страховъ, не имѣетъ никакихъ идеаловъ: сверху небо, снизу земля, съ боковъ и продуваетъ.

Переходя къ субъективной сторонѣ изслѣдованія Ренана, мы встрѣчаемъ, прежде всего, обвиненіе всей современной цивилизаціи въ «матеріализмѣ». Слово это употребляется здѣсь гораздо шире, чѣмъ обыкновенно. Это не только извѣстное ученіе о природѣ. Объ этой сторонѣ Ренанъ даже весьма мало говоритъ; его занимаетъ преимущественно «политическій матеріализмъ». По этой теоріи, говоритъ Ренанъ, «общество не есть что либо религіозное или священное. Оно имѣетъ лишь одну цѣль, ту, чтобы недѣлимыя, его составляющія, наслаждались возможно большею суммою благосостоянія, не заботясь объ идеальномъ назначеніи человѣчества. Къ чему говорить о возвышеніи, облагороженіи человѣческаго сознанія? Дѣло идетъ лишь о томъ, чтобы сдѣлать довольнымъ большинство, обезпечить для всѣхъ нѣкотораго рода ординарное счастіе, конечно, очень относительное, ибо благородная душа питала бы отвращеніе къ тому счастію и возмутилась бы противъ общества, которое бралось бы его доставить. Въ глазахъ просвѣщенной философіи общество есть великій провиденціальный фактъ, оно устроено не человѣкомъ, а самою природою, для того, чтобы на поверхности нашей планеты происходила умственная и нравственная жизнь. Внѣ общества человѣкъ никогда не существовалъ. Человѣческое общество, мать всякаго идеала, есть прямое произведеніе верховной воли, которая хочетъ, чтобы добро, истина, красота имѣли въ мірѣ созерцателей. Это трансцендентное отправленіе человѣчества не совершается посредствомъ простого сосуществованія недѣлимыхъ. Общество есть іерархія. Всѣ недѣлимыя священны и благородны, всѣ существа (даже животныя) имѣютъ права. Но не всѣ существа равны, они суть члены обширнаго тѣла, части безмѣрнаго организма, совершающаго божественную работу. Отрицаніе этой божественной работы есть заблужденіе, въ которое легко впадаетъ французская демократія. Считая наслажденіе недѣлимаго единственнымъ предметомъ общества, она приходитъ къ отрицанію права идеи, первенства духа. Не понимая неравенства племенъ, такъ какъ дѣйствительно этнографическія различія съ незапамятныхъ временъ исчезли въ ея нѣдрахъ, Франція пришла къ тому, что видитъ общественное совершенство въ нѣкотораго рода общей посредственности. Сохрани насъ Боже мечтать о воскрешеніи того, что умерло. Но, не требуя возстановленія дворянства, позволительно думать, что важность, придаваемая рожденію, во многихъ отношеніяхъ лучше, чѣмъ важность, придаваемая имуществу; одна не больше справедлива, чѣмъ другая, и единственное справедливое отличіе, то есть отличіе заслуги добродѣтели лучше соблюдается въ обществѣ, гдѣ классы основаны на рожденіи, чѣмъ въ томъ, гдѣ одно богатство есть основаніе неравенства... Жизнь человѣческая стала бы невозможною, если бы человѣкъ не давалъ себѣ права подчинять животныхъ; она точно такъ же была бы невозможна, если бы держались того отвлеченнаго понятія, по которому всѣ люди рождаются съ одинаковымъ правомъ на имущество и на общественное положеніе... Человѣчество есть таинственная лѣстница, рядъ равнодѣйствующихъ силъ, проистекающихъ одна изъ другой. Трудолюбивыя поколѣнія людей народа и крестьянъ создаютъ существованіе честнаго и экономнаго буржуа, который, въ свою очередь, создаетъ дворянина, человѣка, освобожденнаго отъ вещественнаго труда, всецѣло преданнаго предметамъ безкорыстнымъ. Каждый въ своемъ классѣ есть хранитель преданія, нужнаго для успѣховъ цивилизаціи. Нѣтъ двухъ нравственностей, двухъ наукъ, двухъ воспитаній. Есть одна умственная и нравственная область, блистательное созданіе человѣческаго духа, которое творится въ малой долѣ каждымъ, кромѣ эгоиста, и которому каждый прича-

стенъ въ различныхъ степеняхъ... Мы уничтожили бы человѣчество, если бы не допустили, что цѣлыя массы должны жить славою и наслажденіемъ другихъ. Демократъ называетъ глупцомъ крестьянина стараго порядка, работавшаго на своихъ господъ, любившаго ихъ и наслаждавшагося высокимъ существованіемъ, которое другіе ведутъ по милости его пота. Конечно, тутъ есть безсмыслица при той узкой, запертой жизни, гдѣ все дѣлается съ закрытыми дверями, какъ въ наше время. Въ настоящемъ состояніи общества преимущества, которыя одинъ человѣкъ имѣетъ надъ другими, стали вещами исключительными и личными: наслаждаться удовольствіемъ или благородствомъ другого кажется дикостью; но не всегда такъ было. Когда Губбіо или Ассизъ глядѣлъ на проходящую мимо свадебную кавалькаду своего молодого господина, никто не завидовалъ. Тогда всѣ участвовали въ жизни всѣхъ; бѣдный наслаждался богатствомъ богатаго, монахъ радостями мірянина, мірянинъ молитвами монаха, для всѣхъ существовали искусство, поэзія, религія... Превосходство церкви и сила, которая ручается за то, что у церкви есть еще будущее, состоитъ въ томъ, что она одна понимаетъ это и научаетъ это понимать. Церковь хорошо знаетъ, что лучшіе люди часто бываютъ жертвами преимуществъ такъ называемыхъ высшихъ классовъ; но она знаетъ также, что природа хотѣла, чтобы жизнь человѣчества имѣла многія степени. Она знаетъ и признаетъ, что грубость многихъ есть условіе воспитанія одного, что потъ многихъ позволяетъ немногимъ вести благородную жизнь, но она не называетъ однихъ привилегированными, а другихъ обдѣленными, ибо дѣло человѣческое для нея нераздѣлимо. Уничтожьте этотъ великій законъ, поставьте всѣхъ людей на одну линію, съ равными правами безъ связи подчиненія общему дѣлу,—вы получите эгоизмъ, посредственность, разобщенность, сухость, невозможность жить, нѣчто похожее на жизнь нашего времени, печальнѣе которой, даже для человѣка изъ народа, еще никогда не было. Если имѣть въ виду только право недѣлимыхъ, то несправедливо, чтобы одинъ человѣкъ былъ пожертвованъ другому; но нѣтъ ничего несправедливаго въ томъ, чтобы всѣ были подчинены высшему дѣлу, совершаемому человѣчествомъ. Религія имѣетъ силу объяснять эти тайны и предлагать въ идеальномъ мірѣ обильныя утѣшенія всѣмъ, кто приносится въ жертву въ юдольномъ мірѣ».

Вотъ полная теорія Ренана. Въ ней есть дѣйствительно нѣчто, если не новое и оригинальное, то, по крайней мѣрѣ, неожиданное. Узкій, но всегда послѣдовательный Мальтусъ высказалъ нѣкогда мысль, что страсть къ накопленію богатствъ, ради выгоды системы наибольшаго раздѣленія труда и наибольшаго производства, должна быть отдѣлена отъ влеченія къ наслажденіямъ. Онъ требовалъ такихъ мѣръ, которыя побуждали бы капиталистовъ только копить и копить, предоставляя всю массу наслажденій рантьерамъ, дворянству. Требованіе это любопытно во многихъ отношеніхъ. Оно свидѣтельствуетъ, во-первыхъ, что Мальтусъ былъ благодушнѣйшій утопистъ, послѣдовательный до слѣпоты. Странно, конечно, было ожидать, чтобы капиталисты отказались отъ всякихъ наслажденій, но не страннѣе, чѣмъ ожидать, чтобы рабочіе размножались и прекращали размножаться по заказу рынка труда. Оба требованія до сихъ поръ не перешли въ область дѣйствительности и, надо думать, никогда съ ними этого не случится. Одному изъ нихъ посчастливилось въ томъ смыслѣ, что оно стало истиной школьной науки; другое встрѣтило сильный отпоръ. Но оба они одинаково фантастичны и одинаково логичны. Разъ система наибольшаго раздѣленія труда признается идеаломъ общественнаго устройства, естественно желать, чтобы рабочій былъ только рабочій, а не отецъ семейства, чтобы капиталистъ не отвлекался отъ указанной ему общественной функціи, чтобы онъ плодилъ капиталъ, сберегалъ и только. Всѣ доводы, какіе приводятся въ пользу системы раздѣльнаго труда вообще и въ пользу той или другой частности ея, вполнѣ приложимы и къ требованію Мальтуса. Но оно не только не осуществилось въ жизни, но встрѣтило рѣзкій отпоръ и какъ теоретическое положеніе. Капиталисты и ихъ теоретики—экономисты не пошли на эту удочку: они слишкомъ хорошо знали цѣну тѣмъ наслажденіямъ, отказаться отъ которыхъ предлагалъ имъ Мальтусъ ради идеала, имъ въ другихъ отношеніяхъ весьма симпатичнаго. Съ тѣхъ поръ прошло не мало времени. Идея дворянства, какъ монополиста наслажденій, особенно во Франціи, ist längst gestorben, verdorben. Надо имѣть много смѣлости, чтобы говорить то, что говоритъ Ренанъ. Неудивительно было бы, если бы онъ отстаивалъ двухчленную «таинственную лѣстницу человѣчества», если бы онъ доказывалъ, что провидѣніе предназначило «трудолюбивыя поколѣнія людей народа для созданія существованія честнаго и экономнаго буржуа». Это говорится часто, и если не столь краснорѣчиво, то за то обставляется внушительнымъ аппаратомъ эрудиціи. Но Ренанъ ставитъ еще надъ честнымъ и экономнымъ буржуа—«дворянина, человѣка, освобожденнаго отъ вещественнаго труда, всецѣло преданнаго предметамъ безкорыстнымъ». Вотъ что смѣ-

ло. Однако, это не есть смѣлость мыслителя, это—смѣлость писателя, смѣлость характера. Это та самая смѣлость, которая побуждаетъ г. Страхова затыкать пушечное жерло шляпой при полномъ сознаніи, что шляпу ядромъ вырветъ. Это обнаруживается тѣми многочисленными оговорками и шатаніями, которыми Ренанъ обставляетъ свою мысль. Онъ и не хочетъ «воскрешать умершее», и хочетъ; кончается дѣло тѣмъ, что въ числѣ средствъ для поправленія французскихъ дѣлъ онъ предлагаетъ возстановить дворянство «до извѣстной степени». Во всякомъ случаѣ смѣлаго человѣка видѣть пріятно. Но крайне непріятно видѣть лицемѣра, ссылающагося на авторитетъ церкви, которой онъ не признаетъ, и отсылающаго «всѣхъ, кто приносится въ жертву въ юдольномъ мірѣ», за «обильными утѣшеніями въ идеальный міръ», въ который онъ самъ не вѣритъ. А такимъ, къ сожалѣнію, является Ренанъ. Но надъ этимъ не стоитъ останавливаться. Это просто одинъ изъ печальныхъ результатовъ неестественнаго положенія людей, стремящихся заткнуть жерло пушки шляпой.

Политическая теорія Ренана далеко не нова. И по общему смыслу своему, и во многихъ частностяхъ она есть сколокъ съ античныхъ политическихъ доктринъ, которыя, въ свою очередь, представляютъ оправданіе и идеализацію античнаго общественнаго устройства. Конечно, это сходство ограничивается преимущественно только положительной стороной ученія Ренана, потому что античный міръ не зналъ того, что Ренанъ называетъ политическимъ матеріализмомъ. Мы привели выше параллель, которую Ренанъ проводитъ между исторіей Франціи, съ одной стороны, и исторіей Іудеи, Греціи, Италіи,—съ другой. Ренанъ смотритъ на дѣло такъ, что всякая нація, совершившая нѣчто великое, выходящее изъ ряда вонъ, послужившая всему міру, должна искупить это величіе страданіями и даже иногда смертью. Какъ общее положеніе, это бездоказательно и невѣрно. Но если мы лишимъ мысль Ренана ея абсолютнаго характера и снимемъ съ нея мистическій покровъ, то найдемъ въ ней нѣчто цѣнное. Дѣйствительно, Іудея, Греція Италія дали міру извѣстную духовную пищу, которую онъ отчасти и до сихъ поръ пережевываетъ. Дѣйствительно, Іудея, Греція, Италія вытерпѣли вслѣдъ затѣмъ долгія страданія. Это относится и къ Франціи, которая дала міру первую революцію и нынѣ терпитъ величайшія страданія. Воздерживаясь отъ той мистической точки зрѣнія, въ силу которой нація страдаетъ *за* что-нибудь, мы не можемъ, однако, не признать, что страданія Іудеи, Греціи, Италіи и нынѣ Франціи суть отчасти *слѣдствія* ихъ прошлаго величія. Ренанъ дѣлаетъ въ этомъ отношеніи любопытное замѣчаніе. «Національная жизнь, говоритъ онъ,—есть нѣчто ограниченное, посредственное, узкое. Чтобы сдѣлать что-нибудь необыкновенное, всеобщее, нужно разорвать эту тѣсную сѣть; но съ тѣмъ вмѣстѣ, мы раздираемъ отечество, такъ какъ отечество есть совокупность предразсудковъ и установившихся идей, которыхъ не можетъ принять все человѣчество». Замѣчаніе это очень тонко. Но желательно было бы знать, какъ смотритъ Ренанъ на изображаемую имъ дилемму: либо узкія рамки національныхъ предразсудковъ и установившихся идей, либо широкая дѣятельность на весь міръ. Надо выбирать одно изъ двухъ. Но Ренанъ беретъ иногда одно, иногда другое, смотря по обстоятельствамъ. Такъ по поводу франко-прусской войны онъ замѣчаетъ: «Германія стала лишь націей; въ настоящую минуту она сильнѣйшая изъ всѣхъ націй, но извѣстно, какъ недолги бываютъ эти гегемоніи и что онѣ оставляютъ послѣ себя. Нація, ограничивающаяся однимъ лишь соображеніемъ своего интереса, уже теряетъ общую роль. Всякая страна пріобрѣтаетъ господство лишь общими сторонами своего генія: патріотизмъ противоположенъ нравственному и философскому вліянію». Здѣсь слышится какъ бы укоръ патріотизму и во всякомъ случаѣ отрицательное отношеніе къ «совокупности предразсудковъ и установившихся идей, которыхъ не можетъ принять все человѣчество». Но это не мѣшаетъ Ренану съ негодованіемъ говорить, что «соціализмъ рабочихъ есть прямая противоположность воинскому духу, это почти отрицаніе отечества: доказательство - ученіе интернаціоналки». Изъ этого видно, что личный взглядъ Ренана на національность, на отечество—неясенъ ему самому. Онъ согласенъ, чтобы идеи эти стушевались передъ «нравственнымъ и философскимъ вліяніемъ» и стоитъ за нихъ горой, когда имъ грозитъ соціализмъ. Это не мѣшаетъ, однако, ему вѣрно указывать фактъ: нація, производящая нѣчто великое, тѣмъ самымъ перестаетъ быть націей. Она есть нѣчто большее, она должна перестать быть совокупностью узкихъ предразсудковъ. Но здѣсь нѣтъ еще причинъ и поводовъ къ страданіямъ. Конечно, разставаніе съ вѣками установившимися предразсудками и идеями не можетъ обойтись безъ извѣстныхъ усилій, извѣстныхъ даже, пожалуй, страданій, но это просто переходный моментъ, отнюдь не влекущій за собой непремѣнно крупныхъ несчастій, паденія. Іудея, Греція, Италія, теперешняя Франція страдали не вслѣдствіе своего величія, а вслѣдствіе односторонности этого величія. Греція, напримѣръ, дала міру философскую мысль и искусство, можетъ быть до сихъ поръ

не во всѣхъ отношеніяхъ превзойденныя міромъ. Въ этихъ направленіяхъ Греція высосала изъ себя все, что могла высосать, и поднялась въ нихъ до общечеловѣческаго значенія. Но за то другія стороны жизни оставались въ Греціи подъ спудомъ, даже клеймились презрѣніемъ. И эту-то односторонность развитія Греція должна была искупить тяжкими страданіями, если уже говорить объ искупленіи. Точно такъ же и Франція искупаетъ нынѣ не величіе своего развитія, давшаго міру идеи равенства и свободы, а односторонность этого величія. Одну часть силъ Франціи первая революція развила далеко за предѣлы узкихъ національныхъ рамокъ, но другая осталась на прежней степени, а сравнительно даже понизилась. Революція 1848 года была попыткою возстановить нарушенное равновѣсіе. Попытка не удалась, и Франція будетъ страдать до тѣхъ поръ, пока не развернетъ всѣхъ своихъ силъ. Когда это случится, Франція опять дастъ міру нѣчто достойное ея прошлаго. И только въ случаѣ невозможности, если бы оно было доказано, такого факта, Франція должна все глубже и глубже погрязать въ «политическомъ матеріализмѣ», затягивая вмѣстѣ съ собой и всю Европу.

«Политическій матеріализмъ» существуетъ. Онъ обошелъ весь міръ со своими девизами: chacun chez soi, chacun pour soi, laissez faire, laissez passer, —вездѣ оставляя по себѣ пагубные слѣды, вездѣ разлагая старыя идеальныя единицы и нигдѣ не создавая новыхъ. Онъ громко стучится въ двери Россіи. Но не Ренану съ нимъ бороться. Во-первыхъ, не ему принадлежитъ честь начала борьбы съ политическимъ матеріализмомъ: ее завязали соціалисты. Во-вторыхъ, что предлагаетъ онъ взамѣнъ? Подслащенную и подмалеванную античную идею «таинственной лѣстницы человѣчества», то есть то именно одностороннее развитіе соціальныхъ силъ, которое сгубило Іудею, Грецію, Италію, Францію. Въ-третьихъ, наконецъ, Ренанъ самъ не знаетъ, съ чѣмъ онъ борется. Въ числѣ атрибутовъ политическаго матеріализма онъ желаетъ видѣть стремленіе надѣлять всѣхъ и каждаго матеріальнымъ благосостояніемъ. Онъ полагаетъ, и г. Страховъ съ нимъ соглашается, что здѣсь играетъ главную роль *зависть*. Не говоря уже о томъ, что всѣ желающіе равномѣрнаго распредѣленія матеріальнаго благосостоянія, желаютъ и равномѣрнаго распредѣленія духовныхъ благъ и наслажденій; не говоря о томъ, что странно называть зависть желаніе снабдить сосѣда тѣмъ, чего у него нѣтъ; не говоря обо всемъ этомъ,—развѣ желаніе надѣлить всѣхъ и каждаго матеріальнымъ благосостояніемъ не способно составить идеалъ, вызвать высокія чувства, великія мысли? Развѣ, наконецъ, мы не видимъ этого и въ дѣйствительности, хотя бы и въ слабомъ размѣрѣ?

Собственный идеалъ Ренана не заслуживаетъ никакого вниманія, хотя бы уже потому, что «честный и экономный буржуа», охотно помѣщающійся на спинѣ «трудолюбивыхъ поколѣній людей народа», ни за что не пуститъ къ себѣ на шею «человѣка, освобожденнаго отъ вещественнаго труда и преданнаго предметамъ безкорыстнымъ». Но для насъ любопытна конструкція этого идеала, и то потому, что ей сочувствуетъ г. Страховъ. А г. Страховъ интересуетъ насъ здѣсь и самъ по себѣ, и какъ представитель извѣстной партіи, школы. Г. Страховъ есть, какъ извѣстно, славянофилъ. Г. Страховъ очень хорошо понимаетъ несостоятельность идеала Ренана для Европы. Но онъ полагаетъ, что нѣчто подобное возможно и законно въ Россіи, какъ непосредственный продуктъ русской почвы. Недаромъ онъ называетъ Ренана французскимъ славянофиломъ.

«Политическое честолюбіе,—говоритъ г. Страховъ,—совершенно чуждо русскому народу; охотно жертвуя всѣмъ для государства, онъ не ищетъ непремѣннаго участія въ управленіи государствомъ; это участіе считается дѣломъ тяжелымъ, скорѣе повинностью, чѣмъ правомъ. Житейскій матеріализмъ, пониманіе собственности и удовольствій, какъ главныхъ вещей въ жизни, противны кореннымъ нравамъ русскаго народа, его нѣсколько аскетическому настроенію. Есть нѣкоторая высшая область, въ которой русскіе люди ищутъ и требуютъ равенства, свободы, братства; но это не область вещественныхъ интересовъ и политическихъ правъ. Отсюда же происходитъ особенный характеръ того, что можно назвать «воинственнымъ духомъ» русскихъ. Этотъ духъ состоитъ, главнымъ образомъ, въ стойкости и самоотверженіи». Нарисовавъ эту картину, представляющую отчасти идиллію, отчасти пасквиль, г. Страховъ начинаетъ вмѣстѣ съ Ренаномъ «политиканствовать», разсуждать о томъ, какъ германскій, романскій и славянскій міры будутъ между собою драться и что изъ этого можетъ произойти. Наконецъ, г. Страховъ сожалѣетъ о томъ, что Ренанъ, вообще прекрасно понимающій Россію, не понимаетъ православія. За вычетомъ политиканства, которое нисколько не занимательно, главная мысль г. Страхова состоитъ въ томъ, что Россія гарантирована отъ политическаго матеріализма особенностями русскаго народа, который неспособенъ «завидовать», глядя «на свадебную кавалькаду молодого господина». Не теряя надежды вернуться къ этому веселенькому пейзажику, мы представимъ теперь читателю другое развлеченіе.

Передъ нами лежитъ старая книга,—русскій переводъ сочиненія Гоббза De cive, 1776 года. Книга эта снабжена слѣдующимъ посвященіемъ:

„Его Сіятельству Графу Григорію Александровичу Потемкину, Высокопревосходительному господину Генералъ-аншефу, командующему легкой конницею, всѣми иррегулярными войсками и Санктпетербургскою дивизіею, сенатору, Государственной военной коллегіи вице-президенту, Новороссійскому, Азовскому и Астраханскому Государеву намѣстнику, войскъ тамо поселенныхъ и Днѣпровской линіи главному командиру, Ея Императорскаго Величества Генералу-адъютанту, дѣйствительному камергеру, лейбъ-гвардіи Преображенскаго полка Подполковнику, Кавалергардскаго корпуса Порутчику, Кирасирскаго Новотроицкаго полка Шефу, мастерской и оружейной палаты Верховному Начальнику, разныхъ иновѣрцевъ, обитающихъ въ Россіи по коммисіи новосочиняемаго уложенія Опекуну, Вольнаго Економическаго Общества въ Санктпетербургѣ и Вольнаго россійскаго собранія при Императорскомъ Московскомъ университетѣ Члену, орденовъ Россійскихъ: Святого Апостола Андрея, Святого Александра Невскаго и Святаго Великомученика и Побѣдоносца Георгія 2 класса; Польскихъ: Бѣлаго Орла и Святого Станислава; и Голштинскаго Святыя Анны Кавалеру, Милостивому Государю.

„Сіятельнѣйшій Графъ! Милостивый Государь! Между безчисленными дарами, отъ преблагого и всещедраго Бога на насъ изліянными, нѣтъ ни единаго столь превосходнаго, столь неоцѣненнаго, какъ человѣческій разумъ... Того ради перевелъ я основанія философическія о гражданинѣ, Ѳомою Гоббезіемъ благоурожденнымъ Англичаниномъ написанныя, въ коихъ, между прочимъ, доказываетъ онъ, что человѣкъ внѣ общества, есть твореніе безпрестанному страху подверженное, что спокойствіе свое обрѣсти онъ можетъ въ единомъ токмо гражданскомъ состояніи, и что изъ всѣхъ гражданства образовъ самый наилучшій есть тотъ, въ коемъ единое лице правительствуетъ. Кому жъ мнѣ посвятить сію книгу?—Благодѣтельствуя человѣческому роду и частно гражданамъ, во храмѣ трудолюбивыхъ Музъ воспитаннымъ, сооружаете вы въ сердцахъ своихъ сограждан тысячи олтарей своему имени, пріемля самаго наипослѣднѣйшаго общества члена милосердно, и снисходительно его слушая, не устрашаете, но плѣняете его своею великостію. Ободренный сими столь прехвальными вашего Сіятельства дѣлами, осмѣливаюсь и я первый плодъ трудовъ моихъ посвятить имени вашего Высокографскаго Сіятельства. Сіятельнѣйшій Графъ! Есть минуты, кои пекущіеся о общественномъ благосостояніи именитые люди собственно для себя посвящаютъ, упражняясь питающимъ человѣческую душу любомудріемъ. И такъ, ежели обремененный общественными дѣлами вашего Сіятельства духъ помыслитъ нѣкогда отъ трудовъ своихъ успокоиться: то удостойте тогда всенижайшее мое приношеніе великодушнаго вниманія. Симъ единымъ стократъ награжденъ будетъ Сіятельнѣйшій Графъ! Милостивый Государь! вашего Сіятельства преданнѣйшій слуга Семенъ Веницѣевъ".

Передъ нами лежитъ другая книга, новая—«Новыя таблицы для быстраго вычисленія размѣра процентовъ государственныхъ займовъ, оборотовъ разныхъ кредитныхъ, акціонерныхъ и страховыхъ обществъ, и частныхъ оборотовъ, извѣстныхъ подъ названіемъ срочныхъ уплатъ. Составилъ З. Пинето. *Изданіе автора*. Спб. 1871». Книга тоже снабжена посвященіемъ:

„Самуилу Соломоновичу Полякову, въ знакъ высокаго уваженія и искренней благодарности, отъ автора.

„Милостивый Государь, Самуилъ Соломоновичъ! Дѣятельность ваша успѣла уже доказать, что стремленія Ваши направлены къ общественной пользѣ. Вы въ теченіе короткаго времени, строили до двухъ тысячъ желѣзныхъ дорогъ. Приложеніемъ Вашихъ способностей къ желѣзнодорожному дѣлу Вы уже обратили на себя вниманіе не только русскаго правительства и русской публики, но и заграничныхъ промышленныхъ обществъ. Руководствуясь тою же мыслію объ общественной пользѣ, Вы устремили Ваши заботы на распространеніе въ Россіи техническихъ знаній, необходимыхъ для упроченія въ ней желѣзнодорожнаго дѣла. Въ подобныхъ же видахъ вы приняли на себя расходы по изданію настоящаго сочиненія, которое, независимо отъ своего научнаго интереса, должно приносить пользу финансовому міру. Въ знакъ уваженія къ Вашимъ достоинствамъ и съ признательностью за благотворное участіе въ трудѣ моемъ, считаю долгомъ посвятить мою книгу Вашему имени. Я питаю увѣренность, что наградою Вашею за доброе дѣло будетъ также и благодарность тѣхъ, которые, пользуясь моимъ сочиненіемъ, найдутъ въ немъ пособіе въ своихъ финансовыхъ занятіяхъ. Примите, милостивый государь, выраженіе моего глубокаго уваженія и искренней преданности, съ коими имѣю честь быть Вашимъ покорнѣйшимъ слугою З. Пинето".

Читатель, эти два посвященія, поставленныя рядомъ, представляютъ, такъ сказать, кристализованную философію новой русской исторіи.

Если авторы посвящаютъ свои произведенія не роднымъ своимъ или личнымъ знакомымъ, не пользующимся общественною извѣстностью, а людямъ публичнымъ, то посвященія имѣютъ важное философско-историческое значеніе. Статистика посвященій могла бы представить самый серьезный и громадный интересъ. Она могла бы представить безцѣнный матеріалъ для характеристики направленій и напряженности общественнаго движенія. Всякій читатель, безъ сомнѣнія, убѣдится въ этомъ послѣ минутнаго размышленія надъ двумя вышеприведенными посвященіями. Сравните только образы двухъ фигурирующихъ въ нихъ меценатовъ, и вы увидите, какъ далеко и въ какую сторону шагнули мы въ теченіе столѣтія; «великолѣпный князь Тавриды» и Самуилъ Соломоновичъ Поляковъ! Цѣлая бездна лежитъ между этими двумя именами. Безчисленные титулы мецената прошлаго столѣтія исчезли, и современный меценатъ имѣетъ только имя, отчество и фамилію. Г. Поляковъ не кавалергардскаго корпуса поручикъ, не его высокографское сіятельство, не командующій всѣми иррегулярными войсками. Онъ просто Самуилъ Соломоновичъ Поляковъ. Писатель

прошлаго столѣтія посвящаетъ свою книгу «вашему (*в* строчное) Высокографскому Сіятельству»; писатель современный посвящаетъ свой трудъ просто «Вамъ». Сравните, далѣе, предметы обѣихъ книгъ. Писатель прошлаго столѣтія переводитъ книгу «благоурожденнаго англичанина Ѳомы Гоббезія», теоретика войны и абсолютизма. Въ посвященіи своемъ Веницѣевъ говоритъ, между прочимъ, что въ извѣстныхъ обстоятельствахъ «человѣкъ не внемлетъ уже гласу истины; но на подобіе возметаемаго вѣтромъ праха несется туда, куда влечетъ его погибельная необузданность. Онъ предпочитаетъ мечтательное благо истинному, онъ поставляетъ блаженство свое въ неограниченности». Современный писатель направляетъ полетъ своей мысли въ совершенно иныя сферы. Онъ занятъ наукою и финансами. Къ книгѣ г. Пинето приложены отзывы компетентныхъ людей, — академика Сомова и управляющаго государственнымъ банкомъ г. Ламанскаго, — изъ которыхъ видно, что г. Пинето сдѣлалъ нѣчто и для науки, и для финансовой практики. Наконецъ, еще одно различіе. Изъ посвященія великолѣпному князю Тавриды не видно, чтобы меценатъ какимъ-нибудь образомъ отблагодарилъ Веницѣева за посвященіе: можетъ быть соболью шубу съ плечъ для него спустилъ, а можетъ быть и пакость ему какую-нибудь сдѣлалъ. Не то въ наше время. На оберткѣ «Новыхъ таблицъ» значится, что это изданіе автора, а въ посвященіи говорится, что Самуилъ Соломоновичъ принялъ на себя издержки изданія. Слѣдовательно, дѣло чистое: Самуилъ Соломоновичъ поблагодарилъ за посвященіе впередъ и чистыми деньгами. Это, впрочемъ, различіе не важное и показываетъ только, что г. Пинето имѣетъ гораздо больше фактическихъ основаній публично разсыпаться въ похвалахъ передъ г. Поляковымъ, чѣмъ Веницѣевъ передъ Потемкинымъ.

Итакъ, сильные міра сего въ наше время не тѣ, что въ прошломъ столѣтіи. Сравнивая фигуру великолѣпнаго князя Тавриды и Самуила Соломоновича Полякова, можно жалѣть, что ceci a tué cela; можно радоваться этому; можно, наконецъ, желать чтобы фигура Самуила Соломоновича уступила свое мѣсто инымъ образомъ, но нельзя отрицать факта: ceci a tué cela. Кого знаетъ вся Россія? Не полководцевъ, не князей, а Самуиловъ Соломонычей и Петровъ Іонычей. Нельзя отрицать осуществленіе идеи равенства въ исчезновеніи титуловъ сильныхъ міра сего и въ замѣнѣ ихъ скромнымъ именемъ, отчествомъ и фамиліей. Нельзя отрицать торжество мирныхъ началъ науки, финансовыхъ оборотовъ и путей сообщенія, кристаллизующихся въ образѣ Самуила Соломоновича Полякова, надъ военными задачами, представляемыми памятью князя Таврическаго. Если г. Пинето и не говоритъ о свободѣ, то по соображенію другихъ условій можно утвердительно сказать, что онъ не посвятилъ бы Самуилу Соломоновичу трактата о «погибельной необузданности». Значитъ, торжествуетъ и свобода.

Желательно было бы знать, какое мѣсто отведетъ г. Страховъ Самуилу Соломоновичу въ своемъ веселенькомъ пейзажикѣ. Можетъ быть г. Страховъ затруднится еврейскимъ происхожденіемъ мецената. Но мы охотно замѣнимъ г. Полякова г. Губонинымъ, который есть «нашъ братъ русакъ», который еще недавно былъ «русскимъ мужичкомъ». Но веселенькій пейзажикъ г. Страхова такъ любопытенъ, а намъ остается такъ мало мѣста, что мы должны отложить свое намѣреніе поговорить о немъ въ этотъ разъ. Мы жалѣемъ объ этомъ, равно какъ и о томъ, что намъ не удалось сегодня же дорисовать портретъ г. Страхова и показать, что онъ есть русскій Ренанъ, что мѣткая характеристика Ренана, сдѣланная г. Страховымъ, вполнѣ приложима и къ нему, г. Страхову.

Что же касается до Самуила Соломоновича Полякова, то онъ есть сама революція. Мы говоримъ совершенно серьезно. Нужды нѣтъ, что Самуилъ Соломоновичъ не строитъ баррикадъ, не поднимаетъ ни трехцвѣтнаго, ни краснаго знамени, не поетъ марсельезы, не кричитъ о равенствѣ, о свободѣ и о братствѣ. Если читатель отрѣшится отъ этого традиціоннаго революціоннаго декорума, то онъ убѣдится, что мы правы. Что такое революція, въ научномъ смыслѣ слова? Это измѣненіе коренныхъ началъ жизни даннаго общества, не обмелѣніе или половодье, не приливъ или отливъ, а измѣненіе направленія русла жизни. Въ какую сторону произойдетъ измѣненіе, при какой обстановкѣ, — это безразлично. Мы видѣли въ прошлый разъ, что рабочій вопросъ, будучи вопросомъ революціоннымъ въ Европѣ, составляетъ одинъ изъ консервативнѣйшихъ вопросовъ русской жизни. Это значитъ, что коренныя начала русской экономической жизни не требуютъ революціи, измѣненія направленія своего теченія. Требуется только развитіе этихъ началъ. Будутъ ли при этомъ баррикады, или нѣтъ, это все равно, т. е. въ томъ смыслѣ все равно, что не измѣняетъ консервативнаго характера русскаго рабочаго вопроса. Съ другой стороны, революція можетъ совершиться и подъ звуки марсельезы, и подъ звуки всякой другой пѣсни. Но много такъ называемыхъ революцій, которыя не имѣютъ никакого рево-

люціоннаго значенія. Есть, наоборотъ, много явленій вполнѣ революціоннаго свойства, но вовсе не имѣющихъ традиціоннаго революціоннаго облика. Къ числу такихъ явленій принадлежатъ и Самуилъ Соломоновичъ Поляковъ и Петръ Іоновичъ Губонинъ. Не въ томъ дѣло, что г. Губонинъ изъ мужичка сталъ тузомъ. Это, такъ сказать, только его личная революція, и сдѣлайся онъ хоть новымъ Потемкинымъ, онъ тѣмъ самымъ не несетъ еще съ собой новаго принципа, а только счастливо добивается извѣстнаго положенія, давнымъ давно существовавшаго. Но гг. Поляковы, Губонины и Варшавскіе не Потемкины, не кавалергардскаго корпуса поручики и войскъ «тамо поселенныхъ» начальники. Нѣтъ, они носители новаго принципа, тузы новаго чекана. И вотъ почему они суть революція. Если бы этотъ пунктъ былъ вполнѣ ясенъ для русскаго общества и русской печати, то имъ оставалось бы одно изъ трехъ: либо 1) скорбѣть о распаденіи старыхъ идеальныхъ единицъ, о разрывѣ сѣти національныхъ предразсудковъ и установившихся идей, о паденіи воинственнаго духа, связанномъ съ утратою извѣстныхъ доблестей; либо 2) радоваться торжеству мирныхъ началъ науки и промышленности и идей свободы и равенства, бросаясь вмѣстѣ съ тѣмъ въ омутъ политическаго матеріализма; либо 3) не скорбя объ упадкѣ военнаго духа и разрывѣ сѣти національныхъ предразсудковъ, избѣгать тѣхъ формъ экономическаго, политическаго и умственнаго развитія, которыя влекутъ за собой распущенность и эгоизмъ. Каждый можетъ выбирать по своему вкусу. Но слѣдуетъ помнить, что выборъ этотъ можетъ совершиться свободно и разумно только въ томъ случаѣ, если мы будемъ тщательно анализировать ходячія монеты политическихъ словопреній, каковы: либерализмъ, равенство, свобода, революція, консерватизмъ.

IV *).

Слова — Императоръ Сигизмундъ.—Императоръ Павелъ. — Статья г. Костомарова о великорусской пѣснѣ.—Отечество.—Патріоты и казнокрады. — Одинъ изъ проектовъ освобожденія крестьянъ. —Старый и новый патріотизмъ. — Опять г. Скальковскій.—Либеральная литература.

Слово есть божественный даръ, данный человѣку для выраженія его мыслей. Это всѣ говорятъ. — Есть, однако, и исключенія. — Слова суть средства для прикрытія мыслей, говорилъ Талейранъ. — Когда не хватаетъ мысли, поучалъ Мефистофель школьника, слово съ успѣхомъ занимаетъ его мѣсто. — Одинъ мрачный испанскій юмористъ доказывалъ, что нѣтъ ничего легче, какъ управлять человѣкомъ при помощи словъ. Если вы хотите вести человѣка на смерть, говорилъ онъ, скажите ему, что вы его ведете къ славѣ, и онъ пойдетъ за вами.—Надо признаться, что во всѣхъ этихъ болѣе или менѣе ехидныхъ отступленіяхъ отъ ходячаго мнѣнія есть извѣстная доля правды. Но всѣ они слишкомъ бьютъ на демонизмъ, а авторы ихъ навѣрное не вѣрили самимъ себѣ, когда произносили хулу на слово. Да оно такъ и должно быть на основаніи самыхъ этихъ афоризмовъ. Мнѣ больше нравится русская пословица, если не выражающая, то могущая выразить ту же самую мысль: языкъ мой — врагъ мой. Да, человѣкъ и языкъ его, его слово—исконные враги. Овладѣть словомъ, подчинить его себѣ, сдѣлать изъ него вѣрнѣйшаго раба своего, — вотъ одна изъ задачъ человѣчества. Задача въ высшей степени важная, трудная, лежащая въ основаніи множества задачъ соціальной жизни. Слово— это такая же стихійная сила, какъ и всѣ силы природы. Въ открытой, прямой борьбѣ съ ней человѣкъ почти всегда безсиленъ. Разсказываютъ, что на Констанцскомъ соборѣ императоръ Сигизмундъ въ латинской рѣчи сказалъ, между прочимъ: «Videte, patres, ut eradicetis schismam Hussitarum. Одинъ монахъ-латинистъ перебилъ императора словами: Serenissime rex, schismae est generis neutri.—Почемъ ты знаешь? — Александръ Галлъ говоритъ.—Это кто?—Монахъ.—Ну, а я императоръ римскій, и мое слово, надѣюсь, не хуже слова монаха. — Въ этомъ спорѣ правъ былъ, съ одной стороны, монахъ, а съ другой,—пожалуй, и императоръ, въ томъ смыслѣ, что слово императора дѣйствительно ничѣмъ не хуже слова монаха, или, вѣрнѣе, и монахъ, и императоръ тутъ одинаково безсильны. Въ іюльской книжкѣ «Русской Старины» приведено интересное распоряженіе императора Павла объ изъятіи изъ употребленія нѣкоторыхъ словъ и замѣнѣ ихъ другими. Вотъ любопытный списокъ этихъ словъ:

Не употреблять:

Обозрѣть.
Выполнить.
Степень.
Пособіе.
Стража.
Отрядъ.
Общество.
Гражданинъ.
Именитый гражданинъ.

*) 1872 г., октябрь.

Писать:
Осмотрѣть.
Исполнить.
Классъ.
Вспоможеніе.
Караулъ.
Деташементъ, команда.
Собраніе.
Купецъ, мѣщанинъ.
Именитый купецъ, мѣщанинъ.

Императоръ Павелъ преслѣдовалъ опальныя слова не только указами. Такъ однажды онъ выгналъ изъ кареты Нелединскаго-Мелецкаго за то, что тотъ употребилъ опальное слово «представители», говоря о какихъ-то, впрочемъ, неодушевленныхъ предметахъ («Девятнадцатый вѣкъ», II, 372). Однако, усилія императора Павла изгнать изъ употребленія извѣстныя слова оказались такъ же безплодными, какъ и надежда императора Сигизмунда передѣлать родъ слова schisma.

Такъ-то трудно бороться со словами прямо, открыто. Можно навѣрное сказать, что всякій, предпринимающій такую борьбу, потерпитъ фіаско. То или другое слово можетъ вамъ казаться неправильнымъ, неудачнымъ, невѣрнымъ названіемъ извѣстнаго предмета или выраженіемъ извѣстнаго понятія, но никакимъ вашимъ усиліямъ оно не поддается и будетъ существовать. Если оно и исчезнетъ, такъ такимъ же долгимъ и извилистымъ путемъ, какимъ вошло въ употребленіе. Тутъ, собственно говоря, и хлопотать не о чемъ. Слово существуетъ, и пускай себѣ существуетъ. Но важно, чтобы оно насъ не обманывало, чтобы состояніе нашего сознанія было по возможности независимо отъ привычнаго сочетанія звуковъ. Въ этомъ-то и состоитъ трудность. Отдѣльныя личности часто одолѣваютъ ее въ томъ или другомъ частномъ случаѣ. И тогда для нихъ является возможность, по талейрановски, не только выражать свои мысли словами, но и скрывать мысли при помощи словъ. Они овладѣли словами. Языкъ ихъ пересталъ быть врагомъ ихъ. А господинъ извѣстнаго круга словъ есть господинъ извѣстнаго круга людей. Онъ владѣетъ ключомъ къ ихъ сердцамъ и головамъ. Есть слова, имѣющія дѣйствительно какое-то магическое вліяніе, способныя увлекать и отдѣльныхъ людей, и массы, вести ихъ въ огонь и воду, на смерть и убійство. А между тѣмъ многія изъ нихъ суть *только* слова, т. е. названія и выраженія, либо называющія и выражающія совсѣмъ не то, что обыкновенно съ ними связывается, либо ничего не выражающія и не называющія. Habent sua fata не только книжки, а и слова. И судьба словъ бываетъ часто гораздо удивительнѣе судьбы книгъ. Обыкновеннѣйшая изъ этихъ удивительныхъ судебъ такова. Къ извѣстному понятію приросло извѣстное слово. Понятіе расширяется, расплывается, сдвигается сообразно историческому ходу отношеній человѣка къ соотвѣтствующему ряду фактовъ, а слово стоитъ себѣ, какъ скала незыблемая. Такимъ путемъ слово весьма часто не только утрачиваетъ первоначальное значеніе, но получаетъ два или нѣсколько различныхъ значеній или даже лишается всякаго значенія. Языкъ человѣка поневолѣ становится врагомъ его, обманывая его на каждомъ шагу, не поддаваясь его усиліямъ возстановить равновѣсіе между состояніемъ его сознанія и извѣстнымъ сочетаніемъ звуковъ. Чаще всего такихъ усилій и не бываетъ, и люди умираютъ и убиваютъ, радуются и плачутъ, не задавая себѣ вопросовъ: за что? чему? А люди, которымъ удалось оріентироваться въ этомъ лабиринтѣ, большею частью держатъ свой секретъ про себя и играютъ словами, какъ мячикомъ. Можно, конечно, не обинуясь назвать такихъ людей негодяями. И если бы дѣло было только въ нихъ, такъ самое ихъ негодяйство представляло бы извѣстную гарантію для общества. Но не говоря уже о непосредственныхъ жертвахъ игры въ мячикъ, которыя принадлежатъ, главнымъ образомъ, къ рядамъ темной массы, есть люди, принимающіе участіе въ игрѣ, ничѣмъ въ ней собственно не рискуя, но и не съ злостными цѣлями, а просто по глупости и пустотѣ. Мало того, въ игрѣ сплошь и рядомъ фигурируютъ благороднѣйшіе и весьма умные люди, но которымъ не удалось по разнымъ причинамъ стать господами своихъ словъ, которые, напротивъ находятся цѣликомъ въ ихъ власти. Невольная симпатія къ этимъ людямъ, часто жизнью, полною лишеній и страданій, и даже кровью своею свидѣтельствующимъ о чистотѣ своихъ намѣреній,—отражается и на погубившихъ ихъ словахъ. Эти слова обдаются этимъ отраженнымъ свѣтомъ, и путаница усиливается. Чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ. Попытайтесь наложить ножъ анализа на какое бы то ни было изъ волнующихъ людей словъ, и на васъ со всѣхъ сторонъ поднимется лай. Всѣ приладились уже къ этимъ словамъ. И либералы, и консерваторы, и ретрограды, и радикалы сами стали нѣкоторымъ образомъ словами и вы своимъ анализомъ посягаете на ихъ душевное спокойствіе. Культъ словъ есть культъ легкій и удобный. Онъ даетъ возможность безъ дальнѣйшихъ усилій мысли трактовать о матеріяхъ важныхъ и быть при этомъ увѣреннымъ, что ты дѣлаешь дѣло, надувать не только другихъ, а и самого себя. И все это дѣлаютъ слова, слова, слова. Много есть та-

кихъ словъ, ненавистныхъ однимъ, священныхъ для другихъ, но, главное, словъ предательскихъ, не легко поддающихся власти человѣка: цивилизація, революція, народность, конституція, отечество, слава, свобода, патріотизмъ... Надо еще замѣтить, что слова эти, имѣя міровое значеніе, тѣмъ не менѣе для каждаго народа своеобразно спеціализируются. У насъ, напримѣръ, есть свое слово «переворотъ», но мы взяли и «революцію», какъ слово, выражающее извѣстный оттѣнокъ того же понятія, но не нами выработанный. Слово это мы получили съ извѣстной готовой репутаціей, провѣрять которую, однако, благодаря игрѣ въ мячикъ, и не пытались. Мы только осложнили ее своими родными элементами. Все это, разумѣется, не можетъ способствовать ясности идей и независимости сознанія отъ словъ. Оттого-то въ жизни такъ часто повторяется одна хорошенькая сказка мудраго Кузьмы Пруткова. Баринъ, уѣзжая, поручаетъ одно растеніе особенному вниманію садовника: «Блюди особенно ты за растеньемъ симъ»—говоритъ баринъ—пусть оно хорошенько «прозябаетъ». Баринъ черезъ нѣкоторое время возвращается и освѣдомляется, хорошо ли прозябаетъ растеніе. Садовникъ: «Изрядно, говоритъ, прозябло ужъ совсѣмъ». Такія qui pro quo исторія устраиваетъ очень часто. Они могли бы подать поводъ къ сочиненію очень веселой книжки, если бы изъ-за нихъ не «прозябали» растенія. Это послѣднее обстоятельство, являясь неожиданнымъ финаломъ маскарадной интриги, нѣсколько парализуетъ ея веселый характеръ.

Надо перестать мыслить словами—вотъ задача, въ полномъ объемѣ, можно сказать, не разрѣшимая, потому что понятія слишкомъ крѣпко срастаются со словами, но до извѣстной степени возможная и обязательная. Для этого требуется время отъ времени ликвидировать ходячій политическій жаргонъ, сводить итоги наслоеніямъ понятій, образующимся съ ходомъ исторіи въ неподвижной формѣ слова. Мы хотимъ представить нѣкоторые матеріалы для такой ликвидаціи.

Что такое отечество? Это не просто извѣстная страна. Это сумма географическихъ, экономическихъ, юридическихъ, политическихъ и т. д. фактовъ и идей, завѣщанныхъ намъ отцами. Ренанъ, а за нимъ и г. Страховъ, опредѣляютъ, какъ мы видѣли, отечество «совокупностью предразсудковъ и установившихся идей, которыхъ не можетъ принять все человѣчество». Это то же самое. Слѣдовательно, любовь къ отечеству есть уваженіе къ совокупности фактовъ и идей, полученныхъ нами по наслѣдству и всему человѣчеству недоступныхъ. Это опредѣленіе, съ извѣстной точки зрѣнія, совершенно вѣрное, слишкомъ хорошо говоритъ само за себя, чтобы надъ нимъ стоило долго останавливаться. Пойдемъ дальше.

Недавно вышли «Русскія народныя пѣсни, собранныя В. Шейномъ», съ которыми мы знакомы только по статьѣ г. Костомарова «Великорусская народная пѣсенная поэзія» въ «Вѣстникѣ Европы». Нѣкоторые изъ приводимыхъ г. Костомаровымъ пѣсенъ поразительны по своему безобразно-звѣрскому содержанію. Такъ, въ одной жена, повѣсивъ мужа на деревѣ, надругается надъ трупомъ и спрашиваетъ:

Али ты сладкихъ яблокъ накушался,
Соловьиныхъ пѣсенъ наслушался?

Въ другой жена давитъ мужа при содѣйствіи своего любовника: жена стала

Петлюшку на шеюшку
Накидывати;
Своему милому конецъ подала:
Ты тяни, тяни, милой,
Натягивай, небось!
Новые гужи не сорвутся,
У стараго шея не оторвется.
Старый захрипѣлъ,
Будто спать захотѣлъ,
Вычалилъ глаза,
Будто сердится,
Высунулъ языкъ,
Будто Вася бузыкъ (пьяница).

Есть варіантъ этой пѣсни:

Ногами забилъ,
Будто шутъ задавилъ,
Руки растопырилъ—
Плясать пошелъ,
Зубы оскалилъ—
Смѣяться сталъ!

Г. Костомаровъ приводитъ много пѣсенъ, если не столь ярко-безобразныхъ, то, во всякомъ случаѣ, способныхъ навести на самыя печальныя размышленія о семейномъ бытѣ нашего народа. Пѣсенъ противоположнаго свойства, которыя могли бы быть нѣкоторымъ противовѣсомъ вышеприведеннымъ, у г. Костомарова, напротивъ, очень мало. Это не значитъ, разумѣется, чтобы ихъ было мало въ дѣйствительности или даже въ сборникѣ г. Шейна. Статья г. Костомарова имѣетъ цѣлью только обратить вниманіе общества на новыя изысканія въ области великорусскаго народнаго пѣсеннаго творчества и сдѣлать нѣсколько замѣчаній относительно собиранія образцовъ его. Это не самостоятельное изслѣдованіе, какимъ является печатающаяся въ «Бесѣдѣ» обширная статья того же г. Костомарова о малороссійской пѣснѣ. Поэтому въ статьѣ г. Костомарова о великорусской пѣснѣ могутъ естественно встрѣчаться всякіе продукты случайности, въ томъ числѣ и нѣкоторая односторонность. Но здѣсь это для насъ безраз

что приведенныя пѣсни существуютъ. Г. Костомаровъ замѣчаетъ, что это пѣсни не шуточныя, въ которыхъ народъ позволяетъ себѣ иногда грязно и грубо, но, во всякомъ случаѣ, только въ шутку, воспѣвать какое-нибудь безобразіе, и не былевыя, въ которыхъ описываются единичные случаи. Нѣтъ, это пѣсни, свидѣтельствующія о болѣе или менѣе распространенномъ фактѣ и болѣе или менѣе распространенномъ отношеніи къ нему. Г. Костомаровъ считаетъ нужнымъ прибавить, что обстоятельство это не даетъ еще права произносить карающій приговоръ надъ безнравственностью русскаго народа, ибо теперешніе неудовлетворительные способы собиранія и обнародованія пѣсенъ не даютъ возможности судить о предѣлахъ ихъ распространенія, о времени и условіяхъ ихъ возникновенія, о варіантахъ и т. д. При томъ же, заключаетъ г. Костомаровъ, пѣсни эти во всякомъ случаѣ свидѣтельствуютъ и о хорошихъ сторонахъ русскаго народа, с «бодрости его духа», его выносливости и т. п. Все это можетъ быть и вѣрно. Но мы недоумѣваемъ, зачѣмъ все это понадобилось г. Костомарову. Кто же посмѣетъ произнести по поводу нѣсколькихъ пѣсенъ карающій приговоръ народу? Мы твердо увѣрены, что факты и отношенія къ нимъ, выражающіеся въ приводимыхъ г. Костомаровымъ пѣсняхъ, найдутся почти у каждаго народа въ извѣстный періодъ его развитія. Можно рѣшительно сказать, что, съ точки зрѣнія современнаго, образованнаго человѣка каждый народъ можетъ оказаться безнравственнымъ, но изъ этого-то и слѣдуетъ, что карающіе приговоры въ этомъ случаѣ совершенно нелѣпы. Они столь же нелѣпы, какъ противоположная крайность, — засахариваніе каждой черты народнаго быта. Важенъ прежде всего фактъ,—онъ на лицо. Затѣмъ идетъ объясненіе его, которое не должно быть ни карающимъ приговоромъ, ни идеализаціей.

Итакъ, фактъ налицо. Приведенныя пѣсни поются русскимъ народомъ, онѣ входятъ въ составъ «совокупности предразсудковъ и установившихся идей, которыхъ не можетъ принять все человѣчество». Онѣ — часть нашего отечества. Скажутъ, что пѣсни эти во всякомъ случаѣ рѣдки, ихъ рѣдко кому удавалось слышать. Пусть такъ. Но навѣрное каждому удавалось слышать пѣсни въ родѣ слѣдующей, также приводимой г. Костомаровымъ:

Какъ не люты ли собаки заревѣли,
Какъ не борзыя ли собаки завизжали.
Заревѣлъ-то мой старый старчище,
Слѣзаетъ старчище со печища,
Онъ снимаетъ съ черна крюка плетище,
Онъ бьетъ ли, не бьетъ полегоньку,
Что на каждое мѣсто по десятку.

Это мотивъ, достаточно всѣмъ знакомый и въ пѣснѣ, и въ дѣйствительной жизни. Это уже несомнѣнно наше отечество. И любить отечество значитъ любить эти мотивы. Но, конечно, съ этимъ не согласится ни одинъ «патріотъ». Впрочемъ, можетъ быть и согласится. Намъ вспоминается одинъ эпизодъ изъ жизни г. Кельсіева, разсказанный имъ въ книгѣ «Галичина и Молдавія». Г. Кельсіевъ увидѣлъ гдѣ-то гуцульскіе топоры, которыми гуцулы (маленькое русинское племя въ Галиціи, близкое къ малорусскому), между прочимъ, отсѣкаютъ косы дѣвицамъ, лишившимся невинности. Дѣлается это такъ: дѣвицу привязываютъ за косу къ столбу, а пьяные молодцы-гуцулы швыряютъ въ нее топорами и ловко попадаютъ въ косу. Топоры эти показались г. Кельсіеву похожими на топоры такъ называемаго бронзоваго періода цивилизаціи, и г. Кельсіевъ отправился ихъ посмотрѣть. «Отыскать слѣды бронзоваго періода въ XIX вѣкѣ было лестно,—разсказываетъ г. Кельсіевъ,—но еще лестнѣе было отыскать ихъ у русскихъ». Ему лестно было знать и доказать, что есть русскіе, которые въ XIX вѣкѣ остались такими же варварами, чуть не четвероногими звѣрями, какими *всѣ* люди были много и много десятковъ вѣковъ тому назадъ! Это исповѣдуется не врагъ русскихъ, а, напротивъ, патріотъ и, при томъ, въ минуту самой жаркой любви къ отечеству: крайности сходятся. Конечно, только очень пылкіе патріоты такъ предательски проговариваются. Остальные предпочитаютъ умалчивать о некрасивыхъ фактахъ или засахаривать ихъ. Но будь они смѣлѣе и послѣдовательнѣе, они должны бы были, если не радоваться находкамъ въ родѣ находки г. Кельсіева, то, по крайней мѣрѣ, любить и уважать найденное. Какъ бы то ни было, но патріоты не послѣдовательны. Отечество есть совокупность предразсудковъ и установившихся идей, которыхъ не можетъ принять все человѣчество. Патріоты объявляютъ, что должно любить это наслѣдіе отцовъ и жертвовать для него всѣмъ. Тѣмъ не менѣе, встрѣчаясь съ тѣмъ или другимъ явленіемъ, составляющимъ ингредіентъ отечества, они находятъ возможнымъ отвернуться отъ него. На чемъ основана эта браковка ингредіентовъ отечества? Конечно, на чемъ - нибудь, лежащемъ внѣ отечества, внѣ совокупности предразсудковъ и установившихся идей, которыхъ не можетъ принять человѣчество. Отмѣтивъ эту непослѣдовательность патріотизма, отмѣтимъ еще слѣдующую черту его. Гуцульскіе топоры и гуцульскіе нравы нѣкогда принадлежали цѣлой, широко распространенной цивилизаціи. У другихъ народовъ они вымерли, замѣнились иными элементами, у гуцуловъ остались. Это памят-

никъ тѣхъ временъ, когда народности еще не успѣли достаточно обособиться подъ вліяніемъ мѣстныхъ условій и различія историческихъ судебъ. То же самое можно сказать о большинствѣ такъ называемыхъ національныхъ особенностей, ибо наука свидѣтельствуетъ о почти тождественности первыхъ формъ цивилизаціи у большинства народовъ. Слѣдовательно, съ извѣстной точки зрѣнія, патріотизмъ оказывается самымъ крайнимъ космополитизмомъ, только, такъ сказать, заднимъ числомъ: онъ хватается за тѣ именно явленія народной жизни, которыя нѣкогда были свойственны всѣмъ народамъ.

Эти внутреннія противорѣчія идеи патріотизма показываютъ, что слова «отечество», «любовь къ отечеству», выражавшія въ свое время дѣйствительное отношеніе людей къ извѣстнымъ фактамъ, утратили уже это значеніе. Они отлично выражали состояніе сознанія нашихъ предковъ и потому вошли во всеобщее употребленіе. Они существуютъ и до сихъ поръ, но связанныя съ ними понятія уже не таковы: языкъ нашъ сталъ врагомъ нашимъ. Когда предки наши говорили: я люблю свое отечество,—они отлично понимали, что̀ значатъ эти слова. Но когда эти слова говорятся нами, мы не связываемъ уже съ ними такихъ отчетливыхъ представленій. Это сдѣлала исторія, измѣнившая и отечество, и понятіе о немъ, но не коснувшаяся слова «отечество».

Одинъ старый историкъ сдѣлалъ слѣдующее остроумное и глубокомысленное замѣчаніе. Въ отдаленной древности только главы семействъ, отцы, patres были дѣйствительными членами общества, гражданами. Когда ихъ единичные интересы, въ которыхъ кульминировались интересы ихъ чадъ и домочадцевъ, слились въ нѣкоторомъ общемъ интересѣ, то этотъ послѣдній былъ названъ patria (подразумѣвается res), т. е. дѣло, интересъ отцовъ, или отечество. Дѣйствительные члены первыхъ «отечествъ», «патрій» назывались поэтому патриціями. Слѣдовательно, когда крестьяне наши не только твердили помѣщикамъ: вы наши отцы, мы ваши дѣти,—но дѣйствительно видѣли свою славу и гордость въ величіи помѣщика (такіе типы всѣмъ знакомы), они были настоящими патріотами въ древнемъ и истинномъ значеніи слова. Такимъ образомъ, отечество есть не просто совокупность предразсудковъ и установившихся идей, которыхъ не можетъ принять все человѣчество. Въ этой совокупности звенитъ нѣкоторая особенная струна, задающая тонъ всему остальному. Дѣло здѣсь вовсе не въ одной этимологіи, какъ читатель сейчасъ убѣдится.

Какъ-то нѣсколько лѣтъ тому назадъ намъ, къ слову, пришлось провести маленькую параллель между казнокрадствомъ и извѣстнаго сорта патріотизмомъ. Мы разовьемъ эту тему. Что патріотизмъ и казнокрадство могутъ уживаться рядомъ, на это есть фактическія доказательства. Можно бы было привести длинный рядъ славныхъ именъ, обладатели которыхъ жили славою своего отечества, украсили его исторію своими подвигами, далеко раздвинули его предѣлы и въ то же самое время были казнокрадами въ самомъ прямомъ смыслѣ слова. Мы, однако, не потревожимъ этихъ именъ, потому что они собою доказательства не представляютъ. Мы ставимъ вопросъ въ общей формѣ: не имѣютъ ли патріотизмъ и казнокрадство какого-нибудь общаго корня? и отвѣчаемъ: имѣютъ. Чтобы читателя не шокировало это сопоставленіе, мы считаемъ нужнымъ замѣтить, что здѣсь разумѣется только особый видъ патріотизма. Мы, лично, не исповѣдуемъ, конечно, іезуитской теоріи ubi bene, ibi patria, которая составляетъ отрицаніе всякаго патріотизма, но мы и не выворачиваемъ этого девиза на изнанку, не говоримъ ubi patria, ibi bene. Считаемъ пока достаточною эту оговорку.

Названіе «страны казнокрадства», которымъ кто-то окрестилъ Россію, до извѣстной степени заслужено нами. Не потому, конечно, чтобы случаи казнокрадства составляли исключительно русское явленіе, но потому, что мы относимся къ нимъ крайне благодушно. Растратитъ «излюбленный» человѣкъ казенныя или общественныя деньги, и общество выводитъ изъ этого только то заключеніе, что надо общими силами пополнить растраченное. А недавно былъ даже выработанъ и не безъ успѣха публично защищаемъ особый терминъ «позаимствованія»—слово очень красивое, все значеніе котораго можетъ быть оцѣнится только тогда, когда растеніе «прозябнетъ ужъ совсѣмъ». Между тѣмъ «позаимствованіе» у частнаго человѣка всякій, не обинуясь, назоветъ воровствомъ-кражей или воровствомъ-мошенничествомъ. Обстоятельство это вполнѣ объясняется русскими социальными отношеніями прошлаго времени, далеко не вполнѣ ослабѣвшими и понынѣ. Крѣпостное право и раздѣленіе общества на податныя и неподатныя сословія естественно должны были воспитать въ нашей интеллигенціи глубочайшее презрѣніе къ трудовому грошу податныхъ сословій. Когда какая-нибудь барыня отдавала нѣсколько сотенъ такихъ грошей за билетъ на спектакль съ благотворительной цѣлью, для нея было ясно только то, что она благотворитъ, соединяя пріятное съ полезнымъ. Тѣмъ труднѣе было интеллигенціи справиться съ понятіемъ о казнѣ, въ пополненіи которой она была совершенно невин-

на. Интеллигенція, не участвуя въ государственныхъ доходахъ, тѣмъ самымъ стояла внѣ государства и его дѣйствительныхъ, реальныхъ интересовъ, и въ то же время, живя на счетъ крѣпостного труда, развила въ себѣ такъ называемыя «высокія» стремленія и чувства. Отсюда идутъ два скользкихъ пути: къ казнокрадству и къ барабанному патріотизму. Скажутъ, что патріотическая интеллигенція и сама несла свою кровь и свое достояніе. Несомнѣнно. Здѣсь кстати будетъ, однако, привести разсказъ Растопчина о взрывѣ энтузіазма интеллигенціи въ 1812 году:

«Въ минуту, когда губернскій предводитель кончилъ свою рѣчь, нѣсколько голосовъ воскликнуло: «Нѣтъ! не по четыре со ста, а по сту съ тысячи, вооруженныхъ и съ продовольствіемъ на три мѣсяца». Большинство собранія съ громкими криками повторило эти слова. Государь благодарилъ въ самыхъ лестныхъ выраженіяхъ. Теперь надо изъяснить поводы этой необыкновенной щедрости. Предложеніе губернскаго предводителя было справедливо и благоразумно; но два голоса, первые захотѣвшіе дать больше, чѣмъ было предложено главою дворянства, принадлежали двумъ весьма различнымъ лицамъ. Одинъ былъ человѣкъ очень умный и предлагалъ мѣру, которая ему ничего не стоила: у него не было никакой собственности въ Московской губерніи. Другой, человѣкъ съ здоровыми легкими, былъ подлъ, глупъ и дурно принятъ при дворѣ. Онъ предлагалъ мнѣ свой голосъ за честь быть приглашену къ императорскому обѣду. И вотъ какъ можно увлечь собранія, и какъ часто они рѣшаютъ и дѣйствуютъ по одному увлеченію и безъ размышленія! Какъ часто человѣкъ превознесенъ до облаковъ газетами и біографами за дѣйствіе или слово, хотя быть можетъ онъ тотчасъ же раскаялся въ своемъ поступкѣ или въ словѣ, имъ произнесенномъ» («Девятнадцатый вѣкъ». II, 115).

Далѣе Растопчинъ разсказываетъ о томъ, уже совершенно неподдѣльномъ энтузіазмѣ, который выказало при этомъ случаѣ московское купечество. Мы привели слова Растопчина только какъ любопытное свидѣтельство одного изъ очевидцевъ и, конечно, не выведемъ изъ нихъ сомнѣній въ доблестяхъ русскаго дворянства. Въ 1812 году оно ни въ чемъ не уступало другимъ классамъ общества. Замѣтимъ, однако, что дворяне можетъ быть слишкомъ высоко цѣнили свои подвиги. Въ томъ же второмъ томѣ «Девятнадцатаго вѣка» помѣщена коллекція записокъ, предположеній и проектовъ по предмету освобожденія крестьянъ, относящихся къ 1802—1848 годамъ. Тутъ есть проекты Аракчеева, Мордвинова, Сперанскаго, Шипова и другихъ. Всѣ они болѣе или менѣе блѣдны, и характернѣе другихъ намъ показался проектъ неизвѣстнаго, безъ означенія года. Проектъ заключался въ слѣдующемъ: «Объявить сначала закономъ, что помѣщикъ есть собственникъ земли, а не крестьянинъ, на оной поселенныхъ, и при томъ постановить, что впредь населенныя имѣнія могутъ быть продаваемы только въ цѣломъ составѣ, безъ раздробленія какимъ бы то ни было способомъ. Затѣмъ издать манифестъ, въ коемъ объявить, что государь императоръ, *желая вознаградить патріотическія чувства, оказанныя дворянствомъ въ отечественную войну, установляетъ ленныя помѣстья*, присвояя владѣльцамъ оныхъ титулы бароновъ, графовъ и маркизовъ или маркграфовъ, смотря по получаемому ими съ имѣнія доходу. Именно: имѣнія, приносящія менѣе 4 т. руб. доходу составятъ обыкновенное дворянское помѣстье; дающія отъ 4 до 12 т. руб., будутъ названы баронствами; приносящія отъ 12 до 20 т. руб., возводятся въ графства, а отъ 20 до 35 т. руб.—въ маркизства или маркграфства. Помѣщики таковыхъ ленныхъ имѣній обязаны отдѣлить своимъ крестьянамъ часть земли, достаточную для ихъ продовольствія, за которую сіи послѣдніе обязываются равную часть обработывать въ пользу владѣльца, или платить денежный оброкъ по обоюдному согласію. Ленныя помѣстья не могутъ быть ни отчуждаемы, ни раздробляемы по наслѣдству, если они не состоятъ изъ нѣсколькихъ отдѣльныхъ ленныхъ владѣній, и поступаютъ къ старшему въ родѣ, который выплачиваетъ прочимъ сонаслѣдникамъ за слѣдующія имъ части деньгами. Для облегченія таковыхъ сдѣлокъ долженъ быть учрежденъ владѣльческій банкъ».

Этотъ оригинальный проектъ, принадлежащій вѣроятно перу какого-нибудь маркиза Собакевича или маркграфини Коробочки in potentia, очевидно преувеличиваетъ значеніе патріотическихъ чувствъ дворянства въ отечественную войну, требуя за нихъ особой награды, да еще такой, какъ феодальное право. Отечественная война была войной за существованіе государства, и въ интересахъ самихъ дворянъ было напрячь всѣ силы для борьбы съ Наполеономъ. Интеллигенція не представляла и не могла представлять собою въ этомъ случаѣ обособленной внутри общества группы интересовъ. Ея чувства были направлены въ ту же сторону, куда направлялись чувства каждаго мужика. Разумѣется, не этотъ патріотизмъ имѣемъ мы въ виду, когда проводимъ параллель между патріотизмомъ и казнокрадствомъ. Конечно, не всегда легко провести совершенно ясную границу между res patria и res publica. Но дѣло не въ этой границѣ, а въ *патріотическомъ*

направленіи мысли или, вѣрнѣе, въ увлеченіи патріотическими словами. И съ этой точки зрѣнія нѣтъ разницы между итальянскимъ патріотомъ, республиканцемъ Мадзини и прусскимъ патріотомъ, юнкеромъ Бисмаркомъ. Мадзини всю жизнь говорилъ, что онъ служитъ «Богу и народу», но онъ ошибался, онъ служилъ «отцамъ», какъ оказалось на дѣлѣ. Бисмаркъ, конечно, не ошибается. Онъ овладѣлъ своимъ языкомъ, онъ умѣетъ будить словами «отечество», «патріотизмъ» тѣ именно элементы «совокупности предразсудковъ и установившихся идей», которые ему нужны. И результаты получились блестящіе: Францію побѣдила Германія, Германію Пруссія, Пруссію «отцы»,— res patria побѣдила всю Европу.

Res patria не остается безъ измѣненій. Одни отцы уступаютъ мѣсто другимъ или сами преобразуются ходомъ исторіи, а съ тѣмъ вмѣстѣ измѣняются характеръ и направленіе патріотизма. Еще недавно русскій патріотизмъ былъ почти исключительно военнымъ; онъ слагался изъ славы русскаго оружія и завоевательно-политическихъ мечтаній. Крымская война и реформы нынѣшняго царствованія измѣнили характеръ и «отцовъ», и патріотизма. Даже франко-прусская война почти не разбудила стараго духа, и можетъ быть только гг. Данилевскій и Страховъ попрежнему горятъ желаніемъ прибить свои щиты къ вратамъ Цареграда. Рѣдко-рѣдко, когда проскользнетъ гдѣ-нибудь старо-патріотическая нота. Но изъ этого не слѣдуетъ еще, чтобы патріотизмъ исчезъ. Нѣтъ, онъ только преобразился и нынѣшнія газеты нисколько не уступаютъ въ этомъ отношеніи своимъ предшественницамъ. Патріотизмомъ полно и само общество. Чтобы судить о силѣ и направленіи новаго патріотизма, мы приведемъ рѣчь священника Воскресенскаго дѣвичьяго монастыря, П. С. Иларіонова, сказанную имъ по случаю освященія сажеприготовительнаго завода г. Беггрова:

«Боголюбезнѣйшій виновникъ настоящаго торжества! По вашему доброму приглашенію, по любви къ вамъ и сочувствію благому дѣлу, сегодня мы собрались подъ мирный покровъ вашъ для того, чтобъ вмѣстѣ съ вами раздѣлить вашу радость и признательность къ тому благословенію небесному, которое озарило ваши мысли и указало вамъ средства къ новой въ Россіи общеполезной дѣятельности на благое просвѣщеніе.

«Открытіемъ новаго завода на русской землѣ изъ такого матеріала, который издавна былъ знакомъ не только намъ, но и дальнимъ нашимъ предкамъ, спокойно жившимъ, въ ихъ патріархальной простотѣ, въ простыхъ избахъ съ черными трубами, вы, съ одной стороны, оправдываете на дѣлѣ извѣстную поговорку, что отечества и дымъ намъ сладокъ и пріятенъ», а съ другой — этимъ новымъ производствомъ вы избавляете нашу матушку Россію отъ тягостныхъ расходовъ въ пользу иностранцевъ, даже и за то, что намъ самимъ издавна «колетъ или ѣстъ глаза». «Стыдъ не дымъ, глаза не ѣстъ», говорили наши предки, а между тѣмъ этотъ дымъ-то иностранный, за который мы платили деньги, и кололъ до сихъ поръ намъ глаза за наше слабое умѣнье пользоваться нашими родными средствами, за нашу слѣпую привычку во всемъ и за всѣмъ обращаться къ иностранцамъ. Честь вамъ и хвала за ваше новое отечеству весьма полезное предпріятіе.

«Святая церковь православная, къ которой вы принадлежите какъ усердный членъ ея, благословляетъ нынѣ чрезъ мое посредство благое начало вашего добраго, общеполезнаго учрежденія, которому должны сочувствовать вполнѣ не только ваши присные и близкіе, но и всѣ благомыслящіе люди.

«Дай Богъ и начать, и продолжать вамъ производство вашихъ новыхъ работъ съ полнымъ успѣхомъ, по божію благословленію, на пользу вамъ самимъ и вашимъ ближнимъ, а съ тѣмъ вмѣстѣ и на пользу вамъ любезнаго отечества и нашей церкви православной, которая всегда благословляетъ честные труды разумныхъ и добросовѣстныхъ дѣятелей.

«Вознесемъ ко Господу усердную молитву о добромъ успѣхѣ благого предпріятія».

Въ прежнія времена такая рѣчь могла бы быть сказана только развѣ полководцу какому-нибудь или градоначальнику. Легкія, фамильярныя остроты священника Иларіонова были бы въ старину замѣнены остроуміемъ болѣе возвышеннымъ, въ родѣ знаменитаго «Пускай астрономы доказываютъ» и т. д. Нѣкоторыя другія второстепенныя и третьестепенныя особенности «штиля» также были бы нѣсколько измѣнены. Но въ общемъ характеръ рѣчи былъ бы именно таковъ. Ново въ рѣчи священника Иларіонова лицо, къ которому онъ обращается, и поводъ, по которому онъ къ нему обращается. Новъ не патріотизмъ, а его мотивы и объекты. Патріотическій вѣнокъ все такъ же пышенъ, но, какъ говорится въ какой-то эпиграммѣ:

> Видѣнъ въ немъ и листъ лавровый,
> И ассигнаціи листокъ.

Рѣчь священника Иларіонова бросается въ глаза только потому, что она есть рѣчь, т. е. произведеніе ораторскаго искусства, требующаго, какъ извѣстно, нѣкоторой экстраординарности украшеній. Но по существу своему новый патріотизмъ тихъ, выражается стилемъ болѣе дѣловымъ, чѣмъ ухарскимъ и выспреннимъ, и только изрѣдка дозволяетъ себѣ легкія, изящныя завитушки. Его слѣдуетъ искать въ литературѣ. Но за то литература имъ до такой степени ровно окрашена, что нѣтъ почти возможности за что-нибудь ухватиться. Если тутъ и есть что-нибудь своеобразное, такъ это патріотизмъ многочисленныхъ художественныхъ фельетоновъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» и въ особенности фельетоновъ г. В. С. Да и то своеобразны они больше своею несклад-

ностью и назойливостью. Растопыренные они какіе-то, но всетаки патріотически растопыренные. Было время, когда новый патріотизмъ заявлялъ себя и нѣкоторымъ энтузіазмомъ. Но прошелъ его медовый мѣсяцъ, и онъ сталъ тѣмъ, чѣмъ онъ долженъ быть, дѣловымъ, сухимъ, водянисто либеральнымъ, скучнымъ для постороннихъ и прибыльнымъ для избранныхъ, для новыхъ «отцовъ».

Когда я читалъ рѣчь священника Иларіонова, я радовался. Дѣйствительно, зависѣть отъ иностранцевъ до такой степени, чтобы даже сажи своей не имѣть, когда курныхъ избъ вдоволь, – это прискорбно. Теперь, думалъ я, развивая каламбуры священника Иларіонова, г. Тургеневъ уже не посмѣетъ иронизировать на тему: русскій дымъ. Теперь дѣйствительно воочію оправдывается стихъ: «и дымъ отечества намъ сладокъ и пріятенъ», и въ особенности, конечно, г. Беггрову. Дымъ пошелъ на службу отечеству. Такъ радоваться приходится почти каждый день, радоваться не тою шумною радостью, какая сопровождала нѣкогда извѣстія о нашихъ побѣдахъ надъ внѣшнимъ врагомъ, а радостію тихою, спокойною. Тамъ дымъ, здѣсь нефть, тутъ желѣзо, тамъ капиталы, все утилизируется, все поступаетъ на службу отечеству. И мы радуемся, патріотически радуемся. Какъ далекъ этотъ патріотизмъ отъ стараго, къ которому всетаки примѣшивалось чувство горечи! Всетаки тамъ кровь лилась, иной разъ кровь близкихъ людей. Пусть г. Спасовичъ толкуетъ «о жирномъ мірѣ». Пусть нашъ патріотизмъ заплылъ жиромъ. Намъ хорошо, развѣ что скучно только, за то совѣсть чиста...

Одинъ только г. Скальковскій не радуется. Его смущаютъ мрачныя слова Уоллеса. Мы преодолѣваемъ силы природы, отдавая ихъ на службу отечеству. Но г. Скальковскій знаетъ, что «преодолѣніе силъ природы повлечетъ за собой быстрое возрастаніе народонаселенія и значительное накопленіе богатствъ, что, въ свою очередь, будетъ имѣть слѣдствіемъ такое усиленіе бѣдности, порока и поощреніе столькихъ гнусныхъ чувствъ и лютыхъ страстей, что еще вопросъ, не понизится ли вообще умственный и нравственный уровень нашего населенія и не принесетъ ли это движеніе больше зла, чѣмъ добра». Мы дѣлаемъ быстрые успѣхи въ промышленности и торговлѣ, покоряемъ даже дымъ отечества. А г. Скальковскій знаетъ, что эти успѣхи «создаютъ цѣлую армію пролетаріевъ и преступниковъ, ряды которыхъ будутъ увеличиваться съ каждымъ днемъ, создадутъ многочисленный классъ людей, вся жизнь которыхъ будетъ проходить въ тяжкомъ, неблагодарномъ трудѣ, между тѣмъ какъ на долю ничтожнаго меньшинства выпадутъ одни лишь удовольствія».

Какъ хотѣлось бы, я думаю, г. Скальковскому, чтобы написанное перомъ могло быть хоть топоромъ вырублено. Г. Скальковскій только пошутилъ:

Развѣ публика не знаетъ?
Онъ шутилъ, вѣдь онъ шутилъ!

Не смотря на патріотизмъ, жить становится такъ скучно, такъ скучно, что надо же и пошутить, наконецъ. Г. Скальковскій продолжаетъ шутить. Онъ писалъ о лицевой и объ «оборотной» сторонѣ московской политехнической выставки. Мы сдѣлали сводъ его мнѣніямъ,—больше ничего. Но г. Скальковскій счелъ нужнымъ огрызнуться словами: «безсодержательное фразерство». Гдѣ оно, безсодержательное фразерство? Въ описаніи лицевой или оборотной стороны московской политехнической выставки? А тамъ или тутъ оно есть. Это г. Скальковскій, самъ авторъ, справедливо показываетъ. Оборотную сторону выставки г. Скальковскій описывалъ въ сотрудничествѣ Уоллеса, лицевую—одинъ. Осмѣливаемся думать, что сотрудничество Уоллеса не можетъ повредить г. Скальковскому. Осмѣливаемся утверждать, что «безсодержательное фразерство» относится къ соображеніямъ самого г. Скальковскаго. И онъ правъ, клеймя ихъ этимъ именемъ. Да, вы правы, г. Скальковскій. Иначе, какъ безсодержательнымъ фразерствомъ, нельзя назвать всѣ эти патріотическіе толки о возвеличеніи Россіи при помощи промышленности, торговли, улучшенныхъ путей сообщенія. Сто лѣтъ тому назадъ это не было бы безсодержательнымъ фразерствомъ, это былъ бы лучъ свѣта. А нынѣ само общество знаетъ цѣну всѣмъ этимъ вещамъ, оно слишкомъ хорошо знаетъ цѣну ихъ лицевой стороны. Вы попробовали коснуться ихъ «оборотной» стороны, вы дали себѣ этотъ праздникъ, но послѣ праздника пошли будни, и вы возвратились къ своей будничной работѣ, какъ ни въ чемъ не бывало. О, конечно, это безсодержательное фразерство! Вы увидѣли и даже сказали, что каждый шагъ по широкому и свѣтлому пути, рекомендуемому вами по буднямъ, ведетъ народъ въ пропасть, изъ которой, нѣкоторые думаютъ, нѣтъ выхода. Но на другой же день вы бодро встали на широкую и свѣтлую дорогу опять. О, да, это даже больше чѣмъ безсодержательное фразерство. Вы не похожи на того садовника, который заморозилъ растеніе по наивности. Вы беретесь, въ предѣлахъ представляющейся вамъ дѣятельности, «блюсти особенно», чтобы растеніе хорошенько прозябало, и терпѣливо ждете того момента, когда оно «прозябнетъ ужъ со-

всѣмъ». Вы знаете, что новый патріотизмъ ведетъ только къ установленію новой res patria, и спокойно присоединяете свой голосъ къ патріотическому хору. Да... Нѣтъ, я не знаю, какъ это назвать.

Г. Скальковскій есть типъ, имѣвшій только несчастіе обмолвиться и тѣмъ самымъ обнаружиться. Собственно говоря, кто же не знаетъ у насъ того, что сказалъ г. Скальковскій отчасти словами Уоллеса, отчасти своими собственными. Всякому образованному человѣку болѣе или менѣе извѣстно, что развитіе свободныхъ учрежденій и промышленности въ Европѣ сопровождалось и до сихъ поръ сопровождается явленіемъ «цѣлой арміи пролетаріевъ и преступниковъ», «усиленіемъ бѣдности и порока». Всякому извѣстно также, что въ нынѣшнее царствованіе Россія вступила на путь развитія свободныхъ учрежденій и промышленности. Казалось бы, цѣлая группа вопросовъ дня сама собой напрашивается на разрѣшеніе. Что можетъ быть естественнѣе опасенія повторенія у насъ печальной стороны европейскихъ порядковъ и что имѣетъ болѣе правъ на вниманіе литературы? Замѣтимъ, что насъ въ настоящее время не волнуютъ вопросы національные и что широкая и заманчивая область собственно политическихъ, конституціонныхъ вопросовъ, поглощающая столько литературныхъ силъ въ Европѣ, для насъ заперта на замокъ, ключъ отъ котораго заброшенъ чуть не за тридевять земель въ тридесятое царство. Такъ что и съ этой стороны все гонитъ насъ къ такъ называемому соціальному вопросу, который не имѣетъ пока у насъ того революціоннаго и, слѣдовательно, «запрещеннаго» характера, какимъ онъ является въ Европѣ. И, однако, литература молчитъ, судя по г. Скальковскому, вполнѣ зная ужасы возможнаго исхода положенія вещей. Tarde venientibus ossa,—нашимъ потомкамъ, какъ позднимъ гостямъ на аренѣ исторіи, мы оставимъ однѣ обглоданныя кости. О, какимъ нехорошимъ словомъ обзовутъ теперешнюю литературу наши потомки! Слово будетъ жестокое, но справедливое. Современная литература не имѣетъ права сказать словами одного писателя прошлаго столѣтія: «вѣмъ азъ убогій, яко то есть глубина велія и за недоумѣніе мое азъ во глубину далѣе не смѣю поступати, да не погрузитъ мя» («Русскій Вѣстникъ», сентябрь, «Борьба съ протестантскими идеями въ петровское время»). Во-первыхъ, такая скромность не пристала современной литературѣ; во-вторыхъ, и «глубины» никакой нѣтъ. Конечно, разрѣшеніе насущнѣйшихъ вопросовъ русской жизни не легко, хотя всетаки легче, чѣмъ можетъ показаться съ перваго взгляда; но постановка этихъ вопросовъ не представляетъ ни малѣйшихъ трудностей: нагнитесь и поднимите.

Въ сентябрьской книжкѣ «Русскаго Вѣстника» напечатано начало обширной статьи г. Безобразова «Война и революція. Очерки нашего времени». До сихъ поръ статья представляетъ только нѣкоторыя пропилеи и совершенно неизвѣстно, что воспослѣдуетъ дальше. Пропилеи, какъ пропилеи, не хуже и не лучше другихъ статей почтеннаго академика. Но въ нихъ есть недурная характеристика современной литературы: «Стараясь какъ можно болѣе совлечь съ себя ультра-отвлеченный идеалистическій и космополитическій характеръ стараго времени, литература наша стремилась сдѣлаться какъ можно болѣе мѣстною, дѣловою и практическою, и въ этомъ отношеніи достигла замѣчательнаго совершенства: въ своемъ пламенномъ рвеніи къ гласности, не только нѣкоторыя мелкія періодическія изданія превратились въ исключительные органы городскихъ сплетенъ, въ обиліи насылаемыхъ въ столичныя редакціи изъ всѣхъ концовъ Россіи и едва понятныхъ даже на той улицѣ, на которой живутъ сами корреспонденты, но въ весьма видныхъ ежедневныхъ изданіяхъ обличенія разныхъ частныхъ случаевъ повседневной жизни,—мелкаго насилія, обмана, невѣжества, административныхъ пререканій между вѣдомствами и учрежденіями, самыя мелкія новости, въ большинствѣ случаевъ невѣрныя, изъ канцелярскаго и бюрократическаго міра, о предполагаемыхъ измѣненіяхъ въ форменной одеждѣ, въ штатахъ, въ подраздѣленіи должностей и пр.,—все это занимаетъ самое главное мѣсто. Это административное, канцелярское и слѣдственное направленіе текущей литературы доходитъ до того, что публикуются цѣлые ряды столбцовъ,—этимъ особенно отличаются провинціальныя корреспонденціи—гораздо болѣе похожіе на уголовныя слѣдствія, на полемическія канцелярскія бумаги, на такъ называемыя *отношенія* между должностными лицами и присутственными мѣстами, нежели на газетныя статьи... Микроскопическіе факты обыденной жизни, публикуемые въ иностранныхъ газетахъ въ отдѣлѣ объявленій и рекламъ, возводятся въ событія дня. Неужели въ подобномъ реализмѣ, изобличающемъ по большей части не что иное, какъ оскудѣніе умственныхъ силъ на литературномъ поприщѣ, можетъ заключаться призваніе литературы?»

Само собою разумѣется не въ этомъ. Но г. Безобразовъ ошибается, приписывая указываемое имъ явленіе оскудѣнію только умственныхъ силъ. Сотрудникъ г. Безобразова, г. Боевъ начинаетъ свой разсказъ «Воронъ», напечатанный въ той же сентябрьской книж-

къ «Русскаго Вѣстника», слѣдующими игривыми словами: «Уже не одну недѣлю жилъ Иванъ Мартьяновичъ въ Коземахъ. Какъ прежде надо было непремѣнно опредѣлить служебное положеніе, такъ теперь необходимо опредѣлить «убѣжденія» лица описываемаго. Я рѣшаюсь разомъ уронить сіе лицо, во избѣжаніе недоразумѣній заявивъ, что оно убѣжденій едва ли опредѣленныхъ, пріѣхало не для агитаціи массъ, не для заведенія школъ какихъ нибудь, или ассоціацій, а по «своимъ дѣламъ».—Эти лакейскія игривости, свойственныя далеко не одному г. Боеву, въ довольно большомъ количествѣ вкраплены въ разсказъ. Что онѣ означаютъ? Оскудѣніе умственныхъ силъ? Да. Но прислушайтесь къ этой лакейской ироніи, къ этимъ шипящимъ звукамъ торжествующей мелкоты, и вы увидите въ нихъ еще нѣчто. Голая умственная скудость простодушна. Она или радуется тому, что разныя «убѣжденія», каковы бы они ни были, полетѣли къ чорту, и всѣ путешествуютъ «по своимъ дѣламъ», либо она скорбитъ, что еще недостаточно по ея мнѣнію пригнулись къ ея уровню дѣла, люди и идеи. Но она не иронизируетъ. Такъ иронизируетъ умственная скудость, осложненная скудостью нравственною. Только единовременнымъ вліяніемъ этихъ двухъ скудостей слагается bestia trionfante современной русской литературы и жизни. И чья доля больше,—рѣшить трудно. Велика скудость умственная, это правда. Но ею одною нельзя объяснить даже мелкости и дробности интересовъ, которыми поглощена литература.

Wer will was Lebendiges erkennen und beschreiben'
Sucht erst den Geist herauszutreiben;
Dann hat er die Theile in seiner Hand,
Fehlet leider der geistige Band.

Русская литература строго придерживается этого ехиднаго рецепта Мефистофеля. Каждую мелочь она выворачиваетъ во всѣ стороны, разглядываетъ, обнюхиваетъ, ощупываетъ и такъ увлекается этой операціей. что всякій geistiger Band теряетъ для нея свою цѣну. Отсутствіе всякихъ объединяющихъ, обобщающихъ началъ есть несомнѣнно результатъ умственной скудости, но нежеланіе ихъ имѣть, презрѣніе къ нимъ, позорная игра съ ними, иронія надъ ними,—все это есть дѣло скудости нравственной. Мы сдѣлали выше предположеніе, что каждому образованному человѣку, а тѣмъ паче представителю литературы, извѣстны два факта или два ряда фактовъ: во-первыхъ, вступленіе Россіи на путь свободныхъ учрежденій и развитія промышленности; во-вторыхъ, печальныя явленія, сопровождавшія и сопровождающія шествіе по тому же самому пути Европы. Смѣемъ думать, что гипотеза наша не безосновательна, да, наконецъ, въ лицѣ г. Скальковскаго она облекается въ плоть и кровь. Въ виду этого мы понимаемъ возможность въ литературѣ такихъ рѣчей: свободныя учрежденія и промышленное развитіе принесли съ собой въ Европѣ столько зла, отъ котораго она никакими кровопусканіями и припарками отдѣлаться не можетъ, что мы не хотимъ ихъ вовсе. Это были бы рѣчи неразумныя, но они принимаютъ въ соображеніе оба всѣмъ извѣстные факта, не скрываютъ отъ добрыхъ людей ничего, никого не надуваютъ. Такихъ рѣчей въ литературѣ нынѣ не раздается, развѣ въ закоулкахъ гдѣ-нибудь. Подавляющее большинство представителей русской литературы или приглашаетъ общество идти по проторенной тропинкѣ прогресса, или занимается мелкой, копотливой работой переворачиванія на этой самой тропинкѣ камешковъ и дерновинокъ. Пока литература разсматриваетъ только то, что у нея подъ носомъ, отъ нея естественно должна ускользать перспектива той дороги, надъ камешками и дерновинами которой она работаетъ. Это и естественно, и простительно, какъ всякое проявленіе умственной скудости. Но—ссылаюсь опять-таки на г. Скальковскаго—литература знаетъ характеръ ожидающей народъ перспективы. Знаетъ и зажмуриваетъ глаза, прячетъ голову, какъ страусъ. Разница только въ томъ, что страусъ никого, кромѣ себя не обманываетъ и менѣе всего обманываетъ преслѣдующихъ его враговъ. А литература... Но для характеристики ея образа дѣйствій пришлось бы употребить выраженія, до такой степени невѣжливыя, что мы предпочитаемъ прибѣгнуть къ другому пріему.

V *).

«Причитанья сѣвернаго края», собранныя Е. В. Барсовымъ.—О матеріалахъ, какъ они собираются современною литературой.—О матеріалахъ, какъ они современною литературой обрабатываются.—Симптомы и причины болѣзни литературы. — Одна старая статья. — «Политика, какъ наука», г. Стронина. — Русскіе социологи. — Фокусники.—Статья г. Жуковскаго о Кэри. — Проектъ ученаго трактата.

Недавно вышла очень любопытная книга: Причитанья сѣвернаго края, собранныя Е. В. Барсовымъ. Содержаніе ея крайне однообразно, монотонно, уныло и исчерпывается двумя словами: мужикъ умеръ. Умеръ мужикъ и «вопитъ» надъ его трупомъ вдова, дочь, сосѣдка или такъ просто посторонняя талантливая «вопленица». Это надгробныя рѣчи и некрологи мужика.

Мужикъ умеръ. Умеръ онъ въ мѣстахъ, довольно отдаленныхъ отъ центровъ просвѣ-

*) 1872 г., ноябрь.

щенія и цивилизаціи: «сѣрой заюшко туды не проскакивать, малая птичка не залетывать, извозчики къ намъ не заѣзживаютъ, перехожія калѣки не прохаживаютъ... у озеръ нѣтъ перегребныхъ малыхъ лоточекъ, черезъ рѣченьку дубовой нѣтъ мостиночки» (91).

Мужикъ умеръ. Вдова, мать, сестра «вопитъ». Во-первыхъ, она любила покойника; это былъ «скачоная жемчужинка», «яра свичушка», «яблонь кудреватая», хоть вмѣстѣ съ тѣмъ «упьянсливая головушка». Во-вторыхъ: какъ послѣ своей надежной головушки я по земскимъ избамъ находилася, у судебныхъ-то мѣстъ да настоялася, безъ креста-то вѣдь я Богу намолилася, безъ Исусовой молитовки накланялась, всѣмъ судьямъ, властямъ вѣдь я да накорилася» (16). Въ-третьихъ, наконецъ: «я безъ вѣтрышка горюша нонь шатаюся, на работушкѣ, побѣдна, призамаюся: *надо силушка держать да мнѣ звѣриная. потяги надо держать да лошадиныи*».

Мужикъ умеръ. Вдова знаетъ:

«Тутъ мнѣ скажутъ еще власти поставленныи: Припасай золоту казну безсчетную, ты отдай намъ всѣ тягости казенныя. Я раздумаюсь побѣднымъ своимъ разумомъ; мнѣ гдѣ взять золота казна безсчетная, мнѣ отдать да всѣ вѣдь подати казенныя? Какъ приду я отъ спорядныхъ отъ сосѣдушекъ, посовѣтуюсь съ сердечнымъ своимъ дитяткомъ; говорить стане сердечно мило дитятко: да ты слушай-же родитель моя матушка, со двора продать любиму набъ скотиночку. со конюшенки продать да коня добраго. Еще слушай-ко родитель моя матушка: ты пойди да въ мелкорубленыя клѣточки, жаль разстаться со любимой мнѣ скотинушкой; ты бери столько ключи да золоченыи, отмыкай да ты ларцы тамъ окованыи, да ты вынь оттоль цвѣтно это платьице, заложи ты сусѣду спорядовому.—Тутъ скажу да я сердечному-то дитятку: «Жаль нести да мнѣ-ка цвѣтно это платьице; какъ выростешь до полнаго ты возроста—станешь ѣздить по гульбищамъ въ немъ, прокладбищамъ, по этымъ по владычнымъ божьимъ праздничкамъ». Какъ отвѣтъ держитъ сердечно мило дитятко: мнѣ не честь хвала, родитель, молодецкая, што вѣдь подати казенныя не плочены; не къ лицу тебѣ родитель, родна матушка, што таскаться по избамъ тебѣ по земскіимъ, у стола стоять, родитель, у судебнаго, супротивъ стоять судей неправосудныихъ» (183).

Мужикъ умеръ. Вопленица учитъ вдову:

„Не жалій, бѣдна, любимоей покрутушки, заложи—снеси крестьянину богатому, ты проси да золотой казны по надобью, запродай свою любимую скотинушку, набери да золотой казны безсчетной. Какъ пріѣдутъ дохтура да славны лекари, какъ со этого со города Петровскаго, попроси да бѣдна добрыихъ ты людушекъ, своихъ сельскіихъ проси, бѣдна, начальничковъ, писаревъ проси побѣдна, хитромудроихъ, штобъ вступились по побѣдной головушкѣ, уговорили-бъ дохтуровъ да оны лекарей, задарили-бъ золотой казной безсчетной, штобъ надеженьку твою не патрушили, штобы бѣлой его груди не пороли, штобы сердечушко его не вынимали, штобъ наголушки телѣса тебѣ не надавали, штобы придали ко матушкѣ сырой землѣ то бы его да безъ терзанья. Не убойся ты спорядная сусѣдушка, говори бѣдна горюшица смѣлешенько, ты корись, бѣдна, съ великоей обидушкой, ты упрашивай, бѣдна, съ горючмы слезмы. Може сдобрятся судьи неправосудныя. Ты сули имъ золотой казны по надобью, *во потай сули безъ добрыхъ то безъ людушекъ*; тутъ озарятся оны на золоту казну» (250).

Мужикъ умеръ, староста. Старостиха вопитъ, обращаясь къ міру:

«Онъ не плутъ былъ до васъ, не лиходѣйничекъ, соболѣзновалъ объ обчествѣ собраномъ; онъ стоялъ по вамъ стѣной да городовой отъ этыхъ мировыхъ да злыхъ посредниковъ. Теперь все прошло у васъ, миновалося. Нѣтъ заступушки у васъ, заборонушки! Какъ наидетъ мировой когда посредничекъ, какъ заглянетъ во избу да онъ во земскую, не творитъ да тутъ Исусовой молитовки, не кладетъ да онъ креста-то по писанному. Не до того это начальство добирается, до судовъ этотъ посредникъ доступаетъ, во потай у недоростковъ онъ вывѣдывадтъ, ужъ нѣтъ-ли гдѣ корыстнаго дѣлишечка. Да онъ такъ же надъ крестьянствомъ надругается, быдто въ родѣ человѣкъ какъ некрещеной. Онъ затопае ногами во дубовой полъ, онъ захлопае руками о кленовой стулъ, онъ въ походню по покоямъ запохаживае, точно вихорь во чистомъ полѣ полетывае, быдто звѣрь да во темномъ лѣсу порикивае. Тутъ на старосту скрозь зубы онъ срыгается, онъ безъ разуму рукой ему пригражливае. Сотворитъ ему посредникъ таково слово: „што на ямъ да вы теперь не собираетесь? неподсудны мировому знать посреднику? не покорны вы властямъ да поставленнымъ? Штобы всѣ были сейчасъ же на ямъ согнаны“! Какъ у этыхъ мировыхъ да у посредниковъ нѣту душеньки у ихъ да во бѣлыхъ грудяхъ, нѣту совѣсти у ихъ да во ясныхъ очахъ, нѣтъ креста-то вѣдь у ихъ да на бѣлой груди. Уже не бросать же участковъ деревенскіихъ, не покинуть же крестьянской этой жирушки все для этыихъ властей да страховитыихъ! Назадъ староста бѣжитъ да не оглядываетъ, подъ окошечко скоренько постучается онъ у этыихъ сусѣдей спорядовыхъ, штобы справились на ямъ да суровешенько: „какъ наѣхала судья неправосудная... онъ для податей пріѣхалъ ли казенныхъ, аль казна его безсчетна придержалася, аль цвѣтно его платье притаскалося, аль козловы сапоги да притопталися“... Возгорчится какъ судья вѣдь страховитая, въ темномъ лѣсѣ быдто боръ да разгарается, во всѣ стороны бывъ пламень какъ кидается, быдто Свирь рѣка посредничекъ свирѣпой, быдто Ладожско великое, сердитое... Тутъ спроговоритъ онъ старостѣ таково слово: „Вы даете все повольку мужикамъ глупцамъ, какъ бездѣльникамъ вѣдь вы да потакаете; хоть своей казной теперь, а долагайте-тко, да вы подати казенныя сполняйте-тко“. Мужиченки дробятъ да все поглядаютъ: ужель морюшко сине да пріутихнетъ, мировой скоро-ль посредничекъ уходится, за дубовымъ столомъ да пріусядется? Буде взыщется одинъ мужикъ смѣлугище—уже такъ стане на мужика срыгатися, быдто звѣрь да во темномъ лѣсѣ кидается... Стане староста судью тутъ уговаривать: „Не давай спѣси во бладую головушку, суровьства ты во ретливое сердечушко. На крестьянъ ты съ кулаками не наскакивай удержи да свои бѣлы эти рученьки, не ломай-ко ты перстни свои злаченыи. Не на то да вѣдь вы судьи выбираетесь!.. Околъ ноци мужики да поисправятся, наживутъ да золоту

казну безсчетную». Сговоритъ да тутъ посредникъ таково слово: «Да вы счастливы крестьяна деревеньскіи, што вѣдь староста у васъ да преразумной!» Какъ уѣдетъ тутъ судья да страховитая, сговорятъ да тутъ крестьяна таково слово: «Міроѣды мировы эты посредники... въ темномъ лѣсѣ быдто звѣри то съѣдучіи, въ чистомъ полѣ быдто змѣи-ти клевучіи»... Какъ въ ту пору теперь да въ тое времечко, какъ по этой почтовой ямской дороженькѣ... точно черной быдто воронъ приналетывалъ, мировой этотъ посредникъ такъ наѣзживалъ; деревенскія робята испугалися, по своимъ домамъ оны да разбѣжалися. Онъ напалъ да на любимую сдержавушку, быдто звѣрь точно на упадь во темномъ лѣсу. Я съ работушки побѣдна убиралася, изъ окошечка въ окошечко кидалася,—да куда-жъ мою надежу подѣваютъ?.. Ужъ какъ этотъ мировой да злой посредничекъ, какъ во страдную, въ рабочу пору времечко, онъ схватилъ его съ луговой этой поженки, посадилъ да онъ во крѣпость во великую, отлучился што безъ спросу на недѣлюшку... Я склонилася въ тяжелую постелюшку съ за этого злодія супостатаго, што обидѣлъ насъ побѣдныихъ головушекъ, присрамилъ да онъ при обчествѣ собраномъ. Со безсчестья въ лицѣ кровь разыгралася, со стыда буйна головка зашаталася. Ворочался какъ надеженька со крѣпости, въ чистомъ полѣ неможенье сустигало, на пути злодій смеретушка срѣтала... Вотъ падите-тко, горюци мои слезушки, вы не на воду падите-тко, не на землю, не на божью вы церковь, на строеньицо; вы падите-тко горюци мои слезушки, вы на этого злодія супостатаго да вы прямо ко ретливому сердечушку! Да ты дай-же Боже Господи, штобы тлѣнъ прошелъ на цвѣтно его платьице, какъ безумьице во буйну бы головушку! Еще дай Боже Господи ему въ домъ жену неумную, плодить дѣтей неразумныихъ! Слыши Господи молитвы мои грѣшныя. Прими Господи ты слезы дѣтей малыихъ» (282—288).

Вотъ какіе глубоко-трагическіе обороты прорываются иногда въ надгробныхъ рѣчахъ и некрологахъ мужика. Всякіе комментаріи тутъ неумѣстны. Приведемъ еще содержаніе чрезвычайно оригинальнаго плача о писарѣ. Начинается онъ, впрочемъ, тоже проклятіями: «Буди проклято велико это горюшко, буди проклята злодійная невзгодушка. Какъ по нынѣшнимъ годамъ да по бѣдовымъ лучше нá свѣтъ человѣку не родиться: много страсти теперь, да много ужасти, какъ больше того великіихъ пригрозушекъ; наѣзжаютъ то судьи да страховитыя...». Далѣе идетъ поэтическій разсказъ о происхожденіи теперешняго горя. Поѣхали рыбаки въ «Окіянъ-море» и поймали тамъ необыкновенную рыбу: «точно хвостъ да какъ у рыбы лебединый, голова у ей въ родѣ какъ козлиная». Стали рыбу пластать и нашли у ней въ брюхѣ множество песку и ключи золоченыи». Пошли рыбаки къ себѣ въ деревню и стали тѣ ключи прилаживать: къ церковнымъ замкамъ не подходятъ, къ лавочнымъ не подходятъ. «По тюрьмамъ пошли заключеннымъ: въ подземельныя норы ключъ поладился, гдѣ сидѣло это горюшко велико. Потихошеньку замокъ хоть отмыкали, безъ молитовки знать двери отворяли. Не успѣли тутъ ловцы—добры молодцы отперетъ двери дубовыя, съ подземелья злое горе разомъ бросилось, чернымъ ворономъ въ чисто поле слетѣло; на чистомъ полѣ горюшко садилося и само тутъ злодійно восхвалялося, што тоска буде крестьянамъ не удольная... По чисту полю горюшко катилося, стужей—инеемъ оно да тамъ садилося, надъ зеленымъ лугомъ становилося, частымъ дождикомъ оно да разсыпалося. Съ того моръ пошелъ на милую скотинушку, съ того зябель на сдовольны эты хлѣбушки; непріятности во добрыхъ пошли людушкахъ». Затѣмъ кума-вопленица обращается къ писарю съ просьбой довести до свѣдѣнія «Владыки—свѣта истиннаго» о крестьянскихъ невзгодахъ, о томъ, что «зло несносное, велико это горюшко по Россіюшкѣ летаетъ яснымъ соколомъ, надъ крестьянами злодійно чернымъ ворономъ. Возлетитъ оно злодійно само радуется: «на бѣломъ свѣтѣ я распоселилося, до этыихъ крестьянъ я доступило, не начаются обиды, накачаются; не надіются досады, принавидятся... Ты пороскажи крестовой-милой кумушко, ты пороскажи Владыкѣ многомилосливому, што не праведные судьи разселаются, свысока глядятъ оны да выше лѣсушку, злокоманно ихъ ретливое сердечушко, точно ледъ какъ въ синемъ морѣ. Некуды отъ ихъ злодіевъ не укроешься, во темныхъ лѣсахъ найдутъ оны дремучихъ, все доищутся въ горахъ оны высокихъ, доберутся вѣдь во матушкѣ сырой землѣ... Кабы вѣдали цари да со царицами, кабы знали всѣ купцы да вѣдь московскіи про безчастную-бы жизнь нашу крестьянскую!» (288 и слѣд.).

Надо, впрочемъ, замѣтить, что подобные «гражданскіе мотивы» сравнительно рѣдко встрѣчаются въ причитаніяхъ, собранныхъ г. Барсовымъ. Въ большей части случаевъ причитанья не выходятъ изъ предѣловъ личныхъ или семейныхъ дѣлъ покойника. Обычай «вопить» есть одинъ изъ древнѣйшихъ народныхъ обычаевъ, постепенно вытѣсняемый цивилизаціей. Въ качествѣ языческаго, онъ давно уже сталъ подвергаться преслѣдованіямъ со стороны какъ духовныхъ, такъ и свѣтскихъ властей. Г. Барсовъ приводитъ въ предисловіи нѣсколько образчиковъ такихъ преслѣдованій, которыя, однако, сдѣлали мало. Гораздо больше сдѣлалъ ходъ исторіи. Первоначально надъ покойникомъ вопили непремѣнно члены его семьи или вообще люди, наиболѣе къ нему близкіе. Но съ теченіемъ времени эти голоса кровныхъ родныхъ, непосредственно заинтересованныхъ въ жизни и смерти покойнаго, стали уступать мѣсто талантливымъ или просто навыкшимъ спеціалисткамъ причитаній. Естественно поэтому, что отъ многихъ плачей

вѣетъ чѣмъ-то холоднымъ и заученнымъ, хотя иногда и весьма изысканнымъ. А разъ искусство «вопленія» становится достояніемъ немногихъ личностей, оно долго держаться не можетъ. Впрочемъ, судя по тѣмъ энергическимъ и свѣжимъ нотамъ, которыя часто прорываются въ причитаніяхъ, очевидно новыхъ, можно думать, что этотъ моментъ еще очень далекъ. И это понятно. Причитанія не то что былины, открытыя Гильфердингомъ въ тѣхъ же краяхъ, гдѣ собиралъ свои матеріалы г. Барсовъ. Здѣсь и въ новѣйшихъ варьяціяхъ на вѣковѣчную тему: мужикъ умеръ— встрѣчаются поразительно непосредственные и наивные обороты мысли и рѣчи. Особенно трогательно-наивнымъ показались намъ часто попадающіеся предполагаемые разговоры со смертью и сожалѣнія о неимѣніи портрета покойника. Въ-первыхъ, смерть изображается «злодіемъ», который тайкомъ пробирается въ избу и которому напрасно предлагаютъ и ѣду и питье, и «любимую скотинушку» и «гулярно платьице», чтобы онъ оставилъ въ покоѣ намѣченную жертву. Что касается до портрета, то вопленицы представляютъ его себѣ не иначе, какъ написаннымъ на гербовой бумагѣ рукой «писаречка хитро-мудраго». Еслибы такой портретъ былъ, вдова стала бы его «день держать во бѣлыихъ во рученькахъ»: «лицо къ лицюшку вѣдь буду прилагати, я семеюшкой своей называти, уже въ ночь да у ретливаго сердечушка я на нѣжныя груди, да на ретливыя». А когда выростутъ дѣти и станутъ спрашивать про отца, вдова покажетъ имъ тотъ «гербовый листъ—бумаженьку». Но дѣти спросятъ: «кто же пойдетъ на распашисты полосушки? Какъ у насъ да вѣдь, родитель матушка, нѣту пахаря на чистыихъ полосушкахъ, сѣнокосца на луговыхъ нѣтъ поженкахъ, рыболовушка на синемъ нѣтъ Онегушкѣ». Тутъ только разлетится иллюзія, и вдову «ушибать стане великая тоскичюшка».

Трудъ г. Барсова заслуживаетъ всякаго вниманія и благодарности. Надгробныя рѣчи и некрологи мужика, какъ видитъ читатель, чрезвычайно любопытны, характерны и потому всегда и вездѣ достойны изученія, а тѣмъ паче собиранія. Но особенно пріятно появленіе «Причитаній сѣвернаго края» и нѣкоторыхъ другихъ подобныхъ изданій у насъ и теперь. Дѣйствительно, матеріалы, сырье,—вотъ все, что даетъ и въ большинствѣ случаевъ можетъ давать цѣннаго современная литература. Поэтому желательно, чтобы матеріалы, по крайней мѣрѣ, были такого свойства, чтобы они пригодились на что-нибудь будущему изслѣдователю. Къ сожалѣнію, даже и это скромное требованіе рѣдко удовлетворяется современною литературою. Въ «Сборникѣ русскаго историческаго общества», изданіи весьма солидномъ, помѣстившемъ на своихъ страницахъ такой почтенный трудъ, какъ «Историческія свѣдѣнія о Екатерининской коммиссіи для сочиненія проекта Новаго Уложенія» г. Полѣнова, въ седьмомъ томѣ Сборника находимъ, между прочимъ, такой матеріалъ. «Собственноручная записка Екатерины II, хранящаяся между письмами къ В. Суворову, о Матренѣ Бунди:

«Матрена Бунди живетъ близь Калинкинова моста, мужъ ея грекъ и онъ былъ въ иностранной коллегіи».

И все. Такихъ «матеріаловъ» читатель встрѣчалъ, конечно, множество во многочисленныхъ періодическихъ и непеpіодическихъ изданіяхъ, посвященныхъ и русской старинѣ, и русской и европейской современности. Это одно изъ проявленій той мелкости интересовъ и идей, о которой мы говорили въ прошлый разъ и которою по общему сознанію больна почти вся наша современная литература.

Но, кромѣ этой мелкости, мы наталкиваемся еще на одно любопытное литературное явленіе. Никогда у насъ не появлялись въ такомъ количествѣ и никогда не пользовались такимъ успѣхомъ изданія, посвященныя разработкѣ нашей старины. Впрочемъ, мы ошиблись, употребивъ слово *разработка*. Разработки никакой нѣтъ, мы ее цѣликомъ предоставляемъ будущему, а сами только подготовляемъ матеріалы для нея. Мы разрываемъ архивы и вытаскиваемъ оттуда что ни попало, по пословицѣ: вали валомъ, послѣ разберемъ. Мы имѣемъ въ этомъ родѣ: десять лѣтъ «Русскаго Архива», три года «Русской Старины», восемь томовъ «Сборника русскаго историческаго общества», четыре, кажется, тома бумагъ изъ архива князя Воронцова, четыре тома «Осемнадцатаго вѣка», два тома «Девятнадцатаго вѣка», Историческія бумаги Арсеньева и проч., и проч., и проч., не считая множества мемуаровъ и записокъ, разбросанныхъ по общимъ, учено-литературнымъ журналамъ. Если принять въ соображеніе, что вся эта масса матеріаловъ издана въ сравнительно очень короткій срокъ и почти вся относится къ довольно короткому періоду нашей исторіи, то нельзя не подивиться ея увѣсистости. Среди всякаго сброда, въ этой массѣ встрѣчаются матеріалы, въ высшей степени драгоцѣнные, и надо думать, что наши потомки будутъ намъ благодарны за наше трудолюбіе. Но вопросъ не въ этомъ, а въ томъ—что мы дѣлаемъ изъ этихъ матеріаловъ? Отвѣтъ не подлежитъ сомнѣнію: ничего. Одни издаютъ, другіе читаютъ. И это-то именно и характеристично для нашего времени. Въ жизни каждаго народа бываютъ такіе моменты, когда онъ жадно набрасывается на свое прошедшее,

ница въ немъ поученій, указаній и проч., словомъ—смысла. Это бываетъ обыкновенно въ минуты тяжелыхъ уроковъ исторіи и разочарованія въ настоящемъ и будущемъ. Если мотивы эти и могли бы дѣйствовать въ настоящую минуту въ нашемъ обществѣ и литературѣ, то они во всякомъ случаѣ не дѣйствуютъ. Не поученій, не указаній, не смысла ищемъ мы въ нашемъ прошедшемъ, ибо мы только собираемъ матеріалы, не пытаясь ихъ такъ или иначе группировать и освѣтить. Издатели и собиратели движимы преимущественно трудолюбіемъ, ну и барышами, конечно, а читатели—желаніемъ читать анекдоты. Это доказывается ничтожностью, и въ качественномъ и въ количественномъ отношеніи, попытокъ обработать сырой матеріалъ, въ сравненіи съ громаднымъ количествомъ сырья. А между тѣмъ мы поглощены нашимъ прошедшимъ. Вотъ, напримѣръ, іюньская книжка «Русскаго Вѣстника». Въ ней мы находимъ статьи: «Дѣйствія Бибикова въ пугачевщину» г. Анучина, «Царская невѣста», былина г. Милюкова, «Царь Петръ и царевичъ Алексѣй», отрывокъ изъ трагедіи г. Аверкіева, «Воспоминанія объ эпизодахъ изъ моей частной и служебной дѣятельности» г. Бурнашева, «О перевязочныхъ пунктахъ Севастополя» г. Соловьева. Для одного нумера общаго учено-литературнаго журнала, кажется, слишкомъ достаточно статей, посвященныхъ недавно и давно прошедшему.

Мы случайно напали на іюньскую книжку «Русскаго Вѣстника», но она вовсе не составляетъ явленія исключительнаго. Читатель можетъ замѣтить, что повѣсть г. Милюкова и трагедія г. Аверкіева не представляютъ, по крайней мѣрѣ, сырья. Дѣйствительно, если наша старина и подвергается какой-нибудь обработкѣ, то главнымъ образомъ беллетристической. Таковы трагедіи графа А. Толстого, стихо-смѣхо-снотворные опыты въ томъ же родѣ г. Аверкіева, повѣсти и романы гг. Милюкова, Клюшникова, Кельсіева, Петрова и проч. Но слѣдующій курьезъ можетъ показать, до чего иногда доходитъ эта обработка. Повѣсть г. Милюкова или «былина», какъ онъ ее называетъ, написана какимъ-то удивительнымъ языкомъ, въ которомъ современные слова и обороты рѣчи перемѣшаны для чего-то съ древними. Напримѣръ: «Бояринъ указалъ поднять ее, и, опознавъ, что семья той женщины не подавну измерла голодною смертью и сама она недужна отъ холода» и т. д. Или: «И по тому наказу выходилъ изъ малой боковой двери игрецъ-нѣмчинъ во фряжскомъ короткомъ кафтанѣ, съ хитро подвитыми волосами, кланялся низко государю и садился къ органамъ. И какъ началъ играть онъ, закуковала на нихъ золотая кукушка, показывая число часовъ по тому времени, а когда она смолкла, взыграли и органныя трубы иноземнымъ согласіемъ». Г. Милюковъ въ коротенькомъ предисловіи замѣчаетъ, кто къ такой несообразности побудило его «не желаніе быть оригинальнымъ», а увѣренность въ томъ, что языкъ этотъ, если не придастъ достоинства сочиненію, то можетъ быть смягчитъ его недостатки». Г. Милюковъ даетъ прекрасный рецептъ бездарнымъ беллетристамъ: напишите плохую историческую повѣсть, потомъ замѣните въ ней Іоанну д'Аркъ «скотопаской орлеанской» иностранца «нѣмчиномъ», музыканта «игрецомъ»—и дѣло въ шляпѣ. Это очень удобно, но тѣмъ не менѣе является любопытный вопросъ: кого г. Милюковъ своими благоглупостями благоудивить хочетъ?

Послѣ этого совершенно понятно восклицаніе одного изъ безчисленныхъ современныхъ мемуаристовъ, г. Лорера: «Былъ бы кучеръ Илья Байковъ грамотенъ, какія бы онъ записки могъ написать для нашихъ журналовъ и для отечественной исторіи!» («Русскій Архивъ», XI, 2,265). Операція г. Милюкова есть фокусъ, въ родѣ тѣхъ, какіе были въ ходу въ римской литературѣ временъ упадка цивилизаціи. Появляясь въ серьезныхъ и распространенныхъ журналахъ, они свидѣтельствуютъ все о томъ же оскудѣніи литературнаго русла.

Оскудѣніе это не составляетъ ни для кого тайны. Оно много разъ и многими констатировалось и обсуждалось. Но мнѣ кажется, что до сихъ поръ еще не выяснены ни существенная сторона, ни ближайшая причина оскудѣнія. Лучше всего этого можно достигнуть путемъ сравненія теперешней литературы съ ея предшественницей—литературой пятидесятыхъ и шестидесятыхъ годовъ. Мы будемъ имѣть въ виду исключительно такъ называемую либеральную литературу. Почему?—это будетъ ясно само собой ниже.

Надо замѣтить, что самое положеніе либеральной литературы въ концѣ пятидесятыхъ и началѣ шестидесятыхъ годовъ было гораздо выгоднѣе положенія теперешней либеральной литературы и обезпечивало ей многое, чего лишена современная литература. Во-первыхъ, у нея были враги, и враги не изъ-за непомѣщенія статей и т. п., а изъ-за крупнаго жизненнаго дѣла, при томъ враги, въ началѣ по крайней мѣрѣ, весьма сильные. Разъ есть такіе враги, значитъ есть серьезная борьба, а борьба, не мелочная, конечно, даетъ возможность развернуть силы. У теперешней либеральной литературы враговъ нѣтъ или почти нѣтъ: все стало либерально, все выкрашено одной краской; нѣкоторые пытаются притворяться не либераль-

ными, но тщетно; столкновенія свелись на мелочныя дрязги. Во-вторыхъ, что еще важнѣе, прежняя либеральная литература имѣла передъ собой ясно поставленную живую цѣль, около которой, какъ около центра, группировались всѣ побочные вопросы. Цѣль эта была—освобожденіе крестьянъ. Нынѣшняя либеральная литература такой ясной, осязательной цѣли не имѣетъ. Въ недавно вышедшей книгѣ г. Стронина «Политика, какъ наука», находимъ нѣкоторый трактатъ о «возможномъ у насъ видѣ парламентаризма». Г. Стронинъ категорически говоритъ, что дѣло «начнется, безъ сомнѣнія, формой усиленія государственнаго совѣта членами по выборамъ, а окончится, вѣроятно, формою вѣча, т. е. единственнаго для всѣхъ сословій совѣщательнаго собранія». Впрочемъ, г. Стронинъ допускаетъ возможность раздѣленія вѣча на боярскую думу и земскую думу. «Возможно, наконецъ, — прибавляетъ г. Стронинъ,—устройство обѣихъ думъ по избранію, но только въ болѣе или менѣе отдаленномъ будущемъ, а именно при осуществленіи федераціи» (472). Г. Стронинъ обсуждаетъ все это въ качествѣ ученаго, провидящаго отдаленное будущее. Въ другомъ мѣстѣ онъ столь же категорически говоритъ, что въ близкомъ будущемъ никакихъ крупныхъ реформъ не предвидится, ибо по наукѣ выходитъ, что Россія должна прожить тридцать лѣтъ «акціи» или «прогрессіи», и затѣмъ тридцать лѣтъ «реакціи» или «регрессіи», потомъ опять сначала и т. д. Въ каждомъ изъ этихъ періодовъ есть моменты возрастанія и убыванія, и нынѣ мы переживаемъ моментъ убывающей прогрессіи. Дѣло чистое, противъ науки не пойдешь. Вотъ когда мы подойдемъ къ тому отдаленному будущему, о которомъ дебатируетъ г. Стронинъ, тогда либеральная литература будетъ имѣть цѣль, столь же осязательную и ясную, какъ освобожденіе крестьянъ. Какъ бы то ни было, современная либеральная литература достаточно ясной цѣли не имѣетъ и продовольствуется общими мѣстами и расплывающимися хорошими словами. Въ-третьихъ, наконецъ, даже признавая эти суррогаты удовлетворительными въ качествѣ цѣлей, нельзя не видѣть еще одного громаднаго преимущества прежней либеральной литературы: она могла относиться къ своей цѣли безусловно правдиво и искренно, ибо, на цѣли этой не было и нѣтъ ни малѣйшаго пятна, въ ней не было и нѣтъ ни малѣйшей раздвоенности—ее можно было только принять или отвергнуть. Теперешняя либеральная литература не смѣетъ прямо взглянуть въ лицо будущему. Она не можетъ быть искренна; потому что тѣ общія мѣста и расплывающіяся неопредѣленности, которыя составляютъ для нея суррогатъ осязательной цѣли, значительно зачернены какъ самымъ ходомъ европейской исторіи, такъ и многочисленными разъясненіями его и въ европейской, и въ русской литературѣ. Всѣ мы очень хорошо знаемъ, что политическая и экономическая свобода въ Европѣ оказалась новымъ видомъ рабства народа, что «національное богатство» оказалось тамъ нищетой народа и проч. Спрашивается, въ какой мѣрѣ горячо и искренно можетъ преслѣдовать литература эти цѣли? Благодаря этой раздвоенности, русская либеральная литература очутилась въ положеніи Буриданова осла, который стоитъ между двумя связками сѣна и не знаетъ, за которую изъ нихъ схватиться. Но такъ какъ проголодавшись, оселъ всетаки долженъ сдѣлать выборъ, то и русская либеральная литература выбираетъ себѣ, наконецъ, извѣстный путь, всетаки косясь, однако, на другую связку сѣна. Отсюда мелочность, несмѣлость и, скажемъ прямо, нечестность современной русской литературы. Ей приходится выѣзжать на мелочахъ, отнюдь не смущая своего спокойствія болѣе широкимъ размахомъ, который, чего добраго, захватитъ что-нибудь неподходящее, и прибѣгать къ хорошимъ словамъ, отнюдь не добираясь до ихъ смысла.

Скажутъ, можетъ быть, что европейская либеральная литература, еще ближе нашей знающая тѣневыя стороны европейской цивилизаціи, тѣмъ не менѣе не такъ безнадежно плоска, какъ наша. Это справедливо. Но, во-первыхъ, у европейской либеральной литературы есть враги, потому что европейская печать вовсе не такъ сплошь либеральна, какъ наша (какъ это ни странно съ перваго взгляда, но это вѣрно). Во-вторыхъ, европейская либеральная печать имѣетъ передъ собой совершенно опредѣленныя цѣли. Но что самое важное, знаніе тѣневыхъ сторонъ цивилизаціи не можетъ лишать европейскую литературу бодрости въ такой мѣрѣ, какъ нашу. Въ Европѣ либеральная литература есть отраженіе и органъ сильной, богатой, образованной буржуазіи. Либеральная литература тамъ стоитъ не «на песцѣ», какъ у насъ, она имѣетъ глубокіе и прочные корни въ обществѣ и потому, естественно, дѣйствуетъ смѣло, безъ слабостей и уступокъ. Европейскій либералъ есть продуктъ цѣлаго, весьма сложнаго и могучаго механизма и вполнѣ овладѣлъ своими словами. Его не проведешь словами «отечество», «патріотизмъ» и т. п. Когда русскіе одержали блестящую побѣду при Синопѣ, это былъ ударъ для Франціи, но парижская биржа, одно изъ колесъ механизма, во всеуслышаніе иначе оцѣнила этотъ фактъ и подняла курсы: она радовалась. Наоборотъ, провести другихъ при помощи

хорошихъ словъ европейскій либерализмъ умѣетъ такъ, какъ еще не снилось нашимъ мудрецамъ. Мы, съ одной стороны, не настолько причастились благъ европейской цивилизаціи, каковы свобода мысли, свобода политическая, многоразличныя матеріальныя удобства жизни и проч.,—чтобы вдохновляться ими, ставить ихъ краеугольнымъ камнемъ литературы. Съ другой стороны, за отсутствіемъ у насъ того класса общества, на долю котораго въ Европѣ, главнымъ образомъ, выпадаютъ всѣ эти блага, мы не можемъ такъ безповоротно односторонне рѣшать соотвѣтственные вопросы, какъ то возможно въ Европѣ. Т. е., пожалуй, и можемъ, но въ такихъ рѣшеніяхъ не можетъ быть смѣлости и искренности. Они должны произноситься всегда съ нѣкоторою оглядкой.

Для уясненія больного мѣста современной литературы вернемся на минуту къ предмету, затронутому въ прошлый разъ. Въ основаніи каждаго государства лежитъ фактъ завоеванія, призванія, вообще столкновенія двухъ или нѣсколькихъ неравныхъ силъ. Взаимныя отношенія этихъ неравныхъ силъ составляютъ существенную часть «совокупности предразсудковъ и установившихся идей» или отечества. Ими даже исчерпывается отечество, res patria. Эти отношенія устанавливаются дѣятельностью слѣпыхъ силъ природы,—кровнаго родства и расовыхъ различій. Люди принимаютъ ихъ безъ разсужденій или «предъ разсужденіями». Всѣ возникающіе изъ этихъ отношеній предразсудки и установившіяся идеи имѣютъ цѣлью идеализацію указаннаго Ренаномъ факта: «грубость многихъ есть условіе воспитанія одного, потъ многихъ позволяетъ немногимъ вести благородную жизнь». Въ силу этого интересы цѣлаго отождествляются съ интересами извѣстной части, кульминируются въ нихъ. Это не болѣе, какъ фикція, но она вполнѣ овладѣваетъ умами людей. Во имя ея совершаются величайшіе подвиги и величайшія злодѣйства. Не въ томъ дѣло, что человѣкъ жертвуетъ собою для нѣкотораго цѣлаго или для другихъ людей. Онъ можетъ это дѣлать вполнѣ сознательно и видѣть свое счастье и свою славу въ счастьи и славѣ цѣлаго или другихъ людей. Фикція начинается съ того момента, когда человѣкъ, работая по своему разумѣнію на цѣлое, работаетъ, въ сущности, на извѣстную часть цѣлаго, и когда эта часть и сама проникается мыслью о верховенствѣ своихъ интересовъ и цѣлей. Какъ показываетъ этимологія слова «патріотизмъ», люди первоначально не ошибались въ значеніи чувствъ и идей, выражаемыхъ имъ. Это были чувства чисто личной преданности «отцамъ» и ихъ интересамъ. Съ теченіемъ времени, вслѣдствіе усложненія соціальныхъ отношеній, этотъ простой и ясный характеръ патріотическихъ чувствъ утратился и замѣнился фиктивнымъ. Нѣтъ сомнѣнія, что во многихъ частныхъ случаяхъ интересы отцовъ были солидарны съ интересами остальныхъ частей цѣлаго, и эти частные случаи еще болѣе способствовали укрѣпленію фикціи. Она покоится на установившихся процессомъ исторіи идеяхъ и предразсудкахъ, т. е. на чемъ-то, какъ бы предшествующемъ сужденію, не зависимомъ отъ него, не подлежащемъ ему. Этотъ предразсудочный патріотизмъ можетъ претерпѣвать значительныя измѣненія, ибо отечество, т. е. извѣстный видъ общества, есть неподвижная форма съ текучимъ содержаніемъ. Общественныя силы могутъ комбинироваться самымъ различнымъ образомъ, но мысль, привыкшая уже къ предразсудочно - патріотическому направленію, продолжаетъ отождествлять интересы цѣлаго съ интересами отцовъ. Патріотизмъ требуетъ только, чтобы были отцы, все равно какіе, кандидаты же на это высокое мѣсто поставляются исторіей и, при томъ, въ нѣкоторомъ опредѣленномъ порядкѣ. За гордыми, мужественными, бряцающими во славу отечества мечами, воинами, идутъ ряды мирныхъ отцовъ-промышленниковъ. И хотя вмѣстѣ съ этимъ наступаетъ вѣкъ вящшаго реализма,—иллюзіи и фикціи не прекращаются. Во имя патріотизма тѣ немногіе, воспитаніе и благородная жизнь которыхъ обусловливаются грубостью и потомъ многихъ, сегодня ведутъ этихъ многихъ на бойню, а завтра... Но это завтра есть уже сегодня, и потому иллюзуарность не можетъ быть до такой степени очевидна, мы всѣ до извѣстной степени находимся въ ея власти. Сама жизнь устроиваетъ дѣло такъ, что на первыхъ, по крайней мѣрѣ, порахъ трудно отвлечь интересы всего общества отъ интересовъ новыхъ отцовъ, хотя бы, напримѣръ, г. Беггрова съ его сажеприготовительнымъ заводомъ. Это тѣмъ затруднительнѣе, что ничто не мѣшаетъ практическимъ людямъ, предпринимающимъ утилизацію силъ природы, быть людьми достойными уваженія, а утилизація силъ природы есть сама по себѣ дѣло полезное и необходимое

Никто, конечно, не ждетъ, чтобы мы въ своихъ скромныхъ замѣткахъ разъяснили, какимъ образомъ изъ всего этого выходятъ «цѣлыя арміи пролетаріевъ и преступниковъ» и проч. Будемъ надѣяться, что г. Скальковскій посвятитъ этому любопытному и не лишенному значенія вопросу часть своихъ досуговъ и представитъ спеціальное изслѣдованіе. Мы указываемъ только, что русская жизнь выдвигаетъ крупный вопросъ и что литература наша не пытается не только раз-

рѣшить его, а даже поставить. Мы указываемъ, далѣе, на вѣроятныя причины такого поведенія литературы.

Бываютъ въ исторіи такіе моменты, когда общество приноситъ тяжелыя и кровавыя жертвы во имя фикціи, во имя трудно поддающихся власти человѣка словъ. Оно приноситъ ихъ охотно, съ энтузіазмомъ являетъ чудеса самоотверженія, мужества и преданности смутно сознаваемымъ идеямъ. Литература въ такихъ случаяхъ или молчитъ, потому что не смѣетъ говорить, или сама вмѣшивается въ общее теченіе и поетъ пѣсни Тиртея или говоритъ пламенныя рѣчи Фихте. Много обыкновенно бываетъ въ такихъ патріотическихъ произведеніяхъ и подогрѣтаго и грубаго, но есть въ нихъ также и искреннее чувство и сила. Такою была и русская литература въ крымскую войну.

Бываютъ другіе моменты исторіи, когда общество, разочарованное въ старыхъ фикціяхъ, предается покаянію. Тогда на первый планъ выдвигается литература смѣлая, съ увлеченіемъ перебирающая все полученное по наслѣдству, всѣ предразсудки и установившіяся идеи, разоблачающая всѣ иллюзіи и фикціи, добирающаяся до ихъ реальныхъ основъ. Установившіяся идеи она стремится замѣнить сознательно избираемымъ направленіемъ, предразсудки—убѣжденіемъ. Какъ Ѳома Невѣрный, она желаетъ вложить персты въ язвы гвоздиныя.—Такова была русская литература послѣ крымской войны до середины шестидесятыхъ годовъ.

Бываютъ, наконецъ, времена мрачнаго затишья, когда умственныя и въ особенности нравственныя силы литературы изсякаютъ. Она покоя требуетъ. Она неспособна ни воодушевлять общество на какіе бы то ни было подвиги, ни допросить тотъ духовный хлѣбъ насущный, который она пережевываетъ, не останавливаясь, подобно жвачному животному. Она жуетъ... жуетъ... жуетъ...—Такова наша теперешняя литература. Тщетно стали бы мы у нея добиваться отчета въ ея поведеніи: зачѣмъ она интересуется этимъ и почему проходитъ мимо того? Она этого сама не знаетъ. Она затвердила, что литература должна отзываться на современные вопросы и исполняетъ эту формальность. Но это именно одна формальность, потому что, тщательно (и то, впрочемъ, не особенно) разглядывая всякую мелочь, литература сознательно отворачивается отъ крупнѣйшихъ вопросовъ нашей жизни. Если прежняя литература сплошь и рядомъ хватала черезъ край въ своемъ стремленіи совлечь съ себя ветхаго человѣка, если она нерѣдко впадала въ крайности отрицанія, то это не мѣшало ей оставаться на высотѣ своего призванія: за ея отрицаніемъ скрывалось столько вѣры, столько силы, что ей нечего было бояться. Современная литература, напротивъ, до такой степени внутренно безсильна и въ сущности ни во что не вѣритъ, что должна во что бы то ни стало прятаться подъ покровомъ предразсудковъ, т. е. недопрошенныхъ идей. Какъ бы ни допрашивала себя прежняя литература, какимъ бы оргіямъ отрицанія она ни предавалась, въ ней было здоровое и неразрушенное зерно, изъ котораго немедленно выростало нѣчто взамѣнъ допрошеннаго и отброшеннаго: «Разрушу и создамъ», могла бы сказать эта литература девизомъ Прудона. Такого зерна въ современной литературѣ нѣтъ. Она нищая, ей не по средствамъ тѣ расходы умственной и нравственной силы, какіе могла себѣ позволять ея богатая предшественница. Она знаетъ или, вѣрнѣе, чуетъ, что, наложивъ руку на свои лохмотья, она рискуетъ предстать передъ обществомъ въ полномъ блескѣ своей непривлекательной наготы. И вотъ почему она не прочь даже солгать въ прямомъ смыслѣ слова, не говоря уже о лжи косвенной, состоящей въ умалчиваніи и утаиваніи. И эта-то лживая, умалчивающая литература осмѣливается называть «молчальниками» тѣхъ немногихъ, которые предлагаютъ ей, оставя частности, высказаться по общимъ вопросамъ современной жизни. Конечно, на этотъ счетъ она никого не обманетъ.

Вполнѣ цѣня глубину нравственнаго оскудѣнія современной русской литературы, мы склонны, однако, думать, что въ большинствѣ ея представителей оскудѣніе это проявляется болѣе пассивно, чѣмъ активно. Немногіе развѣ дѣйствуютъ вполнѣ злостно. Большинство же лишено энергіи и на добро, и на зло. Вяло, лѣниво, улиткообразно справляетъ литература свою службу, сообщаетъ свѣдѣнія, научныя и изъ текущей практической жизни, возится и копошится надъ ними. Несмотря на копотливость и приверженность къ разработкѣ текущихъ вопросовъ, она въ сущности не отъ міра сего, ибо міръ этотъ даетъ ей только самыя скудныя, такъ сказать, микроскопическія возбужденія. Формальнымъ образомъ она исполняетъ свои обязанности прекрасно, но едва ли она знаетъ, зачѣмъ она существуетъ. Она аккуратна съ виду, но глубоко неряшлива въ существѣ. Она очень любитъ бодриться, но такой умственной и нравственной дряблости въ литературѣ русское общество давно уже не видало. Въ одной изъ своихъ рѣчей по Нечаевскому дѣлу г. Спасовичъ желалъ охарактеризовать ту особенность русскихъ дѣятелей, которую онъ называетъ радикализмомъ. Русскіе дѣятели, по мнѣнію г. Спасовича, обнаруживаютъ особенную склонность къ анализу, къ докапыванію до корня вещей. Мы ду-

маемъ: разныя времена, разные и нравы, новыя птицы, новыя и пѣсни. Еще не такъ давно приговоръ г. Спасовича былъ бы справедливъ. Недовѣріе къ слову, презрѣніе къ рутинѣ, жажда труда, самостоятельной работы надъ своими мыслями и чувствами, почти слѣдовательское отношеніе къ установившимся идеямъ и ходячимъ мнѣніямъ, еще недавно были выдающимися чертами русскаго общества и русской литературы. Можетъ быть, эти черты еще живы кое-гдѣ въ обществѣ, но въ литературѣ было бы напраснымъ трудомъ искать ихъ. Теперешняя литература, напротивъ, требуетъ прежде всего спокойствія, рутины, словъ, ходячихъ мнѣній, праздности. Она гонитъ отъ себя и отъ общества все, что могло бы нарушить сонное спокойствіе, и стремится укрыться подъ сѣнь установившихся идей. Прочь анализъ и допросы; прочь вызываемые ими грозные или безобразные призраки: прочь «убѣжденія», «направленія», всѣ эти отчеты передъ самимъ собой и передъ ближними. Литература путешествуетъ «по своимъ дѣламъ» и съ высоты этого круглаго, жирнаго конька то насмѣшливо, то апатично посматриваетъ на все, чему прежде поклонялась, и поклоняется всему, что прежде сжигала.

Для подтвержденія нашей мысли о характерѣ отношеній прежней литературы къ своимъ задачамъ, мы напомнимъ читателю статьи не какихъ-нибудь нигилистовъ или свистуновъ. Для насъ и выгоднѣе, и удобнѣе, да, наконецъ, это будетъ и безпристрастнѣе, опереться на мнѣнія человѣка, никогда никѣмъ къ сонму неблагонамѣренныхъ и утопистовъ не причислявшагося, почтеннаго практическаго дѣятеля по педагогіи и талантливаго беллетриста, гр. Л. Н. Толстого. Мы напомнимъ читателю одну изъ Яснополянскихъ статей этого писателя: «Прогрессъ и опредѣленіе образованія» (Сочиненія, изд. Стелловскаго, часть II). Въ статьѣ этой графъ Толстой, отстаивая мысль о необходимости критерія педагогіи и свою формулу этого критерія, требуетъ отъ своихъ оппонентовъ категорическаго отвѣта на такіе вопросы: кто рѣшилъ, что прогрессъ, какъ онъ понимается обыкновенно и какъ онъ практикуется въ Европѣ, а теперь и у насъ, ведетъ къ благосостоянію? Что слѣдуетъ признавать благосостояніемъ: улучшеніе ли путей сообщенія, распространеніе книгопечатанія, освѣщеніе улицъ газомъ, размноженіе домовъ, призрѣніе бѣдныхъ и т. п., или первобытное богатство природы—лѣса, дичь, рыбу, сильное физическое развитіе, чистоту нравовъ и т. п.? Гдѣ доказательства, что прогрессъ принесъ людямъ больше добра, чѣмъ вреда? Почему $^9/_{10}$ европейскаго населенія считаютъ себя неудовлетворенными благодѣяніями прогресса и противодѣйствуютъ ему при всякомъ удобномъ случаѣ? Для кого собственно выгодно преодолѣніе силъ природы, побѣды надъ пространствомъ и временемъ и проч.? Графъ Толстой не только задаетъ эти вопросы, но и отвѣчаетъ на нихъ. Онъ доказываетъ, что телеграфы, книгопечатаніе, желѣзныя дороги, пароходы, машины, удовлетворяя желаніямъ и наклонностямъ «незанятыхъ классовъ» общества, сами по себѣ ни малѣйше не гарантируютъ благосостоянія народа. «Прогрессъ благосостоянія не только не вытекаетъ изъ прогресса цивилизаціи, но большею частью противоположенъ ей». «Прогрессъ тѣмъ выгоднѣе для общества, чѣмъ невыгоднѣе для народа». «Прогрессъ книгопечатанія, какъ и прогрессъ электрическихъ телеграфовъ, есть монополія извѣстнаго класса общества, выгодная только для людей этого класса, которые подъ словомъ «прогрессъ» разумѣютъ свою личную выгоду, вслѣдствіе того всегда противорѣчащую выгодѣ народа».—Вотъ нѣкоторые изъ положеній и выводовъ, къ которымъ приходитъ графъ Толстой. Мы совершенно согласны съ основною мыслью автора, но, не касаясь затрогиваемаго вопроса по существу, мы обращаемъ вниманіе читателя на пріемы и духъ изслѣдованія графа Толстого. Они типичны, не смотря на свою оригинальность, и весьма характерны для нашего недавняго прошлаго. О графѣ Толстомъ, конечно, ужъ нельзя сказать того, что такъ часто говорится о другихъ, что вотъ, дескать, человѣкъ забавляется парадоксами или строитъ утопіи по своей отчужденности отъ практической жизни. Произнеся такой приговоръ, «хитромудрые писаречки» считаютъ себя въ правѣ отвертываться отъ мыслей приговореннаго. Но вотъ человѣкъ, не по заказу или наряду, а по доброй волѣ, изъ любви къ дѣлу, принимается за теорію и практику воспитанія и приходитъ къ вышеприведеннымъ соображеніямъ. Каждый, мы увѣрены, придетъ къ нимъ при достаточной смѣлости, искренности и, разумѣется, при достаточныхъ умственныхъ способностяхъ. Многіе къ нимъ и приходили, но никто не приходитъ къ нимъ теперь. Отчего? Еще недавно и въ обществѣ, и въ литературѣ всѣ стремились дать себѣ полный отчетъ въ каждомъ своемъ словѣ, въ каждомъ своемъ шагѣ. Зачѣмъ? для чего? почему?—вотъ вопросы, съ которыми мы подступали къ самымъ привлекательнымъ словамъ, къ самымъ пышнымъ понятіямъ, къ самымъ освященнымъ идеямъ. Нѣтъ сомнѣнія, что это стремленіе не допускать въ свою жизнь и свои вѣрованія ничего недопрошеннаго обратилось подъ конецъ въ нѣкоторыхъ личностяхъ въ своего рода узкій

догматизмъ. Но дѣло не въ этомъ, а въ томъ, почему мы были такъ пытливы и смѣлы, почему мы могли вызывать на бой и вѣковой прогрессъ Европы, и всѣ преданія своей старины, весь грозный своею реальностью міръ фактовъ и всю область идеаловъ человѣчества? Отвѣтъ очень простъ. Мы были смѣлы, потому что были сильны. Сильны не внѣшнею какою-нибудь силою, хотя и она до извѣстной степени была налицо, но она была продуктомъ силы внутренней, нравственной, крѣпости идеаловъ, вѣры въ нихъ.

Все это разлетѣлось, какъ дымъ, вслѣдъ за движеніемъ, вызваннымъ освобожденіемъ крестьянъ и продолжавшимся нѣкоторое время по инерціи и послѣ него. Никакихъ идеаловъ общество и литература нынѣ не имѣютъ. Поговорите съ земскими дѣятелями, съ адвокатами, съ прокурорами, съ писателями, выбирайте наиболѣе дѣятельныхъ, наиболѣе суетящихся,—и вы увидите, какъ мало въ нихъ вѣры въ свою суетню, сколько въ нихъ скептицизма; не того здороваго скептицизма, который не позволяетъ ступить шагу безъ отчета самому себѣ, а скептицизма болѣзненнаго, не мѣшающаго шагать куда бы ни потянули аппетиты. Сравните это нормальное теперешнее положеніе съ смѣшными крайностями недавняго прошлаго, въ родѣ идеальныхъ становыхъ приставовъ. Это будетъ сравненіе поучительное. «Не мѣсто краситъ человѣка, а человѣкъ мѣсто»,—такъ, кажется, называлась одна изъ комедій, въ которой фигурировали идеальные становые пристава. Комедія была забавна, но замѣтьте, что ея слащавая мораль была несравненно выше морали теперешней жизненной комедіи, въ которой никто въ свое мѣсто не вѣритъ и всетаки остается на немъ.

Итакъ, симптомы и главная причина болѣзни современной литературы суть слѣдующіе. Литература и вся образованная часть общества знаютъ, что матеріальное и политическое развитіе, на путь котораго мы вступаемъ, будетъ полезно и выгодно только извѣстному классу общества, а народу не только не поможетъ, но даже поставитъ его въ положеніе худшее. Что же касается того класса общества, которому оно будетъ выгодно, то онъ въ настоящую минуту еще почти не существуетъ и создается только самымъ процессомъ развитія. Если бы этотъ классъ былъ уже въ наличности на достаточной степени развитія, то, опираясь на него и его интересы, литература могла бы развернуться, расцвѣсть болѣе или менѣе пышно, вполнѣ искренно и сознательно. Нынѣ она этого сдѣлать пока еще и не можетъ, и не хочетъ. Она движетъ общество къ той же цѣли, но только пассивно. Съ другой стороны, привычное, традиціонное уваженіе къ фактамъ означеннаго матеріальнаго и политическаго развитія мѣшаетъ литературѣ взглянуть въ лицо будущему и оцѣнить его по достоинству. Отсюда безцѣльность, лживость, неискренность, фальшивость современной либеральной литературы. Въ виду катящейся на насъ лавины европейской цивилизаціи, литературой овладѣла паника, благодаря которой она не смѣетъ ни призывать лавину, ни протестовать противъ нея. Призывы, однако, совершаются чаще, но только въ мелочахъ и по частямъ.

Не всѣ, однако, такъ объясняютъ современное оскудѣніе литературы, хотя почти всѣ признаютъ фактъ. Справедливость обязываетъ насъ привести хотя одинъ образчикъ иныхъ объясненій. И мы дѣлаемъ это тѣмъ охотнѣе, что вмѣстѣ съ тѣмъ намъ представляется случай рекомендовать одну новую книгу, упомянутую уже книгу г. Стронина: «Политика, какъ наука». На стр. 413-й этой книги фактъ оскудѣнія современной литературы утверждается самымъ категорическимъ образомъ: «интеллигенція вымерла до тла во всѣхъ сферахъ; нигдѣ ни таланта, ни признака малѣйшаго творчества; нѣтъ у насъ больше ни ученыхъ, какъ Пироговъ, Остроградскій, Грановскій, ни поэтовъ, какъ Пушкинъ, Лермонтовъ, ни беллетристовъ, какъ Гоголь, Тургеневъ, ни критиковъ, какъ Бѣлинскій, Добролюбовъ, ни актеровъ, какъ Каратыгинъ, Мочаловъ, ни музыкантовъ, какъ Глинка, Даргомыжскій, ни живописцевъ, какъ Брюловъ, Ивановъ, ни популяризаторовъ, какъ Писаревъ, Чернышевскій, ни пропагандистовъ, какъ Герценъ, ни агитаторовъ, какъ Бакунинъ, и все, что есть у насъ, это только такіе агитаторы, какъ Каракозовъ и Нечаевъ,—замѣна, отъ которой не поздоровится никакому обществу». Дѣло не въ томъ, что г. Стронинъ здѣсь не совсѣмъ вѣрно констатируетъ факты: гг. Соловьевъ, Костомаровъ, какъ ученые, стоятъ не ниже Грановскаго; г. Сѣченовъ и нѣкоторые другіе съ честью поддерживаютъ знамя руской науки: Каракозова никогда никто агитаторомъ считать не могъ; музыкальное наше развитіе по мнѣнію многихъ не кончается, а только начинается; живописцы у насъ, говорятъ, есть почище Брюлова; г. Тургеневъ остается такимъ же талантливымъ беллетристомъ и т. п. Дѣло не въ томъ также, что самый пріемъ г. Стронина—измѣреніе оскудѣнія при помощи переклички—совершенно неудовлетворителенъ. Дѣло только въ томъ, что фактъ, на который хотѣлъ указать г. Стронинъ, не подлежитъ сомнѣнію. Какъ объяснить его? Г. Стронинъ дѣлаетъ это якобы научнымъ маневромъ, даже съ чертежами, изображающими полукругъ и нѣкоторую волнообразную линію: на каждой восходящей волнѣ сдѣлана надпись: «акція», а на нисходящей: «реакція».

Къ этому прибавлена еще стрѣлка, указывающая, что эти волны куда-то подвигаются (стр. 164, 168). Здѣсь и объясненіе все. За «акціей» должна слѣдовать «реакція». Это неизбѣжно. Ждать или желать чего-нибудь иного, говоритъ г. Стронинъ, значитъ ждать или желать постоянной ѣды безъ промежутковъ, нужныхъ для пищеваренія. Мысль эта многократно развивается г. Стронинымъ, но она, собственно, вся тутъ, равно какъ и все объясненіе. За то у г. Стронина много пророчествъ. Заявивъ, что русская интеллигенція нынѣ исчерпывается Каракозовымъ и Нечаевымъ (даже страшно становится), г. Стронинъ продолжаетъ: «Но за то же обратите вашъ взоръ на число вырастающихъ у насъ сельскихъ и городскихъ банковъ, на количество возникающихъ потребительныхъ обществъ, на всѣ наши акціонерныя, страховыя и кредитныя общества, компаніи и товарищества и, наконецъ, въ особенности на эту внезапно укрывшую нашу почву сѣть желѣзныхъ дорогъ, на рельсы, протянувшіяся на десятки тысячъ верстъ, тогда какъ еще десять лѣтъ назадъ ихъ не было и одной тысячи—и вы увидите, что общество живетъ, но только живетъ экономической, а не политической жизнью» (Намъ пріятно привести слова графа Л. Н. Толстого, которыми онъ въ упомянутой выше статьѣ отвѣчалъ на подобную же тираду: «все это прекрасно, чувствительно; но для кого это выгодно?»). Изъ этого, равно какъ и изъ общаго закона акцій и реакцій, г. Стронинъ заключаетъ: «Ко времени непосредственно слѣдующаго царствованія и поколѣнія начнетъ ослабѣвать экономическая жизнь и будетъ продолжаться только вяло, отдыхая и собираясь съ новыми силами и капиталами. Жизнь политическая, правительственная, отдохнувъ къ тому времени, воспрянетъ: но воспрянетъ въ томъ только отношеніи, въ которомъ дѣйствительно отдохнула, т. е. въ политикѣ внѣшней, а не внутренней, въ войнѣ, а не въ мирѣ. И, наконецъ, наиболѣе отдохнувшая интеллигенція наиболѣе всего и воспрянетъ съ новою силою и энергіей. Будущее поколѣніе обѣщаетъ намъ одинъ изъ пышнѣйшихъ расцвѣтовъ нашей интеллигенціи» (414). Одно изъ этихъ предсказаній г. Стронинъ развиваетъ далѣе и утверждаетъ, что если не въ слѣдующемъ поколѣніи, когда «правительственная дѣятельность воспрянетъ въ войнѣ», то всетаки скоро Россія завоюетъ Европу, всю безъ остатка, такъ что и на сѣмена не оставитъ! Мы не остановимся въ своихъ завоеваніяхъ, «пока развѣ не дойдемъ до Атлантическаго океана; тутъ только конецъ, тутъ только дальше идти некуда» (386). Дѣйствительно, тутъ ужъ только и остается, что камень на шею, да въ воду.

А хорошо быть ученымъ: все-то онъ знаетъ, все предвидитъ, ко всему готовъ. Г. Стронинъ даже вотъ что знаетъ. Онъ раздѣляетъ наше дворянство на «европейскую аристократію», не только сочувствующую всѣмъ благимъ реформамъ, но забѣгающую имъ впередъ, и аристократію «монгольскую», упорную и своекорыстную. Такъ вотъ г. Стронинъ знаетъ, что «европейская аристократія наша въ Москвѣ, напримѣръ, относится къ монгольской въ послѣднее время, какъ 123 : 110» (344). Точность поразительная! Но болѣе всего намъ нравятся въ сочиненіи г. Стронина научныя разсужденія о «методахъ завоеванія». Въ сочиненіи «Исторія и методъ» онъ раздробилъ общественную науку что-то на очень много наукъ,—штукъ, помнится, шестьдесятъ,—въ числѣ которыхъ есть социалистика, эрготика, междоусобное право и проч., и проч. Теперь онъ, повидимому, каждую изъ этихъ наукъ хочетъ не только опредѣлить, а и построить. Построилъ онъ «политику, какъ науку» и обѣщаетъ идти дальше. И навѣрное пойдетъ, пока развѣ, въ Атлантическій океанъ не упрется. Пріятно будетъ ознакомиться, напримѣръ, съ междуусобнымъ правомъ, въ которое, чего добраго, войдетъ ученый трактатъ о «методахъ грабежа, разбоя и воровства со взломомъ».

Говоря безъ шутокъ, мы не обратили бы никакого вниманія на новое произведеніе г. Стронина, если бы значеніе измышленій этого писателя не раздувалось такой распространенной газетой, какъ «С.-Петербургскія Вѣдомости», и если бы образъ мыслей г. Стронина не гармонировалъ такъ съ общимъ настроеніемъ литературы. Продуктъ современной литературы долженъ имѣть прежде всего степенный, ученый видъ,—произведенія г. Стронина удовлетворяютъ этому требованію. Продуктъ современной литературы долженъ ерзать около текущихъ вопросовъ, ничего, однако, не объясняя,—произведенія г. Стронина удовлетворяютъ и этому. Рѣчь идетъ, напримѣръ, о жалкомъ состояніи теперешней литературы. Представьте себѣ двухъ фланеровъ, которые, собственно, ни малѣйше литературой не интересуются, но наложили на себя обязанность быть au courant. Встрѣчаются они на Невскомъ проспектѣ.—Отчего это, mon cher, прежде Пироговъ, Грановскій, а теперь никакого творчества?—Ты забылъ, mon cher, что за акціей всегда должна слѣдовать реакція. И фланеры расходятся, вполнѣ удовлетворенные, но единственно потому, что ничто въ нихъ и не подлежало удовлетворенію. Въ самомъ дѣлѣ, развѣ живой человѣкъ, интересующійся дѣломъ, принимающій въ немъ участіе, желающій вліять на его ходъ,—развѣ онъ можетъ удовлетвориться этими акціями и реакціями?

Между тѣмъ современная литература удовлетворяется.

Въ послѣднее время у насъ появилось не мало сочиненій по соціологіи, т. е. не по той или другой отрасли нравственно-политическихъ наукъ, а обнимающихъ всѣ или многія отправленія общества. Въ Европѣ такихъ сочиненій появляется, разумѣется, гораздо больше, но тамъ они очень разнообразны по своимъ принципамъ и методамъ. Тамъ можно встрѣтить трактаты объ обществѣ и съ богословской, и съ метафизической, и съ научной точки зрѣнія. У насъ этого нѣтъ. Г. Стронинъ (Исторія и методъ. Политика, какъ наука), г. Жуковскій, г. Глинка (Наука о человѣческомъ обществѣ), г. П. Л. (Мысли о соціальной наукѣ будущаго) *) и проч., начинаютъ свои трактаты непремѣнно заявленіями о положительности, научности ихъ точекъ зрѣнія и методовъ, о вѣрѣ въ закономѣрность явленій соціальной жизни, неподчиненность послѣднихъ ничьему произволу и проч. Нельзя не порадоваться этому явленію въ принципѣ. Оно свидѣтельствуетъ, что нѣкоторые фазисы развитія, черезъ которые должна была проходить европейская мысль, чтобы напослѣдокъ убѣдиться въ ихъ несостоятельности, могутъ быть обойдены нами. А это даетъ надежду, что и въ практической жизни мы, благодаря своему позднему выходу на поле цивилизаціи, можемъ избѣжать многихъ ошибокъ, за которыя Европа платилась и платится кровью и вѣковыми страданіями. Но festina lente! Предполагая посвятить особый этюдъ спеціально русскимъ соціологамъ, мы замѣтимъ теперь только слѣдующее. Что общество повинуется въ своемъ развитіи извѣстнымъ законамъ, —это несомнѣнно, но не менѣе несомнѣнно присущее человѣку *сознаніе свободнаго выбора дѣятельности*.

Изъ этихъ двухъ несомнѣнностей возникаетъ противорѣчіе, разрѣшенія котораго здѣсь отъ насъ не требуется, и мы замѣтимъ только, что въ разныя времена въ общемъ сознаніи преобладаетъ то одна, то другая изъ этихъ половинъ истины. Нынѣ у насъ господствуетъ убѣжденіе въ непреложности законовъ общественнаго движенія и состоянія. И это совершенно соотвѣтствуетъ теперешнему общему настроенію нашего общества и литературы. Возможность и даже обязанность плыть по теченію только формулируя его, а не подвергая нравственной оцѣнкѣ, малый запросъ на силу воли и ясность идеаловъ и большой спросъ на покорность ходу вещей, невѣріе въ собственныя силы,—вотъ что сопряжено съ одностороннимъ примѣненіемъ идеи закономѣрности къ явленіямъ общественной жизни. Нетрудно видѣть, что все это какъ разъ приходится по мѣркѣ современному обществу. Нельзя постоянно принимать пищу, говоритъ г. Стронинъ, нужны промежутки для перевариванія ея: точно такъ же невозможна вѣчная «акція», нужны и реакціи; мы попали въ моментъ реакціи и прати противу рожна не слѣдуетъ и нельзя. Аналогія подведена очень осязательная: въ самомъ дѣлѣ, нельзя же вѣчно ѣсть. А между тѣмъ выводъ утѣшителенъ: онъ снимаетъ отвѣтственность со всякаго бездѣльника и фигляра за его бездѣльничанье и фиглярство. Я ничего не дѣлаю, не вѣрю въ занимаемое мною въ обществѣ мѣсто, надуваю, ворую, для меня нѣтъ ничего святого, и формула моей жизни исчерпывается щедринскимъ словомъ: «жрать»! Но за меня законъ акцій и реакцій. Вините въ моемъ существованіи Бога: вините фатумъ, мойру, исторію, но меня оставьте жрать, пока мнѣ жрется. Наступитъ время новой «акціи», и посмотрите, какъ я воспряну, какихъ я подвиговъ надѣлаю: я пройду побѣдоносно всю Европу и зачерпну кирасирской каской воды изъ Атлантическаго океана. Вамъ не нравится мой методъ грабежа, разбоя и воровства со взломомъ? Но таковъ ужъ будетъ характеръ акціи, и опять-таки вините въ немъ кого хотите, кромѣ меня. Я не имѣю понятія о причинахъ паденія и торжества народовъ, я и не хочу въ нихъ вдумываться. Законы исторической жизни всегда безошибочно укажутъ мнѣ истину: гдѣ сила, тамъ и право, побѣдитель выше побѣжденнаго. Ни думать, ни отвѣчать за что-либо, ни работать надъ чѣмъ-нибудь, ни стремиться куда бы то ни было —незачѣмъ; все, что должно быть, будетъ, чего не должно быть—не будетъ. Завидное положеніе! Но, о вы, почтенные соціологи, что же мнѣ дѣлать, если мнѣ глубоко противно черпать кирасирской каской воду изъ Атлантическаго океана? Если нѣтъ такого метода грабежа, разбоя и воровства со взломомъ, который не возмущалъ бы меня? Если мнѣ хочется чего-нибудь, кромѣ жратвы? Если вы мнѣ не можете отвѣтить, то объясните мнѣ, по крайней мѣрѣ, мое существованіе, грызущаго меня червяка.—Соціологи ухмыляются. Это пройдетъ, снисходительно говорятъ они. —Боги науки! Неужели пройдетъ? —Пройдетъ, пройдетъ, надо только приспособиться къ условіямъ существованія вообще и къ требованіямъ науки въ частности.—Я глубоко уважаю науку. Я ее до такой степени уважаю, что покажите мнѣ истину и, я увѣренъ, я паду предъ ней ницъ, не сумѣю противиться ей, если бы я

*) Писателя этого не должно смѣшивать съ подписывающимся иногда тѣми же буквами авторомъ «Исторіи физико-математическихъ наукъ» и многочисленныхъ философскихъ статей.

желалъ.—Мы вамъ покажемъ истину, спокойно-величаво отвѣчаютъ соціологи и начинаютъ показывать...

Но я съ изумленіемъ вижу, что мнѣ показываютъ не истину, а фокусы. Выходитъ на эстраду г. Жуковскій и, презрительно оглядывая публику, говоритъ: я вамъ все это сейчасъ математическимъ методомъ обработаю. Начинается обработка, но публика видитъ, что ей просто переводятъ старыя истины на математическій языкъ. Это очень ловкій фокусъ, требующій и терпѣнія, и искусства, но это всетаки не истина, а фокусъ; такой же фокусъ, какъ переводъ былинъ съ народнаго языка на языкъ образованныхъ классовъ, какъ написаніе повѣсти на древне-новомъ языкѣ, какъ «Конецъ Чертопханова». Я не вижу не только истины, но не понимаю, зачѣмъ понадобился переводъ старыхъ истинъ на математическій языкъ, зачѣмъ переводъ былинъ, зачѣмъ нужна повѣсть на невѣроподобномъ языкѣ, зачѣмъ, наконецъ, понадобился «Конецъ Чертопханова». Я развлекаюсь, это правда, но вѣдь только развлекаюсь. При этомъ я пораженъ тѣмъ, что у развлекающаго меня фокусника хватаетъ духу писать, напримѣръ, слѣдующее: «Само собою разумѣется, что относительно точнаго метода Контъ вообще повторилъ только то, что было высказываемо гораздо ранѣе его и съ большимъ смысломъ со временъ Бэкона, что книга его, по ея содержанію, вмѣсто положительной философіи точнѣе должна быть названа книгой «положительной философіи для однѣхъ наукъ и не положительной для другихъ». Но она всетаки носила заманчивое, хотя и невѣрное заглавіе положительной философіи; далѣе, она была написана языкомъ популярнымъ и представляла цѣльное обозрѣніе системы знанія. Все это дѣлало ее цѣнной для философовъ и популяризаторовъ третьей руки, имѣющихъ обыкновеніе ограничивать свое философское образованіе одной какой-либо книгой. Все это дѣлало ее цѣнной для свѣтскихъ людей, нашедшихъ въ ней руководство, въ которомъ философія была низведена на степень гостиннаго чтенія» («Кэри и его теорія», «Вѣстникъ Европы», октябрь). Мнѣ странно, что забавляющій меня фокусникъ такъ великолѣпенъ. При этомъ онъ дѣлаетъ фокусъ, не входящій въ программу сеанса. При томъ же фокусъ этотъ крайне грубъ, ибо всякій, прочитавшій хотя одну страницу Конта, знаетъ, что популярнаго языка и гостиннаго чтенія тамъ съ собаками не отыщешь. Изъ чего слѣдуетъ заключить, что г. Жуковскій, для вящшей послѣдовательности въ своемъ презрѣніи къ популярному языку и гостинному чтенію, не читалъ Конта. Какъ ни странно это заключеніе, но къ нему можно подойти еще съ одной стороны. Статья г. Жуковскаго представляетъ изложеніе и комментарій книги Кэри «Руководство къ соціальной наукѣ». Въ книгѣ этой Кэри предается, между прочимъ, совершенно неосновательной и мѣстами просто дикой критикѣ Конта. Онъ Конта просто не понялъ, а г. Жуковскій положилъ это непониманіе въ основаніе своего хитро-мудраго приговора. Мы увѣрены, что если бы г. Жуковскій читалъ самого Конта, онъ бы его понялъ лучше Кэри. Но, скажутъ можетъ быть, понять Конта не такая ужъ хитрость, чтобы ее не могъ одолѣть такой замѣчательный писатель, какъ Кэри. Вѣдь, какъ свидѣтельствуетъ г. Жуковскій въ той же статьѣ, «изъ всей массы экономистовъ, являвшихся въ такомъ изобиліи въ теченіе первой половины текущаго столѣтія, Кэри представляется однимъ изъ немногихъ, заслуживающихъ упоминанія. Самъ онъ въ своихъ изслѣдованіяхъ не достигаетъ математической простоты и ясности Рикардо и часто является поверхностнымъ и парадоксальнымъ, но его въ то же время выдвигаетъ изъ ряда своеобразность и оригинальность воззрѣнія на извѣстныя существенныя стороны экономическаго вопроса. Въ этомъ отношеніи Кэри пришелъ всетаки не съ пустыми руками въ науку и обратилъ вниманіе на такія существенныя вещи, на которыя до него не было обращено надлежащаго вниманія». Дѣйствительно, нынѣ г. Жуковскій весьма благосклоненъ къ Кэри. Но я вспоминаю одну очень хорошую статью того же г. Жуковскаго въ «Современникѣ»: «Смитовское направленіе и позитивизмъ въ экономической наукѣ». Статья эта пестрѣетъ фразами: «Кэри не понялъ», «Кэри не сознавалъ», «Кэри не понималъ» и проч. Есть въ ней также слѣдующее замѣчаніе: «Система Кэри, какъ можно догадываться, была встрѣчена не безъ живого сочувствія французскими экономистами въ трудахъ Бастіа и пользуется до сихъ поръ популярностью въ кругу рутинныхъ писателей. У насъ ей также былъ отданъ почетъ, болѣе, впрочемъ, по простотѣ, чѣмъ сознательно, г. Бунге. Не такъ отнесся къ ней Дж.-Ст. Милль. Онъ просто посмѣялся надъ ней». Итакъ, Кэри, пожалуй, могъ и не понять Конта, ибо могъ же онъ обратиться изъ вождя рутинныхъ писателей въ писателя своеобразнаго и оригинальнаго; изъ человѣка, надъ которымъ резонно смѣются, въ человѣка, котораго резонно уважаютъ. Мнѣ любопытно только знать, при чемъ тутъ русская литература, которая прежде, въ лицѣ г. Бунге, «отдавала системѣ Кэри почетъ болѣе по простотѣ, чѣмъ сознательно», а нынѣ, въ лицѣ г. Жуковскаго, отдаетъ ей почетъ вѣроятно болѣе сознательно чѣмъ по про-

стотѣ. Или мы, можетъ быть, во исполненіе мечтаній Руссо возвращаемся къ первобытной простотѣ?

Г. Жуковскій, снисходительно кивнувъ головой въ отвѣтъ на аплодисменты, удаляется съ эстрады. Его мѣсто заступаетъ г. Стронинъ. Слышится вступленіе: сейчасъ я вамъ, милостивые государи и государыни, покажу соціалистику, соціологію, эрготику, пальятику, прогматику, исторіологію, паѳосологію, эвидентику, аттентику, обсерватику, и все это мы обработаемъ аналогическимъ методомъ. Начинается... Боже, что это начинается!

«Всякое возможное общество, идя снизу вверхъ, непремѣнно сужается, такъ что оканчивается, наконецъ, вершиною, состоящею изъ одной индивидуальности. Другими словами, строеніе общества есть чисто пирамидальное» (Политика, какъ наука, 13). Идутъ доказательства историческія: консулы, императоры, суффеты, архонты-эпонимы и проч. Далѣе идутъ доказательства отъ разума, наименѣе занятныя. Наконецъ, занятнѣйшія доказательства отъ аналогики.

«Связь движенія и пирамидальности коренится еще глубже, чѣмъ въ природѣ человѣка: она коренится въ природѣ животныхъ и даже во всей мертвой, неорганической природѣ. Въ этой послѣдней, напримѣръ, для удобнѣйшаго разсѣченія пробѣгаемой среды по закону механики требуется, чтобы тѣло было обращено въ сторону движенія наименьшею своею поверхностью. А чтобы сообщить ему наиболѣе завостренную поверхность, геометрія не знаетъ для этого никакой иной фигуры, кромѣ пирамидальной; только благодаря этой послѣдней формѣ и обращенію ее въ сторону движенія вершиной своей, свободно разсѣкаетъ свой воздухъ движущаяся въ немъ стрѣла, свободно разсѣкаетъ свою жидкость движущійся въ ней корабль, свободно разсѣкаетъ свое дерево движущійся въ немъ клинъ. Благодаря тому же самому построенію совершается перемѣщеніе и въ зоологическомъ царствѣ. Мы не знаемъ ни одной группы животныхъ, перемѣщеніе коей совершалось бы при иномъ построеніи, чѣмъ болѣе или менѣе треугольное. Всякая стая перелетныхъ птицъ, всякое стадо, всякій рой летитъ впередъ не иначе, какъ построившись треугольникомъ, и обратившись въ сторону движенія вершиной его, то есть маткой, вожатымъ, передовымъ... Другая причина того же факта есть статическая, а не динамическая. Безъ широкаго и неподвижнаго основанія внизу нѣтъ, по законамъ физики, устойчивости предмета“ и т. д.

Вамъ надоѣдаетъ, вы улавливаете мысль автора и убѣждаетесь, что если мы къ Атлантическому океану пойдемъ, то непремѣнно клиномъ, что если мы попрочнѣе стоять захотимъ, то непремѣнно нужно широкое и неподвижное основаніе. Вы хотите чего-нибудь другого; можно и другого, чего хочешь, того просишь. Напримѣръ, вы желаете знать: «такъ ли будетъ и всегда, какъ было до сихъ поръ и какъ есть теперь? не можетъ ли вся эта организація (пирамидальная-то) перевернуться современемъ вверхъ дномъ» (24). Для отвѣта на этотъ вопросъ г. Стронинъ обращается къ аналогіи общества съ отдѣльнымъ организмомъ. Въ результатѣ естественно оказывается, что «мы имѣемъ полное право утверждать, что притязаніе извергнуть изъ общественнаго тѣла торговлю, какъ тунеядство, или аристократію, какъ непроизводительное сословіе, есть то же, что и притязаніе выбросить изъ человѣка сосудистую систему, мозгъ, сердце, и все это для того, чтобы онъ сталъ счастливѣе! Отчего бы не выбросить послѣ этого пропагандистовъ, которые также только суются между производителями и потребителями идей?» Какое остроуміе, какая сила, какая ѣдкость! И все это сопровождается величавыми заявленіями, столь свойственными нашимъ соціологамъ, что, дескать, если вы не способны внимать холодному голосу науки, если вы не приготовлены къ точнымъ пріемамъ науки, такъ можете не читать дальше.

Публика, для развлеченія которой продѣлываются всѣ эти фокусы, начинаетъ утомляться и говорить:

Почтенный соціологъ и политикъ, какъ ученый! Вы можете прекратить свое представленіе. Спускайте занавѣсъ. Я уразумѣлъ секретъ вашихъ фокусовъ, я знаю, откуда берутся у васъ эти безчисленные аршины лентъ, которые вы вытаскиваете якобы у себя изо рта; знаю, куда дѣвается горящая пакля, которую вы будто бы глотаете; знаю, гдѣ искать тѣхъ пятиалтынныхъ, которые исчезаютъ изъ вашихъ рукъ. Угодно вамъ доказательства? Я все это вамъ сейчасъ продѣлаю. Я, при помощи вашихъ же пріемовъ, построю новую политику, какъ науку, которая вывернетъ вашу политику наизнанку. Клянусь честью, я это могу сдѣлать. Но такъ какъ это было бы слишкомъ непроизводительнымъ и скучнымъ времяпровожденіемъ, то я вамъ покажу свою силу и знакомство съ фокусами иначе. Я возьму первую попавшуюся мнѣ аналогію и буду ее уснащать и развивать, не думая, куда она меня приведетъ. Я возьму, напримѣръ, параллель между сочинителемъ ученыхъ трактатовъ и беременной женщиной. Я буду имѣть при этомъ чрезвычайно серьезную, строгую и величавую физіономію. Порывшись въ физіологическихъ, медицинскихъ и психологическихъ книжкахъ, я обставлю параллель ученымъ аппаратомъ. Затѣмъ я налягу на нѣкоторыя частности параллели, въ родѣ момента зарожденія ребенка и трактата, или потугъ, которыми сопровождается актъ появленія на свѣтъ того и другого. Я приложу чертежи и рисунки. Я поищу примѣровъ сочиненій, которыя обдумывались или писались ровно девять мѣсяцевъ, а не найду, такъ выдумаю. Я

обращу вниманіе на то обстоятельство, что новорожденный появляется на свѣтъ Божій или головой впередъ или той частью тѣла, которая находится пониже спины. и примѣню это къ ученымъ трактатамъ. Въ концѣ концовъ, я докажу, какъ дважды два четыре, что во времена «акцій» ученые трактаты лѣзутъ впередъ головой, а во времена «реакцій» тою частью тѣла, которая находится пониже спины... Въ какія времена написанъ вашъ трактатъ, достопочтенный соціологъ? Et voilà où va se nicher la science... Фокусники!

VI.

«Элементарный курсъ всеобщей и русской исторіи» г. Белляраминова.—Пересаливающая оффиціальная благонамѣренность. — «Матеріализмъ, наука к христіанство».—Кадка меду и нѣсколько ложекъ дегтю. — Книга Навиля «Отецъ небесный».—Соціальный организмъ. Къ вопросу о реальномъ образованіи. — Естественныя науки, какъ орудіе «скотоподобія».—Г. Стронинъ и великороссы.

Науки юношей питаютъ, отраду старцамъ подаютъ. Если вы юноша ,читатель, возьмите «Элементарный курсъ всеобщей и русской исторіи», составленный г. Белляриминовымъ, и вы найдете тамъ питаніе. Если вы старецъ, опять-таки берите тотъ же курсъ и ищите отрады. Конечно, вы и въ другихъ книжкахъ можете найти отраду и питаніе, но мы особенно рекомендуемъ вамъ книгу г. Беллярминова. Во-первыхъ, она обнимаетъ собою курсъ III и IV классовъ гражданскихъ гимназій. Во-вторыхъ, надняхъ вышло уже второе изданіе ея, «исправленное и дополненное»; значитъ, по этой книжкѣ много учатся. Въ-третьихъ, на оберткѣ курса г. Беллярминова значится: «Одобренъ ученымъ комитетомъ министерства народнаго просвѣщенія для употребленія въ гимназіяхъ, реальныхъ и уѣздныхъ училищахъ, *предпочтительно* (жирный шрифтъ въ подлинникѣ) передъ другими учебниками той же категоріи»; значитъ книга съ рекомендаціей. Въ-четвертыхъ, издана книга фирмой «Н. Фену и комп.», спеціально посвятившей свою дѣятельность педагогическимъ цѣлямъ; это тоже вѣдь рекомендація. Въ-пятыхъ, на оберткѣ книги напечатано: «С.-Петербургъ 1873», хотя вышла она въ половинѣ ноября 1872; значитъ это нѣкоторымъ образомъ наука будущаго. Въ-шестыхъ, вы получаете въ курсѣ г. Беллярминова всю всеобщую и русскую исторію отъ «потомковъ Ноя» до «Освобожденія Европы Александромъ I» на пространствѣ двѣнадцати листовъ разгонистой печати и платите за такое концентрированное, сгущенное удовольствіе всего одинъ рубль серебромъ. Въ седьмыхъ... Но, кажется и этихъ резоновъ совершенно достаточно для того, чтобы искать питанія и отрады именно въ курсѣ г. Беллярминова. Съ этой надеждою и мы взялись за книгу и случайно развернули ее на стр. 37, на которой нашли слѣдующій разсказъ:

«Пришедши однажды въ пниксъ и узнавъ, что причиною происходившаго тамъ шума была раздача денегъ, Алкивіадъ проталкивается сквозь толпу и самъ начинаетъ разбрасывать деньги. Когда обрадованный народъ сталъ привѣтствовать Алкивіада криками и рукоплесканіями, у него улетѣлъ перепелъ, котораго, по обычаю богатыхъ того времени, онъ носилъ на рукѣ, и толпа съ неистовыми криками бросилась за птицею. Поймавшій ее Аѳинянинъ Антіохъ сдѣлался любимцемъ Алкивіада».

Какой, однако, подробный, полный курсъ, подумали мы, прочитавъ этотъ разсказъ, мало того полный,—роскошный. Въ прежнія времена такихъ учебниковъ не было. Порадовавшись этому обстоятельству, мы развернули книгу въ другомъ мѣстѣ и прочли слѣдующее: «Надменные двумя побѣдами нѣмцы вступили въ бой съ неистовымъ крикомъ: «Пруссаки не даютъ пощады!» Русскіе отвѣчали: «и мы тоже!» и твердо встрѣтили непріятеля» (145). Это мѣсто намъ очень понравилось, и не только потому, что оно свидѣтельствуетъ все о той же полнотѣ учебника. Хороша, конечно, и полнота, но эпизодъ пріятенъ самъ по себѣ. Пруссаки, говорятъ, нынче хлопочутъ о распространеніи знанія русскаго языка въ арміи. Съ другой стороны, желательно, конечно, чтобы на всякій скучай и русская армія было нѣсколько знакома съ нѣмецкимъ языкомъ. Но, благодаря изслѣдованіямъ г. Беллярминова, оказывается, что еще въ прошломъ столѣтіи, именно въ сраженіи при Цорндорфѣ, русскіе и пруссаки отлично понимали другъ друга. Неизвѣстно только, пруссаки ли кричали по-русски: «пруссаки не даютъ пощады!» или русскіе солдаты орали «und wir auch!» Во всякомъ случаѣ это такая любопытная историческая подробность, что уже за одно указаніе ея нельзя не благодарить г. Беллярминова. Повертываемъ еще нѣсколько страницъ.

Грекъ, слуга европейскаго консула, Георгій покупалъ для своего господина яйца у одной турчанки, имѣвшей взрослую дочь. Случалось, что за отсутствіемъ матери продавала яйца дочь. Сосѣднимъ турчанкамъ стало завидно, что слуга покупаетъ яйца у вдовы, а не у нихъ, и онѣ сговорились наказать его за такое предпочтеніе. Разъ Георгій пришелъ къ вдовѣ и не засталъ ее дома; турчанки тотчасъ сбѣжались и начали кричать, что Георгій обѣщалъ потурчиться и жениться на дочери вдовы. На шумъ явилось множество мусульманъ, которые схватили юношу, повели къ судьѣ и стали обвинять (?) его

*) 1872 г., декабрь.

въ томъ же, въ чемъ обвиняли (?) его и турчанки. Юноша рѣзко отрекся отъ приписываемаго ему намѣренія и обличалъ клеветниковъ. Желая успѣть въ своемъ замыслѣ, турки, по обыкновенію, прибѣгли къ льстивымъ обѣщаніямъ награды, почестей, и когда эти средства не удались, приступили къ пыткамъ. Георгій былъ твердъ (160) и т. д.

Юноша пребылъ твердъ до конца, турки его разстрѣляли. Подробность изложенія этого эпизода тѣмъ удивительнѣе, что изъ него, кромѣ смерти юноши Георгія, конечно, достойнаго сочувствія, ничего не проистекло. Voilà comme on écrit l'histoire! воскликнули мы, преисполненные и духовною пищею, и отрадой. Говорятъ, что французскіе учебники временъ Второй имперіи много способствовали пораженію французовъ, такъ какъ результатомъ обученія по нимъ было круглое невѣжество. Но мы, очевидно, въ случаѣ надобности прокричимъ свое: und wir auch! столь же побѣдоносно, какъ въ сраженіи при Цорндорфѣ, когда наша армія впервые заговорила на нѣмецкомъ языкѣ. Наши учебники не то, что наполеоновскіе: масса свѣдѣній, даваемыхъ ими изумительна. Und wir auch!

Одно только показалось намъ страннымъ въ учебникѣ г. Беллярминова. Помѣстить на двѣнадцати листахъ разгонистой печати исторію событій отъ Ноя до Александра Благословеннаго включительно,—это, какъ хотите, задача въ родѣ квадратуры круга. А тѣмъ паче, если этотъ удивительный пирогъ начиненъ въ такомъ количествѣ яйцами, юношами Георгіями, перепелами Алкивіада и т. п. Какъ ухитрился г. Беллярминовъ?

Недоразумѣнія наши почти разрѣшились, когда мы прочли въ курсѣ г. Беллярминова разсказъ о французской революціи. Вотъ онъ отъ слова до слова.

«*Республика во Франціи*». Въ то время, какъ Россія къ концу 18 вѣка достигла большого могущества, во Франціи произошло народное движеніе, которое повлекло за собой общеевропейскую войну. При Людовикѣ XV, находившемся подъ вліяніемъ своекорыстныхъ совѣтниковъ, къ общественнымъ язвамъ, внѣдрившимся во Франціи еще въ предыдущее царствованіе, присоединились новыя: между низшимъ и высшимъ сословіями возникла сильная рознь; отъ излишества во всемъ и праздности высшее сословіе впало въ безвѣріе и дошло до крайней испорченности нравовъ, низшее же отъ крайней бѣдности коснѣло въ глубокомъ невѣжествѣ и грубомъ суевѣріи. Своею заботливостью о нуждахъ народа Людовикъ XVI, напоминавшій французамъ Генриха IV, хотѣлъ преобразованіями исцѣлить Францію отъ ея недуговъ, но не успѣлъ въ своихъ намѣреніяхъ, потерялъ силу *и былъ низложенъ*. Между лицами, захватившими во Франціи власть, образовалось много партій, которыя страшно враждовали между собою. Побѣда одной партіи надъ другой сопровождалась избіеніемъ всѣхъ ея противниковъ въ Парижѣ и другихъ большихъ городахъ. Особенно же много было пролито крови, когда восторжествовала партія якобинцевъ, провозгласившая республику и распоряжавшаяся невѣжественною чернью. Непрерывными казнями повергнувъ Францію въ ужасъ (терроръ), эта партія запретила исповѣданіе христіанской религіи и ввела поклоненіе «разуму», сопровождавшееся разными безчинными обрядами. Во время такихъ безпорядковъ во Франціи возвысился Наполеонъ Бонапартъ» (170 - 171).

Пожелали мы затѣмъ познакомиться съ исторіей Пугачевскаго бунта, и тутъ передъ нами выяснился секретъ г. Беллярминова. О Пугачевѣ у него нѣтъ *ни слова*. Понятно, что трактуя вышепредставленнымъ образомъ о французской революціи и вовсе не трактуя о такихъ немаловажныхъ событіяхъ, какъ пугачевщина, можно на пространствѣ отъ Ноя до Александра Благословеннаго удѣлить довольно много мѣста яйцамъ и перепеламъ. Такимъ образомъ эта сторона дѣла вполнѣ объясняется. Но возникаетъ вопросъ: зачѣмъ г. Беллярминову понадобилось молчать о Пугачевѣ, сводить разсказъ о французской революціи къ размѣрамъ, гораздо меньшимъ размѣровъ разсказа о юношѣ Георгіи, и облыжно утверждать предъ лицомъ юношества, что Людовикъ XVI «низложенъ», когда онъ казненъ? Изъ самаго дѣла ясно видно, что г. Беллярминовъ согрѣшилъ въ умолчаніи и во лжи единственно изъ оффиціальной благонамѣренности. Оставимъ въ сторонѣ умолчаніе и непропорціальность разсказовъ,—ихъ, пожалуй, можно объяснить, съ натяжками, разумѣется, и такъ, и иначе. Возьмемъ только облыжное показаніе относительно Людовика XVI. Г. Беллярминовъ, очевидно, пожертвовалъ и репутаціей правдиваго писателя, и уваженіемъ учениковъ, если онъ педагогъ-практикъ. Все это онъ предалъ пламени на жертвенникѣ оффиціальной благонамѣренности. Но оффиціальная благонамѣренность есть, какъ и многое на свѣтѣ, оружіе обоюдоострое, и бѣда имѣть разумъ не по ревнію. Г. Беллярминовъ написалъ сочиненіе въ сущности самое неблагонамѣренное. Низложивъ Людовика XVI, онъ избѣгъ обязанности объяснить несчастія Франціи казнью короля. Онъ неблагонамѣренно смягчилъ краски революціи. На его историческихъ вѣсахъ перепелъ Алкивіада оказался тяжеле головы Людовика XVI, а вопросъ о цѣлости имперіи, которой грозила пугачевщина,—менѣе важнымъ, чѣмъ вопросъ объ яйцахъ, купленныхъ юношей Георгіемъ у вдовы-турчанки, имѣющей взрослую дочь. Вотъ до чего доводитъ неблагоразумное обращеніе съ оффиціальною благонамѣренностью. Но на этомъ не останавливаются пагубныя послѣдствія неосторожности поведенія г. Беллярминова. Разсказъ о низложеніи Людовика XVI входитъ въ курсъ IV класса гимназій, значитъ, предназначает-

ся для мальчиковъ 13 — 15 лѣтъ. Такіе мальчики легко могутъ на сторонѣ услышать правдивый разсказъ объ участи короля и не только потерять довѣріе и уваженіе къ учителю, но, заинтересовавшись скрываемымъ отъ нихъ плодомъ, получить объ его значеніи совершенно неправильное и совершенно неблагонамѣренное понятіе. Избранный г. Беллярминовымъ способъ писанія историческихъ учебниковъ можетъ, при самыхъ выгодныхъ условіяхъ, только компрометтировать прибѣгающихъ къ нему. Къ счастью, нынѣ уже довольно рѣдко пускается въ ходъ этотъ методъ до такой степени въ раздѣтомъ состояніи, и учебникъ г. Беллярминова есть своего рода драгоцѣнный перлъ. Прискорбно только, что этотъ перлъ, вѣроятно благодаря рекомендаціи, выходитъ уже вторымъ изданіемъ и при томъ, какъ видно изъ указателя по дѣламъ печати (№ 6), въ количествѣ *5,000* экземпляровъ.

Какъ ни мало поворотливо наше общество, въ немъ, думаемъ мы, должно зашевелиться чувство справедливаго негодованія за такую безцеремонную, безцѣльную, или, по крайней мѣрѣ, не достигающую своей цѣли, подтасовку историческихъ фактовъ. Этого тѣмъ болѣе слѣдуетъ ожидать, что и у насъ, наконецъ, зарождаются попытки правильнаго отношенія къ разнымъ *измамъ*. Г. Беллярминову слѣдовало бы подумать, хоть, напримѣръ, объ образѣ дѣйствія редакціи сборника «Матеріализмъ, наука и и христіанство». Это примѣръ, вполнѣ достойный подражанія. Подъ этимъ общимъ заглавіемъ вотъ уже нѣсколько лѣтъ издаются сочиненія, большею частью переводныя, но отчасти и оригинальныя, имѣющія цѣлью—борьбу съ матеріалистическими антихристіанскими идеями. Въ заявленіяхъ отъ редакціи говорится, что «издатель, которому принадлежитъ и самая мысль изданія, желаетъ сохранить свое имя въ неизвѣстности». Редакторомъ же сборника состоитъ протоіерей Іоаннъ Заркевичъ. До сихъ поръ изданы: Навиля «Отецъ небесный», Жанэ—«Современный матеріализмъ въ Германіи», «Мозгъ и мысль», Фабри—«Письма противъ матеріализма», Ульрици—«Тѣло и душа», Люка—«Выводы естествознанія по отношенію къ основнымъ началамъ религіи», Шикоппа—«Апологетическія бесѣды о лицѣ Іисуса Христа», Бенера—«Библія природы», Каро—«Матеріализмъ и наука», Маньяна—«Міръ и первобытный человѣкъ», г. В. Попова—«Современное естествознательное ученіе о происхожденіи вселенной». Сборникъ, какъ видите, ведется дѣятельно и при томъ небезуспѣшно, такъ какъ нѣкоторыя сочиненія вышли уже вторымъ изданіемъ. Переведены означенныя сочиненія, вообще говоря, хорошо, изданы тоже хорошо, стоятъ сравнительно дешево. Но выше всѣхъ этихъ достоинствъ стоятъ намѣренія редакціи сборника. Редакція желаетъ противопоставить «невѣрію нашихъ дней» не богословскія сочиненія, которыя, стоя на совершенно спеціальной почвѣ, не могутъ спуститься до почвы «невѣрія», а мнѣнія «людей науки въ собственномъ и точномъ смыслѣ слова». Спеціально богословскихъ сочиненій въ сборникѣ нѣтъ вовсе, а есть сочиненія по естествознанію, по философіи, по исторической критикѣ. Нѣкоторыя изъ нихъ даже не задаются какими бы то ни было полемическими цѣлями. Такъ, напримѣръ, книга Бенера есть просто популярная энциклопедія естественныхъ наукъ, а книга Ульрици—руководство къ психологіи. Но для насъ интереснѣе сочиненія полемическія. Мысль сборника какъ нельзя болѣе удачна. Дѣйствительно, подтасовка фактовъ, умолчанія и запрещенія еще никогда не приводили къ благимъ результатамъ, тогда какъ свободное и научное обсужденіе явленій жизни по необходимости ведетъ къ торжеству истины и прекращенію заблужденій. Добросовѣстное и всестороннее изслѣдованіе, въ концѣ концовъ, укажетъ, гдѣ истина и гдѣ заблужденіе. И это единственный путь не только къ раскрытію истины, но и къ торжеству справедливости, ибо противники борются здѣсь равнымъ оружіемъ.

Такую-то кадку меду изображаетъ изъ себя сборникъ «Матеріализмъ, наука и христіанство». Къ сожалѣнію, въ эту кадку пущено нѣсколько ложекъ дегтю. И первая ложка есть сама редакція сборника. Она пересаливаетъ въ своемъ благочестіи, въ своемъ родѣ, не меньше, чѣмъ г. Беллярминовъ въ своей оффиціальной благонамѣренности. Въ дѣлѣ этомъ ей значительно помогаетъ духовная цензура. Напримѣръ, въ книгѣ Навиля «Небесный отецъ» рѣчь идетъ о неправовѣрныхъ мнѣніяхъ Авзоніо Франчи. Навиль пишетъ, что итальянецъ этотъ, между прочимъ, учитъ, что «всякое изслѣдованіе о началѣ вещей—чистая мечта; слѣдовательно, намъ надо ограничиваться опытомъ настоящей жизни и ничего не искать за ея предѣлами». Затѣмъ Навиль, по силѣ возможности, опровергаетъ и порицаетъ это мнѣніе. Кажется бы, довольно. Духовный цензоръ счелъ, однако, нужнымъ сдѣлать къ приведеннымъ словамъ Авзоніо Франчи краткую, но энергическую выноску: «Это скотоподобно!!» (85). Сильно, конечно, сказано, но нѣсколько излишне. Бываетъ, однако, и еще излишнѣе. На стр. 88-й Навиль пишетъ: «Всѣ произведенія антирелигіозной философіи имѣютъ одну и ту же основную мысль, общую секуляризму англичанъ, ра-

ціонализму итальянцевъ, позитивизму французовъ и даже сродную высокопарнымъ формуламъ ученія Гегеля. Вотъ эта, *скотамъ* свойственная, мысль: «съ насъ достаточно одной земли и не нужно неба; человѣкъ можетъ обходиться самъ собой и не нужно ему Бога; съ насъ достаточно дѣйствительности и не нужно намъ химеръ!»—Кажется, чего лучше? *скоты* есть въ текстѣ, но энергическій цензоръ опять-таки дѣлаетъ выноску и припечатываетъ: «Это философія скотовъ». Редакція сборника выражается не столь сильно, но всетаки часто безпокоится безъ малѣйшей надобности. Напримѣръ, тотъ же Навиль, обсуждая чье-то еретическое мнѣніе, иронически замѣчаетъ: «Я съ благоговѣніемъ записываю такое мнѣніе». Иронія этихъ словъ очевидна для всякаго, читающаго не по складамъ. Но благочестивая редакція торопится заявить: «Такія выраженія употребляются только для того, чтобы ярче обрисовать нелѣпость разбираемыхъ умствованій». Навиль говоритъ: «Отвергните Бога» — и произойдутъ такія-то и такія-то гибельныя послѣдствія. Кажется, ясно, въ чемъ дѣло, но редакція считаетъ нужнымъ пояснить: «Это только ораторскій пріемъ; но да сохранитъ Богъ всякаго отъ осуществленія на дѣлѣ столь ужаснаго предположенія». Иногда (напримѣръ, на стр. 138) попадаются даже двухэтажныя выноски; замѣчаетъ безъ всякой надобности редакція, и тутъ же то же самое другими словами замѣчаетъ цензоръ. Это довольно крупная ложка дегтю, потому что она, во-первыхъ, ставитъ редакцію въ смѣшное положеніе, а во-вторыхъ, нѣсколько парализуетъ задачу изданія. Въ самомъ дѣлѣ, сказать: скотоподобно!! значитъ выразиться почти нечленораздѣльными звуками, а вовсе не бороться съ невѣріемъ при помощи науки. Къ сожалѣнію, редакція и при помощи завѣдомо членораздѣльныхъ звуковъ поступаетъ иногда подобно г. Беллярминову. Такъ, напримѣръ, въ брошюрѣ Жанэ «Нравственное единство человѣческаго рода» говорится, между прочимъ, что буддизмъ, будучи старше христіанства, не могъ отъ него ничѣмъ заимствоваться. Редакція замѣчаетъ: «Слѣды высокаго нравственнаго ученія въ буддизмѣ и другихъ религіяхъ востока удобнѣе объясняются знакомствомъ и соприкосновенностью съ христіанствомъ, а не самостоятельнымъ развитіемъ этихъ ученій. Предметъ этотъ еще весьма поверхностно обслѣдованъ наукой, и заключенія на этотъ счетъ нѣкоторыхъ писателей отзываются крайнею поспѣшностью или отражаютъ вліяніе предвзятыхъ мнѣній». Редакція здѣсь изъ благочестія отрицаетъ фактъ, признаваемый наукою вообще и книгою высокопоставленнаго русскаго духовнаго лица, архіепископа Нила, въ частности.

«Вторая ложка дегтю состоитъ въ томъ, что Жанэ, Каро и т. п. суть, безъ сомнѣнія, люди образованные, но вовсе не «люди науки въ собственномъ и точномъ смыслѣ слова». Мы, однако, не будемъ останавливаться на этомъ обстоятельствѣ и перейдемъ къ третьей ложкѣ дегтю. Съ кѣмъ, собственно, борется редакція сборника «Матеріализмъ, наука и христіанство»? Редакція утверждаетъ, что «религіозныя заблужденія въ послѣднее время разными путями проникли и въ наше общество». Мы вѣримъ этому, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, вполнѣ увѣрены, что огромное большинство читателей сборника изъ него впервые знакомятся съ подлинными, хотя и отрывочными мнѣніями Фейербаха, Штрауса и т. п. Такимъ образомъ нарушается правило audiatur et altera pars, составляющее основу всесторонняго и свободнаго изслѣдованія. Вмѣстѣ съ тѣмъ и сборникъ въ значительной степени утрачиваетъ свой raison d'être. Далѣе, орудія пускаемыя въ ходъ редакціей, всѣ эти Шикоппы, Жанэ и проч. ничего не сдѣлали въ Европѣ, никого не заставили обратиться на путь истины. Но допустимъ, что это орудія въ своемъ мѣстѣ совершенно пригодныя, смертоносныя. Слѣдуетъ ли изъ этого, что они пригодны у насъ? Прежде всего всѣ эти Новили и Жанэ сами суть маловѣры и вольнодумцы, зараженные тѣмъ самымъ ядомъ, противъ котораго они борются. Протоіерею Іоанну Заркевичу, какъ человѣку православному, то и дѣло приходится уличать этихъ господъ въ неправовѣріи. Напримѣръ, Меньянъ (Міръ и первобытный человѣкъ по ученію библіи) желаетъ согласовать новѣйшія естественно-научныя теоріи съ показаніями библіи. Конечно, безъ уступокъ невѣрію этого сдѣлать нельзя. И протоіерей Іоаннъ Заркевичъ съ своей точки зрѣнія совершенно справедливо замѣчаетъ, что теоріи теоріями, а «не нужно забывать, что гдѣ дѣйствуетъ всемогущество, тамъ не можетъ быть стѣсненій, замедляющихъ ходъ дѣлъ при обыкновенномъ положеніи вещей» (34); что «всемогущество Божіе, силою котораго созданъ міръ, не имѣло надобности въ продолжительныхъ періодахъ времени; по слову Божію все могло явиться и въ одно мгновеніе» (40). По мнѣнію Меньяна, «послѣдняя степень безумія, грубый способъ извращенія разсказа Моисеева и всей библіи—буквально принимать метафоры, которыми восточный языкъ всегда былъ такъ обиленъ» (35). Онъ находитъ, что не зачѣмъ экзегету «предполагать чудо, когда и второстепенныхъ причинъ достаточно для объясненія факта» (40). На этомъ основаніи онъ считаетъ себя въ правѣ принять, что библейскіе шесть дней творенія представляютъ только метафору, и что міръ

сотворенъ не 6000 лѣтъ тому назадъ. На это редакція сборника возражаетъ: «Православная церковь принимаетъ дни творенія въ общеупотребительномъ смыслѣ» (88). И далѣе: «Лѣтосчисленіе, основанное на хронологическихъ данныхъ, заключающихся въ св. книгахъ Ветхаго Завѣта, книгахъ, представляющихъ самые первые, а потому и самые древнѣйшіе источники Божественнаго откровенія, имѣетъ на своей сторонѣ много такихъ основаній, которыхъ вовсе не представляетъ лѣтосчисленіе, предлагаемое геологіей и основанное только на болѣе или менѣе правдоподобныхъ догадкахъ и предположеніяхъ» (121).

Изъ всего этого видно, что прекрасныя намѣренія редакціи и издателя сборника не осуществились и не могли осуществиться. Всѣ вошедшія съ сборникъ апологетическія, эгзетическія и полемическія сочиненія такъ или иначе бьютъ мимо цѣли. Европейскій человѣкъ пишетъ трактаты, имѣющіе цѣлью согласовать библейское повѣствованіе о сотвореніи міра съ новѣйшими теоріями свѣта, геологическими открытіями и т. д., доказать, что между христіанскими вѣрованіями и наукою нѣтъ противорѣчія. Редакція «Матеріализма, науки и христіанства» переводитъ эти трактаты, уснащая ихъ частными примѣчаніями: «это ужъ слишкомъ либерально», «этого слишкомъ мало» и проч. Но редакція при этомъ забываетъ, что ея главный аргументъ херитъ самый принципъ всѣхъ изданныхъ ею сочиненій. Въ самомъ дѣлѣ, если «гдѣ дѣйствуетъ всемогущество, тамъ не можетъ быть стѣсненій, замедляющихъ ходъ дѣлъ при обыкновенномъ положеніи вещей»; если это такъ, то зачѣмъ же было огородъ городить и зачѣмъ было капусту садить?

Есть, однако, въ нѣкоторыхъ изъ вошедшихъ въ составъ сборника сочиненій одна струя, на которую мы желали бы обратить вниманіе читателя. Рѣзче всего эта струя выражена въ упомянутой уже книгѣ Навиля «Отецъ небесный». Рѣчь идетъ объ индифферентизмѣ. Навиль приводитъ слѣдующія слова Тэна и, кажется, какого-то другого французскаго писателя: «Я не чувствую ни отвращенія, ни омерзенія, я оставилъ эти чувства за порогомъ исторіи и вкушаю глубокое и чистое наслажденіе при видѣ того, что душа дѣйствуетъ по опредѣленному закону». «Мы уже болѣе не знакомы съ нравственностью, съ принципами, а только съ нравами и фактами. Мы все объясняемъ и, какъ сказано, умъ кончаетъ одобреніемъ всего того, что объясняетъ. Современная добродѣтель выражается словомъ терпимость». «То, что есть, имѣетъ право быть». Все истинно, все хорошо на своемъ мѣстѣ; мѣсто каждаго предмета составляетъ его истинность». «Мы не преобразовываемъ міръ по своему образу, подводя его подъ нашу мѣрку, а, напротивъ, предоставляемъ ему измѣнять и преобразовывать насъ». «Вотъ, по мнѣнію Навиля, яркое и полное выраженіе современнаго направленія мысли. Но, говоритъ Навиль, міръ великъ, исторія длинна, и какъ бы ни была велика наша жажда любознательности и созерцанія фактовъ, все увидѣть и все узнать нельзя. Спрашивается, на чемъ остановится жадный взоръ человѣка, отринувшаго всякія правила поведенія и нравственнаго суда? Очевидно, на явленіи, наиболѣе яркомъ и блестящемъ,—на успѣхѣ. Въ 1829 году Кузенъ говорилъ въ одной изъ своихъ лекцій: «Я оправдалъ побѣду, какъ дѣло необходимое и полезное, теперь я намѣренъ оправдать ее, какъ дѣло справедливое въ тѣснѣйшемъ смыслѣ этого слова. Обыкновенно въ успѣхѣ видятъ только торжество силы, и мы питаемъ похвальное сочувствіе къ побѣжденнымъ. Я доказалъ, что такъ какъ всегда долженъ быть побѣжденный, а побѣжденнымъ всегда бываетъ тотъ, кто долженъ быть имъ, то обвинять побѣдителя—значитъ вооружаться противъ человѣчества и сѣтовать на прогрессъ цивилизаціи. Но слѣдуетъ идти далѣе и доказать, что побѣжденный заслужилъ быть имъ и что побѣдитель не только служитъ цивилизаціи, но что онъ и лучше, и нравственнѣе побѣжденнаго, а потому-то и побѣдилъ... Пора философіи исторіи повергнуть филантропическія разглагольствованія къ стопамъ побѣдителя!» Навиль совершенно справедливо замѣчаетъ, что этотъ анализъ не полонъ, что если его провести дальше, то окажется, что побѣда, успѣхъ, съ этой точки зрѣнія всетаки не представляетъ достаточно яснаго нравственнаго пункта. Если побѣда x надъ y есть дѣло хорошее, полезное и справедливое, то хорошо, полезно и справедливо и необходимѣйшее условіе этой побѣды,—положеніе y. Такимъ образомъ мы всетаки остаемся безъ всякаго руководящаго начала.

Навиль крайне негодуетъ противъ такого настроенія современной мысли, а упомянутый уже энергическій духовный цензоръ, архимандритъ Фотій, по обыкновенію, замѣчаетъ со своей стороны, что этотъ взглядъ «скотоподобный». Съ благословенія духовнаго лица рѣшаемся и мы употребить это крѣпкое слово. Да, это взглядъ скотоподобный. Но онъ не исключительно свойственъ ни нашему времени, ни той точкѣ зрѣнія, которую имѣетъ въ виду Навиль. Онъ возможенъ и на той почвѣ, на которой стоитъ самъ Навиль и редакція «Матеріализма, христіанства и науки», возможенъ и на почвѣ метафизики Кузена, возможенъ и на почвѣ науки. Практически и для Навиля остается только созерцать ходъ вещей, искать перста Провидѣнія въ яркихъ

и блестящихъ явленіяхъ въ родѣ успѣха и побѣды, признавать, что то, что есть, имѣетъ право быть, что все хорошо на своемъ мѣстѣ и т. д. Дѣйствительно, возьмемъ, напримѣръ, слѣдующія слова самого Навиля: «Какъ свято человѣческое общество, когда, подъ верховнымъ наблюденіемъ общаго Отца, неравенство въ жизни переносится съ терпѣніемъ и смягчается любовью, когда богатый и бѣдный при взаимной встрѣчѣ помнятъ, что оба они—созданія Вѣчнаго, когда надежда безсмертія услаждаетъ бѣдствія настоящей жизни и сознаніе человѣческаго достоинства даетъ понять настоящую цѣну скоропреходящему неравенству въ жизни» (56). Не отрицая благочестія этихъ словъ, не трудно, однако, видѣть, что Навиль грѣшитъ здѣсь тѣмъ же грѣхомъ, въ которомъ уличаетъ Кузена, Тэна и проч. Кузеновское возвеличеніе побѣды, не имъ самимъ сочиненное, а заимствованное у Гегеля, составляетъ другой видъ возведенія факта въ перлъ созданія. Этотъ видъ рѣзко отличается отъ перваго по своимъ теоретическимъ посылкамъ, по своимъ пріемамъ и исходнымъ точкамъ, но въ практическомъ отношеніи они совпадаютъ.

Однако кузеновскіе пріемы даказательствъ, очевидно, не составляютъ принадлежности нашихъ дней. Въ самомъ дѣлѣ, кто въ наше время польстится на эти дутые силлогизмы: въ борьбѣ всегда долженъ быть побѣжденный; побѣжденнымъ всегда бываетъ тотъ, кто долженъ быть имъ; ergo побѣдитель лучше побѣжденнаго. Зачѣмъ намъ это переливаніе изъ пустого въ порожнее, когда цвѣтъ и краса современной мысли — естественныя науки берутся привести насъ къ тѣмъ же результатамъ, но путемъ гораздо болѣе солиднымъ и удовлетворяющимъ современнымъ понятіямъ о достоинствѣ изслѣдованія. Положеніе: то, что есть, имѣетъ право быть,— не смотря на свою безсодержательность, до такой степени соблазнительно ясно, что къ нему приходили представители всевозможныхъ философскихъ школъ. Матеріалисты, идеалисты, спиритуалисты, супранатуралисты, реалисты, позитивисты,—всѣ тамъ были, въ этомъ cercle vicieux обожествленія факта въ силу того, что онъ фактъ. Приглядываясь къ исторіи мысли всѣхъ временъ и народовъ, можно придти къ чрезвычайно горькому заключенію относительно общественнаго значенія науки и литературы. Нельзя, конечно, сказать, чтобы наука и литература всегда стремились оправдать фактъ во что бы то ни стало. Нельзя, во-первыхъ, потому, что въ огромномъ числѣ случаевъ такое оправданіе навѣрное не было дѣломъ преднамѣреннымъ; нельзя и потому, что существуютъ въ исторіи хотя и немногочисленные, но тѣмъ болѣе блистательные моменты возстанія противъ факта, возстанія завѣдомо поднятаго наукой и литературой. Но вотъ положеніе, которое, кажется, можетъ быть принято во всемъ его объемѣ: нѣтъ ни одного вѣрованія, ни одного научнаго открытія, ни одной теоріи, которыя, совершенно независимо отъ степени ихъ достоинства, не служили бы, хотя нѣкоторое время, орудіями оправданія факта въ силу того, что онъ фактъ. Это не есть непремѣнно вина вѣрованій, пріемовъ мысли, теоріи, открытій. Они могутъ вполнѣ соотвѣтствовать истинѣ, расширять горизонтъ нашихъ свѣдѣній, уяснять намъ ходъ и состояніе вещей, способствовать увеличенію удобствъ нашей жизни и проч., и въ то же время способствовать слѣпому оправданію извѣстнаго разряда фактовъ и, слѣдовательно, въ той или другой области, въ той или другой мѣрѣ тормозить историческое движеніе. Въ этомъ явленіи есть нѣчто какъ бы роковое. Мы не будемъ говорить о старыхъ способахъ оправданія факта, какъ таковаго. Мы посмотримъ, что дѣлается и что можетъ быть сдѣлано въ этомъ направленіи при помощи естественныхъ наукъ, отъ которыхъ, какъ показали недавнія пререканія о классическомъ и реальномъ образованіи, большинство нашего образованнаго общества ждетъ всякихъ благъ.

Когда г. Кавелинъ въ своемъ потерпѣвшемъ такое полное фіаско изслѣдованіи доказывалъ, что съ исчезновеніемъ идеи свободы воли долженъ глубоко пасть нравственный характеръ человѣка, онъ былъ недалекъ отъ истины, выраженной у Милля слѣдующимъ образомъ. «Ученіе о свободной волѣ, имѣя въ виду именно ту часть истины, которую слово *необходимость* скрываетъ изъ виду, именно способность души содѣйствовать образованію нашего собственнаго характера, дало своимъ приверженцамъ практическое чувство, гораздо болѣе близкое къ истинѣ, чѣмъ то, которое вообще существовало въ душахъ нецессаріанцевъ. Послѣдніе, можетъ быть, тверже сознавали важность того, что люди могутъ сдѣлать для образованія характеровъ другъ у друга; но ученіе о свободной волѣ, я думаю, питало въ своихъ послѣдователяхъ болѣе крѣпкій духъ самообразованія» (Система логики, II, 413). Сведенный къ такимъ размѣрамъ тезисъ г. Кавелина могъ бы быть признанъ безспорнымъ. Но это, разумѣется, не даетъ ему права обратнаго дѣйствія; если разоблаченіе ложной идеи ведетъ за собой тѣ или другія невыгодныя практическія послѣдствія, то надо думать не о возстановленіи ея, а о компенсаціи этихъ послѣдствій. Дѣло, однако, не въ этомъ. Во всей необъятной области явленій, подвѣдомственныхъ естество-

знанію въ тѣсномъ смыслѣ слова, нѣтъ элемента, соотвѣтствующаго тому, что Милль называетъ «способностью души содѣйствовать образованію характера». Способность эта начинаетъ дѣйствовать только въ человѣкѣ, и простѣйшая изъ наукъ, имѣющихъ съ нею дѣло, есть психологія, наука явленій уже весьма сложныхъ. Почтенный авторъ статьи «Г. Кавелинъ, какъ психологъ» указалъ, какъ должны относиться къ этой способности психологіи, съ одной стороны, и этика—съ другой. Авторъ приходитъ къ тому заключенію, что вопросъ о произвольности не существуетъ для науки; что психологія неизбѣжно разсуждаетъ, какъ бы онъ былъ рѣшенъ отрицательно, а логика и этика столь же неизбѣжно разсуждаютъ, какъ бы онъ былъ рѣшенъ положительно. Небогатая русская философская литература должна быть весьма благодарна автору за рѣзкую, прямую постановку вопроса и столь же рѣзкую и ясную формулировку отвѣта на него. Мы напомнимъ читателю, что тѣ же мысли, кромѣ статей, напечатанныхъ «въ Отечественныхъ Запискахъ» выражены въ статьѣ г. П. Л. «Задачи позитивизма и ихъ рѣшеніе» («Современное Обозрѣніе», № 5), въ «Историческихъ письмахъ» П. Л. Миртова въ статьяхъ г. П. М-ва «Научныя основы исторіи цивилизаціи», «Очерки систематическаго знанія» въ журналѣ «Знаніе» за нынѣшній годъ. Мы твердо увѣрены, что какъ бы кто ни смотрѣлъ на занимающій насъ вопросъ, всякій признаетъ въ перечисленныхъ статьяхъ ясность постановки и рѣшенія его. Мы лично видимъ здѣсь не только ясно выраженное, а и единственное правильное разрѣшеніе вопроса и, слѣдовательно, вдвойнѣ цѣнимъ труды автора. Замѣтимъ, однако, что этого рода изслѣдованія, какъ бы ни было ясно и удовлетворительно въ литературномъ смыслѣ ихъ изложеніе, требуетъ извѣстной привычки къ отвлеченному мышленію, которою обладаютъ далеко не многіе. Мы увѣрены, что найдется не мало людей, которые будутъ протестовать противъ двойственнаго рѣшенія, предложеннаго нашимъ авторомъ. Они скажутъ, что рѣшать одинъ и тотъ же вопросъ различно въ различныхъ областяхъ мысли незаконно. Та «антропологическая» точка зрѣнія, съ которой исчезаетъ это противорѣчіе, въ настоящее время еще далеко не вошла не только въ общее сознаніе, а и въ сознаніе людей наиболѣе мыслящихъ. Примѣръ на лицо—г. Кавелинъ. Нашъ авторъ блистательно доказалъ, что пресловутый вопросъ о свободѣ воли и необходимости не имѣетъ того дилемматическаго характера, который ему обыкновенно приписывается и который поглотилъ столько умственныхъ усилій. Г. Кавелинъ теперь можетъ быть также убѣдился въ этомъ. Но его «Задачи психологіи» могутъ представить типическій образецъ обычныхъ разсужденій объ этомъ предметѣ. Такъ разсуждаетъ большинство. Разница только въ томъ, что нынѣ вошло въ обыкновеніе не необходимость приносить въ жертву свободѣ, какъ это дѣлаетъ г. Кавелинъ, а наоборотъ, свободу закалать въ алтарѣ желѣзной необходимости. Отсюда это отреченіе отъ нравственнаго суда; эта похвальба индифферентизмомъ; это преклоненіе передъ фактомъ; эти заявленія: мы не хотимъ преобразовывать міръ, мы предоставляемъ ему преобразовывать насъ, или: мы не знаемъ нравственности, мы знаемъ только нравы; однимъ словомъ, выражаясь слогомъ архимандрита Фотія, все это «скотоподобіе». Не трудно видѣть, какимъ образомъ естественныя науки могутъ стать орудіемъ этого скотоподобія. Онѣ имѣютъ дѣло съ областью, гдѣ деспотически царствуетъ принципъ желѣзной необходимости, гдѣ фактъ и не нуждается ни въ какомъ оправданіи,—до такой степени очевидна его законность въ физическомъ смыслѣ слова. Понятно, что умъ, привыкшій къ исключительнымъ занятіямъ въ этой области, склоненъ къ перенесенію добытыхъ въ ней воззрѣній и во всѣ другія сферы мысли. Само собою разумѣется, что естественныя науки въ этомъ ни малѣйше не виноваты, но тѣмъ не менѣе дѣло такъ дѣлается. И если для изслѣдователя есть хотя бы малѣйшая выгода въ существованіи того или другого факта, то пріемы естествознанія всегда готовы къ его услугамъ. Нѣтъ даже надобности, чтобы выгода эта преслѣдовалась совершенно сознательно. Общественное положеніе человѣка всегда подсказываетъ ему рѣшеніе, выгодное если не прямо для него лично, то для той соціальной группы, которой онъ состоитъ членомъ. Не удивительно, что въ недавнемъ спорѣ сторонники классическаго образованія не выдвинули этихъ соображеній: всѣ они принадлежали къ числу людей, нисколько не претендующихъ противъ возвеличенія факта. Но едва ли наши реалисты вполнѣ и всесторонне понимали значеніе защищаемой ими системы образованія. Мы къ этому еще вернемся, а теперь взглянемъ на нѣкоторые частные случаи.

Особенную гордость современныхъ писателей объ обществѣ составляетъ органическая теорія, идея соціальнаго организма. Изъ статьи г. М-ва «Соціологи-позитивисты» («Знаніе», № 5) видно, что нѣкоторые члены «соціологическаго общества», основаннаго въ Парижѣ Литтре, Вырубовымъ и ихъ единомышленниками, требовали, чтобы идея эта была положена въ основаніе всѣхъ ра-

ботъ общества. У насъ ее усердно жуютъ гг. Стронины, П. Л. и т. п. Достойно, однако, вниманія, что ни одинъ изъ этихъ господъ не пытается представить генеалогію своей теоріи. Между тѣмъ, такое указаніе удовлетворяло бы требованіямъ добросовѣстности и было бы вмѣстѣ съ тѣмъ весьма полезно. Оно свидѣтельствовало бы о томъ, что гг. Стронины, П. Л. и авторы нѣкоторыхъ журнальныхъ статей, будучи знакомы съ литературой своего предмета, не желаютъ приписывать себѣ чести открытія Америки, которая давнымъ давно открыта. Полезно было бы также знать, кто именно и какими путями открылъ Америку въ первый разъ. Это было бы извѣстной рекомендаціей, хорошей или дурной, для самаго открытія. Оказалось бы слѣдующее. Юристы, ища основаній для своей науки, давно уже набрели на органическую теорію, на идею соціальнаго организма. Цѣлая школа юристовъ, козломъ отпущенія которой состоитъ Блунчли, еще въ первой половинѣ нашего столѣтія развивала эту идею съ тщательностью, ни въ чемъ не уступающею усердію современныхъ ея сторонниковъ. Мало того. По словамъ Плутарха, одинъ старый шутъ патрицій, краснобай и бонъ-виванъ Мененій-Агриппа предвосхитилъ эту идею даже у Блунчли. Шекспиръ воспользовался этимъ разсказомъ въ «Коріоланѣ». Когда плебеи волнуются противъ сената и, въ особенности, противъ Коріолана, Мененій-Агриппа разсказываетъ имъ слѣдующую сказку:

Разъ какъ-то противъ живота возстали
Другіе члены тѣла, въ обвиненье
Ему сказавши, что животъ одинъ
Сидитъ безъ дѣла посреди ихъ всѣхъ,
Набившись пищей, въ лѣности позорной,
Труда не зная вовсе, между тѣмъ,
Какъ всѣ другіе члены смотрятъ, ходятъ,
Соображаютъ, слушаютъ и вмѣстѣ
Всѣмъ человѣкомъ правятъ...
. . . .
Съ презрительной улыбкой
Онъ отвѣчалъ взволнованнымъ безумцамъ,
Которые, завидуя тому,
Что онъ всегда былъ полонъ, на него
Кричали такъ, какъ вы теперь кричите
Противъ отцовъ сената...

1-й гражданинъ

Что-же могъ
Отвѣтить онъ и бдительному глазу,
И головѣ подъ царственнымъ вѣнцомъ,
Рукѣ-бойцу и языку-герольду,
И сердцу вѣщему, ногамъ, носящимъ насъ,
И всѣмъ другимъ помощникамъ и членамъ?..

Мененій.

Замѣть, мой другъ, что важный тотъ животъ
Спокоенъ былъ при бѣшеномъ волненьи
Своихъ враговъ. Онъ имъ отвѣтилъ такъ:
„Друзья, вы правы въ томъ, что поглощаю
Изъ васъ я первый общую намъ пищу;
Но есть тому причина—тѣло все
Живетъ моимъ запасомъ. Не забудьте,
Что пищу ту я шлю вамъ вмѣстѣ съ кровью,
Что чрезъ нее и мозгъ, и сердце живы,
Что отъ меня вся сила человѣка,
Что жилы всѣ мельчайшія его
Черезъ меня свою имѣютъ долю!
Итакъ, друзья-сочлены, хоть всегда
Мои дары приходятъ вамъ незримо,
Но вспомните, что мною вамъ дается
Отъ пищи лучшій цвѣтъ, и что ее
Не для себя я берегу»...
. . . .
Животъ разумный—это нашъ сенатъ,
Вы-жъ—члены непокорные! По правдѣ
Вы оцѣните всѣ его работы,
Подумайте объ общемъ нашемъ дѣлѣ,
И вы поймете, что отъ старшей власти,
Что не отъ насъ зависитъ благо края!
Вы поняли? (*1-му гражданину*)
Что скажешь мнѣ теперь,
Ты, палецъ отъ ноги?

Въ этой хитроумной притчѣ заключается вся суть, вся соль и вся мораль органической теоріи общества. Правда, Мененій-Агриппа зналъ, что ему нужно «какой-нибудь заплатой пестрой бѣду поправить», и такъ и смотрѣлъ на свои адвокатскіе выверты; а современные соціологи держатся относительно теоріи римскаго бонъ-вивана болѣе высокаго мнѣнія. Правда, Мененій-Агриппа зналъ, что онъ «переступалъ границы и слишкомъ заносился въ даль, какъ шаръ, когда его толкнутъ съ крутого спуска»; а современные соціологи полагаютъ, что они предаются нелѣпымъ разсужденіямъ съ должною умѣренностью. Но эти различія не касаются самой теоріи. Итакъ, не продолжая своихъ изслѣдованій, мы можемъ указать, какъ на предковъ модной соціологической теоріи, на рядъ нѣмецкихъ юристовъ и на прихвостня Коріолана Мененія-Агриппу. Мы принимаемъ черты генеалогіи идеи соціальнаго организма такъ, какъ намъ ее рекомендуютъ ея современные сторонники. А рекомендуютъ они ее намъ, какъ приложеніе біологіи къ соціологіи. Естественныя науки здѣсь въ существѣ дѣла не при чемъ, хотя нѣкоторые весьма и весьма авторитетные естествоиспытатели увлекаются соблазнительною ясностью органической теоріи. Но для насъ это все равно, такъ какъ дѣло состоитъ только въ томъ, чтобы показать, какъ естествознаніе, подобно всякому другому знанію, можетъ стать орудіемъ скотоподобія. Мененій-Агриппа говоритъ съ толпой въ буквальномъ и переносномъ смыслѣ слова. Ему нужно убѣдить эту толпу, что сенатъ заботится объ ней и что Коріоланъ великій человѣкъ, хотя въ сущности и то, и другое неправда. Правильными аргументами и логическими доказательствами въ такихъ обстоятельствахъ ничего не подѣлаешь. Это знаютъ адвокаты и проповѣдники всѣхъ временъ и народовъ, которымъ наичаще приходится стоять въ положеніи Мененія-Агриппы. Адвокаты и про-

повѣдники, имѣя въ виду, что время не терпитъ, что рѣшеніе должно во что бы то ни стало послѣдовать немедленно, стремятся оглушить, ослѣпить слушателей яркой метафорой, притчей, аналогіей. Это своего рода умственная дубина, а изъ какого матеріала будетъ сдѣлана дубина—это безразлично. Мененій-Агриппа дѣлаетъ ее изъ человѣческаго тѣла, превращаетъ сенатъ въ животъ, плебеевъ въ пальцы отъ ноги и т. д.—и дѣло въ шляпѣ; фактъ оправданъ, доказано, что то, что есть, имѣетъ право быть. Нынѣ оказывается, что дубина, случайно попавшаяся подъ руку Мененію, есть дубина самая научная. Примѣняется она къ дѣлу такъ. Я заявляю, что общество есть живой организмъ и что поэтому законы, дѣйствующіе въ организмѣ, дѣйствуютъ и въ обществѣ. Если меня спросятъ, почему я признаю общество организмомъ, я отвѣчу, что меня побуждаетъ къ тому сходство законовъ, дѣйствующихъ въ обществѣ и организмѣ. И хотя я впадаю, такимъ образомъ, въ заблужденіе, называемое въ руководствахъ логики petitio principii, т. е. я доказываю два предложенія взаимно одно другимъ, что совершенно непозволительно, но это не мѣшаетъ мнѣ вести дѣло дальше. Я вижу въ организмѣ руки, работающія въ тѣсномъ смыслѣ слова, добывающія пищу, строющія дома, дѣлающія сапоги и т. д. Я говорю: въ обществѣ такъ же существуютъ и *должны* существовать люди, аналогичные рукамъ въ организмѣ, т. е. люди, строющіе для всего общества дома, дѣлающіе для него сапоги, и т. д. Я вижу въ организмѣ мозгъ, центральный органъ, заправляющій всею машиною. Я говорю: въ обществѣ такъ же существуетъ и *долженъ* существовать мозгъ.—Я вижу въ организмѣ ноги, единственная обязанность которыхъ состоитъ въ поддержкѣ и передвиженіи тѣла. Я говорю: въ обществѣ существуетъ и *долженъ* существовать классъ людей, которые занимаются исключительно поддержкою и передвиженіемъ другихъ членовъ общества, и т. д. Въ основаніи этого метода лежитъ, какъ мы видѣли, ложный кругъ petitio principii; состоитъ онъ весь въ пріискиваніи поверхностныхъ аналогій. Но онъ имѣетъ еще то любопытное свойство, что при помощи его можно доказывать самые противоположные тезисы. Если я, напримѣръ, централизаторъ, то мнѣ ничего не стоитъ поддержать свое ученіе при помощи идеи соціальнаго организма: извѣстно, что чѣмъ выше организмъ, тѣмъ онъ централизованнѣе, тѣмъ пассивнѣе его органы, взятые въ отдѣльности; слѣдовательно, и общество тѣмъ развитѣе, чѣмъ сильнѣе въ немъ центральная власть. Но стоитъ только мнѣ принять за точку исхода не Россію, напримѣръ, а губерніи, уѣзды, волости (чего мнѣ логика не воспрещаетъ), то я могу потребовать для этихъ единицъ полнѣйшаго самоуправленія въ силу того же принципа, который привелъ меня къ убѣжденію въ достоинствѣ централизаціи. Для приложенія этого метода не требуется ни знаній, ни привычки къ отвлеченному мышленію, ни усвоенія правильныхъ логическихъ пріемовъ. Все это съ избыткомъ восполняется остроуміемъ. По Блунчли уголовное правосудіе есть пупокъ общественнаго организма. Это, конечно, не всякому придетъ въ голову, но за то другой можетъ сдѣлать другія, не менѣе цѣнныя открытія того же сорта. Положимъ, я не могу справиться съ пупкомъ, за то мнѣ удастся, можетъ быть, пріискать аналогію печени, половымъ органамъ, селезенкѣ и проч. Но самое любопытное въ этомъ методѣ есть стремленіе оправдать фактъ: изъ того, что въ обществѣ существуетъ нѣчто поверхностно аналогичное на мой взглядъ рукамъ, ногамъ и проч., я заключаю, что это такъ и должно быть. Извѣстныя историческія формы объявляются формами разумными, удовлетворяющими требованіямъ нравственности или, вѣрнѣе, требованія нравственности пригибаются до фактическаго содержанія жизни данной минуты: то, что есть, имѣетъ право быть, общественный организмъ растетъ подобно всякому другому организму, и нѣтъ смысла подходить къ нему съ нравственной критикой. Мы не спрашиваемъ, нравственно ли существованіе пупка, значитъ нечего подходить съ этическими требованіями и къ уголовному суду. Я устанавливаю аналогію между развитіемъ отдѣльнаго организма и развитіемъ общества. Я вижу, что въ зародышѣ организма отдѣляется въ извѣстное время слой клѣточекъ; впослѣдствіи онъ самъ раздѣляется на два слоя—слизистый и серозный. Одинъ съ теченіемъ времени образуетъ систему органовъ, приготовляющихъ и поглощающихъ пищу и втягивающихъ кислородъ, изъ другого развиваются кости, нервы и мускулы. Я утверждаю, что подобнымъ же образомъ и въ обществѣ происходитъ распаденіе первоначально на два слоя, изъ которыхъ одинъ занятъ внѣшними дѣлами и исполняетъ функцію управленія цѣлымъ, а другой занимается снабженіемъ общества пищей, физическимъ трудомъ и т. д. Понятно, что въ виду этой аналогіи, которая при нѣкоторомъ стараніи можетъ быть доведена до виртуозности, мнѣ не можетъ придти въ голову произнести какой-нибудь нравственный судъ надъ устройствомъ общества. Это значило бы судить отдѣленіе слизистаго и серознаго слоя въ зародышѣ, а какъ его осудишь? И какъ легко положеніе приверженца органической теоріи.

Возьмемъ, напримѣръ, фактъ существованія такихъ мѣновыхъ знаковъ, какъ деньги. Экономисты разныхъ школъ, основываясь на тѣхъ, на другихъ соображеніяхъ, спорятъ о значеніи денегъ. Нѣкоторые предполагаютъ возможность ихъ совершеннаго устраненія изъ общественнаго обихода. Но органистъ можетъ только съ улыбкой сожалѣнія прислушиваться къ этимъ пререканіямъ. Онъ знаетъ, что деньги можно сравнить съ кровяными шариками (это одна изъ самыхъ избитыхъ аналогій), а кровяные шарики — что же о нихъ можно сказать, кромѣ того, что они полезны организму, существуютъ и будутъ существовать?

Очевидно, что приверженецъ идеи соціальнаго организма беретъ любую готовую, исторически сложившуюся форму общественныхъ отношеній и стремится оправдать ея существованіе, пріурочивая къ ней аналогическимъ путемъ законы органической жизни, законы, неподлежащіе суду и расправѣ. Вотъ весь секретъ органической теоріи. У насъ есть, впрочемъ, соціологъ, именно г. Стронинъ, который этимъ не довольствуется и, въ случаѣ недохватковъ аналогіи въ органическомъ мірѣ, вторгается въ область физики, механики и химіи. Это хорошо, ибо въ глубинѣ лѣса дровъ больше, чѣмъ на опушкѣ. Кстати о г. Стронинѣ. «С.-Петербургскія Вѣдомости», этотъ козелъ отпущенія грѣховъ русской литературы, обѣщаютъ разсмотрѣть книги гг. Стронина и П. Л. «съ нѣкоторою подробностью въ фельетонѣ». Въ ожиданіи этого умственнаго пиршества они преподносятъ своимъ читателямъ легкій библіографическій завтракъ, въ которомъ, между прочими рѣдкими закусками находимъ слѣдующее: «Въ сочиненіяхъ своихъ г. Стронинъ исходитъ почти всегда изъ вѣрныхъ, непреложныхъ положеній, чтобы дойти какимъ-то невѣдомымъ путемъ до самыхъ странныхъ, самыхъ невѣроятныхъ заключеній. Главный врагъ г. Стронина — его собственная, математически-точная и стройная логика» (№ 330). Газета дѣлаетъ здѣсь величайшее философское открытіе. До сихъ поръ полагали, что логическая способность есть способность приходить къ правильнымъ заключеніямъ. Нынѣ оказывается, что человѣкъ, обладающій «математически-точной и стройной логикой», именно въ силу этого печальнаго обстоятельства можетъ исковеркать «вѣрныя и непреложныя положенія» и придти «къ самымъ страннымъ, самымъ невѣроятнымъ заключеніямъ». Это открытіе проливаетъ яркій свѣтъ на судьбу газеты: бѣдняжка обладаетъ математически-точной и стройной логикой, она больше ни въ чемъ не виновата. Мы держимся совершенно противоположнаго взгляда на логику г. Стронина и имѣли уже случай отдать ей справедливость. Мы говорили именно, что г. Стронинъ никогда не понимаетъ своей исходной точки, коверкаетъ свои основныя положенія до нелѣпости, но затѣмъ весьма логично, весьма послѣдовательно проводитъ эту нелѣпость до конца, до самыхъ столповъ геркулесовыхъ. Поэтому, если признать его исходную точку «вѣрнымъ и непреложнымъ положеніемъ», то надо признать и почти все остальное. Да вообще, говоря о приверженцахъ теоріи соціальнаго организма, критикѣ незачѣмъ особенно вдаваться въ разсмотрѣніе частныхъ результатовъ изслѣдованія. Важенъ его общій тонъ, его методъ, его исходная точка.

Какова доля естественныхъ наукъ во всемъ этомъ кувырканьи? Если хотите, и очень мала, и очень велика. Мала, потому что здѣсь дѣло не столько въ естественныхъ наукахъ, сколько въ «математически-точной логикѣ», и естественныя же науки могутъ дать орудіе противъ всѣхъ этихъ фокусовъ. Велика — потому что умъ, привыкшій къ исключительному изученію явленій природы, естественно склоненъ вносить идею желѣзной необходимости, безсудности въ область этики. Конечно, не у насъ надо искать яркихъ примѣровъ такой односторонности: «мы всѣ учились понемногу, чему-нибудь и какъ-нибудь». Наши промахи можно, пожалуй, объяснить даже незнакомствомъ съ законами природы. Но вотъ одинъ изъ ученѣйшихъ нѣмцевъ, одинъ изъ ученѣйшихъ людей въ свѣтѣ, блестящій комментаторъ теоріи Дарвина, Эрнестъ Геккель, публично защищаетъ идею соціальнаго организма. Въ залѣ берлинскаго «союза ремесленниковъ» это свѣтило науки косвеннымъ образомъ рекомендуетъ слушателямъ примѣръ устройства не только пчелинаго или муравьинаго государства, а даже государства сифонофоръ, въ которомъ до послѣдней возможности пожрана свобода, самостоятельность и благоденствіе отдѣльныхъ членовъ. Мененій-Агриппа живъ! Здѣсь не можетъ быть, разумѣется, рѣчи о незнакомствѣ съ законами природы. Напротивъ, грѣхъ долженъ быть приписанъ односторонности, сравнительному излишеству естественно-исторической точки зрѣнія. Однако, и этого объясненія, повидимому, недостаточно. Все какъ-то думается, что такой сильный умъ сумѣлъ-бы оріентироваться даже въ незнакомой ему области, если бы въ дѣло не замѣшались какія-нибудь побочныя причины. Ихъ можно подсмотрѣть. Весьма и весьма ученая француженка, г-жа Ройе, обращается къ образованнымъ людямъ съ патетическою рѣчью, убѣждая ихъ разъяснить при всякомъ удобномъ случаѣ волнующейся, на что-то надѣющейся

толпѣ, что Мененій-Агриппа правъ. Она предлагаетъ отнять у народа библію и евангеліе, потому что книги эти посѣваютъ преувеличенныя понятія о равенствѣ всѣхъ людей. Г-жа Ройе прибѣгаетъ при этомъ, подобно г. Стронину, и къ пирамидальному строю общества, и на идеѣ соціальнаго организма, но на одномъ пунктѣ рѣзко расходится съ нашимъ отечественнымъ соціологомъ. Именно то, что г. Стронинъ называетъ «женской утопіей», она раздуваетъ до размѣровъ «царства Амазонокъ» въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ. На основаніи аналогіи, при томъ гораздо болѣе удовлетворительной, чѣмъ большинство упражненій этого рода, предполагается устройство общества на манеръ пчелинаго улья, гдѣ самки суть все, а самцы ничто. Любопытно, что Дарвинъ, желая взять, какъ онъ самъ замѣчаетъ, «крайній случай», говоритъ: «Если бы мы были воспитаны въ совершенно тѣхъ же условіяхъ, какъ улейныя пчелы, то нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія, что наши незамужнія женщины, подобно пчеламъ работницамъ, считали бы священнымъ долгомъ убивать своихъ братьевъ, матери стремились бы убивать своихъ плодовитыхъ дочерей и никто не подумалъ бы протестовать противъ этого» (Происхожденіе человѣка, пер. Сѣченова, I, 77). Дарвинъ беретъ «крайній случай», не думая, разумѣется, чтобы онъ могъ когда-нибудь осуществиться. Г-жа Ройе, однако, ратующая противъ всякихъ утопій, считаетъ возможными тѣ невѣроятныя измѣненія инстинктовъ и наклонностей, которыя необходимы для пришествія «царства Амазонокъ». Ясно въ чемъ дѣло: г-жа Ройе женщина и потому принимаетъ интересы женщинъ гораздо ближе къ сердцу, чѣмъ интересы мужчинъ. Это случай исключительный, но онъ даетъ ключъ къ объясненію тѣхъ, иногда вполнѣ добросовѣстныхъ заблужденій, въ силу которыхъ и естественныя науки дѣлаются орудіемъ скотоподобія. Всѣ эти господа соціологи и біологи принадлежатъ, говоря языкомъ аналогическаго метода, къ вершинѣ общественной пирамиды. Вотъ и все.

Кромѣ идеи соціальнаго организма, есть еще одинъ пунктъ, на которомъ естествознаніе даетъ Іудинъ поцѣлуй соціологіи. Стоитъ только въ вышеприведенную тираду Кузена ввести слова: подборъ, борьба за существованіе,—и мы получимъ возвеличеніе побѣдителя въ силу того, что онъ побѣдитель, при помощи біологической доктрины, составляющей по справедливости славу нашего времени. Убѣжденный нѣкоторыми спеціальными работами и философскими соображеніями, сдѣланными подъ вліяніемъ его же теоріи, Дарвинъ въ послѣднемъ своемъ сочиненіи сдѣлалъ въ этомъ отношеніи большія уступки. Но второстепенные дарвинисты, охотно вторгающіеся въ область соціологіи, продолжаютъ съ усердіемъ, достойнымъ лучшаго примѣненія, величать побѣдителя въ силу того, что онъ побѣдитель. Русскіе соціологи не уступаютъ въ этомъ отношеніи никому.

Спрашивается, если справедливы вышеприведенныя соображенія, то въ какой мѣрѣ можетъ оправдать реальное образованіе возлагаемыя на него у насъ надежды? Само собою разумѣется, что отдѣльные примѣры здѣсь ничего не значатъ. Гегеліанская философія вскормила такихъ людей, какъ Лассаль и Марксъ, которые внесли въ общество массу идей и гораздо болѣе нравственныхъ, и гораздо болѣе научныхъ въ самомъ строгомъ смыслѣ, чѣмъ разные Іегеры и Ройе. Но изъ этого не слѣдуетъ, чтобы метафизика Гегеля была выше даже въ спеціально-воспитательномъ смыслѣ, чѣмъ современныя естественно-научныя доктрины. Абстрактно говоря, мы ни мало не сомнѣваемся въ великихъ преимуществахъ реальнаго образованія. Вопросъ, собственно, объ образованіи для насъ, напримѣръ, лично разрѣшенъ вполнѣ Контовымъ цикломъ наукъ. Но мы живемъ не въ безвоздушномъ пространствѣ. Контовымъ планомъ могутъ въ настоящую минуту воспользоваться очень и очень немногіе счастливцы, изъ которыхъ вдобавокъ, чего добраго, выростутъ Ройе и Іегеры. И это самое главное. Дѣло въ томъ, что педагогическій вопросъ, если вы желаете его правильно разрѣшить, не долженъ быть выдѣляемъ изъ общаго соціальнаго вопроса. Если Марксъ и Лассаль дѣлаютъ изъ діалектики берлинскаго штатсъ-философа оружіе, какого самъ онъ никогда не имѣлъ въ виду, то это значитъ только, что философія Гегеля извѣстнымъ образомъ преломилась въ индивидуальностяхъ Маркса и Лассаля. Тайна этого преломленія, интересная можетъ быть въ психологическомъ отношеніи, не имѣетъ никакого спеціально-общественнаго интереса, именно потому, что здѣсь все дѣло въ личностяхъ Маркса и Лассаля. Но когда извѣстная доктрина, извѣстный строй мысли преломляются въ *общественной средѣ* извѣстнымъ образомъ, то это фактъ соціологическій, съ которымъ необходимо вѣдаться при рѣшеніи педагогическаго вопроса. Если мы видимъ, что при данномъ устройствѣ общества всякое ученіе—реальное и идеальное—обращается въ оружіе скотоподобія и эксплуатаціи слабаго сильнымъ, то центръ тяжести педагогическаго вопроса долженъ быть передвинутъ. Практически безразлично, какими методами будетъ доказано, что то, что есть, имѣетъ право быть, что мѣсто каждаго предмета составляетъ его истинность и что по-

бѣдитель всегда лучше побѣжденнаго. Скажутъ, конечно, что помимо того естественныя науки сообщаютъ массу свѣдѣній, расширяютъ горизонтъ нашихъ знаній и вмѣстѣ съ тѣмъ способствуютъ развитію техники и, слѣдовательно, непосредственно ведутъ къ утилизаціи матеріальныхъ и личныхъ силъ страны. Все это совершенно справедливо. Но при извѣстныхъ условіяхъ всѣ эти преимущества могутъ оказаться на сторонѣ скотоподобія. Дѣйствительно, если высшіе слои «соціальной пирамиды» вооружены только силлогизмами Кузена или Гегеля, то это еще не особенно опасные враги, тогда какъ, вооруженные знаніями и техническими приспособленіями, они могутъ обставить свои интересы весьма солиднымъ образомъ. Мы не говоримъ о прямыхъ злонамѣренныхъ фальсификаціяхъ въ родѣ Беллярминовской. Онѣ собственно наименѣе опасны и могутъ приводить къ результатамъ, совершенно противоположнымъ тѣмъ, которые ожидаются ихъ творцами. Мы имѣемъ въ виду только добросовѣстныя заблужденія. Возьмемъ, напримѣръ, Геккеля или Спенсера. Это ученѣйшіе люди, вдобавокъ люди, которые въ частностяхъ не прочь щегольнуть демократизмомъ. Но они отстаиваютъ презрѣнную и при томъ ошибочную соціальную доктрину, и ученость ихъ въ этомъ направленіи служитъ только ко вреду общества. Почему они это дѣлаютъ? Потому, что ихъ положеніе въ обществѣ и ихъ обычныя занятія не даютъ имъ нужнаго въ такомъ дѣлѣ нравственнаго чутья. Чѣмъ ученѣе они, тѣмъ хуже, разъ остальныя условія остаются нетронутыми. Что касается до улучшенія техники, то къ этому пункту слѣдуетъ приложить ту же точку зрѣнія. Какъ бы далеко ни подвинулась впередъ техника, она будетъ служить только высшему слою соціальной пирамиды, усиливать только его вооруженіе. Если въ общество, имѣющее устройство пирамидальное, вводится какая-нибудь машина, то она, будучи въ абстрактѣ великою помощницей человѣка, на дѣлѣ ляжетъ тяжелымъ гнетомъ на нижніе слои пирамиды. Этотъ рядъ фактовъ, впрочемъ, и достаточно извѣстенъ, и не имѣетъ прямого отношенія къ предмету нашей бесѣды.

Итакъ, при рѣшеніи педагогическаго вопроса, необходимо принимать въ соображеніе не только абсолютное достоинство той или другой системы образованія, но и характеръ общественнаго строя. Въ пирамидальномъ строѣ общества или, пожалуй, въ соціальномъ организмѣ самою яркою чертою съ соціально-педагогической точки зрѣнія является отдѣленіе знанія отъ труда. Сюда-то и должны быть направлены радіусы педагогическихъ соображеній. Все остальное имѣетъ совершенно второстепенное значеніе. Не дѣло, конечно, педагоговъ разсуждать о томъ, какъ заставить знающихъ трудиться; но за то главное, единственное ихъ дѣло состоитъ въ томъ, чтобы дать знаніе трудящимся. Дайте, скажемъ, горнорабочему знанія горнаго инженера, дайте заводскому рабочему знанія механика или химика, дайте мужику знанія сельскаго хозяина, выдавите этимъ мирнымъ путемъ посредниковъ между знаніемъ и трудомъ,—и *соціально-педагогическій* вопросъ рѣшенъ. Тогда, на этой нравственно и хозяйственно расчищенной почвѣ вы можете съ чистою совѣстью возращать реальное образованіе. Тогда, и только тогда, лучи знанія будутъ правильно преломляться въ общественной средѣ. Тогда, и только тогда, знанія перестанутъ быть орудіемъ скотоподобія.

Не предполагая писать проектъ народнаго образованія и не считая себя вовсе къ этому призванными, мы ограничиваемся этими бѣглыми замѣчаніями и переходимъ къ русскимъ соціологамъ. Ихъ положеніе, въ виду излюбленной ими идеи соціальнаго организма, весьма любопытно и оригинально. Дѣло въ томъ, что пока,—что дастъ Богъ впередъ, неизвѣстно.—Россія въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ весьма не пирамидальна, весьма не органична. Органическая теорія требуетъ, чтобы каждая функція, каждый видъ занятія былъ строго отдѣленъ отъ другихъ, чтобы въ обществѣ было какъ можно болѣе различныхъ и какъ можно болѣе обособленныхъ частей. Если у насъ въ Россіи и сохранились еще нѣкоторыя обособленія, которыя отжили свой вѣкъ въ Европѣ, какъ, напримѣръ, обособленіе податныхъ и неподатныхъ сословій, то, съ другой стороны, мы далеко не видимъ около себя той рѣзкости обособленій вообще, какая господствуетъ на Западѣ. Тамъ въ странахъ наиболѣе цивилизованныхъ землевладѣніе, капиталъ и трудъ отдѣлены другъ отъ друга весьма рѣзко, чѣмъ органическая теорія и удовлетворена. У насъ этого нѣтъ. Подавляющее большинство населенія Россіи состоитъ изъ землевладѣльцевъ-земледѣльцевъ. Въ Европѣ обрабатывающая промышленность вся сконцентрирована въ городахъ. У насъ огромная доля ея не отдѣлилась отъ сельской промышленности и не выходитъ изъ деревни. У насъ мужикъ, если и работаетъ на фабрикѣ, то тѣмъ не менѣе имѣетъ свой клокъ земли, къ которому и возвращается лѣтомъ и въ минуты невзгоды. Въ Европѣ этого нѣтъ, потому что и мужика тамъ настоящаго не вездѣ можно сыскать. У насъ безземельный рабочій есть исключеніе, тогда какъ въ наиболѣе цивилизованныхъ странахъ Европы дѣло устроено самымъ органическимъ обра-

зомъ и такого явленія, какъ землевладѣлецъ-капиталистъ-рабочій, тамъ давно уже нѣтъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ Россія есть страна неразвитая, бѣдная капиталами и знаніями. Въ виду всего этого возможны двѣ діаметрально противоположныя политическія программы. Можно требовать для Россіи буквальнаго повторенія исторіи Европы въ экономическомъ отношеніи: отнять у мужика землю и отправить его на фабрики, свести всю обрабатывающую промышленность въ города, а сельскую предоставить мелкимъ или крупнымъ землевладѣльцамъ не-земледѣльцамъ. Такимъ путемъ различныя общественныя функціи благополучно обособятся. Но можно представить себѣ и другой ходъ вещей. Можно представить себѣ поступательное развитіе тѣхъ самыхъ экономическихъ началъ, какія и теперь имѣютъ мѣсто на громадномъ пространствѣ имперіи. Это будетъ, разумѣется, опытъ небывалый, но вѣдь мы и находимся въ небываломъ положеніи. Мы представляемъ собою народъ, который былъ до сихъ поръ, такъ сказать, прикомандированъ къ цивилизаціи. Мы владѣемъ всѣмъ богатѣйшимъ опытомъ Европы, ея исторіей, наукой, но въ то же время сами только оцарапаны цивилизаціей. Наша цивилизація возникаетъ такъ поздно, что мы успѣли вдоволь насмотрѣться на чужую исторію и можемъ вести свою собственную вполнѣ сознательно, — преимущество, которымъ въ такой мѣрѣ ни одинъ народъ въ мірѣ до сихъ поръ не пользовался. Какъ бы то ни было, но между двумя означенными политическими программами возможны пренія. Съ той и съ другой стороны могутъ быть выставлены доводы историческіе, экономическіе, этическіе, спеціально-политическіе. Приверженцу органической теоріи общества нѣтъ ни малѣйшаго дѣла до всего этого. Его дѣло — аналогія, это единственный инструментъ, на которомъ онъ умѣетъ и желаетъ играть. Инструментъ этотъ очень простой, въ родѣ какъ органъ. Для игры на фортепьяно, на скрипкѣ и проч. нужны умѣнье, слухъ, вкусъ, талантъ, бѣглость пальцевъ, а на органѣ — знай себѣ за ручку верти, да не задумывайся. Аналогію подыскать не трудно, пожалуй и не одну. Извѣстно, что въ зародышѣ нѣтъ рѣзкаго различія между частями: все находится въ смѣшеніи. Только съ теченіемъ времени обособляются тѣ, другіе, третьи органы и ткани. Намъ, русскимъ, приходится поэтому просто ждать обезземеленія крестьянъ и всѣхъ другихъ обособленій. Они неизбѣжно наступятъ въ свое время, какъ неизбѣжно начинаетъ функціонировать въ опредѣленное время, напримѣръ, половой аппаратъ. Результатъ этотъ не только неизбѣженъ, а и вполнѣ желателенъ, именно потому, что онъ неизбѣженъ. Эти счастливые органисты желаютъ только того, что неизбѣжно, хотя неизбѣжное сочиняется ими самими.

Прискорбнѣе можетъ быть всего въ этомъ жонглерствѣ то обстоятельство, что имъ дискредитируется наука. Но не забудемъ, что химіи предшествовала алхимія, астрономіи — астрологія, медицинѣ — ученіе о сигнатурахъ. И всѣ эти предтечи дѣйствительныхъ наукъ были построены исключительно на нелѣпыхъ и совершенно произвольныхъ аналогіяхъ. Напримѣръ, по ученію о сигнатурахъ *желтуха* излѣчивается *желтыми* цвѣтами, *кровотеченіе — кровавикомъ*, *головная* боль — маковыми *головками* и т. п. Въ основаніи этихъ рецептовъ лежатъ аналогіи, ни въ чемъ не уступающія аналогіямъ г. Стронина и комп. Одна только бѣда: алхимія, астрологія и ученіе о сигнатурахъ распространяли ложныя идеи, а органическая теорія общества распространяетъ ложныя идеи и скотоподобіе.

Мы ни мало не колеблемся употреблять это слово. Не только потому, что имѣемъ передъ собою примѣръ архимандрита Фотія, а еще и потому, что никто изъ нашихъ соціологовъ не говоритъ прямо, что то, что есть, имѣетъ *право* быть и т. п. Это надо вывести изъ ихъ теорій, и, слѣдовательно, говоря о «скотоподобіи», мы никому лично оскорбленій не наносимъ. Что же касается до логическихъ выводовъ изъ этихъ теорій и до самыхъ теорій, то, не зная ничего оскорбительнѣе ихъ для человѣческаго достоинства, мы не знаемъ и оскорбительныхъ словъ, которыя бы не могли быть къ нимъ приложены. Еще недавно увлеченіе естественными науками, какіе бы размѣры оно ни принимало, не представляло у насъ ни малѣйшей опасности, потому что въ самомъ обществѣ было нѣчто, не дозволявшее, по крайней мѣрѣ, укрѣпляться неправильнымъ преломленіямъ какой бы то ни было доктрины. Нынѣ мы находимъ въ совершенно иномъ положеніи. Нынѣ и безъ всякихъ теорій съ ученымъ антуражемъ мы представляемъ міру преобразовывать насъ, не пытаясь преобразовывать его сами. Соотвѣтственныя доктрины попадаютъ, что называется, въ точку, но тѣмъ обязательнѣе борьба съ ними. Еще недавно идея законосообразности явленій природы и общественной жизни вызывала въ насъ совершенно не тѣ мысли, чувства и стремленія, какія проповѣдуются теперешними соціологами. Конечно, если бы господа соціологи были правы, то пришлось бы, скрѣпя сердце, разстаться съ дорогими идеалами, но этого, къ счастію или къ несчастію, нѣтъ: господа соціологи неправы. Усиліями недавно завершившей свой кругъ литературы, идея законосообразности вошла во всеобщее сознаніе, стала азбуч-

ной истиной. Этому, съ одной стороны, нельзя не радоваться, но, съ другой стороны, она слишкомъ долго остается въ положеніи азбучной истины. Она обратилась въ догматъ толпы и ея ораторовъ, которые не умѣютъ съ нею справиться и носятся съ нею, какъ неумные люди съ писаной торбой. Въ такихъ обстоятельствахъ величайшая идея неизбѣжно получаетъ извращенный характеръ и изъ свѣтлаго маяка обращается въ повязку, накладываемую на глаза во время игры въ жмурки. Мы предлагаемъ нашимъ соціологамъ высказать свое мнѣніе, во-первыхъ, о вышеприведенномъ выводѣ автора статьи «К. Кавелинъ, какъ психологъ»: психологія неизбѣжно разсуждаетъ, какъ бы вопросъ о произвольности человѣческихъ дѣйствій былъ рѣшенъ отрицательно, а логика и этика столь же неизбѣжно разсуждаютъ, какъ бы онъ былъ рѣшенъ положительно. Далѣе, мы желали бы получить отъ нихъ прямые отвѣты на слѣдующіе вопросы: въ какой мѣрѣ устранимъ этическій элементъ, элементъ нравственнаго суда изъ различныхъ областей общественной науки? На чемъ, кромѣ аналогіи, основывается идея соціальнаго организма и пирамидальнаго строя общества? Каковы дѣйствительныя отношенія между общественнымъ и физіологическимъ раздѣленіемъ труда, помимо аналогіи? Желательно ли само по себѣ для Россіи такое обособленіе общественныхъ функцій, въ силу котораго землевладѣніе, капиталъ и трудъ находятся въ различныхъ рукахъ? Въ какомъ отношеніи находится идея соціальнаго организма къ централизаціи и самоуправленію?

Если почтенные господа соціологи отвѣтятъ на эти вопросы вполнѣ добросовѣстно, т. е. примутъ въ соображеніе всѣ главные pro и contra, то они окажутъ значительную услугу обществу. Плодить ученые трактаты, написанные съ аналогической точки зрѣнія, весьма удобно: въ одномъ можно сравнить общество съ пирамидой, въ другомъ — съ кубомъ, потомъ съ шаромъ, съ октаэдромъ, съ цилиндромъ, съ организмомъ, съ ухватомъ, съ кочергой, съ колесомъ и проч., и проч., и проч. Отвѣтить на поставленные вопросы, къ сожалѣнію, труднѣе, но едва ли не плодотворнѣе. Оставимъ метафоры и притчи поэтамъ, адвокатамъ, проповѣдникамъ. Все хорошо на своемъ мѣстѣ. Прибѣгать къ метафорѣ въ рѣчи или письмѣ значитъ просто украшать ихъ или облегчать логическій процесъ образными представленіями. Строить на метафорѣ науку значитъ морочить людей. До какой степени аналогисты не брезгливы въ выборѣ своихъ аргументовъ, можно видѣть изъ слѣдующаго. Г. Стронинъ считаетъ великороссіянъ новымъ народомъ Израиля, которому самой природой предназначено управлять міромъ. Будучи великороссомъ, я съ ужасомъ думаю о роли, предназначаемой, такимъ образомъ, моему народу. Я знаю, что послѣ того народа, которымъ управляетъ другой народъ, самый несчастный есть тотъ, который управляетъ другимъ народомъ. Но если это неизбѣжно, то, конечно, дѣлать нечего. Я вспоминаю, однако, что чуть не у всѣхъ народовъ были и есть пророки, предсказывающіе имъ будущность, принадлежащую, по г. Стронину, великороссамъ. У Пруссіи есть и теперь такіе провидцы, у Франціи были очень недавно, австрійскіе провидцы сочинили даже извѣстный фокусъ изъ пяти гласныхъ латинской азбуки A. E. I. O. U. (Austriae est imperare omni universo). Значитъ еще, можетъ быть, чаша сія и минуетъ нашъ не воинственный народъ. Въ этомъ убѣждаетъ насъ и свойство аргументовъ нашего пророка, которые не далеко ушли отъ фокусовъ австрійскихъ патріотовъ. Напримѣръ, г. Стронинъ обращаетъ вниманіе на частое повтореніе въ великороссійскомъ нарѣчіи буквы а. Великороссъ говоритъ: *хади*, *хара*шо и т. п. Это обстоятельство, между прочимъ, знаменуетъ, по г. Стронину, великую будущность великороссійскаго племени ибо звукъ *а*, какъ онъ доказываетъ, заключаетъ въ себѣ нѣчто повелительное. Любопытно было бы знать, *акалъ* ли великороссъ во время татарскаго ига, московскихъ царей вообще и Іоанна Грознаго въ особенности, *акалъ* ли онъ во все продолженіе крѣпостного права и проч. Достойно вниманія, что акать по конструкціи языка приходится главнымъ образомъ русскимъ женщинамъ: я, Анна, была бита плетью; я, Варвара, была заперта въ теремѣ и проч. Отсюда повелительный характеръ русскихъ женщинъ.

Изъ литературныхъ и журнальныхъ замѣтокъ 1873 года *).

I.

На новый годъ.—Изъ исторіи отношеній нашей литературы къ праздному любопытству.—Диссертація г. Зибера: «Теорія цѣнности и капитала Рикардо».—Почему тенденціозная литература иногда даетъ замѣчательные художественные и научные результаты, а иногда нѣтъ.—Совѣтъ «Маляру».—Г. Эдипъ де-Пуле.—«Разсвѣтъ сборникъ произведеній писателей самоучекъ».—Что произойдетъ, если въ современной литературѣ явится десятки новыхъ талантовъ? Ничего не произойдетъ.—Куда вышелъ изъ народа г. Губонинъ?—«Очерки ирландской жизни» Тренча.—Важный соціологическій законъ и его примѣненіе къ условіямъ успѣха и къ задачамъ литературы.—Самоотреченіе Милля.—Два слова о публицистикѣ и беллетристикѣ.

Съ новымъ годомъ, читатель, съ новымъ счастьемъ. Знакомые и родные пожелаютъ вамъ чиновъ, крестовъ, многолѣтія, дѣтей, здоровья, богатства. Я, вашъ скромный собесѣдникъ по текущимъ дѣламъ русской литературы, могу вамъ пожелать только одного: честной и смѣлой литературы. Но за то, я увѣренъ, ни одинъ изъ вашихъ знакомыхъ не подноситъ вамъ своихъ пожеланій всякихъ благъ земныхъ и небесныхъ съ такой искренностью, съ какою я приношу вамъ свое. И, можетъ быть, немного найдется благъ выше того, котораго желаю вамъ я. Въ принципѣ литература есть такая же служительница истины и справедливости, какъ и всѣ другія общественныя функціи. Но поле ея дѣятельности шире, чѣмъ у другихъ функцій, а потому съ нея больше и спрашивается, и большее благо представляетъ она, если исполняетъ свои обязанности, какъ слѣдуетъ. Смѣлость и честность обязательны для нея въ такой же мѣрѣ, какъ для суда, для политики внутренней и внѣшней, для экономической дѣятельности. Но ея положительныя или отрицательныя качества важнѣе для общества, такъ какъ ей до извѣстной степени принадлежитъ власть и надъ судомъ, и надъ политикой, и надъ экономической дѣятельностью. Конечно, мы нѣсколько отвыкли отъ такого представленія о значеніи литературы. Но только потому, что литература теперешняя имѣетъ весьма мало положительныхъ качествъ, а качества отрицательныя—слабость, вялость, нечестность, распущенность—не могутъ давать результаты, вполнѣ осязательные. Они дѣлаютъ свое дѣло, эти отрицательныя качества, они вносятъ въ общество свой ядъ, и если бы можно было вычислить количество его, мы изумились бы округленности цифры, но это вліяніе невидно и неуловимо. Доброкачественны или дрянны предлагаемые обществу продукты литературы, но à la longue они не остаются безъ вліянія. Если они не всегда воспринимаются сознательно, то всасываются безсознательно и такъ или иначе дѣлаютъ свое дѣло. И вотъ почему я утверждаю, что, желая вамъ честной и смѣлой литературы, я желаю вамъ одного изъ величайшихъ благъ. Я очень хорошо понимаю, что многіе найдутъ мое пожеланіе идиллическимъ. «Честность», «смѣлость», «служительница истины и справедливости»,—все это для насъ «жалкія слова», смѣшныя слова, ненужныя, непонятныя, чужія слова. Литература наша умѣла понимать этотъ языкъ въ періодъ своего возрожденія и молодости, но теперь это для нея нѣчто въ родѣ засохшихъ желтыхъ цвѣтовъ Адуева, нѣчто въ родѣ изображенія предмета первой, чистой любви старой, нарумяненной кокотки,—воспоминаніе о шалостяхъ и увлеченіяхъ дѣтства. Пріятно, конечно, иногда возобновить въ своей памяти розовыя мечты и золотыя надежды юношескихъ годовъ, ту рьяность, ту гордость, вѣру въ себя, широкій размахъ требованій отъ жизни, который такъ краситъ молодость. Но не возвращаться же къ этой пройденной ступени. Я авторъ передовыхъ статей, фельетонистъ, беллетристъ и проч., — при чемъ тутъ служеніе истинѣ и справедливости, смѣлость, честность?—Говоря это, я разумѣется, не имѣю въ виду отдѣльныхъ личностей, между которыми есть изношенныя и не изношенныя. Литература въ общемъ состарѣлась настолько, что не можетъ безъ скептической улыбки говорить не только о формахъ своихъ юношескихъ надеждъ и задачъ, а и о самыхъ надеждахъ и задачахъ. И тѣмъ не менѣе, я всетаки желаю вамъ смѣлой и честной литературы.

Но я долженъ во избѣженіе недоразумѣній оговориться. Со стороны внѣшнихъ вліяній положеніе литературы невыгодно. Это всѣмъ извѣстно, хотя «Указатель по дѣламъ печати», къ сожалѣнію, не печатаетъ свѣ-

*) 1873 г., январь.

дѣній объ арестуемыхъ и уничтожаемыхъ книгахъ. Законъ 7-го іюня 1872 года, извѣстный подъ именемъ дополненія закона 6-го апрѣля 1865 года, значительно ограничилъ свободу печати.

Не въ цензурномъ отношеніи, конечно, можемъ мы пожелать литературѣ избытка смѣлости. Дѣло ясное, что мы должны дѣлать только то, что намъ позволяютъ дѣлать, потому что, если мы позволимъ себѣ дѣлать то, чего намъ не позволяютъ, то намъ ничего не позволятъ дѣлать. Таково положеніе вещей. Но литература можетъ ослаблять, по крайней мѣрѣ, нѣкоторые мотивы недовѣрія и неуваженія къ ней, а можетъ — значитъ должна. Литература можетъ быть честна и смѣла, если не въ способахъ бесѣды съ читателями, если не во внѣшнемъ выраженіи своихъ идей то въ своемъ внутреннемъ отношеніи къ обществу, а можетъ — значитъ должна. И потому я опять таки желаю читателю честной и смѣлой литературы, желаю—значитъ ея нѣтъ. Да, ея нѣтъ или почти нѣтъ.

Литература можетъ въ значительной степени сама убѣдить и общество, и правительство, что удовлетвореніе празднаго любопытства не есть ея задача. Это очень нетрудно, ибо одна изъ существеннѣйшихъ задачъ литературы состоитъ, напротивъ, въ борьбѣ съ празднымъ любопытствомъ, куда бы оно ни было устремлено. Ученый, если онъ сообщаетъ только свѣдѣнія, хотя бы эти свѣдѣнія ни на что не годились, художникъ, который даетъ только картинки, хотя бы эти картинки не имѣли никакого содержанія — удовлетворяютъ праздному любопытству и не только не исполняютъ задачъ литературы, но подлежатъ ея карѣ, какъ подлежитъ ея карѣ всякій другой гаеръ и фокусникъ. Мы не настолько ригористы, чтобы не признавать человѣческой слабости и законности извѣстной дозы гаерства и фокусничества почти на всѣхъ путяхъ жизни. Но est modus in rebus, что можно перевести по русски: сквернаго понемножку. Всегда и во всѣхъ отрасляхъ науки, и во всѣхъ видахъ искусства найдутся гробокопатели, удовлетворяющіе праздному любопытству. Но желательно, чтобы приправа не превращалась въ кушанье.

Да позволено мнѣ будетъ напомнить читателю нѣкоторые моменты отношеній нашей литературы къ праздному любопытству. Намъ не зачѣмъ подниматься къ тому глухому времени, когда связанная по рукамъ и ногамъ литература по необходимости удѣляла много силъ на удовлетвореніе празднаго любопытства. Мы напомнимъ лишь начало нынѣшняго царствованія, когда формулы празднаго любопытства: «наука для науки», «искусство для искусства» подвергались безпощадному бичеванію и были почти изгнаны дружными усиліями литературы. Какъ бы кто ни смотрѣлъ на это время, но всякій долженъ признать, что литература тогда пользовалась уваженіемъ, что къ ея голосу прислушивались во всѣхъ концахъ Россіи, что люди стремились сообразоваться съ ея указаніями и въ частной жизни, и въ общественной дѣятельности. Одну изъ причинъ этого явленія, несомнѣнно, составляло презрѣніе литературы къ праздному любопытству. Конечно, мы называемъ здѣсь празднымъ любопытствомъ то, что другіе называютъ спеціально-научными и спеціально-художественными цѣлями. Эти другіе должны будутъ назвать презрѣніе къ праздному любопытству презрѣніемъ къ наукѣ и искусству. Но — странное дѣло—это презрѣніе ни малѣйше не вредило интересамъ науки и искусства. Литература была тенденціозна, она была вся поглощена разрѣшеніемъ текущихъ вопросовъ, самымъ рѣшительнымъ образомъ вліяла на ходъ общественныхъ дѣлъ и поведеніе отдѣльныхъ личностей, научныя и художественныя цѣли отодвигала на послѣдній планъ и, однако, попутнымъ образомъ давала замѣчательные научные и художественные результаты. Приведемъ нѣсколько примѣровъ.

Въ 1871 году вышла диссертація г. Зибера «Теорія цѣнности и капитала Рикардо въ связи съ позднѣйшими дополненіями и разъясненіями»,—замѣчательное явленіе въ нашей школьной литературѣ. Это «критико-экономическое изслѣдованіе имѣетъ въ основаніи своемъ теорію цѣнности Карла Маркса и стремится доказать, что ученіе о цѣнности, какъ оно поставлено классической политической экономіей (Смитъ, Рикардо отчасти Мальтусъ), требуетъ только извѣстныхъ дополненій и послѣдовательнаго развитія, чтобы достигнуть строго научнаго значенія. Между тѣмъ послѣдующіе экономисты не только не дали этого дополненія и послѣдовательнаго развитія, но, запутываясь въ эмпирическихъ фактахъ, все болѣе и болѣе уклонялись отъ истины. Въ предисловіи г. Зиберъ говоритъ, что ему извѣстны только два сочиненія, въ которыхъ разсматриваются важнѣйшія части системы Рикардо въ ихъ взаимной связи; одно изъ нихъ есть сочиненіе Баумштарка, а другое—статья нашего соотечественника, г. Ю. Жуковскаго «Смитовское направленіе и позитивизмъ въ экономической наукѣ» («Современникъ», 1864 г.). О достоинствахъ этой работы авторъ говоритъ вскользь, именно, что, будучи согласенъ въ нѣкоторыхъ вопросахъ съ г. Жуковскимъ, онъ не согласенъ съ нимъ въ другихъ. Мнѣ пріятно вспомнить, что въ статьѣ «О литературной дѣятельности Ю. Г. Жуковскаго» я отдалъ большую справедливость заслугамъ

нашего экономиста. Я указалъ именно, что г. Жуковскій давно уже высказалъ мысль о необходимости возвращенія къ источникамъ политической экономіи, въ которыхъ имѣются всѣ данныя для правильнаго рѣшенія основныхъ вопросовъ науки, данныя, совершенно извращенныя современною школьною политическою экономіей. Но я тогда же указалъ, что честь «права перваго занятія» этой идеи, оказавшейся нынѣ столь плодотворною въ сильныхъ рукахъ Карла Маркса, принадлежитъ въ русской литературѣ не г. Жуковскому, а другому писателю, автору статей «Экономическая дѣятельность и законодательство» («Современникъ», 1859), «Капиталъ и трудъ» (1860), примѣчаній къ Миллю и проч. Кромѣ старшинства по времени, разница между этимъ писателемъ и г. Жуковскимъ можетъ выразиться нагляднымъ образомъ такъ. Если, напримѣръ, г. Жуковскій обстоятельно и строго-научно, даже нѣсколько педантически доказываетъ, что трудъ есть мѣра цѣнности и что всякая цѣнность производится трудомъ, то авторъ упомянутыхъ статей, не упуская изъ виду теоретической стороны дѣла, напираетъ преимущественно на логическій, практическій выводъ изъ нея: будучи производима и измѣряема трудомъ, всякая цѣнность должна принадлежать труду. Во всякомъ случаѣ, г. Жуковскій былъ когда-то чадомъ своего времени, какъ теперь онъ чадо другого времени. И потому намъ, пожалуй, и не зачѣмъ мѣрять его съ кѣмъ бы то ни было. Намъ важно только указать, что въ періодъ презрѣнія къ наукѣ русская литература оказывала такія важныя услуги даже чистой наукѣ, что будущій историкъ развитія экономическихъ идей въ Россіи отмѣтитъ ихъ съ величайшимъ почтеніемъ. Скажемъ больше. Будущій историкъ напишетъ: если бы въ это время русскій языкъ былъ извѣстенъ въ Европѣ, то европейская наука могла бы кое-чѣмъ позаимствоваться отъ этихъ якобы легкомысленныхъ и презирающихъ науку людей.

Въ области искусства напомнимъ, что въ періодъ презрѣнія къ искусству выросъ и окрѣпъ талантъ Щедрина, который, безъ сомнѣнія, займетъ одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ въ исторіи русской литературы. Напомнимъ Островскаго. Напомнимъ группу талантливыхъ народныхъ писателей, каковы Рѣшетниковъ, Гл. Успенскій, Левитовъ, Н. Успенскій, отчасти Слѣпцовъ. Этому направленію, къ сожалѣнію, до сихъ поръ не удалось развернуться и окрѣпнуть. Оно только начало слагаться, вызванное самою жизнью, какъ колесо жизни повернулось. Судить эту маленькую группу пока очень мудрено. Во всякомъ случаѣ «Разореніе» Гл. Успенскаго показало, что отъ нея мы въ правѣ ждать своего рода драгоцѣнностей. Но, если бы она даже совершенно заглохла, что было бы очень и очень печально, то историкъ литературы, даже имѣя въ виду спеціально-художественные интересы, несомнѣнно помянетъ добрымъ словомъ теплый, мягкій юморъ Гл. Успенскаго и, какъ выразился г. Тургеневъ, «трезвую правду» Рѣшетникова. Они будутъ помянуты такъ, какъ, разумѣется, не помянется ничто, порожденное нашимъ временемъ, когда мы вновь возвращаемся къ уваженію науки и искусства по одной терминологіи, къ праздному любопытству—по другой.

Вотъ нѣсколько примѣровъ изъ временъ возрожденія русской литературы. Это была литература смѣлая и честная, игравшая въ открытую, требовавшая отчета отъ всѣхъ явленій жизни и готовая всегда сама дать отчетъ въ каждомъ своемъ шагѣ. Посмотримъ, въ чемъ заключался секретъ этой литературы. Дальнѣйшая ея исторія показала, что одной искренности, одного отвращенія къ праздному любопытству недостаточно еще для того, чтобы попутнымъ образомъ получались замѣчательные художественные и научные результаты. Дѣйствительно, припомнимъ второй періодъ развитія честной и смѣлой литературы, періодъ «Русскаго Слова». Всѣ мы помнимъ это время господства такъ называемаго реализма когда презрѣніе къ праздному любопытству достигло, повидимому, своего апогея. Но всѣ мы знаемъ также, что ни одного сколько-нибудь виднаго научнаго или художественнаго продукта это время не дало, хотя въ литературѣ фигурировали рядомъ съ бездарностями и высоко талантливыя натуры, каковъ покойный Писаревъ. Я знаю, что у многихъ русскихъ критиковъ есть вполнѣ готовое объясненіе этого факта: литературу сгубила ея тенденціозность, ея неуваженіе къ наукѣ и искусству, какъ къ самостоятельнымъ жизненнымъ цѣлямъ. Съ тѣми изъ господъ критиковъ, раздѣляющихъ это мнѣніе, которые валятъ въ одну кучу Писарева и вышеупомянутаго предшественника г. Жуковскаго, Щедрина и г. А. Михайлова,—съ этими господами я разговаривать не буду. Критиковъ же, нѣсколько болѣе разборчивыхъ, я спрошу: почему тенденціозность не мѣшала первому періоду возрожденной литературы и мѣшала второму? Если мнѣ скажутъ, что во второмъ періодѣ литература впала въ крайности тенденціозности, то я попрошу отвѣтить мнѣ: во-первыхъ, почему это случилось? во-вторыхъ, гдѣ лежитъ граница между мѣшающею и не мѣшающею тенденціозностью?

Разъ я задаю эти вопросы, значитъ я имѣю на нихъ отвѣты, и я предложу ихъ вниманію читателей. Литература перваго

періода дѣлала общенародное русское дѣло, ближайшія ступени котораго были всѣмъ ясны до мельчайшихъ подробностей. Задача жизни состояла въ возстановленіи справедливости, въ теченіе вѣковъ правомѣрно нарушавшейся въ отношеніи къ милліонамъ русскаго народа. Литература взяла на себя обязанность быть органомъ возмущенной общественной совѣсти, и всѣ сферы науки, всѣ формы искусства пускала въ ходъ въ видѣ средствъ для достиженія своей цѣли. Наслажденія собственно знаніемъ и художественнымъ творчествомъ и созерцаніемъ играли для нея подчиненную роль, и тѣмъ не менѣе наука и искусство отъ этого не страдали. Зависѣло это именно отъ того, что литература дѣлала дѣло не кружка, не группы, не сословія, а дѣло всего народа. Въ этомъ значеніи народнаго дѣла нѣтъ ничего мистическаго. Ниже мы увидимъ, въ чемъ тутъ дѣло, а пока замѣтимъ просто, что чѣмъ шире поле нашихъ наблюденій, тѣмъ вы ближе къ истинѣ; чѣмъ шире поле вашего сочувствія, тѣмъ вы ближе къ справедливости. Поэтому беллетристъ, публицистъ, ученый, принимающій въ соображеніе фактическое положеніе народа и служащій интересамъ народа, будетъ, при равенствѣ другихъ условій, непремѣнно выше писателя, преслѣдующаго хотя бы самыя возвышенныя цѣли кружка, хотя бы самыхъ благородныхъ людей. Онъ будетъ выше въ качествѣ служителя истины и справедливости; для него, опять-таки разумѣется при равенствѣ другихъ условій, вѣроятнѣе созданіе высокохудожественныхъ произведеній и добыча строго научныхъ истинъ. И пониженіе уровня литературы въ періодъ «Русскаго Слова» объясняется для меня не тенденціозностью ея, а направленіемъ ея тенденціозности. Дѣло этой литературы вовсе не было народнымъ дѣломъ. Это было дѣло «мыслящаго пролетаріата», дѣло молодыхъ образованныхъ русскихъ людей обоего пола. Дѣло это было въ принципѣ совершенно законное и полезное. Отряхнувъ отъ ногъ своихъ прахъ крѣпостничества, образованные русскіе люди, главнымъ образомъ, конечно, молодые, естественно должны были пожелать выработать себѣ правила личнаго поведенія. И вотъ мы видимъ цѣлую вереницу романовъ и повѣстей, переполненныхъ образами молодыхъ людей, стремящихся къ личной чистотѣ. Литературная критика провѣряла эти образы, сравнивала ихъ, спорила о томъ, какой изъ литературныхъ типовъ можетъ и долженъ быть образцомъ поведенія, или о томъ, кто выше по степени личной чистоты: Рудинъ ли, или Лаврецкій, Базаровъ, Круциферскій, Печоринъ, Рахметовъ. Характеръ образа мыслей и дѣйствій, предписываемаго этою литературой, вполнѣ опредѣлялся требованіями времени. Онъ долженъ былъ замѣнить лживый, грязный и размалеванный, гнусный и ходульный образъ мыслей и дѣйствій, сложившійся подъ давленіемъ крѣпостничества. Требовалось свести ходульный идеализмъ на расчищенную землю, расчистить кучу позолоченнаго навоза, копившагося многіе и многіе годы. Сокращеніе всѣхъ статей общественнаго бюджета въ пользу личнаго совершенствованія «мыслящаго пролетаріата»—таковъ былъ девизъ литературы. Имъ устранялась всякая роскошь, все безполезное и лживое. Пока рядомъ съ этимъ теченіемъ продолжало жить и дѣйствовать въ литературѣ общенародное дѣло, оно было явленіемъ и законнымъ, и весьма отраднымъ. Оно отвѣчало потребностямъ наиболѣе свѣжей, воспріимчивой части общества; оно было смѣло и честно; оно боролось съ празднымъ любопытствомъ. Поэтому оно должно было пользоваться и дѣйствительно пользовалось уваженіемъ общества. Но физіономія литературы приняла совершенно другой характеръ, когда силою внѣшнихъ обстоятельствъ и личныхъ вкусовъ литературныхъ дѣятелей, задача литературы специализировалась, когда въ ней не осталось ничего, кромѣ личнаго совершенствованія молодыхъ русскихъ людей обоего пола. Насколько эта тема велика и благодарна, когда она связана съ другими, болѣе широкими задачами, настолько же она плоска и неблагодарна, когда она поглощаетъ всѣ силы литературы. Мы очень быстро повыбросали за бортъ всякую ложь и ненужную роскошь жизни. Но за неимѣніемъ другихъ задачъ или за неумѣніемъ найти ихъ, мы все продолжали разрабатывать вопросъ: какъ мнѣ жить свято? мнѣ, т. е. мыслящему пролетарію. Мы накладывали на себя все новыя и новыя эпитемьи, регламентировали каждый свой шагъ, но мы заботились при этомъ исключительно о себѣ. Основныя правила добропорядочнаго поведенія крайне немногосложны, и тянуть эту канитель достаточно долго можно, только вдаваясь все въ большія и большія подробности. Такъ и было. Я—тогда еще только мечтавшій о литературной дѣятельности мальчикъ—живо помню эти безконечные словесные споры о томъ, какъ мнѣ жить свято. Я никогда не брошу въ нихъ словомъ упрека, потому что по собственному опыту знаю, какъ много въ нихъ было искренности и душевности. Но при большей дозѣ хладнокровія легко было бы замѣтить, что этотъ путь ведетъ въ глухой переулокъ. Въ самомъ дѣлѣ, обрабатывая свой вопросъ до мельчайшихъ подробностей, мы выработали, наконецъ, два-три

шаблона, по которымъ всякій, не имѣющій ни искры таланта или серьезной мысли, могъ состряпать романъ, повѣсть, критическую статью. Но замѣчательныхъ художественныхъ и научныхъ результатовъ это направленіе дать не могло и дѣйствительно не дало; именно потому, что его дѣло было дѣломъ не народа, а секты, и при томъ секты, къ которой могли примкнуть представители только очень немногихъ слоевъ общества. Поле наблюденій и сочувствія этой литературы было слишкомъ узко, чтобы на немъ могло вырасти что-нибудь, кромѣ личной морали. Я не хочу, разумѣется, сказать, чтобы эта литература не желала служить народу. Напротивъ, это служеніе несомнѣнно входило въ ея программу, и многіе изъ представителей этого направленія дорого поплатились за попытки служенія народу. Но служеніе это представлялось только въ самыхъ общихъ очертаніяхъ распространенія просвѣщенія и благосостоянія. Между тѣмъ какъ въ то же время мы до мельчайшей подробности разбирали вопросъ о томъ, какъ долженъ жить «мыслящій пролетарій», какъ онъ долженъ спать, одѣваться, относиться къ родителямъ, къ женѣ и проч., и проч., и проч. Стараясь по возможности упростить формулу личной жизни «мыслящаго пролетарія», мы не замѣчали, что она становится въ такое противорѣчіе съ усложненіемъ формулы общественной жизни, которое отрѣзываетъ мыслящему пролетарію путь къ цѣлесообразной общественной дѣятельности, какъ бы ни были высоки его стремленія. Мы не замѣчали и того, что по мѣрѣ упрощенія жизненной формулы она становилась все искусственнѣе. И такъ не тенденціозность, не презрѣніе къ праздному любопытству было (и остается въ нѣкоторыхъ органахъ и по сю пору) больнымъ мѣстомъ этой литературы, а спеціальный характеръ ея тенденціозности.

Я совсѣмъ обойду ту инсинуаціонную, плоскую литературу, представителемъ которой можно признать хоть г. Стебницкаго, показавшаго въ своихъ «Соборянахъ», что для него не существуетъ предѣлъ «некуда. Я рекомендовалъ бы «Маляру» или «Будильнику» изобразить рядъ переходныхъ формъ отъ Базарова до героя «Соборянъ», Термосесова, который есть уже просто каторжникъ. Недурно было бы также изобразить градацію творцовъ этихъ формъ. Тогда, можетъ быть, оправдается теорія одного нѣмца, въ силу которой не человѣкъ произошелъ изъ низшихъ формъ, а, напротивъ, обезьяны и проч. произошли отъ человѣка. Я перехожу къ другимъ сторонамъ современной литературы, которыхъ, не смотря на ихъ непривлекательность, можно всетаки касаться безъ перчатокъ.

Несомнѣнно, что мы нынѣ возвратились къ уваженію науки и искусства, какъ самостоятельныхъ цѣлей жизни. Мы приносимъ обильныя жертвы на оба эти алтаря, мы еще больше говоримъ объ нихъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ нельзя сказать, чтобы литература была особенно бѣдна дарованіями. Нѣтъ, таланты есть, есть даже весьма крупные. И тѣмъ не менѣе всѣ согласны въ томъ, что общій уровень литературы стоитъ весьма низко. Въ литературѣ нѣтъ не только живой общественной струны, но она не представляетъ почти ничего цѣннаго даже въ области чистой науки и чистаго искусства, за которыми она такъ усиленно ухаживаетъ. Тотъ самый г. Жуковскій, о заслугахъ котораго было говорено выше, нынѣ, обратившись къ вящшему служенію наукѣ, занимается просто фокусами. Новые научные дѣятели особенно азартные въ поклоненіи безстрастной, но мудрой Изидѣ, какъ, напримѣръ, г. Стронинъ, опятьтаки занимаются фокусами. Объ искусствѣ и говорить нечего: старое старится, молодое не растетъ, и все, что есть дѣйствительно цѣннаго, дано не нашимъ временемъ. Естественно, что это явленіе интересуетъ многихъ, и всякій старается объяснить себѣ такъ или иначе фактъ оскудѣнія литературы. Представилъ и я читателю свое объясненіе и постараюсь его дополнить сегодня. Я представилъ также объясненіе г. Стронина, которое есть, впрочемъ, не объясненіе, а не совсѣмъ вѣрное описаніе. Нынѣ я могу занести въ свои замѣтки еще нѣсколько объясненій того же факта.

Недавно въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ» было напечатано письмо г. де-Пуле, имѣющее въ виду разъясненіе причинъ оскудѣнія литературы. Разъясненіе это касается одной белтетристики и отличается замѣчательною, почти дѣтскою простотою. Г. де-Пуле начинаетъ съ заявленія, что фельетонистъ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», г. Z., обнаруживаетъ такую способность критической оцѣнки беллетристическихъ произведеній, такое эстетическое пониманіе, какое въ русской литературѣ «не часто встрѣчалось послѣ Бѣлинскаго». Я не совсѣмъ понимаю, что именно хотѣлъ сказать этими словами г. де Пуле; то ли, что до Бѣлинскаго зеты встрѣчались часто, или что другое,—но я не могу отказать себѣ въ удовольствіи поднести читателю означенное сопоставленіе именъ въ видѣ сюрприза на новый годъ. Я готовъ признать мнѣніе г. де-Пуле «непреложнымъ положеніемъ», но съ прискорбіемъ ожидаю, что съ помощію Божіей и логики «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» изъ него произойдутъ «самыя странныя, самыя невѣроятныя заключенія». И дѣйствительно они происходятъ. Вся бѣда современной беллетристики

обусловливается, по мнѣнію г. де-Пуле, во-первыхъ, ея тенденціозностью, а во-вторыхъ, тѣмъ, что въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ недостаточно обращается вниманіе на «технику» нашихъ крупныхъ мастеровъ, каковы гг. Тургеневъ, Некрасовъ и проч. Это сама sancta simplicitas. Проще, невиннѣе, «святѣе» этого объясненія ничего нельзя придумать. Оно напоминаетъ остроумные отвѣты нянекъ на вопросы любопытныхъ ребятишекъ: «откуда у нихъ маменьки берутся маленькія дѣти?—«Боженька присылаетъ». Я хотѣлъ было порыться въ старыхъ «Воронежскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» и въ «Виленскомъ Вѣстникѣ» временъ М. Н. Муравьева, редакторомъ которыхъ былъ г. де-Пуле. Мнѣ хотѣлось именно посмотрѣть, что можетъ быть сдѣлано при помощи голубиной чистоты принциповъ г. де-Пуле. Но я сказалъ себѣ: да идетъ г. де-Пуле въ «С.-Петербургскія Вѣдомости» и далѣе съ миромъ.

Редакція «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей» присовокупляетъ въ примѣчаніи, что, будучи совершенно согласна съ г. де-Пуле относительно программъ среднихъ учебныхъ заведеній, она не можетъ не указать на другую причину оскудѣнія литературы вообще и беллетристики въ частности: гражданское и промышленное развитіе Россіи, желѣзныя дороги, прокуратура, адвокатура и проч. поглотили всѣ видныя силы и мало оставили литературѣ. Это механическое объясненіе достойно философскихъ пріемовъ газеты вообще, но едва ли она сумѣетъ поддержать его чѣмъ-нибудь, кромѣ доводовъ «отъ разума». Фактическая несостоятельность его выйдетъ наружу тотчасъ же, если вы припомните имена наиболѣе видныхъ нашихъ практическихъ дѣятелей. При этомъ окажется, что большинство ихъ никогда не были и не обѣщали быть замѣтными литературными дѣятелями. Съ другой стороны окажется, что многіе писатели стали писателями, по крайней мѣрѣ замѣтными, только подъ вліяніемъ гражданскаго и промышленнаго развитія Россіи, какъ, напримѣръ, кн. Васильчиковъ и др. Если разсуждать по логикѣ г. Корша, то окажется, что съ дальнѣйшимъ развитіемъ нашего отечества литература будетъ все болѣе и болѣе обираема въ пользу другихъ общественныхъ функцій, и, наконецъ, отъ нея останется одинъ голый скелетъ,—можетъ быть, это будутъ «С.-Петербургскія Вѣдомости» съ своей страшной логикой. Такова будетъ литература въ высшій моментъ развитія нашего отечества. Спрашивается однако, почему такого обиранія не произошло въ концѣ пятидесятыхъ и въ началѣ шестидесятыхъ годовъ, когда крестьянское дѣло и множество другихъ практическихъ сферъ потребовали массу силъ для своей эксплуатаціи, а между тѣмъ литература жила, какъ никогда ни до, ни послѣ того? Если и допустить, что какой нибудь десятокъ возможныхъ литературныхъ силъ поглощенъ практическою дѣятельностью, то онъ съ избыткомъ вознаграждается силами, приливающими именно вслѣдствіе общаго развитія жизни. Такъ, по крайней мѣрѣ, должно быть. Но если этого и нѣтъ, если компенсація происходитъ въ слишкомъ скромныхъ размѣрахъ, то указаніе на этотъ фактъ все-таки отнюдь не можетъ служить отвѣтомъ на вопросъ: почему скудѣетъ русская литература вообще и беллетристика въ частности? Вопросъ остается открытымъ и даже осложненнымъ. Во всѣхъ странахъ, во всѣхъ государствахъ, во всѣ времена шаги общества впередъ на поприщѣ политическаго, экономическаго и гражданскаго развитія вызывали расцвѣтъ литературы, что совершенно естественно. У насъ этого нѣтъ. Почему? Мудрый Эдипъ разрѣши!

Въ ожиданіи, я позволю себѣ обратить вниманіе читателя на книжку, заслуживающую вниманія только по нѣкоторымъ косвеннымъ причинамъ. Въ газетахъ недавно печатались объявленія о «небываломъ (sic) сборникѣ. Вотъ его полное заглавіе: «Разсвѣтъ. Сборникъ произведеній писателей - самоучекъ (нигдѣ не бывшихъ въ печати)». Въ предисловіи говорится: «Изданіе «Разсвѣта», сборника писателей-самоучекъ, возникло изъ желанія познакомить читающую публику съ произведеніями современныхъ нашихъ писателей-самоучекъ, не получившихъ научнымъ путемъ ни образованія, ни воспитанія, но саморазвившихся, самовоспитавшихся. Сборникъ нашъ не есть какая-либо претензія на литературное его значеніе. Единственная его цѣль—показать читающей публикѣ, какъ нашъ народъ, безъ всякихъ насилій, самъ собою, въ настоящее время развивается и какъ сочувствуетъ грамотности и какъ любитъ литературу». Я съ большимъ вниманіемъ перечиталъ сборникъ. При нынѣшнемъ безлюдьи поневолѣ съ особеннымъ интересомъ слѣдишь за вновь прибывающими въ литературу силами, а здѣсь ихъ представляется разомъ человѣкъ пятнадцать. Но я не знаю, чтобы за послѣднее время какое-нибудь чтеніе оставляло во мнѣ болѣе грустное впечатлѣніе. Не въ томъ, конечно, дѣло, что большинство произведеній сотрудниковъ «Разсвѣта» страдаетъ по части стихосложенія, а иногда и по части грамотности. Не въ томъ также, что буквально всѣ они свидѣтельствуютъ о слишкомъ уже пристальномъ изученіи «техники» Некрасова, Шевченки, Кольцова, Гл. Успенскаго. Дѣло въ цѣляхъ сборника. Сотрудники «Разсвѣта» рекомендуются людьми изъ народа. Надо думать, они большею частью изъ мѣ-

щанъ и купеческихъ дѣтей. Во всякомъ случаѣ, они по рожденію и условіямъ быта стоятъ довольно близко къ массѣ народа. Но они не только грамотны, а и не лишены нѣкоторыхъ знаній и развитія. Обстоятельства эти даютъ имъ право на своеобразное почетное и полезное положеніе въ литературѣ. Одно изъ двухъ: или они могли бы, зная бытъ крестьянъ и умѣя съ ними говорить, поставить себѣ задачей литературу для народа; или они могли-бы представить образованнымъ классамъ картины изъ жизни народа, передать чувства и воззрѣнія народа. Къ сожалѣнію, сотрудники «Разсвѣта» не выбрали ни того, ни другого и пожелали просто пофигурировать въ литературѣ или, какъ они сами выражаются, «показать читающей публикѣ, какъ нашъ народъ, безъ всякихъ насилій, самъ собою, въ настоящее время развивается» и проч. Вслѣдствіе этого, вмѣсто всего того, чего мы въ правѣ были бы ожидать отъ сотрудниковъ «Разсвѣта», получился сборникъ безцвѣтныхъ стихотвореній и разсказовъ, буквально никому и ни на что ненужныхъ. Вотъ, напримѣръ, стихотвореніе г. Новоселова:

Пройдетъ и ночь, пройдетъ и день,
Пройдутъ недѣли и года,
Какъ полемъ облачная тѣнь;
Пройдутъ, и нѣтъ отъ нихъ слѣда.
Пройдетъ и жизнь, исчезнешь ты,
Исчезнутъ всѣ твои мечты,
И для чего, Богъ вѣсть, ты жилъ
И ненавидѣлъ, и любилъ.
И тайна вѣчная Творца
Все будетъ тайной безъ конца.

Изъ этого стихотворенія видно, что г. Новоселову приходятъ иногда въ голову мысли о тщетѣ всего земного, мысли, довольно часто посѣщающія поэтовъ вообще. Но въ немъ не видно ничего характернаго, ничего такого, что свидѣтельствовало бы о развитіи «нашего народа». Или вотъ отрывокъ изъ стихотворенія г. Жарова «На кладбищѣ». Поэтъ останавливается передъ одной могилой:

Я изъ прошлаго сталъ вспоминать
Погребеннаго вѣсъ и значенье;
И не могъ совершенно понять,
Почему сталъ онъ жертвой забвенья.
Онъ приличный имѣлъ капиталъ,
Всѣ знакомствомъ его дорожили,
Изъ тщеславья онъ денегъ давалъ,
Но ему ихъ назадъ не платили.
Каждый другъ къ нему въ домъ пріѣзжалъ
Аккуратно къ началу обѣда,
Онъ равно всѣхъ къ себѣ принималъ
Опивалу, глупца, дармоѣда.

Наконецъ, друзья довели обладателя приличнаго капитала до нищеты, и онъ умеръ, оставленный неблагодарными прихлебателями. Поэтъ заключаетъ:

Вотъ что значитъ убить капиталъ
Для пустого и глупаго дѣла!

Я привожу только образцы, вовсе не думая «критиковать» ихъ форму и даже мораль. Это было бы неумѣстно относительно сотрудниковъ «Разсвѣта», хотя нѣкоторые изъ нихъ ухитряются говорить стихами о «собственномъ я». Но я спрашиваю: неужели «саморазвившимся и самовоспитавшимся» представителямъ русскаго народа нечего сказать образованнымъ классамъ, кромѣ этихъ плоскостей и общихъ мѣстъ? Это было бы чрезвычайно грустно, если бы было вѣроятно.

Я искренно желалъ бы убѣдить этихъ писателей, чтобы во второмъ выпускѣ сборника (предполагаемаго въ изданію въ нынѣшнемъ году) они бросили безцѣльную выставку своихъ глубокихъ думъ, своего благоразумія, своихъ высокихъ чувствъ. Все это давнымъ давно воспѣто, изложено и теперь воспѣвается и излагается, и, при томъ, гораздо благообразнѣе, обыкновенными сочинителями, изъ которыхъ нѣкоторые видѣли «народъ» только въ Парголовѣ и другихъ пріютахъ петербургскихъ дачниковъ. Но произведенія сотрудниковъ «Разсвѣта» далеко отстаютъ отъ произведеній на тѣ же темы не только въ формѣ. Въ нихъ нѣтъ даже того теплаго, сочувственнаго, любовнаго отношенія къ народу, котораго мы, разумѣется, могли бы ждать отъ нихъ и которое такъ краситъ произведенія нѣкоторыхъ нашихъ молодыхъ беллетристовъ. Г. Григорьевъ напечаталъ въ сборникѣ легенду о «лихоманкѣ» въ видѣ разсказа ямщика и заключаетъ такъ: «Очень жаль, что подобнымъ нелѣпостямъ неразвитой народъ несомнѣнно вѣритъ, и вы его ничѣмъ не разубѣдите, что этого не можетъ быть, что этого не существовало и не существуетъ; хотя бы вы доказывали ему и фактами—не повѣритъ, какъ не повѣритъ и тому, что основано на законахъ природы, физики, механики и т. д». Затѣмъ г. Григорьевъ сообщаетъ, какъ тотъ же ямщикъ не повѣрилъ его, г. Григорьева, объясненію дѣйствія телеграфа и рѣшилъ, что здѣсь дѣйствуетъ («дѣвствуетъ») нечистая сила. Г. Григорьевъ опять заключаетъ: «Отчего это такъ? Прежде всего отъ суевѣрія, поселеннаго въ насъ съ дѣтства, съ колыбели разными сказками, разсказами нашихъ нянюшекъ, бабушекъ о чертяхъ, домовыхъ и колдунахъ, а затѣмъ отъ простодушія и безграмотности русскаго народа».—Я преклоняюсь передъ здравымъ смысломъ и образованностью г. Григорьева, но не вижу вмѣстѣ съ тѣмъ въ его рѣчахъ ничего, кромѣ плоскаго резонерства. Читающей публикѣ совершенно не зачѣмъ выслушивать отъ г. Григорьева то, что извѣстно каждому гимна-

зисту. Или вотъ, напримѣръ, г. Деруновъ, напечатавъ три «этнографическихъ очерка» въ «Ярославскихъ Губернскихъ Вѣдомостяхъ» о «поэтическихъ и суевѣрныхъ возрѣніяхъ народа въ Пошехонскомъ уѣздѣ», четвертый печатаетъ въ «Разсвѣтѣ». Прекрасная тема, въ особенности когда за нее берется человѣкъ, самъ вышедшій изъ народа. И дѣйствительно свѣдѣнія, сообщаемыя г. Деруновымъ, не безынтересны. Но, къ сожалѣнію, приплетенныя собирателемъ собственныя размышленія сильно отдаютъ писаремъ, хватившимъ цивилизаціи. Напримѣръ: «Нѣкоторыя изъ прописанныхъ ниже суевѣрныхъ гаданій и примѣтъ имѣютъ смыслъ, мѣткость выраженій, поэтическую фантазію изъ міросозерцанія, а нѣкоторыя не только не носятъ никакихъ вѣрованій, но даже лишены всякаго пониманія до безсмысленности... Много слыветъ между грамотѣями о чудодѣйственной силѣ псалмовъ. И дѣйствительно Псалтырь высоко стоитъ не въ одномъ литературномъ отношеніи. Онъ можетъ быть прекраснымъ руководителемъ во всякой жизни и болѣе ничего. Откуда же нашъ народъ почерпнулъ какую-то особенную чудодѣйственную силу Псалтыри?—Все это писарское краснорѣчіе просто гадко въ виду того, чѣмъ могъ бы быть «Разсвѣтъ». И я опять-таки спрашиваю: неужели русскому народу нечего сказать, кромѣ этой размазни и щеголянья цивилизаціей г. Дерунова?

Во всякомъ случаѣ сотрудники «Разсвѣта» отличаются отъ всей массы современныхъ писателей только нѣкоторыми отрицательными качествами. И затѣмъ сборникъ ихъ произведеній представляетъ нѣкоторый микрокосмъ современной литературы. Возьмемъ же его такъ, какъ онъ есть, и попробуемъ приложить къ нему точки зрѣнія гг. Эдипа де-Пуле и другихъ Эдиповъ. Предположимъ, что эта группа писателей не увлечется практическою дѣятельностью и всѣ силы свои посвятитъ литературѣ. Предположимъ, въ утѣшеніе Эдипа де-Пуле, что беллетристы эти будутъ самымъ тщательнымъ образомъ изучать технику Некрасова, Тургенева, Гончарова и проч.; предположимъ также, что они отбросятъ всякую тенденціозность. Предложимъ, наконецъ, въ утѣшеніе нѣкоторыхъ другихъ Эдиповъ, что писатели эти будутъ самымъ пристальнымъ образомъ учиться вообще и, напримѣръ, естественнымъ наукамъ въ частности. Во всѣхъ этихъ предположеніяхъ нѣтъ ничего невѣроятнаго: практическая дѣятельность сотрудниковъ «Разсвѣта», очевидно, не мѣшаетъ имъ сочинять и любить литературу; технику если не всѣхъ, то нѣкоторыхъ изъ перечисленныхъ Эдипомъ де-Пуле писателей, они уже и теперь старательно изучаютъ; тенденціозность и теперь у нихъ играетъ предпослѣднюю роль; къ естественнымъ наукамъ и къ ученію вообще они и теперь очень склонны. Прибавимъ, что нѣкоторые изъ сотрудниковъ «Разсвѣта» имѣютъ кое-какое дарованіе, хоть его и трудно усмотрѣть подъ избраннымъ ими костюмомъ. Но положимъ, что дарованій здѣсь гораздо больше, чѣмъ въ дѣйствительности. Что же получится въ результатѣ прочнаго прилива этихъ новыхъ силъ въ литературу? Я отвѣчаю: ничего. Число сотрудниковъ вь журналахъ и газетахъ, конечно, увеличится, увеличится даже, можетъ быть, число самыхъ журналовъ, но физіономія литературы не потерпитъ ни малѣйшаго измѣненія. Изъ г. Дерунова можетъ выйти новый г. Стронинъ, который напишетъ новую «Политику, какъ науку» или даже что-нибудь получше; г. Новоселовъ сравняется съ г. Праховымъ или даже превзойдетъ и его, и другихъ поэтовъ, произведенія которыхъ сотнями печатаются въ толстыхъ журналахъ; г. Раззореновъ выработаетъ себѣ для переложенія былинъ стихъ, неуступающій стиху г. Буренина; г. Григорьевъ будетъ научнымъ образомъ преслѣдовать народные предразсудки, и т. д. Но, кромѣ этихъ чисто количественныхъ измѣненій въ составѣ литературы, не предвидится ничего новаго. Мало того, я утверждаю, что явись въ литературѣ десятки крупныхъ талантовъ, первоклассныхъ мастеровъ техники и ученѣйшихъ людей,—они не измѣнятъ положенія вещей, если принесутъ съ собой только таланты, технику и знанія. Я утверждаю, что пока литература не станетъ голосомъ общественной совѣсти въ самомъ широкомъ смыслѣ, пока она не сдѣлаетъ интересовъ народа центромъ своихъ изслѣдованій, помысловъ и образовъ, ей не помогутъ никакіе таланты и никакія знанія, а о панацеяхъ Эдиповъ и говорить нечего. До тѣхъ поръ она будетъ производить въ самомъ благопріятномъ случаѣ только красивыя игрушки. Не знаю, сумѣю ли я доказать эту мысль и въ особенности въ литературныхъ замѣткахъ, но я отъ души желаю быть краткимъ и яснымъ. Зерно вопроса до послѣдней степени просто, но, чтобы добраться до него, надо снять нѣсколько слоевъ наросшей на него шелухи.

Я уже какъ-то говорилъ, что народъ, какъ онъ фигурируетъ въ большинствѣ случаевъ въ литературѣ, лучше всего опредѣленъ Базаровымъ: это таинственный незнакомецъ романовъ г-жи Ратклифъ. Въ немъ подозрѣваютъ то ту, то другую личность, но постоянно сбиваются въ своихъ рѣшеніяхъ, и онъ такъ и остается до конца романа таинственнымъ незнакомцемъ. О силѣ этой таинственности всякій можетъ судить по нѣкоторымъ самымъ обыденнымъ явленіямъ.

Напримѣръ, всякому вѣроятно случалось слышать такую фразу: такой-то, скажемъ г. Губонинъ или кто другой, вышелъ изъ народа. Говорящій это обыкновенно нѣсколько умиляется и видитъ въ своихъ словахъ нѣкоторую рекомендацію г. Губонину. Если онъ станетъ анализировать свое умиленіе, то увидитъ, что его, во-первыхъ, радуетъ фактъ удачи г. Губонина, пробившагося откуда-то снизу куда-то наверхъ; во-вторыхъ, мысль, что Губонинъ будетъ добросовѣстнѣе, любовнѣе, вообще лучше, чѣмъ кто-либо другой, относиться къ той средѣ, изъ которой онъ вышелъ. Наконецъ, если г. Губонину пришлось конкуррировать съ какимъ-нибудь инородцемъ или иностранцемъ и остаться побѣдителемъ, то въ составъ умиленія войдетъ патріотическій, національный элементъ: представитель русскаго народа побѣдилъ представителя другого народа. Кажется, это довольно вѣрное и полное описаніе чувствъ человѣка, говорящаго: г. Губонинъ вышелъ изъ народа. Едва ли, однако, говорящій это приготовленъ къ отвѣтамъ на слѣдующіе вопросы: куда вышелъ г. Губонинъ изъ народа? если слово «народъ» есть такое умилительное слово, то слѣдуетъ ли радоваться тому, что г. Губонинъ вышелъ куда-то изъ народа? вышелъ ли куда-нибудь изъ народа г. Губонинъ, если мы видимъ въ немъ представителя русскаго народа, побѣдившаго представителя другого народа? если г. Губонинъ вышелъ куда-то изъ народа, сталъ ему чужимъ, то на чемъ основано мнѣніе, что онъ будетъ лучше относиться къ народу, чѣмъ, напримѣръ, русскій винодѣлъ графъ Воронцовъ или русскій сахарный заводчикъ графъ Бобринскій? Намъ скажутъ, что наши вопросы суть простая игра словъ, что мы беремъ народъ то въ смыслѣ трудящихся классовъ общества, то въ смыслѣ племени, націи. Положимъ, но замѣтимъ, что таинственному незнакомцу всегда приходится выходить на сцену подъ музыку игры словъ. Въ этомъ именно и состоитъ его роль, его миссія. Оставимъ, однако, это пока и повторимъ только два первые вопроса: куда вышелъ изъ народа г. Губонинъ? слѣдуетъ ли радоваться тому, что г. Губонинъ куда-то вышелъ изъ народа? Здѣсь уже нѣтъ никакой игры словъ и подъ народомъ разумѣется только совокупность трудящихся классовъ. Замѣтимъ, что слова: г. Губонинъ вышелъ изъ народа—не простая метафора. Г. Губонинъ, положимъ, сохранилъ всѣ національныя особенности—костюмъ, вѣрованія и проч.,—но всетаки онъ теперь уже не тотъ, у него совершенно другая дѣятельность, совершенно другіе интересы. Пока г. Губонинъ не выходилъ изъ народа, прямой интересъ его состоялъ въ томъ, чтобы трудъ оплачивался дорого; теперь, когда онъ вышелъ изъ народа, такой же прямой интересъ его состоитъ въ томъ, чтобы трудъ оплачивался дешево. Въ виду этого нѣкоторые изъ умиленныхъ, можетъ быть, призадумаются надъ вопросами: куда вышелъ г. Губонинъ и хорошо ли, что онъ вышелъ? Можетъ быть, даже нѣкоторые прямо скажутъ: нехорошо. Тогда мы спросимъ: хорошо ли, что Шевченко вышелъ изъ народа? Всякій, я думаю, отвѣтитъ утвердительно, но опять-таки скажетъ намъ, что мы занимаемся игрою словъ; что Шевченко вышелъ изъ народа совсѣмъ не въ томъ смыслѣ, въ какомъ вышелъ г. Губонинъ; что Шевченко вышелъ, какъ онъ самъ говоритъ въ своей автобіографіи, «изъ темной и безгласной толпы простолюдиновъ», но что никогда интересы его не сталкивались враждебно съ интересами народа въ смыслѣ трудящихся классовъ; что самъ онъ вѣкъ свой работалъ, руководимый глубокимъ сочувствіемъ къ народу. Со всѣмъ этимъ намъ придется согласиться и только повторить въ свое оправданіе, что таинственный незнакомецъ весь построенъ на игрѣ словъ. Совсѣмъ опять-таки иной отвѣтъ получится, если мы спросимъ себя—хорошо ли, что гг. Деруновъ, Григорьевъ, Разореновъ и прочіе сотрудники «Разсвѣта» вышли изъ народа.

Мы взяли ходячую фразу «вышелъ изъ народа», какъ первый попавшійся подъ руку образчикъ. Но читателю стоитъ только чуть-чуть повнимательнѣе осмотрѣться, чтобы найти множество такихъ примѣровъ. Возьмите, напримѣръ, объявленіе вновь открытаго французскаго ресторана «Эрмитажъ», въ которомъ (объявленіи) въ числѣ прочихъ приманокъ для публики значится: «прислуга въ русскихъ національныхъ костюмахъ». Поставьте вопросъ: почему для публики заманчивъ половой въ русскомъ національномъ костюмѣ?—и при помощи самыхъ несложныхъ соображеній вы убѣдитесь, что народъ есть дѣйствительно таинственный незнакомецъ; что, благодаря этой таинственности, на незнакомца валится, подъ видомъ участія, любви, заботливости, умиленія, цѣлая куча обидъ и бѣдъ, оскорбленій и гнета.

Прежде всего надобно опредѣлить взаимныя отношенія двухъ наиболѣе ясныхъ понятій о народѣ: народъ, какъ нація, и народъ, какъ совокупность трудящихся классовъ общества. Съ перваго взгляда кажется, что эти понятія совпадаютъ и что если различеніе ихъ важно, то только въ томъ отношеніи, что понятія націи, совмѣщающей въ себѣ всѣ классы общества, шире понятія народа, который есть только сумма извѣстныхъ классовъ. Но это далеко невѣрно. Что понятія націи и народа въ своемъ практи-

ческомъ выраженіи иногда дѣйствительно совпадаютъ, т. е., что національное дѣло бываетъ иногда тождественно съ народнымъ дѣломъ,—это такъ. Но это бываетъ только иногда. Что же касается до сравнительной широты понятія націи, то это просто оптическій обманъ.

Я предлагаю читателю познакомиться съ недавно вышедшей очень интересной книжкой Тренча «Очерки ирландской жизни». Книга эта, переведенная и изданная порусски крайне небрежно, представляетъ рядъ талантливо написанныхъ картинъ изъ быта ирландскихъ крестьянъ. Авторъ, управляющій или агентъ крупныхъ англійскихъ землевладѣльцевъ, сообщаетъ свои наблюденія и впечатлѣнія въ видѣ записокъ или воспоминаній. Читатель увидитъ изъ этой книжки, между прочимъ, что значитъ безземельный земледѣлецъ. Это не безынтересно не только само по себѣ, а и по отношенію къ намъ, жителямъ страны земледѣльцевъ-землевладѣльцевъ. Въ книгѣ Тренча есть разсказы изъ школьной жизни, разсказы о «ревайвеляхъ» (судорожныя возбужденія религіознаго чувства въ массахъ) и проч. Но интереснѣе всего главная часть книги—эпизоды изъ исторіи войны ирландскихъ крестьянъ-фермеровъ съ англійскими лендлордами за землю. Война эта представляетъ любопытный случай совпаденія народнаго дѣла съ національнымъ. Поземельная собственность въ Ирландіи находится, какъ извѣстно, въ рукахъ немногочисленныхъ богачей, лендлордовъ, главнымъ образомъ саксонскаго и англійскаго происхожденія. Ирландскіе крестьяне арендуютъ у нихъ землю небольшими участками, при чемъ лендлорды естественно стараются повысить арендную плату и заключать контракты на возможно короткое время. Ирландцы не могутъ забыть, что обработываемая ими земли нѣкогда принадлежала имъ, и всячески уклоняются отъ платежей, доходя даже до полнаго и открытаго отказа, до формальнаго объявленія войны иногда въ одиночку, иногда обществомъ. Во время, къ которому относятся разсказы Тренча, въ концѣ сороковыхъ годовъ, въ Ирландіи существовало тайное общество «риббонъ-меновъ», періодически то затихавшее, то поднимавшееся. Цѣли общества достаточно опредѣляются слѣдующими словами одного изъ дѣйствующихъ лицъ разсказовъ Тренча: «Землю намъ нужно, землю. Саксонскіе грабители отняли ее у нашихъ праотцевъ и я опять говорю, мы вырвемъ ее у нихъ съ кровью ихъ сердца. Долой церковь, долой лендлордовъ, долой агентовъ, долой все, что стоитъ между нами и нашей зеленой землей». Это было время апогея такъ называемыхъ аграрныхъ преступленій. Риббонъмены совершили цѣлый рядъ страшныхъ и часто совершенно безцѣльныхъ убійствъ.

Здѣсь мы имѣемъ полное совпаденіе народнаго дѣла съ національнымъ: рабочіе ирландцы ведутъ войну съ лордами англичанами. Однако, это совпаденіе было не для всѣхъ полно. Невѣста одного риббонъ-мена разсказываетъ Тренчу: «Они (риббонъ-мены) увѣрены, что англичане не имѣютъ права на землю, и они надѣются снова вернуть ее, если они смогутъ запугать васъ и такихъ людей, какъ вы, и заставить бѣжать изъ Ирландіи; для этого они хотятъ убивать всѣхъ, кто станетъ держать здѣсь землю, кромѣ *стараго рода*». Въ объясненіе подчеркнутаго выраженія Тренчъ замѣчаетъ: «Многіе риббонъ-мены убѣждены, что землями Ирландіи должны владѣть старинные ирландскіе роды вмѣсто англійскихъ. Старинная ирландская аристократія ведетъ агитацію въ этомъ смыслѣ и эксплуатируетъ въ свою пользу старинное чувство клановъ, сказавшееся въ этотъ убѣжденіи» (274). Итакъ, одна часть риббонъ-меновъ смотритъ или смотрѣла на свое дѣло, какъ на преимущественно народное, другая—какъ на преимущественно національное. Которая изъ этихъ точекъ зрѣнія шире, обнимаетъ большую массу интересовъ? Казалось бы, въ понятіе націи входитъ все общество, а въ понятіе народа только часть его, а между тѣмъ ясно, что риббонъ-мены националы вытащили бы изъ печки каштаны только для меньшинства, тогда какъ другая ихъ отрасль работала на большинство ирландскаго народа. Въ этомъ явленіи нѣтъ ничего исключительнаго. Въ немъ выражается одинъ изъ самыхъ важныхъ и общихъ соціологическихъ законовъ. Если бы я придерживался аналогическаго метода въ соціологіи, мнѣ бы ничего не стоило подыскать соотвѣтственную аналогію и въ нѣсколькихъ строкахъ доказать существованіе этого закона. Но я глубоко презираю аналогическое паясничество, а дѣйствительно научное и философское подтвержденіе закона потребовало бы слишкомъ много мѣста и времени и отвлекло бы вниманіе читателя въ сторону. Поэтому я предпочитаю просто формулировать законъ, разсчитывая, что этимъ я только подвожу итогъ собственнымъ наблюденіямъ и размышленіямъ читателей. Я заимствую, однако, для краткости одинъ изъ терминовъ аналогистовъ. Вотъ этотъ очень простой, но очень важный законъ: въ обществѣ, имѣющемъ пирамидальное устройство, всевозможныя улучшенія, если они направлены не непосредственно ко благу трудящихся классовъ, а ко благу цѣлаго, ведутъ исключительно къ усиленію верхнихъ слоевъ

пирамиды. Законъ этотъ до такой степени простъ, въ жизни его дѣйствіе выражается въ той или другой формѣ такъ часто, о различныхъ частныхъ его проявленіяхъ говорено было такъ много, что мы дѣйствительно имѣемъ право представить его читателю въ качествѣ итога его собственныхъ наблюденій и размышленій. Что касается литературы, то она не только не можетъ избѣжать дѣйствія этого закона, но на ней легче, чѣмъ гдѣ-нибудь, видѣть его вліяніе, тѣмъ болѣе, что говорить о литературѣ значитъ говорить обо всемъ, о чемъ говоритъ литература, т.-е. о всѣхъ явленіяхъ жизни.

Представимъ себѣ, что ирландскіе публицисты, проникнутые уваженіемъ къ непреложности математической истины: цѣлое больше части— стали бы работать въ духѣ вышеупомянутыхъ риббонъ-меновъ націоналовъ. Они могли бы сказать много весьма хорошаго, дѣльняго, блестящаго въ пользу идей свободы и національности. Но такъ какъ они направили бы свои усилія ко благу цѣлаго—ирландской націи, а не трудящихся классовъ націи, то дѣятельность ихъ въ случаѣ успѣха повела бы только къ удовлетворенію аппетитовъ ирландской аристократіи. Наоборотъ, ирландскіе публицисты, которые развивали бы программу другой фракціи риббонъ-меновъ и, выработавъ разумный планъ дѣйствій въ этомъ смыслѣ, достигли бы перехода земель изъ рукъ англійскихъ лендлордовъ въ руки ихъ теперешнихъ фермеровъ,—эти публицисты, очевидно, получили бы попутно и разрѣшеніе національнаго вопроса.

Представимъ себѣ... Но чѣмъ представлять себѣ, возьмемъ нѣчто изъ дѣйствительности. Возьмемъ ретроспективные взгляды нѣкоторыхъ газетъ на истекшій годъ въ промышленномъ отношеніи. Такой ретроспективный взглядъ помѣщенъ, напримѣръ, въ № 1 «Гражданина». Въ немъ мы находимъ, между прочимъ, слѣдующія указанія: частная промышленность въ прошломъ году все возрастала; возникло до 80 торгово-промышленныхъ обществъ, изъ которыхъ нѣкоторыя простираютъ свои виды па цѣлые округи Россіи, напримѣръ, общество южнорусской каменно-угольной промышленности или каменно-угольной промышленности московскаго бассейна; для облегченія соединенія силъ и капиталовъ выработанъ проектъ новаго положенія объ акціонерныхъ обществахъ, которымъ предполагается отмѣнить требованіе особаго правительственнаго разрѣшенія для каждой акціонерной компаніи и замѣнить этотъ порядокъ системой простого нотаріальнаго разрѣшенія; въ прошломъ году въ Россіи дѣйствовало 27 акціонерныхъ коммерческихъ банковъ, 23 общества взаимнаго кредита, и т. д. Если мы обратимся къ № 3 «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», то найдемъ въ немъ, между прочимъ, слѣдующее: «Кредитъ сдѣлалъ въ Россіи въ 1872 году большіе успѣхи. Духъ спекуляціи, проникшій и въ эту область, выдвинулъ устройство кредитныхъ учрежденій въ разрядъ выгоднѣйшихъ предпріятій, затмившихъ пресловутыя желѣзно-дорожныя концессіи. Кромѣ образованія новыхъ кредитныхъ учрежденій, большая часть старыхъ банковъ также увеличила весьма значительно свой основной капиталъ и расширила операціи... Правительство, по примѣру всѣхъ государствъ западной Европы, рѣшилось, наконецъ, отказаться отъ устарѣлой системы законодательнаго разсмотрѣнія уставовъ новыхъ акціонерныхъ обществъ и хочетъ замѣнить ее болѣе скорой системой нотаріальнаго разрѣшенія. Составленный сообразно съ этою цѣлью, проектъ новаго положенія объ акціонерныхъ компаніяхъ не окончательно еще обработанъ министерствомъ финансовъ; но можно заранѣе предсказать, что изданіемъ его, если только въ положеніе не будутъ введены многочисленныя изъятія, сильно поднимется у насъ духъ промышленной ассоціаціи. Положеніе фабричной и заводской промышленности въ Россіи теперь весьма благопріятно. Даже горное дѣло, бывшее пятнадцать лѣтъ въ сильномъ застоѣ, начинаетъ оживать. Въ теченіе 1872 г. обсуждался вопросъ о дальнѣйшемъ покровительствѣ свеклосахарной промышленности и разрѣшенъ въ смыслѣ успокоительномъ для отечественной промышленности» и проч. Пожалуй, этого и довольно.

Всѣмъ этимъ шагамъ по пути экономическаго прогресса наши публицисты, вообще, радуются и хотя и не особенно энергично, но всетаки провоцируютъ и дальнѣйшіе шаги въ томъ же направленіи. Конечно, протекціонизмомъ, напримѣръ, у насъ увлекаются немногіе; огражденія акціонеровъ отъ эксплуатаціи спекулянтовъ желаютъ очень многіе; закономъ 31-го мая, въ силу котораго учрежденіе новыхъ акціонерныхъ банковъ, въ городахъ, гдѣ уже существуетъ хотя одинъ такой банкъ, воспрещается впредь до новаго распоряженія,—одни довольны, другіе недовольны; частности проекта новаго положенія объ акціонерныхъ обществахъ различными органами обсуждаются различно и т. д. Но вся наша публицистика стоитъ на одной и той же общей точкѣ зрѣнія. Вотъ хотя бы, напримѣръ, «С.-Петербургскія Вѣдомости» и «Гражданинъ». Казалось бы, это два противоположные полюса петербургской журналистики. Первыя блестятъ своимъ либерализмомъ,

второй требуетъ какой-то точки къ реформамъ. Другъ друга они глубоко презираютъ, постоянно о чемъ-то препираются, все другъ надъ другомъ насмѣхаются. Между тѣмъ по множеству вопросовъ внутренней политики эти два органа могутъ быть весьма удобно подведены къ одному знаменателю. Оба они понимаютъ народъ исключительно въ смыслѣ націи и въ силу этого безъ дальнихъ размышленій требуютъ развитія кредита въ Россіи, радуются умноженію акціонерныхъ обществъ въ нашемъ отечествѣ, съ торжествомъ указываютъ на развитіе отечественной промышленности и т. д. Кредитъ, промышленность, эксплуатація природныхъ силъ страны, — все это вещи сами по себѣ прекрасныя, по поводу которыхъ можно бы было говорить и больше, и лучше, чѣмъ говорятъ «С.-Петербургскія Вѣдомости» и «Гражданинъ». Въ своихъ передовыхъ статьяхъ органы эти не исчерпываютъ и сотой доли величія и мощи всѣхъ этихъ помощниковъ человѣка, имъ самимъ создаваемыхъ. Но тѣмъ не менѣе, въ силу вышеприведеннаго соціологическаго закона, всѣ эти прекраснѣйшія сами по себѣ вещи, если онѣ направлены не ко благу непосредственно трудящихся классовъ, а ко благу пирамидальнаго цѣлаго, даютъ прискорбнѣйшіе результаты. Мы вовсе не претендуемъ на новость и оригинальность взглядовъ. Утверждая, что кредитъ, машины, эксплуатація силъ природы и т. д., будучи направлены ко благу пирамидальнаго цѣлаго, ложатся тяжелымъ гнетомъ на народъ, утверждая это, мы увѣрены, что все это очень хорошо извѣстно и читателю, и «С.-Петербургскимъ Вѣдомостямъ», и «Гражданину». Въ самомъ дѣлѣ, кому же неизвѣстно, что всякая новая машина, введенная въ пирамидальное общество, прежде всего уменьшаетъ спросъ на человѣческій трудъ, отнимаетъ у извѣстнаго числа людей заработокъ. Правда, нѣкоторые оптимисты стараются утѣшить и себя, и другихъ тѣмъ, что при этомъ производство растетъ, растетъ и потребленіе. Но этому никто не вѣритъ, то есть никто не вѣритъ тону, съ которымъ это говорится. Конечно, и производство, и потребленіе растетъ, но какъ бы мы далеко ни смотрѣли въ будущее, а машина въ пирамидальномъ обществѣ будетъ всегда отнимать заработокъ у извѣстнаго числа людей. Въ этомъ очевидно состоитъ ея роль. Самъ Милль, человѣкъ и авторитетный, и благонамѣренный, пришелъ къ тому заключенію, что всѣ наши механическія изобрѣтенія не облегчили ни на волосъ положенія трудящихся классовъ; что они только дали возможность большему числу людей жить жизнью острожниковъ и большему числу фабрикантовъ—обогащаться. Всякому извѣстно также, что въ пирамидальномъ обществѣ кредитъ есть выраженіе довѣрія къ имущимъ и недовѣрія къ неимущимъ, такъ какъ послѣдніе кредитомъ не пользуются. Поэтому развитіе кредита въ нашемъ отечествѣ, если онъ не будетъ особыми путями направленъ ко благу народа, дастъ только средства обирать народъ. Всякому извѣстно, что когда акціонерная компанія беретъ на себя какое-нибудь производство, то она разоряетъ въ районѣ своихъ дѣйствій всѣ мелкія хозяйства и вводитъ нищету. Всякому извѣстна, наконецъ, формула, къ которой пришли добросовѣстные экономисты самыхъ различныхъ направленій: національное богатство есть нищета народа. Поэтому всякому понятно, что и «Гражданинъ», и «С.-Петербургскія Вѣдомости», и вся публицистика, ратующая за развитіе кредита въ нашемъ отечествѣ, за умноженіе акціонерныхъ обществъ въ Россіи, за развитіе отечественной промышленности,—ратуютъ за гибель и нищету русскаго народа. Мы думаемъ, что это понятно даже самимъ «Гражданину» и «С.-Петербургскимъ Вѣдомостямъ».

Но представимъ себѣ, что публицисты наши завтра измѣнятъ свою точку зрѣнія и объявятъ себя служителями непосредственно народа, только народа. Представимъ себѣ, что они не только не провоцируютъ облегченія учрежденія акціонерныхъ компаній, развитія отечественной промышленности, кредита и проч., но постоянно обращаютъ вниманіе общества на оборотную сторону этихъ явленій. Представимъ себѣ далѣе, что публицисты вырабатываютъ широкую систему соціально-народнаго кредита; что вмѣсто всевозможныхъ субсидій, гарантій и привилегій частнымъ предпринимателямъ и обществамъ, они требуютъ государственной помощи для сохраненія въ народѣ имѣющихся уже у него орудій производства и пріобрѣтенія новыхъ; что нормальнымъ сочетаніемъ экономическихъ силъ они признаютъ не акціонерныя компаніи, а производительныя артели; что успѣховъ земледѣлія они не отдѣляютъ отъ условій благопріятнаго положенія земледѣльца, свободы труда—отъ самостоятельности рабочаго и проч., и проч. Что будетъ, если всѣ эти домогательства публицистовъ осуществятся или приблизятся къ осуществленію? Производство и потребленіе будутъ, конечно, расти, потому что наши гипотетическіе публицисты не думаютъ враждовать съ кредитомъ, съ машинами, съ принципомъ сочетанія экономическихъ силъ и со всѣми другими помощниками человѣка. Но такъ какъ машины, напримѣръ, они предполагаютъ состоящими въ рукахъ трудящихся клас-

совъ, то машины эти не могутъ уже отнять у кого-нибудь заработокъ. Или, такъ какъ нормальнымъ сочетаніемъ экономическихъ силъ они признаютъ не акціонерную компанію, подрывающую и разоряющую въ извѣстной мѣстности мелкія хозяйства, а соединеніе самыхъ этихъ хозяйствъ, то понятно, что такому товариществу разорять некого. А между тѣмъ, товарищество это, между членами котораго нѣтъ ни спекулянтовъ, ни незаинтересованныхъ въ производствѣ, повело бы свое дѣло лучше акціонерной компаніи. Итакъ, программа нашихъ гипотетическихъ публицистовъ, направленная единственно ко благу народа, попутно достигаетъ общихъ экономическихъ результатовъ, по крайней мѣрѣ не худшихъ, чѣмъ тѣ, которые радуютъ сердца теперешнихъ нашихъ публицистовъ. Добиваясь національнаго богатства, мы его получаемъ, но получаемъ вмѣстѣ съ тѣмъ нищету народа; добиваясь благосостоянія народа, мы получаемъ и его, и національное богатство.

Читатель можетъ сказать намъ, что все, что мы говоримъ, имѣетъ только косвенное отношеніе къ занимающему насъ собственно литературному вопросу. Положимъ, скажетъ читатель, что и «Гражданинъ», и «С.-Петербургскія Вѣдомости» одинаково работаютъ на гибель русскаго народа. Это печально. Но дѣло не въ этомъ. Вы мнѣ скажите, отчего и «Гражданинъ», и «С.-Петербургскія Вѣдомости» плоски, слабы, безцвѣтны, вялы, собственно, въ литературномъ отношеніи? Я могу представить себѣ, что и неодобрительное дѣло ведется хорошо или, по крайней мѣрѣ, ловко, но я и этого не вижу.

Читатель, этому существуютъ причины двоякаго рода: общія и частныя, мѣстныя. И мы не уклонились отъ нихъ, а, напротивъ, приблизились къ нимъ, благодаря предыдущимъ разсужденіямъ. Читатель, повторяемъ, знаетъ не хуже насъ, не хуже «С.-Петербургскихъ Вѣдомостей», не хуже «Гражданина», что національное богатство есть нищета народа, что свобода труда есть рабство работника и проч. Но онъ можетъ быть не замѣчалъ, что причины, обусловливающія этотъ маскарадъ, дѣлаютъ изъ знанія незнаніе или, по крайней мѣрѣ, непониманіе. Въ прошлый разъ мы видѣли образчики такого превращенія. Но въ исторіи политической экономіи можно найти примѣры еще болѣе поучительные. Изъ упомянутой выше книги г. Зибера читатель убѣдится, что вся огромная масса изслѣдованій о законѣ цѣнности (составляющихъ одинъ изъ главнѣйшихъ и основныхъ отдѣловъ политической экономіи), которая болѣе или менѣе уклонялась отъ понятія о трудѣ, какъ единственномъ источникѣ и мѣрилѣ цѣнности, пропала для науки безслѣдно: что и во всѣхъ вопросахъ, связанныхъ съ ученіемъ о цѣнности (а съ нимъ связаны почти всѣ экономическіе вопросы), наука подвинулась со времени своего основанія настолько, насколько она не упускала изъ виду и развивала этотъ основной принципъ. Конечно, какой-нибудь Маклеодъ, какой-нибудь Рошеръ обладаютъ несравненно большими познаніями, чѣмъ какія имѣлъ Адамъ Смитъ, но это не мѣшаетъ наукѣ Маклеода быть сосудомъ незнанія и непониманія. И если мы будемъ искать причинъ этого обстоятельства, то онѣ будутъ заключаться главнымъ образомъ въ забвеніи или умаленіи роли труда въ производствѣ, практически—роли трудящихся классовъ, роли народа. Можно сказать положительно, что политическая экономія, какъ наука, а не какъ сборникъ эмпирическихъ законовъ, практическихъ правилъ и хозяйственныхъ примѣтъ, существуетъ постольку, поскольку эта роль понята и поставлена во главу угла всего зданія. Послѣдній представитель классической политической экономіи, Милль, грѣшенъ не извращеніемъ истины, какъ цѣлая фаланга французскихъ и нѣмецкихъ экономистовъ, а недостаточнымъ развитіемъ ея. И то ему на старости лѣтъ приходится получать сюрпризы, сбивающіе его установившіяся долгими годами понятія. Всегда добросовѣстный Милль, котораго даже желчный и часто несправедливый къ людямъ Марксъ выдѣляетъ вмѣстѣ съ Фосетомъ и нѣкоторыми другими изъ общей клики экономистовъ, Милль объявилъ, по поводу книги Торнтона «Трудъ, его ложныя требованія» и проч., слѣдующее: «Теорія, проповѣдуемая всѣми или почти всѣми экономистами (въ томъ числѣ и мною), о невозможности соглашеніями рабочихъ поднять заработную плату или объ ограниченіи ихъ дѣятельности въ этомъ отношеніи нѣсколько раньшимъ достиженіемъ такого повышенія, которое было бы произведено и безъ того соперничествомъ рынка—эта теорія теперь лишена всякаго научнаго основанія и должна быть отброшена. Достоинства и недостатки дѣятельности рабочихъ союзовъ становятся теперь вопросомъ общественнаго долга и благоразумія, а не вопросомъ, безусловно разрѣшаемымъ непреложными требованіями политической экономіи» (Торнтонъ, русск. перев., 427). Другой сюрпризъ доставила Миллю книга Мена объ общинномъ землевладѣніи. Вотъ къ какому еретическому заключенію пришелъ, между прочимъ, по поводу ея Милль: «Остается открытымъ вопросъ—какія изъ идей наиболѣе пригодны къ тому, чтобы править въ будущемъ, древнія ли идеи, или новыя. Если переходъ отъ однѣхъ къ другимъ произошелъ вслѣдствіе обстоятельствъ, изъ которыхъ міръ успѣлъ уже высвободиться, а тѣмъ болѣе,

если этотъ переходъ произошелъ въ значительной степени вслѣдствіе насилія, то было бы лучше, можетъ быть, остановиться, по крайней мѣрѣ, на принципѣ древнихъ учрежденій, какъ болѣе пригодномъ, нежели принципъ учрежденій позднѣйшаго времени, чтобы послужить основаніемъ для болѣе совершеннаго, прогрессивнаго устройства общества». Пожалѣемъ мимоходомъ, что книга Мена, заставившая такого человѣка, какъ Милль, подписать это во многихъ отношеніяхъ самоотреченіе, до сихъ поръ не издана по русски, хотя объявленія о ея переводѣ и печатались одно время въ газетахъ.

Если политическая экономія, какъ наука, существуетъ постольку, поскольку во главѣ угла ея зданія стоитъ роль труда, если уклоненія отъ этого принципа дѣлаютъ изъ науки незнаніе и осуждаютъ ее на перемалываніе нѣсколькихъ эмпирическихъ правилъ и хозяйственныхъ примѣтъ, то само собою понятно, что публицистика, руководствующаяся этимъ незнаніемъ и игнорирующая интересы труда, должна быть безцвѣтна, слаба, плоска, вяла. Таковы общія причины неудовлетворительности нашей журналистики, поскольку она занимается экономическими вопросами. Но есть еще причины частныя, мѣстныя, и мы на нихъ не разъ указывали.

Колесо національнаго богатства только что начинаетъ вертѣться въ Россіи, и при томъ при слѣдующихъ обстоятельствахъ. Во-первыхъ, огромная часть производительныхъ силъ страны находится въ рукахъ народа т. е. трудящихся классовъ. Значитъ, для созданія національнаго богатства по программѣ отечественной журналистики надо отодрать громаду народа отъ земли и орудій производства. Во-вторыхъ, отодраніе это надо производить сознательно, потому что прислушиваемся же мы къ тому, что дѣлается и дѣлалось въ Европѣ; знаемъ же мы, что національное богатство есть нищета народа. Въ-третьихъ, отодраніе должно быть произведено въ пользу лицъ и интересовъ еще не существующихъ, а только имѣющихъ образоваться самымъ процессомъ отодранія. Сознательное, но безцѣльное преступленіе — вотъ что приходится дѣлать современной журналистикѣ при нынѣшнемъ ея направленіи. Что можетъ быть ужаснѣе такой задачи, такого положенія? И мудрено ли, что эти люди ходятъ и пишутъ, какъ тѣни, что грозный приговоръ потомства, подсказываемый имъ по временамъ совѣстью, связываетъ имъ языкъ и руки, отгоняетъ образы отъ воображенія, мысли отъ разума. Мудрено ли, что имъ нужно опьяненіе хорошими словами и общими мѣстами, съ одной стороны, мелочами будничной жизни—съ другой. Я думаю, что самому закоренѣлому злодѣю нужно напиться пьянымъ, чтобы сознательно совершить безцѣльное убійство. Кто знаетъ, можетъ быть и въ «Гражданинѣ» и въ «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», есть большіе таланты, но, придавленные своимъ ужаснымъ, почти невѣроятнымъ положеніемъ, они не могутъ развернуться. Прилипъ языкъ къ гортани ихъ. И таково положеніе вещей, что этому надо почти радоваться, за людей, за человѣческую природу радоваться, Если бы при такомъ дѣлѣ языкъ не прилипъ къ ихъ гортани, это были бы какія-то чудовища, которымъ нѣтъ имени въ зоологіи. И потому я еще разъ говорю: явись въ современную литературу десятки крупныхъ талантовъ, первоклассныхъ мастеровъ техники и ученѣйшихъ людей, они ни на волосъ не измѣнятъ физіономіи литературы, если принесутъ съ собой только таланты, технику и знанія. Эдипы, вы жалки съ своими объясненіями и панацеями. И если бы не окружающій васъ limbus infantum, вы заслуживали бы болѣе жестокаго опредѣленія. Вы знаете девизъ Софоклова сфинкса, загадывавшаго загадки и вашему греческому тезкѣ: угадай, или я тебя пожру. Вы не угадали, новѣйшіе Эдипы, загадки времени, васъ нѣтъ, васъ ваше время пожрало. Вы имѣете полное право пѣть извѣстную разухабистую пѣсню:

Безъ меня меня женили,
Я на мельницѣ былъ.

Вы именно были и остаетесь на мельницѣ и мелете, мелете въ надеждѣ, что когда-нибудь все перемелется, и мука будетъ.

Однако, скажетъ читатель, вы говорили только о характерѣ экономическихъ статей; но вѣдь есть и другія области науки, есть искусство. Это справедливо. Но мы вовсе не такъ далеко забѣжали впередъ, какъ можетъ показаться съ перваго взгляда. Прежде всего надо замѣтить, что въ литературѣ всегда есть одна струна, которая задаетъ тонъ всѣмъ остальнымъ. Почему сегодня даетъ тонъ такая-то именно струна, а завтра такая-то, это зависитъ отъ разныхъ обстоятельствъ, опредѣляемыхъ самой жизнью. Такими струнами были у насъ послѣдовательно поэзія, философія, литературная критика, экономическіе вопросы, естествознаніе; такою струною въ болѣе или менѣе близкомъ будущемъ могутъ стать политическіе вопросы. Что даетъ тонъ современной литературѣ, это одному Богу извѣстно. Но самая видная сторона нынѣшней общественной жизни есть, несомнѣнно, экономическая. Сюда устремлены всѣ помышленія и аппетиты. Поэтому отношеніе литературы къ экономическимъ вопросамъ уже опредѣляетъ до извѣстной степени общую физіономію литера-

туры. Далѣе, всѣ предыдущія соображенія могутъ быть приложены и ко всякаго рода другимъ вопросамъ.

Вольтеръ, будучи далеко не первостепеннымъ поэтомъ, написалъ прекрасную оду къ свободѣ. У насъ есть высоко даровитые поэты, но ни одинъ изъ нихъ не напишетъ ничего подобнаго. Вольтеръ вѣрилъ въ свободу, мы не вѣримъ и, прибавлю, имѣемъ право не вѣрить въ нее въ томъ смыслѣ, въ какомъ она вдохновляла Вольтера, ибо и она подверглась дѣйствію вышеприведеннаго соціологическаго закона и мы это очень хорошо знаемъ. И здѣсь опять-таки внѣ интересовъ народа спасенія литературѣ нѣтъ: все остальное съѣлъ нашъ совершенно законный скептицизмъ. О вредѣ тенденціозности говорить могутъ только Эдипы де-Пуле. Мы позволимъ себѣ напомнить, что мы давно уже приводили доказательства въ пользу того, что служеніе чистой красотѣ есть миѳъ, что, поклоняясь чистой идеальной красотѣ, жрецъ чистаго искусства только возводитъ въ принципъ тѣ черты эмпирической красоты, которыя ему доступны; что онъ только ратуетъ за тѣ общественныя условія, которыя дали возможность выработаться этой эмпирической красотѣ. А Эдипы лѣзутъ съ техникой. Читали-ли они лирическое стихотвореніе болѣе высоко художественное, чѣмъ «пѣсня о рубашкѣ» Томаса Гуда? И знаютъ ли они вмѣстѣ съ тѣмъ лирическое стихотвореніе болѣе тенденціозное? Мнѣ говорили, что одинъ критикъ раскастилъ недавно, между прочимъ, старый разсказъ г. Тургенева «Муму». Самъ я не читалъ этой критики и не знаю аргументаціи автора ея. Но для меня въ образѣ этого глухонѣмого дворника, отправляющагося топить по приказанію нервной и чувствительной барыни свою собаку—единственное утѣшеніе въ жизни, въ этомъ образѣ сосредоточивается цѣлая эпопея крѣпостничества. И я говорю, что это высоко художественное произведеніе, именно потому, что авторъ въ немъ служилъ не праздному любопытству, не чистой красотѣ, воспитанной насчетъ глухонѣмыхъ дворниковъ, и не такимъ идеямъ, въ которыя онъ не вѣритъ, и не такимъ, которыя доставляютъ достояніе секты, а идеѣ народа. И если поставить рядомъ съ этой прелестной и полной глубокаго содержанія картинкой теперешнія произведенія г. Тургенева, въ которыхъ «воспѣваетъ, простодушный, онъ любовь и красоту», въ которыхъ техника доведена до совершенства, то никто, я думаю, не задумается сказать, «гдѣ лучше». А между тѣмъ талантъ не оставилъ г. Тургенева, его оставило чутье, и въ этомъ все дѣло.

Да не упрекнетъ меня читатель въ томъ, то я отвожу слишкомъ узкія границы мотивамъ современной беллетристики. Я не то хочу сказать, что беллетристика должна изображать исключительно страданія и радости мужиковъ. И это тема обширная и благодарная. Но не въ ней одной дѣло. Желательно, чтобы измѣнилась физіономія всей литературы, и если она въ цѣломъ станетъ голосомъ общественной совѣсти и служительницей истины и справедливости, то и беллетристы найдутъ свои нынѣ потерянныя ими темы. Наконецъ, почему не ждать и не желать, чтобы идея труда заняла въ беллетристикѣ то же или, по крайней мѣрѣ, такое же мѣсто, какое занимаетъ идея любви. Любовь есть основной мотивъ беллетристики со временъ незапамятныхъ. Беллетристы выворачиваютъ ее и такъ, и этакъ, часто строятъ на ней произведенія высокаго нравственнаго достоинства, но столь же часто волочатъ ее въ грязи и благоуханныхъ салоновъ, и кабаковъ. И, однако, этотъ въ сущности очень простой мотивъ не надоѣлъ, не исчерпалъ себя. Почему предполагать, что идея труда исчерпаетъ себя скорѣе или сузитъ рамки поэтической дѣятельности? Трудъ, какъ вѣчная доля человѣчества, безконечно разнообразенъ въ своихъ условіяхъ, въ своихъ цѣляхъ, въ своихъ формахъ, въ своихъ комбинаціяхъ. Это море бездонное.

Я заболтался съ вами, читатель, пора кончать, и потому не буду на этотъ разъ говорить о задачахъ различныхъ отраслей науки въ виду идеи народа или интересовъ труда, тѣмъ болѣе, что объ этомъ у насъ уже была рѣчь въ послѣдней прошлогодней книжкѣ. Случай выпадетъ, и мы договоримъ недоговоренное. Я заканчиваю, чѣмъ началъ: желаю вамъ на новый годъ честной и смѣлой литературы, внутренно честной и смѣлой, которая не боялась бы своихъ собственныхъ знаній, мыслей и чувствъ, которая ежеминутно задавала бы себѣ вопросы и не отходила отъ нихъ, не получивъ полнаго и безповоротнаго отвѣта.

II *).

«Пурриры» «Гражданина».—Отчего г. Достоевскій не пользуется темами, подходящими къ его таланту, и беретъ неподходящія.—Комментаріи къ «Бѣсамъ».—Дневникъ писателя.—Власы и citoyens du monde civilisé.—Тѣхъ ли и всѣхъ ли бѣсовъ нарисовалъ г. Достоевскій.

Когда стало извѣстнымъ, что г. Достоевскій дѣлается отвѣтственнымъ редакторомъ «Гражданина», «органа русскихъ людей, стоящихъ внѣ всякой партіи», многіе были этимъ обстоятельствомъ заинтересованы. Интересовался и я. Мнѣ было прежде всего обидно

*) 1873 г. февраль.

за г. Достоевскаго. Если бы у «органа русскихъ людей, стоящихъ внѣ всякой партіи», какъ онъ обрисовался за годъ своего существованія; если бы, говорю, у него были какія-нибудь опредѣленныя идеи, то это были бы, повидимому, идеи весьма дикія, ни съ чѣмъ несообразныя. Въ такомъ случаѣ можно бы было даже радоваться, что ни съ чѣмъ несообразныя идеи отстаиваются неумѣло и бездарно. Вѣдь хуже бы было, если бы за такое дѣло взялся человѣкъ или очень ловкій, или очень талантливый. Но такое разсужденіе совершенно не примѣнимо къ «Гражданину». Никакихъ ясно опредѣленныхъ дикостей и несообразностей онъ не проповѣдывалъ, а былъ все время нѣкоторой кунсткамерой, хранилищемъ самыхъ разнообразныхъ антиковъ, монстровъ и раритетовъ, большею частью неважныхъ даже въ смыслѣ античности и монструозности. Такъ, шутовство какое-то было, въ сущности даже совсѣмъ невинное, насколько шутовство можетъ быть невинно. Шутовство составляло именно цвѣтъ органа русскихъ людей, стоящихъ внѣ всякой партіи. Теперь въ Петербургѣ появились какія-то конфекты, называемыя «пурриръ» (sic). Конфекты сами по себѣ просто скверныя, и соль или, вѣрнѣе, сладость ихъ состоитъ въ прилагаемыхъ къ нимъ билетикахъ. На билетикахъ напечатаны стишки, сами по себѣ не столько смѣшные, сколько неожиданные, и эта неожиданность-то и можетъ заставить иногда улыбнуться. Стишки тутъ собственно вовсе не «для смѣху», не pour rire, а просто «пурриръ». Такъ вотъ такой-то газетой «пурриръ» и былъ органъ русскихъ людей, стоящихъ внѣ всякой партіи. Издалъ, напримѣръ, «Гражданинъ» за лѣтніе мѣсяцы, въ которые онъ не выходилъ, сборникъ; на первой страницѣ второго тома этого сборника напечатано: «Посвящается подписчикамъ «Гражданина» въ знакъ благодарности и уваженія отъ издателя и редакціи». Очевидно, это не для смѣха, это просто «пурриръ». Или вотъ, напримѣръ, стихотвореніе:

О, я, несчастный Атласъ! Цѣлый міръ.
Міръ цѣлый мукъ и скорби я несу!
Невыносимую несу я ношу, сердце!
О, какъ еще не разорвешься ты!
О, сердце гордое! Ты этого хотѣло!
Хотѣло счастья ты безмѣрнаго хотѣло—
Или безмѣрнаго несчастья—сердце! -
Пришло къ тебѣ—безмѣрное несчастье!

Это, очевидно, вовсе не для смѣха сдѣланный переводъ Гейне, это отрывокъ изъ обширнаго «пуррира» г. Прахова, печатавшагося въ прошломъ году въ «Гражданинѣ». А пурриры кн. Мещерскаго? Да всего и не перечтешь. И редакторомъ такой-то газеты «пурриръ» является вдругъ г. Достоевскій. Поневолѣ станетъ обидно за него, какъ за одного изъ талантливѣйшихъ современныхъ писателей. Что онъ Гекубѣ? Что она ему? Но затѣмъ является вопросъ: что сдѣлаетъ изъ «Гражданина» г. Достоевскій и сдѣлаетъ ли что-нибудь? Теперь, кажется, можно уже отвѣтить на этотъ вопросъ. Г. Достоевскій изъ «Гражданина» ничего не дѣлаетъ, ничего или почти ничего. Правда, шутовской характеръ органа русскихъ людей, стоящихъ внѣ всякой партіи, постепенно ослабѣваетъ подъ вліяніемъ, надо думать, новаго редактора. Но Богъ вѣсть къ добру ли это: шутовство именно и составляло до сихъ поръ цвѣтъ «Гражданина», и, лишаясь его, «Гражданинъ» обезцвѣчивается. А что получаетъ онъ взамѣнъ? Фельетоны г. Достоевскаго («Дневникъ писателя»), которые безъ сомнѣнія, читаются съ большимъ интересомъ. Но г. Достоевскій писатель въ высшей степени своеобразный и однообразный, до такой степени своеобразный и однообразный, что для него едва ли возможно распространить свой духъ на всю пустыню «Гражданина». Онъ будетъ изображать собою нѣкоторый оазисъ среди этой пустыни, и больше отъ него ничего нельзя требовать.

Кстати о своеобразіи и однообразіи г. Достоевскаго. Я только на дняхъ прочиталъ его послѣдній романъ «Бѣсы», уже въ отдѣльномъ изданіи, и по прочтеніи мнѣ пришелъ въ голову слѣдующій вопросъ: отчего г. Достоевскій не напишетъ романа изъ европейской жизни XIV—XVI столѣтія? Какое вѣдь тамъ обширное поприще представляется для его блестящаго психіатрическаго таланта (иначе я не могу назвать талантъ г. Достоевскаго). Всѣ эти бичующіеся, демономаны, ликантропы, всѣ эти макабрскіе танцы, пиры во время чумы и проч., весь этотъ поразительный переплетъ эгоизма съ чувствомъ грѣха и жаждой искупленія,—какая это была бы благодарная тема для г. Достоевскаго. Мнѣ почему-то вспомнился Декамеронъ, и я уже сравнивалъ игривыя и легкомысленныя арабески Боккачіо съ тѣмъ, какъ воспользовался бы этой темой г. Достоевскій. Но я очень быстро оборвалъ нить этихъ соображеній и едва не вскрикнулъ: «ахъ я телятина!» Съ какой въ самомъ дѣлѣ стати г. Достоевскому заниматься такимъ далекимъ временемъ и такими чужими дѣлами? Просто мнѣ глупость пришла въ голову. Какіе тутъ макабрскіе танцы и шабаши вѣдьмъ, съ чего? Это такъ. Но почему бы не воспользоваться г. Достоевскому такими моментами, какъ, напримѣръ, наше масонство? Можетъ быть изъ декабристовъ нашлись бы для него подходящія фигуры. Или вотъ, напримѣръ, «духовный союзъ» Татариновой, или исторія Грабянки. Да и вообще царствованіе Але-

ксандра I и начало царствованія Николая Павловича такъ и просятся подъ перо г. Достоевскаго. Если, наконецъ, и это для него слишкомъ отдаленное время, то онъ и нынче можетъ найти благодарнѣйшіе мотивы въ нѣкоторыхъ раскольничьихъ сектахъ, въ монастырской жизни, наконецъ, въ спиритизмѣ. Я видалъ всего одну только спиритку, но положительно говорю, что лучшаго матеріала г. Достоевскому не найти.

Однако, это становится любопытно. Какъ ни верти, а г. Достоевскій точно намѣренно обходитъ всѣ тѣ темы, которыя дали бы ему возможность развернуть свой блестящій талантъ. Скажутъ, можетъ быть, что перечисленныя темы требуютъ особаго, спеціальнаго изученія. Это правда. Но, спрашивается, изучалъ ли г. Достоевскій тѣ темы, которыя имъ эксплуатируются, и принадлежатъ ли онѣ фактически къ числу темъ, преимущественно для его таланта пригодныхъ? Небезынтересно разсмотрѣть это дѣло нѣсколько поближе. Замѣчу на всякій случай, что я очень уже давно читалъ старыя произведенія г. Достоевскаго и только «Мертвый домъ» помню съ достаточною отчетливостью. Матеріалы для моей бесѣды о г. Достоевскомъ ограничиваются «Преступленіемъ и наказаніемъ», «Бѣсами» и «Дневникомъ писателя». Было бы очень любопытно прослѣдить весь ходъ развитія идей и таланта г. Достоевскаго; но я долженъ отказаться отъ этой интересной задачи.

Можно съ различныхъ точекъ зрѣнія различно классифицировать многочисленныя дѣйствующія лица новаго романа г. Достоевскаго. Но я попробую раздѣлить ихъ на нѣсколько категорій съ точки зрѣнія отношенія къ нимъ г. Достоевскаго, *какъ писателя*, при чемъ и выяснятся особенности его таланта.

Мы найдемъ въ «Бѣсахъ», во-первыхъ, нѣсколько фигуръ, сдѣланныхъ очень топорно и вовсе г. Достоевскому не принадлежащихъ. Это молодые люди, говорящіе: «нынче нѣтъ привидѣній, а естественныя науки»; дѣвушки, разъѣзжающія изъ города въ городъ, «чтобы заявить о страданіяхъ несчастныхъ студентовъ и возбудить ихъ повсемѣстно къ протесту», и т. п. Эти шаблонные образы, играющіе въ романѣ послѣднюю роль, авторомъ не продуманы и не прочувствованы, а взяты на прокатъ у гг. Стебницкихъ и Ключниковыхъ. Нѣкоторое исключеніе, впрочемъ, составляютъ болѣе или менѣе самостоятельно отдѣланныя и потому болѣе или менѣе человѣкообразныя фигуры женъ Шатова и Виргинскаго. Всю эту группу г. Достоевскій окрещиваетъ именемъ «идеи, попавшей на улицу».

Затѣмъ идетъ рядъ образовъ, принадлежащихъ г. Достоевскому наравнѣ съ другими русскими беллетристами. Они, разумѣется, очень разнообразны по поэтической концепціи, по своей нравственной идеѣ, по роли, занимаемой ими въ романѣ, и проч. Но я ихъ ставлю въ одну категорію потому, что всѣмъ имъ можно подыскать параллели въ произведеніяхъ другихъ нашихъ романистовъ и всѣ они въ то же время суть самостоятельныя созданія г. Достоевскаго. Напримѣръ, типъ идеалиста сороковыхъ годовъ эксплуатировался у насъ весьма часто. Г. Достоевскій беретъ его, но беретъ съ нѣкоторыхъ новыхъ сторонъ и потому придаетъ ему свѣжесть и оригинальность, несмотря на избитость темы. Если бы я имѣлъ въ виду собственно критическій разборъ «Бѣсовъ», то я непремѣнно занялся бы этими поучительными параллелями. Но я пишу только замѣтки. Большая часть лицъ этой второй категоріи въ «Бѣсахъ» удачны, а нѣкоторыя даже превосходны. Если прекрасныя фигуры упомянутаго идеалиста сороковыхъ годовъ, Степана Трофимовича Верховенскаго, и знаменитаго русскаго писателя Кармазинова, читающаго свой прощальный разсказъ «Merci»,—впадаютъ мѣстами въ шаржъ, то фигуры супруговъ Лембке положительно безупречны.

Третья категорія для насъ самая интересная. Здѣсь группируются образы, составляющіе въ русской литературѣ исключительную собственность г. Достоевскаго. Такихъ довольно много въ «Бѣсахъ»: Ставрогинъ, Шатовъ, Петръ Верховенскій, Кириловъ, Шигалевъ. Общее между этими лицами то, что всѣ они находятся на границѣ нормальнаго и ненормальнаго состоянія духа. Всѣ они ведутъ странный образъ жизни, всѣ высказываютъ странныя мысли. Весьма важно, однако, замѣтить, что это не сумасшедшіе. Г. Достоевскій любитъ иногда рисовать и такихъ. Такъ въ «Бѣсахъ» есть намеки на временное умопомѣшательство Ставрогина; есть сумасшедшая Лебядкина-Ставрогина, есть сходящій на глазахъ читателя съ ума Лембке. Но не въ этомъ состоитъ спеціальность г. Достоевскаго. Его любимые герои держатся на границѣ ума и безумія, нормальнаго и ненормальнаго состоянія воли. Это или люди, находящіеся въ сильно возбужденномъ состояніи, или мономаны, имѣющіе возможность сочинять и проповѣдывать весьма замысловатыя теоріи.

Гризингеръ, въ своемъ сочиненіи о душевныхъ болѣзняхъ, замѣчаетъ: «*Нѣкоторыя* поэтическія изображенія умалишенныхъ превосходны во многихъ чертахъ, взятыхъ съ натуры (Офелія, Лиръ, лучше всѣхъ Донъ-Кихотъ), но такъ какъ поэтъ представлялъ эти состоянія почти исключительно

съ духовной стороны, какъ результатъ предшествовавшихъ столкновеній, выставляя только то, что могло служить ему для этой цѣли, и совершенно обходя органическое ихъ основаніе, то и описаніе его, по крайней мѣрѣ, односторонне». И далѣе: «Поэтическія и моралистическія представленія не только безполезны и теоретически ошибочны, но и положительно вредны въ практическомъ отношеніи. Они дали людямъ, не знающимъ дѣла, такія представленія о душевныхъ болѣзняхъ, которыя не имѣютъ даже и отдаленнаго сходства съ дѣйствительностью, и когда представленія эти не соотвѣтствуютъ ей, у такого человѣка является сомнѣніе, дѣйствительно ли это душевная болѣзнь. Какъ наивно удивляются многіе посѣтители дома умалишенныхъ, представлявшіе себѣ его жителей совершенно иначе!» Таковы требованія психіатра. Но, конечно, они слишкомъ строги. Обыкновенный читатель не психіатръ и очень рѣдко эмпирическій психологъ, поэтому въ Донъ-Кихотѣ, напримѣръ, для него имѣютъ совершенно второстепенный интересъ тѣ именно черты, которыя съ психіатрической точки зрѣнія, можетъ быть, особенно дороги, напримѣръ, галлюцинаціи ламанчскаго героя. Поэтому, называя выше талантъ г. Достоевскаго психіатрическимъ, я не то хотѣлъ сказать, чтобы имъ вѣрно изображались уклоненія разума и воли отъ нормальнаго состоянія. Объ этомъ и судить не могу. Думаю, что, какъ и всякому наблюдателю, интересующемуся извѣстнымъ кругомъ явленій, г. Достоевскому случается и дѣлать вѣрныя наблюденія, и впадать въ фальшь. Но некомпетентность эта не мѣшаетъ мнѣ, какъ и всякому другому, судить о психіатрическихъ субъектахъ г. Достоевскаго съ эстетической и нравственной стороны. Донъ-Кихотъ занимаетъ меня, какъ художественное произведеніе и какъ нравственный типъ, хотя бы я имѣлъ самыя смутныя понятія о процессахъ галлюцинацій и иллюзій. Литературная критика и голосъ толпы оцѣнили Донъ-Кихота задолго до психіатровъ.

Относительно г. Достоевскаго дѣло облегчается еще тѣмъ, что, не смотря на свою наклонность къ изображенію безумія, онъ рѣдко рисуетъ его только какъ процессъ. Въ большинствѣ случаевъ онъ рѣшаетъ при помощи своихъ психіатрическихъ субъектовъ какую-нибудь нравственную задачу и большею частью придаетъ рѣшенію мистическій характеръ. Онъ, если позволена будетъ нѣкоторая восточность метафоры, разыгрываетъ на струнахъ душевной болѣзни нравственно-политическіе мотивы. Въ «Бѣсахъ», какъ и въ «Преступленіи и наказаніи», какъ и въ «Идіотѣ», онъ устраиваетъ цѣлые оркестры такого рода. Онъ дѣлаетъ это двояко. Либо онъ беретъ какой-нибудь психологическій мотивъ, напримѣръ, чувство грѣха и жажду искупленія (мотивъ, его особенно интересующій), и заставляетъ его дѣйствовать въ образѣ. Вы видите, напримѣръ, что человѣкъ согрѣшилъ, его мучаетъ совѣсть, онъ налагаетъ, наконецъ, на себя какую-нибудь эпитемью и тѣмъ достигаетъ душевнаго спокойствія. Это одинъ пріемъ. Онъ былъ примѣненъ г. Достоевскимъ въ «Преступленіи и наказаніи». Въ «Бѣсахъ» неудачную попытку этого рода представляетъ Ставрогинъ. Другой пріемъ состоитъ въ томъ, что измученному душевною болѣзнью человѣку влагается въ уста извѣстное разрѣшеніе какого нибудь нравственнаго вопроса. Въ «Бѣсахъ», къ сожалѣнію, преобладаетъ второй пріемъ. Говорю: къ сожалѣнію, потому что пріемъ этотъ, очевидно, невыгоденъ въ художественномъ отношеніи. Одно изъ дѣйствующихъ лицъ послѣдняго романа г. Достоевскаго говоритъ: «не я съѣлъ свою идею, а моя идея меня съѣла». Это могли бы сказать о себѣ весьма многіе герои г. Достоевскаго. И это типъ безъ сомнѣнія въ высшей степени интересный и поучительный. Но одно дѣло показать его какъ типъ, какъ живой образъ, на глазахъ читателя дѣйствительно пожираемый своею идею. И другое дѣло заставить человѣка безъ устали проповѣдывать пришитую къ нему идею. А таковы большею частью герои «Бѣсовъ» (я разумѣю героевъ третьей категоріи, излюбленныхъ героевъ г. Достоевскаго). Они пожираются своею идеею въ совершенно другомъ смыслѣ. Дѣло въ томъ, что у г. Достоевскаго такой громадный запасъ эксцентрическихъ идей, что онъ просто давитъ ими своихъ героевъ. Въ этомъ отношеніи его можно сравнить съ Бальзакомъ. Приведемъ два-три примѣра

Въ числѣ всякой губернской сволочи, увивающейся около губернаторши, m-me Лембке, есть нѣкто Лямшинъ. Это мелкая гадина, трусливая, глупая, скверная. М-me Лембке, наконецъ, выгоняетъ его отъ себя, но пріятели убѣждаютъ ее прослушать «новую особенную штучку на фортепьяно», которую выдумалъ Лямшинъ. Штучка называется «Франко-прусская война». «Начиналась она грозными звуками марсельезы:

Qu'un sang impur abreuve nos sillons!

Слышался напыщенный вызовъ, упоеніе будущими побѣдами. Но вдругъ, вмѣстѣ съ мастерски варьированными тактами гимна, гдѣ-то сбоку, внизу, въ уголку, но очень близко послышались гаденькіе звуки Mein lieber Augustin. Марсельеза не замѣчаетъ ихъ, Марсельеза на высшей точкѣ упоенія своимъ величіемъ; но Augustin укрѣпляет-

ся, Augustin все нахальнѣе, и вотъ такты Augustin какъ-то неожиданно начинаютъ совпадать съ тактами Марсельезы. Та начинаетъ какъ бы сердиться, она замѣчаетъ, наконецъ, Augustin, она хочетъ сбросить ее, отогнать, какъ навязчивую, ничтожную муху, но Mein lieber Augustin уцѣпилась крѣпко: она весела и самоувѣренна; она радостна и нахальна; и Марсельеза какъ-то вдругъ ужасно глупѣетъ: она уже не скрываетъ, что раздражена и обижена, это вопли негодованія, это слезы и клятвы съ простертыми къ провидѣнію руками:

Pas un pouce de notre terrain, pas une prierre de nos fortresses.

Но уже она принуждена пѣть съ Mein lieber Augustin въ одинъ тактъ. Ея звуки какъ-то глупѣйшимъ образомъ переходятъ въ Augustin, она склоняется, погасаетъ. Изрѣдка лишь, прорывомъ послышится опять: qu'un sang impur... Но тотчасъ же преобидно перескочить въ гаденькій вальсъ. Онъ смиряется совершенно: это Жюль Фавръ, рыдающій на груди Бисмарка и отдающій все, все... Но тутъ уже свирѣпѣетъ и Augustin: слышатся сиплые звуки, чувствуется безмѣрно выпитое пиво, бѣшество самохвальства, требованія милліардовъ, тонкихъ сигаръ, шампанскаго и заложниковъ; Augustin переходитъ въ неистовый ревъ... Франко-прусская война оканчивается. *Наши аплодирують. Юлія Михайловна улыбается и говоритъ: «ну какъ его прогнать?» Миръ заключенъ. У мерзавца дѣйствительно былъ талантикъ*». Не то что талантикъ, а идея мерзавца совершенно давитъ его, его не видишь въ теченіе всего дуэта Марсельезы съ Mein lieber Augustin, такъ что подчеркнутыя слова встрѣчаешь съ нѣкоторымъ изумленіемъ: читатель совсѣмъ было и забылъ Ляминина.

Другой примѣръ. Петръ Верховенскій обнаруживаетъ свою «идею» только въ концѣ второй части романа. И пока этого не случилось, вы можете слѣдить за его фигурой, можете разсуждать, удовлетворительна ли она въ литературномъ отношеніи (весьма неудовлетворительна), какова она, какъ нравственный типъ и т. п. Но вдругъ на Верховенскаго нападаетъ восторженное состояніе, оказывается, что онъ фанатикъ. Онъ развиваетъ свою идею. Онъ восторженно доказываетъ Ставрогину, что необходимо одно или два поколѣнія разрушенія, пожаровъ, убійствъ, разврата «неслыханнаго, подленькаго, когда человѣкъ обращается въ гадкую, трусливую, жестокую, себялюбивую мразь». «Начнется смута! Раскачка такая пойдетъ, какой еще міръ не видалъ. Затуманится Русь, заплачетъ земля по старымъ богамъ». Тутъ по плану г. Верховенскаго надо пустить «Ивана Царевича», роль, предназначаемая имъ Ставрогину. «Слушайте, я васъ никому не покажу, никому: такъ надо. Онъ есть, но никто не видалъ его, онъ скрывается. А знаете, что можно даже и показать, изъ ста тысячъ одному, напримѣръ. И пойдетъ по всей землѣ: «видѣли, видѣли». И Ивана Филипповича бога-саваофа видѣли, какъ онъ въ колесницѣ вознесся предъ людьми, «собственными» глазами видѣли. А вы не Иванъ Филипповичъ; вы красавецъ, гордый какъ Богъ, ничего для себя не ищущій, съ ореоломъ жертвы, «скрывающійся». Главное легенду! Вы ихъ побѣдите, взглянете и побѣдите. Новую правду несетъ и «скрывается». А тутъ мы два-три соломоновскихъ приговора пустимъ. Кучки-то, пятерки-то—газетъ не надо! Если изъ десяти тысячъ одну только просьбу удовлетворить, то всѣ пойдутъ съ просьбами. Въ каждой волости каждый мужикъ будетъ знать, что есть, дескать, гдѣ-то такое дупло, куда просьбы опускать указано. И застонетъ стономъ земля: «новый правый законъ идетъ», и заволнуется море, и рухнетъ балаганъ, и тогда подумаемъ, какъ бы поставить строеніе каменное. Въ первый разъ! Строить *мы* будемъ, мы, одни мы!»

Мы привели только часть практическаго плана Верховенскаго, и онъ еще на нѣсколькихъ страницахъ развиваетъ теоретическую сторону своей идеи. И во все это время читатель до такой степени пораженъ дикой оригинальностью, эксцентричностью идеи, что Верховенскаго тутъ какъ будто и не бывало. Точно вы читаете дикую книгу или слушаете дикую рѣчь совершенно неизвѣстнаго и ни малѣйше васъ не интересующаго человѣка. И замѣчательно, что исчезновеніе Верховенскаго, какъ образа, какъ характера, происходитъ какъ разъ въ ту минуту, когда онъ становится представителемъ третьей изъ принятыхъ нами категорій, т. е. когда онъ переходитъ въ исключительную собственность г. Достоевскаго. Безъ сомнѣнія, такое пожираніе тучныхъ коровъ поэзіи тощими коровами фантазіи людей, находящихся на границѣ ума и безумія, — въ художественномъ отношеніи не можетъ быть выгодно. Герои г. Достоевскаго, давимые идеями, по необходимости блѣдны, блѣднѣе по крайней мѣрѣ, чѣмъ они могли бы быть нарисованы рукою такого мастера. И въ «Бѣсахъ» они особенно блѣдны, здѣсь нѣтъ ни одного образа, равнаго въ художественномъ отношеніи фигурамъ Раскольникова, Свидригайлова въ «Преступленіи и наказаніи». Недуренъ, пожалуй, Шигалевъ, но онъ, во-первыхъ, стоитъ въ самомъ заднемъ углу, а во-вторыхъ, не развертываетъ своей идеи вполнѣ, а только показываетъ одинъ край

ея, такъ что не успѣваетъ быть ею придавленнымъ. Вообще же вмѣсто образовъ *людей, придавленныхъ своими идеями*, въ «Бѣсахъ» фигурируютъ *образы, придавленные идеями, обязательно изобрѣтенными для нихъ авторомъ*.

Позволивъ себѣ эти бѣглыя эстетическія замѣчанія, перейдемъ къ самымъ идеямъ. Хорошо или дурно изображены извѣстные типы, но надо еще знать, умѣстно ли ихъ изображеніе. Надо знать, съ кого г. Достоевскій портреты эти писалъ и гдѣ разговоры эти слышалъ.

Въ «Бѣсахъ» разсказывается исторія, по внѣшнему ходу событій и обстановкѣ поразительно сходная съ такъ называемымъ Нечаевскимъ дѣломъ. Есть тутъ вожакъ, Верховенскій (сынъ), устраивающій тайное общество посредствомъ цѣлаго ряда обмановъ. Онъ водитъ всѣхъ за носъ какимъ-то центральнымъ революціоннымъ комитетомъ, связями съ международнымъ обществомъ рабочихъ, виршами, будто бы въ честь его, «студента», написанными *Герценомъ*. Есть поддѣльный ревизоръ, присутствующій съ записной книжкой на засѣданіяхъ кружка. Есть студентъ Шатовъ, постоянно враждующій съ вожакомъ Верховенскимъ. Есть сцена убійства Шатова, котораго заманиваютъ въ гротъ въ паркѣ и тамъ сначала пристрѣливаютъ, а потомъ топятъ. Есть нѣкто Толкаченко, «странная личность, человѣкъ уже лѣтъ сорока и славившійся огромнымъ изученіемъ народа, преимущественно мошенниковъ и разбойниковъ, ходившій нарочно по кабакамъ, впрочемъ, не для одного изученія народнаго». И проч., и проч., и проч. Въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ романистъ точно задался мыслью не отступать отъ свѣдѣній, добытыхъ слѣдствіемъ и судомъ по Нечаевскому дѣлу. Такъ, напримѣръ, отношенія, существовавшія между Нечаевымъ и Ивановымъ, не выяснены. Неизвѣстнымъ и до сихъ поръ остается, хотѣлъ ли Ивановъ сдѣлать доносъ, или онъ только въ томъ подозрѣвался, или, наконецъ, Ивановъ совсѣмъ по другимъ причинамъ мѣшалъ Нечаеву. Такъ дѣло стоитъ и у г. Достоевскаго. Отношенія Шатова и Верховенскаго весьма неясны: авторъ не позволилъ себѣ ни на волосъ отступить не то что отъ описываемой имъ дѣйствительности, а даже отъ дѣйствительности, какъ она выяснилась слѣдствіемъ и судомъ. Естественное дѣло, что если важная часть фабулы романа взята изъ современной и надѣлавшей шуму исторіи, то мы въ правѣ ожидать отъ автора картины современныхъ нравовъ весьма точной. Странно было бы описывать фактическую сторону дѣла съ фотографической скрупулезностью, а содержаніе влагать въ нее фантастическое или, вообще, несоотвѣтствующее. Но точность поэтической картины есть нѣчто весьма условное. Въ дѣйствительности есть черты важныя и неважныя, типическія и случайныя. Если поэтъ самымъ тщательнымъ образомъ и вполнѣ точно обрисуетъ черты случайныя, а не важныя, то этимъ еще отнюдь не достигается поэтическая точность картины. И наоборотъ; я понимаю, что художникъ можетъ изобразить, напримѣръ, лиссабонское землетрясеніе двумя, тремя человѣческими фигурами, если сумѣетъ сконцентрировать въ нихъ суть дѣла. Въ какой мѣрѣ точна картина современной жизни, написанная г. Достоевскимъ? Если бы его романъ былъ переведенъ на какой-нибудь иностранный языкъ и попалъ бы, такимъ образомъ, въ руки людей, мало или вовсе незнакомыхъ съ капризными особенностями нашего даровитаго романиста, то они пришли бы въ крайнее изумленіе. Оставляя пока въ сторонѣ смыслъ всего романа, мы видимъ небольшую группу излюбленныхъ авторомъ героевъ, молодыхъ людей, занимающихся разрѣшеніемъ религіозныхъ вопросовъ, въ которыхъ для нихъ кульминируется вся злоба дня. «Вы атеистъ?—Да».—«Вѣруете вы сами въ Бога?—Я вѣрую въ Россію, я вѣрую въ ея православіе. Я вѣрую въ тѣло Христово. Я вѣрую, что новое пришествіе совершится въ Россіи.—А въ Бога? въ Бога?—Я... Я буду вѣровать въ Бога». «Вы стали вѣровать въ будущую вѣчную жизнь?—Нѣтъ, не въ будущую вѣчную, а въ здѣшнюю вѣчную». «Онъ придетъ, и имя ему человѣкобогъ.—Богочеловѣкъ?—Человѣкобогъ, въ этомъ разница.—Ужъ не вы ли и лампаду зажигаете?—Да, это я зажегъ.—Увѣровали?» «Богъ необходимъ, а потому долженъ быть, но я знаю, что его нѣтъ, не можетъ быть». Вотъ вопросы и отвѣты, имѣющіе мѣсто между тремя самыми видными изъ излюбленныхъ героевъ г. Достоевскаго. Изъ этого источника берутъ начало и ихъ соціальныя теоріи. Впрочемъ, другія дѣйствующія лица третьей категоріи, Петръ Верховенскій и Шигалевъ, строятъ свои замысловатыя теоріи на другихъ основаніяхъ. Но во всякомъ случаѣ, имѣлъ ли какое-нибудь основаніе г. Достоевскій группировать около Нечаевскаго дѣла людей, проникнутыхъ мистицизмомъ? Думаю, что нѣтъ, а тѣмъ паче не имѣлъ онъ права ставить ихъ типами современной русской молодежи вообще. Такіе люди, конечно, возможны и здѣсь, какъ и вездѣ. Но мало ли что возможно. Едва ли русская молодежь такъ пристально занимается мистико-религіозными вопросами. Напротивъ, направленіе ея, вообще говоря, чисто практическое, а если кое-кто изъ нея и занимается соціальными теоріями, то ужъ, конечно, не такого характера, какимъ отличаются теоріи Ставрогина, Шатова, Ки-

рилова. Замѣчательно, что молодые люди, представляющіе у г. Достоевскаго «идею, попавшую на улицу», тяготѣютъ къ вящшему реализму, съ задоромъ объявляютъ, что «нынче нѣтъ привидѣній, а естественныя науки» и т. п. Молодые же люди, «съѣденные своею идеей», тяготѣютъ въ совершенно противоположную сторону. Обстоятельство это въ романѣ ничѣмъ не мотивировано, а это жаль. Во всякомъ случаѣ, если бы г. Достоевскій принялъ въ соображеніе громадную массу русскихъ молодыхъ людей, стремящихся въ адвокаты, мировые судьи, проводители усовершенствованныхъ путей сообщенія и проч., и проч., и проч.; если бы онъ прибавилъ сюда массу молодыхъ людей, настроенныхъ и серьезно, и трезво, наконецъ, если бы онъ остановилъ подольше свое вниманіе на массѣ молодыхъ верхоглядовъ,—то онъ, безъ сомнѣнія, убѣдился бы, что теоріи, подобныя Шатовскимъ, Кириловскимъ, Ставрогинскимъ, могутъ занимать здѣсь только микроскопически ничтожное мѣсто. Онъ убѣдился бы даже, что Нечаевское дѣло есть до такой степени во всѣхъ отношеніяхъ монстръ, что не можетъ служить темой для романа съ болѣе или менѣе широкимъ захватомъ. Оно могло бы доставить матеріалъ для романа уголовнаго, узкаго, мелкаго, могло бы и, пожалуй, занять мѣсто и въ картинѣ современной жизни, но не иначе, какъ въ качествѣ третьестепеннаго эпизода. Но и помимо Нечаевскаго дѣла, гдѣ слышалъ г. Достоевскій, чтобы современные русскіе молодые люди встрѣчали и провожали другъ друга вопросами: вы атеистъ? вы лампадку зажигали? вы увѣровали? Тѣмъ паче, гдѣ слышалъ онъ изъ устъ молодежи такія идеи, какъ, напримѣръ: «народъ есть тѣло божіе», «русскій народъ богоносецъ» и т. п.? Я не спорю, можетъ быть онъ все это и слышалъ, но уже, конечно, не имѣетъ права выставлять эти черты, въ качествѣ характерныхъ, типическихъ, на первое мѣсто. Въ началѣ нынѣшняго столѣтія въ Парижѣ и въ Берлинѣ существовали клубы самоубійцъ, по статуту которыхъ члены по жребію должны были убивать себя по одному въ годъ. Это фактъ любопытный. Но что бы сказали о писателѣ, который, рисуя картину европейской жизни начала нынѣшняго вѣка, наполеоновскія войны поставилъ бы въ задній уголъ, а клубъ самоубійцъ на первое мѣсто? Писатель этотъ могъ бы быть очень точенъ въ описаніи своихъ героевъ, но несоблюденіе правила художественной перспективы испортило бы все дѣло. Я думаю, что нѣтъ надобности настаивать на пунктѣ, который доступенъ ежедневному наблюденію всѣхъ и каждаго, и потому позволяю себѣ сказать афористически: если бы г. Достоевскій нарочно искалъ такой среды, въ которой мистическія теоріи были бы совершенно неумѣстны, то онъ нашелъ бы ее въ современной русской молодежи.

Такимъ образомъ, мы пришли къ чрезвычайно странному и любопытному результату. Г. Достоевскій не пользуется темами, подходящими къ свойствамъ его таланта, и въ то же время втискиваетъ эксцентрическія идеи туда, гдѣ ихъ въ дѣйствительности нѣтъ. Это объясняется очень легко, если мы примемъ въ соображеніе, какъ богатъ г. Достоевскій эксцентрическими идеями. Онѣ, очевидно, его просто мучатъ, тѣснятся въ его фантазіи въ гораздо даже большемъ количествѣ, чѣмъ художественные образы. Прошу покорно выносить въ головѣ Ивана Царевича и два поколѣнія невообразимаго разврата и разрушенія, или теорію самообожествленія посредствомъ самоубійства, которую исповѣдуетъ и практикуетъ Кириловъ. Разъ подобная теорія сложилась въ головѣ автора, она требуетъ исхода. Значитъ, авторъ уже органически не можетъ взяться за беллетристическую эксплуатацію, напримѣръ, духовнаго союза Татариновой или спиритизма. Тамъ есть *свои*, готовыя теоріи, *свои* эксцентрическія идеи, а г. Достоевскому надо, прежде всего, сложить свое собственное бремя. И понятно, что удобнѣе всего его сложить туда, гдѣ больше мѣста, гдѣ дѣйствительность создала наименьшее количество эксцентрическихъ идей и теорій. Г. Достоевскому нужны только подходящія рамки, готовое драматическое положеніе и слабый намекъ на возможность эксцентрическихъ идей. Намекъ этотъ долженъ быть, но чѣмъ онъ слабѣе, тѣмъ лучше, тѣмъ просторнѣе продуктамъ фантастической лабораторіи автора. Конечно, это обобщеніе можетъ показаться слишкомъ поспѣшнымъ. Но я только предлагаю объясненіе, въ пользу котораго говорятъ и еще кое-какія соображенія. Сюда относится вышеупомянутое пожираніе тучныхъ коровъ поэзіи тощими коровами фантазіи людей, находящихся на границѣ ума и безумія. Сюда же относится и самое пристрастіе автора въ этой границѣ. Герои г. Достоевскаго какъ разъ настолько безумны, что имъ позволительно уклоняться отъ самыхъ неопровержимыхъ истинъ, и въ то же время какъ разъ настолько умны, что могутъ излагать довольно связано весьма замысловатыя идеи. Люди нормальные для г. Достоевскаго неудобны, такъ какъ имъ нельзя вложить въ уста эксцентрическую идею. Сумасшедшіе тоже не годятся, потому что тутъ пришлось бы довольствоваться совершенно безсвязною галиматьей.

Выше было сказано, что г. Достоевскій напоминаетъ Бальзака, конечно, не по симпатіямъ своимъ, а только по богатству экс-

центрическихъ идей и наклонности къ изображенію исключительныхъ психологическихъ явленій (небезынтересно замѣтить мимоходомъ еще одно сходство: фельетонный способъ писанія широко задуманныхъ вещей). Но разница вотъ въ чемъ. Бальзакъ, во-первыхъ, гораздо смѣлѣе, потому что беретъ иногда не только исключительное психологическое явленіе, а нѣчто совершенно невозможное, фантастическое (напримѣръ, Серафитъ). Во-вторыхъ, взявъ какой-нибудь рѣдкій феноменъ, большею частью одностороннее развитіе какой-нибудь страсти, онъ уже за нимъ только и слѣдитъ, на немъ одномъ, отъ имени его одного только и строитъ свои эксцентрическія теоріи. Вслѣдствіе такой сосредоточенности романъ получаетъ иногда удивительную силу, идея романа (а не дѣйствующихъ лицъ) вырѣзывается съ необыкновенною ясностью, а вмѣстѣ съ тѣмъ оправдывается и исключительность сюжета. Менѣе плодовитый г. Достоевскій надѣляетъ эксцентрическими идеями всѣхъ, кого только физически возможно надѣлить ими (въ «Бѣсахъ» онѣ прорываются даже у Ѳедьки каторжника и пьяницы капитана Лебядкина). Носители эксцентрическихъ идей оказываются при этомъ придавленными не только нравственно, что и хотѣлъ изобразить г. Достоевскій, а и въ художественномъ отношеніи, чего онъ, разумѣется, не желалъ. Въ результатѣ получается нѣчто многоцентренное, расплывающееся, рядъ насильственно пригнанныхъ драматическихъ положеній, въ которыхъ чрезвычайно трудно оріентироваться. А между тѣмъ въ «Бѣсахъ» г. Достоевскій желалъ быть какъ можно яснѣе. Онъ, во-первыхъ, снабдилъ романъ двумя очень характерными эпиграфами. Одинъ— стихи Пушкина:

Хоть убей, слѣда не видно.
Сбились мы, что дѣлать намъ?
Въ полѣ бѣсъ насъ водитъ, видно,
Да кружитъ по сторонамъ.

. . . .
Сколько ихъ, куда ихъ гонятъ,
Что такъ жалобно поютъ?
Домового ли хоронятъ,
Вѣдьму ль замужъ отдаютъ?

Другой эпиграфъ взятъ изъ евангельскаго разсказа объ исцѣленіи бѣсноватаго, о томъ, какъ изгоняемые Христомъ бѣсы попросили у него позволенія переселиться въ пасшееся недалеко стадо свиней и какъ потомъ свиньи бросились въ озеро и потонули. Эпиграфъ этотъ получаетъ въ концѣ романа спеціальное объясненіе. Верховенскій-отецъ, больной, проситъ сидѣлку прочитать ему разсказъ объ исцѣленіи бѣсноватаго. Та читаетъ, а Степанъ Трофимовичъ предается по этому случаю нѣкоторымъ изліяніямъ. «Видите,—говоритъ онъ, между прочимъ,—это точь въ точь какъ наша Россія. Эти бѣсы, выходящіе изъ больного и входящіе въ свиней—это язвы, всѣ міазмы, вся нечистота, всѣ бѣсы и всѣ бѣсенята, накопившіеся въ великомъ и миломъ нашемъ больномъ, въ нашей Россіи, за вѣка, за вѣка! Oui, cette Russie que j'aimais toujours. Но великая мысль и великая воля осѣнятъ ее свыше, какъ и того безумнаго бѣсноватаго, и выйдутъ всѣ эти бѣсы, вся нечистота, вся эта мерзость, загноившаяся на поверхности... и сами будутъ проситься войти въ свиней. Да и вошли уже, можетъ быть! Это мы, мы и тѣ, и Петруша... et les autres avec lui, и я, можетъ быть, первый, во главѣ, и мы бросимся, безумные и взбѣсившіеся, со скалы въ море и всѣ потонемъ, и туда намъ дорога, потому что насъ только на это вѣдь и хватитъ. Но больной исцѣлится и «сядетъ у ногъ Іисусовыхъ»... и будутъ всѣ глядѣть съ изумленіемъ».

Такимъ образомъ г. Достоевскій весьма обязательно самъ даетъ ключъ къ уразумѣнію «Бѣсовъ». Но это мало подвигаетъ дѣло впередъ. Если бы еще г. Достоевскій ограничился первымъ эпиграфомъ:

Хоть убей, слѣда не видно,
Сбились мы, что дѣлать намъ?

то идея романа могла бы быть хоть и слишкомъ общею, но за то, по крайней мѣрѣ, ясною. Второй эпиграфъ, въ особенности въ связи съ его объясненіемъ устами Степана Трофимовича, показываетъ только, что идея романа замысловата, что тутъ есть нѣкоторая претензія. Но ключъ къ ея уразумѣнію предлагается въ видѣ аллегоріи, которую не сразу и поймешь. Спрашивается, въ чемъ состоятъ міазмы, нечистота, бѣсы и бѣсенята, въ теченіе вѣковъ копившіеся въ нашемъ больномъ? Кто это «мы и тѣ, и Петруша et les autres avec lui», о которыхъ говоритъ Степанъ Трофимовичъ Верховенскій? Кто эти свиньи, въ которыхъ вселяются бѣсы, изгоняемые изъ больной Россіи? Въ чемъ, наконецъ, состоитъ ихъ бѣсовскій элементъ? Въ самомъ романѣ трудно найти отвѣты на эти вопросы. Пожалуй, многія дѣйствующія лица его дѣйствительно напоминаютъ бѣсноватыхъ, но, конечно, дѣло не въ этомъ прямомъ смыслѣ слова, а въ аллегоріи. Формула «мы, мы и тѣ, и Петруша et les autres avec lui» обобщаетъ элементы чрезвычайно разнообразные, такъ что нелегко усмотрѣть ихъ совпадающія стороны. «Петруша et les autres avec lui» представляются, напримѣръ, намъ, т. е. Степану Трофимовичу Верховенскому, въ видѣ «подлаго раба, вонючаго и развратнаго лакея», который при извѣстныхъ обстоятельствахъ

«взмостится на лѣстницу съ ножницами въ рукахъ и раздеретъ божественный ликъ великаго идеала (Сикстинскую Мадонну) во имя равенства, зависти и пищеваренія». Съ своей стороны и Петруша et les autres avec lui осыпаютъ «насъ», Степана Трофимовича Верховенскаго, эпитетами, полными ненависти и презрѣнія. И эти враждебныя отношенія вполнѣ объясняются дѣйствительнымъ внутреннимъ различіемъ обоихъ лагерей. Далѣе, въ каждомъ изъ нихъ мы опять-таки видимъ только различія и различія. Люди, представляющіе собою исключительные психологическіе феномены, уже сами по себѣ составляютъ нѣчто трудно поддающееся обобщеніямъ. А такъ какъ въ «Бѣсахъ» эти люди суть большею частью только подставки для эксцентрическихъ идей, то становится еще труднѣе стать на такую точку зрѣнія, съ которой всѣ они сливались бы въ понятіе стада бѣсноватыхъ свиней. Въ самомъ дѣлѣ, эксцентрическая идея непремѣнно стоитъ, если можно такъ выразиться, ершомъ, она не имѣетъ ничего общаго съ идеями неэксцентрическими и другими эксцентрическими, такъ что рядъ подставокъ для эксцентрическихъ идей не подлежитъ никакому синтезу; нѣтъ возможности подвести имъ итогъ. И потому, какъ ни старался г. Достоевскій быть яснымъ, онъ этого не достигъ.

Къ счастію, тутъ подвернулся «Гражданинъ». Потому ли, что идея «Бѣсовъ» вообще сильно занимаетъ г. Достоевскаго, или потому, что «Дневникъ писателя» пишется подъ непосредственнымъ вліяніемъ писанія «Бѣсовъ», но дневникъ этотъ можетъ быть разсматриваемъ, какъ комментарій къ «Бѣсамъ». Многія мысли «Дневника» высказаны уже въ «Бѣсахъ» разными дѣйствующими лицами и въ особенности молодымъ студентомъ Шатовымъ, или, въ переводѣ на языкъ дѣйствительности, убитымъ Ивановымъ, Комментируя «Бѣсовъ» «Дневникомъ» мы уяснимъ себѣ многое.

Николай Ставрогинъ, по первоначальному, по крайней мѣрѣ, замыслу автора, долженъ былъ, повидимому, быть самымъ замѣтнымъ изъ дѣйствующихъ лицъ романа, нѣкоторымъ его центромъ. Вышла, однако, фигура съ претензіями, но крайне тусклая. Шатовъ, Кириловъ, Лебядкинъ повторяютъ ему одну и ту же фразу: «вспомните, какъ много значили вы въ моей жизни», но это значеніе остается невыясненнымъ. Шатовъ ждетъ отъ Ставрогина многаго, разсчитывая на его геніальность; Верховенскій Петръ тоже ждетъ отъ него многаго, но въ разсчетѣ на его «необыкновенную способность къ преступленію». Всѣ видятъ въ немъ отчасти натуру крайне сильную, а отчасти крайне слабую. Гдѣ-то за кулисами дѣйствуетъ Ставрогинъ въ качествѣ члена тайнаго «сладострастнаго» общества, «у котораго маркизъ де-Садъ могъ бы поучиться», которое «заманивало и развращало дѣтей». Когда-то, опять-таки за кулисами, Ставрогинъ «увѣрялъ, что не знаетъ различія въ красотѣ между какою-нибудь сладострастною звѣрскою штукой и какимъ угодно подвигомъ, хотя бы жертвой жизнью для человѣчества, что онъ нашелъ въ обоихъ полюсахъ совпаденіе красоты, одинаковость наслажденія». Словомъ, это что-то очень бурное, необыкновенное, но вмѣстѣ съ тѣмъ что-то очень плоское, будничное. Такъ, напримѣръ, Ставрогинъ давно записался въ граждане кантона Ури, купилъ тамъ маленькій домъ и зоветъ туда съ собой по очереди трехъ ни въ чемъ между собою несходныхъ женщинъ: экзальтированную Лизу, преданную Дашу и сумасшедшую Лебядкину. Ему, кажется, все равно съ кѣмъ скоротать свою бурную жизнь, но только непремѣнно съ женщиной, непремѣнно въ маленькомъ швейцарскомъ домѣ, никого не видя, ничего не дѣлая. Всѣ поступки Ставрогина какъ-то изысканно необычайны. И особенно замѣчательно, что г. Достоевскому очень хочется показать, что онъ въ здравомъ разсудкѣ. Онъ даже нарочно для этого сводитъ его на время съ ума, заставляетъ дѣлать безумныя выходки, которыя, однако, по общему необъяснимо таинственному инстинктивному убѣжденію свойственны Ставрогину и въ здравомъ умѣ. Романъ даже тѣмъ и оканчивается, что трупъ самоубійцы Ставрогина анатомируютъ, и «наши медики по вскрытіи трупа совершенно и настойчиво отвергли помѣшательство». Это послѣднія строки романа. Очевидно, г. Достоевскій хотѣлъ тутъ разрѣшить нѣкоторую психологическую задачу, но не только разрѣшенія какой-нибудь задачи не вышло, не вышла даже постановка ея. Нѣкоторое поясненіе дѣла найдемъ мы въ «Дневникѣ писателя» («Гражданинъ», № 4). Тамъ разсказывается слѣдующая исторія. Одинъ мужикъ взялся сдѣлать какую угодно «дерзостную» штуку. Другой и заказалъ ему: пойти причащаться, но причастія не глотай, а возьми въ руку и сохрани. Мужикъ сдѣлалъ. Тогда деревенскій Мефистофель повелъ его въ огородъ, велѣлъ положить причастіе на землю, зарядить ружье и выстрѣлить въ причастіе. «И вотъ только бы выстрѣлить, разсказывалъ потому мужикъ, вдругъ предо мной какъ есть крестъ, а на немъ Распятый. Тутъ я и упалъ съ ружьемъ въ безчувствіи». Затѣмъ мужикъ пошелъ каяться въ грѣхахъ своихъ, почувствовалъ жажду искупленія и страданія и отправился за совѣтомъ къ «схимнику, монаху-совѣтодателю», который

и наложилъ на него подходящую эпитемью.

Вотъ разсказъ. Вмѣстѣ съ нѣкоторыми изъ замѣчаній г. Достоевскаго, онъ могъ бы составить прекрасную монографію, въ смыслѣ описанія и разъясненія даннаго случая. Въ качествѣ поэта г. Достоевскій могъ бы ограничиться собственно образнымъ представленіемъ развитія «дерзостной» мысли, страшнаго страданія, послѣдовавшаго за ея осуществленіемъ, и, наконецъ, наслажденія искупляющимъ страданіемъ. Могла бы выйти великолѣпная вещь. Если г. Достоевскій не надѣется на силу своего поэтическаго таланта, то онъ могъ бы, конечно, развести образцы нѣкоторыми размышленіями. Но г. Достоевскій ведетъ дѣло въ этомъ отношеніи уже слишкомъ далеко. Онъ видитъ въ дерзостномъ и кающемся мужикѣ символъ ни больше, ни меньше, какъ «всего русскаго народа въ его цѣломъ», и по этому случаю предается нѣкоторой мало основательной публицистикѣ. Вотъ нѣкоторыя изъ характеристическихъ, по мнѣнію г. Достоевскаго, чертъ русскаго народа въ его цѣломъ. «Это прежде всего — забвеніе всякой мѣрки во всемъ (и, замѣтьте, всегда почти временное и преходящее, являющееся какъ бы какимъ-то навожденіемъ). Это потребность хватить черезъ край, потребность въ замирающемъ ощущеніи, дойдя до пропасти, свѣситься въ нее наполовину, заглянуть въ самую бездну и—въ частныхъ случаяхъ, но весьма рѣдкихъ—броситься въ нее, какъ ошалѣлому, внизъ головой... нѣкоторое адское наслажденіе собственной гибелью, захватывающая дыханіе потребность нагнуться надъ пропастью и заглянуть въ нее, потрясающее восхищеніе предъ собственной дерзостью». Это одна черта, черта, по мнѣнію г. Достоевскаго, всенародная. Въ частности выразилась она и въ исторіи дерзостнаго мужика. Она же, очевидно, должна была составлять основу характера Ставрогина, ибо нѣкоторыя дѣйствующія лица романа говорятъ о немъ почти тѣми же словами, какія г. Достоевскій употребляетъ для характеристики народа. Потому-то г. Достоевскій такъ и хлопочетъ, чтобы Ставрогина не приняли за сумасшедшаго: онъ долженъ выражать собою одну изъ типическихъ чертъ русскаго народа, и всѣ его безобразія должны объясняться потребностью дерзости.

Другая черта народа состоитъ въ страстной потребности искупить дерзость, грѣхъ. «Съ такою же силою, съ такою же стремительностью, съ такою же жаждою самосохраненія и покаянія русскій человѣкъ, равно какъ и весь народъ, и спасаетъ себя самъ и обыкновенно, когда дойдетъ до послѣдней черты, т. е. когда уже идти больше некуда. Но особенно характерно то, что обратный толчекъ возстановленія и самоспасенія бываетъ серьезнѣе прежняго прорыва—отрицанія и саморазрушенія. То бываетъ всегда на счету какъ бы мелкаго малодушія; тогда какъ въ возстановленіе свое русскій человѣкъ уходитъ съ самымъ огромнымъ и серьезнымъ усиліемъ, а на отрицательное прежнее движеніе свое смотритъ съ презрѣніемъ къ самому себѣ. Я думаю, самая главная, самая коренная духовная потребность русскаго народа есть потребность страданія всегдашняго и неутолимаго, всегда и во всемъ. Этою жаждою страданія онъ, кажется, зараженъ искони вѣковъ. Страдальческая струя проходитъ черезъ всю его исторію, не отъ внѣшнихъ только несчастій и бѣдъ, а бьетъ ключомъ изъ самаго сердца народнаго... Если онъ способенъ возстать изъ своего униженія, то мститъ себѣ за прошлое паденіе ужасно, даже больнѣе, чѣмъ вымещалъ на другихъ, въ чаду безобразія, свои тайныя муки отъ собственнаго недовольства собой». Вотъ другая черта народнаго русскаго характера, фигурирующая и въ исторіи дерзостнаго мужика. Есть она отчасти и въ Ставрогинѣ. Она прорывается въ немъ отдѣльными вспышками, напримѣръ, когда онъ объявляетъ о своемъ бракѣ съ Лебядкиной, когда онъ молча выноситъ пощечину отъ Шатова, и т. д. Прорывается, но не доходитъ до конца. Любопытно, что Шатовъ, представляющій собою вообще мнѣнія г. Достоевскаго, посылаетъ Ставрогина къ какому-то Тихону, бывшему архіерею, живущему по болѣзни на покоѣ, къ которому ходятъ за совѣтами. Это, очевидно, тотъ же схимникъ, монахъ-совѣтодатель, къ которому дерзостный мужикъ идетъ за эпитемьей. Но Ставрогинъ не пошелъ за эпитемьей, не пошелъ за активнымъ, такъ сказать, страданіемъ, а страданій пассивнаго, предложеннаго стеченіемъ жизненныхъ обстоятельствъ, не вынесъ и повѣсился. Вотъ въ чемъ, значитъ, разница между Ставрогинымъ и Власомъ, какъ г. Достоевскій зоветъ дерзостнаго мужика, мотивируя весь разсказъ о немъ извѣстнымъ стихотвореніемъ Некрасова:

Въ армякѣ съ открытымъ воротомъ,
Съ обнаженной головой,
Медленно проходитъ городомъ
Дядя Власъ—старикъ сѣдой, и т. д.

И Власъ, и Ставрогинъ одинаково чувствуютъ «наклонность къ преступленію», наклонность, впрочемъ, только порывистую, наклонность согрѣшить для грѣха, для сильнаго ощущенія. Но Власа этотъ грѣхъ не выбиваетъ изъ его жизненнаго сѣдла окончательно, въ концѣ концовъ, даже укрѣпляетъ въ немъ. Онъ идетъ искупать свой грѣхъ и

въ страданіи искупленія находитъ примиреніе съ самимъ собой. Ставрогинъ этого сдѣлать не въ силахъ. Онъ падаетъ окончательно именно потому, что не можетъ или не хочетъ принять на себя крестъ; вѣрнѣе сказать, не можетъ, силъ не хватаетъ, хоть его и тянетъ къ этому.

Такимъ образомъ, благодаря «Дневнику писателя», тусклый образъ Ставрогина нѣсколько уясняется. Но мы всетаки еще далеки отъ идеи романа – отъ бѣсовъ, бѣсноватыхъ свиней и больной Россіи. Не ясенъ даже ближайшій пунктъ: что долженъ изображать собою Ставрогинъ, если только онъ не единица, не имѣющая никакого общаго значенія; почему, сохранивъ одну черту народнаго характера, онъ утратилъ другую; почему, наконецъ, у Власа хватаетъ силы на искупленіе, а у Ставрогина нѣтъ. Пойдемъ дальше въ своихъ комментаріяхъ.

Одинъ изъ героевъ «Бѣсовъ», Кириловъ, сочинилъ эксцентрическую теорію, сущность которой, насколько ее понимать можно, состоитъ въ слѣдующемъ: Бога нѣтъ; если бы онъ былъ, то я долженъ бы былъ повиноваться его волѣ; но такъ какъ Бога нѣтъ, то я остаюсь единственнымъ и полнымъ властителемъ своей судьбы и долженъ заявить, что я человѣкъ вольный, никого надъ собой не признаю и никого, и ничего не боюсь; такимъ полнымъ актомъ моей воли или «своеволія» можетъ быть только самоубійство, но самоубійство безъ всякой видимой причины: хочу и баста. Это вяжется у Кирилова съ разными другими вещами и, между прочимъ, со служеніемъ человѣчеству. Онъ вѣруетъ, что, убивъ себя, онъ докажетъ міру ложь бытія божія и укажетъ человѣчеству новые пути. Въ силу этой теоріи Кириловъ и рѣшаетъ убить себя. Этимъ пользуется шайка Петра Верховенскаго и заставляетъ безумца подписать передъ самоубійствомъ записку, въ которой Кириловъ принимаетъ на себя убійство Шатова. Подписывая, Кириловъ находится въ какомъ-то истерическомъ состояніи и непремѣнно хочетъ подписаться: de Kiriloff, gentilhomme russe et citoyen du monde, «еще лучше»: gentilhomme — séminariste russe et citoyen du monde civilisé. Немедленно послѣ этихъ словъ Кириловъ хватаетъ револьверъ и бѣжитъ стрѣляться. Въ словахъ этихъ звучитъ какая-то насмѣшка надъ самимъ собой, какая-то иронія, тѣмъ болѣе необъяснимая, что Кириловъ по собственному своему убѣжденію исполняетъ священный долгъ. И ничего въ предыдущемъ не даетъ ни малѣйшаго намека на смыслъ французской подписи. Очевидно, здѣсь авторъ просто не утерпѣлъ и подсунулъ Кирилову, на свой собственный страхъ, насмѣшливое прозвище, въ устахъ Кирилова совершенно безсмысленное, невозможное. Къ счастью, у насъ есть опять-таки «Дневникъ писателя», въ которомъ это самое насмѣшливое прозвище является въ сопровожденіи нѣкотораго объясненія. Въ Дневникѣ г. Достоевскій называетъ Герцена gentilhomme russe et citoyen du monde. Некрасова «общечеловѣкомъ и русскимъ gentilhomme'омъ». Но опять-таки съ которой стороны могутъ быть подведены къ одному знаменателю Некрасовъ, Герценъ и Кириловъ?

Мнѣ очень хочется добраться вмѣстѣ съ читателемъ до идеи «Бѣсовъ». Г. Достоевскій имѣетъ полное право требовать, чтобы къ его мыслямъ и произведеніямъ относились со всевозможными вниманіемъ и осторожностью. Я это дѣлаю, и не моя вина, что это можетъ быть сдѣлано только при помощи цѣлаго ряда отступленій. Такъ ужъ г. Достоевскій свой романъ устроилъ. Но теперь мы сдѣлаемъ, надо думать, уже послѣднее отступленіе, мы у берега.

Я уже говорилъ о любопытномъ совпаденіи кровныхъ, задушевныхъ мыслей г. Достоевскаго, высказываемыхъ имъ въ «Гражданинѣ», съ идеями Шатова. Сходство между Шатовымъ и г. Достоевскимъ до такой степени полно, что, излагая мысли Шатова, можно цитировать «Дневникъ писателя», и наоборотъ. Но при изложеніи этомъ надо устранить прежде всего одну двусмысленность. И г. Достоевскій, и Шатовъ, къ сожалѣнію, играютъ словомъ «Богъ». Иногда они придаютъ этому слову тотъ же смыслъ, который ему придается всѣми людьми, какъ вѣрующими, такъ и невѣрующими. Но иногда они разумѣютъ подъ «Богомъ» нѣчто иное, и именно, кажется, совокупность и высшую точку развитія національныхъ особенностей. Такъ, напримѣръ, они называютъ религіей древнихъ грековъ ихъ философію и искусство, римскимъ богомъ—государство. Куда при этомъ дѣваются Зевесъ и Юпитеръ со всей ихъ свитою—неизвѣстно. Г. Достоевскій и Шатовъ иногда громятъ атеистовъ въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова, то есть въ качествѣ людей, отрицающихъ существованіе личности творца вселенной. И въ то же время Ставрогинъ пишетъ: «Шатовъ говорилъ мнѣ, что тотъ, кто теряетъ связи съ своей землей, тотъ теряетъ и боговъ своихъ, то есть *всѣ свои цѣли*». Да въ этомъ же смыслѣ высказываются и сами Шатовъ, и г. Достоевскій. А между тѣмъ, на этой двусмысленности, на этой игрѣ словъ основываются многіе ихъ аргументы. Шатову, какъ человѣку, находящемуся въ постоянно возбужденномъ состояніи, наконецъ, какъ человѣку, не берущемуся никого поучать, это простительно. Но отъ г. Достоевскаго можно было бы тре-

бовать большей отчетливости и меньшей игривости. Онъ вѣдь романистъ, а теперь и публицистъ, и редакторъ журнала. Любопытно наблюдать процессъ, которымъ обнаруживается это легкомысленное отношеніе г. Достоевскаго къ дѣлу. Шатовъ, смѣшавъ Бога съ богами въ смыслѣ цвѣтовъ и плодовъ цивилизаціи и народныхъ особенностей, доказываетъ, что человѣкъ, оторванный отъ народной, національной почвы, тѣмъ самымъ уже становится атеистомъ. Доказываетъ онъ это восторженно, но торопливо, нескладно, нелѣпо, что вполнѣ объясняется его ненормальнымъ состояніемъ: съ нимъ «жаръ», онъ только что прожилъ три дня съ мыслью, что его убьетъ Ставрогинъ. И тѣмъ не менѣе г. Достоевскій считаетъ этотъ пунктъ доказаннымъ и говоритъ въ «Дневникѣ»: «Герценъ былъ продуктъ нашего барства, gentilhomme russe et citoyen du monde. Въ полтораста лѣтъ предыдущей жизни русскаго барства, за весьма малыми исключеніями, истлѣли послѣдніе корни, расшатались послѣднія связи его съ русской почвой и съ русской правдой. Герцену какъ будто сама исторія предназначила выразить собою въ самомъ яркомъ типѣ этотъ разрывъ съ народомъ огромнаго большинства нашего образованнаго сословія. Въ этомъ смыслѣ это типъ историческій. Отдѣлясь отъ народа, они *естественно потеряли и Бога.* Безпокойные изъ нихъ стали атеистами, вялые и спокойные—индифферентными» и т. д. (Шатовъ говоритъ почти слово въ слово то же самое о Бѣлинскомъ). Въ виду этого легкомыслія я отказываюсь слѣдить за теоріей г. Достоевскаго-Шатова во всей ея полнотѣ. Это просто невозможно. Въ теоріи этой заключается, между прочимъ, такой пунктъ: каждый народъ долженъ имѣть своего бога, и когда боги становятся общими для разныхъ народовъ, то это признакъ паденія и боговъ, и народовъ. И это вяжется какъ-то съ христіанствомъ, а я до сихъ поръ думалъ, что для христіанскаго Бога нѣсть эллинъ, ни іудей...

За вычетомъ этой двусмысленности, этой совершенно неприличной игры словъ, возрѣнія г. Достоевскаго-Шатова сводятся къ слѣдующему. Вѣками сложилась русская почва и русская правда, сложились извѣстныя понятія о добрѣ и злѣ. Петровскій переворотъ раздѣлилъ народъ на двѣ части, изъ которыхъ одна, меньшая, чѣмъ далѣе, тѣмъ болѣе теряла смыслъ русской правды, а другая, большая, только слегка подернулась этимъ движеніемъ. Когда первая часть, меньшинство, образованные классы обратили, наконецъ, свое вниманіе на большинство, на народъ, обратились къ нему даже съ любовью и желаніемъ добра, они уже не понимали его. Если они и любили народъ, то не тотъ, который тутъ возлѣ нихъ реально существовалъ, а народъ идеальный, созданный ихъ воображеніемъ по западно-европейскимъ образцамъ. А любить идеальный народъ, любить «общечеловѣка»—значитъ презирать или ненавидѣть народъ, существующій въ дѣйствительности. Этого мало. По мѣрѣ удаленія отъ народной правды, народныхъ понятій о добрѣ и злѣ, образованные citoyens du monde теряли *всякое* чутье въ различеніи добра и зла, потому что внѣ народныхъ преданій нѣтъ почвы для такого различенія, на него не способны ни разумъ, ни наука. А между тѣмъ нѣкоторыхъ, по крайней мѣрѣ, тянетъ къ этому различенію, и вотъ они мечутся, ищутъ и ничего не находятъ, а назадъ вернуться уже не могутъ. Они и погибнутъ. Можетъ быть, они увлекутъ за собой временно и народъ, можетъ быть уже и увлекаютъ, но, въ концѣ концовъ, Власы скажутъ свое слово и спасутъ себя и насъ.

Такова теорія г. Достоевскаго-Шатова. Шатовъ говоритъ, что это «или старая дряхлая дребедень, перемолотая на всѣхъ московскихъ славянофильскихъ мельницахъ, или совершенно новое слово, послѣднее слово, единственное слово обновленія и воскресенія». Увы! кажется, и сомнѣнія не можетъ быть въ томъ, что это дребедень. Теорія эта, да проститъ мнѣ почтенный авторъ, и слишкомъ стара, и слишкомъ ребячески молода, чтобы изъ нея стоило вытаскивать ту крупицу истины, которая въ ней заключается. Г. Достоевскій справедливо говоритъ, что барство извращаетъ понятія о добрѣ и злѣ, но съ Петра ли оно началось? Авторъ, повидимому, и самъ догадывается, что гораздо раньше, и что съ Петра оно только явилось въ другой формѣ. Онъ говоритъ, что бѣсы и бѣсенята, міазмы и нечистота накопились въ «нашемъ миломъ больномъ за вѣка, за вѣка!» Извѣстно, что это одинъ изъ камней преткновенія славянофильскаго ученія, и мы его трогать не будемъ. Мы воспользуемся только приведенной теоріей для объясненія идеи «Бѣсовъ» и нѣкоторыхъ любопытныхъ соображеній г. Достоевскаго въ «Дневникѣ писателя».

Бѣсноватый больной—это Россія, въ которую вселились бѣсы, въ точности неизвѣстно когда. Бѣсы—это утрата способности различать добро и зло. Стадо свиней, пасущееся недалеко,—это оторванные отъ народной почвы citoyens du monde, это «мы, мы и тѣ, и Петруша et les autres avec lui». Всѣ они сохранили въ себѣ одну черту русскаго народнаго характера—потребность дерзости, жажду отрицанія и разрушенія. Весь романъ представляетъ рядъ болѣе или менѣе дерзкихъ выходокъ и подвиговъ отрицанія и

разрушенія, совершаемыхъ разными типами citoyen'овъ. Одинъ пускаетъ мышь въ кіоту образа, другой надругивается надъ самыми святыми чувствами, третій херитъ всю вѣковую русскую исторію, четвертый безцѣльно и безсмысленно оскорбляетъ людей, пятый объявляетъ себя богомъ, шестой проповѣдуетъ всеобщій развратъ и проч., и проч., и проч. Все это совершается въ силу особенной черты русскаго характера, заставившей и дерзостнаго мужика Власа покушаться на разстрѣляніе причастія. Но изъ Власа бѣсъ забвенія границъ добра и зла немедленно выходитъ, Власъ не теряетъ чувства грѣха и жажды искупленія, страданія. Citoyen'ы не способны къ этому. Отрицая, разрушая, дерзая не только въ силу народной, безсознательной особенности, а и во имя чуждыхъ, общечеловѣческихъ идеаловъ, они не чувствуютъ грѣха, они гордятся имъ, а если и чувствуютъ, то не въ силахъ понести искупающее страданіе. Они вѣшаются, стрѣляются, окунаются въ омутъ разврата и подлости, впадаютъ въ систематическое, хроническое преступленіе, словомъ, такъ или иначе, одолѣваемые вселившимся въ нихъ бѣсомъ, бросаются со скалы въ море и тонутъ. Возврата, спасенія нѣтъ даже для Шатова, который съ болѣзненною ясностью сознаетъ ужасъ своего положенія. Онъ предлагаетъ Ставрогину нелѣпость, которую и самъ готовъ назвать «кунстштюкомъ»: «добыть Бога мужицкимъ трудомъ».

Хоть убей, слѣда не видно,
Сбились мы, что дѣлать намъ?

Но вотъ свиньи бѣсноватыя побросались со скалы въ море и потонули. Что же, больной исцѣлился? сидитъ у ногъ Іисусовыхъ? Нѣтъ, не исцѣлился, не сидитъ. Иначе г. Достоевскій не писалъ бы своего «Дневника». Можетъ быть потому не исцѣлился, что еще не всѣ свиньи перетонули, а можетъ быть и потому, что народились новыя, особенныя, которыхъ г. Достоевскій просмотрѣлъ. Да, онъ многое просмотрѣлъ, онъ *все* просмотрѣлъ...

Г. Достоевскій очень ясно видитъ, что больной не исцѣлился. Онъ говоритъ, что Власы «кутятъ»—пьянствуютъ, кривятъ душой, грабятъ, убиваютъ. Но особенное вниманіе г. Достоевскій обращаетъ на забвеніе Власами народной правды въ качествѣ присяжныхъ засѣдателей. Подталкиваемые citoyen'ами, либеральничающими прокурорами и философствующими о вліяніи среды адвокатами, присяжные, по замѣчанію г. Достоевскаго, слишкомъ склонны къ оправданію преступниковъ. Г. Достоевскій весьма желаетъ отдѣлить сантиментальность и философію среды отъ того воззрѣнія народнаго, въ силу котораго народъ зоветъ *наказанныхъ* преступниковъ «несчастными». Кстати, я не знаю, почему г. Достоевскій вездѣ пропускаетъ подчеркнутое мною слово: сколько мнѣ извѣстно, народъ не зоветъ несчастными воровъ, убійцъ, поджигателей; онъ зоветъ несчастными каторжниковъ, заключенныхъ въ тюрьму, арестантовъ, вообще терпящихъ наказаніе. Это простое соображеніе помогло бы г. Достоевскому безъ всякихъ діалектическихъ тонкостей отдѣлить воззрѣнія народа на «несчастныхъ» отъ философіи среды и сантиментальности. Но эта простота и ясность затруднили бы г. Достоевскаго въ другомъ отношеніи. Ему нужно доказать, что русская народная правда состоитъ, главнымъ образомъ, въ стремленіи къ страданію. Обобщивъ нѣсколько патологическихъ случаевъ въ этомъ направленіи, г. Достоевскій доходитъ почти до смѣшного въ томъ жарѣ, въ той ревности, съ которыми онъ охраняетъ свой выводъ. Онъ приводитъ, напримѣръ, стихотвореніе Некрасова «Власъ», критикуетъ его съ той и съ другой стороны, но за всѣмъ тѣмъ признаетъ, что Некрасовымъ вѣрно понята страстная жажда страданія, обуявшая бывшаго грѣшника Власа. Нѣкоторыя строки стихотворенія приводятъ г. Достоевскаго даже въ восторгъ, и онъ замѣчаетъ: «Чудо, чудо какъ хорошо. Даже такъ хорошо, что точно и не вы писали; точно это не вы, а другой кто замѣсто васъ кривлялся потомъ «на Волгѣ» въ великолѣпныхъ тоже стихахъ про бурлацкія пѣсни. А, впрочемъ, не кривлялись вы и на Волгѣ, развѣ только немножко: вы и на Волгѣ любили общечеловѣка въ бурлакѣ и дѣйствительно страдали по немъ, то-есть не по бурлакѣ собственно, а, такъ сказать, по общебурлакѣ». Чтобы видѣть чѣмъ удовлетворяется и противъ чего возмущается г. Достоевскій, я напомню читателю тѣ стихи Некрасова про бурлацкія пѣсни, о которыхъ идетъ рѣчь:

Унылый, сумрачный бурлакъ!
Какимъ тебя я въ дѣтствѣ зналъ,
Такимъ и нынѣ увидалъ.
Все ту же пѣсню ты поешь,
Все ту же лямку ты несешь.
Въ чертахъ усталаго лица
Все та-жъ покорность безъ конца...
Прочна суровая среда,
Гдѣ поколѣнія людей
Живутъ безсмысленнѣй звѣрей
И мрутъ безъ всякаго слѣда
И безъ урока для дѣтей!
Отецъ твой сорокъ лѣтъ стоналъ,
Бродя по этимъ берегамъ,
И передъ смертію не зналъ
Что заповѣдать сыновьямъ.
И какъ ему—не довелось
Тебѣ наткнуться на вопросъ:
Чѣмъ хуже былъ бы твой удѣлъ,
Когда-бъ ты менѣе терпѣлъ?
Какъ онъ, безгласно ты умрешь,
Какъ онъ, безплодно пропадешь...

Я думаю, я не ошибусь, если скажу, что г. Достоевскій возмущается именно подчеркнутыми мною строками. Въ нихъ выражается протестъ противъ страданій бурлака и, можетъ быть, протестъ противъ отсутствія протеста съ его стороны. И замѣтьте, какъ зорко ревнивъ и подозрителенъ г. Достоевскій. Добро бы поэтъ представилъ русскаго человѣка, не желающаго страдать, терпѣть, тянуть вѣковѣчную лямку, и окружилъ бы его какимъ-нибудь ореоломъ или представилъ бы его какимъ-нибудь всенароднымъ русскимъ типомъ. Ну, тогда такъ. Тогда г. Достоевскій могъ бы поднять оружіе за терпѣніе и страданіе, какъ за истинные и великіе атрибуты русскаго народа; это было бы законно съ его точки зрѣнія. Но ничего подобнаго нѣтъ. Поэтъ изобразилъ людей, страдающихъ молча, почти не сознающихъ своего страданія, а тѣмъ паче не протестующихъ. И г. Достоевскій всетаки недоволенъ. Для объявленія войны ему достаточно чисто отрицательнаго явленія: человѣкъ только не поэтизируетъ страданія, покорности и терпѣнія, и г. Достоевскому чудится уже здѣсь и презрѣніе, и ненависть къ русскому народу во имя общечеловѣческихъ идеаловъ, презрѣніе и ненависть къ бурлаку во имя «обще-бурлака». И замѣтьте еще, какъ оригинально вяжутся мысли въ головѣ г. Достоевскаго. Онъ готовъ не видѣть разницы между добровольнымъ искупительнымъ страданіемъ Власа и невольными страданіями неповинныхъ бурлаковъ. Страданіе есть— и конецъ: благоговѣйте и не пытайтесь хотя бы мысленно вычеркнуть его, въ немъ вся суть народнаго характера и все спасеніе народа.

Понятно, какъ должна возмущать г. Достоевскаго подмѣченная имъ наклонность присяжныхъ къ оправдательнымъ вердиктамъ; они отнимаютъ у преступниковъ искупительное страданіе, спасительный крестъ. «Прямо скажу: строгимъ наказаніемъ, острогомъ и каторгой вы, можетъ быть, половину спасли бы изъ нихъ. Облегчили бы ихъ, а не отяготили. Самоочищеніе страданіемъ легче, легче, говорю вамъ, чѣмъ та участь, которую вы дѣлаете многимъ изъ нихъ сплошнымъ оправданіемъ ихъ на судѣ. Вы только вселяете въ его душу цинизмъ, оставляете въ немъ соблазнительный вопросъ и насмѣшку надъ вами же, надъ судомъ вашимъ, надъ судомъ всей страны. Вы вливаете въ его душу безвѣріе въ правду народную, въ правду божію». Эти слова произвели нѣкоторую сенсацію, такъ что, по собственному разсказу г. Достоевскаго, къ нему приходилъ съ репримандомъ одинъ пріятель, человѣкъ имъ уважаемый. Г. Достоевскій отвѣтилъ пріятелю, что онъ вовсе не противъ суда присяжныхъ и вовсе не желаетъ административной опеки. Пусть самъ народъ свободно творитъ судъ, пусть онъ именно творитъ его свободно, и тогда, если бы и произошла какая нибудь большая общая бѣда, народъ спасетъ и себя, и насъ. Не знаю, остался ли доволенъ этимъ объясненіемъ пріятель г. Достоевскаго, но по-моему оно слишкомъ туманно, и до него дѣло стояло даже какъ будто яснѣе: г. Достоевскій желалъ спасти народную правду отъ опеки citoyen'овъ прокуроровъ и адвокатовъ. Кажется такъ. Но въ развитіи этой мысли г. Достоевскій раздваивается. Съ одной стороны, онъ твердо стоитъ на своемъ: страданіе есть атрибутъ русскаго народа, онъ любитъ, онъ хочетъ страдать, а слѣдовательно, тѣмъ паче долженъ страдать преступникъ, во искупленіе своего грѣха, для своего собственнаго счастья. Это одна струя въ аргументаціи г. Достоевскаго. Другая же состоитъ изъ положеній, отъ которыхъ не отказались бы многіе citoyens du monde. Рядомъ съ народной правдой г. Достоевскій самымъ общечеловѣческимъ языкомъ и съ самыхъ общечеловѣческихъ точекъ зрѣнія доказываетъ, что ученіе о средѣ въ своемъ крайнемъ развитіи обезличиваетъ и нравственно унижаетъ человѣка. Онъ предполагаетъ нелѣпою рѣчь адвоката, защищающаго «развитого» убійцу тѣмъ, что онъ убилъ «неразвитого», и находитъ, что она нелѣпа. Еще бы не нелѣпа, но при чемъ же тутъ народная правда? Онъ разсказываетъ (и мучительно превосходно разсказываетъ) исторію мужика, который варварствомъ своимъ довелъ жену до самоубійства и объявленъ по суду виновнымъ, но достойнымъ снисхожденія. Этотъ приговоръ возмущаетъ г. Достоевскаго, но только отчасти, потому что варваръ лишенъ возможности искупить свой грѣхъ соотвѣтственнымъ страданіемъ. Главнымъ образомъ его заботитъ судьба дѣвочки, которая свидѣтельствовала противъ отца и которая, когда онъ черезъ восемь мѣсяцевъ вернется домой изъ острога, будетъ имъ истиранена и замучена, какъ и мать. А это совершенно уже общечеловѣческое разсужденіе. Съ точки зрѣнія народной-то правды, дѣвочкѣ можетъ быть даже и хорошо пострадать, вотъ какъ бурлаку волжскому.

Да, г. Достоевскій, и вы citoyen du monde, какъ и мы всѣ грѣшные. И тутъ, пожалуй, не объ чемъ печалиться, потому что разные бываютъ citoyens, точно такъ же, какъ и народная правда бываетъ разная. Элементы народной правды растутъ какъ грибы, стихійно, по направленію наименьшаго сопротивленія, и на одной и той же полянкѣ можно найти и съѣдобный грибъ, и поганку,

Вѣдь варваръ мужикъ въ основаніи своемъ (я не говорю во всемъ своемъ существѣ) тоже имѣлъ правду народную,—право мужа бить жену, «учить». Что касается спеціально уголовной правды народной, то я напомню вамъ «Народныя русскія легенды» Афанасьева, гдѣ вы можете найти подвиги искупленія почище подвиговъ Власа и дерзостнаго мужика. Вы найдете тамъ еще двѣ замѣчательныя легенды, помѣщенныя почти рядомъ (№ 28 «Грѣхъ и покаяніе» и № 30 «Крестный отецъ»). Въ одной идетъ рѣчь о великомъ грѣшникѣ, который долго несъ крестъ, но однажды не вытерпѣлъ и убилъ разбойника, хваставшаго убійствами. Онъ думалъ, что оно совсѣмъ пропалъ, совершивъ убійство, когда и старыхъ грѣховъ не успѣлъ замолить. А оказалось, что именно убійство разбойника и спасло его: «міръ за него умолилъ Бога». Въ другой легендѣ совершенно наоборотъ: человѣкъ изъ такихъ же побужденій, какъ и герой первой легенды, убиваетъ разбойника, и Господь ему говоритъ: «этотъ разбойникъ убилъ въ свою жизнь девять человѣкъ, а ты его грѣхи теперь на себя снялъ: ступай и трудись, пока грѣховъ своихъ не замолишь». Вотъ вы тутъ и разсуждайте. Спрашивается, что же дѣлать citoyen'амъ, людямъ, нюхнувшимъ правды «общечеловѣческой», въ виду стихійности и разнороднаго состава правды народной. Дѣлаютъ они вотъ что, и не могутъ они не дѣлать либо того, либо другого: или они выбираютъ изъ народной правды то, что соотвѣтствуетъ ихъ общечеловѣческимъ идеаламъ, тщательно оберегаютъ это подходящее и при помощи его стараются изгнать не подходящее; или же навязываютъ народу свои общечеловѣческіе идеалы и стараются не видѣть не подходящаго. Г. Достоевскій, къ сожалѣнію, избираетъ второй путь, путь очень легкій. Ему хорошо жить. Онъ знаетъ, что, что бы съ народомъ ни случилось, онъ, въ концѣ концовъ, спасетъ себя и насъ. Г. Достоевскій очень часто повторяетъ эту фразу, и не подозрѣвая, вѣроятно, до какой степени она citoyen'ская: въ народной правдѣ этой фразы нѣтъ, народъ ждетъ спасенія отъ Бога, отъ «царей съ царицами», отъ «купцовъ московскихъ», но ничего подобнаго не ждетъ отъ себя. Какъ бы то ни было, но съ этою мыслью легко жить. Легко тоже жить съ мыслью о томъ, что мой народъ любитъ страдать. Но опять-таки это мысль citoyen'ская. Народъ ротъ разинетъ, если ее ему представить. Народъ можетъ съ почтеніемъ смотрѣть на принимающихъ мученическій вѣнецъ, онъ можетъ сочувственно относиться къ добровольно несущимъ искупительный крестъ, онъ можетъ, наконецъ, страдать, не замѣчая этого или не зная выхода, но только citoyen'у можетъ придти въ голову, что народъ хочетъ, любитъ страдать и при томъ citoyen'у, наклонному къ эксцентрическимъ идеямъ и къ обобщенію патологическихъ явленій. Однако, при всей легкости этихъ двухъ citoyen'скихъ мыслей, онѣ имѣютъ и нѣкоторое неудобство: съ ними легко жить, но трудно дѣйствовать. Каждый шагъ citoyen'а, проникнутаго этими мыслями, связанъ: съ одной стороны, онъ знаетъ, что народъ и только народъ скажетъ послѣднее слово, значитъ ему, citoyen'у, и соваться нечего; съ другой стороны, онъ знаетъ, что онъ, чего добраго, можетъ неосторожно лишить народъ его святыни—страданія. Не значитъ ли это броситься со скалы въ море? Сказать, что русскій народъ есть единственный народъ «богоносецъ» въ обоихъ смыслахъ слова Богъ, отрицать все созданное человѣчествомъ,—значитъ «дерзать» не меньше, чѣмъ дерзалъ Лямшинъ или Петръ Верховенскій, пуская мышь въ кіоту, и чѣмъ вообще дерзаютъ герои «Бѣсовъ». Границы добра и зла забыты здѣсь не меньше, чѣмъ у Ставрогина, Шпигелева, Верховенскихъ. И, какъ и они, г. Достоевскій-Шатовъ грѣшникъ не раскаянный, гордящійся своимъ грѣхомъ и не помышляющій объ искупленіи.

Я вамъ скажу, г. Достоевскій, какъ смотрятъ на вещи другіе citoyen'ы, придерживающіеся перваго способа воззрѣнія на народъ и народную правду. Мы—я говорю «мы», потому что вмѣняю себѣ въ честь стоять въ рядахъ этихъ citoyen'овъ—мы поняли, что сознаніе общечеловѣческой правды и общечеловѣческихъ идеаловъ далось намъ только благодаря вѣковымъ страданіямъ народа. Мы не виноваты въ этихъ страданіяхъ, не виноваты и въ томъ, что воспитались на ихъ счетъ, какъ не виноватъ яркій и ароматный цвѣтокъ въ томъ, что онъ поглощаетъ лучшіе соки растенія. Но, принимая эту роль цвѣтка изъ прошедшаго, какъ нѣчто фатальное, мы не хотимъ ея въ будущемъ. «Логическимъ ли теченіемъ идей», какъ вы смѣетесь надъ Герценомъ, или непосредственнымъ чувствомъ, долгимъ ли размышленіемъ или внезапнымъ просіяніемъ, исходя изъ высшихъ общечеловѣческихъ идеаловъ или изъ прямого наблюденія,—мы пришли къ мысли, что мы должники народа. Можетъ быть, такого параграфа и нѣтъ въ народной правдѣ, даже навѣрное нѣтъ, но мы его ставимъ во главу угла нашей жизни и дѣятельности, хоть, можетъ быть, не всегда вполнѣ сознательно. Мы можемъ спорить о размѣрахъ долга, о способахъ его погашенія, но долгъ лежитъ на нашей совѣсти, и мы его отдать желаемъ. Вы смѣетесь надъ нелѣпымъ Шигалевымъ и несчастнымъ Виргинскимъ за ихъ мысли о предпочтительности соціальныхъ реформъ

передъ политическими. Это характерная для насъ мысль, и знаете ли что она значитъ? Для «общечеловѣка», для citoyen'а, для человѣка, вкусившаго плодовъ общечеловѣческаго древа познанія добра и зла, не можетъ быть ничего соблазнительнѣе свободы политической, свободы совѣсти, слова устнаго и печатнаго, свободы обмѣна мыслей (политическихъ сходокъ) и проч. И мы желаемъ этого, конечно. Но если всѣ связанныя съ этою свободой права должны только протянуть для насъ роль яркаго и ароматнаго цвѣтка,—мы не хотимъ этихъ правъ и этой свободы! Да будутъ они прокляты, если они не только не дадутъ намъ возможности разсчитаться съ долгами, но еще увеличатъ ихъ! А, г. Достоевскій, вы сами citoyen, вы знаете, что свобода вещь хорошая, очень хорошая, что соблазнительно даже мечтать о ней, соблазнительно желать ея во что бы то ни стало, для нея самой и для себя самого. Вы значитъ знаете, что гнать отъ себя эти мечты, воздерживаться отъ прямыхъ и, слѣдовательно, болѣе или менѣе легкихъ шаговъ къ ней—есть нѣкоторый подвигъ искупительнаго страданія. Конечно, г. Достоевскій можетъ тутъ пустить въ ходъ иронію и посмѣяться надъ пожертвованіемъ, происходящимъ исключительно въ области мысли. Впрочемъ, я знаю, г. Достоевскій надъ этимъ не посмѣется...

Какъ бы то ни было, но увлекшись разработкой эксцентрическихъ идей и исключительныхъ патологическихъ явленій, г. Достоевскій просмотрѣлъ общую и здоровую основу, если не всѣхъ ихъ, то, по крайней мѣрѣ, нѣкоторыхъ. Ухватившись за печальное, ошибочное и преступное исключеніе—нечаевское дѣло, онъ просмотрѣлъ общій характеръ citoyen'ства, характеръ, достойный его кисти по своимъ глубоко трагическимъ моментамъ. Да, онъ достоинъ его кисти даже больше, чѣмъ разсказъ о дерзостномъ мужикѣ. Тотъ самъ согрѣшилъ, активно. Citoyen'ы же подобны тѣмъ героямъ легендъ, которые, *не зная,* совершили блудъ съ матерью, сестрой и кумой, и за это несутъ тяжкую кару. Это несравненно глубже, трагичнѣе. Искупленіе невольнаго грѣха при помощи средствъ, добытыхъ грѣхомъ,—вотъ задача citoyen'овъ, я не говорю, конечно, всѣхъ.

Если г. Достоевскій считаетъ петровскій переворотъ моментомъ грѣхопаденія, то я готовъ съ нимъ согласиться, что только съ этого момента мы получили возможность познать свою наготу и устыдиться ея, какъ познали и устыдились наши прародители, Адамъ и Ева, вкусивъ древа познанія добра и зла. До Петра мы не стыдились и не могли стыдиться, не могли сознавать свою срамоту, хотя изъ этого не слѣдуетъ, чтобы срамоты не было въ дѣйствительности или чтобы срамота не была срамотой. Во всякомъ случаѣ въ настоящее время мы, говоря словами, кажется, Винкельмана, не до такой степени нравственны и въ то же время не до такой степени безнравственны, чтобы ходить нагишомъ. И это сдѣлала петровская реформа. Какъ и всякая другая, наша цивилизація зачата въ грѣхѣ. Потъ многихъ позволяетъ немногимъ вести благородную жизнь, говоритъ Ренанъ и повторяетъ г. Страховъ. Таково несомнѣнно фактическое условіе первыхъ шаговъ всякой цивилизаціи. И пока извѣстный народъ остается замкнутымъ и не провѣтриваемымъ, это воспитаніе меньшинства на счетъ пота и страданія большинства входитъ въ составъ народной правды; оно никого не возмущаетъ, оно не сознается, какъ грѣхъ. Такъ и шло у насъ дѣло до Петра. Допустивъ притокъ общечеловѣческихъ идеаловъ, Петръ вычеркнулъ этотъ параграфъ изъ народной правды, далъ возможность отнестись къ нему сознательно, тогда какъ народная правда инстинктивна и безсознательно наивна. Славянофилы клевещутъ, что Петръ внесъ неправду въ русскую жизнь, тогда какъ онъ внесъ только возможность сознанія и, слѣдовательно, исправленія искони существовавшей неправды. Тутъ произошло не забвеніе границъ добра и зла, а ихъ открытіе. Петръ не вычеркнулъ первороднаго грѣха цивилизаціи и даже не прекратилъ его развитія, хотя и далъ ему новыя формы. Да онъ этого и не могъ сдѣлать. Наука, искусство, богатство, утонченныя понятія, «благородная жизнь» не перестали высасывать силы изъ народа и послѣ Петра. Петръ даже, пожалуй, далъ моментально этому порядку вещей сильнѣйшее напряженіе. Но до него порядокъ этотъ не возбуждалъ обвиненій и не нуждался въ оправданіяхъ, какъ не возбуждаютъ обвиненій и не нуждаются въ оправданіяхъ удары грома, ростъ дерева, паденіе лавины. Послѣ него нужно одно изъ двухъ: либо подыскать какія-нибудь разумныя основанія для продолженія грѣховной цивилизаціи, либо подумать объ искупленіи грѣха помощью средствъ, добытыхъ грѣхомъ, каковы наука, искусство, техника. Они не могли быть добыты иначе, какъ потомъ и страданіями большинства, и, каково бы ни было величіе ихъ, ничто не въ состояніи сгладить пятна ихъ происхожденія. Если мы, citoyens du monde civilisé, пишемъ статьи въ «Гражданинѣ» и «Отечественныхъ Запискахъ», то только потому, что досугъ нѣсколькихъ поколѣній нашихъ предковъ былъ обезпеченъ трудами, можетъ быть голодными смертями тысячъ и тысячъ людей. На извѣстной ступени развитія человѣкъ не можетъ не содрагаться при мысли о томъ количествѣ жизней, которое оплатило собою его

личное развитіе. Если онъ и не въ состояніи представить себѣ съ достаточною ясностью всю это необъятную перспективу невольныхъ жертвъ его невольной высоты, то его всетаки смутно тянетъ къ уплатѣ долга. Для насъ этимъ стремленіемъ даже измѣряется высота развитія человѣка. И замѣтьте, что несчастный citoyen, находящійся въ такомъ положеніи, не можетъ отказаться отъ дальнѣйшаго движенія цивилизаціи. Онъ не можетъ сказать: довольно науки, не надо искусства, не надо богатства, развитія, свободы; подѣлимся всѣмъ, что мы имѣемъ и знаемъ, съ народомъ и конецъ дѣлу. Это простое рѣшеніе, предлагаемое кажется нѣкоторыми изъ полоумныхъ citoyen'овъ г. Достоевскаго, только полоумныхъ и можетъ удовлетворить. Нашъ долгъ народу неисчислимъ, и того, что мы въ настоящую минуту имѣетъ и знаемъ, не хватитъ и на уплату процентовъ, если бы даже предполагаемая полоумными citoyen'ами ликвидація и была возможна. Но она невозможна. Отдавая соціальной реформѣ предпочтеніе передъ политической, мы отказываемся только отъ усиленія нашихъ правъ и развитія нашей свободы, какъ орудій гнета народа и дальнѣйшаго грѣха. Отрицая науку для науки, мы требуемъ только, чтобы она помогла намъ расплатиться, но самая эта расплата можетъ совершиться только безостановочнымъ движеніемъ науки впередъ. Всѣ эти особенности положенія citoyen'овъ г. Достоевскій просмотрѣлъ.

Но вы просмотрѣли и, кромѣ этого, многое, г. Достоевскій, просмотрѣли любопытнѣйшую и характернѣйшую черту нашего времени. Если бы вы не играли словомъ «Богъ» и ближе познакомились съ позоримымъ вами соціализмомъ, вы убѣдились бы, что онъ совпадаетъ, съ нѣкоторыми по крайней мѣрѣ, элементами народной русской правды. А разъ вы убѣдитесь въ этомъ, вы уже не повторите, что «девятнадцатымъ февралемъ закончился петровскій періодъ русской исторіи, такъ что мы давно уже вступили въ полнѣйшую неизвѣстность». Нѣтъ, г. Достоевскій, мы вступили или вѣрнѣе вступаемъ въ полнѣйшую извѣстность. Спросите у своего сотрудника, автора экономическаго фельетона, г. Евгеньева, и онъ вамъ вѣроятно подтвердитъ это. Только онъ, можетъ быть, разрисуетъ эту извѣстность въ слишкомъ розовыхъ краскахъ. Пока вы занимаетесь безумными и бѣсноватыми citoyen'ами и народной правдой, на эту самую народную правду налетаютъ, какъ коршуны, citoyen'ы благоразумные, не бѣснующіеся, мирные и смирные, и рвутъ ее съ алчностью хищной птицы, но съ аллюрами благодѣтелей человѣчества. Какъ! Россія, этотъ бѣсноватый больной, вами изображаемый, перепоясывается желѣзными дорогами, усыпается фабриками и банками,—и въ вашемъ романѣ нѣтъ ни одной черты изъ этого міра! Вы сосредоточиваете свое вниманіе на ничтожной горсти безумцевъ и негодяевъ! Въ вашемъ романѣ нѣтъ бѣса національнаго богатства, бѣса, самаго распространеннаго и менѣе всякаго другого знающаго границы добра и зла. Свиньи, одолѣваемыя этимъ бѣсомъ, не бросятся, конечно, со скалы въ море, нѣтъ, онѣ будутъ похитрѣе вашихъ любимыхъ героевъ. Если бы вы ихъ замѣтили, они составили бы украшеніе вашего романа. Вы не за тѣхъ бѣсовъ ухватились. Бѣсъ служенія народу — пусть онъ будетъ дѣйствительно бѣсъ, изгнанный изъ больного тѣла Россіи,—жаждетъ въ той или другой формѣ искупленія, въ этомъ именно вся его суть. Обойдите его лучше совсѣмъ, если вамъ бросаются въ глаза только патологическія его формы. Рисуйте дѣйствительно не раскаянныхъ грѣшниковъ, рисуйте фанатиковъ собственной персоны, фанатиковъ мысли для мысли, свободы для свободы, богатства для богатства. Это вѣдь тоже citoyens du monde civilisè, но citoyen'ы, отрицающіе свой долгъ народу или не додумавшіеся до него. (Таковы у васъ только развѣ Степанъ Верховенскій и Кармазиновъ). Значитъ, они-то именно и составляютъ искомую вами противоположность Власамъ и дерзостнымъ мужикамъ, практикующимъ искупительное страданіе и только въ немъ находящимъ примиреніе со своею измученною совѣстью. Но если бы вы знали, г. Достоевскій, какъ мучитъ иногда совѣсть бѣдныхъ citoyen'овъ, признающихъ свой долгъ, особенно въ виду того, что кредиторъ и не сознаетъ себя кредиторомъ. Если бы знали, какъ мучительно напрягается иной разъ ихъ мысль, взвѣшивая способы погашенія долга. Я не говорю всегда, но бываютъ у этихъ людей минуты страшнаго страданія, и они не прячутся отъ него. Лучше бы вамъ ихъ не трогать, особенно въ такую минуту, когда кругомъ кишатъ и даютъ тонъ времени citoyen'ы съ совѣстью хрустальной чистоты и твердости.

III*).

Толки, вызванные январскимъ № «Отечественныхъ Записокъ». — «Благонамѣренныя рѣчи» Щедрина.—Борзятники и доѣзжачіе, ихъ неосновательность.—Толки, вызванные февральскимъ № «Отечественныхъ Записокъ». — «Больная совѣсть» Гл. Успенскаго. — Гдѣ лучше и когда лучше? — «Новое Время» о женской полиціи. — Въ какихъ отношеніяхъ женскій вопросъ стоитъ теперь выше и въ какихъ ниже, чѣмъ во времена Жоржъ-Зандъ.—«Женщины-медики» миссъ Джексъ-Блэкъ. — Разговоръ съ иностраннымъ писателемъ. -Вѣнская журналистика.—Прудонъ и Вильмессанъ.—«Гражданинъ» о соціализмѣ.—Итоги.

Январская книжка «Отечественныхъ Записокъ» произвела значительную сенсацію. Газеты удостоили ее своимъ вниманіемъ по нѣскольку разъ каждая. «С.-Петербургскія Вѣдомости» занимались ею въ продолженіе цѣлаго мѣсяца и, не довольствуясь своею обычною журнальною хроникою, выставили новую силу, нѣкоего «Непризнаннаго поэта», которому да проститъ Богъ его невольныя прегрѣшенія. И замѣчательно, что приложеніе этой новой силы къ январской книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» произошло уже тогда, когда вышла февральская: довольно таки долго значитъ готовился Мальбругъ къ походу. «Русскій Міръ», гудѣлъ неистово и многократно. Г. Достоевскій въ «Гражданинѣ» увидѣлъ въ статьяхъ г. Скабичевскаго и пишущаго эти строки, «какъ бы новое откровеніе». «Московскія Вѣдомости» также остановили вниманіе своихъ читателей на нѣкоторыхъ статьяхъ нашего январскаго номера. Гдѣ-то была напечатана даже корреспонденція изъ Владивостока (!) о статьѣ Щедрина «Благонамѣренныя рѣчи». Конечно, въ этомъ хорѣ слышалось гораздо болѣе порицаній, чѣмъ одобреній. Но это, признаться сказать, насъ мало огорчаетъ, отчасти даже радуетъ. Мы помнимъ слова Дидро: «если моя книга не понравилась никому, она можетъ быть хороша, если она понравилась немногимъ, такъ навѣрное хороша, а если всѣмъ, такъ навѣрное никуда не годится». Всякій, кому случалась въ жизни получать похвалы отъ людей неумныхъ или нечестныхъ, знаетъ сколько обиды можно получить этимъ путемъ. И ужъ, конечно, всякій, испытавшій это чувство, предпочитаетъ ругань негодяевъ и глупцовъ ихъ похваламъ. Я, впрочемъ, о негодяяхъ и глупцахъ только такъ, къ слову, а говорить хотѣлъ собственно о «С.-Петербургскихъ Вѣдомостяхъ», о «Русскомъ Мірѣ» и проч. Было бы и очень скучно, и совершенно ненужно припоминать здѣсь все, что писалось въ газетахъ и говорилось въ обществѣ о первой книжкѣ «Отечественныхъ Записокъ» за нынѣшній годъ. Но было, однако, во всемъ этомъ и кое-что любопытное. Это именно оцѣнка «Благонамѣренныхъ рѣчей» г. Щедрина. Статья эта привела многихъ въ недоумѣніе. Авторъ пользуется извѣстностью, имѣющею въ глазахъ читающаго міра совершенно опредѣленный характеръ. И вдругъ этотъ человѣкъ пишетъ статью, въ которой можно усмотрѣть отрицательное отношеніе къ такъ называемому женскому вопросу, то-есть къ одному изъ пресловутыхъ вопросовъ, наичаще подвергающихся травлямъ и облавамъ. Какъ не возликовать недругамъ женскаго вопроса и какъ не возскорбѣть его друзьямъ! Какъ не заголосить разнымъ «Русскимъ Мірамъ»: ага! вотъ ваши же договорились до того же самаго, что мы говорили всегда. И на г. Щедрина посыпались комплименты... Я спрашиваю васъ, читатели, каково слушать подобныя любезности? каково слушать комплименты людей, которые, очевидно, ничего не поняли?

Самымъ непроницательнымъ изъ враговъ и сторонниковъ женскаго вопроса можетъ быть не лишнее будетъ напомнить, что Щедринъ и Тебеньковъ не одно и то же, какъ не одно и то же Островскій и его самодуры. Но гораздо важнѣе другая сторона дѣла. Стоитъ только пересмотрѣть статьи и брошюры, вызванныя пребываніемъ женщинъ въ цюрихскомъ университетѣ или многочисленные романы и повѣсти нашихъ отечественныхъ сочинителей, въ которыхъ фигурируютъ «нигилистки»,—чтобы убѣдиться, что корень дѣла лежитъ въ вопросѣ о нравственности. Говорятъ и пишутъ, что, допустивъ женщинъ къ нѣкоторымъ профессіямъ, доселѣ для нихъ не существующимъ, мы выведемъ женщину и изъ семьи, и изъ круга святого незнанія и наивной чистоты, которыя ее такъ украшаютъ. Выжлятники изъ беллетристовъ поставляютъ въ громадномъ количествѣ образы женщинъ, потерявшихъ за книгой, въ аудиторіи, въ препаровочной всякія понятія о нравственности. Борзятники изъ критиковъ, публицистовъ и философовъ разводятъ эти образы бурными волнами своихъ размышленій. И эти же охотники серьезно говорятъ комплименты автору «Благонамѣренныхъ рѣчей». Но о вы, борзятники, доѣзжачіе, выжлятники, загонщики, вы всѣ, творящіе облавы и травли и ратующіе за семью и нравственность,—гдѣ *ваша* семья, гдѣ *ваша* нравственность? Авторъ «Благонамѣренныхъ рѣчей» говоритъ вамъ, что ничего этого у васъ нѣтъ. Онъ говоритъ вамъ больше: онъ говоритъ, что вы сами знаете, что «и безъ того все стоитъ еле живо», что «собственность-то, семейство-то, основы-то наши... фью»! Тебеньковъ, а princesse de

*) 1873 г., мартъ.

P., la baronne de K., «наконецъ, Катерина Михайловна, наша добрѣйшая Катерина Михайловна», да и вы всѣ, господа доѣзжачіе, конечно, можете смотрѣть на вещи не иначе, какъ съ точки зрѣнія разрѣшенія женскаго вопроса поведеніемъ Елены Прекрасной. Но зачѣмъ валить съ больной головы на здоровую и тѣмъ обнаруживать свою почти невѣроятную непроницательность? Вамъ докладываютъ, что вы безнравственны, что вы ратуете за то, чего у васъ нѣтъ и во что вы не вѣрите, — а вы изъявляете радость, вы ликуете... Всякій человѣкъ имѣетъ право быть глупымъ, говорилъ Гейне, но нѣмцы злоупотребляютъ этимъ правомъ. Мнѣ кажется, что у насъ злоупотребленіе этимъ правомъ давно уже не достигало такихъ размѣровъ, какіе оно приняло по поводу «Благонамѣренныхъ рѣчей». Конечно, господа доѣзжачіе, ко всякому дѣлу пристегивается много всякой дряни, совершающей подъ тѣмъ или другимъ знаменемъ грязныя и глупыя дѣянія. Конечно, и между нами можетъ быть существуютъ субъекты, видящіе разрѣшеніе женскаго вопроса въ поведеніи Елены Прекрасной. Но они ваши, господа доѣзжачіе. Если это женщины, то онѣ скоро станутъ вашими женами, любовницами и содержанками, предметами вашего «баловства» и экскурсій въ область запретнаго». Если это мужчины, —они опять-таки ваши. И чѣмъ скорѣе вы ихъ заполучите, тѣмъ веселѣе для васъ, —вашего полку прибудетъ, и тѣмъ лучше для насъ, —худая трава изъ поля вонъ.

Но авторомъ «Благонамѣренныхъ рѣчей» затронута еще одна сторона такъ называемаго женскаго вопроса, быть можетъ, самая важная, но опять-таки совершенно непонятая непроницательными ликующими недругами. Авторъ «Благонамѣренныхъ рѣчей», помимо вышесказаннаго, дѣйствительно отрицательно относится къ женскому вопросу, но чтобы видѣть, въ чемъ именно состоитъ это отрицательное отношеніе, куда оно именно направлено, я позволю себѣ слѣдующую выписку изъ «Благонамѣренныхъ рѣчей»:

«Скажите, какой вредъ можетъ произойти отъ того, что въ С.-Петербургѣ, а быть можетъ и въ Москвѣ, явится довольно компактная масса женщинъ, скромныхъ, почтительныхъ, усердныхъ и блюдущихъ казенный интересъ, женщинъ, которыя, встрѣчаясь другъ съ другомъ, вмѣсто того, чтобы восклицать: «bonjour chère mignonne! какое вчера на princesse N платье было!» будутъ говорить: «а что, mesdames, не составить-ли намъ компанію для защиты Мясниковскаго дѣла?..» Я знаю, многіе полагаютъ, что женская работа не можетъ быть такъ чиста, какъ мужская. Но, во-первыхъ, мы этого не знаемъ. Мы даже приблизительно не можемъ опредѣлить, какимъ образомъ женщина обработала-бы, напримѣръ, Мясниковское дѣло, и не чище-ли была-бы ея работа противъ той мужской, которую мы знаемъ. Во-вторыхъ, мы забываемъ, что опредѣленіе степени чистоты работы вполнѣ зависитъ отъ давальцевъ: не станетъ женщина чисто работать—растеряетъ давальцевъ. Въ-третьихъ, наконецъ, не напрасно же сложилась на міру пословица: не боги горшки обжигаютъ—а чѣмъ же, кромѣ «обжиганія горшковъ» занимается современный русскій человѣкъ, къ какому бы онъ полу или возрасту ни принадлежалъ? Я знаю другихъ, которые опасаются не столько за чистоту работы, сколько за возможность увлеченій. Но эти опасенія ужъ просто не выдерживаютъ никакой критики. Что женщина охотно увлекается—это правда, но не менѣе правда и то, что она всегда увлекается въ извѣстныхъ границахъ. Начертавъ себѣ эти границы, она все пространство, въ нихъ заключающееся, наполнитъ благодарнымъ энтузіазмомъ, но только *это* пространство—ни больше, ни меньше. Она извлечетъ весь сокъ изъ даннаго «позволенія», но извлечетъ его лишь въ предѣлахъ самаго *позволенія*—и отнюдь не дальше. Если мужчина способенъ упереться лбомъ въ уставы судопроизводства, то женщина упрется въ нихъ тѣмъ съ большимъ упоеніемъ, что для нея это дѣло вновѣ. Она и дома, и на улицѣ будетъ декламировать: «Кто похититъ или съ злымъ умысломъ повредитъ или истребитъ», и ежели вы прервете ее вопросомъ: какъ здоровье мамаши?—то она на-скоро отвѣтитъ (словно отъ мухи отмахнется): «благодарю васъ», и затѣмъ опять задекламируетъ: «если вслѣдствіе составленія кѣмъ-либо подложнаго указа, постановленія, опредѣленія, предписанія или иной бумаги», и т. д. Нѣтъ, какъ хотите, а я бы позволилъ. Ужъ одно то, что онѣ будутъ у дѣла и, слѣдовательно, не останется повода ни для «шума», ни для «рѣзкостей»—одно это ужъ представило бы для меня несомнѣнное основаніе, чтобы не медлить разрѣшеніемъ. Но, кромѣ того, я увѣренъ, что тутъ-то именно, то-есть въ средѣ женщинъ, которымъ *позволено*, я и нашелъ бы для себя настоящую опору, настоящихъ столбовъ. Не спорю, есть много столбовъ и между мужчинами, но ради Бога, развѣ мужчина можетъ быть настоящимъ, то есть пламеннымъ, исполненнымъ энтузіазма столбомъ? Нѣтъ, онъ и на это занятіе смотритъ равнодушно, ибо знаетъ, что оно ему разрѣшено искони, и что никто его права быть столбомъ не оспариваетъ. То ли дѣло столбъ, который еще самъ хорошенько не знаетъ, столбъ онъ или нѣтъ, и потому пламенѣетъ, славословитъ и изъявляетъ желаніе сложить жизнь! И за что готовъ сложить жизнь? за то только, что ему «позволено» быть столбомъ наравнѣ съ мужчинами! Ну, просто, дозволилъ-бы— и дѣлу конецъ! Разумѣется, если-бы меня спросили, достигнется-ли черезъ это «дозволеніе» разрѣшеніе такъ называемаго «женскаго вопроса», я отвѣтилъ-бы: не знаю, ибо это не мое дѣло. Если-бы меня спросили, подвинется-ли хоть на волосъ вопросъ мужской, тотъ извѣчный вопросъ объ общечеловѣческихъ идеалахъ, который держитъ въ тревогѣ человѣчество,—я отвѣтилъ-бы опять-таки, что это не мое дѣло».

Это очень большая выписка, но я сдѣлалъ ее съ огромнымъ удовольствіемъ и рекомендую ее особенному вниманію читателей, потому что здѣсь, въ сатирической формѣ, вопросъ поставленъ такъ ясно, какъ онъ положительно никогда не ставился въ русской литературѣ. И тѣмъ замѣчательнѣе непроницательность, обнаруженная при этомъ случаѣ господами доѣзжачими и борзятни-

ками. Очевидно, что въ приведенной цитатѣ изъ «Благонамѣренныхъ рѣчей» не только нѣтъ солидарности съ травлями и облавами, но есть, напротивъ, прямой протестъ противъ облавъ. Это разъ. Во-вторыхъ, во имя чего высказывается этотъ протестъ? Это опять-таки ясно, какъ божій день. Господа доѣзжачіе, неужели вы по совѣсти можете говорить комплименты автору «Благонамѣренныхъ рѣчей» за приведенныя мысли? Неужели и вы недовольны настоящимъ положеніемъ женскаго вопроса только потому, что женщины стремятся укрѣпить всѣмъ своимъ персоналомъ существующій порядокъ вещей? О, какіе же вы неблагонамѣренные люди! Представьте себѣ, что женщины получили возможность обработать Мясниковское дѣло и дѣйствительно его обработали не хуже мужчинъ. Авторъ «Благонамѣренныхъ рѣчей» заранѣе объявляетъ свое недовольство этимъ фактомъ, и вы аплодируете автору «Благонамѣренныхъ рѣчей». Но согласитесь съ тѣмъ, что ваши точки зрѣнія нѣсколько различны: онъ недоволенъ тѣмъ, что женщины обработали Мясниковское дѣло *извѣстнымъ образомъ*; вы недовольны тѣмъ, что его обработали извѣстнымъ образомъ *женщины*.

Въ № 58 газеты «Новое Время» напечатана статья «Женская полиція». Статья начинается слѣдующими словами: «Въ то время какъ въ Германіи вопросъ о томъ: могутъ ли женщины съ успѣхомъ исполнять обязанности по нѣкоторымъ видамъ государственной службы? только недавно былъ поставленъ для обсужденія,—въ Англіи и Америкѣ этотъ вопросъ уже давно рѣшенъ утвердительно. Въ этихъ государствахъ опытъ дѣятельности женщинъ на государственной службѣ привелъ къ убѣжденію, что онѣ могутъ съ успѣхомъ исполнять обязанности службы и, несомнѣнно, полезны еще въ одной отрасли дѣятельности, а именно, какъ полицейскіе сыщики». Затѣмъ идетъ разсказъ о ловкихъ ухищреніяхъ одной американской сыщицы, миссъ Нейманъ, которая оказалась столбомъ, исполненнымъ энтузіазма. «Новое Время» сообщаетъ эти свѣдѣнія съ нѣкоторымъ торжествомъ, въ смыслѣ торжества женскаго вопроса, и тѣмъ свидѣтельствуетъ, что постановка вопроса, предложенная авторомъ «Благонамѣренныхъ рѣчей», какъ нельзя болѣе умѣстна и своевременна. Является любопытный вопросъ: должны ли друзья женскаго вопроса радоваться искусству миссъ Нейманъ, должны ли скорбѣть по этому случаю выжлятники и доѣзжачіе? Такъ именно ставить вопросъ авторъ «Благонамѣренныхъ рѣчей». Постановка эта хороша въ особенности тѣмъ, что заключаетъ уже въ себѣ отвѣтъ. Тѣмъ не менѣе я еще обращусь къ ней ниже, а теперь обращу ваше вниманіе на толки, вызванные въ русской журналистикѣ февральской книжкой «Отечественныхъ Записокъ».

Этихъ толковъ было тоже не мало. Но опять-таки воспроизводить здѣсь ихъ подробности нѣтъ никакой надобности. Заслуживаетъ вниманія опять-таки только одна черта, — отношеніе Русскихъ Міровъ къ статьѣ Глѣба Успенскаго. Это нѣкоторымъ образомъ второе изданіе отношенія журналистики къ «Благонамѣреннымъ рѣчамъ». Въ «Запискахъ» г. Успенскаго есть маленькая параллель между русскою и европейскою жизнью, параллель очень тонкая и любопытная, хотя, къ сожалѣнію, недостаточно разработанная. Рѣчь идетъ о томъ — гдѣ лучше? У насъ или въ Европѣ? Той тонкости, съ которою г. Успенскій предлагаетъ и сортируетъ свои матеріалы для разрѣшенія этого вопроса, Русскіе Міры, разумѣется, оцѣнить не могли. Ухватившись за часть наблюденій г. Успенскаго, они заликовали: ага! вотъ ваши же и проч. И на г. Успенскаго посыпались оскорбительные комплименты. Странное это, право, дѣло: уже нѣсколько лѣтъ тому назадъ г. Безобразовымъ было доказано въ «Русскомъ Вѣстникѣ», что мы и «наши охранители» едино есмы. И вдругъ Русскіе Міры съ чего-то именно теперь вздумали задавать себѣ фестиваль. При помощи пріемовъ, практикуемыхъ ими относительно гг. Щедрина и Успенскаго, они могли бы уже давнымъ-давно и безсчетное число разъ предаваться ликованіямъ.

А любопытно, однако, знать,—гдѣ лучше? Этотъ вопросъ сопредѣленъ съ другимъ: когда лучше? Не говоря уже о мыслителяхъ, общественныхъ дѣятеляхъ, писателяхъ, даже людямъ, живущимъ изо дня въ день, приходятъ въ голову сравненія настоящаго, если не съ будущимъ, то, по крайней мѣрѣ, съ прошедшимъ. Эти сравненія особенно назойливо напрашиваются въ моменты болѣе или менѣе крупныхъ общественныхъ реформъ. И это, конечно, совершенно понятно. Всякая реформа, всякій переворотъ, измѣняя нѣчто въ существующемъ порядкѣ вещей, тѣмъ самымъ уже радуютъ однихъ, и огорчаютъ другихъ. Естественно, что упраздненіе крѣпостного права огорчило многихъ помѣщиковъ и обрадовало крестьянъ. Естественно, что первые находятъ, что прежде было лучше, а вторые, что прежде было хуже. Но вотъ что странно: есть крѣпостники, находящіе, что прежде было хуже, а теперь стало лучше, и есть крестьяне и люди, принимающіе близко къ сердцу ихъ интересы, которые находятъ, что прежде было лучше, а теперь стало хуже. Это, повидимому, не-

нормальное явленіе заслуживаетъ полнаго вниманія. Но у насъ, въ Россіи, наблюдать его пока довольно трудно. Мы не имѣемъ такихъ политическихъ органовъ, въ которыхъ текущія дѣла могли бы обсуждаться съ достаточною свободою и откровенностью. Печать наша также не можетъ быть признана полнымъ отголоскомъ общественныхъ нуждъ и желаній. При томъ же, со времени упраздненія крѣпостного права, наша общественная жизнь текла слишкомъ медленно для того, чтобы успѣли достаточно ясно обрисоваться подробности ея свѣтлыхъ и темныхъ сторонъ. Но мы всетаки можемъ сдѣлать кое-какіе выводы косвеннымъ манеромъ, наблюдая дѣла другихъ государствъ и народовъ и затѣмъ примѣняя эти наблюденія къ нашимъ собственнымъ дѣламъ. Этотъ пріемъ особенно удобенъ потому, что многое находящееся у насъ въ состояніи зародыша, въ старой Европѣ достигло уже высокой степени развитія и рѣзкой законченности.

Вышеупомянутое ненормальное, повидимому, рѣшеніе вопроса: было ли прежде лучше, или хуже?—принадлежитъ къ числу такихъ явленій. Мы объ этомъ разсуждаемъ нѣсколько смутно и даже мало значенія придаемъ вопросу. Большинство увѣрено, что нынѣ стало лучше, вѣрнѣе сказать, не увѣрено, а такъ себѣ кажется почему-то людямъ, что должно быть лучше; но насъ не трудно, пожалуй, и сбить съ этой позиціи. Совсѣмъ не то въ старой Европѣ. Тамъ наканунѣ крупнѣйшаго переворота, наканунѣ первой французской революціи былъ органически возможенъ рѣзкій пессимизмъ Руссо. Тамъ и теперь раздаются рѣзкіе голоса, во всеуслышаніе и отчетливо доказывающіе, что каждый шагъ цивилизаціи впередъ—есть шагъ не къ лучшему, а къ худшему. Съ другой стороны, тамъ не менѣе отчетливо высказываются и доказываются мысли, діаметрально противоположныя, именно, что все, безусловно все, идетъ къ лучшему. Замѣтьте, что проклятія цивилизаціи раздаются не только изъ лагеря ярыхъ ретроградовъ. Эта антедилювіальная порода насъ здѣсь занимать не будетъ; представимъ себѣ, что этихъ мастодонтовъ и ихтіозавровъ вовсе нѣтъ на бѣломъ свѣтѣ. Что же мы увидимъ, за вычетомъ ихъ, въ Европѣ? Мы увидимъ, во-первыхъ, либерала, который, къ примѣру, скажетъ: по мѣрѣ развитія цивилизаціи досугъ рабочихъ классовъ все болѣе и болѣе сокращается, и это хорошо. Какъ хорошо? Съ нашей русской, смутной, зародышевой точки зрѣнія, кажется, вовсе не хорошо. А между тѣмъ, европейскій либералъ весьма подробно и обстоятельно будетъ вамъ доказывать, что хорошо. Но вѣдь такимъ образомъ рабочему перегораживается путь къ умственному развитію. Ужъ это-то, кажется, не хорошо? Да опять-таки съ нашей зародышевой точки зрѣнія не хорошо, а европейскій либералъ будетъ и безбоязненно, и очень логично поддерживать и эту тему. Затѣмъ, встрѣтимъ мы въ Европѣ соціалиста, который скажетъ: переживаемая нами цивилизація есть ложная: чѣмъ далѣе, тѣмъ больше обираетъ она народъ, пуская для этого въ ходъ и науку, и техническія приспособленія, и экономическія улучшенія, и политическія права. Опять-таки съ нашей зародышевой точки зрѣнія такая анаѳема наукѣ, кредиту, машинамъ, свободѣ, политическимъ правамъ совершенно непонятна. Какъ могутъ быть вредны наука, машины, свобода и проч.?

Итакъ, вопросъ о томъ, лучше или хуже было прежде, весьма неясный у насъ, въ старой Европѣ поставленъ ребромъ. На него даны два діаметрально противоположные отвѣта (прошу помнить, что я не имѣю въ виду ретроградовъ, помышляющихъ о возвратѣ феодализма въ той или другой степени, въ той или другой формѣ). Эти, повидимому, взаимно исключающіеся отвѣты не трудно отчасти согласить, отчасти, по крайней мѣрѣ, объяснить.

Безъ сомнѣнія, и улучшенные способы производства полезныхъ вещей, и научныя открытія, и орудія облегченія экономическихъ сношеній, и политическая, и экономическая свобода,—все это суть сами по себѣ непререкаемыя блага. Надо имѣть мѣдный лобъ или быть насквозь проникнутымъ какими-нибудь застарѣлыми предразсудками, чтобы не признавать ихъ великаго значенія, какъ помощниковъ человѣка. Они — помощники наши, и этимъ все сказано: значитъ нельзя не желать ихъ и не стремиться къ нимъ. Но значеніе ихъ всетаки относительное. Съ перваго же взгляда ясно, что они могутъ быть болѣе полезны въ одномъ мѣстѣ, у одного народа, и менѣе полезны у другого. А присматриваясь къ дѣлу ближе, мы не замедлимъ увидѣть, что при извѣстныхъ обстоятельствахъ они могутъ быть даже вредны, могутъ стать орудіемъ зла. Въ самомъ дѣлѣ, предположимъ для краткости, что европейское общество состоитъ изъ двухъ слоевъ, интересы которыхъ не тождественны вообще, а въ частностяхъ даже враждебны другъ другу. Кто воспользуется вводимыми въ это общество вышеисчисленными непререкаемыми благами? Безъ сомнѣнія, представители того слоя, который окажется въ данную минуту фактически сильнѣйшимъ и вліятельнѣйшимъ. Это положеніе, справедливость котораго очевидна уже a priori, получаетъ особенное значеніе при освѣщеніи его фактами изъ исторіи цивилизаціи. Великая французская революція провозгласила

принципъ политической и экономической свободы. Въ томъ именно состояла ея миссія. Остальные два момента ея трехчленнаго девиза—fraternité и égalité ни въ какомъ случаѣ не достигли того высокаго развитія, которое получила, благодаря первой революціи, свобода. О братствѣ, конечно, и говорить нечего, а равенство достигнуто только въ извѣстной степени, и то равенство только гражданское. Къ равенству политическому революція только приблизилась, а равенство экономическое даже отодвинула въ болѣе или менѣе удаленное будущее. Провозглашенный революціей принципъ свободы въ сильной мѣрѣ подорвалъ значеніе дворянства и духовенства, но затѣмъ очутился въ обществѣ, состоящемъ изъ двухъ слоевъ: буржуазіи и рабочаго сословія. Обоимъ этимъ слоямъ была не только предоставлена свобода, она имъ даже, какъ это ни странно и двусмысленно звучитъ,—предписывалась. Не только разрушены были стѣснявшіе свободу труда средневѣковые цехи и корпораціи, но даже, во имя той же свободы, воспрещались рабочія ассоціаціи, не имѣвшія ничего общаго съ этимъ средневѣковымъ институтомъ. Такимъ образомъ, свободой могло и даже должно было воспользоваться все общество въ цѣломъ составѣ, вся нація. Вся она и воспользовалась. Но выгоднымъ оказалось пользованіе это только для буржуазіи, общественнаго слоя, фактически сильнѣйшаго и вліятельнѣйшаго. Буржуазіи свободная конкурренція дала возможность расширить свои промышленныя и коммерческія операціи, а затѣмъ основать на этомъ расширеніи и свое политическое могущество. Но для рабочаго сословія, для народа, свободная конкурренція, свобода труда оказалась, по выраженію Луи-Блана, только свободою умирать съ голоду. А умирающему съ голоду ужъ, конечно, не до политической свободы и не до политическаго могущества. Онъ—«пассивный гражданинъ», какъ оффиціально назывались, по конституціи 1791 г., люди, не имѣвшіе опредѣленнаго имущественнаго ценза. Онъ, пожалуй, имѣетъ право на всяческую свободу и свободу добиваться всяческихъ правъ, но онъ не имѣетъ возможности пользоваться ни свободой, ни правами.

Но въ политическомъ отношеніи невыгодная сторона дѣла еще не такъ очевидна, какъ въ экономическомъ. Свободная конкурренція прежде всего понижаетъ заработную плату до minimum'а, до такой цифры, которая только что способна прокормить рабочаго. При свободной конкурренціи всѣ улучшенные способы производства, всѣ механическія и технологическія приспособленія, всѣ знанія, весь кредитъ оказываются въ рукахъ «активныхъ гражданъ», хотя бы они и не назывались такъ оффиціальнымъ образомъ; въ рукахъ людей, обладающихъ извѣстнымъ имущественнымъ цензомъ и, слѣдовательно, имѣющихъ не только право на пользованіе благами цивилизаціи, но и фактическую возможность оплатить ихъ. Представимъ себѣ, что въ извѣстной мѣстности, жители которой употребляютъ какіе-нибудь первобытные способы эксплуатаціи силъ природы и не имѣютъ фактически возможности замѣнить ихъ способами улучшенными; представимъ себѣ, что въ такой мѣстности затѣваетъ промышленное предпріятіе человѣкъ или компанія людей, имѣющихъ и знанія, и кредитъ, и капиталы. Конечно, эта компанія поведетъ свое дѣло успѣшнѣе, чѣмъ прежніе производители. Благодаря кредиту и улучшеннымъ способамъ производства, она въ состояніи будетъ пускать свои продукты по гораздо болѣе низкимъ цѣнамъ и выжидать благопріятное настроеніе рынка, продукты ея будутъ по всей вѣроятности лучше. Такъ что прежнимъ производителямъ не будетъ никакой возможности конкуррировать съ нею. Они должны будутъ бросить свои орудія производства, свою собственность, и пойти въ наемники къ активнымъ гражданамъ. Не только продукты изъ труда, а самая ихъ рабочая сила вынесется на рынокъ и подвергнется всѣмъ перипетіямъ спроса и предложенія. Такимъ образомъ извѣстная отрасль промышленности получаетъ весьма сильное развитіе, продукты дешевѣютъ, но собственникъ рабочій обращается при этомъ въ пролетарія: по мѣрѣ развитія національнаго богатства растетъ нищета народа.

Вотъ, кажется, довольно ясное и наглядное разъясненіе того страннаго факта, что въ западной Европѣ сложились два діаметрально противоположные взгляда на значеніе цивилизаціи. Положенная Прудономъ въ основаніе «Системы экономическихъ противорѣчій» антиномичность всѣхъ безъ исключенія экономическихъ моментовъ, объясняется очень просто тѣмъ, что блага цивилизаціи попадаютъ въ общество, состоящее изъ двухъ или нѣсколькихъ группъ рѣзко неравныхъ силъ. И до тѣхъ поръ, пока будетъ существовать такой порядокъ вещей, любой цвѣтокъ цивилизаціи будетъ производить двоякое дѣйствіе: онъ будетъ возвышать развитіе націи и въ то же самое время давить народъ. И чѣмъ онъ роскошнѣе, величественнѣе, тѣмъ сильнѣе обрисуются *обѣ* его стороны. Можно сказать, что при этихъ условіяхъ блага цивилизаціи тѣмъ хуже, чѣмъ они лучше. Когда намъ говорятъ, что въ такой-то странѣ цвѣтутъ наука и промышленность, высоко развиты кредитъ

и торговля, твердо стоятъ политическія права и вольности, мы говоримъ: это хорошо. Но когда намъ при этомъ указываютъ на нищету и невѣжество народа, сопутствующія въ этой странѣ прогрессу, мы, ни мало не удивляясь этому явленію, говоримъ: это нехорошо.

Все это говорилось въ нашемъ журналѣ много разъ, въ разныхъ формахъ и по разнымъ поводамъ. Говорилось не однократно и въ моихъ замѣткахъ, а въ январской книжкѣ двойственность цивилизаци представлена въ видѣ очень простого соціологическаго закона, противъ котораго оскалили и заточили зубы наши яснолобые либералы. Но, увы! зубы тупы, зубы гнилы, зубы отказываются пережевать даже разжеванное... Зубовъ право, кажется, даже вовсе нѣтъ у яснолобыхъ либераловъ.

Если я нынѣ возвращаюсь къ доказанному мною, никѣмъ не опровергнутому, да и неопровержимому соціологическому закону, то только для комментированія непроницательности «Русскихъ Міровъ» по поводу статей гг. Щедрина и Успенскаго.

Уединяя какой-нибудь частный, подчиненный вопросъ, напримѣръ, педагогическій, экономическій, политическій, женскій, отъ сопредѣльныхъ частныхъ вопросовъ и отъ общаго соціальнаго вопроса, мы можемъ наговорить весьма много хорошихъ словъ о значеніи того или другого блага цивилизаціи. И задачи политическихъ дѣятелей были бы сравнительно крайне просты, если бы дѣло состояло только въ томъ, чтобы оцѣнить абсолютное достоинство того или другого частнаго блага. Но, къ сожалѣнію, такой оцѣнки, какъ бы она ни была вѣрна, мало. Въ начертательной геометріи фигура и положеніе тѣла въ пространствѣ опредѣляются двумя проэкціями, горизонтальною и вертикальною, т. е. изображеніемъ на горизонтальной и вертикальной плоскости. Одна проэкція, какъ бы обстоятельно она ни была изображена, никого не удовлетворитъ. Совершенно точно такъ же для оцѣнки значенія какого-нибудь блага, кромѣ его абсолютнаго достоинства, нужно знать еще какой характеръ приметъ оно въ извѣстой комбинаціи соціальныхъ силъ, въ чьи руки это благо попадетъ и какое изъ него будетъ сдѣлано употребленіе. Если читатель усвоитъ себѣ необходимость этой двойной оцѣнки благъ цивилизаціи, для него уяснится многое, и прежде всего онъ выйдетъ изъ заколдованнаго круга общихъ мѣстъ. Многіе вопросы освѣтятся для него съ совершенно новой стороны, онъ сожжетъ многое, чему покланялся, и поклонится многому, что сжигалъ. Всякій частный вопросъ, будучи уединенъ отъ сосѣднихъ вопросовъ и общаго соціальнаго вопроса, получаетъ обыкновенно два взаимно исключающіяся рѣшенія. Рѣшенія эти весьма быстро обращаются въ рутину, люди говорятъ другъ другу одни и тѣ же слова и такъ въѣдаются въ нихъ, что совершенно незамѣтно доходятъ до того положенія, когда своя своихъ не познаша. Реальное и классическое образованіе, централизація и самоуправленіе, свобода торговли и протекціонизмъ,—вотъ рядъ рутинныхъ рѣшеній, о которыхъ люди говорятъ, говорятъ, не замѣчая, что спорящіе въ извѣстные моменты смѣло могли бы помѣняться мѣстами и продолжать говорить, говорить. Но допустите сюда немного свѣжаго воздуха, расшатавъ рамки рутины, и вы увидите, сколько во всемъ этомъ празднословія, вы навѣрное отшатнетесь отъ многаго, что склонны были принимать очень близко къ сердцу.

Возьмемъ хоть женскій вопросъ. Во времена жоржъ-зандизма этотъ вопросъ стоялъ въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ, конечно, ниже, чѣмъ теперь, но въ другихъ несомнѣнно выше. Тогда рѣчь шла о правахъ женщины на свободу чувства. Какія бы увлеченія ни сопутствовали это движеніе, какъ бы неудовлетворительно оно съ нашей теперешней точки зрѣнія ни было, но одно вѣрно: женщины тогда не говорили: мужчины мѣняютъ любовницъ, когда хотятъ, а потому и мы, во имя равноправности, хотимъ мѣнять любовниковъ, когда захотимъ. Они этого не говорили, они вырабатывали общія правила нравственности, правила новыя, и, слѣдовательно, стремились не количественно, а качественно измѣнить данную комбинацію соціальныхъ силъ. Не въ томъ была ихъ задача, чтобы самимъ дѣлать то, что дѣлаютъ мужчины, а въ томъ, чтобы и себя, и мужчинъ подчинить нѣкоторымъ новымъ идеямъ. Словомъ, они рѣшали не спеціально женскій, а общечеловѣческій вопросъ. Съ тѣхъ поръ воды утекло очень много, и женскій вопросъ поднялся на высшую ступень: рѣчь идетъ уже не о свободѣ чувствъ, а о правѣ на трудъ. Но на этой высшей ступени вопросъ рѣшается уже гораздо уже и неудовлетворительнѣе. Я бы не желалъ быть не понятымъ относительно этого пункта и потому приведу сравненіе. Прежде рѣшался ариѳметическій вопросъ, а теперь рѣшается алгебраическій. И я не то говорю, что ариѳметика выше алгебры, а только то, что ариѳметическій вопросъ разрѣшился для своего времени лучше, чѣмъ нынѣ разрѣшается алгебраическій. Теперешніе сторонники женскаго вопроса стремятся доказать, что женщины вполнѣ способны ко всѣмъ тѣмъ профессіямъ, которыя доселѣ находились въ исключительномъ завѣдываніи мужчинъ, и, слѣдовательно, имѣютъ право стоять съ ними рядомъ. Они перечисляютъ

имена великихъ правительницъ, великихъ ученыхъ изъ женщинъ и проч. Нѣкоторые желаютъ даже доказать этимъ и другими пріемами превосходство женщинъ, какъ общественныхъ дѣятелей, передъ мужчинами. Сами по себѣ это темы весьма неблагодарныя, и еще недавно можно было думать, что въ нихъ миновала уже всякая надобность. Но исторія цюрихскаго университета показала, къ сожалѣнію, что подобные аргументы еще имѣютъ нѣкоторое значеніе. Да и не одного цюрихскаго университета. Я рекомендую вниманію читателей вышедшую недавно въ русскомъ переводѣ любопытную книжку миссъ Джексъ-Блэкъ «Женщины-медики», изъ которой видно, что и въ Англіи нужно еще доказывать, что женщина—человѣкъ; что она способна заниматься медициной или какой другой наукой. Дѣлать нечего. Но что же дальше? Сторонники женскаго вопроса, имѣя главнымъ образомъ въ виду доказать, что женщины не хуже, а, пожалуй, и лучше, могутъ исполнять всѣ наличныя общественныя функціи, занятыя мужчинами, говорятъ: вотъ вамъ великая государыня, раздвинувшая предѣлы отечества, вотъ вамъ великая женщина-медикъ, женщина-астрономъ, вотъ вамъ, наконецъ, великая полицейская сыщица, миссъ Нейманъ. Между тѣмъ доѣзжачіе, выжлятники и борзятники продолжаютъ свое дѣло. Зачѣмъ они продолжаютъ? Они говорятъ, что женскій вопросъ подрываетъ основы, но какое же тутъ подрываніе основъ, когда женщины желаютъ поступить въ штатъ сыскной полиціи? Очевидно, это не подрываніе, а укрѣпленіе основъ. Кого же доѣзжаете, противъ кого облавы и травли устраиваете? Ясно, что здѣсь, благодаря столкновенію двухъ рутинныхъ рѣшеній оторваннаго отъ общей соціальной почвы вопроса, своя своихъ не познаша. Конечно, примѣръ женщины, какъ исполнительнаго и способнаго чина сыскной полиціи, можетъ показаться слишкомъ крайнимъ. Хотя, впрочемъ, что же? На него съ торжествомъ указываетъ либеральная газета, значитъ этого дѣла нельзя не брать въ разсчетъ. Но, пожалуй, не будемъ брать въ разсчетъ эту не пользующуюся уваженіемъ, хотя и необходимую въ благоустроенномъ государствѣ профессію. Возьмемъ имѣющихся уже телеграфистокъ, стенографистокъ, продавальщицъ, женщинъ-медиковъ, возьмемъ ожидаемыхъ и возможныхъ женщинъ-юристовъ, судей, прокуроровъ, присяжныхъ повѣренныхъ, присяжныхъ засѣдателей, коммерсантовъ, заводчиковъ и проч. Специалисты по женскому вопросу превозносятъ эти явленія до небесъ, кладутъ въ нихъ всю душу свою, а выжлятники и борзятники неистово гикаютъ, цыркаютъ. Какое же положеніе долженъ въ виду всего этого занять человѣкъ, не дѣлающій облавъ, съ одной стороны, и не желающій выдѣлять ни женскаго, никакого другого частнаго вопроса изъ общаго соціальнаго вопроса—съ другой?

Такой человѣкъ скажетъ: мнѣ и всякому другому пріятно видѣть въ женщинѣ не куклу, мечтающую о тряпкахъ, и не безграмотную дуру, а человѣка, равнаго мнѣ, съ которымъ я могу дѣлиться своими мыслями и чувствами. Мое чувство собственнаго достоинства этимъ возвышается и укрѣпляется. Мнѣ пріятно знать, что рабочія силы, пропадавшія прежде даромъ, теперь утилизируются и идутъ на службу обществу. Я вижу, что борзятники гикаютъ и цыркаютъ, но знаю, что они этимъ занимаются только по своей тупости и неразвитости; ибо всякій мало-мальски развитой человѣкъ благословитъ своего сосѣда на ученіе и трудъ. Мнѣ прискорбно, что женщинамъ ставятся на этомъ пути препятствія. Нѣкоторые изъ фактовъ этого рода меня особенно возмущаютъ. Такъ, я съ глубокимъ омерзѣніемъ прочиталъ въ книжкѣ миссъ Джексъ-Блэкъ разсказъ о томъ, какъ студенты эдинбургскаго университета бросали въ учащихся женщинъ комками грязи, ругали ихъ и проч. Со стороны же доѣзжачихъ препятствія эти тѣмъ страннѣе, что женскія силы идутъ на службу не только обществу вообще, а именно опредѣленной формѣ общества, той самой, которую считаютъ своею обязанностью охранять доѣзжачіе и выжлятники. Отъ практическаго разрѣшенія женскаго вопроса, какъ онъ стоитъ нынѣ, произойдутъ частныя улучшенія въ существующемъ порядкѣ вещей, такъ, напримѣръ, будетъ болѣе медиковъ и учителей, но самый порядокъ вещей останется ни на волосъ не поколебленнымъ. Нѣкоторыя его подробности даже усугубятся. Такъ ближайшимъ слѣдствіемъ примѣненія женскаго труда должно быть усиленіе конкурренціи и пониженіе заработной платы. Конечно, это не составляетъ резона для отказа женщинамъ въ правѣ на трудъ. Потому что кто же посмѣетъ сказать желающему трудиться: тебѣ, именно тебѣ, нѣтъ мѣста. Это можетъ сказать только безчеловѣчный, несправедливый и неразумный ходъ вещей. Но всетаки радоваться тутъ нечему. А доѣзжачимъ и борзятникамъ горевать не объ чемъ. Другое дѣло, если бы женскій вопросъ не былъ изолированъ, если бы женщины внесли съ собой, напримѣръ, новыя формы сочетанія труда, новые политическіе или иные принципы. Тогда, я понимаю, доѣзжачіе имѣли бы резоны доѣзжать женскій вопросъ, а люди извѣстнаго образа мыслей класть въ него всю душу свою. Но ничего такого мы не видимъ. А мнѣ рѣшительно все равно—женщина или мужчина отправитъ мою телеграм-

му или запишетъ стенографически мой процессъ; женщина или мужчина управляетъ заводомъ, изготовившимъ стальное перо, которымъ я пишу, женщина или мужчина будетъ меня защищать и обвинять на судѣ; женщина или мужчина произведетъ въ моей квартирѣ обыскъ по подозрѣнію въ политическомъ преступленіи или разыщетъ украденную у меня вещь. Я знаю только, что въ современномъ обществѣ есть много положеній и профессій, на которыя желательно бы имѣть какъ можно меньше кандидатовъ, дабы, по крайней мѣрѣ, былъ меньшій выборъ энергическихъ и исполнительныхъ дѣльцовъ. Но это я знаю, а доѣзжимъ-то что же? Съ другой стороны, есть въ современномъ обществѣ и такія профессіи, число кандидатовъ на которыя желательно было бы, напротивъ, увеличить. Такова профессія медика, къ которой женщины обнаруживаютъ особенную наклонность. Но и доѣзжачимъ тутъ не представляется резоннаго основанія протестовать. Если на всѣ дозволенныя въ благоустроенномъ государствѣ профессіи явится двойной, тройной комплектъ кандидатовъ, то они должны только радоваться. Вотъ причины, на основаніи которыхъ я ни въ какомъ случаѣ не считаю себя обязаннымъ класть въ женскій вопросъ всю душу свою. Ко многимъ сторонамъ его я отношусь весьма равнодушно. Къ той же постановкѣ его, которая даже полицейскую сыщицу пристегиваетъ къ женскому вопросу, я отношусь, каюсь, даже съ нѣкоторою гадливостью. Есть, однако, одна сторона дѣла, которую я высоко цѣню, хотя и не преувеличиваю ея значенія. Это именно то, съ чего я началъ: въ извѣстномъ слоѣ общества убавится количество куколъ, мечтающихъ о тряпкахъ, и безграмотныхъ дуръ. Въ этомъ лежитъ залогъ лучшаго нравственнаго развитія этого слоя общества, каковое развитіе косвеннымъ образомъ можетъ отразиться и на другихъ слояхъ. Но не слѣдуетъ забывать, что женскій вопросъ есть только часть вопроса такъ называемаго «мыслящаго пролетаріата», каковой составляетъ самъ только часть общаго соціальнаго вопроса и отнюдь не долженъ быть уединяемъ. Смѣшно было бы ожидать цѣнныхъ результатовъ проповѣди женскаго труда въ тѣхъ сферахъ, гдѣ, по выраженію одного изъ дѣйствующихъ лицъ какой-то комедіи Сарду, la caisse a été donnée à l'homme pour être vidée par la femme. Тамъ женскій вопросъ можетъ разрѣшиться только въ видѣ попутнаго явленія. Съ другой стороны въ низшихъ сферахъ общества женщинамъ, конечно, труда требовать не приходится, потому что его и безъ того тамъ довольно. Такъ что раіонъ дѣйствія женскаго вопроса очень не великъ. Тѣмъ не менѣе я высоко цѣню морализующее вліяніе женскаго труда и образованія. Я говорю женщинамъ: учитесь, добивайтесь права на трудъ, трудитесь. Мнѣ даже смѣшно немножко слушать доказательства въ пользу того, что вы такіе же люди, какъ и мужчины. Смѣшно, но и горько, потому что я вижу, что доказательства эти еще дѣйствительно нужны. Но когда вы выучитесь, я посмотрю, какъ и къ чему вы приложите свои знанія. Когда вы добьетесь права на трудъ, я посмотрю, какъ вы его организуете и чьи заказы будете исполнять. Именно потому, что вы люди, такіе же, какъ и мужчины, вы способны и заблуждаться, и служить несправедливому дѣлу. Я надѣюсь, что многія изъ васъ, когда выучатся и получатъ право на трудъ, будутъ смотрѣть на вещи, какъ я на нихъ смотрю. Этихъ я заранѣе привѣтствую, но только отчасти, какъ женщинъ, а главнымъ образомъ, какъ моихъ сотрудниковъ и единомышленниковъ, исповѣдующихъ одну со мной вѣру, любящихъ то, что я люблю, и ненавидящихъ то, что я ненавижу. Но я знаю также, что многія изъ васъ будутъ моими злѣйшими врагами, тѣмъ болѣе опасными, чѣмъ болѣе онѣ принесутъ съ собой знаній и способности къ труду. Это меня радовать не можетъ. Однако, по чувству той самой справедливости, которую многія изъ васъ современемъ будутъ попирать, какъ и теперь попираютъ многіе мужчины, люди такіе же, какъ вы, по чувству справедливости я вамъ всетаки скажу: учитесь, добивайтесь права на трудъ, трудитесь. Въ концѣ концовъ, я не вижу никакихъ разумныхъ основаній для травли на женскій вопросъ. Эта травля безсмыслица со всѣхъ возможныхъ точекъ зрѣнія, кромѣ развѣ точки зрѣнія Елены Прекрасной и экскурсій въ область запретнаго. Съ куклами и безграмотными дурами, конечно, легче предпринимать подобныя экскурсіи, чѣмъ съ учащейся и трудящейся женщиной вообще.

Вотъ что сказалъ бы человѣкъ, не состоящій въ штатѣ выжлятниковъ, но не желающій изолировать какой бы то ни было частный соціальный вопросъ. Вотъ что сказалъ, въ сатирической формѣ, и авторъ «Благонамѣренныхъ рѣчей». Посыпьте главы свои пепломъ, господа борзятники и выжлятники, и примите отъ меня благодарность за то, что дали мнѣ случай высказать все вышенаписанное.

И еще разъ посыпьте главы пепломъ, и еще разъ примите мою благодарность по поводу «Записокъ» Глѣба Успенскаго. Но, по свойственной мнѣ, признаюсь, довольно нехорошей манерѣ, сначала опять сдѣлаю нѣкоторое отступленіе.

Одному проживающему здѣсь, въ Петербургѣ, иностранцу была предложена литера-

турная работа по предмету, ему весьма хорошо знакомому. Онъ согласился, но, не доведя работы и до половины, бросилъ. Надо замѣтить, что если литература не составляетъ его исключительной профессіи, то тѣмъ не менѣе онъ занимался ею въ своемъ отечествѣ. Человѣкъ онъ замѣчательно разносторонній, образованный, начитанный, ловкій діалектикъ; мнѣнія имѣетъ очень опредѣленныя и подчасъ очень оригинальныя. По убѣжденіямъ своимъ онъ соціалистъ. Когда я спросилъ его, отчего онъ бросилъ работу, у насъ произошелъ слѣдующій разговоръ:

Онъ. Я началъ было писать съ большимъ увлеченіемъ, тѣмъ болѣе, что предметъ былъ мнѣ по сердцу, но очень скоро убѣдился, что ничего написать не могу, потому что не имѣю подъ ногами почвы. Мнѣ необходимы два условія: во-первыхъ, я долженъ знать, что такая-то статья нужна, что она отвѣчаетъ извѣстной неотложной потребности въ обществѣ; во-вторыхъ, я долженъ имѣть около себя кружокъ людей, также, какъ и я, живо интересующихся извѣстными вопросами, съ которыми бы я могъ обмѣниваться мыслями, съ которыми бы я могъ, наконецъ, просто писать вмѣстѣ.

Я. Признаюсь, вы меня удивляете. Мы, русскіе писатели, обходимся безъ обоихъ этихъ необходимыхъ, по вашему мнѣнію, условій литературной дѣятельности. Мы пишемъ, большею частью, вовсе не для удовлетворенія текущихъ потребностей; отчасти, конечно, потому, что печать у насъ обставлена гораздо болѣе неблагопріятными условіями, чѣмъ въ Европѣ, а главное не замыкаться же въ ежедневныя мелочи. И развѣ хорошая статья о паденіи западной Римской имперіи или о пришествіи варяговъ въ Россію не будетъ полезна, нужна?

Онъ. Вы меня не поняли. Я вамъ разскажу вотъ какой фактъ. Дюшенъ съ Верморелемъ издавали въ Парижѣ, до войны еще, небольшую газету. Это была положительно лучшая французская газета, съ извѣстной точки зрѣнія, разумѣется. Въ политику она вовсе не мѣшалась, Наполеона и министровъ не трогала, но давала своимъ читателямъ ясную общую руководящую нить для оцѣнки общественныхъ дѣлъ. Газета не могла имѣть такого количества подписчиковъ, какъ большія французскія газеты, лежащія въ каждомъ кабинетѣ, въ каждой кофейной, разносящія политическія извѣстія и уличные слухи по всему свѣту. Но все-таки она имѣла значительный успѣхъ, главнымъ образомъ, конечно, въ кругу рабочихъ. Что же вы думаете? Буржуа-либералы распустили слухъ, что газета потому не трактуетъ о чисто-политическихъ дѣлахъ, и не дразнитъ министровъ, что она продалась Наполеону. Нашлось не мало и рабочихъ, которые поддались на эту удочку, и дѣло кончилось тѣмъ, что издатели не выдержали: затерлись въ безцвѣтной массѣ остальныхъ журналовъ, а тамъ газета, наконецъ, и лопнула. Изъ этого вы видите, во-первыхъ, что извѣстныя направленія и у насъ обставлены въ своемъ родѣ не менѣе неблагопріятными условіями, чѣмъ ваша печать вообще. Цензура, конечно, нехорошая штука, но, право, и мы не на розахъ. Это разъ. Во-вторыхъ, вы видите, что я вовсе не то хотѣлъ сказать, чтобы журналъ долженъ былъ замыкаться въ ежедневныя мелочи. Огромное большинство ихъ смѣло можно, даже должно, оставлять безъ всякаго вниманія. Съ другой стороны, и статья о паденіи западной Римской имперіи или о пришествіи варяговъ можетъ быть написана такъ, что будетъ вполнѣ отвѣчать живой потребности современниковъ.

Я. Да, это такъ. Но согласитесь съ тѣмъ, что нужно вѣдь знать, какъ пала западная Римская имперія и какъ пришли варяги въ Россію; это нужно знать безотносительно къ современности, даже по возможности отрѣшившись отъ нея.

Онъ. Какъ вамъ сказать? Можетъ быть и нужно, но невозможно. Каждый вѣкъ смотритъ на предыдущую исторію иначе и передѣлываетъ ее по своему. Впрочемъ, съ этимъ затрудненіемъ должна справляться наука, а мы говоримъ о журналистикѣ. Я вамъ и говорю, что не могу писать статью, не требуемую текущими дѣлами. Я этого и самъ не подозрѣвалъ до тѣхъ поръ, пока не взялся писать для русскаго журнала, имѣя самыя смутныя понятія о томъ, что у васъ требуется и чего не требуется.

Я. Но зачѣмъ вамъ кружокъ людей, одномыслящихъ съ вами, съ которыми вы, какъ вы выражаетесь, могли бы вмѣстѣ писать?

Онъ. А все затѣмъ же. Разъ мы до такой степени солидарны съ обществомъ, что не можемъ писать ненужныя вещи, — личная мысль, если она, конечно, не какой-нибудь исключительный гигантъ, имѣетъ у насъ весьма мало значенія. Стоитъ на очереди какой-нибудь вопросъ. Если онъ очень спеціаленъ, такъ его и беретъ на разсмотрѣніе спеціалистъ. А нѣтъ, такъ мы просто собираемся въ редакціи и спрашиваемъ: кто будетъ писать о томъ-то? т. е. кто свободнѣе, кто больше интересуется дѣломъ и проч. А въ сущности, кто бы ни взялся, выйдетъ одно и то же. Всѣ мы приблизительно одного развитія, имѣемъ одинакія знанія, а если у меня по этой части чего-нибудь не хватаетъ, такъ со мной подѣлятся товарищи; подъ всѣми нами одна и та же почва. И такъ какъ мы не гонимся

за тѣмъ, чтобы статья была, что называется, хорошая, а только за тѣмъ, чтобы въ извѣстное время явилась статья извѣстнаго содержанія, то для насъ рѣшительно безразлично, кто возьмется ее написать; завтра ее все равно забудутъ, она должна произвести извѣстное впечатлѣніе сегодня.

Я. И что же, скажите пожалуйста, дѣло такъ во всѣхъ редакціяхъ идетъ?

Онъ. Не могу вамъ сказать, потому что въ другихъ не бывалъ. Думаю, не во всѣхъ, навѣрное не во всѣхъ, хоть бы ужъ потому, что только соціалистическому направленію грозитъ опасность исторіи газеты Дюшена и Верморела. Опять и понятія о нужныхъ и ненужныхъ вещахъ въ различныхъ направленіяхъ различны. Да и вообще въ другихъ направленіяхъ дѣйствуетъ столько постороннихъ вліяній, что дѣло тамъ представляется въ сильно измѣненномъ видѣ.

Этотъ разговоръ навелъ меня на цѣлый рядъ размышленій о нашей литературѣ и литературѣ европейской, а затѣмъ и о нашей и заграничной жизни вообще. Кое-что изъ этихъ размышленій я нахожу достойнымъ вниманія читателя.

Меня поразило прежде всего то, что такой замѣчательно умный и разносторонній человѣкъ, какъ мой собесѣдникъ, оказывается рядовой силой, не имѣющей никакого личнаго значенія, въ какой-то маленькой, неизвѣстной газетѣ. Въ нашей литературѣ этотъ человѣкъ занималъ бы несомнѣнно очень видное мѣсто. Если даже отнести многое въ положеніи моего собесѣдника насчетъ того направленія, котораго онъ держится, то всетаки сравнительная высота литературнаго уровня въ Европѣ будетъ поразительна. Съ другой стороны, поражаетъ зависимость литературы отъ общества, ея исключительно служебный характеръ. Люди совершенно не думаютъ о «хорошихъ» статьяхъ, и, несмотря на всѣ свои личныя достоинства, умираютъ въ полнѣйшей неизвѣстности на службѣ своему дѣлу. У насъ ничего такого нѣтъ. Гоголь слѣдующимъ образомъ описывалъ процессъ своего писанія:

«Сначала нужно набросать все, какъ придется, хотя бы плохо, водянисто, но рѣшительно все и забыть объ этой тетради. Потомъ черезъ мѣсяцъ, черезъ два, иногда и болѣе (это скажется самой собой) достать написанное и перечитать: вы увидите, что многое не такъ, много лишняго, а кое-чего и недостаетъ. Сдѣлайте поправки и замѣтки на поляхъ—и снова забросьте тетрадь. При новомъ пересмотрѣ новыя замѣтки на поляхъ, и гдѣ не хватитъ мѣста — взять отдѣльный клочекъ и приклеить къ боку. Когда все будетъ такимъ образомъ написано, возьмите и перепишите тетрадь собственноручно. Тутъ сами собой явятся новыя озаренія, урѣзы, добавки, очищенія слога. Между прежнихъ вскочатъ слова, которыя необходимо должны быть, но которыя почему-то не являются сразу. И опять положите тетрадку. Путешествуйте, развлекайтесь, не дѣлайте ничего или хоть пишите другое» и т. д. Въ концѣ концовъ, Гоголь объясняетъ, что онъ продѣлываетъ всю эту процедуру восемь разъ, но что другимъ, можетъ быть нужно больше, а можетъ—меньше («Русская Старина», 1872, № 1. Воспоминаніе о Гоголѣ Н. Берга).

Конечно, мы далеко ушли отъ гоголевскаго времени, да и приведенный рецептъ касается собственно беллетристики, которой, говорятъ, писаны особые законы. Не будемъ спорить объ этомъ. Приведенный рецептъ всетаки любопытенъ, и едва ли кто-нибудь изъ близко знакомыхъ съ дѣломъ скажетъ, чтобы выразившаяся въ немъ независимость отъ общественныхъ нуждъ исчезла въ нынѣшней литературѣ, хотя, конечно, безобразная правильность гоголевскаго рецепта есть уже нынѣ антикъ. Разумѣется, я говорю только о массѣ писателей русскихъ и заграничныхъ, и при томъ, главнымъ образомъ, журналистовъ. И въ Европѣ есть писатели, не думающіе о своей дѣятельности, какъ о функціи *общественной*, и въ Россіи есть писатели, помышляющіе не только объ томъ, чтобы ихъ статьи были хороши въ спеціально литературномъ смыслѣ. Но обыкновенный, рядовой русскій писатель, будучи посаженъ на необитаемый островъ, навѣрное не утратитъ способности писать о томъ предметѣ, который его занималъ въ отечествѣ. Обыкновенный же, рядовой европейскій писатель оказывается совершенно безсильнымъ, безрукимъ, какъ только подъ нимъ не движутся и не шумятъ привычныя общественныя волны. Что лучше? Самостоятельность ли русскаго писателя, или зависимость европейскаго? Ставя вопросъ въ такой формѣ, я не забываю пристрастія многихъ къ сакраментальнымъ словечкамъ, въ родѣ «самостоятельность», «независимость», а потому напоминаю, что общій уровень персонала европейской литературы несомнѣнно выше, чѣмъ у насъ.

Въ числѣ причинъ, обусловливающихъ сравнительную независимость русскаго писателя отъ общественныхъ нуждъ, отъ общественной почвы, очень важную роль играютъ внѣшнія, цензурныя условія. Иной писатель и радъ бы, можетъ быть, поговорить о злобѣ дня, но надъ нимъ виситъ Дамокловъ мечъ административныхъ и уголовныхъ взысканій, и онъ поневолѣ пишетъ о паденіи Западной Римской имперіи и пришествіи варяговъ въ Россію. Въ исторіи русской литературы не-

рѣдки такіе моменты, когда между положеніемъ писателя въ своемъ отечествѣ и положеніемъ его на необитаемомъ островѣ разницы мало. Это очень печально, очень нехорошо, потому что заграждаетъ литературѣ путь къ исполненію ея истинныхъ обязанностей, задерживаетъ развитіе всего общества, пріучаетъ писателей къ іезуитизму. Цензура не хорошая штука, какъ говоритъ мой собесѣдникъ иностранецъ. Но онъ прибавляетъ: и мы не на розахъ. Онъ привелъ въ подтвержденіе своей мысли исторію газеты Дюшена и Вермореля. Послѣ того я прочиталъ маленькую нѣмецкую брошюру анонимнаго автора «Die Corruption in Oesterreich», въ которой есть небезынтересныя свѣдѣнія о положеніи періодической печати въ Австріи. Оказывается, что всѣ болѣе или менѣе распространенныя вѣнскія газеты запроданы разнымъ банкамъ и другимъ акціонернымъ предпріятіямъ. Моду эту завелъ умершій въ прошломъ году царь вѣнской журналистики, главный дѣятель газеты «Neue freie Presse» Фридлендеръ, человѣкъ очень талантливый и пользовавшійся европейскою извѣстностью. Но кромѣ того, что каждая видная газета принадлежитъ тому или другому, а иногда двумъ заразъ акціонернымъ учрежденіямъ, каждый выпускъ акцій вновь возникающаго предпріятія сопровождается подачками издателямъ газетъ, нѣкоторымъ фельетонистамъ и редакторамъ экономическихъ отдѣловъ. Авторъ упомянутой брошюры приводитъ счетъ этихъ расходовъ одного банковаго учрежденія, возникшаго въ 1871 году. Счетъ этотъ доходитъ до 34,000 гульденовъ. Суммы распредѣлены сообразно значенію газетъ и лицъ. Такъ «Neue freie Presse» получила 2,500 гульденовъ, а «Ungarischer Actionär» 400, - Herr N получилъ 750 гульденовъ, а Herr L удовлетворился 100. Тузы журналистики получаютъ эти подачки въ самой респектабельной формѣ, а мелкотравчатымъ приходится выпрашивать, лебезить, угрожать. Маленькія газетки составили даже въ послѣднее время общество съ этою цѣлью выпрашиванія и угрожанія. Подачки совершаются еще въ особенной формѣ: за объявленія отъ банковъ и другихъ акціонерныхъ учрежденій взимается двойная и болѣе плата. Мелкія газеты перепечатываютъ эти объявленія безъ спроса самыхъ объявителей и затѣмъ предъявляютъ имъ счета. Такъ что въ вѣнскихъ газетахъ объявленія часто сопровождаются слѣдующими словами: «за перепечатку не платятъ». Но и это не останавливаетъ борзыхъ журналистовъ. Для насъ важны не столько эти подробности, сколько ихъ общій смыслъ и результатъ. А результатъ ясенъ: фактически свободною вѣнскую періодическую печать ни въ какомъ случаѣ назвать, очевидно, нельзя; вся она находится въ рукахъ кучки банковыхъ и акціонерныхъ дѣятелей и должна говорить только то, что дозволено этою плутократической цензурой. Что же лучше, или, пожалуй, что хуже—наша цензура или вѣнская?

На дняхъ я прочиталъ двѣ любопытныя книжки: «Мемуары журналиста» знаменитаго Вильмессана и книгу Сентъ-Бёва о Прудонѣ. Я прочиталъ эти книги непосредственно одну за другой и очень радъ этому случайному обстоятельству, потому что такимъ образомъ фигуры Прудона и Вильмессана, оттѣняя другъ друга, представляются мнѣ съ особенною ясностью. Два человѣка: гигантъ и гадина. Все велико въ одномъ. Кто не позавидуетъ чистой, безупречной даже отъ увлеченій молодости частной жизни Прудона. Кто не позавидуетъ его идеѣ: найти формулу общественной справедливости, которой должны подчиниться эгоистическія силы общества. Кто не позавидуетъ даже судьбѣ его: двадцать пять лѣтъ сряду держать вниманіе всего образованнаго міра на любимомъ и дорогомъ вопросѣ. Кто не позавидуетъ даже самоувѣренности, съ которою онъ пишетъ, напримѣръ, къ одному другу, приготовляя къ изданію свой первый мемуаръ о собственности: «Молись Богу, чтобы нашелся издатель: отъ этого зависитъ можетъ быть спасеніе націи». Въ другомъ это было бы просто смѣшнымъ самохвальствомъ, потерпѣвшимъ фіаско. Но въ Прудонѣ я вижу только глубокую, почти слѣпую вѣру въ свое дѣло и фанатическую преданность ему.

Вотъ другой человѣкъ, — Вильмессанъ. Свои мемуары онъ начинаетъ пошлымъ либеральничаніемъ, напоминаніемъ о томъ, что онъ сидѣлъ въ тюрьмѣ за либерализмъ и проч. Но вотъ его исторія, какъ журналиста, вѣрнѣе, только начало исторіи. Пріѣзжаетъ человѣкъ въ Парижъ съ женой. Онъ ни къ чему не готовъ, онъ не имѣетъ никакого опредѣленнаго плана, меньше всего думаетъ о томъ, чтобы завести газету. Но судьба сталкиваетъ его съ газетчикомъ. Идутъ тары-бары, и вдругъ его освѣщаетъ идея: почему модные журналы некрасиво издаются и не сопровождаются какими-нибудь фельетонами, какой-нибудь беллетристикой? Вильмессанъ немедленно идетъ къ типографщику и устраиваетъ себѣ кредитъ: его идея показалась оригинальною и плодотворною. Затѣмъ Вильмессанъ идетъ дальше и предлагаетъ парфюмерамъ, владѣтелямъ модныхъ магазиновъ и проч. рекламы, разумѣется, недаромъ. Кое-гдѣ удается. И «Сильфида» выходитъ. Рекламы имѣютъ успѣхъ. Окрыляемый успѣхомъ, Вильмессанъ

идетъ къ Эмилю Жирардену, и между ними очень быстро устраивается слѣдующее соглашеніе: Жирарденъ разрѣшаетъ Вильмессану писать въ его, Жирардена, газетѣ одинъ фельетонъ въ недѣлю, за что Вильмессанъ повиненъ платить Жирардену сто франковъ за каждую недѣлю впередъ. Вильмессанъ торгуется съ разными торговцами за рекламы, но рекламы пишетъ не самъ, а нанимаетъ подходящихъ писателей. «Въ концѣ концовъ,— говоритъ онъ,—фельетонъ въ «Presse» (газетѣ Жирардена) былъ для меня золотымъ дномъ. Мнѣ строчка обходилась въ двадцать пять сантимовъ, получалъ я за нее 5—10 фанковъ. Найдите мнѣ заемъ, хоть бы это былъ мексиканскій, въ который выгоднѣе бы было помѣстить капиталъ! Разъ попробовавъ этой торговли, я уже вошелъ во вкусъ. Я послѣдовательно овладѣлъ, кромѣ «Presse», фельетономъ въ «Commerce», во «France», чисто роялистической газетѣ. Потомъ я возымѣлъ мысль соединиться съ нѣкіимъ г. X. и овладѣть фельетонами въ «Débats» и въ «Quotidienne». Такимъ образомъ въ нашихъ рукахъ было пять газетъ, и всѣ парижскія фирмы, прибѣгающія къ рекламамъ (въ оригиналѣ рѣзче: vivant de l'exploitation de la publicité), испытали иго нашей монополіи». Надо самому читать книгу Вильмессана, чтобы оцѣнить мѣдный лобъ и хрустальную совѣсть, съ которыми онъ разсказываетъ о своихъ похожденіяхъ. Я читалъ только первый томъ, въ которомъ автобіографія безсовѣстнѣйшаго изъ писакъ не доведена до исторіи его знаменитой дѣятельности въ качествѣ издателя «Figaro». Тутъ, какъ извѣстно, онъ перещеголялъ всѣхъ вѣнскихъ газетчиковъ вмѣстѣ. А! если у насъ нѣтъ Прудоновъ, то нѣтъ, по крайней мѣрѣ, и Вильмессановъ, нѣтъ ни до такой степени грязной дѣятельности, ни до такой степени наглаго повѣствованія о ней. Гдѣ же лучше?

Если имѣть въ виду только Вильмессана, то какъ не сказать, вмѣстѣ съ Успенскимъ въ томъ именно буквальномъ смыслѣ, въ какомъ его поняли доѣзжачіе, какъ не сказать; «у насъ хорошо, а тамъ свинство и зло». Но съ точки зрѣнія, на которой дѣйствительно стоитъ Успенскій, пожалуй и Вильмессану можно позавидовать. Дѣло въ томъ, что и Прудонъ, и Вильмессанъ, и мой скромный собесѣдникъ иностранецъ, фигурирующіе въ «Запискахъ» Успенскаго версальскій неправедный судія и свирѣпый берлинскій побѣдитель,—всѣ эти люди живутъ по совѣсти и шибко живутъ: каково бы ни было дѣло, которому они отдались, но они ему отдались цѣликомъ, совѣстью не болѣютъ, ненавидятъ сильно и сильно любятъ, смѣло заявляютъ, чего они хотятъ и дѣлаютъ только то, во что вѣрятъ, что хотятъ дѣлать. Въ Европѣ дѣйствуютъ и величіе и подлость. и скромность и наглость, и самоотверженіе и эгоизмъ, и продажность и неподкупность. но каждый шагъ тамъ во всякомъ случаѣ сознателенъ. А у насъ? Доѣзжачимъ особенно понравилось въ «Запискахъ» Успенскаго слѣдующее мѣсто: «...Насмотрѣвшись на это, пойдите укрыться въ портерную, но и тамъ то же,—сабли и палаши ѣздятъ по ногамъ, повсюду шевелятся усы, одни другимъ отдаютъ честь и всѣ вмѣстѣ вновь прибывшему. Но существеннѣйшая вещь,—это полное *убѣжденіе* въ своемъ дѣлѣ, въ томъ, что бычачьи рога вмѣсто усовъ есть красота почище красоты прекрасной Елены. Спросите любого изъ этихъ усовъ о его врагѣ и полюбуйтесь, какой въ немъ сидитъ образцовый сознательный звѣрь. Проглотивши такую заграничную картину, невольно думаешь: «Нѣтъ, ужъ этого у насъ нѣтъ!» И въ темнотѣ вагона припоминается нашъ солдатикъ Кудинычъ, который, прослуживъ двадцать пять лѣтъ Богу и государю, теперь доживаетъ вѣкъ въ караулкѣ на огородѣ, пугая воробьевъ. Онъ тоже весь израненъ, избитъ, много дрался и имѣлъ враговъ изъ разныхъ націй, а поговорите-ка съ нимъ, врагъ ли онъ имъ?—«А поляки? Какъ?»—Поляки тоже народъ ничего, народъ чистый.—«Добрый?»— Поляки народъ, надо такъ сказать, народъ добрый, хорошій... Она, полька, ни за что тебя, напримѣръ, не допуститъ въ сапогахъ... напримѣръ, заснуть ежели.—«Не допуститъ?» —Ни Боже мой!... ходи чисто, благородно!— «А черкесы? Ты дрался съ черкесами?»— Эва! Мы черкеса перебили смѣты нѣтъ! Довольно намъ черкесъ извѣстенъ. Лучше этого народа, надо такъ сказать прямо, не сыщешь.—Всѣ его враги—добрые люди, неизвѣстно зачѣмъ бунтуютъ. Всѣхъ онъ усмирилъ,—и вотъ теперь сидитъ въ караулкѣ, точаетъ что-то; разговариваетъ съ собачонкой Кургузской и, вспоминая прошлое, говоритъ: «охъ грѣхи-грѣхи тяжкіе!» Какое же сравненіе: здѣсь доброта, тамъ свинство и зло. Нѣтъ, у насъ лучше».

Я понимаю, что это мѣсто можетъ нравиться, потому что оно дѣйствительно очень хорошо. Но я не понимаю, какъ доѣзжачіе не обзаведутся какими нибудь энциклопедическими лексиконами и не поищутъ тамъ разъясненія словъ «юморъ», »иронія». Хорошо, конечно, что Кудинычъ добрый, и не хорошо, что версальскій несправедливый судья—злой. Но хорошо-ли, что Кудинычъ перебилъ ни въ чемъ неповиннаго, съ его Кудиныча, точки зрѣнія, черкеса? И такъ-ли ужъ дурно то, что версальскій судія бьетъ коммунара, который есть въ его глазахъ дикій звѣрь и врагъ человѣческаго рода? Вообще, что лучше, или, пожалуй, что хуже,—

врага-ли человѣческаго рода бить, или чудеснѣйшаго человѣка, какого другого не сыщешь?

Посыпьте-же пепломъ главы свои, борзятники, и примите мою благодарность. Признаюсь, мнѣ бы никогда не пришло въ голову бесѣдовать съ борзятниками о «Запискахъ» Успенскаго, — потому что дѣло и безъ меня поставлено очень ясно,—если бы это не давало мнѣ повода вообще объ разныхъ предметахъ побесѣдовать съ читателемъ. Меня интересуетъ, собственно, та сторона вопроса: гдѣ лучше? отъ которой Успенскій отсупается. «Въ этомъ очеркѣ, говоритъ онъ, рѣчь идетъ не о томъ, что хорошъ или дуренъ тамошній порядокъ». Онъ беретъ дѣло болѣе съ психологической стороны, со стороны больной и здоровой совѣсти, «какъ бы она ни была направлена». Меня-же интересуютъ причины того или другого ея направленія и самое это направленіе; равно какъ и причины того, что европеецъ на своемъ знамени въ данную минуту можетъ написать такое словечко, которое ему дороже жизни», а русскій человѣкъ, вообще говоря, этого сдѣлать не можетъ. Къ этому я собственно и разговоръ свой съ иностранцемъ привелъ, и разсказалъ, что въ иностранныхъ книжкахъ прочиталъ. Надо еще что нибудь изъ русской жизни разсказать, а потомъ и итоги подвести можно.

Въ № 10 «Гражданина» напечатано извлеченіе изъ приготовляющагося къ печати сочиненія г. Степанова «Плутократія». Въ статьѣ этой доказывается, что кредитъ никогда не долженъ выходить изъ рукъ государства, наравнѣ съ судомъ и войскомъ, что на кредитъ нельзя смотрѣть, какъ на товаръ, которымъ каждое частное лицо можетъ распоряжаться по своему усмотрѣнію. Я не буду слѣдить за развитіемъ этой мысли въ извлеченіи «Гражданина», и приведу только двѣ-три подробности. Авторъ утверждаетъ, что повсюду въ Европѣ плутократія, т. е. кучка денежныхъ дѣльцовъ, банкировъ, ажіотеровъ, спекулянтовъ, «финансистовъ», ограничила, съ одной стороны, право и значеніе верховной власти, а съ другой—обобрала и довела до нищеты и отчаянія народъ. Такое положеніе вещей повело, наконецъ, къ протесту снизу. «Народныя партіи, путемъ стачекъ, рабочихъ ассоціацій, политическихъ союзовъ, сельскихъ банковъ, рабочихъ кассъ, и, наконецъ, въ послѣднее время путемъ общества, извѣстнаго подъ именемъ интернаціонала, протестуютъ противъ безнаказаннаго нарушенія финансистами правъ собственности народа на кредитъ, какъ на его общее и недѣлимое достояніемъ и требуютъ исправленія существующаго ошибочнаго порядка государственнаго управленія». Это движеніе не имѣетъ прямого отношенія къ формамъ правленія, ибо оно обнаруживается и въ монархическихъ государствахъ разныхъ оттѣнковъ, и въ республиканскихъ. Авторъ приводитъ программу сѣверо-американскихъ соціалистовъ, которая имѣетъ единственною цѣлью «исправить ошибочную, по отношенію къ кредиту, форму государственнаго управленія и поставить этимъ путемъ финансистовъ или плутократію въ невозможность эксплуатировать благосостояніе народа». Авторъ прибавляетъ, что если справедливыя требованія американскихъ соціалистовъ не будутъ *во время* (курсивъ автора) удовлетворены, то Америкѣ грозятъ весьма важныя бѣдствія. Обращаясь къ Россіи, авторъ съ большимъ сочувствіемъ относится къ финансовой системѣ Екатерины II, имѣвшей результатомъ невозможность вредной торговли кредитомъ, какъ частной собственности, къ ея осторожности въ дѣлъ допущенія учрежденія акціонерныхъ обществъ и т. д. Въ концѣ концовъ, авторъ замѣчаетъ «поразительное сходство» между нѣкоторыми мѣропріятіями Екатерины и программою соціалистовъ. Но съ 1810 года произошло, по мнѣнію автора, вредное уклоненіе отъ финансовой политики Екатерины; рядомъ ошибокъ мы пришли нынѣ къ самому краю плутократической пропасти. Я бы гораздо дольше остановился на воззрѣніяхъ г. Степанова, если бы его сочиненіе имѣлось въ болѣе полномъ и законченномъ видѣ. Теперь же его воззрѣнія занимаютъ меня не столько по существу, сколько по отношенію къ «Гражданину». Г. Достоевскій такъ много и такъ сильно ругался надъ соціализмомъ, что я никакъ не ожидалъ встрѣтить въ его газетѣ мысли въ родѣ вышеприведенныхъ. Презрѣнныя требованія безбожной «интернаціоналки» оказываются справедливыми требованіями «интернаціонала». Соціализмъ оказывается спасеніемъ народа и несвоевременное исполненіе его программы должно повести къ неисчислимымъ бѣдствіямъ. Оказывается даже поразительное сходство между соціалистической программой и программой славной русской императрицы. Въ № 1 Гражданина» раздавались ругательства противъ соціализма и одобрялся проектъ новаго положенія объ акціонерныхъ обществахъ, которымъ проектомъ облегчается развитіе этихъ учрежденій Въ № 10-мъ «Гражданина» раздаются похвалы соціализму и одобряется проектъ американскихъ соціалистовъ, требующій совершенно уничтоженія акціонерныхъ обществъ. Не есть ли это та же самая, разсказанная г. Успенскимъ исторія добраго солдата Кудиныча, который неизвѣстно за что и для чего перебилъ многое множество чудеснѣйшаго народа изъ черкесовъ? Исторія, можетъ быть, и пріятная, и лестная для нашего са-

молюбія, потому что Кудинычъ добрый, но всетаки, съ другой стороны, исторія скверная, потому что какъ ни какъ, а народу чудеснѣйшаго перебито гибель.

Ничего подобнаго этому казусу въ заграничной печати случиться не можетъ. И не потому вовсе, что тамъ, напримѣръ, лучше понимается теоретическое значеніе соціализма или иной какой доктрины, чѣмъ у насъ. Собственно азбуку-то теоретическую г. Достоевскій, конечно, знаетъ, а съ другой стороны, возможны на этомъ пунктѣ и въ Европѣ ошибки, чисто умственнаго свойства. Дѣло въ томъ, что въ Европѣ невозможно такое нравственное шатаніе, такой недостатокъ дѣйствительной любви и дѣйствительной ненависти, какой обнаруживается въ приведенномъ эпизодѣ съ «Гражданиномъ». Въ Европѣ люди или не говорятъ серьезно о той или другой доктринѣ, о тѣхъ или другихъ интересахъ, о томъ или другомъ дѣлѣ, или же отдаются ему цѣликомъ въ положительномъ или отрицательномъ смыслѣ, т. е. либо ненавидятъ его всѣмъ сердцемъ, либо кладутъ за него жизнь свою. И если у кого изъ этихъ европейскихъ людей даже не хватитъ разуму и фактическихъ знаній для отличенія предметовъ ненависти отъ предметовъ любви, то имъ подскажетъ самое ихъ положеніе—что нужно дѣлать и говорить. У насъ не то. Не то что г. Достоевскій, а такой, можно сказать, прожженный человѣкъ, какъ г. Скальковскій, находящійся въ водоворотѣ практической жизни, профессоръ политической экономіи, дѣлопроизводитель общества содѣйствія русской промышленности и торговлѣ,—и тотъ вдругъ ни съ того, ни съ сего объявляетъ, что содѣйствуемыя имъ торговля и промышленность ведутъ къ нищетѣ, преступленіямъ и проч. А блеснувъ такимъ образомъ соціализмомъ, вновь возвращается къ содѣйствію. Все такіе добрые Кудинычи! А тамъ въ Европѣ-то сидятъ звѣри съ удивительнѣйшимъ нюхомъ, съ изощреннѣйшимъ чутьемъ, отъ младыхъ ногтей воспитывающіе въ себѣ ненависть и любовь и бьющіе и умирающіе не незнамо за что, а за то-то и то-то. Конечно, и тамъ много, очень много избивается черкесовъ, но за то тамъ ихъ чудеснѣйшимъ народомъ не считаютъ, да и фактически разница не велика: чудные черкесы и у насъ, въ концѣ концовъ, избиваются. Но такъ какъ Кудинычъ лично не имѣетъ интереса бить черкеса и даже считаетъ это грѣхомъ, то у него совѣсть больна, а у европейскаго звѣря она здорова. Борзятники! Мнѣ завидно: у васъ Щедринъ и Успенскій, возьмите и меня къ себѣ. Я давно говорилъ, что русская литература именно потому вяла и плоска, что работаетъ на благо еще не существующихъ у насъ интересовъ и что ей поневолѣ нельзя имѣть чистой совѣсти, а что въ сущности она, русская литература, добрая. Но вопросъ въ томъ, въ какой мѣрѣ можемъ мы положиться на эту доброту?

Подведемъ итоги, такъ какъ слагаемыя у насъ вышли черезчуръ разбросанными.

Если наша точка зрѣнія на то, гдѣ лучше и когда лучше, есть точка зрѣнія зародышевая, такъ это потому, что и сами мы только зародыши, и интересы наши только зародышевые, и вся Россія наша есть огромный зародышъ. Мы—дѣйствующія лица недописанной и только набросанной драмы. Но жизненныя драмы не остаются въ портфелѣ автора. Они непремѣнно дописываются и ставятся на сцену, вызывая аплодисменты, лавровые вѣнки, букеты розъ и камелій, съ одной стороны, свистки и гнилой картофель—съ другой. Допишется и поставится на сцену и наша русская драма. И мы за нее отвѣтственны, потому что мы не только дѣйствующія лица ея, а и авторы. Въ извѣстной фазѣ развитія зародыши весьма различныхъ организмовъ вполнѣ сходны между собой, такъ что по увѣренію натуралистовъ, не всегда даже легко сказать, какая именно форма должна развиться изъ даннаго зародыша. Вѣрно только то, что онъ зародышемъ не останется. Такъ и съ нашимъ громаднымъ зародышемъ—Россіей. Какъ бы мы ни услаждались мыслью о добротѣ Кудиныча и Кудинычей, но ей рано ли, поздно-ли придетъ конецъ, ибо совѣсть стремится къ равновѣсію. Одно изъ двухъ: будущій Кудинычъ либо перестанетъ бить черкеса совсѣмъ, хоть его самого убейте, либо будетъ бить его, какъ вреднѣйшаго человѣка и кровнаго своего врага. Будущій г. Скальковскій будетъ либо только содѣйствовать, либо только указывать на зловредность содѣйствія. Будущій «Гражданинъ» будетъ либо только проклинать соціализмъ, либо только возлагать на него надежды. Дѣйствительный, жизненный, кровный, личный интересъ прикуетъ ихъ крѣпко на крѣпко къ тому или другому образу мыслей и дѣйствій. Тогда намъ станетъ совершенно понятнымъ то, что мнѣ говорилъ мой собѣсѣдникъ—иностранецъ. Тогда явятся у насъ, можетъ быть, очень умные и образованные писатели, не имѣющіе никакого личнаго значенія и не помышляющіе о таковомъ; писатели которые будутъ совершенно удовлетворены тѣмъ, что въ извѣстное время будетъ сказано извѣстное слово; писатели, которые не будутъ въ состояніи ни писать на необитаемомъ островѣ, ни молчать въ своемъ отечествѣ. Явятся, можетъ быть, и другіе писатели, которые подобно вѣнскимъ публицистамъ и Вильмессану, будутъ продаваться съ аукціона, но будутъ дѣлать это открыто, во

всеуслышаніе, и не постыдятся разсказать всѣ подробности совершенной ими сдѣлки.

Эта чисто-психологическая сторона дѣла показываетъ, однако, только, что зародышъ перестанетъ быть зародышемъ. Но этого мало. Желательно знать, въ какія именно формы отольется зародышъ. А такъ какъ всякія наши предвидѣнія и разсужденія о будущемъ необходимо осложняются чисто-субъективными элементами, надеждами и опасеніями, то вопросъ сводится къ тому, какія именно формы развитія желательны для нашего зародыша. Если-бы мы имѣли дѣло съ настоящимъ органическимъ зародышемъ, то не о чемъ было бы и разсуждать, нечего было бы и волноваться. По неизвѣстнымъ намъ причинамъ, органическій зародышъ проходитъ въ своемъ развитіи всѣ тѣ стадіи, которыя прошелъ весь длинный рядъ его предковъ. Въ этомъ именно состоитъ законъ наслѣдственности. Господамъ органистамъ и другимъ приверженцамъ аналогическаго метода въ соціологіи было бы очень желательно подвести подъ этотъ законъ и развитіе обществъ. Но, къ счастію, или къ несчастію, это рѣшительно невозможно. Никакое общество не обязано проходить черезъ всѣ метаморфозы, которымъ подверглись его старшіе въ историческомъ порядкѣ родичи. Здѣсь имѣетъ мѣсто законъ не наслѣдственной, а педагогической передачи особенностей. Передача эта совершается двумя путями—положительнымъ и отрицательнымъ, которые, впрочемъ, почти всегда совпадаютъ. Страшны были муки родовъ науки въ старой Европѣ. Каждое крошечное открытіе имѣетъ тамъ длинную исторію умственныхъ и нравственныхъ усилій, заблужденій, преслѣдованій, борьбы. Пока тамъ развивалась такимъ образомъ наука, мы лежали на печи. Пришло время и для насъ, и мы получили въ свое распоряженіе науку, а между тѣмъ мы не дѣлали ея исторію, не участвовали въ ней. И никому не придетъ въ голову требовать, чтобы явился русскій Галилей, чтобы и все предшествовавшее Галилею повторилось у насъ, чтобы нашъ Галилей повторилъ свое «а всетаки движется» и т. д. Не только никому не придетъ въ голову такая нелѣпая идея, но всякій согласится съ тѣмъ, что желательно было бы устранить изъ исторіи науки въ Россіи и то малое (сравнительно), что напоминаетъ исторію Галилея. Да если бы кто-нибудь и пожелалъ этого, то онъ, конечно, остался бы при одномъ пожеланіи, ибо не принять готовую истину нельзя. На то она истина. Такъ совершается положительная педагогическая передача благъ цивилизаціи. Она, очевидно, не только не обязываетъ «соціальный организмъ» проходить метаморфозы старшихъ родичей, но, напротивъ, стремится устранить большинство ихъ въ организмахъ позднѣйшихъ. Этотъ процессъ устраненія составляетъ отрицательный путь педагогической передачи. Если мы видимъ, что, напримѣръ, извѣстная комбинація обстоятельствъ порождаетъ въ Европѣ рѣзню, то какой, съ позволенія сказать, чортъ потянетъ насъ къ этой комбинаціи? Конечно, мы постараемся обойти ее, должны, по крайней мѣрѣ, стараться изо всѣхъ силъ и можемъ отступить только передъ завѣдомою неизбѣжностью. Съ этой точки зрѣнія неопредѣленность зародышеваго состоянія представляетъ даже нѣкоторыя, и весьма важныя, удобства. Возьмемъ хоть бы нашу цензуру, чтобы не выходить изъ круга собственно литературныхъ дѣлъ. Цензура, конечно, вещь весьма стѣснительная. Но вслѣдствіе неопредѣленности нашего зародышеваго состоянія любая администрація по дѣламъ печати только въ рѣдкихъ случаяхъ можетъ сосредоточить у насъ свое вниманіе на одномъ какомъ нибудь, дѣйствительно важномъ пунктѣ. Она должна дѣйствовать больше, такъ сказать, въ разсыпную, иногда попадая, иногда минуя дѣйствительно больное мѣсто. Наши старшіе родичи—Австрія, Франція—уже прошли эту ступень развитія, тамъ печать болѣе или менѣе эмансипировалась отъ вліянія правительства. Но, въ силу разъясненнаго нами соціологическаго закона, періодическая печать попала въ руки горсти бароновъ биржи и фактически надѣла на себя ярмо цензуры плутократической. И ужъ эта цензура не промахнется, она задушитъ именно то, что стоитъ поперекъ дороги баронамъ биржи, и дастъ ходъ именно тому, что этимъ баронамъ требуется. Съ чисто психологической стороны, съ точки зрѣнія больной и здоровой совѣсти, это лучше, потому что люди, по крайней мѣрѣ, знаютъ чего хотятъ, чего не хотятъ, во что вѣрятъ, во что не вѣрятъ. Но съ точки зрѣнія соціологической, неопредѣленность нашего зародышеваго состоянія оставляетъ, по крайней мѣрѣ, надежду, что намъ пойдетъ въ прокъ примѣръ старшихъ родичей; что мы сумѣемъ обуздать своихъ журналистовъ, когда имъ придетъ въ голову мысль продаваться съ аукціоннаго торга; что мы вовсе обойдемъ эту непривлекательную ступень развитія періодической печати. Конечно, этой надеждѣ неизмѣнно сопутствуетъ опасеніе, что и намъ не избѣжать нѣкоторыхъ мерзостей европейской цивилизаціи: доброта Кудинычей сама по себѣ ни малѣйшей гарантіи не представляетъ. Но мы во всякомъ случаѣ имѣемъ возможность быть насторожѣ, и теперь же, заранѣе различать пшеницу и плевелы, приглядываясь къ рус-

скому зародышу, съ одной стороны, къ широко развившейся европейской жизни—съ другой. Если насъ спросятъ, въ чемъ именно состоятъ пшеница и плевелы и какіе ихъ отличительные признаки, то мы отвѣтимъ закономъ антиномичности всѣхъ благъ цивилизаціи: въ обществѣ, имѣющемъ пирамидальное устройство, всевозможныя улучшенія, если они направлены не непосредственно ко благу трудящихся классовъ, а ко благу цѣлаго, ведутъ исключительно къ усиленію верхнихъ слоевъ пирамиды. Понятія о благахъ цивилизаціи весьма элементарны и не нуждаются въ особыхъ разъясненіяхъ. Всякій знаетъ, что желѣзная дорога лучше проселка, что свобода лучше произвола, что знаніе лучше незнанія и т. д. Всѣ эти блага и берите, и вырабатывайте ихъ сами или пріобрѣтайте путемъ положительной и педагогической передачи. Все это—пшеница, но помните, что она, точно въ рукахъ фокусника, мгновенно обращается въ плевелы, какъ только направлена не непосредственно на благо трудящихся классовъ. Только на этомъ и больная наша совѣсть можетъ пока успокоиться, что будетъ дальше—неизвѣстно.

IV *).

Демократичны ли естественныя науки?—«Природа. Популярный естественно - историческій сборникъ». — Прекрасная Марина изъ Алаго Рога и г. Маркевичъ о дарвинизмѣ.—Недоумѣніе нулей.—Консерваторы и либералы о естественныхъ наукахъ.—«Соціологическіе этюды» г. Южакова. Идеалы человѣчества и естественный ходъ вещей.

Въ знаменитой книгѣ Бокля есть любопытный параграфъ подъ заглавіемъ: «Естественныя науки по существу своему демократичны». Параграфъ этотъ любопытенъ, впрочемъ, въ особенности тѣмъ, что отнюдь не оправдываетъ своего заглавія. Въ немъ Бокль говоритъ о значеніи, которое получили, незадолго до первой революціи, естественныя науки во Франціи, главнымъ образомъ въ Парижѣ. Во всевозможныя ученыя собранія, на лекціи химиковъ, геологовъ, минералоговъ, физіологовъ собирались массы слушателей, въ томъ числѣ и свѣтскія дамы; нѣкоторыя аудиторіи приходилось даже перестраивать, такъ какъ онѣ оказывались тѣсными и т. д. Бокль желаетъ придать этому явленію значеніе серьезнаго движенія, но изъ его же цитатъ видно, что оно было не совсѣмъ такъ и что тутъ значительную роль играло то, что называется модой. Дѣло, впрочемъ, не въ этомъ, а въ тѣхъ общихъ выводахъ, къ которымъ приходитъ Бокль относительно демократичности естественныхъ наукъ. Онъ говоритъ, что движеніе въ пользу ихъ способствовало шатанію старой общественной іерархіи; новыя симпатіи связали представителей различныхъ сословій, встрѣчавшихся въ аудиторіи, на лекціяхъ, въ засѣданіяхъ академіи; явилось новое мѣрило для опредѣленія достоинствъ человѣка—знаніе; люди раздѣлились на тѣхъ, кто учится, и на тѣхъ, кто учитъ; подчиненіе по званіямъ уступило мѣсто подчиненію по знаніямъ. «Аудиторія—храмъ демократіи. Кто приходитъ учиться, сознается въ своемъ невѣжествѣ, отказывается до нѣкоторой степени отъ своего превосходства и начинаетъ замѣчать, что величіе людей не имѣетъ связи съ блескомъ ихъ титуловъ или достоинствомъ ихъ рода; что оно заключается не въ ихъ щитахъ, ихъ гербахъ, генеологіяхъ и т. д., но зависитъ отъ обширности ума, силы способностей и полноты знаній».

Другихъ доводовъ въ пользу своего тезиса Бокль не приводитъ. А этихъ, кажется, немножко мало, потому что приведенный очеркъ демократизирующаго значенія естественныхъ наукъ можетъ быть отнесенъ отнюдь не къ однимъ естественнымъ наукамъ, а и къ лекціямъ знаменитыхъ нѣмецкихъ философовъ, и къ дѣятельности всѣхъ болѣе или менѣе крупныхъ религіозныхъ проповѣдниковъ, и къ лекціямъ средневѣковыхъ схоластиковъ и древнихъ греческихъ мыслителей, и проч., и проч., и проч. Словомъ, вездѣ, гдѣ люди собираются для наученія чему бы то ни было, имѣютъ мѣсто и новыя связи представителей различныхъ сословій, и раздѣленіе на тѣхъ, кто учится, и на тѣхъ, кто учитъ, и сознаніе въ своемъ невѣжествѣ и т. д. Во всемъ очеркѣ Бокля нѣтъ ни единой черты, которая оправдывала бы его тезисъ: «естественныя науки по существу своему демократичны». Да и трудно было бы его оправдать. А между тѣмъ выраженная въ немъ мысль принадлежитъ къ числу весьма распространенныхъ. Не то, чтобы ее часто ставили въ видѣ опредѣленно формулированнаго положенія, какою она является у Бокля, но большинству людей кажется почему-то, что демократическое движеніе должно сопровождаться развитіемъ естественныхъ наукъ, и обратно. Есть, конечно, исключенія. Такъ, напримѣръ, г. Любимовъ, какъ профессоръ, если не ошибаюсь, физики, съ одной стороны, и какъ сотрудникъ «Русскаго Вѣстника» и «Московскихъ Вѣдомостей»—съ другой, смотритъ на дѣло несомнѣнно иначе. Есть, разумѣется, много и другихъ исключеній, обусловленныхъ иными обстоятельствами, чѣмъ въ какихъ находится г. Любимовъ. Но въ общемъ существуетъ склонность связывать занятія естественными науками съ де-

*) 1873 г., апрѣль.

мократическими идеями равенства и свободы. Чуть только гдѣ заходитъ рѣчь о естественныхъ наукахъ, какъ являются волонтеры-альгвазилы и, насторoживъ уши, прислушиваются—не будетъ-ли чего по части демократическихъ идей или даже подрыванія основъ. Сторонники же демократическихъ идей, въ свою очередь, склонны видѣть въ естествознаніи свою лучшую и прочнѣйшую опору. Въ этомъ воззрѣніи заключается значительная доля истины. Но, къ сожалѣнію, оно принимается вообще безъ должной критики, инстинктивно, вслѣдствіе чего дѣйствительныя связи и отношенія, существующія между изученіемъ природы и демократическими идеями, остаются не выясненными. А всякое не выясненное и на вѣру принятое положеніе необходимо ведетъ къ путаницѣ, часто очень прискорбной и тяжело отзывающейся на цѣлой массѣ людей, даже на всемъ ходѣ общественнаго развитія.

Передо мной лежитъ популярный естественно-историческій сборникъ «Природа», книга, роскошно изданная въ Москвѣ, подъ редакціей гг. Усова и Сабанѣева. Сборникъ этотъ, какъ видно изъ заявленія редакціи, имѣетъ современемъ обратиться въ періодическое изданіе и замѣнить собою прекратившійся московскій «Вѣстникъ естественныхъ наукъ». Въ сборникѣ есть очерки африканской фауны г. Анучина, есть «Поѣздка къ вулканамъ Италіи» г Траутшольда, есть статьи г. Усова «Сиватерій» и «Носорогъ московскаго зоологическаго сада», есть публичныя лекціи астрономіи г. Бредихина и проч. Спрашивается, въ какомъ отношеніи къ демократическимъ идеямъ находится этотъ сборникъ? Осмѣливаюсь *думать*, что отношенія эти, по крайней мѣрѣ, *до* такой степени отдаленны, что ихъ нѣтъ возможности принимать въ соображеніе. Человѣку аристократическихъ ли, или демократическихъ убѣжденій одинаково не вредно получить понятіе о сиватеріи, или о горномъ баранѣ или о лунѣ. И явись подобныхъ книгъ тысячи, они не повліяютъ на развитіе демократическихъ идей. Конечно, гг. редакторы «Природы», какъ они сами говорятъ, тщательно избѣгали «тенденціозности», и люди, полагающіе, что естественныя науки по существу своему демократичны, могутъ сказать, что въ этомъ именно дѣло. Хоть это аргументъ не совсѣмъ ловкій для сторонниковъ демократичности естественныхъ наукъ *по существу*, но мы на этомъ основываться не будемъ. Возьмемъ другіе примѣры. Защитники рабства негровъ выпустили не мало книгъ, брошюръ и статей, въ которыхъ, при помощи естественныхъ наукъ, доказывалось, что негры, по такимъ-то и такимъ-то анатомическимъ и физіологическимъ даннымъ, должны быть признаны низшею расой; что въ виду этого нелѣпо толковать о политическомъ или гражданскомъ равенствѣ негровъ и бѣлыхъ, неравныхъ по природѣ и т. д. Не въ томъ дѣло, правильны или неправильны были выводы и доводы рабовладѣльческихъ натуралистовъ, а только въ томъ, что они, рабовладѣльческіе натуралисты или опирающіеся на естественныя науки рабовладѣльцы, возможны, существуютъ. Въ теперешнемъ спорѣ изъ-за женщинъ въ цирюхскомъ университетѣ, многіе изъ противниковъ женскаговопроса, будучи натуралистами по профессіи, точно такъже опираютъсвою аргументацію на естественно-научныя данныя и, слѣдовательно направляютъ естественныя науки противъ идей равенства и свободы. Конечно, удержаніе негровъ и женщинъ, при помощи естественныхъ наукъ, внѣ демократическаго движенія, можетъ быть разсматриваемо, какъ частный случай. Хотя факты этого рода даже въ видѣ частныхъ случаевъ имѣютъ весьма важное значеніе. Но дѣло въ томъ, что цѣлая фаланга дарвинистовъ послѣднее время весьма ясно обобщила эти отдѣльные факты и рѣзко противопоставила демократическимъ идеямъ естественно-научныя данныя. Исходя изъ этихъ данныхъ, дарвинисты, по своему пожалуй, довольно логично, заключаютъ, что неравенство и борьба составляютъ верховный законъ общественной жизни. Не смотря на эти явленія, большинство нашихъ образованныхъ людей всетаки продолжаетъ думать, что естественныя науки по существу своему демократичны. Уже одно это упорство должно заставить думать, что въ основаніи мнѣнія о демократичности естественныхъ наукъ дѣйствительно лежитъ истина. Но въ такомъ случаѣ становится любопытнымъ вопросъ: какъ объяснить пункты открыто враждебнаго столкновенія естественныхъ наукъ съ демократическими идеями? И до какихъ именно предѣловъ простираются ихъ дружелюбныя отношенія?

Объ томъ, что естественныя науки могутъ, въ извѣстныхъ случаяхъ, или, вѣрнѣе, въ случаяхъ вообще говоря неизвѣстныхъ, быть неблагосклонны къ демократическимъ идеямъ, объ этомъ прослышалъ даже г. Маркевичъ, романистъ «Русскаго Вѣстника» и «Journal de St.-Petersbourg». Въ «Русскомъ Вѣстникѣ» печатается нынѣ романъ этого писателя «Марина изъ Алаго Рога». Объ самомъ романѣ я сказать ничего не имѣю, и читатель, надѣюсь, проститъ мнѣ умолчаніе объ немъ. Я только разскажу одно мѣсто. Героиня, та самая Марина изъ Алаго Рога, по имени которой названъ романъ, бывшая «нигилистка», встрѣчается съ нѣсколькими аристократами. Она поражается ихъ духовнымъ изяществомъ, ихъ многочисленными и

полновѣсными достоинствами. Она припоминаетъ, что во времена ея нигилизма ей говорили о происхожденіи человѣка отъ обезьяны и другихъ, еще болѣе низкихъ животныхъ формъ путемъ выдѣленія высшихъ, лучшихъ особей. Ей приходитъ въ голову маленькая соціологическая теорія: не суть ли стоящіе вокругъ нея изящные графы и князья такія же высшія, лучшія особи, выдѣленныя изъ среды грубаго люда тѣмъ самымъ процессомъ, который выдѣлилъ въ свое время сначала обязьяну, а потомъ и грубый людъ? Теорія эта не только въ своемъ родѣ не хуже другихъ, но даже есть именно та самая, которая сочинена и апробована весьма многими учеными и неучеными реалистами какъ европейскими, такъ и отечественной фабрикаціи. Они предвосхитили ее у бѣдной Марины изъ Алаго Рога, ограбили сироту г. Маркевича. Печальная, но довольно обыкновенная, такъ что даже мало интересная исторія. Но г. Маркевичъ, не смотря на всю свою невинность, и этой исторіи сумѣлъ придать нѣкоторый интересъ правда, главнымъ образомъ отрицательный. Марина, по всѣмъ видимостямъ, — у дюжинныхъ романистовъ эти видимости всегда очень прозрачны,—должна въ концѣ романа получить либо монтіоновскую премію за добродѣтель, либо лавровый вѣнокъ, либо похвальный листъ, бронзовую или болѣе цѣннаго металла медаль, вообще что-нибудь въ знакъ одобренія. Какъ достойная одобренія дѣвица, она и сочиняетъ приведенную теорію, обращая даже міазмы своего прошлаго нигилизма въ благоуханное куреніе передъ лицомъ изящныхъ графовъ и князей. Но оказывается, что нѣкоторая доля міазмовъ нигилизма рѣшительно неподдается переработкѣ въ благоуханное куреніе. Это именно та доля, въ которой говорится, что человѣкъ произошелъ отъ низшихъ животныхъ формъ. А между тѣмъ безъ этой доли нѣтъ и остального, нѣтъ реалистической, естественно-научной санкціи графскихъ и княжескихъ достоинствъ, присущихъ аристократіи единственно въ силу того, что она аристократія. Какъ достойная одобренія дѣвица, прекрасная Марина изъ Алаго Рога становится въ тупикъ: какъ устроить такъ, чтобы и невинность соблюсти, и капиталъ пріобрѣсти? И хочется, и колется. Но такъ какъ хочется и колется вовсе не прекрасной Маринѣ изъ Алаго Рога, а ея создателю, г. Маркевичу, то послѣдній разрубаетъ узелъ наподобіе Александра Македонскаго. Онъ заставляетъ прекрасную Марину, немедленно по сочиненіи и изложеніи теоріи, отвернуться отъ нея, даже нѣсколько посмѣяться надъ ней. Такимъ образомъ и достигается предположенный результатъ: невинность соблюдается, но пріобрѣтается вмѣстѣ съ тѣмъ и капиталъ. Съ одной стороны, выходитъ, что, какъ ни вертись, а и изъ науки, изъ законовъ природы вытекаетъ несомнѣнность достоинствъ аристократіи, а съ другой—этой же самой наукѣ, этимъ же самымъ законамъ природы показывается кукишъ.

Такое стремленіе къ пріобрѣтенію капиталовъ при соблюденіи невинности составляетъ довольно характеристическое явленіе въ нашей литературѣ. Знакомая намъ формула «можно не соглашаться, но должно признаться» есть одно изъ частныхъ проявленій этого стремленія. Съ другими этого рода фактами приходится сталкиваться на каждомъ шагу. Нѣсколько смѣшно говорить о нашихъ политическихъ партіяхъ, но во всякомъ случаѣ люди, къ которымъ кѣмъ-то и зачѣмъ-то привѣшаны ярлыки: «консерваторъ», «либералъ», у насъ существуютъ. Въ программу людей съ ярлыкомъ «консерваторъ» входятъ, между прочимъ, ненависть къ демократическимъ идеямъ и опасенія насчетъ зловреднаго вліянія естественныхъ наукъ. Въ программу людей съ ярлыкомъ «либералъ» входитъ,напротивъ уваженіе,и къ естественнымъ наукамъ, и къ демократическимъ идеямъ. Люди эти даже не безъ гордости носятъ свои ярлыки. Но такъ какъ послѣдніе привѣшаны къ нимъ неизвѣстно когда, неизвѣстно кѣмъ, неизвѣстно зачѣмъ, неизвѣстно за что, то мало-мальски сложная коллизія обстоятельствъ мгновенно обращаетъ ихъ въ нулей, недоумѣвающихъ къ какой имъ пристать единицѣ. Вольный альгвазилъ, скрывающійся подъ ярлыкомъ «консерваторъ» и такъ легко и плавно исполняющій добровольно, нерѣдко безвозмездно принятую на себя обязанность, вдругъ останавливается и задаетъ себѣ гамлетовскій вопросъ: ловить или не ловить? преслѣдовать или не преслѣдовать? Съ другой стороны,и преслѣдуемый, ловимый волонтеромъ-альгвазиломъ «либералъ» тоже недоумѣваетъ. И онъ оказывается въ положеніи Гамлета, и передъ нимъ стоитъ альтернатива, съ которой онъ рѣшительно не умѣетъ справиться: либерально или не либерально? вотъ въ чемъ вопросъ. Вамъ случалось вѣроятно, читатель, видѣть, какъ два нерѣшительные человѣка, столкнувшись на тротуарѣ, не знаютъ, какъ разойтись, какъ дать другъ другу дорогу: одинъ толкнется вправо и другой туда же, одинъ влѣво и другой влѣво. Такъ-то нерѣдко топчутся другъ передъ другомъ наши консерваторы и либералы. Не умѣя выпутаться изъ коварныхъ сѣтей эмпиризма и задолбленныхъ параграфовъ своихъ символовъ вѣры, «консерваторъ» и «либералъ» одинаково стремятся къ пріобрѣтенію капиталовъ при соблюденіи невинности. Но увы!

преданіе о той дѣвицѣ, которой удалась эта щекотливая операція, принадлежитъ къ числу миѳическихъ.

Дѣло въ томъ, что различные принципы личной, семейной, общественной, политической жизни и дѣятельности, будучи разсматриваемы съ нѣкоторой исторической высоты, смѣняютъ другъ друга въ извѣстномъ правильномъ порядкѣ. Но эта правильность въ общемъ, этотъ порядокъ смѣны дѣйствующихъ принциповъ черезъ извѣстные, весьма долгіе промежутки времени, нисколько не мѣшаютъ существованію хаоса въ данный историческій моментъ. Въ настоящую, какъ и во всякую другую, минуту мы можемъ встрѣтить единовременно и развѣтвленія исторической формаціи, въ общемъ уже сданной въ архивъ, и цѣпкія силы настоящаго момента, и проблески будущаго. И все это распредѣляется весьма неправильно, такъ какъ случайныя эмпирическія условія заставляютъ иногда сростаться развѣтвленія совершенно различныхъ корней. Къ папской энцикликѣ 1864 года было приложено краткое обозрѣніе «главнѣйшихъ заблужденій нашего времени», вызвавшихъ въ различныя времена аллокуціи, окружныя посланія и проч. со стороны Пія IX. Заблужденія расположены въ такомъ порядкѣ: пантеизмъ, натурализмъ, абсолютный раціонализмъ, умѣренный раціонализмъ, индифферентизмъ, соціализмъ, коммунизмъ, тайныя общества, библейскія общества, общества либеральныхъ священниковъ и т. д. Этотъ винигретъ очень забавенъ, и только папа могъ его состряпать. Онъ единственный человѣкъ въ цѣломъ мірѣ, для котораго одинаково ненавистно все народившееся, окрѣпшее, даже успѣвшее ослабѣть со времени среднихъ вѣковъ. Строго говоря, не онъ одинъ, конечно, потому что есть же у него приверженцы и единомышленники. Но будучи единственнымъ цѣльнымъ представителемъ среднихъ вѣковъ, онъ одинъ въ цѣломъ мірѣ занимаетъ такое общественное положеніе, которое логически обязываетъ его и вмѣстѣ съ тѣмъ даетъ ему полную возможность ненавидѣть безразлично всѣ принципы новой исторіи. Проводить свою ненависть и въ теоріи, и въ жизни папѣ весьма легко. Ему стоитъ только сообразить, когда народилось подлежащее разсмотрѣнію явленіе —до Лютера или послѣ него. Никто другой не имѣетъ въ своемъ распоряженіи такой ясной водораздѣльной линіи. Многіе желали бы видѣть ее въ первой французской революціи; но это оказывается крайне неудобнымъ, потому что послѣ этой революціи народилось многое, что сбиваетъ правильность водораздѣла, перерѣзывая въ нѣкоторыхъ мѣстахъ его линію, въ другихъ отодвигая ее въ ту, или другую сторону. Вслѣдствіе этого далеко не всегда бываетъ легко оріентироваться въ массѣ принциповъ новой исторіи, отличить степень ихъ логической связи отъ степени связи эмпирической, фактической. Если таково положеніе дѣлъ въ Европѣ, то у насъ хаосъ естественно долженъ быть еще ощущительнѣе, потому что многіе изъ нашихъ ходячихъ принциповъ представляютъ собою явленіе наносное, которое настоящихъ жизненныхъ корней не имѣетъ. Мы жили только отраженной цивилизаціей и на собственной шкурѣ, сравнительно говоря, почти не испытали ни благъ, ни печальныхъ послѣдствій новой исторіи. Въ виду этого господствующее у насъ недоумѣніе нулей имѣетъ для себя полнѣйшее оправданіе въ самомъ ходѣ нашей жизни, помимо того, что нуль есть всегда нуль и спрашивать съ него много нельзя. Однако, недоумѣніе это, будучи явленіемъ, во всякомъ случаѣ, прискорбнымъ, не должно быть оставляемо на произволъ судьбы. Даже такую прекрасную и достойную одобренія дѣвицу, какъ Марина изъ Алаго Рога, даже такого волонтера-альгвазила, какъ г. Маркевичъ, полезно наставить на путь истины, указать имъ путь къ выходу изъ недоумѣнія. Ибо выгоды стремленія къ пріобрѣтенію капиталовъ при соблюденіи невинности, даже въ случаѣ успѣха, крайне призрачны. А прекрасная и достойная одобренія Марина изъ Алаго Рога и духовный отецъ ея, г. Маркевичъ, суть типы, при томъ же очень распространенные.

Если бы Бокль сказалъ не то, что естественныя науки демократичны по существу, а что изученіе природы было наканунѣ первой революціи тѣсно связано съ демократическими идеями, то онъ выставилъ бы тезисъ, конечно, гораздо болѣе скромный, но за то и болѣе удобный для защиты. Подрывая авторитетъ католическихъ доктринъ, изученіе природы уже тѣмъ самымъ способствовало расшатыванію всей плотно спаянной феодальной системы, а, слѣдовательно, косвенно служило демократическимъ идеямъ равенства и свободы. Феодальный строй имѣлъ свою верховную санкцію въ католицизмѣ, шатаніе котораго неизбѣжно должно было отозваться и на всемъ зданіи. Во-вторыхъ, болѣе или менѣе пристальное изученіе природы наводило на мысль о несостоятельности общественныхъ неравенствъ, санкціонированныхъ феодальнымъ правомъ, неравенствъ, основанныхъ не на естественныхъ достоинствахъ и недостаткахъ различныхъ классовъ людей, а на историческихъ преданіяхъ и военномъ бытѣ. Въ-третьихъ, наконецъ, изученіе природы, давая толчекъ техникѣ, способствовало усиленію класса людей промышленныхъ, т. е. тѣхъ именно, которые до-

бивались осуществленія идей равенства и свободы. Вотъ, если не ошибаюсь, всѣ пути, которыми наканунѣ революціи и естественныя науки служили демократическимъ идеямъ. Но слѣдуетъ замѣтить, что честь этого служенія раздѣлялась съ естественными науками и многими другими элементами. Всѣ дороги ведутъ въ Римъ, говоритъ пословица. Такъ и наканунѣ революціи всѣ дороги вели къ ней. Изученіе классической древности, ея республиканскихъ учрежденій, приводило въ то время людей къ тому же, въ концѣ концовъ, практическому результату, что и естественныя науки, точно такъ же, какъ и метафизическое изученіе человѣческаго духа. Въ самомъ католицизмѣ даже находились элементы, покорно впрягавшіеся въ чуждую имъ новую историческую колесницу. Далѣе надо замѣтить, что демократическое значеніе естествознанія наканунѣ революціи показываетъ только, что и на будущее время и во всякомъ другомъ мѣстѣ, при столкновеніи параллельныхъ, сходныхъ условій, повторится та же исторія. Т. е. естественныя науки будутъ всегда и вездѣ постольку демократичны, поскольку аристократическій строй общества будетъ санктироваться католицизмомъ, поскольку будутъ играть роль неравенства, основанныя на феодальномъ правѣ, на историческихъ преданіяхъ, на военномъ бытѣ. Но больше ничего опытъ первой революціи намъ не гарантируетъ. Мы не имѣемъ пока ни малѣйшаго основанія утверждать, что естественныя науки демократичны по существу, мы не смѣемъ поручиться за то, что онѣ сохранятъ свой демократизующій характеръ при иныхъ обстоятельствахъ, болѣе или менѣе отличныхъ отъ дореволюціоннаго порядка вещей.

Давно уже, еще въ 1869 году, въ статьѣ «Что такое прогрессъ?» я представилъ теоретическія основанія, въ силу которыхъ центральнымъ пунктомъ философіи исторіи должна быть признана форма коопераціи. «Литературныя замѣтки» даютъ мнѣ постоянно случай подтверждать на томъ или другомъ частномъ примѣрѣ, что дѣйствительно явленія общественной жизни только тогда могутъ быть правильно освѣщены, когда принята въ соображеніе смѣна формъ кооперацiи. Теперь мы имѣемъ дѣло съ естественными науками. Представимъ себѣ, что та форма общественной жизни, къ которой тяготѣли главнѣйшія струи первой революціи, осуществилась вполнѣ. Представимъ себѣ, что въ обществѣ нѣтъ неравенствъ, основанныхъ на феодальномъ правѣ, на принципѣ происхожденія отъ различныхъ предковъ, нѣтъ и освящающаго этотъ порядокъ католицизма; за то весьма ясно очерчены неравенства, основанныя на имущественномъ началѣ и началѣ умственнаго развитія. Это значитъ, что аристократія въ обыкновенномъ смыслѣ исчезла, но ее замѣнила аристократія капитала и образованія. Будутъ ли въ этой формѣ коопераціи естественныя науки демократичны? Я говорю: не знаю, потому что демократическое прошлое естественныхъ наукъ, будучи обусловлено особыми формами коопераціи, съ паденіемъ этихъ формъ для меня ничего не гарантируетъ. Что же касается до той вышеописанной формы короперацiи, къ которой тяготѣла первая французская революція, то я ея въ чистомъ видѣ не видалъ и не знаю, современное положеніе цивилизованныхъ обществъ представляетъ смѣсь обломковъ феодальныхъ формъ коопераціи, формъ, вызванныхъ первой революціей и формъ, народившихся послѣ нея и подъ другими вліяніями. И въ этой смѣси естественныя науки оказываются попеременно то аристократическими, то демократическими. Они то дружатъ съ демократическими идеями равенства и свободы, то рѣзко возстаютъ противъ нихъ. Нельзя ли какъ-нибудь опредѣлить, обобщить эти случаи дружбы и вражды?

Я замѣчаю, во-первыхъ, что въ каждомъ государствѣ, каково бы ни было его политическое и собственно общественное устройство, поощряются и покровительствуются естественныя науки, какъ практическіе служители любой формы коопераціи. Теперешняя французская республика и республика 1848 года, правительство Фигвэраса и Кастеляра и правительство королевы Изабеллы, министерство Гладстона и министерство Дизраэли, одинаково заинтересованы въ томъ, чтобы развѣдывались и правильно разрабатывались каменноугольныя копи, золотыя розсыпи, рудники, чтобы акклиматизировались новыя хлѣбныя растенія и кормовыя травы, чтобы открывались новыя питательныя вещества, чтобы разводились лучшія породы скота и проч. А все это можетъ достигаться только при помощи изученія природы, каковое, слѣдовательно, въ видѣ техническихъ приложеній служитъ кому угодно. Конечно, и въ дореволюціонное время никакая государственная власть не отказалась бы отъ услугъ, напримѣръ, химіи, хотя бы для произведенія разслѣдованія по какому-нибудь дѣлу объ отравленіи: точно такъ же не отказалась бы она отъ услугъ другихъ естественныхъ наукъ, приложеніе которыхъ обезпечивало бы правильное поступленіе податей. Но размѣръ этого плюса совершенно стушевывался передъ размѣромъ того минуса, въ силу котораго значеніе государственной власти уступало мѣсто значенію промышленнаго класса, буржуазіи. Эта послѣдняя, не отвлекаемая ни военными задачами, ни обязательствомъ вни-

кать въ дѣла всѣхъ сословій, пользовалась техническими приложеніями естественныхъ наукъ въ несравненно большемъ размѣрѣ, чѣмъ государственная власть, вышедшая изъ феодальнаго права. Это перенесеніе центра тяжести общества изъ феодальной власти во власть буржуазіи, рвавшейся къ равенству и свободѣ, было однимъ изъ дѣлъ естественныхъ наукъ, хотя и не ихъ однѣхъ. Дѣло это было демократическое. Но съ тѣхъ поръ воды утекло много. Можно сказать, во всѣхъ государствахъ Европы феодализмъ вступилъ въ сдѣлку съ революціей, выгладился, выровнялся, болѣе или менѣе слилъ свои интересы съ интересами буржуазіи. Въ этихъ переходныхъ формахъ, напоминающихъ кентавровъ, химеръ, гиппогрифовъ и другихъ нескладныхъ чудищъ миѳической древности, естественныя науки (имѣя пока въ виду только одну сторону дѣла—техническія приложенія), очевидно, должны попеременно служить то одной, то другой изъ эмпирически слившихся, но логически враждебныхъ силъ. Слѣдить за всѣми этими колебаніями мы здѣсь, конечно, не будемъ и отмѣтимъ только одно обстоятельство: поскольку техническія приложенія естественныхъ наукъ ослабляютъ силу и значеніе феодальныхъ началъ, они вездѣ оказываются служителями демократическихъ идей равенства и свободы. Но не болѣе, какъ постольку. Есть у этого великолѣпнаго развитія техники и другая сторона, которая не мирится съ демократическими идеями. Тѣ же самыя приложенія естественныхъ наукъ къ практическимъ нуждамъ, которыя расшатываютъ феодализмъ, вмѣстѣ съ тѣмъ концентрируютъ общественную силу въ рукахъ буржуазіи и усиливаютъ гнетъ труда капиталомъ, усиливаютъ имущественное неравенство и приковываютъ рабочаго къ совершенно несвободной дѣятельности. Процессъ этотъ былъ нами не разъ описываемъ и здѣсь мы обращаемъ вниманіе только на одинъ изъ пунктовъ расхожденія естественныхъ наукъ съ демократическими идеями равенства и свободы. Причинъ этого враждебнаго столкновенія слѣдуетъ искать, разумѣется, не въ самихъ естественныхъ наукахъ, даже не въ прикладныхъ ихъ отрасляхъ, а только въ формахъ кооперацiи. Сами по себѣ естественныя науки доставляютъ только свѣдѣнія, а соціальные результаты практическаго приложенія этихъ свѣдѣній зависятъ уже отъ свойствъ данной комбинаціи общественныхъ силъ.

Переходя къ естественнымъ наукамъ по существу, къ теоретическому ихъ значенію, къ тому содержанію, которое они вносятъ въ жизнь помимо практическихъ приложеній, мы встрѣчаемъ то же самое явленіе. И здѣсь опять-таки естественныя науки сами по себѣ даютъ только свѣдѣнія, а группировка этихъ свѣдѣній обусловливается данною формою кооперацiи. И здѣсь опять-таки, въ настоящій историческій моментъ, естественныя науки оказываются друзьями демократическихъ идей ровно постольку, поскольку еще живы начала феодализма, и не болѣе. Возьмемъ хотя тотъ же дарвинизмъ. Можно-ли сказать, имѣя въ виду эту ученіе, что естественныя науки демократичны по существу? Бокль, по всей вѣроятности, не отказался бы и въ этомъ случаѣ отъ своего тезиса. Онъ указалъ бы, вѣроятно, на глубоко демократическій характеръ идеи происхожденія высшихъ формъ отъ низшихъ. Дѣйствительно, съ этой стороны дарвинизмъ логически ведетъ къ идеямъ равенства и свободы. Онъ доказываетъ людямъ, основывающимъ требованія исключительныхъ правъ и привилегій на своемъ происхожденіи, онъ доказываетъ имъ, что происхожденіе ихъ не важно вообще и въ частности не важнѣе происхожденія всѣхъ другихъ людей; возстановленіемъ образа нашего отдаленнаго предка онъ развѣваетъ блестящій ореолъ, окружающій въ преданіяхъ колыбель аристократіи; онъ уравниваетъ всѣхъ въ руслѣ общаго низкаго происхожденія. Это та именно сторона дарвинизма, которая пугаетъ или смѣшитъ достойныхъ одобренія дѣвицъ, въ родѣ прекрасной Марины изъ Алаго Рога, и волонтеровъ-альгвазиловъ, въ родѣ г. Маркевича. Бокль былъ бы правъ, указывая на эту демократическую струю дарвинизма. Онъ былъ бы даже, пожалуй, съ своей точки зрѣнія правъ, обобщая это положеніе до демократичности естественныхъ наукъ по существу. Но дѣло въ томъ, что философско-историческая точка зрѣнія Бокля есть точка зрѣнія умнаго, ученаго, либеральнаго англійскаго купца. Эту точку зрѣнія онъ проводитъ во всемъ своемъ знаменитомъ сочиненіи весьма послѣдовательно, но за предѣлами ея не видитъ почти ничего. Такъ и въ настоящемъ случаѣ, не смотря на весь умъ, на всю ученость, на весь либерализмъ Бокля, у него, вѣроятно, просто не хватило бы чутья (какъ не хватило во многихъ другихъ случаяхъ) для отдѣленія плевелъ отъ пшеницы. Либеральный англійскій купецъ, конечно, можетъ вполнѣ удовлетвориться демократизмомъ доктрины Дарвина, которая есть геніальная буржуазная теорія. Онъ, конечно, можетъ сказать: долой всѣ неравенства и привилегіи, основанныя на началахъ феодализма, на преданіи и идеѣ происхожденія. Но люди иного образа мыслей могутъ спросить дарвинистовъ, какъ у Мольера: vous êtes orfèvre monsieur Josse? Расшатывая неравенства и привилегіи, отмѣченныя печатью феодализма, ученіе Дарвина не только не представляетъ со-

бою орудія противъ неравенствъ и привилегій вообще, но, напротивъ, ставитъ ихъ на новую и болѣе прочную почву. Не даромъ прекрасная Марина и ея духовный отецъ кокетничаютъ съ дарвинизмомъ. Конечно, у нихъ дѣло ограничивается однимъ невиннымъ кокетствомъ, и никакая серьезная опасность не грозитъ ихъ цѣломудрію. Но есть люди не столь цѣломудренные, которые, проникнувшись либеральными вѣяніями новаго времени, говорятъ просто и откровенно: наплевать мнѣ на происхожденіе, если я, сообразно духу вѣка, могу имѣть привилегированное положеніе, во имя самыхъ что ни на есть реальныхъ принциповъ. Дарвинизмъ не только не демократиченъ по существу, но самымъ рѣзкимъ и опредѣленнымъ образомъ ставитъ неравенство и борьбу за лучшее положеніе въ обществѣ краеугольными камнями своей нравственно-политической доктрины. Онъ демократиченъ ровно постольку, поскольку демократична всякая другая буржуазная доктрина. Въ виду этого нельзя не пожелать, чтобы люди, къ которымъ, неизвѣстно кѣмъ, неизвѣстно зачѣмъ, пришпилены ярлыки: «консерваторъ» и «либералъ» были нѣсколько осмотрительнѣе. Быть можетъ, волонтеры-альгвазилы найдутъ въ естественныхъ наукахъ вообще и въ дарвинизмѣ въ особенности кое что для себя подходящее. Быть можетъ, и сторонники демократическихъ идей нѣсколько измѣнятъ свой символъ вѣры по отношенію къ изученію природы. Быть можетъ, консерваторы и либералы найдутъ возможность кое-гдѣ помѣняться мѣстами.

Всѣ приведенныя разсужденія вполнѣ приложимы и къ другой современной біолого-соціологической теоріи, тѣсно связанной съ дарвинизмомъ, къ теоріи такъ называемаго соціальнаго организма. Приложимы они и къ ученію о естественномъ ходѣ вещей. Здѣсь мы не имѣли въ виду вопроса объ томъ, насколько всѣ эти доктрины удовлетворяютъ требованіямъ логики и научности. Мы разбирали только, справедливо ли приписывать имъ демократическій характеръ. Наше мнѣніе объ нихъ, какъ о научныхъ и философскихъ теоріяхъ, читателю извѣстно. На этотъ разъ мы представимъ ему чужое мнѣніе.

Я уже говорилъ какъ-то, что въ журналѣ «Знаніе», въ № 12 прошлаго года и въ № 1 нынѣшняго, напечатаны очень замѣчательные «Соціологическіе этюды» г. Южакова. Мы давно уже не встрѣчали въ области общей соціологіи явленія, болѣе пріятнаго. Мы, впрочемъ, говоримъ только за себя. Едва ли этюды г. Южакова удовлетворятъ многихъ. Гг. Стронинъ, П. Л. и прочіе открыватели давно открытой Америки должны придти отъ нихъ просто въ ужасъ, какъ отъ самой злостной ереси. Правовѣрные реалисты должны почувствовать значительное смущеніе. Проницательные и ученые критики дожны сказать: «можно не соглашаться, но должно признаться». Довольно того, что г. Южаковъ утверждаетъ, что Дарвинъ и Спенсеръ ошибаются, а что у Фурье, не смотря на всѣ лимонадныя моря и couronnes boréales, можно найти весьма много поучительнаго. А между тѣмъ и открыватели давно открытой Америки, и правовѣрные реалисты, и проницательные и ученые критики такъ привыкли смотрѣть съ умиленіемъ на Дарвина и Спенсера, съ презрительнымъ снисхожденіемъ на Фурье... Открыватели давно открытой Америки, правовѣрные реалисты и проницательные и ученые критики такъ спокойно, даже гордо устроились на принципѣ тождества органическаго и соціальнаго прогресса,такъ увѣрились, что въ этомъ именно отождествленіи выражается уваженіе съ наукѣ вообще, къ естественнымъ наукамъ въ особенности. А г. Южаковъ стремится доказать, что процессы органическій и соціальный прямо противоположны; что важнѣйшіе факторы органическаго прогресса или вовсе не вліяютъ на ходъ общественной жизни, или производятъ въ немъ совершенно не тѣ результаты; что въ соціальной жизни нравственно политическіе идеалы вытѣсняютъ собою дѣйствіе сильнѣйшихъ біологическихъ факторовъ. Да, это ересь. Я думаю, однако, что никто въ литературѣ не осмѣлится ни разоблачить ее, ни пристать къ ней. Тѣмъ болѣе резоновъ остановить на ней вниманіе читателей.

Первый этюдъ г. Южакова носитъ заглавіе «Соціальное строеніе и соціальные дѣятели», и рѣчь въ немъ идетъ объ томъ—что такое общество. Подобно всему сущему, какъ мы его сознаемъ, подобно организмамъ, клѣточкамъ, небеснымъ тѣламъ, системамъ небесныхъ тѣлъ общество есть, прежде всего, аггрегатъ, то есть цѣлое, состоящее изъ частей, единое и многое вмѣстѣ. Необходимое условіе всякаго аггрегатнаго строенія есть существованіе силы, связывающей части аггрегата. Какая же сила обусловливаетъ собою аггрегатное состояніе общества? Сила эта должна представлять нѣкоторую комбинацію элементарныхъ силъ природы, каковы свѣтъ, теплота, электричество и проч. Но мы не имѣемъ никакой возможности найти формулу той комбинаціи силъ, которая заправляетъ обществомъ, потому что даже простыя явленія органической жизни, не говоря о психическихъ процессахъ, до сихъ поръ неразложимы на элементарныя силы. Но неизвѣстность формулы комбинаціи элементарныхъ силъ, двигающей общество, не мѣшаетъ намъ знать, что оно, общество, управляется тѣми же общими законами, которымъ подчинены

всѣ аггрегаты: общество накопляетъ и расходуетъ силу. Но общество есть не только аггрегатъ вообще, но и *живой* аггрегатъ. Поэтому, подобно организмамъ, «общества постоянно поглощаютъ, ассимилируютъ особей и меньшія общества, которыя встрѣчаютъ; чрезъ посредство размноженія они ассимилируютъ неорганическое вещество и элементарныя силы природы; они этого достигаютъ непосредственно, прямо ассимилируя неорганическое вещество и силы въ видѣ средствъ и орудій; они такимъ образомъ возобновляются, растутъ, приспособляются. Общественный процессъ, слѣдовательно, является не только процессомъ интеграціи и дисинтеграціи, подобно всѣмъ процессамъ природы, но также процессомъ постояннаго обмѣна вещества и силы и постоянаго приспособленія внутреннихъ и внѣшнихъ отношеній, подобно всѣмъ жизненнымъ процессамъ». Кромѣ того, общества, какъ и организмы, суть аггрегаты сложные, то-есть слагающіеся не прямо изъ молекулъ. Простыхъ организмовъ, слагающихся непосредственно изъ гипотетическихъ физіологическихъ единицъ Спенсера или зачатковъ Дарвина, въ природѣ весьма мало. Большинство организмовъ представляетъ собою результатъ интеграціи, слитія менѣе сложныхъ организмовъ. Процессъ этой интеграціи таковъ. Какіе нибудь простые организмы размножаются, вслѣдствіе чего образуется группа ихъ, общество организмовъ, имѣющихъ между собой нѣкоторую связь. Затѣмъ, вслѣдствіе различія во вліяніи внѣшнихъ силъ на различныя части группы, одни изъ нихъ развиваютъ преимущественно такія-то отправленія, другія—преимущественно такія-то. Это процессъ дефференцированія, но вмѣстѣ съ тѣмъ идетъ впередъ и интеграція: гомологическія, сходныя, однородныя части сростаются. Образовавшіяся этимъ срощеніемъ части еще болѣе спеціализируютъ свои отправленія и т. д., пока организмы не превратятся въ органы, а общество—въ особь.

«Этимъ путемъ интегрированія низшихъ организмовъ, при диффенцированіи ихъ отправленій, и произошли всѣ высшіе организмы. Общественность, какъ не полная интеграція, есть повсюду начало процесса, индивидуальность—его результатъ. Покамѣстъ аггрегатъ представляетъ только общественную интеграцію, всѣ главныя физіологическія функціи отправляются всѣми его составными единицами, онѣ непосредственно питаются, возобновляются, растутъ, размножаются, приспособляются и т. д.; спеціализація дѣятельности не можетъ распространяться на эти основные жизненные процессы. Переходъ отъ общественной формы аггрегаціи къ индивидуальной происходитъ постепенно, его можно прослѣдить даже на существующихъ органическихъ формахъ; завершается же онъ окончательною потерею отдѣльными частями общихъ органическихъ отправленій и спеціализаціей каждой частью особой функціи. Но если переходъ отъ общественной аггрегаціи къ индивидуальной и весьма мало замѣтенъ, то въ своихъ крайнихъ концахъ отличія обѣихъ формъ весьма рѣзки. Въ организмѣ его составныя части, его органы, единицы аггрегата — лишены всей совокупности жизненныхъ отправленій, дифференцированы физіологически и интегрированы въ одно механически неразрывное цѣлое; разрушеніе этой связи прекращаетъ жизненный процессъ. Въ обществѣ, его слагаемыя, единицы аггрегата обладаютъ всею полнотою жизненныхъ отправленій, физіологически однородны и не связаны механически; распаденіе аггрегата не влечетъ прекращенія жизненнаго процесса въ его единицахъ. Дифференцированію въ обществѣ могутъ подвергнуться только процессы служебные, отправленія, служащія для жизни, но не сами жизненные процессы. Въ этомъ заключается разница между обществомъ и организмомъ; оба принадлежатъ къ категеріи живыхъ аггрегатовъ и, какъ таковые, имѣютъ много общаго, отличающаго ихъ отъ аггрегатовъ неорганическихъ. Но въ предѣлахъ явленій жизни они представляютъ скорѣе двѣ противоположности: въ одномъ—отправленія строго дифференцированныхъ частей служатъ развитію цѣлаго; отъ такого подчиненія зависитъ возростаніе и умноженіе жизни; въ другомъ, напротивъ, отправленія цѣлаго, распредѣленныя между его единицами, служатъ для развитія этихъ единицъ, составляютъ подготовительную ступень къ отправленіямъ, общимъ всѣмъ единицамъ, и, чѣмъ всестороннѣе развивается общее всѣмъ частямъ, тѣмъ благопріятнѣе это для умноженія жизни. Общество и организмъ—это два полюса въ цѣпи живыхъ формъ. Чѣмъ выше, сложнѣе и опредѣленнѣе органическій аггрегатъ, тѣмъ менѣе шансовъ имѣетъ общество этихъ аггрегатовъ развиться въ организмъ, пока, наконецъ, на высшихъ ступеняхъ жизни это не становится невозможностью, non sens. Если оставимъ въ сторонѣ низшія формы и остановимся только на высшихъ, напримѣръ, человѣческомъ обществѣ и человѣческомъ организмѣ, то увидимъ бездну между этими двумя нормами жизни и должны ихъ признать противоположными по самому направленію жизненнаго процесса, при нормальномъ развитіи аггрегатовъ».

Къ сожалѣнію, эта часть перваго этюда г. Южакова наименѣе разработана. И я объ этомъ тѣмъ болѣе сожалѣю, что виноватъ тутъ отчасти именно я. Дѣло въ томъ, что авторъ ссылается на мою статью «Что такое прогрессъ?» въ виду которой считаетъ достаточнымъ ограничиться самымъ общимъ развитіемъ приведенныхъ идей. Это разсчетъ не совсѣмъ правильный. Авторъ совершенно справедливо говоритъ, что теоріи, отождествляющія соціальный процессъ съ органическимъ, стали слишкомъ распространенными, чтобы ихъ можно было игнорировать. Дѣйствительно, господа органисты плодятся и множатся въ геометрической прогрессіи, и потому здравомыслящіе люди должны пользоваться каждымъ случаемъ для уясненія истинныхъ отношеній, существующихъ между обществомъ и организмомъ, между соціальнымъ и органическимъ прогрессомъ. При томъ-же точка зрѣнія г. Южакова не во всемъ сходна съ моей; его доводы были

бы вѣроятно для многихъ убѣдительнѣе, да и самъ онъ не совсѣмъ доволенъ моей аргументаціей. Относительно изложеннаго я могу сказать только слѣдующее. Едва-ли не слишкомъ сильно увѣреніе автора, что всѣ высшіе организмы произошли путемъ сліянія низшихъ формъ, путемъ превращенія обществъ, группъ организмовъ въ единые сложные организмы. Мнѣ кажется, такъ категорично не выразился бы самъ авторъ этой теоріи—Спенсеръ. Впрочемъ, первый этюдъ г. Южакова долженъ представлять какъ бы введеніе въ цѣлый рядъ изслѣдованій, и здѣсь слѣдуетъ искать причинъ нѣкоторой его неясности, краткости и бѣглости. Второй этюдъ «Половой подборъ, какъ факторъ соціальнаго прогресса» представляетъ уже полную и обстоятельную монографію. Затѣмъ должны, повидимому, идти изслѣдованія подбора естественнаго и прямого приспособленія въ приложеніи къ обществу. Однако, еще въ первомъ этюдѣ мы встрѣчаемъ, кромѣ вышеприведеннаго, мысли и положенія, достойныя всякаго вниманія. Къ нимъ мы и обратимся теперь.

Въ коллективной и въ индивидуальной жизни идетъ постоянное возобновленіе вещества и силы. Это ихъ общая черта. Но въ коллективной жизни обновленіе вещества и силы производится исключеніемъ цѣлостныхъ жизненныхъ процессовъ и возникновеніемъ новыхъ, подобныхъ: недѣлимыя, носители жизненныхъ процессовъ, убываютъ, умираютъ и прибываютъ, рождаются. Въ жизни индивидуальной этимъ явленіямъ параллельны процессы питанія и выдѣленія, и въ этомъ случаѣ мы имѣемъ прибываніе и убываніе не самыхъ жизненныхъ процессовъ, а только ихъ матеріаловъ и элементовъ. Ростъ коллективной жизни выражается увеличеніемъ числа жизненныхъ процессовъ, а ростъ жизни индивидуальной увеличеніемъ количества вещества и силы, поглощаемаго однимъ жизненнымъ процессомъ.

Вещество и сила, необходимыя для постояннаго обновленія какъ индивидуальной, такъ и коллективной жизни, заимствуются изъ окружающей среды, вслѣдствіе чего живыя тѣла въ гораздо бо́льшей мѣрѣ зависятъ отъ условій среды, чѣмъ тѣла неорганическія. Приспособленіе къ условіямъ среды обязательно и для индивидуальной, и для коллективной жизни. Но приспособленіе совершается двояко. Задача состоитъ только въ томъ, чтобы установилось извѣстное равновѣсіе между жизненнымъ процессомъ и условіями среды, а это равновѣсіе достигается либо: 1) приспособленіемъ жизненнаго процесса къ внѣшнимъ вліяніямъ, либо 2) напротивъ, приспособленіемъ среды къ потребностямъ жизни. Будемъ называть, для краткости, эти два способа пассивнымъ и активнымъ приспособленіемъ (г. Южаковъ ихъ, впрочемъ, такъ не называетъ). Пассивное приспособленіе осуществляется въ индивидуальной жизни усиленіемъ, ослабленіемъ и прекращеніемъ извѣстныхъ отправленій, или возникновеніемъ новыхъ, словомъ, мы здѣсь имѣемъ *измѣненіе жизненнаго процесса*. Въ коллективной жизни пассивное приспособленіе проявляется накопленіемъ извѣстныхъ уклоненій и переживаніемъ приспособленнѣйшихъ, словомъ, происходитъ *замѣна однихъ жизненныхъ процессовъ другими*. Что касается до второго способа уравновѣшенія, т.-е. приспособленія активнаго, то на этомъ пунктѣ различіе между индивидуальною и коллективною жизнью особенно рѣзко и важно. Дѣло въ томъ, что способность индивидуальной жизни къ активному приспособленію весьма ничтожна, такъ что возникновеніе и дальнѣйшее развитіе этого способа уравновѣшенія жизни съ условіями среды зависитъ отъ коллективнаго процесса. И это самое важное различіе. Общество, приспособляясь само къ условіямъ среды, въ то же самое время болѣе или менѣе и ихъ приспособляетъ къ своимъ требованіямъ. Это приспособленіе достигается не непосредственно измѣненіемъ физической среды, а созданіемъ новой среды, соціальной—орудій производства, политическихъ учрежденій, науки,—словомъ, цивилизаціи. Соціальная среда то замѣняетъ, то ограничиваетъ и, во всякомъ случаѣ, преобразуетъ вліяніе физической среды. Особенность общества есть, слѣдовательно, существованіе особой среды на ряду съ общею всему живому физической средой. Общество есть живой аггрегатъ, создавшій свою особую среду, —таково опредѣленіе, предлагаемое нашимъ авторомъ. Посмотримъ теперь, въ чемъ ближайшимъ образомъ выражается вліяніе соціальной среды и какъ она создается. Видъ представляетъ также сложный аггрегатъ, проявленіе коллективной жизни, но онъ отличается отъ общества, во-первыхъ, слабостью интеграціи, то-есть реальной связи между отдѣльными его представителями, а во-вторыхъ, пассивностью приспособленія. Поступательное движеніе органическаго процесса совершается подъ вліяніемъ трехъ факторовъ, изъ которыхъ одинъ простой: прямое приспособленіе къ условіямъ среды, и два сложныхъ: естественный подборъ и половой подборъ, представляющіе извѣстныя комбинаціи простыхъ біологическихъ дѣятелей,—размноженія, наслѣдственности, измѣнчивости, скрещиванія. Простые біологическіе дѣятели несомнѣнно обязательны какъ для индивидуальной, такъ и для всѣхъ ви-

довъ коллективной жизни. Но въ обществѣ они принимаютъ совершенно особое направленіе. Напримѣръ, одно изъ самыхъ важныхъ значеній физическихъ дѣятелей въ органическомъ прогрессѣ имѣетъ порожденіе индивидуальной измѣнчивости, безъ которой былъ бы невозможенъ ни естественный, ни половой подборъ. Это вліяніе физическихъ дѣятелей сохраняется и въ соціальной жизни, «но значеніе его для прогресса діаметрально противоположно, потому что оно является не только не главнымъ импульсомъ прогресса, но даже его задержкой, по крайней мѣрѣ, большею частью. Пересмотримъ главныхъ дѣятелей физической среды съ этой точки зрѣнія. Вліяніе *климата* на органическій прогрессъ громадно; не столь велико, но все-же и не мало оно и въ соціальной жизни, но въ какомъ направленіи его дѣйствія? Дифференцировать племена различныхъ территорій, хотя бы одного происхожденія и одной культуры, и ассимилировать жителей одной и той же мѣстности, хотя бы весьма чуждыхъ по происхожденію и культурѣ,—вотъ его роль. Таково ли направленіе вліянія соціальной среды? Нѣтъ, оно стремится дифференцировать племена различныхъ культуръ, а въ сферѣ одной и той-же культуры—по роду занятій, и ассимилировать племена одной культуры, хотя бы живущія въ разныхъ мѣстахъ. Ясно, что теченія противоположны и взаимно исключаютъ другъ друга. Но этого мало, доставляя отопленіе, жилище, освѣщеніе, развивая обмѣнъ произведеній разныхъ странъ, соціальная среда непосредственно ограничиваетъ рѣзкость климатическихъ различій. То же должно сказать и о *почвѣ*. Главное ея вліяніе выражается въ доставленіи *пищи различной* для жителей различныхъ странъ, но обмѣнъ продуктовъ между странами, удобреніе, акклиматизація и проч. значительно сокращаютъ значеніе этихъ природныхъ различій. Кромѣ климата, почвы и пищи, Бокль признаетъ большое значеніе за *общимъ видомъ природы* на развитіе миѳическихъ воззрѣній, а слѣдовательно, вообще на умственный прогрессъ; но распространеніе науки, для всѣхъ странъ одинаковой, все болѣе и болѣе ограничиваетъ значеніе этого фактора». Другое важное вліяніе физической среды выражается ограниченностью средствъ существованія. Для органическаго прогресса извѣстный предѣлъ размноженія, обусловленный чисто стихійными силами, непереходимъ. Соціальная же среда, помощью особыхъ процессовъ, расширяетъ этотъ предѣлъ. И во всякомъ случаѣ ограниченность средствъ существованія и множество другихъ физическихъ дѣятелей играютъ въ соціальной жизни роль только тормаза, задержки прогресса, съ которыми человѣкъ неустанно борется. «Нѣкогда всемогущіе опредѣлители прогресса, физическіе дѣятели, въ развитой соціальной жизни, сохраняютъ преимущественно значеніе задержки, тормаза развитія; прямое опредѣленное ихъ вліяніе никогда не можетъ быть совершенно вытѣснено, но сводится къ сравнительно небольшимъ размѣрамъ».

Что касается до сложныхъ органическихъ дѣятелей, каковы естественный и половой подборы, то имъ обыкновенно приписывается значительное вліяніе въ общественной жизни. Но это совершенно неосновательно. Они представляютъ извѣстныя сочетанія простыхъ біологическихъ дѣятелей. Эти простые дѣятели такъ или иначе фигурируютъ въ соціальномъ процессѣ, но изъ этого еще не слѣдуетъ, чтобы въ общественной жизни имѣли силу и сочетанія ихъ. Это зависитъ отъ присутствія или отсутствія извѣстныхъ условій, при которыхъ возможно опредѣленное сочетаніе простыхъ дѣятелей. Для естественнаго подбора необходимы два условія: 1) малое количество средствъ существованія при данной быстротѣ размноженія, 2) возможность наслѣдственной передачи тѣхъ качествъ, которыми обусловливается побѣда въ борьбѣ за существованіе. Эти условія, безъ которыхъ естественный подборъ немыслимъ, могутъ быть и не быть налицо. Поэтому, говоря о значеніи естественнаго подбора въ общественной жизни, надо прежде всего разсмотрѣть, имѣются-ли въ обществѣ оба необходимыя для его проявленія условія. Половой подборъ для своего осуществленія также требуетъ наличности двухъ условій: 1) абсолютной или относительной неравночисленности половъ, 2) органической наслѣдственности качествъ, дающихъ побѣду въ борьбѣ за спариваніе. Это опять-таки такого рода условія, наличность которыхъ требуетъ спеціальнаго изслѣдованія. Относительно естественнаго подбора, впрочемъ, можно уже a priori думать, что это главное выраженіе процесса приспособленія жизни къ условіямъ среды имѣетъ для общества сравнительно весьма малое значеніе, ибо задача общества есть обратная: приспособленіе среды къ требованіямъ жизни.

Съ такими-то пріемами приступаетъ нашъ авторъ, во второмъ своемъ этюдѣ, къ изслѣдованію полового подбора, какъ фактора соціальнаго прогресса. Мы видѣли, что для осуществленія полового подбора необходимы два условія: абсолютная или относительная неравночисленность половъ и органическая наслѣдственность качествъ, дающихъ побѣду въ борьбѣ за спариваніе. Имѣются ли эти условія въ человѣческомъ обществѣ? Въ обществѣ первобытномъ они имѣлись въ достаточномъ для дѣйствія полового подбора

размѣрѣ. При господствѣ коммунальныхъ браковъ или, лучше сказать, при отсутствіи болѣе или менѣе прочныхъ семейныхъ связей, дѣтоубійство, главнымъ образомъ убійство дѣвочекъ, обусловливаетъ собою неравночисленность половъ. Слѣдовательно, половой подборъ здѣсь имѣетъ мѣсто, хотя едва ли можно сказать, какія именно качества подбираются при такомъ порядкѣ вещей. Но на слѣдующихъ ступеняхъ развитія направленіе полового подбора становится яснѣе и опредѣленнѣе. Коммунальные браки вытѣсняются поліандрическими или полигамическими отношеніями. Первыя, вообще говоря, довольно быстро исчезаютъ, благодаря совокупности особыхъ условій, за изученіемъ которыхъ мы отсылаемъ читателя къ самому этюду г. Южакова. Полигамія же развивается и усиливается. Первоначально жены добываются силой («полигамія умычкой»), вслѣдствіе чего физическая сила и является регуляторомъ брачныхъ отношеній. Такъ какъ успѣхъ въ борьбѣ за женщину зависитъ здѣсь отъ физической силы, качества, способнаго къ наслѣдственной передачѣ, то половой подборъ играетъ роль фактора, весьма дѣятельнаго. Но первый ударъ наносится ему образованіемъ государственной власти, которая прекращаетъ похищеніе силой и сосредоточиваетъ дѣятельность полового подбора въ высшихъ классахъ. Однако, обусловливаясь болѣе или менѣе строгою сословностью, успѣхъ въ борьбѣ за женщину становится постепенно въ зависимость отъ *права* приказать и отъ *богатства*, дозволяющаго купить, отъ двухъ условій, которыя *органически не наслѣдственны*. Слѣдовательно, если и продолжаетъ еще, благодаря полигаміи, существовать относительная неравночисленность половъ, то значеніе полового подбора всетаки весьма суживается, потому что качества, дающія побѣду, органически не наслѣдуются. Впрочемъ, высшимъ классамъ предоставляется широкій выборъ женщинъ, вслѣдствіе чего красота продолжаетъ, съ женской стороны, подбираться. Но сословность постепенно падаетъ. При моногаміи, единственный путь для проявленія полового подбора дается высокой оцѣнкой женскихъ качествъ, соединенныхъ причинною связью съ плодовитостью или здоровьемъ. Если бы дѣйствительно въ женщинахъ особенно цѣнились качества, причинно связанныя съ здоровьемъ, то браки съ женщинами, обладающими этими качествами, оставляли бы наибольшее потомство; и если еще вдобавокъ эти качества были бы органически наслѣдственны, то половому подбору предстояло бы широкое поле дѣятельности. Но этого нѣтъ. Что преимущественно цѣнится въ женщинахъ? красота, богатство, общественное положеніе, нравственныя достоинства. Но изъ этихъ качествъ общественное положеніе и богатство органически не наслѣдственны, слѣдовательно, не имѣютъ для насъ здѣсь никакого значенія. Красота наслѣдственна, но связь ея съ здоровьемъ и плодовитостью весьма проблематична, при томъ же цѣнность физическихъ достоинствъ въ бракѣ вообще падаетъ. Изъ психическихъ качествъ развѣ энергія связана съ здоровьемъ и плодовитостью, но она въ женщинахъ вообще цѣнится мало. Такимъ образомъ, половой подборъ, одинъ изъ самыхъ могучихъ дѣятелей органическаго прогресса, простымъ процессомъ образованія соціальной среды постепенно отодвигается на задній планъ. Въ настоящемъ обществѣ, при господствѣ моногаміи и высокой оцѣнкѣ качествъ, органически не наслѣдственныхъ или не связанныхъ съ плодовитостью, половой подборъ почти не имѣетъ мѣста. Но, кромѣ законной моногаміи, въ настоящемъ обществѣ существуютъ конкубинатъ и проституція. Не даютъ ли они лазейки половому подбору? Что касается до проституціи, то она, очевидно, не можетъ играть подобной роли, такъ какъ проститутки по большей части не оставляютъ потомства. Все, что можетъ сдѣлать проституція, точно такъ же, какъ конкубинатъ за деньги,—это понизить красоту племени, такъ какъ извѣстная часть красивыхъ женщинъ, благодаря развратнымъ связямъ, никому не передаетъ своихъ физическихъ достоинствъ по наслѣдству. Нѣсколько въ иномъ положеніи находятся незаконныя связи по любви Здѣсь дѣйствительно могутъ до извѣстной степени подбираться красота и нравственныя достоинства. Но если и признать на этомъ пунктѣ возстановленіе полового подбора, то онъ, очевидно, играетъ только служебную роль и всецѣло регулируется развитіемъ нравственныхъ и эстетическихъ идеаловъ.

Вотъ въ самыхъ краткихъ чертахъ содержаніе второго этюда нашего автора. Изложеніемъ его мы желали только заинтересовать читателя и побудить его поближе познакомиться съ этимъ новымъ явленіемъ въ нашей литературѣ. Мы увѣрены, что послѣ разныхъ «Политикъ, какъ наукъ» г. Стронина, «Мыслей о соціальной наукѣ будущаго» г. П. Л., «Общественно-психологическихъ этюдовъ» г. Онгирскаго и проч., точно такъ же, какъ послѣ иностранныхъ писателей въ родѣ Іегера, Ройе, Фика (статья котораго «Дарвинизмъ на юридической почвѣ» напечатана въ 12-же номерѣ «Знанія»), читатель отдохнетъ на этюдахъ г. Южакова. Трудно, конечно, сказать, чего мы въ правѣ ожидать отъ дальнѣйшихъ его произведеній. Но можно всетаки думать, что изслѣдова-

ніе естественнаго подбора и прямого приспособленія, какъ факторовъ общественной жизни, будетъ еще интереснѣе. Потому что оба эти предмета могутъ служить гораздо лучшими пробными камнями его основныхъ общихъ воззрѣній, чѣмъ вопросъ о соціальномъ значеніи полового подбора. Такъ эти воззрѣнія несомнѣнно выясняется гораздо лучше. А такое выясненіе необходимо. Мы опустили довольно многое въ изложеніи перваго этюда, потому что въ немъ нѣкоторые очень важные пункты только намѣчены. Сюда относится, напримѣръ, вопросъ о значеніи личности, какъ продукта и вмѣстѣ созидателя соціальной среды. Сюда же относится еще одинъ вопросъ, котораго мы хотимъ коснуться теперь же.

Мы видѣли, что уравновѣшеніе жизненнаго процесса съ условіями среды достигается двоякимъ путемъ: либо пассивнымъ, либо активнымъ приспособленіемъ, т.-е. либо приспособленіемъ самой жизни къ условіямъ среды, либо, напротивъ, приспособленіемъ среды къ требованіямъ жизни. Установивъ это различіе, г. Южаковъ продолжаетъ: «Если коллективная жизнь принимаетъ первое направленіе, т. е. болѣе измѣняется сама, чѣмъ измѣняетъ среду, то, при возможности интеграціи, общество стоитъ на пути развитія организма; различное вліяніе условій начнетъ дифференцированіе жизненныхъ отправленій, сосредоточивая въ однѣхъ единицахъ одни, въ другихъ другіе жизненные процессы. При второмъ направленіи, т. е. при приспособленіи среды къ потребностямъ жизни, коллективное развитіе проявляетъ самостоятельный прогрессъ, не преобразующій, какъ въ первомъ случаѣ, общества въ организмъ. Если тутъ различныя условія и вызываютъ дифференцированіе отправленій общественнаго аггрегата, то это дифференцированіе распространяется не на жизненныя отправленія, но на отправленія, приспособляющія среду къ потребностямъ жизни. Пока развитіе общественной жизни остается въ этихъ предѣлахъ, общественный процессъ не отклоняется къ процессу другого типа». Разсужденіе это повторяется и далѣе, не получая, однако, обстоятельнаго объясненія. Я не сомнѣваюсь въ томъ, что недоумѣніе, возбуждаемое этими строками, разсѣется впослѣдствіи, когда г. Южаковъ поведетъ рѣчь о естественномъ подборѣ и въ особенности о прямомъ приспособленіи. Тѣмъ не менѣе вышеприведенное положеніе въ томъ видѣ, какъ оно есть, представляется мнѣ совершенно произвольнымъ. Если мы обратимся къ низшимъ животнымъ и сравнимъ, напримѣръ, колонію сальпъ, съ полипнякомъ сифонофорою, то увидимъ слѣдующее: и та, и другая колонія образованы однимъ и тѣмъ же процессомъ почкованія, продукты котораго остаются связанными въ одно цѣлое. Но колонія сальпъ представляетъ аггрегатъ цѣлостныхъ недѣлимыхъ, вполнѣ развитыхъ и обладающихъ всею суммою свойственныхъ виду отправленій, словомъ, носителей полнаго жизненнаго процесса. Сифонофора, напротивъ, есть аггрегатъ недоразвитыхъ или односторонне развитыхъ недѣлимыхъ, играющихъ роль органовъ цѣлой сифонофоры. Очевидно, въ сифонофорѣ коллективная жизнь отклоняется отъ процесса общественнаго развитія къ процессу развитія органическаго; тогда какъ въ колоніи сальпъ такого отклоненія не происходитъ, не смотря на матеріальную связь членовъ колоніи. А между тѣмъ едва ли можно сказать, что это различіе между двумя колоніями обусловлено различіемъ въ степени активности или пассивности приспособленія. Едва-ли г. Южаковъ скажетъ, что сальпы достигаютъ равновѣсія съ условіями среды путемъ активнаго приспособленія. Переходя разомъ на высшую ступень органической лѣстницы, къ человѣку, мы увидимъ слѣдующее. Въ человѣческомъ обществѣ активное приспособленіе достигаетъ своего апогея. Человѣкъ создаетъ себѣ, какъ говоритъ г. Южаковъ, особую соціальную среду, парализующую или вообще измѣняющую вліяніе среды физической. Но, приглядываясь къ историческому процессу созиданія этой среды, не трудно замѣтить въ немъ, по крайней мѣрѣ временами, нѣкоторое уклоненіе въ сторону прогресса органическаго. Наша цивилизація создается до сихъ поръ, главнымъ образомъ, обособленіемъ функцій, дифференцированіемъ отправленій, сосредоточеніемъ въ однѣхъ единицахъ однихъ общественныхъ процессовъ, въ другихъ — другихъ. И активность приспособленія не только не мѣшаетъ такому дифференцированію, но, напротивъ, вызываетъ его. Всякое новое активное приспособленіе вызываетъ въ нашемъ обществѣ новыя дифференцированія. Правда, г. Южаковъ можетъ сказать, что дифференцированіе это распространяется только на отправленія, приспособляющія среду къ потребностямъ жизни, а не на самыя жизненныя отправленія. Относительно человѣческаго общества это справедливо, хотя граница между двумя видами дифференцированій проведена г. Южаковымъ не совсѣмъ ясно. Но намъ собственно дѣла нѣтъ до человѣческаго именно общества. Намъ нужно рѣшить задачу: устраняетъ ли активное приспособленіе возможность отклоненія общественнаго процесса къ типу органическаго процесса? Но достаточно взглянуть на муравьиную республику или на пчелиную монархію, чтобы отвѣтить на этотъ вопросъ

отрицательно. Пчелы и муравьи стоятъ, можетъ быть, первыми послѣ человѣка въ дѣлѣ активнаго приспособленія. Они строятъ обширныя и сложныя зданія, имѣютъ политическія учрежденія, занимаются скотоводствомъ, дѣлаютъ обширные запасы питательныхъ и строительныхъ матеріаловъ, словомъ, имѣютъ цивилизацію, въ смыслѣ соціальной среды, парализующей вліянія почвы, климата и другихъ физическихъ дѣятелей. И не смотря на то, у этихъ созидателей соціальной среды, у этихъ активныхъ приспособителей условій среды къ потребностямъ жизни—дифференцированіе членовъ общества распространяется на основные жизненные процессы, ибо у нихъ существуютъ безполые рабочіе. Г. Южаковъ можетъ назвать общества муравьевъ и пчелъ переходными формами. Но не въ этомъ дѣло. Спрашивается только: почему тамъ, гдѣ активное приспособленіе достигаетъ такой высокой степени развитія, происходитъ дифференцированіе жизненнаго процесса, не имѣющее себѣ подобнаго даже на гораздо и гораздо низшихъ ступеняхъ органической жизни? Я не знаю, какъ разрѣшаетъ этотъ вопросъ г. Южаковъ, но я вижу во всякомъ случаѣ, что одно другому не мѣшаетъ, что возможны такія формы соціальной среды и активнаго приспособленія, которыя не гарантируютъ неприкосновенности жизненныхъ отправленій для отдѣльныхъ приспособителей и созидателей соціальной среды.

Въ заключеніе, je reviens à mes moutons, къ прекрасной Маринѣ изъ Алаго Рога и къ г. Маркевичу. Но такъ какъ это сюжетъ увеселительнаго, отчасти даже масляничнаго свойства, то позволю себѣ сперва маленькую легкомысленную фантазію. Предположимъ, что активность приспособленія доведется нами до того, что мы въ состояніи будемъ перелетѣть въ случаѣ оскудѣнія земли, на какую нибудь болѣе удобную планету. Предположимъ, что мы наканунѣ этого полета. Я думаю, что изящные и благородные друзья прекрасной Марины изъ Алаго Рога одни изъ первыхъ воспользуются аппаратомъ, при помощи котораго можно будетъ совершить переселеніе. Но любопытно: захватятъ они съ собой съ земли мужика или тамъ уже, на болѣе удобной планетѣ какъ-нибудь его выдумаютъ для продолженія прогресса? Другими, менѣе легкомысленными, словами: если человѣчество, да и весь органическій міръ развивался до сихъ поръ путемъ выдвиганія небольшой сравнительно кучки благородныхъ особей, то не неизбѣженъ ли въ самомъ дѣлѣ и на будущее время этотъ видъ поступательнаго шествія исторіи? Я питаю большую надежду, что въ слѣдующемъ своемъ этюдѣ о естественномъ подборѣ г. Южаковъ обстоятельно и подробно докажетъ, что вліяніе естественнаго подбора въ обществѣ или ничтожно, или не имѣетъ прогрессивнаго характера. Тѣмъ не менѣе я вижу, что дифференцированіе, выдвиганіе небольшой кучки благородныхъ особей всегда происходило въ исторіи, что исторія, выражаясь аналогическимъ языкомъ г. Стронина, движется клиномъ, что такимъ именно путемъ создалась наша соціальная среда и продолжаетъ созидаться и теперь. Не будемъ разсуждать о томъ, что было бы, если бы процессъ исторіи былъ иной. Это было бы слишкомъ похоже на глубокомысленныя соображенія Кифы Мокіевича. Вѣрно то, что наука, техника, богатство, цивилизація получены нами именно этимъ путемъ. Но должны ли мы отказаться отъ надеждъ на другіе пути прогресса? На это мы отвѣтимъ словами Ланге, автора «Исторіи матеріализма». Замѣчательное сочиненіе, изъ котораго мы заимствуемъ эти слова, называется «Die Arbeiterfrage». Оно нѣсколько извѣстно въ нашей литературѣ по цитатамъ г-жи Конради въ статьѣ «Организація литературнаго труда» (въ сборникѣ «Русскіе общественные вопросы») и по извлеченію г. Корна въ «Знаніи» (1871, № 8 «Значеніе случая въ экономической жизни»).

«Итакъ, мы видимъ въ пожертвованіи цѣлыхъ поколѣній для блага нѣсколькихъ людей, съ одной стороны, историческую необходимость, а съ другой — язву человѣчества, отъ которой мы должны избавиться. Повидимому, это противорѣчіе, но здѣсь нѣтъ ничего нелогичнаго. Это только отраженіе вѣчной противоположности природы и духа, объективнаго знанія и нравственныхъ стремленій. Изъ неразумія традиціоннаго существованія рвется разумный идеалъ, и, пока мы считаемъ себя нравственными существами, никогда не должны мы отказываться отъ мысли, что сегодня именно должна начаться новая жизнь и для недѣлимаго, и для человѣчества. Тщетно обращается разумъ назадъ и предается критикѣ естественнаго хода вещей въ прошедшемъ и своихъ собственныхъ прецедентовъ. Но разумъ имѣетъ всѣ права на будущее. Поднять на высшую ступень развитія общество, преобразить всю природу, насколько хватитъ человѣческихъ средствъ,—въ этомъ состоитъ задача разума. Пусть маленькіе мудрецы съ торжествомъ указываютъ на исторію и поучаютъ насъ тому, что мы слыхали еще за указкой: что то-то и то-то существовало всегда, что массы всегда были обречены на молитву и работу, на терпѣніе и повиновеніе, что разумъ и справедливость были всегда просто идеалами и что всѣ идеалисты, начиная съ Платона, терпѣли крушеніе въ столкновеніи съ дѣйствительной жизнью. Мы понимаемъ исторію лучше, чѣмъ эти маленькіе мудрецы. Мы знаемъ, что тысячи неудачныхъ пробъ того, что въ свое время должно явиться, составляютъ очень обыкновенное явленіе. Мы знаемъ, что все великое въ исторіи исходило отъ носителей идеи, далеко превосходившей весь предыдущій опытъ. Мы знаемъ, что недаромъ прошла борьба въ прошедшемъ, что мы, въ худшемъ случаѣ, толь-

ко примкнемъ къ рядамъ нашихъ достойныхъ духовныхъ предковъ и оставимъ больше шансовъ на побѣду нашимъ потомкамъ. Мы знаемъ, наконецъ, что никогда, съ тѣхъ поръ, какъ началась исторія, внутри традиціонныхъ формъ общества не происходило такого громаднаго преобразованія, какое совершилось въ послѣднія сто лѣтъ. Слѣдовательно, мы живемъ въ такую эпоху, когда торжество нашего идеала возможнѣе, чѣмъ когда нибудь. Этотъ характеръ нашего времени указываетъ намъ, въ чемъ состоитъ рѣшительный отвѣтъ на вопросъ: не непреоборимъ ли естественный ходъ дифференцированій общества? Этотъ естественный законъ существуетъ и будетъ всегда, во всякомъ обществѣ и на всѣхъ ступеняхъ развитія, стремиться давать себя знать. Но его вліяніе отчасти измѣняется, отчасти устраняется, благодаря столкновенію съ другимъ естественнымъ закономъ, въ силу котораго изъ коопераціи, общежитія выростаютъ идеи равенства и солидарности. По рѣкѣ плыветъ лодка. Теченіе несетъ ее внизъ, но руль и весла направляютъ ее вверхъ. Оба эти противоположныя направленія—и сила теченія, и сила ударовъ веселъ, дѣйствуютъ по неизмѣннымъ законамъ природы, но лодка пойдетъ по тому направленію, которое въ данномъ случаѣ окажется сильнѣе. Такъ и человѣкъ. Онъ стоитъ въ срединѣ естественнаго теченія къ общественнымъ дифференцированіямъ, но въ то же время онъ находится подъ вліяніемъ идей равенства и солидарности».

Ахъ, если бы наши правовѣрные реалисты, наши ученые и проницательные критики обладали хотя десятою долею того знанія законовъ природы и уваженія къ нимъ, какимъ обладаетъ Ланге! Ахъ, если если бы они и волонтеры-альгвазилы поменьше распинались, въ положительномъ или отрицательномъ смыслѣ, передъ словечками въ родѣ: либерализмъ, консерватизмъ, натурализмъ, идеализмъ, реализмъ...

V *).

Письмо къ графу В. Орлову-Давыдову.

Ваше сіятельство!

Обращаясь къ вамъ съ письмомъ, я ни на минуту не забываю глубины раздѣляющей насъ пропасти. Я какъ нельзя лучше помню, что вы—одинъ изъ крупнѣйшихъ русскихъ землевладѣльцевъ, а я—русскій писатель; русскій писатель и только, русскій писатель настоящаго времени, когда... когда быть русскимъ писателемъ такъ трудно и такъ мало лестно. Мало того. Я обращаюсь къ вамъ именно потому, что между нами лежитъ цѣлая пропасть, именно потому, что я—русскій писатель, а вы—человѣкъ совсѣмъ чуждый литературѣ.

Вамъ неизвѣстно, конечно, что я вотъ уже съ годъ занимаюсь обозрѣніемъ русской литературы. Печальное занятіе, графъ. Я былъ радъ отдохнуть отъ него на три мѣсяца, въ теченіе которыхъ почти ни одной русской печатной строки не видалъ. Возвратившись въ отечество, я принялся разбирать вороха газетъ и кучи книгъ. Замелькали передо мной вялыя, блѣдныя передовыя статьи о томъ, о семъ, а больше ни о чемъ, съ фатальнымъ обѣщаніемъ поговорить о томъ же на дняхъ; фельетоны, большею частью исполненные самаго беззубаго остроумія; патетическія обличенія улицъ въ нечистотѣ; журнальныя статьи, ученыя и неученыя, умныя и глупыя. Попалось нѣсколько курьезовъ. Такъ одна газета извѣщаетъ, что нашъ знаменитый писатель г. Лейкинъ отправился на нижегородскую ярмарку и украситъ, дескать, наши страницы своими разсказами. Я порадовался. Въ другой газетѣ смотрю новый псевдонимъ: «авторъ «Случайныхъ Замѣтокъ». Это въ родѣ того, какъ Аристотеля называютъ иногда учителемъ Александра Македонскаго, Канта—авторомъ «Критики чистаго разума», Гёте—авторомъ «Фауста», Сервантеса—авторомъ «Донъ-Кихота» и т. п. Я опять порадовался. Встрѣтилась еще знаменитая полемика о поддѣлкѣ Гоголя, въ которой меня больше всего порадовалъ образъ г. Ястржембскаго, клятвенно завѣряющаго, что поддѣлка есть и что онъ, г. Ястржембскій, поддѣлыватель. Наткнулся и еще на довольно обширную полемику, извѣстную подъ именемъ полемики «о немъ». Но этимъ я не посмѣю занимать ваше просвѣщенное вниманіе.

А между тѣмъ занять ваше просвѣщенное вниманіе чѣмъ-нибудь изъ области русской литературы мнѣ нужно. Зачѣмъ—сей часъ будетъ видно. Беру почти наудачу книгу Холевіуса «Темы и планы для сочиненій. Переводъ съ нѣмецкаго. М. Бѣлявской. Одобрено ученымъ комитетомъ министерства народнаго просвѣщенія къ употребленію въ гимназіяхъ въ видѣ учебнаго пособія». Ваше сіятельство, это весьма любопытная книга. Любопытна она и сама по себѣ, какъ плодъ измышленій нѣмецкаго педагога; любопытна она и потому, что заслужила одобреніе ученаго комитета министерства народнаго просвѣщенія; любопытна она, наконецъ, потому, что, не смотря на свое иностранное происхожденіе, будучи переведена на русскій языкъ, она можетъ служить весьма типичнымъ представителемъ русской литературы. Мнѣ нѣтъ дѣла до нѣмецкой литературы и ученаго комитета министерства народнаго просвѣщенія. Я только русскую литературу имѣю въ виду.

Если у васъ есть сынъ гимназистъ, то знайте, что ему, между прочимъ, приходится писать сочиненія на слѣдующія, напримѣръ, темы: «До какой степени заблужденія доходитъ арфистъ въ пѣснѣ Гёте: Wer nie sein

*) 1873 г., сентябрь.

Brot mit Thränen ass, etc., порицая небесныя силы?»—«Почему, главнымъ образомъ, Италія есть страна, которая влечетъ къ себѣ нѣмцевъ?»—«Почему нравственный законъ внутри насъ и звѣздное небо надъ нами—представляютъ ручательство въ безсмертіи нашего духа?»—Какія мысли облечены въ басню Эвальда Клейста: Der gelähmte Kranich?»—«Значеніе шести словъ: ich soll, ich muss, ich kann, ich will, ich darf, ich mag». (Такъ названа эта тема въ оглавленіи, а въ текстѣ она названа: «Значеніе шести словъ, опредѣляющихъ сущность и значеніе человѣка»). Васъ поражаетъ, быть можетъ, безсмысленность an und für sich нѣкоторыхъ изъ этихъ темъ и уже навѣрное поражаетъ ихъ выборъ для русскихъ гимназистовъ. Но я надѣюсь поразить васъ еще болѣе, сдѣлавъ слѣдующую выписку изъ предисловія. «Намъ нѣтъ нужды возвращаться къ узкимъ требованіямъ старой школы и заставлять учениковъ перваго класса (1-й классъ нѣмецкихъ гимназій соотвѣтствуетъ нашему теперь 8-му, 2-й—7-му и т. д.) писать о пользѣ огня или воды; ибо нельзя предполагать въ умѣ нашихъ юношей такой безотрадной пустоты. У того, кто обладаетъ хоть нѣкоторою смышленостью,—*этимъ наслѣдственнымъ достояніемъ нѣмецкаго юношества,*—всякая отрасль ученія, равно какъ и чтеніе древнихъ и новыхъ писателей, могутъ породить множество представленій» и т. д.

Простите, что я отрываю васъ отъ высшихъ государственныхъ соображеній и останавливаю ваше вниманіе на такой мелочи. Но въ каплѣ воды можетъ отразиться цѣлое небо. Въ представленной мною каплѣ отражается все небо русской литературы со всѣми его созвѣздіями. Обратите, во-первыхъ, вниманіе на добросовѣстность, съ которою переведена во всей ея неприкосновенности подчеркнутая мною фраза нѣмецкаго педагога. Казалось бы, если смышленность есть наслѣдственное достояніе нѣмецкаго юношества, то изъ этого еще отнюдь не слѣдуетъ, чтобы русское юношество было способно и обязано разсматривать такія темы, какъ: почему, главнымъ образомъ, Италія есть страна, которая влечетъ къ себѣ нѣмцевъ? или: почему нравственный законъ внутри насъ и звѣздное небо надъ нами представляютъ ручательство въ безсмертіи нашего духа? Вы, можетъ быть, правы, дѣлая это возраженіе, даже навѣрное правы. Но обратите вниманіе на добросовѣстность переводчицы и издателя: они взялись обогатить русскую педагогическую литературу книгой Холевіуса и больше имъ ни до чего дѣла нѣтъ,—они добросовѣстно переводятъ и издаютъ ее. Ваше сіятельство, добросовѣстность есть одна изъ характернѣйшихъ чертъ современной русской литературы. Мы, русскіе писатели, прежде всего добросовѣстны. Предпринявъ выдолбить нѣчто наизусть, мы выдалбливаемъ, дѣйствительно не заглядываясь по сторонамъ, не предаваясь никакимъ лукавымъ лжемудрствованіямъ. Мы закрываемъ глаза, затыкаемъ уши и подобно институткамъ долбимъ: «баранина, нина, нина,—le mouton, ton, ton; пуговица, вица, вица,—le bouton, ton, ton».—Вы скажете, что это—добросовѣстность мало способнаго ученика, который труситъ отступить отъ буквы урока, ибо не понимаетъ его сути. И вы опять-таки будете правы: да, мы неспособны и трусы. Вы будете правы даже въ томъ случаѣ, если скажете, что не смотря на всю нашу добросовѣстность, мы въ высокой степени недобросовѣстны. Казалось бы, оставляя во всей ея неприкосновенности, фразу нѣмецкаго педагога насчетъ наслѣдственнаго великолѣпія нѣмецкаго юношества, виновники появленія книги Холевіуса въ русскомъ переводѣ тѣмъ самымъ подписываютъ нѣкоторый приговоръ русскому юношеству. Казалось бы, что книга, не только по своему содержанію, но и по мысли автора, и по сознанію переводчика приноровленная къ особенности нѣмецкаго юношества, не можетъ, не должна быть безъ большихъ измѣненій предлагаема юношеству русскому. Для меня здѣсь особенно важно сознаніе самихъ виновниковъ появленія книги Холевіуса въ русской литературѣ. Но даже если бы этого сознанія не было налицо, всетаки остается весьма любопытный вопросъ: зачѣмъ они обогатили русскую литературу книгой ненужной, неудобной, смѣшной? Зачѣмъ они соблазнили ученый комитетъ министерства народнаго просвѣщенія и засадили нашихъ бѣдныхъ гимназистовъ за Италію, привлекающую къ себѣ нѣмцевъ, за звѣздное небо, какъ ручательство въ безсмертіи нашего духа и т. д.?

Ваше сіятельство, они сами этого не знаютъ, и это опятьтаки не ихъ спеціальная особенность, а характерная черта современной русской литературы. Мы, вообще говоря, не знаемъ, зачѣмъ мы пишемъ и не задаемся вопросами о цѣляхъ нашей дѣятельности. Такая безцѣльность, такое отсутствіе потребности въ отдаваніи себѣ отчета въ своей работѣ, въ общественномъ дѣятелѣ несомнѣнно недобросовѣстны. Вышелъ сѣятель сѣять. Зачѣмъ онъ вышелъ, что онъ будетъ сѣять, почему онъ будетъ сѣять именно то, а не это,—онъ не знаетъ и знать не хочетъ. Выростетъ рожь, выростетъ пшеница, выростетъ лебеда,—ему все равно, даже хоть трава не расти, и то ему все равно. И благо ему лично. Но если посѣянное имъ должно пи-

тать многія тысячи людей, онъ... Ваше сіятельство, у себя въ кабинетѣ вы можете громко сказать слово, которое я не рѣшаюсь написать. Становясь на точку зрѣнія моралиста и публициста, вы совершенно въ правѣ громить насъ за нашу трусость, неспособность, недобросовѣстность и даже за нашу добросовѣстность. Мы должны будемъ выслушать все это, посыпавъ главы пепломъ. Но есть и другая точка зрѣнія, точка зрѣнія изслѣдователя причинъ и слѣдствій явленій. Попробуйте стать на нее и вы найдете, вѣроятно, весьма важныя обстоятельства, смягчающія нашъ позоръ и наши преступленія— я ни мало не задумываюсь написать эти слова, потому что фактически позоръ и преступленіе несомнѣнны, и можно только объяснять ихъ, но не отрицать.

Недавно разнесся въ обществѣ и въ литературѣ слухъ, что одинъ изъ нашихъ распространеннѣйшихъ журналовъ, тотъ самый «Вѣстникъ Европы», который вы удостоиваете своимъ сотрудничествомъ, закрывается «по независящимъ отъ него обстоятельствамъ». Слухъ этотъ совершенно невѣроятенъ. Но не знаменательно ли то обстоятельство, что онъ существуетъ, что ему вѣрятъ, что его передаютъ другъ другу съ такимъ же видомъ, съ какимъ говорятъ о пріѣздѣ или отъѣздѣ г-жи Кадуджи, о сегодняшней погодѣ и о завтрашнемъ обѣдѣ? Весьма знаменательно. Обстоятельство это показываетъ, что члены общества, которые передаютъ другъ другу означенный слухъ, не задумываясь даже о бренности всего земного, очевидно, также не особенно нуждаются въ литературѣ: есть она, они читаютъ, нѣтъ—не читаютъ. При такихъ условіяхъ— а общій ихъ характеръ извѣстенъ несомнѣнно и вамъ, человѣку, совершенно чуждому литературѣ,—при такихъ условіяхъ представители литературы естественно должны были воспитать въ себѣ всѣ качества рабовъ и несовершеннолѣтнихъ. Но я не смѣю васъ задерживать на этой точкѣ зрѣнія изслѣдователя причинъ и слѣдствій явленій. Въ своемъ безусловномъ видѣ она законна въ приложеніи къ предметамъ исторически замаринованнымъ, напримѣръ, къ исторіи ассирійскаго царства. Она понятна и въ приложеніи къ злобѣ дня въ устахъ маринованныхъ людей. Но мы съ вами—живые люди. Мы можемъ только отмѣтить смягчающія, объясняющія обстоятельства, но не можемъ вычеркнуть слова: недобросовѣстность, неспособность, трусость, безцѣльность.

Все это я встрѣтилъ въ русской литературѣ по возвращеніи въ отечество рѣшительно въ томъ же видѣ, въ какомъ оставилъ за три мѣсяца передъ тѣмъ. Я не удивлялся, не негодовалъ, я привыкъ. Но мнѣ было тоскливо. Мнѣ страстно хотѣлось найти въ литературѣ что-нибудь чуждое литературѣ.

И услышалъ богъ боговъ.

Я прочиталъ въ іюньской книжкѣ «Вѣстника Европы» вашу статью «Земледѣліе и землевладѣніе». Вотъ статья, авторъ которой не рабъ и не несовершеннолѣтній. Въ статьѣ нѣтъ добросовѣстной долбни; «баранина» въ ней мѣстами называется le bouton, а «пуговица» le mouton; не только въ стилистическомъ отношеніи, но даже въ умѣньи располагать аргументацію такъ, чтобы выходило дѣйствительно нѣчто похожее на аргументацію, ваша статья далеко уступаетъ передовымъ статьямъ нашихъ газетъ. Словомъ, это—топорная работа. Говоря это, я увѣренъ, ни мало не оскорбляю васъ, ибо не гоняться же вамъ за репутаціей русскаго писателя. Вы—человѣкъ чуждый литературѣ. Но именно потому, что вы чужды литературѣ, вы смѣло и добросовѣстно говорите: вотъ мои цѣли. Каждая подробность вашего неловкаго въ техническомъ отношеніи литературнаго шага вамъ вполнѣ ясна, вы знаете, чего вы хотите, почему вы свое хотѣніе заявили именно тогда-то и тамъ-то. Я съ величайшимъ наслажденіемъ прочиталъ вашу статью, хотя къ наслажденію этому естественно примѣшивалось много горечи и стыда за русскую литературу. Судите сами.

Вы заканчиваете свою статью слѣдующими словами: «Представляя наши замѣчанія суду общественнаго мнѣнія, мы убѣждены, что всякій вопросъ можетъ быть окончательно выясненъ только посредствомъ свободнаго и всесторонняго его обсужденія съ разныхъ и даже противоположныхъ точекъ зрѣнія».

Съ своей стороны «Вѣстникъ Европы» во внутреннемъ обозрѣніи того же іюньскаго номера, въ которомъ напечатана ваша статья, замѣчаетъ: «Интересъ самаго дѣла требуетъ выслушать мнѣніе каждаго, и чѣмъ это мнѣніе будетъ искреннѣе, тѣмъ легче оно приведетъ къ результату, независимому отъ интересовъ, лежащихъ внѣ самаго дѣла. Съ такимъ убѣжденіемъ писалъ почтенный авторъ помѣщаемой нами ниже статьи о земледѣліи и землевладѣніи свою записку чисто практическаго характера, съ указаніемъ многихъ практическихъ подробностей, ведущихъ къ осуществленію всесословной волости. И такое убѣжденіе о необходимости выслушать каждое откровенное мнѣніе въ дѣлахъ общественныхъ мы вполнѣ раздѣляемъ, сохраняя за собою право выразить и свое мнѣніе о томъ же предметѣ съ полною искренностью».

Смыслъ словъ вашихъ и «Вѣстника Европы» одинъ и тотъ же, да и слова-то поч-

ти одни и тѣ же: свободное, всестороннее изслѣдованіе, мнѣніе каждаго и проч. Можетъ только показаться, что «Вѣстникъ Европы» идетъ дальше васъ въ вопросѣ о необходимости выслушать именно ваше мнѣніе: онъ считаетъ нужнымъ заявить, что «сохраняетъ за собою право» поставить рядомъ съ вашимъ мнѣніемъ и свое собственное, и при томъ «съ полною искренностью». Но, конечно, никто никогда не сомнѣвался въ правѣ журнала высказывать свои собственныя мнѣнія о вопросѣ, по которому онъ печатаетъ мнѣнія чужія. Такъ что въ приведенныхъ словахъ «Вѣстника Европы «многое есть не что иное, какъ manière de parler, пріемы литературнаго лоска, которые вамъ чужды, какъ и вся литература. Вы просто, кратко и ясно выражаете ту же самую мысль, которую «Вѣстникъ Европы» излагаетъ съ нѣкоторыми вавилонами, про странно и неясно. Но вамъ извѣстно, ваше сіятельство, что quod licet jovi, no nlicet bovi. Я хочу сказать, что одна и та же мысль, даже выраженная одними и тѣми же словами, можетъ получить совершенно различный характеръ въ устахъ людей, находящихся въ различныхъ положеніяхъ. Въ занимающемъ насъ дѣлѣ положеніе ваше и «Вѣстника Европы» до такой степени, мнѣ кажется, различны, что ваше единомысліе по вопросу о свободѣ мнѣній глубоко поучительно. Вы, безъ сомнѣнія, вполнѣ сознаете свое собственное положеніе, но, какъ человѣку чуждому литературѣ, вамъ не приходилось вѣроятно, да не было и надобности задумываться о положеніи журнала, который вы удостоили своимъ случайнымъ сотрудничествомъ. Вамъ кажется даже, быть можетъ, что нѣтъ никакой разницы въ положеніяхъ вашемъ и «Вѣстника Европы»: вы выражаете съ полною искренностью свои мнѣнія о предметѣ высокой и вмѣстѣ чисто практической важности, онъ обѣщаетъ сдѣлать то же самое.

Ваше сіятельство, это не совсѣмъ такъ. Къ числу многихъ отвлеченныхъ истинъ, которыя при извѣстной комбинаціи обстоятельствъ могутъ оказаться ложью, принадлежитъ и выраженная вами мысль о необходимости свободнаго и всесторонняго изслѣдованія того или другого вопроса. Вы, конечно, хорошій православный христіанинъ. При томъ вы либеральны, вы требуете свободы мнѣній, свободы ихъ выраженій. Допустимъ, что либерализмъ вашъ въ принципѣ простирается такъ далеко, что вы желали бы, чтобы въ отечествѣ нашемъ господствовала полнѣйшая свобода для религіозныхъ воззрѣній, каковы бы они ни были; представимъ себѣ, что вашъ идеалъ осуществленъ, что не только лютеране, католики, магометане, евреи, но и всевозможные сектанты, свободные мыслители, атеисты находятся въ такомъ же положеніи, въ какомъ находятся нынѣ православные христіане. Они думаютъ, говорятъ, дѣлаютъ что хотятъ, открыто опровергаютъ другъ друга, свободно пропагандируютъ свои идеи, устраиваютъ для этого собранія, не испрашивая на то разрѣшенія г. оберъ-полиціймейстера или какой другой власти; въ академіи наукъ происходятъ публичныя засѣданія, на которыхъ атеисты столь же свободны, какъ и православные христіане, и т. д. Вы и ваши единомышленники вполнѣ удовлетворены этимъ порядкомъ вещей; вы твердо вѣрите, что изъ этого кажущагося хаоса выростетъ въ свое время истина, чистая и однородная, какъ алмазъ. Но будетъ ли соотвѣтствовать вашему идеалу полнѣйшей религіозной терпимости такая, напримѣръ, подробность? Канунъ большого православнаго праздника. Въ православномъ храмѣ идетъ богослуженіе. Вы молитесь, съ благоговѣніемъ слушаете священныя для васъ слова и слѣдите за священными для васъ дѣйствіями. Священнослужитель готовится, наконецъ сказать проповѣдь по случаю предстоящаго праздника, но, переговоривъ въ алтарѣ съ какимъ-то евреемъ, выходитъ и говоритъ своей паствѣ: «сегодня, братіе, вамъ скажетъ слово о значеніи завтрашняго дня почтенный Лейба Соломонзонъ, а я сохраняю за собою право съ полною искренностью сказать свое слово съ теченіемъ времени; я держусь того, нынѣ, къ счастію, господствующаго мнѣнія, что вопросъ о значеніи завтрашняго дня, какъ и всѣ другіе вопросы, долженъ быть обсуждаемъ свободно, со всевозможныхъ и даже противоположныхъ точекъ зрѣнія». Выходитъ почтенный Лейба Соломонзонъ и, сказавъ свое слово, замѣчаетъ: «я убѣжденъ, что всякій вопросъ можетъ быть окончательно выясненъ только посредствомъ свободнаго и всесторонняго его обсужденія».

Что вы скажете объ этомъ гипотетическомъ эпизодѣ изъ исторіи вашего идеала религіозной терпимости? Я знаю, вы скажете, что онъ нелѣпъ, невозможенъ, немыслимъ. Но напрягите немного вашу фантазію,—право, это не такъ трудно,—и вы скажете вмѣстѣ съ Гамлетомъ: есть много, другъ Гораціо, и т. д. Вы отрицаете возможность нарисованной мною картины только потому, что она оскорбляетъ въ васъ искренняго православнаго христіанина. Но не оскорбляетъ ли она въ васъ и либерала, и проповѣдника полнѣйшей религіозной терпимости? Не находите ли вы, что слова священнослужителя, пустившаго на свое мѣсто Лейбу Соломонзона, слова либеральныя, въ принципѣ дышащія истиной и справедливостью, не совсѣмъ

умѣстны? А главное, не находите ли вы какой-нибудь разницы въ положеніяхъ Лейбы Соломонзона и священника? Не кажется ли вамъ, что не смотря на тождественность ихъ присказокъ насчетъ либерализма и свободы мнѣній, эти присказки въ устахъ того и другого имѣютъ глубоко несходный характеръ?

И священникъ, уступившій мѣсто Лейбѣ Соломонзону, и Лейба Соломонзонъ, и «Вѣстникъ Европы», и вы совершенно правы, говоря: «интересъ самаго дѣла требуетъ выслушать мнѣніе каждаго, и чѣмъ это мнѣніе будетъ искреннѣе, тѣмъ легче оно приведетъ къ результату, независимому отъ интересовъ, лежащихъ внѣ самаго дѣла». Но изъ этого еще отнюдь не слѣдуетъ, чтобы мнѣнія Лейбы Соломонзона могли высказываться въ православномъ храмѣ, а ваши—въ «Вѣстникѣ Европы». Въ нашемъ идеалѣ для Лейбы Соломонзона существуютъ синагоги и всевозможныя собранія и засѣданія, спеціально предназначенныя для дебатовъ о религіозныхъ вопросахъ. Въ нашей дѣйствительности для васъ существуютъ подходящіе журналы и другіе способы распространенія своихъ мнѣній путемъ печати; существовала, наконецъ, только-что кончившая свои занятія коммиссія, спеціально предназначенная для выслушанія самыхъ разнообразныхъ и противоположныхъ мнѣній о предметѣ вашей статьи. Но Лейба предпочелъ православную церковь. Это — дерзко, но совершенно понятно. Онъ совершенно чуждъ православному храму и православію вообще. Если ему и приходило въ голову, что онъ какъ будто оскорбляетъ настоящихъ хозяевъ храма, то онъ не могъ надъ этимъ долго задумываться: его пускаютъ, священникъ уступаетъ ему свое мѣсто, — чего же ему еще надо? Его дѣло, какъ практика, состоитъ только въ томъ, чтобы выбрать для своей проповѣди подходящій моментъ, напримѣръ, канунъ большого праздника, храмъ наиболѣе посѣщаемый, наиболѣе удобный съ точки зрѣнія резонанса и т. п. Онъ не отплатитъ, можетъ быть, любезному и гостепріимному священнику взаимностью и выгонитъ его изъ синагоги, когда тотъ пожелаетъ сказать тамъ слово объ обрѣзаніи или о казни Христа. Но ему-то лично въ православномъ храмѣ стѣсняться нечѣмъ, онъ можетъ даже съ совсѣмъ чистою совѣстью сказать «будемъ обсуждать свободно и всесторонне». Но имѣетъ ли любезный и гостепріимный священникъ право повторить эти либеральныя слова? Нѣтъ. Повторяя ихъ, онъ оказывается не пропагандистомъ свободы мнѣній, а либо предателемъ, либо игрушкой въ рукахъ Лейбы, либо человѣкомъ совершенно не сознающимъ своихъ обязанностей и весьма индифферентно относящимся къ своей религіи. Я думаю, впрочемъ, что въ нашемъ гипотетическомъ анекдотѣ недоразумѣніе заключается въ слѣдующемъ: священникъ добросовѣстно выдолбилъ догматъ либерализма вообще и свободы мнѣній въ частности, но сути его не понялъ и потому труситъ отступить отъ буквы урока. Совершенно точно такъ же переводчица книги Холевіуса добросовѣстно предлагаетъ русскому юношеству книгу, разсчитанную на «наслѣдственное достояніе нѣмецкаго юношества».

Ваше сіятельство, мы опять вернулись къ русской литературѣ, и я позволю себѣ напомнить вамъ обстановку, при которой вы выступили на литературное поприще своей статьей о земледѣліи и землевладѣніи. Учрежденная по иниціативѣ министра государственныхъ имуществъ коммиссія для изслѣдованія нынѣшняго положенія сельскаго хозяйства только-что окончила свои занятія. Неизвѣстно еще, какое употребленіе сдѣлаютъ правительство и общество изъ собранныхъ коммиссіей матеріаловъ; неизвѣстно даже, будетъ ли изъ нихъ сдѣлано вообще какое бы то ни было практическое употребленіе, или они будутъ просто приняты «къ свѣдѣнію». Но во всякомъ случаѣ моментъ очень важный. Какъ практикъ, какъ человѣкъ дѣла, вы это отлично понимаете и потому рѣшаете именно теперь печатать свою записку о земледѣліи и землевладѣніи. Вы рѣшаете печатать ее въ «Вѣстникѣ Европы». Опять-таки шагъ въ высшей степени практическій, дѣловой, искусный. «Вѣстникъ Европы» есть распространеннѣйшій изъ нашихъ литературно-политическихъ журналовъ. Онъ пользуется репутаціей солидности и умѣреннаго либерализма, а и то, и другое нынѣ весьма высоко цѣнится. Правда, записка ваша такого рода, что со временъ покойной «Вѣсти» ничего подобнаго въ русской литературѣ не являлось. Правда, что въ своей статьѣ вы не только воскресили духъ «Вѣсти», но даже исправили и дополнили его, ибо, сохранивъ его суть, отрѣшились отъ смѣшныхъ декламацій гг. Скарятина и Юматова. Правда, что въ такомъ исправленномъ и дополненномъ видѣ духъ «Вѣсти» оказывается гораздо практичнѣе, дѣловитѣе, цѣлесообразнѣе и, слѣдовательно, вообще пріятнѣе для однихъ, опаснѣе для другихъ. Правда, наконецъ, что все это весьма мало согласуется съ программою «Вѣстника Европы», насколько она выяснилась въ теченіе восьмилѣтняго существованія почтеннаго журнала. Но вамъ до этого нѣтъ никакого дѣла. Какъ человѣку чуждому литературѣ, вамъ нѣтъ никакого дѣла до мнѣній и программы журнала, который вы выбираете своимъ орга-

номъ въ виду тѣхъ или другихъ практическихъ удобствъ. Честь русской литературы, ея задачи, обязанности, назначеніе для васъ ничего не значатъ. Лейба Соломонзонъ выбралъ канунъ большого праздника, храмъ наиболѣе удобный въ акустическомъ отношеніи, священника наиболѣе сговорчиваго и либеральнаго...

Ваше сіятельство, я знаю—вы непріятно поражены моей аналогіей. Вамъ не нравится параллель между тѣмъ, что дѣлается въ храмѣ, и тѣмъ, что дѣлается въ русской литературѣ. И я совершенно понимаю ваше негодованіе: вы чужды литературѣ. Но я знаю, что вы, кромѣ того, либеральны и, слѣдовательно, способны стать и на мою точку зрѣнія. Храмъ русской литературы - храмъ загаженный, пауки затянули его окна паутиной, онъ не разъ служилъ стойломъ для лошадей и ословъ. Но — вы знаете—«храмъ оставленный, все храмъ». Мнѣ, русскому писателю,—русскому писателю и только, — человѣку рѣшившемуся жить и умереть въ литературѣ, простительна нѣкоторая слабость по отношенію къ ней. Для меня она—храмъ, и я добровольно сталъ однимъ изъ привратниковъ этого храма. Я показываю любопытнымъ посѣтителямъ, что вотъ здѣсь стояла еще недавно лошадь, здѣсь и до сихъ поръ стоитъ оселъ, котораго нѣтъ возможности выгнать. Храмъ загаженъ, но когда-то въ немъ молились, молится кое-кто и теперь, когда нибудь — я вѣрю — въ немъ будутъ молиться всѣ. Презирая существующую литературу, я глубоко чту литературу въ принципѣ. Вполнѣ раздѣляя мнѣніе ваше и «Вѣстника Европы», что и Лейба Соломонзонъ долженъ быть свободенъ, долженъ быть выслушанъ, долженъ имѣть свой храмъ, я, однако, никогда не пустилъ бы его объяснять въ моемъ храмѣ значеніе завтрашняго дня, особенно, если это день—важный въ практическомъ отношеніи.

Но вы—практикъ и человѣкъ чуждый литературѣ. Поэтому съ вами и надо говорить иначе. Приведенныя соображенія, не смотря на свою элементарность, оказываются слишкомъ сложными и высокими даже для литературныхъ дѣятелей по профессіи. Оставимъ храмъ въ покоѣ и будемъ смотрѣть на литературный органъ такъ, какъ Базаровъ смотрѣлъ на природу: будемъ видѣть въ немъ не храмъ, а мастерскую. Съ этой точки зрѣнія окажется слѣдующее. Литературному органу трудно подобрать контингентъ работниковъ, безусловно солидарныхъ по всѣмъ вопросамъ науки и жизни. Особенно трудно это у насъ, какъ по недостатку людей, посвящающихъ себя литературѣ, такъ и потому, что вялость и мелкость нашей общественной жизни мѣшаютъ формированію рѣзко опредѣленныхъ взглядовъ и мнѣній. Всегда найдется какая-нибудь подробность, какая-нибудь мелочь, относительно которой работники одной и той же литературной мастерской болѣе или менѣе расходятся въ мнѣніяхъ. Тѣмъ не менѣе этому разногласію долженъ существовать и въ дѣйствительности всегда существуетъ извѣстный предѣлъ. Когда Прудонъ сталъ печатать у себя въ «Voix du Peuple» письма Бастіа о даровомъ кредитѣ, онъ объявилъ, что дѣлаетъ дѣло, небывалое въ лѣтописяхъ журналистики. При томъ же онъ повелъ это небывалое дѣло такъ, что статьи Бастіа способствовали только объясненію его, Прудона, собственныхъ мыслей. Такое отношеніе журналистики къ своему дѣлу вполнѣ естественно. Журналъ имѣетъ цѣлью распространеніе извѣстныхъ взглядовъ и освѣщеніе фактовъ прошедшаго, настоящаго и будущаго природы и общества съ извѣстной точки зрѣнія. Обязанность журналиста въ томъ только и состоитъ, чтобы направлять на факты опредѣленное освѣщеніе. Это освѣщеніе, совершенно независимо отъ его популярности, или непопулярности, т. е. отъ успѣха или неуспѣха журнала, естественно признается самимъ журналомъ освѣщеніемъ лучшимъ, единственно истиннымъ. Поэтому, если журналъ помѣщаетъ на своихъ страницахъ освѣщеніе извѣстныхъ важныхъ фактовъ, рѣзко отличающееся отъ его собственнаго, онъ, вообще говоря, не знаетъ цѣли своего существованія или, по крайней мѣрѣ, относится къ ней крайне легкомысленно: онъ самъ себѣ наступаетъ на ногу. Въ русской литературѣ подобныя явленія нерѣдки и, если вы станете на исключительно фаталистическую точку зрѣнія причинъ и слѣдствій, вамъ станетъ ясно, что иначе и быть не можетъ. Дѣйствительно, мы, русскіе писатели, «не въ авантажѣ обрѣтаемся», мы—въ загонѣ. Нашихъ мнѣній не спрашиваютъ, не слушаютъ, знать не хотятъ. Конечно, если мы обличимъ Ямскую улицу въ нечистотѣ или Глазовъ мостъ въ ветхости и особенно, если мы это сдѣлаемъ съ нѣкоторымъ паѳосомъ, — г. санктпетербургскій градоначальникъ приметъ вѣроятно во вниманіе наше обличеніе и сдѣлаетъ соотвѣтственныя распоряженія. Но на общій ходъ русской жизни въ ея болѣе или менѣе глубокихъ основахъ литературныхъ Jean qui rit имѣетъ столь же мало вліянія, какъ и литературный Jean qui pleure. Слѣдовательно, совершенно естественно такое, повидимому, ненормальное явленіе: мы русскіе писатели, весьма серьезно и добросовѣстно относимся къ нечистотѣ Ямской

улицы и ветхости Глазова моста,—ибо мы въ этой области имѣемъ нѣкоторое вліяніе,—и весьма легкомысленно смотримъ на общій ходъ русской жизни, ибо здѣсь мы—ничто. Естественно даже и то, что вся наша практическая философія состоитъ въ умѣніи быть или казаться ничѣмъ. Такъ практическая философія побуждала Одиссея, въ извѣстномъ казусѣ въ пещерѣ Полифема, отвѣчать на вопросъ великана: кто ты?—«никто». Вамъ извѣстно, ваше сіятельство, что, благодаря этому маленькому слову, Одиссей избѣжалъ большой опасности.

Вамъ, человѣку занятому высшими государственными соображеніями, я не стану, конечно, разъяснять, что учрежденіе коммиссіи для изслѣдованія состоянія нашего сельскаго хозяйства есть въ принципѣ фактъ весьма важный, затрогивающій интимнѣйшіе интересы нашего отечества. Недаромъ вы, человѣкъ совершенно чуждый литературѣ, выступили въ этотъ моментъ на литературное поприще. Но общій тонъ русской жизни таковъ, что неизвѣстно еще, отзовутся ли какъ бы то ни было на практикѣ положенія, выработанныя коммиссіей. Что же сказать о насъ, русскихъ писателяхъ? Намъ часто приходится тяжело. Но, съ другой стороны, полюбуйтесь, какъ намъ легко: что бы мы ни говорили, выходитъ такъ, что мы будто ничего не говоримъ. Значитъ, намъ нечего задумываться: говори, что попало. Будь положеніе вещей иное, будь «Вѣстникъ Европы» увѣренъ, что онъ имѣетъ вліяніе, что къ его мнѣніямъ прислушиваются, онъ, несомнѣнно, не помѣстилъ бы у себя вашей статьи, не рѣшился бы проводить ее въ общественное сознаніе подъ своимъ обычнымъ флагомъ умѣреннаго либерализма и солидности.

Но, ваше сіятельство, это опять-таки точка зрѣнія изслѣдователя причинъ и слѣдствій, на которой мы условились не засиживаться. Не смотря на вышеизложенное, вы имѣете полное право сказать, что въ цѣпи причинъ и слѣдствій мы, русскіе писатели, имѣемъ всетаки возможность, а слѣдовательно и обязанность, играть въ извѣстной мѣрѣ активную роль; что до извѣстной, по крайней мѣрѣ, степени мы сами создали и продолжаемъ создавать себѣ свое настоящее положеніе. Какъ моралистъ и публицистъ, вы будете правы. Съ горечью, но съ полнымъ сознаніемъ вашей правоты я отдаю въ ваши руки русскую литературу. Я говорю вамъ отъ ея имени: ты побѣдилъ, Галилеянинъ! Вы, человѣкъ чуждый литературѣ, своимъ первымъ шагомъ на литературномъ поприщѣ показали, что вы искуснѣе, смѣлѣе, добросовѣстнѣе насъ, литераторовъ по профессіи; что вы лучше насъ знаете, чего вы хотите, лучше насъ понимаете свои цѣли и задачи. Привѣтствую васъ...

Привѣтствую особенно вашу смѣлость. Если вы въ часы досуга просматривали кое-что изъ нашихъ многочисленныхъ писаній, вы, безъ сомнѣнія, говорили себѣ: вотъ люди, которые боятся. Да, мы боимся. Чего? Вы скажете,—цензуры. Но это само собою разумѣется, и за это насъ по совѣсти винить нельзя. Главное: себя самихъ, своей мысли боимся. Ни одной мысли мы не смѣемъ довести до ея логическаго конца, ибо на каждомъ шагу насъ смущаютъ вопросы: не будетъ ли это слишкомъ либерально? слишкомъ консервативно? слишкомъ радикально? недостаточно либерально? недостаточно консервативно? и т. д., смотря по той якобы партіи, къ которой мы себя причисляемъ. Оттого-то, ваше сіятельство, вы и встрѣчаете въ нашихъ писаніяхъ такъ часто знаменитую фразу: «можно не соглашаться, но должно признаться». Прибѣгая, въ свою очередь, къ этой удобной фразѣ, скажу и я: съ вами можно не соглашаться, но должно признаться, что вы несравненно смѣлѣе насъ, набившихъ себѣ руку въ писаніи. Не моргнувъ глазомъ, не маскируясь какими бы то ни было жалкими словами и двусмысленностями, не боясь ни цензуры, ни совѣсти, вы съ спокойствіемъ глубоко убѣжденнаго и кровно заинтересованнаго человѣка требуете революціи и рекомендуете цѣлый рядъ практическихъ мѣръ, ведущихъ къ ея осуществленію. Конечно, вы не поете революціонныхъ гимновъ, не кричите: aux armes, citoyens! Но вы лучше, чѣмъ кто нибудь знаете, что это ровно ничего не значитъ. Въ одномъ мѣстѣ вашей статьи говорится: «Тщетно противопоставлять какіе-либо аргументы возраженіямъ, состоящимъ въ одномъ словѣ, особенно если оно возбуждаетъ страхъ. Таково слово *пролетаріатъ*, и потому мы считаемъ не излишнимъ по вопросу о пользѣ безземельныхъ работниковъ подвергнуть на размышленіе читателя слѣдующія мысли о пролетаріатѣ. Пролетаріями въ Римѣ назывались тѣ безденежные люди, которые не входили ни въ одинъ изъ классовъ римской республики, такъ какъ не могли обогащать ее ничѣмъ, кромѣ размноженія дѣтей (proles). Пролетаріатъ можно опредѣлить состояніемъ зависимости. Онъ кажется нераздѣльнымъ съ природою человѣка, обреченнаго ѣсть хлѣбъ свой въ потѣ лица. Состояніе зависимости является при рожденіи человѣка, возобновляется при его старости и напоминаетъ о себѣ при его болѣзняхъ. Нѣтъ такого государства, въ которомъ бы не было людей непроизводительныхъ или производящихъ подъ вліяніемъ нужды. Даже въ нашемъ просвѣщенномъ вѣкѣ нѣтъ такого мѣста, гдѣ бы пролетаріатъ не существовалъ, и потому онъ кажется дѣйствительно нераздѣльнымъ съ об-

щественною жизнью, по крайней мѣрѣ, при всѣхъ испытанныхъ доселѣ формахъ ея». Ваше сіятельство, я, къ сожалѣнію, не могу признать это сочетаніе словъ и предложеній удовлетворительнымъ въ грамматическомъ отношеніи, ибо по русски нельзя «подвергать что-либо на размышленіе» читателей. Но это, конечно, не бѣда, ибо вы чужды литературѣ. Гораздо прискорбнѣе то обстоятельство, что означенное сочетаніе словъ и предложеній неудовлетворительно въ отношеніи логическомъ. Если «пролетаріатъ можно опредѣлить состояніемъ зависимости», а «состояніе зависимости является при рожденіи человѣка, возобновляется при его старости и напоминаетъ о себѣ при его болѣзняхъ», если это такъ, то вы, графъ Орловъ-Давыдовъ, одинъ изъ крупнѣйшихъ русскихъ землевладѣльцевъ, родились пролетаріемъ, бываете имъ во время болѣзни и умрете пролетаріемъ, ибо я надѣюсь, что вы доживете до глубокой старости. Въ извѣстномъ смыслѣ все это можетъ быть и вѣрно, но согласитесь съ тѣмъ, что къ предмету вашей статьи, или, какъ говоритъ «Вѣстникъ Европы», «записки чисто практическаго характера», ваше толкованіе слова пролетарій не имѣетъ ровно никакого отношенія. И вообще ваши предложенія практическихъ мѣропріятій настолько же ловки, послѣдовательны и цѣлесообразны, насколько ваши аргументы и попытки философскаго обоснованія вашихъ положеній слабы и нелогичны. Тѣмъ не менѣе вы не боитесь словъ; вы такъ ли, сякъ ли, пытаетесь найти имъ объясненіе независимо отъ ихъ ходячаго смысла. Вы поймете поэтому, что *революція* есть только противоположность *эволюціи*, измѣненіе руководящихъ началъ общественной жизни въ противоположность ихъ дальнѣйшему развитію. И съ этой философской точки зрѣнія ваши цѣли глубоко революціонны, равно какъ и предлагаемыя вами мѣры. Руководящія начала русской экономической жизни суть, какъ вамъ извѣстно, общинное землевладѣніе и порядокъ наслѣдованія по системѣ раздѣла. Вы требуете майоратовъ и разрушенія общины. Что можетъ быть революціоннѣе этого? Вамъ случалось, конечно, слышать, что какіе-то нигилисты стремятся къ подрыванію «основъ»; вамъ случалось, можетъ быть, даже принимать участіе въ подобнаго рода бесѣдахъ. Но, ваше сіятельство, если ваши собесѣдники были такъ же умны, какъ вы, вы, несомнѣнно, уподоблялись римскимъ авгурамъ и другъ на друга безъ смѣха смотрѣть не могли. И какъ вамъ не смѣяться! Пока какіе-то неумѣлые люди носятся съ Молешотомъ и дѣтскими фантазіями; пока одна часть литературы вопитъ, что эти люди подрываютъ основы, а другая мямлитъ свое: «можно не соглашаться, но должно признаться», — вы вырабатываете широкій революціонный планъ и выдвигаете его въ удобнѣйшую минуту. Вы начинаете съ проекта революціи экономической, потому что понимаете, что здѣсь именно бьется пульсъ общественной жизни. Но вы на этомъ не останавливаетесь. Вы не скрываете, что обезземеленіе крестьянъ и майораты вамъ нужны, какъ средства сосредоточенія политическаго значенія въ рукахъ крупныхъ поземельныхъ собственниковъ. Еще разъ привѣтствую васъ отъ имени пристыженной вами литературы, привѣтствую вашу смѣлость, послѣдовательность, ловкость...

Если наша литература склонна ставить заплатки, штопать бѣлыми нитками прорѣхи, вилять хвостомъ, объяснять, что можно не соглашаться, но должно признаться,—то вы дѣйствуете совершенно наоборотъ. Вы спрашиваете, напримѣръ: «При какомъ порядкѣ вещей и распредѣленіи собственности болѣе всего обезпечивается благосостояніе отечества: при обязательномъ ли равенствѣ, или при сложившемся отъ вѣка неравенствѣ состояній?» Мы, русскіе писатели, не задаемъ себѣ такихъ прямыхъ вопросовъ, а если намъ ихъ задаетъ кто-нибудь другой, мы начинаемъ усиленно вилять хвостомъ и дотолѣ виляемъ, доколѣ не заметемъ самый слѣдъ какихъ бы то ни было убѣжденій и мнѣній. Въ виду вашего вопроса насъ будетъ смущать, съ одной стороны, опасность впасть въ радикализмъ, а съ другой стороны, мы всетаки свыклись съ идеей справедливости, которой противно всякое неравенство. Вы — другое дѣло, вы не смущаетесь и отвѣчаете прямо. Имѣя въ виду извѣстную практическую цѣль, вы идете къ ней, перескакивая черезъ всевозможныя препятствія и растаптывая все, что попадется на дорогѣ. Я особенно любуюсь на васъ въ тѣ моменты, когда вы топчете логику и справедливость. Замѣчательно, что эти двѣ вещи вы топчете сразу, благодаря одной логической особенности вашего ума. Вамъ совершенно чужда идея компенсаціи, равновѣсія, такъ что механикъ изъ васъ навѣрное вышелъ бы очень плохой. Что касается до васъ, какъ логика и политика, то я уже выше привелъ образецъ вашихъ эквилибристическихъ упражненій въ этихъ областяхъ. Пролетаріатъ есть состояніе зависимости, а состояніе зависимости присуще каждому человѣку, по крайней мѣрѣ, по временамъ, въ силу законовъ природы, изъ чего слѣдуетъ, что пролетаріатъ необходимъ. Въ этомъ разсужденіи идея компенсаціи невыгодныхъ условій, налагаемыхъ на насъ природою, совершенно упущена изъ виду. А

вмѣстѣ съ тѣмъ тутъ растоптаны и логика, и справедливость. Другой примѣръ:

«Всегда и вездѣ самымъ вѣрнымъ помѣщеніемъ капитала по справедливости считалось землевладѣніе; съ другой стороны, земледѣліе или, собственно, сельское хозяйство есть самое рискованное предпріятіе, ибо его успѣхъ зависитъ не только отъ тѣхъ условій, которыя необходимы во всякомъ промышленномъ предпріятіи, какъ, напримѣръ, большее или меньшее умѣнье, стараніе и опытность хозяина, но и отъ различныхъ климатическихъ и атмосферныхъ явленій, какъ, напримѣръ, градъ, излишество или недостатокъ дождя, несвоевременные морозы и проч. — которыхъ не только устранить, но даже предвидѣть нѣтъ возможности».

Обыкновенный смертный изъ этой сравнительной выгодности землевладѣнія и невыгодности земледѣлія вывелъ бы необходимость ихъ сліянія, ибо, такимъ образомъ, невыгоды одного компенсировались бы съ выгодами другого. Это былъ бы выводъ, во-первыхъ, вполнѣ логичный, а во-вторыхъ, удовлетворяющій самымъ элементарнымъ требованіямъ справедливости. Вы рѣшаете дѣло иначе. Именно изъ того, что землевладѣніе представляетъ самое вѣрное помѣщеніе капитала, а земледѣліе есть предпріятіе самое рискованное, вы заключаете, что они должны быть оторваны другъ отъ друга. Я не понимаю возможности такого умозаключенія, но преклоняюсь передъ нимъ, преклоняюсь передъ тою смѣлостью, съ которою вы топчете логику и справедливость. Вы глубоко послѣдовательны въ самой своей нелогичности и несправедливости. Когда вы видите, какое бы то ни было нарушеніе равновѣсія, вы заняты одною мыслью: прибавить нѣсколько гирь на ту чашку вѣсовъ, которая и безъ того перевѣшиваетъ. Вы не можете утерпѣть, у васъ руки чешутся. Если человѣкъ бываетъ по временамъ зависимъ, то вамъ не приходитъ въ голову какъ-нибудь хоть по возможности сгладить эту зависимость; вы требуете расширенія этой зависимости, ея упроченія общественными учрежденіями. Когда вы разсуждаете о невозможности для крестьянъ улучшенныхъ способовъ земледѣлія и раціональнаго сельскаго хозяйства какъ по ихъ бѣдности вообще, такъ и по недостаточности ихъ земельныхъ участковъ,—вамъ не приходитъ въ голову такая задача: нельзя ли тѣмъ или другимъ способомъ увеличить размѣры крестьянскаго землевладѣнія и дать крестьянамъ возможность приложить къ дѣлу улучшенные способы земледѣлія. Задача эта, конечно, не легкая, но вполнѣ достойная вашего просвѣщеннаго ума. Но вы именно изъ бѣдности мужика выводите необходимость отнять у него и то, что у него есть,—землю. За послѣднее время у насъ было много говорено о податной реформѣ. Вы не касаетесь этого предмета, но съ почтеніемъ цитируете, между прочимъ, слѣдующія слова орловскаго землевладѣльца г. Крапнскаго: «Несостоятельность экономическаго устройства освобожденныхъ крестьянъ вызвала возгласы гуманистовъ не противъ ложнаго принципа, на которомъ оно основано, но противъ *мнимой* обременительности крестьянскихъ платежей».

Ваше сіятельство, это — нѣчто болѣзненное, эти признаки нелогичности и несправедливости, ненависти къ равновѣсію. Въ жизни съ вами должны или, по крайней мѣрѣ, могутъ случиться удивительнѣйшіе казусы: дѣло можетъ дойти до того, что вы отнимете костыль у хромого, выколите глазъ у кривого, или, отнявъ у нищаго брянчащія въ его кошелькѣ семь съ половиною копѣекъ, вручите ихъ владѣльцу того дома, на тротуарѣ котораго нищій играетъ на осиплой шарманкѣ народный гимнъ. И когда у васъ потребуютъ объясненія вашихъ дѣйствій, вы напишете записку чисто практическаго характера, въ которой будутъ развиваться и доказываться слѣдующіе тезисы: этотъ человѣкъ хромъ, слѣдовательно, костыль у него долженъ быть отнятъ; этотъ другой человѣкъ кривъ, а потому надлежитъ выколоть ему другой глазъ; этотъ третій человѣкъ нищъ, вслѣдствіе чего у него должны быть отняты семь съ половиной копѣекъ. Когда статья будетъ написана, давайте ее намъ, мы напечатаемъ и даже осыплемъ васъ любезностями. Пусть вы нелогичны, пусть вы топчете справедливость, пусть вы даже русскую грамматику плохо знаете, — въ васъ есть одна черта, къ которой мы не можемъ относиться безъ глубочайшаго уваженія: вы знаете, чего вы хотите. Мы не знаемъ, а потому примите увѣреніе въ искренности моего къ вамъ уваженія.

VI *).

Современные глаголы.—«Знай штуку» и ищи ее въ Москвѣ.—Сущность міровового процесса или философія безсознательнаго Гартмана».—Г. Козловъ о метафизикѣ.—Что обѣщаетъ метафизика и что она даетъ.—«Простая рѣчь о мудреныхъ вещахъ» М. П. Погодина.—О томъ, какъ Михаилъ Петровичъ получилъ черногорскій орденъ князя Даніила 1-й степени, о томъ, какъ онъ собирался писать Писареву, какъ ѣздилъ къ Кернеру и проч.—О тоскѣ и самоубійствахъ.—«Гласныя драмы интимной жизни» Е. К.

Я скучаю, ты тоскуешь, онъ, она предается меланхоліи, мы готовимся къ самоубійству.

*) 1873 г., октябрь.

вы ищете развлеченія, они, онѣ топятъ отъ скуки «попова кобеля». Вотъ современные глаголы. Но, читатель,—

Плюнь на скуку,
Морску суку
И знай штуку.

Штуку же всегда можно найти въ Москвѣ; она тамъ растетъ и цвѣтетъ повсемѣстно: и у Гурина, и въ Сундучномъ ряду и на Кузнецкомъ; она тамъ имѣетъ самыя разнообразныя формы, такъ что всякій можетъ себѣ выбрать что-нибудь подходящее. Напримѣръ:

«Почему бы не заняться *игрой ума?* Вѣдь играемъ же мы въ карты, въ клубныя или театральныя партіи, въ застольные спичи, въ биржевыя бумаги, въ гражданскіе мотивы, въ земскую, политическую и общественную дѣятельность, да и мало ли во что мы играемъ! Чѣмъ хуже всего этого игра въ философскія соображенія? Кто положитъ непререкаемую грань между тѣмъ, что въ жизни игра и что серьезное дѣло? Мнѣ кажется, что *игра ума* сопряжена съ наименьшими потерями, чѣмъ всякая другая. А, впрочемъ, вольному воля. Кто не любитъ философскихъ соображеній о мірѣ, его сущности, причинѣ, цѣли, концѣ и т. п., тотъ пусть читаетъ гражданскіе мотивы отечественныхъ публицистовъ или же передовыя статьи отечественной ежедневной прессы, — однимъ словомъ, идетъ въ ту сторону, куда влечетъ его «Безсознательное», по выраженію Гартмана. Я же обращусь къ предварительнымъ объясненіямъ относительно задачи, плана въ сочиненіи Гартмана и метода, которому онъ слѣдуетъ».

Не пугайтесь, читатель. Я не обращусь къ предварительнымъ объясненіямъ относительно задачи, плана и т. д. Я понимаю, что вамъ и безъ того скучно. Приведенная тирада извлечена мною изъ введенія г. Козлова въ только что вышедшее въ первопрестольной столицѣ сочиненіе: «Сущность мірового процесса или философія безсознательнаго доктора философіи Эдуарда фонъ-Гартмана». Книга эта, во всякомъ случаѣ, замѣчательна и сама по себѣ, какъ «игра ума», и по обстановкѣ, при которой она явилась въ оригиналѣ. Авторъ ея человѣкъ молодой, ему тридцать лѣтъ, истый германецъ, весьма сочувствующій великому дѣлу Бисмарка, а между тѣмъ, не смотря на свою молодость и радость по поводу современныхъ событій, сочинилъ глубоко пессимистическую философскую систему, сильно напоминающую философію отчаянія буддизма и Шопенгауэра. Далѣе, не смотря на несоотвѣтствіе этого пессимизма съ современнымъ настроеніемъ Германіи, не смотря на паденіе кредита метафизическихъ системъ вообще, книга Гартмана пользуется огромнымъ успѣхомъ. Первое изданіе ея вышло въ 1869 году, въ 1870 второе, въ 1871 третье, въ 1872 четвертое. Книга возбудила обширную полемику. Она содержитъ въ себѣ массу естественно историческихъ данныхъ, свидѣтельствующихъ объ обширности фактическихъ познаній автора, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, тончайшія метафизическія и діалектическія хитросплетенія насчетъ бытія небытія и небытія бытія, безсознательной разумности, воли, не хотящей хотѣть и т. д. Наконецъ, не смотря на эти неудобопонятности, книга написана прекрасно, можно сказать, художественно. Словомъ, книга интересная во многихъ отношеніяхъ. Г. Козловъ предпринялъ весьма подробное ея изложеніе въ трехъ выпускахъ и исполнитъ это, насколько можно судить по первому выпуску, вполнѣ добросовѣстно и удовлетворительно. Третій выпускъ будетъ принадлежать собственно самому г. Козлову: онъ будетъ содержать въ себѣ критическую оцѣнку системы Гартмана.

Итакъ, я не обращусь къ предварительнымъ объясненіямъ задачи, плана и т. д.,— все это читатель можетъ найти у г. Козлова, — и о философской системѣ Гартмана, какъ таковой, скажу только слѣдующее. Гартманъ открылъ ту сущность вещей, которую предшественники его ошибочно понимали подъ именами духа, матеріи, субстанціи, Ding an sich и т. п. Эта сущность вещей есть «Безсознательное» (das Unbewusste), атрибуты котораго суть воля (Wille) и представленіе (Vorstellung). Я понимаю, что этого объясненія слишкомъ мало для людей, знакомыхъ съ пріемами и духомъ нѣмецкой метафизики вообще, и, можетъ быть, слишкомъ много для людей, непосвященныхъ въ ея таинства. Но я и не думаю излагать систему Гартмана. Мнѣ нужно взглянуть на нее только съ точки зрѣнія современнаго русскаго человѣка, который скучаетъ, тоскуетъ, предается меланхоліи, готовится къ самоубійству, ищетъ развлеченія, топитъ отъ скуки попова кобеля. А это можно сдѣлать, не излагая ея вполнѣ, и пока съ насъ достаточно вышеприведеннаго. Но читатель можетъ спросить: законна ли точка зрѣнія человѣка, который тоскуетъ, готовится къ самоубійству и топитъ отъ скуки попова кобеля? Насколько она законна вообще,—до того намъ пока дѣла нѣтъ. Что же касается до ея законности въ настоящемъ случаѣ, въ примѣненіи къ московско-германской, Гартмано-Козловской «штукѣ», то она утверждается слѣдующими словами самого г. Козлова:

«Въ нашемъ отечествѣ чуть не на каждомъ углу всѣ и каждый громко вопіютъ о разныхъ неудовлетворенныхъ потребностяхъ, поднимаютъ массу требующихъ немедленна-

то разрѣшенія вопросовъ. Но всѣ эти потребности и вопросы бьютъ болѣе на интересы матеріальной жизни,—на интересы, выражаемые словами: ѣсть, пить, быть здоровымъ, положить въ карманъ, не быть битымъ, удобно ѣхать, сидѣть, лежать, развлекаться и проч., и проч. За шумомъ и гамомъ, поднимаемымъ во имя этихъ, правда, не маловажныхъ интересовъ, совершенно не слышно о еще высшихъ, глубочайшихъ для психической и нравственной природы человѣка интересахъ. Человѣку вѣдь нужно какое-нибудь умственное и нравственное успокоеніе, а для этого ему нужна вѣра во что-либо, несомнѣнно, для него истинное; тогда только всѣ дѣла и сама матеріальная жизнь его получатъ твердую точку опоры. Умственное же и нравственное успокоеніе только и можно найти въ высшей сферѣ мышленія—именно, мышленія философскаго» (9). «Что, въ концѣ концовъ, означаютъ оговорки: дѣйствовать *разумно*, *нравственно* и проч.? Ничего иного, по моему, какъ желаніе привести свои личныя дѣйствія въ гармонію съ общимъ теченіемъ вещей въ мірѣ. А это значитъ волей-неволей признать у мірового процесса смыслъ, т. е. цѣль. До понятія же о міровой цѣли нѣтъ никакой возможности придти, не выходя изъ сферы опыта и наблюденія, т. е. изъ сферы положительной науки, иначе говоря, понятіе о міровой цѣли можетъ быть выведено только изъ какого-либо метафизическаго принципа» (22). «Въ чемъ иномъ можетъ заключаться, съ человѣческой точки зрѣнія, прогрессъ, какъ не въ увеличеніи нашего благосостоянія и уменьшеніи страданій? Но можетъ ли дать положительное знаніе какой-либо успокоительный отвѣтъ на этотъ самый важный и интересный для человѣка вопросъ: какъ уйти отъ бѣдствій и страданій, какъ добыть покой и счастіе? Что, кромѣ набора громкихъ и пустыхъ словъ, отвѣтитъ на этотъ проклятый вопросъ человѣкъ, дѣйствительно исходящій изъ положительнаго знанія?» (27).

Здѣсь мы имѣемъ всѣ характеристическія особенности высокомѣрія метафизики. Во-первыхъ, презрѣніе къ жизненной практикѣ, не къ той или другой ея формѣ, опредѣляемой даннымъ историческимъ моментомъ, нѣтъ, метафизикъ презираетъ жизненную практику въ принципѣ. Доказывая, что бытіе и небытіе тождественны, Гегель задумался надъ вопросомъ: все ли равно, что мой домъ существуетъ или не существуетъ, что воздухъ существуетъ или не существуетъ? Онъ рѣшаетъ этотъ небезынтересный вопросъ такъ: «Въ этихъ примѣрахъ подразумѣваются частныя цѣли, напримѣръ, полезность, и на основаніи этихъ частныхъ цѣлей спрашивается: все ли мнѣ равно, существуютъ извѣстныя полезныя вещи, или нѣтъ? Но философія именно должна освободить человѣка отъ безчисленнаго множества конечныхъ стремленій и цѣлей и сдѣлать его настолько равнодушнымъ къ нимъ, что для него, дѣйствительно, должно быть все равно, существуютъ эти вещи, или нѣтъ». Совершенно такое же презрѣніе обнаруживаетъ г. Козловъ къ «гражданскимъ мотивамъ отечественныхъ публицистовъ» и т. д. Онъ презираетъ ихъ не потому, чтобы они казались ему фальшивыми, слабыми, вообще неудовлетворительными, а потому, что въ нихъ не ищется сущность вещей и не рѣшаются вопросы о причинѣ и цѣли міра, о мірѣ въ себѣ, о мірѣ по ту сторону чувствъ и т. д. Другой предметъ глубокаго презрѣнія метафизики есть положительное знаніе. Новѣйшіе метафизики не отрицаютъ очевидныхъ услугъ, оказываемыхъ человѣчеству положительнымъ знаніемъ ежедневно, но они отрицаютъ возможность извлеченія изъ него или добычи при посредствѣ его отвѣтовъ на высшіе и важнѣйшіе, даже въ чисто-практическомъ отношеніи, вопросы. Итакъ, полное успокоеніе и разрѣшеніе всѣхъ «проклятыхъ» вопросовъ можетъ дать только метафизика, т. е. знаніе сущности вещей или, по крайней мѣрѣ, логическія операціи надъ этою сущностью. Только метафизика можетъ наполнить ваше существованіе, если оно пусто и тоскливо.

Я недаромъ говорилъ, что Москва знаетъ «штуку». Гартманъ попалъ, значитъ, изъ Пруссіи въ Москву, въ самое сердце Россіи, какъ разъ во-время, ибо, поистинѣ, никогда еще свинцовыя тучи тоски и пустоты не облегали такъ плотно нашего горизонта. Внимайте же всѣ, по тѣмъ или другимъ причинамъ неудовлетворенные жизненной практикой и положительнымъ знаніемъ, всѣ, по той или другой причинѣ скучающіе, тоскующіе, предающіеся меланхоліи и готовящіеся къ самоубійству. Я долженъ, однако, предупредить тѣхъ изъ читателей, которые желали бы познакомиться съ Гартманомъ вполнѣ, что я не удовлетворю ихъ, ибо собираюсь только весьма вкратцѣ изложить ту сравнительно малую долю Гартмановой «игры ума», которая имѣетъ самую непосредственную связь съ тоскою, скукою, меланхоліей и самоубійствомъ. Кстати, эта часть игры ума еще не вошла въ изложеніе г. Козлова. Съ другой стороны, читатель, совершенно чуждый нѣмецкой философіи вообще, и Гартмановской философіи въ особенности, можетъ встрѣтиться ниже съ кое-какими непонятными терминами и положеніями. Я постараюсь по возможности обойти ихъ, но сдѣлать это вполнѣ нельзя.

Вотъ что говоритъ Гартманъ:

Существующій міръ есть во всѣхъ подробностяхъ лучшій, какой только возможенъ.

Всемогущее, не ошибающееся Безсознательное избрало наилучшія возможныя формы бытія, и тѣмъ не менѣе этотъ лучшій возможный міръ полонъ скорби и страданій, такъ что небытіе всетаки предпочтительнѣе бытія. Но сознаніе предпочтительности небытія не можетъ, разумѣется, утвердиться сразу. Умъ человѣческій доходитъ до него, только пройдя три ступени иллюзій, одна другую отодвигающихъ. Первоначально людямъ казалось, что счастіе осуществимо уже въ настоящей земной жизни и при томъ немедленно и для каждаго отдѣльнаго человѣка. Но эта иллюзія, наконецъ, пала и замѣнилась другою: блаженство достижимо въ загробной жизни,—которая, въ свою очередь, уступила мѣсто третьей иллюзіи: счастіе осуществится въ дальнѣйшемъ процессѣ развитія міра. Слѣдя за этими тремя ступенями самообольщенія, Гартманъ предаетъ самой безжалостной критикѣ все, что люди привыкли считать наслажденіемъ: любовь, дружба, могущество, богатство, свобода, здравіе, молодость, знаніе, спокойствіе совѣсти,—все оказывается неудовлетворительнымъ и неудовлетворяющимъ. Если тотъ или другой отдѣльный человѣкъ счастливъ, то его счастіе есть всетаки только самообманъ, и число такихъ самообольщеній съ поступательнымъ развитіемъ сознанія постоянно сокращается. Въ концѣ концовъ, какъ страданіе пожираемаго животнаго всегда сильнѣе наслажденія удовлетворяющаго его тѣломъ свой аппетитъ, такъ и вообще итогъ страданій превышаетъ итогъ наслажденій. И въ будущемъ страданія будутъ все расти, а наслажденія все уменьшаться. Животныя счастливѣе человѣка, дикіе народы счастливѣе цивилизованныхъ. Люди же, способные къ глубочайшему проникновенію въ суть жизни, наиболѣе развитые въ умственномъ, нравственномъ, эстетическомъ отношеніяхъ, наиболѣе несчастны, ибо именно ихъ развитіе даетъ имъ возможность по достоинству оцѣнить несчастіе бытія. Слѣдовательно, и расширеніе, и углубленіе духовнаго развитія отнюдь не могутъ дать человѣчеству счастія. Напротивъ, оно должно усилить его несчастіе. Итакъ, небытіе лучше бытія.

Nun, was sagst du denn dazu, ты, скучающій, предающійся меланхоліи и готовящійся къ самоубійству? Получилъ ты на лонѣ метафизики Гартмана успокоеніе, котораго ты тщетно искалъ въ жизненной практикѣ и положительномъ знаніи? Получилъ ты обѣщанный г. Козловымъ «успокоительный отвѣтъ на самый важный и интересный для человѣка вопросъ: какъ уйти отъ бѣдствій и страданій, какъ добыть покой и счастіе?» Нѣтъ, ты не получалъ еще этого отвѣта. Но ты его сейчасъ получишь, ибо мы находимся у начала конца прусско-московской «штуки», Гартмано-Козловской «игры ума».

Къ какому концу, къ какой цѣли стремится міръ въ своемъ развитіи? Этого конечнаго пункта слѣдуетъ искать на пути развитія сознанія, ибо оно одно представляется въ очевидномъ процессѣ развитія, прогресса. Но изъ этого не слѣдуетъ еще, однако, чтобы именно сознаніе составляло конечную цѣль міра и слѣдовательно самоцѣль (Selbstzweck). Оно можетъ, оставаясь одной изъ ближайшихъ цѣлей, оказаться только средствомъ для достиженія какой-либо другой, дѣйствительно конечной цѣли. И при ближайшемъ разсмотрѣніи, Гартманъ, въ самомъ дѣлѣ, отказывается признать сознаніе конечною цѣлью міра. Разсужденія его по этому поводу очень любопытны. Они основаны на томъ діалектическомъ фокусѣ, что изъ двухъ понятій, обнимаемыхъ Безсознательнымъ, которое «премудро»,—одно, именно «воля» отличается крайнею глупостью. Она часто называется das absolut Dumme, Thörichte и т. п. Сознаніе не можетъ быть самоцѣлью, говоритъ Гартманъ. Оно рождается въ страданіи, каждый шагъ своего развитія покупаетъ страданіемъ и вознаграждаетъ насъ за это пустымъ самосозерцаніемъ. Если бы еще міръ былъ хорошъ, такъ пусть бы онъ любовался на себя въ сознаніи, какъ въ зеркалѣ. Но міръ полонъ скорби и боли. Зачѣмъ же еще ихъ удваивать отраженіемъ въ волшебномъ фонарѣ сознанія? «Нѣтъ, сознаніе не можетъ быть конечною цѣлью мирового процесса, руководимаго всепремудростью (Allweisheit) Безсознательнаго; это значило бы удвоить муку жизни» (Philosophie des Unbewussten, 3 изд., 739). Итакъ, безусловно глупая воля Безсознательнаго создала міръ скорби, но удвоеніе этой скорби невозможно, ибо Безсознательное премудро. И это единственный аргументъ Гартмана въ пользу того, что сознаніе не есть конечная цѣль міра, хотя и можетъ быть средствомъ для ея достиженія. Въ чемъ же, однако, можетъ состоять конечная цѣль? Ни въ чемъ иномъ, какъ въ счастіи, къ которому инстинктивно стремится все существующее и которое лежитъ въ основаніи всѣхъ системъ этики и практической философіи вообще, какъ бы они ни маскировали свой эвдемоническій принципъ. Но мы видѣли, что стремленіе къ счастью неразумно, надежды на счастіе нелѣпы, что вѣра въ счастіе есть иллюзія, постепенно исчезающая по мѣрѣ развитія сознанія. Такимъ образомъ, возникаетъ борьба между волею, стремящеюся къ счастію, и разумомъ, постепенно эмансипирующимся отъ воли, отъ хотѣнія. Борьба можетъ окончиться только пораженіемъ воли: она должна, по рѣшенію сознанія, разума, прекратиться, чѣмъ достиг-

нется цѣль и конецъ мірового процесса, и, вмѣстѣ съ тѣмъ, высшее достижимое состояніе блаженства—избавленіе отъ страданій, небытіе, - нирвана. Но какъ можетъ воля прекратиться, какъ можетъ быть достигнуто блаженство небытія? Шопенгауэръ рекомендовалъ добровольное умореніе себя голодомъ, но Гартманъ самымъ рѣшительнымъ образомъ возстаетъ противъ этого рѣшенія. Оно представляется ему слишкомъ личнымъ, безнравственнымъ, нелогичнымъ, неразумнымъ. Допуская даже, говоритъ онъ, что все человѣчество въ настоящую минуту рѣшится оборвать нить своего существованія, отказавшись отъ половыхъ сношеній, это не прекратитъ существованія скорби и боли міра: Безсознательное вновь начнетъ процессъ своего творчества, выдвинетъ, можетъ быть, опять человѣка или подобную же форму бытія, которая будетъ такъ же страдать, какъ теперешнее человѣчество. Прочь трусость и личныя рѣшенія, мы должны работать, согласно цѣлямъ Безсознательнаго и для спасенія или, что то же—для уничтоженія всего міра заразъ. А это можетъ быть достигнуто только при наличности слѣдующихъ трехъ условій. Во-первыхъ, человѣчество должно увеличиться въ числѣ какъ безусловно, путемъ размноженія, такъ и относительно путемъ истребленія и вытѣсненія другихъ формъ бытія. Тогда въ человѣчествѣ будетъ сосредоточена огромная сумма міровой воли, отказавшись отъ которой, люди прекратятъ волю вообще, а вмѣстѣ съ ней и бытіе. Во-вторыхъ, человѣчество должно достигнуть во всѣхъ своихъ представителяхъ сознанія безумія всякаго хотѣнія и скорби существованія. Въ третьихъ, пути сообщенія должны быть настолько удовлетворительны, чтобы человѣчество могло моментально принять и привести въ исполненіе намѣреніе умереть.

Теперь, надѣюсь, вы спокойны, читатель. Не тоскуйте, не горюйте, не готовьтесь къ самоубійству. Цѣль жизни найдена, метафизика дала вамъ успокоеніе. Вы имѣете передъ собой превосходныя задачи. Вы можете любить и рожать дѣтей, ибо это необходимо для сосредоточенія наибольшей суммы міровой воли въ человѣчествѣ. Въ тѣхъ же видахъ вы можете охотиться или инымъ путемъ истреблять низшія формы жизни. Вы можете работать надъ ростомъ сознанія въ человѣчествѣ, ибо это необходимо для убѣжденія людей въ безсмысліи и горѣ существованія. Впрочемъ, возвращенію сознанія предавайтесь съ нѣкоторою осмотрительностью, и, напримѣръ, въ особенности должно остерегаться дѣлать слишкомъ разумными женщинъ... Женщина относится къ мужчинѣ такъ, какъ дѣятельность инстинктивная или безсознательная къ разсудочной или сознательной. Слѣдовательно, истая женщина есть жемчужина природы и т. д. (Сущность мірового процесса, 289). Вы можете способствовать расширенію по лицу земному телеграфной сѣти, дабы люди могли единовременно принять рѣшеніе перейти отъ бытія къ небытію. Превосходно. Главное, весело, потому что, въ концѣ концовъ, разрѣшается дѣлать все, что угодно, кромѣ самоубійства. Я только для утѣшенія читателей и привелъ всю эту ерунду—да простятъ мнѣ это кощунство г. Козловъ и читатели четырехъ нѣмецкихъ изданій «Философіи Безсознательнаго». Спѣшу, впрочемъ, прибавить, что на развитіе этой ерунды Гартманъ потратилъ много таланта, ума, знаній, діалектической ловкости. Какъ бы то ни было, но обѣщанные г. Козловымъ успокоеніе и отвѣтъ на вопросъ: какъ уйти отъ бѣдствій и найти счастіе?—налицо. Впрочемъ, у Гартмана есть еще маленькій, но любопытный постскриптумъ: послѣ того, какъ человѣчество въ цѣломъ покончитъ съ собою и съ существующимъ міромъ, Безсознательное, можетъ случиться, создастъ и разовьетъ новый міръ скорби и мученій...

Я вижу, читатель, вашу вытянутую физіономію: вы не удовлетворены; прусско-московская «штука» вамъ противна, какъ фокусничество и шарлатанство; «игра ума» представляется вамъ шулерствомъ. Вы раскрываете книгу г. Козлова на стр. 28 и читаете: «На все это усталый, измученный трудомъ и страданіями плаватель по безбрежному житейскому морю можетъ отвѣтить *позитивистамъ и реалистамъ* слѣдующее: если мнѣ вопроса о счастіи и покоѣ ставить нельзя, то я, заподозривъ, что вы уже успѣли для себя занять тепленькія и покойныя мѣстечки на жизненномъ пирѣ, не стану терять съ вами золотое время». Какъ! Измученный трудомъ и страданіями плаватель по житейскому морю можетъ сказать это позитивистамъ и реалистамъ? Но что же скажетъ онъ, въ такомъ случаѣ, метафизикамъ, которые обѣщали ему такъ много и дали наслажденіе небытія, за которымъ все-таки можетъ начаться вновь вся скорбь бытія? Быть можетъ, многіе изъ позитивистовъ и реалистовъ успѣли занять на жизненномъ пирѣ тепленькія и покойныя мѣстечки. Даже навѣрное такъ, но не метафизикамъ попрекать ихъ этимъ, ибо метафизика есть прямое послѣдствіе существованія слишкомъ тепленькихъ и покойныхъ мѣстъ на жизненномъ пирѣ. Метафизики суть люди, бѣсящіеся съ жиру. Читателю извѣстенъ нашъ взглядъ на связь метафизики съ извѣстнымъ соціальнымъ устройствомъ. Но мы повторимъ его здѣсь, такъ какъ книга Гартмана можетъ служить лю-

бопытнымъ подтвержденіемъ его или, по крайней мѣрѣ, сообщить нѣкоторые новые матеріалы для подтвержденія.

Быть можетъ, самый любопытный пунктъ въ пессимистической системѣ Гартмана есть его взглядъ на траурную роль сознанія и умственнаго развитія вообще. Повидимому, наслажденіе мыслью, знаніемъ такъ высоко, такъ способно украсить жизнь, а между тѣмъ оно оказывается только зеркаломъ, въ которомъ отражаются скорби и боли жизни, оно обращается въ источникъ глубочайшаго несчастія. Явленіе это станетъ намъ совершенно понятнымъ, если мы примемъ въ соображеніе зависимость всѣхъ благъ цивилизаціи отъ формы соціальныхъ отношеній. Если читатель помнитъ, я привелъ въ статьѣ: «Что такое счастіе?» длинный рядъ мнѣній философовъ, публицистовъ и проч. самыхъ различныхъ школъ, изъ которыхъ мнѣній слѣдуетъ, что въ настоящемъ фазисѣ развитія цивилизаціи низшіе классы, народъ въ тѣсномъ смыслѣ слова, обреченъ на жертву. Это, какъ мы видѣли, признается и сторонниками, и противниками цивилизаціи или, что то же,—системы раздѣльнаго труда. Но сторонники ея прибавляютъ, что этимъ именно способомъ, т. е. нищетой и невѣжествомъ народа, обусловливается счастіе высшихъ слоевъ общества, каковые слои составляютъ fine fleur человѣчества (мнѣніе Мандевиля, Мальтуса, Тоунзенда, Шторха, Гарнье, Ренана, г. Жуковскаго). Допустимъ, что такая постановка вопроса совершенно правомѣрна, т. е., что счастіе немногихъ, покупаемое цѣною несчастія многихъ, есть всетаки счастіе, къ которому мы можемъ и должны стремиться. Въ числѣ элементовъ этого счастія наслажденіе мыслью, знаніемъ занимаетъ безспорно одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ. Посмотримъ, во что оно обращается въ системѣ раздѣленнаго труда. Мы знаемъ, что динамическій законъ этой системы состоитъ въ постепенномъ обособленіи, раздробленіи общественныхъ функцій. Мы знаемъ, что въ области мысли законъ этотъ выражается, во-первыхъ, отдѣленіемъ знанія отъ другихъ сферъ жизни, распаденіемъ труда на умственный и физическій. Далѣе, и самъ умственный трудъ подвергается тому же процессу обособленія. Одни прилѣпляются къ голому фактическому знанію, другіе обуреваются жаждою познать все помимо чувственныхъ воспріятій. Не въ томъ дѣло, что оба эти противоположныя направленія ложны и несостоятельны. Они составляютъ неизбѣжное звено въ цѣпи обособленій общественныхъ функцій, и мы должны оцѣнить даваемое ими счастье въ ихъ крайней степени развитія. Эти крайнія формы должны существовать, и, дѣйствительно, существуютъ въ системѣ раздѣльнаго труда.

Что касается до счастія, даваемаго голымъ фактическимъ знаніемъ, то оцѣнка его не представляетъ никакихъ особенныхъ затрудненій. Достаточно вспомнить гётевскаго Вагнера. Онъ по своему, конечно, счастливъ. Но дѣло не въ этомъ. Счастливъ и котъ, валяясь на солнцѣ, счастлива и корова, отрыгивая свою жвачку. Вопросъ въ томъ, можемъ ли мы признать счастіе Вагнера завиднымъ, настолько высокимъ, чтобы стоило добиться его. Всякій живой человѣкъ, безъ сомнѣнія, отвѣтитъ на этотъ вопросъ отрицательно. Вагнеръ не знаетъ, во-первыхъ, многихъ самыхъ элементарныхъ наслажденій, какъ, напримѣръ, наслажденія, даваемаго половымъ чувствомъ. Оттого-то онъ и задался мыслью пропагандировать химическую фабрикацію людей. А о любви въ человѣческомъ смыслѣ онъ ужъ ни малѣйшаго понятія не имѣетъ. Кромѣ того, самая цѣль жизни Вагнера совершенно фантастична: познать всѣ формы бытія невозможно. Здѣсь мы видимъ примѣръ той пытки, которой система раздѣльнаго труда предаетъ своихъ излюбленныхъ представителей. Она именно вдохнула въ Вагнера жажду познанія всѣхъ безчисленныхъ, какъ пески морскіе и звѣзды небесныя, формъ бытія. Она именно задала ему задачу, разрѣшеніе которой внѣ человѣческихъ силъ и способностей, а ради нея Вагнеръ отказался отъ цѣлой массы человѣческихъ наслажденій. Понятны и неполнота, и непрочность такого счастія. Ради него, пожалуй что, и не стоитъ держать въ нищетѣ и невѣжествѣ тѣ милліоны, насчетъ счастія которыхъ должны, по рѣшенію либеральныхъ мудрецовъ, расти, цвѣсти и приносить плоды цвѣты цивилизаціи.

Но рядомъ съ Вагнеромъ стоитъ Фаустъ. Это не самодовольная тупица. Для него вагнеровская жажда знанія всѣхъ формъ бытія замѣняется жаждою познанія сущности бытія, независимо отъ чувственныхъ воспріятій. Но и эта задача, заданная тою же системою раздѣльнаго труда, оказывается внѣ человѣческихъ силъ и способностей. И притомъ Фаустъ, какъ существо высшаго, чѣмъ Вагнеръ, порядка, сильнѣе чувствуетъ свою неудовлетворенность и прямо говоритъ, что онъ счастія не нашелъ. Въ лицѣ метафизики мысль, обособившаяся уже отъ физическаго труда, стремится перерубить канатъ, связывающій логическую способность съ чувственными орудіями познаванія,—процессъ, совершенно аналогичный развитію современнаго экономическаго порядка, гдѣ трудъ отрѣзы-

вается отъ орудій производства. Перерубивъ этотъ канатъ, метафизика естественно преувеличиваетъ значеніе «духа», «разума», «сознанія». Какъ образецъ такого преувеличенія можно привести слѣдующія слова Гегеля: «Все, отъ вѣка совершающееся на небѣ и на землѣ, жизнь Бога и все, что происходитъ во времени, стремится къ тому, чтобы духъ позналъ самого себя, объективировалъ себя, нашелъ самого себя». Или Шеллингъ: «Для трансцендентальной философіи природа есть не что иное, какъ органъ самосознанія, и все въ природѣ необходимо только потому, что самосознаніе достигается только этимъ путемъ». У Гартмана сознаніе является спасителемъ міра и завершителемъ мірового процесса. Что же получается въ результатѣ такого неустаннаго самосозерцанія духа, обѣщающаго, повидимому, бездну наслажденій, бездну счастія людямъ, имѣющимъ время и возможность предаваться метафизическимъ умствованіямъ, людямъ, занявшимъ на жизненномъ пирѣ тепленькія и спокойныя мѣста? Мы видѣли пессимизмъ Гартмана, но Гартманъ стоитъ не одиноко. Въ «Philosophie des Unbewussten» онъ дѣлаетъ интересный сводъ воззрѣніямъ метафизиковъ, отъ Платона до Шеллинга и Шопенгауэра, на возможность счастія. Приведу только два, три примѣра. «Мужественно устремляетесь вы,— говоритъ Фихте, — въ погоню за счастіемъ и хватаетесь со всею страстью за нѣчто прекрасное, обѣщающее вамъ полное удовлетвореніе. Но углубитесь въ самого себя и спросите: счастливъ-ли я? Навѣрное изъ глубины души вашей послышится отвѣтъ: «Нѣтъ, ты все такъ же пустъ и неудовлетворенъ». Впрочемъ, намъ вовсе не нужны эти цитаты. Собранныя Гартманомъ мнѣнія метафизиковъ о тщетѣ всего земного выражены болѣе или менѣе краснорѣчиво; но все это только іереміады, доказательствъ тутъ не ищите. Однако сѣтованія эти интересны, какъ жизненные итоги, подведенные людьми, до одури предававшимися наслажденіямъ мысли, задавшимъ себѣ невозможную задачу: познать сущность бытія или міръ по ту сторону чувствъ. Почти всѣ эти люди жили долго, никакого особеннаго несчастія съ ними не случалось, презираемые г. Гартманомъ «гражданскіе мотивы» ихъ, за исключеніемъ, впрочемъ, Фихте, не особенно волновали, они наслаждались метафизическимъ мышленіемъ и расписались въ своемъ несчастіи, въ бренности всѣхъ наслажденій. Наконецъ, послѣдніе отроги метафизики, Шопенгауэръ и Гартманъ, прямо признаютъ, что небытіе лучше бытія; что высшее возможное счастіе состоитъ въ устраненіи всѣхъ желаній, всякаго хотѣнія. Они приходятъ къ тому же результату, къ которому пришла въ свое время, среди кастоваго общественнаго строя, т.-е. среди системы кристаллизованнаго раздѣльнаго труда, поразительная по своему логическому изяществу метафизика индусовъ.

Итакъ, не только у Гартмана, но и вообще въ концѣ пути метафизики не только не получается искомое счастіе, а получается, напротивъ, систематизированное отрицаніе счастія. Зная причины этого явленія, намъ не зачѣмъ ему удивляться. Оно вполнѣ естественно. Безвинныя жертвы историческаго процесса, метафизики задаютъ себѣ невозможную задачу, презирая задачи возможныя, вылѣзаютъ изъ границъ человѣка, лѣзутъ, можно сказать, изъ кожи, и дѣйствительно должны страшно страдать. Они заняли на жизненномъ пирѣ тепленькія и спокойныя мѣстечки и, усѣвшись на нихъ, располагаютъ мирно и спокойно философствовать о мірѣ по ту сторону чувствъ въ то время, какъ милліоны нефилософствующаго народа работаютъ на нихъ въ потѣ лица. Но увы! они ошиблись. Не миръ и спокойствіе, а ненасытимую жажду и не подлежащую утоленію боль нашли они на своихъ тепленькихъ мѣстечкахъ. Пожалѣемъ ихъ, они дѣйствительно достойны сожалѣнія. Но отмѣтимъ все-таки ихъ, граничащую съ наглостью, наивность: они, разбитые жизнью, смѣютъ увѣрять, что успокоеніе возможно только въ метафизикѣ; смѣютъ зазывать къ себѣ мимоходящихъ, суля имъ всякія блага. Но блаженъ мужъ, иже не иде на совѣтъ нечестивыхъ. Мы не пойдемъ къ вамъ, г. Козловъ. Я разумѣю насъ, простыхъ смертныхъ, которые и безъ того скучаютъ и тоскуютъ, предаются меланхоліи и готовятся къ самоубійству. Мы постараемся найти иныя пристанища для своихъ усталыхъ и измученныхъ душъ, мы даже васъ пригласимъ къ себѣ. А пристанище есть.

Г. Козловъ говоритъ: «Что, въ концѣ-концовъ, означаютъ оговорки: дѣйствовать *нравственно разумно?* Ничего иного, по моему, какъ желаніе привести свои личныя дѣйствія въ гармонію съ общимъ теченіемъ вещей въ мірѣ. А это значитъ волею неволею признать у мірового процесса смыслъ, т.-е. цѣль. До понятія же о мировой цѣли нѣтъ никакой возможности придти, не выходя изъ сферы опыта и наблюденія, т.-е. изъ сферы положительной науки, иначе говоря, понятіе о міровой цѣли можетъ быть выведено только изъ какого либо метафизическаго принципа». Какъ велика, однако, самоувѣренность метафизики! Человѣкъ спрашиваетъ: что значитъ дѣйствовать нравственно, разумно? и отвѣчаетъ; *по моему,* вотъ что. Сказалъ *по моему* и шабашъ,— доказалъ. Понятіе о міровой цѣли является

въ исторіи очень поздно и при томъ у сравнительно ничтожнаго количества людей. Милліоны людей думаютъ, что дѣйствовать разумно и нравственно,—значитъ дѣйствовать согласно волѣ божества. Другіе милліоны думаютъ, что это значитъ дѣйствовать согласно извѣстнымъ цѣлямъ, поставляемымъ себѣ человѣкомъ. Но метафизикъ этимъ не смущается и единственно въ силу того, что *по моему* это не такъ, а вотъ какъ, готовъ признать дѣйствія людей, не имѣющихъ въ виду міровой цѣли, неразумными и ненравственными, а чего добраго, даже прямо безнравственными. Конечно, г. Козловъ здѣсь уже слишкомъ увлекся цѣнностью своихъ размышленій о міровой цѣли и находится въ заблужденіи. Дѣйствительно, почему бы не назвать нравственной и разумной слѣдующей, напримѣръ, программы дѣйствій, не имѣющей, однако, совсѣмъ въ виду никакой міровой цѣли.

Жизненная практика и положительное знаніе убѣждаютъ насъ, что метафизики, вообще говоря,—есть, конечно, много исключеній,—глубоко несчастны. Это говорятъ, наконецъ, они сами. Мы проникаемся сочувствіемъ къ нимъ, искренно жалѣемъ ихъ, хотимъ имъ какъ-нибудь помочь. Задаваясь этою живою, практическою задачей, мы отнюдь не помышляемъ о міровой цѣли, мы сами ставимъ передъ собою цѣль, но едва ли г. Козловъ откажетъ нашимъ дѣйствіямъ въ этомъ направленіи въ нравственномъ характерѣ. Каковы же могутъ быть эти дѣйствія? За отвѣтомъ на этотъ вопросъ мы обращаемся къ жизненной практикѣ и положительному знанію, которыя и объясняютъ намъ, что страданія метафизиковъ обусловливаются неразрѣшимостью задаваемыхъ имъ себѣ задачъ. Мы пробуемъ представить метафизикамъ результатъ нашихъ изслѣдованій, пробуемъ убѣдить ихъ, что человѣческія силы и способности имѣютъ опредѣленныя границы, которыхъ и слѣдуетъ держаться, ибо выдти изъ нихъ нѣтъ возможности, а между тѣмъ внутри ихъ представляется весьма широкое поле дѣятельности. Мы, можетъ быть, убѣждаемъ нѣкоторыхъ изъ этихъ несчастныхъ людей, избавляемъ ихъ отъ страданій и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаемъ изъ нихъ полезныхъ гражданъ. Но на всѣхъ подобныя убѣжденія, разумѣется, дѣйствовать не могутъ. Бѣсъ силенъ, а бѣсъ метафизики, можетъ быть, сильнѣе всѣхъ другихъ. Тогда мы идемъ дальше и спрашиваемъ себя: какъ объяснить ту странность, съ которою метафизики предаются рѣшеніямъ неразрѣшимыхъ задачъ? И на этотъ вопросъ намъ отвѣчаютъ жизненная практика и положительное знаніе. Они разсказываютъ намъ вышеприведенную исторію происхожденія неутолимой метафизической жажды въ связи съ исторіей развитія формъ коопераціи. Жизненная практика и положительное знаніе сообщаютъ намъ, что метафизическая гипертрофія сопровождается атрофіей нѣкоторыхъ другихъ силъ и способностей и, между прочимъ, способности сочувствія; что метафизикъ есть прежде всего узкій эгоистъ, отворачивающійся отъ всякой живой дѣятельности и неистово копающійся въ своемъ собственномъ *я*. Мы пробуемъ тѣмъ или другимъ способомъ расширить это *я*. Смотря по обстоятельствамъ, одному страдальцу-метафизику мы посовѣтуемъ, какъ это сдѣлалъ однажды въ подобномъ случаѣ Іоаннъ Златоустъ, жениться, другому рекомендуемъ такое или иное дѣло, ставящее его въ близкое соприкосновеніе съ людскими интересами и т. д. Но, подавая эти посильные совѣты, мы опять-таки не мечтаемъ, что они будутъ приняты всѣми или даже многими, одержимыми бѣсомъ метафизики. Всегда найдутся люди, настолько больные, что къ нимъ нельзя относиться иначе, какъ къ неизлѣчимымъ жертвамъ историческаго процесса. Объ нихъ мы можемъ только скорбѣть, но и эта скорбь не обязываетъ насъ сидѣть сложа руки. Напротивъ, тутъ-то для насъ и начинается широкая работа: мы посвящаемъ свои силы измѣненію или предотвращенію того историческаго процесса, который, воспитывая метафизику насчетъ страданій и труда огромнаго большинства человѣческаго рода, не только не доставляетъ метафизикамъ счастія, но даже именно обусловливаетъ собою ихъ несчастіе.

Вотъ рядъ дѣйствій, быть можетъ даже противорѣчащихъ понятіямъ, какія составилъ себѣ о міровой цѣли тотъ или другой метафизикъ, но которыя, однако, г. Козловъ, вѣроятно, сочтетъ возможнымъ назвать и нравственными, и разумными съ извѣстной точки зрѣнія.

Какъ бы то ни было, но ты, мой бѣдный скучающій, тоскующій, предающійся меланхоліи и готовящійся къ самоубійству,—ты неудовлетворенъ, если поддался зазываніямъ г. Козлова. Мало того. Я думаю даже, что если ты поддался и углубился въ омутъ «философіи Безсознательнаго», то еще больше затоскуешь и заскучаешь, еще сильнѣе потянетъ тебя къ меланхоліи и самоубійству. Но не унывай, а старайся всетаки «знать штуку» и опять-таки ищи ее въ Москвѣ. Тамъ ты можешь увидѣть слѣдующее.

Почтенный старецъ въ халатѣ «ходитъ у себя въ саду по своей липовой аллеѣ и пересматриваетъ старыя свои тетради о предметахъ духовныхъ, дѣлаетъ выписки, обдумываетъ письмо. Мысли его обращается преимущественно около двухъ понятій: бытіе и небытіе». Это письмо о бытіи и небытіи

почтенный старецъ въ халатѣ желаетъ послать Писареву, дабы обратить этого «молодого человѣка, искренняго, ревностнаго, талантливаго, но неопытнаго, безпокойнаго, заносчиваго, на путь истины и московской философіи. Обдумавъ письмо, почтенный старецъ въ халатѣ идетъ въ гости и тамъ узнаетъ, что Писаревъ утонулъ! Подозрительный случай! Въ то самое время, какъ почтенный старецъ въ халатѣ думаетъ писать Писареву о бытіи и небытіи, тотъ переходитъ отъ бытія къ небытію! Тутъ, очевидно, не безъ перста Божія. Но съ почтеннымъ старцемъ происходятъ иногда случаи еще болѣе поразительные. Идетъ онъ, напримѣръ, 7-го ноября 1840 года поздно вечеромъ домой. Близь Плющихи бѣжитъ къ нему навстрѣчу какая-то женщина и кричитъ: «Михаилъ Петровичъ, Михаилъ Петровичъ! идите скорѣе, священники пришли, въ гробъ кладутъ!» Оказалось, однако, что женщина ошиблась, хотя почтеннаго старца въ халатѣ тоже зовутъ Михаиломъ Петровичемъ. Пустая, повидимому, встрѣча, а между тѣмъ, ровно черезъ четыре года, 7-го ноября 1844 года у почтеннаго старца умерла жена! Еще случай. Славянскій благотворительный комитетъ въ Петербургѣ опредѣлилъ поднести, въ день новаго года, бывшему тогда у насъ Черногорскому князю хлѣбъ-соль на серебряномъ блюдѣ. Присутствовавшій въ засѣданіи комитета почтенный старецъ въ халатѣ предложилъ поднести при этомъ князю адресъ, который тутъ же и сочинилъ, но взялъ съ собой домой, чтобы переписать. Дома старецъ велѣлъ отдать черновой адресъ писарю. Проходитъ, однако, день, другой, наступаетъ, наконецъ, новый годъ,—за адресомъ изъ комитета все не присылаютъ. Почтенный старецъ въ халатѣ рѣшилъ, что поднесеніе хлѣба-соли Черногорскому князю по какому-нибудь случаю отмѣнено, и въ третьемъ часу вышелъ изъ дому. На Конно-гвардейскомъ бульварѣ выскакиваетъ, поровнявшись съ нимъ, изъ саней незнакомый молодой человѣкъ, освѣдомляется, не Михаилъ ли онъ Петровичъ, и объясняетъ, что депутація славянскаго благотворительнаго комитета его ждетъ не дождется. Михаилъ Петровичъ садится къ молодому человѣку въ сани, они ѣдутъ домой, т. е. къ Михаилу Петровичу. Тамъ почтенный старецъ переодѣвается (нельзя же все въ халатѣ) и узнаетъ, къ великому своему удовольствію, что черновой адресъ не отданъ еще писарю и находится налицо. Все остальное неисповѣдимыми путями Провидѣнія устраивается также къ великому удовольствію почтеннаго старца въ халатѣ: черногорскій князь жалуетъ ему орденъ князя Данила 1-й степени. Почтенный старецъ и до сихъ поръ не можетъ забыть этого поразительнаго, чудеснаго случая. Съ свойственною ему скромностью онъ видитъ здѣсь вмѣшательство сверхъестественныхъ силъ. Онъ разсуждаетъ такъ: «Надо же было *случиться*, чтобы я, выходя изъ дому обыкновенно въ одиннадцатомъ часу, былъ задержанъ въ этотъ день до двухъ часовъ; надо же было *случиться*, чтобы я долго не встрѣтилъ извозчика, между тѣмъ, какъ обыкновенно извозчики встрѣчаются на всякомъ шагу; надо же было *случиться*, чтобы я пересѣкалъ улицу съ тротуара на бульваръ въ ту минуту, когда молодой человѣкъ проѣзжалъ мимо; надо же было *случиться*, чтобы онъ, видѣвши меня одинъ разъ въ жизни, узналъ укутаннаго въ шубѣ; надобно же было *случиться*, чтобы ему пришло въ голову остановиться и спросить незнакомаго человѣка, куда онъ идетъ; надобно было *случиться*, чтобы даже и служитель очутился у двери, не успѣвшій передать адреса для переписанія! Вотъ сколько благопріятныхъ случаевъ, стекшихся для успѣха!»

О, какъ я понимаю величественную и, вмѣстѣ съ тѣмъ, злую иронію почтеннаго старца въ халатѣ! Конечно, только какіе-нибудь отчаянные нигилисты могутъ назвать приведенную цѣпь событій рядомъ *случайностей*. Какія же это случайности! Ясно, въ чемъ дѣло: Провидѣніе разогнало всѣхъ извозчиковъ на пути почтеннаго старца въ халатѣ: дескать, что вы, черти, тутъ столпились, сегодня вѣдь новый годъ, вамъ надобно людей по визитамъ развозить; вамъ и Михаила Петровича хочется отъ ордена князя Данила 1-й степени куда-нибудь съ визитомъ отвезти? То же самое Провидѣніе внушило неизвѣстному молодому человѣку: что же ты, братецъ, не остановишься? видишь, Михаилъ Петровичъ идетъ,—вези его получать орденъ князя Данила 1-й степени. Оно же объяснило служителю почтеннаго старца въ халатѣ: не неси къ писарю черновего адреса, ступай хоть къ своей возлюбленной, что ли, или сиди да папироски набивай; надо намъ такъ дѣло подогнать, чтобы Михаилъ Петровичъ какъ разъ къ ордену князя Данила 1-й степени подоспѣлъ. Вотъ какъ дѣло было,—а то *случайности*.

Я понимаю, что приведенные случаи столь исключительны, столь, прямо сказать, очевидно чудесны, что читатель можетъ потребовать отъ меня свѣдѣній, откуда я ихъ заимствовалъ. Спѣшу объяснить, что они напечатаны въ недавно изданной въ Москвѣ книгѣ нашего маститаго историка, М. П. Погодина: «Простая рѣчь о мудреныхъ вещахъ». Тамъ собрано, кромѣ случаевъ сверхъестественнаго вмѣшательства въ судьбу самого Михаила Петровича, еще много другихъ разсказовъ въ томъ же родѣ. Я приведу три

изъ нихъ, имѣющихъ достоинство краткости и не оставляющихъ вмѣстѣ съ тѣмъ ничего желать относительно очевидности перста божія. 1) «Княгиня NN, похоронивъ своего мужа, питала желаніе увидѣть его во снѣ. На девятый день, легши спать, она вдругъ почувствовала, что надъ нею какъ будто кто-то носится, и ей понималось внутренно, что это былъ духъ покойнаго» (190). 2) «Живя за границею, А. И. Кошелевъ написалъ письмо, важное для него, и понесъ въ ящикъ, но опустилъ его въ разсѣяніи мимо отверстія и пакетъ упалъ на землю. Ему показалось это указаніемъ, что письмо не должно быть послано. Онъ не послалъ и послѣ удостовѣрился, что поступилъ хорошо» (203). 3) Нѣкто Бахтинъ въ книжкѣ «Вдохновенныя идеи», изданной въ 1816 г., разсказываетъ: «Ѣхавши однажды съ товарищами лѣсомъ на большой линейкѣ и захотѣвши понюхать табаку, я привсталъ на подножкѣ, дабы, не безпокоя сосѣда, достать платокъ, но въ самую ту секунду превеликій колъ въ самомъ томъ мѣстѣ, гдѣ я сидѣлъ, пробилъ подушку въ линейкѣ и высунулся на полъаршина» (226). Г. Погодинъ, онъ же Михаилъ Петровичъ, онъ же почтенный старецъ въ халатѣ— побѣдоносно спрашиваетъ: «Какъ объяснитъ эти событія Дарвинова философія?» (407). Еще бы! Куда-же ей объяснить, почему сидѣніе г. Бахтина должно было избѣжать превеликаго кола, а грудь г. Погодина не должна была избѣжать ордена князя Данила 1-й степени. Одно только можно сказать: премудрость...

Читатель можетъ, однако, потребовать отъ меня объясненій, почему я называю г. Погодина почтеннымъ старцемъ въ халатѣ. Я охотно дамъ эти объясненія. Называю я такъ г. Погодина отнюдь не потому, что имѣю обстоятельныя свѣдѣнія объ его обычномъ костюмѣ,—хотя на послѣдней художественной выставкѣ въ Петербургѣ его образъ былъ, дѣйствительно, облеченъ художникомъ въ халатъ. Нѣтъ, я говорю иносказательно. Я разумѣю тотъ нравственный халатъ, въ которомъ г. Погодинъ упорно является въ публику. Дѣйствительно, трудно найти писателя съ болѣе халатными отношеніями къ своему дѣлу и къ читающему люду. Помнится, въ 1866 году г. Погодинъ издалъ литературно-политическій сборникъ «Утро». Это было нѣчто изумительное и по формѣ, и по содержанію: перепутанная нумерація страницъ, объявленія въ серединѣ текста, разные шрифты и проч. И надо всѣмъ этимъ вѣялъ духъ Михаила Петровича. Онъ помѣстилъ въ «Утрѣ» даже свои мнѣнія и замѣчанія въ качествѣ гласнаго московской думы, даже чьи-то замѣчанія на эти мысли и замѣчанія, даже, наконецъ, свой отвѣтъ на эти чьи-то замѣчанія! До такой степени цѣнитъ онъ свою персону и такъ мало конфузится онъ своего халата. Въ прошломъ году Михаилъ Петровичъ издалъ рѣчи, произнесенныя имъ «въ торжественныхъ и прочихъ собраніяхъ». Чего тутъ только не было! Кто-нибудь чихнетъ, Михаилъ Петровичъ скажетъ: «будьте здоровы, ваше превосходительство!» — и вотъ уже рѣчь, достойная быть увѣковѣченною. Были напечатаны рѣчи, даже никогда не говоренныя Михаиломъ Петровичемъ, а только задуманныя: «Простая рѣчь о мудреныхъ вещахъ» нисколько не уступаетъ въ халатности прежнимъ произведеніямъ Михаила Петровича. Происхожденіе этой любопытной книги слѣдующее. Михаилъ Петровичъ уже много и много лѣтъ тому назадъ началъ записывать въ особой тетради разные чудесные случаи, въ родѣ приведенныхъ, а также нѣкоторыя свои мысли и размышленія о «духовныхъ предметахъ». Началъ это дѣло Михаилъ Петровичъ такъ давно, что тридцать лѣтъ тому назадъ въ немъ уже «зародилось желаніе огласить ихъ (т. е. чудесные случаи и размышленія) простою рѣчью, внѣ всякихъ школьныхъ правилъ, справокъ (?) и предубѣжденій (?)». Много разъ онъ принимался за это дѣло, но оно все не выгорало. Напишетъ Михаилъ Петровичъ, какъ онъ выражается, «приступъ», т. е. нѣсколько вступительныхъ строкъ, да и отдумаетъ или другія дѣла отвлекутъ. Въ прошломъ году Михаилъ Петровичъ, наконецъ, рѣшился. Въ великомъ посту онъ говѣлъ и рѣшилъ, что «надо отрѣшиться отъ злобы дня», а лучшаго занятія, какъ приведенія въ порядокъ старыхъ замѣтокъ, не придумалъ. Такъ родилась на божій свѣтъ «Простая рѣчь о мудренныхъ вещахъ». Что-же касается до ея состава, то онъ еще любопытнѣе. Въ «Простую рѣчь» вошли не только описанія чудесныхъ происшествій, но и препирательства съ нигилистами, напечатанныя въ свое время въ газетѣ г. Погодина «Русскій»; и разборъ теоріи Дарвина; и разборъ этого разбора, сдѣланный какимъ-то естествоиспытателемъ, которому г. Погодинъ посылалъ корректурные листы своего разбора; и отвѣтъ Михаила Петровича на этотъ разборъ разбора; и отдѣльныя замѣчанія другихъ лицъ, удостоившихся получить произведеніе Михаила Петровича въ корректурѣ, и проч., и проч. и проч. Но всего интереснѣе то обстоятельство, что въ «Простую рѣчь» вошли всѣ «приступы» или всѣ тѣ нѣсколько вступительныхъ строкъ, которыми Михаилъ Петровичъ много разъ въ жизни принимался начать простую рѣчь о мудреныхъ вещахъ. Самая мысль при-

поднести публикѣ коллекцію оборвышей, «приступовъ» или «началъ безъ конца», какъ говоритъ опять-таки самъ Михаилъ Петровичъ, одна уже эта мысль свидѣтельствуетъ о глубинѣ халатности автора. Но халатность эта окажется еще глубже, если кто просмотритъ самые приступы и слѣдующія за ними мысли и размышленія Михаила Петровича. Напримѣръ, одинъ приступъ состоитъ въ разсказѣ о томъ, какъ Михаилъ Петровичъ, прочитавъ книгу Штрауса о жизни Іисуса Христа, хотѣлъ написать увѣщательное посланіе къ этому ученому; хотѣлъ, но не написалъ. Другой приступъ сообщаетъ, что Михаилъ Петровичъ, будучи за границей, ѣздилъ къ Юстину Кернеру, дабы побесѣдовать съ нимъ о мудреныхъ вещахъ: ѣздилъ, но не засталъ дома. Изъ напечатанныхъ въ «Простой рѣчи» замѣчаній, сдѣланныхъ разными лицами о новомъ твореніи г. Погодина, видно, что нѣкоторые доброжелатели унимали почтеннаго старца и настоятельно приглашали его замѣнить халатъ костюмомъ болѣе приличнымъ: зачѣмъ, молъ, вы, Михаилъ Петровичъ, разсказываете о своей поѣздкѣ къ Кернеру и о своемъ намѣреніи писать Штраусу? Вѣдь одного вы не застали, другому не написали, и вообще это не имѣетъ никакого отношенія къ простой рѣчи о мудреныхъ вещахъ. Но Михаилъ Петровичъ не вразумился и халата не снялъ. Обращаясь къ афоризмамъ и размышленіямъ Михаила Петровича, мы найдемъ длинный рядъ отрывочныхъ параграфовъ въ такомъ родѣ: Что такое начало? что такое конецъ? гдѣ начало, гдѣ конецъ? а до начала то что? а послѣ конца-то что? когда начало, когда конецъ? или все не имѣетъ ни начала, ни конца?» (28). «Вотъ лексиконъ, собраніе всѣхъ словъ языка: встряхните его—не выйдетъ ли державинская ода «Богъ», пушкинская «Деревня»? Раздаются звуки фортепіано! Оно само играетъ? Нѣтъ, не можетъ оно играть само: играетъ Листъ, Рубинштейнъ» (51). «Если бы не было ума, то мы никакъ не могли бы вообразить его, составить о немъ понятіе, кромѣ того, что и составлять понятіе было бы нечѣмъ» (53). Послѣднее разсужденіе столь прелестно, что Михаилъ Петровичъ самъ счелъ нужнымъ оговориться, тѣмъ самымъ заявляя о сознательности своей халатности: «Это не ясно, но не умѣю на этотъ разъ выразиться лучше, не нахожу выраженія». Въ скоромъ времени, я увѣренъ, явится въ свѣтъ новая объемистая книга Михаила Петровича, содержаніе которой будетъ состоять въ роспискахъ въ полученіи бѣлья отъ прачки.

Но это всетаки еще внѣшняя халатность: человѣкъ имѣетъ нѣсколько преувеличенныя понятія о своей личности и потому полагаетъ, что каждая его «проба пера» достойна быть опубликованною. Это, конечно, слабость, но, пожалуй, слабость простительная, потому довольно безвредная. Гораздо прискорбнѣе неряшливость Михаила Петровича по отношенію къ собственнымъ мыслямъ, къ самымъ мыслямъ, а не къ выраженію и расположенію ихъ. Говоритъ человѣкъ: я говѣю и потому надо отрѣшиться отъ злобы дня: а самъ ругается. Да вѣдь какъ ругается: чортъ, говоритъ, съ вами (154), «обреченная сволочь» (161) и проч. Говоритъ человѣкъ въ пику нигилистамъ и всякимъ другимъ *истамъ*: «мы, муравьи, копышемся въ своихъ кучкахъ, топыримся и мечтаемъ, что значитъ что-то въ безграничной вселенной» (8). А самъ разсказываетъ, какъ Провидѣніе предсказало ему смерть жены, отклонило отъ второго супружества и разогнало всѣхъ извозчиковъ на пути къ ордену князя Данила 1-й степени. Должно быть ужъ это такая горькая участь всѣхъ московскихъ «штукъ», что онѣ даютъ нѣчто противоположное тому, что съ великимъ азартомъ провозвѣщаютъ. Вотъ и г. Козловъ много накричалъ противъ жизненной практики и положительнаго знанія, много наобѣщалъ отъ лица метафизики, большое успокоеніе на лонѣ «философіи Безсознательнаго» предсказывалъ... Невольно приходитъ на умъ сравнить эти двѣ московскія «штуки». Сравненіе можетъ выйти небезынтересное и поучительное.

Во-первыхъ, штука г. Погодина не въ примѣръ занятнѣе и можетъ даже способствовать водворенію, по крайней мѣрѣ на короткое время, веселости въ нашемъ обществѣ. Я сужу по себѣ, — я давно такъ не смѣялся, какъ смѣялся, читая объемистый томъ «Простой рѣчи о мудреныхъ вещахъ». Во-вторыхъ, штука г. Погодина гораздо болѣе себѣ на умѣ. Г. Козловъ предпринялъ не совсѣмъ легкую задачу и добросовѣстно ее исполняетъ; ему предстоятъ значительныя матеріальныя затраты, и на барыши онъ, какъ видно изъ предисловія, не разсчитываетъ. Нашъ маститый историкъ дѣйствуетъ совсѣмъ не такъ. Онъ понадергалъ весьма значительную часть своей книги изъ «Русскаго Архива», «Русскаго», «Русской Старины», «XIX вѣка», «Зари» и проч., и проч., и проч., приложилъ сюда свои неряшливые «приступы» и афоризмы, не подвергнувъ ихъ никакой обработкѣ, и за всю эту безобразную кучу желаетъ получить 3 рубля. Въ-третьихъ, штука г. Погодина несравненно безвреднѣе.

Это послѣднее различіе стоитъ разглядѣть нѣсколько поближе. Михаилъ Петровичъ рас-

пространяетъ грубѣйшее суевѣріе и приглашаетъ восторгаться красотою міра. Этимъ насъ не проймешь. Если бы «Простая рѣчь о мудреныхъ вещахъ» была обращена къ народу, ее слѣдовало бы признать крайне вредною книгою. Но огромное большинство тѣхъ, кто можетъ заплатить три рубля и израсходовать время, нужное на прочтеніе произведенія г. Погодина, ни въ какомъ случаѣ не повѣритъ, чтобы Провидѣніе такъ ужъ хлопотало объ украшеніи груди Михаила Петровича орденомъ князя Данила или о спасеніи сидѣнія г. Бахтина отъ превеликаго кола. Ѳединькины пародіи на Парэ-ле-Моніальскія церемоніи суть для насъ пока «проказы будущаго». Что же касается до восторговъ передъ красотою міра, то, отдавая полную справедливость прекраснымъ сторонамъ этого занятія, нельзя, однако, думать, чтобы голосъ почтеннаго старца въ халатѣ возбудилъ въ насъ особенную къ нему склонность. Для этого голосъ почтеннаго старца слишкомъ слабъ, а мы слишкомъ скучаемъ, тоскуемъ, предаемся меланхоліи и готовимся къ самоубійству. За то «философія Безсознательнаго» можетъ пожать среди насъ обильную жатву. Г. Козловъ, къ сожалѣнію, напрасно полагаетъ, что его трудъ не будетъ имѣть большого успѣха. Можетъ быть, конечно, и такъ, но ручаться за это отнюдь нельзя въ виду нѣкоторыхъ особенныхъ свойствъ книги Гартмана, съ одной стороны, и нѣкоторыхъ особенностей современнаго настроенія нашего общества,—съ другой. Прежнія нѣмецкія метафизическія системы дѣйствительно не пользовались у насъ особеннымъ почетомъ, если не считать увлеченія маленькихъ, изолированныхъ литературныхъ кружковъ Шеллингомъ и Гегелемъ. Но система Гартмана можетъ встрѣтить совершенно иной пріемъ, гораздо болѣе радушный. Во-первыхъ, Гартманъ опирается на цѣлую массу естественно-историческихъ данныхъ, конечно, профильтровывая ихъ на свой манеръ; а такія ссылки на результаты положительныхъ наукъ и вообще могутъ до извѣстной степени поддержать кредитъ метафизики, и въ частности въ особенности у насъ, гдѣ естественныя науки пользуются такимъ почетомъ. Во-вторыхъ, книга Гартмана не только сравнительно ясна, удобочитаема для массы, но мѣстами написана увлекательно и художественно. Конечно, діалектическія тонкости насчетъ бытія-небытія и воли, не хотящей хотѣть, вся онтологическая и телеологическая часть системы Гартмана едва-ли встрѣтитъ многочисленныхъ поклонниковъ. Тотъ историческій процессъ, который породилъ въ современной Западной Европѣ, въ древней Греціи, въ древней Индіи метафизику, имѣлъ до извѣстной степени мѣсто и у насъ, но никогда не достигалъ такой степени развитія. Если и у насъ развитіе формы кооперации шло и идетъ по типу раздѣльнаго труда, если и у насъ, какъ выражается Ренанъ, потъ многихъ служилъ и служитъ для блага немногихъ, то «духъ» у насъ всетаки никогда не сидѣлъ въ переднемъ углу. Но это не помѣшаетъ пессимистическому характеру системы Гартмана произвести въ нашемъ обществѣ болѣе или менѣе сильное впечатлѣніе. Бытія-небытія, воли, не хотящей хотѣть, премудрости Безсознательнаго и проч. мы, вообще говоря, не поймемъ и не пожалѣемъ объ этомъ, да и не пожелаемъ понять. Но ученіе о трехъ стадіяхъ иллюзіи, ученіе о страданіи бытія и блаженствѣ небытія могутъ быть поняты и усвоены совершенно независимо отъ остальной части философіи Гартмана. И они будутъ поняты и усвоены нами, по всей вѣроятности, въ еще болѣе мрачномъ видѣ, чѣмъ въ какомъ они являются у Гартмана. Дѣйствительно, переходъ къ практической философіи, къ этикѣ, къ ученію о нравственности есть у этого мыслителя своего рода salto mortale. Почему, спрашивается, разъ признано преимущество небытія передъ бытіемъ, мы должны воздерживаться отъ самоубійства, въ виду какихъ-то цѣлей природы и весьма шатко стоящаго въ системѣ требованія жертвовать собою для избавленія отъ бытія всего міра за разъ? Набившій руку метафизикъ сумѣетъ, конечно, обставить это требованіе соотвѣтственными аксессуарами, но онъ обставитъ его для себя; а для насъ, скучающихъ и тоскующихъ, но къ метафизической эквилибристикѣ высшей школы непривычныхъ, для насъ останется только преимущество небытія передъ бытіемъ. А что для такого ученія въ нашемъ обществѣ имѣется хорошо подготовленная почва, это, кажется, не требуетъ особенныхъ доказательствъ. Стоитъ только просмотрѣть нумера газетъ хоть за недѣлю. Тамъ мы найдемъ весьма почтенную цифру всякаго рода самоубійствъ и покушеній на нихъ. Но мы найдемъ тамъ по временамъ даже нѣчто большее. Нѣкто г. Камаровъ убилъ сначала г-жу Суворину, а потомъ самого себя. «Петербургская Газета» въ передовой статьѣ, спеціально посвященной этому, порядочно волновавшему петербургскую публику, событію, между прочимъ, пишетъ: «Конечно, всего естественнѣе ему было пустить себѣ пулю въ лобъ, никого не тревожа. Но какъ *ее* оставить въ обладаніи другого чѣловѣка? Виноватъ ли онъ, разыгравъ кровавую драму?—Никто не виноватъ въ этой неизбѣжной катастрофѣ, изумившей апатическую публику. Никого она не оскорбила, никому не причинила соціальнаго огорченія, но скорѣе на минуту заставила каж-

даго какъ-то поэтически встрепенуться. Если въ нашемъ сонномъ обществѣ угасли поэтическія искры, то исторія, имѣвшая мѣсто въ Бель-Вю, снова прибавила имъ блеска. Драма, честно разыгранная въ жизни, приноситъ болѣе полезныхъ результатовъ, чѣмъ трагедія, умно разыгранная актерами на сценѣ». Я заимствую эту любопытную цитату изъ «Гражданина» и потому не могу поручиться за то, что это наиболѣе характерное мѣсто статьи. Но хорошо и то, что есть. Ясно, что въ обществѣ, въ которомъ не только топятся, стрѣляются, предаются меланхоліи, но даже печать идеализируетъ и апотеозируетъ самоубійство, ясно, что въ такомъ обществѣ книга Гартмана не можетъ быть признана безвредною. Любопытно будетъ дождаться третьяго выпуска труда г. Козлова.

Кстати о самоубійствахъ и другихъ мрачныхъ событіяхъ, нарушающихъ мирное теченіе нашей общественной жизни. Ихъ почти внезапное появленіе въ огромномъ количествѣ представляетъ интересную задачу. Съ чего въ самомъ дѣлѣ имъ разыгрываться, когда каждый изъ насъ, повидимому, такъ доволенъ «самимъ собой, своимъ обѣдомъ и женой»; когда мы и прогресса вкусили и открыли себѣ новыя и заманчивыя въ различныхъ отношеніяхъ поприща дѣятельности? Откуда эта безысходная тоска, висящая надъ русской землей? Я приведу отвѣтъ на этотъ вопросъ одной еженедѣльной газеты. Въ № 39 «Недѣли» напечатана статья г. Е. К. «Гласныя драмы интимной жизни», посвященная изслѣдованію причинъ обуявшей насъ эпидеміи самоубійствъ и меланхоліи. Статья немножко слишкомъ длинна, немножко слишкомъ красиво написана,—точно точеная. Тѣмъ не менѣе, авторъ приходитъ къ заключенію, несомнѣнно вѣрному, которымъ я и закончу на этотъ разъ свои замѣтки:

«Откуда-же берется среди прѣснаго строя нашей современной жизни эта аномалія раздирающихъ драмъ съ кровавыми развязками?.. Оказывается, что предполагаемая аномалія есть не что иное, какъ логическое послѣдствіе тѣхъ нравовъ, которые на мѣсто общественныхъ симпатій воспитываютъ въ человѣкѣ себялюбивую замкнутость и, какъ единственное поприще для упражненія его силъ и способностей, указываютъ ему сферу личныхъ интересовъ. Запасъ энергіи, страсти, способности увлеченія не уменьшается въ обществѣ ни при какихъ условіяхъ, только эта энергія, эта страсть и эта способность увлеченія проявляется различно, смотря по тому, какую пищу они находитъ у себя подъ рукой, подобно дереву, встрѣчающему препятствія на пути своего прямого роста, они обходятъ препятствія, выростаютъ криво, уродливо, но все-же выростаютъ. Именно такою уродливою кривизною представляется въ настоящее время разростаніе характеровъ въ сторону узко-личныхъ интересовъ: добро и зло - радость и горе, даже прогрессивныя и реакціонныя стремленія, все группируется въ нашемъ представленіи вокругъ нашего собственнаго *я*; все, лежащее за предѣлами этого *я*, для насъ не существуетъ. Мы не шутя пріучаемся смотрѣть на себя, какъ на средоточіе вселенной. Мудрено-ли послѣ этого, что при такомъ перемѣщеніи центра тяжести, равновѣсіе нарушается, и личность, лишенная той опоры, которую только сознаніе связи съ общественнымъ цѣлымъ можетъ дать, увлекается первою налетѣвшею бурею страсти и гибнетъ сама, губя другихъ?»

Значитъ, я васъ обманулъ, читатель. «Плюнь на скуку и знай штуку», но не ищи послѣдней ни въ философіи Безсознательнаго, ни въ простой рѣчи о мудреныхъ вещахъ.

ОГЛАВЛЕНІЕ.